

Александр Солженицын

Красное колесо. Узел III Март Семнадцатого – 2

ПЕРВОЕ МАРТА

СРЕДА

238

В вагоне были одни офицеры, человек сорок их ехало из Томска в Ораниенбаум для прохождения пулемётного курса в офицерской стрелковой школе. В Тихвине вошёл в вагон комендант и объявил:

– Господа офицеры! В Петрограде бунт. Я не советую вам туда ехать.

Недоумение: какой бунт? что за бунт? Комендант и сам точно не знал. Политические волнения? Да даже если революция, которой ожидали, – так это нас не касается, мы – военные люди, мы относимся к фронту. Что нам грозит? Ничего, поедем посмотрим.

Бывший студент Аксёнов, сын слесаря и казачки, про себя подумал: если революция, то разве мы её враги? Даже интересно.

А стоянка в Тихвине – четверть часа, надо решать. Меньше половины быстро собрались и ушли из вагона, больше половины осталось.

А поезд опаздывал. Он должен был прийти в Петроград поздно вечером, но вот уже ночью шёл, дремали, размаривались. Кто-то предложил спрятать револьверы в чемоданы. Так и сделали.

К Николаевскому вокзалу подошли в третьем часу ночи, перрон тёмный. Но – движение на нём, и сразу ворвались в вагон солдаты с красными бантами. И при свете поездных свечных фонарей приставили штыки к грудям первых же:

– Господа ахвицера! Сдавайте оружие!

Тут, в вагоне, в мерцании свечей, не увидев Петрограда, ничего не узнав – и решать? и сдавать? Оттого ль, что дремали, час нековременный, как-то и сопротивления не было, – стали шашки сдавать.

Странное чувство, как оголённые или оплёванные. Пошли с чемоданами – куда же? в буфет.

По вокзалу освещение скудное, не всюду. Бродят солдаты, посматривают. Офицеры тесной группкой, защищая себя числом.

Буфет первого класса оказался нараспашку, но разнесен и разбит, осколки на полу, никого из буфетчиков, ни еды, ни посуды, часть стульев поломала, другая унесена, – а прямо на столиках сидели солдаты, курили, шумно разговаривали, не обращая внимания на офицеров.

Одно другого дичей. Бесприютно прошлись по вокзалу – уехать не на чем. Уставили все чемоданы вместе, столпились группкой. И так стояли потерянно, час или больше. Глупое, безвыходное положение. Поезда на Ораниенбаум всё равно не раньше утра, и не тащиться же сейчас на Балтийский пешком.

Вдруг со звонким весёлым разговором вошли в зал четыре студента и две курсистки. Они говорили громко, уверенно, как хозяева тут и: будто ничего особенного не происходило. Они глянули на офицеров, но вниманья бы не обратили и прошли – если бы Аксёнов, обрадовавшись своим, не вышел к ним сам. Заговорил, представился, что недавний студент, и другие офицеры такие же. (Несколько и было студентов, а те всё равно молодые,

подходят).

И сразу переменялось.

– Ха-а! Товарищи! Так пойдёмте, мы вас угостим хоть шоколадом!

– Где ж это?

– Да тут, на Разъезжей, не так далеко.

– Да мы с чемоданами.

Никакой камеры хранения, конечно, на вокзале не было, всю разобрали, или разворовали.

– Да оставляйте здесь. Мы вот солдат попросим. – И с уверенностью в расположении и подчинении – к солдатам, сидевшим недалеко: – Товарищи солдаты! Вы здесь побудете? Посмотрите, пожалуйста, за чемоданами.

Уверенно говорилось – и солдаты, как переменённые, обещали.

Рискнули, пошли. Между собой смешки: там-то револьверы.

По дороге узнали от студентов, что в Ораниенбауме мятеж ещё сплошной, нечего туда и ехать: восстали оба пулемётных полка и уже прибыли в Петроград.

Вот так-так.

На. Разъезжей во дворе была у них целая столовая, питательный пункт для революционеров. Объяснили, что таких питательных пунктов много сейчас открылось по Петрограду. Откуда, же продукты? Начинали вскладчину, а сейчас – за счёт реквизиций частных складов.

Как одна и та же жизнь в одни и те же минуты и рядом – для одних мучительно тянется, грозит опасностями, взбаламучена, непонятна, а для других всё весело и легко!

Ярко горели лампочки, скатерти, правда, сильно замазанные посетителями, сварили им прекрасного шоколада, подали горячим да с бутербродами, со сдобными булочками.

Отлично поели. Весело разговаривали. Не все. Какое-то опьянение, хотя от шоколада ж не опьянеешь. В несколько часов – вагонное томление, отдача шашек, растерянность и этот шоколад. А что там с чемоданами?

Не хотелось уходить, сидели б и сидели до утра. И – куда же теперь, если не в Ораниенбаум? Кто же властен сменить назначение офицеру?

Возвращались по пустынной улице без студентов – и как будто беззащитные. Вот перевернулось: студент – защита офицеру!

Но никого на Лиговке не было, самый глухой час.

И чемоданы – оказались все целы! Те самые солдаты добродушно доложили. Один из них, поразвитель, спросил:

– Вы куда хотите пройти? – (Не добавил «ваши благородия» или «господа офицеры»).

– Да в какое-нибудь учреждение... – Сами не знали в этом потерянном мире.

– А вы пройдите в Таврический дворец, там наверно вам укажут, что делать.

– Да мы и дороги не знаем, не здешние. И трамваи утром не пойдут?

– Трамвай? – засмеялся. – Их не будет. Да мы вас проводим. Сейчас время такое, а вы офицеры, целой группой вместе идёте, чего подумают. Давайте проводим.

А что ж, вещи опять оставить? Опять оставили.

Пошли. Между тем рассветало.

Около памятника Александру III лежал убитый в штатском, и густо-красный снег под ним.

Улицы безлюдны, но начинали оживляться. Около хлебных лавок выстраивались хвосты.

Перед Таврическим ещё было пусто. Караул впустил без труда.

За столиком подпрапорщик из вольноопределяющихся был очень обрадован:

– Как хорошо, господа офицеры, что вы пришли! Вы поможете нам устанавливать порядок!

Как приятно. Возвращались в нормальное состояние.

Одним предложил помогать какому-то поручику выписывать удостоверения всем

офицерам, кто явится. Другим... А Аксёнову:

– Будьте добры, господин прапорщик! Сейчас явится сюда взвод солдат гвардии Волынского полка. Возьмите их, пойдите на Исаакиевскую площадь, там грабят винный склад. Восстановите порядок, поставьте караул.

Аксёнов потянулся пощупать пустое место на левом боку, как отрезанную конечность.

– Шашку? – догадался подпрапорщик. – Господа, это у нас есть, пойдёмте выбирать.

И в соседней комнате показал им груды сброшенных шашек.

Выбрали, надели. Не своё, не так, а сразу – лучше, людское состояние.

Тем временем взвод уже пришёл и ждал у крыльца. Унтер подошёл с рапортом, правда не «ваше благородие», а «господин прапорщик».

Оказалось – надо далеко, и Аксёнов решил: пять минут шагом, пять минут бегом, всё время подсчитывая ногу, проверяя дисциплину. И что ж? Держались прекрасно, как будто никакой революции.

Так ничего ещё такого страшного.

Грабители разбежались, уже на виду их, завидев через площадь.

Забили склад досками. Поставил караул на час.

239

– А вы, Юрий Владимирович, смелый человек. Как это вы так сразу ко мне поехали? Действительный статский советник! Ведь вы же понимали, что похоже на авантюру?

Бубликову хорошо лежалось в этом кабинете, а через день-два он перейдёт в кабинет Кригера. Проснулся, переполнение довольный своими вчерашними действиями.

Одна настольная лампа всё время горела на столе: рваная ночь, звонки да вскоки.

Да было уже утро, скоро семь.

С другого дивана басовитый смехок Ломоносова:

– Взвесил, конечно.

– Ведь революция что могла сделать – уже всё и сделала: свалила правительство, захватила Петроград. А больше у неё нет сил ни на что. Вы видите, что делается с гарнизоном? Гарнизона сразу нет, остался сброд. Никакого отряда никуда выслать невозможно. И чем мы будем Иванова отражать – я не представляю. В Думе, вы видите, полная растерянность, ни руководства, ни решительности.

Он так по-настоящему не думал, но – проверить.

Ломоносов, так же помятый от лёжки одетым, как и Бубликов, рассматривал лепку на потолке:

– Ну, чего-нибудь же стоит, Алесан Саныч, вся традиция свободолюбия, в которой воспитаны три русских поколения. Она нас как-нибудь и выручит. Я и в генеральском мундире всегда был – запасной рядовой революции. У нас каждый культурный человек на счету, мы не имеем права неглижировать собой. А то, позволительно спросить: на что рассчитывали вы, когда шли сюда и когда меня вызывали?

– А вот, – сам себе удивлялся Бубликов, – какой-то порыв! Я в Думе просто позорился от безделья, как они все там руки опустили. И подумал: ну как не использовать министерство путей сообщения, если мы тут как рыба в воде, а никто больше ничего не понимает?... Вообще, для человеческой деятельности существует только три стимула. Любознательность. Стремление к славе. И стремление к комфорту. Первые два во всяком случае у меня наличествовали.

– А освобожденческая традиция?

– Не уверен. И смотрите, как оказалось легко: просто нахрапом начать приказывать всей России – и слушаются. Россия – привыкла слушаться, наш народ – никуда не годится.

– Но мы пока ещё ничего серьёзного им не приказывали.

– Ну всё-таки! Моя телеграмма пошла по всей России без сопротивления. Во всяком случае, я вам гарантирую, что вы будете у меня товарищем министра. Нынешних обоих

придётся убраться. А вот если что, если что... Так мы побежим с вами через Финляндию, успеем.

Ломоносов невесело:

– Да кто ж не бегал через Финляндию. Не мы будем первые.

Всё опять ходуном внутри.

– Знать бы, насколько серьёзные эти войска у Иванова. Если хороших есть полка четыре – то за полдня раздавят.

Бубликов закричал с диванного валика:

– Но я хочу знать, куда повернул царь? Куда он там едет?

Ломоносов перекатил по валику голову, сощурил цепкие глаза:

– Может, в Москву? Чтобы там укрепиться?

– Не-ет, – ликовал Бубликов, – мой диагноз, что он в панике!

Ломоносов спустил ноги и сидел, наклонив голостриженную голову с оттянутым мощным затылком:

– Надо не дать ему вернуться к войскам.

– Верно! Да что, чёрт возьми, этот Родзянко не мычит, не телится?

От самого поворота царского в Вишере они ему звонили – то не могли его найти, то не могли добудиться, наконец велел заказать с Николаевского вокзала поезд, поедет к царю сам, и вот уже, звонят, – поезд готов, а Родзянко всё не едет, всё через полчаса, – а царский поезд прошёл Алешинку, прошёл Березайку...

Дружно вскочили, пошли в соседний кабинет Устругова, начальника службы движения, откуда была связь по линиям. Устругова они домой не пустили, он спал где-то ещё, а при телефонах сидел неусыпный костлявый Рулевский.

Рулевский только что узнал из Бологого, что оба царских поезда прибыли туда.

– Уже? – метнулся Ломоносов. – Задерживаем сами, никого не спрашиваем! – Схватил линейную трубку.

Бубликов – за городской:

– Нет-нет, всё-таки надо спросить Родзянку, комиссар-то я от него.

И опять, и опять ждать, пока там в Думе ищут, вызывают, советуются. Уже у Бубликова рука затекала трубку держать – ответили: да, царский поезд в Бологом задержать, удостовериться, что телеграмма Председателя передана ему.

Как они боялись, страховались – задержать, и тут же оправдательная телеграмма. Нет, не будет из них революционеров!

И когда это Бревно наконец сдвинется и поедет на вокзал?

Зато Бубликов с Ломоносовым ощущали себя в полёте, какого не знавали в жизни. Или всё уже выиграно, или всё потеряно! Ни умываться, ни чаю пить, – ходили, нервно потирали руки, пылали в четыре глаза: небывалая охота! задерживаем Царя!

Бологое что-то не отзывалось. Вместо того самая верная за эту ночь из дорог Виндавско-Рыбинская доложила: из императорского поезда поступило требование дать назначение на станцию Дно.

Молниеносно: Николай хочет пробраться к армии?!

– Не пускать ни в коем случае!

– Слушаю, будет исполнено.

Хор-рошо! Ещё потирали руки, похаживали, ещё изучали карту, как шахматную доску. Значит, во всяком случае – не на Москву. Движение царя на Москву опасно, хотя и там уже начинается.

И вдруг с Бологого подали телеграмму: «Поезд Литер А не получив назначения прежним паровозом отправился Дно».

Бубликов взбесился! закричал! зачертыхался! затопал! – и к трубке – упустили, идиоты!!!

Туда им: изменники! головы оторвём! расстреляем!!

Но что-то – делать? Что-то делать!

Ломоносов впился десятью пальцами в карту на стене. Цедил, соображая:

– Задержать его прежде Старой Руссы...

Но задержать – кем? чем?

Взорвать мост? Разобрать пути?... Можно попробовать, но Дума совсем перепугается.

Да и кто это будет, как этим на расстоянии управлять?

– А вот что: забьём полустанок товарными поездами. Где два пути – поставить два поезда, вот и всё.

Вызвали Устругова. Пришёл, исправный движенец, вялый от сна.

Бубликов распорядился.

Устругов вздрогнул, очнулся. И, чиновничья душа, отказно глянув на дерзких революционеров, заикаясь:

– Нет, господа, этого не могу... Такое распоряжение... невозможно.

– Что-о?

– Как? Отказываетесь?

Вдруг из угла выбежал длинный худой Рулевский с револьвером – и приставил прямо к переносице Устругова:

– Отказываешься?

И Ломоносов присмехнулся:

– Милейший, придётся подчиниться.

ДОКУМЕНТЫ – 6

Виндавская ж-д, ст. Дно

1 марта (около 8 ч. утра)

Благоволите немедленно отправить со ст. Дно в направлении на Бологое два товарных поезда, занять ими разъезд и сделать фактически невозможным движение каких-либо поездов. За неисполнение или недостаточно срочное исполнение настоящего предписания будете отвечать как за измену перед отечеством.

**Комиссар Государственной Думы
Бубликов**

240

Кажется, никогда так трудно не выбуживали – да ведь не молодое офицерское время. Сперва Родзянко вообще ничего не мог разобрать-понять: смотрел на часы – шестой час?

А лёг в три? И кто затеял требовать, почему? Ах, этот Бубликов неумный.

Этот Бубликов вчера вечером ни с какой целью, просто из революционного озорства, предлагал: не остановить ли царский поезд? Охладил его Родзянко, что цели такой нет.

А сейчас он докладывал, что царь слизнул – так буквально, слизнул: от Малой Вишеры повернул назад!

Вот так-так! – пробуждался Родзянко. – Что ж это могло значить? Намерения Государя переменились?

Но оторванному ото сна так трудно уразуметь, ещё трудней что-нибудь решить.

Да, хотели же повидаться. Куда он?

Что-то надо ответить.

– Вот что. Вы дайте Государю по линии телеграмму, что я прошу у него аудиенции в Бологом. И приготовьте мне на Николаевском вокзале поезд, я скоро поеду.

Но хорошо – сказать. А не только сил нет подняться – а как же ехать самовольным решением? Ведь заругают. И – с чем ехать? Чего просить? на чём настаивать? А если

Государь – ни на что не согласится, тогда как? Надо с коллегами посоветоваться. А они спят хоть и в Таврическом – так тоже не добудишься, не досознаешься.

И сам свалился ещё на полчаса.

Разбудила жена через два: от Бубликова всё звонят, и поезд готов!

Ну, теперь уже время человеческое. Голова прояснела – и стукнуло в неё: да не в Москву ли??... Да не в Москву ли он покатил?

О, конечно! И там объявит свою столицу! И оттуда будет давить мятеж.

А мы – не успели Москвой овладеть.

Плохо!

Надо догонять! Надо удержать Государя от безумия!

Ах, время пропустил!

Скорей умываться! Скорей автомобиль!

Покатил в Таврический.

Под лежачий камень вода не течёт. Надо нагонять Государя! И остановить его от чего-то непоправимого. И окончательно перенять себе правительственную власть, ответственное министерство.

Всё твёрже и увереннее наливался Родзянко. Наконец, пришло время говорить с Государем не только в форме верноподданной просьбы. Подошёл момент и потребовать.

Ему рисовался разговор достойный, независимый, собственно – равный, даже с перевесом сил у Председателя. Разговор, начинающий новую эру в истории России.

По сути он хотел перенять власть из слабых рук Государя в свои сильные – дня пользы родины.

На февральском докладе почему-то так почувствовал, сказал Государю: это я последний раз у вас, больше не увидимся.

А вот и увидимся.

Но в Таврическом ещё никого он не успел созвать, как телефонировал Бубликов: царский поезд упущен! улизнул из Бологого без разрешения на Валдай!

На Валдай? На Старую Руссу? Куда ж это? Ну, хорошо, что не на Москву. И ещё лучше, что не в Ставку.

Ну, держите мой поезд под парами, скоро поеду!

Куда ж он двинулся? Если на Петроград – то уже был совсем рядом, зачем же объезжать?

Тут недремлющий секретарь – у Председателя, несмотря на всю сумятицу в Таврическом, ещё были секретари, и у них столы, и они пробивались через толчею, – поднёс копию записки великого князя Кирилла начальникам царскосельских воинских частей. Поскольку гвардейский экипаж Кирилла приписан к Царскому Селу, то и сам он как такой начальник сообщал остальным, что он, свиты Его Величества контр-адмирал Кирилл, со своим экипажем вполне присоединился к новому правительству – и уверен, что также все остальные царскосельские части присоединятся.

Здорово! Вот это – неожиданная поддержка! Удивил и изумил! Даже развеселил: уж если видные члены династии и сами присоединяются... и ещё других зовут! Наша победа!

Сильно взбодрился Родзянко, совсем другое ощущение. Наша победа! (Да что ж он сам, голубчик Кирилл, не докладывается, прямо?)

А каково теперь ведьме в Царском Селе?

Легка на помине. Комендант царскосельского дворца передавал просьбу государыни принять меры к водворению порядка в Царском Селе и в районе дворца. И ещё такая от государыни просьба: не может ли господин Родзянко приехать к ней этим утром переговорить?

Ну, дура форменная, не представляющая жизни! Как она это себе воображает, что Председатель поедет к ней сейчас с визитом? Как бы это выглядело в глазах революционного Петрограда! Раньше даже не приглашала к завтраку, когда он ездил на всеподданнейшие доклады. А теперь – просила приехать? Как смирилась! А почему потеряла

вчерашний день, и вечер, и ночь, пренебрегла родзянковским советом уехать поскорей? Ждала супруга? А он вот повернул.

Ну, двух депутатов Думы послать на успокоение Царского можно.

Кажется, день начинался неплохо. Рассвело. Вот уже скоро опять, наверно, станут подходить к Таврическому с музыкой и в дурном строю воинские части, желающие приветствовать Думу. И в общем, эти шествия лучше, чем солдатский бунт. Но сегодня пусть служит отечеству горлом кто-нибудь другой – а Председатель поедет на переговоры с царём.

Пора была известить Комитет о своей поездке, договориться о полномочиях, да ехать на вокзал.

Но тут почти вбежал бледный Энгельгардт.

А такая обстановка опять была, посторонняя публика, не всё и скажешь вслух. отошли в сторону.

– Михаил Владимирович, страшная беда! – говорил Энгельгардт, в военном мундире, но не с военным видом крайнего испуга. – Откуда-то пошёл среди солдат слух о каком-то «приказе Родзянко», которого вы ведь не издавали? Будто ваш приказ: всем возвращаться в казармы, сдавать оружие и подчиняться офицерам.

Брови и лоб Родзянки выкатились. Такого прямого приказа он не издавал, но высловлялся именно так, – а как же иначе? А если солдатам не вернуться в казармы и не подчиниться офицерам...? До каких же пор хулиганить?

– Ужасное, ужасное недоразумение! – сокрушался Энгельгардт. – Вы не представляете, что заварилось! В казармах – новые вспышки! Вернувшихся офицеров – прогоняют, грозят убить! Говорят – будет массовое их избиение! И грозятся убить – вас!... Вам небезопасно выходить сейчас к делегациям...

Родзянко почувствовал, как кровь отлила от головы и обьяло её недобрым холодком.

И это была ему благодарность за то, что всех их он спас этой ночью!

ДОКУМЕНТЫ – 7

ПРИКАЗ (1 марта)

Господа офицеры петроградского гарнизона и все господа офицеры, находящиеся в Петрограде!

Военная Комиссия Государственной Думы приглашает всех господ офицеров, не имеющих определенных поручений Комиссии, явиться 1 и 2 марта в зал Армии и Флота для получения удостоверений на повсеместный пропуск и точной регистрации, для исполнения поручений Комиссии по организации солдат...

Промедление явки господ офицеров к своим частям неизбежно подорвет престиж офицерского звания... В данный момент, перед лицом врага, стоящего у сердца родины и готового пользоваться ее минутной слабостью, настоятельно необходимо проявить все усилия к восстановлению организации военных частей...

Не теряйте времени, господа офицеры, ни минуты драгоценного времени!

241

Георгий проснулся не в темноте по будильнику, как приготовлено было, а падал через открытую дверь дальний не прямой свет. И Калиса стояла у кровати, будя его.

Уже ждал его горячий завтрак.

Теперь как по тревоге он вскочил, оделся, сапоги его ещё вчера с утра были начищены. Вот и сидел за столом. Калиса кормила и охаживала его со всей привязанностью, и

угадывала, что бы ему ещё.

Как жена. Нет, не как жена. Нет, именно как жена! – он только теперь узнавал.

Смотрел на её капот в подсолнечной россыпи, смотрел на её добрую улыбку и поражался, и не верил: позавчера ещё сторонняя, какая же она стала своя и близкая. Как успокоительным маслом натёрла сердце его.

Раз и два поймал её руку и с благодарностью окунулся в ладонь.

Эти предрассветные утренние сборы прорезали напоминанием о других сборах: как он уходил на эту войну. Тоже было ещё темно, проснулись они по будильнику. И Георгий сказал Алине: «да ты не вставай, зачем тебе?», зачем ей терять постельное тепло (а сам-то хотел, чтобы проводила). Но Алина легко согласилась и осталась лежать, натягивая одеяло, – то ли ещё заспать горькие часы, то ли понежиться. А он поглотал в кухне холодного и уже в шинели, в полной амуниции, подошёл ещё раз поцеловать её в постели. Так он пошёл на войну и сам не находил в этом худого, хотя в те дни по всей России бабы бежали за телегами, за поездами, визжали и голосили.

И только вот сейчас, когда Калиса отчаянно обнимала его за шею, утыкалась в лацканы колкого шинельного сукна, вышла с ним во двор и ещё на улицу бы пошла, если б это было прилично, – только сейчас он обиделся на Алину за те проводы.

Быстро пошёл по пустынной Кадашевской набережной. Ему надо было до вокзала неизбежно зайти домой. Но сейчас он вполне мог и домой.

Рассвет был туманный. Набережная была видна повсюду, а через реку, ещё разделённую островом, туман уплотнился так, что Кремль не был виден, только знакомому глазу мог угадаться.

У Малого Каменного стал ждать трамвай. Сколько позволял туман – не было видно. Ни в другую сторону.

Воротынцев стоял так, задумавшись, рассеянно наблюдая где дворников, скребущих тротуар, где разносчиков молока, булок. Не заметил, что, как ни долго не было трамваев, никто больше не подходил к остановке.

И сколько б он так простоял, не очнувшись, если б не подошла баба с корзиной бубликов и сочным говором, жалеющим голосом обратилась:

– Ваше благородие! Трамваи ить не ходят. Второй день.

– Как? – обернулся Воротынцев. – Почему?

– А – не знаю. Забунтовали.

– Да что ж это? – будто баба знать могла.

Могла:

– В Питере, говорят, большой бунт. Вот и эти переняли.

– Воо-от что... Спасибо.

Значит, в Петербурге не стихло.

Взять извозчика? Но теперь Георгий понял, что и извозчик за это время ни один не проехал, и сейчас не видно было.

Да что тут ехать? – глупая городская привычка. На фронте такие ли расстояния промахиваются пешком. Он быстрым лёгким шагом пошёл через Малый Каменный мост, и дальше на Большой Каменный.

Теперь, хотя морозный туманец не ослаб, но вполне рассвело, и сам он ближе, – стала выступать кирпичная кремлёвская стена, и увиделись купола соборов, свеча Ивана Великого.

Что же с ним, что в этот приезд он даже не заметил самой Москвы, ни одного любимого места, – всё отбил внутренний мрак.

Зато теперь, пересекая к Пречистенским воротам, он внимательно, освобождённо смотрел на громаду Храма Христа.

Стоит! Стоят! Всё – на местах, Москва – на месте, мир на месте, нельзя же так ослабляться.

Да, действительно, так и не прозвучал и не появился нигде ни один трамвай. Один,

другой санный извозчик прогнали поспешно, в стороне. И людей было мало.

Чуть бы позже – газету купить, узнать, что это где делается, – но киоски закрыты, и газетчики не бегут.

На углу Лопухинского булочная уже торговала, внутри виднелся народ, а снаружи хвоста не было. Булочная Чуева у Еропкинского ещё была закрыта.

А сохранялось радостное ощущение – излечения. От алининых терзаний, претензий. Он освобождён был ехать на своё фронтовое место. Совсем без угнетения всходил на лестницу и только когда дверь открывал – хотя знал теперь, что она в отъезде, что её быть не может, что не вернуться ей так быстро, – всё-таки сжалось на миг: вот сейчас она выскочит с раздирающим криком.

Но не выскочила. Всё же – сразу обошёл комнаты и проверил. И посматривал на все места ножниц: не раздвинуты ли опять жалами?

Но – не было Алины, и все ножницы лежали спокойно соединёнными, как он их оставил, – когда ж это было? Только позавчера?...

Пошёл проверил почтовый ящик – тоже ничего.

Самое главное – не было этой соединённой боли всей квартиры – и всей кожи – и всего сознания, острой боли от каждого взгляда на каждый предмет. Он смотрел вокруг и удивлялся, как всё надрывало его тут позавчера. Как он мог так: мучаться? Сейчас – его не бередило, сейчас он бодро мог побриться, собраться, да и прочь, пока Алина не нагрянула.

А уезжал-то он отсюда – не навсегда ли? Через месяц – великое наступление, и Семнадцатый год по изнурению, по потерям не затмит ли три предыдущих?

Пока расхаживал да брился, думал, написать ли ей письмо? Что-то надо было ей оставить, совсем короткое простое?

Но чувство вины ушло. Но и никакого другого, отталкивающего, к Алине тоже не возникло. Эта несчастная её способность всё превращать в громокипение. И когда ты под снарядами.

За тем прошло может быть и больше часа, туман изник, день обещал ясность. Воротынцев услышал с улицы, несмотря на замазанные рамы, шум многих голосов и обрывки пения.

Подошёл к уличным окнам – не высунуться, плохо видно вниз. Пошёл к окну, смотрящему вдоль Остоженки, – и увидел в спину толпу человек в двести, скорей молодёжи, рабочей, не студенческой: нестройно, но весело они шли в сторону Пречистенских ворот – с красным вроде флагом на палке. Кто-то запевал, не подхватывали, а гулко говорили все.

Из шествия один выскочил, побежал к решётке Коммерческого училища – и там проткнул и рванул кривой полосой наклеенный лист объявления, которого утром в сумерках Воротынцев не заметил. Но лист остался, так и свисла косая отдирка.

Что-то творилось! Если с раннего утра такое шествие? Надо будет газету достать. И пойти прочесть это объявление.

Сбежал вниз. Привратница сказала ему, что никаких газет нет второй день, а в городе – «бушуют».

Быстро пересек Остоженку, подошёл к изуродованному объявлению, близ которого и читателей не было, и придерживая отодранную полосу, что наверно выглядело смешно, прочёл:

«Объявляю город Москву с 1 сего марта состоящим в осадном положении. Запрещаются всякого рода сходбища и собрания, а также всякого рода уличные демонстрации. Требования властей должны быть немедленно исполняемы. Запрещается выходить ранее 7 утра и после 8 вечера кроме случаев...»

Командующий войсками
Московского Военного Округа
генерал-от-артиллерии Мрозовский».

Сколько там было сегодня сна, и как государыня без него держались, ещё при расширенности сердца, слишком требовательно перерабатывающего все события? Ожидая приезда Государя, она поднялась и оделась в пять утра. Как сговорясь, покинули её все, все болезни и боли, которые многомесячно и многолетне приковывали к постели, к кушетке, к возимому креслу, почти не давая появляться ни в обществе, ни в Петербурге. И – не отказывали ноги. И даже – при испорченном впервые лифте, стало для неё вполне посильно подниматься по лестнице к детям на второй этаж.

Страхнулись все оправдательные помехи, не оставляя ей в эти дни никаких уловок, а только проявить всю волю, всю власть. Но теперь-то и оказалось, что – не через кого проявить: все линии её власти обрывались на придворных и не продолжались дальше.

Должны были доложить во дворец по телефону в ту же минуту, как поезд Государя прибудет на станцию. Но в пять часов его ещё не было. Ни в половине шестого. А близ шести доложила камеристка, что передали со станции: поезд Государя задержан, где, кем, почему – неизвестно.

За – дер – жан??! Государь **задержан** в своём отечестве???

Может быть – обстоятельствами? может быть – поломкой? вьюгой? А иначе – что же делала железнодорожная охрана? власти? Ставка, генерал Алексеев?

Генерал Алексеев – как же может допустить такое, со своими главнокомандующими?! Ах, говорила Государю не раз: грязный он мужик, прислушивается к Гучкову, к дурным письмам, потерял дорогу. Посылал Господь эту болезнь, перстом указывал – отодвинуть его. А Государь вернул.

Однако всё, что она могла, – это с выравненным окрепшим телом расхаживать по дворцовым переходам, опираясь на руку дежурного офицера Сводного полка Сергея Апухтина, – и швырять о стены свои отскакивающие вопросы, и смотреть в немые тёмные окна.

Она гневно спрашивала у стен – но внутренне уже подготавливалась, что всё – возможно.

Царское Село было черно, неподвижно.

Не укрыла своей тревоги от рано поднявшейся Лили Ден (она спала близ спальни государыни, чтоб не оставить её одну на этаже). Обошли с ней детей. Анастасия – в жару, старшие две девочки плохи. А наследник, напротив, легче. Но их всех оберегали от внешних известий, оставляя еще в благой доле – лежать в Полутъме с жаром, сыпями и кашлем и совсем ничего не знать, не представлять о творящихся событиях.

Долги и мучительны были эти ночные часы до рассвета, не приносившие никакого разрешения и разгадки.

На память о них императрица подарила Апухтину свой платок в слезах и пепельницу императорского фарфорового завода.

От офицеров железнодорожного полка со станции пришёл слух, что царский поезд где-то остановлен бунтовщиками!

В 8 часов утра, уже в свету, пришёл доложить генерал Гротен: императорские поезда остановлены ночью в Малой Вишере и теперь не успеют раньше полудня. Но и он не знал причин остановки.

Но ещё несколько часов? Но как остаться безопасными эти несколько часов? Уже вчера вечером бунтовал царскосельский гарнизон, уже вчера вечером шла громить дворцы мятежная толпа из Колпина, слава Богу не дошла, может быть из-за мороза. Но – сегодня?

Как не хотелось унижаться перед этими скотами думцами! И перед этим гнусным Родзянкой, говядиной Родзянкой! Но – уже посылала к нему флигель-адъютанта за распоряжением охранять дворцы, – и теперь уже легче был шаг: просить Гротена звонить немедленно Родзянке, спрашивать его – кто и почему смел задержать Государя?? И: может ли господин Родзянко сам приехать сюда для объяснений?

Самый шумный из бунтовщиков становился единственной законной опорой.

И не было от Государя никакой объяснительной телеграммы! У постели больных детей – ничего не знать об отце!

Ах, зачем же он не поехал по прямой линии через Дно, уже был бы тут?

Теперь слать телеграммы наудачу на разные станции по пути следования?

Да, но где же были – великие князья? Свора ничтожествов! Их голоса только и слышны, когда делить доходы удельного ведомства или хором защищать династических убийц. Сейчас они не только не неслись к императрице с помощью, не спешили ей телефонировать или приехать – но все затаились злорадно и ждали развязки. Что делал Кирилл? Ничтожный пустой хвастунишка, всегда она и видела его таким (но подсылал свою жену с выговорами к государыне!), – таким он и сейчас затаился. Ведь его гвардейский экипаж вот тут стоит – а где же он сам? А милый бесхарактерный Миша, весь в руках своей властной жены, даже и на этой войне так и не ставший человеком? А повеса, развратник, опустошённый Борис, только место занимающий казачьего походного атамана, ведь он не в Ставке сейчас, ведь он где-то здесь болтается, где же он? Да перебирая их многочисленные мужские ряды – императрица и вообразить и назвать не могла такого мужчину, который мог бы представить защиту. Все – тряпки и трусы. Один стареющий Павел хоть похож на мужчину.

Но – что же он делал – не делал? – с гвардией? Но – что ж он придумал и сделал со вчерашнего дня?

И ещё доложили: уходившая из дворца ночевать рота железнодорожного полка – не вернулась утром, как должна была.

Охрана таяла.

Хам Родзянко передал, что не может быть речи о его приезде – и ничего он не знает о причине задержки Государя.

Не может не знать, лжёт как всегда.

Но обещал, что пришлёт в Царское Село для успокоения – депутатов Думы.

Этой Думы, которую всю давно следовало разогнать, а кого и обезглавить, депутаты – теперь явятся как ангелы-хранители царской семьи. Боже, до чего всё пало! Боже, куда это всё закручивается!

Тем временем вернулась из Петрограда посланная вчера, по уговору, депутация дворцовой охраны. Им обещали, что Дворца не тронут.

Только стоять им с белыми повязками на рукавах. Повязками, означающими что же? Что эта охрана не враждебна взбунтовавшимся царскосельским войскам!...

Ну, может быть, всё и к лучшему, обойдётся мирно. Но где же Государь? Но как же узнать о причине и месте задержки?

Повелела государыня запросить Ставку, по прямому проводу.

Их разлучили на неизвестно какой срок – и вот она осталась единственной и отдельной старшей. Она знала, что и рост и наружность её – царственные, все манеры прирождённой повелительницы. А хмурый сбор её бровей выражал все её неизбежные 46 лет. Но одна способность отказала ей: угадывать и произносить правильные решения.

Доложили: прямая проводная связь дворца со Ставкой – прервана распоряжением Государственной Думы. Отныне такая связь может идти только через Таврический дворец.

То есть через думское подслушивание, каково! Да будьте вы прокляты, чтоб ещё унижаться до вашего подслушивания!

И – зачем теперь ей Ставка, если Государь неизвестно где?...

243

В штаб Балтийского флота сведения из Петрограда приходили и ночью и утром самые наилучшие: Революция – в полном разгаре. Всем распоряжается президиум Думы во главе с Родзянкой и больше никто, нечто вроде Комитета Общественного Спасения. Разгромлены все полицейские участки! Выпущены все политические арестованные! Порядок постепенно восстанавливается. Только промелькнул очень печальный эпизод на «Авроре»: убили трёх

офицеров. Но морской министр вошёл в соглашение с Думой об охране Адмиралтейства, а Родзянко приказывает также и Главному морскому штабу.

Только из Кронштадта ночью же поступили тревожные сведения о беспорядках там, правда – в сухопутной части гарнизона.

Вице-адмирал Непенин не спал. Верный взятому теперь правилу – обо всём объявлять открыто командам, он решил, что и о кронштадтских беспорядках здесь, в Гельсингфорсе, команды должны узнать от самого адмирала.

В 4 часа ночи он велел разбудить и позвать к себе Черкасского и Ренгартена. Составляли текст бодрого приказа по флоту – укреплять боевую готовность, вместе с тем сообщали и о петроградских новостях и кронштадтских беспорядках. В девятом часу утра приказ уже и разослали.

Непенин был очень твёрд. Вчерашние вечерние три визита декабристов к командующему флотом имели наилучший результат. Старшему из них, князю Черкасскому, Непенин сказал, что на взятой позиции он будет неуклонен. И если, например, Государь пойдёт на такое безумие, как приказ о смещении Непенина, – то адмирал этому приказу просто не подчинится!

Да в нынешней изумительной обстановке и странно было бы действовать иначе!

Ещё и оттого Непенин был так смел и дерзок – в 45 лет он испытывал вторую молодость: всего лишь в этом январе, вот только что, он женился на молодой вдове своего адъютанта, погибшего при взрыве крейсера.

Утром же с опозданием пришли две вчерашних телеграммы Родзянки, где он призывал войска и флот к спокойствию, а Комитет Государственной Думы наладит порядок в тылу.

Непенин вновь вызвал Черкасского и Ренгартена прочесть им свой ответ: что он считает намерения Комитета достойными и правильными.

Но это получалось уже не просто вежливое подтверждение, но открытое заявление, что Балтийский флот фактически присоединяется к новой власти?

Тем лучше!

Тут же, в девять утра, командующий собрал у себя в салоне «Кречета» всех флагманов и капитанов. Прочёл им сведения из Петрограда, прочёл телеграммы Родзянки. И свой ответ.

Затем – и свою телеграмму Государю, что все сведения он объявляет командам и только таким прямым правдивым путём надеется сохранить флот в повиновении и боевой готовности. Более того – передаёт Его Величеству своё убеждение, что необходимо идти навстречу Государственной Думе.

И чем же, правда, не благоразумный совет? И какой же, правда, иной выход?

Черкасский и Ренгартен, стоя у стены, зорко поглядывали на выражения лиц флагманов и капитанов. Разные были выражения, но больше – непроницаемые. Нельзя было ясно определить, кто и насколько действительно принимает, а не просто вынужден подчиниться.

Но коренастый, сбитый Непенин и не спрашивал их согласия. Он обвёл всех тяжёлым взглядом (угадывая это сопротивление), протолкнул твёрдо, негромко, очень внушительно:

– Требую от вас полного повиновения! Всё, господа офицеры.

И ни слова больше. Он и не предлагал им решения. Он всё решение самолично взял и произвёл!

А декабристы чувствовали себя так, что каждый их нерв живёт обострённой отдельной жизнью.

Ренгартен открыл их план капрангу Щастному – и встретил его сочувствие.

И лишь несколькими часами позже этого совещания дошли подробности из Кронштадта – ужасные: там разыгралась полная анархия, адмирал Вирен убит и сброшен в овраг у Морского собора. Убит и адмирал Бутаков. И арестованы многие офицеры!

Какой кошмар! Какое ложное направление невразумлённого народного гнева! При чём адмиралы? при чём офицеры?

Ах, будьте вы прокляты, все Протопоповы и гессенские немки! Это всё – из-за вас! Это вы довели! Столетиями.

Непенин обратился по телеграфу к Родзянке с просьбой восстановить порядок в Кронштадте: тому было близко, отсюда через ледовые пространства – недостижимо.

ДОКУМЕНТЫ – 8

ИЗ БУМАГ ВОЕННОЙ КОМИССИИ

(1 марта)

– Громят погреб Рауля на Исаакиевской площади.

– Сыскная полиция ответила, что ее больше не существует и надо обращаться в Государственную Думу.

– Фонарный – погром. 8 часов утра.

– Стреляют из пулеметов в Зимнем дворце по набережной и по площади. наших совсем нету...

– Из достоверного источника мы узнали, что к Зимн. дв. подано несколько автомобилей с целью удрать из последнего. Просим принять надлежащие меры для задержания последних.

Подпор. Пашкевич

– Угол! Жуковской и Лиговской – разгром подвалов Соловьева. Отстояли один погреб, а один разгромлен. Пьяные солдаты по трое ходят, один караулит – все пьют. Квартыры не трогают, спрашивают – где хозяин.

– В Спасо-Преображенском лазарете есть «больные» офицеры, не примкнувшие к движению, и укрывшийся генерал Акимов – ярый сторонник шаря. Оружие их хранится в лазарете... Необходимо подчинить их новому правительству.

– На углу Кировой и Воскресенского патрули просили прислать поддержку, т. к. солдаты грабят магазин.

Отряд Красного креста лейб-егерей.

– По приказу временного правительства Николай Степанов, Лазарь Израилевич и Александр Ротерштейн уполномочены офицерскими правами для защиты населения от насилий и грабежей. Солдаты обязаны во имя общего успеха дела помогать предъявителям сего.

– Заведующему гаражом и складами Гвардейского Экономического общества. Имеющееся в погребах вино выпустить из бочек.

Председатель Военной Комиссии

– Предписывается прапорщику Пикоку отправиться в Красное Село и передать нижним чинам своего полка, еще оставшимся в Красном, чтоб они до распоряжения полка не двигались и с особым усердием немедленно приступили к занятиям.

Председатель Военной Комиссии Энгельгардт.

– Нужна военная охрана Зимнего дворца и Эрмитажа. Там правительственных войск нет, я сам обошел один в сопровождении коменданта весь дворец. Сам комендант просит охраны.

Крепко и долго поспал Гиммер на частной квартире, позавтракал на целый день вперёд, и с отличной головой шёл к Таврическому, шурясь на разнообразные, красные и розовые, кто какие достал, банты, повязки и знаки на людях, идущих порознь или уже построясь в манифестацию, и все куда же? – к тому же Таврическому.

Всё казалось прекрасно, только – где генерал Иванов? Он всё может накрыть и уничтожить.

Итак, прошло уже два полных дня революции, начинается третий, а никто не беспокоится о формировании власти, – каково! Во всяком случае, в кругах Совета заняты суетным верчением вокруг текущих разрывающих вопросов. Но Гиммеру – не пристало упустить вопрос о власти или недостаточно осветить для товарищей. Вопрос о власти был один из коньков его, изучен заранее, и сейчас он великолепно охватывал его головой, лучше, чем глазами – утренние революционные улицы ещё и в десять утра мглистого города.

Итак, снова и снова: абсолютно ясно, что демократия, даже оказавшаяся хозяином положения в столице, даже и возглавленная авангардом циммервальдски-мыслящего пролетариата (как концентрат этого пролетариата Гиммер ощущал себя), – не должна брать власть в данной обстановке, но для успешного разгрома царизма, но для установления широкой политической свободы – передать власть в руки цензовой буржуазии. Однако это значит передать её в руки классовых врагов? Так надо передать на определённых условиях, чтобы врагов обезвредить. Надо поставить буржуазию в такие условия, чтоб она стала ручной, чтоб она не могла своею властью помешать дальнейшему развёртыванию и продвижению революции. То есть, короче, надо **использовать** врагов для своих целей.

И этот солдатский гнев, который сегодня с утра вероятно ещё больше разыграется, нежелание возвращать оружие, – эта стихия придётся очень на руку. Она верней всего и обессилит буржуазию.

Тем временем пробравшись через толчею Таврического в советское крыло, Гиммер увидел Капелинского. Со своим быстро-хитреньким и отзывчивым видом тот ему сообщил:

– Ты слышал? Царский поезд задержан железнодорожниками в Бологом.

– Ах, вот как? Попался царишка?

Новость была превосходная, но Гиммер не придавал ей слишком большого значения. Вопрос об отмирающей династии не должен заслонять вопроса о живой власти. Надо думать – кто и на каких условиях сформирует правительство.

Тут, рядом с Советом, собирались теперь домочадцы членов ИК, помогали создавать делопроизводство, из других комнат Думы тащили и пишущие машинки. Отвлекая Гиммера от важных мыслей, ему хотели подсунуть какие-то бумаги разбирать, но тут же, ещё раз отвлекая, передали ему, что его искал и очень хочет видеть Керенский.

Керенский стал за два дня уже такой важной фигурой, что не заставить его ждать, надо сходить. Гиммер снова нырнул в толпу, пробиваясь к Керенскому на думскую половину.

Там было всё же попросторнее и потише. У некоторых комнатных дверей стояли юнкера и преграждали доступ. В одной из таких защищённых комнат оказался и Керенский, хотя всё равно и в ней народу порядочно.

Керенский сидел – нет, был погружён, нет, упал – в мягкое кресло с толстым подлокотником, – упал, так что не поджаты были его ноги, а весь он составлял прямую от лакированных, но отоптанных ботинок до короткого бобрика на голове, откинутой на спинку. Одна рука неизвестно где была, а другая через подлокотник свисала плетью, показывая всю изнеможённость хозяина, впрочем выраженную и лицом.

Керенский и не пытался менять эту позу ни для Соколова, подсунувшегося к нему на стуле, чтоб легче говорить, ни теперь для подошедшего Гиммера. Он ощущал, что ему простят теперь и всякую позу, и дослышат негромко высказанные слова, и наклонятся к нему, сколько это потребуется. Вот, объявил он Гиммеру, как уже прежде Соколову:

предлагают вступить в образуемый цензовый кабинет. Парадокс! Что делать? Хотелось бы знать ваше мнение, вообще ядра Совета.

Очень важно! Очень серьёзно! Это, действительно, был не пустой вопрос, он касался самого главного! Гиммер пошёл поискать стул, из-под кого-то высвободил, принёс и подсел, как и Соколов, к Керенскому тесней, как к больному. Тот всё так же был вытянут павшей палкой, и так же плетью свисала неподвижная рука.

Вот ведь! Всего три-четыре дня назад на квартире у Соколова Керенский не удосужился выслушать лучшие теоретические прозрения Гиммера – а никуда не ускакал, всё равно сам же теперь и спрашивает. А Гиммер очень любил, когда его спрашивают о каком-нибудь принципиальном вопросе.

Так вот: сам Гиммер – решительный противник и того, чтобы власть приняла советская демократия, и того, чтобы она вошла в коалицию с буржуазными кругами. Кем стал бы официальный представитель советской демократии в буржуазно-империалистическом кабинете? Он стал бы заложником, и только связал бы руки революционной демократии в проведении её поистине грандиозных и по сути международных задач.

Лоб Керенского ещё более омрачился, взгляд его потускнел, потерял интерес. Не шевелились ни губы, ни пальцы. Новознакомому было бы не понять – слышит ли он ещё. Но Гиммер хорошо его знал и знал, что – слышит.

Однако, изячно повернул он теперь. Считая невозможным вступление Керенского в кабинет Милюкова в качестве представителя революционной демократии, он находит объективно небесполезным индивидуальное вступление Керенского как такового. Как свободной личности. Как человека, формально не связанного ни с одной социалистической фракцией. (Собственно, и Гиммер с таким же успехом мог бы войти в кабинет, но ему не предлагали). А советские круги таким образом имели бы в правительстве заведомо левого человека. Керенский не давал бы правительству зарваться в реакционно-империалистической политике...

Если и оживился утомлённо-созерцательный взгляд Керенского, то лишь очень немного, только малый свет от потухлости, чтобы теперь иметь силы поискать, кликнуть ещё какого-нибудь советчика, и не обязательно из ядра Совета, да и кто проведёт это разделение, где ядро, где не ядро?

Гиммер горько усмехнулся (больше – внутренне, сам себе): конечно, Керенскому хотелось не такого ответа. Конечно, Керенский хотел быть **министром**. Но при этом честолюбиво (да и осмотрительно) хотел он сохранить роль посланника демократии в первом правительстве революции.

Но по всем теоретическим основаниям это было полностью невозможно!

Гиммер с Соколовым пошли на заседание Исполнительного Комитета. Пригласили с собой Керенского – он и не тронулся, он уже считал такую роль для себя недостойной.

Он остался всё в том же утомлённо-изячно-тусклом погружении. Размышлении. Предположении.

245

(из бюллетеня петроградских журналистов)

ПАДЕНИЕ АДМИРАЛТЕЙСТВА

ВСЕ политические заключённые, томившиеся в казематах Петропавловской крепости, в том числе и 19 солдат, выпущены на свободу.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК перешёл в революционный лагерь со всем офицерским составом во главе.

...Мало было вчера офицеров в революционной армии. Сегодня их уже много. Здесь и прапорщики, и поручики, есть капитаны, полковники и даже генералы... Чувствуется настоятельная потребность в организации воинских масс, исполненных лучших стремлений. Офицеры приглашаются оказать всемерное содействие в этом тяжёлом труде...

Несмотря на глубокое различие политических и социальных идеалов членов Государственной Думы, вошедших в состав Временного Комитета, в настоящую трудную минуту между ними достигнуто полное единение.

Граждане, организуйтесь! – вот основной лозунг момента.

В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ЗАЛЕ воинские чины отдельных частей формируются в батальоны, получают вооружение и занимают свои места в частях города согласно установленной диспозиции.

АРЕСТ А. Д. ПРОТОПОПОВА ... В отдельной комнате между ним и Керенским произошла беседа. О содержании её мы сообщим завтра.

СИБИРСКИЕ ПОЛКИ. Депутаты от двух сибирских полков, прибывших на Николаевский вокзал по пути на фронт, явились в Таврический дворец с предложением своих услуг Временному Комитету. Предложение было принято с восторгом.

Комиссары Комитета Государственной Думы вместе с представителями Исполнительного Комитета петроградских журналистов отправились 1 марта в Петроградское телеграфное агентство с целью взять в руки осведомление провинции. Директору агентства Гельферу предъявили приказ. Немедленно же во все провинциальные газеты переданы циркулярные телеграммы с изложением событий за последние три дня. Редакторы агентства и весь состав машинисток оставлены на местах. Перемена принята в агентстве весьма радостно.

...Список арестованных прислужников старой власти растёт с каждым часом... Полагают, что среди арестованных за последние дни могли оказаться лица, в аресте которых Временный Комитет Государственной Думы не видел надобности.

ОТКРЫТИЕ БАНКОВ – Совещание руководителей банков и частных кредитных учреждений постановило: ввиду спокойствия населения открыть все банки.

ВОЗЗВАНИЕ группы СОЗНАТЕЛЬНЫХ СОЛДАТ...констатирует, что к прискорбию некоторыми лицами разгромлены лавки и разрушены помещения. Группа сознательных солдат считает, что эти эксцессы дискредитируют великое движение к освобождению народа. Воззвание обращается к солдатам с просьбой не принимать участия в разгроме магазинов и винных складов, наоборот содействовать убеждению громящих...

СОБСТВЕННЫЙ КОНВОЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПЕРЕШЕЛ НА СТОРОНУ РЕВОЛЮЦИИ! – Сегодня в здание Таврического дворца явилась команда Собственного Его Величества Конвоя. Конвойцев встретил М. А. Караулов, обратившийся к ним с приветственной речью. Он призвал их примкнуть к восставшему народу для защиты своих интересов. Конвойцы встретили речь Караулова громовым «ура». По предложению депутата Караулова команда немедленно отправилась в казармы для ареста офицеров, оставшихся верными кровавому режиму.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. Запасы муки в Петрограде увеличиваются благодаря прибывающим вагонам.

АРХИВ ДУБРОВИНА. В квартире небезызвестного председателя Союза русского народа доктора Дубровина произведен обыск. Все архивы и дела в огромном количестве доставлены в помещение Таврического дворца.

КУДА ДОСТАВЛЯТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ

...Распространяемые с провокационной целью слухи, будто обыскиваются квартиры частных лиц, из домов которых не стреляли, лишены всякого основания...

В ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ ВОШЛИ СОЛДАТЫ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОСКВЫ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ...готовы в любой момент стать на сторону Временного Комитета...

ПОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ заготавливает то, без чего дороги существовать не могут. А потому призываю вас к спокойствию и усиленной работе. Да поможет Бог Временному Комитету Государственной Думы вывести Россию на путь славы и победы...

Инженер Чаев

В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ – **ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА АНГЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ** Французский и английский послы вступают в деловые отношения с Временным Комитетом Государственной Думы, выразителем истинной воли народа и единственным законным временным правительством России.

246

Ставка не прервала связи бунтарского Петрограда с Действующей армией – и всю ночь и утро сотни телеграфистов, железнодорожных и военных, ловили и ловили поток бунтарских посланий и воззваний, передавали их по службе и не по службе, – и мятежный поджог разливался и растекался.

Но среди неведомых выскочек и поручиков также и всеизвестный Родзянко, на всю Русь распоясавшись, слал и слал свои телеграммы – то вообще в воздух, никому или к жителям, а то опять прямо Главнокомандующим фронтами, как будто стоящая над ними инстанция, – и сообщал о взятии власти своим комитетом, и уже указывал, что делать армии.

Как это всё может быть? Как он это смеет без воли Государя? И почему не одёрнет Родзянку Ставка? Хорошо, на Бубликова не обращать внимания, на Грекова не обращать внимания, – но Родзянко? Ведь он же занимает государственный пост?!

Но Ставка – всё утро продолжала молчать, как будто ничего не знала о самозваной власти в столице.

И в одиннадцатом часу утра генерал Эверт сам сел к аппарату, назвал себя! и вызвал Лукомского. По должности, по равным правам и потому что ровесники, тоже шестьдесят, – он мог бы вызвать и Алексеева, но не позвал, поскольку тот сейчас замещал и Верховного. Эверт думал – может быть Алексеев всё-таки подойдёт сам.

Однако не только не подошёл Алексеев, а и Лукомский заставил себя изрядно подождать. У Эверта терпение лопнуло, он подставил вместо себя Квечинского. Потом уже объявился сам. Назвал номера двух родзянковских телеграмм, вероятно и Ставка получила

их?

– Сначала я предполагал ничего не отвечать. Но это может иметь вид, как будто я принял их к сведению, или, ещё хуже, к исполнению. Поэтому, думаю, лучше ответить. Вот так: армия присягала своему Государю и родине. И её обязанность исполнять повеления своего Верховного вождя и защищать родину. Хотел бы знать мнение Михаила Васильевича. В трудные минуты нужна наша полная общая солидарность.

Своим тяжёлым крупным корпусом, и решимостью, и тяжёлыми словами он как бы, со своей стороны провода, перевешивал всю Ставку вместе с маленьким: Алексеевым и Лукомским. Ясней, прямей, даже грубей не мог он спросить: начальник штаба Верховного признаёт ли необходимым выполнять **присягу**, данную Государю?

Но Лукомский не пошёл спрашивать Алексеева, а взялся пространно отвечать сам:

– Да, генерал-адъютант Алексеев – (не Михаил Васильич!) – получил сегодня одну телеграмму от Родзянки, и смысл её тот, чтоб армия не впутывалась пока в дело. Генерал Алексеев хотел ответить, что подобными телеграммами вносится совершенно недопустимое отношение к армии и что необходимо посылку таких телеграмм прекратить.

Ну всё-таки, молодец Алексеев, не потерял разум. Темноватый, сощуренный мужичок, а не сдаётся.

– Однако, – продолжал Лукомский, – эту телеграмму генерал Алексеев пока не послал. Да почему ж?

– ...Он хотел прежде выяснить, прибыли ли в Царское Село Государь и генерал Иванов.

При чём тут одно с другим? В огороде бузина, а в Киеве дядька.

– ...А получить этих сведений до настоящего времени мы не можем потому, что по распоряжению Думы нам не дают прямого провода с Царским Селом.

Что-о? Да это просто мятеж! От штафинок?? У Эверта сжимались огромные кулаки. Как же Алексеев это может терпеть??

Видимо, ещё что-то есть. Ещё что-то, они не объясняют.

Или – уязвимость Государя под самым Петроградом? Вот разве.

– ...Генерал Алексеев вчера послал телеграмму генерал-адъютанту Иванову об успокоении, наступившем в данный момент в Петрограде, и просит доложить Государю, что было бы желательно избежать применения открытой силы.

Успокоение?... А как же Бубликов, Греков? Им уже снесли головы? А задержка военных эшелонов? А самочинная власть Родзянки вместо законного правительства? Чего-то здесь Эверт не знал или не понимал.

Между тем добавлял Лукомский, что начинаются беспорядки в Москве и в Кронштадте.

Так тем нужнее действовать! Какое тут рассуждение? – присяга!!

А Лукомский добавлял дальше, что генерал Алексеев подписал телеграмму Его Величеству с просьбой издать акт об успокоении населения. Но пока за отсутствием связи...

Ну, может быть... Чего-то Эверт не ухватывал.

– ...Ваше предположение об ответе Родзянке я сейчас доложу генералу Алексееву, который к несчастью чувствует себя плохо.

Ну вот, остался в Ставке один – и раскис.

Успокоение?... Наверно, правильно.

Эверт объяснил, что и его предлагаемый ответ Родзянке тоже имеет в виду необходимость скорейшего успокоения.

Желательно вот эту телеграмму об успокоении, произошедшем в Петрограде, тоже получить.

Пожелал Алексееву выздоровления.

И отошёл от аппарата тёмный, в растерянности, меньше понимая, чем знал до разговора.

Конечно, главное – сохранить порядок.

Но как же быть с этим потоком петроградских телеграмм? Скрывать их от населения Минска? Или, опять же для успокоения, публиковать?

Не догадался спросить.

Только часа через два передали Эверту телеграмму Алексеева Иванову № 1833, отправленную сегодня в час ночи.

Эверт стал читать – и ещё более изумлялся. Тут говорилось о *полном спокойствии*, наступившем в Петрограде, где только что был анархический ад (за эти часы подтверждённый и офицерами, вернувшимися в Минск из отпуска). И упоминалось ещё какое-то иное воззвание родзянковского комитета о незыблемости монархического начала в России. Но сколько ни пересматривал Эверт полученные депеши и поручил Квещинскому искать – никакой даже тени такого возвания они нигде не нашли. Могло ли оно проминуть Минск?

Был ли Алексеев введен в заблуждение?

Или: с Государственной Думой тоже не надо ссориться?

Нет, чего-то тут решительно не понимал обескураженный Эверт. И не было сверху ясных приказаний.

Правильно всегда говорилось: политика – не дело армии.

Не может генерал-солдат вести свою политику.

247

Дворцовый комендант Воейков был очень самополный человек, сам для себя достаточный: наполненный своими личными успехами, устройством, постройками, миллионами (недавно продал выгодно минеральный источник «Кувака» в Пензенской губернии) и всегда исключительно уверенный в собственном мнении. По старческой слабости своего тестя графа Фредерикса Воейков стал главным лицом в свите, и поминутно давал чувствовать это всем остальным. Теперь и ближайшие свитские, едущие в поезде А, проснясь и видя по просвечивающему солнцу странное направление поезда, спрашивали у Воейкова, проходившего коридором, и получали загадочно-раздражённый ответ: «Не задавайте вопросов».

Местность за окном проходила совсем неизвестная, не видели такой ни в одной из регулярных поездок. От этой новизны свита тревожилась теперь ещё больше. Тут от Граббе узнали, что идут кружным путём на Дно, чтоб оттуда в Царское по прямой могилёвской линии. И ещё от своих сопровождающих железнодорожников узнали, что паровозная бригада отказалась меняться в Бологом, чтоб не задерживать императора, но взялась везти его до Дна. Теперь ехали по линии, не готовой к пропуску императорских поездов, ещё медленнее обычного, и сами станции узнавали о них едва ли не на последнем перегоне. Такое несогласованное движение тем более грозило задержками. Свита шепталась о неизбежности уступок, неужели Государь не согласится на ответственное министерство, ну что ему стоит? А иначе, – сказал адмирал Нилов, – все будем висеть на фонарях.

Воейков, в шинели, крупной решительной фигурой соскакивал на каждой станции. В Валдае ему поднесли телеграмму от Родзянки и потребовали расписки для телеграфного ответа.

Прочтя телеграмму, вскочивши в поезд и снова никому из свиты – Воейков пошёл будить Государя.

А Государь, долго не спав после Малой Вишеры, тяжело забылся следующие часы, проспал разворот в Бологом.

Сейчас не в миг и вспомнил всё.

К Воейкову вышел в халате.

И так же не сразу мог себе уяснить смысл подаваемой телеграммы: от Родзянки?... с просьбой аудиенции?

Как-то – мысли у него не было о возможности прямого и скорого разговора с Родзянкой. После последней враждебной февральской аудиенции, когда толстяк надменно пытался поучать своего Государя, – и вот снова с ним встретиться?

Да ведь и Дума распущена позавчера, Думы – нет.

Думы – нет, но Родзянко – есть. Из Петрограда, окруженного в бунтах, он естественно возвышается самой солидной крупной фигурой. И даже больше того: он там самозванный комитет создал, чуть ли не правительство? Он чуть ли не перенял правительственную власть? Но обстановка так переменялась, что – отчего же? Пожалуй да, можно будет его принять.

Это даже хорошо, что он обращается. Это даже выход.

Да как-то надо уладить. Министерства кроме главных – военного, внутренних дел и иностранных – можно, пожалуй, им и уступить. Отчего уж, трав да, быть таким неуступчивым? Когда со всех сторон решительно все хотят одного и того же – это начинает угнетать.

Реально императорское правительство сейчас не существует – так естественный момент и заменить.

– Хорошо, вызывайте Родзянку – куда же? На Дно. Я согласен его там принять.

И Воейков отправил согласие.

Ехали дальше, к Старой Руссе.

И тут Государя стало разбирать, разбирать сомнение: не слишком ли он быстро согласился – с распаху, со сна? Он так легко согласился, – и вот через несколько часов встретится с Родзянкой – прежде чем встретится с Аликс? А – что скажет она? А – как: она отнесётся, что он такую уступку сделает без её совета?

Ну, выход есть: разговаривать с ним твёрдо.

Ах, Господи, в такие дни – и он оказался оторванным от Аликс!

Как – не ошибиться сейчас?

Тревожно перебирал Николай цепочку у шеи своей, – цепочку образка, повешенного женой.

Это – он так страдал, а как же – она страдает? А каково же ей там сейчас, рядом с бушующей столицей?

И на запутанном его маршруте Аликс не могла найти его никакой телеграммой.

О Боже, как разбалывалось, как разрывалось сердце после этого несчастного вишерского поворота, удлинившего путь!

Хотя нет, не попустит Господь: Иванов – уже там, и она под его защитой.

А поезд – небыстро постукивал по боковой тихой, мало-езженной линии. Все должностные лица – жандармы, охрана, были на местах, и опять начинало не вериться в опасность. Углублялись надежды, что всё обойдётся, – и сегодня к ночи он достигнет мирного круга своей любимой семьи.

Оттого что сбился маршрут, Государь не получал сегодня никаких телеграмм из Ставки. Да и вчера их было не густо. Он понимал, что в Петрограде – мятеж, но – ничего по сути, подробно.

Что казалось Николаю благодеянием в начале их поездки – отсутствие штабной связи, приносящей грозные депеши, – уже щемило и недостатком: семья была в острой опасности, и он не имел права так поздно и бесполезно всё узнавать.

На остановках он не выходил прогуливаться. Смотрел из вагонного окна. На ходу пытался читать, но не укладывалось в душу.

Подошло время общего завтрака. Перекидывались самыми ничтожными замечаниями, пытались шутить над Мордвиновым. Но и самые выдержанные лица не могли скрыть тревоги, и немо воспарялась ото всех к Государю мольба: уступить. Он чувствовал эту мольбу.

Вскоре после завтрака пришли в Старую Руссу. На платформе – толпа, и много монахинь. Народ снимал на морозе шапки и кланялся синим вагонам с орлами.

Тут Воейков получил и принёс сразу три телеграммы – все через Ставку транзитом, но ни одна прямо от Алексеева, почему-то начальник штаба ничего не докладывал своему Верховному сам. И все три телеграммы были не о главном – не прямо о Петрограде, как будто расстроилось зрение, и главное пятно расплылось.

Русский доносил в Ставку о перерыве всякого сообщения между Петроградом и Финляндией, отчего он уполномочил командующего тамошним корпусом располагать всеми сухопутными войсками от финского перешейка.

Морской министр Григорович, не имея прямой связи с Его Величеством, доносил в Ставку, что им получена телеграмма от коменданта Кронштадта о начале волнений вчера вечером.

И наконец наморштаверх (начальник морского штаба Верховного Главнокомандующего) передавал телеграмму от командующего Балтийским флотом, что с 4-х часов утра сегодня прервано всякое сообщение с Кронштадтом, где убит командир порта и арестуются офицеры.

Главное пятно не давалось глазу, но и от того, что по краям его, – холодило сердце.

Таким кружным путём – Государь получал столь сбивчивые сведения!

Чем больше он их получал, тем меньше понимал, что творится.

А Алексей почему-то не давал ясной сводки.

248

Чувствовал себя генерал Алексей совсем неважно, хуже вчерашнего. Но не было покоя и ночью. Да от этих забот он и разбалчивался.

В ночном бессонном ворочаньи ещё ясней ему увиделось, как это было бы благотворно: если б Государь признал родзянковский комитет общественным министерством, и всё бы сразу успокоилось, никакого конфликта, и армия терпеливо и без помех готовилась бы к наступлению. И оставалось только – убедить Государя.

А утренние телеграммы ещё добавили. Пришла из Москвы от Мрозовского: что со вчерашнего дня бастуют заводы, рабочие манифестируют, разоружают городских, собираются толпы – и нельзя дальше умалчивать о петроградских событиях.

И тем более спешить о них разъяснить, раз в Петрограде успокаивается! Ночные сведения из главного морского штаба подтверждали, что в Петрограде порядок понемногу восстанавливается, и войска всё более подчиняются Думе, однако необходимы решительные акты власти, чтоб удовлетворить общественное мнение и так противопоставить пропаганде революционеров.

Адмирал же Григорович, такой же сейчас больной, как и Алексей, не имея сообщения с Царским Селом, чтобы прямо доложить приехавшему Государю, пересылал через Алексева телеграмму кронштадтского коменданта, что со вчерашнего вечера гарнизон Кронштадта волнуется, и некем его усмирить, нет ни одной надёжной части.

Так всё сходилась! И потому, что в Петрограде наметилось успокоение, и потому, что в Москве и Кронштадте подымались волнения, – нужна, нужна была уступка Государя обществу! И Алексей всё более чувствовал бремя убеждения на себе: тем более он должен был убеждать Государя, что тот в пути многих сведений не имел.

И даже чая не попив, начал раннее утро Алексей с составления уговорительной телеграммы Государю, чтоб успела она вскоре после его прибытия в Царское и сразу дала бы ему правильную ориентировку. Он привёл полностью тревожную телеграмму Мрозовского. Предупредил, что беспорядки из Москвы несомненно перекинутся в другие центры России. И тогда окончательно будет расстроено функционирование железных дорог, армия же губительно останется без подвоза, тогда возможны беспорядки и в ней.

Так звено за звеном неумолимо цеплялись, и Алексей уже ясно видел – и писал: революция в России станет неминуема, и это будет знаменовать позорное окончание войны со всеми тяжёлыми последствиями. И нельзя требовать от армии, чтоб она спокойно

сражалась, когда в тылу идёт революция, – особенно при молодом офицерском составе с громадным процентом студентов. Поведут ли они свои части в таком столкновении? Прежде того – не отзовется ли на волнения сама армия?

Так и писал Алексеев в разрастающейся телеграмме: «Мой верноподданнический долг и долг присяги обязывают меня доложить всё это Вашему Императорскому Величеству». Пока не поздно – принять меры к успокоению населения. Подавлять беспорядки силою – привело бы и Россию и армию к гибели. Надо спешить поддержать Думу против крайних элементов. Для спасения России, для спасения династии – поставить во главе правительства лицо, которому бы верила Россия. И в этом – единственное спасение. Другие подаваемые вам советы – ведут Россию к гибели и позору и создают опасность для династии.

Давно уже так убедительно не составлял Алексеев ни одного письма. Испытал большое душевное облегчение, когда написал.

И – скорей отправлять. Прямой связи с Царским Селом нет, но передать через Главный штаб, такую телеграмму в Петрограде никто не задержит.

Передали. И попил генерал Алексеев чайку, подкрепился. И тут же пришла какая-то случайная дикая телеграмма, почему-то из НовоСокольников: что литерные императорские поезда повернули из Бологого на Дно и в данное время прошли Валдай.

Что такое?? Это почему??

Ничего нельзя было понять. И никаких сведений Государь не послал ни из Бологого, ни из Валдая, – куда же он ехал? Зачем?...

Но и часу не прошло, как донесли в Ставку перехваченную телеграмму всё того же знаменитого Бубликова, разосланную по станциям Виндавской дороги: двумя товарными поездами закупорить разъезд восточнее станции Дно и сделать невозможным движение каких бы то ни было поездов, – то есть несомненно императорских.

И подписано: комиссар Комитета Государственной Думы, член Государственной Думы...

Государственная Дума – мятежно останавливала императорские поезда?...

Родзянко?...

Зря послушался Кислякова вчера??

И как раз к этому, на горячее сомнение, – Эверт вызвал Ставку к прямому проводу. Алексеев по болезни вообще не становился к аппарату, не пошёл, и ничего важного от Эверта не ждал, – а вышло важно. Принёс Лукомский неприятную ленту. В пределах допустимого генеральского этикета тот – что же? подвергал сомнению верность Алексева присяге??

Чудовищно! Именно движимый долгом присяги и давал Алексеев свои лучшие советы Государю.

Да что на Эверта обращать внимание – он бы лучше не струсил вести наступление в 1916 году. Недостаточно коснувшийся общего образования и в грубой прямолинейности военной среды, Эверт полагает, что проще всего – подавлять беспорядки военной силой. И вот – рвался оскорбить Родзянку.

Всего часом раньше – не обратил бы Алексеев внимания на Эверта. Но сейчас так пришлось, после этой жгуче-дерзкой попытки Бубликова остановить императора, – и всё именем Государственной Думы?

И то, что, оказывается, неясно зрело в Алексееве ночью и мешало ему спать: не слишком ли он вчера поддался Родзянке? не уступил ли ему много? – и те наброски телеграммы к нему, которые Алексеев с утра уже намечал неуверенным карандашом, – теперь подтолкнулись укором Эверта.

Хотя в остальных четырёх главнокомандующих Алексеев не предполагал такой крайности настроения, однако и выступка Эверта обнажала спину Ставки, лишала её опоры говорить ото всей армии.

Да, да! – ясно: необходимо несколько осадить Родзянку. Не повреждая открыто ещё хрупкому думскому комитету. Но – лично Родзянку, чересчур уже занесшегося.

И Алексеев стал доправлять набросок в телеграмму, погнав своим энергичным бисером.

Высшие военные чины и вся армия свято исполняют долг перед царём и родиной согласно *присяге*, – напоминал он Самовару. И надо оградить армию от влияния, чуждого присяге, – так и повторялось большое слово. Между тем ваши телеграммы ко мне и к главнокомандующим и распоряжения, отдаваемые по железным дорогам театра военных действий... Думский комитет не считается с азбукой управления военными силами – и может повести к непоправимым последствиям... Перерыв связи между Ставкой и Царским Селом... И центральными органами военного управления... Литерные поезда не пропускаются на Дно... Прошу срочного распоряжения о пропуске литерных поездов... И чтобы никто не делал помимо Ставки никаких сношений с чинами Действующей армии... И чтобы сношения Ставки не контролировались вашими агентами из младших чинов... Иначе я вынужден буду...

Поток упреков легко строился, он был верен. Но где был довод военно-убеждающий, тот, который окончательно уставляет весы в достойное положение? Только что рождавшейся народной свободе и начавшемуся успокоению – не мог же Алексеев угрожать применением грубой военной силы. Он мог сердиться лично на Родзянку, но не так, чтобы подорвать его власть, единственно спасающую сейчас столицу.

И оставалось закончить слабою ноткой, что это поведёт к нарушению продовольствования армии и даже голоданию её. И пусть Родзянко сам судит о последствиях голодания армии.

Угрозить, оказывается, было нечем. Голодом армии.

Не аптекарские были весы, но с теми чугунными платформами, на которых взвешивают возы с рожью, – у них была невозвратимая утягивающая сила.

Телеграмму эту – послал. Больше для очистки души и для осадки родзянковской гордыни. Но не могло измениться решение – искать всеобщего примирения, единственный разумный выход.

А вопрос о посланных войсках всё неумолимо нависал: что же с ними делать? Остановить их, как разумно видел Алексеев, – он не смел своим решением. Но и откладывать решения было нельзя, потому что войска стягивались, продвигались, и вот-вот могло произойти непоправимое столкновение. Но никакое внешнее событие не приходило на помощь. А Государь – всё далее путешествовал, всё более неуловимый для совета, в том числе и для посланной такой убедительной утренней телеграммы.

Распорядился – звонить во Псков и узнавать об императорских поездах, они там ближе. А Псков сообщал, что в Петрограде – порядок не восстанавливается, ещё добавились к мятежникам гарнизоны Ораниенбаума, Стрельны, Петергофа. Аресты продолжаются. По Петрограду шляется масса бродячих нижних чинов, много офицеров убито на улицах, срывают погоны. Много разбитых магазинов.

Ещё поворачивалось по-новому... Какое противоречие Родзянке! Кому же верить? *Полное спокойствие* начинало выглядеть призрачно. Уже голову больную ломило, не рад был Алексеев, что и узнавал.

А между тем – уже обещана была Эверту вчерашняя успокоительная №1833 Иванову, нельзя было теперь не послать, хотя теперь как-то и неловко она выглядит. (А сам Иванов до сих пор до этой телеграммы не доехал!)

Но как это всё согласуется?

Но раз выбрал действие – надо его продолжать. 1833 разослать и на все фронты.

С Кавказа докладывали, что всё у них спокойно.

От Эверта – что продолжают отправлять войска.

А что же с Юго-Западным?... Да может быть проще всего: поскольку войска ещё не начали отправляться – так пока и не двигать?

И это – не будет остановкой войск.

Распорядился так Брусилову.

* * *

С утра – петербургская мгла. Туманно, сыро. И – холодно, 13 градусов мороза. Расклеены по городу объявления к гражданам: сдавать оружие! Но кары за несдачу нет.

* * *

Стоит сожжённый Окружной суд – на высоком цоколе два высоких этажа, длинных и по Шпалерной и по Литейному. Все окна пустые, и подпалины, где вырывался огонь. И внутри на белых стенах полосы дымной копоти. Только на закруглении окно не вывалилось – оно ложное. Во многих местах сохранилась благородная баженовская полулепка.

* * *

И рано опять началась по городу беспорядочная стрельба. Бьют больше по крышам. «Фараномания», все смотрят на крыши и показывают пальцами. Там от пуль пылит штукатурка, а возвратно падающие пули кажутся огнём с чердаков.

– Ищите оконце! С какого стреляли. Столпились, головы задрали.

– Как же ты вгадаешь, коли окна на семом этаже?

– Я-то угадал, угадай ты.

– А как?

– А вишь: во всех окнах стёклышка целы, а в этом блеску нет, знать стекольце вынуто.

Слух, что городовые стреляют с Исаакиевского собора.

* * *

Толпа подростков, а с ними двое-трое взрослых ведут по улице арестованного городского в форме, саженого роста, вместо лица кровавая маска. Мальчишки на ходу дёргают его, толкают, щиплют, плюют на него. Он, не пошатываясь, идёт.

Завели в какой-то двор и донеслось несколько выстрелов.

* * *

В доме жил и вчера арестован помощник пристава. Но и сегодня время от времени подходят и стреляют по его окнам. А в доме – и другие квартиры.

– На то и слобода: куды хочу, туды стреляю.

* * *

Плотными жадными группами сбивается толпа – и простонародье, девочки в платках и картузы, и котелки, и дама в кораблевидной шляпе. Что-то прочесть из наклеенного на стене, – нет, послушать переднего громкого чтеца.

– Ага-а-а! – чрезвычайно рада публика аресту Протопопова.
Когда прочтено, что министр юстиции сперва скрывался в итальянском посольстве:
– А-а-а! Макаронов захотел!!
Про явку конвоя Его Величества:
– За царский счёт жареными гусями да поросятами обжирались, а вот...

* * *

День светлеет, становится белым, и белое небо. И теплеет.
На Аничковом мосту столпилась публика у перил с одной стороны. Упала винтовка на лёд, а достать её нельзя: пошёл солдат, а лёд у берега подламывается.
Над винтовкой кружатся голуби, садятся около. «Долой войну!»...

* * *

Везут по Фонтанке и так: грузовик-платформа, на ней сидят и стоят избитые чины полиции, окружённые штатскими с красными повязками на рукавах.
Из толпы кричат со злостью:
– Куда их везёте? Давите гадов на месте! Поставить в ряд, да из поганого ружья одной пулей!

* * *

Прислуга: «Ой, что это всё кричат – долой монахию? Знать, всех монахов хотят повыгонять?»

* * *

На Невском – меньше автомобилей, чем вчера, но ещё больше пешей публики и развязных солдат, валят прямо серединой проспекта, празднично. На всех опять красное – банты, ленты, в обтяжку кокард, на погонах, вокруг пуговицы шинели, на георгиевских крестах, на медалях, на концах штыков, у барышень – на муфтах или на груди, кокетливо сшитые. Не всё из кумача, бывают – и из шёлка.

А на перекрестках появились студенты-милиционеры, опоясанные отобранными офицерскими шашками, с белыми повязками на рукаве и буквами ГМ («городская милиция»).

Возмущённые голоса:

– Это что ж, мы и полиции опять дождёмся? Вот так свобода!

Но – красные повязки на рукаве сильнее действуют, чем белые. Красных – слушаются.

* * *

У Таврического – опять толкотища. На Шпалерной много любопытствующих интеллигентов. И опять одни войска идут к Думе, другие из Думы, всё перемешивается, столпотворение. Говорят: вот приходил под марсельезу и петроградский жандармский дивизион. Автомобили гудят, шипят, проезда им нет. Один грузовик заехал на тротуар и пробирается. Молоденький шофёр бросил руль, растопырил руки, показывая, что не

управляет. Публика шарахается.

У главного подъезда двое конных пытаются сдержать напор толпы. Лошадиными копытами топчут выделанную кожу, кем-то сложенную к крыльцу.

* * *

С Владимирского проспекта пересекает Невский Измайловский батальон. К старому боевому знамени с регалиями прошлого века привязаны красные ленты. Оркестр. Толпа приливает, вне себя от восторга:

– Спасибо, измайловцы! Да здравствует свобода!

А офицеры, с навязанными красными бантами, идут сосредоточенные, задумчивые. В ответ толпе прикладывают руку к козырьку.

* * *

В исподних полушубках, без погонов, не узнаешь части, – побрели по городу гулять и нестроевые конвойцы Его Величества из своей казармы на Шпалерной. Одного конвойца подхватили, долго возили на автомобиле в первом ряду, везде приветствовали как казака. На углу Невского и Владимирского заставили говорить речь. Сказать он нашёлся только: «Да здравствует Терское и Кубанское войско, ура!» И все закричали «ура» и замахали шапками. Повезли дальше, кормили в питательном пункте.

* * *

Командующий отдельным корпусом жандармов генерал-майор граф Татищев в ожидании царского приезда метался между Тосно и императорским павильоном Царского Села. Искал поддержки Государю у стоявших там эшелонов Кирасирского и Кавалергардского полков. Но они – «примкнули к народу».

Тогда просил подцепить его салон-вагон к проходящему от Петрограда поезду. Отказали ему.

Пошёл пешком по путям – и был арестован.

* * *

Шли матросы колонной и с музыкой. Вдруг – стрельба сбоку, неизвестно откуда. Сразу стали падать, бежать за угол, перемахивать через заборы. Только винтовки да матросские бескозырки остались на снегу.

* * *

На Спасо-Преображенской площади перед семёновцами держал речь с овсяного ларя депутат Государственной Думы Родичев. Вдруг – пулемётный обстрел, неизвестно откуда! Все повалились. Никого не задело.

Но возникло среди солдат, что их нарочно подвели под этот обстрел.

* * *

В толпе, по тротуарам – глядящих на войска много радостных верящих лиц. Богатый господин на краю панели то и дело срывает с головы шапку, седого камчатского бобра, и кружит ею в воздухе, выкрикивая приветствия проходящим манифестациям.

* * *

Из сумасшедшего дома тоже разбежались.

* * *

По всему Петрограду разгорается день повальных обысков. Вломаются в дом – и идут по всем квартирам подряд. Начался грабёж и на императорском фарфоровом заводе.

* * *

К памятнику Александру III пристроили красный флаг. Держится.

* * *

На Николаевском вокзале от имени коменданта расклеено объявление:

«Солдатам запрещается отбирать у офицеров оружие. Вооружённым офицерам, приезжающим в Петроград, предписывается являться для получения инструкций и документов в зал Армии и Флота. От Государственной Думы не исходило распоряжение отбирать у офицеров оружие».

Вокзал полон солдат разных частей. Квартира начальника Николаевской дороги Неvejина разгромлена служащими и солдатами. Везде следы пуль, разбиты зеркала, поломана мебель, не вся. И покрадено.

* * *

Евгений Цезаревич Кавос, подъезжая к Петрограду московским поездом, очень смеялся рассказу спутника, представляя себе сцены ареста министров. Но поезд остановился, сильно не доезжая вокзала. И Кавос застрадал, как же он потащит несколько своих чемоданов, да непривычными руками. Ведь не поднимешь. – «Нет, это мне не нравится. Я скоро начну кричать – да здравствует Николай II!». И верно, до дому по городу он добирался, пока все вещи, двое суток.

* * *

На петроградских улицах уже много испорченных и даже опрокинутых автомобилей. Но и ездят немало, на грузовых платформах – свесив ноги как с телеги. Ездят и в богатых легковых: за бахромой роскошных занавесок – винтовки и папахи.

* * *

На углу Литейного и Невского остановился грузовик с вооружёнными солдатами, а студент без фуражки оттуда держал речь к публике о войне до победы. Толпа рукоплескала, кричала «ура». Грузовик ушёл по Невскому, а из публики любопытствующий адвокат Каменский пошёл по Литейному. Но его нагнал человек в военной шинели и стал звать людей: «Вот этот – кричал долой войну! Надо его арестовать, он шпион!» И уже схватили. Каменский сильно перепугался: «Я не говорил! это ложь!» И смелей: «Я петербургский старожил, присяжный поверенный и живу там-то. Если угодно – пожалуйста со мной на квартиру. А кто этот такой? Пусть назовёт!» Тот стал ретироваться. «Ага! Так он и есть немецкий шпион!» Стали хватать того.

* * *

По улицам гарцуют всадники, да на лошадях дрессированных из цирка Чинизелли, разграбили цирковую конюшню.

* * *

Над Зимним дворцом вместо императорского штандарта – красное знамя.

На Дворцовый мост въезжает с Дворцового проезда грузовик, полный солдат. Стоящий сзади молоденький солдат, глядя назад на ходу, поднимает ружьё и бухает в воздух.

Грузовик останавливается, среди солдат смятение: «Кто стрелял? Откуда?» Хватаются за ружья. Тот самый солдатик показывает им на ближайший дом по Адмиралтейской набережной:

– Вона, оттуда! С чердака.

Солдаты матюгаются, грузовик даёт задний ход, на расправу.

Из проходящих двое объясняют им, кто выстрелил на самом деле.

Но грузовик всё равно свернул, поехал в сторону Исаакия. И оттуда слышна сильная стрельба.

* * *

Шальнойю пулей с Марсова поля убило в своей квартире художника Ивана Долматова, 9 лет назад получившего звание за картину «Горжество разрушения».

250

Не только листовками по всей Петербургской стороне, но и объявлением в «Известиях Совета рабочих депутатов» оповещал комиссар Петербургской стороны Пешехонов о создании своего комиссариата в кинотеатре «Элит» и обращался к населению с просьбой (чтоб не добавит «покорнейшей»): во имя великого дела соблюдать спокойствие при развивающихся событиях. Доверять комиссарам, назначенным новою властью. Исполнять их распоряжения, равно как и обязанности, необходимые для населения. И присылать представителей от заводов и фабрик по одному человеку от пятисот.

Империя Романовых стояла 300 лет, и у чиновничества её были готовые выработанные организационные формы и приёмы. И вот надо было в один день начать на неочищенном месте, в ещё не известных формах, с ещё не найденными приёмами и с ещё не осмысленными целями: ни сам Пешехонов, ни его сотрудики по комиссариату – то есть

бывшей полицейской части – не могли представить и предположить, в чём же именно будет заключаться их деятельность.

А переехав через Неву, он от Таврического дворца уехал как будто в другую страну: там оставил он решаться государственные вопросы – и сам для Таврического провалился как в тёмную пропасть: назначили его и больше не вспоминали.

Мечта всей жизни Пешехонова была **народная воля**, в обоих значениях этого великого слова: и в смысле народной свободы и в смысле народной власти. И он был переполняюще счастлив, что не только дожил до воплощения их в России, но вот теперь будет и лично участвовать в водворении свободы, хотя бы в небольшом уголке.

На призыв его откликнулись стократно с тем, что комиссариат мог перенести. Довольно было только пискнуть этой первой твёрдой точке – и уже через четверть часа к ней потянулись люди, а сегодня с утра обступали уже целые толпы.

Одни являлись – чтобы поддерживать и помогать. Наугад назначенные отделы комиссариата сразу переполнились добровольными сотрудниками, и на первый взгляд – вполне бескорыстными. Преобладали интеллигенты, но были и всех званий, был грузин в форме классного фельдшера, а например обязанности кучеров вызвался выполнять отряд бойскаутов.

Ещё больше было помощников другого толка: они не записывались в сотрудники, но не предупреждая и по собственному почину совершали повсюду обыски, реквизиции, аресты – и потом с торжеством несли и катили захваченные трофеи в комиссариат и вели арестованных.

К счастью, Пешехонов, ещё в Таврическом заметив, как много ведут арестованных, предвидел такое явление, и сразу же назначил в составе комиссариата «судебную комиссию». Арестованных приводила иногда целая толпа – но часто тут же и расходилась, и через пять минут не у кого бывало узнать и спросить: на основании чего задержано это лицо. Среди них могли быть самые опасные преступники, но и самые невинные люди, – и что же делать с ними дальше? Судебная комиссия и должна была кого освободить, а о ком составлять протоколы, указывать свидетелей.

Но никакая комиссия не успела сформироваться; ещё первое объявление о комиссариате не было прикреплено к стене, как уже привели трёх арестованных, и сам же Пешехонов должен был их разбирать. Двое оказались городовыми, уже снявшими форму, но опознанными. Арестовывать бывших городских Пешехонов считал совершенно бесцельным – и решил освободить их, отобрав подписки, что они ни в коем случае не будут исполнять приказаний своего прежнего начальства и немедленно сдадут оружие, если такое у них ещё есть. Третий же арестованный обвинялся толпой, что он высказал осуждение революции. Ему приписывали какую-то фразу, сам он, бледный, отрицал, что говорил её. Пешехонов внутренне затрепетал и вознегодовал: отрицать революцию – право каждого, иначе какая ж это будет свобода? Этого-то – надо было немедленно освободить!

Но не так это было просто! Тут толпа сгрудилась и ждала от комиссара строгого приговора. Оправдательные решения произведут на неё самое неблагоприятное впечатление. Итак, чтоб освободить, да всех трёх подряд, должен был Пешехонов взять с обвиняемыми преднамеренно резкий тон, и самыми резкими квалификациями ругать старые власти, и высказать самые жестокие угрозы тем, кто ещё осмелится противиться революции! – и только так поддержать перед толпой свой авторитет как революционного деятеля, иначе и самого б его заподозрили в контрреволюции.

Комиссар Пешехонов объявил власть – и никто как буя-то её не оспаривал. Но быстро, в час и в два, понял он, ещё отчётливей, чем в Таврическом: никто не был власть в Петрограде сейчас – ни комиссар, ни Совет депутатов, ни тем более думский Комитет, – а вся полнота власти была у толпы. Власть её была – самоуправство, и сама толпа и все понимали так, что это и есть настоящая народная власть.

Однако Пешехонов принять этого не мог! Как раз наоборот, с первого часа и с первого дня ему пришлось напрячься, как смягчить это самоуправство и как защищать единицы

населения от проявлений народной власти!

Но арестованных всё вели, вели – и, чтоб как-нибудь разгрузить комиссариат, пришлось всю судебную комиссию перевести в другое помещение, рядом по Архиерейской, где в одной большой комнате устроили и собственную каталажку. Набралось туда работать пятеро юристов, потом десять, потом в две смены двадцать, – и всё равно едва справлялись.

Грянула – именно сегодня – эпидемия или вакханалия арестов! Показалось, что революция катится к гибели: она кончится тем, что все граждане переарестуют друг друга! И всё закружилось – вокруг Родзянки: всюду звучало его имя, он подписывал указы, он назначал комиссаров в министерства, он велел войскам возвращаться в казармы и подчиняться офицерам, – и вокруг имени Родзянки замятелила смута в умах и зажглись на улицах споры – до драки и до арестов, и какая где сторона оказывалась сильнее – та тянула слабую на арест. И в судебную комиссию тащили, тащили арестованных, а там на вопрос «за что?» отвечали:

– Он – против Родзянки!

а следующие:

– Он – за Родзянку!

Тут прибежали сообщить: на Песочной улице – квартира известной черносотенки Полубояриновой, и туда стекаются черносотенцы!

Собрали наряд, послали арестовать – но супруги скрылись и квартира пустая.

А сам комиссариат хотя и разгрузился от привода арестованных, но в помещениях его никак не стало просторно. На Петербургской стороне с островами жило 300 тысяч жителей, и кажется третья часть их добивалась войти в комиссариат.

Распорядительностью прапорщика поставили стражу у дверей комиссариата, а вход в него установили только по пропускам. Выдавали пропуск всякому, кто заявлял о надобности ему войти, но лишь бы предупредить вторжение целых толп и вовсе уже празднующихся. Запутались, сами не заметили: столик с выдачей пропусков вдруг оказался так, что к нему нельзя было пройти, не имея пропуска. И не сразу заметили, потому что каким-то образом ухитрились получать, и все шли с пропусками. Тогда поставили две вооружённых заставы: одну перед столиками, где выдавали пропуска, чтоб только толпа не опрокинула, а вторую заставу уже при самом входе. (И перила бы поставить – да ещё надо всё найти, да их сломают). Товарищи хотели устроить Пешехонову уголок в самой дальней верхней части кинематографа, за рядом барьеров, – но всё равно толпа теснилась и туда, да Пешехонов и по характеру своему не мог так усидеть, он рвался в толпу, в тиски. Где уж там руководить деятельностью отделов, и что они делали? и были ли они вообще? – Пешехонов был теперь на целый день до вечера окружён и стиснут требовательной толпой. У него и вид был не революционно-грозный, и не барский, и не образованный, росту он был самого среднего и наружности самой средней, так, из мещан или худой купчишка, голова стрижена под машинку, усы свисли и спутались с бородой, и приём ко всем услужливый. Так весь день и слушал он, во все стороны поворачиваясь, говорили с ним сразу несколько, а другие тянули за пиджак, чтобы внимание обратить, а третьи тянули, куда надо пойти и распорядиться. За целый день он не присел и стакана чаю не выпил.

Может быть, можно было всё это лучше устроить, но никогда Пешехонов ни организатором, ни администратором себя стать не готовил, да и знал за собой недостаток находчивости, особенно чувствительный вот в такой обстановке. Дали б ему подумать, сообразить – он бы уладил всё лучше. Но слишком сразу всё нахлынуло – и действовать надо было немедленно. И он ли сам всё решал и распоряжался, или оно само решалось и распоряжалось, – этого нельзя было уследить. Но, кажется, так решалось, как именно и он был согласен, вместе с народом.

Со всех сторон донимали добровольные горячие доносчики, кто по мнительности, а кто и по злобе, счёты сводя. Один тащил в сторону и шептал, что такой-то поп сказал контрреволюционную проповедь. Другой совал донос, что в таком-то учреждении такой-то собрал некоторых служащих в комнату, закрыл дверь и имел с ними несомненно

контрреволюционное совещание. Всем, кто не успел поучаствовать в революции в начале, хотелось вложиться хоть теперь и захватить в плен ещё хоть одного противника. Так и звучало:

– То была *их* воля, они нас сажали в кутузки, а теперь наша воля, мы – их...

Чуть не на каждого человека готовы были наброситься как на шпиона. Чуть не в каждом доме чудился спрятанный пулемёт.

Пешехонов совал доносы в карман. (Вечером опорожнял, набиралась их пачка).

Но больше всего сообщали о запасах продуктов в домах и квартирах (все запасы назывались спекулянтскими по самым фантастическим признакам), совали списки квартир и лиц, у которых есть запасы, или предлагали спросить прислугу, та знает и покажет. Вокруг продовольствия было особенно растравлено и теперь исправляли, кто как понимал, а многие очевидно рассчитывали, и это удавалось, при реквизиции поживиться самим. А оставшуюся часть несли или везли в комиссариат – и надо было озаботиться местом для склада, охраной его и каким-то же распределением. Сваливать начали в самом комиссариате, а тут ещё и спиртные напитки (толпа особенно охотно отыскивала и реквизировала именно винные запасы) – и в таком доступном месте! Нельзя было положиться ни на публику, ни на самих солдат, поставленных стражей. Несколько подвод с винами Пешехонов сразу направил в соседнюю Петропавловскую больницу, рассчитывая, что её-то громить не станут. Создавать надо было продовольственный отдел, и какого-то случайного активиста туда назначили (потом оказалось – жулика).

А по улицам – пёрли и пёрли вооружённые, неизвестно откуда набравши винтовок.

В комиссариат прибежали и жаловаться на самочинные обыски, начавшиеся погромы квартир: пришлите же защиту! обороните!

И кого-то посылали.

То – просили прислать караул, что-то важное охранять, какой-то покинутый склад.

Свои солдаты таяли, надо было где-то искать подмогу. И помощники Пешехонова отправлялись в питательные пункты: среди уже наевшихся солдат искать себе помощь.

То – напирал безоружный бродячий солдат – просил винтовку или револьвер.

Вид его был подозрительный, и ему отвечали: нету.

– А может, всё-таки? – мирно клянчил тот. – Солдату без ружья как быть?

– И ружей нет.

– А пойдёшь с пустыми руками – фараон с крыши застрелит. Хучь бы тогда револьвер.

– И револьвера нет.

– Так нас здесь – трое, – мялся, плутовал солдат. – Хучь бы на троих один. На каждом углу убить могут. Или, – мялся, – с обыском идти придётся, как же без оружия?

– Товарищ, не задерживайте, нету.

Да! А что же с охранкой? Вчера говорили Пешехонову, что она сожжена, и он успокоился. Но она находилась в его районе, и надо бы проверить. Явился какой-то прапорщик и доложил, что в помещении охранки остались бумаги, и публика их понемногу растаскивает. Пешехонов тут же назначил этого прапорщика комендантом охранки, поставить там стражу, если бумаги уцелели. Прапорщик съездил, поставил и привёз образчики бумаг со списками секретных сотрудников. Это поразительно! – и такое сокровище пропало! (Догадался прапорщик вступить в сношение с Горьким – и тот взялся разбирать архив).

Тут – новая атака на комиссариат: гимназист лет шестнадцати, рыжий как огонь, глаза выпученные, лицо безумное, и с ним несколько штатских, не все старше его, и такой напор, что сразу прорвали первых часовых и уже прорывали вторых. Пешехонов выставился им навстречу: что такое?

Такой-то негодяй, назвал фамилию, живёт на одной лестнице с этим гимназистом, известный черносотенец – выписывает «Новое время»! Как бы не открыл из окон стрельбу! Надо против него вооружиться.

– Нет, нет, оружия лишнего у нас нет! – двумя руками им перегораживал, останавливал

Пешехонов.

За его спиной, по лестнице вверх, лежало на втором этаже больше сотни исправных винтовок, старинные кремнёвые ружья, два ятагана, несколько кинжалов, медвежья рогатина и австрийский дротик. Но – беда, если попадёт в руки вот таким. (А слух – очевидно их достиг).

Перегораживал руками Пешехонов, не слишком надеясь на своих часовых, совсем случайных солдат, приведенных с улицы за рукав. Они в любой момент и уйти так же могли.

Рыжий гимназист выразил демоническое изумление и презрение:

– Как? Как? – не хотел он верить, спазма сжимала горло. – Ну, знаете, товарищи... Ну, знаете, товарищи... По-моему, вы все здесь – провокаторы!

ПОШЛА БРАГА ЧЕРЕЗ КРАЙ – ТАК НЕ СГОВОРИШЬ

ДОКУМЕНТЫ – 9

Сего 1 марта среди солдат петроградского гарнизона распространился слух, будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат... Как председатель Военной Комиссии Временного Комитета Государственной Думы я заявляю, что будут приняты самые решительные меры к недопущению подобных действий со стороны офицеров, вплоть до расстрела виновных.

Член Государственной Думы Б. Энгельгардт

251

Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Такое qui pro quo получилось и с полковником Половцовым. 20 февраля он был в Гатчине на приёме у великого князя Михаила Александровича, ещё ничего в Петрограде не было, 25 февраля – в Ставке на приёме у Государя, 27-го вернулся в Петроград в самую кашу, 28-го вечером присоединился к революции.

Это вот как всё произошло. Начальник штаба Кавказской Туземной дивизии и вообще большой энтузиаст кавалерии, Половцов... Кстати, был такой случай. О нём никто не знает, сверхсекретно, но если бы узнали – было бы изумление и хохот. В прошлом году стало известно намерение Ставки резко сократить кавалерийские части: мало используются в боях, несут большие потери, съедают много фуража. И вот Половцов гениально сочинил по-немецки и ночью на Румынском фронте безымянно пустил по радио телеграмму якобы фон-Шметова, поздравляющего своих коллег немецких генералов по поводу сокращения русской кавалерии, что означает отказ русских от наступательных операций. Потом ему удалось узнать, что телеграмма эта, перехваченная, была доложена Государю – и так было отменено уже начинавшееся сокращение казачьих полков.

Пётр Половцов вообще считался патентованный гений, Академию генштаба в своём выпуске он кончил первым.

Но несмотря на это и на видное положение своего покойного папаша, служебное продвижение его было ниже ожидаемого, ниже заслуженного. Да вот на этих днях, когда он ожидал производства в генерал-майоры, он получил всего лишь «высочайшее благоволение», облизнись.

Так вот, как энтузиаст кавалерии он и поехал в феврале проталкивать через верхи преобразование этой дивизии в Туземный корпус. По письмам с Кавказа была уверенность, что горских добровольцев наберётся на корпус, только кликнуть набор, они рвались (а мобилизации у них не полагалось). Великий князь Михаил, конечно, поддержал, но в Ставке было противоречие, ничего определённого пока не удалось, – и надо было Половцову возвращаться в свою дивизию, он решил – через Петроград, ещё раз проветриться.

В Могилёве он останавливался у флигель-адъютанта Адама Замойского, с ним вместе и приехали в Петроград, а тут... Замойский вскинул гордую шляхетскую голову и заявил, что в такую минуту он как флигель-адъютант обязан предложить свои услуги и шпагу покинутой угрожаемой императрице. Половцов сдержал улыбку и остался в столице оглядеться, на квартире у знакомого. Его авантюрное сердце забилося в представлении, что такие события и минуты происходят не в каждое столетие раз. Он сутки проследил за происходящим по телефону, попутно телеграфировал в свою дивизию, что нот, застрял в Петрограде, – и вчера вечером получил от Энгельгардта приглашение в Военную комиссию. И тотчас помчался туда.

А так как шашку свою он ещё прежде оставил на хранение в Генеральном штабе, то теперь явился в Таврический с кинжалом и револьвером, в лохматой папахе, изумительной черкеске с серебряными газырями, высокий, стройный, как всегда поражающий выправкой, той степенью выправки и даже той английской отделанностью манер, когда можно позволить себе и свободные жесты, – чересчур даже сильное, страшноватое явление для такой комичной организации, какою была эта Военная комиссия.

Как раз – офицеры генштаба собрались сюда, и всё знакомые, всё младотурки, собранные всё тем же Гучковым и многозначительно-шутливо поигрывающие своею прежнею кличкой: от них-то и ждали когда-то государственного переворота, и он вот совершился, да сам.

Но не смотри на кличку, а смотри на птичку. Офицерики-то были так себе, все эти Туманов да Туган-Барановский. (Впрочем, и внимательно пошарив по Академии и по Главному штабу – не так много людского материала найдёшь). А приведенный им генерал Потапов был просто сумасшедший (перед войной – гулял в отставке из-за умственного помешательства). Энгельгардт – пустое место. Все они здесь просто болтались, а кто был создан для штабного руководства – так только Половцов да, смешно, инженер Ободовский.

А ещё и сами от себя целый день валили неизвестные офицеры, предлагая себя для службы народу. И много их...

Но при такой неопределённости состава, обязанностей, и, главное, общего военного положения Половцову тоже было рано разворачивать все свои способности, он пока полуиграл, отпускал шуточки, болтал на подоконниках с одним, другим и третьим – и ко всему присматривался.

Обсуждали пикантную историю с явкой в Думу конвоя Его Величества. Вспоминали, как верна оставалась Людовику XVI швейцарская гвардия: все были перебиты на ступенях Тюильрийского дворца, а не сдались.

Военная комиссия перешла на 2-й этаж в более спокойные отдалённые комнаты, в бывшую квартиру коменданта Государственной Думы, и его же печать присвоив себе за неимением лучшей. Провели какую-то всё же штабную организацию, учредили отделы – автомобильный, радиотелеграфный, технической помощи, санитарный, расставили несколько столов, пишущих машинок, расселись Преображенские писаря, нашлись и две девицы с лихими причёсками, печатались удостоверения, заносились исходящие, в тетрадь записывались показания всех желающих что-то сообщить, раскладывались свеженькие обёртки дел, и адъютанты расхаживали с ними от стола к столу.

В течении дня посылали караулы в ещё не охранённые министерства и департаменты.

Презабавная была эта Военная комиссия, довольно раскоряченная в своём положении. Связь между царём и Царским Селом переключили на Таврический, в Военную комиссию приносили копии всех телеграмм между царём и царицей, о здоровьи детей, о

передвижениях царя, – можно было за ними следить как за увлекательной игрой, но не приказывали стеснить, если он едет в Царское, – а от Вишеры, жаль, собственной волей повернул, ушёл. Военная комиссия считалась подчинённой временному думскому Комитету, а этот ни на что не решался, всё гнул перед Советом рабочих депутатов – и в угоду ему особым постановлением зачислил в Военную комиссию также и полный состав Исполнительного комитета Совета, чушь какая-то, – хорошо, что у тех хватило ума или чувства юмора сюда не являться, только болтался от них кислый библиотекарь Академии Масловский. Но если кто оттуда являлся, или слишком революционные солдаты в этих непрерывных депутациях, выражающих революции верноподданничество, – то приходилось полковникам рассыпаться перед ними в иронической любезности. С депутациями этими вообще было много возни и с сигналами тревоги тоже. Явился молоденький военный врач и заявил, что в Сенате и в Синоде установлены пулемёты и работает контрреволюционная типография. И хотя сразу было понятно, что это – чепуха собачья, но такова была обстановка революционной настойчивости и недоверчивости, что нельзя было посмеяться и нельзя было отказать, а пришлось Половцову с самым серьёзным видом взять этого врача, нескольких кексгольмцев и поехать, на долгий обыск и по Сенату и по Синоду, ничего не найти и составить о том протокол.

Тут ещё много смешил и пугал безудержно-инициативный думский казак Караулов. Сам ли себя или кто-то надумал его назначить с вечера 28-го на быстросменный пост коменданта Петрограда. И с утра 1 марта уже был опубликован и кое-где развешан «приказ № 1 по городу Петрограду», счёт начинался с особы Караулова. А приказ был: беспощадно арестовывать пьяных, грабителей, поджигателей – и всех чинов корпуса жандармов, то есть последних ещё охранителей порядка. Разыскали чубатого казака, трясли его – что ж он делает? Нисколько не сумняшесь, он тут же размахнулся, написал, да успел же где-то напечатать и расклеивали – дополнение к «приказу № 1»: что чины корпуса жандармов аресту не подлежат, и сразу же «приказ № 2»: что чердаки и крыши заняты сторонниками старого порядка, и дворникам предписывается обыскивать и проверять.

Караулов не знал себе никаких границ, и составленный в Военной комиссии приказ военным училищам возвратиться к военным занятиям был на ходу как-то перехвачен и появился за подписью почему-то опять Караулова и Керенского. Творилось полное безначалие в самом Таврическом дворце.

Да если бы только во дворце! С минувшей ночи по-новому бушевали казармы там и сям от слуха, что «офицеры отбирают оружие», захваченное в революционной суматохе. Прорывались и сюда: «Что? На расправу нас затягивают? А дать окорот и тому же Родзянке! Хоть и самого арестовать!» Смертельно перепуганный Энгельгардт, не посоветовавшись с офицерами в комиссии, ни даже с Гучковым, которому был теперь подчинён, но тот всё в разгоне, – с панической быстротой написал и тут же отдал в распечатание ужасающий приказ, что он примет самые решительные меры к недопущению разоружения солдат, **вплоть до расстрела офицеров**. И когда члены Военной комиссии об этом узнали – остановить приказ уже не было возможности, он раздавался ликующим солдатам! Так сама же Военная комиссия и вызывала у солдат панику.

Расстреливать офицеров за то, что они владеют оружием своей части!

Так что: и заманчивы были возможности революции для взлёта, но и тут же грохнуться наземь также вполне возможно. Половцов усмехался, похаживал, сдерживался проявлять себя. Судьба играет человеком, а человек играет на трубе.

Думский Комитет с каждым часом показывал свою абсолютную беспомощность. В запасных батальонах творилось полное безвластье, особенно в Московском, где хозяйничали рабочие и убивали офицеров, полковые казармы были блокированы, и доступа туда представителям власти не было. Из других батальонов офицеры передавали в ужасе, что сохранение порядка невозможно. «Известия» Совета и прямо высказывались против восстановления порядка. Для защиты Петрограда не было ни одной боеспособной части. Между тем отличный боевой Тарутинский полк высадился на станции Александровской,

рядом с Царским Селом для действий против Петрограда. Но надеялись облапошить Иванова, принять его глупую генеральскую голову в объёме Военной комиссии послали к нему офицеров.

А ещё – разбурывался Кронштадт и отнюдь не в подмогу революции, как казалось прошлой ночью и радовались С утра убили адмиралов Вирена и Бутакова, убивали ещё офицеров. Что там творилось – чёрная буря, не дознаться, разверзалась пугачёвская бездна, это уже не игра. С полковничьими погонами на плечах воспринимались эти вести зябко, даже под защитной крышей Таврического.

По едкой иронии именно в этот момент прибрёл в Военную комиссию растерянный старичок генерал Адлербер умиривший Кронштадт в 1906, и просил удостоверения на право жительства в Петрограде и носить шапку...

Всё зависело теперь – что предпримет адмирал Непенин. Сегодня из Гельсингфорса он приказал читать командам обращения думского Комитета. Значит, Непенин присоединился революции. Так.

Да, большие возможности обещает революция, но лучше бы их обуздать.

Но – кому?

Руки Гучкова, понимал Половцов, были для этого отнюдь не достаточны, слабы.

Может быть – и зря кинулся он в эту Военную комиссию Может быть – и зря заезжал в Петроград? Сидел бы у себя дивизии спокойно?

252

(по «Известиям Совета Рабочих Депутатов»)

...Высказываются суждения, что вся задача только в том, чтобы «восстановить порядок». Такие суждения способны внести смуту в умы, они свидетельствуют о глубоком непонимании смысла происшедшего... Мы намеренно пока не ставим все точки над «і». Но сделаем это в следующий раз. **Старой власти возврата нет** – и совершают преступление перед народом те, кто пытаются заключить с ней компромисс. Им придётся расплачиваться...

ПРИЗЫВ К ПОЖЕРТВОВАНИЯМ – Драгоценная кровь народная льётся за дело свободы. Никакие следовательно жертвы материальные не должны вас останавливать... Собирая деньги, учреждайте сразу строгий контроль из надёжных лиц, чтобы не было упреков в корысти.

**РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!**

Товарищи! Петроград – в руках свободного народа. Ещё несколько ударов – и старый строй отойдёт безвозвратно в вечность. Враг, окружённый ненавистью и презрением, трусливо прячется в своих подземельях, чтобы собрать свои чёрные рати. Уже полнеба охвачено красным заревом свободы, но солнце ещё не взошло, и предстоят ещё жестокие схватки между народом и старой властью. Пролетариат опрокинул все тонкие дипломатические расчёты либеральных политиков... Нужно, чтобы пролетариат, вставший в авангарде революции, был окружён стеной всенародного сочувствия. Нужно с лихорадочной поспешностью приступить к созданию рабочих организаций. Оплетите неорганизованные массы густой сетью организационных ячеек!...

ОК РСДРП (меньшевики)

АРЕСТОВАННЫЕ ВРАГИ НАРОДА...

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ СВЕДЕНИЯ О ВОССТАНИИ ПЕТРОГРАДА

Граждане! Чтобы нам не быть одинокими... Наша борьба будет выиграна только в том случае, если с нами будет вся страна. Старая власть употребит все усилия, чтоб отгородить Петроград от страны. Граждане, распространяйте наши издания, рассыпайте их с почтой и нарочными по городам...

Следующее заседание Совета Рабочих Депутатов назначено на 29 февраля.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПЬЯНСТВА! – Опасный враг достоинства революции – пьянство. В погребах большие запасы вина и водки, революционный народ находит их. Революционному народу они все не нужны. В историческую минуту революции надо быть трезвыми и чистыми. Поклянитесь в этом, товарищи, друг другу! – **УНИЧТОЖАЙТЕ ВОДКУ!**

...Вооружённые жильцы каждого дома должны заняться очисткой своих домов от уцелевших убийц...

БЕСЦЕЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА И КАТАНИЕ НА АВТОМОБИЛЯХ.

Товарищи! Не будем тратить бесцельно ни одной лишней пули. Все они нужны для будущей борьбы с контрреволюцией и кровавым преступным правительством. Не забывайте, что под покровом ночи правительство готовит удары революции, что оно собирает опричников, чтобы потопить дело революции в крови народа. Для них – и нужны пули. Избегайте ненужных выстрелов. Они лишь пугают мирное население и могут даже убить наших товарищей-революционеров. Избегайте, товарищи, бесцельных поездок по городу на автомобилях. К тому ж иногда бесцельно расходуется драгоценный для нас бензин. Товарищи, не превращайте выступления дружин в увеселительные прогулки с ненужной пальбой.

Следующее заседание Комитета Государственной Думы назначено на 12 часов ночи.

НЕ НАДО ЖЕСТОКОСТИ. Народ разделяется в настоящее время с наиболее ненавистными представителями старого строя. Они гибнут на улицах и площадях, платая за свою былую жестокость... Непосредственных преступников, кто расстреливал наших братьев, если они сопротивляются, надо уничтожать... Нельзя однако быть жестокими с теми, кто сдаётся на милость революционного народа. Не надо надругаться и издеваться над ними. Они в большинстве безвредные подлые людишки, в крови которых не стоит пачкаться.

В распоряжение Совета Рабочих Депутатов поступили от неизвестного солдата золотые часы.

...Трусливые приспешники старого режима попрятались в разных дворах, подвалах, выгребных ямах. Революционному народу они все не страшны. Они тонут в народном презрении в тот светлый праздник свободы, который мы переживаем. Нужно принять меры к задерживанию лишь тех, кто куёт новые удары против революции.

...На Финляндском вокзале никаких данных о возможности прибытия войск.

К РАБОЧИМ. Совет Рабочих Депутатов просит всех товарищей рабочих, у которых имеется оружие, сдавать его Совету. Плохо делает тот, кто стреляет без толку в воздух... **ТОВАРИЩИ, ВООРУЖАЙТЕСЬ!**

ТОВАРИЩИ ПЕЧАТНИКИ! Помогите свободному печатному слову! К верстакам, наборным и печатным машинам!

Студенческие группы с-д, с-р и Бунда призывают товарищей студентов энергично записываться в городскую милицию. Помните, товарищи, что Совет Рабочих Депутатов – ваше Верховное начальство.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ? – В городе появились слухи, что рабочие металлисты должны уже приступить к работам. Нет, забастовка может быть прекращена лишь полновластным постановлением Совета Рабочих Депутатов. Все обособленные шаги могут внести лишь деморализацию в великое дело революционного народа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! – Необходимо занять Государственный Банк, но помнить, что там, кажется, есть пулеметы. – Необходимо охранить Гостиный Двор и Апраксин рынок от хулиганов.

253

Ещё на прямой парадной мраморной лестнице под стеклянным колпаком Дома Армии и Флота, главного столичного офицерского собрания, и потом на окружных перильчатых галереях второго и третьего этажа со множеством пилястров, зеркал, дверей, голубого, золотого и дубового, и в кольце гостиных – тёмно-розовой «дамской», кофейной, зеленоватой «мужской», буфетной, строгой мрачной столовой с витражами (ничем сегодня не кормили), и в самом концертном зале у крайних кресел – стягивались знакомые и незнакомые группками по трое, по пять, по десять, – и друг от друга надеялись получить объяснение? поддержку?

Всех званий и всех полков были офицеры – все без оружия, но и без дам, но и среди буднего дня, – сколько служили они, кто год, кто четверть века, никогда бы не могли представить, что такое наступит в их жизни или вообще с какими-нибудь офицерами какой-нибудь армии. В один день все они были обезоружены, как бы разжалованы с чинов, уволены с должностей, а кто-то ещё и приговорён к смертной казни.

И со всем тем они должны были продолжать жить, ходить с офицерской выправкой, изображать офицерский вид.

Все обречённые, вот они сошлись теперь вместе, в одно здание на углу Литейного и Кирочной, здание, знававшее их блеск, успех и досуг, – в прежней полированности, при прежних бронзовых группах и бра, кажется, последнее здание в Петрограде, куда ещё почему-то не врывались всевластные обнаглевшие солдаты. Сошлись в ожидании начала, – неизвестно чего начала и в какой час. В обрушенном мире было тоскливо, страшно – но и не может же офицер это выказать.

И в одной группе в розовой гостиной, где подвески двух роскошных люстр мелодично позванивали от ходьбы по паркету, подполковник с ярким золотым передним зубом находил способность шутить:

– Теперь, господа, устанавливается черта оседлости, только вот какая: жить в столицах запрещается – офицерам, и на право проживания в виде исключения будут выписываться кратковременные свидетельства, как вот у этого штабс-капитана. Спешите в Государственную Думу, пока хоть выписывают.

Выразительная дерзкая губа его с жёлто-белым усом изгибалась.

У Райцева-Ярцева это была не роль и не бравада, а способ жить. Как в окопах шутят над Вильгельмом, над лётчиками, над толкущими вокруг снарядами врага – так отчего ж было изменить стиль и не пошутить теперь? Ведь всякий жизненный случай всегда кому-нибудь смешон, это правда, – и когда офицеры бежали из петроградских казарм, то сами не замечали смешных подробностей, а многим солдатам это даже весело представляется.

Когда вчера на улице Гоголя кучка солдат вдруг резко повернула к нему, и один

грубый с тяжёлой челюстью закричал ему сдать оружие – в какую-то секунду всё взвилось, повертелось как будто даже не в голове Райцева-Ярцева, а где-то выше, выше, откуда видно всё хорошо, и откуда к нему уже спустилось. Что вот – и его не минуло, а надеялся – не тронут. Что выход только: обнажить саблю и убить одного мастерским кавалерийским изворотом, вот эту огузлую челюсть. Но тут же и – быть растерзану самому. И вся нелепость: погибнуть на петербургской улице, убивая русского солдата. Вся нелепость – погибнуть, не дожив до сорока лет, со всем цветным, что теснилось в груди.

А значит – не убивать.

А тогда – и не убиваться. Тогда – отдать с лёгкой косой усмешкой, видя, как это несомненно смешно. Подполковник Райцев-Ярцев, потомственный дворянин и кавалерист, всю силу мужества своего вытягивавший в продолговатое тело сабли на её взлёте, – теперь отдавал эту душу-саблю как ненужный привесок.

Отдать с косой усмешкой – и потом шагать дальше по улице – и видя навстречу другого такого же опорожненного, правой рукой приветствовать его к козырьку, а левой шутиливо прихлопывать по пустым ножнам на бедре.

Прежде сам бы не поверил, что так усмешливо перенесёт, когда его обесчестят.

Не так всё в тонкости, но с той же усмешкой он рассказывал теперь это всё своим собеседникам тут.

Тут-то, в Думе Армии и Флота, они все на короткие часы каким-то недоразумением были вполне безопасны. Может быть – можно было дойти до квартиры и оставаться там. Но – день, другой, а дальше? Ведь надо возвращаться в казарму?

Но это теперь – это теперь невозможно!!

А чем позже вернуться – тем хуже, укреплять солдатские подозрения.

И как же вернуться, если оружие части держат солдаты, а офицерам оно недоступно?

Перевернулся мир.

Новый опыт настолько неизвестен, посоветоваться настолько не с кем – непростительно давали украсить грудь красным бантом, даже второй на папаху, и так шли с солдатским строем в Думу (а кстати: здесь, сейчас, почти ни у кого красных наколок нет – в гардеробной сняли? спрятали в карман?), – да ведь в Государственную же Думу! – таков был призыв Родзянки, это законный человек.

Но не становилось с солдатами доверительней. Всё равно смотрели волками.

Да ведь кто ж и остался в Петрограде кроме Думы? И она зовёт восстановить, в частях порядок.

Но как восстановить, если вышибло из рук? И если нельзя забыть? Тех минут страха. Тех минут оскорбления.

Конечно, возврат в казармы неизбежен. Но и непонятен. Вернуться – значит потребовать, чтобы солдаты не шли разбойничать по городу, когда хотят, а спрашивали разрешения на каждую отлучку, – разве это ещё возможно? чтоб они сдали оружие и патроны из разгромленных цейхаузов? И это возможно?

Нет, восстановить прежнего уже нельзя.

Или прилаживаться к тому тону, который за эти дни взят там без нас? Даже брань ноты ещё резче, чтобы никто не усумнился в их революционности?

Охватывает апатия. Последняя усталость – до неспособности сопротивляться, до тупого безразличия ко всему.

Рослый мрачный полковник, лицо из одних простых крупных черт, как будто вдесятеро меньше черт, чем бывает вообще у людей, такие лица хорошо смотрятся перед полковым строем, – говорил вопреки очевидности:

– Нет, господа, это всё зависело от нас. Это – мы сами упустили.

Впрочем, он не гвардеец был и, видимо, даже не петроградского гарнизона.

Да и Райцеву-Ярцеву не надо было возвращаться в казармы: он в Петрограде в отпуску, его-то полк на фронте. Ему только предстоял позорный возврат без сабли, до первого полкового склада. А пришёл он сюда за охранным документом, чтоб не подвергаться новым

оскорблениям.

А между тем громко звенел по зданию электрический звонок: звали в большой зал. И тут в их группе к измайловцу подошёл взбудораженный другой и уверял, что час назад от думской Военной комиссии полковник Энгельгардт издал публичный приказ: офицеров, которые будут заставлять солдат возвращать оружие, – **расстреливать!**

Что? Что-о?? Не может быть!

Чушь какая: Государственная Дума именно и звала ведь...

Шли в зал рассаживаться.

Непривычное для офицеров: публичное заседание. Но там уже сидели на сцене за столом – и все с красным на груди, правда не вызывающие банты, но скромные бутоньерки. Самочинно занявшие места. Называли председателя, секретаря, полковник Перетц, полковник Защук, полковник Друцкой-Соколинский. Испарения революции внесли их туда.

Они и начали говорить один за другим. И что несли! -

– ...Лучшие из вас шли во главе солдат на штурм режима...

Кто это шёл?

– ...Рухнули барьеры и создаётся внутренняя связь между офицером и солдатом. Дух крепостничества навсегда исчезнет из военной среды!

По залу шёл гул от разговоров, плохо слушали.

– ...Граждане офицеры!... Вот ещё как, по-новому.

– ...скорей вернуться на свои места в строй, просветлёнными, возрождёнными, – и восстановить духовную связь с солдатом на началах равенства и братства. И при поддержке того коллективного прапорщика, который вышел из рядов народа...

Рядом с Ранцевым сидел молодой, с умным лицом моряк:

– Собрание самоубийц. Разве тех умилоставишь? Никогда. Знаю я их.

– Откуда?

– Студентом тёрся с ними.

А со сцены излагали замысел такой: либо всем сейчас идти отсюда шествием к Думе, и даже демонстративно через Невский («Господа! Зачем же всем? разве нельзя обойтись делегацией?»), – либо делегацией, но она должна понести резолюцию всего собрания. Это должно быть приветствие Государственной Думе в её благородном деле возглавления народного движения к свободе. И – присоединение: что офицеры, находящиеся сейчас в Петрограде, все тоже идут рука об руку с народом. (Эта подручка сейчас тяжелей всего представлялась). Что вот они, собравшись тут, единогласно (почему-то настаивали, чтобы только единогласно, как будто отщепление одного голоса могло всё испортить) постановляют: признать власть Временного Комитета Государственной Думы – впредь до созыва Учредительного Собрания.

Загудели возмущённые голоса: что-то слишком уж чудовищное! Не слишком ли большую цену спрашивают с них за возврат в казармы и за право свободно ходить по петроградским улицам? В России царствует Государь император, которому они все присягали, – и как же они могут теперь признать власть какого-то временного комитета из общественных деятелей? А Его Императорское Величество?

Но ещё можно бы этих признать до прибытия Государя в столичный град (скорей бы они шли, эти эшелоны, где они там застряли?), ну до образования постоянного правительства, – но почему нужно признать до созыва Учредительного Собрания? Разве Россия – не существует, чтоб её заново учреждать?

Да немногие и понимали, что это за выражение: «Учредительное Собрание».

А виделись и молодые сияющие лица – и среди ораторов, и в зале.

И сосед, корабельный инженер:

– Разве наши офицеры подготовлены противостоять им? Чтоб их знать – надо в их драконовой крови искупаться прежде. Вот эти взрывы во флоте – «Мария», да несколько под Архангельском, да пожары на складах, и вот в январе взорвался ледорез «Челюскин», – это кто работает, вы думаете?

Он сам был сейчас – флагманский инженер в Беломорском флоте.

Ничтожная кучка говорила со сцены, вот ещё какой-то полковник Хоменко, – а ужасный поворотный ход событий придавал силу их словам. Вот уже зывали откровенно – не к сердцу, а к самосохранению: какие угодно имейте убеждения, но чтобы выйти из этого здания, но чтобы шаг ступить по улице, но чтобы сутки следующие проносить свои погоны, – присоединяйтесь, и **единогласно** ! И тогда получите регистрацию и удостоверение на повсеместный пропуск.

Тот рослый полковник, с простыми чертами отважного лица, сидел от Райцева наискось вперёд, у прохода. И басил для соседей:

– Какая низость! Какое раболепство перед новыми правителями! И что же случилось с нами, господа офицеры? Неужели это не мы водили полки всю войну? Как быстро нас растрясали! Да сколько нас тут? – оглядываясь по залу. – Да тысячи полторы. Если на каждого считать хоть по 40 солдат – мы представляем 60 тысяч войска.

– Солдат – отвыкайте считать, – отозвались ему из ряда впереди.

– Хорошо, нас полторы тысячи.

– Теперь безоружных.

– Хорошо, почти безоружных. Но зато каких опытных. Да вот сейчас принять это идиотское предложение – и идти безоружным шествием якобы приветствовать Думу. А как дойдём до самой или даже внутрь – хватать там солдат за винтовки, отнимать, из рук выворачивать – и стрелять. И разогнать к чертям их пьяное сборище, а второго у них нет. И вообще ничего больше нет. Да это верный успех! Если б вот сейчас встать, объявить своё, сговориться – и пойти! Но ведь мы уже разложены, ведь тотчас побегут докладывать. Мы уже – как не одной армии офицеры, что с нами сделали, а?

Крупно решительный, он встал, за ним те два измайловца, и пошли по проходу вон.

И Гарденин посмотрел на Райцева:

– Пошли? Не идёте?

Резко встал – и тоже прочь, за теми.

Нет, Райцев-Ярцев остался. Хотя бы – оценить это всё с точки зрения юмора.

А на сцене появился сам Энгельгардт, очень благоприличный. Читал с приготовленной бумажки проект воззвания:

– ...«К величайшему нашему прискорбию как среди солдат, так и среди офицеров были предатели народного дела, и от их предательской руки пало много жертв среди честных борцов за свободу...»

Э-э-э. Это уже было недалеко и до **расстреливать** ?...

254

В городе Луге, в 120 верстах от Петрограда по железной дороге на Псков, гарнизон стоял такой. Только что сюда прибывшая и предназначенная к отправке во Францию артиллерийская бригада – ещё без единой пушки, без единой винтовки, с неподготовленным составом и слабым командиром, генералом Беляевым, братом военного министра. Запасный артиллерийский дивизион – из новобранцев, неопытный, беспокойный, и тоже невооружённый. Автомобильная рота, как всякая автомобильная набранная во многом из рабочих, и неблагонадёжная. И сборный пункт гвардейских кавалерийских частей из нескольких команд. Во главе пункта стоял генерал граф Менгдем, он же старший офицер гарнизона, весьма благодушный, хотя вспыльчивый, его солдаты любили и называли «наш старик».

Старшим же адъютантом этого пункта и начальником одной из команд, Конногренадерского полка был ротмистр Воронович, после лечения от раны поступивший сюда несколько месяцев назад. Ротмистр этот был из молодых да ранний: из Пажеского корпуса, не окончив его, он успел удрать на японскую войну вольноопределяющимся и там получить георгиевский крест, правда в лёгком деле. Пажеский корпус не хотел принимать

его вновь для окончания курса – и так Воронович застрял бы надолго армейским прапорщиком, но Государь распорядился принять его. Беглец отсидел месяц в карцере, а потом, вместе с пажом Макшеевым, успел кончить корпус из лучших, так что на последнем году они оба были произведены в камер-пажи императрицы и не раз дежурили в её покоях. Далее с георгиевским крестом Воронович оказался единственным таким среди юнкеров, так что все они обязаны были отдавать ему честь, – а затем и в гвардии, в Конногренадерском полку, его Георгий выглядел редкостью, ибо гвардия не была на японской войне. А ещё, по быстроте, он успел приобрести и передовые взгляды. А ещё он вынес тяжёлое впечатление от 1905 года, когда, на возврате с Дальнего Востока, тонул в стихийном море солдатских толп и вывел для себя, что нельзя оставлять солдат самим себе без правильного руководства. Оттого усвоил он самый доверительный стиль в отношениях с солдатами, а особо с теми, которые имеют революционные связи. Так и здесь в Луге, на пункте, у него был такой доверенный, рядовой Всяких, недавний студент-электротехник, связанный с эсерами.

С 27-го февраля, при смутных известиях о петроградских событиях, проникших слухами и в солдатскую массу, решено было воспретить отпуска и командировки нижних чинов в Петроград и усилить наблюдение за неблагонадёжными. Многие офицеры поняли это так, что надо подтягивать дисциплину и придирается к солдатам. Ротмистр Клейнмихель распорядился всыпать розог одному из гусар за неотдание чести. (Генерал порицал его за то).

Напротив, ротмистр Воронович вызвал Всяких и тайно поручил ему ехать в Петроград и узнать как следует, что там творится. Затем велел вахмистру созвать свою команду, триста старослужащих, и обратился так:

– Ребята! В Петрограде происходят беспорядки. Чем они кончатся – неизвестно, но нужно быть готовыми ко всему. Я прошу вас не волноваться зря, не верить никаким слухам, продолжать занятия. Я обещаю, что буду сообщать вам всю правду, что произойдёт в Питере. А вы обещайте мне вести себя благопристойно, как и до сих пор.

Кавалеристы обещали.

А граф Менгден поверх всех один оставался совершенно спокоен: и что в Петрограде всё кончится благополучно и что вверенные ему кавалерийские команды останутся преданы Государю императору при всех обстоятельствах. А с их помощью он в любой момент подавит в Луге любые беспорядки. Начальники команд предлагали ему меры, как отъединить кавалеристов от ненадёжных частей: окружить расположение пункта заставами, запретить нижним чинам: отлучку и не допускать посторонних. Но генерал Менгден отменил всякие заставы:

– Я уверен, господа, что у нас, в Луге, опасаться нечего. Запасный дивизион и автомобилисты не посмеют выступить, если будут знать, что кавалеристы остались верны своему долгу и присяге.

И 28-го, вполне спокойный в Луге день, но когда пришёл слух о движении генерала Иванова, граф Менгден оставался тем более спокоен: вот Иванов и обнаружит тех мерзавцев, которые довели Петроград до восстания. Вот и будут приняты реформы, которые давно необходимо произвести. (Он возмущался некоторыми безобразиями на верхах).

А Воронович так и не узнал ничего достоверно: весь день он прождал Всяких, а тот не вернулся.

Только утром 1-го Всяких уже сидел ждал в канцелярии с выразительным лицом. Ротмистр выпроводил вахмистра и писарей и остался с ним вдвоём. Всяких вытащил из-за обшлага шинели обтрёпанную газетку Совета рабочих депутатов и бюллетень петроградских журналистов с воззванием Родзянки о принятии власти думским Комитетом.

И понял Воронович, что революция – уже совершившийся факт. И почти не дослушав рассказов Всяких – поспешил в управление пункта, к Менгдену. По обязанности старшего адъютанта, он каждое утро подавал ему папку бумаг на подпись. Теперь поверх этих бумаг он вложил петроградские листки, внёс генералу – а сам ждал в адъютантской.

Через несколько минут распахнулась дверь генеральского кабинета, и старый Менгден, бледный от негодования, протянул измятые листки:

– Возьмите от меня эту гадость. И потрудитесь просить начальника гарнизона немедленно собрать у себя всех командиров отдельных частей.

Через полчаса в управлении все собрались, встревоженные. Командир автомобильной роты доложил, что у него и весь вчерашний день волнения. На вечерней переключке солдаты отказались петь гимн, а сегодня в полдень намерены устроить митинг.

Исправник принёс целую пачку тех самых листков, за которыми так тайно посылался Всяких, – они уже сами притекли в Лугу.

На этот раз генерал вынужден был их прочитать. И все читали, молча шелестя. Воронович следил за графом. На его открытом породистом благородном лице видна была вся борьба сомнений.

– Господа... Я вижу, события в Петрограде приняли такой характер, что прибывающим с фронта войскам придётся выдержать с изменниками настоящий бой. Я не сомневаюсь, что фронт останется верным Его Величеству. И это всё решит. А наша задача здесь – только чтобы лужский гарнизон не оказался на стороне мятежного Петрограда. А главное ядро гарнизона – вверенные мне кавалерийские части, конечно присоединятся к верному фронту. – Он решил подавлять? Нет, свойственное ему миролюбие и великодушие, да долгая традиция брали верх: – А если какая-нибудь автомобильная рота желает присоединиться к мятежникам – мы ей мешать не будем! Если запасный артиллерийский дивизион захочет последовать её примеру – скатертью дорога! Они – не подкрепление для бунтовщиков, потому что у них нет оружия. И ещё, я не сомневаюсь, к нам подойдут казаки с фронта. Итак, я принимаю решение: всячески воспрепятствовать кровопролитию между частями гарнизона. Но, разумеется, приму меры оградить вверенные мне части от касания с бунтовщиками.

Исправник пришёл в ужас: значит, город оставался в добычу мятежным частям? Да ведь в Луге ни фабрик, ни заводов, за спокойствие населения он ручается, но надо же обуздать мятежные части!

– Так что ж, ваше превосходительство, вот митинг автомобилистов – не мешать?

– Не мешать! – величественно держал голову старый граф.

И взяв Вороновича, поехал делать смотр отправляемой на фронт команде. С обычным спокойствием он ласково здоровался с ней, та дружно отвечала на приветствия. Смотр прошёл великолепно, генерал остался очень доволен выправкой людей, состоянием лошадей, несколько раз благодарил ротмистра, вахмистра и солдат.

Кончился смотр – в управление кавалерийского пункта позвонили из полиции, что автомобилисты ранее своего назначенного митинга соединились с запасным дивизионом, выкинули красный флаг и идут в город «подымать кавалерию».

Генерал Менгден первый раз за все эти дни растерялся.

– Так что же нам делать? – спросил он у Вороновича, вскидываясь старыми глазами с краснотой. – Неужели стрелять по этим мерзавцам? Как не хочется проливать кровь.

Воронович был рад оказаться на месте у совета и спешил высказать его, чтоб доклонить генерала, куда он уже клонился:

– Ваше сиятельство! Что революция в Петрограде произошла – это уже несомненный факт. Во что она выльется на фронте – это пока неясно. Зачем вам спешить занимать резкую позицию? Ваше миролюбие вас не обманывает. Что могут сделать наши команды? Ещё неизвестно, согласятся ли все солдаты выступить против остального гарнизона. Но если и да – это будет бесцельное кровопролитие, за которое потом жестоко заплатят наши же офицеры. Нет, вы правы: надо во что бы то ни стало избежать крови! Ну, пусть эти автомобилисты и артиллеристы придут к нам. Что они могут сделать? У них кроме шашек никакого оружия нет, придут, поговорят и уйдут к себе. Важно, чтоб наши солдаты знали, что их офицеры будут вместе с ними, – и тогда у нас внутри всё обойдётся благополучно. Не выступайте! – пожалейте собственных офицеров! Я свою команду – берусь удержать от всякого выступления. Прикажите начальникам других команд...

Генерал сидел в изумлении и потерянности. Он дряхлел на глазах, на год в минуту:

– Но не могу же я, верой и правдой прослужив трём Государям, теперь изменить своему долгу и присяге?! Конечно, я против кровопролития. Но... Что же вы посоветуете мне делать? Я готов принести в жертву самого себя, пусть убьют меня, если только это поможет с честью выйти...

Воронович умолял его только не выступать перед возбуждённой толпой. Уговорил отправиться на квартиру и спокойно ждать.

А сам поспешил в свою команду.

Тем временем снаружи уже слышался глухой шум приближения толпы. Из окна Воронович увидел, как к крыльцу команды подскочил верховой артиллерист с красной повязкой на рукаве. Прокричал:

– Выходи все из казармы!

И поскакал к следующей команде.

Воронович прошёл в команду и нашёл солдат в полном смущении. Они не знали, что делать. Некоторые уже шли к выходным дверям, но заметили ротмистра, остановились.

Теперь-то он и должен был оказать своё водительство. Вот пришёл момент управлять массой! Он вышел на середину казармы и громко крикнул:

– Кто хочет – иди на улицу, остальные – собирайся ко мне!

Казарма загудела – и все окружили ротмистра.

Тогда он громко сообщил им, что в Петрограде произошла революция, и почитал из воззвания и листков.

Кричали нестройно «ура», спрашивали, что им делать.

Воронович предложил отправить по человеку от взвода, узнать, чего артиллеристы хотят.

А сам срочно вызвал к себе в канцелярию Всяких и совещался с ним. Тот сообщил, что в автомобильной роте выбран «Военный комитет», чтоб руководить восстанием гарнизона. Воронович немедленно послал Всяких установить с комитетом связь и начать переговоры.

Между тем артиллеристы с красным флагом дошли до управления кавалерийского пункта и звали кавалеристов «присоединиться к народу» и идти на манифестацию. Но кавалеристы мялись, а посланные от взводов вернулись недовольные:

– Болтают, а чего – не поймёшь.

Это даже превзошло ожидания Вороновича: кавалеристы не поддались! (Так они бы и бились?)

Но прошёл час (Всяких не возвращался, только за смертью посылать), и узнали, что артиллеристы обезоруживают соседнюю конную команду, вошли в их казарму.

Это уже через меру. Это не годилось. Надо было держаться. Воронович построил своих и выразил, что старым солдатам стыдно дать себя разоружить новобранцам.

Ответили, что сраму такого не допустят.

Усилили караул к оружейному складу, дежурный взвод построили в казарме у выхода, а строгий стройный высокий Воронович с дежурным унтером вышел на крыльцо.

Вот подходили и артиллеристы, человек сто и всё новобранцы, лет по 18-19, а ещё несколько местных гимназистов и двое-трое подозрительных штатских. В руках толпы виделось штук 40 винтовок, которые они без труда взяли в соседней команде.

Из толпы выступил вольноопределяющийся, взял под козырёк и предложил ротмистру немедленно сдать всё оружие, которое имеется в команде.

Ротмистр спросил, по чьему распоряжению? Вольноопределяющийся ответил, что у них есть сведения о неподчинении кавалеристов Государственной Думе, и поэтому решено их обезоружить.

Это и было решено в том «военном комитете», от которого ждал сведений и прояснений ротмистр, да Всяких всё не возвращался. Сложное положение, как ноги разъезжаются.

Между тем из толпы, опьянённой успехом в соседней команде, раздались крики:

– Да что с ним, золотопогонником, разговаривать! Дай ему в ухо и вали в казарму!

Тут на крыльцо высыпал дежурный взвод с винтовками.

Толпа поостыла.

Сверхсрочный унтер спросил вольноопределяющегося, зачем пожаловали.

Тот повторил.

– Ах ты, щенок лопухий! – закричал на него унтер. – Да ты с кем разговариваешь? Да ты ещё с голой задницей бегал, когда меня дяденькой величали! – и ты от меня винтовку требуешь? Да я тебе такую винтовку пропишу, ты до самого полигона катиться будешь! Ребята, – оборотился он к своим на крыльце, – а ну, покажите соплякам дорогу на полигон.

И человек двадцать кавалеристов, оставив винтовки у своих, со смехом и шутками врезались в толпу и быстро отобрали у сопляков всё оружие соседней команды.

Штатские убежали, а новобранцы и гимназисты растерянно смотрели на своего предводителя.

Но, конечно, это было не решение вопроса. Ротмистр подошёл к вольноопределяющемуся и стал его уговаривать.

– Поймите. Если бы мы захотели действовать против вас, то несколько сот хорошо вооружённых старослужащих легко справились бы со всем вашим беспущечным дивизионом. – Что была совершенная правда. – Но мы не хотим ненужного и бессмысленного кровопролития. Вот хорошо, что кончилось мирно. Отправляйтесь к себе в дивизион и объясните там это...

То есть «военному комитету». Хотел бы Воронович понять их замысел и цели.

Петроградская революция всё равно уже победила, бессмысленно и не надо с ней спорить, а повторить её в Луге наиболее безболезненно.

А солдаты смаковали, как они сейчас будут срамить соседнюю команду, отдавшую оружие.

255

Хотя в соседней комнате уже собиралось топтание Совета рабочих депутатов – Исполнительный Комитет не намеревался к ним туда выходить, занятый настоящей работой. Неизбежно только было послать одного на председательствование. Самый подвижный и неуёмный Соколов рвался туда, сидеть здесь за столом ему казалось скучно. (И Гиммер тоже подбивал его уйти: он выведал утром, что тот неверный союзник, и в вопросе о власти – допускает участие в коалиционном правительстве, и в вопросе о войне – имеет такое уродливое представление, что Германия может насадить у нас опять царский строй, а поэтому именно теперь надо против неё воевать). Итак, Соколов ушёл руководить толпой, а остальные рассаживались вокруг своего стола за занавеской, установив сколько можно прочный заслон на дверях, чтоб хоть сего дня-то не мешали. (Но и тех, кто задерживает, уже набралось тут полкомнаты).

Не сразу, но спохватились: не нужно ли протокол писать? Большинство кричало – не нужно, опасаясь попасть в секретари. Но Капелинский склонялся, и его упростили.

А Чхеидзе начал председательствовать тут. Но все видели, что уже и на это он не годится, состаревался рано. Ему было только за пятьдесят, в Думе он держался на крайнем левом фланге молодцом, петушком, а в эти: дни охрип и иссилился, выступая перед солдатами, валящими в Думу. Но больше всего он изнемог от наплыва счастья: вся Дума оказалась неправа, а одна кучка социал-демократической фракции права! – вот совершилась предсказанная им народная революция, и больше ничего он не хотел, не мечтал и не мог направить. От этого исполнения желаний, от этого полного прохвата счастьем он вконец обмяк. Не успевал замечать, кому дать слово, и не имел расположения да и могущества отнять у кого-нибудь, то блаженно кивал противоположным мнениям, то как будто засыпал. (А ещё ему подносили подписывать то пропуска, то какие-то другие клочки).

Соседи его пытались руководить собранием за него, потом всё смешалось, не слушали и заику Скобелева, а Керенский конечно не присутствовал, он даже и для вида не вбегал, уже

открыто презирая этот ИК, – и заседание пошло просто на перекриках и спорах, кто слово захватит.

Вообще неотложных вопросов и сегодня было на целый день заседаний, но наконец не избежать было вопроса о власти: кто же и как устроит революционную власть? И большевики своей дружной группой настаивали именно об этом говорить и даже именно: Исполнительному Комитету немедленно брать всероссийскую власть. А неугомонный Гиммер своим пронзительным голосом ещё прежде объявил, что, как ему стало известно, цензовые круги на полных парах готовят создание правительства, – он и не скрывал своего одобрения, – а Исполнительный Комитет, значит, вынужден разработать свою позицию и занять её.

Вынужден так вынужден. Стали занимать и высказываться.

Гиммер же поспешил и захватить общее внимание. Он так и открыл, что только этим вопросом постоянно и был занят и вот к каким выводам пришёл. Конечно, цель империалистической буржуазии, этих Гучковых и Милюковых, понятна: ликвидировать произвол только над самими собой и закрепить диктатуру капитала и ренты. Правда, для этого им придётся создать полусвободный, так называемый либеральный, политический режим и полновластный парламент. Но на этом подражании «великим демократиям Запада», а на самом Деле диктатуре капитала, они хотели бы революцию остановить, кроме того ещё обуздав её для целей национального империализма и «верности доблестным союзникам». Всякому мыслящему марксисту эта тактика насквозь и с железной необходимостью понятна.

Выступление Гиммера затягивалось вроде лекции, но так назойливо режущее он говорил, и такая несомненно марксистская тут сквозила теория, что его слушали.

Однако есть другие мыслящие марксисты, скажем группы Потресова, не говоря уже о народниках-обывателях, которые отсюда утверждают в мысли, что наша революция и обречена быть буржуазной. Так вот: это – логически не обязательно и фактически неправильно! В условиях идущей войны и в страхе перед мнимой «национальной катастрофой» это означает не что иное, как планомерную и сознательную капитуляцию перед плутократией, означает политический, социалистический и социальный минимализм – тогда как эпоху империалистической войны должна увенчать непременно мировая социалистическая революция!

Правые тут меньшевики, окисты, – поняли ли, куда ведёт Гиммер? Вряд ли. Уж только не Гвоздев, сидел с потерянными выражением, как будто и не слышал. Но обманулись и левые. Единственный тут, но пламенный эсер Александрович, единственный, но неуклонный межрайонец Кротовский и Шляпников с верными большевиками всё больше сияли, что представитель болота Гиммер говорит им на руку, прекрасное выступление! Если их левое крыло объединится с болотом, то вот сейчас можно будет и провести постановление о взятии Советом депутатов всей революционной власти!

Однако болото вязко поворачивало дальше так, что демократические массы в настоящее время не имеют реальных сил для немедленного социалистического преобразования страны.

У Кротовского лицо было жирноухое, жирнощёкое, жирногубое, и он выражал им хохот: а кто же распоряжается всюду – на улицах? на вокзалах? в казармах? – разве думский комитет? Всюду командуют уполномоченные Совета или его добровольные сотрудники. Кто же ещё другой имеет сегодня авторитет в массах? К воззваниям Совета прислушиваются как к приказам.

(Так-то, может быть, и так – а вместе с тем и страшен же этот шаг: взять власть, самим, никогда не подготовленным, – как? что? И в какой момент? Когда старая власть вовсе не уничтожена и может опять нагряться сюда. Конечно спокойней, если возьмёт Милюков, пусть они и голову ломают).

Нет и нет! – настаивал Гиммер: в данный момент демократия не в состоянии достичь своих целей одними своими силами. Без цензовых элементов мы не справимся с техникой управления. А значит – надо использовать империалистическую буржуазию фактором в

наших руках! Надо, по сути: при буржуазном правлении установить диктатуру демократических классов!

Это была захватывающая идея, которую Гиммер гордился, не все вожди мирового пролетариата могли такое придумать. И свои сверлящие пальцы он устанавливал попеременно в сторону собеседников. Вот в чём особенность обстановки и вот в чём должен быть ядовитый дар данайцев: предложить буржуазии власть в таких условиях, которые бы **обеспечили нам полную свободу борьбы против неё самой!!!** Ещё очень может быть, что они раскусят и не захотят взять власть в таких условиях. А пролетариат должен заставить их взять власть!

Ну что-то слишком мудро, просто смех! Кричал буйный Александрович, и подавал басок Шляпников: нам просто смешны ваши опасения, что буржуазия откажется от власти! да никакой класс ещё никогда добровольно от власти не отказывался! А что ж все эти годы толкало нашу буржуазию в оппозицию к царю, если не жажда власти?

Но хоть они так и насакивали резво, но не было в них настоящей настойчивости. Какая-то неуверенность в них была. Шляпников, видно, очень непристроено себя здесь чувствовал: выступал не бойко, часто отвлекался к своим приходящим, а то исчезал с заседания. Большевики, они ведь главное видели не в Совете, а что захватывали тем временем Выборгскую сторону, и кажется Нарвскую. А тут, на заседании, они только и знали голосовать дружно как один, типичное поведение для недостаточно мыслящих. По их примитивному представлению, восстание в Петрограде уже и было начало мировой социалистической революции, поэтому и речи не может быть ни о каком цензовом правительстве – но брать самим полноту власти и реализовать программу-максимум! (Да они и вели так, без всяких заседаний. Вон, уже успели напечатать в «Известиях» свой манифест, опередили всех: отдельное социалистическое правительство! Напечатали свой манифест как выражение общесоветской программы, что за нахальство!)

Но тонко и сложно вёл Гиммер: суметь сохранить свои руки свободными, а власть направлять из-за её спины.

Капелинский зачарованно заслушивался говорящих, то и дело забывал писать протокол – да и кому зачем он нужен, что он такое против живого дела?

Шехтеру тоже была не по уму вся гиммеровская теоретическая высота и тактическая изощрённость, но главное он ухватывал и поддерживал: вообще допустимо или недопустимо социалистам участвовать в буржуазном правительстве? – как следствие допустимо ли сейчас войти в коалицию с цензовыми кругами? Шехтер считал, что ни в коем случае не допустимо. Это было бы изменой революционной социал-демократии. Если социалисты войдут в коалицию, то у рабочих создадутся иллюзии, что грядёт социализм, – а потом наступит убийственное разочарование.

Так всё больше сходилась против оборонцев. Голоса тех звучали совсем робко: что война всенародная и нельзя уклоняться от ответственности за неё.

Так тем более они: сплывали против себя всех циммервальдистов здесь, а их было большинство: участие в коалиции есть измена Циммервальду!

Гиммер проницательно предвидел парадокс, что большевикам, межрайонцам, эсерам придётся голосовать за его программу, никуда не денутся. Даже не оценив её красот и глубин, а всё равно проголосуют.

Правда, тонко и умно один за другим защищали коалицию бундовцы Эрлих и Рафес. Они исходили из осторожности. Они и подводили известную теорию, что революция у нас – буржуазная и должно пройти свободное буржуазное развитие, это целая эпоха.

А других сильных защитников коалиции – Пешехонова и меньшевика Богданова, на заседании не было.

Тут неожиданно для всех раскричался до сих пор всем довольный и счастливый Чхеидзе. Потому ли, что дольше всех ему уже досталось заседать с этой цензовой буржуазией в Думе – но он стал сердито и даже неразборчиво кричать, что он решительно не допустит никакой коалиции! ломает её, а не только, что будет голосовать против!

Столько прожив на краю парламентской оппозиции, он привык бояться малейшей причастности к власти – и для себя, и для друзей. Он считал: лучше будем снаружи подталкивать цензоровую власть.

И опустил утомлённую голову на грудь.

И Скобелев, конечно, с ним заодно.

Некоторые колебались, меняли мнения.

Сообщник Гиммера Базаров, никого не слушая, сидел тут же за столом и писал. (Не знал Гиммер измены: статью в завтрашние «Известия» в пользу коалиции!)

Интересно, что никто из двадцати присутствующих не потребовал помешать созданию буржуазного правительства, хотя знали, что каждый час оно движется к формированию. В этом-то и была неуклонность хода событий, предвиденная Гиммером.

Тут выступил Нахамкис. Он по-разному умел выступать, он умел и громить, он и очень, он очень умел быть осторожным. (Дошёл же и до него слух, что генерал Иванов ведёт на Петроград 26 эшелонов войск подавления, что с Карельского перешейка идёт 5 полков. А какие силы защищали Таврический – все видели: никакие. В таком положении брать власть – значило просто совать голову в петлю). Нахамкис теперь аргументировал, что революционная демократия в настоящее время никак не сможет нести обузы власти. Да и нет сейчас в её среде крупных имён, которые могли бы создать авторитетное правительство. Да и совершенно они незнакомы с техникой государственного управления. Пусть цензовые думцы возьмут власть и довершат крушение царизма. Надо быть вполне довольным, если революция восторжествует пока в форме умеренно-буржуазной, – а затем мы будем её подталкивать и раскачивать. Так что пока надо приветствовать решение думского комитета взять на себя ответственную роль. Он лучше всего и справится с царистской контрреволюцией.

Итак, проступало три возможных решения. Крайних левых – цельно-социалистическое правительство. Оборонцев и бундовцев – разделить с буржуазией власть, войти в коалицию. И центра, называйте его болотом, но тут вся гениальность: не брать власти себе, но и не делить её с буржуазией, а остаться со свободными руками – и толкать!

И уж кажется шло к голосованию – но не добрались. Да мудро было бы добраться, удивительно ещё, что столько времени могли поговорить на одну тему. В комнату № 13 то и дело рвались, совали бумаги добровольным секретарям, часовые и секретари еле сдерживали напор ломящихся по «чрезвычайным и неотложным делам». Сообщали об эксцессах, о стрельбе, о погромах, те жаловались на атакующих, те на обороняющихся. Из Кронштадта принесли слух, что убили двух адмиралов, избивают каких-то офицеров, как будто тоже надо кого-то послать. Одни члены ИК высказывали к вызывающим, другие возвращались, третьи ходили поднаправить пленум Совета в соседней комнате. И бумаги приходили довольно важные, например от профессора Юревича, назначенного новым общественным градоначальником, вместо Балка: он просил себе помощников от Совета. Какой нонсенс – никаких назначенных градоначальников уже никогда не будет впредь! Но сейчас, временно, что ж, он совершит полезную работу по разрушению старого полицейского гнезда. (И Гиммер отправил туда двух своих друзей).

А тут за занавеской раздался значительный шум, даже больше самого заседания, – и решительно отклоняя занавеску, перед заседанием И-Ка выставился какой-то полковник в сопровождении юного гардемарина с боевым видом.

Ещё недавно многие тут, нелегальные и полулегальные, шарахнулись бы в испуге от такого полковничьего у них появления. Ещё недавно и полковник мог только крикнуть им разойтись или напустить на них кавалерию. Но сейчас он вытянулся, как перед заседанием генералов, и отрапортовал.

Что Исполнительный Комитет Совета рабочих депутатов обладает полнотою власти, только ему все повинуются, и он, полковник, прислан обратиться за содействием.

– Что случилось? Почему вы врываетесь?

Многие стояли, заседание было нарушено, и вместо всемогущества члены ИК ощутили

скорей беспомощность.

256

Но позвольте, что за военная наглость! Чего хочет этот полковник от Исполнительного Комитета и как смеет он нарушать заседание?!

Всё смешалось, говорили многие и не могли сразу понять.

Полковник тоже объяснялся не по-военному, путано, с длинными добавочными: фразами, – или дипломатничал? Из его вежливых выражений не сразу поняли суть: председатель Государственной Думы Родзянко намерен выехать на свидание с царём, и заказывал себе для этого экстренный поезд на Виндавском вокзале, поезд уже был готов, но сейчас поступили сведения, что железнодорожники отказываются его отправить. Они говорят, что послушаются только Совета депутатов. Так вот, покорнейшая просьба от думского Комитета к Совету: разрешить отправку поезда.

Да что такое, почему ИК должен... (Ага, значит – наша власть!) Да почему прерывают без спроса? Да какие такие железнодорожники, мы ничего об этом не слышали!

Но как уже всё покатилося кубарем, так теперь и этот подчинённый гардемарин, вместо того чтобы держаться немим адъютантом, – выступил с заявлением, голосом гневно-дрожащим, с глазами гневными ко всему Исполнительному Комитету:

– Позволю себе спросить от имени моряков и офицеров: какое ваше отношение к войне и к защите родины? Чтобы признать ваш авторитет, мы должны знать... Если в такую минуту Председателя Государственной...

Маль – чижка! Ещё и этот! Он хочет знать! Тот самый вопрос, который нарочно все обходят третий день!

– Нет, это слишком! Извольте удалиться, господа, мы обсудим без вас!

– А какие железнодорожники?...

Скобелев выразил, что – знает, но когда эти уйдут.

Выпроводили: ответ будет.

Объяснил Скобелев: есть один надёжный человек, счетовод службы сборов Северо-Западных железных дорог Рулевский. В движении революции он бросил своё счетоводство, а присоединился к штабу Бубликова в министерстве путей. И оттуда время от времени сообщает, что там делается, проверяет их. Он и позвонил, что готовится поездка Родзянки для сговора с царём, уже не с первого вокзала. Скобелев дал знать на Виндавский – остановить уже готовый поезд, но не успел объявить И-Ка.

Да что тут успеешь?... (С бумагами и делами тем временем продолжали добиваться – разрешения, удостоверения, направления...)

Теперь все стояли на ногах, как будто надо было бежать на пожар, так их перебудоражило.

А в самом деле, зачем Родзянко едет? Скажите, Государственная Дума! Столыпинская! Хочет зацепиться за революцию! Какая у него может быть цель? Да разве мы можем доверять ему? Да и всему думскому Комитету? Ведь они ещё никак с революцией не связаны, возьмут да и столкнутся с царём. За наш счёт! А тогда они и всю армию повернут против революции? Да это губительно! Тут не может быть сомнений! Никакого не давать разрешения! Прав Скобелев, что задержал! Сам царь не может справиться с Петроградом, так Дума ему поможет! (А вот так доверять им власть? Значит – нельзя давать им власть?) От этой поездки может зависеть вся судьба революции! Ни в коем случае не разрешать! Благодарить железнодорожников за правильное понимание долга перед революцией!

Кажется, других мнений и не прозвучало. Нет, было такое: пусть Чхеидзе сопровождает Родзянку для контроля? Большинство решили: всё равно **отказать**!

Садилась. Сели.

Но этот эпизод всколыхнул, что напрасно они все пренебрегали вопросом о судьбе династии, – им казалось, это отдалённо и почти уже сметено. А – нет! Очевидно, Совет

должен выразить ясным актом, что династия Романовых не может оставаться!

Но тут и ещё вопрос: а – Керенский? Ведь он – там, в думском Комитете, ведь вот он сюда и не является. Так он – знает о подготовке этой предательской поездки? Почему не помешал? Почему – нам не сообщил? Вызвать сюда Керенского!

Пригласить.

Да надо же возвращаться к вопросу о власти!

А тем временем накопилась вермишель мелких дел – одно, другое, третье...

Даже заседание рассыпается на единицы: каждый куда-то идёт, спует. (Да надо же когда-то поесть и попить. Товарищи! Мы сейчас организуем что-нибудь здесь!)

Товарищи! Мы же должны переходить к голосованию по вопросу власти. Товарищи! – (это Гиммер) – голосование тоже ещё не всё. Ещё мы должны обсудить и выработать **условия**, на которых мы согласны допустить буржуазию ко временной власти, в коалиции или без коалиции! Ведь мы же **условно** её допускаем!...

А тут опять бегут сообщают: где-то офицеров бьют, терзают. И в Кронштадте... (Хотя это – историческая неизбежность). Надо что-то такое опубликовать, чтобы решительно и бесповоротно заставить офицерскую массу примкнуть к революции! (Нахамкис стал писать).

А тут – вошёл Керенский.

Не вошёл – ворвался, бледный, полубезумный, истрёпанный, галстук набок, а короткий ёжик просто не сбивается, иначе бы... На лице его было отчаяние, он знал что-то ужасное?...

(Подходили войска Иванова? Мы погибли все?...)

– Что вы делаете! Как вы можете! – восклицал Керенский, не добираясь до более внятных: фраз. Но и был же измучен как! – Вы отсюда, ничего не зная, мешаете Родзянке ехать. Да неужели вы не понимаете, что я – там, и если было бы нужно, я остановил бы сам? – Он шатался, ему пододвинули стул. Он рухнул, привалился грудью косо к столу и голова опустилась.

Бросились ему помочь. Кто-то придерживал голову, кто-то рассвободил галстук и расстегнул воротник. Принесли воду и опрыскивали его.

Придя в себя – он нашёл силы говорить. Трагическим шёпотом, но всем однако слышно:

– Да неужели я нахожусь в том крыле, во враждебном окружении, для чего-нибудь другого, а не для защиты интересов демократии? Если появится опасность для нас – я первый её увижу! Я – первый её обезврежу! Вы – можете на меня положиться! Я – пронзительно помню свой долг перед революцией, как должен помнить каждый из нас!... Но при таких условиях недоверие, которое вы выражаете к думскому Комитету, есть недоверие лично ко мне! Это недоверие неуместно! Оно – опасно! Оно – преступно!... Очень может быть, что поедет совсем и не Родзянко. Дело не в Родзянке, а дело в поездке. Да он, может быть, получит отречение! Вы ничего не понимаете, а – мешаете!

Его слушали так, как не слушали друг друга целый день.

От-ре-чение?!... Ну, так если... Ну, другое дело...

Керенский, уже голосом отвердевшим, потребовал: разрешить поездку Родзянки, для окончательного утверждения новой власти!

И появились голоса в его поддержку – сперва сторонников коалиции, потом и других.

И потекли новые прения, совсем не короткие, и дело шло уже как будто не о поезде, а о взаимоотношении двух крыльев дворца? Да, так оно становилось!

А это же – и был вопрос о власти, который они покинули, никак не могли кончить.

И произошло нелепое голосование, в котором Гиммер с двумя наличными большевиками (остальные разбежались) только и был против поездки к царю, остальной ИК – за. Правда, с поправкой, что Чхеидзе или кто другой должен Родзянку сопровождать.

не могло, никакой частной жизни, если творилось такое.

Но, полный сил и военных соображений, он и вмешаться в события не мог без подчинённой ему части, без своего несравненного Преображенского полка, сидящего по окопам далеко в Галиции.

Сделать ничего не мог – но и в одиночестве не в силах был томиться. И хотя сестры ещё в обмороке были от опасности, пережитой им на Литейном, и хотя рассказывали наперебой, как расправляются с офицерами на улицах, – почувствовал! Кутепов унижение прятаться дома, невозможность так сидеть. Тогда надо бросать отпуск и на фронт уезжать.

Да уже не мог он так покинуть и этот неудалый запасный батальон.

Телефон снова действовал. Позвонил в офицерское собрание – Макшеев обрадовался и очень звал, но автомобиля прислать не может, их почти не осталось в батальоне, и офицеры ими не распоряжаются, такое странное положение.

Кутепов сказал:

– Хорошо, я приду пешком.

– Но как же вы придёте?

Да вряд ли это было так опасно, как рисуется напуганным людям. Вряд ли опаснее, чем идти в атаку под градом пуль или пешему встречать атаку кавалериста: здесь пули летают почти случайно, всё в воздух, а встречные пеши, и шашкой владеют наверняка хуже тебя.

Ему предстояло пересечь Большой проспект, пройти по Кадетской линии, потом по Университетской набережной, по Дворцовому мосту, мимо Зимнего – и всё. Держа пистолет без кобуры, с доведенным патроном в кармане шинели, а шашку – отчётливо наверху, на левом боку, Кутепов шёл в большом напряжении, готовый к бою каждую секунду и с каждым встречным. Не смотрел особо вызывающе каждому в лицо, но и не уводил глаз в землю, а как бы прослеживал на уровне глаз вперёд от себя прямолинейную узкую себе трассу, видя дальше вперёд, чем лицо встречного.

Но при этом не мог он не замечать омерзительных красных лоскутов на всех, какое-то необычное балаганное гуляние, овладевшее всеми, как безумие. И на большинстве лиц клеились или плавали глупые улыбки. Радовалась толпа, сама не зная чему – крушению порядка, началу анархии, где не сдобровать никому.

Какие-то ещё прокламации были расклеены по стенам, но Кутепов боковым зрением не охватывал даже их заголовка крупного, а уж тем более не подходил почитать.

Много было отдельных бродячих солдат, вне каких-нибудь команд, – и некоторые, проникнувшись грозно-утомлённым видом полковника, уверенностью его хода, отдавали ему честь, довольно чётко. Тогда и тотчас полковник им отвечал. А много было совсем распущенных, кучками, с оружием, и никаких приветствий не отдававших, – таких Кутепов миновал как бы не замечая, а на самом деле сильно напрягшись. В любой такой кучке могли быть его знакомцы по Литейному, сторожившие дом, искавшие его крови. Шансов подвергнуться нападению у него было больше, чем у всякого другого офицера, проходящего по улице, – очень немного их было, почти не было, всё больше вертлявые прапорщики, уже примкнувшие к революции, с теми же красными бантиками и столпленные со студентами.

Особенно густо и студентов и солдат стянулось как раз перед Университетом, толпа занимала половину набережной, в каких-то кучках произносились какие-то речи, а ещё из обрывков долетающего понял Кутепов, что здесь их кормят всех, потому и стянулись.

Но как будто лучами посланного вперёд напряжения, беззвучным волевым приказом «расступись!», полковник открывал себе дорогу. Он проходил как снаряд через облако дыма – и ни одна близкая рука даже сзади в спину не посягнула на него. Смотрели на высокого короткобородого железного полковника – и отодвигались, пропускали, не крикнули оскорбления, не придрались, что он без красного.

Конечно, это зависело от случайностей встреч, можно было попасть на столкновение и просто на смерть. Но вот – он прошёл.

Прежде него по Дворцовому мосту и мимо Биржи прогрохотала пара броневиков. И успел подумать: броневики, уже два года позиционной войны как снятые с дела, негодные

без дорог и по изрытой местности, – вот где теперь пригодились, по городским улицам, возить солдат революции и насмерть пугать безоружных жителей.

На Дворцовом мосту движение было людное и свободное, никто не преграждал. Тут впервые заметил, какая сегодня погода. Никакая, утренний туманец рассеялся, но в просторе над снежной Невою, уже за Троицким, ощущалась пелена. Солнце проглядывало, а не выступало полностью.

Был бы мороз градусов 20 – никаких бы этих толп не было.

Может, и революции бы не было.

Ото всей и всеобщей распущенности как будто чем-то грязным вымазали душу.

На виду у строгого молчаливого полукруглого Главного Штаба было особенно отвратительно ощущать, во что превратилась столица.

В Преображенское собрание Кутепов пришёл как раз к завтраку. Все офицеры обрадовались ему. Новости их были такие. Сегодня утром на трёх грузовых автомобилях приехала без офицеров с унтером большая команда 3-й роты преображенцев, с Кирочной, бунтарей, – и дежурному по 1-й роте предъявили распоряжение Военной комиссии Государственной Думы на осмотр помещений и отобрание пулемётов. Таких пулемётов в наличии было всего два учебных, их и забрали. Но кроме ротных помещений вооружённые бунтари оскорбительно прошли также по офицерскому собранию, делая вид или на самом деле ища пулемёты, или что другое, или только для угрозы.

– И вы их не выгнали?!

Не посмели. Можно допустить неосторожный шаг и всё погубить.

А ведь были тут настоящие боевые офицеры, вот и Борис Скрипицын с георгиевским оружием, которого хорошо помнил Кутепов по сентябрьскому бою у Бубнова.

И они уверены были, что поступали правильно! Это вот чем подтверждалось: бунтари уехали без конфликта, а вслед привезли доверительное распоряжение Военной комиссии – выслать им в Таврический батальонную канцелярию на помощь. И выслать караулы на охрану близлежащих дворцов. Макшеев оформил приказ по батальону – и уже выступили: капитан Кульнев с полуротой – на охрану Зимнего, барон Розен с четвертью роты – во дворец великой княгини Марии Павловны, Гольтгоер с четвертью – во дворец Михаила Николаевича, Рауш-фон-Траубенберг с четвертью – во дворец принца Ольденбургского. В таком направлении караулов преображенцы видели благоразумие новых властей и, скрытое пока, начало успокоения. Да и солдат занять. Ещё послали наряды на телефонную станцию, в министерство иностранных дел, выслали дозоры по Миллионной, по Мойке, по набережным в одну сторону до Летнего сада, в другую до Мариинского дворца и Сенатской площади.

– И что эти дозоры должны делать?

– Военная комиссия вменила в обязанность разгонять сборища.

– Это хорошо бы. Но никого они не разгонят. Не такие силы нужны и не такая решимость. Да этими сборищами весь Петроград кипит. И первое такое сборище – Таврический дворец, с него начинать.

Офицеры смотрели на полковника почтительно – и с недоверием.

Они для себя вот что усматривали хорошее: что вчерашнею поездкой офицеров в Таврический и этим распоряжением Военной комиссии Преображенские офицеры становились как бы на законную службу – и были освобождены от горькой необходимости тащиться в Дом Армии и Флота на офицерский митинг и там добывать себе охранительное разрешение.

А что в Доме Армии-Флота? – Кутепов ничего не знал.

Показали ему обращение.

– Боже! Боже! – только мог произнести Кутепов. Он представил себе это массовое офицерское унижение.

Кстати, наискосок от дома Мусина-Пушкина. В самом том месте Литейного, где позавчера он вёл безуспешное сдерживание, – и тогда никто из этих сотен офицеров не пришёл к нему на помощь, а то бы всё и кончилось иначе.

Как же быстро и без боя сломили всё столичное офицерство!

И что же было делать?

А вот что. Капитаны Скрипицын и Холодовский имели идею и приступили к полковнику. В Военную комиссию теперь назначены офицеры генерального штаба – и среди них полковник князь Туманов, который когда-то командовал для ценза 16-й ротой Преображенского полка, – и, кажется, с Александром Павловичем у него сохранялись хорошие отношения?

– Ну, как будто.

Так вот и идея: полковнику поехать сейчас прямо к нему и объясниться, что дальше так идти не может. Что надо немедленно и энергично спасти положение.

– Вздор, – сказал Кутепов. – Во-первых, мы не в таких исключительных отношениях, чтоб он меня особенно слушал. Во-вторых, он и сам, они сами там отлично всё видят. В-третьих, каждый офицер императорской армии должен иметь ответственность сообразить это всё самостоятельно.

Но походил, походил – опять получалось унижительное самозаключение, самоустранение, даже и тут, в собрании.

А тем временем всё вокруг только гибнет.

– А что, в самом деле? – сказал Кутепов Холодовскому. – Давайте попытаем счастья. Чем чёрт не шутит.

Автомобиль для их поездки был. С маленьким красным флажком. А иначе к дворцу не подъедешь.

258

Что значит – не сделать дела сразу. Не поехал решительно ещё до рассвета нагонять в Бологое – а потом уже поездка никак не налаживалась.

Милюков – сразу насторожился и сказал, что надо хорошо подумать. И помешал собрать Комитет для решения: подумать, дескать, надо каждому и ещё проконсультироваться. Есть и плюсы, есть и минусы, очень демонстративный шаг.

Да, конечно, шаг был исключительно важный. Но и – по характеру Председателя. И в такой момент только таким шагом и можно что-то спасти.

Но и ответа от Государя надо было дожидаться. Всё же прилично было получить согласие, а не рваться самому.

Шли телефонные переговоры с Бубликовым в министерстве путей. Не сразу добились от них, что они, оказывается, совершили дерзкий мятежный шаг: приказали задержать поезда Государя, не доезжая Старой Руссы! Да сам Председатель никогда б не решился на такое.

Не надо! Неблагодарно. Встретимся и так. Родзянко велел отменить всякую задержку царского поезда. Но ещё и не был уверен, что эти плуты выполнят.

А экстренный поезд Председателя на Николаевском вокзале давно уже был готов. Потом – задержан чуть ли не комендантом вокзала! Потом на вокзал поехали от Бубликова, и поезд опять стал готов. И даже открыта была ему дорога, задержаны пассажирские поезда, и Михаил Владимирович уже ехал домой переодеваться да на вокзал, когда задумался: что ж теперь гнать через Бологое вослед ушедшему царскому поезду? – короче встретить его по Виндавской линии на Дне. И велел отменить себе поезд на Николаевском вокзале, готовить на Виндавском.

А между тем он сам жил и двигался под смертельной угрозой: ведь его самого солдаты угрожали убить! И тут, во дворце, в толчее или прямо касаясь, и все с винтовками, – ничего и не стоило убить! Но презирал бы себя старый кавалергард, если бы испугался этих подлых угроз.

Впрочем, спешно издал Энгельгардт успокоительный приказ о неразоружении солдат. Хотя к какому бардаку это могло повести – даже и не представить.

А тем временем солдаты – не угрожающие, но приветствующие, – всё текли и текли в

Таврический – строями, частями, потоками, кто только до крыльца, а кто и впираясь в Екатерининский. А придя – все непременно хотели слышать к себе приветственную речь.

Однако желающих идти к толпе и кричать до хрипа – среди думцев и Временного Комитета становилось всё меньше, да многие думцы вообще скрывались по квартирам, не появлялись в Таврическом. От этого же тёмного разбойничьего Совета депутатов желающие выступать перед делегациями всё время были – и Чхеидзе со Скобелевым, и какие-то с ними неизвестные подвижные евреи, – и чего они могли нанести, наговорить? Чтоб не допустить окончательного разложения гарнизона – ничего не оставалось Председателю, как влечь и влечь себя на эти выступления, чуть не один за всех, пока ещё не уезжал.

Опять один за всех! – как и много раз в своей жизни. Как представлял Думу перед Государем в месяцы грозного их противостояния и непонимания. Как сегодня ночью остановил движение войск на Петроград. Как держал на себе весь Временный Комитет. И в этих встречных речах – опять! Удел богатырски наделённых натур, Родзянко и не жаловался. Кому много дано, с того много и спросится.

И посылал Бог голоса! А вид был величественный, грозно-достойный, – и если были в толпе эти распущенные убийцы, то ни одна угроза не раздалась вслух. Целые тысячи солдат выволакивал Родзянко своим трубным голосом – к сознанию долга, к сознанию опасности, в которой состоит отечество, и что надо победить лютого врага Германию. И хотя уже десять и двадцать раз он говорил за эти дни одно и то же, вряд ли меняя даже и слова, – такая пламенела в нём любовь к России, что хватит горячности и на восьмидесятый раз. Даже понял он теперь, что зал думских заседаний бывал для него мал и тесен – а вот такая нужна была аудитория его запорожскому басу, его необъятной груди!

Конечно, хотелось бы высказаться похлеще, высечь этих подстрекателей, мерзавцев из Совета депутатов, свивших в Думе своё хищное гнездо, никаких не патриотов, а прощальг, если не разбойников, – вот уже захватывали они и Таврический, и весь Петроград. Да, весь Петроград! Хотел Михаил Владимирович ехать домой переодеться в дорогу – доложили ему что-то невероятное: что на Виндавском вокзале какие-то железнодорожники отказываются готовить ему поезд! – а требуют на то приказа от Совета депутатов! – вот как!

Значит, Председатель, взявший власть во всей стране, не был хозяином единственного паровоза и вагона? Чудовищно!

Председатель обладал всей полнотой власти! – а не мог распорядиться таким пустяком? Поездку, от которой зависела судьба России, решали какие-то беглые депутаты! И к этим самозванным наглецам приходилось кого-то посылать, унижаться до переговоров! Унижение было оскорбительней всего гордой душе Родзянко.

Но – хватало ему одумки не произнести роковых слов. Везде звучало «свобода» в смысле «никому не подчиняйся» – и Родзянко молча обходил эту их свободу, но призывал подчиниться защите родины. Кричал, что не дадим Матушку-Русь на растерзание проклятому немцу, – и кричали ему громовое «ура».

А столица как охмелела: шли во дворец уже не только военные делегации, но и какие-то гимназисты, и какие-то служащие, – и перед ними тоже должен был кто-то выступать? Но уже Председателю было обидно. Надо было ему и за своим столом посидеть, разобраться, подумать, что важное не терпит ни часа, ни минуты. (Однако и в кабинете уже такое набилось постороннее, что куда бы и в малую комнату уйти?)

А тут ещё новинка: не только весь Петроград знал и превозносил Родзянку – но вся страна, из провинциальных городов, из разных дальних мест железнодорожные служащие и чиновники, городские думы, земские собрания, общественные организации слали на имя Председателя поздравления и заверения о поддержке Думского Комитета и лично его самого, что он стал во главе народного движения.

Читать эта телеграммы – была музыка. И до слез.

Однако кроме приятных несли и срочные, мало приятные. От адмирала Непенина – две. Сперва: что он считает намерения Комитета достойными и правильными. Это отлично. Но вскоре вослед: что он просит помочь установить порядок в Кронштадте, где убиты адмиралы

Вирен, Бугаков и офицеры.

Эти кронштадтские убийства пришлось прямо ножом по нервам: они кровавыми пятнами омрачили светлые дни, и что-то надо было делать – а что? а кого туда пошлешь?... Ведь некого...

Затем – от генерала Рузского. С явной претензией. По привычному праву наблюдать от Северного фронта за Петроградом, высочайше отобранному у него только этой зимой, или по праву помощника-сообщника в недавней телеграмме, Рузский теперь спрашивал, каков порядок в столице. И может ли Председатель Думского Комитета обуздать стрельбу, солдатский бродяжий элемент, и дать гарантии, что не будет перерыва в железнодорожных сообщениях и подвозе припасов Северному фронту.

Сам задаваемый вопрос уже предполагал сомнение.

А что мог отвечать Родзянко о порядке в столице? Сказать, что нет его – было бы унижительным признанием в собственном бессилии. Сказать, что он есть – было бы ложью.

Родзянко телеграфировал Рузскому, что все меры по охранению порядка в столице приняты и спокойствие, хотя с большим трудом, но восстанавливается. А о железнодорожном сообщении что он мог сказать, вот сам лишённый вагона? Как Бог даст...

Всё же в этом обмене телеграммами было то положительное, что укреплялся прямой контакт с ближайшим Главнокомандующим (часть войск которого ещё шла на Петроград?). Это могло очень пригодиться в ближайшие часы.

И – очень неприятная телеграмма от Алексеева, неожиданная после хорошего ночного разговора, просто телеграмма-выговор, не скрывающая выговорный тон, как бы старшего к младшему. Алексеев упрекал Родзянко за телеграммы к нему и к Главнокомандующим: что они нарушают азбучные условия военного управления.

Да пожалуй что и так, Родзянко согласен. Но – исключительные же обстоятельства! Но: что изменилось от ночи? Почему он не упрекал ночью? Вдруг как будто утратилось всё взаимопонимание, достигнутое в ночном разговоре. Какие-то там затемнения, изменения происходили в Ставке вдали – отсюда невозможно было их понять и трудно поправить.

А ещё упрекал Алексеев за распоряжения по телеграфным линиям и железным дорогам, перерыв связи Ставки с Царским Селом, попытку не пропустить литерные поезда на станцию Дно, – всё то, что набезобразил Бубликов сам, не спросясь, а вот дошло до Ставки. Это, конечно, было безобразие, но бесполезно было бы объяснять Алексееву, подрывая самого себя, что Родзянко и не успевал, и власти не имел всем управлять.

А чего совсем не было в телеграмме – это о войсках, посланных на Петроград: так идут они? не идут? задержаны?

Хотя: если Алексеев об этом молчал – то это и неплохо. Во всяком случае – не угрожал. Расстроился Михаил Владимирович от этой телеграммы.

Но тут пришли и с хорошим сообщением: что Совет рабочих депутатов снял свои возражения против поездки. Только с условием, чтобы ехал Чхеидзе.

Э-э-это всё портило: ну куда годится Чхеидзе? ну зачем Чхеидзе?

Однако: можно ехать! Так для равновесия взять с собой ещё Шидловского.

От Государя с пути тоже пришло согласие на встречу.

Прекрасно! Можно ехать!

Теперь – ещё одну телеграмму, пусть пошлют по Виндавской линии:

Его Императорскому Величеству. Сейчас экстренным поездом выезжаю на станцию Дно для доклада вам, Государь, о положении дел и необходимых мерах для спасения России. Убедительно прошу дождаться моего приезда, ибо дорога каждая минута. Родзянко.

Дорога каждая минута, и больше никаких выступлений перед делегациями. Никаких больше телеграмм, бумаг, вопросов – Михаил Владимирович уезжает! Ото всей России, ото всего народа он должен привезти заматавшемуся императору простое ясное решение: ответственное министерство. И во главе его – Родзянко. Ну, и какие-то поправки к конституции.

Хотя... Хотя размах событий таков, что стали тут тихо поговаривать уже и о передаче

престола Алексею.

А что ж? Может быть, может быть уже и неизбежно.

Хотя пришёл Чхеидзе и сказал, что не допустит никакой передачи Алексею – только отречение.

Ну вот, связались. То есть покинуть престол на произвол судьбы? Такого я не допущу!

Здесь, в немногих оставшихся комнатах думского крыла свои же члены Комитета явно избегали глаз Председателя и шушукались. Шушукаться они могли только против него – чтобы сделать премьером Георгия Львова. Ну так и Председатель, не будет возиться с этими интриганами, и даже совещаться с ними. А, в своём духе, сделает широкий шаг: вот, съездит на свидание с Государем и получит бесповоротное утверждение премьер-министром.

Отданы последние распоряжения, ключ от стола секретарю, – но тут-то и набрались: Милюков, Некрасов, Коновалов, Владимир Львов, – как будто Председатель созвал их на совещание.

– Позвольте, Михаил Владимирович! – говорит Милюков, натопортив усы и напрягши безжалостные глаза. – Мы вот, члены Комитета, посоветовавшись, находим, что ваша поездка сейчас несвоевременна и двусмысленна.

И упёрся загораживающим, замораживающим взглядом.

И Некрасов выставился в свою алчную волковатость, не притворяясь, как всегда, добродушным.

Львов сморщился у переносицы, как изрытый. Грозные чёрные брови и усы такие же.

Пухлоносый толстогубый Коновалов в золотом пенсне как всегда мало что выражал, но место занимал по объёму.

Как будто ты разбежался – и кинули тебе палку в ноги.

Как? Почему? Кто находите? – несвязно спрашивал Родзянко.

– Вот мы, – отпечатал Некрасов.

(Мальчишка! Допустили его в 35 лет товарищем Председателя Думы!)

– А... что – находите?

– Мы находим, Михаил Владимирович, – продиктовал Милюков, – что ваша поездка идейно не подготовлена. Не только не обсуждена цель, задача и пределы ваших полномочий, но сомнительна сама необходимость такой поездки.

Свои-и?? Не пускают??

259

Так что ж, на том и скончалась наша слобода? Вот оно и всё? Винтовку в пирамиду поставь, и не тронь, и опять у офицеров в полной зависности? Третьего дня и вчера их как ветром выдуло, из казарм и с улиц, нигде не стало. А вот уже и ворочаются. Придут оглядливо – а уже и тон берут на нашего брата? И – что теперь будет? Споткнулся ногою – платить головою. Одно – что слободу отведали, отдавать не хочется, а другое – что расплата? Не, мы не согласные! Надо нам, братцы, плечом к плечу устоять! Вот, бают, приказ какого-то-сь Родзянки, главного генерала: оружие у солдат дочиста отнять, и чтоб офицерам подчинялись. Не-е, братцы, надо заступу искать. А где нам заступа? А есть такая заступа, кто уже побывал, сам видал: **Совет** ! Там тоже-ть не наш брат, то-же-ть господа, но – другого сорту, которые всему супротив. Мы в бунте по колено завязли, а они – по пояс. Так что ежели кто совет нам и даст – так они. Вали к им, ребята!

И – валили иные с разных казарм, не зная ни прозвания того дворца, ни той комнаты, – а по памяти улиц да по наслыху – находили и пёрли.

Просто – пёрли, а что там и назначено в 12 часов дня в 12-й комнате собрание Совета рабочих депутатов – об этом мало кто знал. При дверях загораживали, спрашивали ман-да-ты – да сам ты такой! отодвинься, не дёржь! А кто из солдат: я – от такой-то, мол, роты, меня выбрали!

А внутри – рабочих в их чёрной одежке лишь вкрадь, а всё шинели да шинели серые. И

набивались в ту комнату, и набивались – а там сидячих мест только у стен, на спроворенных скамьях, накладом досок, – а то всё стоймя. А потом и сидячим из-за стоячих ничего не видать, и не сидеть, а лезть на те скамьи. И ещё один стол впереди – уже весь затоптанный, и на него лезут по нескольку, покричать, ещё и кулаками потрясти, вольнопёр какой-то из Финляндского:

– Товарищи! Пока мы тут доверчиво беседуем, а контрреволюция не дремлет, собирает грозные силы! А цензовый туз Родзянко издал приказ: всем солдатам вернуться и подчиниться!

И кричат ему сустречь, оттуда, отсюда:

– Сже-е-ечь приказ!

– Арестовать Родзянку!

– Мал-мала стряхнули – и опять? Не доломали барску кость?

– Мало их побили, покололи, надо б ещё!

– Теперя, говорят: нельзя. Осаждают.

– А кто говорит-то? Их же кумпания и толкует. А ты – внемь.

А тот вольнопёр нажигает:

– Не верьте, товарищи, офицерским притворным улыбкам! Они какие были дрессировщики и палачи, такие и остались.

Всё гуще набивалось, уже и дверей не закрывали, и в дверях толпились, а теснота такая, даже сплюнуть некуда. Да такая лихоманка берёт, аж руки трясутся, и цыгарки не скрутишь: вот ведь, как задумано у их – посогнут нам шею горше прежнего.

Задрожливый разговор, изо всех углов гуторят, затылки во все стороны – а тут на стол и вылезь из тех направителей один, из соседней комнаты, – перекидистый, больно повёртливый, сам лысый, а борода – лопатка чёрная. Взобрался и заголосил: открываем, мол, заседание Совета рабочих депутатов.

Кричат ему:

– А солдатские? А мы кто такие? Нас больше.

Им кричат рабочие:

– Так вы ж не выбранные.

– А есть и выбранные, от рот!

А через двери опять кричат, зарьялись:

А слышали приказ Родзянки? – в казармах запирать?

В казармах запирать? Завертелись неузданные, буркалы выпученные:

– Ка-ак? Где-е-е?

Да може сейчас нашу казарму уже запирают – а мы тут зря горло дерём? Да там же и кухня, при казарме!

А этот лысый чернобородатенький на столе, в расстёгнутом спинжаке, аж пляшет, такой радый от солдатского зла. И на высоком голосе выносит:

– Товарищи! Открываем заседание Совета рабочих и солдатских депутатов. Нам надо срочно обсудить самые важные вопросы. Первое: как: мы относимся к тем офицерам, которые не участвовали с нами в восстании, а теперь возвращаются в части? Не нам отдавать офицерам оружие – а допускать ли до оружия самих офицеров?

– Угу-у-у! – загудела солдатская толчея. Эти тут понимают дело, нас не предадут.

– И кому теперь вообще подчиняются солдаты? Ясно, что не офицерам. Ясно, что подчиняются Совету рабочих и солдатских депутатов. А как нам относиться к Военной комиссии? В ответственный момент мы не видели в ней офицеров и представителей буржуазии. А теперь там собрались полковники, а солдат нет, а без них решать невозможно.

– Разогна-а-ать! – кричат ему. Только вот из толкучки не выскочишь, а то бежать прям' щас, раздавить ихнее гнездо.

Тогда этот лысый, товарищ Соколов, другую возжу потянул:

– Однако во главе её стоит полковник Энгельгардт, участник японской войны и наибольший знаток военного дела.

– Ну, пушай стоит, – сразу отошли и солдаты.

– Это всё только может решить наше собрание авторитетным голосованием. Если возникнет конфликт – придётся заявить, что Военная комиссия переходит в руки Совета. Благословите усилить авторитет демократических сил. Но пока мы не сломили окончательно врага, надо умерять возникающие столкновения с буржуазией. А теперь слово имеет товарищ Максим!

А и Максим уже там рядом, тоже поворотистый, грамотный:

– Поскольку Комитет Государственной Думы угрожающе себя ведёт по отношению к революционному войску – предложить: чтобы товарищи солдаты не выдавали оружия ни единому офицеру! Офицер нужен только на фронте. Офицер пусть командует только строем. А строй кончился – и офицер такой же равноправный гражданин, как и все. А оружия им – не выдавать.

У кого голос дюж и рост удался, тот с места трубит:

– Так! В строю без них не подравняться, не повернуться, это никакой команды не будет. А из фронта вышагнул – всё, в ровнях.

А другие сумлеваются:

– Совсем без офицеров нельзя, ить пропадём, братцы.

– И тоже это не офицер, без оружия. И тоже-ть мы будем стадо негодное.

– А честь – отдавать? Аль не отдавать?

– Не-ет! – кричит один, раздирается. – Пушай теперь они нам первые честь отдают!

А надо, учат со стола, избирать солдатские ротные комитеты, и всё оружие под его контролем. Кто ни вылезет:

– Товарищи!...

Теперь – послед такой, все «товарищи».

И опять тот вольнопёр Финляндского, имя ему Линдя, а сам обезумелый какой-то, руками махает, глотку рвёт до последнего:

– Купец Гучков призывает солдат «забыть старые счёты». Так – осёл будет тот, кто забудет старое!

– Вер-р-рна!

– Кто из офицеров в революции не участвовал – тех вообще в казарму не принимать, не допускать! Вместо них – выбирать других! А о полноте прежней офицерской власти и не может быть речи!

Похлопали. Тоже теперь послед такой – в ладошки хлопать. Тут семёновец на стол взлез:

– Товарищи! Пока мы тут друг дружке рёбра мнём – а недалёко, в другой комнате, заседает и та самая Военная комиссия. И куют супротив нас заговор. Как нас тут захватить и обезоружить.

Заколотились в толпе: ну бы, правда, выбратся туда! Но Соколов помахивает льготно: мол, не надо:

– Уже мы постановили, товарищи: никакая воинская часть не подчинится Военной комиссии, если её приказ разойдётся с постановлением Совета рабочих депутатов. И введём в Военную комиссию солдат.

А землячок один – с подоконника, стоя:

– Не-ет! Нехай теперь офицером будет только тот, кого рота назначит. А кого не назначит – тот становись на левый фланг.

– Нра-авно! – кричат ему.

– А с погонами как?

Разливается слобода, удержу ей нет. Кричат:

– И погоны уравниять!

– Тогда и без благородий!

– А что по частным квартирам живут – это нешто равенство? Так мы равенства николи не добьёмся. Пусть в казармах, с нами уместях.

– А где такие койки найдутся?
– А на нарах!
– Не-е, братцы! Всё ж офицеру поблажку надо дать. У его воспитания нежная, и вся тело.
– Да как же нам без офицеров? А на войне?
– А на что война? На позицию нас гонят, чтоб немец наши силы поразредил.
– Не, чего, на позицию мы не прочь.
– А войну может до того времени прикончат.
– Кто это?..
Разбрелись головы, рази ж нам сговориться? Одни одно кричат, другие совсем другое.
Только Соколов, на столе, – не охрип, не унывает:
– Товарищи! Давайте поручим Исполнительному Комитету доработать и записать все эти ваши предложения насчёт офицеров.
– А там у вас наших солдат тоже-ть нету!
– Так давайте, братцы, наших солдат туда к им пропихнём!
Предстоятель не согласен:
– Нет, товарищи, это неудобно. Поскольку ещё не делегированы солдатские депутаты от рот. И здесь не все уполномочены..
Пол-номочены! Как муницу тягать, так полномочены!
Верть-верть, юрь-юрь, на свою заднюю дверь оглядается – помощи нет.
– Ну хорошо, товарищи. Давайте выберем – временно, на три дня. Трёх человек.
Заорали:
– Пятерых!
– Десятерых!
И стали тут же руки подымать. А – кого выбирать? Это ж не своя рота, никто никого не знает. Кого слышали, видели, кто громче орал – вот тех. Вот – Линдю этого. Матроса одного. И Максима гуда? Так он же не наш, не солдат.
Да и выбирали не счётом рук, их тут как сучьев в лесу, а тоже – криком.
Долго.
А товарищ Максим тем временем с готовой бумагой:
– Вот есть, товарищи, проект возвания к гарнизону... Офицерам оружия не выдавать, а передать его в ведение батальонных комитетов. В состав Военной комиссии делегировать солдатских депутатов... Исполнительному Комитету, в соответствии с высказанными мнениями, издать обращение и разослать частям гарнизона..
И Соколов забрал десяток депутатов и пошли они в заднюю комнату.
А тут – не стало просторней, как и было внабой. Но и расходиться не в пору: ещё не каждый выразил, и не про всё. Нам эта беседа сейчас сытее каши.

260

Утром довели капитана Нелидова в ломовых санях и закутанного в обиходный сторожевой тулуп к воротам Московского батальона, тут он вылез, распахнулся и снова стал в офицерской шинели и при шашке. Подъехали по Лесному – и первое, что увидел с болью: проломленные, сорванные ворота.

Думали приехать в темноте, но извозчик завозился, и вот уже не только все были давно на ногах, но с плаца виднелся как бы выстроенный батальон.

Нелидов ждал, что у самых ворот его и задержат. Но никаких часовых не было, похромал дальше свободно.

Да, батальон как будто выстроен был или строился поротно, но и притом же многие солдаты шлялись по плацу во все стороны – или ещё не стали в строй, или уже вышли из него. А мелькали и чёрные фигуры рабочих, как будто здесь им и обитание. А капитан Яковлев верхом на лошади пытался строить батальон или ожидал конца построения.

Офицеров при строе было видно мало – несколько молодых прапорщиков.

Опираясь на палочку, Нелидов стал пересекать плац к Яковлеву. Тот заметил, подъехал навстречу и склоняясь с коня объяснил, что тут произошли выборы командиров. Он, Яковлев, выбран командиром батальона, 1-й ротой – выбрали всего лишь подпрапорщика, а 2-й и 4-й ротой утвердили Нелидова и Фергена. А час назад прибыл какой-то неизвестный прапорщик с бумагой из Государственной Думы, препоручающей ему вести наш батальон непременно к Думе, зачем-то обязательно приветствовать. В батальоне всё разорено, расстроено, не до радостных шествий, да и солдаты не все хотят идти, – но есть такой приказ, приходится подчиняться. Однако Яковлев не может отдать батальон пришельцу и решил вести его сам.

В груди так всё и повернулось: кого приветствовать? с чем приветствовать? И что это за порядок: капитан Нелидов и состоял командиром 2-й роты, зачем же его ещё выбирать? Нелидов пошагал к своей роте. Тут навстречу ему вышло из строя несколько солдат, не спрашивая разрешения выйти или обратиться, и объявили, что рота выбрала его своим новым командиром. И сказано это было не оскорбительно, но дружелюбно, как бы наградно. Среди них мелькали и его виноватые унтеры, которые были позавчера в клинике.

Рота стояла нестройно, галдела – и оттуда тоже выкрикивали капитану, что они его выбрали, верят ему, и он должен их вести к Государственной Думе.

А на многих были – безобразные красные лоскуты, невозможно смотреть.

Нелидов ещё весь был сжатый от вчерашнего заточения в клетушке – и вдруг вот расширился на весь этот разбродный плац, а теперь ещё и комедия шествия к Думе? Не успевала равновесить ни грудь, ни голова.

– Как же я, ребята, пойду так далеко? – ответил Нелидов, показывая роте на свою палочку. – Вы же знаете, у меня одна нога не действует.

Рота загалдела разноречиво. И побороло:

– Мы вам лошадь оседлаем!

На лошади он ехать, конечно, мог, но не признался:

– Нет, ребята, с лошади я свалюсь. Идите уж без меня.

Согласились. И скоро их шаткая колонна стала выходить на Сампсоньевский, и Яковлев впереди верхом.

Опустел плац, сильно поредело в казармах.

Только тут сообразил Нелидов: где же Ферген, если он выбран 4-й ротой? И где Дуброва?

В офицерском флигеле, рядом с собранием, была квартира Нелидова. Но прежде чем туда, вошёл он в собрание, уже снаружи видя, что была тут стрельба изрядная.

Но что творилось внутри! Толпа мстительных чужих дикарей не могла наделать хуже. Не было ни одного уцелевшего портрета или уцелевшей картины, все изрезаны и исколоты, посрамлена и изгажена 106-летняя история полка. Хрустальные люстры побиты многими ударами каждая, и осколки на паркете. Вся мебель испорчена. На биллиарде сукно изорвали штыками, кии переломали, а все шары исчезли – разворовали, наверно. Духовые инструменты раздавлены, изогнуты, а барабаны прорваны. Полковой музей смешали в кучу мусора, исторические полковые предметы, мундиры бородинского времени, – всё растащено. Библиотека – рассыпана в книжные груды на полу.

Дурнило от такого поругания – как будто не русские, не дорога своя же слава.

Тут подошли к Нелидову трое полковых писарей. Сперва среди этого разгрома, медленно хрустя под подошвами разбитым и истолчённым, потом отведя в свою канцелярию, они рассказали ему много.

Как позавчера шёл бой за офицерское собрание. А этот весь перебив и погром был уже в ночь за тем. Били – солдаты 3-й роты и с ними многие рабочие.

Полковник Михайличенко? Как уехал ещё до восстания в штаб, так в батальон и не возвращался. Но оттуда ушёл всего-то в свою квартиру на Васильевском острове. Там его и схватили сегодня утром, куда-то повезли на грузовике.

Штабс-капитан Ферген? Он где-то здесь. Капитан Дуброва? Его хватил паралич, на

носилках унесли в полковой лазарет, Но доктор не хотел его у себя оставить, тоже боялся – и перенесли его в детскую больницу, рядом с казармами. Но и там он не остался – перевезти в Выборгскую городскую больницу. Но и нашли его там: ворвалась толпа и поволокла прямо с кровати на улицу – плевали в него, издевались, били, собирались расстреливать. Но подъехал какой-то автомобиль, и спасли его, забрали в Государственную Думу.

Всё перевернулось, в голове кружилось.

А писари не без гордости рассказывали о своей стойкости: выбранному теперь батальонному комитету и от него приходившим уполномоченным не дали ни одной справки, не объяснили ни одного пути, как решать хозяйственные дела. Оттого-то за сутки солдаты хватились и сегодня стали своих же офицеров выбирать на прежние должности.

Да солдаты бы так не дурили, не бушевали, если б их не подбивали штатские с Выборгской стороны.

И опять в каком-то головокружении, потеряв всякую нить смысла, пошёл Нелидов бродить по собранскому разгрому, хрустя сапогами.

И увидел другого такого же печального одинокого бродящего – штабс-капитана фон-Фергена!

– Алексан Николаич!

Они не виделись с позавчерашнего утра, тёмного предрасветья, когда расходились со своими командами по разным местам Выборгской стороны. Всего с позавчера?...

Теперь встретились как в покойницкой.

Глаза Фергена смотрели напряжённо-остеклело, как потеряв самого близкого.

– А вас в Думу не заставляли идти?

Ферген неколебимо:

– Я им ответил: никуда не пойду и не буду вами командовать, пока вы не снимете красных тряпок и не примете настоящий строй.

– А они что?

– Заорали, рассердились. Я ушёл.

Стояли на осколках.

– А пойдёте, Александр Николаич, ко мне, – вспомнил Нелидов, что и сам до своей квартиры никак не дойдёт. – Отдохнём, подумаем, что дальше.

Квартира Фергена была в городе.

Дошли до флигеля близ полковой церкви. Стучали – не сразу Лука открыл. Встретил с лицом заспанным. Стал оправдываться, что ночами спать не давали, приходили обыскивать. Но перед налётом солдат успел золотые, серебряные вещи и что поценней – упрятать в печку, нечего было им и брать. Если б и сегодня капитан не пришёл – он думал туда, к нему в укрытие, пробираться. Да Лука и правда предан.

В комнатах было нетоплено, Лука спал, хорошо укрывшись. Один миг, один миг – сейчас он и растопит и накормит. Доставал из золы подстаканник, ложки, чарки, кольцо – и вот уже растапливал, и дрова приятно потрескивали.

Сели офицеры, опустошённые, мрачные, друг против друга через пустой стол. Кто что перепоил и знал за эти дни.

Ферген рассказывал, как третьи сутки по разным местам Выборгской стороны никем не сменяемые караулы московцев продолжают и сегодня стойко стоять, не уходят. А здесь в батальоне такие же солдаты – и...

Потянуло теплом по обеим комнатам.

А ещё и поевши горячего – вдруг почувствовали изнурчивую усталость. Ещё был день – едва за середину, и не сделали они сегодня ничего, – не как будто должайший, труднейший день их жизни подвалил к концу, они больше не выдерживали, устали самой душой.

И Нелидов сказал:

– Может, спать ляжем? А?

Не раздевались – только сняли сапоги, накрылись и заснули при белом свете.

Тут же, в начале Остоженки, был и штаб Московского военного округа, и Воротынцев сразу отправился туда: там должны были всю ситуацию знать, и оттуда всё станет ясно. Правда, состав штаба сильно изменился от 14-го года, приятелей у него тут не осталось, по – знакомцы среди офицеров, да и толковые старшие писари.

Пошёл – лишь узнать, но пробыл там часа три – быстрее нельзя было собрать и осознать всю картину, да она всё время и менялась.

Впечатление было – ошеломляющее. Происходило нечто просто недостоверное – и в такие короткие сроки, что Воротынцеву не верилось вдвойне: как же он через всё это прошёл – и ни обломком не был задет. В воскресенье, когда из Петрограда уезжал – совсем тихо. В понедельник в Москве – как будто покойно, ничего не заметил. А вторник...

Узнавая от штабных, что происходило в Москве вчера и что сегодня, Воротынцев, конечно, не открыл им, что сам-то здесь уже третий день, и что сам из Петрограда. Невозможно было признаться, что и там, и здесь он всё пропустил.

Да в Москве вчера своих событий никаких особенных: ни столкновений, ни стрельбы, ни захватов зданий, ни арестов должностных лиц. И сегодня – работает водопровод, освещение, телефон, банки, торговые; и присутственные места, всё обычным порядком, нет только трамваев и газет. Всё – только отзвук Петрограда и волнение ожидания. Но нетерпеливые студенты и курсистки начали стекаться на Воскресенскую площадь. Члены городской думы выходили к ним с речами. А потом потянулись и рабочие, обыватели, гуще толпа, потом и другие сходки по городу. Однако в самой думе кипели речи всё законной публики, не революционеров, а благомысленной части населения, – как ей запретить? Если где и требовалось какое вмешательство, то только полицейское. Но ни полиция, ни конная жандармерия нигде ничему не препятствовали, на всех заставах пропускали шествия с красными флагами. Близ думы топтался на конях жандармский эскадрон и не знал, что предпринять. Тогда почему же должны были действовать военные власти? А войска – были заведены в казармы, и сидели там. Как будто правильно.

Но вот что, студенты перелезли через забор Александровских казарм, прорвались в запасный пехотный полк, в школы прапорщиков – уговаривать солдат и юнкеров поддержать великие петроградские события, – и никто им не воспрепятствовал? И так же врывались агитаторы в Спасские казармы. Но и это не побудило штаб Округа ни к каким действиям! А поздно вечером и прямо уже пришла сбродная команда приветствовать бунтующую думу – и всего-то измыслил за ночь Мрозовский свой приказ об осадном положении? – уже сегодня утром всем на смех, без военной силы его не установить.

От Мрозовского, невылазно сидевшего дома, всё же сведенья перетекали к его помощнику генералу Протопопову, и дальше через полковников – по штабу. Мрозовский – не хотел кровопролития. И поэтому отказывался вообще от каких-либо действий войск! Начальник московского охранного отделения Мартынов предлагал Мрозовскому объявить блокаду Петрограда как захваченного врагами отечества и из надёжных частей создать заслоны между столицами – но Мрозовский не мог на это решиться без указаний Верховного Главнокомандующего.

И вдруг ночью узналось, что Государь сам поехал в мятежную столицу – так вот, всё и решено, замечательно, он сам там и примет меры, зачем же блокировать Петроград? А тут пришёл слух, что Эверт движется с войсками на Москву, – так и замечательно, Эверт придёт – и порядок сам восстановится. И этой же ночью пришла телеграмма из Петрограда в городскую думу, что Челноков теперь будет не городской голова, но назначается **комиссаром** Москвы – страшное слово, оно парализует, а Мрозовский не хотел ссориться с новым начальством? А сегодня с утра пришла грозная телеграмма от Родзянки самому Мрозовскому: что никакая старая власть вообще больше не существует! – перешла к Комитету Государственной Думы под родзянковским председательством, и все петроградские войска признали новую власть, и Мрозовскому также приказано подчиниться,

иначе на его голову возлагается вся ответственность за кровопролитие.

И действительно ополоумеешь.

И Мрозовский, видимо, затрепетал. И стал звонить новому комиссару Челнокову, умоляя его приехать поговорить. Однако Челноков не ехал.

Генерал Протопопов, сидевший в штабе, сам очень склонялся – признать реальность и подчиниться ей, и даже побыстрее подчиниться, пока новая власть представлена уважаемыми именитыми гражданами, а не перешла в безответственные руки крайних левых. И вся тыловая бледнота, какая заседала тут, в штабе, – генерал Богат, полковник Вонсик, Котляревский, и дальше, и мельче, Вильмис, Бузри, Фишер, Руновский, – все ещё желательней подстраивались к этой успокоительной позиции. По начальному часу обязательных занятий все прибыли в штаб – и были настроены тем более ни во что не вмешиваться сегодня, когда в Петрограде ещё более определилась и укрепилась новая власть, – зачем же конфронтировать ей? Обстановка деликатная.

Сила и слабость военной иерархии! Непобедимая сила, когда сверху твёрдая команда. И – раскислое тесто, когда сверху команды нет.

Ещё эта поездка Государя в Петроград... Что двинуло его из Ставки в такую минуту? Неужели – сам поехал навести порядок? Поездка лишняя, но эффектно: самому войти в гущу бунта!

Но нет, но нет. Он слишком кроток. Не может быть, чтоб он на это решился. Он – наверно поехал со всеми мириться, то на него скорей похоже.

А уж сегодня – сегодня Москва и вовсе бурлила шестивиями, час от часу – вот пока Воротынцев бродил по штабу, подсаживаясь там и здесь. Говорили: мятежниками занято градоначальство, градоначальник сбежал, губернатор объявлен под домашним арестом! Полиция вовсе исчезла с улиц, и будто городских сажают под арест, неизвестно чьим распоряжением. А толпы – приветствуют новую власть, которую никто ещё не видел и не понимает, – и при неотменённой старой...

А Мрозовский прятался у себя на квартире, будто его не касались события в этом городе и в этой стране. (Боже! и ведь бывали на этом посту какие решительные генералы, Малахов! почему сейчас так несчастно оказался Мрозовский, решительный только в грубости к низшим по чину?) А когда иные командиры частей просили разрешения действовать – из обезглавленного штаба им отвечали: повременить, как-нибудь обойтись пока. И войска Округа распадались на осколки, отдельные казармы, каждая из которых управлялась своим отдельным разумением. А из каких уже текли и струйки солдат с красными флагами к думе.

Да действовать же! действовать быстро и круто! Надежды штаба, что кто-то одумается или Эверт придёт выручать Москву, – это не военное: нельзя ждать, чтобы твой участок держали другие. В разгар войны разлагается и гибнет центральный гарнизон страны, вторая столица и центр транспортных путей, – по отношению к Действующей армии это прямая измена!

Но – кому действовать и как? Тут никто не намеревался. А – как Воротынцев мог вмешаться? в каком качестве? Его никто не звал – и никому тут он не мог себя предложить. Здесь штаб насыщен собой и не вмещает постороннего полковника. В Спасских казармах или Манеже – там тоже везде свои командиры, при чём какой-то чужой полковник? Сила армии в том, что каждый на своём месте, а дартаньяновская шпага никому не нужна.

Ещё было своё родное Александровское училище, звонил туда знакомому преподавателю – тот отвечал, что училищем принята задача: сохранить своих юнкеров от касательства этих событий.

Вот оказался Воротынцев: как будто у самого места, в разгар событий – и никому не нужен.

Да и правда, раздуматься: **как** действовать? Как можно действовать войску против миролюбивой толпы, когда никто не стреляет, всё только радуется, и какая-то пехота тоже там радуется. Какими силами и средствами кто бы взялся сейчас разогнать эту радостную

толпу по местам её жительства и работ? Никто не обнажает даже холодного оружия, никакого сражения нет.

А может быть всё и обойдётся спокойно само?

Тут – все кинулись к окнам на Пречистенку. И Воротынцев за ними. И увидел: с Волхонки на Пречистенку медленно переезжал большой отряд жандармов, чуть не дивизион? в полной парадной форме, в полном порядке, – но ничего не предпринимали, уезжали куда-то из центра прочь.

С тротуаров, с бульвара им улюлюкали – но не трогали.

Покинули Манеж? Так в центре вовсе не осталось полицейских сил.

А между тем подошло время перерыва занятий – и штаб спокойно расходился на полуденный завтрак. Надо было и Воротынцеву уходить.

Но – куда же?

Да куда же, к себе, в Девятую армию?...

Ему нужно было ещё время для соображения. Он не мог ничего предпринять – но и уехать теперь уже не мог.

Вышел – и просто пошёл в недоумении, как будто тоже хотел присоединиться ко всеобщему ошалелому ликованию. Пошёл – по Волхонке.

И погода была, как для всеобщего гуляния, наилучшая: солнечный день, лёгкий морозец (в тени зданий и покрепче).

На крышах трамвайных станций – красные флаги.

Но не было ни трамваев, ни извозчиков. Иногда тянул ломовой на санях, а на нём – компания в складчину, кто и стоя. А то ехал перегруженный грузовой автомобиль, а в нём – натолпленные солдаты с винтовками, студенты, реалисты, гимназисты, и машут публике красным. И они – «ура!», и им с улицы – «ура!».

Но – народом! народом были залиты улицы, и по мостовым, да больше всего по ним! Зимой тротуары дворниками чистятся, а мостовые нет, оттого они намащиваются выше тротуаров, и блестяще накатаны санями, белые, когда не порчены грузовиками. И теперь-то все валили: по этой мостовой полосе, оттапливая снег и измешивая с грязью. То разрозненная, то густая толпа, будто весело расходясь после какого-то сборища. Вся Москва на улицах! – и барыньки в мехах, и прислуга в платках, и мастеровые, и солдаты, и офицеры. Так дико видеть солдат с винтовками, а без строя, прогулочной розвалью, а кто и с красным на груди. Большинство отдавали офицерам честь, а иные как бы забыли. Но неуместно было остановить и призвать. Хотя каждый, не отдавший честь, – как будто ударил, такое чувство.

А то идут: солдат и студент обнявшись, у солдата – красный флаг, у студента – ружьё.

А какой-то штатский! – ошалело нараспашку, болтается шарф.

И на всех лицах – радость пасхальная, умиленные улыбки – и ни у кого угрозы. Если действовать вооружённой частью – то против кого?...

Воротынцев, с малым чемоданчиком в левой руке, держался больше тротуара.

Всего странней было встречаться с офицерами: они так безупречно отдавали честь и так спокойно миновали, как будто ничего особенного не происходило вокруг. И оттого выглядело, будто офицеры – соучастники происходящего.

И от этого офицерского равнодушия при нагуленной радости толпы Воротынцев испытал ещё новый толчок проснуться: да что ж это происходит? Что за всеобщий морок, обаяние, измена? Почему никто не противодействует, никто не беспокоится?

Но – и мятежа ведь нет никакого! Никто никому не перегораживает дороги, а просто гуляет вся Москва!? А – после чего веселье? Никакой скорби не было заметно накануне.

Все обыватели и прислуга – просто валили поглазеть, что деется. Там – мальчишка лезет на чугунный трамвайный столб. Тут на заборчике детвора поменьше уселась рядком и лупится.

А еще заметно, что заговаривают, знакомятся – незнакомые, и что-то радостное друг другу, и поздравляют? и даже обнимаются, даже целуются. (Это – публика, получше одетая, она больше всех и рада).

Не понимая ни пути, ни задачи, пошёл Воротынцев по Моховой. Тут публика густилась ещё тесней, появилось много студентов, курсисток. Эти были особенно оживлены, сверкали зубами, хохотали, и около университета строились в колонну.

На стене висел лист, отпечатанный на ремингтоне. Около него – кучка, читали. Подошёл и Воротынцев, достоялся, прочёл. Арестован Щегловитов. Арестами врагов отечества заведует Керенский. (Такого не слышал). Военное ведомство поручено полковнику Энгельгардту. (Это ещё кто такой? что за чушь?)

А из Манежа свободно выходили и входили бездельные солдаты, офицеров не видно, и понятно стало, что Манеж уже не сопротивляется.

Конечно, если из Ставки пошлют войска на обе столицы – всё это московское гулянье и петроградское самозванное правительство сдует как ветром. Да может уже и посланы? Но Государь зачем-то поехал в Петроград? – бросил мощную Ставку и поехал в плен к родзянковскому правительству?

Нет, в голове что-то недорабатывало. Мимо Манежа толпа густо текла к Воскресенской площади. Воротынцев знал, что там – центр и все туда собираются. И тоже свернул, тротуаром, еле пробираясь в тесноте. А спереди сюда, к Александровскому скверу, доносилось особенное гудение площади. Отсюда, начиналась едва не сплошная масса. А тут ещё, позади Манежа, подвалило большое чёрное шествие рабочих, тоже конечно с красными флагами. Они шли, взявшись в шеренгах об руку – это производило впечатление силы. И через толпу они проникали уверенно. И – длинно, какой-то целый завод.

И что-то не захотелось Воротынцеву идти к городской думе.

По Моховой прошёл до Тверской – и здесь не миновало его увидеть шествие пехоты, батальон: спускались по Тверской с оркестром, с полковым флагом и с большим красным полотнищем на древке, – гонко спускались, строй разляпистый, но держали ногу, и вот что: на своих местах шли и младшие офицеры – по счёту не все, а бодро, уверенно, даже весело выглядели.

Шествие этой оформленной воинской части более всего потрясло Воротынцева: армейская часть шла в строю приветствовать самозваную власть, когда и старая ведь никуда не делась!

Нет, это они без хозяина рассудили...

Но – как же назвать то, что делалось?

На Тверской на тротуарах толпилось столько зевак – и не пройдёшь. Поднимался Воротынцев по Тверской, выходя и на мостовую, с измешанным бурым снегом. Валила густо публика и вверх, и вниз.

Вдруг послышалось сильное странное тарактенье и гул. Публика шарахнулась. Потом догадалась смотреть вверх. Вдоль Тверской летел аэроплан! Все запрокидывали головы, всё останавливалось.

Летел низко, саженой сто, хорошо виден, то ещё снижаясь, то повышаясь. Ничего не разбрасывал, а на крыле нёс красный флажок...

И – туда же, к Воскресенской.

И ему с улицы кричали «ура» и шапки подбрасывали.

Зато следом ехал опять грузовик – с солдатами, рабочими, студентами – и разбрасывали направо и налево какие-то листовки. Прохожие хватали. Воротынцеву любопытно было бы прочесть, но не мог полковник нагнуться и поднять. Или просить у кого-нибудь.

И ещё прокатили вниз две трёхдюймовые пушки – этим толпа кричала особенно восторженно. Номера ходко шли рядом и помахивали.

Несколько штатских провели арестованного городского – рослого, с полицейским самоуверенным лицом.

С генерал-губернаторского дома тоже свисал красный флаг. Вот так-так. Суета подле него, автомобильная и санная, показывала, что новая власть занимала места.

А по ту сторону: на поднятой шашке Скобелева -торчала красная тряпка. У памятники

возвышался оратор, на чём-то поставленный. Он не говорил, а выкрикивал – и сотни две любопытных густилось вокруг, и кричали ему одобрительно. (Разглядел Воротынцев, что кричит он с грузовика).

А в Гнездиковский сворачивали – там было разгромлено охранное отделение, любые заходили туда, оттуда выносили бумаги, читали, смеялись.

Пока дошёл Воротынцев до бульвара – встретил ещё новое: два студента на двух палках несли какой-то фанерный щит, а на нём наспех, неровными буквами, с подтекшей краснотой: «Да здравствует демократическая республика!»

И после этого показалось Воротынцеву, что он уже перевидал сегодня всё мыслимое. И больше нечего ему ходить, смотреть, больше нечего делать в Москве.

Но он ошибся.

Памятник Пушкину у начала Тверского бульвара был приметно ощетинен. Одна палка с красным долгим вымпелом торчала от плеча его – и вверх, высоко. Другая – по согнутому правому локтю – и вперёд. Ещё два флага выдвигались из низа постамента. Сам поэт был перепоян по плечу наискось красной лентой. А на постамент спереди прикреплена сплошная красная бязь, и на ней довольно тщательно выведено белыми буквами:

Товарищ, верь, взойдёт она,

Заря пленительного счастья!

Вокруг цепной обвески памятника стояли где дамы, где купеческого вида старики, старушки с обвязью платков поверх меховых шапок. Несколько солдат, несколько – типа прислуги.

Эти – глядели и через цепи, на ту сторону, пускали семечки на снег.

МОСКВА ЗАМУЖ ИДЁТ! – ПИТЕР ЖЕНИТСЯ!

262

На подъезде к Таврическому шествия с параллельных улиц втискивались в Шпалерную, а с тротуаров махали им и кричали. Кутепов поглядывал с омерзением. Стоял будний день, среда, третья неделя поста, 32-й месяц войны, на фронте сидели в собачьих норах, сторожили врага, хода сообщения заметало снегом и в них проносили стынущие котелки, Россия воевала, закопанная в землю, а эта столичная развратная шваль ликовала от того, что перебили полицейских и можно безобразить, пить и грабить.

В сквере перед Таврическим была уже неопикуемая давка, круговорот, и солдаты, хотя большей частью с винтовками, но так расхлябаны и во все стороны повернуты, что производили впечатление согнанных военнопленных.

Однако Кутепов с Холодовским крепко, очень уверенно шли – и проложили путь ко входу.

В вестибюле Кутепов сразу узнал ящики винтовочные и с несобранными пулемётами. А в следующих залах густилось ещё непробиваемей и бессмысленней: опять то же изобилие потерянных людей, развёрнутых в разные стороны, а над толпой кой-где фигурки размахивающих ораторов и красное.

Но возмущали Кутепова даже не весь этот отвратительный вид загаженного дворца, красные подделки флагов, когда российское государство имеет свои знамёна, а как будто уже признанное право солдат не отдавать чести. Никто не проявил к полковнику и капитану враждебности, не сказал дерзкого слова – но скользили по ним равнодушными взглядами,

как по равным. И вот это наглое равнодушие больше всего глушило Кутепова, как если б рухались колонны залов. Если нет почитания офицеров – то нет армии. Сколько он жил, сколько служил – на этом всё держалось.

Где же было искать полковника Туманова? Куда было идти? Спросить – решительно не у кого.

У многих дверей стояли часовые – юнкера или преображенцы! – из 4-й роты. Спрашивали пропуска. У Кутепова никто не смел требовать – и он свободно входил, куда хотел, но так же быстро и выходил, не находя искомого военного штаба.

В одной просторной комнате со столами под бархатом он застал как бы заседание, но беспорядочное, без правил, а собеседование общее – человек сорок прилично одетых людей, без пальто, в сюртуках, в галстуках, может быть членов Думы, может быть общественных деятелей, и среди них несколько офицеров, они сидели в креслах, на стульях, тоже довольно в разные стороны, и обсуждали не в единый голос – что же?... На Кутепова с Холодовским не обращали внимания, они постояли и вслушались.

Спорили вот о чём: что лучше – монархия или республика? В России сейчас – но и вообще в мире всегда. И вспоминали Афины, Рим, Карла Великого, и конечно Францию, Францию, в разные её столетия и десятилетия.

Кутепов стоял и молча слушал. Слушал – и наливался гневом. И почувствовал, что уже не может уйти, смолчав. Но и публичной речи – да ещё перед такими слушателями, он не произносил никогда в жизни.

И вдруг, пренебрегая очередным оратором, перебивая его, выступил военным шагом на пространство, всем видное впереди, и повелительным басом сказал:

– Господа! Стыдитесь устраивать диспут, когда гибнет государство! Что вам Афины, если в вашей квартире пьяные солдаты с обыском? Я удивляюсь вашим пустым разговорам! в такое время. Столица – в разорении. Говорить надо о том, как навести порядок и спасти положение. Если этого не сделать сегодня же, сейчас – то потом будет поздно. И толпа сотрёт вас всех с вашими Афинами – с лица земли.

От удивления – все слушали. Но подкатило Кутепову к горлу, что – не стоит дальше говорить, ни к чему он их не склонит, это совсем безнадежно. И остаться слушать, что они ему ответят, – так же бесполезно.

И он – повернулся круто, зашагал военным шагом, пропустил вперёд Холодовского и сильно хлопнул за собой дверью.

В самом дворце у них торжествовало неистовство и распущенность, а ведущие умники России, заслонясь одною дверью, рассуждали о республике!

Где же искать Туманова? Стали опять пробиваться – и в коридоре натолкнулись на полковника Энгельгардта.

Это был довольно слабый когда-то академист, из гвардейских улан, зачем-то протаскиваемый через высшее ученье, затем рано ушёл в отставку и в сельское хозяйство, и хорошо сделал. Но избрался в Государственную Думу, а вот теперь по революционным дням опять напялил мундир полковника? – и неважно в нём держался.

Обменялись рукопожатием, и Кутепов сразу спросил, какие меры наметил полковник принять для водворения порядка. Тот ответил, что за Петроград он больше не отвечает, градоначальником города Петрограда только что назначен доктор медицины Юревич, который и наведёт все порядки.

– Кто? – не мог Кутепов поверить, что доктор медицины.

Но именно так. Профессор Военно-медицинской Академии.

Посмотрел на него Кутепов как на безумного. Но всё же попробовал дать совет: в запасных батальонах (он это почерпнул, приехав) есть солдаты, которые последний год постоянно дежурили вместе с городскими на остановках трамваев, на перекрестках, имеют опыт наведения уличного порядка. Надо сейчас их всех разыскать, надеть им комендантские повязки, поставить на знакомые обязанности. И толпа сразу почувствует, что на улице есть власть.

Энгельгардт вспыхнул румянцем:

– Прошу меня не учить!

Кутепов посмотрел на него сверху:

– Да я не то что учить, я даже разговаривать с вами не желаю. Но помните, что никакие доктора вас не спасут.

Повернулись с Холодовским – и пошли. Куда ж? Наружу, прочь. Что ж теперь искать Туманова, если он подчинённый Энгельгардта.

На крыльце они встретили толпу, несущую на руках тяжёлого Родзянку в окружении красных флагов.

Ящики с патронами куда-то утаскивали и грузили.

Разбередился Кутепов, расстроился и решил, что отпуск свой обрывает и уезжает в полк.

263

Кто долго служил в армии или кто знает народную жизнь и перенял её мудрость, тот и знает, что во всяком угрожаемом и неясном положении, когда требуют от тебя невозможного, – не надо отрубать нетом, даже не противиться открыто.

Не мог Иудович напрямую отречься перед Государем, не мог поколебать его милостивое к себе доверие, распахнуться простецки, мол увольте, Ваше Величество, ослаб, не могу, совсем я не тот герой, какого вы во мне видите, – не мог увидеть разочарование в глазах Государя, да не мог покачнуть своего почётного генерал-адъютантского положения, без которого как же дальше ему жить? Ещё может быть он будет переназначаться на высокий пост?

Да вот и назначался – диктатором.

Не принять такого поручения, не ехать на Петроград, спасти родину, – Николай Иудович никак не мог. Но в его возможностях оставалась оттяжка.

Уж он собирал свой батальон, и уговаривался со Ставкой, и разведывал петроградскую обстановку – как мог долго. Уж ехал поздно – а поехал ещё позднее. А прицепивши наконец свой обжитой вагон-дом к поезду георгиевских кавалеров – он и в пути не метал громов на естественные задержки, не требовал к себе на разнос начальников станций и военных комендантов, а покорно подчинился всем замедлениям и сложностям железнодорожного передвижения, как мужик со своею работою переживает ненастье. Вчера в семь вечера проехали Витебск – да и завалился Николай Иудович спать, на своей привычной мягкой постели, в своём обходливом прилаженном вагоне. Неизвестно, какие беспокойства и опасности ждали его на следующий день, а пока, в ближайшие часы, выгодность его положения была, что ни с кем он не имел связи и никому не давал отчёта.

И ночь пропила очень спокойно. А сегодня утром ждал диктатора, тот приятный сюрприз, что за ночь вместо четырёхсот вёрст проехали только двести и находились всего лишь на станции Дно. Это давало большую надежду ещё и весь день

1 марта никуда не доехать, не вступить в дело. А за этот день в Петрограде всё и без него должно прийти к какому-то концу. Иудович очень приободрился.

А тут представили ему едущего через Петроград из отпуска командира пехотного Дагестанского полка барона Радена. И что, порассказал барон, творится в Петрограде – онемеешь: мечутся толпы распущенных пьяных солдат, отбирают у офицеров оружие, не глядя на чин и боевые заслуги. И приставляют дула к голове. И стреляют на улицах запросто, как разговаривают.

Так много и живописно этот полковник рассказал, – распорядился генерал-адъютант, чтобы полковник тотчас написал подробный доклад на имя начальника штаба Верховного.

Пусть Алексеев почитает и поймёт, каково там, в Петрограде.

А тем временем поднесли Николаю Иудовичу сильно запоздавшую телеграмму из Ставки: что ещё вчера в полдень остававшиеся верными части должны были покинуть

Адмиралтейство, чтобы не подвергнуть разгрому здание. Части эти распущены по казармам, а ружья, пулемёты и замки орудий сданы морскому министерству.

Вот так.

Да и слава Богу, всё кончилось без лишнего кровопролития.

Теперь ясно, что с батальоном нечего на Петроград и соваться. Приедешь туда командовать всеми войсками Округа – а тебе просто приставят дуло к голове, как этому барону.

Там, небось, и пулемёты уже приготовили ко встрече.

Но другая телеграмма подтверждала, что на помощь диктатору идут войска, посланные с Северного фронта и даже ещё подкреплённые.

Но можно было надеяться, что сегодня они никак не прибудут, самое раннее – завтра. А до завтра ещё, Бог поможет, как-нибудь распутается само.

Но и прекратить движение к Царскому Селу – тоже невозможно.

Ещё хорошо, что царские поезда ездят теперь кружным путём по Николаевской дороге. Очень было бы неловко Иудовичу по той же дороге от них отставать или на какой станции ещё встречаться с Государем.

Двинулись потихонечку дальше.

Тут на станциях от комендантов и железнодорожной жандармерии стали поступать жалобы, что по этой ветке в поездах из Петрограда едет множество солдат вне своих частей, неизвестно куда и зачем, многие пьяные. И на станциях впереди – отбирают у офицеров и у станционных жандармов оружие и производят разные насилия.

Волей-неволею приходилось уже вступать в действие. Вёз диктатор с собою грозное право военно-полевого суда – и мог бы тут же на станциях вершить суд и расстреливать. Но он никак бы не хотел этих жестоких крайностей, а надеялся усмирять по-отечески, что и приведёт к общему успокоению, хотя и задержит экспедицию в пути.

На следующих станциях велел генералу Пожарскому осматривать встречные поезда. Да и сам со своею мининской бородой толкнулся в один вагон, надеясь всех сразить и на колени поставить, – но в проходе даже пройти было нельзя, всё забито безбилетными и странной какой-то публикой: многие в штатском и все молодые мужчины. Тут из пассажиров надоумили генерала: это в Петрограде грабили магазины одежды, вот солдаты переоделись и теперь разъезжаются по домам, зачем им в частях оставаться?...

И ушёл генерал-адъютант из того вагона, так ничего и не предприняв.

А дальше приходили навстречу поезда с выбитыми стёклами, давка на площадках, всё забито солдатъём. Стали георгиевские патрули ходить по вагонам – стали пассажиры, где женщины, где старики, показывать, какие солдаты-забияки отбирали офицерское оружие. Тех забияк стали арестовывать в свой эшелон, а оружия офицерского отобрали назад до ста экземпляров.

Тут, выскакивая из вагона, на самого генерал-адъютанта нашибнулся солдат с тремя шашками – две в руках, одна на боку и ещё винтовка за плечами. Генерал размахнутую шашку успел отвести, а солдат успел укусить его в руку. Этого бы негодяя тут же коротко судить и расстрелять. Но не хотелось масла в огонь подливать, и без того опасная обстановка.

Обстановка – теперь видно, в Петрограде какая.

Подошёл следующий поезд – там шапки подкидывают: «Теперь – свобода, все равны, нет больше начальства!» Пока их образумливали, кого и на колени ставили, – нашёлся среди них переодетый городской в штатском и тоже кричал «свобода!», значит – скрывался так. Арестовали и его.

Да если сплошь порядок наводить, то и двигаться вперёд не надо, только встречай эшелоны. Но Николай Иудович не забывал о боевой задаче – и поезд их продвигался. К сумеркам прибыли в Вырицу.

Тут узналось, что в Царском Селе ещё вчера произошли беспорядки, войска вышли из повиновения – и там теперь мятеж.

Вот так-так: и царская семья, значит, в плену? Ай-ай-ай, ай-ай-ай! Государыня императрица! И сам наследник!

Но если и Царское Село уже в их руках – то как же двигаться дальше генералу Иванову?

А был к нему приставлен от Ставки начальником штаба отряда подполковник Капустин. Так из его замечаний Иудович понял, что тот и сам пропитан мятежным духом и сочувствует бунтарям.

Да донесли Николаю Иудовичу, что и Пожарский ещё в Могилёве говорил офицерам, что стрелять в народ не даст, даже если Иванов ему велит.

Так тем более надо быть теперь осмотрительным. Но и не продвигаться к Царскому Селу тоже нельзя: ведь полки собираются на той линии.

Распорядился Николай Иудович: сзади к своему составу прицепить другой паровоз, головой назад, чтобы в любую минуту можно было дать задний ход.

С величайшей осторожностью двинулись.

264

Уже знал генерал Беляев все новости, как министров арестовывают. А уцелевшему Покровскому на Певческий мост вчера днём передавал приказ Государя всем оставаться на местах, едет генерал Иванов.

Но сегодня в этого Иванова уже переставал верить.

И куда же было деть себя военному министру, теперь уже очевидно бывшему, но всё ещё не арестованному, а значит вынужденному принимать решения и распоряжаться своим телом? Вчера вместе с генералом Занкевичем вовремя ретировавшись из Адмиралтейства от гиблого хабаловского отряда, генерал Беляев этим намного продлил своё свободное существование.

Вчера же в Главном Штабе первые часы он ещё сидел у прямого провода, слал донесения в Ставку, отвечал на её вопросы, принимал её поручения, всё ещё надеясь на её силу и её спасительное вмешательство. Во второй половине дня приходили даже полные отчёты о движении войск на Петроград – но из медленности его стало ясно, что если Ставка и придёт спасти столицу, то для жизни Михаила Алексеевича Беляева уже будет поздно. (И около самого Главного Штаба так близко и гулко стреляли из пулемёта!)

Какая удивительно быстрая, удачная, завидная карьера – и погибала!... (Два месяца назад тоже был критический момент: потерял пост при румынском короле и уже в отчаянии ехал принимать дивизию – как Государь вызвал телеграммой в Петроград и назначил министром).

И хорошо Занкевичу: он в Главном Штабе на своей службе, он может тут и дальше оставаться, он не был прямо связан с прежним правительством, и его несчастное участие последние сутки в действиях хабаловского отряда вообще могло утаиться. Он был нейтральный военный специалист, который мог теперь хоть и вступать в переговоры с новыми властями. (И на этой-то должности Беляев и состоял ещё прошлым летом. И – как хорошо бы сегодня!)

И хорошо было морскому министру Григоровичу. Хотя и на посту вполне аналогичном беляевскому, он пользовался симпатиями Думы, даже срывал там аплодисменты, а вот весьма кстати заболел, вовсе не участвовал в последних действиях правительства, а вот сумел и отказать в гостеприимстве хабаловскому отряду. Всё это настолько укрепило его положение, что (Беляев с ним всё время сносился по телефону, ища решения для себя) адмирал Григорович просто позвонил в Думу и попросил прислать себе охрану! И ему прислали! А ещё для большей безопасности ото всякого разгрома он, поскольку был человек одинокий, перешёл из комнат своей квартиры в комнаты морского штаба.

Беляев тоже был человек одинокий, неженатый (всегда преданный только службе, её приказам, циркулярам и предписаниям) – и это тоже облегчало бы задачу его личного

спасения, – если бы он имел такую хорошую общественную репутацию, как Григорович. Увы, нет. От Нового года, перейдя с безупречных нейтральных должностей в военные министры, он опасно связал своё имя с этим последним обречённым кабинетом, а ещё по должности своей ответственный за военную цензуру – отвечал тут и за цензурирование некоторых думских речей. Ужасное положение, ужасная ошибка! И кого и чем теперь убедишь, что всё его назначение и продвижение произошло не по какой-то его особой преданности императору, а просто за то, что он говорил на иностранных языках и имел опыт поездок за границу, что было важно в целях военного снабжения. (Ну, ещё перевёл сына Распутина из сибирского полка санитаром в Петергоф, и очень угодил императрице).

Но так или иначе, всю вторую половину дня вчера его видели в Главном Штабе, это известие уже конечно потекло, и оставаться тут на ночь даже в квартире какого-нибудь генерала было опасно. (Так и оказалось потом: ночью приходили в Главный Штаб его арестовывать, искали).

Куда ж идти? Или на частную свою квартиру на Николаевской улице – но это далеко и опасно; или рискнуть, хотя казалось безумием, возвратиться в свою казённую квартиру на Мойке, в довмин, откуда он бежал прошлой ночью при стрельбе?

Так и поступил, и это оказалось счастливо. Странности революции: в самом центре известная квартира военного министра – и никто её не громил, только угнали автомобиль. Даже продолжал действовать прямой провод со Ставкой, и можно было разговаривать с Алексеевым. Но, разумеется, Беляев не только не сделал такой попытки, а велел секретарю при вызове отвечать, что никого нет.

Разгрома не было, но он мог нагряться – и Беляев решил использовать своё возвращение, чтобы жечь и жечь как можно больше документов. Он мобилизовал и секретаря с помощником, и денщика, и швейцара, – и жгли документы сразу в двух печах и в камине. Тут были и дела военного министерства, и Особого Совещания по обороне, и Совещания по снабжению армии и флота, многие материалы без копий в единственном экземпляре, многие секретные, и секретные перечневые журналы, и сами секретные шифры, и переговорные ленты со Ставкой, и материалы недавней союзной конференции в Петрограде, – в общем, очень много бумаги, – и Беляев, всегда так любивший самую фактуру бумаг, саму их глянцевость, и шорох, и чернильные петли на них, теперь и сам тоже заталкивал их в огонь с остервенением и облегчением, как бы освобождаясь от позорной связи с этим правительством. Чем больше налохмачивалось этой сажки – тем он чувствовал себя белей.

И так жгли до двух часов ночи – и никто не нагрнулся. И уже стало так поздно, что можно было надеяться на покойный сон.

Но утром позвонила родственница и сообщила ему горестную новость, что громят и грабят его частную квартиру на Николаевской. Ужасное терзающее состояние: знать, что грабят твою квартиру, и не мочь вмешаться!

Опять он по телефону советовался с Григоровичем. Тот благополучно отсиживался под охраной в морском штабе – и ему советовал для безопасности всё-таки переходить в Главный. Это было верно! – тем более, что и на Мойке против ворот собирался, кажется, подозрительный народ. А днём в Главном Штабе – не схватят.

Надев попроще шинель без погонов, нахлобучив большую фуражку, Беляев через чёрный ход и другой двор ушёл – незаметный, маленький, ещё съёженный, никем не узнаваемый, – и по Морской быстро достиг Главного Штаба.

А там он ощутил себя уже гораздо смелей и рассудил так: он – никакой не преступник перед новой властью, он – честнейший человек, но ошельмован в ходе общей политической кампании. Во время войны он выполнял колоссальную работу на пользу родины и это должно быть ему зачтено. Ему – 54 года, и он подлежит увольнению со службы с большой пенсией. Он даже очень охотно отрясёт от себя прах власти – и как бы хотел теперь начать жизнь частного человека! Если нужно – он может дать подписку о невыезде. Но надо просить охрану себе и спастись квартиру на Николаевской, откуда он ещё никаких ценных

вещей не успел перевезти на казённую. И с таким настроением, с этими мыслями он сел после трёх часов дня за телефон и стал дозваниваться в Государственную Думу, до какого-нибудь ответственного лица. Подошёл Некрасов.

– Я бывший военный министр Беляев. Я никаких препятствий вам не чинил и не буду чинить. Дайте только возможность мне поскорей превратиться в частного обывателя. И защитите меня самого и мою квартиру, которую громят... Я могу дать подписку о...

– Я вам советую, – ответил Некрасов, – как можно скорее самому отправиться в Петропавловскую крепость.

– Как? За что? Позвольте, я – честнейший...

– Там, в каземате, вы будете лучше всего и защищены.

Всё упало. Но ещё успел пискнуть бессердечному насмешнику:

– Тогда лучше арестуйте меня, пожалуйста, в Таврический дворец!

265

* * *

Политехнический институт в Лесном. Над белым, как дворец, зданием – красный флаг. Вокруг толпа. Внутри у раздевалок уже нет больше служителей, не раздеваются, грязь по лестницам, коридорам. На дверях аудиторий надписи: «социал-демократическая фракция», «социал-революционная»...

* * *

Морской кадетский корпус на Васильевском острове извне казался мёртвым, все ворота и двери наглухо заперты, у окон никого. Толпа, однако, не уходила, шумела, угрожала. С той стороны ворот служитель узнал условия: корпус должен в полном составе, с офицерами и музыкой, пройти по городу и тем показать солидарность с революционным народом.

Условия приняли. Юнцы построились во дворе и вышли с музыкой. Толпа весело приветствовала.

* * *

В разных местах по городу произносятся речи – со ступенек подъездов, с балконов, с пьедесталов памятников, с грузовиков. Публика перебраживает, слушает, соглашается с последним оратором.

Все интересуются: а что царь? что – с царём теперь будет?

Наклеено на стене дома большое объявление, один читает вслух. Вдруг за спинами недалеко пальба. Обернулся:

– Что это?

– Да не обращайтесь, товарищ, внимания, читайте!

* * *

Офицеры уже могут показываться на улицах, без оружия.

Почтенный полковник шёл по Каменноостровскому проспекту с радостным лицом и красным бантом в петлице.

Солдаты иногда надевают через плечо поверх шинели не пулемётные ленты, а широкие

генеральские – станиславские, анненские.

* * *

В офицерскую квартиру пришли с обыском. Хозяева наспех бросили шашку в сундук, еле закрыв тряпьем, револьвер – в книжный шкаф, за книги. Обыскивающие ворвались с заряженным оружием. Офицер отпускной, отвечает: оружия нет. Не верят. Отвечает: шашку сдал в починку, револьвер остался на фронте, воюю там, а не здесь. Начали обыск, не выпуская заряженных винтовок (неловко с ними обращались, запасные) и всё время следя за офицером.

Искали нелепо: в шкафчике с безделушками, среди рюмок в буфете, в бельевом шкафу жены. Когда стали осматривать книжный – хозяин отвлёк, предложил осмотреть письменный стол. Так на лезвии... По просьбе жены не входили в детскую.

Хозяин настоял дать ему расписку, что обыск был и ничего не нашли. Старший нацарапал, подписался: «член партии леуцынеров Семёнов».

Обещали прийти обыскивать ещё раз.

После их ухода шашку перепрятали в печку и заложили дровами.

* * *

В коридоре многоквартирного дома стучат в одну дверь – никто не открывает. «О-о, знать крупный сазан!» – и стали ломать дверь штыками. С криком вывернули с петель – а там стенная кладовая, и в ней колбаса, окорок, другое что. Захотали солдаты, достали ножи и тут же резать, рвать, жевать. Рассыпалась крупа на пол, выше щиколотки.

Прибежала дама, стала кричать.

* * *

Схватила толпа невзрачного полицейского писца, а он кричит: «Я соединился!» С народом, значит.

Отъехал от дома автомобиль с арестованным адмиралом. Говорили в публике: «Старик совсем».

* * *

Толпа окружила невысокого плотного румяного мужчину буржуазного вида в тёмном пальто с каракулевым воротником и такой же шапке пирожком. Кричат: «Он – министр!» Мужчина в испуге отрицает. На помощь приходит молодая дама: «Да что вы! Это мой сослуживец по магазину Блинкен и Робинсон». Толпа хохочет, опознаватели смущены.

* * *

Известному либеральному профессору Бернацкому, ссаживая его с автомобиля:
– Буржуй! Привык на автомобилях ездить? Теперь пешком походи, а мы поездим.

* * *

В здание Технологического института солдаты привели полковника 1-го стрелкового полка Четвериков – и требовали тут сейчас судить его за строгость к солдатам. С помощью студентов начали суд. Но вбежал ещё один солдат – выхватил шашку и зарубил полковника.

* * *

Командира лейб-гвардии Московского батальона полковника Михайличенко целый день возили по городу на грузовике, показывая народу «этого кровопийцу». Поднимали его на руках – и бросали об пол автомобильной платформы. После нескольких таких часов доставили сильно избитого в Таврический.

* * *

В городской думе за столом начальника городской милиции сидел адвокат Кельсон. К нему вошёл дюжий штатский с саблей, винтовкой, револьвером, ручной гранатой и пулемётными лентами наискось через плечо. Он привёл двух арестованных старушек, перепуганных насмерть. Но едва начал докладывать, что они выражались против нового строя, – разглядел Кельсона, смолк и сразу исчез. И Кельсон его узнал как раз вчера, революция помешала, он должен был защищать его от 9-й судимости, по новой краже. Это был Рыбалёв, лишённый всех прав состояния взломщик и рецидивист.

* * *

Нет никакой инструкции, кто подлежит аресту и кто имеет право производить арест. Одни милиционеры арестовывают других как незаконноносящих оружие. На улицах – много пьяных. И на тротуарах кой-где уже свалились спящие оборванцы.

* * *

По Мариинскому дворцу среди дня стреляют солдаты. Уверяют, что оттуда «генералы отстреливаются». Публика прячется за углами, площадь пустеет. Две курносые мешанки в салопках и платочках, но уже с красными лентами, любят стрельбой издали.

* * *

Со середины дня стало всё более просвечивать солнце. Иногда лёгкими хлопьями шёл «слепой снег». Потом – уже полное солнце, весёлое небо.

* * *

На Миллионной улице в квартиру генерала Штакельберга ворвались революционные солдаты (он их долго не пускал, с денщиком оборонялись). Обвиняли, что на улице убит матрос выстрелом из этого особняка. Генерал высокого роста, ещё не старик, надел николаевскую шинель с бобровым воротником. Вывели. Закричали: «Стой, генерал!» Схватили за пелерину шинели, оторвали. «Кто убил матросов, генерал?» – «Я не обязан

следить, кто тут шляется», – с презрением. Голоса: «Убить! Расстрелять! На набережную!», – и потащили по Мошкову переулку. Часть толпы оспаривает, перетягивает генерала к себе. Вдруг один коренастый солдат даёт прямо в генерала два выстрела из револьвера. Но ранений ещё не видно – и поток несёт уже раненного генерала к парпету набережной.

Генерал взмолился о пощаде. Но толпа уже пятится от него назад полукругом. Мгновенное молчание. Кто-то крикнул: «Пли!» Генерал сделал ограждающий жест одной рукой. Залп. Упал на бок.

Теперь, без команды, стреляли с азартом в лежащего. Рослый преображенец с румяным, почти девичьим лицом и улыбкой проверял на упавшем бой новенького охотничьего ружья, украденного из магазина.

Тут со стороны Троицкого моста подбегали матросы – и рикошетом от парпета двоих ранило в живот.

Убитого обыскали, добыли из кармана массивные золотые часы. Солдаты вчетвером раскачали труп – и перекинули его через парпет на невиский лёд.

* * *

По Невскому перехлестывает овация толпы. Это идут – одни офицеры, в несколько длинных шеренг, взявшись под руки, занявши всю проезжую часть. (Идут после собрания в Доме Армии).

На всех – красные банты. Некоторые смеются и кивают приветствующей толпе.

* * *

– Довольно, братцы! – кричит солдат с коня. – Теперь мы будем пить через соломинку! Энтузиаст, раздавая прокламации:
– Надо чтоб и нам, и детям нашим было хорошо!

* * *

Ведут арестованного кавалерийского полковника. Невысокий, гибкий, в полном самообладании и сознании своего достоинства. И конвой молчит. И у встречных – ни насмешки, ни оскорбительного слова. Твёрдость уважается невольно.

* * *

Околоточный когда-то выселил еврея, квартировавшего без права жительства в Петрограде. Эти дни околоточный скрывался у себя дома, соседи знали, но не донесли, он смирный был. Сегодня тот еврей появился с милицейской повязкой и двумя солдатами, арестовал своего околоточного и увёл.

* * *

Квартиру председателя уездной земской управы обыскивали 8 раз – и каждый раз один и тот же человек, зовя новые партии солдат.

* * *

Из Калуги приехала мать молодого измайловского офицера, позавчера убитого у казарменных ворот. Она нашла его тело в чулане нагим: хорошо был одет, всё содрали. И никто не помогал хоронить. Но улюлюкали из толпы.

* * *

Двигалась по Петербургской стороне, перетекая из улицы в улицу, громадная толпа. А впереди как предводитель – какой-то человек, вида обывательского, но увешан пулемётными лентами.

Флагов не было, речей не было. Так и двигались – молча, ничего не громя, сознавая свою силу, парадирюя вместе со своим предводителем – и не открывая своего намерения. Грозно.

* * *

В Кронштадте из ворот корабельного завода среди дня, в необычное время, выходили рабочие – в давящей тишине.

Соединялись с матросами.

Из винного погреба ресторана таскали ящики с винными бутылками и били их во дворе, приговаривая: «Эта сивуха проклятая погубила нас в Девятьсот Пятом!» Весь снег во дворе залился вином, как кровью.

Растеклись по городу арестовывать офицеров – сухопутных и морских, сперва – кто был на суше. Ходили брать не стихийно, а по спискам – у кого-то заготовлены были списки офицеров.

Некоторых убивали тут же, в домах или в казармах, где заставляли. Других расстреливали на Якорной площади. Третью водили на край оврага, так чтоб они в овраг падали, куда уже и адмирал Вирен.

Штабс-капитан Таубе увидел среди пришедших солдат – своих, и громко спросил:

– Солдаты! Кто мной недоволен?

Все промолчали. Тогда повели его не расстреливать, а в тюрьму.

266

Этого великого князя до сегодняшнего дня мало кто и знал – только кто счёт им вёл, не путался в их генеалогии. Зато сегодня узналось его имя по всей столице и ещё бежало впереди него: Кирилл Владимирович! Ещё колонна его шагала, не дойдя до Шпалерной, а уже в Таврическом знали и ждали: великий князь Кирилл Владимирович ведёт в Думу свой гвардейский экипаж! (До сих не знали, чем он и командует).

Да ещё и примелькалось глазу шинельное солдатское сукно, серый цвет его с рыжинкой заливал все улицы уже до надоедности, – и радостно и грозно показалась чёрная матросская колонна, в чёрном цвете особенно чётко видно ещё сохранённое равенство, только ленты бескозырок отвешаются самочинно, да на всех неуставно, неровно раскраплено красным – бантами, уголками, по грудям, по плечьям.

Великий же князь опередил колонну и в шикарном синем автомобиле с красным флажком прибыл в Таврический на десяток минут раньше – высокий, черноусый, со строгим, очень напряжённым лицом, с подсобным адмиралом, с малым эскортом матросов. На груди его морского пальто выдавался большой красный бант.

Родзянко (Кирилл телефонировал, что прибудет, и выводя колонну из казарм –

вторично) – вышел встретить его в Екатерининском зале. Была, правда, густая толкотня, портившая торжественность, все теснились посмотреть.

Великий князь не привык к такой демократической толкучке, несколько ошпыливался, но всё же придерживался революционной именной осанки. И произнёс приготовленную тираду:

– Имею честь явиться к вашему высокопревосходительству. Я нахожусь в вашем распоряжении. Как и весь народ, я желаю блага России! Сегодня утром я обратился ко всем чинам Гвардейского экипажа, разъяснил им значение происходящих событий, и теперь могу с гордостью заявить, что весь Гвардейский флотский экипаж в полном распоряжении Государственной Думы!

Это всем понравилось, и нестройная публика вокруг крикнула «ура!».

Родзянко держался как большое каменное торжественное изваяние, постоянно готовое встречать парады и произносить речи. Через несколько минут с крыльца, возвышаясь и над Кириллом, он уже громыхал к экипажу возгласами о родине, о верности, о победе над врагом, – фразы готовые были в нём и гулко выкатывались ядрами из жерла его рта.

После этого экипаж кажется ушёл или частью остался, не так легко было расстаться с Таврическим тому, кто сюда уже пришёл, – и то же чувство испытал великий князь, пожелав ещё задержаться в здешней приветливой обстановке.

Сперва вместе с Родзянкой он прошёл в последнее тесное убежище Председателя. И там выказал себя совсем не радостным, а сильно потрясённым, в глубоких опасениях. И Родзянко тоже – уже не торжественно гордо, а смущённо, морщась и озираясь, чтоб не услышали, сказал Кириллу неприятное:

– Ваше императорское высочество, простите, ваше присутствие здесь при нынешних обстоятельствах весьма неуместно. Вы к тому ж и флигель-адъютант. Я не советую вам так открыто демонстрировать...

Затем великого князя перехватили корреспонденты газет. Корреспонденты? Да! Вообразить было нельзя, что они тут существуют, ни одна известная газета не выходила, не давал разрешения Совет рабочих депутатов, но корреспонденты-то остались вживе – и где ж было им находиться, как не в самом кипении Таврического? И как же было им не кинуться на крупнейшую сенсацию: вслед за конвоем его величества – на сторону революции перешёл двоюродный брат царя!!! Экипаж – экипажем, эти воинские колонны уже надоели, но – великий князь? но – кузен царя?? Он был важней всего своего экипажа: это был символ, что вся императорская фамилия признала революцию! И как же было не просить великого князя об интервью (уж там неизвестно, когда напечатают)?

И как же было великому князю отказать им? Уже совершив такой бесповоротный шаг, надо было хотя бы показать его презентабельно русскому обществу и истории. Надо и всем и себе дать обдумать совершившееся.

Великий князь Кирилл последовал за корреспондентами в их комнату – да, у них такая была здесь.

Там, нервно и красиво курая папиросу за папиросой, он отвечал их любопытству.

– Теперь-то я свободен и могу говорить открыто всё, что думаю.

Барышни принесли великому князю чаю с печеньями.

Да, перед его умственным взором проходит вся его трагическая жизнь – и некоторые щемящие перипетии её он считает возможным открыть прессе.

– Ведь я – из немногих, спасшихся после взрыва «Петропавловска». Сколько интересных подробностей я мог бы сообщить верховному вождю армии и флота. Но он никогда меня не расспрашивал. Очевидно, ему всё было некогда.

Непростительный урон в государственном управлении. И так, по сути, всю жизнь.

– Я, кузен и шафер императора, осмелился жениться на кузине Виктории без разрешения царя. В Царском Селе рвали и метали. Александра Фёдоровна подсказывала царственному супругу самые суровые наказания. Спешу туда сам – сообщить о переменах в моей семейной жизни, меня не принимают. На другой день распоряжение – на три года за

границу с лишением чинов, орденов... И так и пришлось бы жить в изгнании, если б не...

Да что говорить, сколько ошибок в руководстве страной:

– Какое отличное министерство он мог бы себе составить, если б опомнился раньше. Сколько замечательных достойных людей в Государственной Думе!... И даже совсем молодых, как талантливый Керенский...

Большая приятность – поговорить с прессой и совершенно откровенно. Но когда-то кончается и интервью. И великий Князь спешит дальше.

– Куда изволите проводить вас, ваше императорское высочество?

– Я хотел бы – в Военную комиссию.

Как военный человек, естественно.

Но неестественно, что эта Военная комиссия вчера уже смещала его с Экипажа, каково?! Да кто там правит в ней? Сейчас Кирилл надеялся увидеть тут Гучкова, подозревая, что Родзянко – не главное действующее лицо. А Гучков ему нужен, чтобы поговорить... Довольно деликатное обстоятельство...

Дело в том, что когда начались *эти* события – Кирилл весьма задумался о том двойственном положении, в которое попал. Он метался – то к Хабалову, то в собрание преображенцев – ища, каким ему правильно быть. Всеми ли силами поддерживать трон (он посылал учебную команду на Дворцовую площадь) или только сохранить свой Экипаж (он отзывал учебную команду) и своё положение?

А вчера уже стало ясно, что трон проиграл столицу (Кирилл предлагал депутатам свой автомобиль), что началось движение в пользу думского Комитета, – и Кирилл поспешил не отстать в этом движении: уж ему-то, всегда обиженному, не оставаться было под обломками трона, уж *ему* -то первому надо было высвободиться! Одному самому? – мало! Со всем Гвардейским экипажем? – тоже мало. Он прекрасно надумал, как отомстить Александре: увести от неё весь царскосельский гарнизон! И сочинил, разослал такую записку командирам царскосельских частей.

Но хотя контр-адмирал Кирилл так быстро, предельно быстро переходил на сторону нового правительства – в его собственном Экипаже настроение перетекало ещё быстрее. Вчера шатнуло умы это известие, что великого князя сместили. А сегодня утром его разбудили известием, что несколько офицеров его Экипажа уже арестованы матросами, другим угрожают, и всех зажигают слухи, как расправился с офицерами Кронштадт. И идти торжественным маршем в Думу – Кирилл должен был уже не только по созревшему своему желанию, но и чтобы спасти Экипаж от развала.

Падение Николая Кирилл мог принять только с облегчением: тот всё это заслужил своими несправедливостями, промахами, дурными советчиками, небратским отношением. Но – кто же вместо Николая? Кирилл узнал, что тайно происходят всякие движения в пользу Михаила, сделать его регентом. Это известие укололо и обожгло Кирилла, это было уже совсем непереносимо! Николай – на троне по наследству и уже четверть века, какой ни есть, – но почему Михаил? Как ещё это ничтожество снести над собой?

А известно было, что Михаил всё время тайно сносится с Родзянкой (Родзянке – не верить ни минуты!) и скрытничает от дяди Павла и от Кирилла, не говорит о своих намерениях, а засел в Петрограде – зачем? Выжидает занять пост?

Так ещё потому и пришёл Кирилл в Думу, чтобы сшибить Михаила с этой позиции, затмить его.

И с деловым Гучковым он хотел поговорить об этом вполне откровенно.

Можно было сто книг прочесть о разных революциях и всё-таки лишь на самом себе испытать впервые: что такое революционная густота событий, каких ни сердце, ни мозг не успевают перерабатывать, – именно в те самые часы отказывают, когда они всего нужней. А потом – вздыхай хоть полстолетия.

Ещё вчера вечером и сегодня утром казалось, что главное – это отбиться от войск, направляемых на Петроград. Естественно: обратиться против старого, не дать старому задушить новое. И Гучков вместе с молодым князем Дмитрием Вяземским, излюбленным бесстрашным своим помощником, кого узнал он на фронте год назад, в своих поездках по Красному Кресту, а за эти месяцы привлёк к живейшему участию и в собирании заговора, теперь кинулся объезжать полки. Где – речи говорил, и ему кричали «ура», а лейб-гренадеры даже вынесли на руках, где – только выяснял положение и старался, чтобы обезглавленные растерянные части попали снова в руки своих офицеров. Если не создать оборону города, то хоть знать хорошо наличные силы, – это именно ему нужно было успеть, он считался среди думцев самый военный и лихой, наиболее знающий армию, в постоянной с ней связи.

Но всё более Гучков видел, что офицеры сбежали из частей, во множестве прячутся в неизвестных местах и даже в Государственной Думе, опасаясь растерзания. А батальоны, которые кричали Гучкову «ура», – часом позже или раньше кричали «ура» же и делегатам Совета. И так, пока Гучков собирал оборону от внешнего врага, за спиной думского Комитета собиралась сила ещё горшая. И может быть надо было спешить обернуться, а нашлись бы силы – так и арестовать кого-нибудь из этого богомерзкого Совета. Но тем более не было сил таких.

А пока он мотался в этих поездках – в его собственной Военной комиссии его собственный помощник Энгельгардт с перепугу вместе с Родзянкой издал дикий, невысказанный приказ, угодничающий перед Советом, перед распушенными солдатами, а офицерам грозивший расстрелом!!! Бред! – но отпечатанный на листках бумаги, он рассеивался по городу быстрее и множественней, чем успевал Гучков, – и всё губил безвозвратно: теперь и вовсе нельзя было вернуть офицеров в части, а части выставить на защиту Петрограда.

(А ещё ж висели на Гучкове его военно-промышленные комитеты по всей стране, так помогшие ему в штурме власти, – но сейчас уже никак не хватало на них головы. Армию конечно снабжать, да, послал циркуляр всем комитетам: да, вести работу, да...)

Среди дня большое подбодрение своею явкой в Думу произвёл Кирилл. Хотя и пришёл он по определённому расчёту – удержаться во главе гвардейского экипажа, испугался, что заменят, и вообще удержаться как великий князь в опрокидывающей стихии этих дней, но такое поклонение Думе видного члена династии оказало тут на всех на них резкое впечатление. И Гучков, принимая Кирилла у себя в Военной комиссии, и произнося лицемерно-вежливые успокаивающие фразы (этот великий князь, кажется, не против бы и сам сесть на трон), не мог сдержать торжества. Это – первый из династии, а потянется она, ничтожная, вся. То казалось – рушится всё кругом, то – какая же сила Дума!

И производило впечатление, что гвардейский экипаж не утерял выправки и пришёл с офицерами, – да не возьмётся ли великий князь охранять вокзалы против Иванова, хотя б на ночное время? А что ж! Взятся. (Пригодился).

Не один Гучков замотался в эти часы – и все члены думского Комитета. Но все они мотались, куда звала их мгновенная необходимость, – то произносить речи, то спасать арестованных, – и такими затычками пробоин они утеривали способность охватить всё положение и отгадать, как его направить в главных чертах.

Гучков, что ни делал, старался рассмотреть эти главные черты и использовать их, прежде чем они размылись. Были жертвы и сейчас, но если не решиться быстро, то будут жертвы несравненные – начнётся гражданская война.

Разворот событий завихрился по самому опасному склону – и надо было спешить обуздать его через законную передачу власти. Мысли Гучкова имели привычную колею и сразу занимали её: отречение и регентский совет. Он сформулировал это уже год назад, если не раньше (душою раньше, ненавидя этого царя). Он – хотел этого, он – жаждал этого, он – вёл к этому, уж как умел. И если отречение так было необходимо минувшей осенью, уже тогда созрело, то теперь даже перезрело, – но тем более срочно необходимо. Надо решительно и быстро сменить ситуацию: Петроград будет не защищаться от царя, но сам

совершит на него прыжок! Когда ноги думского Комитета разъезжаются – от распада полков, от зреющей злобы Совета, – надо не скользить, а прыгнуть и овладеть тронном.

Регентский совет Гучков так понимал, что сам займёт в нём решающее место. Гучков искренно любил Россию, он был – патриот. Но так понимал, что в патриии должен занимать ведущее положение, по своим политическим талантам.

Однако не с кем, негде и некогда было присесть, обсудить – что же делать? Всем им всё время надо было куда-то ехать, идти, кричать.

Вот это и была революция.

268

От Старой Руссы до Дна невыносимо тянулась эта старенькая одноколейная дорога с разъездами, не знавшая экспрессов, а теперь в неё втиснулись великолепные синие императорские поезда. Дорога – не могла пропустить быстрее, но старались как могли. Железнодорожники и местные жители глазели на невиданные поезда, робко переговаривались между собою, очевидно: где же тут царь?

Наивны, милы и доверчивы были их простонародные лица. Государь не показывался им, но из-за занавесок смотрел – и сердце его утеплялось. Вот такими он и представлял себе своих подданных, для таких он и правил, – только никогда нельзя было, как и сейчас, через двойные стёкла, услышать их и прямо им объяснить, а всегда слышались раздражённые, предубеждённые образованные голоса и крикливые газеты, которые всё извёртывают до неузнаваемости.

Очень тяжело было сегодня на душе, хотя и солнце иногда поглядывало на снега. Не как сознательное мрачное размышление, но само по себе – грудь разбирало, разгрызало невыносимое состояние. Ещё вчера с утра мнившийся в поездке покой был весь вымышленный. Ничем невозможно было заняться, ничего читать, никуда отвлечься, мыслями не уйти.

Нетерпеливо хотелось скорее достигнуть Дна – во-первых потому, что это был уже прямой поворот на Царское. Во-вторых потому, что там сейчас предстояла встреча с Родзянкой, и она всё больше казалась облегчением, выходом: миролюбиво уладить, чтобы всё успокоилось и стало на свои места. С предполагаемой уступкой части министров Николай уже смирялся: от рокового несчастного 17 октября Девятьсот Пятого он так или иначе был наведен на цепь неотклонимых уступок.

Уступка – уже как бы и была сделана. И давление на сердце ослабло. Полегчало.

Но он – не отдаст главных министерств. И, разумеется, министры будут ответственны перед ним, а не перед Думой. Этот монархический принцип – скала государства. Если министры ответственны перед Думой – то что тогда монарх? Какое-то набивное чучело?

В этом, уверен был Николай, Аликс – горячо с ним заодно.

У свиты было откуда-то сведение, что Родзянко уже в пути.

На мелких станциях подхватывала свита и другие слухи, и Воейков иногда докладывал. То – будто есть наглое распоряжение всё того же юмористического Бубликова – задержать императорские поезда! – каково? Но никто этого не выполняет, разумеется. То – будто дорога уже перегорожена, но после поворота с Дна, или какой-то мост повреждён на той линии.

Подъехали к Дну в пятом часу пополудни. Узловая станция тоже была в обычном порядке, ничем не взметена.

Но тут сразу ждало много новостей, и все неприятные.

Первое, что сразу узналось от станционного начальства: что генерал Иванов со своим батальоном прошёл Дно не вчера, а лишь сегодня утром.

Сегодня утром? Отчего же так медленно, Боже мой? На что ж он потратил время? Да тогда: достиг ли он Царского Села сию минуту?

На ком же государыня с детьми?

Но и хуже знали на Дне, ужасные известия: что гарнизон Царского Села вчера вечером также присоединился к мятежу!

Сердце Государя обронулось во мрак. Затмился свет, рухнула опора, державшая эти дни. Он выслушивал со спокойным выражением, но внутри его заваривалось отчаяние. Только не имел он права и вольности выказать это видом и словами.

А между тем Воейков принёс депешу от Родзянки на имя Его Величества, пришедшую менее часа назад. Родзянко сообщал, что сейчас (только сейчас!) выезжает на станцию Дно для доклада о положении дел и мерах спасения России. Просит – дождаться его приезда, ибо дорога каждая минута.

Да, но когда же он достигнет Дна? Не ранее как ещё часов через пять. И ещё, кажется, попорчен путь?

Воейкову удалось переговорить с Виндавским вокзалом в Петрограде, и он узнал, что заказанный Родзянкой поезд стоит под парами – но и сейчас не выезжал.

Горяча каждая минута, да, – но ещё горячее она в Царском Селе. И ещё мучительней – сидеть на этой захолустной станции – и жгуче не знать, что творится с семьёй!

Что ж было делать, Боже мой?

Маленькое глухое Дно. Один железнодорожный жандарм. Один урядник на селе. Но – завод с фабричными, неподходящее место.

Ощущение было ясное: что попали не туда. Что не на месте.

И ещё удалось узнать Воейкову по аппарату: что перед Царским Селом Виндавская линия занята революционными войсками и генерал Иванов, не доехав, остановился с поездом в Вырице.

Николай нервно смотрел на карту.

Четыре дороги скрещивались в Дне. По одной из них приехали.

Другая, налево, вела назад, на Могилёв. И не вызвала никаких мыслей.

Направо – краткая, желанная, в Царское Село – была для него, значит, перерезана? По ней ожидался и Родзянко – и выглядело бы несолидно ехать к нему навстречу. И если перегорожена – так всё равно не попадёшь в Царское.

А вот что: прямая – вела во Псков, и это уже близко. Там – штаб Северного фронта, там есть с Петроградом связь по юзу, оттуда, может быть, удастся поговорить с Царским (да и со Ставкой), и вот уже скоро всё узнать? И оттуда, по двухколейной Варшавской дороге, нетрудно доехать до Царского через Лугу.

Во Пскове – военные силы, и железнодорожный батальон. Оттуда всегда можно обеспечить себе проезд.

Вот и решение: ехать во Псков!

И это даже хорошо, что Родзянко ещё не тронулся из Петрограда: дать ему теперь депешу, чтобы ехал прямо во Псков.

А что могло его так задержать, почему он не спешил? Может быть, его задержка имеет резон: он удерживает Петроград, не отдаёт его разнузданным силам?

Тут подали Государю ещё одну телеграмму, от 10 часов утра, и какую же окольную! Телеграфировал опять начальник морского штаба из Могилёва (почему-то опять не Алексеев), но не от себя, а сообщал пространную телеграмму командующего Балтийским флотом адмирала Непенина – а тот тоже не от себя, но сообщал две телеграммы, полученные им от Родзянки вчера, 28 февраля, – и вот только с каким опозданием, и вот только каким кружным путём подтверждалось Государю, что читали в Бологом в случайном листке: Родзянко вчера извещал все фронты, что его временный думский комитет перенял всю правительственную власть ввиду устранения бывшего совета министров. И что он приглашает Действующую армию сохранять спокойствие и надеется, что борьба против внешнего врага не будет ослаблена, – разумные слова.

На старое правительство он валил «разруху», но брался быстро восстановить спокойствие в тылу и правильную деятельность учреждений.

А Непенин добавлял, что всё это объявил командам! – Боже мой, кто ему разрешил? – и

докладывает Его Величеству своё убеждение о необходимости пойти навстречу Государственной Думе.

И в этом – Государь всё более убеждался сам. За несколько минувших часов Родзянко переместился в его представлении и сознании, – вырос. И Государь уже не только был согласен его принять, но уже – хотел, чтобы он приехал, но уже досадовал, что нет его в Дне.

Но что ж, во Псков так во Псков. Дали знать туда – и двинулись.

Свита радовалась: тихий губернский город и рядом надёжные войска.

Пили тягучий вечерний чай.

Ехали – пока что прочь от Царского Села, слишком затянувшимся крюком.

Смеркалось.

Приезжал, бывало, Государь на свой Северный фронт – но не в таком положении.

И тут ещё одно неприятное сообразил: на Северном фронте начальником штаба – Данилов-чёрный. Два года назад Государь считал его великим стратегом, и сам же указывал Николаше взять в Ставку. А потом они с Николашей сжились, и убрал его вослед Николаше, освобождая место для Алексева – однако не сердясь, и всё считая его крупным стратегом. И ни Николаша, ни Алексеев – никогда не объяснили, чего Данилов стоит, только этою зимой Гурко открыл Государю, сколько жестоких кровопролитных ошибок наделал Данилов в первый год войны, во что обошлись нашей армии его ошибки. И так горько стало, что был – обманут, и ещё благодарил его, награждал. Например – Галиция... А Николай считал таким успехом. Стыдно, как плохо водили русские войска.

И вот сейчас – предстояло встретить его, с тех пор первый раз.

ЛИХО ДО ДНА, А ТАМ ДОРОГА ОДНА

269

В комиссариат поступили сведения, что грабят особняк Кшесинской, – и Пешехонов послал прапорщика Ленартовича остановить грабёж и, если нужно, поставить там временный караул, пока толпа схлынет.

Ленартович не знал особняка и не уверен был, кто именно Кшесинская, Пешехонов объяснил, что это – знаменитая балерина, которая была любовницей царя в его молодости, а потом – по великим князьям.

Оказалось, это – первый дом по Кронверкскому проспекту, начало его дуги, у самой Троицкой площади. Туда было близко, Саша с двумя своими солдатами быстро дошагал. Дом выдавался в сторону площади полукруглым крылом.

Но сейчас – не грабили, и толпы никакой не было, да даже ни одного человека ни рядом, ни внутри. Окна двух этажей асимметричного дома с башенкой и полуподвальные, выходящие прямо на улицу, были не побиты и все закрыты. На втором этаже – балкончик, тоже мёртвый. Да даже не поймёшь, как в этот дом зайти, – двери в нём нет, ах вот, калитка во двор.

Калитка была заперта, но в каменном столбе Саша увидел кнопку, стал звонить. Дом был приятно отделан цветной плиткой, и привлекательно, что несимметричный.

Вышла прислуга, мужчина и женщина. Видя офицера и двух мирных солдат – впустили, но опасливо. Действительно, за эти сутки было уже два грабежа, оба под видом обыска. Не пустить – силы нет, а пустить – озоруют, открыто грабят, в шинели кладут, за пазуху, – и что хозяйка скажет, воротясь! А вчера – из броневика пустили очередь по их

дому. А хозяйка где?

А хозяйка – позавчера вечером вместе с сыном, 14 лет ему, и губернёром вышли из дому, малый чемоданчик в руках, – велела приготовить чай, скоро вернётся, так и не вернулась. И в ту же ночь два автомобиля из гаража увели, больше их и не видели.

По парадной лестнице поднялись в холл с мраморным полом. Беспорядка особенного не было, наверно прибрали.

Саша пошёл осмотреть дом, уже не из надобности, а из любопытства. Полуподвальный этаж был для служб. В бельэтаже в столовой – потревоженность, но столовое серебро, сказала прислуга, на месте, или почти. Мало покрали, и посуда не бита. Тут были гостиные с роскошной мебелью – и беломраморный залик, в котором просторно дать и бал, снаружи не предположишь. Большие зеркальные окна зала выходили прямо на Петропавловскую крепость, через Кронверкский. А тот самый полукруглый выступ, обставленный пальмами и с малым гротом в центре, и в нём текли струйки воды по голубоватому фону, – тот окнами выходил на Троицкую площадь и на Троицкий мост. Мебель в зале обита белым шёлком под общий цвет белого мрамора, того же тона и рояль.

Все эти фокусно-роскошные затеи не могли задеть сашиной души, даже напротив – вызывали раздражение. Но, пожалуй, – до революции. А сейчас – его отношение как-то повернулось. Хозяйка сбежала от своих забав, а – местечко большое и богатство большое, всё это надо бы сохранить, особенно от глупого пустого погрома.

Решил Саша – караул здесь поставить и пока подержать.

Пошёл наверх, уже один. А, вот здесь-то погром и был, и остался хаос: в двух комнатах пол забросан фотографиями и бумагами, фотографиями и бумагами, все ящики столов и бюро выдвинуты.

Висела, нетронутая, остеклённая большая фотография молодого царя в морской форме, и внизу надпись, да кажется и его рукой: «Николай, 1892».

Другие портреты, великие князья, генералы, артисты.

Мебель и обстановка пострадали мало.

Под стеклянным футляром лежал венок, какая-то награда, – да не золотой ли? Саша снял колпак, вертел венок и внизу обнаружил явную пробу: «96»! Грабители просто не сообразили.

Да, караул придётся поставить. А потом – многое отсюда вывезти, спасти.

Пачки писем, пачки писем – перевязанные ленточками. И стопка сафьяновых тетрадок. Дневники... За 20 лет... О, тут читать и читать... Сколько ж ей может быть лет? Уж за сорок? И ещё танцует и ещё чарует?

В детской разбросаны были по полу дорогие игрушки, рельсы с локомотивом и вагонами. Сколько ж у неё детей? От кого?

Уже ясна была обстановка, и ждали его дела в комиссариате, надо было уходить. А он всё бродил по комнатам.

Его затягивало.

В гардеробной отодвинул дверь – висело множество платьев, блузок, юбок, – двести, всех цветов, шерстяные, воздушные, вязаные, кружевные.

Оглядысь – никого не было, тихо, – он медленно провёл рукой по перебору этих платий.

Как по струнам. И платья как будто зазвучали.

И – пахли.

Он открыл ещё дверь.

Ванная комната. Но не просто с овальной ванной – а вели ступени вниз, в углубление – в мраморный бассейн. А на верхней ступеньке стояли маленькие-маленькие тувельки, непонятного назначения – балетные? купальные?

Саша остановился над ними, замер.

Отодвинутая этими днями – выступила перед ним Ликоня, прелестней всех этих балерин, – всё недосказанная, всё недопонятая, всё ускользающая.

Мучительно, сладко потянуло к ней.

И он долго стоял, смотря под собой на эти туфли.

270

Несколько часов не покидала Пешехонова забота: что делать с Павловским училищем? – заперлось, не выходило на поддержку нового режима, но в любую минуту могло выступить против, – а ведь оно на Петербургской стороне – и что тогда тут удержится?! Но к счастью переговоры с ним взял на себя Таврический.

Из Совета рабочих депутатов прислали приказ: комиссариату *тем или иным путём* обзавестись на месте необходимым числом автомобилей (какой они подразумевали *тот или иной* путь?), – а если окажется излишек, то передать его в Совет.

Правильная, значит, была вчера его идея захватывать автомобили. Захват от захвата, конечно, отличается морально: это – не корысть, но революционное право, питающее новогосударственные потребности.

Тут – на замороченную голову Пешехонова свалились ещё квартирьеры 1-го пулемётного полка, немедленно требуя отвода помещений всему полку.

Их два пулемётных полка пришли пешком из Ораниенбаума в Петроград помогать делать революцию. Одну ночь они провели в чьих-то казармах на Охте, но там им не понравилось, и они желают перейти на Петербургскую сторону.

Взвять можно было. Сколько же их? Запасные полки раздуты, тысячи, небось, четыре?

Как бы не так! – их оказалось 16 тысяч!

И все они – уже шли сюда!

Да почему же столько?

Не квартирьеры могли ответить. (Потом объяснили Пешехонову: других запасных пулемётных полков во всей России не было, только эти два готовили пулемётные пополнения Для всего фронта, – и вот они поднялись и кочевали).

А главное требование квартирьеров было: солдаты ни за что не хотят расходиться по разным местам, мелкими партиями – а стать всем непременно вместе.

Грозная сила! – и бедная сила. Их все боялись, а они боялись больше всех: как бы, расчленённых, их не настигла кара за мятеж.

Но таких больших помещений на Петербургской стороне не было. Спортинг-палас рядом – всю зиму не отапливался, в нём не действовала канализация. Самое большое здание – Народный дом на Кронверкском, – не мог вместить 16 тысяч.

Кто-то из товарищей напомнил о только что отстроенном дворце эмира Бухарского на Каменноостровском.

Пешехонов постеснялся: дворец – и в казарму?

Но, объяснили, это – просто доходный дом с двадцатью большими квартирами, ещё не занятыми.

Квартирьеры поспешили навстречу своему полку, уже пришедшему на Троицкую площадь и грозно стоявшему там.

После переговоров и уговоров один батальон соблазнился жить во дворце и дал себя отделить от полка. Остальные пошли в Народный дом.

Пока Пешехонов занимался с квартирьерами, немного отойдя от «Элита», показывая им направленья по улицам, – сзади близко раздалась сильная стрельба. За эти дни ухо настолько привыкло к выстрелам, даже и близким, что Пешехонов не слишком удивился. Но удивился он, что публика перед комиссариатом куда-то сразу вся исчезла, не толпилась, не ломилась.

И тут увидел, о ужас, что на площади перед комиссариатом залегли солдаты и обстреливают один из домов по Архиерейской улице.

Оттого-то и вся толпа рассеялась!

А в этом доме, куда стреляли, – сообразил Пешехонов, – в этом доме помещался лазарет с увечными солдатами!

Да что ж это, с ума сошли? Он бросился сзади к лежащим на снегу солдатам. Подбегал и хватал за плечи.

– Что вы делаете?!

Кое-как остановил. И ответили ему, что из того дома стреляли по комиссариату, и не иначе как там спрятан пулемёт.

Рассердился Пешехонов:

– Кто именно видел?

Стоял в рост среди рассыпанной цепи, и ничей пулемёт его не поражал.

Стали и солдаты приподниматься. Не нашлось такого, кто именно видел. И не было убитого ни одного на площади и ни одного раненого.

Покричал на них, постыдил – и послал из них же наряд, ни офицера, ни унтера не было под рукой, – проверить, сами ли они никого не убили в лазарете? А если уж так подозревают – пусть и проверят, нет ли запрятого пулемёта. Сотни этих пулемётов из невидимых рук со всех чердаков стреляли, а сколько ни лазили – во всём Петрограде ни одного этого пулемёта не нашли.

А уже – опять хлынула толпа к «Элите» и внутрь, так что сам Пешехонов еле втиснулся.

И опять осаждали его со всех сторон – доносами, требованиями реквизиций, обысков и предложениями новых видов общественной активности.

271

Приходили читатели, и немало, но никто ничего не читал, даже если брали книги, а то и не брали. На главной лестнице, в просторном над ней вестибюле, у книжных прилавков, у дверей залов и в самих залах собирались маленькие клубы – и нарушая священную, присущую этим местам тишину, некоторые слышно гудели, в полные голоса. Раздавались радостные женские аханья, смех мужчин и весёлые перебивы. А другие, верные дисциплине и привычке, и сейчас всю радость выражали только шёпотом и переходили по залам на цыпочках.

Остановилась выдача книг, остановилась библиография, и изо всех потаённых углублённых уголков вытягивались смиренные сотрудницы – сюда, на люди, в оживлённое обсуждение.

Никогда Вера не видела – вне пасхальной заутрени – столько счастливых людей вместе зараз. Бывает, лучатся глаза у одного-двух – но чтобы сразу у всех?

И это многие подметили, кто и церкви не знавал: пасхальное настроение. А кто так и шутил, входя: Христос Воскресе! Говорят, на улицах – христосуются незнакомые люди.

Как будто был долгий не пост, не воздержание, но чёрный кошмар, но совсем беспросветная какая-то жизнь, – и вдруг залило всех нечто светлее солнца. Все люди – братья, и хочется обнять и любить весь мир. Милые, радостные, верящие лица. Это пасхальное настроение, передаваясь от одних к другим и назад потом к первым, всё усиливалось. Одна с собою Вера не так уж и испытывала чёрный кошмар прежнего, но когда вот так собирались – то этот кошмар всё явственней клубился над ними, – как и сегодня всё явственней расчищалось нежданное освобождение. Дожили они, счастливы, до такого времени, что на жизнь почти нельзя глядеть, не зажмурясь. Отныне всё будет строиться на любви и правде! Будущее открывается – невероятное, невозможное, немечтанное, неосуществимое. Что-то делать надо! что-то делать в благодарность! но никто не знал, что.

И Вера думала: может быть, действительно, начала братства – вот этого, уже ощущаемого между совсем чужими людьми, – теперь законно вступят в жизнь, разольются, – и люди начнут бескорыстно делать друг для друга? И таким неожиданным путём победит христианство?

Вспоминали имена свободолюбцев, ещё от времён Радищева и Новикова, вспоминали декабристов, Герцена, Чернышевского, народников, народовольцев, – поколение за

поколением отдававшие себя с верой в будущую свободу. Ведь вопреки всему – верили, что – будет! И вот сбылось! Какая святая вера, какое святое исполнение!

У многих были слезы на глазах.

Так интересен был всем каждый штрих свободы и каждый штрих отмирания прошлого. Передавали имена арестованных деятелей старого режима – каждое имя как падающая мрачная колонна. Последняя новость – что утром сегодня арестован Николай Маклаков. Передавали пикантную подробность: неистового антисемита Пуришкевича видели с красной гвоздичкой в петлице. Склоняют головы, склоняют, мерзавцы!...

Появился и новый сенсационный слух – а газеты не успевают, проверить негде: в Берлине – тоже народная революция, второй день!

Боже мой, неужели начинается всемирное братство? оборвется эта ужасная война? Преобразится Европа, преобразится вся планета?!

И ещё слух – о крушении царского поезда. Неизвестно, уцелел ли Сам.

А само собой – какие-то войска движутся на Петроград.

Конечно, опасность контрреволюции ещё очень велика. Не может быть, чтобы старое было так сразу разбито и так окончательно умерло. Оно, конечно, притаилось и выжидает, чтобы накинуться на наш светлый праздник. Оно, конечно, ещё шмыгает шпионами в уличной толпе и прислушивается. Оно, конечно, ещё затаилось на чердаках с пулемётами и вот-вот начнёт обстреливать улицы.

Но – бессильны они и обречены!... Передавали с любовью и надеждой имена членов Думского Комитета, замечательных деятелей, которые теперь поведут Россию. Европейски образованный Милюков, подлинный учёный, он внесёт в управление методы науки! Вечный антагонист императора – неукротимый воинственный Гучков! А Керенский – с его страстной жаждой правды и сочувствием к угнетённым! Да, это будет впервые на Руси – народная власть, всё для народа.

Так в этих растерзывающе-радостных разговорах и прошёл счастливый болезненно-нерабочий день. Было Вере необыкновенно тепло, светло, но немного и грызло: а что же убивают офицеров? Наши защитники, герои нашей армии – в чём же и перед кем они виноваты?

Она робко пыталась выразить это в двух группах, её как бы и не услышали, даже не возразили серьёзно. Это не ложилось в общий поток восторга, выбрасывалось на сушу как инородное. Ну, случайности, ну, какая революция без крайностей? К светлому будущему невозможно вырваться без каких-то хоть малых жертв.

Прошёл день, и опять пересекала Вера кипуче-восторженный Невский, такие же сияющие лица культурного Петербурга на нём, перемешанные с самой простой толпой и с солдатами, и на всех красное, красное.

А в Михайловский манеж, увидела, вводили группу арестованных, по одежде обывателей. Кого-то, за что-то. И в полицейских мундирах тоже. И за некоторыми тащились женщины с детьми, их отгоняли.

Она вошла домой, ещё сохраняя это весеннее поющее настроение, ещё с той же невесомой улыбкой, – но мрачная встретила её няня и эту улыбку успела заметить и сразу же согнала:

– Пакостники! Слышать не хочу! Злодыри! По всем этажам обыскивать шастают, глядят – где б спереть, что плохо лежит. Так и валят, кучка за кучкой, и морды-то колодников, небось из тюрем да попереодевались. Полное для них нестеснение. И ружья держать не умеют, один во дворе чуть дитятку не застрелил, на палец не угодил.

Приходили с обыском и к ним, но няня как стала на пороге, так никого не допустила, тряпкой в морды им махала. А какой дом получше, вон у Васильчиковых, рядом, – так двери не запираются, всё новые на обыск валят, женщины так и бродят с ними, чтоб не стянули. А прислуга ихняя бесстыжая – красные банты понадевала и в город. Наконец, нашли несколько хороших солдат, на кухне их посадили, кормят, – так они эти банды отваживают.

– Радуются! Дураки и радуются! И ты, дура, с ними. Разорению – чего ж радоваться? А

хвосты, вон, ещё хуже! Доживём теперь – и нечего будет трескаться.

Правда, онемела Вера перед няней. Нельзя было серьёзно повторить ей хоть и самыми простыми словами того, что говорилось сегодня в Публичной: ни про заветную сказку, ни про мечты поколений, ни уж, конечно, про Христово Воскресение.

Но оттого что слова эти все оказались недействительны перед няней – сразу стали они маленькими, маленькими и блеклыми. Уже и для себя Вера могла ли их сохранить? Это был какой-то гипноз, очарование говорящего общества.

– А с Егором что будет, ты подумала? Да ведь у него если шашку отберут – он же ведь убьётся! Он жить не будет!

272

Как свернулось, пошёл по Страстному бульвару, потом по Петровскому. Здесь – не было красных шествий, а на бульваре – неизменные няньки, коляски и детская бегодня в разноцветных шапочках и варежках, и тут совсем другой был тот же красный, не раздражал.

Так значит Гучков был прав: надо было спешить предупредить?

Или наоборот: вот это и значило, что – доигрались?

Доигрались – если теперь это покатится по стране.

И – к фронту?

И – что тогда с фронтом?...

А между тем, если происходящее можно назвать **революцией** ? – вот это и есть революция? – нет, это ещё не революция! – то ведь у неё совсем нет никаких сил. Сейчас – один хороший твёрдый полк может овладеть этой расшатанной Москвой.

Но – где быстро взять этот полк? В Москве, видимо, не было такого.

Но и какая тут может быть революция, если вся многоствольная, штыковая и копытная сила в Армии? Если Армия не признает – то никакой революции нет, это – пшик.

Теперь в часы -всё может решить Ставка. (Только зачем же Государь оттуда уехал?) Несомненно стекутся и верные в Ставку со всех сторон.

Кинуться в Ставку?

Тем скорей он должен прорваться к какому-то действию, чем позорней провёл эти дни.

Ехать в Ставку! – представилось вдруг несомненным и даже немедленным!

Значит – на Александровский вокзал! А он – уже спустился к Трубной площади, только крюку дал.

И – уже поворачивал.

И тут увидел, как по Трубной бегут мальчишки-газетчики с восторженно-разъявленными ртами, кричат и размахивают. К ним сразу бросились, сгущались вокруг них, просто рвали из рук.

Бросился и Воротынцев, уж тут ему можно, это не листовки. Пробился, добился, купил. А купившие прежде тут же и читали, восклицали, да и мальчишки кричали.

Кричали: что царь – на пути в Петроград – **задержан** ??

Какая-то маленькая небылая газетка – «Известия московской печати». Но хотя маленькое, а плотно шло только одно главное под жирными заголовками, перехватывающими глаз каждый к себе. Падение Адмиралтейства!... Преображенский полк перешёл в революционный лагерь вместе с офицерами!... Та-ак... Собственный конвой Его Величества перешёл на сторону революции!... Поездка царя Николая II... На Николаевской дороге поезд задержан...

Неясно было сказано: что? – арестован?...

Кем? Когда? И где он теперь?

Как раз то уязвимое путевое состояние царя, на которое и целился Гучков...

Воротынцев медленно вытолкнулся из толпы назад на бульвар. С этой газеткой так и присел на оснеженную морозную скамью.

Эта отчаянная поездка Государя, оборванная неизвестно где, – поражала.

И что тогда Ставка? Алексеев без царя? Без имени Государя Ставка превращалась в немощь. Она не может принять решений и не может начать военных действий, если Государь в руках мятежников.

В Ставку – ехать незачем.

Но тогда что будет с Армией? (И со всей войной!)

Голова никак не брала решения.

Честь – требовала вмешаться. Разум – не указывал пути.

А не первый раз в эту войну, и особенно в эти последние месяцы, Воротынцев вопреки своей вере в силу единичной воли – ощущал почему-то заколдованное роковое бессилие: даже в гуще событий, в самом нужном месте и сколько ни напрягайся – нет сил повернуть события! Почему так?

Да не погнать ли назад по Николаевской дороге? И даже прямо в Петроград? Может там ещё что-то?...

Это была авантюрная мысль, от крайности, – но всё-таки центр событий там, но может не всё ещё так бесповоротно, как пишут? Всё-таки возможны какие-то действия?

Какой бы ты ни был воин, сто раз обстрелянный, – а вот подступит, обоймёт совсем неожиданное, и ты внутри своего мундира – слабый и беспомощный человек, как каждый.

Ехать или не ехать, – но на Николаевском вокзале можно узнать что-то чёткое от приезжающих.

И Воротынцев рванулся к Николаевскому вокзалу, отдавая ходьбе всё неизрасходованное: перетолкался, пересек Трубную, поднялся крутым Рождественским бульваром и, чтоб избежать возможного столпотворения Мясницких и Красных ворот, срезал по Уланскому и по Домниковке.

В переулках не замечал никакой необычности. Пересекал на Садовой всё такое же растерянно-радостное многолюдье. Пока дошагал до Каланчёвской площади, уже сам с собой стал применять слово «революция».

Революция во время войны!! Даже если б она имела цель выйти из войны – это уже полный проигрыш войны. Это – ещё куда хуже, чем тянуть войну дальше.

Такое же обезумевшее, восторженное и бесцельное бродячество охватило его и на Каланчёвской площади.

А поезда с Николаевского вокзала – ходили как ни в чём не бывало. И через несколько часов можно будет уехать.

Но именно тут углубилась нелепость: если во главе революции Государственная Дума – то что же в Петрограде против неё можно делать? И с кем? – с петроградскими никудышними запасными?

А вот – пришёл из Петрограда поезд. Воротынцев стал при потоке идущих и смотрел знакомых, особенно офицеров.

Знакомых не увидел, но заметил, что все офицеры идут безоружные. И остановил одного капитана. И ещё один штабс-капитан потом сам набежал.

Они были настроены отчаянно, не с той поверхностной растерянностью, как офицеры в Москве. Они рисовали, что в Петрограде – ад, убийства офицеров и погоня. Что ехать туда нельзя ни в коем случае: расправа наступит ещё на перроне. Ехать можно только в штатском и безоружному. Рассказывали разные случаи. Действительно, оторопь брала.

Воротынцев привык, что опасность зовёт. Но такая – не звала.

А царский поезд? Не слышали, не встречали? Где он?

Ничего не встречали. Нигде по дороге ничего подобного, заметили бы.

Окончательно не понимал Воротынцев, что ему делать.

Нет, возвращаться в Петроград конечно было упущено, это – вздорная мысль.

И вздорная, непонятная, самоубийственная поездка Государя! Все эти дни ведь он знал о событиях с самого начала – и что же он решил? Куда поехал?...

И уйти с вокзала Воротынцев тоже ещё не решил. Недоуменно затерялся в вокзальной толпе. Пошёл в ресторан – и пообедать, и поразмыслить, выиграть время, остояться, не

делать пустых движений.

И тут, над тарелками, вдруг подумал: а Государь-то едет – просто-напросто к жене...? Всего-навсего...?

Тогда он – погиб.

И всё погибло.

Шли по вокзалу – два студента с винтовками, взятыми на ремень. И больно было – как ударило: и стрелять ведь, конечно, не умеют. А вот – они взяли оружие. А офицеры сдают своё.

Разливанная Каланчёвская площадь была уже при вечерних фонарях.

Нет, офицер вне своей части – ничто. Военный силён только на поставленном месте. Что может одна отдельная одинокая шашка, когда и её отбирают? Надо, не мудрствуя, просто возвращаться в 9-ю армию, на своё место.

Вошёл в телефонную будку и стал дозваниваться до знакомого капитана в штабе Округа, который сегодня вечером дежурил, – узнать последние новости.

Тот ответил: Кремль, Арсенал, все последние части – перешли на сторону революции. Генерал Мрозовский только что арестован у себя на квартире.

Ну, и дождался.

273

Трудный день выдался Исполнительному Комитету: после короткого перерыва опять заседали во второй половине дня, под гул беспорядочного Совета за дверью – и под угрозой, что во всякий момент эта отчаянная солдатня ворвётся сюда в поисках правды. (Неправильно разрешили выбирать по человеку от роты: слишком много солдат собирается). Но нет, Соколов как-то всё справлялся с ними, молодец: орали там, а сюда не врывались. Как-то он там учредил подобие порядка и ораторов.

А между тем И-Ка сдвинулся обсуждать условия передачи власти буржуазии – и Гиммер вытягивал самую сладость из теоретической косточки.

В новых условиях демократии начиная борьбу против буржуазии не на живот, а на смерть, не надо отнимать у буржуазии надежду выиграть эту борьбу! Поэтому нельзя уже при начале ставить ей слишком жёсткие условия власти. Наоборот, надо заманить её на власть. Главное условие одно: обеспечить в стране абсолютную и бескрайнюю свободу агитации и организации! Нам это – больше всего нужно! Сейчас мы распылены. Но уже за несколько недель мы будем иметь прочную сеть классовых, партийных, профессиональных и советских организаций, да если ещё полную свободу агитации – то буржуазия нас никак уж не возьмёт, освобождённые массы уже не капитулируют перед жупелами имущей клики. И формы европейской буржуазной республики не затвердеют у нас, революция будет углубляться.

А вместе с тем это требование – свободы агитации – настолько общепризнанное демократическое, что буржуазия никак не может нам в нём отказать. Не покушаться на принципы свободы! – как они могут отказать? И если ещё к этому добавить всеобщую амнистию? И, в принципе, Учредительное Собрание? Как же они могут отказать, сами это провозглашали с Пятого года! А нам – вполне достаточно! И не надо пока больше ничего, даже о земле, даже экономические требования, – не надо пугать буржуазию! Даже не надо требовать объявления республики – это выйдет само собой. А тем более не заикаться о политике мира – это спугнёт их окончательно. Нельзя же от Милюкова требовать Циммервальда, это просто nonsense. Если открыть всю нашу программу мира – то Милюков и власти не возьмёт. А если открыть только часть, то западные социалисты удивятся, какая урезанная наша программа. Но беспокоиться нечего: при свободе агитации мы потом достигнем самого полного мира.

– Кто не знает, товарищи: я сам всю войну пораженец и интернационалист. Но сейчас я совету: помолчим об этом! Циммервальдистскими лозунгами мы можем отпугнуть даже

обмороченную солдатскую массу, даже и в самом Совете: среди этих простаков ещё принято, что войну надо вести до конца. Нет, свернём пока циммервальдское знамя! – всё настойчивей вывинчивался Гиммер в своём монологе, несомый великой мыслью, даже приподнимался на цыпочки перед столом заседаний. – От этого правительства нам нужно только одно: завершить и закрепить переворот против царского режима! А потом – мы скинем их самих!

Он сам вздрагивал от глубины своего провидения. И как-то легко это выговаривалось, не боясь шпионов от думских кругов и что слышат многие за занавеской. У революционных истин есть великое свойство: обречённые, даже слыша их ушами, не понимают.

Тут члены ИК – зашумели, в несколько голосов. Большевики – всё долой, оборонцы, духовные карлики, – разделить с буржуазией власть. А дюжий Нахамкис, час от часу входящий в силу и влияние, косым внимательным взглядом примерялся: может и правда принять гиммеровскую платформу? И, волнуясь получить и этого сильного союзника, собрав вот-вот большинство, Гиммер с новой пронзительностью, надрывая своё слабое горло:

– Нам не соглашение с буржуазией нужно сейчас, а только – вырвать у плутократии ядовитый зуб против нашей классовой самостоятельности! Их правительство тогда не выдержит и быстро лопнет под напором народных сил! Их правительство окажется скоро жертвой нашей углублённой революции!

Гиммер не помнил, когда он говорил так убедительно и так пронзительно. Он ощущал просто свой великий момент, взлёт на пик революции! Буревестник!

А те не понимали, трусливые гагары: как это, в коалицию не входить, да ещё и никакого соглашения? Они хотели *соглашения* ! – и, Чхеидзе:

– Мы будем их подталкивать.

Кружительная сложность гиммеровского выступления состояла в том, что все эти тонкости о власти, высказываемые вслух, были только первым планом его замысла, а позади таился второй: несмотря на перевес болота и оборонцев в ИК – уже сейчас, по этому вопросу, и затем по каждому следующему искусственно и искусно создавать левое большинство – из небольшого циммервальдского ударного ядра и опираясь на левый фланг. Но эти левые – глупые, неумелые, они не понимали всей тонкости гиммеровского замысла: они хотели кричать о «мире» в открытую и пугать буржуазию насмерть. Они хотели хватать власть, прямо сейчас.

А с большевиками и вообще трудно кашу сварить, они слышат и видят только себя. В самый важный момент гиммеровского доклада Шляпников куда-то уметнулся, а потом вбежал и, требуя в порядке ведения, срочно, забубнил своим владимирским говором:

– Да пока вы тут занимаетесь академическими вопросами, на вокзале конфисковали нашу партийную литературу! Исполнительный Комитет должен принять экстренные меры!

Академическими вопросами! – глупец. У большевиков – комичная исключительность, что только их партийная литература достойна внимания, только их воззвания содержат правильные лозунги, только их предложения могут приниматься.

А за дверью – орали солдаты, ох, орали! И какая тут перегородка? вот сейчас ворвутся со штыками и руганью! Солдатский вопрос ревел – и требовал первоочередности. Однако, если ворвутся – что им говорить? Офицеры возвращаются? – так горчицей намазать им это возвращение!

Да если требовать полной свободы агитации и организации народным массам – то значит и в армии, для солдат? А как же? Да это было несомненное, замечательное и плодотворнейшее по последствиям продолжение мысли Гиммера – и тут они с Нахамкисом уже имели согласие. Распространить на армию полную демократию и свободу агитации – это создаст для буржуазии невыносимые условия, парализует её, а нам развяжет руки. Распространить на армию все завоевания гражданских прав, свободу союзов, стачек и собраний, ну, вне строя, свободу самоуправления – и армия будет вся на стороне Совета!

Но Нахамкис придумал и предложил и ещё специфический шаг – и Гиммер признал,

что конгениально с его собственными предложениями, а без этой конкретизации все наши завоевания пойдут насмарку: **вывод из Петрограда и неразоружение воинских частей, принимавших участие в перевороте!**

Верно! Верно! Таким требованием мы окончательно привяжем столичный гарнизон к себе и к революции – и решительно отнимем его у буржуазии!

Всё более видели Гиммер и Нахамкис, что им двоим и надо взять в свои руки отношения с буржуазией, что остальной Исполнительный Комитет только всё испортит. Оборонцы всё никак не могли решиться отвергнуть даже коалицию, уже сколько часов с утра над этим прели.

Наконец, уже в шестом часу вечера проголосовали и, 13 против 7, приняли решение: в министерство Милюкова представителей демократии не посылать.

И меньшинство – осталось недовольно. И Рафес бурчал, что решение ИК – только предварительное, ещё будем консультироваться со своими партиями – и ещё завтра перенесём вопрос на пленум Совета.

Ещё чего! – такой деликатный вопрос переносить в безголовую толпу, вон они как орали за дверью.

И даже до того договорились правые, что решение ИК не может считаться авторитетным, потому что Исполнительный Комитет сам себя выбрал.

Опасный довод! Опасный приём борьбы! Революционно-этически недопустимо так аргументировать!

И – это все почувствовали почти сразу: дверь из комнаты Совета вдруг распахнулась – и оттуда ввалился – нет, не весь Совет, не орда диких штыков, – оттуда вшагнул расстёгнутый распаренный Соколов, ещё возглавляя движение, а за ним – десяток самых простых солдат, весьма невыразительных физиономий. Что это?

И Соколов уверенно объявил, что это с ним – новое пополнение Исполнительному Комитету – десятеро депутатов от солдат!

Это было – самочинно! непредвиденно! невероятно! Как это так? – никого не спросясь, привести?

– Но это очень неожиданно, Николай Дмитрич! Это меняет всю ситуацию!

– Но так меняется вся партийная и социальная структура Исполнительного Комитета!

Но они – втопали, и вот стояли!

Впрочем, стульев для них всё равно не было.

Обстановка очень испортилась: как можно теперь что-нибудь серьёзное обсуждать? Во что превратится теперь Исполнительный Комитет?

Ах, Николай Дмитрич, что вы наделали!

Бесповоротно погубил партийное представительство.

Соколов, войдя сюда, и сам конечно почувствовал. И оправдывался теперь:

– Мы выбрали временно, только на три дня. И главным образом решить вопрос о солдатских правах. Мы выносим на Исполнительный Комитет пожелания пленума Совета... Офицерам оружия не выдавать. И какие офицеры вели себя нелояльно к революции – их к командованию не допускать. И обеспечить солдатам все демократические права...

И Нахамкис оценил обстановку и сразу это принял:

– Так прекрасно, Николай Дмитрич, прекрасно! Вот и берите вашу команду, подите займите какую-нибудь комнату – и вырабатывайте документ. А мы на Исполнительном Комитете – утвердим. Я к вам ещё приду.

Переглянулись – ну что ж, хорошо, согласны, пусть идут.

А солдатам – только это и надо, своя нужда.

И Соколов – ещё не измотан, готов. Пошли.

Ушли, все лишние. И остался ИК в прежнем составе заседающих.

Воз-му-тительно! От этого «пополнения» надо как-то избавиться.

Итак, коалиция с буржуазией отвергнута.

А – переговоры? От переговоров – болото и правые не смели отказаться. Надо

зафиксировать советские условия к буржуазному правительству. И – предъявить их.

Рафес: в первую очередь добиться отмены национальных ограничений!

Нахамкис решил всё более брать дело в свои твёрдые руки, и довести до конца, пролетариату бывает трудно организоваться. Он взял клочок бумаги и стал записывать, какие условия называли и принимали.

Тут неожиданно мало и спорили. О земле крестьянам? о 8-часовом рабочем дне? о войне и мире? и даже о демократической республике? – всё это можно перенести и на Учредительное Собрание, если на него цензовики согласятся. Чтобы Милюков меньше волновался, можно назвать его Национальным Собранием, или Законодательным, как это всё уже бывало у французов.

Но нужно отрезать им лазейку: не дать сговориться с царём! А значит: помешать им оставить монархию. Запретить им монархию!

Гиммер: но мы напугаем Милюкова – и он откажется от власти! И зачем так настаивать, если даже меньшевицкий ОК в сегодняшнем воззвании не назвал республики?

Ну, выразим это так: буржуазное правительство не должно предрешать форму будущего правления.

Приняли. Хорошо.

А личный состав правительства? Да в общем, пусть набирают, кого хотят. Пусть дружки там делят портфели, всё равно не надолго, в это мы не вмешиваемся. Ну конечно, если будут слишком одиозные лица – мы отведём.

А остальные требования, какие приходили на ум, – все были такие старые, от Девятьсот Пятого года, общие всему либеральному и демократическому движению, – не могли кадеты настолько потерять совесть, чтоб от них отказаться.

Вот только что там сейчас Соколов с солдатами готовит – это тоже придётся предъявить.

274

Днём по улицам Луги безвозбранно ходили толпы солдат, под предводительством неизвестно каких типов. У пожарного депо убили двух городских. Разграбили несколько лавок. Среди солдат стали попадаться и пьяные.

Но согласно избранной тактике кавалеристы не выходили из казарм на подавление.

Ротмистр Воронович оставался в казарме своей команды, нервничал, но Всяких не возвращался из «военного комитета», и послать больше было некого, деликатное дело.

Около 6 вечера ротмистру доложили, что граф Менгден обходит казармы и произносит речи. Значит, не усидел, решил вмешаться. Что этот сумасбродный старик мог нагородить, ничего не понимая ни в обстановке, ни в чувствах солдат? Воронович поспешил найти его, нагнал его свиту в команде Кавалергардского полка.

Старомодный седой генерал, уверенный в неотразимости своих слов и с неостывшей горячностью, произносил солдатам призывы о славных традициях полка и о верности присяге. Солдаты выслушали молча и не раздалось «рады стараться», и так же молчали при уходе генерала.

И Менгден хотел идти в следующую казарму. Но Воронович придумал просить его зайти в управление подписать срочные бумаги. Генерал согласился, и вся свита повернула.

Оказывается, за минувшие часы генерал уже был арестован на своей квартире артиллеристами и отведен этими мальчишками в их дивизион, но там его освободили и даже извинились. Может быть, этот арест и встряхнул Менгдена. Настроение его было снова бодрое, уверенное, как всегда. Входя в свой кабинет с Вороновичем, он укорил его, глядя краснотечными, чуть слезящимися глазами:

– Я очень сожалею, что днём вы меня отговорили – выйти и крепко поговорить с этими мерзавцами. Это была ошибка, что я поддался вам. Нельзя бездействовать. Вот завтра-послезавтра всякие волнения в Петрограде будут кончены – и мы только осраимся

перед фронтом за сегодняшний день.

На этот единственный миг усумнился и Воронович: может быть, и правда он предложил линию ложную, а старик прав?

Но тут вбежали и сказали, что перед управлением собралась толпа солдат, которая хочет арестовать всех офицеров.

Всех? Не разбирая? Ёкнуло сердце. Вот так попался, и зачем ушёл из своей казармы, сидел бы и дальше там.

Из соседней канцелярии уже слышался стук прикладов.

Высокий черноусый Воронович вышел из генеральского кабинета и увидел, что канцелярия переполнена солдатами разных частей, больше всё теми же щенками артиллеристами из дивизиона. Он силился сохранить спокойствие, хотя чувствовал, что пронимает дрожь – и негодования, да и опасения, чёрт возьми, это уже за пределами.

– Что вам нужно, ребята? – ласково спросил.

В несколько голосов ответили:

– Арестовать всех офицеров!

Но тут Воронович уже заметил и нескольких солдат своей команды, которые старались к нему протиснуться. Появилась надежда.

– Ну что ж, арестовывайте, если хотите. – Стал закуривать папиросу, руки заметно дрожали.

– Нет, этого не надо! – уже кричали свои. – Этого не трогать!

«Этого»! Ни ротмистра, ни его благородия...

– Кого же вы хотите арестовать? – уже с большей твёрдостью спросил Воронович.

Из толпы выдвинулся подвыпивший чубатый унтер, кавалерист Гусев, и мрачно уверенно объявил:

– Которые из немцев. Потому, много есть господ офицеров, которые немцы и шпионы.

Кто-то сунул ему записку, он стал читать.

И первым в списке был граф Менгден.

Воронович потерял всю офицерскую уверенность. И не оборвал и не отрубил, а осторожно промямлил о долголетней службе генерала, о старости. Но выдвинулся мальчишка-артиллерист и заявил, что «военный комитет» приказал арестовать генерала Менгдена за то, что он не признаёт нового революционного правительства и призывает к этому своих солдат.

Вот где он был, комитет!

А Гусев с несколькими уже отправились грозно в кабинет Менгдена.

Воронович подошёл к новобранцу, говорившему от имени комитета, и мягко спросил его, нельзя ли подвергнуть Менгдена лишь домашнему аресту, он никуда из своей квартиры не скроется.

Но из кабинета донеслось громко, и Гусев выскочил в ярости:

– Вы нам тут зубы заговаривали, а он удрал!

– Куда же? Там выхода нет.

Но новые крики:

– Вот он! Тащи его!

Оказалось, старик не выдержал, потушил электричество и стал за печку.

– А-а-а! – торжествовал Гусев. И снимал висевшее на вешалке тёплое генеральское пальто, и с наглой усмешкой подавал его: – Закутайтесь, ваше сиятельство, в шубку, а то в карцере холодновато будет!

Он настаивал вести всех арестованных в карцер, где только что он сам сидел за буйство и был освобождён толпой.

Генерал беспомощно расслабленно озирался, надеясь, что кто-нибудь вступится.

Но не вступались ни свои кавалеристы, бывшие здесь, ни писари канцелярии, ни единственный здесь офицер – ротмистр Воронович.

И тогда сам обращаясь к нему, граф сказал по-французски:

– Ротмистр, передайте моей жене, что я арестован.

– Не смей по-немецки! – набросились на него.

И повели.

Ротмистр стоял непроницаемый. Всё шаталось на лезвии, одно неверное движение – и его арестуют тоже. События замахнули гораздо дальше, чем можно было ожидать утром.

А Гусев вытащил ту записку и читал следующие фамилии: фон-Зейдлиц, барон Розенберг, граф Клейнмихель, полковник Эгерштром, Сабир.

Отряжали наряды – искать их, арестовывать, вести на гауптвахту.

Кавалеристы и писари погудели между собой и предложили, что они берут Зейдлица, Розенберга и Сабира на поруки.

Артиллеристы согласились.

Об остальных речи не было.

При первой же возможности Воронович осторожно выскользнул из канцелярии со своими солдатами.

И хорошо сделал: оказалось, что Гусев подговаривал артиллеристов брать Вороновича: этот ротмистр как старший адъютант подписал приказ о гауптвахте Гусеву.

В своей казарме Воронович почувствовал себя в полубезопасности, но всё равно оставалось тревожно.

Тут вскоре вернулся Всяких и сообщил, что «военный комитет» действительно непрерывно заседает в автомобильной роте, но чувствует себя растерянно без единого офицера. Все офицеры скрылись, боятся показываться. Впрочем, часть их уже арестована. Комитет поставил было караулы к казначейству, к винному складу, но караулы самовольно разошлись, и начался грабёж.

Ах, так вот это же и чувствовал Воронович! – как он нужен комитету, а комитет – ему!

Он сел и стал писать в комитет официальную записку, что если комитет желает, он немедленно выведет свою команду в город, займёт все караулы, а с дежурным взводом обоснуется на вокзале как центральном важнейшем пункте. И не полагаясь больше на Всяких, послал с запиской проворного ординарца.

Сам нервно расхаживал.

Тут прибежали перепуганные писари управления и рассказали. Графа Менгдена, Эгерштрома и Клейнмихеля завели в ту самую камеру, откуда накануне вышел Гусев. Гусары команды Клейнмихеля и другие подходили к дверям карцера и подсмеивались над арестованными. А больше всех – полупьяный Гусев. Граф Менгден молчал, а те двое отвечали. Эгерштром якобы сказал: «Подождите, мерзавцы, сегодня вы куражитесь, а завтра мы вас перепорем».

Он не понимал, насколько серьёзно дело!

Толпа вломилась в карцер и бросилась на арестованных. Генерал Менгден был убит первым прикладом по голове. Эгерштрома и Клейнмихеля взяли на штыки, а потом кинули на пол и добивали прикладами.

Кавалеристы в казарме слушали толпой, Менгдена жалели. Упрекали тех, кто был в управлении при аресте, отчего не взяли его на поруки. Поднялись голоса: разыскать сейчас убийцу старика и с ним расправиться! Но Воронович удержал их: это неуместно, от этого только увеличится кровопролитие и беспорядок.

После этого эксцесса тем более, тем более нужен был тесный контакт с комитетом, иначе через несколько часов начнётся общее избиение и всех остальных офицеров. Так легко бессмысленно погибнуть.

275

Меньше чем за час в Ставку донеслось две телеграммы от Мрозовского. Одна – что войска переходят на сторону революционеров и даже с орудиями, и по Москве большие толпы забастовщиков, и нет надёжных войск обезоружить бунтующих.

Вторая – прямо и кратко: в Москве – полная революция.

Так полнозвучно было названо всё не прорывавшееся, скрываемое слово: революция!

Вот – и уже?...

А Северо-Западный, получив успокоительную № 1833, теперь с изумлением и нервностью переспрашивал: откуда у наштаверха такие сведения? Главкосев генерал Рузский просит срочно его ориентировать ввиду ожидающегося через два часа проследования через Псков императорского поезда. По их сведениям, Петроград прервал все сообщения и нельзя подбросить на помощь идущим войскам крепостной артиллерии из Выборга. А в Кронштадте, как уже известно, убивают офицеров и адмиралов.

А Алексееву так неможилось, что он и среди дня прилёт. И лёжа, поручил Лукомскому передать во Псков для подъезжающего Государя – московские новости, кронштадтские новости, гельсингфорские, и что адмирал Непенин не скрывает от флота телеграмм Родзянки и признал думский Комитет. И – снова передать для Государя всё утреннее красноречивое уговорительное письмо, отправленное в Царское.

Ах, и отчего уж так упрям Государь?... Через год ли, через два, после конца войны, но самодержавию всё равно придётся пойти на самоограничение, не избежать дать ответственное министерство. Так отчего не уступить сейчас, зачем вызывать лишнее озлобление и смуту?...

А сам Алексеев – ничего не мог изменить. Вот даже не мог отменить уже бессмысленного движения крепостной артиллерии из Выборга, – но посылал Клембовский распоряжение направлять её к Петрограду походным порядком, ещё усилив пехотной частью.

Чередовались на передаче Лукомский и Клембовский.

– Но что, Михаил Васильич, ответить им о телеграмме № 1833?

С той телеграммой конфуз, что и ответить? Стыдно признаться, что просто поверил, поддался Родзянке. Хотя впрочем были же подтверждения и из морского штаба. И от иностранных агентов. Видимо, слишком переменчивая обстановка.

– Скажите, что сведения, заключённые в той телеграмме, получены из различных источников и считаются достоверными.

Измоздила Алексеева и болезнь, и неподвижность, и невозможность отсюда достать во Псков, самому убедить Государя. А этим убеждением решилось бы всё.

– Передайте, чтобы всё было доложено Государю немедленно по прибытии. А если литерные поезда будут задерживаться с прибытием во Псков, то пусть пошлют навстречу офицера генерального штаба со всеми депешами. Экстренным поездом. А если будет неисправность пути – то послать железнодорожную команду для исправления.

Пот бессилия выступал на лбу Алексеева. Вся судьба России стянулась к этому отрезку от императорского поезда до Пскова. Как их соединить, прояснить и помочь?

Оттуда донесли, что генерал Рузский и Данилов уже выехали на вокзал встречать императорский поезд.

Так просить штаб тотчас вдогонку им везти все телеграммы на вокзал!

Прежде чем Государь повернёт на Петроград – он должен быть обо всём осведомлен!

Тут пришёл к Алексееву великий князь Сергей Михайлович, инспектор артиллерии, тоже едва оправившийся от болезни, сухой, пригорбленный, жёлто-чёрный. И Алексеев – встал к нему. И показал ему все телеграммы.

Сергей Михайлович был хороший знаток артиллерии. Среди ставочных офицеров держался просто. На тыловые дела давно смотрел пессимистически. А сейчас был и схвачен тревогой за свою Малечку Кшесинскую, и дом в Петрограде, по слухам разграбленный.

Сейчас он выразил полное согласие с уговорными доводами Алексеева об общественном министерстве. И дал разрешение передать своё согласие Государю.

Алексеев очень был рад поддержке и тем более укрепился в своей правоте. И тут же велел бритолицему Клембовскому телеграфировать во Псков, что великий князь Сергей Михайлович безусловно присоединяется к необходимости мер, указанных в телеграмме

наштаверха, и в качестве необходимого *лица* считает наиболее подходящим самого Родзянку.

Не так Родзянку был хорош, как не приходила другая кандидатура.

И ещё:

– Выразите мою надежду, что главнокомандующий Рuzский придерживается тех же взглядов. И поэтому защита их перед Государем не представит затруднений, а будет успешна.

Все разумные люди всегда соединяются доводами умеренности.

Тут поднесли ещё телеграмму из Главного морского штаба, что порядок в Петрограде налаживается, хотя с большим трудом. Однако появилась опасность раскола в самом Комитете Государственной Думы – и левые блокируются с Советом рабочих депутатов.

Тем более! Тем более надо было всеми силами поддержать здоровое ядро Думского Комитета.

И Москва своим восстанием перешла на сторону Думского Комитета. И Балтийский флот – на сторону Думского Комитета. И подошла крайняя пора Государю идти навстречу своему населению, издать успокоительный *акт*.

С Кавказского фронта пришло Алексееву лаконичное подбодрение великого князя Николая Николаевича: «ознакомился с телеграммой 1833, вполне и всецело присоединяюсь твоему мнению». (Они были на «ты»).

Кружным исхитренным путём достигла Ставки и телеграмма Брусилова – графу Фредериксу, то есть для прямой подачи Государю. По долгу чести и любви к царю и отечеству подвижный Брусилов горячо просил Государя признать *совершившийся факт* и мирно и быстро закончить страшное положение дела. Междоусобная брань угрожала бы безусловной катастрофой и для отечества и для царского дома. И каждая минута промедления в кризисе влечёт напрасные жертвы.

Ещё и эта новая телеграмма укрепила Алексеева в его миротворческих усилиях. Он снова лежал на диване с температурой и взвешивал: что же складывалось? Миротворческое направление вот уже открыто поддерживали трое главнокомандующих фронтами и один командующий флотом, четверо из семи, большинство.

А попытку противиться сделал пока только Эверт. Важен, конечно, не Эверт, но за ним стоит Западный фронт, он здесь рядом, тысячи офицеров и все по местам. А сам Эверт – только по внешнему виду страшен. На самом деле – он не шагнёт без приказа, он трус.

Между тем Западный фронт не забыл и не дремал, но в семь часов вечера Квецинский опять вызывал к аппарату: хотел бы узнать ответ на вопросы главкозапа. Оповестительная телеграмма Ставки о положении в Москве, в Кронштадте, о позиции адмирала Непенина и шагах генерала Алексеева нами принята. Но фронт наполняется телеграммами и слухами со всех сторон, и нельзя различить, где правда, где сплетня. Главкозап опасается, чтобы беспорядки не перебросились на фронт, и полагал бы необходимым получить возможно скорее определённое решение. И – где Государь? и – где Иванов? и – где ушедшие эшелоны?

Снова эти висящие, не остановленные эшелоны. События не ждали, правда.

К аппарату пошёл размеренный круглолицый Лукомский. Вообще он раздражал Алексеева, и работать с ним долго не будет возможно. Но, не подходящий в военном деле, министерский снабженец, не знавший фронта, он очень укрепил Алексеева в эти кризисные дни тем, что весьма сочувствовал обществу, Земгору, реформам, и искренно поддерживал последние шаги наштаверха.

Как-то он там отговорился от Западного фронта, пришёл грузной перевалкой к лежащему Алексееву и доложил:

– Михаил Васильич. Невозможно не сообщить им вашей дневной телеграммы Родзянке. И вообще они настаивают на *определённом решении*.

Выговорную телеграмму Родзянке? Об опрометчивости его телеграмм, перерыве связи с Царским Селом, задержке царских поездов? Вынести на обсуждение – значит омрачить отношения с Родзянкой, – но он сам на то нарывается. Хорошо, сообщите всем

главнокомандующим.

В такой момент единство с ними должно быть упрочено, и без скрытностей, да.

А *определённое решение* ? Хотел бы Михаил Васильич сам его от кого-нибудь получить!

276

Едва в гущу Таврического ввели генерала Сухомлинова – три матроса, два солдата и интеллигент в очках с браунингом, – как весть прокинулась по залам. Возбуждённые солдаты потянулись: куда? куда его повели?? Угрожая и расправиться.

Кого ещё все эти дни водили арестованными – солдаты не знали. Видели мундиры жандармские, генеральские, видели бобровые шапки, дорогие шубы, чужую кость. Видели, как с револьверами в руках вели какого-то архиерея, это уже и грех, он и идти не мог, ему подставили стул, он подкосился на него, а дальше его несли на стуле, а он благословлял попутно. Но Сухомлинова – это единственное имя знали даже тёмные солдаты, о нём уже год писали все газеты и разъясняли читчики газет: что это и есть тот главный генерал-изменник, из-за которого гибло столько нашего брата на фронте, не было снарядов, из-за которого не кончалась война! Наконец-то поймали настоящего виновного и врага! (А кто и слышал, что его уже сажали в крепость – но потом освободили по руке других таких изменников).

Успели его провести в крыло здания, в какую-то неизвестную комнату, – но солдаты настигли, крик рос, столпились жаркой стеной и требовали подать его сюда, и знали, что никак иначе не провести его в арестные комнаты, как через них и потом через большой зал. Кричали:

– Выдать Сухомлина!

К ним вышло два думца и успокаивали, что во всём разберётся суд, что не должно быть расправы.

– А сюда его! Изменник!

Нехотя поддавалась толпа уговорам. Своими руками расправиться – эх хорошо бы, верно, быстро, без сумления. А то ведь – спрячут, потом уведут, опять ослобонят, избегнет. Кому и разверстаться, как не солдатам, кто ж гиб, как не солдаты, не вы ж тут гибли!

Ладно, кто догадливый выкинул:

– А сорвать с него погоны и нести нам сюда!

Погоны-то, золотопереплетенные, и были ненавистны боле всего.

– Не! при нас сорвите!

– Всем унотрь нельзя? Хорошо, вот при наших посланцах.

(Посланец называется *делегат*, учили их тут в другом крыле другие господа).

Пошли двое от солдат. Пошли в ту комнату, где сидел у стены этот лысый, вислоусый генерал, погорбился, мешок опущенный.

Какой-то господин подошёл к нему с ножницами. Но генерал пожелал срезать сам. Проворно снял шинель на колени. Достал перочинный ножичек. И ловко срезал, не портя погон.

Но тем самым открылся мундир.

– Давай и с мундира! – командовали солдаты.

С мундира срезать ему помогли.

А орден на груди он не принёс, лишь георгиевский крест.

Кто-то из здешних господ сказал, что надо снять и крест.

Но конвоир-матрос вступился:

– Ничаво. Георгий пушай останется. Снимут по суду.

Солдатские посланцы понесли генеральские погоны и высоко подняли. В толпишке загрохотало «ура».

– Сюда покажи! Сюда покажи!

Всё ж таки бывает правда на земле!

Кто стал расходиться. А иные всё стояли, ожидая, когда поведут.

И думские в комнате не знали, как его безопасно перевести в министерский павильон.

А генерал подрагивал.

Тут появился, ворвался, как крылатый, вездесущий Керенский. Он и решил: везти генерала немедленно в Петропавловскую крепость, откуда он незаконно освобождён царём! И он же взялся его вывести. Пошёл впереди театральным шагом, сзади ещё двое-трое и матросы-конвойцы. Выйдя к растаявшей уже кучке, Керенский, сам тонкий, прокричал повышенно тонко-звонко:

– Солдаты! Бывший военный министр Сухомлинов находится под арестом. Он состоит под охраной Временного Комитета Государственной Думы. И если вы в законной ненависти к нему позволите себе употребить насилие, то этим вы только поможете ему избежать кары, которой он подлежит по суду! И опозорите революцию пролитием крови в стенах Государственной Думы. А со стороны нас вы встретите самое энергичное противодействие, хотя бы оно стоило нам жизни!

И голос его дрогнул от переживаемой красоты.

Хотя по-учёному он это выразил, но поняли солдаты: ладно, не трожьте, будут судить.

И никто рук не простягал. Только орали:

– Изменник! Предатель!

Бледный Сухомлинов набрался ответить:

– Неправда.

– Правда, правда! – кричали со всех сторон.

И повели генерала, и в новом месте посадили неподалеку от крыльца, пока автомобиль разыскивали. И мимо него ходили солдаты и штатские, вооружённые и с красными повязками, «товарищ, как пройти к такому-то?», «товарищ, где информационная комната?».

Странно звучали эти повсюду «товарищи».

Сухомлинову арест был не внове, как другим сановникам: только последние 4 месяца он был под домашним арестом, а перед тем полгода просидел в Трубецком бастионе, в Алексеевском рavelине, единственный там узник, лежал и на соломенном мешке с продавливающими железными болтами койки, походил по цементному полу от ватерклозета до окна, у него уже отнимали ремень, подтяжки и даже полотенце на ночь, чтоб не удавился. Не сегодняшний арест под дулом браунинга какого-то интеллигента, но тот первый арест был для него воистину как гром над ясной счастливой жизнью, и вот уже год имел он время размышлять и удивляться и обижаться: почему все вины валились именно на одну его постаревшую голову? Вместе со столькими радовались жизни, продвигались по увлекательной лестнице государственных чинов, это длилось как нескончаемая прелестная игра, – и откуда же вдруг на старость лет так тяжело спросили с него одного?

Сухомлинов долго продвигался, не достигая сияющих ступеней. Лишь на пятом десятке лет он стал генералом, и тут начались самые яркие счастливые его годы: генерал-губернаторство в Киеве с революционного октября 1905 года и, уже двукратный вдовец, в 60 лет он страстно влюбился в 23-летнюю замужнюю женщину и поставил жадной задачей – отнять её себе! В его высоком положении и при памяти, что и вторая покойная жена его была разведёнка, и при отчаянном сопротивлении нынешнего мужа – трёхлетняя борьба этого нового развода была сотрясательной, но чудесный приз стоил того, и Сухомлинов не унывал, боролся, и с благодарностью принимал помощь ото всякого, кто её предлагал, – от австрийского консула в Киеве, от генерала Курлова, от жандармского офицера Мясоедова или начальника Охранного отделения Кулябки. Три года длился скандальный процесс, и заветный развод был вырван подачей на высочайшее имя, когда Сухомлинов стал уже военным министром. Одержанная мужеская победа стоила потерь – неприятностей при Дворе, властных

капризов жены, поездок на заграничные курорты, поиска денег, – всё это не омрачало изумительной победы.

В Киеве он научился совмещать несовместимое: быть популярным в обществе, нравиться образованной публике, театральному миру, иерархам церкви, помягать евреям, и получать всё более высокие посты от Государя. Он умело избежал поехать на японскую войну, предпочтя надёжное тыловое выдвижение. Генерал-губернатором он умел не рассердить ни революционеров, ни либералов. Только правые сильно не любили его и в одной публичной речи выразились о своём генерал-губернаторе так: «Крылья ветряных мельниц или, как их называют в здешнем крае, *сухих млынов*, осыпанные золотистой пылью, вращаются по направлению дующего ветра».

Когда-то юному наследнику престола Сухомлинов преподавал тактику. В зрелые годы он сумел возобновить с Государем правильный тон: постоянную жизнерадостность, – она так нравилась! Он всегда убеждал Государя в наилучшем течении военных дел и постоянно занимал его внимание бытовыми частностями военного дела, так всегда интересными ему как большому любителю. И в Четырнадцатом году Государь хотел назначить военного министра Верховным Главнокомандующим, но Сухомлинов отклонил эту честь, и Государь понял мотивы. Так же Сухомлинов вовремя отшатнулся от защиты судимого этого негодяя Мясоедова, и когда началась общественная клевета против военного министра, Государь понимал и всегда обещал защитить его от завистников. И даже увольняя, Государь написал ему самое трогательное письмо, как 7 лет они проработали тесно, без недоразумений.

Он и был таким на самом деле – жизнерадостным, жизнелюбивым, с лёгкой подвижной мыслью, быстрой ориентировкой, приветливый, обходительный, приятный собеседник, рассказчик анекдотов, доверчивый даже до юношеской беспечности, широкая натура, ему нравилось, что пишут и публикуют его биографию (он помогал материалами из архивов), и глубоко огорчали его разные тучки, какие появлялись на горизонте военного дела. (Оттого бывал и опрометчив: грозило столкновение с Австрией, а он размещал там военные заказы и туда же вёз на курорт жену). Он так всегда хотел хорошего, что ему неприятно было произносить что-либо мрачное. И так он напечатал в «Биржевых ведомостях» перед самой войной, что Россия – вполне готова к ней, что она совершенно забудет понятие «оборона», а её артиллерии никогда не придётся жаловаться на недостаток снарядов. (И это так было приятно Государю!)

Ветряная мельница в золотистой пыли, он всё молот, молот, не беря на зубы твёрдого, и так не рискуя их сломать. И если иногда его охватывало страховатое чувство, что его всю жизнь принимают как будто не за того, кто он есть, и как бы не разоблачили, – он ещё оживлённей и цветистее молот. За этими весёлыми взмахами он к июлю Четырнадцатого упустил подготовить запасной вариант частичной мобилизации. Но и ещё год потом, до своего снятия, всё докручивал по ветру: генерала Жоффра заверяя, что Россия насыщена военным снабжением; Николаю Николаевичу сокращая его непомерные заявки.

Да не один же Сухомлинов – и во всех странах так же ошиблись, сколько продлится война и сколько нужно снарядов. И не так всё страшно сказалось, как кричали газеты: много знающих людей работало в военном снабжении, и всё время делалось нужное, как-то само собой (и Сухомлинову тоже некогда было вздохнуть от работы). И перерыв в снарядах был только полгода, а уже к осени Пятнадцатого без всяких союзников, и до всяких военно-промышленных комитетов, и без Поливанова, ходом прежнего министерства стало на фронте доставать трёхдюймовых снарядов, доставлен был миллион.

Но – кто-то должен был пострадать за летнее отступление Пятнадцатого года, и все ненавистники накинулись клеветать Сухомлинова. (А почему – не великих князей? а почему не Коковцова, всегда урезавшего деньги на вооружение?)

**И Государь – не защитил своего верного слугу.
А вот – начиналось и вообще какое-то бешенство.**

Он не был изменником. Но он был на самом высоком холме – ветряною мельницей, тоже замахнувшей нас в войну и прокрутившей впустую лучшую русскую силушку.

277

* * *

Собрание печатников на Калашниковской бирже решило: буржуазных газет пока не печатать. По постановлению Совета рабочих депутатов разрешён выход в свет только тех газет, которые не будут противодействовать революционному движению.

* * *

Из Таврического выносят свежий номер «Известий СРД», несут к автомобилю, развозить и разбрасывать по городу. Публика накидывается, умоляя поделиться. Несущие начинают разбрасывать. В свалке один солдат кричит:

– Да стойте же! Да тише же! У меня бонба в руках!
Еле выбирается из гущины. И правда, бомба. Морская мина.
– Ведь эка лезут, непонятливые!

* * *

Обстреливали с улицы высокий дом, ранили домовладельца: пуля вошла через подбородок, пробуровила лицо, вышла над глазами. «Ты стрелял?» – «Нет!» – Солдат хочет его пристрелить, а штатский в чёрном пальто: «Зачем на такую скотину пулю тратить?» – Схватил полено от печи и пришиб его. Стащили убитого вниз, показать народу, бросили под ворота. И штатский рассказывает толпе, как убил, дико вращая глазами.

Прибежала жена, плачет: «Невинной погиб!»

* * *

Дряхлый сенатор А. М. К., с разбитыми ногами, сидел дома за столом, семейных никого не было. Мимо прислуги вломилась толпа солдат и рабочих, подошли к старику с вопросами и требованиями. Старик ничего подобного на земле не представлял, да ещё в его квартире! Что за тон?

– Прошу вас, господа, сначала снять шапки! – первый раз любезно, а потом заволновался, раскричался, застучал костылём по полу.

Те рукой махнули и ушли. А сенатор к вечеру умер от кровоизлияния в мозг.

* * *

Великий князь Игорь Константинович позвонил из Мраморного дворца на Фонтанку княгине Лидии Васильчиковой. Но едва она трубку взяла – к ней в дом ворвалась очередная

солдатская банда «проверять, откуда пулемёты стреляют», – и матрос выхватил у княгини трубку, сам спросил в телефон:

– Откуда вы звоните?

Ответил бы «из Мраморного дворца» – и княгине бы не сдобровать. Но Игорь Константинович, услышав грубый чужой голос, сообразил:

– Я хотел узнать, все ли у вас здоровы?

Матрос оскалился:

– Спасибо, **мы** – здоровы! А вот как **вы** поживаете?

* * *

Все аптеки на Невском закрыты. А над каждой аптекой висит, как положено, двуглавый орёл.

И вот какой-то рабочий догадался или надоумили. Сыскал лесенку, приставил и бил орла молотком. На тротуар сыпались осколки.

Мимо шли два иностранца, с очень довольным видом, разговаривали по-английски. Оглянулись, засмеялись, пошли дальше.

* * *

Нигде у ворот уже не стоят дворники, не охраняют порядка. Каждый волен делать, что хочет.

Лазаретные солдаты тоже сбегают в город, ночевать не возвращаются или поздно. Сестры их просят: хоть по телефону сообщать о себе.

На Суворовской улице жгли соломенное чучело, одетое в мундир полицейского. И бороться-то не стало с кем живым!

* * *

В красных лучах заката вдоль Дворцовой набережной мимо Летнего сада медленно движется грузовик. На нём – матрасы, узлы, вещи, вывезенные из квартиры жандарма, то ли арестованного, то ли убитого. Его самого мундир высоко торчит, надетый на подметальную щётку, и пустые рукава болтаются на ходу. Впереди вещей наверху в кузове – двое солдат без поясов, шапки кое-как. А между ними – пьяная девушка в яркой жёлтой косынке скатертного материала, с красной перевязью наискось по пальто и с обнажённой саблей в руках. Охрипшим диким голосом она поёт, уже видно не первый раз:

Вы жертвою пали в борьбе роковой, -

и размахивает саблей в такт.

Как раз проехали мимо того места, где Каракозов стрелял в Александра Второго.

* * *

Вечером солдаты 1-го пулемётного полка, ставшего в Народном доме, сообразили, что это с умыслом их завели в такой странный, на дома не похожий дом, стоящий настолько отдельно, что его можно легко и взорвать. Их завели, чтобы тут уничтожить. В большом зале для сиденья в одну сторону они долго обсуждали, не уйти ли им. И пустили разведку осмотреть подвалы. Так и есть! – там стояли какие-то машины, и от них куски пола проваливались, а от одной начинался гром без молнии. Большой был перепуг, и бежали,

душились все наружу, хорошо много дверей.

Всё ж остались. Но на 10 их тысяч с лишком не хватало отхожих очёк. Враз забила, завалила братва все дырки. Стали штыками дырки прочищать – трубы пробили, потекли звать нечистоты – и потолки стали мокнуть.

* * *

Вечером на петроградских улицах – полная темнота, фонари многие перебиты, дома наглухо закрыты, окна зашторены, магазины заколочены. Всюду жуткая пустота, есть кварталы – ни встречного, только где промелькнёт испуганная фигура.

Сильный свет и движение – лишь от фонарей автомобиля, когда едет. А некоторые автомобили задрапировали по одному фонарю красной материей – и так ездят, однокрасноглазые, с розовым пучком вперёд.

* * *

(Шлиссельбург) – Сегодня рабочие Пороховых заводов пошли большим шествием вверх по Неве – с красными флагами, утапывая по льду снег. В верхних открытых окнах Шлиссельбургского замка уже стояли арестанты, ожидающие освобождения после вчерашнего, махали, кричали. Охрана не пыталась сопротивляться и беспрекословно отдавала рабочим свои винтовки и подсумки. В тюремных коридорах появились молотки, зубила – и каторжане сами сбивали кандалы, разбрасывая их по полу мёртвыми змеями. А кто-то брал с собой на память. В цейхаузе меняли бельё, рубахи, но серые халаты и туфли оставались те же. По двору, нагрузя сани «делами» в синих обложках, потащили их к жерлу котельной – и сбрасывали туда, а потом в топки. С других саней, где уложено было отнятое у охраны оружие, произносили горячие речи товарищи Жук и Лихтенштадт. И тронулись через ворота, по Неве – на тот берег, своих больных ведя под руку.

В городе Шлиссельбурге перемешались с горожанами, снова речи. Люди несли арестантам тёплую обувь, шапки, перчатки. Потом потянулись долгим шествием к Пороховым заводам. Вечером рабочие разбирали арестантов по своим квартирам, угощали, клали на лучшие кровати.

Всего в этом тюремном бастионе нашлось 67 человек, политических и уголовных. Среди них – разжалованный за причастность к убийству бывший член Думы Пьяных, эсер.

* * *

(Москва) – Как днём пришёл 2-й дивизион из Ходыньских казарм и стал у Александровского сада – так и стояли до 7 часов вечера, всё холодая и голодая: зачем они тут? То говорили – сейчас вернутся в бригаду, то приказывали ждать особого назначения. Затем велели им сменить на Красной площади 1-й дивизион: одно орудие направить на Никольские ворота Кремля, одно по Никольской улице, одно мимо Минина, одно по Ильинке, и другим тоже назначили. Тогда сами нашли дворы, куда поставить лошадей и где добыть им корму. У прапорщика Юры Зяблова было тяжело на душе. Пошёл в думу получить пехотное прикрытие для пушек – и поразился тамошнему хаосу и сутолоке. От него требовали пропусков, он кричал, прорывался к коменданту, – фамилия того была Грузинов, и что-то грузинское в лице. Доказывал Зяблов, что не могут пушки стоять без прикрытия среди снующей толпы, их можно взять голыми руками, подкрасться вплотную. Наконец добыл бумажку от Грузинова получить два взвода из 251 запасного полка, – а где полк? никто не знает. С трудом нашли на площади 70 нижних чинов того полка и одного

прапорщика, у всех винтовки были без патронов, а у сорока – и без затворов. Но для толпы всё-таки ружья, взял прикрытием. Сказали – можно водить солдат кормить в Большой театр. Зяблов повёл команду. Там паркет фойе и буфета – в грязи от солдатских сапог, а есть нечего. Повёл своих в Малый театр – и там ничего не нашли. Но на улице увидел у студентов хлеб в руках – и отобрал для солдат.

Жутко: удержат ли вожаки такое положение? Кажется – налети сейчас две казачьих сотни или ударь по площади пушечный снаряд, – и всё побежит.

К вечеру Кремль сдался, и солдаты валили в Никольские ворота.

Ночью из Бутырской тюрьмы освободились две тысячи уголовников – и пошли гулять по городу.

* * *

(Кронштадт) – Полуэкипаж составлялся из худшего и даже уголовного матросского элемента, списанного с судов и не посылаемого в бои. Они этой ночью и кинулись первые: врывались с мола на пришвартованные суда и вязали офицеров. Гавань была ярко освещена электричеством – и видно было, как они выбрасывают за борт убитых офицеров, и лёд окрашивается кровью.

Мичман Успенский, уцелевший осенью при взрыве броненосца «Императрица Мария», был в феврале командирован на обучение в минные классы в Кронштадт. В эту ночь он нёс вахту на минном заградителе «Терек». С берега ворвалась банда вооружённых матросов с ленточками Полуэкипажа. Успенскому скрутили руки и уже приставляли к голове револьвер, как вахтенный унтер остановил их: что этот – с Чёрного моря и учится в минных классах. Бросили его, связанного. Сами снимали с офицеров часы, кольца, брали кошельки, грабили их каюты. И волна обыскивателей повторялась 5 раз.

Неубитых офицеров вывели на мол, срывали погоны (с кусками рукава), кокарды, повели на Якорную площадь, показывать трупы убитых офицеров и растерзанного адмирала, потом снова вывели на лёд: «Не хотим пачкать собачьей кровью кронштадтскую землю, будем расстреливать на льду». Щёлкали затворами, целились – но потом повели в Морскую тюрьму, пустили в камеры без нар, спать на полу.

278

Да кого не перемелет эта изматывающая тупая мельница, эта перелопатка, колотушки по бокам! Как в этом месиве сохранить возвышенное состояние души? И все вокруг стали как пристукнутые, потерянные, – но монархисту, но патриоту, но консерватору Шульгину подступило уже вовсе нестерпимо и непонятно. Творилось что-то совсем **не то**, даже по сравнению с его вчерашней дерзкой, но успешной поездкой в Петропавловскую крепость. Какие ещё вчера утром трепетали, обещали красивые лепестки – все безжалостно срывались и затаптывались. Шульгин и все они – попали куда-то **не туда**, и в головокружении, в потере воли не могли найти себе ни места, ни применения.

И – некому было кинуться на грудь, ужасаясь. Вокруг не стало никого, с кем поделиться.

Это был затянувшийся на день и на ночь, на день и на ночь, на день и на ночь кошмар: минутные вспышки просветления, когда вдруг остро и безнадежно осознаешь происшедшее, а потом – тягучий серый бред, как это вязкое людское повидло, набившее весь дворец, связавшее все движения и наяву и во сне. Как нельзя было физически протолкаться по дворцу, так нельзя было и действовать, и невозможно придумать, что делать. Полутьма ночей, где фигуры истомлённых новых властителей России дремали в скорченных позах на кушетках, стульях и столах, сменялась круговращением серых дней, трещанием телефонов с жалобами, призывами, умолениями, вереницами приводимых арестованных, выставляемых

на какие-то проверки или заводимых в кабинеты для перепрятки, а потом выпуска; целой очередью приниженных переодетых городских, закрученной на внутренний думский двор; бледными потерянными вопрошающими армейскими офицерами; и поручениями от думского Комитета, и поездками в полки, и речами, речами, речами тут же, в Екатерининском зале, обращённом в манеж серо-рыжего месива, торчащего штыками, и в бывшем Белом зале заседаний, где зияла теперь пустая рама императорского портрета; и «ура, ура» непрекращаемых митингов, перемежаемых порченными марсельезами, иногда команды «на караул» в честь Родзянки, но войскам уже не выдать себя за войска, а – вооружённые банды, которым Чхеидзе поёт о сияющем величии подвига революционного солдата, тёмных силах реакции, почему-то *старом режиме*, распутинской клике, опричниках, жандармах, власти народа, земле трудящимся и свободе, свободе, свободе. И валят во дворец ещё какие-то гражданские депутации, только ленивый не произносит перед ними речей. Между испачканными колоннами Екатерининского зала расставлены столики, и барышни, по виду фармацевтки, акушерки, раздают листки и брошюры, до этих дней нелегальные. На красной бязи по стенам протянуты партийные лозунги. Много ремонта понадобится – вернуть всё в прежний пристойный думский вид. На комнатных дверях – бумажки с надписями о каких-то «бюро», «бюро», «ЦК партии эсеров», «Военная организация РСДРП», – оседают, завоёвывают Таврический дворец. И всё мыслимое пространство его, где только можно было бы протиснуться, всё гуще заполняется враждебнейшей людской мешаниной.

А особенно больно зацепил ухо Шульгина этот «старый режим», «смена режима». Хорошо, если бы под сменой режима они понимали бы расставание со Штюрмером, Протопоповым, с безответственными министрами, с бездарными назначениями. Но ведь они включают в эти слова – расставание с самой монархией?! А – кто это определил? Кем это постановлено?

И когда же, как это повернулось? Шульгин и его единомышленники всю жизнь боролись против революции. И пошли в Прогрессивный блок, надеясь кадетов превратить в патриотов, – и где же сами очутились? Сами, сами же содейли разрушительной работе злополучного Блока. Под защитным прикрытием государственной власти красноречиво угрожали – ей же. А вот теперь, когда её наконец расшатали, не стало, – теперь все они оказались перед лицом зверя из бездны.

Шульгин оставался из немногих думцев, кто ни единой речи не произнёс перед этим приходящим стадом. Не потянулся за такую честь. Да и горло его было слабо перед этими торчащими штыками, немел независимый язык. Все лица толпы стали сливаться для него в одно гнусно-животно-тупое выражение, и хотелось не видеть его, куда-нибудь отвернуться, где его нет, и он стискивал зубы в тоскующем отвращении.

Как это бывает, совсем забудешь в себе какое-то, уже тебе известное, но не укоренённое впечатление, – и вдруг оно проступит вновь. Так теперь поднялось в Шульгине старое его ощущение ненависти к революции, это дрожное нутряное чувство киевского Девятысот Пятого года. За многими годами воротившейся мирной жизни, за шумными думскими прениями, разоблачениями правительства – он как-то совсем его забыл. А теперь час от часу оно вставало в душе, дорастая уже и до бешенства: пулемётов бы! Несколько пулемётов сюда! – только их язык поймут эти!

Как им скажется! Свобода! Свобода до одури и рвоты! Ах, прозревать начинал Шульгин, чему эта солдатня так рада: они надеются теперь не пойти на фронт! Для того они и насилуют, унижают, оскорбляют, убивают офицеров – чтобы тогда не идти на фронт!

Да где же тянулись эти пресловутые войска Иванова? – что ж они никак не идут? не войдут?

Ах, если б у Думы был хоть один решительный генерал, хоть один верный батальон, чтоб вымести отсюда эту банду! Десять лет проговорила, прокричала, проугрожала Дума, никогда не предполагав, что ей понадобится иметь и силу.

Да если б и был у неё батальон – кто тут посмел бы им воспользоваться, кто тут посмел

бы отдать ему приказ вымести это стадо? Жалкие людишки, богатыри – не вы!

Не то что батальона, а трёх решительных вышибал не было у думского Комитета, чтобы хоть прочистить коридор в своём последнем думском крыле! Ведь не протолкнуться же через эти рожи!

Впрочем, разве павшее правительство лучше? Куда же оно-то дело свои войска, свою полицию? Разбросали городских по улицам по одному, по два, на побой и на убой. А надо было собрать всю полицию в один большой кулак и выждать. Когда все части перебунтовались и потеряли дисциплину – вот тут бы и двинуть. Но кто это мог сообразить? Протопопов? Он первый сбежал.

А где та гвардия, та легендарная гвардия, которая одна остаётся верна императору в худший и гиблый час, когда всё вокруг бунтует и пылает? Одно из двух: или гвардия нужна или пусть её вовсе не будет. Если нужна, то нельзя посылать её перемалывать на войну, и солдаты её должны отбираться не по росту, не по форме носа, и не по месту жительства, близкого к запасному батальону, а по верности и закваске.

Но – нет такой гвардии. Но – бессмысленно состряпана гвардия. И перемолота.

И теперь – остаётся Бога молить, чтоб это всё сотрясение родило лишь конституционную парламентскую монархию, но *не дальше*.

Ибо это всё уже заворачивалось – *дальше* .

Строил Шульгин: перед этим грозвым завихрением – что должен делать царь? Что делал бы на его месте Шульгин?

Самое правильное – разогнать всю эту сволочь залпами.

Или? Или уж тогда...

Не проговорить самому себе. Сползало в пропасть.

У Государя не осталось сторонников, не осталось верноподданных – последних съел Распутин. Мёртвый он ещё хуже живого: был бы жив – вот сейчас бы его убили, и отдушина.

Монархия – под угрозой!

Как же в этом безумном повидле монархисту – спасти монархию?

Шульгин хотел найти какой-то высокий, красивый, стремительный – и аристократический образ действий. Но – ничего не мог придумать. Он утерял свою обычную живость и слонялся в дурманном бессилии.

Революция ждала от нескольких затёртых толпою думцев, чтоб они осуществили власть. Какую там власть!... Думский Комитет оказался не только не власть, но не имел сил удержать за собой даже просторный кабинет Родзянки. Родзянко хотел за помещения спорить, но Милюков и иже сразу подались: Дума не должна вступать в конфликт с Советом рабочих депутатов! И вот Комитет перешёл в две крохотные комнатки в конце коридора, против библиотеки, где помещались канцелярии, прежде неизвестные самим думцам.

И тут, в той тесноте, и то лишь в промежутках, когда никто не рвался в дверь и никого не рвали наружу, Милюков и компания обсуждали состав нового правительства – то шепчась по углам комнат, по краям стола, то громко в несколько голосов. Нашли время и место! Сколько раз предлагал им Шульгин заранее твёрдо определить и даже опубликовать список «облечённых доверием всего народа» – и всегда отвечали ему, что неудобно и рано.

А теперь – как бы не слишком поздно.

Милюков был – кандидатура самая несомненная, он уверенно и руководил переговорами, в его руках был и главный список. Твёрдо заходил и Гучков. Хотя и не член 4-й Думы, но всегда такая громкая и воинственная была его позиция, что претендовал на министерство с основанием. С другой стороны, робея перед социалистами, два портфеля – юстиции и труда, уже оказывается уступались Керенскому и Чхеидзе. Да вдохновенный Керенский, бритый как актёр, стал настолько необходимым для всех в эти дни, что без него уже и не мыслили правительства.

Но дальше начиналось загадочное: какая-то неназванная тайная спайка вступала в переговоры, и всё гуще шептались, – и донеслось до Шульгина, что министром финансов воюющей России станет не ожидаемый Шингарёв, а почему-то – 32-летний надушенный

денди Терещенко, очень богатый и прекрасно водящий автомобиль. Шульгин присматривался – и удивлялся. Как старая власть губила себя, цепляясь за Штюрмеров, а ей тыкали вот эти самые люди, – так теперь эти самые люди на первом же шагу топили себя, нагружаясь ничтожествами Терещенкой, Некрасовым. Столетие «освободительного движения» против надоевшей Исторической Власти принимало себе на финише призом – кабинет полуникчемных людей.

Всё это несло куда-то в пропасть...

Шульгину не предлагали никакого портфеля – он был слишком правый для нового правительства, в новой обстановке. Да он и не тянулся за портфелем. Он и не знал такой государственной области, в которой мог бы руководить. Ни одно министерство ему и не подходило. По характеру он любил не материальную власть, но духовный авангардизм.

С его постоянной живостью и острою он был во-первых оратор. Может быть – писатель. Не работник политики, но – артист её.

И сейчас, когда всё начало падать в пропасть, и отемнилась, и защемила душа его, и может быть надо было готовиться к смерти, – Шульгин жаждал лишь проявить себя в некоем подвиге.

Артистичном. Аристократичном.

279

Родзянко стал не только внешне каменным изваянием, но он уже и на самом деле каменел. Каменел от непрерывного глашательства речей. Каменел от скорбных дум. От несочувствия вокруг себя членов Комитета и что лишили они его права действовать. Все вместе они восстали против его поездки – и он не мог разорвать этого кольца. И из его огромного тела утекала решимость.

Не так было обидно, когда не пускал этот собачий совет депутатов. Обидно, что не пускали – свои же.

Бывало, с высоты трибуны озирает он депутатов Думы – как своих защищаемых, подопечных, едва ли не как своих сыновей.

А они – вот...

Если он поедет – то будет премьером. Для того и не пускали, чтоб его обойти. И выставляли предлог, что Родзянку – «не позволят левые».

Они второй день готовили самочинное правительство – без Председателя.

Он столько лет грудью защищал их свободу слова. Он сегодня ночью спас их всех от карательных войск. А они его – не пускали. Интриговали...

Уже всё было подготовлено! – историческая встреча! И не сстаивалась!...

Из Дна от Воейкова пришла телеграмма, что, не дождавшись там, Государь приглашает Родзянко во Псков.

А от Бубликова всё звонили: поезд на Виндавском под парами, когда же поедут?

Лишали себя и лишали всех последней единственной возможности мирного посредничества.

Догадка страшная: да нужно ли им мирное посредничество? Да нужен ли им мирный выход?

В кошачье-злых глазах Милюкова прочёл Родзянко, что не нужен.

Они вообще, кажется, не хотели переговоров с Государем, и ничьих? Они и хотели – разрыва?...

Но и в этот горький час надо быть благородным, подумать и о несчастном Государе, которому несладко вот так метаться, а его тем временем, как воришку, хотели задерживать. (Стыдно, что утром не сразу успел пресечь).

Едва не зарыдав, Родзянко скомандовал Бубликову по телефону:

– Императорский поезд назначьте на Псков. И пусть он идёт со всеми формальностями, присвоенными императорским поездом.

Голос дрогнул.

– А между тем готовьте с Варшавского вокзала поезд на Псков.

Может, ещё и поедет.

Или кто-то другой?

Решалось.

А поедешь, получишь от Государя назначение, а чтоб здесь считали изменником и прислужником реакции? тоже не годится.

Да и со Дна слухи, что там жандармы арестовали ненадёжных железнодорожников. Небезопасно было туда Председателю и ехать, может хорошо, что не поехал. Смотри – и самого задержат.

А ещё свободна ли дорога на Псков? Доносили о каком-то бунте в Луге? Запросить Лугу.

А тут пришёл Гучков и стал намекать, что ехать – надо, да, но не за утверждением ответственного министерства – а за отречением самого Государя.

Уже от-ре-че-нием??

Может быть, действительно, Председатель чего-то тут не понимал, отставал?

Нет, за **этим** он ехать не может. Пусть кто-нибудь другой.

Хотя после явления Кирилла – действительно, какая-то шаткая ситуация. Династия – расколота.

Раздутая голова гудела от трёхдневного круженья. От невозможного столпотворения в родном Таврическом дворце. И взнесен ликующими криками полков. И уязвлен предательским поведением думских коллег. И оскорблён хамской дерзостью Совета депутатов.

Какие-то солдаты искали убить Председателя. А Совет депутатов – мог задерживать, значит мог и арестовать? (Узнал, что там сегодня резко выступали против него и Энгельгардта).

Всё это человекокружение было ненаправляемо.

А поезд Государя – уже во Пскове, и Государь ждёт своего Председателя.

Но уже видно, что его не пустят.

И Родзянко телефонировал опять в министерство путей и просил телеграфировать:

«Псков. Его Императорскому Величеству. Чрезвычайные обстоятельства не позволяют мне выехать, о чём доношу Вашему Величеству».

Он – прощался со своим Государем.

280

Было бы удивительно, если бы революция не пришла, это бы значило, что народ уже безнадежно пал. Но для народа, увы, революция – это только практическое средство, он не ощущает её внутренней красоты, как она разворачивается ото дня ко дню и от часа к часу. Эту красоту всю пропускает через себя сильный характер.

В стране, которую безликая правящая банда лишила характеров, Александр Бубликов был на редкость характером цельным и сильным. Вот он сам открыл, нашёл себе место и добился его: руководить министерством путей сообщения. Не приди сюда Бубликов, не назначь его себе полем боя – и это министерство так же бы продремало и прокисло дни революции, как и десяток других министерств. Но он пришёл – и зажёл огонь в омертвевших правительственных жилах, и отсюда, из нескольких смежных кабинетов совершил революционный акт большего значения, чем всё произошедшее в Петрограде: выпрыснул петроградскую революцию по всей России – только одними путевыми телеграммами, в одну ночь.

Вслед за тем стали ловить и загонять в тупик царский поезд. Само собой по всем дорогам продолжали двигать продовольственные поезда к Петрограду. А сверх задумал Бубликов ещё одну игру: как расставить ловушку на великого князя Николая Николаевича –

заставить его вступить в сношения с новой властью и признать её. Для этого он послал ему телеграмму, что необходимо сменить главного инженера по постройке Черноморской железной дороги (как будто в дни революции не было у министерства задачи срочней), – и комиссар Государственной Думы Бубликов испрашивал на это назначение согласие его императорского высочества, кавказского наместника. Даст великодушное согласие – вот и признал новое правительство!

Расхаживая нервно по просторным кабинетам, потирая руки и на дальних расстояниях достигая событий и людей – Бубликов за всю жизнь впервые почувствовал себя в настоящем просторе. Он всегда рвался к действию! Ему бывало душно в слюнвявых интеллигентских компаниях, вечно размазывающих о морали, но не способных к мужским действиям – принуждать непослушных, подавлять непокорных, направлять движения масс. Когда через несколько дней он будет назначен в это здание уже полноправным министром, Бубликов знал, какие грандиозные преобразования он затеет: они поразят робких чиновников старого состава, но будут сокровенно революционны в своей инженерно-технической сути. Нашу интеллигенцию невозможно перевоспитать словами, идеологию индустриализма надо показать в действии. России предстоит путь титанического развития промышленного творчества, феерического развития капитализма, – и только этим избежать закланного пути социализма, так губительно близкого народным идеалам справедливости. Но народ надо уметь *позвать*. Первая телеграмма Бубликова и была таким зовом, и история оценит её когда-нибудь как начало творческой революции.

Переполненный такими мыслями и восхищением от совершаемого, Бубликов расхаживал и расхаживал по смежным комнатам, в промежутках между телефонными звонками, а между тем и зорко замечал, что происходит рядом. Наладились строгие дежурства Рулевского (оказалось – он большевик) с подменниками. Каждому из них в дежурство приставлялось на побегушки по 4 студента-путейца (им деться некуда, их институт занял пехотный полк, пришедший из Петергофа). Ротмистр Сосновский, очень живой и приятный человек, тщетно добивался для своих солдат-семёновцев питания из их батальона – ничего не несли, зато стали таскать из института путей сообщения. Сам же ротмистр повадился ходить наверх в пустую министерскую квартиру, убережённую им от солдатского разгрома, и там министерская прислуга в благодарность поила его вином. Как начальник охраны Сосновский подписывал вместе с Бубликовым разные пропуска. Всех руководителей – Бубликова, Ломоносова, Рулевского, Шмускеса и других, кормила жена одного из курьеров – латышка и социалистка. Обычных служащих являлось меньше половины, но пульс революции в министерстве ещё отчётливей бился и без них. Задержка царского поезда не удалась в Бологом, не удалась и на всём пути до Дна, а потом Родзянко – сдался, велел пропустить императорский поезд во Псков.

Рыхлый ничтожный толстяк! Разве с такими делать революцию? Потерянный русский народ! Нет в России железных людей!

Телефонные переговоры с Думой, официальные и по знакомству, отнимали у Бубликова больше всего времени и сил, вызывали и наибольшую досаду. В Думе царила полная неразбериха, растерянность и говорение. Чего стоили одни отмены родзянковской поездки, с трёх вокзалов. А потому и не мог он поехать, что явно не было власти ни у кого в Думе, но шло непрерывное говорение с Советом рабочих депутатов, который и пересиливал их всех. Это – бесило Бубликова, их всех там одолевала интеллигентская беспомощность, – но он не мог отсюда прыгнуть ещё и туда к ним и влить им всем горячего железа – и победить Совет рабочих депутатов.

Это говорение в Таврическом могло сгубить всю революцию – и действительно начало губить: вот стало известно, что думский Комитет назначает комиссаров для заведывания всеми министерствами – и что же? – комиссаром путей сообщения назначался не Бубликов, а Добровольский!

Они совершенно там ошалели! Они не только забыли про Бубликова, отдавшего им всю Россию, не только забыли, что он уже тут сидит и правит министерством, и держит Кригера

арестованным, – неблагодарно забыли даже, что самую идею комиссаров придумал именно Бубликов! Для себя лично Бубликов больше бы достиг, если б эти двое суток проболтался в бессмысленной толчее Таврического!

Он твёрдо решил: министерства не уступать!

И для укрепления назначил Ломоносова Товарищем Комиссара.

С Ломоносовым отношения были сложные: тот когда-то в комиссии провалил бубликовский проект. Но сейчас Бубликов верно выкликнул его на революцию. Конечно, он остроглазо и острым нюхом следил только – чтоб оказаться среди победителей. Он не был боец. Но сейчас в этой обстановке прекрасно годился.

– А когда стану министром – хотите старшим Товарищем?

Ломоносов молниеносно (уже думал):

– А Воскресенский?

– Не пойдёт. Ведь его прочили в министры, ему обидно.

Есть красивые жесты: не хочу никаких наград за участие в революции! Или: я привык – работать, назначайте меня начальником Николаевской дороги, или начальником управления. Но в такой момент – и упустить? А потом Бубликов куда-нибудь перейдёт, возвысится, – сразу станешь министром.

– Ну что ж, ваша воля, Алексан Алексаныч.

– Вот сядем, обсудим списки первых назначений и увольнений.

А пока – мелькал, перекатывался по комнатам стриженный котёл ломоносовской головы, и уверенный баритональный бас его от телефонных разговоров вдохновлял всех тут:

– А что там в Гатчине?

– Двадцать тысяч лояльных войск.

– Что значит – лояльных?

– Не революционных.

– Усвойте себе раз навсегда, что это **бунтовщики** ! Лояльные – это те, кто на стороне народа!

281

Эта война шла у генерала Рузского с гребня на хлябь, то возносило его, то обрывало вниз. Удачей было уже начальное: назначение на командующего армией – но тут же последовало триумфальное взятие Львова, Николай Николаевич гневался, что Рузский не окружил, упустил австрийские армии, – и даже грозился отдать под суд, – но тут пришла благодарность самого Государя – и Рузский, перескочив Алексеева, сверкаяще вознёсся в генерал-адъютанты и на командующего Северо-Западным фронтом вместо Жилинского. Выше того – почти и не оставалось в Армии постов, только сам Верховный. (И в замкнутой глубине: кто мог ожидать или кто мог теперь вспомнить: Кревер, сын кастелянши дворцового ведомства, для всей служилой аристократии – чухонец, перебивший фамилию поблагозвучней). И сразу за тем – две трети всех русских армий попали в его ведение. И сразу за тем – жестокие испытания в Польше, которые могли кончиться полной катастрофой, а кончились новой славой: Георгием 2-й степени (третьим Георгием!) «за отражение противника от Варшавы». Затем потекла полоса новых неудач, особенно в Восточной Пруссии, разгром 10-й армии, на верхах возбудилось недовольство Рузским, интриговала императрица, – посчитали с Зинаидой Александровной, что лучше самому взять отпуск по болезни. И вовремя: всё великое отступление Пятнадцатого года прокатилось без Рузского, – и он мог из Кисловодска только гипотетически примеряться – остановил ли бы он его? и мог себе позволить советовать энергичное контрнаступление. Но тут Алексеев, принявший фронт от Рузского и ответственность за всё отступление, виновник наших неудач, – получил не снижение, а повышение: начальником штаба Верховного, а при царе – фактически Верховным, – и уже непоправимо обошёл Рузского.

Северо-Западный фронт разделили, и Рузский получил только часть своего прежнего – Северный фронт, и в тяжёлый момент, после сдачи Ковно. И – ненадолго: тянулась опять цепь неудач, а тут он перенёс плеврит, действительно расстроилось здоровье – и он второй раз за эту войну попросил отпуск по болезни. Его отпустили в декабре 1915 без уговариваний. Но когда к весне он уже и поправился, и вполне был готов вернуть своё Главнокомандование, и даже пробивался к тому настоятельно, – его не хотели возвращать – стена! – императрица, да и сам царь. Но становился его отпуск уже неприлично долг, необъясним, и этих военных месяцев боевому генералу не вернуть! Пришлось прибегнуть к самым разным средствам. Во-первых, стороною попросить благожелательных статей в газетах, – и они появились: такие разные газеты как «Биржевые ведомости» и «Новое время» со вниманием и симпатией всегда сообщали: как живёт генерал Рузский, как он выздоравливает, как приехал в Петроград, полон бодрости и готов получить новое назначение. И этот похвальный хор отзывался даже и в Германии, и немецкая печать тоже писала о Рузском как о самом талантливом русском генерале. Во-вторых, поискать заступничества некоторых великих княгинь и князей, и, совсем конфиденциально, – молитв Распутина. И они помогли, может быть, более другого: в июле 1916 Рузский получил назад своё Главнокомандование и даже с важным добавлением: теперь попадали в его ведение Петроградский военный округ, и весь живой кипучий Петроград, и, значит, цензура петроградских газет, – и генерал становился как бы: шефом, защитником и отцом столицы. Но всё это он делал с таким тактом (с советами Зинаиды Александровны, прекрасно знавшей петербургскую жизнь и все фигуры тут), что сумел установить отличные отношения со столичными общественными кругами, и его очень любили и хвалили большие газеты, уверенные, что генерал всегда сочувствует общественным чаяниям. И даже, этой зимой, приезжавшие во Псков деятели полутуманно зондировали отношение генерала к возможным государственным изменениям, – и Рузский, в исключительно осмотрительной форме, подтвердил им своё сочувствие.

Эта натуральная живая связь с Петроградом была разорвана недавним выделением Хабалова в самостоятельную единицу. Сперва Рузский очень жалел, был обижен, – но когда на этих днях разыгрались петроградские волнения, то, верно, следовало порадоваться, что не на Рузского легла палаческая роль давить их.

Но и не вовсе в стороне пришлось удержаться. Ещё в воскресенье вечером Родзянко бестактно прикатил Рузскому телеграмму, убеждая ходатайствовать перед Государем о создании министерства доверия. Положение создалось колкое: беспрецедентно было военному чину, побуждённому гражданским лицом, обращаться к своему начальствующему с общественной просьбой. Но и – при размахе петроградских событий невозможно было такому общественно-популярному генералу остаться безучастным ко взыванию Председателя Думы.

Целый понедельник Рузский проколебался в этом выборе весьма мучительно: он понимал, что это – отчаянный жизненный шаг, и можно лишиться Главнокомандования, без чего ни он, ни Зинаида Александровна уже не представляли жизни. Но в понедельник же, часам к 8 вечера, к счастью пришла от военного министра копия его телеграммы в Ставку. В ней прямо говорилось, что военный мятеж в Петрограде погасить не удаётся, многие части присоединились к мятежникам, а лишь немногие верны. Такой размах событий оправдывал вмешательство – и Рузский через час послал свою телеграмму Государю, где указал, что события начинают отражаться на положении армии и, значит, перспективах победы, отчего генерал дерзает всеподданнейше доложить Его Величеству о необходимости принять срочные меры успокоения населения, преимущественнее, чем репрессии. Рузский не повторил крайних слов Родзянки об общественном министерстве, но какую-то подобную телеграмму он не мог не послать в этот час, ибо в эти же самые минуты его штаб принимал приказ из Ставки о посылке четырёх полков на Петроград. И ещё до полуночи Рузскому

пришлось эти полки назначить и послать. (Правда, отсылка полков задерживалась недостатком подвижного железнодорожного состава – и хорошо, ибо очень не хотелось вовлекать свои войска в эти гражданские события, как бы не стать первопричиной междуусобицы).

И весь вчерашний день события качались на тревожном перевесе: в Петрограде нисколько не успокаивалось, и сдались последние правительственные войска, и неслись оттуда победоносные телеграммы Бубликова, – но и войска против столицы собирались уже с трёх фронтов, и Ставка предупреждала, что может понадобится мобилизовать ещё новые полки, – и Рузский безупречно передавал все распоряжения и принимал все меры, даже и собственные, распространяя власть своего корпусного генерала в Выборге на всю Финляндию.

Близость Северного фронта к Петрограду, прежде выгодная, теперь становилась исключительно невыгодной: Рузский невольно попадал в положение первого карателя, во всяком случае вслед Иванову.

А сегодня с утра приходили телеграммы из Петрограда – от самого Родзянки и агентские, о том, что думский Комитет принял на себя функции правительства. И Рузский ещё более защемлялся между Сциллой и Харибдой: против кого же готовил он военные действия, – против нового законного правительства?... Но и не мог не подчиняться законному военному начальству.

Давно уже так не изводился Рузский, как эти последние дни и как сегодня особенно. Бесчисленное количество он выкурил сигарет и понюхивал кокаин, набирая сил. Никогда ещё, ни в какой военной операции, его репутация и карьера так не сходились на единое остриё и не шатались так.

Тут стало известно, что императорские литерные поезда повернули от Бологого – и шли на Дно, и как бы не сюда, на Псков. А затем пришла и прямая телеграмма от Воейкова, что – да, во Псков!

Очень неприятно! И несвоевременно.

Во-первых, всякому военачальнику или офицеру неприятно, когда его старшее начальство приезжает в его расположение. Уж там как бы поверхностно и формально ни скользил император по военному делу, но легко мог сделать порицательное замечание или отдать приказ, круто меняющий весь заведенный порядок дел.

Во-вторых, именно сейчас, когда в Петрограде совершались такие роковые события, а Комитет Государственной Думы перенял власть от императорского правительства, – именно сейчас даже короткое пребывание царя в штабе Северного фронта могло положить пятно на общественную репутацию генерала Рузского: почему именно к нему поехал царь в тяжёлую минуту? нет ли здесь расчёта на какую-то особенную верноподданность Рузского? Потом трудно будет оправдаться, что и тени подобной быть не могло. Вот ведь, никак не лежал маршрут царских поездов через Псков – а почему-то шли сюда.

В-третьих, неприятно было, что теперь, как бы быстро царь ни миновал Псков, не избежать вести с ним тяжёлый разговор, и после этой телеграммы в поддержку Родзянки... Не так трудно было послать её – заочно. Но теперь не мог себе позволить Рузский из-за личной встречи угодительно отклониться от своей точки зрения, – нет, он должен был заставить себя высказать всё то же. Но это – большое душевное испытание, напряжённая повышенная душевная работа. Показать свой характер. Впрочем, и Государь для такого столкновения – не сильный соперник.

А в-четвёртых, это грозило тем, что снова утратить пост, уже прежде дважды терявшийся, какое-то заклятье.

До приезда Государя оставалось несколько часов, и надо бы предварительно укрепить свою позицию к предстоящему разговору. Такое удобное подкрепление давала телеграмма Алексева № 1833, вчера, посланная Иванову, а сегодня среди дня – в штаб Северного фронта. Телеграмма эта рисовала положение в Петрограде как замечательно успокоенное и расположенное к умиротворению и соглашению. Из собственных прямых источников;

Рузский знал совсем другое: что в столице беспорядки не прекращаются, а в пригородах и в Кронштадте только завариваются. Но тактически было выгодно аргументировать от официального документа штаба Верховного. И распорядился Рузский – просить у Алексеева разъяснений, откуда у него эти сведения?

Навстречу из Ставки текло извержение – за сутки запоздавших к Государю известий и собственных телеграмм Алексеева. Но на прямой вопрос Рузского ответ был уклончив: сведения об успокоении в Петрограде – из различных (неназванных) источников и считаются (или считались вчера?) достоверными.

И понял Рузский, что Алексей смущён и ответить ему нечего. Сведения эти были полным вздором, особенно при развернувшейся сегодня революции в Кронштадте и Москве.

Рузский заказал личный аппаратный разговор с Алексеевым – из Ставки отвечали, что Алексей нездоров и прилёг отдохнуть. Это могло быть и правдой, могло быть и формой избежания. Отношения между ними были почти неприязненные. Трудно было и не испытывать досаду: Алексей был серая рабочая лошадка, только и бравшая сидением и трудолюбием. Рузскому для охвата и понимания достаточно поработать лишь два часа там, где Алексееву нужны полные сутки. И судьба была каждый день возобновляться в обиде, получая от Алексеева приказы как бы от самого Верховного. (И даже ухода в болезнь, Алексей интриговал и подставил вместо себя не Рузского, а Гурко).

А сейчас через телеграфные провода ощущалось, как там волнуется Алексей, спешит исправить свои просчёты, и спешит убедить Государя, и шлёт потоком телеграммы, а в промежутке его офицеры нетерпеливо добиваются, уже ли прибыл Государь и уже ли переданы ему все эти устаревшие телеграммы.

Да, теперь осмелел и Алексей, когда революция так раскинулась, – но трудней было Рузскому ещё позавчера поддержать ходатайства Родзянки, а что делала Ставка тогда? Накатывала приказы о посылке войск.

Алексей был в явной растерянности и бессилии – но не та ситуация, чтобы Рузский мог сыграть противоположно ему. При сотрясении обеих столиц дошёл и во Псков этот тонкодрожащий момент, когда мобилизуются все душевные силы – и нельзя потерять равновесия. И даже Родзянке нельзя в эти же часы не послать телеграммы, что тряска петроградских волнений, разрушение вокзалов и бродяжный элемент, текущий оттуда, грозят спокойствию и снабжению Северного фронта. И даже Алексееву нельзя отказать в союзе: хаотическим поворотом событий они оказывались в союзниках. И даже, вот, великие князья присоединялись к ним.

Да надо же было ощутить наконец душу и жажду России, всеобщее сочувствие к переменам, – и не гнать же полки, во имя призрака, на подавление собственных граждан.

Теперь или никогда – сослужить бессмертную незабываемую службу общественности.

И всё же, готовый к такому моменту и на высоте такого момента, – предпочитал бы Рузский, чтоб император почему-либо свернул бы, а до Пскова не доехал.

А Ставка слала распоряжения – исправлять, если понадобится, пути для следования царских поездов – чтоб они достигли Пскова и далее бы шли на Петроград.

Да и скорей бы на Петроград.

Увы! Перед самым подходом царских поездов пришло внезапное сообщение из Луги, что и там восстал гарнизон. И, значит, царь не мог тотчас покинуть Псков, чтобы ехать через Лугу.

Итак, Государь неизбежно застрянет во Пскове. И дело не ограничится мимолётным вокзальным провожением.

Рузский с усилием стягивал в себе душевное сопротивление. Надо было найти смелость отказаться от обычного этикета – не выставлять при встрече почётного караула. Весь приезд перевести сразу в другой тон, сопутно общим событиям.

Да, царь вечно прятался за неодолимыми преградами. Но теперь он должен ступить на землю реальности.

Начальником штаба фронта сейчас, после того как Рузский не смог удержать своего

любимца Бонч-Бруевича, был генерал Юрий Данилов «чёрный». Человек он был тяжёлый. В начале войны, при Николае Николаевиче, он, игрою обстоятельств, по сути руководил всеми военными операциями всей русской армии, отчего сам о себе много понимал до сих пор как о несравненном стратеге. В специально-военном отношении он, пожалуй, имел способности, но в общем довольно туповат, упорно предвзят, лишён дара творчества, способности быстро оценивать обстановку, он исполнитель, но не руководитель большого дела. А гуманитарного развития уж совсем никакого. Поэтому для Рузского он не был ровня, собеседник или единомышленник. Однако был в прошлом один момент, который делал отношения Рузского с Даниловым неназываемо трудными. Рузский не мог забыть, что Данилов, конечно, всегда помнит про него, как в одну ноябрьскую ночь 1914 года при лодзинской операции Рузский дрогнул и просил у Ставки – именно у Данилова – разрешения на следующую ночь крупно отступить. И получил это разрешение, но оно не пригодилось: за день положение внезапно исправилось, и вместо грандиозного отката совершилась сносная операция. Но это пятно перед Даниловым осталось – и заставляло Рузского быть осторожно предупредительным к своему начальнику штаба. Вот и сейчас – позвать его с собой на царскую встречу.

Данилов же был укоренённо обижен тем, что в 1915 году и Николай Николаевич от него отвернулся, и Государь сместил с генерал-квартирмейстерства Ставки на корпус. И поэтому он подошёл сейчас по настроению: встречать царя без звонких почестей, всегда отдававшихся раньше, пригасить значение императорского приезда. Это будет прецедент в истории России – но обстоятельства подкрепляли их решимость. И не везти царя в штаб фронта, в город, но встретить на вокзале, свести приезд к проезду. И изо всех непременно лиц сообщили только, по неизбежному порядку, псковскому губернатору.

И так общественность не упрекнёт Рузского, что он слишком носился с самодержцем.

Оцепили весь вокзал, никого не пускали, и на платформах добились безлюдности. Станция была и вся темновата, фонарей немного. Приехал губернатор с несколькими чинами администрации.

Рузский, однако, очень волновался. И непонятно было, куда же теперь Государь поедет. И в таких текучих условиях как же успеть добиться от него тех уступок, которых требовало общество? Решительно, в один приём? Задача нелёгкая, если знать характер Государя: непостижимое безрассудное, неразумное упрямство. И боязнь точных формулировок. И боязнь определённых решений.

Лишь в половине восьмого вечера подошёл первый из двух поездов. Ещё вот эта игра всякий раз: из двух неразличимых – который? царский? свитский? Хорошо, что не унизился Рузский заранее выйти на тот перрон: оказался первый свитский, где не с кем и здороваться.

Лишь через двадцать минут подошёл царский. Широкие окна его были затянуты шторами, лишь по щелям пробивались полоски света. Затем открылась дверь освещённого тамбура, выскочил высокий флигель-адъютант. Перед дверью приставили лестницу, обитую ковриком, и стали два казака. Это и был царский вагон.

Генералы вступили туда. Скороход принял от них шинели. Пригбенный печальный министр Двора граф Фредерикс пригласил их в салон-гостиную с мебелью и стенами, обтянутыми зелёным шёлком.

Государь вышел в тёмно-серой черкеске, форме кавказских пластунов.

Лицо его поразило Рузского, – за два месяца как он видел его на совещании в Ставке. Всегда Государь был таким молодым, завидного здоровья, да ведь ничего не делал, каждый день гулял. А сейчас было куда не молодо, сильно утомлено, тёмные глубокие морщины от углов глаз.

Не умея скрыть тона неловкости (от стеснительного положения, от смысла говоримого), но стараясь как можно обычнее, Государь объяснил, что поезд его был задержан на станции Вишера известием, что Любань захвачена мятежниками. А теперь он хочет проехать в Царское Село. Но не поехал прямой дорогой из Дна, предполагая беспрепятственной сделать это объездом через Псков.

Он говорил – не как властелин. В его тоне было потерянное, если не просительное.

Говорил – и нервно трогал рукою ворот. Эти мотания в загнанном поезде не прошли для него бесследно.

Рузский и всегда испытывал превосходство над этим венценосцем. Но никогда столь большое, как сейчас. Как бы возвращая растерянного Верховного к правилам забытой им службы, Рузский монотонным, даже ворчливым голосом произнёс доклад о состоянии своего фронта и о событиях на нём, – последнее из того, что всех их интересовало, да и событий никаких не было, но Рузский этим укреплял свою позицию и сбивал Государя дальше в растерянность.

А уж затем выразил сомнение, можно ли проехать через Лугу: там восстал гарнизон.

Николай II был мастером самообладания, невыражения лицом своих чувств. Но и это покинуло его сегодня. При известии о Луге лицо его выразило уязвлённость и незащищённость: нигде не было ему проезда! Глаза, и без того углублённые, ещё подрезались наискось по щекам. А усы и без того висели.

Не только малоинтеллигентное, но примитивное лицо.

Рузский ощущал, что набирается твёрдости.

Собственно, – исправился Государь, – он и не предполагал сразу ехать. Он намерен во Пскове дожидаться приезда Родзянки, как тот обещал.

(«Обещал»!... Он уже ждал милостивого приезда Родзянки!)

Ах вот как? Это обрадовало Рузского. Тогда его задача облегчалась: вместе с Родзянкой... А царь, между тем, вполне подготовлен для обработки под ответственное министерство.

Впрочем, не так и прост! – карательный корпус Иванова тем временем стягивался.

Не потрафляя себе уклониться к смягчению, Рузский заставлял себя выдерживать твёрдый тон. И напомнить самое неприятное: получил ли Государь его позавчерашнюю телеграмму с поддержкой ходатайства Родзянки об общественном министерстве.

– Да, да, – поспешно подтвердил Государь, даже смущённо. Не имея сил на порицание.

Схождением обстоятельств и интеллектуальным перевесом ложилась на плечи и аксельбанты Рузского несравненная роль и задача: пересилить царя. Все были далеко, он – здесь, и вся образованная Россия ждала, как неотклонимой стеной аргументов он догонит загнанного монарха в последний тупик.

Данилов-чёрный рядом всё подтверждал своей грузностью, неподвижностью.

Через простые свои очки Рузский смотрел на императора стеклянно-блестяще. А есть ещё ряд сведений из Ставки.

Их обоих пригласили к царскому обеду. Сведения из Ставки – после обеда.

282

Великий князь Михаил Александрович полагал сперва, что зашёл к Путятиным перехорониться вчера перед рассветом всего на несколько часов. Но в городе разыгралось такое, что и думать было нечего выходить на улицу и добираться до Гатчины: всякий бы автомобиль отняли (и могли забрать, где он укрыт стоял сейчас на Фурштадтской) – и самого бы могли запросто убить. Ещё хорошо – удалось дозвониться в Гатчину, пока целы были провода, услышать наташин голос и успокоить её. Разумеется, и ей было в такое время сюда не ехать, оставив маленького их сынишку.

Но даже и здесь, в частном доме, в частной квартире, не было безопасности. То ли потому, что улица эта – Миллионная, особенно привлекала завистливое внимание толпы, – то и дело слышна была близкая ружейная стрельба, и узнавалось через прислугу о грабительстве в виде обысков в разных домах по соседству. Сегодня днём на Миллионной 16, через дом от них, ворвались с таким самозванным «обыском» на квартиру генерала графа Штакельберга, вывели его на улицу, там издевались и убили. А в следующие часы нагрянули и в их дом – в семью обер-прокурора Синода и в семью Столыпинах на третьем этаже, – наверно, привлечённые фамилией, но то была не семья убитого министра, – и разгромили,

разграбили их, – вероятно только тем и миновало Путятиных.

А сегодня как раз был грозный для династии день: в этот день террористы убили деда. И в этот же день едва не убили отца.

Со своей кавалерийской «дикой» дивизией Михаил, себя не щадя и не вспоминая о своём императорском происхождении, ходил в смертные атаки под шрапнельным огнём. Но сейчас и вся смелость и все военные навыки были ни к чему, глупое зажатое цыплёночье положение: сидеть и трусливо ждать, не ворвутся ли. Беспомощное, незащищенное невоенное положение, это больше всего угнетало. И как же стрелять, рубить русского солдата?

Гувернантка Путятиных была на набережной, и на её глазах среди бела дня и прогулочного движения – ни за что убили офицера.

И пришлось-таки воспользоваться своим положением: позвонить Родзянке и вызвать караул. Хотя рядом преображенские казармы, но там что-то стало сильно не в порядке (да проходя их вчера ночью, Михаил слышал тревогу от дежурного офицера), – и караул прибыл из школы прапорщиков. Пять офицеров поместились в кабинете Путятина, двадцать юнкеров – на первом этаже, в другой квартире.

Теперь, разговором с Родзянкой, уже обнаружился Михаил, где он есть, и не было смысла таиться дальше, да оно само потекло. Телефонировал близким знакомым. Приходили. Через их визиты и телефонные сообщения открылось обозрение всего, что происходит в Петрограде, – и несчастная поездка брата, не пропущенного в Царское Село. От Родзянки узнал, что тот готовится ехать к Государю навстречу, добиться нового правительства и новой конституции, – и сердечно посочувствовал Михаил этому намерению. Так, правда, хотелось, чтобы все друг с другом договорились и всё кончилось бы хорошо! Сегодня он так и надеялся, что к вечеру брат доедет до Царского Села, и будет благополучен, и всё подпишет, утвердит Родзянку на ответственное министерство.

Но пришёл Бьюкенен – пешком из посольства, оно близко. Он только что провёл 10 дней в Финляндии в отпуске, сам не наблюдал нарастания петроградских событий, приехал уже на готовое сотрясение – но ничуть, говорил, не удивился, а так и должно было быть по его предсказаниям, и не могло благоразумно кончиться, – и сейчас, он уверен, не кончится без смены Государя. (О, упаси Боже!) Единственный способ спасти Россию – отказаться ото всей нынешней политики и повернуться сердечно к обществу. Английский посол рассуждал и чувствовал не как посторонний, но как убеждённый член нашего общества. И чем огорчил и даже напугал: он убеждал великого князя, что ему надо готовиться к принятию регентства над наследником в самые ближайшие дни.

Но Михаил – никак этого не хотел! Снова? опять ответственность, от которой так счастливо избавился 13 лет назад? Нет, не надо! Не готов. Это была бы – разбитая жизнь.

Потом пришёл – в простом армяке, переодетый в простолюдина, – дядя Николай, хотя из своего дворца по ту сторону Миллионной ему надо было всего только улицу пересечь. Дядя Николай только что вернулся из ссылки в деревню. Ничего другого он и не ожидал, кроме таких событий, раз не обуздали ведьму Алису, – он и предсказывал это Государю. Но, как страстный историк, он был не столько угнетён событиями, сколько обрадован ими: что он – присутствует при них, и сможет потом описать. И часы не ждут, надо действовать, и правильно действовать! и правильно потом отобразить в истории, чтобы потомки не переврали, как например жестоко переврали Николая I, – и дядя Николай когда-то писал большое письмо Толстому, и стыдил его, что он поддался поверхностным сплетням, и тот благодарил, но это осталось неопубликованным.

Хотя и сознавал дядя Николай всю ответственность перед историей, но что делать – так и не придумал. С тем и ушёл, в армяке.

Тянулись, тянулись бездейственные, смутные, томительные часы пленения.

Да Михаил готов был помочь посылно Родзянке и Государственной Думе в чём-нибудь, в такую минуту и все члены династии должны чем-то помочь. Как ни был он годами наказан.

Обидное угнетение от брата и от матери – как будто он не взрослый человек – живо

стояло в памяти. И как в Гатчине распоряжением Мама через дворцовую телефонную станцию подслушивали его разговоры с Наташей, он долго и не знал. И сколько Мама стыдила его, что она – дважды разведёнка, что у неё дети, а брат назначал Михаила служить в Орёл, подальше от Гатчины. Четыре года преследовали его любовь, сами толкнули в спор-состязание. Обвенчаться в России и думать было нечего, так следили и мешали. Поехали за границу – следили и там за обоими, не давали соединиться. Но придумал Михаил, как обмануть догляд: поехал в автомобиле будто в Ниццу, а сам по дороге тайно пересел на венский поезд, а Наташа ждала в Вене, – и там в сербской церкви обвенчались наконец. И сколько бы лет ещё оставаться за границей, если б не началась война!

Да разве можно бороться с любовью? Есть такие силы на земле? Ведь не мог же бороться и дед – и сошёлся с княжной Долгоруковой ещё при живой императрице, и держал любовницу рядом же, в Зимнем, и нажил от неё сына и двух дочерей. И не это же потрясло династию!

Да обида Михаила нисколько не была настойчивой, у него вообще обиды не держались долго. Но как – помочь? Не знал он, в чём помочь. Сандро всегда считал, что помощь такая: великие князья должны занять все главные посты в государстве! Упаси Бог от такого жребия.

Да вот-вот брат приедет в Царское, и повидаемся, и можно будет поговорить.

Но Родзянко торопил по телефону, просил содействия раньше того. И другие надеялись на него почему-то. И, перебарывая неловкость, сердечное сопротивление и всю неуместность нового вмешательства, решился Михаил послать брату телеграмму по ходу следования поезда, где застанет:

«Забыв всё прошлое, прошу тебя пойти по новому пути, указанному народом. В эти тяжёлые дни, когда мы все, русские, так страдаем, я шлю тебе ото всего сердца этот совет, диктуемый жизнью и моментом времени как любящий брат и преданный русский человек. Михаил.»

Он уверен был, что Наташа бы одобрила.

Больше всего ему не хватало сейчас наташиных советов!

А затем позвонил из Царского дядя Павел, тоже узнав, где Миша. Дядя Павел говорил торжественно, что надо срочно спасать трон. Вот, Кирилл для этого ходил сегодня в Думу, истинный центр общественной жизни сейчас. Угроза трону! – и Михаил должен быть готов стать регентом. Но ещё прежде надо постараться спасти трон Государю. И намекал дядя Павел, что скоро Михаил получит, узнает.

О, опять эта тень регентства! Тоска и дурное предчувствие сжимали нежную душу Михаила. О Господи, как избежать этой чаши, не брать на себя непосильное бремя! И как жаль брата! И как это худо для России! О, если б можно было удержать Государя на троне!

И вскоре пришёл молодой человек в штатском и принёс пакет от дяди Павла.

А внутри был – проект Манифеста на пишущей машинке. От имени Государя. Оставлено место для его подписи. А в самом верху: что сей акт, представляемый великими князьями на подпись Его Императорскому Величеству, ими вполне одобрен. А в самом низу – подпись дяди Павла. А над ним – подпись Кирилла. А ещё выше оставлено место для Михаила.

Кирилл был рядом, куда ближе дяди Павла, но по обычной неприязни ничем не дал себя знать. Впрочем, и Михаил же его не искал.

А проект Манифеста был составлен вот как хитро: будто Государь давно уже решил ввести широкую конституцию и только ждал дня окончания войны. А правительство, теперь уже *бывшее*, не хотело ответственности министров перед Отечеством и затягивало проект. А теперь Государь, осеняя себя крестным знаменем, устанавливает новый государственный строй и предлагает Председателю Государственной Думы немедленно составить новый кабинет. И возобновить заседания Думы. И безотлагательно собирать законодательное Собрание.

Хотел дядя Павел скорее мишиной подписи, чтобы лучше убедить Ники – и сейчас же

отсылать на подпись ему.

Нельзя было задерживать. И посыльной ждал.

Да что ж, это хорошо! И спасти трон, и не быть регентом.

Михаил быстро подписал.

И подумал, что – нет, вот и Кирилл незлобив: вот и он не отказывался помочь Николаю.

А что новый сразу государственный строй – так теперь в чём-то надо уступить. Трудно определить, в чём.

И ушёл посыльной, спрятав пакет во внутренний карман пальто. Одна копия, ещё не подписанная Государем, сейчас пойдёт в Думу для успокоения.

Ушёл, – а Михаил ходил-ходил в своём заточении, одиночестве, под уличную стрельбу – и что-то стал раздумываться: ах, его ли это было дело – подписывать? Его ли дело было мешаться в такие важные советы? Да зачем же ему вмешиваться в эту ужасную политическую суетню? И сразу – копия в Думу?

А с Гатчиной, вот, не было телефона.

Ходил, ходил по комнате мучительно, даже костями пальцев хрустел.

Не знал он, как правильно!

И поэтому лучше всего: позвонить сейчас в Думу, у кого этот пакет, – и пусть его подпись снимут. Ни к чему ему туда мешаться.

И телеграмму бы не посылать. Уже послали?...

283

Хотел Соколов со своими солдатскими депутатами пристроиться тут же, при ИК, за занавеской, – нет, будете мешать заседанию Исполнительного Комитета. Вернулись бы в большую комнату № 12, – нет, там не расхотелся народ – стояли, топтались, галдели, понравилось. Пошли ещё комнату искать. Нашли секретарскую: стол есть, несколько стульев, остальные и постоят, ничего. А курить – везде теперь можно.

Душно, да и распарился! – снял Соколов вовсе пиджак, на спинку стула за собой, в жилетке, сел за стол, бумага есть, чернильница, проверил перо, ничего, сейчас накатаем. Рядом посадил товарища Максима, социалист, журналист Кливанский из «Дня», хоть он не в депутатии, а самый нужный тут будет помощник.

А солдаты почти все на ногах остались, стульев нет, среди них и этот вольноопределяющийся Линде – высокий, худой, мешковатая шинель с университетским значком, и взор пылает.

Сейчас накатаем – так-то так, так-то так, а вот сразу и не возьмёмся: как писать? К кому обращаться? Необычность предполагаемого документа вызвала задержку даже у тёртого Соколова.

Немало он составлял за жизнь адвокатских документов – прошений, обжалований, протестов, да и социалистических разных немало. Но сейчас не совсем понимал форму: что оно такое будет? Постановление Совета рабочих депутатов? Воззвание? Обращение к гарнизону?

А пока не на бумаге – так и нет ничего, всё впустую наговорено.

Высказал свои сомнения Кливанскому. Обсуждали, перебирали.

Затоптались солдаты, уже не слишком доверяя, одолеет ли их вожатый всё теперь гладко на бумаге написать?

Вдруг Линде, запрокинув голову, как птица пропускает набранную клювом воду, с полузакрытыми веками произнёс вполголоса, как заклиная:

– При-каз!...

По штатскости своей Соколов не воспринял: как может быть приказ? чей приказ?

А тут вошёл увалисто Нахамкис, проверить их. Стал у стены, выше их всех, руки позади. Узнал, в чём затруднение, и сказал:

– Как бывший военный человек поддерживаю: приказ.

Солдатам понравилось, загудели:

– На родзянковский приказ – и наш приказ!

По их понятиям только Приказ и исполняется, а что это – Обращение? Солдаты привыкли, что к ним обращаются – приказами, верно.

Что ж, неплохо, революционное творчество. Приказ? Но – от кого приказ? Приказы подписывают генералы.

– А у нас подпишет Совет рабочих и солдатских депутатов, – спокойно отпустил Нахамкис.

– А как они пишутся, приказы?

Нахамкис задумался. Его военная служба в якутской местной команде была лет сколько назад, хотя и был он в роте лучший «фрунтовик», и офицер же помог ему из ссылки бежать.

И не было больше тут ни офицера, ни старшего унтер-офицера, ни младшего. Но сами же солдаты помнили кое-что из приказов. И самый налезчивый, лицо в оспинах, отважно ткнул в бумагу грубым пальцем, грязным ногтем:

– Должен быть номер у приказа!

Какой же номер? Ещё ни одного не издавали.

– Значит – первый.

Соколов красиво крупно вывел: «Приказ №1».

А солдаты – ближе, оспатый – грудью на стол и дышал махорочным перегаром:

– Число поставить!

– Разве число в начале?

Хорошо, какое сегодня? Ох, какое, столько пережито, а всё ещё, кажется, первое марта?

А солдаты подымливали и из свежей памяти своей, как с печатного:

– По гарнизону Петроградского Округа... Всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота...

Звучно, громко, но и это казалось мало. Свой приказ-первенец страстились солдаты сопроводить:

– Для немедленного и точного исполнения!

Они и сами знали, что так не писалось. Но слова такие – слыхивали. А приказ этот – защищал их головы.

Соколов потеснял того, что локтями навалился, уж очень терпкий дух и дых, неприятно:

– Не надо, товарищ... А где же будут товарищи рабочие? К рабочим тоже должно относиться.

– Не должно!

– Ни при чём тут рабочие!

А ещё был здоровенный солдат с усами, какие рисуют у Вильгельма:

– Приказ – это приказ! Это – по нашей части.

Но – нельзя было уступить солдатне пролетарских позиций. Кливанский стал объяснять им, что без рабочих никак не пойдёт. А солдатам жаль было уступить форму Приказа. Пospорили, поспорили, ладно:

... А рабочим Петрограда для сведения...

А что дальше в приказах пишется? А дальше пишется: приказываю!

А – кто «приказываю»? Кто это – «я»?

Тут солдатам неведомо. Изо всех присутствующих не состраивался тот отец-генерал, который бы вот скомандовал в защиту бунтованного солдата – и баста, всем отрезал. Замялись.

А Нахамкис от стены продиктовал баритоном:

– Совет Рабочих и Солдатских Депутатов постановил.

Ну, ладно.

А дальше – суть. Она была подработана ещё утром на ИК, и Соколов и Кливанский её уже всю прокричали и проголосовали на шумном сборище в 12-й комнате. Да у Кливанского и на бумаге есть: как относиться к возврату офицеров, к Военной комиссии, как быть с оружием. Но начать надо – с солдатских комитетов, это рычаг Архимеда. Но – как это в Приказ?

– Во всех ротах, батареях и эскадронах...

Линде, прикрыв веки, слушал как музыку и чуть улыбался.

– Пиши: и батальонах.

– Пиши: и полках!

– А у моряков же как?

Был тут один и матрос:

– На судах военного флота.

... Немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов...

– А унтеры что ж?

– А они тоже нижние.

А комитетам этим... чего делать-то?

Да – всё им делать. Чтобы – всё дочиста было им подчинено.

– Так не пойдё! А – строй, команда?

– Да хоть и строй-команда!

– Ну, не! Без офицера не сладится.

И солдаты заспорили. Уже и цельный день прокричали – а всё непонятно.

А Соколов пока, под шум, выводил для конкретности:

... по одному представителю от роты... с письменными удостоверениями... в здание Государственной Думы... 2-го марта к 10 часам утра.

Отнять армию у Государственной Думы. И отнять уже завтра к утру!

Нахамкис веско добавил:

– Николай Дмитрич, оттените: во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих депутатов и своему комитету. И больше никому.

Соколов быстро писал, перо не кляксло, не задирало, уже перешёл на второй лист.

А Кливанский со своей бумаги заботливо дальше:

– А приказы Военной комиссии исполнять только если не противоречат постановлениям Совета Рабочих и Солдатских...

Нахамкис тихо ушёл.

А солдаты, не мешая перу Соколова, между тем опять заспорили о главном деле, как они понимали: у кого ж будет оружие? В той комнате накричано: офицерам не выдавать. И для свободы – надо б его забрать себе. Но речь не о револьвере, не о шашке, – а ежели полковым оружием офицер не распоряжается, ни пушками – так что за армия будет? на что она гожа?

Но образованные от стола:

– И спорить нечего! Офицерам оружия – ни в коем случае не выдавать.

Да так-то оно и нам безопасней. А только – как же армия?...

... Всякого рода оружие...

– Тогда уже особо пиши: пулемёты, винтовки...

– Гранаты, ничего не пропускай!

– Бронированные автомобили тоже-ть...

– И – прочее! И вообще – всё прочее, а то чего пропустим.

... Должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не могут выдаваться офицерам даже по их требованию...

– А на фронте?

– То – на фронте. А ты смотри – тебя бы здесь не издырявили!

– Это – так, братцы, а чо ж? А то они нас опять заворожат.

Там, в дневном перекрике, много чего наворотили: и офицерам не жить вне казарм, и

погоны с них снять, и которого рота не подтвердит – на левый фланг. А – как же теперь?

И Линде – вытянув руку, как крыло, будто косо спускаясь к солдатам:

– Да! Да, товарищи! Раз комитеты выборные – то офицеры тем более выборные!

Сробели солдаты: эт' кого мы в офицеры себе сами возжелаем? Вот – его для прикладу?

Ну, не именно из солдат, объяснял Кливанский. Из офицеров же, но которые получше.

А которые к вам плохие – метлой.

Солдаты робели.

А образованные за столом – нисколько. И вписали.

Солдаты затоптались: не! не! всё ж таки совсем начисто отменить воинскую дисциплину – никак не можно. Всё ж таки немец стоит на нашей земле – и как же в армии без порядку? Просили солдаты: дисциплину оставить.

– Хорошо, – уступил Соколов, удивляясь пугливости стада. И вслух повторял, что писал:

... В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину...

Так, так, – улыбались. Без порядку – кака армия?

– А как из строя рассыпались – так всё, свобода. И солдаты пользуются всеми правами граждан!

Ну, ну, чего ж. Хорошо.

Вписал:

... в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты...

– И – чести больше не отдавать! – Максим из своей бумажки.

Солдатам опять неловко:

– Какая ж служба без чести?

– Не отдавать! – весь задрожал Линде, голову вскинул, румянец на бледных щеках.

– Ну, можно так, – польготили городские за столом, – не отдавать вне прямой службы.

Из казармы шаг ступил – и уже не отдавать. На улицах – не отдавать.

Ну, верно. Как уже на улицах и пошло. Сами шашки по-отдавали, признают.

– А сила казалась, братцы, наши командиры, сила! А хлипки на поверку.

– А «ваше благородие», – допрашивал Соколов: – Хоть и на службе – зачем оно?

Отменить!

– А правда, братцы, на кой это благородие? Чего оно?

Записал: отменить!

– И отменить обращение к солдатам на «ты»! – воскликнул Линде.

– Как отменить? А чего ж говорить?

– Безусловно отменить! – настаивал Кливанский. – Это унижение вашего человеческого достоинства.

Не чувствовали! Вот бараны!

– А чего ж говорить?

– «Вы».

– А ежели он в одиночку? Что ж, вот я ему буду «вы» говорить? Ажио челюсть сводит.

Смеялись. Жил – я, был – я, и вдруг – «вы»? Дивно...

А Максим погоняет, а Соколов пишет:

... на «ты» воспрещается... и о всяком нарушении... доводить до сведения ротных комитетов...

Да уж умаялись. Да весь день не евши.

Ну, а кончать – это уж как положено. Тут оспяной знал:

– Настоящий приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, экипажах и прочих строевых и нестроевых командах...

Совершилось.

И отпустил Соколов солдат. И собрал листы.

Тут – Гиммер прибежал. Попрыгал, посмотрел, проверил. Теперь понесли листы в ИК,

на утверждение.

– А там что ж? Отправлю в «Известия» к Гольденбергу, к утру катнём отдельной листовкой. И – пошло!

А если не развалить старую армию – так она развалит революцию.

ПО-ШЛА СТЯПНЯ, РУ-КА-ВА СТЯХНЯ!

284

Маклаковых-детей было восьмеро, и который-то из братьев наследовал благородное глазное врачество отца, но как бы не он стал продолжателем рода, а повсюду звучали только имена Василия и Николая, одно восхищённо, другое бранно.

Редко бывает между родными братьями такое враждебное отчуждение, такое полное отдаление, как между ними двумя. Потерялось в дремучей темноте то детство, когда они росли в одном доме на Тверской, при глазной больнице, и различались всего на год, гоняли по большому двору, а во время дифтерии сестёр жили в доме генерал-губернатора. Ещё и в студенчестве нельзя было предсказать, что их так раскинет, Василий учился на юридическом, Николай на историко-филологическом, студенты как студенты, обучали барышень конькобежному искусству. Но Василий был развязанней и разыскливей на знакомства – и это он водил Николая на квартиры, где собирались свободомыслящие, а Николая там всё коробило, оскорбляло, своей же воспитанностью поливал их холодом он, – больше туда не ходил, отшатнулся от них ото всех, затем и от Василия. Увидели себе братья в России – разные смыслы и круги. Василий Алексеевич стал знаменитым адвокатом, любимцем петербургского общества, очарователем петербургских дам, известным умницей и даже первым оратором Дум. Николай Алексеевич не имел таких блистательных способностей, но и со средними вполне бы преуспел, если бы пошёл по линии либеральной. Однако он пошёл по государственной службе и без протекций: начал податным инспектором в глуши, потом в казённой палате тамбовской, полтавской. Тут приехал Государь на 200-летие Полтавской битвы – и с радостным чувством упоённого монархиста Николай Маклаков так изобретательно украсил город и губернский приём, что был высочайше замечен и вскоре вознесен губернатором в Чернигов. (Может быть это произошло не без контраста с дерзким Василием; «ведь вот, из одной семьи, брат *того* Маклакова», плохого, – не все в России испорчены). А в сентябрьские торжества 1911 года так же восторженно встречал черниговский губернатор своего монарха, приплывшего по Десне, – это был самый день смерти Столыпина, и, как потом рассказывал Государь, в самый момент, когда он прикладывался к раке Феодосия Черниговского, ему вступила мысль, что министром внутренних дел надо будет назначить Николая Маклакова. И через год это совершилось. И молодой министр рьяно и неумело бросился наводить порядки среди располза, и неопытной грудью противостоять думским атакам, и сразу же вызвал на себя озлобление и насмешки, не сумел поставить себя. Дума вычёркивала ему все кредиты, без которых министерство не могло работать, а по обществу привольно раскатывались анекдоты, что Маклаков держится на посту тем, что изображает перед царскою семьёй влюблённую пантеру в клетке, зверей, птиц, других сановников. (Этой прилипшей сплетней ему отомстил межминистерский проходимец князь Андроников, 18 лет причисленный к министерству внутренних дел с правом не

посещать службу, но получать чины, – а Маклаков его отчислил). Василий Алексеевич между тем произносил в Думе свои отточенные эрудитские речи, разя всё вокруг трона.

И каждый из них – стыдился иметь такого брата и самой фамилии своей стыдился из-за брата, брезгливо не желая быть спутанным с ним. Это – те были братья, что если б один тонул при другом, тот с берега не протянул бы ему палки.

Так и сейчас, может быть Василий где и прохаживался по Таврическому своей умеренной походочкой, чуть утиной, – но только облегчение могла доставить ему весть, что арестован и сидит в министерском павильоне позорный Николай Маклаков.

При аресте отбивался (гимнастические навыки), был ранен в голову солдатским штыком и приведен сюда под сильным конвоем, угрожавшим добить его по дороге. Уже в Таврическом наложили ему на голову повязку.

Арестован – и введен в душные, непроветренные комнаты министерского павильона, в фантастическую смесь заседания высших сановников государства – и неустроенной тюрьмы. Увидел столько знакомых сразу, в жалком состоянии, и узнал, что разговаривать с ними запрещено. Увидел на столе неаппетитную сгрудку недоеденных бутербродов с сыром и рыбой, пустых чайных стаканов и пепельниц. Увидел изнеможенного, стонущего Протопопова, вторым на диване с Барком. Увидел Горемыкина с разведенными баками, с усталыми глазами, всё так же хладнокровного и философичного. А кой у кого увидел в немых глазах облегчение: что вот и он, Маклаков, арестован. И увидел издали ещё одни немые глаза Ширинского-Шихматова, с кем позавчера они составляли отчаянный план, а кажется – ничего невыполнимого, как бы бросить бомбу на этот Таврический, в один миг и кончить со всей революцией, – но далеко сидели теперь, и глазами много не поговоришь.

А у стен стояли часовые преображенцы с винтовками, пугая этих стариков не бежать и не разговаривать. И влитой походкой расхаживал прапорщик Знаменский с неподкупным лицом и густым голосом. А курсистки-еврейки, разносившие подносы, корили: «Вот, когда мы сидели в тюрьмах, то вы надевали на нас кандалы, а мы вас угощаем бутербродами и папиросами».

И томился Маклаков, что дал себя взять, что не спроворился застрелиться.

И, как все, должен был встать при входе коменданта дворца полковника Перетца. Полковник этот – кажется журналист из кадетской «Речи», маленький, ничтожный, упивался видом поднявшихся перед ним вчерашних владык, ожиревших генералов и высохших стариков. Он держал лицо не прямо к людям, но полузапрокинутым к потолку и так отвечал. Что беседовать разрешить – никак нельзя во избежание сговора между арестованными. А почему Караулов сказал, что можно? Караулов уже не комендант дворца. Этот вопрос не в его ведении. Но если мы не будем касаться внутренней политики? Сказано: нельзя.

И напуганный пустоглазый большеухий, сам маленький военный министр спешил с жалким заявлением коменданту: что он, генерал Беляев, не совершил никаких преступлений, состоял министром совсем коротко и не понимает, почему его арестовали.

Очевидно, теперь могло начаться между арестантами соревнование: кто меньше виновен перед новой властью.

И ещё были все подняты на ноги и поведены вокруг стола шатким гуськом в затылок «на прогулку». И Горемыкин под его восемьдесят.

И ещё были все подняты на ноги перед заносчивым сморчком Керенским в окружении демократической свиты, которому благоугодно было произнести, что они все арестованы потому, что он, Керенский, хотел сохранить им жизнь. Иначе при народном гневе против слуг прежнего режима каждый из них рисковал оказаться жертвой народной расправы.

И опять сидели в напряжении и в молчанке. Несколько раз дико вскрикивал здравенный адмирал Карцев:

– Воздуху! Воздуху!

Его лёгкие привлекли к свежему, но когда открывали форточки, то старики жаловались, что дует в ноги, и закрывали опять.

Доктор Дубровин для соседа генерала просил как врач прислать немедленно лёд.

В их комнату вдруг завели жандармского полковника, взятого при разгроме квартиры в невероятной одежде: в брюках, очевидно, сына, щиколотки голые, из-под жилета видна нижняя рубаша, рукава не дают свести рук, стоячий воротник без галстука, на одной запонке. Но прапорщик вскоре закричал, что не сюда его привели, а нужно наверх, на хоры. И увели.

А всё остальное время было – на мягком стуле молчание и размышление.

Но не о трёх своих сыновьях, из них двое на войне, думал Маклаков. А: зачем Бог дал дожить до крушения всего, во что ты верил на земле? Присутствуешь при гибели государственного порядка – как при собственной смерти.

А много ли помог сам?

Да, был неопытен и не готов. Оттого ринулся объезжать петербургские полицейские участки, вызывая всеобщие насмешки. (Сегодня это не показалось бы смешно). Взял к себе товарищем и шефом корпуса жандармов – армейского генерала Джунковского, а тот и совсем был к такой службе не приспособлен, своими руками уничтожал осведомительную агентуру. Да, самое страдное, тяжёлое и ненавистное обществу министерство. Твой голос всегда заглушается кликами злобы врагов. И сам был во многом виноват, что сложились такие предвзятые отношения с Думой. Но не удивительна ненависть общества, а: в самом совете министров не встретил доброжелателей, тут приходилось ещё хуже, чем в Думе, и даже среди правых министров чувствовал себя Маклаков одиноким. Лукавые и равнодушные царские слуги! – давали неверные советы, как вести себя с Думой. Все скрытничали друг перед другом – а Маклаков был прям, горяч и только портил. Долго он учился, что надо сдерживаться и не всем верить. Нужно было сплочение к единой цели, политическая боевая линия, дух борьбы! – ничего этого в правительстве не было. Всеми презираемый, осуждаемый, Маклаков окрылялся только постоянной поддержкой Государя. Он высказывался перед монархом горячо, убедительно, и никаких не скрывал мнений – и смел заметить, что Государь тоже ни с кем не говорил так откровенно и много, как с ним. И называл его своим другом. Одному Маклакову ещё до войны Государь доверил свою мечту: изменить конституцию так, чтобы при розни между палатами проект не гасился, а царь избирал бы мнение. И Маклаков горячо был согласен: «народу мнение, а царю решение» и есть наша древняя московская монархия. Но что мог поделать самый молодой из министров – и в одиночку? Перед самой войной, на петергофском совете, он поддержал, что у Государя тоже должны быть какие-то законодательные права, – но он единственный. (А Щегловитов – нет! Вот мы, правые. Почему Щегловитов всегда был так сдержан и не подставлялся в единый строй? Были хороши, ездили в одной карете, – но даже два правых министра врозь, – каких же правых можно объединить в стране?... Загадка неединства. Щегловитов всегда: «закон выше наших желаний». А по Маклакову: высший закон – это на плечах голова со здоровым смыслом).

После многих докладов Государю, что внутреннее состояние России обострено, нельзя дремать, надо действовать, в позапрошлом году на Страстной, в дни средоточия, Маклаков отважился на страстное письмо: честных русских людей смущает направление, которое приобретает правительство; сердце подданных чувствует беду, затемняется светлый лик монарха; ваше доверие ко мне, Государь, подорвано, всё равно люди и обстоятельства принудят позже вас к тому, чтоб уволить меня, – так уволите меня сейчас. Государь – был взволнован и так же пылко уговорил Маклаков а останься. (Что-то соединяло их прочней служебных отношений и даже единства взглядов – общий день Ангела? малая разница лет? или служба монархической белизне как исповедание?) Но в Думе Маклакова всё гуще травили, и Горемыкин, ища пути полегче, пожаловался Государю, что больше с Маклаковым не устоять, – и всего через три месяца после трогательного порыва – Государь уволил своего любимого министра.

Маклаков плакал. Не от потери поста – он не искал в службе личного, и жизнь его принадлежала царю, и славу родины он видел только через величие царя, и обожал его до слез, и видел от него только добро, – а вот плакал, что Государь пожертвовал им для Думы, что он покидает верных, если на них разгневано общественное мнение, что гибнет правое дело. Тяжело всем верным.

Ещё когда только впервые собиралась 4-я Дума, Маклаков уже слышал подземные толчки: эта Дума не как 3-я, она будет бушевать. Надо пробовать сразу ввести её в русло твёрдой рукой, объявить ей прямо: Дума не призвана бороться против государственной власти, но – укреплять родину! (Он рвался выступить сам, но так плохо стоял перед Думой, ещё б и это обратили в посмешище). А не поймёт – распустить её тотчас же, объявить в столицах чрезвычайную охрану и назначить новые выборы!

Но ничто подобное сделано не было. Государевы решения принимались так ненастойчиво, всегда выливались в такую мягчайшую форму, от самого энергичного доклада оставалась всего лишь крупица. Забывалось Священное писание, что даётся меч царю – на казнь злым, на покровительство добрым. От миролюбия и мягкосердечия сверху – Россия шла к распаду. Думские отчёты, расходясь по стране, подрывали государственный порядок. Россия сбивалась с толку: общество воспитывалось в постоянной злобе к правительству, что русское правительство не просто ошибается, но оно – *враждебно* народу, и даже единственное препятствие на пути к русскому счастью. При таких думских нападках как же армии стоять спокойно на позициях? По России ширилось новое мировоззрение: совсем забыв и вычеркнув царя, видеть всему начало и конец – в общественном мнении. Дума прокладывала по всей стране путь к революции.

Думцы издевались над Николаем Маклаковым, по всем либеральным гостиним читались о нём сатирические стихи, лгали, что он ни одного дела не начинает без Распутина и целует ему руки (в жизни виделись два раза и прохладно), – но и Маклаков же своих врагов понимал: политически изменчивых, приспособленных к поворотам обстоятельств, одурманенных честолюбием и до неправдоподобия равнодушных к судьбе родины. В те дни 1915 года, когда Родзянку чествовали во Львове почти как царя и штатские шпыни раздавали георгиевские кресты солдатам, – Маклаков оледенел, что Дума – ломает самодержавие! Пусть и у Маклакова не хватало государственного ума, но сколько мог, два с половиной года, он сдерживал этот разрушительный ход. А когда его, реакционера-душителя, убрали – разрушение пошло быстрее. Щербатов, младший Хвостов да Штюмер – угробили внутреннюю политику. Внутренней политики, собственно, вообще не стало, никакого общего плана действий, никакого представления, куда идёт страна, а – движение закрыв глаза, по инерции, и даже как походка пьяного от стены к стене. Безнадёжно становилось России выйти из теснины разнящей ненависти. Уже с начала 1916 года Маклакову чудилось: всё кончено.

И не в учреждениях было несчастье: они вполне хороши, устоялись, разработаны. Безнадёжен не государственный строй, а – люди, занимающие места. Многие люди, на многих местах. Высокие чины в учреждениях исполняют свои обязанности плохо. И во многом даже не по своей вине, а из-за отсутствия системы и программы в управлении страной: постоянная смена политических убеждений на верхах создаёт невозможность служить. (Нельзя назвать тут Государя – а во многом именно от него). У слуг царя создаётся личная неуверенность в завтрашнем дне – и так колеблются и расшатываются все исполнительные власти. И государственная деятельность становится – как черпать воду решетом.

Казалось бы: выход – сплачивать всех, кто верен короне. Но корона давно не поддерживала своих истинных сторонников. Правые повсеместно настолько ослабли, что даже в исконном своём Государственном Совете, где только половина была

выборная, а половина назначенная самим Государем, – даже там они уже не имели большинства и не пользовались сочувствием. И Маклаков, там тоже член, был *один*, кто посмел голосовать против вздорных Особых Совещаний, вырывающих уже и дело обороны из рук правительства в руки общества. После своих речей в Государственном Совете, Маклаков получал грубые угрожающие письма от левых. Исповедывать правый образ мысли стало не только уже не популярно, но даже не безопасно. Безнадёжно были удручаемы все, кто верил в русское самодержавие и пытался его поддерживать. На правых беспрепятственно сыпались любые клеветы. Правых били, не давая встать, и опять били. Правая вера была в общественности поругана, осмеяна, вышучена, замарана, и самим правым всё очевиднее становилось, что колесо повернулось уже непоправимо. Стояли правые у могилы того, во что веровали.

При таком разброде и упадке какое же одно несомненное русское дело оставалось дворянину вне службы? – в деревню! в семена! в навоз! в коров! Полтора года после своей отставки, кроме заседаний Государственного Совета, Маклаков проработал у себя в тамбовском поместье.

Но не нашёл он покоя в этом уединении. Напротив: оттуда повиделось ему ещё отчётливей и обречённой положение страны. А если он видел так вперёд, как разрешённый ребус, то вправе ли он был молчать? – это уже предательство.

В этом декабре ему пришлось поехать в Петроград ликвидировать свою квартиру. И тут он снова написал Государю порывно-душевное письмо. В сложную, небывало острую пору обязанность всякого верноподданного высказать Государю всю правду положения. Направление занятий Думы и характер произносимых там с ноября речей – вконец расшатывают остатки уважения к правительственной власти. Хотя страна не выражается Петроградом и что волнует верхи – не касается России, но в столице, совместно со съездами и союзами, *уже начался штурм власти*, и он угрожает самой династии. Трудно остановить близкую беду, но ещё возможно. Заседания Думы отодвинуть, союзы поставить в рамки закона, создать единое правительство и упорядочить продовольственное дело.

Никогда не считал себя Маклаков умней Государя, с радостью признавал превосходство его души и его дальновидности, – но как было добавить ему силы воли и власти?

Написал – и уехал на Рождество снова в деревню. И там только в январе до него дошло, что на петроградскую квартиру приезжал царский фельдъегерь вручить ответное письмо и будто бы Государь вызывал к себе. Но в Тамбовскую губернию вызова не послали: видимо, горели минуты.

И действительно, на Новый год был назначен премьером Голицын – в тщетной попытке найти примирение с Думой.

По известии о фельдъегере Маклаков воротился в Петроград смущённый и почти угадывая, зачем вызывал его и не дозволялся обожаемый Государь. Он никак не рвался идти в правительство в столь проигранном положении. Но и не вправе был бы отклониться.

Вскоре передали Маклакову пожелание Государя: написать царский манифест – на случай, если он остановится не на отсрочке Думы, но на полном роспуске её.

Это было уже начало февраля, три недели назад, и последняя царская служба Николая Маклакова. Все свои скромные силы слога и всё своё цельное, никогда не прерванное монархическое чувство он вложил в трёхдневное писание этого манифеста. Он наслушивал душой, как это должно бы грянуть для всякого русского уха, везде на просторе Руси! Он объяснял: внутренний враг стал опаснее, наглее, ожесточённей внешнего врага! Он призывал: смелым Бог владеет! Он благословлял взмах царской воли, который, как удар соборного колокола, заставит со страхом Божиим перекреститься всю верную Россию. Он звал: всех сплотиться вокруг Государя. Он готовил документ для поворота русской истории!

Выборы новой Пятой Думы назначались на 15 ноября 1917 года. Выигрывалось без раздоров, без поношения власти – время до осени. Если к осени победоносно кончится

война, то в общем подъёме спасётся и всё.

Ему дозволено было отвезти манифест Государю лично. Он пылал с ночи, с утра, – и таким поехал на вокзал.

А тут что-то случилось с поездами, все остановились – и Маклаков изводился в вагоне. Поезд опоздал в Царское на полтора часа. За это время у Государя уже истекало расписание, он куда-то торопился. Маклаков надеялся сам вдохновенно прочесть – Государь взял бумагу, не читая, посмотрел своим обворожительным взглядом и легко – слишком легко! – сказал:

– Это, Николай Алексеич, так, на всякий случай. Ещё надо со всех сторон обсуждать.

То была последняя аудиенция.

И последний неиспользованный шаг.

И сейчас, озирая эту комнату с немощными стариками, – он остро жалел, что не отбил, что не мог уйти для борьбы.

Или – что никакой отчаянный и сегодня не прилетит на Таврический с бомбой.

285

Последние часы до Пскова ехал Государь с восстановленной надеждой: и на скорое соглашение с Думой, отчего отвалится давящая душу тяжесть и весь кошмар последних дней, – и на быстрый проезд в Царское Село.

При встрече во Пскове не был выстроен почётный караул, промелькнул одинокий караульный солдат в конце платформы. Так – ещё никогда не приезжал Государь не только в штаб фронта, но и в полк. И губернатор псковский был с двумя чиновниками, без сбора местного начальства, как это всегда. Но и, однако, – Государь не обиделся, и не придавал значения потере обряда: стояло мрачное время и ждали дела, верно. Он тут же принял сублильного Рузского и приземистого Данилова.

Первым его удивлением было – что они ничего не слышали об ожидаемом приезде Родзянки. Затем удар – о мятеже в Луге. Мало того, что делалось в Царском! – даже и проехать к ним нельзя!...

Пересидели обед – с генералами и губернатором, в полном воздержании от событий, ценою тягостных пауз. Покрывая их, Государь подробно расспрашивал губернатора, как он живёт.

Ах, скорей бы кончился этот обед и скорее бы что-нибудь узнать, хоть неприятное. Хоть и что Родзянко привезёт.

Нет, не ехал. А после обеда подали такую телеграмму из Петрограда:

«Передайте Его Величеству, что председатель Государственной Думы изменившимся обстоятельствам приехать не может. Бубликов.»

И опять упало сердце. (Последние дни такое хрупкое стало всё внутри.) Эти **изменившиеся** обстоятельства могли иметь много значений, но все злоещие. Измениться могло: или к тому, что Родзянко более надмевал. Или к худшему мятежу, так что Родзянко уже не управлялся с ним.

И всё тот же загадочный, никогда не слыханный, а всё сильнееющий Бубликов, как стена на всех путях.

Как изменилось за день: сегодня утром Государь ещё выбирал – принимать Родзянку или нет. А теперь – только впусте жаждал его приезда.

В этом отказе Родзянки было какое-то злоеющее отрезание. Николай ощутил, как с осени уже несколько раз: что неотвратимо катят события, уже не подчиняясь его воле, – и даже его самого увлекают как предмет – и ничего нельзя будет исправить. Рок. В такие минуты обрывалась его вера в свою миссию – а это грех, нельзя, нельзя подаваться! Надо перебороть и этот новый удар.

Но – как добраться до Царского?! И что творится в Царском? Да не глумятся ли там над ними??. Всё существо, всё нутро, вся интимная внутренность тянулась туда, жаждала воссоединения с родной Аликс. Однако не только нельзя было ехать, а даже не оказалось

телеграфной связи: всё забрал и прервал восставший Петроград.

Нельзя даже было простой телеграммы послать своим – что прибыл во Псков.

После обеда Государь позвал Рузского к себе в поездной кабинет, а Данилов-чёрный поехал в штаб за новыми телеграммами и сведениями.

Только сейчас Государь дослушался, досмотрелся впервые, какой самоуверенный педант этот Рузский. Не прежний – почтительный, искавший милостей, умолявший вернуть его в командование Северным фронтом, – но назидательно выговаривающий свой длинный монолог и, перебитый, всегда возвращается закончить фразу. И в движениях, как и в речи, проявилась механическая размеренность, которой раньше не замечал Государь. И странным казалось сочетание седого бобрика и чёрных усов, наверно крашенных. Без живых чёточек – мертвоватое же у него лицо – какого-то небольшого зверька, но с нацепленными очками. И болезненное при том.

Как странно в час-другой изменились отношения с подчинённым генералом. Возник какой-то неизбежный неотклонимый собеседник, – и Государь не знал средства против такого изменения.

Правда, начал Рузский с оговорок. Что его нынешний доклад выходит за пределы должностной компетенции, ибо тут вопрос не военный, а государственного управления. Что может быть Государь не имеет к нему достаточно доверия, поскольку привык слушать Алексеева, а оба генерала часто не сходятся в оценках.

Государь, разумеется, предложил генералу высказываться с откровенностью.

И после этого развернулся монолог Рузского. Что Родзянко, и не приехав, ждёт ответа, – и ответ этот не может быть иным, как уступить и дать ответственное перед Думой министерство. И почему это нужно было сделать уже давно. И как все события, бунт в Кронштадте или успокоение в Петрограде, ведут к этому самому. И как со всех сторон все понимающие, знающие люди именно об этом и просят. Думцы. Земцы. Союз городов. Да вот – и генерал Алексеев, досланная телеграмма, второй день идёт. Да вот – и генерал Брусилов, переслана через Дно, там не застала вас. Да вот – и великий князь Сергей Михайлович, даже он, даже члены вашей династии.

Увы – да. Увы – всё это было в наличии и вот разложено, да. За два дня блужданий Государь многого не получал, а теперь оно стекло. От Алексеева. Старые вчерашние и совсем ещё не плохие сведения из Москвы. Всё страшное произошло в Москве сегодня. И в Кронштадте сегодня. (Как больно и стыдно за флот, за любимую государеву гордость!) Убит начальник кронштадтского порта. И адмирал Непенин признал родзянковский комитет.

Забота Алексеева, как он писал, – спасти армию: спасти её от агитации, в ней много студентов и молодёжи, и спасти её продовольственный подвоз. Алексеев считает подавление беспорядков опасным – прежде всего для самой армии, – волнения перекинутся в неё, и это приведёт к позорному окончанию войны и даже всю Россию – к гибели. Государственная Дума пытается водворить порядок, и надо не бороться с ней, но скорее помочь ей против крайних элементов. В этом – единственное спасение, и медлить невозможно.

Вот как... Неужели так?... Страшные слова.

Но почему он так уверен, что *это* может перекинуться в Действующую Армию?

А дядюшка Сергей Михайлович – тот уже не говорил «лицо», а прямо: назначить премьером Родзянку и только его.

(Сам-то сколько напутал в артиллерии.)

И почему-то – от Брусилова. Никем не спрошенный, телеграфировал на имя Фредерикса. Спасая армию – признать совершившийся факт и закончить *мирно*.

Но больше всего поражало, что Рузский и Алексеев, всегда во всём несогласные и соперники, – вот, говорили одно и то же оба. Это было достойно, чтоб удивиться.

Пусть не было доверия к Рузскому, – но почему они все заодно?

Однако могло ли быть так, чтобы всем легко была открыта единая истина – а Государю закрыта?

– А что скажет Юг России? А что скажет казачество? – опомнился он.

Да как же идти на такую ломку во время войны, не дождавшись её окончания? Кто же вводит парламент во время войны? Пока немец на русской земле – какие же реформы? Надо прежде выгнать немца.

Разъяснял Рузский: именно. Для спасенья войны, для успешного её окончания и нужна реформа.

Да разве Государь был против того, чтобы советоваться? Всегда и охотно, но с людьми благожелательными и преданными России, а не с этими озлобленными. Разве партии, узкие своим разумом, своими программами, – способны открыть подлинный путь народу и даже подлинную свободу?

Сколько лет были прения и бои – и всё об этом «ответственном министерстве»! Сколько непримиримостей столкнулось именно на этом камне! Сколько клевет и оскорблений родилось вокруг этого! Сколько совещаний с общественными деятелями, сколько скандалов в Думе.

Но откуда это предположение, что при парламентском министерстве Армия станет лучше воевать?

А на последней зимней конференции ещё и союзники домогались от Николая того же: «ответственного» министерства. (Как будто *их* это было дело, им не нялось.) И Гурко – добавлял туда же, не то потеряем расположение союзников. И английский генерал при Ставке, на правах государева друга, – писал то же.

Всё – било в одну точку.

Но! – за всё, что случилось с Россией, и за всё, что ещё случится, – ответственен был перед Богом один Государь.

Ибо, как сказано: Народ согрешит – Царь умолит. А Царь согрешит – Народ не умолит.

Только возвышенные эти слова не мог он выговорить Рузскому вот так просто, через стол.

А Рузский всё настойчивей становился и тоном поучительным разъяснял, что дело Государя – лишь царствовать, управлять же должно правительство. Что *самодержавия* – всё равно уже не существует с 1905 года, при Государственной Думе оно – фикция, и благоразумней пожертвовать им своевременно.

При всём образованном лоске Рузского – проступало в нём что-то тупое. Такой прямоугольный лоб. И неживые накладные уши.

Царствовать, не управляя? Прадед Николай Павлович говорил: могу понять республику, не могу понять представительную монархию, – двусмыслица.

Возражал Государь, что этой формулы он не понимает. Наверно, надо для того переродиться, быть иначе воспитанным. Самому – ему нисколько не нужна власть, он не любит её, нисколько за неё не держится. Но он не может вдруг посчитать, что он не ответственен перед Богом.

Рузский прикрыл за очками веки, как принято прикрывать при упоминании Бога, – кто искренно, кто в насмешку.

И не может Государь сложить с себя ответственность перед русскими людьми. Да как бы он был вправе: передать управление Россией людям, которые к этому не призваны? Которые сегодня, может быть, принесут ей вред, а завтра – уйдут в отставку, – и где тогда вся их ответственность?... Как же можно оставить Россию без верной преемственности? Как сможет Государь смотреть на легкомысленную деятельность таких людей – и притворяться, что не он, монарх, отвечает перед Богом и Россией, но думское голосование? Если он уже ограничил в Девятьсот Пятом свои права или ещё ограничит их сейчас – вся ответственность всё равно остаётся на нём.

А Рузский как будто открыто начинал выходить из себя – и начинал говорить тоном, будто перед ним не Государь вовсе. Он стал называть многие – действительно неудачные и несчастные назначения за последние годы на многих министерствах, – от внутренних дел, иностранных, юстиции, до военных и обер-прокурора Синода, – и Государь слушал и сам

ужасался, как много верного было в его упрёках и как много, правда, неудач.

Но разве делил с ним когда-нибудь Рузский или Алексеев, или любой громогласный общественный критик, или вообще кто-нибудь, кроме верной жены и покойного Григория, – это мучительное перебирание имён, жгучий многодневный поиск в людской пустоте, когда, кажется, голова уже лопаётся, а кандидатуры всё не приходят! Да наконец: а все кандидаты, которых предлагало общество, – чем они были способней, или приспособленней, или опытней, чем выбранные царём? Да ни в чём и никто. Государь тут же перебирал их перед Рузским и доказывал, как они не умны и не опыты. Нет в России сейчас таких общественных элементов, которые были бы подготовлены к делу управления страной и способны исполнять обязанности власти.

А Рузский утверждал, что – есть, и много.

Но Рузский, кажется, не пытался ничего понять в глубину. Он – и не уговаривал Государя. Он просто – ставил перед ним со всех сторон, что никакого другого выхода – нет.

Вот как... Почему-то сложилось, что именно они двое, в одном разговоре, над столиком поездного кабинета, и во Пскове – должны были решить судьбу России.

Стеснённый Государь стал ощущать с неумолимостью, что и не уступая – он уже уступает.

Он курил, курил, через свой любимый пенково-янтарный мундштучок, и гасил половинные недогоревшие папиросы, и тут же зажигал новые.

Да, вот как он соглашается: пусть Родзянко формирует кабинет и берёт кого хочет, но четырёх министров – военного, морского, иностранных дел и внутренних – будет назначать и контролировать сам Государь.

Ни за что! – возмущался Рузский как имеющий право на возмущение и с тем же тоном учительным: в таком виде – это не согласие. Растревоженная гудящая Дума воспримет это как оскорбление! Да и кто ж иностранных дел, если не Милюков? Это значит – прямой отвод Милюкову?

Да Государь готов был согласиться и с Милюковым, он – запас оставлял из предусмотрительности, чтоб не так уж сразу много уступить. Он строил загородки потому, что знал за собой эту слабость – слишком быстро и легко уступить.

Хорошо, вот как он соглашается: пусть Родзянко формирует весь кабинет, но ответственный перед монархом, а не перед Думой.

Нет! – с властным оттенком голоса и уже повышенным тоном отводил Рузский.

Тут приехал из города Данилов, ещё насупленной, чем при встрече (он открыто напоминал Государю свою обиду за смещение из Ставки). С новой телеграммой от Алексеева.

Перед опасностью распространения анархии и тогда невозможностью продолжать войну, ради целостности армии и России, Алексеев усердно умолял Его Величество соизволить на немедленное опубликование манифеста – проект которого тут же телеграфно и прилагал, они выработали его в Ставке. (Сидели и выработывали не порученное им!)

А в манифесте стояло: для скорейшего достижения победы – вот это самое министерство, ответственное перед представителями народа. И чтобы сформировал его именно Родзянко – из лиц, пользующихся доверием всей России.

Как застеноч обступал Государя, всё тесней.

А если от этого именно и возникнет анархия?...

Но не согласиться с Рузским, не согласиться с Алексеевым, не согласиться с Брусиловым, – так что же надо делать: менять всё главнокомандование?

Тоже – в разгар войны... И – тем более нет сил.

Да, вот лежал вполне готовый манифест, очень понятно и даже трогательно составленный: о верных сынах России, объединившихся вокруг престола; что Россия несокрушима как всегда и козни врагов не одолеют её.

Оставалось только подписать.

Манифест лежал тем убедительный, что уже составленный. Николай боролся с

облегчительным искушением: сразу взять – и подписать. Раз это нужно для блага России – как же не подписать?...

О, с октября Пятого года знал Николай этот дьявольский соблазн: такой по виду простой шаг, только подписать – и на миг насколько станет легче! Знал он, по 22-летнему царствованию, это манящее блаженное облегчение, которое наступает всегда после уступки, в первый момент.

Да и ему самому при ответственном министерстве – насколько меньше забот! Насколько легче станет собственная жизнь.

Но и слишком же помнил Николай ту роковую уступку Пятого года: с тех пор всё и пошло худо. И именно **это** он и уступил тогда. Ещё и сейчас болел в нём тот Манифест.

О, где взять сил этому сердечному кусочку одному застрять на склоне и удерживать собой лавину?

Только: откуда же у глупого Родзянки возьмётся такая прозорливость? Как же он будет искать этих лиц, каждое из которых пользуется доверием всей России?...

– Нет, – возразил Государь генералу мягко, даже робко. – Нет. Не могу. – И скорее смягчил: – Пока...

Рузский сильно покислел. Но, с новой надеждой: может быть, можно пока сообщить в Ставку и в Петроград, что Государь, ещё не подписав, согласен на такой манифест *в принципе* ?

Нет. Пока нет. Подождём. Не сразу.

Но об армии, духе войска и России – о ком же ещё? – хлопотал и Рузский.

– Если нет, – жёстко выговорил он, – какие другие меры? На что вы надеетесь, Ваше Величество? Если нет – значит, надо и дальше вести войска на Петроград. И вы берёте на себя страшную ответственность: что впервые в истории нашей армии русские войска вступят в междуусобицу?

Государь содрогнулся. Верность и сила этого довода поразила его. О, только не это, правда! Уже довольно ему на памяти – несчастной, непредусмотренной стрельбы 9-го января и липкой клички «Кровавый», которой метили его левые. После **того** дня он - не имеет права приказывать русским войскам стрелять в русских...

О Боже, какая мука и какая безвыходность! Пыточный застеночек стискивал грудь Николая.

Так может быть, – предлагал Рузский, видя успех, – пока заказать на ночь прямой аппаратный разговор с Родзянкой? Сговориться, когда тот сможет прибыть к аппарату?

Ну, что ж. Это можно. Это неплохо. Раз он не смог приехать сюда.

Послали Данилова снова в штаб, уговариваться с Петроградом.

А манифест – лежал перед Государем и звал к подписи...

А Рузский – безжалостно, не давая ни времени, ни отступа, – наседавал. Требовал. Немедленно и честно объявить определённое решение, пока от беспорядков не всколыхнулась армия.

И Верховный Главнокомандующий, император – вскидом головы и стекшим измученным лицом просил у него пощады:

– Я должен подумать. Наедине.

Рузский недовольно ушёл в свитский вагон, дожидаться.

И остался Николай – над безысходным манифестом. Остался, никем не подкреплённый, незащищённый, один.

И подпирал голову, чтоб не упала. И почти грудью рухнул на эту бумагу.

Все – сошлись. Все, едино и в круговую...

О, как нужна была ему голубка Аликс сейчас – чтобы посоветовала. Чтобы направила.

Да ведь она и писала уже в телеграмме, что нужны уступки? Поймёт ли она, что такая уступка была неизбежна?

О, каково ей! Каково ей – переживать все эти события одной!...

Нет, нет! Подписать такую бумагу – значит изменить долгу императора.

Подписать такую бумагу – значит, отменить в России извечный монархический принцип и кинуть страну во все зыбкие колебания парламентарного строя. А то и прямо в анархию.

А заодно – изменить и своему сыну. Нет, *этого* Аликс не могла бы одобрить!

Да что же такое произошло, что в один день он должен уступить монархию в России?

А какой выход? Слать войска на междуусобицу? И уволить всех старших генералов?

О Боже, какая пытка! – и Ты послал мне её в одиночестве.

А когда в своей жизни Николай был волен решать? Всегда он был сжат обстоятельствами и людскими требованиями.

А может быть – этого и требует благо России? И – прости их всех Бог? В доброй уступке – какое сердечное облегчение!...

Что ж, пусть эти умники составят свой кабинет? Посмотрим, как они потрудятся и как справятся.

О Боже! Дай силы, дай разум.

286

Тонко отзывчивая Лили Ден, как помогающий беззвучный ангел, оказывалась то около больных детей, то близ государыни в самые нужные минуты. С Аней всегда были капризы, претензии, а сейчас, больной, ей не говорили о Петрограде, – эта была вся слух и помощь, только ей и могла государыня говорить как самой себе.

– Итак, Лили, всё положение в руках Думы. Будем надеяться, что теперь-то они очнутся и сумеют что-то исправить.

Навстречу ожидаемым двум депутатам выслали на станцию две придворных кареты.

Но кареты воротились пустыми: депутаты пренебрегли дворцовым приглашением и ожиданием, сели в автомобиль мятежников под марсельезу и поехали в ратушу произносить перед гарнизонным собранием речи – очевидно в духе революции.

Кареты вернулись пустыми – но и это унижение приходилось снести. И императрица попросила коменданта Гротена – генерала-совершенство, все часы спокойного, уверенного, точного, подлинного военного человека и главную сейчас защиту, – поехать в ратушу и всё же просить депутатов приехать во дворец и подбодрить охрану.

Гротен поспел к концу собрания, где депутатов встречали восторженно. Депутаты разумно возразили ему:

– Генерал, что мы можем сказать вашей охране? Что царского правительства больше нет, а надо подчиниться Государственной Думе? Каково будет ваше положение? Если мы приедем к вам – это будет значить: вы подчинились Думе.

И Гротен – не нашёлся, не уполномочен был, что ответить. Вернулся спросить государыню.

Смысл приезда депутатов оказался совсем не обещанный. Из ратуши они поехали по казармам восставших полков – впрочем, кажется, с успокоительными заявлениями, что задача – сохранить фронт.

Впрочем, уже и установился какой-то нейтралитет: мятежный гарнизон не подступался и не трогал дворцовой охраны.

Зато Гротен привёз петроградский листок с совершенно невероятной вестью: будто вчера Собственный Конвой в полном составе явился в Думу. Это был вздор, потому что – не только о благородных конвойцах, но и потому, что две сотни были здесь, во дворце, верны, никуда не уходили, а две – в Могилёве, при Ставке, и не могли попасть в Петроград. В Петрограде была всего лишь полусотня и нестроевая команда.

Однако! – подумала тревожно государыня: если эта изменническая весть достигнет Государя, то ведь он может и поверить, ибо ничего не знает о царскосельских сотнях. О Боже, как быстро, за сутки, нарастает лавина невысказанного и непонятого! Какой ужас!

Тем временем – как метеор появился и пронёсся великий князь Борис. Он как бы

ужасно торопился, и был бледен, и кусал губы, и всё сообщение его состояло в том, что его срочно вызывают в Ставку, и оттого он ничего не может сделать тут, и все подчинённые войска его там.

Трус. Государыня презрительно отпустила его. На этого «казачьего атамана» она даже не обиделась, от него и не ждала ничего доброго. Она даже удивилась, что он вообще приехал отметить.

Но – Павел? Но куда же опять делся Павел? Ведь он обещал утром встречать Государя – вот не встретил – отчего же не забеспокоился, не приехал, и что ж он будет делать с гвардией?

Он – не ехал, не давал о себе знать. И опять государыне приходилось первой. Хотела послать князя Путятина, но оказалось, что Путятин – сам уехал к Павлу?...

Всё разъяснилось вскоре – уже вечером, но ещё перед обедом. Вернулся князь Путятин, и вместе с Бенкендорфом и Гротеном просили приёма. Великий князь Павел Александрович действительно утром ездил на вокзал и не встретил Государя, но ещё ранее того, прошлой ночью, он с семьёю вынужден был скрываться в чужом доме, опасаясь разгрома своего незащищённого дворца. Великий князь готов хоть сейчас ехать в Ставку и в гвардию на фронт – но не смог бы проехать через Лугу, где тоже начался мятеж. Однако более того, великий князь взволнован дошедшими до него слухами, что думские круги готовят регентство Михаила.

Это ещё что? Ничего подобного государыня не слышала! Что за вздор?

И, подгоняемый такими слухами, все эти часы великий князь Павел изыскивает пути спасти трон Государю.

Спасти?? Трон нуждается в спасении???

Великий князь составил и предлагает проект манифеста, который бы должен подписать Государь – и всё спасено, и все удовлетворены. Но пока Государя нет – быть может для успокоения общества его подпишет государыня? Как бы для заверения?

Государыня с изумлением взяла бумагу. Единственный ещё живой сын Александра II, убитого террористами, – и один брат убит террористами, а ещё один едва избежал той же участи, – после всего резкого, что он выслушал вчера от государыни, и вместо того чтобы ехать приводить подчинённую ему гвардию – как же он заглаживал? что же он предлагал?

В возвышенных сбивчивых выражениях какая-то совершенно идиотская бумага: будто Государь всё время только и намеревался ввести ответственное министерство, но прежние министры препятствовали. А сейчас, в скорби, что столицу постигла внутренняя смута, но уповая на помощь Промысла Божьего, – он единым мановением предоставляет государству российскому конституционный строй и предлагает председателю Государственной Думы составить временный кабинет министров, а дальше будет законодательное собрание и новая конституция.

Но Александра Фёдоровна, несмотря на возбуждение, бессонницу и волнение, сохраняла государственную ясность ума, как всегда. Ей сразу была видна и фальшь этого неуклюжего движения, ничем не оправданного, – и степень капитуляции, которую не смел великий князь приписывать Государю. Ни даже – сама бы она не решилась так посоветовать, хотя размах событий убеждал её, что какие-то уступки теперь неизбежны.

С разочарованием она отложила бумагу. Не может быть даже и мысли такой глупой, чтоб она подписала.

Однако она почему-то не рассердилась на Павла, а даже пожалела его. Бумага была – фальшивая, но порыв Павла – искренний: он действительно хотел спасти трон Государю. Он – не сносился тайно с Родзянкой, как очевидно сносился Михаил, откуда и слухи о регентстве. Павел проявил себя неумно, но преданно, – и государыня больше не сердилась на него. Безумная затея – но и благородная.

Ужасные текли часы – часы поразительного безвестья! Где находился Государь – неизвестно, и это самое ужасное. Где он, в какой точке, – она всегда знала. (И когда совершал поездки по фронтам – предупреждал её о маршрутах. Она даже по часам следила,

что он может делать в течение дня.) Но сейчас – и связи со Ставкой не было. Осталась единственная связь с Зимним дворцом – она ничего не могла дать. Установили только достоверно, что толпою разгромлен и сожжён дом Фредерикса, а бедная семья его в конногвардейском госпитале, жена – без памяти.

Всю жизнь Александра жила с Ники неразрывно, двадцать лет всё делили пополам, крупное и мелкое, утешительное и тяжёлое. Когда-то отъезд его в Италию на короткий срок казался кошмарной трагедией. Ей – всегда было неестественно, что он уезжает, буквально каждый его отъезд был ужасным терзанием, – видеть его большие грустные глаза при расставании. Она ненавидела быть в разлуке! (Сейчас она с содроганием проходила сиреневую комнату, где они так уютно сживали вместе.)

С тех пор как Государь возглавил Верховное Главнокомандование – он часто должен был оставаться в Ставке, впервые на 21-м году они провели порознь и день сватовства и день рождения. (Одно время она уговаривала его перенести Ставку ближе к Петрограду, чтобы видеться чаще.) Да, эта разлука, цепь разлук – была их личная жертва, которую они приносили своей бедной стране в это тяжкое время.

Но более, чем за себя, – Александра во время разлук страдала за него: она мучилась *его* одиночеством, как *он* переносит разлуку, и особенно, когда ему выпадают тяжёлые испытания: он может размякнуть, потерять веру в себя, все вокруг там всегда дают ему дурные советы и злоупотребляют его добротой, а он истомляется от этих внутренних вопросов. У каждой женщины в её чувстве к любимому есть что-то материнское. Александра – будто носила Ники в себе, в своей груди. Это Господь так устроил, Он желает: чтобы бедная жёнушка помогала ему. Что она советовала ему – она не считала своею мудростью, но инстинктом, данным ей Богом. Она – всегда была способна его подбодрить, всегда была способна вдохнуть в него веру. (Те, другие, потому и боялись её влияния, что у неё упорная воля, и она лучше других видит насквозь.)

Так и сегодня: она, может быть, что-то могла бы предотвратить, – а вот вынуждена была метаться здесь, и даже не знала его точки нахождения, не то что обстоятельств, – и тоска глодала сердце.

За обедом – с Лили и одной здоровой Марией – почти не ели.

Уже становилось слишком мучительно притворяться перед детьми и скрывать от них. 18-летняя Мария достаточно уже и сама видела, урывками слышала, поняла. А старшим, лежащим в тёмной комнате, да и Бэби надо было постепенно объяснять, подготавливать их.

Ещё днём были какие-то глухие слухи, что едет сюда из Ставки генерал Иванов с войсками. Не верилось. Но поздно вечером вдруг сообщили со станции – что он приехал, уже здесь!

Боже, какая радость, слава Тебе, благодарение Тебе! Боже, какая внезапная радость! И – узнать про Государя! (Да может и сам Государь следом за ним?) И – помощь, защита.

Как чувствовала! – как чувствовала, как она всегда любила этого генерала, называла его «дедушкой», советовала брать в Ставку, советовала в военные министры, – как бы он умел захватить сердца Думы! Как тактично было со стороны Ники послать именно Иванова!

Государыня распорядилась мчать на станцию и звать генерала сюда!

287

До станции Царское Село поезд дошёл благополучно: никто не стрелял, никто не задержал.

Уже давно стемнело, и было тем более опасно.

Генерал Иванов распорядился георгиевскому батальону: никому из состава не выходить, всем быть в полной готовности, но внутри. Сам же послал за начальником гарнизона и комендантом города.

Те явились весьма расстроенные, обеспокоенные, и подтвердили все худшие сведения: что гарнизон не подчиняется им, находится в брожении, а слушается – своих *комитетов* .

Вот как...

Однако и серьёзных мятежных выступлений тоже ещё не было. И сегодня были тут члены Думы, успокаивали. Все трактирные заведения разграблены – и в таком количестве, что не только хватило гарнизону, но корзинами вина и питей встречаются разные новоприбывающие части, группы, военные грузовики. Из Петрограда с Путиловского завода приехали и броневые автомобили с пулемётами и солдатами, возможно – для враждебных действий против Дворца.

А что вообще в Петрограде?

В Петрограде никакого сопротивления уже с середины вчерашнего дня. Все боевые действия закончились.

Итак, с одной стороны высадка георгиевского батальона была безусловно опасна. А с другой стороны, поскольку явного мятежа в Царском Селе не было, гарнизонное начальство могло справиться и само.

Царскосельский дворец? Но его охрана не входила в прямую задачу генерала Иванова, его задача была более общая.

И потом: прямое столкновение близ дворца могло бы косвенно угрожать царской семье.

К счастью, революционные отряды пока не нападали на прибывший эшелон. Но в темноте, в глубине, происходили какие-то перемещения, такое было впечатление, что станцию окружают. Слышались и пьяные песни издалека.

Да Николай Иудович по своему опыту мог представить, что это значит, когда четыре вооружённых полка перепились.

Что предпринять – была головоломка. В таких необычных обстоятельствах Николаю Иудовичу ещё не приходилось действовать.

Тут доложил генералу прибывший младший офицер Тарутинского полка: полк весь прибыл, в полном составе и в боевой готовности, находится в 5 верстах отсюда на станции Александровская. То есть по лужской ветке.

Вот как? И давно?

Да уже с утра.

– И никто на вас не нападал?

Нет. Полк находится от Петрограда по своей ветке в 20 верстах, готов двигаться дальше эшелонами, готов немедленно выгружаться и идти маршем.

– Ни в коем случае! – решительно озабочился и запретил генерал Иванов. – Ни в коем случае, не возбуждайте народ! До моего особого распоряжения всем оставаться в эшелоне.

А как они проехали?

Через Гатчину.

И Гатчина их не задержала? Большой там сейчас гарнизон?

Тысяч двадцать, все лояльные и тоже могут быть позваны на помощь.

Так-так. Хорошо. Но пока оставайтесь в эшелонах. А ко мне прикомандируйте связь.

Генерал раздумывал. Прибытием Тарутинского полка и лояльностью гатчинского гарнизона его личная задача даже осложнялась: ему как будто следовало бы передислоцироваться к своим главным силам – но это было 5 вёрст в сторону по тёмной неохраняемой дороге, – а как же бросить георгиевский батальон?

Военные действия, когда их ведёшь не против истинного неприятеля, а в собственной родной стране, могут создать исключительно сложное положение.

Но! – у них есть и такая счастливая особенность: возможность прямых сношений с так называемым противником. Не успел Николай Иудович достаточно нахмуриться над картой, как к его вагону подошли и просили быть представленными полковник Доманевский и подполковник Тилли. Вот как! О первом генерал слышал, тот служил в гвардии на высоких должностях, а второго Николай Иудович и прямо знал по Юго-Западному фронту. И прибыли они не от себя, это не случайные были какие-то офицеры, – но через мнимую, так сказать, боевую линию они были присланы своим начальством – начальником Главного

управления Генерального штаба генералом Занкевичем.

– Генерал Занкевич – на месте? – обрадовался Иудович.

Конечно, отчего бы нет. На месте и весь состав Главного штаба.

Ну, тогда это совсем не было похоже на бунт.

Генерал Иванов весь день сегодня ехал как бы навстречу тёмному горизонту – события были непроницаемо заслонены от него, а он от них. Теперь же оказывалось, что о его движении на Царское Село было прекрасно известно в Петрограде, – и вот, полковник Доманевский послан к нему ни более ни менее как в качестве его начальника штаба, помочь генералу Иванову в его командовании Петроградским военным округом и разъяснить обстановку.

Так это замечательно! Отпадал заслон враждебности, по обе стороны оказывались дисциплинированные офицеры одной и той же армии!

Но более того и лучше того: эти два офицера одновременно присланы также и по поручению Временного Комитета Государственной Думы.

Каким же образом? так это всё, значит, – одно?

Да, да. При Думском Комитете действует Военная комиссия, и генерал Занкевич поддерживает с ней постоянную связь. И вот все они совместно прислали этих двух офицеров добросовестно разъяснить новоначиненному диктатору, каково состояние в Петрограде, полностью ориентировать его в петроградских событиях.

Очень замечательно.

Так вот, в Петрограде уже все полностью – за Временный Комитет Государственной Думы, никакой борьбы уже нет. Даже Гвардейский экипаж с великим князем Кириллом Владимировичем сегодня отдали себя Думе, и даже Собственный конвой Его Величества присылал делегатов, и охрана царкосельского дворца тоже. Многие офицеры властью Государственной Думы уже вернулись в свои части и беспрепятственно командуют ими. Хабалов и часть министров арестованы. Борьба вся окончилась, и восстановить прежний порядок военной силой уже трудно рассчитывать. Но это и не требуется, потому что Думский Комитет верен монархическому принципу и продолжению войны. Поэтому, вот, все высшие штабы и военные чины столицы продолжают спокойно работать, признавая Думский Комитет. А всем распоряжается – Родзянко.

Генерал слушал, изумлялся, одновременно и облегчался: его сложнейшая задача вот уже почти перестала и существовать. Родзянко? Ну, на поверхности Родзянко, а за его спиной, конечно, Гучков, и председателем совета министров станет, конечно, Гучков. (А у генерала Иванова с ним втайне весьма добрые отношения.)

Так что, объясняли присланные офицеры, вооружённая борьба только испортила бы всё положение. А наиболее разумно для нового Главнокомандующего Петроградским Округом – поддержать умеренный Думский Комитет против непомерных претензий Совета рабочих депутатов.

Ах, ещё и – рабочих депутатов? Нет, это всё было не так ясно. Нельзя было давать никаких обещаний – но и с другой стороны нельзя портить отношений с новой властью.

Но и Его Величеству нельзя было не угодить.

Ах, попал! Ах, сложное положение.

Ясно, что Петроград – это силища, там чуть не 200 тысяч гарнизону, – что можно сделать с одним батальоном, к тому ж и без боевого настроения, из парадной ставочной охраны?

И больше того: оставаться на ночь в Царском Селе в пьяном революционном окружении тоже крайне опасно, генерал слишком высунулся вперёд.

Наружно Николай Иудович не дал почувствовать своей тревоги приехавшим офицерам – его широкобородое широколобое простодушное лицо прикрывало такие подробности.

Но предусмотрительная мера гарантировала его: сзади был прицеплен паровоз головой назад.

Дворец? Прямых указаний защищать дворец он не получал от Государя. Да чем более

тут узнавалось – раз уже и дворцовая охрана посылала своих депутатов в Думу, значит уже все помирились и никаких столкновений не предвидится.

Но за всеми этими разговорами и выяснениями прошёл не один час. И слух о прибытии эшелона распространился по Царскому Селу, достиг дворца, – и вот оттуда приехал офицер и подал генералу Иванову телеграмму от генерала Алексеева, на дворцовый телеграф пришедшую ещё рано утром и лежавшую там.

Телеграмма № 1833 была длинная, и генерал ушёл читать её в свой кабинет, да чтоб и обдумать спокойно. Телеграмма эта могла ещё очень осложнить положение. Но нет, но к счастью нет! Напротив, всё совпадало с тем, что доложили ему благоразумные полковник с подполковником. Алексейев тоже сообщал, что в Петрограде – полное спокойствие, войска примкнули к новому правительству, а правительство – к монархическому началу. И если все эти сведения верны – а они были верны, генерал Иванов уже убедился, – то изменяются способы действий: к умиротворению, избежав позорной междуусобицы. Дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит Россию.

Ну – совершенно же правильно! Ну – так и есть! Так и предчувствовал Иудович! Вот что значит боевая опытность! – как правильно он вёл себя, ни на чём не оступился, будто предвидел эту телеграмму.

Теперь – всё было легко, переговоры вести – это не воевать.

А переговорам нисколько не мешает, если на эту ночь отъехать назад в Вырицу.

И, ещё чуть выдержав характер, собирался генерал отдать такое распоряжение, – как приехал ещё один гвардейский офицер из дворца, передать: императрица вызывает генерала к себе.

Ах, некстати! Ах, не успел уехать!

И в новых обстоятельствах это может бросить на него пятно.

А в старых обстоятельствах – не поехать никак нельзя.

Да ведь не брать же с собой батальон – а как ехать по улицам Царского, пока эти пьяные разбойники спать не улегли, не успокоились?

Надо было ещё немного повременить.

Опыт полувековой службы подсказывал, что пока, прикрывая некоторую недостаточность своих боевых действий, неплохо составить приказ. Что генерал прибыл в Царское Село и имеет здесь местопребывание своего штаба.

* * *

Товарищи Солдаты!

... Для того, чтобы вас не обманули дворяне и офицеры – эта романовская шайка, возьмите власть в свои руки! Выбирайте сами взводных, ротных и полковых командиров... Все офицеры должны быть под контролем ротных комитетов.

Принимайте к себе только тех офицеров, которых вы знаете, как друзей народа.

Солдаты! Теперь, когда вы восстали и победили, к вам приходят вместе с друзьями также и бывшие враги-офицеры, которые называют себя вашими друзьями.

Солдаты! Лисий хвост нам страшнее волчьего зуба!

... Ваши представители и рабочие депутаты должны стать Временным Революционным Правительством народа, и от него вы получите землю и волю!

Солдаты! толкуйте об этом по ротам, по батальонам! Устраивайте митинги!

Да здравствует Совет Рабочих и Солдатских Депутатов!

Петербургский Межрайонный Комитет РСДРП

Петербургский Комитет Социалистов-Революционеров

Всю войну от самого начала, и от знаменитой Тарнавки – до января этого года штабс-капитан фон-Ферген пробыл в строю лейб-гвардии Московского полка, во главе своей 14-й роты, преданной ему, не пропустил ни одного боя, ходил во множество атак, вылазок, разведок, застигался всеми обстрелами, обсвистывался всеми пулями, среди строевых офицеров не осталось ни одного не раненного, а он – ни царапины не получил. На суверенный фронтной глаз это было уже прямое чудо, за пределами всякой вероятности. И в январе командир полка генерал Гальфтер вызвал Фергена и сказал:

– Не считаю себя вправе, голубчик, испытывать дальше вашу судьбу. Такого офицера я хочу сохранить. Поезжайте вы на несколько месяцев в запасной батальон, поучите там. Всё равно кому-то надо.

И Ферген прибыл в Петроград, и получил 4-ю роту, в полторы тысячи человек. И даже эта неохватная текучая рота быстро узнала его невозмутимость, нераздражимость, непридиричивость по мелочам, даже и кротость. И немецкого не было в нём ничего, кроме фамилии. И так ничего враждебного солдаты не высказали ему и в дни мятежа, когда он вернулся со своим караулом от Сампсоньевского моста, – приняли его ночевать в ротном помещении эти две ночи. И вчера вечером рота ещё раз избрала его снова своим командиром – и сегодня пошёл бы он с батальонным шествием в Государственную Думу, если б не ответил резко о красных тряпках.

Но тряпки – оставались на солдатских грудях и рукавах, – и что теперь было дальше? как?

Только и оставалось, в разорении души, что забыться дневным сном.

И проспали они с Нелидовым – в вечер, в темноту.

Вдруг проснулись от грозного стука в несколько кулаков в дверь и непрерывного электрического звонка.

Сразу поняли: плохо. И уже ничем не загородиться. И не открыть нельзя.

Надели сапоги, Нелидов сам прохромал к двери и открыл.

Ввалилась ватага солдат, с десятком, с ними и рабочие. И лиц знакомых не находил ни один из ротных – какой же проходной двор сделали из батальона!

Но те не вслепую пришли, знали за кем. Фергену сразу ткнули пальцем в грудь: отказался командовать ротой.

Что ж, возражать, что не отказался?... Смолчал.

Сейчас отведут в Государственную Думу.

Это ещё хорошо, в Думу. Но очень злобны были лица и голоса.

К Нелидову стали придираются так: а его – признала рота командиром? а почему он здесь?

Выскочил подвижный Лука:

– Идите в роту, проверьте.

Но они, толпясь, стали будто оружия искать по комнатам, и взяли нелидовский револьвер (Ферген оставил свой в роте), – а тем временем открыто хапали по карманам, что ценное где лежало.

– Собирайтесь! – скомандовали Фергену.

И что делать – придумать было нельзя.

Нелидов и Ферген обнялись и поцеловались.

– Прощай, – шепнул ему Ферген. – Меня – убьют.

Он чувствовал, что губы его леденеют, будто он уже и кончался.

– Прощай, Саша, – не оспорил Нелидов.

Ничто не было объявлено, ничто не сказано прямо, – но ясное ощущение наступившего

конца овладело Фергеном, как не бывало ни при одном подлетавшем снаряде.

Да к концу он был давно готов – но почему же здесь? но почему от своих?

Зацепился, споткнулся на пороге.

А снаружи, при фонаре, завывала сплотка рабочих со штыками – и не светло, и некогда лиц различить, а звериная маска.

– Пошли! – показали ему к воротам на Сампсоньевский.

И он пошёл в окруженьи беспорядочного конвоя – не военной команды, где подчиняются одному, а каждый вёл и кричал, как хочет, – и подправляли его штыками.

На воротах не было ни часового, ни начальника караула, никто не остановил их.

Не боялся Саша Ферген смерти – но почему от своих?

С небывалой скоростью проносились – отец и мать (а ещё он не женат был), неправдоподобные уцеленья на фронте, торжество производства в офицеры, поздравляющий Государь с любезной улыбкой, дальше, кадетский корпус...

– Так красные тряпки не нравятся, сволочь? – кричали.

Остановились, уже никуда не вели. Штыками заставляли поворачиваться, поворачиваться – показать себя и всех увидеть.

Сюда достигал свет воротных фонарей. Во все стороны была ровно-злобная оскаленная чёрно-серая толпа. Но ничего не сказал и не увидел больше – кольнуло внутри насквозь, как при простуде в лёгких, – и оглушило по голове ударом.

Его погасшее сознание уже освободило его знать, что тело, подпырнутое несколькими штыками, ещё подняли с земли на воздух, на показ – и толпа радостно гоготала.

289

Если вспомнить всю 58-летнюю жизнь Павла Николаевича, его славную научную деятельность, затем перенесенную на общественную арену; знакомство с Западом и даже с Америкой и сыгранную там роль провозвестника грядущей русской революции, успешные, сильно повлиявшие лекции и книги – о неизбежности гибели русского самодержавия, – этот широкий западный кругозор, при котором особенно хорошо видны общие слабости России; и потом со славой «неистового революционера» возврат в Россию в самые зыбкие передвижные месяцы 1905 года и сразу погружение в политику (верно пророчили ему, что он станет историком падения русского самодержавия, но он рвался стать и участником этого падения!); и в русской первобытной политической недифференцированности нащупывание опорных пятей, очерчивание разделяющих границ, собиранье единомышленников, так и расплывающихся влево; и жестеюющею рукой формирование кадетизма как идеологии, как движения, как партии – той самой, которой предстояло держать на себе будущую конституцию, партии с твёрдой дисциплиной и самой левой из аналогичных ей западноевропейских; и в ответ на уступки царского манифеста 17 октября найти удачное соединение либеральной тактики с революционной угрозой, никогда не допустить публичного осуждения террора, быть готовым и нещекотливо отнестись к физическим средствам борьбы, добиваясь немедленного устранения захватившей власть в России разбойничьей шайки; и в том самом октябре 1905 выдержать вступительный экзамен на лидерство среди кадетов, а последние годы и лидерство в Прогрессивном блоке. Если всё это вспомнить, то можно сказать, что никто во всей России не был так подготовлен к нынешнему сотрясению страны, пониманию и управлению ею – как Милюков.

Процессу русской политической борьбы он отдал всего себя. Всю свою личную жизнь он растворил в сизифовой работе политики (так что редко доставалось отдохнуть со знакомой в коротких европейских прогулках). И – никогда не менял убеждений.

Уже и первая революция при своём конце стелила Милюкову путь стать министром, если даже не премьер-министром. Уже приглашался он на переговоры то к Витте, то дворцовым комендантом Треповым в ресторан Кюба, то и Столыпиным на Аптекарский, уже реально взвешивались его условия и докладывались царю, – и он тогда бы уже получил власть, если б не уклончивость царя, коварство Столыпина, честолюбие Муромцева и болезненная добросовестность Шипова, углядевшего в Милюкове самодержавные навыки и слабость религиозного сознания, – тоже, оказывается, регулятив для занятия министерского поста. (Заплесневелое славянофильство: «не учреждения, а люди», «не политика, а мораль» – подозрительные формулы, маскирующие реакцию.)

Нечего и говорить, как вырос Милюков ещё за последние годы, такое уникальное положение занял, что не было ему противников, соперников, конкурентов, кто в комплексе мог соревноваться с ним и политической опытностью, и дискурсивным мышлением, и умением руководить. Маклаков мог посверкать в ораторстве, в юрицизме, но не был приспособлен к практическим битвам, не имел ни железной груди, ни каменных ног. Огнестрастный оратор Родичев, впрочем губернского масштаба, насмешливый парадоксалист Набоков, отточенный формулист Кокоскин бывали незаменимы каждый на своём мастном месте, на думской трибуне или за кропотливой подготовкой документов, но не могли бы претендовать на партийное лидерство. Пылкий Аджемов, трудолюбивый Шингарёв были только отдельными лучами, идущими от Милюкова. Лишь Петрункевич и Винавер могли ещё претендовать на место лидера, но в результате Выборга вышли из колеи. (Да само Выборгское воззвание помогал им сочинять тоже и Милюков. Да и перед подписаньем это он убедил их не отступать.)

Так всю свою жизнь, опытом многих манёвров, как нельзя лучше был подготовлен Милюков и ко всей наступившей теперь бурной ситуации и к держанию штурвала государственного корабля. Но – более всего и особенно он был подготовлен к переговорам с социалистами, какие предстояли ему сегодня ночью. Его главная книга, выпущенная в Соединённых Штатах, как раз и доказывала эту мысль: что только сближение русских либералов с русскими социалистами принесёт России политическую свободу. Это была его излюбленная, давняя и даже коронная мысль. Для осуществления её осенью 1904, во время японской войны, Милюков отправлялся на парижскую конференцию совместно с русскими социалистами и террористами. Первый же общественный доклад, на котором Милюков триумфально вплыл во взволнованное русское общественное море 1905 года, трактовал о союзе конституции и революции. Его постоянной мечтой было – стать идейным руководителем левых, высшим указателем их пути. Зорко следя за чёткостью своих границ справа, Милюков всегда добродушен был к расплыванию границ налево: хотя бы и вовсе не было их, этим и достигался бы прочный союз с социалистами для овладения государством, – они сольются в борьбе с режимом.

Увы, нетерпимость социалистов уже сколько раз эту надежду разрушала! Даже благоразумные меньшевики, которые нередко занимали конкретную позицию ну вполне же кадетскую, – всё равно из предубеждения, из стыда всегда отшатывались как от *буржуазии*. Нечего говорить о большевиках, проектирующих геометрические линии в будущую пустоту. А эсеры, старые друзья Милюкова, со столыпинских лет всё более слабели, прилбеднялись, растворялись. Выбор характера взаимных отношений почему-то всегда принадлежал левым – и они всегда выбирали резкое обидное отталкивание. Перед фронтом левых всегда была опасность дискредитировать себя умеренностью, – но никакую смелостью невозможно было заслужить у них похвалу. Однако Милюков никогда не уставал терпеливо убеждать левых и наводить мосты. Даже перед лицом декабрьского вооружённого восстания 05 года он повторял, что кадеты не отделяют себя от общего дела, не ждут октроированных царских хартий,

хорошо понимают и вполне признают верховное право революции, – но всё же нельзя революцию обоготворять: революция всё-таки не цель, а средство для завоевания власти, а это завоевание допускает и другие пути.

Тем обиднее и опаснее была эта постоянная трещина недоверия между кадетами и левыми, что главная опасность всему обществу грозила всегда от правых и черносотенцев, и тут недостаточно государственного анализа, но только тот может понять силу угрозы, на кого самого поднимались их грязные руки. В окне, противоположном милюковскому кабинету, производились какие-то таинственные приготовления, которые объясняемы были приятелями как установка огнестрельного оружия для выстрела в него. Затем было получено телеграфное сообщение, что на германской границе задержан некий фельдшер, чёрный боевик, ехавший с поручением убить Милюкова, Гессена, Грузенберга и Слиозберга, – так что правительственные агенты приходили некоторое время аккуратно высиживать на кухне, охраняя личность Милюкова. А затем-таки на Литейном наскочил на Павла Николаевича плотный молодец мещанского типа, нанёс два удара по шее, сбил котелок и разбил очки. Серия покушений грозила продолжаться, но Павел Николаевич отправился в заграничную поездку.

И вот, 11 лет спустя, по-новому возникла в России всё та же ситуация и всё те же сгущённо-острые вопросы. И – революция с её бурным колыханием, – эта страшная и красивая гроза, в которой рождается новый строй. И неповторимое соотношение сил, что в заслуженные руки кадетского вождя сами тянулись правительственные возжи. И – правая царистская контрреволюция, наступающая озверелыми эшелонами Иванова. И – опять непонимание, недоверие, настороженность левых! – тут же рядом занявших думское крыло, а не желающих соединиться! Между двумя крылами Таврического промелькивали какие-то случайные туманные контакты, летучие сведения, кто-то кому-то что-то сказал, шепнул, – но Совет рабочих депутатов упрямо держался в самодовольствовании, в самонасыщенности, пренебрегая озабоченным думским крылом, что-то там своё решая и устраивая. (Хотя одну ночь Милюков спал на столе под одной шубой со Скобелевым.) И каждый час этого раскола был невероятно опасен, повторяя собой тот раскол революционеров и конституционалистов, который погубил весь 1905 год.

И вот **этот** раскол, **это** непонимание мучили сегодня Милюкова больше всех других озабоченностей дня, тем более что подошло реальное время подбирать упавшую власть: тут, в Петрограде, без всякой санкции негодного монарха, брать власть *de facto*. Временный Комитет Думы уже стал смешным, ничем он не руководил и руководить успеть не мог, и состоял-то наполовину из трухи. (Другую, дельную половину Милюков брал в правительство.) А тут ещё – неуклюжие замыслы увальня Родзянки, его потешные порывы стать диктатором русской революции, его прозрачные намерения сговориться с царём и с главнокомандующими, ехать на неконтролируемую встречу – захватить себе премьерство в общественном кабинете. (Родзянко в эти двое суток стал отыгранной фигурой, устранялся почти шевелением пальца. Такие ли головы Милюков перерабатывал на своём веку! Было время, Родзянко очень годился, чтобы стеснить правых в Думе, и последние двое суток он полезно поработал, но вот уже и отошло.)

А князь Львов сегодня в Таврическом и не появлялся, вся формировка правительства шла без него. Да и лучше.

И второстепенны были все комбинации вокруг отсыхающего императора Николая, жалкий манифест трёх великих князей, который поднесли Милюкову под расписку, а он положил в карман, никому и не показывая. Этому императору, конечно, уже никогда не царствовать, а с большими шансами пойдёт комбинация Алексей-Михаил, и так сохранится монархический балдахин, без которого народ был бы ошеломлён.

Но беспокоило, беспокоило – вот это противостояние с Советом рабочих депутатов. Оно было бессмысленно исторически, ибо первый петербургский Совет рабочих депутатов

был выдвинут на поверхность односоюзниками Милюкова, ими перепрыгивался и по квартирам. И – нелепо практически, в сложной бурной сегодняшней обстановке.

И когда узналось поздно вечером, что Совет рабочих депутатов предлагает переговоры, – Милюков взликовал: это и было создание настоящего фундамента образуемому правительству! Прочней всего будет, если социалисты дружественно войдут в кабинет. Но если и не войдут, то такие переговоры – основа кабинета.

Вот высший смысл ориентировки налево: при правильном обращении с левыми можно, опираясь на них, выйти к власти.

А Милюков – умел вести переговоры!

Он понимал, конечно, что они идут сюда опять с недоверием, опять с предвзятостью – не как к людям просто, не как к своим товарищам, но как к цензовой буржуазии, перед которой нельзя проявить слабости.

Но и Милюков готов был их обхитрить! Он готов был на всё их недоверие, он заранее терпелив был ко всем предстоящим досадным извигам, – важно начать диалог! Сколько пройдено с ними общего в прошлом – это не может не сказаться на переговорах. И не беда, что наступает третья бессонная ночь, – за переговорами Милюков выдержит и третью, и без кофе даже.

Столько пройдено с ними в прошлом, – но с крупными, яркими вождями, а не с этими, которые вот пришли. Из них он давно знал лишь адвоката Соколова, ещё по Союзу Освобождения, – бездарный, ограниченный, только и способный передавать партийные директивы. А остальные были – так, вторая вода партийной публицистики.

Даже разочарование, что против льва кадетской партии придут не видные социалисты – да откуда им в Петрограде взяться? – а так, какие-то.

Ну что ж, не те это были вожди, но обстоятельствами поставлены на место тех. Не именно этих он должен уважать, а вообще левых, вообще революционный подпор, без которого не может выстоять радикальный либерал.

А уж переговоры он вести умеет!

Вбежал в комнату думского Комитета какой-то растрёпанный ошалелый солдат. И, не обращаясь, грубо:

– Вот, нам тут надо приказ печатать. Кто это будет?

Улыбнулись, вежливо ему отказали.

Посмотрел, разинув рот, размахнул рукой:

– Ну, так мы сами испечатаем!

290

Постепенно Исполнительный Комитет – сморился, растёкся, – и никто не получил полномочия вести переговоры с думцами, а просто, кто при деле остался: Нахамкис, не выпускавший пункты из руки, – и Гиммер. Нахамкис однако очень осмотрительный: чего б никогда Гиммер не пошёл делать, а Нахамкис не поленился: сходил в полупустую 12-ю комнату и перед остатком неразошедшегося сброда прочёл свои девять пунктов, – и докажи потом, что они не утверждены Советом.

Гиммер в малом теле имел избыток динамизма, он был мал, но прыгнуть мог выше любого большого. Именно быстротою сообразительности и действий он всех и обскакивал.

Сколько ни обсуждали целый день проблему переговоров с думцами – всё равно он был не удовлетворён, мозг его усверливал дальше, не обо всём договорились даже в узком кругу. Во-первых, не слишком ли перегнули в его собственной формуле поддержки буржуазного правительства? Он – ни в коем случае не имел в виду классовый мир, вовсе не повторять 1848 год, когда рабочие таскали каштаны для либералов, а те их потом расстреляли, – нет уж, лучше мы не упустим время и сами расстреляем либералов. Он и не предлагал отказываться от резкой оппозиции, это уже было бы капитуляцией демократии, – нет! – он имел в виду только тайные контакты с буржуазией, только на эти короткие

переворотные дни не мешать думскому правительству делать своё дело, при цензовом правительстве не будет и военного подавления от Ставки, – а когти в запасе держать наготове и выпустить их вскоре. В девяти пунктах, которые записал Нахамкис, этот вопрос поддержки правительства никак не был отмечен, но опасность была, что думцы на переговорах поставят его встречно. Второй вопрос и вторая опасность была, что думцы, поклоняясь своей Государственной Думе, не захотят и слышать ни о каком Учредительном Собрании рядом с ней.

В последние полчаса перед переговорами согласились Гиммер с Нахамкисом: вопрос о поддержке всячески смазывать, а по вопросу Учредительного Собрания, если слишком упрутся, то и не настаивать.

Быстрее всех Гиммер сносился и с думцами: как бы он ни был занят в Совете, а, как в уборную выбегают, так успевал он всегда выбежать и протолкаться по Таврическому для осведомления и для контактов. И за этот вечер он уже дважды или трижды успевал сообщить в думское крыло, и ещё повторить и ещё нагнести сообщение: что – *готовится* . Что – *будут контакты* . Что – придут на переговоры. Это требовалось и практически, чтобы встреча состоялась, не разошлись бы там, но и – для психологического подавления противника: в несколько толчков повторяемое сообщение должно было вызвать в них опасение: что ж это будут за переговоры и что за ультиматумы им принесут?

Здесь исключительно мог бы помочь Керенский, с его помощью можно было бы разыграть этих думцев в прах, – но с ним случилось: нервное заболевание властью, жажда стать министром. И он потерял весь свой революционно-демократический рассудок, и ни о чём деловом советском нельзя было с ним говорить, но когда в эти последние пробеги Гиммер встретился с ним – куда-то вызванным, в шубе, готовым уехать, – тот плохо слушал и понимал, а нервно, отрывисто отвечал всё об одном: что руководители демократии проявляют к нему недоверие, что они желают поссорить его с массами, ведут подкопы, интриги, начинают травлю. Гиммер, сам один из главных руководителей демократии, смотрел с сожалением на своего бывшего приятеля: он определённо заболел нервным расстройством и был бесполезен в предстоящих переговорах. Очень жаль.

Но тем необходимее было для представительства вести с собой на переговоры Чхеидзе, хотя и он от переполнения событиями тоже выбыл из строя: был сонный, вялый, размякший, никакой.

Да, вот кто ещё был такой же подвижный и неутомимый, как Гиммер, только по-глупому, – Соколов. Он сидел в первой комнате думцев, в проходной, за чаем с бутербродами с новым градоначальником Юревичем и обсуждал задачи градоначальства. А Гиммер был с подведенным желудком – и тут же накинулся к ним на этот чай, сервированный с ложечками и сахаром, вмешался горячо, как разгромить полицейский аппарат и создать выборную милицию. Потом Соколов прицепился, выведал намерение – и просил взять его на переговоры тоже. Затем Гиммер заговорил с Некрасовым. По нему уже видел, что думский Комитет подготовлен, ждёт и опасается.

– О чём предполагаете беседовать? – настороженно спрашивал Некрасов. (Впрочем – тоже дурак.)

А-а-а, вот это самое их сейчас там и грызло! Вот этого-то они и боялись, что им сейчас предъявят, например, циммервальдское «долой войну!». Вот это и нужно было Гиммеру: напугать их и размягчить заранее, в этом и была его тактика.

И перед Некрасовым он прошёлся фертом:

– Придётся поговорить об общем положении дел.

Некрасов прижался, пошёл за дверь доложить своим главным, вернулся: ждут представителей Совета рабочих депутатов к 12 часам ночи.

конца, хотя в некоторые минуты разговора ему казалось, что он уже преуспел в доводах: царь нервничал, дёргался одной рукой и, кажется, брался за ручку.

И куда ж было теперь идти в стеснительном состоянии ожидания, как не в купе кого-нибудь из свитских. Рузский попал в открытое купе дряхлого, согбенного Фредерикса со слезящимися глазами – но кто-то был и внутри и в коридоре близко, и по коридору проходили. Между ними шли тут свои возбуждённые разговоры, стихшие при Рузском.

Всю свиту вместе и каждого порознь Рузский бесконечно презирал: среди них не было ни одного полезного государству человека и никто не был занят никаким полезным делом – дутая численность, которая, однако, непременно должна окружать священную особу. Ему сейчас унижительно было сравняться с ними, невольно оказавшись в их обществе. А к тому ж и по характеру он был необщителен. Однако, где ж ему теперь прождать? – нельзя и уйти в свой вагон на станции.

Тут был сонливый Нарышкин. Молодой смазливый Мордвинов. Суетливый глупый историограф Дубенский. Раз прошёл с грозным и непримиримым (очевидно к Рузскому) видом низкорослый адмирал Нилов. И не устаивал их, лишь твёрдо, гордо проходил самовлюблённый тупой Воейков.

А остальные – очень хотели говорить с Главнокомандующим фронта! Остальные так и натеснялись к нему сюда из других купе – ещё один молодой генерал, ещё один флигель-адъютант, кажется герцог, и ещё командир конвоя, кажется граф, – узнать от него новостей, о чём там идут переговоры, или даже помощи его:

– Ваше высокопревосходительство! Только вы один можете помочь!...

Хозяин положения, Рузский откинулся в угол дивана и смотрел на них на всех саркастически. Что оставалось ему сделать – это эпатировать их, оскорбить и раздражить до чрезвычайности. Ничто они были раньше, тем более ничто после происшедших событий, объятые страхом за себя, и вся соединённая их враждебность ничего не могла причинить Рузскому, уже решившемуся на жестокий тон с самим Государем. И, откинутый на спинку дивана и прикрывая глаза в действительном утомлении, он выдохнул:

– Да... Довели Россию... Сколько говорилось о реформах, как настаивала вся страна... И я сам много раз предупреждал, что надо идти в согласии с Государственной Думой... Не слушались... Голос хлыста Распутина имел большой вес. А потом начались Протопоповы...

– А при чём тут Распутин? – вдруг услышав через глухоту и со внезапной силой, как проснувшись, возразил древний Фредерикс. – Какое он мог иметь влияние на государственные дела?

– Как какое? – изумился, раскрыл глаза Рузский.

Фредерикс отвечал с достоинством:

– Я, например, никогда его не видел, не знал. И ни в чём не замечал его влияния.

– Ну, может быть, граф, вы были в стороне, – уступил Рузский с уважением. (Тем большим, что сам был не без греха, в трудную минуту отставки хлопотали о нём и через Распутина.) – Но обязанность тех, кто окружал Государя, была: знать, что делается в России. Вся политика последних лет – тяжёлый сон, сплошное недоразумение. Гнев народный не простит Щегловитова, Сухомлинова, Протопопова, протекционизма при назначениях...

Он *их* же и имел в виду, придворных, но они нисколько не были эпатированы, а столпились вокруг, предлагали сигары, – Рузский не курил сигар, держал свою папиросу. И сбивчиво наводили Рузского на дальнейшие объяснения.

– Что теперь будет?... Что теперь делать, ваше высокопревосходительство? – спрашивали в несколько голосов. – Вы видите, мы стоим над пропастью. Только на вас и надежда!

Они уже знали от Данилова, что и Алексеев телеграфно просил ответственного министерства.

– Теперь что ж, когда довели? – вздохнул Рузский, как бы с трудностью. – Теперь придётся сдаваться на милость победителя.

– Победителя?... – сбилась свита испуганно. – А кто победил?...

– Кто же! – усмехнулся Рузский. – Родзянко. Государственная Дума.

О, о! Свита была не только не против ответственного министерства, она оказывается ждала уступок Думе! Они тут – и были все за ответственное министерство.

(Рузский не знал, что сердитый маленький адмирал Нилов, отозвав историографа, доказывал ему необходимость сейчас же доложить Государю: Рузского – сместить, казнить, а назначить энергичного генерала и идти с войсками на Петроград. Но – ни тот ни другой не имели смелости прямо обратиться к Государю и не знали, кто бы обратился.)

– Что ж? – вдруг открылось за другими головами надутое рыло Воейкова. – Я готов разговаривать с Родзянко по прямому проводу.

Тут Рузский мог усмехнуться особенно ядовито:

– Если он узнает, что разговаривать хотите вы, – он не подойдёт к аппарату.

И гордый Воейков задвинулся.

Курили, разговаривали – но Государь не вызывал Рузского. А стрелки уже подходили к полночи.

И перешли её.

Это становилось уже невозможным, унижительным – что за спектакль этого думанья наедине, всё равно без советов, без телефона.

Рузский склонялся – не уйти ли ему. Нет, последний раз пусть решительно доложат: уходить ему или ждать? Тут снова подошёл Воейков. И сказал прежде, чем Рузский ему:

– Генерал, я имею телеграммы Государя для передачи, разрешите воспользоваться вашим юзом.

– Нет! – сорвался голосом, вскричал Рузский. – Здесь хозяин – я, и только я имею право посылать телеграммы!

Зря он вскричал, но и можно потерять равновесие: хотели обойти его с неизвестным результатом и даже если успешным, то оттеснить, как будто не он этого всего достиг.

Крупным шагом Воейков с телеграммами пошёл назад к Государю. Но и Фредерикс поплёлся туда же, взволнованный нарушением этикета.

(Так что ж, мы – пленники здесь? – передалось по свите.)

Воейков возвратился очень недовольный и протянул телеграммы Рузскому.

Рузский поправил очки и прочёл верхнюю:

«Прибыл сюда к обеду. Надеюсь, здоровье всех лучше и что скоро увидимся. Господь с вами. Крепко обнимаю. Ники».

Вздрогнул, переложил её в испод.

А в открывшейся, главной, Алексееву, стояло: что – согласен на предложенный манифест и согласен на ответственное министерство.

Может быть слишком раздражённый предыдущим столкновением, Рузский теперь нашёл, что это недостаточно ясно выражено: хотя все одинаково понимали, что значит «ответственное», однако всё же – ответственное перед кем? Надо указать конкретно, что – перед Думой, перед народом. Не был ли это уклончивый хитрый манёвр царя, так для него характерный?

И Рузский настоял, чтобы Государь принял его снова. Тот принял.

Сколько не видел его Рузский? – минут сорок пять-пятьдесят. Представить нельзя, чтоб за эти минуты человек мог так осунуться, потерять всё недавнее упрямство, как-то рассредоточиться взглядом, лицом, обвисли глазные мешки, и кожа лица стала коричневая.

Но тем уверенней был напор Рузского: в тексте телеграммы ошибка, это – не совсем то или совсем не то. Надо исправить!

Государь посмотрел недоуменно, спросил, как точнее выразиться, и тут же переписал.

Фредерикс сидел и дремал в углу, иногда вздрагивая.

Государь поднял от бумаги большие глаза с надеждой:

– Скажите, генерал, но ведь они – тоже разумные государственные силы, правда? Кому мы передаём.

– Ну, разумеется, Ваше Величество, – подбодрил Рузский. – И ещё какие разумные.

Теперь Рузский предложил, чтоб телеграмма была послана не только Алексееву, но и, для ускорения, сразу сообщена Родзянке в Петроград.

Государь покорно согласился.

А не угодно ли Его Величеству самому поехать на этот аппаратный разговор?

Государь смотрел, плохо понимая. С чего б это, куда? Среди ночи?

– Поручаю переговорить вам.

Рузскому и лестно было, что такое громовое известие он сообщит Государственной Думе первый.

Но уже столько сил положив за этот вечер, но уже достигнув столько, как никто не мог и мечтать в России, – как остановиться? Который раз за этот вечер всё изучая на пальце Государя перстень с продолговатым зелёным камнем, а на кисти рыжеватые волосики и коричневые пятнышки вроде крупных веснушек, – Рузский повёл сломленного собеседника дальше. Теперь, после этой главной принципиальной уступки – как можно продолжать бессмысленную операцию посылки войск против столицы? Войска вот-вот уже скоро могли накопиться, столкнуться – и во имя чего же всё? И кровопролитие?

Если примиряться – то какие же войска? против кого?

Размягчённый Государь тотчас согласился: войска, снятые с Северного фронта, – остановить.

И Выборгскую крепостную артиллерию, конечно?

Да, тоже.

Но – и ещё не хотелось Рузскому уходить! И ещё, он чувствовал, можно что-то взять.

Да, вот! – тогда и генерала Иванова надо остановить?

Государь смотрел увеличенными печальными глазами, не сразу понимая.

Иванова? Да, и Иванова, конечно. Послать и ему остановку.

– Но это можете сделать только лично вы, Ваше Величество. Он никому более не подчинён.

Государь тотчас же сел. Тотчас написал собственноручно. И подал Рузскому телеграфный бланк.

И тут вдруг черезусильная и стеснительная улыбка выказалась на его больших губах под густыми усами:

– А как вы думаете, Николай Владимирович, теперь смогу я проехать в Царское Село? Ведь у меня, знаете, дети больны корью.

– Так что ж, – согласился Рузский. – Вот подтвердится. Вот утвердится общественное министерство, всё везде успокоится, – и поезжайте.

Он вышел, цепко неся свою телеграфную добычу.

292

Летали эти шальные пули по всем направлениям – вверх, но и вдоль, но и вкось, и какая-то часть их должна была где-то застревать, впиваться.

А Гучков с князем Дмитрием Вяземским всё ездили, всё гоняли по Петрограду, из батальона в батальон, из казармы в казарму, где успокаивая страсти, где собирая силы отражать правительственные войска, ожидаемые на город.

Хаотически движущиеся предметы имеют вероятность пересечься.

Уже около полуночи проезжали мимо казарм Семёновского полка – и в обрывках света, криков и стрельбы увидели и догадались, что солдаты-семёновцы или чужие – грабят, потрошат офицерские квартиры. Сами офицеры то ли скрылись прежде, а женщины кричали, протестовали, а их тут было в автомобиле четверо, и подёргался автомобиль – застрять ли в мелкой бытовой потасовке или гнать дальше, – и в этот момент Вяземский охнул и схватился за спину:

– Ох! Меня кажется...

Он сидел рядом с шофёром, а Гучков с адъютантом графом Капнистом сзади.

– Попало? Зацепило?

– О-о-о! – застонал. – Кажется, крепко... Тьфу, пропасть!

Как некстати!... А когда оно кстати? Как на крыльях носились – и остановило их.

Дмитрий отнял руку от спины, вперёд – она в крови сильно.

Кто стрелял – хоть смотри, не смотри в темноту, целенная, не целенная, – не исправишь дела.

Куда ж теперь? Домой? Всё равно Аси нет дома, она в отъезде. К матери на Фонтанку? Не надо её пока тревожить. В госпиталь? Да может, посмотреть, так обойдётся? Да вот в одну из этих квартир, что ли. Заодно и защитим...

Сгоряча Дмитрий сделал два-три шага, а дальше чуть не упал, подхватили его с двух сторон Гучков и Капнист. И сообразить бы: вернуться назад в автомобиль – нет уж, как задумали, пошли.

Вяземский вис на шеях, уже совсем ногами не перебирал. Шофёр подменил Гучкова.

Через распахнутую освещённую дверь с крыльца уметнулись перед ними в темноту две солдатских грабительских фигуры. Гучков крикнул на них, для острастки.

Женщина стала в двери закрыть её – а на неё надвигалось строенное чудовище.

Гучков назвалса и попросился войти.

Там ещё другая была женщина, обе возбуждены до дрожи рук, – а тут вносили раненого, сгромождение невозможное, всё на одну семью в короткие минуты.

Сняли шинель. Надо было осмотреть рану – но в нижней части спины и так уже густо насочилось через брюки, через китель, видно было, что серьёзно.

Надо было раненого положить – и придумали, что ничком, чтобы кровь не так стекала.

– Подстелите, пожалуйста, на диван клеёнку, найдётся у вас?

Выдержанный Дмитрий сильно стонал, и со стороны было видно, что положить его – будет ещё больней. Сам ли, или поддерживали ему ноги, назад оттягивали, – всяко хуже. Видно что-то было повреждено в спине.

Уложили – стало легче. Совсем потный, он уронил лицо. Принесли, подложили ему под лицо подушку.

Тут сразу всё, что в квартире случилось, и что в Семёновском делается, и – где у вас близко телефон?

– Александр Иваныч, – ещё не слабо просил раненый, – звоните Дильке, она дома и быстро что-нибудь. Но пусть не говорит Мама.

Дилька-Лидия была единственная его сестра, очень решительная, случайно родилась девочкой. Вся семья Вяземских была в центре общества, на пересечении с Воронцовыми, Вельяминовыми, старший брат Борис женат на Шереметьевой, сам Дмитрий на Шуваловой, младший брат на Воронцовой-Дашковой, и все вместе дружны с молодыми великими князьями Константиновичами. Лидия сама ведёт фронтной госпиталь, у неё много знакомых хирургов, сейчас она, правда, быстро...

Одна женщина накинула шубку, повела Гучкова. Он разговаривал с ней рассеянно.

И как же Дмитрию не везёт! – уже третье ранение. Вот осенью у него была прострелена навывлет грудь, и с тех пор он ещё не долечился. По дефекту сердца освобождённый от воинской повинности, он взялся вести санитарный летучий отряд рысистого общества, самый передовой, всё время в пекле. (Всё время у Радко-Дмитриева, и Гучков знал Вяземского и через Радко, и сам как краснокрестовый начальник.)

И Дмитрия было жалко и не мог скинуть досаду, как это некстати: потерять его в такие часы, когда он так нужен рядом, и самые эти исторические часы потерять, когда где-то напряжённое текло и утекало.

Дмитрий Вяземский был его любимый и верный сподвижник по неудавшемуся перевороту. Он и по характеру напоминал Гучкову самого себя: Дмитрию радостна была всякая опасность, он как будто искал её, выдвигался навстречу. (Так и с отрядом он лез вперёд, где другие не бывают, зато и подхватывал же раненых вовремя.) От постоянного ли внутреннего беспокойства (как бы снова и снова «доказывая» себя), он был абсолютно

безбоязен и с быстротою решений. А поскольку он не был под полицейским наблюдением, как Гучков, а сам так подвижен и с широкими знакомствами в кругах гвардейского офицерства, – он был и лучший связной, ездил по запасным частям вдоль железной дороги, выяснял настроение офицеров. (Правда, завербовал лишь одного ротмистра.) А сейчас, в эти петроградские дни, смело входил в бушующие солдатские казармы.

И вот вырван беззвучной глупой пулькой.

До Лидии Леонидовны дозвонился сразу, та взялась найти лучшего хирурга, Цейдлера, и устроить сейчас осмотр.

Ах, зря они вышли из автомобиля, надо было сразу ехать в центр и в госпиталь. Понадеялись, что лёгкая рана.

В Семёновском батальоне было очень неспокойно.

А на Виндавский и Варшавский вокзалы Гучков так и не набрал заслонов. Вечером ещё мотался во дворец к Кириллу Владимировичу – и оказалось всё у него хвостовство: послать отряды из гвардейского экипажа он не сумел, уже не подчинялись ему.

Правда, и царские войска не подступали к городу. Один Тарутинский полк стоял весь день сегодня под Царским Селом, других пока никого. Сам Иванов был уже в Царском, известно, но от него Гучков ничего опасного не ждал.

И всё равно, с каждым получасом необозримые события утекали во все проломы.

Крови много натекло, но сам Дмитрий не видел, не подозревал. Раненое место обмазали иодом по краям, обложили бинтами.

Выходного отверстия пули не находили. Засела.

Как же поднимать и везти его дальше? Послал Капниста к телефону – попробовать вызвать санитарный автомобиль.

Дмитрий лежал щекой на подушке, повернув набок к Гучкову отменно длинную узкую голову, со своим всегда удивлённым видом, а сейчас резче.

Сильно избледнел.

– Вот не везёт, – говорил тихо. – И от русской пули...

Больше всего досаждала сейчас вот эта случайность, ненамеренность пули, – с чего? зачем – тут? Обиднее всего.

И – бездействие.

А думать – не было основания дурно. Самому и всегда думается ободрённой. Однако...

– Если б знать, что никакой серьёзный орган не задет...

Но пуля где-то засела.

И кровь не останавливалась. С клеёнки потекла в ведро.

– Сейчас Лидия всё устроит, – успокаивал Гучков. Но сам мрачнел. – Как вы себя чувствуете?

– Сильно в ушах звенит, говорите громче, Александр Иванович.

Как не подумать: а если...?

Только что они носились вместе, в одной сфере, в кругу одних мыслей, – но влетел кусочек свинца, и сферы их стали быстро раздваиваться. У Гучкова, кажется, ещё расширилась и напряглась, в тщетном усилии охватить упускаемое по задержке. Он сидел у головы раненого и хмурился. А у Вяземского сфера действия стала разрезаться, облегчаться, стала вытягиваться в какой-то светлеющий эллипсоид, всё менее омрачённый заботами этой ночи, всё менее запорошенный сором революции. Передний конец эллипсоида – в никому не известное будущее, задний – в светлое милое прошлое.

– Как жаль, что вы у нас в Лотарёве не побывали, Александр Иванович... Кругом степи, а у нас каждая дорога аллея. Как мы с Борисом любили ездить в табуны, на луга, сидеть там в траве...

Там он и вырос – на прикидке молодых рысаков на беговом кругу, на поездках в табуны, в дальний конец имения, – наездник, лошади, спортсмен. Взрастил и псовую охоту. Верхом по пахотным полям на полуарабе однажды взял в угон матёрую волчицу, проскакав за ней 25 вёрст, волчица кинулась на шею лошади, процарапала куртку Дмитрия.

А в лесах материнского имения Осиновой Рощи, тут, под Петербургом, в финляндскую сторону, охотился на рысей, и устроил зверинец: зубров, лосей, уральских козлов.

Если с чем упускается время, то даже не с расстановкой отрядов по вокзалам, даже не с подтяжкой запасных батальонов – но с отречением царя. Именно отречение всё введёт в русло. Именно отречение снимет опасность гражданской войны. Восставший Петроград и замерший фронт могут быть соединены только отречением. И именно сейчас, когда так разгулялось в столице, – самая сильная позиция для ультиматума царю. Сейчас можно ставить ему любые условия и требовать уже не ответственного министерства, куда больше. И конечно Родзянке это не под силу, и хорошо, что он не поехал к царю, всё бы только испортил.

– Поймали мы однажды медвежонка. А осенью привезли в Петербург, отдали в зоологический сад. Он долго там рос, и звали его Мишка Вяземский.

Клубистей и гуще темнела, грузнела неразрешимая сфера вокруг мрачной головы Гучкова – светлей и наивней вытягивался овал у Вяземского. Как будто ранен был и угроза была – не Вяземскому, а Гучкову.

– А совсем ещё в детстве нас по парку отец катал на ослике в низкой колясочке. А старик-мужик косил в парке траву, и отец спросил его, знает ли он, что это за животное. Ответил: «Вестимо знаю, это – лев, на таком звере ехал Спаситель».

И эта вдруг окунутость Дмитрия в детские воспоминания пугала. Ничего не зная, где пуля, какой орган, раненый сам о себе чувствует больше, чем может высказать учёный хирург.

Неужели?...

А мог быть и Гучков на переднем сидении. Или чуть бы в сторону пуля.

Столько раз почти с патологическим вожделием ища не пропустить нигде на земле опасность, Гучков ли боялся смерти или не задумывался о ней? Но всегда хотел умереть – красиво! Боялся он умереть ничтожно. И были случаи уже захода за безнадёжную грань – в Каспийском море, в жестокую бурю, в старой лодчёнке один, с запутавшимися парусами, не знал, как их выправить, и плывал плохо. В ярости моря испытал тогда первый настоящий полный страх. Но и в ту минуту не молился – и там, за гранью, не почувствовал Бога, не поверил в него.

Дмитрий выговаривал светлым голосом:

– А в соседнем Коробове, две версты от нас, отец построил больницу, не хуже петербургских.

И подарил земству. И была там древняя маленькая церковь, прабабушка помнила, как в ней нашли татарские стрелы. Так отец построил крестьянам просторную новую церковь. А учить хор привозили певчего из московского Архангельского собора. На колоколе гравировали из Шиллера: Живых зову. Усопших поминаю. В огне гужу. Добавили: В мятель людей спасаю.

– А под церковью поставили склеп для нашей всей семьи. Там – бабушка с дедушкой, отец, две тётки. Может быть и мне туда первому, из молодых?

– Да что вы, Митя, очнитесь, я вас не узнаю. Пролежите события в госпитале, да. Потом встанете.

Гучков старался в голос вронить как можно больше чувства, заставить себя ощутиться этим пригвождённым телом. Но нет, не ранено было его тело, и голову не отпускала цепкая, когтистая, клубистая сфера действия. Такой момент, такие часы! – а он был связан остановкой, сиденьем тут. А – гнать бы скорей в Таврический – жжёт, что там происходит без него.

– Вот досада, и Аси нет, детей бы привезла...

– Ну завтра привезёт, в госпиталь, Митя...

Сколько известно было Гучкову, и с Асей у него не так всё просто: Дмитрий считал, что Шуваловы поймали его на неосторожном ухаживании, – Ася же долго не знала, что он так думает, а когда узнала – охолодились их отношения. А уже и двое маленьких есть.

– Нет, серьёзно, – говорил Вяземский с растущим удивлением на всё бледнеющем узко-длинном лице. – Если я умру, то скажите, чтоб наши знали: меня хоронить непременно в Коробове. Это совсем не безразлично, где человек лежит.

Вернулся Капнист: такое везде творится, с санитарным автомобилем ничего не получилось.

Тогда Гучков зашагал к телефону опять.

Прибился Дмитрий к вождю всероссийской оппозиции – а как бы не с той стороны. Всегда был совершенный консерватор, всегда против всяких либеральных дерзостей, и никогда не стеснялся это высказывать, в уездном земстве дразнил левое большинство. Прибился, чтоб не пошло всё прахом.

Да ведь и Гучкова корили, что он монархист. Да ведь и Гучков после третьедумской декларации о Польше ждал себе смерти от поляков.

Дозвонился опять до Лидии Леонидовны. Профессора Цейдлера она нашла на заседании городской думы, он обещал немедленно ехать в Кауфманскую общину и велел везти раненого туда. И Лари сейчас ищет санитарный автомобиль. (Князь Илларион Васильчиков, муж Лидии, тоже был крупный чин в Красном Кресте.)

Вот, хорошо. Теперь ждать не долго.

А даже можно и не ждать?

А тем временем Дмитрий начинал грезить. Громадные, загадочно одиночные дубы в степи... Цветенье степи жёлтыми, голубыми цветами... А канавы розовым миндалём, белым тёрном... Красавица речка Байгора. И крестьяне, крестьяне... И близкие – и чуждые... И какого-то другого языка – и главная живая часть родного пространства... Столетняя старуха просит у Дильки поцеловать руку, и обижается, что не дают: «гордые стали»... А в Пятом году в саратовском Аркадаке, на отгуле косяков, – взбунтовались. И Дмитрий в 19 лет ставил лошадь на дыбы и шёл на толпу. Смутьяны снимали шапки...

– Вестимо знаю: это – лев...

293

С тех часов, как Думский Комитет под напором толпы отступил из просторного кабинета Родзянки в дальние комнаты своего крыла, он здесь был устроен очень некомфортабельно, всё более временно, – и сейчас для переговоров с Советом не было и комнаты подходящей. Не было такого длинного стола, чтобы двум делегациям благопристойно сесть с двух сторон друг против друга. А стояли по-разному расставленные канцелярские столы (на них рядом с бумагами – неубранные пустые тарелки, бутылки, стаканы), обыкновенные стулья, и ещё несколько кресел, но кресел самых неподходящих – низких и с сильно откинутыми спинками, так что севший в кресло никак не мог состоять на уровне переговоров, зато, по всеобщей измученности и бессоннице, мог почти спать.

Две революционных ночи пролежав на столах, Милюков был сильно помотан и, как все, очень нуждался в отдыхе в полночь третьей ночи. Но и, как никто среди думцев, он сознавал ответственность наступившей минуты – для целой новой русской эпохи. Да и для себя самого. Поэтому требовалось собрать всё упорство – а у него невиданное было упорство! – чтобы пересилить депутатов Совета преимуществом своего ума и опыта.

Из присутствующих думцев никто не мог быть ему союзником в переговорах. Родзянко – лучше б вообще ни на слово не встречал, его время кончилось. Некрасов – хищно высматривает, а способен только на подножку. Шидловский – подставная фигура, ноль. Шульгин – имеет остроту, но выдержки у него нет, да и правый, чужой. Незаменим был бы Маклаков – но нет его тут, и не надо. (Маклаков убыл в министерство юстиции комиссаром – направить первые законы революции).

Да никто и не мог и не должен был быть коллегой Милюкова в таких переговорах. Он один и должен был встретить их, сколько пришло, и один перемолоть.

Итак, вслух между собой не готовились, а вся подготовка шла в голове Милюкова. Он

ожидал сильного напора, даже их прямой попытки захватить все правительственные места. Ещё с Пятого года он знал, как трудно вести переговоры с левыми, как они настойчивы и бескомпромиссны. Но и Милюкову не было равного в аподиктическом диалоге.

Вошли. Четверо. Сонный истомлённый охрипший Чхеидзе, спотыкаясь на ровном полу, – он тоже был член думского Комитета, но все дни избегал их как чумы, сюда не приходил, а только видели его оратором над войсками. Рослый красивый Нахамкис-Стеклов, плотный низенький Соколов. И – но не и, а раньше их всех, как мальчик впереди взрослых, – щедушный острый бритый Гиммер-Суханов. Бритый или не росло, шли голые взлизины мимо крупных ушей и высоко на темя, а ещё выше, как сдвинутый назад парик, сидела на нём полсть плотно скатанных серых волос.

Кроме Чхеидзе, все не скрывали важности и удовольствия прийти сюда и вот обмениваться рукопожатиями с Думским Комитетом. Но Гиммер – особенно преобразился. Нельзя было узнать в нём того вертлявого субъекта, который попадался им в коридорах, иногда любил налезть с дерзкой репликой, а то всё время выводил что-нибудь или сообщал, – теперь при той же фигурке, при той же заострённости в чертах лица и поворотах головы, – это был важный многозначительный дипломат, с особой рассчитанной церемонностью пожимающий руку или наклоняющий голову.

Пришедшие важно расселись на стульях, а для Чхеидзе нашлось кресло, он ослабло опустился туда и больше не существовал.

Не придумали, как начать, а тут ещё и рассадка вышла неудобная для переговоров, – и так не оказалось ни председателя, ни процедуры, а затеялся общий неторопливый – в половине первого часа третьей бессонной ночи! – разговор: как вообще идут дела в городе. Не произносилось великое слово «революция» или какое другое значительное, а просто: как идут дела в Петрограде, вот – столкновения, недоразумения, эксцессы, вот развал в запасных полках, насилия над офицерами. Да это – не безразличная попалась тема, но самая удобная для думцев. Им – вот это и нужно было как раз от Совета депутатов, припугнуть, советских и понудить их же обуздать стихию.

Но – не это нужно было Совету! И видя, что беседа опасным образом пошла на распыление и затемнение центральных вопросов, – Гиммер резко завертелся и объявил, что желает получить слово. Некому было дать, но некому и не дать, вовремя было заявлено – и слово началось.

Милюков не ожидал, что его противники будут до такой степени умно и тактично говорить. Для связи с предыдущим, но как о малозначимом, Гиммер сказал, что борьба с анархией – одна из технических задач Совета, да, она не упускается им, и вот сейчас печатается специальное воззвание к солдатам об отношении к офицерству...

– Ах, вот как? – приятно были поражены думцы.

...но что нынешнее совещание должно заняться вопросом центральным. Как известно, подготавливается создание нового правительства. Совет рабочих депутатов не возражает, и даже предоставляет такое право цензовым элементам, даже считает, что это вытекает из общей наличной конъюнктуры.

Прекрасное начало! Прямая борьба за власть сразу же отпадала. Советские не пытались захватить её в целом. Милюков чуть пораслабился. Становились возможны переговоры *bona fide*.

Однако Совет рабочих депутатов как идейный и организационный центр народного движения, как единственный орган, способный сейчас ввести это движение в те или иные рамки, единственный располагающий реальной силой в столице, – выставлял Гиммер, отлично понимая силу позиции, – желает высказать своё отношение к образуемой новой власти. Как он смотрит на её задачи. И (выразительно) – во избежание осложнений – изложить те **требования**, какие могут быть предъявлены от имени **всей** демократии – к правительству, созданному революцией.

Нельзя отказать, это умно было высказано: как будто не противоборство, не торговля, но сильное содействие.

Хватка была холодная и крепкая, это сразу почувствовали и все думцы, но никому из них не предстояло спорить, можно было остаться зрителем. А Милюков напряг крепкую шею, ожидая ударов. Вот положение: Государственная Дума дала единство и силу перевороту, а придут со стороны и имеют большую силу диктовать!

Теперь голос перешёл к Нахамкису. Обстановка была неофициальная, выступающие не вставали. Но Нахамкис, доставший на колени свои пункты, написанные на неровном клочке случайной бумаги, стал говорить с большой важностью, даже торжественно.

Когда-то юнец-революционер, исключённый из 7-го класса одесской гимназии, и якутский ссыльный, потом в эмигрантских скитаниях, потом в первую революцию при Троцком, и арестован в этом же самом петербургском Совете рабочих депутатов, и снова, снова эмигрантские ничтожные годы, – не мог Нахамкис придать и вообразить себе такой высоты и значения, что вот он – поставляет правительство, что вот самые знаменитые буржуазные лидеры сидят и слушают его условия. Он не просто их читал одно за другим и даже не объявлял, сколько их, чтобы сильнее действовало, а прочтя один пункт спокойным сдержанным голосом, не торопясь разъяснял и мотивировал, как бы снисходя.

И всё это вместе – получилось длинно.

Но первый пункт, который мог быть сразу сокрушающим, был лишь – всеобщая амнистия. По всем преступлениям, в том числе политическим, в том числе террористическим, в том числе военным восстаниям и погромам помещиков.

По совести – ничего не мог кадетский лидер на это возразить! Программа всеобщей амнистии всегда была козырем Думы и Блока против правительства, всегда была излюбленным лозунгом всей интеллигенции, ещё с 1-й Думы.

И такой же несомненный, и такой же интеллигентски-приемлемый оказался второй пункт: свобода слова, собраний, союзов и стачек. Кто же мог против этого возразить!

Правда, с некоторым расширением, – с расширением этих прав на армию. (Так ведь и демократизация армии всегда была в кадетской программе. И её выдвигали даже в 1906 на переговорах со Столыпиным).

Но на всякий случай Милюков тут стал возражать. Он считает, что в нынешней обстановке это вызовет в армии хаос и она en masse потеряет боеспособность. Нахамкис, напротив, с большим спокойствием аргументировал, что такое требование вполне совместимо с сохранением боеспособности армии. Что от дарования солдатской массе всех политических и гражданских прав армия только приобщится к задачам революции и её боеспособность, напротив, окрепнет. И приводил примеры из собственной службы рядовым и якобы из европейских армий, где-то надёргал.

Вступал и Гиммер, спор затянулся. Но со стороны думцев только Шульгин, почти не садившийся, а нервно похаживавший, встревал иногда, выкрикивая что-то возбуждённое. Все остальные молчали, будто их совсем не касалось, Некрасов был абсолютно невозмутим, он очень умел молчать, когда выгодно.

Родзянко пил содовую воду и вытирал пот. У него был грустный вид, как будто сильно болела голова или он весь заболел.

Милюков рассчитал, что ему важнее узнать полный состав пунктов, чем спорить на очередном. И, оставив недоспоренным, просил дальше.

Но третий пункт оказался: правительству воздерживаться от всех действий, могущих предредить форму правления.

Фью-ю-у! Это значило – открыть путь республике!

Тут он не мог не упереться! Тем более, что делегация Совета предполагала, что эти все пункты, после их принятия, правительство должно опубликовать от своего имени – одновременно с заявлением о своём создании. Каково? В сложных условиях начинаемое правление – начать ещё и с общего сотрясения основ?

Надо было упереться! Вводить сразу и республику? Это вызовет в стране страшнейшую смуту!

Но и нельзя открыто выложить все аргументы! Долгие месяцы сами же кадеты

штурмовали трон, и чем шире распространялось мнение, что династия сгнила, тем это лучше было для их политического движения. Но всё-таки в программе кадетов стояла – конституционная монархия. А сейчас, когда реальная власть уже втекала в ожидающие пальцы, – никакой более прочной основы для неё не было, чем наследственная династия. Да, всё время трон расшатывали, – и это было верно. Но сейчас, когда он зашатался, – надо его поддержать. Вот это и есть диалектика. Для того чтобы перенять власть, совсем не надо, чтобы предыдущая упала с грохотом: тогда наступит хаос, и кому достанется власть – уже совсем неизвестно. Перенять власть – но без падения предыдущей, мягко. Проще всего – сменить только венценосца: нынешний – очень уж упрям, и за 22 года научился упираться, с ним работы не будет. Однако так уже было напряжено общественное мнение и особенно у социалистов, что Милюкову стыдно было перед ними предстать с экспликацией этих аргументов, как бы защитником всеми ненавидимой, проклинаемой и осуждённой романовской династии. Итак, надо было строить сложные фразы со сложными законоведческими и государствоведческими аргументами, чтоб этими призрачными бастионами окружить свою позицию. Поймите, господа, монархия нисколько не нарушит наш *modus gubernandi*.

Верней, он мог бы сказать им понятно, но если б они были только вчетвером здесь, трое от Совета и Милюков. При многочисленных тут думцах ему было неудобно совсем просто выговорить этот простой аргумент: «Поймите: наследник – больной мальчик, регент Михаил – совсем глупый человек, что же может быть для нас всех благоприятнее? Малолетний наследник при слабом регенте не будет пользоваться авторитетом полного держателя власти – и это даст возможность нам окрепнуть!»

Однако, владея политико-юридической речью, он складывал это в те фразы, что персональная династическая ситуация наиболее благоприятствует укреплению у нас конституционных начал, которым и нужно время для укрепления. А монархия уже никак не реституируется в прежней силе.

А ему возражали о всеобщей ненависти к монархии, что она дискредитирована в глазах народных масс.

Да, Милюков понимал, как это со стороны позорно выглядит, что именно он выступает защитником этой династии. Но как практический политик он не мог уступить этой опоры под своим же будущим правительством.

Ну, кажется все поняли его иносказания, да кроме Соколова – не глупые ж люди.

А Николая? Николая Милюков и не защищал. Тут теперь неизбежна абдикация.

Керенский был угрюм и даже демонстративно пренебрежителен. При думцах и при советских ему важно было сбалансировать, не показать, на чьей он стороне. Он – вообще выше всех сторон.

Родзянко посасывал из стакана, совсем уже больной и несчастный, платок ко лбу.

А Шульгин испытал как бы истерический приступ. Ему представилось, что в этих переговорах вырастает нечто двуглавое, но не привычный двуглавый орёл, а две головы новой власти, – и та, вторая, голова очень ему не нравилась. А выростала она, кажется, и надо всюю Россией? Кто были здесь думцы? – всероссийские имена, прославленные политики. Кто были эти пришельцы? – никому не известные писаки, и неизвестно кем сюда выбранные, – и вот они пришли диктовать условия, даже свержение династии! И сила была – у них, это чувствовалось. И всероссийские деятели должны были их умолять?

Один раз Шульгин ещё сдержанно упрекнул их, что они ведут подкоп под Государственную Думу, надежду всего народа. Это их не проняло нисколько. Другой раз он крикнул им:

– Хорошо! Арестуйте нас всех! Посадите в Петропавловку! И правьте сами! Или, напротив, дайте править нам, как понимаем мы!

Рыжебородый Нахамкис со спокойным великодушием и, что возмутительно, с барской интонацией ответил на его нервный крик:

– Мы – не собираемся вас арестовывать.

Но так получилось: не собираемся, а разумеется – можем.

Вдруг, никто не ожидал, из своего чернобородого и глазогорящего молчания вырвался Владимир Львов. Он вломился в паузу, никого не спросив, и заговорил бурно, едва не взрываясь от чувств. Что же?

Гиммер смутно числил его каким-то сильно правым и был поражён: этот смешной лысый диковатый и глуповатый, из своего глубокого кресла, где, оказывается, не спал, заговорил, нахлёстывая фразу на фразу, что он – республиканец! Что возврат царизма он считает хуже смерти! И новое правительство ни за что его не вернёт! Но – но! – но: вернуть царизм хочет именно Совет рабочих депутатов своей безумной политикой разложения армии во время войны: наступит военное поражение – и Вильгельм насадит нам царизм.

Столько было вздора наворочено, что никто серьёзно Львова не принял. Но всё же он и Милюкова сбил.

Тут вошёл Энгельгардт и напомнил Родзянке, что пришло время ему ехать к прямому проводу на переговоры со Псковом.

Родзянко убрал платок, взбодрился, надел шубу, шапку, вышел. Но очень скоро воротился, опять с несчастным видом:

– Пусть господа рабочие депутаты дают мне охрану! Или едут сами со мной! А то меня по пути, или там, на телеграфе, арестуют.

Нахамкис заколыхался добродушным и довольным смехом. Теперь – не он, а Гиммер, с ехидной улыбкой и даже вкрадчиво, стал успокаивать Председателя Думы, что никак они не собираются его арестовывать.

И поручили Соколову пойти найти Родзянке провожатых.

Но надо ж было двигаться дальше по пунктам. Гиммер и Нахамкис переглянулись: сейчас и был тот пункт, по которому они соглашались сразу уступить Милюкову: Учредительное Собрание. Хоть назвать его иначе, хоть и вообще снять.

Произнесли: принять немедленные меры к созыву Учредительного Собрания на основах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.

А Милюков – кивнул.

Кивнул?!

Записал и кивнул, как лёгкому пункту, ожидая следующего.

Как это надо было понять?? Гиммер и Нахамкис снова сметнулись взглядами. Только что полчаса проспоров против непредрешения образа правления – как же он так легко уступил Учредительному? Оставлял образ правления висеть, пока Учредительное решит, – и, конечно, не в пользу монархии! Когда революция раскатится достаточно широко – республика обеспечена.

Просто кивнул? Уступил сразу??

Гиммер ещё пронзительней видел теперь правильность своей тактики. Если бы высунулось требование о немедленном прекращении войны, об отказе от территориальных приобретений, от верности союзникам, да даже жёсткое навязывание каких-нибудь внутренних мероприятий, – Милюков мог бы их оттолкнуть сейчас. А завтра – неизвестно что будет, ведь царские войска идут к Петрограду, да в самом Совете непримирённые меньшевики стали бы оспаривать действия самозванной делегации и ещё не окончательные пункты. Нет, надо было именно спешить посадить цензовиков на правительство.

Но почему такое спокойствие об Учредительном Собрании??...

Или уж очень что-то хитро, или отказал знаменитому парламентария у.

Обязанность начальника штаба – не только подать своему командиру идею, но и оформить её готовым документом, чтоб оставалось лишь подписать. В течении дня всё неотвратимей складывалось в генерале Алексееве, что не избежать Государю дать ответственное министерство. А к вечеру сложилось, что надо составить тут, в Ставке, и

нужный манифест – и, пока Государь ещё во Пскове, спешить переслать ему туда на подпись.

С помощью дипломатической канцелярии при Ставке сочинялся нужный манифест, а тем временем Алексеев составлял Государю ещё последнюю решительную убедительную телеграмму, в которую готовимый манифест включался как составная часть. Если в прошлую ночь прояснилось генералу, что издание такого акта вытекало из установившегося успокоения в Петрограде, то вот оно всё более вытекало из опасности распространения анархии по стране и армии. Для спасения армии и продолжения войны никакого более выхода нельзя было придумать, как призвать общественное министерство и поручить его Родзянке. И – спешить, чтобы думские деятели успели охранить порядок от крайних левых элементов.

Нервно было, пока составляли манифест, – ещё нервнее стало после десяти часов вечера, когда уже передали манифест во Псков. Неясно было, там ли ещё царь, неясно было, сохраняет ли с ними контакт Рузский. Как реагировал Государь на все предыдущие пересланные ему дневные телеграммы? И как воспринял он эту последнюю?

Но трудно было узнать что-нибудь толком: там всё начальство уехало из штаба на вокзал, в штабе оставался только генерал-квартирмейстер Болдырев, потом и он перестал подходить к аппарату, а – штабные полковники. Они сами были не в курсе, что делается, а когда и узнавали – небрегли тут же докладывать в Ставку, как им велели и как их просили. Несколько раз запрашивали Псков о судьбе телеграммы с манифестом, настаивали срочно везти её на вокзал Государю. Она там шла через дежурного офицера, через генкварсева Болдырева, через наштасева Данилова – и наконец к одиннадцати вечера достигла на вокзале главкосева Рузского, а уж он лично доложит Государю.

Ещё и к одиннадцати часам не было известно в штабе Северного фронта, когда Государь намерен покинуть Псков.

Алексеев места не находил от волнения – прилегал и опять поднимался, и сидел за столом, шинель накинув на плечи и пытаясь заниматься очередными бумагами, – но не было покоя на душе, вся судьба России и фронта повисла сейчас на манифесте.

А тем временем из Петрограда подтекали новые, весьма замечательные известия. Что конвой Его Величества с разрешения своих офицеров сегодня в полном составе явился в Государственную Думу! Что императрица сама добивалась встречи с Родзянкой! Что великий князь Кирилл Владимирович лично прибыл в Государственную Думу приветствовать её! И какие крупные сановники арестованы в Петрограде. И петроградское офицерство постановило признать думский Комитет!

Такие важные сведения должны были как можно скорее настичь Государя, чтоб успеть повлиять на его решение! После полуночи Клембовский всё это передал во Псков.

Когда начинаются крупные события, они обязательно почему-то стягиваются на ночь или по крайней мере так, чтобы военачальники должны были бы все решения и все действия производить ночью.

Обнаружил Алексеев упущение, что уже сутки не информировали Иванова обо всех событиях в Петрограде, Москве и о шагах, предпринятых наштаверхом, – а Иванову-то знать острее и важнее всего, там-то и может завязаться. Стал Клембовский готовить ему телеграмму.

После часа ночи телеграфировал Псков – ещё не о решении Государя, но что Его Величество уполномочил главкосева говорить по аппарату с Председателем Государственной Думы и разговор этот начнётся в половине третьего ночи.

Вот там всё решится, значит. Хоть не спи и ожидай.

Ещё телеграфировал Псков, что восстал гарнизон Луги, перешёл на сторону думского Комитета, и возникает вопрос о возвращении посланных войск Северного фронта, о чём главкосев будет иметь доклад у Государя.

Ого! Решение назревало серьёзное, гораздо большее, чем мог бы вызвать один лужский гарнизон, где и ни одной боевой части толковой нет: к Петрограду дороги есть и другие. Но,

значит, Рузский пользуется случаем убедить вообще прекратить выдвижение войск.

И это – правильно. Это облегчало тяжесть и Алексеева. Уже полных двое суток методично развивался его приказ о посылке и движении войск, и Алексеев формально ни в чём его не нарушил, кроме остановки Юго-Западного фронта, но он и сдвигал те полки сам, без Государя. Формально ни в чём не нарушил, а всё меньше ощущал сочувствия плану: немисливо посылать войска против своих же русских!

И Лукомский питал его сомнения. Лукомский считал, что посылать войска на подавление восстания крайне опасно: малым количеством действовать бессмысленно, а большие войска собирать – понадобится может быть десять дней, уже все города и весь тыл будут охвачены революцией. И так пришлось бы вести войну и против немцев, и против своего тыла, а это невозможно одновременно. Оголить фронт – значит тогда не довоевать с немцами? Затратив столько жизней на эту войну?...

Вот и сходилось, что революцию надо прекратить мирно.

То есть уступками.

А малые уступки – уже опоздали.

А – где начинаются большие? А – **что** такое большие?

Это – не выговаривалось между ними тремя, возглавителями Ставки, но что-то мучительно тяжелело в мозгах.

А во Пскове – сразу удача! Не сообщили прямо о решении Государя, но в половине второго ночи прислали сюда копию телеграммы Данилова своей Пятой армии, где, по высочайшему соизволению, он распоряжался: вернуть в двинский район войска, направлявшиеся к Петрограду! А Ставку просил – сообщить, если можно, Иванову: штасеву не известно его местопребывание.

Так быстро и, очевидно, легко было получено высочайшее соизволение!

Алексеев через немоготу и горбясь, в накинутой шинели, стал похаживать. Теперь и Иванову пойдёт уже совсем другая телеграмма. Но он Ставке не подчинён, ему не прикажешь.

Но теперь, если Северный фронт отзывался, – то как же можно двигать Западный?

Однако о Западном – не было распоряжения. Государь вообще, как уехал, за эти двое суток не отозвался своему начальнику штаба ни единым словом. Рассердился за что-нибудь?... Алексеев так чувствовал, что – да, он уехал недовольным. Но сейчас – сейчас надо ковать железо, пока горячо. Надо немедленно (уже распоряжался Лукомскому) испросить высочайшего указания: не будет ли признано возможным вернуть также и полки Западного фронта?

Лукомский пошёл телеграфировать, но Алексеев остался в чувстве, что ответа ему от Государя не будет. Ответа не будет, – а полки Эверта двигались к непоправимому столкновению, – и это висело теперь на совести одного Алексеева.

Пока это ещё нигде не выстрелило. Но надо же успеть прекратить.

Но и не смел же он остановить войска самовольно!

Но и не мог допустить кровавого столкновения!

А тут совали ему ещё какую-то телеграмму. Что ещё такое? Сообщал тревожно заместитель Родзянки Некрасов, что поезд Государя по сведениям думского Комитета находится во Пскове, и отправка его в Царское Село, по-видимому, не состоялась.

Свежие новости! Они в Думе ещё меньше знали о событиях, совсем ничего. Но что радовало – дружелюбность самого факта этой телеграммы. Что они обращались к Алексееву как к своему, как к союзнику.

И это – верно. Это надо поддерживать.

А было уже два часа ночи. Телеграмма во Псков пошла, но там заняты другим: вот-вот начнётся разговор с Родзянкой, не могут они сейчас гнать на вокзал к Государю, да и – примет ли их Государь так поздно? Вероятно уже и спать лёг. Так что ж – до завтрашнего утра?

А войска не ждут, а эшелоны идут и ночью – и вдруг в неожиданный час в

неожиданном месте кто-то где-то столкнётся, прольётся русская кровь, – и вот уже гражданская война! И допустил до неё – генерал Алексеев.

Много же досталось ему на эти двое суток. Воспалённая грудь дышала тяжело. Сколько служил он, сорок лет, никогда не поступал самоуправно, без согласия начальства, – а вот сейчас должен был решиться сам?...

Но ведь он уже сам – и не тронул с места Юго-Западного? Но ведь он же и сам предлагал эти все полки Государю, мог предложить и другие, меньше числом?

Сердце – как раскалывалось от небывалого напряжения, от своей дерзости. И – торопясь нагонять ночные минуты, вызвал опять румянощёкого, но холодного Лукомского и велел ему телеграфировать на Западный фронт: все войска задержать! Какие не отправлены – не грузить. Какие в пути – задержать на больших станциях. Затем последуют дополнительные указания.

Он – не совсем вернулся. Но – остановил.

И было ощущение – правильного шага.

Придётся ответить перед Государем?... Но и Государь покинул его без руля, без ветрил.

Теперь – только бы Иванов не вломился в бой!

295

Такие испытания, как свалились в этот день, могли измучить и не такого гиганта, как Родзянко. Целые сутки то в жар, то в лёд. Эти долгие сутки начал с того, что грудью остановил восемь полков. И потом вместе с Энгельгардтом спасали Петроград от нового солдатского мятежа. (А кто угрожал убить Председателя – тот и сейчас ведь помнил). И в каждый час могло опять вспыхнуть. И пять раз тремя поездами он выезжал к Государю – и всё не мог выехать. Под чьими-то чужими волями целый день из-под его ног осыпалась почва. И пока он приветствовал солдатские строи как главный тут – а неслышными грызунами за его спиной подтачивалось его старшинство и единственность. И при всей своей могучести он не мог придумать, что же ему предпринять.

Но копали не только под него, а и под Государя. Сперва Гучков, потом и другие объясняли ему, что Николаю Александровичу видимо больше на Руси не царствовать. Это – какими-то подземными силами было решено, без Председателя.

И сперва это было – неместимо. А потом, если подумать и всё перебрать – Распутин, Протопопов, злая царица, неуважение к Думе, – так пожалуй шло и неизбежно.

Но и на этом не кончились прижигания этого дня. А доконали Председателя ночные переговоры его Комитета с Советом рабочих депутатов. Весь день от часа к часу говорили думцы о Совете с опаской, так всё оглядывались, что наконец и сам Родзянко стал побаиваться. А тут ночью пришли три «рабочих депутата», слухом не слыханные, видом не виданные, ничем в России не известные, никакого значения не имеющие, – и сидели как равные против известнейших членов Думы, не говоря уже о Председателе, – он с ними и слова не сказал, сидел в стороне и дико смотрел. Его схватило как судорогой, не разведёшь: что нашло на Россию некое великое Помрачение. (Как и сказано было, кажется, у кого-то из пророков, но об этом в Государственной Думе не разговоришься).

И сидели эти депутаты – один рыжий развалясь, а другие два всё дёргались, и нисколько не стеснялись своей неименитости, своего появления из праха, – только тут, на ночном заседании, и рассмотрел Родзянко этих разбойников и расслушался их. Ничего они не стеснялись, а выкладывали Милюкову с насмешкой и снисхождением, и с уверенностью, что их сторона возьмёт.

А какие разбойничьи пункты они выдвигали – просто невозможно слушать.

И в тех переговорах не упоминалась ни Государственная Дума, ни даже какая конституция, а уж Государя и вовсе подразумевали как умершего.

Ещё три дня назад второй человек в государстве, Председатель сидел тут, при этих

переговорах, как отмененный в сторону, – и впервые осознал своё бессилие. Не днём сегодня, когда Милюков с Некрасовым не допустили его ехать на Дно, а вот сейчас.

И что стоило этим бойким бандитам в любую минуту хоть и приказать арестовать их тут всех, думцев?

И даже самого Родзянко.

Как вот арестован же Председатель Государственного Совета, и ничего поделать нельзя. И бывшие министры. Уж там какие ни плохие, как с нами ни ссорились, – но всё же они не убийцы. А между тем их держат под замком, со свирепыми предосторожностями, скопом, и даже не дают кроватей, хуже чем в тюремной камере. А дальше собирались отправлять в Петропавловку.

Так и самого Родзянко разве не могут в любую минуту арестовать?

И даже повесить.

И нельзя было домой уходить. И нельзя вырваться из этих комнат. И каким облегчением пришёлся переданный вызов от генерала Рузского – на телеграфный разговор из Главного Штаба.

Это замечательно! И это будет как замена поездки во Псков.

С той даже разницей, что поехав – ты станешь там гостем и даже пленником генералов. А отсюда – ты разговариваешь как глава революционного Петрограда.

На душе ещё царапины от выговора Алексеева, была потребность загладить. Да уехать от этих ужасных пунктов, от этого мерзкого совещания. Еле дождался назначенных двух часов ночи.

Уже пошёл – и вдруг подумал: а как же он поедет? По этим лихим улицам, ничем не защищённый, когда кто-то ищет его растерзать. Свои русские люди – а вот остановят посреди улицы, и не знаешь, как с ними говорить, на каком языке.

Ничего не поделаешь, вернулся на совещание – и просил тех проходимцев дать ему какую-то охрану, именно от них, – чтоб его не арестовали по дороге. Не просто с винтовкой, а от них человек, тогда не тронут.

Да, надо признать, что вся сила неожиданно перекинулась к ним.

Дали. Какого-то горлопана, унтера. И двух матросов.

Вторую ночь подряд ехал Родзянко в Главный Штаб. Как подрядился. Сегодня – ещё позже и безлюднее.

Ехал, презирая своих сопровождающих.

Была такая морщинка: спросит Рузский, почему Родзянко до сих пор не сформировал министерства.

Но надо выше смотреть. Этот разговор – чтоб окончательно остановить войска. И всё умиротворить. И всех спасти.

Ещё раз – спасти всех.

А Государю – уже вряд ли в чём помочь.

Да теперь, когда решено, что не Родзянко будет правительство, – спасти уже, видимо, ничего нельзя иначе, как отречением.

Ах, Государь, Государь! Во многом вы виноваты сами! Сколько раз верный Председатель вас остерегал и предупреждал!

Главный Штаб – огромный, полукруглый, темный от зашторенных окон, наполненный военными людьми, офицерами, дежурными, – перестоял дни революции нейтральный и не тронутый ни той стороной, ни этой.

И в этом – всеобщее уважение к войне. Символ того, что Отечество всё перестоит, и эти сотрясения тоже.

Шёл по электрическим паркетным бесконечным изгибающим коридорам Штаба и думал: даже и *он* – что же один может поделать против всеобщего потока? не погибать же ему теперь, защищая грудью неразумного Государя.

Ну что ж, будет при наследнике регентом Михаил. На Михаила Председатель имеет большое влияние.

Встретили генерала Иванова во дворце два графа – средних лет Апраксин и старый сухой Бенкендорф, с большой надеждой и радостью.

Чем настойчивей к тебе подступают – тем важнее себя надо держать, чтоб не уронить. И говорить поменьше.

Пока, минут десять, ждали приёма, ничего им генерал не выронил. А от них услышал, что гвардейцы Сводного полка и казаки конвоя собраны в обширных дворцовых подвалах, чтобы быть вызванными по тревоге в любую минуту. Но вокруг дворца, по уговору с мятежниками, образована нейтральная зона, куда не ходят с оружием ни те ни другие. А вечером была паника, что соседнее здание Лицея захватила банда неизвестных солдат и будет обстреливать дворец. Затем послали туда разведку, и выяснилось, что слух пустой, никого нет.

Оба графа, с двух сторон от Иудовича, наперебой волновались, что будет с ними и со дворцом, и с надеждой засматривали генералу в глаза. Но генерал был – главнокомандующий столичным Округом, и даже диктатор, и не мог давать им частных пояснений.

Государыня относилась всегда к генералу Иванову крайне одобрительно. Очень ласково принимала его и прошлой осенью. Через неё он иногда косвенно ходатайствовал к Государю, чего не мог прямо. Николай Иудович должен был быть ей чрезвычайно обязан – и это тем более стесняло его в нынешних сложных обстоятельствах.

Государыня приняла его в тёмно-сером платье и в косынке сестры милосердия, лишь с ожерельем из крупных янтарных камешков в несколько петель на груди. Лицо её было измято-усталое, но вместе с тем сохраняло напористую энергичность, даже гордо-холодную свою красоту, при больших глазах.

Нецеремонийно быстро она прошла через комнату – как бы кинулась к Николаю Иудовичу, как бы готова была обнять его. Подала ему сразу обе руки, в две руки:

– Генерал! Какое счастье! Какое счастье, что вы прибыли, избавитель наш! – говорила она по-русски, почти вполне правильно, но напряжённо, как иностранцы. Была очень приветлива, но улыбка не трогала её губ. – Как мы ждали вас! А я уже боялась, что вы не доедете!

Иудович знал за собой подкупающий вид, подкупающий голос, он всем умел нравиться своим добродушием. Его всегда любили за царскими столами. К его авантажному виду да ещё из широкой груди широкий бас:

– Что вы, Ваше Величество! Как же б я не доехал? Приказ. Но были препятствия, да.

– Садитесь! – порывисто указала она ему на мягкое кресло, а сама невдали села на банкетку, как будто не нуждаясь в прислоне своей ровной высокой спины, – и за ручки банкетки держалась как за морские поручни, как всходя по кораблю, и ещё подрагивали её руки:

– Государь мне телеграфировал, что посылает войска. Много войска у вас? И конница из Новгорода? Где они собираются?

Этак быстро говорить – скоро ни о чём не останется. Николай Иудович растягивал:

– Войска изрядно, Ваше Императорское Величество. По пешей бригаде и по конной бригаде с каждого фронта. Но пока все соберутся...

Он знал, что принял воинственный вид. Только стратегические препятствия ещё могли удерживать отважного генерала от наступления.

– Когда вы в последний раз видели Государя? – ещё нетерпеливее спрашивала императрица, обгоняя сама себя.

– Да когда же?... По за ту ночь, Ваше Величество.

– Это – когда? – перебросилось нервно по её прямому выставленному лицу. На лице он

разглядел теперь покрасневшие места, как большие пятна нерадостного румянца.

Генерал вытягивал из глубины седеющей бороды:

– В позапрошлую ночь. Пошла жизнь больше ночами.

Она не заметила упрёка или быть его не могло:

– В каком он был настроении? Как он смотрел на события?

– В спокойном.

– Перед той ночью, позавчера, я послала ему три отчаянных телеграммы о положении. Неужели он их не получил?... Как мог не ответить? Неужели их уже тогда перехватывали?

Заслонённый завесой лопатной бороды, со лбом широким невозвышенным, генерал не спешил отвечать.

Пытливым жёстким взором обгоняя его не идущие слова, вся выдаваясь вперёд с поручней, ещё с длинным римским носом, она нетерпеливо вырывала:

– Скажите – где Государь сейчас? Он должен был приехать сюда прошлым утром! – и не приехал!... Он – не идёт за вами следом? Отчего ж ваши поезда не пошли вместе?

– Никак нет, Ваше Величество, Государь изволил отправиться другим маршрутом, через Бологое.

– Так он задержан! – блистали глаза императрицы. – Где он задержан? Кем? У меня нет с ним связи!

– Не могу знать, Ваше Императорское Величество. Я ехал сюда – полагал найти Государя здесь. Да кто ж посмел бы его задержать? – искренно удивлялся Николай Иудович.

– Разве и там по дороге везде бунт?

Струнность государыни ослабела. Она взялась одной рукой за сердце:

– Ах, я теперь уже ничему не верю. Ничего не знаю. Если кто-то смеет остановить Государя – я ничего уже не понимаю!

Сказать ли, не сказать?

– Начальник станции Вырица говорил мне, будто у него сведения: императорские поезда сегодня проходили Дно.

– Дно?? – с новой надеждой острунилась государыня. – Но тогда он должен быть уже здесь? уже подъезжать?

Николай Иудович развёл большими мужицкими ладонями:

– Не могу знать. А может куда иначе поехал?

– Но куда ж иначе? – дрожало горло под властным длинным лицом царицы. – Куда ж иначе, если он едет к семье?

– Ну, может быть в Ставку? – невозмутимо рокотал Николай Иудович.

– В Ставку? – задумчиво повторяла царица. – Но ему надо ехать сюда!

Старый генерал был горько озадачен:

– Но я не представляю, чтобы посмели задержать Государя.

Как будто сами кости государыни смякли. Ей стало трудно сидеть без прислона – она поднялась – (вскочил и генерал) – перешла не слишком уверенным шагом и села в кресло – (генерал опустил).

– Ах, генерал! – сказала она. – Мы давно страдали от того, что нас окружают неискренние люди. Так мало осталось верных!

Николай Иудович преданно смотрел на государыню.

– Не хочу верить, – говорила сильным низким голосом. – Но нам принесли известие, что сегодня великий князь Кирилл Владимирович с гвардейским экипажем ходил в Думу на поклон! Если великие князья так ведут гвардию – сами посудите, на кого нам надеяться!

Старый генерал отемнился, бедняга. Такого предательства он не мог даже вообразить.

Но подтвердил, что и он имеет такие грустные сведения о гвардейском экипаже.

– А я не верила! И невозможно поверить! Мы гвардейский экипаж так любили всегда! И две их роты сейчас тут, во дворце, нас охраняют!

В выразительных её серых глазах вспыхивали искры, но погасающие. Её строгое решительное лицо только и жило верой. А с потерей веры теряло форму.

Но честный генерал ничего не мог поделать с этими изменниками.

Уже менее волнуясь, переходя к деловому тону:

– Когда же, генерал, вы думаете вступить в Петроград?

Николай Иудович сильно вздохнул богатырски-широкой грудью:

– Затруднительно сказать, Ваше Величество. Ведь со мной сейчас восемьсот человек, что я могу? Я приехал командовать войсками Округа – а меня просто арестовать можно.

Простоватое лицо генерала выражало расступление ума.

– Да, но к вам же идут полки! – Императрица уже сидела не напряженно, откинувшись на высокую спинку и придерживаясь за сердце, это не был жест чувства, а, кажется, прямой боли, но неумирающие глаза её пылали снова: – В Петрограде – ужасы творятся! Грабят квартиры, разоряют дома, вот Фредерикса жгут, перепились, убивают офицеров. Всё это надо остановить немедленно! Но – не проливая крови.

– В Петрограде, – благообразно и светлооко возразил Николай Иудович, – уже всё успокоилось.

– Как успокоилось? Когда? – изумилась императрица. – Откуда у вас такие сведения? Я например знаю... Вот только что... Да даже у нас в Царском...

– Никак нет, Ваше Величество, – качал широким лбом генерал. – Нам известно, что в Петрограде всё успокоилось.

– Да откуда же?! Совсем не так!

– Извольте видеть, я только что получил телеграмму из Ставки. В Петрограде – новое правительство, прежних министров, правда, поарестовали, это сугубо прискорбно, но и новое правительство примкнуло к монархическому началу – и мне приказано вступить в переговоры.

– Ка-кие переговоры?! – ахнула императрица. – Там – разбойники, воры, враги Государя! – какие с ними переговоры? Это пьяная банда или изменники отечества, надо немедленно её разогнать! переарестовать!

Она – чётко это бросала, и такое решительное жёсткое выражение взялось на её лице, подпрыгнули нити ожерелья на груди, – кажется, сама бы сейчас повела войска.

– Но Ставка...

– Да что может оттуда понимать Ставка? Государя нет, Алексеев ещё больной, что он может решить? – гневалась царица, гнев очень шёл к её лицу.

Но в Иудовича никак не вкинулось её возбуждение, он оставался совсем покоен: почтителен – а не согласен.

– Извольте видеть, Ваше Императорское Величество, – приказ. Приказано – не открывать междуусобицы. – Он даже с грустью отвечал ей, что не давали ему проявить свою генеральскую власть. Но ведь и не свой же народ укладывать, когда такая война идёт.

– Междуусобицы? Конечно не надо! Кровопролития? Ни в коем случае! Но вы соберите все свои полки и торжественным маршем с музыкой вступите в город! И всё! И одни – сразу разбегутся, а другие сразу подчинятся и успокоятся. И всё. Лишь бы был проявлен авторитет власти! Кровопролития – конечно не должно быть, ни в коем случае!

Ну, так это же самое и генерал говорил. Так же ему и приказывали.

– Но – какие переговоры? Какое «новое правительство»? – поднялась государыня в досаде, – и тотчас же поднялся генерал. Она пошла по комнате, а он поворачивался в ту сторону, где она.

Это «новое правительство» досадней всего её и прижигало, она знать его не хотела (хотя вынуждена была просить у Родзянки защиты), – самозванцы, думские мерзавцы!

Она бессильно выхрустывала кистями. Акцент её стал сильнее:

– Но ведь этот же приказ – не Государя?!

– Начальника штаба Верховного Главнокомандующего, – почтительно напоминал генерал. – А с Его Величеством у меня связи нет.

Да! Всё возвращалось к тому же! – нет связи с Государем! Надо искать и вызволять Государя!

Остановилась. И сплела руки на груди, как бы молитвенно:

– Вы правы, генерал. Прежде чем действовать – сейчас самое важное нам: найти и освободить Государя.

Самое важное сейчас – государыне соединиться с Государем. Сейчас под защитой генерала можно было бы всей семье поехать к нему. Но – нельзя вырывать больных из постелей, превратности пути, да и неизвестно, куда ехать, и отряд генерала – не большой, чем у них тут защитники во дворце.

– Надо выручить Государя! – решила она окончательно. – И открыть ему путь сюда. Можете вы привести поезд Государя – сюда?

Вздыхнула широкая испытанная грудь богатыря, колыхнулась сивая борода:

– Ваше Императорское Величество! Я – с полной готовностью! Если бы мне удалось прорваться до Дна – я бы там дальше искал бы поезд Его Величества, высвободил бы его – и он смог бы приехать к вам!

Генерал стоял – не колебнулся, смотрел – не моргал, мудрый старый полководец.

(Тогда освобождался он – не только от похода на Петроград, но даже и – штаб обосновывать в Царском).

Ему, правда, было жалко государыню при больных детях и в двух верстах от взбунтовавшихся полков. Но тут – охрана была неплохая.

Государыня смотрела с надеждой и благодарностью на милого старика, постепенно уразумевшего положение. Просветлилась от новой мысли:

– Генерал! У меня – письмо для Государя, которое нельзя, чтобы попало в *их* руки. Я там откровенно пишу об обстоятельствах, о планах...

Договаривала уже на ходу. Чуть приподнимая долгую юбку, быстро вышла из комнаты. Из-за портьеры послышался шорох, разговор по-английски.

Иудович быстро соображал. Упаси Бог брать такое письмо. Ведь его, как самого простого офицера, могут в любой момент захватить, обыскать, да хоть вот сейчас, в пустынном Царском Селе, ещё до вокзала. За такое письмо не поглядят: участник заговора.

Государыня возвращалась с письмом в руках, одаря улыбкой. И протянула – пальцами в перстнях и с обручальным кольцом Государя – конверт.

Иудович, всё с тем же старо-генеральским благородством, преданно и проникновенно отрапортовал:

– Ваше Императорское Величество, это никак не возможно. Я могу пасть в бою. На моих руках – отряд. И я не уверен, что так быстро достигну Государя сам.

– Но пошлите кого-нибудь! – ещё всё не отняла она протянутого конверта.

– Никак нет, Ваше Величество. Не имею такого надёжного человека, с кем бы послать.

Государыня вскинула голову породистым движением, в царственном недоумении.

Иудович склонился весь, объясняя:

– Ваше Императорское Величество, моя офицерская служба, чуждая искательств... Сорок семь с половиной лет... Ведь я – не из-за себя. Как же можно вашим драгоценным письмом рисковать? Как же можно ваши августейшие планы допустить в руки какого-нибудь негодяя?...

Генерал Иванов очень спешил прочь из дворца, но в ярком вестибюле его нагнал дежурный офицер – и подал ему с дворцового телеграфа ещё новую телеграмму в сером запечатанном конверте с дворцовым гербом – только что пришедшую.

Досадуя, что не успел уйти, генерал вскрыл.

Такая же была, с дворцовым гербом, толстая бумага, и на ней красивым каллиграфическим почерком выведено:

«Псков, 0 ч. 20 мин. Надеюсь, прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не принимать. Николай».

Ну! Последние оковы спадали с рук обременённого генерала. Не надо вступать в Петроград! Не надо собирать войска! Даже не надо принимать никаких решений. И Государя

вызволить тоже не надо, он приедет сам!

Отлично! Отменно! Всё предусмотрел Николай Иудович – и всё правильно! Хорошо, что не начал стрелять, вот бы влип. Хорошо, что не совался в Петроград.

Весёлый ехал он по перепойной или напуганной безлюдности Царского Села. Нигде не было ни толп, ни патрулей, ни часовых, ни прохожих, всё убралось в дома и казармы. Да морозец! Проехал до станции благополучно.

На плохо освещённом вокзале стоят его тёмный эшелон в полусотню вагонов. Иванов приказал готовить отъезд. Оба паровоза уже были прицеплены назад. Для лучшего сосредоточения ясно, что ему нужно оттянуться назад.

Его отход из Царского Села был более чем разумен: здесь его может что-нибудь заставить принять решение. А ему надо – не принимать никаких решений.

А иначе и не достичь приказанного ему умиротворения.

Тут прибежали со сведениями, что 1-й запасной стрелковый батальон и с ним тяжёлый дивизион движутся к вокзалу.

Ну, так и ждал! Несомненно: чтоб захватить или перестрелять весь георгиевский батальон! Как хорошо, что не вышли из вагонов. И так ещё удивляться, что простояли благополучно.

На паровозы он велел поставить караулы из своих георгиевских кавалеров. А начальника станции прихватить с собой как заложника – чтоб не произвели чего со стрелками или со сцепами.

И велел немедленно трогать в два паровоза – назад, на Вырицу.

БОРОДА МИНИНА, А СОВЕСТЬ ГЛИНЯНА

297

Но и во весь день не мог себе Эверт найти места. На фронте событий не было, а в спину дула тревога – и ничего не оставалось, как сидеть и перечитывать, перечитывать ворох этих необъяснимых телеграмм, и пытаться их уразуметь.

А уразуметь их – невозможно.

И Алексеева к прямому проводу не вызвать – то болен, то вместо него Лукомский.

Невозбранно и нагло разливался по России мятеж – а Ставка не препятствовала. И сообщала об успокоении.

И поражала внезапность изменения: что – хрустнуло? что сломилось? Три дня назад всё это было уголовно наказуемо, – а вот текло, и никто не препятствовал.

И сидел Эверт над этими лентами, поддерживая неразумную большую голову большими руками: вот, никогда не думал, что ему придётся заниматься ещё и политикой. Всю жизнь он прослужил в императорской армии, уже третье царствование и уже третью большую войну, и знал, что служит престолу и родине, и все вокруг служат престолу и родине, и не было трещинки, где б усумниться в ком-то, в чём-то. А теперь что ж это творилось? и что надо делать?

Он-то сам по себе, Западный центральный фронт, Вторая, Третья и Десятая армии, был огромная сила, – но сам себя не знал, как использовать. Широоченными плечами стоял Эверт от Западной Двины до Пинских болот и, кажется, мог повести плечами да и всё повернуть? Но ослаблен был ощущением полного одиночества. Если б он имел прямую связь со своим правым соседом Рузским или левым Брусиловым? Но и связи такой не бывало, и совсем

были ему чужи оба, и не мог бы он прямо обратиться к ним даже за действием в пользу престола.

Вот если бы Государь приехал сюда, в Минск, и приказал бы действовать, – Эверт бы и действовал.

А за пределами прямого приказа научила Эверта долгая служба: лучше не брать на себя самому лишнего. Служить надо верно – но и не колебать опрометчиво своего положения. Так в прошлом году можно было браться наступать Западным фронтом, можно не браться, – Эверт и не взялся, указал, что позиции противника очень сильны, и предпочёл дать часть своих войск Брусилову. Наступление – дело очень неверное, можно и большую славу собрать, можно и сильно провалиться.

Так за целый полный день Алексеев и не стал к прямому проводу. В семь часов вечера велел Эверт Квецинскому узнать из Ставки ещё раз: что же делать с наводняющими фронт телеграммами, сведениями, слухами, очевидцами, сплетнями со всех сторон, – ведь так не может фронт стоять. Да и сама Ставка в только что разосланной телеграмме Клембовского подтверждает полное восстание в Москве, в Кронштадте, переход Балтийского флота на сторону Родзянки, и пока генерал Алексеев просит у Государя успокоительный акт, – а для фронта промедление может быть роковым. Дайте указания, как нам действовать! Благоволите сообщить: где Государь? где генерал-адъютант Иванов? где ушедшие от нас эшелоны?

Отвечал опять не Алексеев, – Лукомский. Извинялся, что какую-то важную телеграмму Алексеева к Родзянке не передали на Западный фронт – напутал штаб-офицер. Сейчас будет передана. А просил генерал Алексеев Родзянку – не распоряжаться помимо Ставки. И вы увидите, что проектированный ответ главкозапа Родзянке не противоречит взгляду наштаверха. А Государь – во Пскове, а генерал Иванов от Царского Села уже в трёх перегонах. И эшелоны Западного фронта проходят, по-видимому, свободно.

А решения – опять никакого. Указаний – опять никаких.

И так – до глубокой ночи. Всё кружилось, тряслось, переворачивалось – а указаний не было.

Обстановка – как ходишь по ножу, и самому ни на что не решиться, слишком многое неизвестно.

Наконец, во втором часу ночи, распорядился Эверт Квецинскому дать ещё одну телеграмму в Ставку: что нельзя ж допускать проникновения в войска этих разрушительных телеграмм! Что генерал Эверт по своему району отдал пресекательные приказания, но считает необходимым единство мер на всех фронтах – и просит указаний!

Кто там в Ставке прочёл или спали – ответа не было. Но нет, не спали, потому что через полчаса оттуда прикатила на имя Квецинского телеграмма от Лукомского – совершенно изумительного содержания. Что вследствие невозможности продвигать далее Луги (там тоже мятеж) эшелоны войск, направляемых к Петрограду; и вследствие разрешения Государя императора вступить Главнокомандующему Северным фронтом в сношения с председателем Государственной Думы (отъявленным изменником!); а также вследствие высочайшего соизволения вернуть назад посылаемые войска Северного фронта, – начальник штаба Верховного просит также и Западный фронт распорядиться: не грузить те части, кои ещё не отправлены, а кои находятся в пути – задержать на больших станциях.

Вот это грохнуло! Вот это так перевернулось!

Однако дозвольте: если Государь распорядился повернуть войска Северного фронта – он же не распорядился о Западном? А может они должны подравняться? В эти решающие часы движения полков – генерал Алексеев останавливал их собственным решением, по аналогии?

Легко ж он обращался с присягой. Изворотливая формулировка.

Но и – некуда было пробиться: Государь – у Рузского, и с ним связи нет.

А начальник штаба в отсутствие Верховного является Верховным.

Что творилось, Боже мой?

И не выполнить невозможно.
И политики Эверт не понимал.
И надо быть осторожным.
Его собственный фронт уже трясло и клевало сзади.
Думал-думал Эверт – ничего не придумает.
И в три часа ночи Квевцинский стал останавливать посланные войска.
А они – только пошли как следует!...

298

От пункта к пункту Милюков успокаивался. Чего он более всего боялся – чтобы социалисты не передумали и не взялись формировать правительство сами, – они вот и не собирались. О войне, о союзниках – не говорили. Очень хорошо. Учредительное Собрание? – так это самый расхожий лозунг интеллигенции от начала века, от него никак нельзя теперь отречься, это выглядело бы открытой изменой самим себе. Сегодня «Учредительное Собрание» принесли и офицеры из Дома Армии, тут под сурдинку уговорили их снять. Учредительное Собрание – это любимый мираж для всех. Но Улита едет – ещё когда-то будет. Важно получить реальную власть сегодня и укрепиться кадетскому правительству, – а там Учредительное может и не понадобиться.

Не возникало никаких страшных пунктов, и так это приятно поразило Милюкова, что он не выдержал и сказал:

– Ну что ж, условия ваши пока в общем приемлемы и могут лечь в основу соглашения. Я слушаю вас и между прочим думаю: как далеко вперед шагнуло наше рабочее движение со времени 1905 года.

В его памяти ещё не загасли те невыносимые наглые левые, хотя бы в Союзе союзов, с которыми из рук вон невозможно было разговаривать. Но и – нарочно он это сказал, чтобы польстить им и смягчить их. Ведь всякие переговоры и сговор есть не только взаимная борьба, но и взаимная поддержка. На Петроград идут войска, защищаться нечем, третий день нет никакой власти, – обе стороны находятся в положении рискованном. Надо укатать поскорей переговоры к успеху. Надо скорее получить власть, и притом не дать подорвать армию да и монархию как принцип – тоже, для удобства переходного периода.

Милюков начинал себя чувствовать всё лучше. Правда, Гиммер оставался ему несимпатичным, но Нахамкис-Стеклов – просто располагал к себе, какая положительная личность, он вероятно выдвинется среди социалистических вождей. Милюков старался быть предельно любезным с ним. Наконец, он запросто попросил Нахамкиса передать ему этот листок пунктов – чтобы видеть своими глазами и для обработки.

Тот ещё сам почитал, потом отдал. Милюков положил рядом чистый лист, переписывал пункты себе и продолжал обсуждать.

Как ему показалось, он выпорил этот пункт – о непредрешении образа правления, ему дали вычеркнуть его. Стало пунктов не девять, а восемь. А чтобы не менять нумерации – сюда, на почётное третье место переставили с конца отмену всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений, – да это просто музыка, а не переговоры! – этот пункт Совет рабочих депутатов мог бы и не выдвигать, кадеты и сами называли его всегда прежде всех остальных.

Не стал оспаривать и пункт о замене государственной полиции, подчинённой центральной власти, – рассредоточенную народную милицией с выборным начальством: конечно, в каком-то смысле это временное разрушение охранной системы страны, но это уже и происходит стихийно: полицию уже преследуют и разгоняют, а с другой стороны это же прямо из старой программы освобожденцев и кадетов 1905 года: чтобы в руках правительства не было централизованной силы против народа. Постепенно уладится и разумная охрана. В конце концов ведь мы все, мы все из одной и той же интеллигенции.

И пункт о выборах городских самоуправлений – это уж легче всего; иначе и быть не

может.

Это удивительно и так приятно, что между ними не столько спора, сколько согласия. И выступило Милюкову, не ошибку ли дал в своё время, создавая Прогрессивный блок направо, вместо Левого блока.

Был ещё пункт, имеющий частное, временное, совсем не государственное значение, но, видимо, важный для Совета депутатов, зависящего от своих солдат: не выводить из Петрограда и не разоружать воинские части, находившиеся тут в момент революции. Немного странно, конечно: что ж, для этих запасных война уже и кончилась? Конечно, тут *petitio principii*, можно оспаривать, но реально в данный момент с этой распущенной солдатской массой и действительно ничего нельзя поделывать, так что легко этот пункт и принять, тем более что он поставлен как бы условием передачи власти. Да и самим министрам как же оказаться без гарнизона перед лицом царской контрреволюции?

Однако замыкался список пунктов – бомбой: самоуправлением армии! выборностью офицерства! И это в разгар войны! Такое сумасшедшее требование не могут выдвигать нормальные люди. Очевидно, делегаты Совета не подумали хорошо и не понимали всего значения.

Но они – настаивали непримиримо!

Вот как? Уж Милюков доказывал им, что выборного офицерства ещё не бывало никогда в мире.

А Нахамкис брался доказывать, что только та армия сильна, где офицер пользуется доверием солдат.

– Да ведь вы же сами сказали, что печатаете воззвание к солдатам! – напомнил он Гиммеру.

А тот – как не понял связи.

Керенский по-прежнему мрачно не участвовал в дискуссии, а тут – вообще ускочил.

Чхеидзе дремал в беспомощности.

Соколов как ушёл, не возвращался.

А эти два социалиста – сомкнулись на своём.

Думцы отвалились. Владимир Львов отдал всё одному взрыву, больше не взрывался. Шульгин очнулся, взбрыкнул, что от выборного офицерства всё окончательно развалится, и снова впал в протрацию.

Шёл третий час ночи. Уже никто не мог выдержать. Но Милюков знал про себя, что выдержит и пересилит. Ничего лучше он в мире не умел, чем вот это медленное перетирание собеседников. Он знал это искусство: вдруг покинуть основное место разногласий и начать перетирать, перетирать челюстями какое-нибудь побочное второважное место, – но оттуда пережёв постепенно вернётся на главное. А ещё в запасе у него было искусство находить примиряющие словесные формулы, которые дают удовлетворение оппоненту, а себе открывают свободную линию действия.

Милюков уже заметил, как плохо и повторительно составлен список Совета: пункт о гражданских правах народа, распространённый на армию, и пункт о самоуправлении армии – в разных местах и в общем друг друга повторяют. Он принялся за первый и настаивал, настаивал, пока добился переписать, что на военнотружущих политические свободы распространяются, но в пределах, допускаемых военно-техническими условиями. Тем самым и пункт о самоуправлении армии начал уже обкусываться с краёв. А если обкусывать его дальше, то и он принимал форму, уже приемлемую: при сохранении строгой воинской дисциплины в строю и при несении военной службы...

Умно спорил и Гиммер. Он не говорил, что это – они, вожди Совета, придумали и настаивают так. Но что таковы крайние требования масс: солдаты потерпят офицеров только выборных, а Совет как может умеряет и сдерживает в рациональных рамках. Но если вовсе пренебречь требованиями масс, то размах движения сметёт и все правительственные комбинации. И напоминал:

– Не забывайте: реальные силы – только у нас. Стихию можем сдержать только мы!

(Он уже заметил, что цензовые этому верят, здесь это сильным конёк, и нажимал. Они-то с Нахамкисом знали, что «Приказ № 1» уже пошёл в печать, и отступить некуда).

Да, Милюков это уже понимал: что без Совета массами не управить. И не отразить внешней контрреволюции. Но как будто не слыша этих угроз о стихии, не продрогнув ни ухом ни глазом, а сам напоминая им об опасности генерала Иванова, он методически откусывал и откусывал с краёв. Ему говорили, что требования и так уж минимальны, – а он их откусывал.

И как только выборность офицерства откусил и, как ему казалось, об образе правления пункт выигран, он, по высшим правилам переговоров, в ту же минуту неумоимо и неожиданно пошёл и сам в наступление:

– Это – ваши требования к нам. Но: и мы имеем к вам свои.

Так, так! – подумал Гиммер про себя. Сейчас их свяжут обязательством поддерживать новое правительство – и так скуют всю инициативу Совета и загубят демократию.

Не совсем так, но в этом роде. До того напугала цензовиков солдатская анархия, что все мысли их были про солдатскую анархию. Милюков, действительно, просил о встречной декларации Совета, которая должна быть напечатана одновременно с декларацией правительства, принявшего пункты Совета, а Совет пусть подтвердит, что правительство образовалось с его согласия и должно быть законно в глазах масс.

Кажется, ещё шаг – и участие в правительстве?

Нет, прямого соучастия Совета Милюков не запрашивал, а просил: ещё заявления о доверии к офицерству. И осудить грабежи и врывания в частные квартиры.

Опять об этом? Мало того, чтоб не выбирать нового офицерства, но ещё и доверять старому? А оно – контрреволюционно? А оно – верно царскому режиму?...

Тем временем вернулся, ворвался Соколов, по-новому взволнованный. Он вот где, оказывается, пропал: он узнал, что от Военной комиссии Думы готовится прокламация к войскам, и сейчас читал её корректуру. Так вот, там говорится: о так называемом «германском милитаризме», о «полной победе» и о «войне до конца»!... Каково?

Это было возмутительно и коварно со стороны цензовых кругов – издавать такую прокламацию за спиной Совета! (У Соколова однако хватило ума не выказывать, какой они сами подготовили «Приказ № 1»). Это было по крайней мере непорядочно с их стороны: Совет тактично обошёл в переговорах вопрос продолжения войны – а цензовые круги лезли на рожон! Совет принёс тяжёлую жертву, поставил себя под удар европейского демократического мнения, – а что же делали думцы?!

Правда, это делал – Гучков, которого здесь не было. Милюков – сразу и не одобрил его бестактность. Милюков – ценил то соглашение, которое они почти уже достигли среди трупов спящих.

А кстати спросили советские: кто же такие правительство, персонально? Не очень сильно это депутатов Совета интересовало, ну а всё-таки? Например, Гучков – будет? Он вызывает большое недоверие.

Даже Милюков, его известный неприятель, должен был ответить: при своих организаторских способностях, при своих обширных связях в армии, Гучков в нынешней ситуации незаменим.

Посмеялись Терещенке. Но Милюков и сам косился, через какую щель этого Терещенку затолкнули.

Тут принесли и корректуру гучковской прокламации – огромными буквами, для расклейки на улицах. Пробежав её, Гиммер про себя нашёл, что, пожалуй, она и не страшна: вполне нормальное обращение к воюющей армии во время войны. Но – нельзя было спускать. И он заявил, что если думцы её не остановят – Совет остановит своею силой.

Упрямый Милюков в этот раз как будто и не упрямылся. Он возвращался всё к тому же: надо составить встречную декларацию Совета.

А между тем членам будущего правительства надо было привести в порядок и оформить проработанные пункты.

Всё это могло завтра – то есть сегодня же утром, появиться в «Известиях» Совета.

Был четвёртый час ночи. Решили – на час разойтись для редактирования и снова сойтись. Уже ни у кого не было ни сил, ни соображения, и охотно оставили бы на завтра. Но, настаивал Милюков, откладывать ни в коем случае нельзя: у населения создастся впечатление, что правительство никак не может образоваться, какая-то есть роковая помеха.

Да без такого соглашения у обеих сторон не оставалось и выхода.

299

Тщательная красная бутоньерка, как готовят её из шёлка терпеливые пальцы мастериц, даже в эти сумасшедшие дни – цветок или розочка, совершеннее природных, – шесть? восемь? десять лепестков? – так строго-точно симметричных, такие одинаковые лепесточки с парными отворотами, – медленно-медленно вращается вокруг оси, как любуясь сама собою или давая полюбоваться нам.

Но совершенство нигде не длительно, и мы видим бутоньерку уже только четырёхконечную, и не столь уже тщательную, кой-где неровно прихвачены края, и вращается она тоже не совсем ровно, то медленнее, то быстрее, как будто мешает ей что-то.

Крупнее.

= Это – красный бант двуконечный, перехваченный чуть посередине, где пришпилен случайной поспешной булавкой, а в две стороны разлаписто, нарочито-крупный бант, какой прикалывают рядом с орденами офицеры, примкнувшие к революции, чтобы видно было за квартал.

И – сдвинулся боком, и – одёрнулся боком, нет, это он начал вертеться, и быстрее, хотя всё различаем бант.

А в самом вращении он меняется, теряет форму – крупнее

= да это большой рваный красный лоскут, отхваченный как попало, лохматый как огонь, приколотый где пришлось, вокруг точки прикола вращается своими углами, отрывами, лохмами.

Во весь экран шальное кружение, и почему-то страшное.

300

Никогда генерал Рузский не чувствовал себя таким сильным и гордым, как после растянутых вечерне-ночных переговоров с царём. Он никогда бы и вообразить не мог, что посмеет так разговаривать с монархом. Неожиданный перевес своей силы, в глубине он знал немало поражений, превосходство иных других.

А гордым – потому, что Рузскому одному досталось в несколько часов выполнить десятилетнюю задачу всего русского образованного общества, что не удалось многим сессиям Думы, сотням призывов, петиций, резолюций, – а Рузский мог теперь поразить Родзянку и весь Петроград.

Со своим ограниченным здоровьем едва вынес всю эту уже ночную растяжку, и в аппаратной штаба фронта с удовольствием погрузился в глубокое кресло. Он так устал, что и разговор вёл из откинутого кресла, от аппарата же к нему поддерживал ленту Данилов.

Была половина третьего ночи. Можно представить, насколько же в Петрограде сейчас нет ночей. Что там вообще творится!...

Родзянку появился на том конце, аппарат простучал об этом.

Однако и смущала Рузского отмена уже назначенного приезда Председателя – да когда он был приглашён Государем. И чтобы верней понять соотношение лиц и предметностей, Рузский сперва попросил объяснить, почему Родзянку не приехал во Псков, как обещал. Причём генерал хотел бы, с полной откровенностью, знать причину *истинную*.

Родзянку, с *откровенностью* же: первая причина – что посланные с Северного фронта войска взбунтовались в Луге, присоединились к Государственной Думе и решили не

пропускать даже царские поезда, и Родзянко озабочен теперь открыть им путь.

Лента текла – и Рузский соображал, что это – бессвязно. Волнения в Луге – местного гарнизона, не посланных войск, – и очевидно направлены в пользу Думы, они не мешали Родзянке ехать. Нет, он не подготовился к ответу, скрывает что-то.

Но лента текла, и Рузский не возражал. Недостаток аппаратного разговора – не видишь лица собеседника. Преимущество – не видят и твоего.

А вторая причина: получил Председатель сведения, что его поездка во Псков могла бы повлечь нежелательные последствия.

Вот-вот, так – какие же?... Что-то тут было, конечно, Рузский верно почувствовал!

– Невозможность остановить разбушевавшиеся в столице народные страсти без личного присутствия, так как до сих пор верят только мне и исполняют только мои приказания.

Ну, вот это уже было вполне понятно. Равно мерно стучащий юз подавал только ленту с буквами, не было приспособления услышать и самого Родзянку – но кто его хоть однажды слышал и видел, тот почти и не нуждался в повторении. Выше слов своих вырастал этот гигант, наконец-то получивший силу соответственно своим возможностям. Воображался этот бушующий Петроград – но и толстые руки Родзянки, удерживающие бразды.

Что ж, среди указанных причин не было отказа или передума и, значит, Рузский мог доложить свою великолепную новость.

– Государь император первоначально предполагал предложить вам составить министерство, ответственное перед Его Величеством. Но затем...

Неудобно прямо говорить: в результате бесед со мной. Но это и само станет понятно...

– Отпуская меня, Его Величество выразил окончательное решение и уполномочил меня довести до вашего сведения об этом: дать министерство, ответственное перед законодательными палатами, с поручением вам образовать кабинет!

Рузский воображал по ту сторону обалдело-радостное лицо Родзянки. А между прочим, никогда не забывается и тот первый, кто приносит радостную весть. И, уже несколько кокетничая:

– Если желание Его Величества найдёт в вас отклик, то спроектирован и манифест об этом, который я сейчас вам передам.

Свершилось.

Навёртывающаяся лента дальше от Данилова частями передавалась генерал-квартирмейстеру Болдыреву, а тот, не откладывая, готовил сжатое донесение в Ставку о разговоре.

Разговор безголосно протягивался при мерном постукивании.

Но лента от Родзянки что-то не несла ответной радости.

– Очевидно, Его Величество и вы не отдаёте себе отчёта в том, что здесь происходит. Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так-то легко.

Потом – как он два с половиной года предупреждал Государя о грозе. Как теперь, в самом начале движения, стушевались министры, не приняли никаких мер...

– ...И мало-помалу наступила такая анархия, что Государственной Думе вообще, а мне в частности оставалось только попытаться стать во главе движения, чтобы не погибло государство.

Ещё раз порадовался Рузский, что теперь не отвечал за Петроград.

– К сожалению, мне это далеко не удалось, народные страсти так разгорелись, что сдержать их вряд ли будет возможно. Войска не только не слушаются, но убивают своих офицеров. Ненависть к государыне императрице дошла до крайних пределов. Вынужден был во избежание кровопролития заключить всех министров в Петропавловскую крепость.

О-о-о, картина выходила далеко за рамки воображённого. Но энергично же справлялся Родзянко!

– Очень опасаясь, что такая же участь постигнет и меня.

Как?? Не вмещалось в черепную коробку!! – Рузский заскрёб её пальцами, и

непроемчивый Данилов тоже заволновался. Каков же размах небывалой революции, если **единственного** человека, которому верят и чьи приказания исполняют, – вот-вот готовы бросить в Петропавловскую крепость!!!

А Родзянко двигал и двигал глыбы:

– Считаю нужным вас осведомить, что предлагаемое вами уже недостаточно и **династический вопрос поставлен ребром**. Сомневаюсь, чтобы возможно было с этим справиться.

Все усилия, вся победа Рузского и гордость его – были оттолкнуты в прах!...

Изнеможение, его прошло, он приподнялся, сидел в кресле ровно.

– Ваши сообщения, Михаил Владимирович, действительно... Это прежде всего отразится на исходе войны... А надо её довести до конца, соответственного великой родине...

Не забывал генерал Рузский, что эту ленту не миновать ему завтра показать Государю, да может и Алексееву послать, выразаться генерал-адъютанту следовало очень осмотрительно. Но нельзя же было игнорировать и упустить того, что происходит в Петрограде. Там им – всё понятно, нам ещё нет. Между бездной оказаться изменником и бездной оказаться реакционером – как бы это выстелить неопасно, но допытливо:

– Не можете ли вы мне сказать, в каком виде намечается решение династического вопроса?...

Нелегко и камергеру императорского двора:

– С болью в сердце буду вам отвечать. Ещё раз повторяю: ненависть к династии дошла до крайних пределов. Но весь народ, с кем бы я ни говорил, выходя к толпам, решил твёрдо довести войну до победного конца. Все войска становятся на сторону Думы, и грозное требование отречения в пользу сына, при регентстве Михаила Александровича, становится определённым. Со страшной болью передаю вам об этом, но что же делать? В то время, как народ проливал кровь, – правительство положительно издевалось над нами.

И опять – заклятые имена, Распутин, Штюрмер, Протопопов, стеснение горячего порыва, неприятие мер, розыски несуществовавшей тогда революции... Эти все знакомые повторения Рузский пропускал в пальцах и мимо глаз, он горел понять, как стоит вопрос с династией, чтоб не ошибиться ступить самому. Единственный человек, владеющий Петроградом, говорил: до крайних пределов...

– ...Тяжкий ответ перед Богом взяла на себя государыня императрица... А ещё присылка генерала Иванова только подлила масла в огонь и приведёт к междуусобному сражению, так как сдержать войска решительно никакой возможности... Кровью обливается сердце. Прекратите присылку войск, они не будут действовать против народа...

На крайности против императрицы Рузский не смел ответить ничего в печатаемой ленте. Он – о несомненном: нужно быстрое умиротворение родины, надо, чтоб анархия не распространилась на армию. Указанные ошибки не могут повториться в будущем. Предполагается ответственное министерство, подумайте о будущем. А войска в направлении Петрограда, Рузский рад разъяснить, были посланы не им, а по директиве из Ставки, но теперь уже отзываются:

– Иванову два часа тому назад Государь император дал Указание не предпринимать ничего... Равным образом Государь император изволил выразить согласие, и уже послана телеграмма два часа тому назад, вернуть на фронт всё то, что было в пути.

Два часа назад – значит, это Рузский добился, понимаете! И – снова к своему главному достижению:

– Со стороны Его Величества принимаются какие только возможно меры... И желательно, чтобы почин Государя нашёл бы отзвук в сердцах тех, кои могут остановить пожар.

Безупречная лента генерал-адъютанта и главнокомандующего фронтом. Достаточно узнав для себя (и в новой прочной позиции по отношению к императору), удержался Рузский в позиции верноподданного, не дав ни сомнительной фразы.

А ещё – передал полный текст государева манифеста.

– Я, Михаил Владимирович, сегодня сделал всё, что подсказывало мне сердце. Приближается весна, мы обязаны сосредоточиться на подготовке к активным действиям.

И прикатило оттуда:

– Вы, Николай Владимирович, истерзали вконец моё и так истерзанное сердце. По тому позднему часу, в который мы ведём разговор, вы можете себе представить, какая на мне лежит огромная работа. Но повторяю вам, я сам вишу на волоске, и власть ускользает у меня из рук.

Вот это, всё-таки, никак не поддавалось воображению: Родзянке грозила Петропавловская крепость?

– ...Анархия достигает таких размеров, что я вынужден был сегодня ночью назначить Временное Правительство.

Ах вот оно что! Какие ходуны! Приберёг на конец! Да, конечно, зачем ему тогда ответственное министерство из рук царя, если он сам уже *назначил* правительство!... В этом отдалении от столицы постоянно отстаёшь и попадаешь не в тон.

– ...Манифест запоздал, его надо было издать после моей первой телеграммы. Время упущено, и возврата нет. Повторяю, народные страсти разгорелись в области ненависти и негодования. Надеемся, что после воззвания Временного правительства крестьяне и все жители повезут хлеб, снаряды и другие предметы снаряжения.

А запасов хватит, так как об этом заботились именно общественные организации и Особые совещания.

– Молю Бога, чтоб Он дал удержаться хотя бы в пределах теперешнего расстройтва умов и чувств, но боюсь, как бы не было ещё хуже. Желаю вам спокойной ночи, если только вообще в эти времена кто-либо может спать спокойно.

Не то что спать, но отойти от аппарата трудно было спокойно. Что значит «ещё хуже»? Генерала Рузского протронуло дурное предчувствие.

– Михаил Владимирович! Но имейте в виду, что всякий насильственный переворот не может пройти бесследно! Что если анархия перекинется в армию и начальники потеряют авторитет власти – что будет тогда с родиной нашей?

Этого они и оба, и даже отдалённо представить себе не могли.

И Рузский ещё убеждал, так жалко ему было расстаться с добытым: ведь цель всё равно – правительство, ответственное перед народом. Так: если вот открыт к этому нормальный путь...?

Что-то пугался генерал этого отречения, неожиданно для себя.

Но Родзянко – нисколько. Родзянко там, в революционной стихии, уже с этой мыслью сжился:

– Не забудьте, что переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех. И тогда всё кончится в несколько дней! Одно могу сказать: ни кровопролития, ни ненужных жертв не будет, я этого не допущу!

Эта уверенность властного человека начала передаваться и Рузскому. Если в несколько коротких дней и безо всякого кровопролития – отчего, правда, и не...?

Не светало ещё, но было уже скорее утро, когда они кончили свой медленно текущий аппаратный разговор.

Можно было ехать будить Государя и докладывать ему, что никакого примирения не будет, Председатель Государственной Думы намеревается свергнуть его – и, может быть, остановленные войска снова послать на Петроград?

Никак. Даже мысль не повернулась – доложить такое Государю. (Да ведь он же и почивает). Даже ни в чём не сказав Родзянке «да» – генерал-адъютант Рузский уже как бы вступил с ним в сговор. Он уже был задет и увлечён новым оборотом.

Кому нужно было немедленно обо всём донести – это Алексееву.

А там посмотрим.

Ставка и так уже волновалась, теряя приличие. Всё просили ориентировать их почаще, что будет важное.

Велел передать: распоряжением Государя манифест об ответственном министерстве должен быть опубликован.

И – конспект своего разговора с Родзянкой.

В четыре часа отправился спать.

301

И от сегодняшнего ночного разговора, как и от вчерашнего, снова был Родзянко вскрыт. Опять удача! Опять успех!

По полукружным коридорам Штаба он нёсся легко, как будто тело его громадное не весило и закручивал его лёгкий ветерок.

Двойной успех! Тройной успех!

Так верно: именно его назначал Государь, именно на него возлагал формировать ответственное министерство!

Немного поздно.

Немного поздно, но всё равно почётно, и признание заслуг. Манифест, который он нёс теперь в скрученной ленте, – не мог не польстить!

Немного поздно.

А может быть – взять да ещё и принять?

Милюкову и всем интриганам – утереть нос?

Но уже сказал: я назначил временное правительство. Значит, сам не вошёл.

Да и действительно его составляют.

Потом: Родзянко убедился, что окончательно остановлены: все войска! И остановлен Иванов, под самой уже столицей!

Это – его личная! победа! В два ночных разговора Родзянко спас свободолюбивый Петроград!

Хорошо выразится Рузскому: что петроградские войска сдержать нельзя, так рвутся в бой на Иванова! (А нету – ни одной боеспособной роты).

Вообще, кое-где он невольно преувеличил – и о крайних пределах ненависти к династии. Но хотелось ярче передать Рузскому, какая ужасная тут обстановка.

Печатать ли теперь манифест? Так и сказал под конец Рузскому:

– Я, право, не знаю, как вам ответить. Всё зависит от событий, которые летят с головокружительной быстротой.

Право, не знаю.

Немного поздно.

Ах, зачем вы так медлили, Государь?

Уже ничем таким – не насытить мятежа.

Увы, неизбежно – отречение.

Но почему-то оно и не пугает. Да легко пройдёт. Быстрая замена на регентство Михаила.

А кровопролития, а жертв, а беспорядков – Председатель не допустит. Защитник народный. Надежда народная.

Боже, помоги России!

302

Соврали думцам на переговорах, будто в Совете составлено и печатается успокоительное воззвание к солдатам. На самом деле печатается воззвание возбуждательное, «Приказ № 1», и через несколько часов, свежееотпечатанный, в полмиллионе экземпляров он

потечёт по столице, принесут его и сюда, в здание Думы, и тогда вся ночная работа переговоров может разрушиться. Сейчас же обстановка была благоприятна, вот остановили патристическое воззвание Гучкова, – и надо спешить закончить и закрепить результаты переговоров. А чтоб их совсем не сорвать, придётся пойти на такую уступку: из «Приказа № 1» успеть выбросить пункт о выборности офицеров – раз уж уступили на переговорах. И Нахамкис пошёл звонить Гольденбергу.

А Гиммер уселся в проходной комнате думского крыла, в уголке, и несмотря на шатанье и разговоры тут разных штатских и военных, с листом бумаги и мусоля во рту карандаш, спешил набросать декларацию Совета, которую с них требовал Миллюков. И даже уже написал что-то:

«Товарищи и граждане! (Некоторые выражались «товарищи граждане!»), не определилось ещё, как правильно). Приближается полная победа русского народа над старой властью. Но для этой победы нужны ещё громадные усилия, нужна исключительная выдержка и твёрдость. (Именно так, вероятно, нужно разговаривать с массами: сперва их приободрить, а потом тут же и подтянуть). Нельзя допускать разъединения и анархии. Нельзя допускать бесчинств, грабежей, врывания в частные квартиры...»

Ещё несколько слов он проковылял неоточенным карандашом, но вдруг почувствовал полнейшее истощение мозга – и от пустоты желудка, и от бессонья, и от перенесенного спора, – даже его неиссякаемые силы иссякли.

А тут вошёл Керенский, уже пободрей и порадостней, и опять привязался, что вот предлагают ему портфель министра юстиции, и как же ему быть – принимать или не принимать? За своей личной министерской проблемой он совсем утерять все революционные принципы и соображения. Гиммер смотрел на него с упрёком. Да и не в рекомендации он нуждался, он явно решил пост брать, но волновался, как отнесутся товарищи по Совету депутатов.

Нет, декларацию писать Гиммер был не в силах, несмотря на всю необходимость, и сунув начатое в карман, он пошёл на советскую сторону, может быть сочинят там вместе.

В Екатерининском зале спало гораздо меньше солдат, чем в предыдущие ночи: уже не опасались спать в казармах, разошлись.

В пустом коридоре увидел Гиммер навстречу себе Гучкова в шубе – ага, шёл к своим цензовым коллегам. Гучков Гиммера не знал конечно, ни в лицо, ни по имени, но Гучкова-то знала вся Россия. Можно было молча мимо пройти, но захотелось зацепить:

– Александр Иванович! Ваше, Военной комиссии, воззвание к армии мы вынуждены были остановить. Оно наполнено такими воинственными тонами, которые не соответствуют революционной конъюнктуре.

Гучков был глубоко мрачен и сперва, кажется, даже вообще не заметил, что кто-то встречный мимо шёл. Услышал слова, остановился, отвлечённым взглядом посмотрел. То ли понял сказанное, а то ли даже и не понял, рассмотрел встречного или скорей не рассмотрел, не спросил ни кто он, ни – кто это «мы», – шевельнул губами странно, ничего не произнёс, пошёл дальше.

Разговор, увы, не состоялся. Гиммер с неприязнью проводил Гучкова в спину: вот из таких-то бар и надо дух вышибать, в этом и революция. А они – ещё к революции подцепляются.

Несмотря на 4 часа ночи неспящие находились везде. И в большой комнате Совета кто спал, а несколько человек сидели разговаривали, и рассказчиком был Караулов – в казачьей форме, одной рукой подбочась, рассказывал явно о своих подвигах, но и в жестах и в словах чувствовалось, что он нетрезв. Новый комендант Петрограда, издававший целый день грозные приказы по городу, видно перехватил спиртного и сам.

А в комнате Исполнительного Комитета Нахамкис рассказывал эсеру Зензинову и меньшевику Цейтлину-Батурскому о том, как шли переговоры с думцами. А Соколова не было, он опять куда-то задевался. И Чхеидзе как провалился, никто его больше не видел.

Рассказывать – это хорошо, и поддержка лишних двух членов – хорошо, но надо из

последних сил писать декларацию Совета, – подбивал Гиммер Нахамкиса. Но и тот что-то не брался.

Вдруг вбежал молодой эсер Флеккель, потрясая ещё какими-то бумажками и с возмущением крича о новой провокации.

Что ещё такое? Это была ещё новая прокламация, уже отпечатанная и подписанная межрайонцами и несуществующим петербургским: комитетом эсеров, который представлялся одним Александровичем. Уже была вчера их совместная листовка о рабочем правительстве – а теперь эта. Да её уже видели сегодня вечером на ИК, ходила по рукам, никто ничего не возразил, классово приемлема. Однако теперь, новыми глазами?...

Да-а-а, пожалуй, с этим воззванием не явишься в думскую комнату. Оно написано в пугачёвских тонах – не только против самодержавия, но против дворян, что они бесились, высасывая народную кровь, против казны, монастырей, затем и против офицеров, романовской шайки, призывая их не признавать, не доверять, гнать, только не прямо, что уничтожать.

И где ж эта листовка? Уже расходится по городу, а здесь в Таврическом – кипы их на складе большевиков.

У большевиков с межрайонцами – всё время взаимная поддержка, и это осложняет дело.

Действительно неудовлетворительна – и по погромно-техническим причинам и ещё более потому, что в самый ответственный момент расстраивается контакт с думскими кругами. Они там ждут успокоительной листовки, а получают «Приказ № 1», – а ещё раньше вот эту, хуже.

Кто был, четверо-пятеро из Исполнительного Комитета, начали совещаться. Вопрос был очень сложный. Остановить листовку ещё удастся ли, ещё успеют ли, но и принципиально: это будет наложение запрета на свободное слово социалистической группы – имеют ли они на это право? (Другое дело шовинистическая листовка Гучкова). А с другой стороны и распространение этой листовки по городу сейчас действительно взрывоопасно, ещё поддать огня такому настроению, и сам Совет полетит вверх дном, а уж нового правительства, конечно, никакого не создать. Разумеется, неприятно было им, нескольким тут, брать на себя всю ответственность и ссориться с межрайонцами и большевиками, конечно лучше бы подождать дневного заседания, – но ждать нельзя, это сейчас утром уже полетит по городу. Днём на заседании можно будет поставить во всей полноте вопрос: насколько же имеет право каждая партийная фракция действовать без ведома Совета. Но сейчас...?

Решились бы они или нет, но тут, к счастью, влетел как буря Керенский. Недавнего изнеможения и равнодушия не было в нём и следа, он просто кидался по комнате, кидался на каждого с яростью. Ярость была об этом самом листке, он только что его прочёл, и обвинял Кротовского и Александровича в провокации, в наследовании царской охранке, – а когда ему стали возражать, что нельзя так резко о партийных товарищах, о своих же революционных демократах, – он стал нападать и на членов Исполнительного Комитета, обвиняя их в пособничестве.

– А что вы скажете сейчас на переговорах? С каким лицом придёте писать декларацию об успокоении?

Своей ругнёй Керенский поддал им мужества: рискнуть пока остановить до дневного заседания.

Да тюки-то с листовкой были сгружены тут, через комнату, совсем близко. Гиммер, как всегда самый быстрый в заскоке, отправился на разведку, посмотреть, какие там у большевиков и межрайонцев силы.

А оказалось – там оставили сидеть одного Молотова, мешковатого растяпу. На этого Гиммер смело стал наскокивать, тот сперва возражал, но потом потерялся и уступил тюки без скандала.

Флеккель с помощниками тут же их захватили и унесли под арест.

Распространилось пока мало, захватили в последний час.

Фу-у-уф, перевёл Гиммер дух от этой беды, – а спать, а есть ему никто не предлагал, – и вспомнил, что час перерыва кончается, а декларация так и не написана.

Соколова всё не было. Решили с Нахамкисом идти с начатыми строчками на думскую половину и там уже кончать.

А там в коридоре встретили опять Керенского. Хотел его Гиммер порадовать, как хорошо кончилось с листовкой межрайонцев, но Керенский был ещё в новой ипостаси: не метался бешено, но уныл, ломая пальцы.

Он сообщил, что соглашение с цензовиками тем временем сорвано, всё испортил Соколов: он всё это время где-то писал и принёс Милюкову декларацию, и она призывала не то что к примирению, но была против офицеров погромная.

Гиммер с Нахамкисом рванулись выручать – Керенский схватил их обоих за руки и, опять зажигаясь, выговаривал, что так вести дела нельзя, каждый сам по себе, каждая партия сама по себе, никакого твёрдого руководства, а солдатчина отовсюду прёт – и нет сил её удержать. Вот сейчас начнётся утро – и повалят новые толпы, и депутации и делегации, неизвестно зачем, только связать руки, не давать работать. А там, по периферии, будут разливаться погромы, убийства, и придёт конец всякой революции.

Нахамкис успокаивал его, не впадать в панику, на самом деле не так страшно, и от Совета власть не вырвется. Не вырвется!

Пошли дальше без Керенского, встретили Соколова. Он шёл к ним и был смущён. Он думал обрадовать всех своей декларацией, а на самом деле перепугал. Но он так же легко отказывался, как и взялся писать.

Где-то в промежуточной комнате стали читать его декларацию и от души посмеялись. Она была полна беспощадным бичеванием офицерства – какие они мерзавцы, крепостники, реакционеры, приспешники старого режима, гасители свободы, – весьма верная социальная физиономия! А в конце коротко добавлялось, что тем не менее убивать их не надо.

Думцы, конечно, взорвались от гнева – но, если разобраться, по сути Соколов был прав: разве поймёт нас революционная армия, если мы уклонимся от квалификации социального значения офицерства?

Однако, что же всё-таки делать?

А теперь Милюков – сам пишет! – доложил Соколов.

Как? Милюков пишет декларацию Совета? Ну, это умилительно, это надо посмотреть. Пошли, у меня тоже несколько фраз есть, а больше голова не работает уже.

– Милюков тоже говорит, что уже голова не работает, скоро будет светать, отложим на завтра.

303

Гучков, хоть и в штатской меховой шубе, вошёл в думский кабинет поступью полковника. Здесь были все распротёртые или размяклые, осовелые, самый выносливый Милюков и тот уже сильно одурел за столиком, все были без воздуха, вялые, – Гучков свежий, с мороза.

Невысокий, коренастый, остановился вскоре после двери на пустом пространстве, протёр запотевшее пенсне, осмотрел, кого здесь нет (из думского комитета не было, к счастью, ни вертуна Керенского, ни селёдки Чхеидзе), и спросил, довольно грозно, – всех вообще, но главным образом своего извечного врага, бодрствующего Милюкова:

– Что ж, отдаёте армию на разбой, на разлом? И сами думаете удержаться? Да полетите вверх тормашками! Сколько уже уступок вы дали по армии? Что ж это будет за правительство? – игрушка совета рабочих депутатов? Я в таком правительстве участвовать отказываюсь!

(Он и правда готов был отказаться, предпочитая стать членом регентского совета, а потом президентом России).

Несмутимый Милюков опешил: он понял так, что Гучков говорит об их достигнутом соглашении с Советом, и поразился, откуда Гучков, ещё не раздевшись, едва вступая в Таврический, уже всё знал? Но и не мог Милюков сшибиться внезапным толчком со своей отстойной за вечер позиции, он гордился проведенными переговорами и что держал Совет в примирительном настроении:

– Вы, Александр Иванович, подвергаете нашу позицию – детрактации. А мы армию отдать никак не думаем. Напротив, пункты об армии сформулированы весьма удовлетворительно для нас.

Гучков (шапка в руке, а сам в шубе) схмурил брови над пенсне:

– Какие ещё пункты?

И тут выяснилось: он – о своём запрещённом воззвании к армии, – запрещённом? Чьёю властью? Совета?

А Милюков и думать забыл об этом воззвании, он уступил его как малозначное, стоило ли портить отношения с Советом по второстепенному вопросу, когда достигалось такое важное общее соглашение!

Соглашение?! Где оно?

Гучков резким движением сбросил шубу на пустой стол, а сам быстро сел через стол против Милюкова. Он вёл себя энергично по-дневному, а не как в 4 часа ночи.

Как раз на тот стул он сел, где сидел перед этим Нахамкис, барственно улыбаясь на возражения кадетского лидера.

И новой оппозицией через стол Гучков представил Милюкову его достигнутый проект в новом и неприглядном свете.

Он хотел прочесть своими глазами, но это были малоразборчивые наброски Милюкова, списанные с бумажки советских, и пришлось читать Павлу Николаевичу вслух.

И когда он стал читать перед напряжённым требовательным постоянным своим противником, то даже и «военно-технические условия» уже не показались ему самому таким достижительным ограничением политических свобод военнослужащих.

Ненадёжным показалось выборное начальство милиции.

Сковывающим – невывод из Петрограда революционных частей.

И совсем непонятно, как будут солдаты неограниченно пользоваться всеми общественными правами.

А как же это представилось Гучкову? Да он еле скрывал отвращение.

Милюков ощутил себя в крайней досадности: именно вместе с Гучковым, а не с кем-нибудь, увидеть слабые стороны своего проекта.

Сколько ж они сталкивались в жизни – товарищи по университету, потом навсегда разделённые. Сколько спорили, начиная с польского вопроса в Девятьсот Пятом! И когда Витте звал их в кабинет. И когда создавали две соперничающие партии кадетов и октябристов. И состязания в третьей Думе. Вечный его соперник, вечная преграда на его пути – перед ним одним Милюков тайно робел. Когда-то уже и дуэль между ними была назначена, и Павел Николаевич в самых мрачных предчувствиях уже напевал арию Ленского – да удалось отделаться оправдательным объяснением. И диаметрально противоположные позиции вокруг деятельности и смерти Столыпина. Всегда как-то так выдвигала и ставила их судьба – друг против друга, на виду всего русского общества, что не оставалось простора для нейтральности, для равнодушия, а всегда надо было соперничать.

И в этом соперничестве Милюков знал за собой устойчивость, терпение, методичность, прочную связь с западными симпатиями, – а Гучков накатывался и откатывался каким-то диким славянским шаром, то с думской трибуны в Монголию, то назад, мстителем за Столыпина, то позорным провалом на выборах в 4-ю Думу, то отъявленным мятежом октябристов против правительства. И в этих непредвиденных диких накатах столько было силы, что он чуть с ног не сбивал крепконового Милюкова. Так вчера днём неудержимо вкатился он в думский Комитет несостоящим четырнадцатым членом, в формируемое правительство – военным министром, забрал в руки Военную комиссию, – и вот ворвался

аннулировать соглашение. На изматывающих переговорах его не было, Милюков должен был опинаться один против трёх советских, – а сейчас Гучков ломился всё опрокинуть и развалить.

Именно так! Он повысил глухой голос, будя неразумных дремлющих, и со всею горечью недоспоренных разногласий, резкие морщины у глаз, выкладывал теперь оробевшему Милюкову, что это – чёрт знает что, а не соглашение! Если Совета так бояться, то они конечно вырастут в силу! Надо их теснить, пока не стали силой. Сколько же можно уступать им? саму армию! что ж остаётся опорой правительства?!

Да, Гучков был всегда в движении, но от этого не чувствовал себя оторванным от почвы, наоборот всюду и везде касаясь её и ощущая. А Милюков был – весь книжный, как бледно-зелёный неживой стебель.

А остальные в комнате летаргически дремали.

И соглашение – было сорвано. Во всяком случае – отложено на завтра, до следующих переговоров.

Да впрочем, те должны были ещё писать декларацию от имени Совета. Но вот принесенный проект Соколова оказался никуда не годен. Милюков, не стеснясь, взялся уже сам писать эту декларацию от имени Совета, – но благовидно было под этим отложить и переговоры на завтра.

Соколов ушёл недовольный. Других советских не было. Не возвращался Керенский, можно было по-прежнему говорить открыто, – и Гучков будил Шульгина, Шидловского и других:

– Господа! Положение ухудшается с каждой минутой. Анархия не только не успокаивается, но растёт. Можно ожидать сплошной резни офицеров! Совет распоясывается, таких соглашений заключать нельзя. А между тем на Петроград идут войска извне, которые нам нечем отражать. Нам надо немедленно, сейчас же вот тут, принять важное решение! Новое правительство нельзя основывать на песке. Надо совершить нечто крупное, что дало бы общий исход, произвело бы впечатление, спасло бы наше положение, спасло бы офицерство и – монархию!

Он сохранял перед ними, размякшими в бессонной духоте, всё преимущество бодрого, очень уверенного человека.

– Выйти из грозного положения с наименьшими потерями и даже с победой. Установить новый порядок, но без потрясений. Спасти монархию, даже утвердить её! – но ценой отречения Государя. Николаю всё равно уже не царствовать. Но очень важно, чтоб он не был свергнут насильственно, а добровольно отрёкся бы в пользу сына и брата. Именно по требованиям Совета вы видите, что надо спешить с отречением. Не дожидаться той, уже близкой, минуты, когда этот разъяренный революционный сброд сам начнёт искать выхода. Юридически – окончить революцию.

Отречение Государя! Кто об этом не думал, не шушукался. Но странно, в суматохе этих дней думский Комитет ни разу не сел обсудить это отдельно и серьёзно: смели прежнее правительство, – а царская власть существовала, никем ещё не отвергнутая (и почти никем уже не признаваемая). И всё не собрались – принципиально и технически этот вопрос решить! От встречи войск, от речей и приветствий члены думского Комитета уже переставали себя сознавать временными, самовыдвинутыми, а ещё и не видя подхода карающих войск, уже и менее считали нужными какие-либо переговоры с Верховной властью. В воспалённом Таврическом новое и новое подкатывало как важное, а старая власть отодвигалась как *бывшая*. Все повторяли вокруг об опасности реакции, но уже и сами не верили в то. В головах уже поворачивалось, что власть – вся должна перейти к общественным деятелям, конечно, что Николай II должен уйти, но как-то ожидалось это подобно падению зрелого плода.

Они все, может быть, не думали, но Гучков только об этом и думал всё время. Это – забитый гвоздь был в его голове: император Николай II. Ещё сегодня днём было рано настаивать – ещё собирался Родзянко ехать за ответственным министерством. Но – не

пустили, не поехал, упущено, – и вот с нынешних вечерних часов ничего не могло быть другого, как отречение, и каждый упускаемый час был невозвратен. Родзянко не поехал – и Гучков теперь требовал полномочий себе. Он – поедет!

С перевесом уверенности, энергии, он не сомневался, что сейчас получит от этих заспанных полномочие.

Милюков, смущённый разносом своего соглашения, жевал губы и не имел силы возражать.

А тут как раз возвратился от провода Родзянко, неузнаваемо весёлый. На его возврат, занятые бодрим проектом Гучкова, как-то мало обратили внимания. Его разговор с Рузским казался чем-то побочным, задерживающим. Родзянко доставал ленты разговора, хотел читать их, – не стали его слушать. Что узнал он новое, совсем новое от Рузского?

Манифест об ответственном министерстве!

Только фыркнули: поздно собрался царь.

Родзянко это и сам понимал. Но другая потрясающая новость: войска Иванова остановлены Государем.

А вот это – замечательно! Вот это великолепная новость!

Но! – если царь остановил карательные войска – то тем более ясно, что он слаб. И сознаёт это сам.

И значит – тем более прав Гучков, об отречении?

Родзянко сел в сторонке ещё одним слушателем.

Итак, Гучков предлагал немедленно уполномочить его ехать за отречением.

Всё-таки – жались. Всё-таки – слишком решительный шаг. Надо ли? так ли срочно? А прямые сношения с царём не опорочат ли их думский Комитет и зарождаемое правительство? Как это использует Совет рабочих депутатов?

Решительнейшие ораторы думской оппозиции, рассыпавшие в прах и пыль государственный строй, – вот не могли решиться на первопростое действие, без которого и смысла не имело всё остальное. Если правительство мы составляем вот тут сами, независимо...

Или важней казалось – кто какой портфель захватит?...

– Хорошо! – твёрдо объявил Гучков. – Если думский Комитет не имеет смелости меня уполномочить – я еду на свой страх и риск! Еду – как частное лицо. Просто – как русский человек, желающий дать Государю спасительный совет. Я – давно убеждён в необходимости этого шага, и я решил предпринять его во что бы то ни стало!

Давно – чтобы не сказать, что – раньше их всех и непреклонней их всех. И, конечно, – он был первый кандидат получить это отречение. Он – не просто делал какой-то очередной политический шаг, – он так ощущал, что приблизился к вершинному моменту своей жизни.

А это – уж совсем поворачивало дело: согласятся думцы, не согласятся, – Гучков ехал!

Да кому же и ехать? Кто же лучше связан и с армейскими генералами?

Но всё-таки: а Совет рабочих депутатов? Допустят ли они какие-либо наши переговоры с Государем? допустят ли посылку делегации? Разве Совет захочет мирного отречения, сохранения монархии?

Гучков принизил голос, по-боевому:

– Конечно – действовать только тайно. Ни в коем случае не ставить их в известность, никого не спрашивать. И Керенскому тут ни слова! Соглашением с Советом мы только свяжем себя и всё испортим. А поставим их перед совершившимся фактом! Чтобы через день Россия проснулась уже с молодым Государем! – и под этим знаменем быстро начнём собирать отпор против Совета и его банд. И пока Государь во Пскове – это недалеко, это быстро.

И псковский штаб – под сильным влиянием! Думы. Это несравнимо лучше Ставки. Псков – отличное место. И пока Государь не уехал дальше. (И тайно сообщить Рузскому, чтобы задержал?...))

И видя, что всех встряхнул и Милюков тоже растерян:

– Господа, нечего больше и обсуждать. Я – еду! Кто-нибудь со мной ещё, второй.

И тут молодой Шульгин, уже давно вырванный из сна, всё более захваченный, зачарованный этим мужественным голосом, этим мужественным проектом, да ещё в обход и в обман ненавистного Совета депутатов, воскликнул звонко, восторженно ухватился:

– Господа – я поеду! Господа, разрешите! – Даже молодая просительность была в его голосе, как бы ставшие не отказали. Он стоял на ногах и бодро поворачивался ко всем. Да возьмёт ли Гучков? – к нему.

Он оживился – пружинно. Он уже – нисколько не был усталым. Какое неповторимое историческое событие – присутствовать при отречении всероссийского императора, даже брать самому это отречение!

Можно бы удивиться, что вызвался такой отъявленный монархист? Но – некому удивляться, устали удивляться, устали запредельно.

Гучков не возражал: пусть так, неплохо.

Итак, им поручается? – привезти отречение? Временный Комитет Государственной Думы считает единственным выходом отречение? При наследнике регентом Михаил.

А сам текст отречения?

Ну куда ж в такую позднь, головы падают, отказывают.

Ну, составите по дороге.

А как же устроить поездку? Через Бубликова связаться с железнодорожниками.

Все – сваливались доспать. А Гучков с Шульгиным поехали на Сергиевскую к Гучкову.

Тёмные и безлюдные стояли улицы. Тот короткий предрассветный час, когда и Революция смаривалась.

304

Наступила ночь, но никто в казармах лужских кавалеристов и не думал ложиться спать.

После полуночи ротмистр Воронович решил действовать: построил свою команду и, в третий раз взяв с неё обещание беспрекословно повиноваться, повёл строем по городу.

Обыватели все забились по квартирам, не высовывались. По главной улице разгуливали толпы солдат в весело-погромном настроении. Но вид трёхсот вооружённых рослых гвардейцев в образцовом строю, взводные подсчитывали ногу и покрикивали, произвёл на гуляющих солдат огромное впечатление. Они останавливались, смотрели в расплохе. В иные окна стали высматривать обыватели.

По дороге Воронович расставлял кое-где караулы, а с двумя с половиной взводами достиг вокзала. Здесь он застал форменный содом. Буфет, залы всех трёх классов и даже никогда не открывавшиеся парадные «царские» комнаты были набиты солдатами. Большинство их были – новобранцы артиллерийского дивизиона, вооружённые винтовками, отобранными у кавалеристов. Стояли, сидели, лежали на полу, на стульях, на столах, даже на буфетной стойке. В парадных комнатах оркестр пожарной дружины, окружённый толпой, непрерывно играл марсельезу и, окончив, начинал тотчас снова.

От этих звуков по всему вокзалу разливался бессонный праздник.

Тут мотался и солдат-автомобилист в кожаной куртке, оказалось – член «военного комитета». И ответил, может быть от себя самого:

– Мы получили вашу записку, ваше благородие, и очень благодарны. Комитет просит вас вступить, хотя бы на время, в должность начальника гарнизона.

Он сказал, что ждётся в Лугу какой-то важный экстренный поезд из Петрограда с членами Государственной Думы, а тут такой беспорядок. Ротмистр – единственный здесь офицер, и на него надежда.

Воронович задумал, как очистить вокзал. Прежде всего он вывел на платформу оркестр пожарной дружины – и толпа солдат вся устремилась за ним. Тем самым парадные комнаты опустели, были заперты и к дверям приставили часовых.

Теперь ко всем на платформе ротмистр обратился с речью, что сейчас будут готовиться

к торжественной встрече, и он просит желающих построиться в порядке, а остальных – отойти в сторону, не мешать.

Все – и оказались желающими. Но старослужащие построились быстро, а новобранцы только пытались: неумело волокли винтовку, тут же выходили из строя, присаживались на платформу, закуривали. Вместо оркестра заиграли гармонии.

Тем временем на вокзал притягивались и обезоруженные кавалеристы, вот уже с командой Вороновича их становилось больше, чем новобранцев. И Воронович придумал: стал подавать команды, репетиции встречи, «слушай, на краул!». Вооружённые новобранцы растерялись, они не знали ни одного ружейного приёма. Тогда он начал обучение, вызвал вперёд унтеров, затем и старослужащих солдат, показывать и выполнять приёмы.

Уставшие новобранцы охотно отдавали им свои винтовки и так оказались все разоруженными.

Теперь, когда все винтовки были у кавалеристов, Воронович предложил новобранцам идти домой и ложиться спать.

Они зашумели в протест, что теперь – свобода, и новобранцы должны пользоваться теми же правами, что и старослужащие.

Старослужащим это не понравилось, и они попросили у ротмистра дозволения погнать молодёжь в казармы.

И в сопровождении патрулей из кавалеристов новобранцы были отправлены.

Наконец, на вокзале установился порядок. Но как там караулы, оставленные в городе?

Тут выяснилось, что поезд из Петрограда отменён. Но хуже смятение: прибыл весь «военный комитет», и председатель его унтер Заплавский объявил Вороновичу, что получена телеграмма: сейчас в Лугу прибудет головной эшелон лейб-Бородинского полка, идущего на усмирение Петрограда. Так вот: как остановить бородинцев?

А в эшелоне, по сведениям, было 2000 человек и 8 пулемётов. А во всей Луге вооружённых солдат насчитается 1500, но не собрать, на вокзал больше, чем их тут сейчас есть, триста-четырееста лучших. А к пулемётам нет лент. В бригаде, назначаемой во Францию, нет вообще ни одной пушки, ни винтовки, да они и к революции не присоединились, просто бродят. А в артиллерийском дивизионе все пушки учебные, ни одна для стрельбы не годится.

Одно из орудий и два бездействующих пулемёта, из озорства притащенные артиллеристами, стояли сейчас на платформе.

В эту тревожную ночь, сотрясённый переживаниями вечера, сохранял Воронович ясную голову. Задача была та же: отметно послужить революции. Голова работала. Нужна дерзость и дерзость. К военному комитету автомобилистов пристали, предложили свои услуги ещё два офицера – поручик и прапорщик. С ними и стал Воронович изобретать.

Это притащенное орудие будет их грозной артиллерией, – скорей, вручную, поставить его стволом вдоль подходящего эшелона, наискось.

Кавалеристов укрыли в вокзале и позади него.

Уже виден был ослепительный треугольник белых паровозных огней.

И всегда грозный в ночи, сейчас эшелон вступал особенно грозный, оттого что вёз сокрушительную силу.

Три офицера, разделясь по платформе и накачиваясь отвагой, пошли мимо подошедших вагонов и громким начальническим тоном кричали солдатам не выходить из вагонов, потому что поезд сейчас отправляется дальше.

Если бы бородинцы тут высыпали – то всё бы развалилось, тогда неизвестно, что делать. Но была такая глубокая ночь, к четырём часам, и никто из спящих не проявил намерения вылезать из теплушек.

Эти минуты военный комитет блокировал выход из офицерского вагона, но те тоже спали, не выходили.

Воронович с помощниками вернулись с обегая поезда – и теперь уверенно пошли в офицерский вагон, за ними военный комитет.

Часовые у входа и у знамени видели, что входят офицеры, и пропустили беспрекословно.

Военный комитет забил проход. Офицеры нашли командира полка и предъявили ему ультиматум не от себя, но от Государственной Думы: весь 20-тысячный гарнизон Луги примкнул к Петрограду, и всякое сопротивление будет бесцельным кровопролитием. Здесь стоят орудия и откроют по эшелону огонь в упор. Предлагается полку сдать оружие. Оно будет возвращено полку во Псков, как только он туда вернётся.

Полковник лейб-бородинцев Седачёв возмутился. Но перед такою численностью и видимым контуром пушки согласился уступить превосходству силы.

Лужские офицеры тотчас попросили лейб-бородинских сдать револьверы – а холодное оружие можно сохранить. Эта уступка успокоила бородинских офицеров, и некоторые были готовы идти объяснять своим солдатам – сдать оружие.

(А тем временем подогнали маневренный паровоз к хвосту поезда, отцепили последний вагон с пулемётами и ручными гранатами, быстро угнали его в темноту).

Солдаты отнеслись очень спокойно: ведь свои же офицеры пришли им объяснять. Стали сносить винтовки кучами на платформу.

Воронович вызвал своих, поставил у куч караулы.

Вот и всё. Эшелон был обезоружен.

Вот так побеждает революция! Она всегда имеет особенную хитрость против прежних установившихся правил. Воронович был горд, как это он всё сумел!

Солдаты ушли к себе в теплушки. Их паровоз поворачивали и перецепляли к хвосту.

Командиру полка предложили оставить тут малую группу сопровождения оружия, а остальным уезжать во Псков.

Вот-вот забрезжит, и увидят бородинцы единственную пушку без замка, два пулемёта без лент и никакой силы при вокзале.

ВСЯКОМУ ВОРУ – МНОГО ПРОСТОРУ

ВТОРОЕ МАРТА
ЧЕТВЕРГ

305

В начале четвёртого разбудили генерал-квартирмейстера Болдырева, вызвали в аппаратную. Всё было в табачном дыму. Рузский сидел в кресле изнеможённый, в расстёгнутом кителе. Коренастый, широколицый Данилов стоял у аппарата, сосредоточенно принимал ленту, читая вслух Главнокомандующему, или покашивался на телеграфиста, когда тот печатал с утомлённого голоса Рузского. Кивнул Болдыреву, что надо срочно составить для Ставки конспект переговоров.

Болдырев взял первую часть ленты и пошёл с офицером в кабинет Данилова. Потом приносили и продолжение.

Сразу открылась историческая важность разговора, и миновала досада, что разбудили. Под погонами генерал-майора и аксельбантами генерального штаба Болдырев всею душой сочувствовал событиям, как и всякий развитой человек, и втайне хотел, чтоб они катились быстрее, грозней, неотвратимей. Его очень порадовало, что петроградские события превзошли их здешние представления, и даже ответственное министерство стало для

революционного Петрограда уже ничто.

Но как ни сочувствуя, генерал-квартирмейстер постарался изложить разговор по возможности беспристрастно. Уже пришли Рузский и Данилов и при последних строчках наседали ему на пятки. Рузский захотел выкинуть всякие подробности по династическому вопросу, исправить и в главной ленте:

– Ещё подумают, что я был посредником между Родзянкой и царём.

И попросил рельефнее выразить в изложении то, что не совсем удалось в разговоре: что вот – посланные войска уже возвращаются на фронт, и желательно, чтобы почин Государя нашёл в столице отзыв у тех, кто может остановить пожар.

Острейший разговор о желательном отречении провёл Главкомандующий так, что и ярые легитимисты не могли бы подковырнуть. Всё вполне оставалось на месте, а Петроград слишком много сразу хочет.

Застраховался.

Однако вот он вышел из разговора, отдалялся от него, и сейчас, не скованный записью на ленту, стал понимать ситуацию шире, чем час и полчаса назад.

Во вчерашней вечерней телеграмме Алексеева, где было нагромождено всех ужасов и гибелей, говорилось...

– А ну-ка, ну-ка, где этот текст?

Да, говорилось прямо об *опасности для династии*. Значит и в Ставке, независимо от Родзянки, тоже уже думали так? А Рузский в вечернем разговоре с Государем – как-то совсем этого не акцентировал, упустил, да просто не воспринял это реальностью. Но это – так?

– А какие ещё были ночные телеграммы о положении?

Рябоватый Болдырев с бородкой «буланже» готовно поднёс. Уже после полуночи принятую им от Клембовского: известно ли штабу Северного фронта о том, что и конвой Его Величества в полном составе прибыл в Думу и подчинился Комитету? И государыня императрица тоже как бы признаёт думский Комитет? И Кирилл Владимирович пожелал лично прибыть в Государственную Думу. И сколько арестовано министров и сановников.

Рузский внимательно прочёл, послушал ещё добавление Болдырева о Кирилле – и на его усталом болезненном лице глаза засверкали с задоринкой, и улыбка чуть тронула вялые губы.

И Болдырев охотно перенял улыбку.

В самом деле, несмотря на тяжёлую бессонную ночь какая-то веселоватая лёгкость овладевала ими.

Да что за Верховный? Разве не был для всех них троих Николай II – посредственный полковник, даже не кончавший Академии Генерального штаба?

И Данилов уловил. И сказал:

– Да вот Ставка очень беспокоится о свободном движении литерных поездов.

Рузский вздохнул измученно:

– Ну, мне надо же поспать. Мне скоро на доклад к Государю.

Разошлись. Болдырев сел передавать свою сводку в Могилёв.

Затем – оговорку, что поскольку царский манифест об ответственном министерстве признан в Петрограде устарелым, а Государю о ночном разговоре будет доложено только часов в 10 утра, – было бы более осторожным не публиковать подписанного манифеста до дополнительного указания Его Величества.

И пошёл досыпать, был уже шестой час утра.

Но на первом же засыпе адъютант разбудил его. Срочно требовал приёма военный цензор.

На этот раз до того каменно не хотелось вставать, не хотелось одеваться, – так и пошёл к цензору в ночных чуваках и в шинели, накинутой прямо на бельё.

Не успел извиниться за свою одежду – стал извиняться цензор:

– Простите, ваше превосходительство! Но бывают случаи, когда и *простой солдат*

вынужден потревожить генерала.

Он не без иронии это сказал. Он и военный чин имел не нижний, а в гражданской жизни был статским советником.

И от этой его шутки к Болдыреву вернулась та веселящая лёгкость, прерванная забытьём. При таких событиях, право, грешно обижаться, что спать не дают.

А срочность цензора была та, что местная «Псковская жизнь», свежий номер был у него в руках, пользуясь отсутствием предварительной цензуры, вот напечатала все агентские телеграммы: из Петрограда и все возвания думского Комитета.

И как же теперь быть?

Этого прорыва известий, конечно, следовало ожидать: извергался рядом целый общественный вулкан – как же он мог не набросать в соседний Псков искр и пеплу? Уже и во Пскове возникли какие-то дикие слухи, что под Поганкиными палатами сидят 20 телефонистов и что-то передают, нето царю, нето Вильгельму. Но вот газета уже была отпечатана. Можно было запретить её, целиком всю. Или – всю оставить?

Но тогда революционные известия начинали победно и открыто ступать по России?

Застигла полная неопределённость. Вообще-то во Пскове все уже знали, что существует Временный Комитет Государственной Думы, – но не было официального признания его со стороны военных властей. А, вот, великий князь адмирал Кирилл – признал. И – императрица?...

Никакими предварительными распоряжениями случай не был предусмотрен, В Риге штаб 12-й армии Радко-Дмитриева своею властью запретил всякие новости из Петрограда. А как теперь штаб фронта?

Тем, что Главнокомандующий только что разговаривал с Родзянкой, думский Комитет уже как бы получил признание и Северного фронта. А так как разговор был с разрешения императора, – так и императора?... И к тому же воспрещение печатания новостей неизбежно вызовет во Пскове общественное негодование против штаба фронта.

Болдырев сам склонялся, что несомненно надо разрешить. Но взять на себя дозволения не мог.

Оставил цензора ждать и пошёл будить Данилова.

Данилов тяжело кряхтел, мычал, никак не просыпался. Когда же сообразил остроту вопроса – и минуты не захотел рисковать сам, пошли вместе будить Рузского. Данилов тоже не одевался, укутался одеялом. И так сел на стуле подле кровати Главнокомандующего.

Рузский проснулся легко, но не поднялся из постели. Взял очки со столика, стал читать газету лёжа.

Уже вполне проснясь, перекинулись фразами, взглядами, – на выручку им подоспел уже найденный ими весёлый облегчающий тон. Небывало интересная газетка.

– От самого падения псковского веча такой не было! – сострил Болдырев.

И зачем же её давить?

И Главнокомандующий так понимал, они сходились.

– Только не надо и официального разрешения, – проурчал Данилов. – А просто как будто не знаем, не доглядели.

– Согласен, – подхватил Болдырев. – И тем не менее надо отважиться сообщить и в Ставку: не знали, но вот – узнали, и думаем... Пусть и они там в затылке почешут.

Понравилось. Данилов, знающий служака, понял это как защитную загородку. Согласились. Рузский остался досыпать, уже наступал на него доклад у Государя.

Болдырев отпустил цензора, оделся – и пошёл помогать Данилову составлять телеграмму в Ставку. Уже и Данилов сидел за столом в кителе и в сапогах и сочинял.

Писали так, что главкосев не видит причин препятствовать распространению тех заявлений Временного Комитета Государственной Думы, которые клонятся к успокоению населения и к приливу продовольствия.

– Юрий Никифорович, – веселился Болдырев, – а к чему, например, клонится сообщение об аресте бывших министров?

– К приливу продовольствия, – гулко прохотал Данилов, а Болдырев громче.

306

В эту перевозбуждённую короткую ночь и вовсе не спалось генералу Алексееву. Он лёг с камнем, что первый раз за всю свою воинскую службу принял самовольное решение огромной важности: остановил полки Западного фронта. Самое мучительное было в его положении даже не сложность необычных, как бы совсем не военных задач, осложнённых ознобом и смутой болезни, но то, что в такие часы он был покинут и присутствием Государя и даже телеграммами Государя – и должен был действовать самоуправно, не мог не действовать! Да всё бы он легко подсчитал, доложил и распорядился, был бы только над ним человек с решающим «да» или «нет».

Лежал он, не раздеваясь, и всё ждал, что придёт от Государя: согласие на запрещённую им остановку полков Западного фронта.

Не приходило. Должно быть, лёг Государь спать.

И Иванова не нашли – а Иванов, не дай Бог, набедокурит.

И ходил Алексейев, шаркая сапогами, в аппаратную: может быть, есть телеграммы, да ему не донесли?

Нет, всё было недвижно: дежурные офицеры и телеграфисты на месте, а аппарат молчал.

Молчал и о самом главном: манифест об ответственном министерстве – подписал Государь? не подписал?

И опять ложился. И чиркал спичками из постели к своим выложенным на столик карманным часам. И было без четверти четыре – и всё не шли будить, не шли с известиями. А ведь с половины третьего Рузский разговаривал с Родзянкой – и что ж, до сих пор?

И было двадцать минут пятого – и не шли будить Алексеева.

Уж так ждал тихих шагов с легчайшим позваниванием.

И было без десяти пять – и никого. Тишина.

А потом наступила напряжённая бессвязица, и куда-то Алексейев не успевал, и шёл на карачках в отчаянии, и какие-то невиданные рожи выставлялись и говорили бессмысленные загадочные фразы, и все горько упрекали Алексеева. И наконец спасительно за плечо, за плечо – вытянул Алексеева из этого тяжёлого сна -

Лукомский. Со свечой.

Алексеев отряхнул голову, с облегчением от рож, и, ничего не спрашивая, зачем-то на свои часы.

Шесть часов ровно.

– О полках? – с надеждой спросил Алексейев.

– Всё здесь, – ответил Лукомский, протягивая скруток телеграфной ленты.

И Алексейев со сна взял его, как бы тут же в постели читать, – но пальцы, ещё неловкие, обронили скруток на одеяло солдатского сукна, хорошо что не дальше, скруток не стал далеко разворачиваться и путаться.

Спустил ноги, натянул сапоги. К столу.

Отдельно подал Лукомский телеграмму из Пскова, что Государь разрешает опубликовать манифест об ответственном министерстве.

И отдельно – совет штаба Северного фронта: воздержаться.

Читать много, Лукомский ушёл. Алексейев привычно-пригорбленно сел за стол, на плоскости которого протекала вся его жизнь, надел очки и стал терпеливо перекручивать ленту в пальцах.

Вот вкратце суть разговора Рузского и Родзянки. Эшелоны, высланные в Петроград, взбунтовались в Луге, присоединились к Государственной Думе...

Что такое? Взбунтовался не хилый лужский гарнизон? – а эшелоны? Какие?! Там мог быть только один Бородинский полк... И он – взбунтовался?? Ого-го... Тогда – на кого ж

можно положиться? Ну конечно, да, эта игра с посылкой войск на свою же столицу не могла довести до доброго.

...Разбушевавшиеся народные страсти... В Петрограде верят пока только Родзянке и только его приказания исполняют...

Да, вот, посмеивались над ним, а он оказался мужественный, твёрдый человек и с властной силой над толпой, над анархией.

...Рузский передал Родзянке текст манифеста... Но в ответ: наступила одна из страшнейших революций, и даже Председателю Думы не удаётся... Ненависть к императрице дошла до крайних...

Это можно понять. Государыню императрицу и Алексеев сам терпеть не мог, кто её мог... Но что ж, общественное министерство, в таких муках добытое, отпадает, не появясь? Что же тогда?...

И лента отвечала страшно: династический вопрос поставлен ребром. Толпа и войска, предъявляют требование **отречения** !...

Похолодели руки, и опять развернулся скруток больше надобного. Пока распутал, подровнял... Затаённое в шёпотках и тёмных углах, это слово прорезалось в служебную ленту Ставки! Мысль, может быть, и курилась во многих грудях, – но вот её выдуло сильным дыханием Родзянки.

...**Отречения** в пользу сына при регентстве Михаила Александровича.

А Родзянку – в гуще событий, ему видней. И при этом:

...Толпа и войска решили твёрдо войну довести до победного конца...

Так – разумная толпа. Разумные войска. Что мы обязаны спасти при всех обстоятельствах – это армию и победу.

...И требовал Родзянку: прекратить посылку войск на Петроград! И Рузский отвечал, что по Северному фронту уже сделано такое распоряжение.

Немного легче стало с собственным распоряжением Алексеева. Да! Воевать против своих тыловых городов – не достойно армии.

Но всё же хотелось бы получить подтверждение от Государя.

Лента была – вся. Подпись – Данилов, 5 часов 30 минут. Но – та же больная смешанность расстилалась в голове. И та же тьма на улице, при лампе не видно рассвета. И – что теперь делать? И – что решать?... Да, военному присяжному человеку невозможно такую мысль к себе припустить. Дико-необычная, мятежная эта мысль у кого-то в грудях вылёживалась, вытепливалась, – а вот и прорвалась через Председателя Думы.

Военному человеку невозможно такую мысль... Но она и предложена не ему, а самому Государю.

Государю решать, – а что другое ему решить, если такое настроение двух столиц, и Кронштадта, и Гельсингфорса, – а Государь уже отказался от посылки войск?

Какие бы государственные сотрясения ни были нам суждены – задача в том, чтоб они произошли как можно глаже, не сотрясая фронта. Если уж изменениям неизбежно быть – то как можно глаже.

Боже, сохрани Россию!

Этот выход всегда остаётся у верующего человека, и Алексееву он очень был понятен и доступен: молиться. Он опустился на коврик перед иконой – и молился.

Просил Господа послать вразумление Государю, чтоб он принял наилучший спасительный выход. Сохранить державную силу нашей армии перед врагом. И рабу Михаилу послать облегчение, освобождение от неразрешимости.

Встал с колен – успокоенней, легче. Но – один, сам по себе, не мог он дальше быть и думать. В прежние месяцы у него тут всегда был под рукой безответный согласный Пустовойтенко или ерошистый Борисов. Теперь разогнал их всех Гурко – да и что б ему сейчас Пустовойтенко, какая помощь. А с Лукомским хотя Алексеев и не сжился – вообще он был с новыми сотрудниками не сживчив, но в последних событиях они как будто единогласили.

Не пошёл по всему коридору к Лукомскому, пригласил его через ординарца.

А тот пришёл уже не сонный, а свежий, дневной, румяный, плотно здоровый, со своим единственным в русской армии орденом Владимира на георгиевской ленте (за мобилизацию), вид даже довольный, и даже глаза поблескивают. Как раз в здоровья больше всего и нуждался сейчас изнеможённый Алексеев. Спросил с мучением:

– А что думаете вы, Александр Сергеич?

– Я? – уверенным плотным голосом отвечал Лукомский. – Тут, Михаил Васильевич, по-моему, и думать нечего. И никакого другого выхода быть не может. Раз так уже подошло – значит отречение!

Так прямо и сказал. И от этой его лёгкости куда легче стало и Алексееву. Передатчивая мысль! Никогда он такого не задумывал, никогда такого в себе не носил, – а вот уже эта мысль и усваивалась им. И виделась – спасительность её.

– И как можно идти на конфликт с общественными силами? – добавил Алексеев встречно. – Ведь Земгор, добровольные организации могут лишить нас всякого подвоза, всё в их руках.

– О конфликте – не может быть речи! – воскликнул Лукомский со своей комичной утвердительностью. Когда он хотел сказать особенно авторитетно, всегда получалось смешновато. – Конфликт уже отменён отзывом войск. Так и нет другого выхода, как миролюбивое соглашение. А у Государя – тем более выхода нет: ведь царская семья – в руках революционеров, что ж ему остаётся делать, ну посудите!

– А если начнётся междуусобная война, – кивал Алексеев, – так Россия погибнет под ударами Германии.

– И погибнет династия! – воодушевлённо возглашал Лукомский. – Династию – всё равно он не спасёт. Так разумно уступить сейчас только своё место – и спасти династию!

Да. Получалось так, со всех сторон, удивительно кругло. Действительно, какой выход! – и лёгкий, и безболезненный, и быстрый, всего несколько часов, одна тихая подпись – и армия стоит, не трогается, и война продолжается как ни в чём не бывало, и Германия не выиграла ничего.

Но тогда, была следующая мысль Алексеева: что же делает Рузский? Начал ли он действовать? доложил ли Государю?

Уже нет сомнения, что и Рузский думает так же, как они. Но надо, чтоб он действовал. Надо ускорить события во Пскове. Государю тоже потребуется время привыкнуть к этой мысли.

Лукомский пошёл к аппарату – будить Данилова, будить Рузского, чтобы тот поскорее будил Государя и докладывал бы ему ночной разговор, – этикетки должны быть отброшены, нынешняя неопределённость положения хуже всего, и грозит армии анархией.

Так и передал от генерала Алексеева, что просит действовать безотлагательно. А потом, не имея такого поручения от наштаверха, но уже убеждённый в его согласии, напечатал Данилову:

– Это официально. А теперь прошу тебя доложить генералу Рузскому от меня: что по моему глубокому убеждению выбора нет, и отречение должно состояться.

А передаваясь от уст к устам, эта мысль незаметно крепла. Родзянко говорил только, что грозное требование отречения становится всё определённой, он не говорил ещё, что непременно и неизбежно.

Но конечно неизбежно, передавал Лукомский: если царская семья уже в руках мятежных войск, царскосельский дворец занят ими, опасность грозит царским детям. И династия же погибнет при междуусобице.

– Мне больно это сказать, но другого выхода нет.

Подхваченная мысль Родзянки – сильнела, крепла, уже ревела.

Данилов, с той стороны, оберегал Рузского: не станет будить его, он лишь недавно лёг, и скоро ему вставать, доклад у Государя состоится в половине десятого. Да и выражал Данилов большое сомнение, можно ли такое решение вытянуть из Государя, – едва ли! Если

даже ответственное министерство вытягивали до двух часов ночи. Время будет только тянуться и тянуться безнадежно. А с другой стороны – нельзя и рассчитывать, чтобы Государь сохранился на месте.

Как всегда, к главному событию припутывались и другие. Тут же Данилов жаловался на посылку генерала Иванова, осложнившую всё положение. И сообщал, что Рузский распорядился по Северному фронту не задерживать извещений думского Комитета, которых потоки всё равно остановить нельзя, – да если они клонятся к сохранению спокойствия и приливу продовольствия.

Лукомский отправился с результатами к Алексееву.

Уже не раз замечал Лукомский за Алексеевым такую особенность: если возникало сразу несколько вопросов, то Алексей кидался уладить сперва мелкие, он нуждался в упорядочении общей картины. Так и сейчас, прочтя ленту разговора, он ничего не добавил по дрожащему вопросу об отречении, – впрочем, от них сейчас ничего и не зависело. Но с большой тревогой и хлопотливостью отнёсся к пропуску известий из Петрограда и к задержке Иванова, – впрочем, тут только и можно было действовать.

Насчёт революционных известий лежала у них с ночи совсем противоположная телеграмма Эверта: весь этот поток задерживать! А Рузский теперь вот – всё пропускал. Надо было избрать линию.

В духе доброжелательности к думскому Комитету и если ожидать от Государя дальнейших уступок и даже отречения, – конечно, прав Рузский.

И велел Алексей дать тотчас распоряжение на Западный фронт и на Юго-Западный: пропускать и разрешать к печати те заявления Комитета Государственной Думы, которые клонятся к успокоению, порядку и усилению подвоза продовольственных припасов.

А Иванов?... Хотя Иванов подчинялся только Верховному Главнокомандующему, но по положению Полевого Управления войск начальник штаба в случае болезни Верховного управляет вооружёнными силами его именем (а в случае смерти и заступает его место). Нынешняя отлучка Верховного была как бы похожа на болезнь. И во всяком случае, если Иванов где-нибудь что-нибудь упустит или вступит в столкновение – Петроград, Дума и общество не простят этого именно Алексееву.

А Иванов – грозно исчез, без следа, не прислал ни одного донесения, неизвестно где находится – и может быть уже предпринимает непоправимое.

Но найти и остановить Иванова можно было только с помощью штаба Северного фронта. И Алексей этим тотчас занялся, и собственноручно написал телеграмму Данилову: командировать офицера через Дно для установления связи с генералом Ивановым.

А Северный фронт не отвечал за действия Иванова – и не спешил выполнять, и даже выразил сомнение в полезности такого действия. Тогда Алексей доедливо распорядился послать вторичное распоряжение. Тогда Болдырев, оттягивая, запросил: а в чём должно выразиться поручение офицеру? А если он не сможет достичь генерала Иванова?

И тогда третий раз послали из Ставки: командировать офицера и найти генерал-адъютанта Иванова. И получить от него все сведения о его намерениях и обстановке.

А ещё распорядился генерал Алексей проверить странное сообщение Родзянки, что будто Луга захвачена отрядами посланных с фронта войск. Разве не взбунтовавшимся лужским гарнизоном?

Политические карьеры складываются не так, как жизнь ремесленника, учёного или писателя. У всех тех вид деятельности не меняется в начале и в конце жизни, идёт от изделия к изделию, от книги к книге. Они могут быть более удачны или менее, принести своему автору деньги, славу или нет, но уже в юности видно, чем этот человек будет заниматься, как он будет называться: жестянщик, ботаник или поэт.

А вот рождение политических карьер, кроме несправедливой наследственной

монархии, совершенно непредсказуемо. Не может сам мальчик заявить: «готовлюсь быть премьер-министром», ни в семье не могут сказать: «будем готовить из него депутата парламента, лидера оппозиции». Многие неведомо начинают даже совсем не с политического направления, а с какого-то смежного, постороннего, – но вдруг, загадочно, отчасти благоприятным стечением обстоятельств, а больше, конечно, личными качествами кандидата и его внутренней предназначенностью, – стёклышки судьбы калейдоскопически перекладываются – и человек почти внезапно (для других, не для себя) становится известным политическим деятелем.

Мальчик может расти в семье безудачливого архитектора; бывать свидетелем, как мать бросает в отца тарелки; вырасти безо всякой душевной связи с родителями, так что потом смерти отца почти не заметить, а с матерью не повидаться и не примириться. Школьное прозвище мальчика может быть «Кенгуру», он мало сойдётся с одноклассниками и даже будет фискалить на родного брата (с братом тоже чужд). Когда ему запрещают играть с детьми бедных соседей – он не играет, когда его сверстники лезут через забор трясти яблоневый сад – он благоразумно держится по эту сторону забора. Наш мальчик может писать в детстве стихи и охотно учиться на скрипке. На короткое время его даже может привлечь церковный обряд, и он без принуждения заходит в церковь Иоанна Предтечи на Староконюшенном, – но, никем не поддержанный, вскоре и бросит, тем более что справку об исповеди и причастии, нужную гимназическому начальству, получить совсем легко: батюшке слушать грехи некогда, и он накроет епитрахилью в кредит. В гимназии нашего мальчика потянет классическая древность, он будет преуспевать в ней, хотя и кончит лишь с серебряною медалью. Неотразимее же всего на него подействуют ирония и сарказм Вольтера и помогут ему осмысленно-отрицательно отнестись к формальностям религии. Ещё и Спенсер увеличит его сомнения в традиционной религиозности. Жизнь интеллекта приподымет его над жизнью чувства, и юноша мало будет замечать соседствующие женские существа. На какое-то время он разделит и всеобщественное увлечение освобождением южных славян – и в турецкую войну побудет на Кавказе санитаром тылового госпиталя. Он – никак ещё не склоняется к политике, он, кажется, никак ещё не занимается политической деятельностью, – однако за речь на студенческой сходке в 22 года исключён на год из университета. Внутренне он просто рад, что при Александре III прекратилась политическая деятельность студенчества: она жестоко мешает заниматься научной работой. Усвоенная классическая и западная струя, однако, по мнению его руководителя профессора Ключевского, мешает нашему юноше проникнуться духом русской истории, – и остаться при университете по кафедре русской истории молодому человеку приходится вопреки своему учителю. За молодые годы не насыщенные сердечные волнения – так и засохли, почти не завязавшись, молодой человек женится по сходству свободолюбивых и скрипичных склонностей, а затем в пору рождаются у него один сын и второй, мало замечаемые. При первых своих уроках в гимназии, при первых лекциях в университете молодой лектор волнуется, его лицо ещё вспыхивает густым румянцем, – потом это качество стирается. Все годы он очень много покупает книг по истории, и квартира его похожа на лавку букиниста. Ему – 35 лет, кажется навсегда установился регулятив его частного мира, и теперь всё будет варьироваться лишь в том, какие именно и насколько оригинальные исследования ему удадутся.

Но нет! И в треть столетия мы могли не прозреть сами в себе наших политических амбиций. А стёклышки калейдоскопа ещё ведь даже не начинали складываться. Да будучи историком, как уберечься от сравнений, от оценок, от прогнозов, уже политических, – особенно перед такой политически жадной публикой, как русская интеллигенция в провинции (Нижний Новгород, выездные лекции). И начинается следствие, и только поднявши на ноги в защиту весь либеральный Петербург, удаётся получить для ссылки тихую, но губернскую Рязань, – а профессорские «Русские

ведомости», самая умная и передовая газета России, теперь оценивает изгнанника, предлагает ему постоянное сотрудничество и фиксированный оклад. Мирные, счастливые два года рязанской ссыпки.

А тем временем элементы судьбы цепляются друг за друга и переключаются. Оконченное следствие угрожает годом тюрьмы, но разрешается выбрать вместо тюрьмы два года заграничной поездки. Разумеется так. А изгнание только начини (лекции в Софии, поездки по Балканам, за океан, лекции в Чикаго, в Бостоне, исследования в Англии) – и меняешься ты сам, и меняется повсюду взгляд на тебя: Соединённым Штатам ты открываешь глаза, что Россия – в кризисе, и даже назревает в ней катастрофа, что культура в ней примитивна, слабые стороны России неисчислимы, славянофильство умерло, идея национальная разложилась и не воскреснет. Также и с английскими коллегами ты делишь этот взгляд: что русский путь только тем и отличается от европейского, что задержан.

Ты плывёшь в полюбившуюся Америку ещё раз и ещё раз, ты иногда возвращаешься и в Россию, – а здесь за время изгнания и отлучек ты, оказывается, приобрёл громкую славу политика, и уже никак тебе не стать прежним скромным профессором. Да уже и самому не замкнуться рядами коричневеющих книг, тебя уже слишком волнует общественная арена, на которую ты вышел, и ты уже ищешь себе точное название: в свобододобивой устоявшейся Англии можно разрешить себе быть либералом – но в катастрофической России неизбежен радикализм. А ещё ты обнаруживаешь в себе качество, которым никак не владеют твои единомышленники и сподвижники: твою почти обречённость быть вождём. Где бы ты ни появлялся – почти без усилий выдвигаешься в первый ряд и на первое место, первый лектор, первый диспутант, первый организатор. Никогда не быв земцем – ты вдруг становишься идеологом революционно-преображённого земского движения. Никогда не быв революционером – заседаешь и с ними. (Да разве не революционному движению мы обязаны всеми важнейшими завоеваниями свободы?) Не кого другого, как тебя, первый съезд кадетской партии поднимает на стол с бокалом шампанского, ожидая чествования Манифеста 17 октября, – а ты выливаешь на слушателей ушат холодной воды: что не изменилось ничто, и война с правительством продолжается. И вот – ты из первых, кому Витте предлагает принять министерский пост. Ты – бессменный передовик кадетской «Речи». Ты – первый докладчик на кадетских съездах, и лишь административной уловкой лишён попасть в 1-ю Думу. Ты ещё никто в 1906 и 1907 году – а тебя снова и снова зовут на тайные переговоры о создании правительства, – и ты с превосходством объясняешь деятелям реакции: «Если я дам пятак – общество будет готово принять его за рубль. А вы предложите и рубль – его не примут за пятак».

И уже казалось: чудо – произошло! Непредвиденное – определилось! Стёклышки сами сложились если не в премьер-министра, то в министра иностранных дел! Но...

Но тем же неизъяснимым капризом истории помазок с блинным маслом, едва пройдя по губам, – исчезает, и нет ни сковородки, ни первого даже блина. Всё исчезает, и ни много ни мало – на полных десять лет.

В такие десять лет другой, случайный, непризванный, давно потеряет мужество, надежду, сойдёт с круга. Но тот, кто истинно рождён политиком, хотя б и узнал об этом в поздние годы, тот будет самыми малыми шагами, терпеливыми ногами переступать, переёзывать или переставать, не брезговать работою думских комиссий, скучнейшими темами речей, в соперничестве с коллегами по партии удержит и бразды лидерства в партии, и станет лидером Прогрессивного блока, и целой Думы, – и...

И снова может ничего не состояться! Уже подходит 60 лет, уже недалеко и возрастное слабление. Все твои усилия, все таланты, всё терпение, – всё может так и прогрохотать впустую, такова пучина политики. Всё может лопнуть, исчезнуть, стереться – если в роковой момент не вздунет тебе под плечи и в спину внезапный порыв благоприятного ветра.

Такой красный порыв и рванул 27 февраля – и уже к первой ночи Милюков был почти во главе Временного Комитета Думы, своим настоянием заставил его взять власть. А три минувших ночи и два минувших дня, осторожным боковым движением выходя из-под защитной спины Родзянки, только и думал, как взять всероссийскую власть.

Он с несомненностью понял, что наступили высшие дни его карьеры, венец всей жизни, теперь или никогда. А сегодняшней день, 2 марта, проступал и определялся как самый великий день жизни Милюкова. Для этого дня он и жил 58 лет!

Начавшаяся революция могла быть подавлена внешними войсками – но когда этого не случилось к концу третьего, вчерашнего дня, можно было определить, что уже и не случится. Противодействие можно было ожидать от старого правительства в самом Петрограде – но оно сдулось, рассыпалось в первый же день. Губительный раздор мог возникнуть с революционным советским крылом – но на сегодняшних истязательных ночных переговорах, хотя и не оконченных, Милюков пробился, ощутил, что настоящего сопротивления нет.

В пятом часу утра он пал на стол, на подстеленную свою шубу, – даже его железная выдержка больше уже не брала.

После восьми он проснулся – и ещё полежал, притворяясь спящим, чтоб не сразу вступить в разговоры, – а в проснувшуюся голову вошла ясность: с этой ночи, с этого утра ничто уже не мешает ему создать всероссийское правительство! Это не важно, что они не кончили переговоров: формированию самого правительства уже не мешало ничто. Все препятствия отпали. Осталось только: уладить состав министров.

Только! Это и было из самых замысловатых задач, в непрерывном перевитии кем-то тайно подуманного, кем-то открыто высказанного, кем-то предположенного, намёкнутого, допущенного, – и между всем этим надо было проскальзывать, где-то обрубать, где-то поддакивать. Да можно сказать, что все эти три дня, от начала революции, ничем другим и не была занята голова Павла Николаевича, а только: как составить правительство? как этот весь хоровод кандидатов правильно разместить и кого на какое место посадить? Внешне участвуя с думцами и в других обсуждениях, внутренне Павел Николаевич стянулся только на этом одном. И ночные переговоры с Советом он так легко пересидел именно потому, что советские не претендовали ни на один министерский; пост.

Прежние проекты правительства народного доверия, проекты времён Прогрессивного блока, – были составлены к абстрактной обстановке и не могли пройти неповреждёнными через революционные дни. Все силы, по новому разбросанные, по-новому же каждый час тяготели, тянули и отталкивали, – и это каждый час меняло предполагаемый состав правительства – до того официального часа, когда оно вдруг будет объявлено и станет существовать.

И все эти непрерывные изменения и все прожигающие проекты и кандидатуры жили и двигались в голове Милюкова – и только о них он шептался эти дни, а о некоторых решал молча.

Самым несчастным наследием прежних проектов был тут, конечно, князь Львов: и потому, что уже сейчас, с его позавчерашнего приезда, было отчётливо видно, что он шляпа, и потому, что именно законное премьерское место Милюкова он занимал. Но было бы большое общественное неудобство теперь его менять: давление общественного мнения, традиция Земского союза и то парадоксальное обстоятельство, что именно Милюков-то и выдвинул его кандидатуру, вышибая Родзянку. Ну что ж, с этим следовало мудро пока смириться, всё равно решающее место в правительстве будет занимать Милюков, а через несколько месяцев он, вероятно, и совсем отодвинет Львова.

Уж во всяком случае эти дни – бывал ли тут, в Таврическом, князь Львов, мелькал! отчасти, – он не имел влияния на подготовку правительства, т с ним Милюков не советовался, только из вежливости что-нибудь цедил.

Родзянко тоже отыгрывал до конца свою роль, очень бесполезную в прошедшие дни,

и с каждым часом оттирался на второй план. К счастью, благодаря своему природному незлобию и неспособности к интригам, он не был Милюкову ни противником, ни препятствием.

Затем: уверенный вход Гучкова. Гучков пришёл в Таврический и входил во власть, собственно никого об этом не спрашивая, но как исторический борец против старого правительства, а также, всем известно, – в пяти минутах от несостоявшегося дворцового переворота. Извечный антагонист Милюкова и даже личный враг, Гучков обещал быть трудным компаньоном в правительстве, но может быть тут были и свои плюсы. Два сильных антагониста, как два магнитных полюса, они могли создать правительству устойчивость. Милюков – реальный политик, и когда это нужно для дела – он может изменить и свои привязанности и свои отталкивания.

А неизбежность принять вереницу Коновалов-Некрасов-Терещенко-Керенский оборачивалась и облегчением для умелого политика: теперь с глубоким огорчением он должен будет отказаться от своих дорогих товарищей по партии – не приглашать Маклакова, Винавера, Родичева. Никак нельзя было бы отказать соратникам, придя с ними вместе на гребень победы, – но если таковы непреодолимые обстоятельства?! Пока кадеты боролись против прежнего правительства – каждый такой оратор, деятель, борец был на вес золота. Но сейчас как ни обдумывал Павел Николаевич этих лиц, он почти не мог увидеть их на правильных правительственных местах, а скорее видел в них помеху своей будущей деятельности: каждый из них слишком индивидуален, со своими странностями, капризами или отклонениями, со своими претензиями блеснуть, сверкнуть, собрать популярность (и это очень им удаётся), – но в правительственной упряжке такой разноразличной популярностью может только ослабить, привести к избыточным спорам, взаимным убеждениям, на которые не останется времени. И так внутри правительства скорее создастся шаткость и разноразличной. Конечно, эффектно было бы придать будущему правительству блеск введением этой плеяды, но функционирование его не выиграет. А тут – клин вышибался клином: не по капризу, а принуждённо принимая этих чужих, – приходилось потеснить своих кадетов.

Да вот даже для безотказного Шингарёва оставалось ли место? Он предполагался министром финансов – но Терещенко, все достоинства которого, кроме знания балета, сходились именно к его богатству, какой же мог занять пост, кроме министра финансов? Шингарёва отставлять было жалко, потому что изрядный работник, но с трудом ему что-то выкраивалось.

Для новосоздаваемого правительства Керенский становился даже как бы ключевой фигурой: в его лице правительство вырывало себе от революции её главаря, а само, расширившись на революционное крыло демократии, приобретало устойчивость. Тем более был необходим Керенский, что Чхеидзе отказался.

Переговоры с Керенским были самые секретные, он очень скрывался от своих товарищей по Совету. То мрачно предсказывал, что ему не позволят войти. То пылко обещал, но требовал тайны до последнего момента. И до самых последних часов вся картина зависела от окончательного решения Керенского.

Именно сегодня утром он позвал Милюкова к телефону. Он доночёвывал где-то, не дома, и теперь бодрым голосом говорил оттуда, что вот – согласен бесповоротно! Но и по-прежнему просит не говорить никому до последней минуты, пока он ещё не обезвредит своих противников.

Оставалось теперь – ещё этого подождать. Будет сигнал.

Освободилась голова от последнего расчёта – и посмотрел Милюков на себя в зеркало. Мят, небрит, рубашка несвежая, никак не подходил он к своему великому дню. Надо сходить пока домой на Бассейную, помыться, переодеться.

На улице стоял ярко-солнечный, морозный, весёлый день.

Исполнил Алексеев все второстепенные дела – и ещё больше охватило его недоумение перед главным делом. Перед таким огромным делом – и он обречён был на одиночное руководство, на одиночные решения тут. Мало того, что он остался за Верховного Главнокомандующего – но и всю общероссийскую судьбу он должен был отомкнуть или помочь отомкнуть. Но он никогда не готовился к этому.

Да ещё больной. Может быть в здоровом состоянии он ухватил бы ясней.

Сейчас там, во Пскове, уже началось уговаривание Государя – и, конечно, будет долгое, нудное, как правильно предсказал Данилов.

И Алексеев чувствовал на себе бремя что-то предпринять, помочь делу из Ставки, помочь благополучному разрешению. Но как? Будь Государь сейчас здесь – Алексеев ходил бы к нему в дом с телеграммами, а между ними в чём-то помогал бы советами, осторожно и внушал. Но Государь уехал – как дезертировал. И оставил всё на плечах Алексеева, обязывая его на собственные действия по каждому событию.

А Алексеев, хотя каждый день делал всё, как усматривал, и не встречал возражений от Государя, а вот, оказывается, совсем один – не мог.

С кем-то нуждался он разделить эту тяжесть.

С кем же? Не с прямым подчинённым, как Лукомский и Клембовский. Да все миллионы Действующей армии были ему – подчинённые. А самостоятельны и равны наштаверху по должности – только Главнокомандующие фронтами и флотами.

Это – мысль! Да за последние дни Родзянко уже и обращался непосредственно к Главнокомандующим, он уже и втянул их в обсуждение государственных дел. Так естественно было именно с ними это обсуждение продолжить? Вот и облегчить свою задачу. Рузский – всё равно уже знает, и что ж таить от других?

Мысль очень понравилась Алексееву. Она разгружала его от невыносимого давления ответственности.

Когда к Главнокомандующим апеллировал сторонний штатский советник Родзянко – это было возмутительное вмешательство в армейскую иерархию. Но если так обратятся из самой Ставки, это будет только – почёт и уважение к Главнокомандующим. Отчего, правда, и не обратиться к ним сейчас с назревшим роковым вопросом? Из Главнокомандующих получить тот синклит, тот высший совет, тот особый военный парламент, чьё соединённое мнение и поможет Государю советом в трудную минуту, и в какой-то степени обяжет его не колебаться бесконечно.

А по вчерашним переговорам и выражениям Алексеев мог быть уверен, что и Брусилов, и Рузский, и Непенин смотрят на положение трезво, без избыточной верноподданнической робости.

Задумал так Алексеев – и сразу принял. Сказал Лукомскому – тот очень поддержал. И закипела у них работа: составлять циркулярное письмо Главнокомандующим. Составить и убедительное, и быстро.

Мощный голос Родзянки в задышке петроградских страхов вдохнулся в это письмо. Мысль умнейших людей столицы передала ставочным генералам провальную бесповоротность отречения. Да и как они сами до сегодняшнего утра не видели, что уже не об ответственном министерстве речь, но ребром поставлен династический вопрос? Что войну до победного конца теперь только и можно будет продолжать, если выполнить народное требование отречения.

И, смешивая свой голос с голосом Родзянки, Алексеев, незаметно для себя, теперь разъяснял, добавлял ещё и от себя, что обстановка по-видимому не допускает другого решения. Что само существование Действующей армии и работа железных дорог находятся фактически в руках петроградского временного правительства. И чтобы спасти армию и спасти независимость России – нужны дорогие уступки.

Прихмуренный, даже выздоровевший, Алексеев быстро-быстро исписывал лист, – он и писал всегда быстро и не слишком затруднялся в подборе выражений. А Лукомский облокотился рядом о стол и удачно, к месту, подкреплял его советами. И с каждой

написанной фразой Алексеев не только всё больше сам уверялся, но даже и загорался этой идеей: как легко можно выйти из ужасной трудности, и не проливши ни капли крови.

И под его пером ночной взбрык Родзянки преобразовался почти в военный приказ: не благоволит ли Главнокомандующий телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу непосредственно Его Величеству во Псков, копия наштаверху?

И ещё снова, боясь, что документ не вполне отчётлив: потеря каждой минуты может стать роковой для существования России, между высшими начальниками Действующей армии нужно установить единство мысли. Такое решение избавило бы армию от возможных случаев измены долгу, от искушения принять участие в перевороте, – который однако может безболезненно совершиться решением самого Государя.

Теперь так. Рузскому – первому готовую телеграмму, он всё знает. На Кавказский фронт и во флоты, по трудности связи, – телеграммы. А три оставшихся фронта разделить между нами тремя, чтобы не терять времени, и одновременно всем трём провести убедительный аппаратный разговор с самими главнокомандующими.

Но так устал Алексеев, что предполагаемых тяжёлых собеседников – Эверта и Сахарова, передал своим помощникам. А себе избрал лёгкого Брусилова.

И Брусилов с первых слов поддержал надежду:

– Имею честь кланяться. Что прикажете?

Передавая текст, Алексеев следовал единому для всех написанному, но кое-где добавлял и от себя, как в живом разговоре. Запнулся в одном месте, изменил:

– ...Обстановка – туманная... Но, по-видимому, не допускает другого решения. И каждая минута дальнейших колебаний только может повисить притязания...

И ещё доверительно добавил, что опасается козней исчезнувшего Иванова, который: может испортить весь миролюбивый замысел. Тут как раз поднесли бумажку, что Иванов возвращается в Ставку, но наштаверх не очень этому верит.

И – потекло от Брусилова в ответ, так и слышался его бодрый тонкий готовный голос:

– Совершенно с вами согласен. Колебаться нельзя. Время не терпит. Немедленно телеграфирую всеподданнейшую просьбу. Совершенно разделяю все ваши воззрения. Тут двух мнений быть не может!

– Да! – обрадовался Алексеев. – Будем действовать согласно. Только в этом возможность пережить с армией ту болезнь, которой страдает Россия, и не дать заразе прикоснуться к армии.

Лёгкий человек Брусилов!

– Да, между нами должна быть полная солидарность. И! – не забыл ввернуть тот, – считаю вас по закону Верховным Главнокомандующим, пока не будет другого распоряжения.

Ну уж, слишком дальновидно. А Алексеев не успел с утра и подумать: ведь если отречение – то как же будет с постом Верховного?... Но всем этим действием вовсе не искал себе Алексеев поста. Даже больше: не разгибая тут спины многие месяцы, он внутренне был вполне и с тем! примирён, что когда наступит полоса боевых успехов – его сменят кем-нибудь более видным и блестящим.

Когда возвышались другие – он сохранял спокойствие духа.

ОЙ, ЖГИ, ГОВОРИ, ДО-ГО-ВА-РИ-ВАЙ!

Ночь – неполная и обманно покойная. На короткие часы сон обмыкает футляром, и спится так, будто ничего дурного не происходит. Но уже при первом пробуждении грудь беззащитна, как выгрызала, как будто нет у неё передней перегородки до горла, а вся она – рваная ноющая полость. И хочется спастись, уйти назад в сон, – а он уже не принимает.

И даже, пока окончательно не проснёшься, ещё разрывней и мучительней, чем на полном яву, с открытыми глазами, перебирая уже точными вопросами: что – в Царском? Аликс и дети в опасности. Невозможно к ним доехать. Вчера капитулировал и дал ответственное министерство. Но даже (шевелится боязливое предчувствие) ещё хорошо, если всё на этом успокоится.

Хотя ночной разговор с Рузским как будто пришёл ко всеобщему примирению, а к утру выставилась из него безнадежность.

Подниматься ещё потому так тяжело, что день не приводит близких людей, с кем бы можно посоветоваться. Свита – пустота: нет в ней близкого человека. Как он с такой свитой жил годами?...

И от Аликс – никаких сведений. Поездкою думал соединиться, а разорвался.

Молитва. В покинутости, в безвыходности одна она укрепляет. Стоишь и чувствуешь, как она возвращает силы, растекшиеся ночью из опрокинутого тела.

Сколько уже было несчастий в его жизни? К чему ещё он может быть не готов?

С утра погода ещё мутна, не определилось, будет ли солнце.

А под царский поезд на запасном пути за ночь намело снежка.

Против окна, через две платформы, – водокачка. Рядом с ней – серое каменное служебное здание. И отцепленная бочка-цистерна.

Проглотил безо вкуса кофе.

На станции, поблизости от царских поездов, всё оставалось мирно: никаких угрожающих сборищ, никакой и дополнительной охраны. Приходили поезда из Петрограда и уходили на Петроград. Только рассказывали приезжающие из столицы (свита перехватывала), что там разоружают офицеров, иногда стрельба, масса войск на улицах и многие идут к Думе.

А по другую, не станционную, сторону от царского поезда проходили длинные деловые товарные, таща свои грузы, такие всем необходимые.

А сам фронт не чувствовался во Пскове: город был далёк от двинских передовых позиций.

Хотелось бы Государю погулять по перрону, но было неловко обращать на себя внимание.

Удел его оставался: сидеть в вагоне и ждать новостей.

Уже и недолго: приехал с докладом Рузский.

Как всегда сдерживая всякое выражение, сдерживал Государь и выражение надежды, с которым встретил этого странного генерала с оловянными глазами и остро выставленной мордочкой, а вместе с тем – интеллигента по Чехову. Бушевал ли Родзянко от радости за ответственное министерство? Да не прикатит ли скоро и сам толстяк с причудным составом совета министров?

Рузский держался важно и берёт слова. Представил Государю на листах расклеенную ленту ночного разговора. (И удивился, как царь за ночь ещё покоричневел и ещё прорезались овальные глазные подводы, как рытвины, в сером свете вагона).

Сели. Государь стал про себя читать. Медленно, так медленно, фразы не укладывались. Простая работа грамоты – читать печатные буквы, вдруг стала ему трудна.

– Нет, – попросил. – Читайте вы, Николай Владимирович.

Рузский взялся читать – монотонно и с перерывами, как учитель, чтобы его усваивали.

Ах, так Николай и предчувствовал, так теперь и осел: его высшая жертва, ответственное министерство, – отвергнута! Опоздало...

Одна из *страшнейших* революций?! Вообразить ли, что там творится!

И что в Царском?...

Но подкрепляя себя, что этот шут Родзянко может всё и наворачивать, по своему размаху. Такого-то ужаса может и нет, а добавляет, чтобы добавить себе потом заслуг, как он справился.

Но когда Рузский прочёл, что династический вопрос стал ребром, – и колко выговорил это слово, – это ребро кривым сверлом прошло наискось через государеву грудь.

И не оставалось долго загадкой, тут же и разъяснение: отречься в пользу сына при регентстве Михаила.

Отречение???

Вдруг от него ждали – отречения?!

Это никак не помещалось. При живом здоровом отце – искусственное регентство? Зачем?

Что-то стало ещё труднее вникать. Однако смысла уже и не могло добавиться, – куда же дальше?

Государь встал. (Встал и Рузский).

Прошёлся к окну. Смотрел на бессмысленный перрон.

На водокачку. На серое здание. Одинокую цистерну.

Вдруг – как бы ознобляющая тень необъятного просторного шатра распахнулась над ним. Полное отречение? Боже, да ведь в этом есть даже святость.

Вам так хочется давно? Вам так надо? Ну, возьмите.

Правьте. Если вы думаете, что это сладость. Кого так манит власть. Кто до неё так жаждён.

Отречение? Взмах щедрой руки. Это – не мелкая торговля об ответственном министерстве, не сгибание монаршей шеи под хомут Думы.

Отречение – освобождение. Других – от себя. Себя – от неподымного бремени.

Уж теперь-то, согласись на ответственное министерство, – естественно и отойти?

И – отшатнулся: нет, это – искушение. Блаженное искушение. Он – помазанник, как он волен?

Что ж – Михаил? Куда Михаил? Вся его беспутная история с Брасовой, неспособность бороться со страстью. После смерти Георгия и до рождения Алексея считался наследником, но никогда серьёзно не готовился к трону. А в эти последние Дни кто-то научил его вмешаться.

Георгий! Как несчастно и рано! И в грузинских горах, и не на родине. В Абастумане, где он упал в удушьи, стоит на чёрном мраморе часовня, с золотой славянской вязью под куполом: «Блажени чистіи сердцемъ, яко тїи Бога узрять». Тоскливая одинокая смерть. Но и светлый удел.

Блаженны чистые сердцем...

И давно уже свыклись с его смертью, и не вспоминаем. А вот когда проступило: ах, отчего ж его нет? Он и старше был Михаила и серьёзней, и может быть ему бы удалось то, что не вышло у Николая: управлять не в ссоре с обществом.

Если бы было кому передать – разве бы Николай держался? Он бы охотно передал. Что в этой власти, кроме вечного беспокойя?

Но: спасётся ли Россия от его отречения?... Не пошатнётся ли в глазах народа трон?

– Для блага России, – выговорил он пересохше, – для блага народа я – всегда отошёл бы в сторону. Но если вдруг сейчас объявить о моём уходе – да разве народ поймёт? Разве примет?

А генерал Рузский – этого и не говорил. Он – ничего подобного не сказал – ни сейчас, ни ночью с Родзянкой. Он? Он только ленты принёс, это в лентах написано.

После вчерашнего изнурительного выматывания с ответственным министерством – Рузскому и в голову не могло вступить, что Государь согласится обсуждать ещё большее – отречение. Но если он, вот, отозвался, то... Сказать?...

Генерал Рузский может добавить, что утром телеграфировал Лукомский. И он...

Лукомский сказал – *от себя*. Но это не выглядело как «от себя». И не могло быть «от себя». И ничего бы не значило «от себя»... Тут нужен более прочный рельеф.

...И Ставка действительно думает именно так: отречение – неизбежно. Никто не хочет кровопролития, и все хотят спасти армию от этой анархии. Спасти для победы.

Да разве хочет кровопролития Николай?! О Боже, чтоб не допустить пролития дорогой русской крови!... Или меньше их он хочет для России победы?

И ещё вот: новости, переданные Ставкой ночью для Его Величества. Арестованы многие бывшие министры и председатели совета министров – Горемыкин, Штюрмер, Голицын.

Бедные невинные старики.

И в Москве по всему городу митинги, и генералу Мрозовскому предложено подчиниться новой власти. В Петрограде – непрерывный поток приветствующих Думу, и в том числе – великий князь Кирилл Владимирович во главе гвардейского экипажа, представился лично и отдал себя во власть думского комитета.

Государь вздрогнул. Болезненная измена. Не Кирилл – завистливый, злопамятный, всегда живший в соревновании двух ветвей династии, в обиде, – не удивительно. Но – Гвардейский экипаж! – особенно любимый. Но эти чудесные моряки, бывало сопровождавшие в императорской яхте.

Государыня императрица выразила желание иметь переговоры с председателем думского комитета.

Ах, Солнышко! Ах, родная! Как ей безвыходно! Как унижительно.

И ещё: вчера в Государственную Думу явился Собственный конвой Его Величества – и тоже принял сторону восставших. Просил арестовать своих офицеров.

Как?? И – **они** ?...

И – Конвой?...

Вот этого удара Николай не ожидал и не мог скрыть. Он изменился в лице, в голосе, не устоял на ногах, сел. Всё вместе происходящее в обезумевшей столице за все дни так не потрясло его, как это маленькое довесное известие. Накануне он стойко снёс измену царскосельского гарнизона: туда неразумно были вставлены и случайные части, много запасных. Могли изменить ему хоть все великие князья (это почти и было так), всё дворянство (это было совсем не прежнее благородное дворянство, но опустившиеся корыстные люди), весь Государственный Совет, наполовину назначенный самим Государем (а Государственная Дума и вся была из врагов), – но как мог изменить Собственный Конвой, эти чудесные отважные и добродушные кубанцы и терцы, которыми так гордился их Государь?! Они, жившие почти семейно с августейшей семьёй, – их каждого знал и по имени, засыпали подарками их семьи, устраивали с ними общие ёлки, на Пасху с каждым христосовались, – как они могли пойти кланяться Думе? что их туда погнало? (И что же теперь с семьёй? Она в руках бунтующей черни?...)

Опало всё внутри. Стал угрюм, как оглушённый, плохо понимая.

Тут передали Рузскому привезенную из штаба телеграмму от Алексева. Естественно, он и не мог не прочесть её Государю вслух.

Вот как? Его начальник штаба, не спросясь у него, советовал всем главнокомандующим его отречение? А почему?

Кто его уполномочил?

Очень можно было удивиться, но Николай почему-то не удивился. Уже привык он за эти дни, что события катятся, его не спрашивая.

Обстановка по-видимому не допускает иного решения... Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России...

Боже! Неужели – так?!

А может – и действительно?...

Боже, как думать тяжело. И не хочется.

Догадался спросить у Рузского:

– А что думаете – вы?

Рузский? А разве он что-нибудь подобное осмелился высказать хоть ночью, хоть сейчас? Он – ничего своего ещё не сказал до этого момента.

В неожиданности резких слов алексеевской телеграммы Рузский теперь мучительно искал такой ответ, чтобы не оступиться – но и не упустить колебаний царя, которых никак не ожидал, а вот заметил!

– Ваше Величество. Вопрос слишком важен и даже ужасен. Я прошу разрешения дать мне обдумать его.

Государь был тронут волнением генерала. Любезно предложил:

– Так останьтесь позавтракать со мной.

Но Рузский отстранёнными глазами застеклел позади очков:

– Ваше Величество, в штабе накопились доклады, телеграммы.

И Государь отпустил его думать. С тем, чтобы он приехал после завтрака. Рузский просил разрешения прийти не один, с другими генералами. Хорошо.

Раз так, раз послана Алексеевым такая телеграмма, – будем ждать ответов главнокомандующих. Это даже облегчение – думать не одному, соборно.

Остался Государь один – ещё больше заныло в душе. Даже с механическим Рузским разговаривать было легче, чем опять остаться одному.

Сердцу было важней всего: что скажет Николаша?

А что, правда, всё-таки: может – и уступить? Какое облегчение и себе и им.

Ведь отречения просят – не от принципа монархии. И не за династию. Отречение – личное. Это – личный шаг.

Признать, что был царём-неудачником.

Отречение личное – это не значит парламентский строй. Просто будет другой царь. Алексей, прежде времени.

Сам Николай – легко мог посторониться. Лишь не имел он права дать короне обрушиться. Поэтому вчера было куда трудней и опасней согласиться на ответственное министерство, чем сегодня – на отречение. Вчера – всё было против совести, всё против чувства.

Да даже: если он сейчас отречётся, так вчерашняя уступка ответственного министерства – отменится сама собой? Так это хорошо!

Трудно только переступить первую допускающую мысль. А потом – сразу облегчение.

Ах, как трудно вынести всё одному!

В таком решении есть светлое.

Это решение – по совести. Отойти от зла.

Решение по совести не может быть дурным.

310

(по «Известиям Совета Рабочих и Солдатских Депутатов»)

МОЖЕТ ЛИ ОСТАТЬСЯ ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ?

...передача всей власти в руки народа – демократическая республика, когда народ выбирает правительство... Если власть будет вручена монарху, хотя бы и конституционному, – он может заковать народ в цепи рабства... Династия Романовых ныне свержена, к ней возврата быть не должно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ – Сего 1 марта среди солдат Петроградского гарнизона распространился слух, будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат... Заявляю, что будут приняты самые решительные меры к недопущению подобных действий со стороны офицеров, вплоть до расстрела виновных.

Энгельгардт

ПОМЕНЬШЕ СЛОВ, ПОБОЛЬШЕ ДЕЛА – Кричать «ура» и «браво» ещё рано. В 1905 все слишком много говорили, ждали, совещались, уверяли друг друга и себя самих, что всё идёт благополучно... И теперь правительство, его слуги и несколько тысяч диких помещиков не дремлют, а организуются вокруг Петрограда, чтобы повернуть всё вспять и прежде всего насладиться кровожадной местью.

Борьба только началась. Кое-какие первые позиции взяты одним настроением, враспынную и почти голыми руками. Так примемся везде за дело организации пролетариата!

УЧАСТИЕ ДЕМОКРАТИИ ВО ВРЕМЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ.

Буржуазные партии не горят желанием довести революцию до конца. Самый любезный для них исход – возвращение к власти Николая II. Чтобы революционный путь не превратился в контрреволюционный, демократия должна войти в состав Временного Правительства, не позволяя ему остановиться на полдороге, толкая его вперёд и вперёд, пока Учредительное Собрание закрепит республиканский строй. Принять тактику абсолютного обособления было бы роковой ошибкой. Революционные Советы Рабочих Депутатов стали бы рассматриваться буржуазией как очаги социалистического переворота. Страх перед «красным призраком» заставит буржуазию мечтать о возвращении самодержавия. Вместо того чтобы толкать её вперёд, мы отбросим её далеко назад. Но, товарищи, как бы ни были велики дарования, энергия и мужество революционных элементов русской демократии – она одна ещё не в силах...

СУДЬБА ЦАРЯ НИКОЛАЯ II – По сведениям Совета Рабочих Депутатов между станциями Бологое и Дно остановлен царский поезд, позади него устроено крушение, а впереди – революционные войска. Идёт вопрос об арестовании Николая. По другим сведениям Николай отправлен во Псков. Государыня всё время в истерике, у наследника – 39°, корь.

ПРИКАЗ № 1

1 марта 1917

По гарнизону Петроградского...

Совет Рабочих и Солдатских депутатов постановил...

...

НЕОБХОДИМО ОТКРЫВАТЬ МАГАЗИНЫ – Победивший народ должен иметь всё необходимое. Магазинам не грозит никакой опасности. Днём магазины могут спокойно торговать, а ночью необходимо их хорошенько охранять.

...Установлена норма для населения Петрограда на ржаной хлеб – 1 с четвертью фунта, для солдат 2 с половиной в день. Ввиду прибытия в Петроград огромного количества войск, интендантством приняты меры к усилению выпечки хлеба.

Солдаты вне частей могут становиться на хлебное довольствие в казарме любой части, примкнувшей к делу свободы. Возчики, пекаря и др. должны приступить к работам...

ТАКСЫ – Установить таксы на все предметы потребления по ценам, существовавшим до момента революции. Спекуляции немедленно должен быть положен конец!

ПЕТРОГРАДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУНДА приглашает всех членов на общее собрание...

...В первые дни нашей великой революции было роздано и разбросано много оружия и

патронов. Иногда оно попадало к совершенно неподходящим элементам, например к подросткам. Не исключена даже возможность захвата его хулиганами, грабителями и тёмными приспешниками старого строя... Нельзя допускать напрасной растраты патронов: они необходимы народу для окончания борьбы с правительством.

...сгорели бумаги охранников, народ расправился с этими язвами. Уничтожать всё, что может помочь приспешникам старого режима!

СТРЕЛЬБА ХУЛИГАНОВ – Кровавое правительство всё ещё не хочет примириться с победой народа. Приспешники его, провокаторы, полицейские, жандармы и шпионы попрятались на крышах домов, на чердаках – и расстреливают народ. Революционная армия и народ легко справляются с этими попытками тёмных сил.

С ТЕЛЕГРАФА - В БЕРЛИНЕ 3-й ДЕНЬ ИДЁТ КРОВАВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ Кронштадт во власти революционной армии

...Думает ли Временный Комитет, что крестьянство может стать на ноги без наделения землёю? Думает ли Временный Комитет, что промышленность пойдёт полным ходом без 8-часового рабочего дня? Можно ли рассчитывать, что ничтожная добыча железа пойдёт на плуги, косы, топоры, а не постройку дворцов?...

К ПОЛИЦИИ – Есть только один способ выйти из ужасного положения – это сдаться! Только таким путём городские могут получить пощаду.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ГРАБЕЖЕЙ! -...шайки хулиганов, которые грабят лавки и имущество обывателей... бросают тень на дело свободы...

311

Каждый нерв отдельно жил в капитане Ренгартене, и было такое напряжение и расщепление, что невозможно ни сосредоточиться, ни успокоиться. Минувшей ночи у него не было совсем: он еле мог забыться в 7 часов утра, а уже в половине восьмого проснулся толчком. Потом, сморенный усталостью, ещё задрёмывал позже утром – и опять на полчаса, и дремотой болезненной. Всё – перекипало в нём.

Непостижимей всего была быстрота идущих событий, за которой не могли поспеть ни поступки, ни планы, ни замыслы. Ещё два дня назад они обдумывали, как подтолкнуть, – куда! Пока что-нибудь задумывалось и начинало делаться – а уже оно становилось опозданным и бессмысленным.

И постоянная смена настроения, от последнего известия: то радость, то тревога, то надежда, то беспокойство.

Утром пришла телеграмма от коменданта револьской крепости о волнениях в городе и что комендант опасается грозных осложнений, если он не объявит демонстрантам категорически: на чьей стороне он с гарнизоном.

Непенин уже так укрепился в принятой линии, что думал недолго, тотчас продиктовал ответ: «Если положение требует во что бы то ни стало – объявите, что я присоединяюсь к Временному Правительству и приказываю вам сделать то же».

И тут же просил у Родзянки помощи в успокоении Ревеля: послать и туда думских депутатов, чтоб они успокаивали население.

Утром же опять было собрание флагманов, и Непенин передавал им новости, – ужасные новости из Кронштадта, но и утешительное вмешательство Гучкова: посылаются туда депутаты Думы, один из них примет комендантство, да Кронштадт уже как будто

начинает успокаиваться. Даже уверен адмирал, что порядок уже водворён.

Но если и водворён, – то совершенно неместимо, что анархия вспыхивала, это ясно тут всем! Говорят, убито 60 офицеров! Что ж это делается? – бьют подряд всех нас! какие тёмные силы взвихрены! Это – конец флота!

Но Непенин владеет и лицом, и твёрдым голосом, и положением. Не надо истерики, без эксцессов не бывает революций. Это всё произошло от закупорки корабельной, где любой дикий слух и призыв может всё взорвать. Но при широком бесстрашном разъяснении событий, при открытом объявлении обо всём происходящем – ничего подобного не произойдёт больше.

А если вспыхнет и в Гельсингфорсе? Не следует ли нам сменить линию? Может быть мы делаем хуже? Может быть надо...

Косные флотские кости! Реакционная затаенность и застылость! Непенин дышал уже другим воздухом – свободы. Но сохраняя свободолюбие в общем мировоззрении, он в эти дни как бы ожесточился в характере, разговаривал с флагманами ироническим тоном и не допуская обсуждения:

– Мы не должны вмешиваться во внутренние государственные дела. Надо признать, что действия Государственной Думы – патриотичны. И если обстоятельства потребуют, я открыто заявлю, что признаю её Комитет. И всем вам прикажу то же. Я... – чуть задержался, но не в колебании, а в поиске веса, – буду отвечать один. Я буду отвечать головой, но я решил твёрдо. Обсуждения этого вопроса здесь – не допускаю! Готов выслушать ваши мнения – но по отдельности, для чего пожалуйста ко мне в каюту.

Капитан 1-го ранга Гадд, командир «Андрея Первозванного», имел убитый вид. Контр-адмирал Небольсин успел вставить:

– Но наши матросы совсем не так простодушны: много полуобразованных, это опасный элемент. И много рабочих.

Прочие флагманы и начальники сохраняли вид сосредоточенный, мрачный, замкнутый.

Само собою распорядился Непенин дать командам очередное подробное объявление о событиях. Только полная откровенность может поддержать прочное положение офицерства.

После совещания к нему пришли и всё остальное время у него провели декабристы. Перебирали, кто из званных на совещание – в безнадёжной консервативной позиции, как Гадд. Много их. Но мы пересилим! Перебирали весь ворох режущих новостей, которые продолжали сыпаться по телеграфным проводам. Очень тяжёлое впечатление произвёл манифест ЦК социал-демократической партии с воззванием кончать войну, делить землю и устанавливать демократическую республику. Оставшись среди близких, адмирал помягчел, высказывался более открыто. Перед тем на совещании на заданный ему вопрос – не заключается ли в действиях думского Комитета уже определённое предрешение образа правления, – Непенин с той же давящей тяжестью голоса уверенно ответил, что – нет. Теперь же, между своими, и он, и все признавали, что конечно уже зашатался столп династии, если не рухнет в эти самые часы.

И сердце сжималось снова и радостью и тревогой. Какая острая новизна! Какие неизведанные просторы!

А как теперь надо было им понимать свою присягу? Ведь её категоричность, однозначность не допускали вдруг перехода на сторону думского Комитета?

Но и нельзя формальные мёртвые слова присяги ставить выше интересов Родины!

Черкасский, Ренгартен восхищались твёрдостью командующего флотом. Один раз переступив, что не признает своего смещения царём, он не проявлял движения отступить, но скорее смело шагнуть вперёд: не пора ли сместить и самого царя?

И откуда вчера была энергия изматывающе-долго, всю ночь, сидеть на переговорах с Милюковым? А вот утром бодрость никак не возвращалась в тело после короткого позднего

сна. Да и остальные члены Исполнительного Комитета хотя и собирались в своей комнате, но никто не ощущал сил не то что на окончание переговоров с цензовиками, но даже на простое совещание между своими. Утерян был ночной горячечный разгон, а теперь, приглушённые, они вяло двигались, сидели вразброс на стульях, кто брал телефонную трубку, пытался на что-то ответить или посоветоваться с кем-то, бестолково и бесплодно.

Что только всех подживило и вернуло свободу языков – это скандал в «Известиях»: собственная газета Совета писала совсем не то, что вчера решил Исполнительный Комитет! – и уже полмиллиона её разошлось по всему городу, нельзя было остановить. Сплотившееся вчера левое большинство ИК постановило и провело, что в буржуазном цензовом правительстве революционная демократия участвовать не будет! Но это нигде ещё не было опубликовано, это перетрясывалось в торгах с Милюковым – а тем временем коварное соглашательское меньшинство в хитрой ловкой статье меньшевика Базарова понесло на весь Петроград и всю Россию прямо противоположное: что демократия должна вступать в буржуазное правительство. Это просто возмутительный и безобразный факт! – не взяли голосованием, так берут подтосовкой. И это совершенно невозможные кустарные условия работы: как же смеет редакция печатать актуальнейшую статью, не спрося позиции Исполнительного Комитета!? Каждый член редакции пишет, что хочет? И как же мы закрутились, что сами ничего не успеваем проверить!

Одни были возмущены Базаровым, Бончем и Гольденбергом, другие смущены, третьи уклонялись от подозрений, четвёртые открыто насмеялись над большинством. А злорадству знающих посторонних просто не было границ! Гиммер мучительно переживал эту неудачу: он был как бы лично и публично посрамлён!

Были в «Известиях» и другие неожиданности для некоторых членов ИК: например «Приказ № 1» не все вчера видели. А сообщение о революции в Берлине?! Да тут бы просто захлебнуться, сердце бы выскочило, но уже звонил Бонч из редакции, что это – досадная опечатка.

Заседать – никакой физической возможности не было. Да со вчерашнего дня в самом ИК числился ещё десяток этих непрошенных солдат – и вот они с утра явились, не забыли, ожидая своего участия, сидели чужеродными пнями, – и как при них обсуждать, как с ними работать, как сформируется большинство? Чудовищно! Да уже скоро – в час дня или там с опозданием, должен был возобновиться тут же, за дверью, галдёж всего громоздкого Совета: если вчера в нём уже числилось под полтысячи депутатов, то сегодня можно ожидать и тысячу. И куда их впихивать?

Конечно, не на общих собраниях делается политика, все эти многолюдные пленумы не имеют практического значения. Но сегодня, не как вчера и позавчера, этот Совет нельзя оставить без внимания и руководства: предстоит через него формально протолкнуть весь вопрос о власти, и надо обеспечить чтобы линия Исполнительного Комитета прошла безболезненно, Гиммер очень остро это чувствовал сегодня: то, что было совершенно безусловным за занавеской в 13-й комнате, среди своих понимающих социал-демократов циммервальдистов, то становилось шатким и недоказуемым, когда большинство ИК вынесет своё решение перед дикое шумное собрание. Сама идея какого-то мирного сговора с буржуазией могла попасть под крик и бой бесшабашно-левых демагогов, вроде Шляпникова, Кротовского, Александровича, лично неразвитых, неавторитетных, в Исполнительном Комитете не влиятельных, – но перед возбуждённой тревожной солдатской массой могущих применить уличные методы борьбы, совсем неприемлемые, когда они направляются против своих же социал-демократов. Конечно, позиция левых тем сильна, что будут кричать: а что эта буржуазия делала в революцию, почему ей отдавать власть?

Надо было сегодня, не полагаясь на слабый голос и волю Чхеидзе, большинству Исполнительного Комитета самим лезть на столы и направлять необузданное собрание, чтобы левые не уклонили его.

А правое меньшинство ИК, оставшееся недовольным отказом войти в правительство, психологически не сдалось и сейчас, и если уж не постеснялись сделать подлог в

«Известиях» – то конечно и перед Советом публично снова выдвинут свою линию. С самым влиятельным там бундовцем Эрлихом Гиммер сейчас спешил дотолковаться, чтоб они не сделали так. Он отвёл Эрлиха в сторону, тесно держа его за полы пиджака, и уговаривал, что если только они выступят сейчас на Совете с идеей входить в буржуазное правительство, они вызовут такой огонь слева, которого уже никому не потушить, – толпа Совета может просто штыками смести весь свой ИК, которого она тем более не выбирала. Неужели Эрлих за эти дни не почувствовал, как страшна и неуправляема толпа?...

Да, Эрлих почувствовал, и согласен, что Бунд этого вопроса не подымет. Но вот что: этой ночью заседал меньшевицкий ОК и постановил, что социал-демократия должна участвовать в правительстве. Так – если они вылезут?

Нет, не посмеют.

Но могут быть случайные, никем не управляемые ораторы?

А вот что! Многое зависело от докладчика, товарища Стеклова, – и Гиммер отсел толковать с ним. Тут оба они понимали дело одинаково: даже левое большинство ИК может оказаться перед Советом чересчур правым. Надо просто сократить прения и не дать всем противникам высказаться. А сам Нахамкис как раз и склонен говорить длинно – так надо ещё длинней! ещё полней! надо захватить под доклад часа полтора времени! два часа времени! – а толпа нетерпелива, и стоит на ногах, тесно, душно, за это время устанет – и уже прения не развернутся. Если кто и выступит с другой идеей – уже он никого не отклонит.

Нахамкис добродушно усмехался в бороду. Согласен.

Тут – не пришёл, но внёсся в 13-ю комнату Керенский, в сопровождении своего оруженосца Зензинова. Как-то он умел опять выглядеть полным сил, да не только поспал, но успел и в парикмахерской побывать! – очень аккуратным, стоячим от висков прямоугольником подстриг свой бобрик. Но не попахивал туалетной водой и не в крахмальной сорочке был, а вовсе без белого воротничка, в стоячем вороте тёмной тужурки. Вид его был торжественно-возбуждённый: и все Дни революции были великие, но, кажется, сегодня ожидал Александр Фёдорович особенно великого дня!

Он не показал, зачем пришёл, не вступил в громкие обсуждения. Он пришёл сюда по праву, как заместитель председателя Совета, – но и не для того, чтоб выполнять какие-то функции. То он резко сел (и Зензинов сел) – и смотрел на всех. То резко встал (и Зензинов встал) – и прошёлся нервно. Потом ехал по одному отзывать в угол самых влиятельных.

Гиммер – догадался, о чём это он: конечно, опять советуется о министерстве юстиции. Ах, как хотелось ему быть министром!

Да, так и есть, дошла очередь и до Гиммера. Конфиденциально, чуть-чуть смущённо, спрашивал Керенский, есть ли какая-нибудь возможность на сегодняшнем заседании Совета получить одобрение ему войти в правительство.

Гиммер заложил руки за спину. Всесильный и вездесущий Керенский тут попадал довольно в глупое положение. Но ведь знает же Александр Фёдорович, что голосованием 13 к 7 Исполнительный Комитет решил в правительство не вступать. Значит, если Александр Фёдорович захотел бы вступить в правительство лично (а против этого, собственно, и возражений нет), – ему пришлось бы сложить с себя звание заместителя председателя Совета и даже члена ИК. Но поднимать этот вопрос на Совете? Это именно опасно, и Гиммер предупреждает Александра Фёдоровича от такого шага. **Такого** – советский митинг может и не переварить. Тут же в ответ выскочит какой-нибудь большевик или межрайонец и потребует, чтобы народ брал всю власть в свои руки. Мы потеряем все достигнутые комбинации! Нет, это невозможно! А пусть Керенский действует как частное лицо – и тогда ничего не надо обсуждать на Совете.

Нет, не нравилось так ему! И резко взглянув, закинув узкую длинную голову, он сам стал обвинять при подошедшем по знаку его Зензинове, что Исполнительный Комитет не туда направляет внимание: что он мелочно трясётся, как бы не появилось ни одного социалистического министра, а между тем вчера в переговорах совершенно сдали Милюкову саму республику! В этой горячей точке оставили недоразумение – и Милюкову

допущено вести себя так, что остаётся монархия!?

Керенский был молненно быстр, но и Гиммер тоже. Он мгновенно заметил меткость и язвность этого упрека – но и мгновенно решил не признавать:

– Да хоть и пусть! – отразил он. – Да хоть и пусть Михаил становится регентом. Это скорей дело цензовых кругов. Это нисколько не стеснит свободного хода революции. Но в тысячу и в миллион раз важней – собственное поведение революционной демократии! Лишь бы мы не связали своих революционных рук буржуазными путами. Реальная власть захвачена нами, а не ими, и теперь вопрос, как ею пользоваться. А пришлёпка конституционной монархии нам пока нисколько не опасна.

Он сощурился: Николай, Михаил, династия, не династия, – так это было уже обречённо и мелко перед размашистой поступью Великой Революции!

Керенский нахмурился – и ветром унёсся с Зензиновым.

313

* * *

На рассвете 2-го марта шёл дачный поезд из Царского Села в Петроград. В 1-й класс набились солдаты, курили, плевали на пол. На вопрос кондуктора о билетах отвечали матом.

Не доезжая двух вёрст до Петрограда поезд был остановлен. Другие солдаты, подошедшие снаружи, стали у дверей каждого вагона, никого не выпускали. Совсем пьяный прапорщик с унтером и десятком солдат вошли в вагон, приставляли браунинг ко лбу каждого пассажира по очереди, а унтер вёл допрос: кто? и по какому делу едет в Петроград?

* * *

День в Петрограде начинался сероватым, но растянулся в легко морозный с ярким солнцем. А оттого что не тянулись на город фабричные дымы – воздух стоял небывало, празднично чист. И не слышно фабричных: гудков, и трамваи не идут – праздник! И стрельбы стало мало, почти тихо.

Повсюду висят красные флаги – на жилых домах, на присутственных, на Мариинском дворце, а на Таврическом несколько. Российские национальные флаги исчезли, нигде ни одного.

* * *

На стенах, на заборах – «Приказ № 1» Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. И по казармам, в большом множестве, читают вслух.

Но офицерам на улицах – безопаснее, чем в те дни.

Хотя кое-где висит и другая листовка, полусорванная: «Солдаты! до сих пор вы не слышали, будет ли отнята земля у помещиков... Паны дворяне! с жиру бесились, высасывая народную кровь...»

* * *

Бешено мчащихся автомобилей стало тоже куда меньше (может быть попортились?). А людей на главных улицах, кажется, ещё больше! И на малых улицах – кучки народа. Но красные ленты и банты на всех примелькались, уже не кажутся чем-то необыкновенным.

Около хлебных лавок – прежние хвосты. Магазины – закрыты, заколочены, кой-какие робко открываются.

А дворники небрегут, во многих местах не счищен снег с тротуаров, бугры да ямки. Спотыкаются люди.

Накатанные снежные мостовые бурют и грязнятся.

* * *

На Казанской улице – дотлевающие остатки бумажного костра, протопившего снег до мостовой. Когда потянет ветерок – обгоревшие бумажки с шелестом сбиваются в вихорки и переносятся по улице.

Это: ночью сожгли делопроизводство мирового судьи.

* * *

На узкой улице – разбитый автомобиль. Колёса его искорёжены, стёкла прямоугольной кареты разбиты. Любопытные стоят, подолгу смотрят.

* * *

Матросы провели арестованного городского. Девочка у подъезда, стоящая вместо швейцара, сказала:

– Ой, как я не люблю фараонов!

* * *

На уличных постах – неумелые милиционеры: юнкера, даже старшие гимназисты, скауты по 10-15 лет, с белыми повязками на рукаве. С улыбкой – слушаются их.

* * *

Кто бы ни просил – получает плакат: «Этот дом находится под охраной милиции». И многие дома украсились им.

Но это мало кого останавливает. По всему городу вооружённые солдаты продолжают обыскивать и грабить частные квартиры. И учреждения тоже.

* * *

Ликующая толпа! Необузданная радость: если так легко пал несокрушимый строй, то как же дальше пойдёт легко и счастливо! Долой старых безумных бессловесных правителей, да заменят их люди энергичные, мудрые, честные! Общее восторженное состояние, все беспричинно надеются только на одно хорошее. Валят по мостовым, а из окон им машут платками.

З. Гиппиус: ангелы поют на небесах.

П. Врангель: дикое веселье рабов, утративших страх.

* * *

На Сампсоньевском проспекте, против фабрики Ландрина, выстроены две роты инженерных войск, уже немолодые солдаты. Подошёл командир части и несколько офицеров:

– Поздравляю вас, братцы, с великим счастьем! Ненавистное всем правительство свергнуто. Образован для власти Временный Комитет во главе с уважаемым всеми Председателем Думы Родзянкой. Теперь нам осталось достойно победить врага внешнего. Новое правительство просит вас по-прежнему подчиняться господам офицерам. Прошу по местам в казармы.

Ответили солдаты: «Рады стараться!»

Но рядом из зевак вылез юркий шпень с дураковатым лицом (большевик Каюров). Втесался звонко:

– А позвольте мне слово, господин командир!

Тот не ожидал, смутился. Разрешил.

Каюров шагнул вперёд петушком да уверенно (уже весь Московский батальон обработали):

– Товарищи солдаты! Вы слышали? вернуться в казармы и опять подчиняться офицерам? Ждать указаний от помещика Родзянки? Товарищи! Да разве лилась в Петрограде кровь три дня для этого? Да разве для этого гибли тысячи пролетарских борцов? Нет! Пролетариат Петрограда не пойдёт на заводы, пока не отвоюет у помещиков землю. Товарищи офицеры! Присоединяйтесь и вы к нам, если желаете счастья народу! Нет, молчат, видите. Значит, у них другая цель. Так я предлагаю, товарищи, их арестовать и избрать вам новый командный состав!...

* * *

Торговец умоляет:

– Господа граждане! Хоть вы и граждане, да что ж это такое? Порядок надо соблюдать!

В некоторых лавках кучки горластых, угрожая, вынуждают торговцев продавать по невыносимо низким ценам.

* * *

Любого трубочиста могут заподозрить на улице, что он – переодетый городской. Одного бритого задержали, он божился, что – рабочий.

– А какого завода?... А ну, скажи, кто у вас там управляющий? А кто старший мастер? Сказал. Но ещё не отпускали.

* * *

По Невскому – с какими широкими жёстами радости самая состоятельная публика, и чиновники, и дамы – читают «Известия Совета Рабочих Депутатов» и «Известия» петроградских журналистов, – и обсуждают, ликуют.

Длинный хвост всех званий за свежей газетой.

* * *

В «Известиях СРД» в части тиража кто-то, видимо опасаясь выдать военную тайну, из сообщения о кровавой революции изъял слово Кронштадт. А кто-то в пустое место набрал – Берлин. (Получилось: в Берлине – революция, убит адмирал Вирен).

И понёсся по городу упоительный взмывающий слух: в Берлине – тоже революция!!
Везде революция!!! Конец войне!!! Гремят сияющие небеса.

А навстречу – другой слух: наследник Алексей умер от скарлатины!

* * *

По Шпалерной – очереди частей, пришедших приветствовать Думу. Солдаты в ожидании рассыпались из строя, составили ружья в козлы.

Перед самым дворцом – давка как в церкви, во время большого праздника. Все беснуются – попасть бы внутрь, посмотреть. А на крыльце требуют пропуска.

* * *

В Таврический кто только не добивается! Мать хочет найти так своих детей. Делегат тюремного надзора сгоревшего Литовского замка пришёл со списком своих надзирателей, легализовать их проживание. Кто-то просит поставить охрану к его ценной коллекции. Пришёл извозчик: лошадь угнали. Пришёл солдат: куда отвести лошадь, пойманную на улице? Пришёл лакей, прося разрешения гулять с барскими собаками в саду Таврического дворца. (Отказано: это было бы бестактно в дни Великой Революции!)

Господин пришёл, жалуется: вломилась в квартиру солдаты якобы с поиском оружия, вот тут рядом, Шпалерная 44, а в квартире одна больная женщина. Украли массивные золотые часы, серебряные ложки. Его поправляют: это – хулиганы, одетые в солдатскую форму, революционные солдаты не могут воровать.

* * *

Начальник Генерального штаба генерал Занкевич вчера и сегодня всё сидел у себя в Главном Штабе. Ждал подхода войск Иванова, не идут. Сегодня с верхушкой своего штаба пришёл представиться в Таврический. Посидели в Военной комиссии, поговорили, пошутили.

А адмирала Коврина в Главном морском штабе в Адмиралтействе матросы сочли немцем и хотели убить. Он упросил караульного начальника арестовать его и отправить в Думу. Тут получил пропуск на выезд из Петрограда.

* * *

Кое-где солдаты прогуливаются по городу строем, с музыкой, добродушно улыбаются. Несут плакат: «Привет товарищам в окопах». После трёх дней революции кто подисциплинированней – вернулись в казармы. А по улицам шатаются самые сбитые с толку, распущенные, озлобленные. И спросить с них удостоверения нельзя – уличная толпа везде за них. И уже кричат: «Что смотришь? Коли его!»

* * *

Мама взяла маленькую дочь за голову (запомнилось):
– Ты будешь счастливая! Счаст-ли-вая!
Водила дочку на манифестации.

314

Фортификатор и геометр, поручик Станкевич занялся теперь военной администрацией, вот как.

Он был мал в чине, но голос уверенности придавало ему: в батальоне – его постоянное общение с Думой, в Думе – его служебное состояние в батальоне. Сапёры помещались на Кирочной, это было совсем близко от Таврического, и Станкевич не раз в день успевал туда и сюда.

Несколько смелых офицеров батальона были убиты в первые минуты мятежа. Остальные совсем потерялись в новой обстановке, перед массой солдат, убившей тех первых, – ни по лицам, и ни по глазам не отличишь, подозреваешь убийцу в каждом. Офицеры теперь передвигались робко, не смели голос подать или иметь суждение о батальонных делах. Солдатский мятеж – всё более громко, официально и обязательно для офицеров полагалось теперь называть великим подвигом освобождения. (А если это так, и само офицерство это повторяет, – то почему ж не оно и вывело солдат на улицу, ведь ему это было сделать проще?... А теперь после подвига они присоединились – но можно ли им верить?...) Что офицерам оставалось делать? Они рады были бы вообще сгинуть с этой петроградской земли – но вынуждены были передвигаться именно по ней, на основании выданного удостоверения: если от общественного градоначальника – что предьявитель сего не подлежит обыску, задержанию, и ему разрешается проживание в этом городе в течение месяца марта; если от коменданта Собрания Армии и Флота – то что ему разрешается даже ношение при себе оружия. Все офицеры батальона стали молчаливками и только взирали с надеждой на проворного Станкевича. Говорили ему, что только при нём чувствуют себя в батальоне спокойными.

Когда же Станкевич приходил в Таврический, то, поскольку прочно состоял в своей части, здесь казался овеян пороховым дымом, и на него была надежда. И он сам вознадеялся, как прежде, объединить думское и советское крылья, либералов и социалистов. Но в думском крыле Станкевич встречал совсем не то радостное разлитие и христосование, как на улицах. Он встречал тревожные глаза: во что дальше этот великий подвиг освобождения выльется, и как дальше солдат унять и направить? Все обязаны были вслух радоваться и приветствовать, приветствовать приходящие делегации, но уже начинали опасаться, не слишком ли сильно этот поток их несёт, и куда? Даже грузный Родзянко, произносивший речи с таким достоинством и одушевлением, возвращался после речей с выражением страдания и отчаяния. И его, могучего, несло как щепку куда-то.

Сам про себя Станкевич раскаивался, что тогда 27-го на Кирочной он замялся, послушался предостережения унтера и со всех ног не кинулся к своему батальону, не попытался подчинить его вовремя и повести к Думе, как просил Керенский. Керенский, кажется, один во всей Думе ничего не боялся, не трепетал перед революционным грозным потоком, смело в него входил и поощрял Станкевича. Вероятно потому, что сам ещё не понимал, во что вступает.

Прежний командир сапёрного батальона был убит в первую минуту восстания – когда во главе учебной команды вышел навстречу восставшим. Заменили его старшим в чине – но этот не понравился солдатам, начался бурлэж. Станкевич был избран помощником командира батальона, и ему приходилось сменить командира – на бессловесного прапорщика, который не должен был вызвать возражений.

Всё это Станкевич и проделал сегодня с утра, уже с большой уверенностью и очень звонко. Чуть-чуть меньше было бы в нём уверенности – и ничего б не вышло. Весь батальон

он вывел во двор в полном строевом порядке. Здесь стал говорить от имени Государственной Думы, всё примиряя, никого не обвиняя, – представил нового командира – и не услышал гула возмущения.

И для закрепления предложил тут же, с уже пристроенным оркестром, пройтись к Таврическому дворцу. Это солдатам нравилось! Идти было слишком даже близко, они бы охотно и покрутили лишние кварталы. И офицеры покорно пристроились на своих местах. А перед ротами неслись красные флаги.

Очень торжественно, с громом оркестра подошли к дворцу – вышел Чхеидзе на крыльцо, пал на колени и целовал красное знамя первой роты. Потом дребезжащим неразборчивым голосом говорил восторженные фразы о победившей революции – и чтоб не верили новой провокации ещё не разгромленной охранки, которая вчера от имени двух социалистических партий выпустила гнусную прокламацию, призывающую солдат не подчиняться офицерам. Но вот он, Чхеидзе, депутат Государственной Думы и председатель Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, горячо призывает солдат доверять своим офицерам, приветствовать их как граждан, присоединившихся к революционному знамени, и оставаться братьями во имя великой революции и русской свободы.

И Чхеидзе понесли на руках.

Всё сошло внешне отлично. (Хотя Станкевич и понял, что листовки – от самих социалистов. И мрак застлал душу: мы сами всё погубим). В казармы вернулись уже не так отлично, многие солдаты по пути отбились гулять, пошли по городу. Но во всяком случае бессловесный прапорщик был утверждён.

Через час Станкевич опять был в Таврическом. Уже один, внутри. Та же содомная теснота и пар от людских испарений. Барышни, студенты, интеллигентные штатские, офицеры, думцы, солдаты под руку с сестрами милосердия, другие лежат на полу между тюками, ведут арестованного сановника.

Встретил Керенского, в этот раз озабоченного, не в костюме, в тёмной рабочей куртке. Тот отвёл Станкевича в угол комнаты и конфиденциально спросил:

– Знаете ли, мне предлагают портфель министра юстиции. Как вы думаете – брать или не брать? Демократические партии участвовать не хотят, а я не хочу идти против воли товарищей. А с другой стороны...

По лицу-то видно было, что ему хотелось слышать «да», он только сдерживал свою радость.

И вдруг Станкевич ответил ему безнадёжней, чем сам от себя ожидал:

– Всё равно, Александр Фёдорович. Возьмёте ли, нет ли, – всё пропало.

– Как? – изумился, отпрянул Керенский, теряя налёт томности. Вот уж от кого не ждал! – Всё, напротив, идёт превосходно, что вы!

Да, знакомство с математикой требовало выражаться поточней:

– Всё идёт – инерцией старого порядка, а не новым. Всё, что мы видим, что ещё держится, – это от старого. Но надолго ли этой инерции хватит? Я теперь – военный и невольно рассматриваю только: как отразится на военных операциях? И нашёл я такую формулу: через десять лет всё будет хорошо, но через неделю немцы будут в Петрограде.

– Да что вы! да что вы! – женственно всплеснул руками Керенский. Даже и спорить не стал. А: брать ли портфель юстиции?

– Ну, что ж, – согласился Станкевич. – Может быть, вы ещё спасёте. Конечно, брать.

Они были накоротке, и Станкевич поцеловал Керенского.

Тот умчался, очень довольный. Счастливое исключение.

Всё больше видел Станкевич тревожных глаз.

Но друг перед другом люди не признавались.

что 1-й пулемётный полк, вчера поставленный на стоянку в Народный дом, – обставил его со всех сторон пул сметами, выставил часовых и никого не подпускает. Но администратор звонил в отчаянии, что ещё вчера с вечера вышла из строя канализация. Она рассчитана была на 2-3 тысячи человек, а ввалилось сразу 10. По сегодняшнему времени некого вызвать на ремонт, да солдаты их и не пустят, да пока они здесь остаются – ничего и не исправишь.

И из дома эмира Бухарского приходил архитектор с опасениями, что балки не выдержат нагрузки от стольких гостей. Да и канализация тоже.

Так бросать надо было комиссариатские заботы и ехать передвора́ть куда-то пулемётный полк.

С этим же студентом и поехали в Народный дом.

Действительно, и пулемёты стояли полукругом, и патрули, солдаты опасались нападения. Не доверяли, проверяли, докладывали – с трудом пропустили комиссара внутрь.

А что делалось внутри! Знал Народный дом переполнения на больших празднествах, особенно в Пасхальную ночь, когда там служили всенародную утреню, – но не бывало такой густоты на лестницах, в проходах, галереях, да всюду одни солдаты, без винтовок (где-то скинув их у стен), без подобия организации, – и следа петроградской радости не было на их лицах. Кто шапку снял – постриженные, немывтые, негородские, нетёсанные. Гудел, гудел огромный перетревоженный улей, и трудно было вообразить, где ж такое множество размешалось тут ночью, лёжа.

Пешехонов, народник до последней косточки, ещё раньше, чем искать начальство, заговаривал с самими солдатами: как они понимают, как их полку быть. Сам народ и должен знать себе добро.

Но хотя наружность его была самая простецкая, только что не в шинели, – отвечали ему недоброжелательно, резко и как барину:

– Усе дворцы позаймаем!

– Да мы как со своими пулемётами пойдём – всех вас расчистим!

Пешехонов почти леденел. И правда ведь: в полку пулемётов триста штук, и все на ходу! И если эта лавина двинется по Петрограду искать себе помещения...

Но узнал от солдат, что при полку ещё есть и офицеры, новоизбранные. Выбранный есть и полковой командир, капитан. Стали его искать.

Все офицеры, облечённые солдатским доверием, оказались, по сути, под арестом: им отведена была единственная маленькая комната, они набивали её битком, а дверь этой комнаты солдаты не позволяли затворять даже и ночью, опасаясь от офицеров какого-нибудь подвоха.

Офицеры были изнеможены своим положением: взрыв ораниенбаумского бунта, пощадившего их головы, но с бессмысленным решением, потащившим и их – идти в Петроград. И здесь они не имели никакого влияния, их не пускали к телефону, они только правили службу караулов. И их капитан ничего не мог решить, а посоветовал только – идти в полковой комитет.

Толкались, искали – нашли комитет. В комнате сидело за столом человек пятнадцать солдат и один прапорщик и возбуждённо толковали. Никакого внимания они не обратили на вошедших. Такой полновластный на всей Петербургской стороне, стоял народник Пешехонов близ двери и своим неприятным голосом несколько раз попытался вмешаться – но ни паузы не было, куда вставить речь, и не слушали его. Тут нашёлся студент и сильно крикнул:

– Да вы что? Да вы знаете – кто с вами говорит? Ведь это – **товарищ Пешехонов !**

Произвело впечатление!

– А-а! – закричали, повскакали. – Товарищ Пешехонов?! Ура! Ура! Качать его!

И чуть не начали качать, хотя, понимал Пешехонов, его фамилию они слышали первый раз.

Зато теперь он мог говорить, и слушали его.

Он стал им объяснять, какие трудности с отведенными обоими домами. А просторней –

и тем более найти нельзя. Что самое будет лучшее, если полк воротится в свои казармы в Ораниенбаум. Перестали и слушать, закричали:

– Для других есть – а для нас нет?

– Значит, другие в Питере будут проклажаться – а мы в Ораниенбауме сиди?

– А вы – дворец нам отведите!

– Зимний дворец давайте!

Пешехонов стал объяснять, что дворцами он не распоряжается, что в Зимнем было бы им ещё и хуже, там уборные и вовсе не приспособлены. А на Петербургской стороне никаких других больших помещений нет.

В один голос твердили:

– Не может быть!

А глаза горели – больно хотелось им во дворце хоть денёк пожить, посмотреть, каково это живут.

Хорошо, Пешехонов предложил им назначить квартиреров, и сейчас с ним вместе ехать осматривать Петербургскую сторону, убедиться, что таких больших домов нет.

Согласились поехать, но только завтра. Сейчас надо было им о чём-то другом дотолковаться, да видно хотелось и здесь ещё побыть.

Ладно. Ещё раз с опаской и сочувствием оглядывая все эти кучки, столпления и вереницы обескураженных, потерянных, храбрых солдат, Пешехонов со студентом вышли сквозь пулемётные посты и уехали.

В комиссариате была всё та же толкучка и забота, но через час послышался шум особенный, крики. Часовые пытались задержать, а кто-то прорывался. Пешехонов поспешил навстречу. То были грозные две дюжины солдат, частью растерявших оружие, частью вооружённых, а во главе их – как тот недавно рыжий безумный гимназист, такой же безумный студент, маленького роста, с отвагой человека, решившегося брать Бастилию, и солдаты с доверием плотились к нему, и даже нескольких его вооружённых было достаточно, чтобы здесь всё разметать. А студент требовал вооружить остальных.

А сегодня утром комиссариатское оружие наверху как раз ещё пополнилось гранатами и бомбами, и всё это в свалке лежало на балконе.

Но как было объясняться с целой толпой? Они кричали в двадцать глоток, требовали оружия – и сейчас могли начать подымать комиссариатских на штыки, потасовка свободных граждан.

Пешехонов предложил, чтобы для переговоров студент и трое солдат зашли сюда, за перегородку, преграждающую вход.

Сначала ни за что не хотели отделяться. Потом вошли, все солдаты вооружённые. Но – ни шагу дальше! Тут, в густоте публики, у входа, предстояло и объясняться.

Пешехонов боялся этого безумного студента, и хотел ослабить его напряжение, разговаривать поласковой. Он стал мягко объяснять, что комиссариат не этим занимается, что вооружаться может только признанная милиция, – и отечески положил студенту руку на плечо.

Но студент дёрнулся, как от электричества, откинулся и истошно завопил:

– Товарищи! Ко мне! Хотят арестовать!

И металлически грозно защёлкали взводы ружей, взводы револьверов – и дюжина дул была сразу направлена в голову Пешехонова – тут рядом и через перегородку.

И довольно было выпалить только одному.

Пешехонов потерялся и замолк.

Но тут выступил сбоку товарищ Шах, рассудительный помощник комиссара, начальник отдела публикаций. У него был такой вкрадчиво-убеждающий мягкий голос, он сразу ослабил напряжение, заставил к себе повернуться. Он говорил, что и комиссариат и пришедшие делают единое общее великое революционное дело – и зачем же им ссориться?

Стволы стали опускаться, руки ослабевать.

А Пешехонов стал пятиться, пятиться и больше не пытался объясниться.

Он только через несколько минут вполне понял, какую опасность пережил.

А если б они ломились дальше и нашли бомбы? Пожалуй и комиссариат бы разнесло и всю публику.

Но товарищ Шах убедил неистового студента поискать оружия в другом месте.

316

На женских сельскохозяйственных курсах княгини Голицыной курсистки ещё позавчера стали шумно обсуждать: продолжать ли занятия или прервать их и кинуться в события. Разумеется, не спрашивали мнения профессоров, ни даже директора курсов, всеми любимого профессора Прянишникова, а только друг друга. И множественные и самые громкие голоса были: прервать и кинуться!

И – кинулись.

Ксения Томчак колебалась. Она охотно и продолжала бы занятия, она любила их и успевала по всем предметам отлично. Но не имела строгости поднять голос против большинства.

Да и что ж, кинуться так кинуться! – в этом было своё веселье, а московской жизни у неё и оставался всего кусочек 4-го курса да 5-й – и утопиться в кубанской степи навсегда. И так со вторника высыпали они со своих курсов, разнеслись стайками по Москве и носились то в солнечном морозце, то в косовато-ветренном снежке. Сперва свои, потом соединялись и иначе, со знакомыми курсистками Герье и Медицинского, то потом со студентами, а в какой-то час – даже со старшими гимназистами, где-то разокравшими оружейный склад и всем курсисткам предлагавшими пистолеты – вооружиться на случай контрреволюции. (Но ни одна не взяла, а только смеялись).

На улицах незнакомые люди даже обнимались, как самые близкие. Все были опьянены этим небывалым праздником. Только попевать, с думских ступенек выкрикивали что-то ораторы, не доносимое в глубину толпы, но всеми принимаемое одобрительно. Там, врезаясь в густоту, дефилировали целые батальоны со знамёнами и под музыку. Валили по мостовым одни люди – без трамваев, без извозчиков, без карет, без ломовиков, – и заполняли улицы, так что пройти нельзя. Такие толпы, говорят, не собирались ни на коронационные торжества, ни на похороны Муромцева. В центре города нет такой улицы, где не чернело бы море. Может быть пол-Москвы, а то миллион, – целый день идут, стоят, смотрят, машут, кричат «ура». (Первое движение появилось – грузовые сани, подрабатывали, и кому надо было спешить – садились и в шубках дорогих, свесив ножки). С постов городовые исчезли всюду – а появились студенты-«милиционеры» с повязками (и даже скауты со своими посохами), – и весело брались разбирать толпу: «Сознательные граждане! Не накопляйтесь тут, вы мешаете движению!»

«Сознательные граждане» – это стало вдруг любимое публичное обращение, как бы взаимный комплимент друг другу. Все лица светились, а на шапках, на грудях, на рукавах у всех – красное, как будто кусочки разорванных красных флагов.

Всё-таки революция, как она рисуется из истории, всегда связана с какими-то баррикадами, стрельбой, убитыми. А в Москве – ничего этого не было, случайно убитых трое солдат, да, говорят, на Яузском мосту какой-то старик звал толпу к порядку – и его утопили в проруби. Вся революция прошла на одной радости, улыбках, сиянии, и даже непонятно становилось людям: что ж они думали до сих пор? почему ждали, жили иначе? что им мешало и прежде жить хорошо? Кажется, ни у кого сожаления к старому, ни даже мысли, что оно может возвратиться. В среду стягивались городовые и жандармы в Каретном ряду – но сдались толпе. И многих городовых вели в городскую думу, но не враждебно, как бы лишь полуарестованными, а из толпы посвистывали им вслед. Как будто не сразу присоединилось Александровское военное училище? – но на их дверях Ксения прочла объявление: «Граждане! Дайте возможность юнкерам спокойно продолжать свою работу во славу России!»

Чего не видели люди сами – передавали слухи, один другого трогательней. Что Кишкин во время речи в городской думе расплакался, не мог продолжать. Что московское купечество пожертвовало 100 тысяч рублей для беднейшего населения. Или что древний генерал-севастопольец, весь в орденах прошлого века, произнёс на Воскресенской площади: «Благодарю Тебя, Создатель, что ты не дал погибнуть моей родине!» Что совет университета уже ходатайствовал о возвращении профессоров, уволенных в годы реакции.

Но самый трогательный слух ходил по Москве – о честных хитрованцах, то есть отборных жуликах и ворах до сегодняшнего дня: как на Хитровом рынке полицейские обещали ворами водку, чтобы помогли скрыться; а хитрованцы, хотя водку и взяли, но привели полицейских в городскую думу: «Поверьте, господа, что и мы, хитрованцы, не нарушим порядка в такие святые дни». И будто на Хитровом рынке, действительно, поразительный порядок, все углы пестрят красными флагами, и некоторые бродяги гордо расхаживают с эмблемой революции на своих лохмотьях.

За эти дни побывала Ксения и на сходке Высших женских курсов, в их зале-фойе со стеклянным потолком, а там стали говорить, что надо быть не зрителями, не бегать-смотреть по городу – а деятельно помогать революции. И вместе с Эдичкой Файвишевич вчера отправились в целой группе студентов и курсисток в столовую медиков на Девичьем поле. Там чистили овощи, варили щи и макароны в невероятных количествах, а студенты развозили эту еду в грузовых машинах по Москве, кормили войска и толпу. Сперва было весело – но час за часом, час за часом чистили картошку (чего Ксения ни дома, ни у своих квартирных хозяек никогда не делала), – и такая революция показалась ей уже и скучной. Но упустила время уйти, стало поздно, и она только успела позвонить хозяйкам, что не придёт ночевать (тоже скандал небывалый!).

А молодёжь очень веселилась, пели наперебой, кто во что горазд, революционные песни – откуда-то знали их или на ходу учились? Ксения пыталась подпевать, но больше из вежливости. Слова этих песен были грубые, и мотивы грубые, – и ей стало унижительно и тоскливо, как будто она играет навязанную роль. Так естественно было со всеми вместе уйти с занятий, со всеми вместе бегать по городу, – а вдруг защемило-защемило в душе, и так одиноко. Но неудобно было показать это кому-нибудь, надо было сохранять весёлый вид.

А в соседнем помещении размножали на стеклографе листовки, приносили их, мокроватые и неприятно пахнущие, читать для пробы, потом отвозили куда-то расклеивать или разбрасывать. В большом зале столовой так и ложились спать – на стульях, на сдвинутых по двое столах, и Ксения с Эдичкой легли так, придерживая друг друга, чтоб не скатиться. Света не тушили, но все лампочки обернули красной материей – и чтоб не так в глаза, и в знак революции.

Но от этого создалось совсем уже жуткое, кровавое освещение – и спать было жёстко, а под головой ничего, – и так тоскливо внутри – куда, в какое-то не своё попала Ксения. И – зачем?...

Сегодня утром она не осталась больше чистить картошку – а пешком через весь город, до Соляного двора, пошла домой. И вошла виновато, как будто сделала что-то дурное или против своих хозяек.

Она и вообще-то их побаивалась. Это были две сестры, старые девы, обедневшие дворянки, очень строгие в жизненных правилах – так что даже вечеринки Ксения не могла у себя собрать, и не любили они, когда она возвращалась поздно, тем более были шокированы, что сегодня не ночевала. А вот они рассказали Ксенье, что вчера вечером вместе с кучкой политических из Бутырской тюрьмы вырвалось две тысячи уголовников – и теперь они растеклись по Москве, уже грабят дома и на улицах, – теперь дверь должна быть на засовах, и подпёрта, и вечером не открывать даже на цепочку.

Об этом побеге предупреждение и в сегодняшних газетах (со вчера появились газеты). И с такой же степенью опасности печаталось рядом, что арестованы члены московской монархической организации, но их черносотенные документы не захвачены, они успели вывезти их из Москвы в первые дни волнений.

И сестры негодовали такому сравнению. Только за то они прощали эту революцию, что, не как в Пятом году, не пресеклось ни электричество, ни водопровод. И надо ж было случиться, что единственная за все эти дни в Москве стрельба – как раз и произошла рядом, на Большом Каменном мосте, ещё более напугав и отвратив хозяек.

В первый год жизни на этой квартире Ксения тяготилась их строгостью – для этого ли она ехала в Москву, чтоб и тут приволья не было? Но как-то привыкла. Она не хотела снимать квартиру в Петровско-Разумовском, предпочитала на курсы далеко ездить, зато жить в центре города, близко ко всему, хорошо возвращаться из театров и с балетной группы.

Да на самом деле она и любила над собой строгость – ведь и у Харитоновых было то же. Так – и учиться лучше, и чище себя чувствуешь. А танцевать ей не мешали.

А сейчас, наглотавшись этой революционной весны, так приятно: в неуточное время принять душ, да прикорнуть на кушетке с томиком Стриндберга.

317

(из первых газет)

ОБЪЯВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПЕТРОГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА

...будто бы офицеры в полках отбирают оружие у солдат... заявляю... к недопущению подобных действий со стороны офицеров, вплоть до расстрела виновных.

Энгельгардт

ВОЗЗВАНИЕ ОФИЦЕРОВ К СОЛДАТАМ

Боевые наши товарищи солдаты! Пробил час народного освобождения. И мы, ваши сотоварищи на передовых позициях... смешивали кровь с вашей на поле сражения... Верьте же, что свобода родины нам дороже всего. Старый самодержавный строй, который за два года войны не сумел дать окончательную победу, пусть сгинет навсегда. Мы вместе с вами предаём старый строй проклятию. Товарищи солдаты! Не бросайте ружей. Возвращайтесь в свои части для дружной работы вместе с нами...

Ваши товарищи офицеры. Государственная Дума.

ПАЛА РУССКАЯ БАСТИЛИЯ – Грозный шквал Великой Революции докатился до стен Петропавловской крепости...

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРОНШТАДТСКОЙ КРЕПОСТИ – Восставшим гарнизоном была взята местная цитадель, убит стоявший за старый порядок военный губернатор Вирен... В Кронштадт командированы депутаты Государственной Думы Пепеляев и Таскин. Перед фронтом выстроившихся войск они произнесли горячие речи, принятые восторженно. Временным комендантом кронштадтской крепости назначен Пепеляев.

По сведениям Комитета Государственной Думы ни в Петрограде, ни в окрестностях столицы **НЕТ НИ ОДНОЙ ВОЕННОЙ ЧАСТИ, КОТОРАЯ СОХРАНЯЛА БЫ ВЕРНОСТЬ ПАВШЕЙ ВЛАСТИ.**

ПРИКАЗ ПО ВОЕННЫМ УЧИЛИЩАМ – Владимирскому, Павловскому, Топографическому... Производить все обычные занятия. Обращаться кому-либо к начальству училища с требованием о выдаче оружия и боевых припасов – воспрещается под строжайшей ответственностью перед Временным Комитетом Государственной Думы.

...Власть Комитета Государственной Думы абсолютна, ибо нет возражающих против неё. Её веления – закон, она – благодетельна, она – популярна... Государственная Дума – вот

наш национальный вождь в великой борьбе, всколыхнувшей всю страну...

БОЙТЕСЬ ПРОВОКАЦИЙ – Расползлось чёрное отродье вчерашних тиранов, холопы сражённой власти, и призывают празднично настроенную толпу к погромам магазинов, выкрикивают дикие лозунги опасного бунтарства. Появились какие-то тёмные личности, закишели шептуны. Но замыслы слуг тьмы и позора разбиваются о чистую совесть просветлённого народа.

ТЕЛЕГРАММА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО КАВКАЗСКОЙ АРМИЕЙ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА на имя М. В. Родзянки.

...обратился к Государю Императору с верноподданнической мольбой ради спасения России и победоносного окончания войны принять решение, признаваемое вами единственно правильным выходом...

АРЕСТ Н. МАКЛАКОВА **АРЕСТ МИНИСТРА ТОРГОВЛИ**

...Общее собрание членов всероссийского общества редакторов ежедневных газет... Свобода слова, неизменно составляющая руководящий принцип общества... Глубокое убеждение, что полное ограждение этой свободы необходимо и в настоящий момент... Подчёркивают, что новая власть является истинной выразительницей народа и только она может способствовать расцвету страны...

...Также доставлена в Таврический дворец небезызвестная графиня Клейнмихель...

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЮЗНЫХ СТРАН В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. ПРИЗНАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННЫМИ ДЕРЖАВАМИ.
-...Были приняты военные агенты и дипломатические представители Англии, Франции и Италии, заявившие... При приходе итальянской делегации огромные массы народа, с утра переполняющие Екатерининский зал, восторженно приветствовали: «Да здравствует Италия!»

...Мы не будем предателями по отношению к французам. И мы до конца выполним слово, данное Англии...

НАКАНУНЕ АМНИСТИИ – Под председательством комиссаров Государственной Думы в министерстве юстиции вырабатывается указ о полной амнистии по политическим делам. На совещании выяснилось, что тюремное управление, ввиду его разгрома, не будет функционировать ещё длительное время.

В МИНИСТЕРСТВЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ – После арестования министра принят ряд мер к поддержанию и усилению... Комиссар А. А. Бубликов обратился... Упразднены некоторые коллегиальные органы... Энергичные меры приняты к уничтожению канцелярской волокиты.

ГДЕ МАРКОВ И ЗАМЫСЛОВСКИЙ?...

ГЕНЕРАЛ Н. И. ИВАНОВ – 1 марта в Петрограде циркулировали слухи, будто генерал Иванов во главе корпуса правительственных войск идёт на Петроград. По проверке слухи эти оказались ни на чём не основанными.

Комиссар по военному министерству А. И. ГУЧКОВ объезжал 1-го марта все казармы

и отдавал распоряжения.

ТЕЛЕГРАММА ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КРОПОТКИНУ в Лондон от Бурцева: «В этот исторический момент ваше присутствие необходимо».

ТЕЛЕГРАММА ПЛЕХАНОВУ...

ГРАЖДАНЕ! Власть, сильная доверием населения и армии, может исходить только от Государственной Думы. Мы приглашаем всех граждан, соблюдая непрерывность производительного труда, предоставить все силы в распоряжение Государственной Думы. Не время для распрей, споров, лишь в единении спасение Родины. Германия не дремлет.

РАЗГРОМ КВАРТИРЫ ДЕПУТАТА Л. А. ВЕЛИХОВА – Вчера в его квартиру нагрянули неизвестные, переодетые в солдатские шинели, и под видом обыска произвели полный разгром квартиры. Похищены все драгоценности и носильное платье, захвачено до 300 штук визитных карточек депутата. Велихов просит предупредить публику от самозванцев.

Подобные случаи были и во многих других квартирах, где появлялись неизвестные люди, обыскивали, уносили деньги и вещи.

ПОТОК ПРИВЕТСТВИЙ – Со всех концов России... телеграммы от населения, городских дум, земских собраний... В восторженных выражениях приветствуется решение Комитета Государственной Думы стать во главе народного движения... Масса трогательных телеграмм от отдельных лиц, стоящих во главе крупных предприятий... Представитель нижегородских мукомолов предлагает бесплатно предоставить все свои мельницы для нужд родины...

СОВЕТ СЪЕЗДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ собрался впервые после низвержения старого правительства... Преклоняясь перед подвигом, явленным стране Государственной Думой... он вольёт в страну свежие силы для полного отражения неприятельского нашествия...

ВОЗЗВАНИЕ ОБЩЕСТВА ОТЦОВ ДЪЯКОНОВ г. ПЕТРОГРАДА

Аз есмь с вами до скончания века. Аминь... Православное духовенство Петрограда и всей России призывается к единению с народом. Промедление угрожает православию гневом народа.

В Москве – Большой и Малый театры заняты войсками, которые спят в фойе и на сценах...

В Царицыне -...Волна радости и энтузиазма. «Дума – спасительница России» – раздаётся повсюду. Арест тёмных сил произвёл колоссальное впечатление, взрыв восторга. Посланы приветственные телеграммы народным избранникам, ставшим во главе власти в страшный момент.

ПОДРОБНОСТИ ВЗЯТИЯ БАГДАДА английскими войсками...

НА ФРАНЦУЗСКОМ ФРОНТЕ...

НА БАЛКАНСКОМ ФРОНТЕ.

Хотя Военная комиссия была создана, чтобы руководить военными событиями, но самое большее, что ей удавалось, – это компетентно следить, как события сами происходят, и умно комментировать их внутри себя. Уже имела она под рукой пишущие машинки и отличных писарей, уже и караул преображенцев отражал её от натиска пустых посетителей; по её полномочию сидели офицеры в Таврическом дворце и в Доме Армии и Флота, выписывали тысячи удостоверений офицерам на право быть, на право жить, на право выехать или носить оружие. (Офицеров из частей приводили только что не убитыми – и уж как они рады были получить охранную революционную бумажку!) И обороною самого дворца Комиссия несомненно руководила: эвакуацией той массы взрывчатых веществ, натащенных сюда в первые дни революции, и особенно пироксилина, опасного для перевозки в холодное время (его утепляли в колодце).

Если что происходило серьёзное, благоприятное или неблагоприятное, то Военная комиссия могла только узнать и удивиться. Так удивлялись они сегодня событию на станции Луга: каким образом нестроевому, невооружённому, неопытному разбродному гарнизону удалось бескровно обезоружить такую отличную боевую часть как Бородинский полк?

А если издавался в Петрограде военный приказ – то оказывалось, что он исходил не из Военной комиссии. Вчерашний приказ Энгельгардта о том, что офицеров будут расстреливать за попытку навести порядок с оружием, Военная комиссия к себе не относилась, как и самого шпака Энгельгардта, лишь по недоразумению окончившего Академию, да он уже и председателем Комиссии не был. (Председателем был неизвестно кто: Гучков – всё время в разъездах, а помощником председателя лез эпилептик генерал Потапов, его не признавал тут никто).

И неудержимый казак Караулов всё более размахивался в приказах. Вечером он издавал приказы по всему Петрограду – как комендант Таврического дворца. Сегодня он не был комендант, но всего лишь как член Временного Комитета Думы опять издавал по всему Петрограду уже Приказ № 3, везде опубликованный и развешенный, самым решительным языком (впрочем, это и Половцов подписал бы: воров и грабителей задерживать и даже расстреливать). Смеялись (да и не смеялись), что Караулов примеряется выскочить в диктаторы.

Новый комендант Таврического, ещё один шпак, случайно с полковничьими погонями, либерально-сентиментальный журналист Перетц, пока сегодня ограничивался только удостоверениями на право проживания да пропусками на вход и выход из Таврического, но определённо тянулся тоже издавать громовые приказы, как бы не по всему Петроградскому округу.

А вот, гонясь ли тщетно за Карауловым, спохватился писать военные приказы и Совет рабочих депутатов! Ещё сегодня ночью, когда генштабисты разошлись и приютились спать кое-где, будто какие-то солдаты от Совета ломались в Военную комиссию, что желают читать приказ, ответили им, что до утра, – а утром они уже отпечатали газетами и листовками, раздавали и расклеивали повсюду, чуть не миллион экземпляров своего «Приказа № 1», ни много ни мало – по Петроградскому гарнизону.

Уже после утреннего кофе генштабисты читали его. Приказ № 1 грубо-претенциозно пародировал военные приказы по округу, а по сути – нёс всякий вздор, отражая то, что в городе уже творилось: выборы солдатских комитетов, недопуск офицеров, а во многих батальонах Петрограда шли и выборы офицеров, без того никто не смел командовать. Даже ещё удивляться оставалось, что приказ призывал солдат – соблюдать в строю и на службе строгую дисциплину. Если бы хоть так-то! – была бы польза и от этого приказа.

А особый язвительный пункт был направлен именно против Военной комиссии: не исполнять её приказов без Совета депутатов! Так ещё меньше оставалось у Военной комиссии власти и возможностей.

Запасные батальоны жили сами по себе, в каком как придётся, вот развозили туда Приказ № 1. Ездили, напротив, депутаты Думы уговаривать, но в более спокойные

батальоны, а поехать, например, в Московский было невозможно.

Главный штаб крутился сам по себе, руководимый Занкевичем.

Академия Генерального штаба, по ту сторону Таврического парка, привыкала к новой власти. Генерал, её начальник, пришёл жаловаться, что у него отобрали автомобиль, Половцов трунил над ним:

– Ваше превосходительство, благодарите Бога, что вы сохранили голову.

Наступление внешних войск прекратилось полностью. Единственный доставленный полк подавления – Тарутинский, неподвижно стоял невдалеке от Царского Села. Бородинский был повернут назад. Остальные, кажется, и не должны были появиться.

Но опасность грозила не оттуда. Среди генштабистов комиссии появилось такое *mot*: если мы устоим против революционных властей, то мы революцию спасём.

Не говоря уже об Энгельгардте, Потапове, Караулове, Перетце – кто ещё командовал под их началом и в их окружении? Энгельгардт поручил «гвардии поручику» Корни де Бат две роты «для защиты населения» и сделал его комендантом городской думы – и он там энергично распоряжался, – а оказался он рядовой Корней Батов, не имеющий других целей как грабёж, чем и занялись его наряды. И арестован. А при питании арестованных сановников в министерском павильоне пристроился некто Барон, потом объявил, что выбран войсковым атаманом на Кубань, – и исчез раньше, чем его разоблачили.

А хаос в запасных частях распространялся уже из Петрограда и на все его окрестности.

И не было единой сильной руки надо всем этим. Во главе Петроградского военного округа – не было же теперь, после ареста Хабалова, после недоезда Иванова, – вообще никого!

Не может так существовать армия.

Из бесед генштабистов всё более выяснялось, что надо искать и предложить сильного и очень популярного генерала, не связанного с тронем, – в командующего Округом. Ни один из них, полковников, стать на этот пост не мог по своему чину. (Половцов про себя уверен был, что в революционной обстановке этот пост – как раз для него, в этом был бы и весь смысл его прихода сюда. Но небрежением Ставки или самого Государя – он так и не успел получить генерал-майора).

И придумали кандидатуру – генерала Корнилова. Воин. Вся Россия знает и любит его за побег из австрийского плена. Никогда не бывал в любимчиках трона – и общество будет его приветствовать.

Хотели получить согласие Гучкова – но он весь день не появлялся. Решили доложить прямо Родзянке.

319

Утро государыни начиналось только в 11 часов. Но ещё задолго до того граф Бенкендорф собрал много вестей, и все неприятные.

Первый и ранний слух был – что готовится нападение на дворец.

Затем даже – что 30 тысяч солдат с пулемётами движутся к Царскому Селу.

Но этого ничего не случилось, никто снаружи не шёл на штурм дворца. Однако, хотя казачья наружная охрана с белыми повязками ещё оставалась, дворец как бы охранялся снаружи уже против самого себя – солдатами мятежных частей,

То есть взят в осаду, и значит могли проверять входящих, только женщины проходили свободно; граф Апраксин, сняв придворный мундир, пробрался в штатском.

Ещё пришло известие, что рота Собственного железнодорожного полка, охранявшая царский павильон – отдельную станцию для царских приездов-отъездов, ночью взбунтовалась, убила двух своих офицеров и ушла.

А потом оказалось, что ночью из подвалов самого дворца, не сказавшись, ушли охранявшие его две роты гвардейского экипажа, – ушли почти без офицеров, и без знамени, но подчиняясь приказу своего начальника великого князя Кирилла Владимировича.

Охрана дворца таяла.

Все известия были тяжелы, но знал граф Бенкендорф, что уход гвардейского экипажа всего тяжелей поразит государыню: их слишком любила царская чета, как своих.

Но была и одна хорошая новость: графу Бенкендорфу доложили ночную телеграмму, присланную генералу Иванову через дворцовый телеграф: Государь нашёлся! Он был во Пскове и намеревался скоро приехать. (До сих пор все телеграммы, разосланные государыней в разные города наугад, – возвращались с пометкою синим карандашом царскосельского телеграфа: «местопребывание адресата неизвестно»).

Со всеми этими новостями обергофмейстер Бенкендорф и ждал, когда пробудившаяся государыня позовет его, чтобы доложить ей и всё горько необходимое, и единственное утешающее.

Хорошо привыкнув к государыне, он мог видеть сегодня по её вялости, подведенным кругам глаз, по тону голоса, что эту ночь она спала совсем мало. Она приняла его лёжа на диване. Но едва услышав, что Государь во Пскове и шлёт успокоительную телеграмму Иванову, и скоро намерен быть сюда сам, – так резко и радостно поднялась на локте – граф побоялся, что она повредит себе, изогнётся как-нибудь не так.

– Слава Богу! Слава Богу! – перекрестилась государыня, полусидя. – Значит, он не задержан никем! Он опять со своими войсками! Всё спасено! Он явится сюда в силе!

Усмехнулась своей слабости:

– А я, граф, лежу и удивляюсь: снаружи радостное солнце сегодня, и почему же может быть так всё плохо? Но солнце не обмануло.

Она позвонила и велела камеристке отдёрнуть тонкие шторы, забиравшие часть света.

Однако неизбежно было докладывать дальше. И почтительно домашний Бенкендорф сказал об уходе рот экипажа по вызову великого князя Кирилла.

Сперва – исторгся раненый стон из груди государыни. Она взялась рукой у лба. Снова опустилась на подушки. И так держа руку козырьком от слишком яркого света, произносила изредка:

– Труссы. Бежали. Какой-то микроб сидит во всех. Ничего не понимают. Мои моряки! Мои собственные моряки! Я не могу поверить. – И с новой силой извилась, вскричала: – И все офицеры?

– Нет, некоторые остались, Ваше Величество, и ждут вашего приёма.

Остальных новостей государыня уже не восприняла. Уже и не могла она лежать несколько часов, набираясь сил, надо было вставать, все ждали её.

И так, не собравши ясного сознания, она двинулась в новый безумный день.

Что может более подкосить, чем цепь измен? Все изменяли! Хотя Конвой никак не изменил – но горько было, что вся Россия теперь переполаскивает его измену... (А они – ни в чём не виновны. Из петроградской полусотни приехал конвонец: а у них уже слух, что Александровский дворец разрушен, и под развалинами погибла вся царская семья).

Даже раньше обхода больных детей приняла в розовом будуаре верных офицеров экипажа.

Рослые морские офицеры стояли со слезами в глазах от позора. Одно удалось им – сохранить знамя экипажа. Теперь они все просили, чтоб дозволено было остаться им при императрице. Они ставили это выше подчинения своему командиру и переступали его приказ.

Государыня была тронута их преданностью, и сохранением знамени, и тем отчасти простила экипажу.

– Боже мой, что скажет император, когда услышит об этом!...

И тут вскоре поднесли ей прямую телеграмму от самого императора – первую за двое суток!

Из Пскова, сегодня же в полночь. Радость прямых обращённых слов, нежность, невыразимая через чужое перестукивание телеграфных ключей. А новости – никакой, даже нет намерения скоро приехать в Царское, как выражено было Иванову.

Но лишь немного шагов она совершила, держа драгоценную телеграмму в руке, как генерал Гротен доложил ей несколько новых шоковых новостей.

Что в Луге – революция, и разоружён верный Бородинский полк, шедший сюда на выручку в распоряжение генерала Иванова. (Сразу кольнуло: Луга – на прямой линии из Пскова, как же проедет Ники?)

Что сам генерал Иванов со своим эшелоном ночью отбыл в сторону Вырицы. (Очевидно поехал выручать Государя!)

Что в Царском Селе возобновились беспорядки, грабёж, пьянство.

А телефоны дворца перестали работать с Петроградом. Несколько раз пытались вызывать – наконец телефонист прошептал в трубку: «Я не могу вас соединить. Телефон не в наших руках. Я прошу вас не говорить. Я позвоню вам сам, когда это будет возможно».

Ещё сохранялся прямой провод с Зимним дворцом, но там ничего не происходило, и прислуга ничего не могла сообщить.

И с такими новостями по тяжёлой лестнице государыня поднялась к больным детям на 2-й этаж в их тёмные комнаты. Температура у всех, кроме ещё здоровой Марии, была между 37 и 38, но осложнения не проявлялись, только у Тани начало болеть ухо. Все очень слабы, но Алексей даже и весел.

Уже вчера мать стала им кое-что рассказывать из происходящего, – мучительно притворяться дальше. А сегодня стала говорить почти всё как есть. Две старших дочери уже имели большой опыт работы в госпиталях, в комитетах по раненым и беженцам, научились наблюдать людей и их лица, сильно развились духовно через понимаемое ими страдание семьи, и так уже знали последние месяцы, через что семья проходит. У них уже была и вдумчивость, и душевное чувство. Пусть знают всё. Даже об экипаже.

И приняли – молодцами. Мари – потому ли, что ещё здорова – особенно гневно возмущалась уходом экипажа. У старших было – примирение с Божьим Промыслом.

Ещё один урок познания людей.

Теперь, поднявшись на 2-й этаж, государыня оставалась уже тут. Опять сильно болело её сердце, обычное расширение, когда не помогают и капли. Приходится выносить больше, чем сердце может вынести.

Государыня испытывала изнеможение, но держалась силою, чтобы не подумали, будто упала духом. Курила, чтоб утишить боль сердца. Сейчас надо было найти в себе силы идти на ту сторону дворца проведывать Аню. И очень трогалась Александра Фёдоровна, что Лили Ден уже четвёртый день не хочет покинуть царскую семью, не едет к своему сыну в город.

Государыня чувствовала, что ей надо что-то сообразить и сделать, что-то ускользает от её соображения, – но её то и Дело тормозили – то Апраксин, то командир Сводного полка Ресин, то самые приближённые, – она терпеть не могла, когда отрывают и всё теряешь линию.

Да, вот что! Отчего не послать во Псков аэроплан с письмом Государю? Самое простое решение. Послала узнать в лётную команду, есть ли такая возможность.

Всё смешалось в голове, какие-то вихри, нельзя уложить верное соотношение вещей. Чем кончится? Как это решится? Что предпринять?

Что он делает во Пскове? Действительно ли это был вольный выбор ехать туда? А если вынужденный? Хотят не дать ему увидеться с его верной жёнушкой – и может быть подсовывают какую-нибудь гадкую бумагу?

Полковник доложил: аэроплан исправный есть, но исчезли все лётчики.

Все изменяли! Все исчезали!

Как же послать письмо? Как же дать ему знать? Как прорвать этот заговор? Разрывается сердце, что и он в одиночестве, и мы, и ничего не знаем друг о друге.

Одно средство – гонец. Верный офицер. Пусть едет. Пусть едет поездом через мятежную Лугу и тайно везёт письмо. Дожили! – письма царской четы должны проходить тайно.

Тут генерал Гротен подал пакет от Павла.

Павел сообщал, что вчерашнему проекту своего «манифеста» он не мог дать лежать без движения. И поскольку государыня его не подписала, а имя Государя должно быть укреплено и поддержано в нынешней обстановке, – он счёл за благо собрать подписи кого мог из великих князей, вот их троих, с Кириллом и Михаилом (что одновременно разрушало и вредные возникшие слухи о регентстве Михаила – как бы гарантия, даваемая от династии). И этот манифест вчера поздно доставлен в Думу и сдан Милюкову, который его одобрил.

И снова прилагался тот вчерашний текст на машинке, отброшенный государыней.

Женский глаз не мог тотчас не заметить первое: что объединяло этих трёх великих князей – что все трое они были морганатические отступники от династии. Манифест морганатиков! – невиданное дело!

И теперь эти трое, не имевшие власти над самими собой, над своими страстями и слабостями, – предлагали своему Государю, в какой форме ему лучше всего уступить государственную власть! Только и додумались!

И презренный! Милюков – **одобрил** ! Ну конечно! И великий князь Павел писал об этом с гордостью.

О Боже, до чего мы пали.

Но на Павла почему-то не было сердитости.

А те, Милюковы? Всё рвались к власти – ну пусть водворяют порядок, ну пусть покажут, на что они годятся! Пожар они зажгли большой – как будут его теперь тушить?

Ещё мало было в это утро ударов – принесли ещё один.

Но принёс мужественный Гротен, который своей выдержкой и чистотой как бы очищал от этих измен. Он принёс – розданную начальникам всех царскосельских частей записку Кирилла – «контр-адмирала Кирилла», – что со своим гвардейским экипажем он вполне присоединился к новому правительству и надеется, что все остальные части сделают то же!...

Морганатик! Рядом с «манифестом». Мало, что изменял сам, – убеждал и других изменять.

О Боже, о где же граница измен?

Всё было – отвратительно! Но государыня заставляла себя верить, что всё ещё будет – хорошо!

320

Насчёт революционных разлагающих телеграмм, которые Эверт так энергично воспретил, – ответила Ставка в десятом часу утра изошрённо: что генерал-адъютант Рузский уже разрешил пропускать те, которые клонятся к успокоению, порядку и подвозу. (Будто!...) И генерал-адъютант Алексеев, признавая необходимым одинаковое решение по всем фронтам...

Замечательно! Но если – одинаковое, то почему не решение Эверта, он отдал его раньше Рузского: **все** телеграммы задерживать и воспрещать как идущие от мятежного центра и непризнанного правительства! И Ставка оповещена была ночью. И могла бы принять за образец именно законное командирское военное решение Эверта.

От мятежников – заявления к успокоению и порядку? Или будут они подвозить продовольственные запасы армии? Да погонят к себе, в анархический Петроград.

Что ж это такое? Тёр Эверт свой большой непроёмный лоб: Рузский и Алексеев что ж? – становились на сторону бунта? Но тогда хотел бы Эверт иметь прямой приказ от Государя.

Однако Государь был в отрыве, в молчании. И может быть в капкане у Рузского.

Эверт в волнении крупно ходил один по своему кабинету. Что он мог поделать? Не подчиниться прямому начальству? Но то был бы новый бунт! Всякое действие предполагает, что имеется ясный приказ сверху. Как и подчинённые выполняют дальше приказы Эверта. Сила – только в единстве подчинения.

Но что делать, если подчинение распалось выше Эверта? Он так начинал подозревать,

ибо не мог таких приказов приписать Государю. Да Алексеев и не ссылался на государеву волю.

И остановку полков Западного фронта Алексеев тоже скомандовал явно от себя. И вот – полки стояли, мялись, ни туда, ни сюда.

Но как можно решиться выпасть из армейской структуры и действовать по собственному убеждению? На такой случай не было у него ни сознания, ни советчика.

Так Эверт провёл тяжёлый час. Всё бурлило в нём, а ни в какое действие вырваться не могло.

Но и от жданья ничего не произойдёт. Приказ есть приказ. Надо собирать губернскую и городскую верхушку (и очевидно земгоровскую?) – и внушать им, как чтобы телеграммы не разрушили порядка.

Под окнами штаба площадь и улицы жили ещё мирно. Но подобные телеграммы могут за несколько часов наэлектризовать город до смятения.

То есть, конечно, Минск уже много знал – от проезжих и по слухам, но пока этого нет в газетах – это как бы не существует, плотина держит.

Тут постучался Квещинский, вошёл походкой селезня, с подпухшими вялыми глазами, виевыми бровями, и доложил:

– Алексей Ермолаич! Вас Ставка к прямому проводу.

Ну, наконец объяснимся! Ну, это уже объяснение! Ну, хотелось бы Алексеева самого, и покрепче с ним!

Почти кинулся Эверт в аппаратную, подымая вихри.

Но у того конца был не только не Алексеев, даже и не Лукомский, а всего лишь Владислав Наполеонович Клембовский.

Он желал Алексею Ермолаевичу здравия. И вот что передавал по поручению наштаверха. Его Величество находится во Пскове, где изъявил согласие навстречу народному желанию учредить ответственное перед палатами министерство...

Ну, если Государь так соизволит. Но почему во Пскове?

...поручив кабинет председателю Государственной Думы...

Этому мерзавцу. Так.

...Однако по сообщении этого решения главкосево председателю Думы сегодня ночью, последний ответил, что такой акт является запоздалым...

Ну, не берёт, и гнать его в шею!

...ныне наступила одна из страшнейших революций, сдерживать народные страсти трудно, и династический вопрос поставлен ребром...

Династический?! Да Боже мой! Да в чём же?

...и победоносный конец войны возможен лишь при отречении от престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича...

Медленная лента струилась слишком быстро! Быстрее, чем голова Эверта могла всё понять, связать, переварить! Как бомба с потолка грохнуло – отречение??? И накатывало новое, накатывало дальше:

...Обстановка по-видимому **не допускает иного решения**, и каждая минута дальнейших колебаний...

Совсем ошелоумел Эверт и плохо понимал ленту дальше. Контужен был Эверт, щупал свою лбину и не удивился бы, если бы кровь потекла из-под пальцев. И странно, что все предметы в комнате стояли и висели по-прежнему, и штукатурка не осыпалась.

Не только – мысль об отречении, но и – не допускает иного решения?... И даже все колебания – уже кем-то пройдены, позади?

А лента доносила:

...спасти Действующую армию от развала... спасти независимость России... поставить на первом плане судьбу династии...

Это вообще не охватывалось, не понималось даже – о чём? Спасать Россию – ценой династии? То есть погубить её? Всё перепластывалось, переворачивалось, неухватно куда-то

катилось...

...Если вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно... Его Величеству через главкосева, известив наштаверха?...

Так – ещё не решено? Так зависит от Эверта, что ли? И надо телеграфировать весьма спешно – а что же думает Его Величество? Самого главного тут и нет! – что же решил Государь?

...Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России... – угрожала лента, –... между высшими начальниками установить единство мыслей и целей... и спасти армию от возможных случаев измены долгу...

Да остановись, проклятая, никакой головы не хватит!

...переворот, который более безболезненно совершится при решении сверху...

Переворот – но сверху? что за белиберда? И – не допустить *измены долгу* ? И – не допускает иного решения?...

– Вот и всё, – заканчивал Клембовский. – И если вы имеете задать вопрос, то я в вашем распоряжении.

– Безболезненно для армии – если только сверху?... – бормотал Эверт, а телеграфист так понял, что это ответ, и выстукивал.

Взять себя в руки! В той же растерянности, непонятливости, но твёрже:

– Найдутся элементы враждебные... а может быть и желающие ловить рыбу в мутной воде...?

Это он – скорее думал, чем говорил, а чёртова машина урывала, уносила слова. Нет, так сразу отвечать нельзя.

– А запрошены ли остальные Главкомандующие?

– Всем Главкомандующим сообщено одно и то же.

Ну да, потому что они все заодно: Алексеев. И Рuzский. И конечно Брусилов. И конечно Непенин? Их – большинство, и они уже решили? А мы – разрознены? Или я один?

Мелькнуло спасительное: как они запрашивают, так и мне бы дальше? До корпусных?

– Есть ли время сговориться с командующими армиями? Но уже настолько не было времени, но уже настолько некогда думать:

– Время не терпит. Дорога каждая минута. И иного исхода нет. Государь колеблется, единогласные мнения Главкомандующих могут побудить его принять решение, единственно возможное для спасения России и династии.

Иного исхода нет!?. Решение – единственно возможное!?. И – ни минуты для решения! Пот прошибал под кителем и в волоса. И – ещё гнали, хуже:

– ...При задержке решения Родзянко не ручается, всё может кончиться гибельной анархией. Надо также иметь в виду, что царскосельский дворец и августейшая семья охраняются восставшими войсками...

Об армейских командующих – не ответила Ставка.

Но – и от Эверта не могла она требовать рывкнуть «так точно»!

– Больше ничего не имею, – отрезал Эверт.

– Имею честь кланяться, – невидимо улыбался Клембовский.

И остался Эверт – с непроглоченной тушей вопроса, – большею тушей, чем был сам.

И – на самое короткое время.

А – повернуть сейчас несколько дивизий и идти из Минска на Могилёв?... Тут совсем недалеко, завтра можно взять Могилёв.

Но – дальше? Но бунт – в Москве. Но если бы в Могилёве был Государь и сказал бы одобрение, – а как же всё одному? Против – всех?

Спрашивать трёх командующих? Горбатовский, Смирнов, Леш?... Разве что время оттянуть, а что они скажут?

А ответ – немедленно!

И ведь как: для сохранения армии. Для победы над немцами. Для спасения России! для спасения династии!

Однако, Государь колеблется?
Кто это может проверить, вырвать из стеклоглазого Рузского?
Но и: царская семья – в руках мятежников!
Никогда ещё Эверт не бывал обязан такое трудное – решить так быстро. Такое высокое, обширное и в общем не военное – простой армейской головой.
Нет! Позвал Квевцинского:
– Запросите Ставку, пусть сообщат, как ответили Рузский и Брусилов.
Совсем ничего не ответить? Но запрос был – как бы от Государя? (Этого не проверить).
А на запрос Государя как сметь не ответить?
Но – и что ж он напишет?
Не о своём же смятении. Не о своей же беспомощности. Да, спасение России от порабощения Германией – это на первом месте, так. И спасение династии – да, это понятно. Эверт и принимает все меры, чтоб оберечь армию от всяких сведений о положении в столицах. Но там-то что творится! А на Балтийском море! Это ужас! И это – анархическая банда, не регулярный порядочный противник, против него нет боевого опыта. Эверт не имеет такого опыта. А если – начнёт заражаться и армия?...
Да как можно самостоятельно решиться на военные действия?... Надо поступать как все. Как остальные.
А в дверях вот он и Квевцинский:
– Отвечают: и Рузский, и Брусилов – оба согласны с предложенным. Наштаверх просит поспешить с решением.
Опять поспешить, о Боже, куда ещё быстрее!
Поддержать ходатайство, если согласен... А если – не согласен?...
Там, на юге, Сахаров и Колчак, может быть, думают и иначе, но не перепрыгнуть через Брусилова, не послать связного птицей.
Так что, может быть...? Может быть и правда?... Чем-то же надо прекратить беспорядки?
При создавшейся обстановке... не находя иного исхода... измученным умом... *исхода*, который невозможно вымолвить или написать пером, но вы, Ваше Величество, знаете... понимаете... Безгранично преданный Вашему Величеству верноподданный может только умолять... Во имя спасения родины и династии... Если этот исход – единственный?... И может спасти Россию от анархии?..
И если так ответить – то Его Величество поймёт!
И насколько сразу легче самому! Заодно с остальными.
Да ведь и царские дети в руках мятежников, как же быть?..
Вот так мы попадаем иногда... Сила солому ломит... Написал ли бы Эверт это всё или не написал бы, но пока он мучился и набрасывал, – пришло из Ставки подтверждение ночному своеволию Алексева:
«Государь император приказал вернуть войска, направленные к Петрограду с Западного фронта, и отменить посылку войск с Юго-Западного».
Вот как! Вот урок! Государь – отнюдь не колебался, значит!
Он сам – вот прекращал борьбу.
Он – знал, что делал.
И Эверту оставалось только...
И насколько легче!...

Мгновенный брусиловский ответ положил хорошее начало консилиуму главнокомандующих.

Но дальше – замялось, никто не спешил ответить. Генерал Алексеев волновался. Начавши такой опрос – уже нельзя было растягивать. Если никто больше не ответит – запрос

падёт пятном на Алексеева. Единолично – он не смел бы выступить за отречение.

Почему молчал великий князь Николай Николаевич? От него можно было ждать ответа и быстрого и приветливого.

Прошло больше часа – Лукомский послал на Кавказ подгонную телеграмму.

Отозвался Янушкевич: ответ – скоро. И будет в духе пожеланий генерала Алексеева.

Хорошо!! Не подвёл великий князь.

Для запроса флотам Алексей вызвал к себе адмирала Русина, начальника морского штаба при Верховном. Алексей положил перед ним телеграмму – и увидел, что адмиральский взгляд похолодел.

– Какой ужас! – выстонал адмирал. – Какое великое несчастье!...

Да, это было так. Да, пожалуй это было так. Но с тех пор как Алексей взялся за разумный консилиум главнокомандующих – он уже был в действии и уже отрешился от этой первичной робости. Вопрос стоял о спасении России и династии, и не время предаваться сантиментам.

Поручил дежурному проверить, как скоро будут отправлены телеграммы во флоты.

Эверт тянул. Хотел узнать мнения других главнокомандующих.

Задумался Алексей над мыслью Эверта: запросить ещё и мнение командующих армиями. Логика тут была. Но ввязывать ещё двенадцать человек? И громоздко, и долго, и что выйдет? И зачем? Командующим обстановка внутри империи мало известна, поэтому запрашивать их мнение – лишнее.

Но хитрее всех вывернулся Сахаров: вообще прервал связь Румынского фронта, отключился!

Лукомский кричал в аппаратной, требовал немедленно восстановить связь с Яссами.

Придумал и: попросить Юго-Западный связаться с Яссами как бы от себя.

Тут как раз пришло из Пскова высочайшее соизволение воротить на места полки Западного фронта и не посылать с Юго-Западного.

Как Алексей жёгся, ждал этой телеграммы прошлой ночью! И сколько же изменилось за 12 часов, что она была уже почти и не нужна, разумелась сама собой.

Но – спадал с Алексева последний стыд перед обществом за эти посланные на Петроград войска! И – добрый знак: Государь настроен благоразумно. Так, вероятно, будет сговорчив и с отречением.

Поручил послать отбойные телеграммы Эверту и Брусилову.

Наконец – вырвали согласие и от Эверта.

Восстановили связь с Сахаровым – теперь просил он ответы остальных главнокомандующих. Каждый оглядывался, боялся проиграть.

Телеграфировали ему, что все уже ответили положительно. И торопили.

Три ответа пришло, и, просматривая их, Алексей решил составить из них сводную телеграмму Государю. И – скорее, успеть, пока там всё решается.

Но надо было думать и дальше: откуда Государь возьмёт самый текст отречного манифеста? И он должен быть торжественный, выразительный, сохраняя традицию русского престола. Надо составить его в Ставке, тут.

Лукомский брался составлять, но Алексей подыскивал более опытные перья. А для чего же состоял при Ставке начальник дипломатической части вице-камергер Базили, протеже Сазонова? И ещё нашли в помощь военного юриста. И ещё одного бойкого ставочного подполковника Барановского. И они уединились сочинять.

А Алексей снова горбился над своим столом и снова гнал телеграмму, обширную.

...Всепопданнейше представляю Вашему Императорскому Величеству полученные мною телеграммы...

И первую – конечно от Николая Николаевича: и потому, что великий князь. И потому, что очень уж выразительная.

Затем – от Брусилова, по несомненной её категоричности.

Затем – от Эверта, в конце концов неплохо получилось.

А Рузский – сам там.

От Сахарова ещё не было. От Непенина не было. И не было от Колчака.

Четыре есть, трёх нет. Восьмое мнение должен был доложить сам Алексеев.

Но после трёх уже включённых телеграмм, где страшное для Государя решение уже было названо прямыми словами, – Алексееву без нужды было лишний раз травить государеву рану.

Ему стало жалко Государя. Так и видел он перед собой его добрый, светлый ласковый взгляд, как ни у кого.

И Алексеев – избежал назвать прямо страшное слово «отречение» или о чём идёт речь.

А только: что умоляет Государя принять решение, которое внушит Господь Бог. Его Императорское Величество горячо любит родину – и примет то решение, какое даст мирный благополучный исход.

322

Как бываем мы несоразмерны ходу времени, то сгорая в минуты, то продремливая месяцы, – так и ко многим событиям бывает неготово наше непослушное тело: они застигают нас в несоответственном состоянии. Должно в нас само что-то осесть, переместиться, и только тогда мы вполне отчётливо примем любой удар, неожиданность, горе или даже радость.

Так и теперь в киевском поезде, с отрезанными возможностями что-либо сделать, без опасности куда-либо опоздать, Воротынцев отдался этой внутренней укладке.

После сильных мятежей здесь до сих пор не всё, не везде было расчищено, поезд тянулся, тянулся мимо сугробов и баб с деревянными лопатами. Подолгу стоял на станциях, забыв расписание. И в этой удолженной растянувшейся поездке, бездействии, тесноте купе и молчании, к счастью сосед всё время спал, – Воротынцев стал приходить в себя как от обморока.

Постыдность! постыдство за прожитую неделю! Нельзя было провести такую неделю – бессмысленней и одураченней. Провалился по дамским постелям – не очнулся, не догадался, что попал в самую гущу невероятных событий. Всю жизнь мечтал оказаться на самом опасном нужном месте, на своём Аркольском мосту, – и вот может быть послалось ему где-то действие несравненное – а он проволочился тряпкой, поражённый внутренним недугом, – всё пропустил. Если б ему когда предсказали – не поверил бы.

А вчера был ещё по-особенному потерянный день, ибо открыт для движения, открыты глаза – а ничего не придумал. А сегодня? Неизвестные, неуловимые, неостановимые события происходили где-то всякий час – а Воротынцев только дальше отъезжал от них, в незнании и в бездействии.

Но – Государь?! Но – что же он? Да не для этого ли самого момента он 22 года носил сияющую корону? принимал оваии народных толп?

А он – поехал к жене и деткам?...

Но. Но запутаться, вот, оказалось легко. Но семейная слабость – о-о! – она всякого может взять.

Нет, Георгий сейчас не имел прежней сердитости и безжалости к Государю. Даже сам не заметил, когда и как это стало. Со вчерашнего дня, когда узнал, что царь задержан? Или от ольдиных уговоров, ещё в октябре, и сейчас? Прошлой осенью изводило и мутило Воротынцева, что трон губит армию в ненужной войне, в государевой воле он видел препятствие к разумному выходу из войны. А сейчас грохнуло так – что только бы, только бы не рухнул фронт.

Трон – только тронь, говорила Ольда. Но и фронт – только тронь.

Теперь угнетала не та прежняя угроза измотать солдатские силы – но всё полетело кувыркoм за спиной Действующей армии. Это – куда хуже того, что рвался Воротынцев предупредить.

И таким жалким показался ему теперь его осенний перебродливый поиск.

А – что ж было правильно?...

Имея дело с такими историческими массами – нельзя нервничать и дёргаться. Прав был Свечин?

Но где же Государь?? Пока он не признал петроградских мятежников – они никто, и в стране ещё ничего не произошло. Он – в их руках? Или вырвался?

Или – вообще он не был задержан, то только слух?

Ах, теперь прояснялось, не додумал, ошибся: вчера с Николаевского вокзала всё-таки надо было гнать вослед, государеву поезду – найти – и может быть оказаться полезным?

Кончился поездной покой – занозило, хоть поворачивай.

А куда теперь! – смешно. Как-то там уже развязалось.

Киевский поезд – тащился, подальше ото всех событий. И стоял в глухоте, томился.

Воротынцев выходил помотаться по короткому заснеженному перрону – может быть узнать какие новости? Да где там! Для здешних события остановились на вчерашнем и позавчерашнем. Напротив, это местные обыватели окружали пассажиров с расспросами, даже вскакивали в вагоны, и просили газет, газет, каких-нибудь вестей! – что там творится, в столицах? Россия лежала в глухоте, и никакой революции не знала.

323

Как пошёл Шингарёв 28-го февраля в Продовольственную комиссию, так и сидел там третьи сутки, мало отвлекшись на сон и на еду. За всё это время он не участвовал в политических страстях, интригах, замыслах, надеждах, даже не следил за ними, как будто и не в Таврическом дворце находился (а одну ночь и ночевал тут). В Продовольственной комиссии совсем не красно крыло ощущался полёт революции, но – перекидкой косточек счётов, накладными, нарядами, колонками цифр. Но и, пожалуй, единственное это было место, где не уверенный в себе думский Комитет и наглюющий Совет рабочих депутатов не соперничали, не подозревали друг друга, но сотрудничали.

Хотя Шингарёв никак там председателем не стал, но всё же Громан и какой-то Франкорусский не препятствовали ему работать. Да без Совета рабочих депутатов и трудно было сейчас продвигаться с каким-либо делом в петроградском хаосе. (Громан и свой хаос добавлял в качестве революционного эксперимента: на сливочное масло, которого было полно, объявил *таксу* – и оно исчезло из лавок).

Шингарёва всегда тянуло к живому делу. А живею и важнее продовольствия вряд ли и было что сейчас в Петрограде. Есть хотелось всем по-прежнему и в революцию, и у хлебных лавок с утра собирались хвосты.

Да муки-то в Петрограде было совсем и не мало! – как теперь с удивлением обнаруживал Шингарёв по стекавшимся документам, – ещё же и военные запасы. Вся опасность оказалась сильно преувеличенной. А поскольку мятели кончились – на Николаевский вокзал как ни в чём не бывало продолжали прибывать новые вагоны с мукой. Но именно благодаря революции они не разгружались. Новые многие тысячи пудов! – и надо было срочно разгружать их, перевозить, снова складывать, отпускать пекарям, выпекать – а ни у кого настроения не было. Надо было уговаривать грузчиков и пекарей, призвать к их сознанию как граждан.

Вначале Продовольственной комиссии казалось только-то и всего: возобновить продажу печёного хлеба, упразднить хвосты. Но поле деятельности разворачивалось само собою. А – охранять продовольственные склады, оставленные теперь безо всяких часовых? А – охранять развоз муки по хлебопекарням? (Нападений на муку и хлеб ещё не было, значит не голодны, но по общему беспорядку в любую минуту могли быть). Перевозка по городу оживилась бы, если б можно было пустить грузовые трамваи, – но все трамваи были остановлены властью революции. А – кто-то же должен был теперь

кормить и солдат, в защите дела свободы отбившихся от своих казарм? И целые лишние полки, нахлынувшие из окрестностей в Петроград? очевидно – надо было выделить подкомиссию по фуражу, и что-то решать с петроградскими извозчицкими лошадьми, которые лопали хлеб, из-за того что нет фуража.

Чего никогда не посмела бы отмершая старая власть – могла сделать нынешняя Продовольственная комиссия: обратиться к чести и достоинству каждого гражданина, получившего теперь свободу, – прося его ограничить себя в потреблении продуктов первой необходимости и делать закупки только по действительной потребности, а не в запас.

Но с другой стороны нельзя было и пренебрегать введением карточек на хлеб. Как ни обидно, но приходилось начать революционную эпоху с установления хлебных карточек. Обывателю установить норму полтора фунта в день, нет, даже фунт с четвертью, – а солдатам, считаясь с их буйным революционным духом, придётся два с половиной.

И ещё вся организация карточной системы в Петрограде требовала многочисленных собраний по районам, подрайонам, попечительствам, кому-то печатать карточки, кому-то составлять списки, кому-то приглашать владельцев булочных на заседания в городскую думу.

Но Шингарёв, со своим уже государственным опытом, видел, что дело никак не ограничится одними петроградскими хлебными заботами: перед глазами вставала вся страна. По своему положению кто ж, как не Петроград, обязан был продолжать бесперебойное снабжение Финляндии, Балтийского флота да и Северного фронта? А по той революционной роли, в которой Петроград уже объявил себя России, – очевидно он, а не кто другой, должен был обеспечивать хлебом и всю Действующую армию и все города Империи. И все эти заботы, пока не существовало нового правительства, – кому ж было брать сейчас, как не Продовольственной комиссии? И Шингарёв убеждал своих случайных революционных коллег: революционная власть должна жить и завтра, и послезавтра, – и поэтому забота быть должна не только о том хлебе, который уже в Петрограде, но о том, который всюду по России, и надо, чтоб захотели везти его в Петроград и другие места.

А надежда Шингарёва была – на добрую волю, на доброе сознание самого народа! Наш народ веками был лишён драгоценного дара свободы. А теперь, когда революция предоставит ему свободу во всей широте, – он сам, наш Святой и Великий Страдалец, нащупает верные пути. До сих пор потому недостаточно поступал хлеб, что крестьяне не доверяли старой власти. А если теперь открыто призвать крестьянство к бескорыстной сдаче хлеба, – то оно тотчас широкодушным святым движением, вереницею подвод потянется навстречу новой революционной власти. Итак, не обойтись без возвания ко всей стране, первого возвания революционной власти к России, и будет оно – о хлебе. Как-нибудь так: «Граждане! Совершилось великое дело: старая власть, губившая Россию, распалась! Главная задача теперь – обеспечение продовольствием... Запасов хлеба от старой власти осталось очень мало, и надо спешить заготавливать...»

Но кто такая анонимная Продовольственная петроградская комиссия, чтобы взывать к России?

А кто теперь вообще мог, имел право взывать к России? Одно такое несомненное имя было: Родзянко. Надо убедить Михаила Владимировича подписать. Да он несомненно подпишет.

Но прежде надо составить эти сильные слова, этот звучный призыв к русским сердцам.

И Шингарёв – искал их, мучась, что всё приходят не те, не самые лучшие, сидел за углом случайного стола и набрасывал это воззвание, сам до того волнуясь, что должен был скрывать от соседей наплывшие слезы:

«Граждане России! Земледельцы, землевладельцы, торговые служащие, железнодорожные рабочие! – помогите родине! Все как один человек – протяните руку помощи в эти грозные дни! – пусть ни одна рука не опустится!»

Когда Андрей Иванович думал о народе – о народе в целом и обо всех благородных сердцах, его составляющих, – он всегда был слаб на эту слёзную поволоку в глазах и в голосе, он всегда выражал лицом и голосом больше, чем неподатливой речью устной или письменной:

«Скорее продавайте хлеб уполномоченным! Отдавайте всё, что можете! Скорее везите к железным дорогам и пристаням! Скорее грузите!... Время не ждёт! Граждане! Придите на помощь родине хлебом и трудом!»

Удалось написать. И удалось переломить сопротивление сухих социалистов Громана и Франкорусского, не верящих в сердечные воззвания, а только в экономические законы. И без труда размахнулся широченной подписью Родзянко. И это попало в газетные листки, запорхало!

Но уже через несколько часов социалисты прижали Шингарёва в реванш: землевладельцы – разные, и у которых большие запашки – хлеб надо реквизировать, а не взывать к добровольной сдаче. Революционная власть – обязана так.

После душевной сласти воззвания Шингарёву это было как нож. Посопrotивлялся он им, сколько мог, но сила и напор были за ними. И сегодня Продовольственная комиссия разослала во все концы России такую телеграмму (по телеграфной скорости она должна была воззвание где нагнать, где обогнать): у всех земельных собственников с запашкою больше 50 десятин (а это – совсем не большое владение!) реквизировать (без понижения цены, – только и добился Шингарёв) хлебные запасы. И – запасы торговых предприятий и банков. (Банки Шингарёв не только не защищал, он давно предлагал Думе надзор за банками, но его окорачивали).

Никакой Россией не выбранная, России не известная, петроградская анонимная комиссия телеграфировала такую команду.

И в этих волнениях и борениях, честное слово, забыл Шингарёв, что в какой-то другой комнате создаётся же правительство, и он вот-вот перейдёт туда министром финансов.

Вдруг пригласили его зайти к Милюкову.

Андрей Иванович пошёл. Уже ни в каком коридоре, и в думском крыле, не пройти без сутолоки совсем чужих людей.

И в той комнате, где Милюков сидел, тоже теснились лишние люди, и не только доверенные. Присел к нему поближе, разговаривали вполголоса.

Черты Павла Николаевича за эти сутки обострились: брови стали как будто ребёрчато-угловатые, а усы даже на вид пожелтели до проволочных. Напряжён был – а вместе с тем как будто и рассеян; разговаривал с Андреем Ивановичем, а думал как будто и о другом.

Да разговор-то недлинный: лидер кадетской партии сообщил своему сочлену и заместителю по фракции, что в новом правительстве он получает портфель.

Ну да, кивал Шингарёв.

Однако – так и не так, выразил Павел Николаевич озабоченность, и с выражением неприятности, жёсткости. Тут – некоторая более сложная комбинация, выходящая за внутривнутрипартийные расчёты. Андрею Ивановичу придётся стать министром – земледелия и землеустройства.

Что называется – глаза на лоб полезли у Шингарёва: как? что? с чего? почему? Да ведь... да ведь не сам он, но вся кадетская фракция, но вся Дума привыкла и прочила его в министры финансов!

Не то чтоб он был финансист, или специалист по финансам, такого образования он не имел, но кадетская фракция была настолько иссушающе юридична и гуманитарна, настолько никто не владел никаким практическим делом и даже считать никто не умел; а кому-то надо было заняться финансами, – вот и взялся Шингарёв. И – годами сидел над сметами, и учился

у финансовых чиновников, и изучал методы – и, кажется, довольно блистательно оппонировал Коковцову. Столько труда, изучения, анализа – зачем же?...

Открытый лоб Шингарёва не умел скрыть чувства, Милюков бы не мог притвориться, что не замечает. Но Павел Николаевич ни с кем никогда за всю, наверно, жизнь не бывал ни открыт нараспашку, ни душевно мягок, – сентиментальности и участия не ждал от него и близкий товарищ по партии. Однако имел право Шингарёв на человеческое объяснение, что и Милюкову это больно, обидно, но так получилось?

Нет, слишком ли напряжённый событиями или по своей непереступаемой холодности, Милюков даже не захотел изобразить подходящего к делу сожаления. Хотя именно этим словом ответил, как диктуют:

– К сожалению, это совершенно неизбежно. Это не подлежит дискуссии. Этого нельзя было устроить никак иначе.

Очевидно, он многое знал такое, чего не мог сказать. Да Шингарёв привык видеть в Милюкове крупномасштабного политика, не сравнимого с собой. Он верил ему, он шёл за ним, он готов был и согласиться и дать себя уговорить, – но всё же хоть что-то объяснить? Уж как обидно! – труд, направление стольких лет работы вдруг вывалить из рук.

И тогда омрачённому Шингарёву Павел Николаевич тихим голосом объяснил:

– Да что, Андрей Иванович. Мы-то с вами знаем, что вы никакой не финансист. Знания ваши по финансам – популярного лектора, из народного университета. Так можно вас посчитать и специалистом по военно-морскому делу, раз вы в комиссии председательствовали. В конце концов, разве вы углубились до производительных сил государства, как направить экономику? Ваши заботы были – о справедливости прямых и косвенных налогов, они диктовались вашим прекрасным народолюбием. Так в этом смысле вам ещё больший простор будет на продовольствии. Последние месяцы вы им и занимались, удачно оппонировали Риттиху, – вот и займите его место.

И во всём этом – да, была какая-то правда. Павел Николаевич умел говорить убедительно. Однако, всё же, столько лет труда, усилий – и...? Но положение было вообще – не возражательное. В такие дни на какой бы пост ни назначила партия, надо брать. Шингарёв и раньше всегда привык: брать всякое новое дело, тянуть, и на этом учиться. И на военно-морском деле он не такой уж был несведущий, да. И о продовольствии – тоже уже подумал немало, верно, да.

Почему это всё переместилось – Шингарёв не настаивал знать. Но настолько он был обескуражен и так обидно, что не догадался даже спросить: кто же будет министром финансов.

Уже уйдя, подумал: а почему же всё-таки не обсудили раньше, а так – за глаза, без спросу? Как странно и неколлегиально создавалось такое желанное министерство общественного доверия!...

А для Шингарёва это был выбор жизненного пути на всю теперь революцию.

А уж в земледелии – он был знаток совсем никакой, разве только от критики стольпинской реформы.

Но возвратясь в Продовольственную комиссию (и ничего не сказав социалистам), перечитал своё вчерашнее воззвание – и снова пронялся чистотой и трогательностью чувства. А вот рядились цифры, цифры, – не всё ли равно какого министерства, в рублях или пудах, – за ними стояли красавцы-колосья и колебалась сама народная жизнь, которую и надо поднять из разорения к расцвету.

Ощутил Андрей Иванович за час, за два, что он уже простил обиду. И смирился.

И даже уже ему нравилось стать министром земледелия.

Это возрождающее, возобновляющее, восстающее чувство гнездилось в самой сути его души: из-под любого обвала, пожарища, пепла – сколько раз оно само, и быстро, вновь поднимало его к устойчивости и свету.

Эти дани Шляпников не мог ни на чём успокоиться, и не знал верного места, где ему быть.

Как член Исполнительного Комитета Совета он, вроде, должен был сидеть на их бесконечных заседаниях. Но тошно было ему там, среди меньшевиков, оборонцев и полуборонцев, оказавшихся в засилии. На словах тут не мало было интернационалистов, но сколотить их невозможно: боялись раскола, тянулись как все. Досадно было на Совет и удивительно: как получилось, что большевиков здесь так затиснули, мало их, и не имеют они главного голоса. В подпольи он бы и сравнивать себя не унизился с этими, просидевшими тихо войну, А тут – они все налезли, забили и захватили сразу. Шляпников просто страдал, как они, так быстро теперь осмелев, уже как будто и не считаются с большевиками.

Годами он прилагал усилия против главного врага – самодержавия, там усилия, где они были нужны, где не подавалось. И никак не ждал, что чуть полегчает, – эти все обскачат сбоку – и первые!

Поналезло теоретических болтунов вроде Гиммера и что ж доказывали? – что надо отдать власть буржуазии! – дикость какая! Вся реальная власть сейчас в руках масс – и отдать её буржуазии? А сами они, засевши в Совете, не хотели брать власть! Так зачем и засели, только мешали на дороге?! (А может – они притворяются, что не хотят? Хотят захватить, да только без нас?)

Нет, сидя в Исполнительном Комитете, Шляпников самое большее, что делал, – только укреплял меньшевиков. Это невозможно перенести!

А время! – вихрилось, каждый час уносил какую-то неиспользованную, неповторимую возможность. И не хватало ума – сообразить, поймать и сделать!

Да тут же вот, рядом упускалось – в Екатерининском зале и на ступеньках Таврического: то и дело подходили тысячи солдат, слушать ораторов, – а ораторы кто ж эти и были, как не кадеты, да опять же меньшевики-теоретики! Надо было своего, большевицкого, ярого, задористого! – да не интеллигента, а простого, чтоб массы ему верили, – где такого взять? Сам Шляпников никак не мог, у каждого в жизни своя роль, он подпольщик, молчун, он даже в малой компании отмалчивается. Вчера тут среди солдат заговорил против войны – не дали ему, заткнули. Но и среди всех большевиков в Питере сейчас ни одного такого бойкого нет, он не знал. Кого ж найти? Бродил-бродил по Таврическому, заговаривал, присматривался – и нашёл такого солдата Лашевича, с крепкой челюстью и носом-хряпом, а языкатого и взглядов: всё долой!

И научил его: как что – лезть на возвышение и речь держать против войны, против буржуев, землю делить, фабрики брать и за простой народ. А оборонцев – отталкивать, забивать.

Этот – всех растолкает. Удачно вышло. Штатскому не будет столько доверия, как своему солдату. Вот это – революционная находка.

Вчера к вечеру из Таврического кинулся на Кронверкский: там на бирже труда служит наш Елинсон-Политикус, теперь захватил верхний этаж биржи, и восстанавливают Петербургский комитет. Выползали из нор, ещё ничего они не значили, не имели силы ни вверх, ни вниз, а БЦК почти не признавали, как навязанное из Швейцарии.

Нет, нуждался Шляпников шире. Оттуда кинулся на Выборгскую, там в Сампсоньевском братстве собрали собрание – но опять хорошо не подготовленное, ни лозунги, ни ораторы, а набилось много неразумников, вообще беспартийных, а то опять меньшевиков. И что боевое предлагала большевицкая верхушка – дальнейшее восстание! низложить Комитет Государственной Думы! Временное революционное правительство! расширять победу до всероссийской! перестроить армию на свободных началах! – расплылось или провалили. По-настоящему, тогда б и голосовать только членам нашей партии.

Вот и не знаешь, с какого конца взяться.

Сегодня утром метнулся Шляпников в Таврический – но даже не было заседания

Исполкома, а сидели, вялые, в общей комнате и передавали сплетни о вчерашних переговорах с думцами – как они власть уступали, пентюхи! Эти переговоры нельзя было считать иначе, как предательством. Они в переговорах умолчали и о войне, и о земле, и 8-часовом дне, – соглашательство и капитулянтство! А Нахамкис не слушал Шляпникова серьёзно и угрожал (и Красиков туда же, свой) – рассказать Ленину о немарксистском поведении Шляпникова, что он забыл, кто должен выполнять задачи буржуазной революции.

Да Ленин с вами, ликвидаторами, ещё и разговаривать не станет!

А ещё брызжали на Исполкоме против листовки Кротовского-Александровича, даже эсеры все против, отгораживаются. А Чхеидзе даже в Екатерининском зале вслух назвал прокламацию провокационной.

А хорошая листовка! – трезво призывала бороться с офицерством до конца! Не дать загаснуть классовый борьбе в армии – верно! Крепко бранил Шляпников Молотова, что тот сдрейфил и тюки такой хорошей листовки сдал без боя оборонцам, слунтяй.

Ну, ничего, кое-что всё же вырвалось: Бонч мешок-мешок, а быстро выпустил большевицкий Манифест (меньшевики только рот разинули – и кинулись свой сочинять). А за ним – и Приказ № 1. А подпись Исполнительного Комитета – и не денешься!

Что Шляпников вовремя сообразил и сделал – уже восстанавливал «Правду». Захватили на Мойке большое здание, прекрасную типографию «Сельского вестника», новенькие ротационные машины. Теперь сколачивали редакцию – а писунов опять нет? И туда – Молотова сажать?

Затхло было в Таврическом! Хотелось действия! – и резкого! сильного! для всех обжигающего!

Да ещё ж был он комиссар Выборгского района. Комиссариат его занял больничную кассу завода Парвиайнена (там своих много). Там – и надо ему присутствовать, там и было настоящее дело: создавать свою крепкую местную власть и вооружённую милицию из рабочих, уже набирали оружия и патронов. Реальная сила только и есть – рабочие кварталы.

А всё ж – там провинция, оттуда центра не поворотишь.

А сегодня с трёх часов тут, в Таврическом, собирался большой пленум Совета. И надо было – им овладеть! Надо было – на нём выступать и бросать лозунги.

Но – какие?... Социалистическое правительство? Не дать создаться буржуазному?...

А ведь так уже был освоен Шляпников с питерским подпольем! И казалось ему, что он полносильно может управлять рабочими массами столицы, как прошлой осенью, – ставить ли их на работу или снимать на забастовку. Но вот всё вырвалось наружу, разлилось по улицам – и перестало управляться. И, очевидно, только правильные лозунги могли бы быть новыми возжами. Но как эти лозунги найти? Не хватало головы. Где-то рядом этот лозунг носился или лежал, его можно было составить из самых простых слов, – но слова, Дери их... не складывались. Надо было советоваться, брать коллективной головой.

Пока, до начала Совета, решил махнуть к своим на Выборгскую, хорошо автомобиль к услугам.

В комнате разбитого полицейского участка на Большом Сампсоньевском теперь пребывал Выборгский райком. Тут познакомился с долговязым матросом Ульяновцевым – из тех матросов, кого сам и отстоял под судом в октябре. Этот – только что из Шлиссельбурга и одно хотел: громить гадов! Вот такие-то нам и нужны. А послать его в Кронштадт.

Ребята в райкоме хоть необразованные, но ершистые. Объяснил им Шляпников: не можем мы, ребята, так сидеть-терпеть. Надо начинать борьбу! Ведь революционное правительство мы возглашали? Возглашали. Ну! А чего смотрим?

Да ребята – вполне согласны. Да ребята уже готовят большие такие плакаты: «Конфисковать помещичьи земли!» «8-часовой рабочий день!» «Демократическая республика!» Но плакатов крупных – много не сделаешь, а мелкие незаметны.

А как же – революционное правительство? А куда ж Совет Рабочих Депутатов? Ум хорошо, а несколько – лучше. Тут сразу прояснилось: так вот он, Совет, и пусть будет правительство. Пусть власть берёт!

А как же это продвинуть? Да новую листовку накатать:

«Граждане, солдаты и рабочие!»

Есть такой большевицкий испытанный приём:

«Митинги солдат и рабочих, собирающиеся в Петрограде, принимают следующие резолюции...»

Таких резолюций ни на каких митингах ещё не принимали, мы их только сейчас сочиним, напечатаем, разошлём – и вот тогда будут и митинги, будут и резолюции.

«...Вся власть – в руки Совета Рабочих и Солдатских Депутатов как единственного революционного правительства! Армия и население должны выполнять распоряжения только Совета Депутатов, а распоряжения Комитета Государственной Думы считать недействительными! Государственная Дума была опора царского режима...»

Война Родзянке и Милюкову!!! Поломать козни цензовиков с отдельным их правительством!

«...Всё офицерство и чиновничество, служившее старому режиму, должно быть обезврежено и устранено от управления...»

Немного как будто чересчур радикально? Зато правильный революционный тон! Посвежели ребята, особенно Васька Каюров.

Теперь – раскатать на ротаторе и...

325

Только страсть повидать и узнать совсем небывалое могла согнать столько солдат в эту неразданную комнату и на часы сплотила в такой тесноте, что не вмоготу руку снизу вытянуть, нос почесать, а курить – только счастливым. Винтовок уже никто больше сюда не вносил, друг друга не поцарапать. И рабочих набилось с красными приколками, но не столько.

Стула уже ни одного не осталось в этой комнате, какие переломали, какие вынесли, а только большой стол затоптанный, и на этот стол с самого начала повзлезали иные те, кто хотели поймать слово или руководство, они заранее тут в задней комнате сидели, отсюда.

А первый и главный из них был уже стариковатый, плешивый, роста низенького, в пиджаке обрыжевшем, притёртом, с бородкой мочалистой, и говорил малоразборно, булькало иногда заместо слов, а то как заскрёбывал, да видно, что и пристал, бедняга. Говорил он, что вот теперь Совет не одних Рабочих, но и Солдатских Депутатов, и берёт он в свои могучие руки своё светлое будущее. Что такое время теперь наступило, какое всем отроду грезилось, и народ сам покажет свою власть. И солдат покажет, что он ещё лучше армейские дела понимает, чем иные офицеры. Однако не все ещё враги разбиты, ещё остались тёмные силы – и нужна порядливая власть, и никак не обойтись без *элементов*. И толковали вчера с этими элементами, они берутся вытянуть, а условия самые лучшие для нас с вами. И сейчас наш и ваш товарищ с Исполнительного Комитета это всё подробно доложит на ваше суждение.

И тогда рядом с ним, плечом выше головы того первого, стал говорить этот рыжебородый, дядя-размахнись, хоть чурбаки колоть. А говорил приветливо, успокоительно, как хороший товар предлагая, да так-то ручьиисто, – очень приглядно было его слушать, заслушались, – да кто ж с нами, низкими, так-то раньше беседовал?

Много он чего говорил, очень много, всего в голове не удержишь. А всё – про свободу. Теперь свобода будет нараспашку. И кто в темнице нудился – тем всем свобода. И вольным всем – ещё больше свобода. А уж солдатам – наибольшее их всех. Солдаты теперь по всем ротам, батальонам должны избирать комитеты, и вся власть теперь будет комитетская, а не офицерская. Офицерско дело теперь – ежели строй, скажем, построился – так направо, налево, к ноге, впрочем это и унтер может. А если какие офицеры будут комитетам воспрепятствовать, так сейчас их новая власть к ответу приберёт. А как только из строя ступнул солдат – так он свободнейший уважаемый гражданин теперь, и все права ему

дадены. А и по улице пойдёт – полиции теперь не будет, никто не остановит, ничего не запретит. Будет свой лёгкий надсмотр из студентов и тоже-ть там все выбранные. А главное: никто солдата на войну не погонит, но после великого революционного подвига будет теперь весь гарнизон в Петрограде состоять как на отдыхе и на случай защиты Петрограда от тёмных сил.

И так сладкая речь его лилась, наслушаться нельзя. До чего ж хороший человек и до чего ж теперь жизнь благая наступила! – и скажи, всего только раз дерзнули из казарм выйти, и теперь выхода сколь хошь. Уже всю эту новую сладость солдаты как бы и сами прочуяли – но дорого ещё раз её от хорошего человека послушать. Внимчиво слушали, долго слушали, правда уже стало и бока теснить, уже б и размяться, что ли.

Ну, кончилась речь этого рыжебородого, и уж похлопали ему от души, не жалея, – кто споровился руки между боков вытянуть.

Тут между главными на столе вышла заминка.

Ещё не всё утихло – опять тот потёртый старик руками замахал, что будет говорить.

Но на другом конце стола начал кто-то быстро взлезать, цепляясь за соседей и раскачивая. Проворно этак взлез, всех растолкал, выпередился, – узнали его: тот узкоголовый, кто живет всех по дворцу метался, только и знал бегал.

И пока старик смурной своё – а этот своё, да звонко, да уверенно, да голос юнецкий:

– Товарищи! Я должен вам сделать сообщение чрезвычайной важности!

Забористо сказал – чрезвычайной важности! – стали поворачиваться боле к нему.

А бледен-то как! – белей полотна. А проняло сердечного – шатается, не стоит. И голос – совсем вдруг потерял. И только – от сочувствия, дыханье и своё переняв, услышала его толпа:

– Товарищи! Доверяете ли вы мне?

Спросил – как приговорённый. Вот довели! Наш-то ведь вожак, за нас он, фамилии его так не знали, но видали, как он без усталости маячил. Пожалели, закричали со всех сторон:

– Доверяем! Ну!... А чо? Конечно, доверяем!

А он – с тягостью, а он – с передыхами, а он – с переминами:

– Я говорю, товарищи, от всей глубины моего сердца! И я готов умереть, если это будет нужно!

Да что ж за злодеи такие? Да кто ж это его довёл?

– Ну, ну! Живи! – подбадривали его и поддавали в ладоши. Ажник вчуже проняло за него болезного, хилого, бледного, – весь исстарался, и видать на нашу пользу.

И чуть с силками собравшись, отдышался:

– Товарищи! В настоящий момент образовалось новое правительство. И мне предложили в нём пост министра юстиции. И я должен был дать ответ в течении пяти минут. И поэтому я не имел времени получить от вас мандат. И рискнул взять на себя, принять это предложение – ещё до вашего окончательного решения!

Ну-к, что ж, ну-к, что ж. Знать, так сошлось человеку.

– По воле! – крикнули ему.

Ещё похлопали.

А он – подхватился весь, как на «смирно» вытянулся да глазки закатил. И поведал:

– Товарищи! В моих руках, под моим замком, содержатся представители гнусной старой власти – и я не решился выпустить их из своих рук. Если б я не принял сделанного мне предложения – я должен был бы тут же отдать ключи. И вот – я решился войти в состав нового правительства как министр юстиции!

Ну, и правильно! Коли нельзя выпускать! Ещё ему покричали, похлопали.

А он тогда – подстегнулся, и бодрей, веселей:

– Товарищи! Первым моим шагом как министра было распоряжение немедленно освободить всех политических заключённых! И с особым почётом препроводить из Сибири сюда наших товарищей депутатов социал-демократической фракции!

Каких-то тоже, значит, бедолаг. Всем свобода, так всем, правильно.

– Но ввиду того, что я рискнул взять на себя обязанность министра юстиции раньше, чем я получил на это от вас формальное полномочие, – и закинул голову отречённую, и шейка натянулась, – я сейчас перед вами слагаю с себя обязанности товарища председателя Совета Рабочих и Солдатских Депутатов!

Не поняли, чего эт он слагает – уезжает что ль куда.

– Да держись, паря! Пустое! – кричали ему.

И тогда он прометнул очами подвижными и ещё подхлестнулся, краска в лицо вернулась:

– Но я готов вновь принять от вас это звание, если вы признаете это нужным!

– Просим! Просим! – закричали ему, захлопали. Да чего, да пусть, этот – не вредный.

И тогда он засиялся и поклонился, в разные стороны кланялся и ручки белые к груди прикладывавал. И вопно так воззвал:

– Товарищи! Войдя в состав нового Временного Правительства, я остался тем же, кем я был, – я остался республиканцем!

Ну-ну.

– Я заявил Временному Правительству, что я являюсь представителем демократии! И Временное Правительство должно смотреть на меня как на выразителя требований демократии! И должно особенно считаться с теми мнениями, которые я буду отстаивать в качестве представителя демократии! Усилиями которой, демократии, и была свергнута старая нестерпимая власть!

Чего это он – непонимчиво было, но – свежей! Без занудства говорил, а – к сердцу. Одобряли его. Кто-то чего-то противу вякнул – приструнили тех, нишкни, нам – довлеет!

А он-то, сердечный, совсем как струнка дрожит, вытянулся во всю свою тонину:

– Товарищи! Время не ждёт! Дорога каждая минута! И я призываю вас к организации! К дисциплине! К оказанию поддержки нам, вашим представителям! – и готовым **умереть** для народа! – и отдавшим **всю свою жизнь** народу!

Слушали – сильно одобряли, но как второй раз про смерть помянул – так проняло, аж чуву нет.

– Да живи же! – кричат ему. Да передние руки к нему протянули, схватили, стянули, лёгкого, – и стали из рук в руки дальше к двери переколыхивать.

А весь зал кричит:

– Ура-а-а!

Передавали его не так ладно, где нога сорвётся, не подхваченная, но уж близ двери взяли прочно, там уже идти мочно, и понесли его на вынос через двери, а весь зал вослед ещё долго гудел:

– Ура-а-а! Ура-а-а!

ПРОКАТИСЯ, ГРОШ, РЕБРОМ! ПОКАЖИСЬ РУБЛЕМ!

326

Думали рано выехать – и близко не получилось. Во-первых, спать легли чуть не в 5 утра – и как окаменело, что хоть вся Россия пропади, а встать невозможно. А когда встали уже не рано, и накачали себя кофеем – тут надо было несколько раз позвонить по телефону, уже не хотел Гучков появляться в Думе сегодня, там должны были давать сведение, что он ездит по казармам. Но и в первые же звонки, через Ободовского, узналась просьба

вице-адмирала Непенина из Гельсингфорса: помочь навести порядок в Кронштадте, и кого назначить новым комендантом крепости вместо убитого. Ещё не объявленный военным министром, Гучков уже единодушно подразумевался таковым. И так, надо было распорядиться, срочно, что сделать для Кронштадта, немалое по важности место, да и самого Непенина надо было поддержать.

А тем временем умоляли Александра Иваныча подождать дома, принесут на подпись воззвание Центрального военно-промышленного комитета: призыв ко всем гражданам и учреждениям России сохранять непрерывность производительного труда. Ещё никому не передав комитета, тоже и этого он не мог покинуть.

А тем временем он звонил сестре Мити Вяземского и в Кауфманскую общину. Надо бы ехать ещё попрощаться, но Дмитрий был уже без памяти. С вечера он всё спрашивал у профессора, какой орган у него задет, – и профессор честно ответил, что – никакой. А – оказался в куски у него разнесен крестец, и тазовая кость. И много крови потерял, и жить он не мог.

Между двумя телефонными звонками Гучкова и умер.

Ещё вчера самый близкий сотрудник, самый необходимый человек, – вот уже выбыл, вот уже дальше.

А тут и Марья Ильинична, вопреки всеобщей радости, была чрезвычайно мрачна, разговаривала нехотя, а надо было убедить её в важности отъезда и чтоб она по телефону отвечала правильно.

Скорей же из дому! Мрачный, Гучков вырвался и ехал с Шульгиным на Варшавский вокзал.

Натекало уже к двум часам дня, и за это время Совет рабочих депутатов десять раз мог узнать об их отъезде и помешать.

Но нет! Несмотря на то, что открыто телеграфировали Ружскому о поездке, и звонили начальнику Варшавского вокзала, – такова была всеобщая суматоха, что до Совета, видимо, не дошло, – иначе не могли бы они допустить какую-то частную тайную поездку к царю. Ещё вчера предназначенный для Родзянки особый вагон из салона и спален всё стоял и дожидался депутатов, и имелся к нему паровоз в запасе, теперь прицепляемый.

А последнее, что ещё Гучков сообразил вовремя и надо было сделать до выезда, – это взять в руки генерала Иванова. Хотя всё движение его на Петроград, как уже видно, не представляло никакой серьёзной опасности, в Царском Селе Иванов побывал лишь с одним георгиевским батальоном, да и то ретировался, и по старому знакомству знал Гучков, что это мешок, а не боевой генерал, да и трусливо-прислушлив к общественному мнению, – но по всему этому тем более надо было полностью взять его в руки и образумить. С Варшавского вокзала ещё не выехав, удобнее всего было послать ему телеграмму через Царскосельский, по путевой линии Виндавской дороги: приехать на встречу в Гатчину, получалось – часам к четырём дня. Либо пусть едет во Псков. Не сомневался Гучков, что Иванов рад будет подчиниться и выскользнуть из своего сложного положения.

Ну, наконец и поехали, в три часа дня. Не задержал Совет! Не открыли.

Машинист получил приказ двигаться с предельной скоростью. Два инженера путей сообщения от Бубликова сели в их вагон – устранять возможные в пути помехи.

С утра было ярко, сейчас посерело. Не светило солнце по снежным полям.

Были купе, можно и полежать, но и думать об этом не думалось, такое волнение. Молодой Шульгин, бледный от усталости, всегда с лучистыми глазами, сейчас как-то особенно, болезненно сиял.

Сидели в салоне рядом – а почти не разговаривали.

Невыспанная голова Гучкова была наполнена тревожным, но и радостным гудом.

Давно ли царь запрещал ему выезды в штабы фронтов? А вот, он ехал именно в штаб фронта, и зачем? – вырывать отречение!

Какая была ему необходимость ехать? У него была неустроенная Военная комиссия, в ужасном состоянии петроградские полки, через несколько часов предстояло принять военное

министерство, – не хватало дня и ночи, чтобы в Петрограде всё сделать и успеть, – а он гнал во Псков, путь не одночасный.

Но: революция, которой хотели избежать, – совершилась, и сделана руками черни. И власть и всякий порядок уплывают из рук образованного класса, призванных к управлению людей. И в этом мутном, быстром, всё уносящем потоке оставалось несколько часов, оплошных для самого потока, когда можно было по нему нагнать уплывающий трон и успеть вытянуть его на твёрдый берег.

И – не кто другой, а именно Гучков должен был ехать. Это была – его личная, издавняя судьба. Это были – его счёты с царём. Гучков ехал – выполнить государственное дело. Но и...

Было ощущение – венчающей минуты жизни (не разделённой со спутником, ни с женой, ни с друзьями, не высказанной никому).

Это был и реванш за неудавшийся государственный переворот, как бы восполнение того, что ему не удалось. (Пусть так считается, так красиво и трагически войдёт в историю: заговор состоялся бы непременно, но революция опередила его на две недели). Оправдаться – самому перед собой. Он почти ещё успевал настигнуть и исправить!

Это, может быть, был и шаг в будущую Россию более веский, чем стать военным министром. Сейчас – Гучков ехал получить отречение в пользу наследника с регентом Михаилом и подтверждение Львова премьер-министром. Сейчас пока, в этой буре, – и спасти трон как таковой, и твёрдо поставить правительство.

Но при свободном широком развитии России в дальнейшем – очень может быть, что монархия станет ей узка, Россия рассвободится в республику. И тогда нужен будет президент. Первый президент России.

И тогда – не совсем безразлично, на кого падёт отблеск сегодняшнего отречения. Как бы – тень наследства.

А Россия – любит Александра Гучкова! Это показала его прошлогодняя болезнь: кто другой ещё так популярен?

Уже – руки его были так протянуты. И – место в душе запасено для этого действия. Не удастся? Это никак уже не могло. Это – неотвратимо накатывалось. Чтоб это не удалось – он даже не разбирал такого варианта.

А вот что: в его прежнем плане было – положить перед Государем готовый текст отречения. Кажется, самая простая часть задачи – подготовить текст. А – никогда не было сделано. Всё казалось – успеют, легче всего.

Но с прошлой ночи, как решилась поездка, – не составляется, и в голову не лезет. И вот уже едут реально, а текста нет. И мозги – совершенно отказывают, да ещё при поездной тряске, на вагонном столике. Не собрать мыслей, не стянуть фраз.

– Василий Витальич! А что же – текст? Нет у нас... Может – вы попытаете набросать пока?

С лунатическим видом Шульгин, отвлекаясь:

– А? Да. Верно! Попробую...

Вытащил перо и тут же вскоре начал.

А ведь – и не всё ясно, только сейчас пришло:

– А что, Василий Витальич, не знаете: существует ли какая-нибудь определённая форма отречения?

С рассеянной милой улыбкой от своих отдельных мыслей Шульгин:

– Понятия не имею, Александр Иваныч. Никогда не задумывался. Думаю, что – нет, потому что... Кажется, никто никогда у нас не отрекался? Ни из Романовых, ни из Рюриков.

– Неужели никто? Подождите... А... а-а... Пётр III?

– Ну, разве что Пётр III. Но случай вполне авантюристический и не может быть нам основанием.

– Но есть об этом какое-нибудь законодательство? Какие-нибудь династические правила?

Странно, что Гучков, обсуждая заговор, никогда не задумался об этом раньше.
Голубые глаза Шульгина сияли неземно:
– Ох, не знаю, Александр Иванович.

327

Всё-таки поездная теснота донимала, совсем никак: не разомнёшься. Захотелось выйти из вагона. И перед завтраком Николай вышел погулять по перрону.

Мимо этой кирпичной водокачки с намёрзлым хребтом льда. Этой отдельной цистерны. Врежутся на всю жизнь как ни один пейзаж в России.

И денёк был серенький, с мутниной. Не холодный.

Свитские гуляли кто следом, кто в стороне. Редкая здешняя публика – как-то по-новому: не стояла с разинутыми ртами, но проходила мимо.

Так Государь попал, что не имел ни своего пространства, ни власти. Уже вчера вечером выяснилось: передать телеграмму куда-нибудь, даже домой, – только через Рузского. (Но и на посланную, где Псков указан, всё нет ответа. Боже, что с Аликс?) Получить что-нибудь, узнать что-нибудь – только через Рузского. А попросить мотор для прогулки – даже неудобно. Да имеет ли он и право куда-нибудь ехать?

Странное состояние, можно сказать – приговорённости. Держатель великой империи, он как будто свободно думал, решал, выбирал, а на самом деле...

Как-то повернулось за двое суток, что вся власть – будто утекла от него. Только числился он императором и Верховным Главнокомандующим, а приказать – было некому. А – соглашаться на всякую бумагу, которую поднесут. Все эти дни, пока он ездил, где-то связывались аппараты, текли аппаратные разговоры – но всё мимо него, подходили, отвечали кто-то другие, а ему несли лишь готовые результаты.

Как-то незаметно остаток власти утёк от него к Алексееву. И тот вот уже сам спрашивает об отречении?

Что же ответят главнокомандующие?...

Даже нелюбимую им власть смеет ли он отдать, – перед предками? Всегда мучила Николая боязнь – оказаться не на высоте своего призвания. И особенно – оказаться недостойным отца и прадеда Николая, которые так смело, так уверенно вели.

Что же ответят главнокомандующие?

Да – хочет ли сама вся Россия, чтоб он отрёкся? Если хочет, то – да, конечно, немедленно! Если царь стал помехой национальному единению – так он уйдёт. Да он будет Бога благодарить, если Россия наконец станет счастлива, без него.

Но – как узнать истинную волю России?

Царствование – это крест. Это – обязанность трудноподъёмная. Царь принимает на себя всю тяготу государственных решений, всю суету и мелкость управления, – чтоб освободить от этой мути души подданных, чтоб они непринуждёнными взрастали к Богу.

Всегда все добиваются с докладами, мнениями, одни хотят одного, другие противоположного, всё надо выслушивать, прочитывать, подписывать. Но как ни реши -всегда общество свистит, улюлюкает, недовольно.

А как хорошо бы, правда, всё это бросить да поехать доживать век в Ливадию! Какой растворительный воздух! Какое успокоительное место, – есть ли в мире что равное южному крымскому берегу! Высоко над морем сидеть за мраморным столиком на мраморной скамье – смотреть на солнечный морской переблеск или на сказочный лунный. Царскою тропой пройти до Ореанды. Верхом съездить на виноградники. Так и прожить бы остаток жизни своею семьёй, ничего лучшего не надо, воспитывать сына. И Алексею очень благотворен Крым.

Да! ведь ему надо будет царствовать!...

Завтракали без приглашённых.

Догадывалась ли свита, какой встал вопрос? слышали что? волновались? – на обряде

принятия еды это не отразилось.

А сразу после завтрака Государь, одетый в любимый тёмно-серый кавказский бешмет с погонами пластунского батальона и своими полковничьими звёздами, перепоясанный тонким тёмным ремешком с серебряною пряжкой и кинжалом в серебряных ножнах, в костюме воинственном, а с душою опавшей, принял в зелёном вагонном салоне, где стояло пианино, трёх генералов, – трёх даже не по старшинству на Северном фронте, третьим зачем-то привели начальника снабжения.

Государь пригласил их сидеть и курить. Рузский сел, закурил, а те двое остались стоять, настораживая. Рузский механически-размеренным голосом доложил некоторые дневные сведения, о ходе отзыва войск, посылавшихся на Петроград. А потом положил перед Государем расклеенную ленту от Алексеева.

Государь принял с волнением, жарко стало в предлокоотях.

...Всепоподданнейше представляю вашему императорскому...

А дальше сразу – ответ Николаши.

В этот раз – всё доходило до сознания, всё остро впитывалось.

...Алексеев сообщил... небывало роковую обстановку и просит поддержать его мнение... принятие сверхмеры...

Поддержать его мнение...

И – *как вернопоподданный, по долгу присяги, по духу присяги* Николаша коленопреклонённо молил: спасти Россию! Осенив себя крестным знамением, передать трон наследнику. Как никогда в жизни и с особо горячею молитвою...

Нет, отчего же «как никогда»? Один раз уже это было, в октябре Пятого.

И – потерял Николай всё волнение. И даже – потерял интерес читать.

Он уже понял.

Так же и Брусилова всепоподданнейшая просьба была основана на преданности царскому престолу: отказаться от него в пользу наследника, без чего Россия пропадёт. *Другого исхода нет*, и необходимо спешить, дабы не повлечь неисчислимые катастрофические последствия.

Ещё – Эверт. В общем то же. Средств прекратить революцию в столицах – нет никаких. Не находя иного исхода и безгранично преданный Вашему Величеству, умолял во спасение родины и династии принять предложение династии...

И как быстро пришли все телеграммы. И как они единогласны.

И ведь все трое они были главнокомандующие, и все трое – генерал-адъютанты, то есть из генералов самые приближенные, обласканные, сердечно доверенные, с императорскими вензелями на погонах.

И – все говорили согласно.

Это единство их всех – потрясло Государя.

Значит: Божья воля.

И только добрый Алексеев так тепло прибавил от себя. Не настаивал, не указывал, что именно делать. А – принять решение, которое внушит Господь, к мирному благополучному исходу. По-христиански.

Этот мягкий конец Алексеева примирял с жестоким генеральским документом..

А перед лицом был – вот, Рузский. Утроенный для убедительности широколицым Даниловым-чёрным, с сильной проседью, с безмысли упёртым взглядом, и генералом по снабжению Савичем.

И все трое, один за другим, они отрапортовали своё жестокое: обстановка по-видимому не допускает иного решения... Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России...

И не могли ж они все-все-все ошибаться, а только Государь один думать верно?

Армия, своя Армия – ведь не может оказаться против своей власти! Если вот вся Армия – отступалась, уходила из-под рук – значит...

Что значило теперь – отказаться, упереться? Это значило вызвать кровавую

междуусобицу, да в разгар внешней войны. Разве он хотел ещё такой беды своему народу?

Нет, только не гражданская война!

И вообще удержат армию подальше от политики. Довольно уже, что втянули главнокомандующих.

Для блага России... Для удержания армии в спокойствии... Для конечной победы.

Вот и Родзянко говорит: ненависть к династии дошла до крайних пределов – но весь народ полон решимости довести войну до конца.

Они – этого хотят. Все хотят – именно этого. И только для этого – нужно внутреннее умиротворение.

Так эта цель – стоила того! Благу России – с каким же сердцем противостоять? Да ведь он и царь – народный, для блага благопослушного народа. Того чудесного народа, стоявшего коленно на Дворцовой площади в открытые войны. Или ликовавшего в Новгороде при приезде императрицы.

Для того народа – как не уступить?

– Но кто знает, – в раздумьи всё же возразил Николай. – Действительно ли хочет моего отречения вся Россия? Как это узнать?

Рузский – уже не хрупкий утренний, а покрепчавший, много куря, отвечал, что теперь – не до анкет. События несутся со слишком ужасающей быстротой, и всякое промедление грозит бедствием. Вот – и генералы так думают.

Три генерала. Не с обнажёнными саблями, не заговорщики ворвавшиеся, но со всеподданнейшим убеждением: как отречение сразу спасёт Россию и от смуты и от военного позора.

Государь утомлённо стряхивал пепел с папиросы. И смотрел на говорящих печально, печально.

Заточён каждый в клетке своего характера. Невозможно – вскочить, крикнуть, выгнать. Но, сидя, курить, в куриваться, вслушиваться. Несчастное свойство: всегда волочиться за доводами собеседников и находить их убедительными, и не иметь силы отсечь.

Вот этих уговоров обступных – больше всего не выдерживал Государь, не выдерживал он этих уговоров! Если и мог быть отстоен отказ, то – выигрышем времени и через то – укреплением души. Если бы Аликс!... Если бы кто-нибудь вернул ему веру в себя самого!...

Однако времени, вот говорили, не оставалось. Так попал Государь (разглаживая усы большим и средним пальцами, большим и средним), что, видимо, неизбежно было уступить. Генералы эти были – его подчинённые, но вместе с тем он как бы попал в их власть.

В каком неожиданном виде может обернуться перед нами – общее благо.

Как трудно человеческому уму разбираться в положениях предметов. Как можно быть уверенным, что ты понимаешь обстоятельства лучше других?

А может быть и правда новое правительство будет править успешнее? Ведь вот никак не находил Государь в целой России хороших министров, – а они найдут? И России будет благо.

Что ж, если общество так хочет само управляться, – пусть?

Что ж, подписать им отречение?...

Но тогда придётся перестать быть и Верховным? Больней всего.

Что ж, объехать все армии, проститься с солдатами?

И пусть генерал-адъютанты делают, что хотят.

(Но сперва – вырваться в Царское Село! Подписать им отречение – и вырваться).

Опускалось – спокойствие неизбежности. Очевидно, это предначертано. А если так, то тем и легче.

Да династия-то сохранялась: сын, брат.

Встал. Истоиво перекрестился на образ в верхнем углу.

– Что ж. Я готов, господа. Отречься.

Согласно форме перекрестились и генералы.

Согласно форме надо было поблагодарить их за службу и особенно Рузского, ведь они

же не врагами тут сошлись. Согласно форме при такой благодарности полагалось и поцеловать.

Хотя сердце изворотилось при целовании этого зверька с оловянными очками.

Государь вышел вон, походкою с задержкой, как бы с трудом отрывая ноги от пола. Как бы раздумавшись: не уходить.

Рузский не открылся генералам, но не находил в себе слов от изумления: неужели так легко? Неужели принесёт?

Не верил.

Государь вернулся – с теми же подрезанными глазами, с обмякшими плечами. И подал Рузскому два бланка с телеграммами.

Одна – в Ставку. Другая:

«Председателю Государственной Думы.

Нет той жертвы, которую Я не принёс бы во имя действительного блага и для спасения родимой матушки-России. Посему Я готов отречься от престола в пользу Моего сына с тем, чтобы он остался при Нас до совершеннолетия, при регентстве брата Моего великого князя Михаила Александровича.

Николай».

Было три часа пять минут пополудни.

Рузский ничего не выразил внешне. Сложил пополам оба бланка вместе и сунул в карман как самую простую бумагу.

328

Итак, вся конstellация сложилась для создания и объявления правительства! А раз уже можно было его создать, то и нужно было создать, потому что каждый час весь поток событий требовал над собой кабинета министров. Что Николай ещё не отрёкся – не казалось Милюкову помехой нисколько, отречение царя было уже вопросом механическим и нескольких часов. Гучков, правда, задержался с выездом, но всё равно сегодня отречение будет у него в руках: бывшему царю больше ничего не остаётся.

Уже все министерские посты были согласованы, оставалось ждать только самого последнего знака от Керенского. Какую-то санкцию он намеревался получить от Совета – и уже всё будет открыто. Керенский убегал, прибегал, бровями показывал, что ещё не всё.

Ещё, правда, не закончилось и соглашение с Советом по поводу условий. Не окончили ночью, а утром ни у кого не нашлось сил продолжать. Но может быть в этом было даже и нечто выгодное: революционным же явочным порядком объявить готовое правительство! – и Совету придётся считаться с фактом, это усилит позицию в переговорах. Главное выяснено уже вчера: войти в состав министров они не претендуют.

Павла Николаевича в ожидании даже познабливало – не помнил он уже много лет, когда бы испытывал такое воодушевлённое волнение. Он был сегодня больше чем именинник, больше чем юбиляр. Он уже почти не вмещал в себе этой тайны, – и должен был поскорее объявить её, выплеснуть – и иметь право публично называться министром.

Сами-то назначаемые министры знали тайну, но даже и думцы вокруг не знали или не всё знали, не обсуждалось правительство вслух и на думском Комитете с Родзянкой, а только кулуарным шёпотом, все знали, что – готовится, но не знали точно, какой же состав. И вот всё это теперь предстояло громогласно объявить, в утоление жажды, – и этого права объявить Милюков, конечно, не отдаст Львову и никому другому. (Повезло и то, что уехал Гучков).

Однако – где объявить? Хорошо было советским, у них было где объявлять, на Совете. Но где и кому объявить Милюкову состав своего нового правительства? Собрать для этого подобие Думы, кичиться и возиться с остатками её – уже неразумно. Созданная совсем для других обстоятельств, в нынешних революционных Государственная Дума стала бы только неуклюжей помехой действиям нового правительства, и незачем думский

авторитет теперь искусственно воссоздавать.

Подождать публикации состава правительства в газетах? Но это – потеря ещё суток, да и уничтожит самый исторический **момент** объявления.

А был простой выход: зачем думать, куда выйти к народу, если народ сам сюда пришёл и в густоте толкался в Екатерининском зале также и сегодня? Просто – выйти в зал, взлезть на стол и объявить всем, кто тут окажется. И тем самым совершится первый официальный акт, который доставит новой власти общественную инвеституру.

Ждал Павел Николаевич, ждал, не теряя воодушевления, молча похаживая по думским комнатам, поблескивая котовыми очками на окружающих, – вдруг из коридора послышался радостный шум и сильный топот. Выглянули – это несли на руках и спускали на пол Керенского.

Празднично-измятый, как артист после триумфа, изнеможно-счастливый, он подошёл летящими шагами вплотную к Милюкову и даже не сказал, а прошептал на последнем счастливом выдохе:

– Можете объявлять!...

И этим слабым выдохом передал Милюкову избыток своего счастья – и теперь распирающий избыток счастья образовался у Милюкова. Он – переполнился, и уже не в силах был: стоять, откладывать, ещё чего-то ждать, – но, как от бильярдного шара бильярдный шар получив толчок, – твёрдо покатился вон из двери, по коридору и в Екатерининский зал, никого не взяв с собою в окружение, – в эту великую минуту никто не достоин был его окружать, разделить его исторический пик. (Только ранее распорядился, чтобы были в зале стенографистки). Даже не как бильярдный, но как воздушный шар, он вкатился в Екатерининский зал – и как-то без труда продвигался через густоту – туда, к возвышенной лестничной площадке.

Ощущая чувство истории – посмотрел на часы. Было без пяти минут три.

Что оказалось неожиданно: тут и до него шёл митинг, и кажется весьма левый, какие-то остатки фраз вошли ему в уши. Да, тут же и непрерывно тянулись всякие митинги.

Но вальяжную фигуру Милюкова заметили, его пропустили по первым ступенькам лестницы, – а предыдущий оратор то ли кончил, то ли уступил, но никто не мешал рядом, – и все толпящиеся тут вблизи с интересом смотрели теперь.

Ждали.

И Павел Николаевич тоже имел минуту осмотреться сверху. Ближайшие глядели со всех сторон на него, а дальше направленье голов расстраивалось, они смотрели во все стороны, кто и разговаривал, кто вдали и вовсе спиною, а там опять сюда смотрели. Много было папах, волынские бескозырки, матросские шапочки с лентами, и меховые пирожковые шапки солидных обывателей, а кто вовсе без шапок, тут было тепло, где-то группа курсисток, где-то дам, где-то простого звания, у дальних колонн стояли намного выше других, очевидно на диванчиках, – всё это было пестро, разнообразно, неорганизованно – но именно такое, каким и должен быть **народ**.

И по привычке к общественным выступлениям и легко беря объём зала, Павел Николаевич, и не прокашливаясь, заговорил громкозвучно:

– Мы, – начал он, никак не обращаясь, потому что никак не объединялся этот зал, «господа» как будто не подходили, «товарищей» он произнести не мог, – мы присутствуем при великой исторической минуте!

И замолк на секунду с закинутой головой, потому что эта секунда пронзила его.

– Ещё три дня назад мы были в скромной оппозиции, а русское правительство казалось всесильным. Теперь это правительство – рухнуло в грязь, – и торжествуя подумал, и добавил: – с которой оно давно сроднилось. А мы, – тут важно для силы добавить: – и наши друзья слева, выдвинуты революцией! армией! и народом! – на почётное место членов первого русского общественного кабинета!

Эти все последние слова он пропечатал, каждое выделяя отдельно, – и затем дал паузу для аплодисментов.

И как в толпе это поняли – так аплодисменты и отозвались. Публика сюда для того и пришла – слушать и аплодировать. Она и пришла наблюдать, разиня, за чудесами революции, – и вот величайшее чудо как раз и показывали ей сейчас. Слова приходили легко, сами нанизывались:

– Как могло случиться это событие, казавшееся ещё так недавно невероятным? Как произошло, что русская революция, низвергнувшая навсегда старый режим, – в этом уже Павел Николаевич не сомневался, – оказалась чуть ли не самой короткой и самой бескровной из всех революций, которые знает история? – (Это-то уже видели все).

Чего не досказал за годы в соседнем официальном зале, теперь он мог сполна вклеить старому врагу:

– Это произошло потому, что история не знает и другого правительства, столь глупого! столь бесчестного! столь трусливого и изменнического, как это! – Всё сильнее отдавался залу его голос, всё больше оборачивались к нему и слушали. – Низвергнутое ныне правительство, покрывшее себя позором, лишило себя всяких корней симпатии и уважения, которые связывают всякое сколько-нибудь сильное правительство с народом!

Ах, как невиданно хорошо говорилось – не чикагским учителям на летних ваканциях, которые слушают как экзотику, а к осени забудут, говорилось в своей завоёванной столице, – и летел Милюков над народом, над этими двумя, тремя тысячами голов, и удивлялся своему вдруг металлизированному голосу:

– Правительство – мы свергли легко и просто. Но это ещё не всё, что нужно сделать. Остаётся ещё половина дела – и самая большая. Остаётся удержать в руках эту победу, которая нам так легко досталась. А для этого прежде всего сохранить то единство воли и мысли, которое привело нас к победе! Между нами, членами *теперешнего кабинета*, – уже выговорено, как горячо пролилось по сердцу! – было много старых и важных споров и разногласий. – Он больше имел в виду Гучкова, отчасти социалистов. – Быть может, скоро эти разногласия станут важными и серьёзными, но сегодня они бледнеют и стущёвываются перед той общей и важной задачей – создать новую народную власть на место старой, упавшей! Будьте же и вы едины в устранении политических споров, могущих ещё и сегодня вырвать из наших рук плоды победы!

Очень хорошо он говорил, превосходно слушали, аудитория оказалась подготовлена свыше ожиданий.

– Будьте едины и вы... Докажите, что первую общественную власть, выдвинутую народом, не так-то легко будет низвергнуть!

Он говорил это с верой в толпу, и толпа ответила ему верой, шумными рукоплесканиями. Ах, как хорошо летелось над толпой, над Россией, над Историей!

– Я знаю, отношения в старой армии зачастую основывались на крепостном начале. Но теперь даже офицерство слишком хорошо понимает, что надо уважать в нижнем чине чувство человеческого достоинства. А одержавшие победу солдаты так же хорошо знают, что только сохраняя связь со своим офицерством...

Кажется, это место знали не так хорошо, даже некоторые были совсем не согласны. И в то время как одни продолжали похлопывать в каждой паузе, – другие стали кричать, и даже враждебно. А кто-то на весь зал отчётливо крикнул, несвоевременно и бестактно:

– **А кто вас выбрал ?**

Павел Николаевич ещё не перешёл к составу правительства, Павел Николаевич думал бы ещё поговорить об обязательствах толпы перед свободой, – но этот бестактный выкрик сбивал его речь. И нельзя было притвориться, что не слышишь его, – так громко, это был не слушатель немудрёный, но митинговый завсегда, кузнечные лёгкие. Милюков быстро перебрался мыслями и без всякого смущения изменил речь:

– Я слышу, меня спрашивают: кто вас выбрал? – Он мог бы спрятаться за Думу. Но это уже стесняло его. – Нас никто не выбирал, ибо если бы мы стали дожидаться народного избрания, мы не могли бы вырвать власти из рук врага! Пока мы спорили бы о том, кого выбирать, – враг успел бы организовать и победить и вас и нас! – Кажется, это он сильно и

определительно сказал. И добавил эффектно: – Нас выбрала русская революция!

И – вздрогнул, как это внезапно и сильно у него сказалось, хоть поставляй в хрестоматию. Он искренно не вспомнил в эту минуту, что цель его всегда была избежать революции, – сейчас именно из революции он естественно возник и поднялся сюда.

Снова зашумели аплодисменты, а тот горлохват не нашёлся. Да и кому не закроет рот исторический процесс?

– Так посчастливилось, – (им, массе посчастливилось), – что в минуту, когда ждать было нельзя, нашлась такая кучка людей, которая была достаточно известна народу своим политическим прошлым и против которой не могло быть и тени тех возражений, под ударами которой пала старая власть.

Сантиментальные нотки всегда нравятся всякой толпе:

– Поверьте, господа, власть берётся нами в эти дни не из слабости к власти. Это – не награда, не удовольствие, а заслуга и жертва! И как только нам скажут, что жертвы эти больше не нужны народу, мы уйдём с благодарностью за данную нам возможность. – Почти расплакаться мог другой ора тор, но не в характере Павла Николаевича. Напротив, твёрже: – Но мы не отдадим этой власти теперь, когда она нужна, чтобы закрепить победу народа, и когда, упавшая из наших рук, она может достаться только врагу.

Опять охотно хлопали, но и раздались выкрики:

– А кто министры?

Эти выкрики рвали инициативу, не давали Павлу Николаевичу строить речь, заставляли отвечать не по плану:

– Для народа – не может быть тайн! Эту тайну вся Россия узнает через несколько часов. И, конечно, не для того мы стали министрами, чтобы скрыть в тайне свои имена. Я вам скажу их сейчас. Во главе нашего министерства мы поставили человека, имя которого, – (что-нибудь надо же сказать), – означает организованную русскую общественность.

– Цензовую! – перебил громкий же развязный голос, но другой.

Плохо. Здесь оказывалось слишком много левых и не *друзей слева*, но левых непримиримых. Надо было удерживать штурвал речи:

– ...общественность, так непримиримо преследовавшуюся старым правительством. Князь Георгий Евгеньевич Львов, глава русского земства...

– Цензового! цензового! – кричали опять. Очень трудно становилось говорить. Да, народная обстановка тревожна:

– ...будет нашим премьером и министром внутренних дел, и заместит своего гонителя. Вы говорите: цензовая общественность? Да, но единственная организованная! И она даст потом организоваться другим слоям.

И – скорей, не задерживаясь слишком на Львове, который того и не стоил, – к самой выигрышной фигуре (а получилось диспропорционально, будто бы вторая в правительстве):

– Но, господа, я счастлив сказать вам, что и общественность нецензовая тоже имеет своего представителя в нашем министерстве! Я только что получил согласие, – (проговорился, что он и есть фактический премьер), – моего товарища Александра Фёдоровича Керенского занять пост в первом русском общественном кабинете!

И вот тут раздались рукоплескания – бурные, каких ещё не было с начала речи. Вот кто был действительно популярен! И присоединяя свой полёт к полёту этих крылатых хлопаний, Милюков невольно выразился горячее, чем чувствовал:

– Мы бесконечно рады были отдать в верные руки этого общественного деятеля то министерство, в котором он воздаст справедливое возмездие прислужникам старого режима, всем этим Штюрмерам! и Сухомлиновым!

Самое безошибочное место для ударов. По этим сколько ни бей – разногласий не будет.

– Трусливые герои дней, прошедших навеки, по воле судьбы окажутся во власти не щегловитовской юстиции, а министерства юстиции Александра Фёдоровича Керенского!

И опять захлопали бурно, ураганно, и кричали, но тоже одобрительно, и во всём этом одобрении Милюков снова укреплялся.

Но что-то ещё кричали:

– А – вы?... А – кто?...

– Вы хотите знать другие имена? – скромнее и не так громко отозвался Павел Николаевич. – Мне, – мне мои товарищи поручили взять руководство внешней русской политикой.

Хорошо хлопали, хорошо, со всех сторон, и Павел Николаевич тоже раскланивался, раскланивался во все стороны. За эти минуты он простил толпе предыдущие дерзости. Ради этих минут он и поднимался на этот помост. И не захотелось испортить их спорами о Дарданеллах или войне до конца. Но хотелось ещё усилить взаимочувствие с толпой, и голос дрогнул:

– Быть может, на этом посту я окажусь и слабым министром... Но я могу обещать вам, что при **мне** тайны русского народа не попадут в руки наших врагов!

Но нельзя было оставаться всё на себе, и Милюков двинулся дальше:

– Теперь я назову вам имя, которое, я знаю, возбудит здесь возражения. – И подождал. С тяжёлым чувством приступал Милюков к этой неизбежной рекомендации. – Александр Иванович Гучков был моим политическим врагом...

– Другом! – крикнул какой-то классовый аналитик, за цензовой ненавистью не желая рассмотреть индивидуальность позиций.

– ...врагом в течении всей жизни Государственной Думы. Но, господа, мы теперь политические друзья. Да и... и к врагу надо быть справедливым. – (Снова выигрышный момент, всегда производит хорошее впечатление добрый отзыв о враге). – Гучков положил первый камень той победе, с которой наша обновлённая армия... Мы с Гучковым – люди разного типа. Я – старый профессор, привыкший читать лекции (вы понимаете, конечно, что это – эллипсис), – а Гучков – человек действий. И теперь, когда я в этой зале говорю с вами, Гучков на улицах столицы организует победу!

Это сказало – не совсем легко, пришлось даже прямо солгать. Час назад Гучков звонил с Варшавского вокзала, он должен был вот-вот отъехать. Но удивительным образом Совет до сих пор не встрепенулся, и надо прикрыть от них тайную миссию, чтоб его по пути не арестовали, а то и наши головы на карте. Теперь ещё один, самый смутный риф:

– Далее мы дали два места представителям той либеральной группы русской буржуазии, кто первые в России попытались организовать организованное представительство рабочего класса...

Резкий голос:

– А где оно?

Милюков отвёл: так вот, рабочую группу посадило опять-таки старое правительство, а Коновалов помог... а Терещенко помог...

– Кто? кто?... – закричали. – Терещенко – кто такой?

– Да, господа, – скорбел Милюков. – Это имя громко звучит на юге России. Россия велика, и трудно везде знать всех наших лучших людей...

Неразумение чувствовалось в толпе. Не спросили, какие посты они займут, – и Милюков не объявил. Напротив, выкрикнули о земледелии – и пришлось помянуть честного трудолюбивого Шингарёва, который... Выкрикнули о путях сообщения, выгодно:

– Некрасов особенно любим нашими левыми товарищами...

Хлопали посильней. Об остальных министрах не спрашивали, и Милюков не вспоминал.

Но во всех этих выкриках, игнорировать которые нельзя было, потерял Павел Николаевич строй и план своей речи, внутренне несколько обескуражился – и даже вопрос о программе правительства ему тоже выкрикнули.

– Я очень жалею, что в ответ на этот вопрос не могу прочесть вам бумажки, на которой изложена эта программа. Но дело в том, что единственный экземпляр программы, обсуждённый вчера в ночном совещании с представителями Совета Рабочих Депутатов, – (тут он хорошо прикрывался Советом), – находится сейчас на окончательном рассмотрении

их, – (не говоря уже, что ими и составлен). – Надеюсь, что через несколько часов вы об этой программе узнаете. Но, конечно, я могу и сейчас вам сказать важнейшие пункты...

Вся аудитория для Милюкова слилась. Он не успевал себе выделить ни хороших сочувственников, ни крикливых обидчиков, а только головы, головы, вздрагивал от каждого нового выкрика, и начинал думать с тоской, как это всё кончить и выбраться. Абстрактно глядя в эту серо-чёрную муть, он ещё мог бы сосредоточиться, мысленно восстановить ту мятую, неровную, плохо записанную бумажку Стеклова, вспомнить все её 8 пунктов – если бы снова его не перебивали:

– А династия?!

И тут, измученный этими выкриками и не готовый ещё к новому, Милюков сплюснул. Он вдруг не вспомнил, как это всё хорошо было славировано на Учредительное Собрание, а депутаты ИК уступили ему в деликатном пункте о непредрешении образа правления, и надо было это ценить, и об этом сейчас смолчать, – но досаднейше сбиваемый и вырываемый этими выкриками, Милюков вдруг потерял осторожность, взвешенность, все качества политического бойца. И ответил недопустимо откровенно:

– Вы спрашиваете о династии. Я знаю наперёд, что мой ответ не всех вас удовлетворит. Но я его скажу. Старый деспот, доведший Россию до границы гибели, добровольно откажется от престола или будет низложен!

Хлопали. Всё – так. И тут бы Павлу Николаевичу ещё можно бы остановиться, перейти на что-нибудь другое, ведь он почти ответил! – но какая-то окаменелость мысли лишила его лёгкости перескока, и он опрометчиво прямолинейно продолжал:

– Власть перейдёт к регенту, великому князю Михаилу Александровичу...

Та часть толпы, которая радостно хлопала каждому объявлению, продолжала хлопать, – но и вырос грозный шум, особенно тут близко, с одной стороны, от остатков прежнего левого митинга. А Милюков не очнулся, не сообразил, но продолжал своё:

– Наследником будет Алексей...

– Это – старая династия! – кричали ему. А он не повертел головой, не повёл ухом, но как заколоченный, вперёд в одну колонну, упрямо:

– Да, господа, это старая династия, которой может быть не любите вы, а может не люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто кого любит. Мы не можем оставить без ответа и без решения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе как парламентскую конституционную монархию. Быть может, другие представляют себе иначе, но теперь, если мы будем об этом спорить, вместо того чтобы сразу решить, – Россия очутится в состоянии гражданской войны и возродится только что разрушенный режим.

Он не успевал сообразить всех настроений тут, но он – так думал, и нельзя же легко уступать в убеждениях. И так думал Прогрессивный блок на всех своих заседаниях уже второй год: для того чтоб укрепилась конституция в России – зачем разрушать монархию? Это никогда не предусматривалось. И не понимая, почему уж так его сейчас не понимают, сам с растущим недоумением, Милюков оговаривался:

– Это не значит, что мы решили вопрос бесконтрольно.

Как только пройдёт опасность и возродится прочный порядок, мы приступим к подготовке созыва Учредительного Собрания. Свободно избранное народное представительство решит, кто вернее выразит общее мнение России: мы или наши противники.

Уже тут «противники» получились – не низверженное старое гнусное правительство, – но как бы не те, кто в зале тут кричали против Милюкова?

Резко требовали:

– Опубликуйте программу!

Тут к Милюкову вернулась догадливость:

– Это решить – зависит от Совета Рабочих Депутатов, в руках которого – распоряжение типографскими рабочими. Свободная Россия не может обойтись без самого широкого оглашения... Я надеюсь, завтра же удастся восстановить правильный выход прессы, отныне

свободной.

Недовольный гул против династии продолжался. Но теперь Павел Николаевич уже просто воззвал к милосердию:

– Господа! Я – охрип! Мне трудно говорить дальше. Господа, позвольте мне на этих объяснениях пока остановить свою речь...

Уж как-нибудь, только кончить.

Противники зло гудели, но нашлось достаточно забавников и энтузиастов, кто подхватили Милюкова на руки и пронесли до края зала.

Так он почти триумфально выбрался.

Но был потрясён. И как будто измаран. Гадкое чувство.

329

Замечательно предусмотрительно действовал диктатор, отступив среди ночи из Царского Села на юг, да не на одну станцию, а на несколько, на 40 вёрст, до Вырицы. И потом по путевой линии узнал, что на царскосельскую станцию через 15 минут после их отбытия ворвалась толпа и даже готовили пулемёты. (А пулемёты, как Иудовичу разъяснили Доманевский и Тилли, в нынешней петроградской ситуации проявили себя наиболее опасно, соединяясь с броневыми или даже просто с грузовыми автомобилями, захваченными солдатами, или даже просто в руках частных штатских лиц).

А так – они прибыли в Вырицу к 4 часам утра, и все были целы, и батальон спокойно спал в эшелоне. И диктатор бы спал – в своём привычном удобном любимом вагоне, в котором сломал он столько походов на Юго-Западном. Но – не мог он спать, пока беспокойна оставалась душа, пока не решил он, дать ли знать тотчас в Ставку о своём новом пребывании или польготить себя несколькими часами безвестного покоя. Однако кому он не мог не сообщить о своём местоположении – это подчинённому Тарутинскому полку на станцию Александровскую, по тот бок Царского Села. И сразу затем, в 5 часов утра, оттуда соединился железнодорожными телефонами командир Тарутинского полка и доложил, что получен приказ генерала Рузского: сажать полк в эшелон и возвращаться в распоряжение своей армии. Тилли всё это выслушал – и принёс Николаю Иудовичу.

О-о-о! Так превосходно! Так великолепно! За этим отдельным приказом сразу проступил Иудовичу единственно-возможный смысл: Северный фронт возвращает все свои войска! Иначе не мог быть отдан такой отдельный приказ самому выдвинутому полку: это было бы тогда отступление.

А если так – то тем более не хотел бы Иудович чиниться перед Рузским, выставлять свои права диктатора и требовать приказов только через себя. Если так – то и Бог с ними, пусть убираются восвояси. Послал Тилли скорей, пока линия соединена, ответить: пусть едут с Богом!

Конечно, нет уверенности, что отзывались все войска и всех фронтов, – но уже прозревал Иудович духовным оком такой благоисходный поворот. Слава Богу!

И теперь он твёрдо решил, что честнее будет послать в Ставку телеграмму о своём местопребывании. И не доверяя ни Ставке, ни телеграфу все свои намерения и тревоги, написал одну фразу: «Ночь на 2 марта ночью в Вырице». Отправили тотчас.

И завалился спать.

Уже в половине шестого утра завалился – и проснулся только в десять. Эшелон тихо стоял на запасном пути, никем не тронутый, всё в порядке, и цел был вверенный диктатору георгиевский батальон.

После крепкого сна и хорошего завтрака – легче соображаются последующие действия. Вчерашние колебания – не поехать ли на автомобиле к Тарутинскому полку (вчера это была поездка опасная), теперь отпали. Но хотя Государь милостивой ночной телеграммой и освободил Иудовича от всяких действий до высочайшего прибытия, однако совесть генерала требовала какого-то действия, и особенно в Царском Селе. Тогда со своими советниками он

почёл разумным встретиться и поговорить с командирами запасных батальонов, расквартированных в Царском. И велел телефонировать им так: что либо приглашает их к себе в Вырицу, либо готов приехать в Царское лично, без батальона, чтобы не вызывать подозрений.

Связь была долгая, пока соединялись с одним, другим, но ответ был единодушен: и сами приехать не могут, ибо это вызовет подозрение в полках, и советуют генерал-адъютанту тоже отказаться от поездки, – она могла бы вызвать опасные последствия и даже взрыв.

Хорошо. Тогда он послал туда вместо себя Тилли, на паровозе, чтобы там разрядить нехорошую атмосферу недоверия к генералу Иванову.

Много времени прошло. А с проходящими из Петрограда переполненными поездами мог наблюдать генерал-адъютант такую картину: георгиевский батальон возбуждённо выбегал, окружал вагоны, расспрашивал. И боевой дух его несомненно падал.

И так в размышлениях и сомнениях пребывал Николай Иудович без решительных движений, пока уже далеко за полдень принесли ему с телеграфа депешу. И от кого! от кого не ждёшь! – от Гучкова! Что тот едет во Псков и ждал бы по пути или во Пскове непременно повидаться с генералом Ивановым. И дано распоряжение о пропуске его в этом направлении.

Вот это была удача! Гучков-то и владел, конечно, петроградским положением, да и всем новым правительством, наверно. Недаром пишет, что пропустит! А ещё с японской войны отношения между ними были хорошие. (А ещё, чего никто не знал, глубокая тайна, это именно Николай Иудович в 1912 году выдал Гучкову тайный документ Сухомлинова, из-за которого был потом скандал, а думали на Поливанова).

А – допустимо ли ехать по вызову Гучкова? Да ведь не обязался генерал Иванов перед Ставкой находиться в Вырице безвыездно и дальше. Надо действовать по обстановке, а она сильно переменчива. В некотором смысле свидание с Гучковым сейчас важнее любого приказа из Ставки. Только конечно не во Пскове встречаться, где и Государь.

И с поспешностью ответил Иудович Гучкову, что – рад повидаться! Что находится в Вырице, но немедленно выезжает на гатчинскую линию. А до Гатчины-Варшавской тут было всего вёрст 25, по соединительной ветке. Конечно, забирать с собою весь батальон и ехать немедленно.

Так и распорядился. И поехали. Но, от возраста ли, от волнений, – что-то ослабел Николай Иудович, прилёг и уснул.

А проснулся с ощущением, что спал – долго. Поезд стоял. Но не в Гатчине. Выглянул в окно и увидел выразительную вывеску: **СУСАНИНО**.

Так это что ж, позвольте, это разбой! это рядом с Вырицей! Никуда не уехали? Случилось с поездом? с дорогой?

Генерал очень разволновался, потому что, пропусая Гучкова, всё дело могло покатиться под откос. Послал офицера – узнать, приказать!

Тот вернулся: есть приказ – никуда не пускать. Мешаем поездам. Поставлены в тупик.

Так и захолонуло в животе. Но всё ж таки тут ошибка! Гучков дал распоряжение пропускать!

А ещё принёс офицер косвенную депешу, подхваченную стороной, от наштасева Данилова командующему Пятой армией Драгомирову: что Государь император разрешил главкосеву вступить в сношения с председателем Государственной Думы, и соизволил вернуть в Двинский район направлявшиеся на Петроград войска.

Как светом озарило сумрачную окрестность! Светом миролюбия, которое и предвидел Иудович. Всё развивалось точно по его прогнозу, и он ни в чём не преступил и оказывался чист перед его пославшими. Слава Богу!

Только растеплился Иудович, а тут прибежали из телеграфной и принесли такую депешу изобразительную, что в ледяную прорубь с головой:

«Вырица. Генералу Иванову. Мне стало известно, что вы арестовываете и терроризируете служащих железных дорог, находящихся в моём ведении. По поручению

Временного Комитета Государственной Думы предупреждаю вас, что вы навлечёте на себя этим тяжёлую ответственность. Советую вам не двигаться из Вырицы, ибо, по имеющимся у меня сведениям, народными войсками ваш полк был обстрелян артиллерийским огнём. Комиссар Бубликов».

Опять – Бубликов! Да что ж это за чин такой – Комиссар? Да кто ж это обнёс, оклеветал? Да как Бог свят, вот крест на шее – ничего такого не было! Никого не терроризировал, а если приарестовал, так вчера начальника станции, за задержку со стрелками, чтоб обеспечить безопасность отважного батальона, – но отпустил же вскоре. А вот – разнеслась хула, и теперь не миновать ответственности перед Временным Комитетом. Могут и судить, простое дело. Вся сила переключается к ним, это видно.

Устоял, не шатнулся генерал Иванов перед Государем императором, перед Ставкой, перед воинским долгом, – а вот не расчёл, опорочился перед новыми властями. И – что теперь нагрянет на голову старого воина?

Дрогнул диктатор. Надо было всенепременно попасть к Гучкову, пока тот не проехал, через Гучкова добыть и всю милость! – а уже и так опаздывал, и вот преградил путь грозный Бубликов, Комиссар!

Сробел Иудович и не смел больше ни о чём просить, чтоб хуже не стало. Сидел в вагоне. И батальон по вагонам.

И высматривали в окно новоявленный Минин с пришедшим Пожарским – и ничего другого не видели, как табличку «Сусанино» да железнодорожников, туда-сюда расхаживающих по платформам и по путям, между рельсами снег промазученный.

И отправления поезду не давали.

Встреча с Гучковым терялась. Ныло сердце-вещун, что добром это не кончится.

А ещё же в Гатчине – 20 тысяч гарнизону, и к новым властям не примкнули, а значит – подчиняются Командующему Округом, ему, – и этих никуда не отзовёшь назад, и что ещё с ними делать? Ещё и за них ответ. Чего б не набедокурили.

И вдруг принесли новую депешу от Бубликова, слава Богу любезную в этот раз:

«Ваше настойчивое желание ехать дальше ставит непреодолимое препятствие для выполнения желания его величества следовать Царское Село. Убедительно прошу остаться Сусанино или вернуться Вырицу. Комиссар Бубликов».

Ах, как полегло! Совсем тон другой. И вот же, всё ж таки, и Комиссар Бубликов не пренебрег интересами Его Величества. Так может, они все понемногу и сговорятся, минуя старого генерала?

А лучше всего, пока пускают – воротиться в Вырицу. Наступление не удалось.

А оттуда всё же донести в Ставку об этих железнодорожных безобразиях.

ДОКУМЕНТЫ – 10

Генерал Сахаров – генералу Алексееву

Яссы, 2 марта

...преступный и возмутительный ответ председателя Государственной Думы на высокомилостивое решение Государя Императора даровать стране ответственное министерство... Горячая любовь моя к Его Величеству не допускает душе моей мириться с возможностью осуществления гнусного предложения, переданного Вам председателем Думы. Я уверен, что не русский народ, никогда не касавшийся Царя своего, задумал это злодейство, а разбойная кучка людей, именуемая Государственной Думой, предательски воспользовалась удобной минутой для проведения своих преступных целей. Я уверен, что армии фронта непоколебимо стали бы за своего Державного Вождя, если бы не были призваны к защите Родины от врага внешнего и если бы не были в руках тех же государственных преступников, захвативших в свои руки источники жизни армии... Рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее

безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом... пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы промедление не дало пищи к предъявлению дальнейших, еще гнуснейших притязаний.

330

И город являл одни опасности и расстройтва, но и у сестёр отсиживаться было унижительно, бессмысленно. Жалел Кутепов, что приехал в отпуск не ко времени так. Ехал он в Петербург – мечталось с хорошей женщиной встретиться, – но какая теперь тут к чёрту хорошая женщина! Сейчас в Петербурге и ничем он больше помочь не мог, и для себя жить не мог, – а ехать раньше срока в полк.

До середины дня ещё подумал – и отправился на Миллионную заявить о своём отъезде на фронт. Несмотря на всю чрезвычайность обстоятельств, бестактно было бы уехать, не попрощавшись в собрании, уж как бы эти офицеры себя ни вели.

Ехать по городу было всё так же не на чем, отправился с Васильевского пешком. Но хотя народу было очень много, как в праздничное гулянье, и все с красными этими клочками, по-обезьяньи, однако спало как-то озлобление против офицеров, – уже можно было усвоить ненапряжённую походку, смотреть свободно во все стороны и принимать честь ото многих солдат (не ото всех).

До Миллионной дошёл благополучно. Но тут увидел против преображенских казарм солдатскую цепь с винтовками. Они стояли вразрядку. Кутепов уверенно пошёл между двумя к подъезду собрания.

Соседний солдат смущённо остановил полковника и тихо доложил, что приказано никого в собрание не пропускать.

Правильно было сразу идти, не останавливаясь, но и теперь правильно было остановиться, признавая дисциплину выше полковничьего звания.

Кутепов остался на месте, уже несколько пройдя цепь, и велел вызвать к себе караульного начальника.

Солдат исполнил. Чернобородый Кутепов ждал как каменный, ничего не выражая смотрящим на него солдатам.

Из подъезда собрания вышел крайне развязной походкой низкорослый плохо-строевой ефрейтор с большой офицерской шашкой, с большим револьвером, всё не по уставу, а как захватывали в эти дни. Неуставно болтая руками, он подошёл и, не беря руки под козырёк, спросил полковника наглым тоном:

– Что вам надо?

Надо было – дать ему десять суток гауптвахты. Но приходилось, указав рукой на цепь, спросить:

– Что всё это значит, ефрейтор?

Прозвучало хорошим басом, и ефрейтор не отказался ответить: что все солдаты ушли в казармы на Кирочную выбирать нового командира батальона. А все офицеры – арестованы здесь, в собрании, потому оцепление. И опять развязно:

– А кто – вы будете?

Кутепов не мог не улыбнуться этому шпыню:

– Я имею честь служить в лейб-гвардии Преображенском полку.

На ефрейторе выписалась изумлённая храбрость:

– А-а! В таком случае я должен и вас арестовать.

Тогда Кутепов метнул ему молнию и отбрил командно:

– Вот когда повоюешь в рядах нашего полка столько, сколько я, и будешь знать в лицо всех господ офицеров, – вот тогда мы с тобой поговорим!

Ефрейтор опешил, не нашёлся.

Итак, вот, они все здесь сидели арестованные – полковые товарищи и случайно прибитые к преображенцам, истые строевики или либеральные мечтатели, так звавшие эту

розовую зарю, – и Макшеев, и Приклонский, и Скрипицын. Хотел бы, хотел бы Кутепов на них сейчас посмотреть и послушать, что они думают. Но соотношение сил не позволяло ему отдать полковой долг вежливости, это уже была бы бравада.

И он повернулся, и расчётливо-медленно, в себе уверенно, пошёл назад в сторону Зимнего. Про себя думал: если сейчас ефрейтор попробует задержать – снести ему мерзкую голову шашкой, и всё.

Но – не окликнули и не гнались.

А идя теперь так медленно через Дворцовую площадь, Кутепов увидел издали, что у подъезда штаба Округа стоит на посту часовой-преображенец. Кутепов свернул туда, и вошёл в подъезд. Там караульным начальником обнаружил штабс-капитана Квашнина-Самарина, и узнал, что караул уже двое суток без смены, не знает Квашнин, что делать дальше, но и не очень спешит в батальон: что там творится.

Полковник вошёл в караульное помещение, поздоровался с построенным караулом, поблагодарил за хорошее несение службы и объявил, что, по третьему дню, переводит их из состояния караула в положение команды, из часовых – в дневальных, разрешает на постах сидеть. Вызвал заведующего зданием и приказал при себе накормить людей получше. Проворно принесли солдатам ворох ситного хлеба, колбасы, чаю, сахару.

За это время узнал Кутепов, что и в Зимнем так же бессменно стоит караул преображенцев. Надо было и его подкрепить, батальонные выборы и аресты могли затянуться надолго.

Пошёл в Зимний. Поручик и унтер-офицер рассказали ему, что караул уже несколько раз не допускал во двор Зимнего каких-то матросов, каких-то рабочих, к часовым всё время подходят подозрительные типы и стараются их распропагандировать бросать посты и громить дворец.

Караул построили. Полковник звучно поблагодарил его, ответили звучно. Так же разрешил им считаться впредь командой, некоторые наружные посты снять, у ворот поставить парных дневальных. Снизу телефоном нашёл помощника заведующего дворцом и просил его выдавать караулу побольше сахара, хлеба, обставить караул как можно лучше. С удивлением услышал в ответ, что просьбу будет исполнить трудно, так как выдача сахара уже увеличена сверх закона на четверть золотника человеку.

Ни черта эти крысы тыловые, да ещё придворные, не понимали, что творится и что с ними самими может быть через пять минут! После такого ответа Кутепов прекратил разговор с этим господином и стал телефонировать в Гвардейский экипаж, где, по слухам, ещё сохранялся порядок. Спросил, не могут ли выслать караул в Зимний. Дежурный по экипажу ответил, что и думать не приходится.

Тогда позвонил в лейб-гвардии Павловский, где, кажется, уже выбрали нового командира батальона. К телефону и подошёл этот новый, какой-то штабс-капитан. Печальным голосом он подтвердил, что к несчастью да, он выбран командиром батальона, но не знает ни где находятся его люди, ни – сколько у них винтовок, сомневается, исполнят ли хоть одно его приказание, – и уж конечно караула выслать не может.

А ещё же и в Адмиралтействе стоял преображенский караул. К нему Кутепов уже не пошёл, а направился домой.

Так уже ненапряжённо стало ходить по улицам, что можно было отвлечься и задуматься. Задумался, как несмотря на революцию он свободно действовал и передвигался все эти дни по Петрограду. Что сделал он немного, но если бы из тысяч офицеров, находящихся тут, ещё хотя бы сто сделали по столько же, то и никакая революция бы не произошла.

А преображенцы запасного батальона вели себя совсем не плохо. Отлично действовали на Литейном. Роты, построенные на Дворцовой площади, не присоединились к восставшим, и только Хабалов виноват, что не использовал их. И вот – караулы стоят бессменно во всех главных зданиях. И веди себя иначе преображенские капитаны – они бы и не были арестованы, а солдаты не пошли бы на выборы.

Так задумался, что у Николаевского моста даже не сам увидел, а его увидели младшая сестра и младший брат, стояли предупредить: за эти часы, как нет его дома, три раза приходили матросы арестовать его.

Всё-таки донюхались, кто действовал на Литейном.

Брат и сестра хотели, чтоб он не возвращался домой, а сразу на вокзал.

Но отчего ж не собрали саквояж? Нет, такое бегство было не в нутре Кутепова, он потом долго будет вспоминать это унижение и не простит себе. Хорошо, уезжаю, но пошли соберём и простимся.

Есть и особенный вкус – испытывать опасность. С холодком проходить тесно-тесно близ неё.

Пошли. Не доходя, послали сестру на разведку: не ждут ли на квартире сейчас.

Нет. Вошли в дом. Умоляли сестры – скорей. Но торопиться – тоже было унижение. Выслушал плач старой прислуги Захаровны:

– Одни рожи ихние чего стоят! Отца родного убьют. Уезжай, батюшка! Пока тебя сторожили – у меня сахар забрали, пятнадцать фунтов, чтоб им подавиться!... Чтоб он им отрыгнулся на том свете!

Уложился. Присели все помолчать. Простился. И с братом пошли на Виндавский вокзал, опять пешком. Ещё конец изрядный, но благополучно.

Сам же вокзал оказался весь запружен солдатами – правда, никто не протягивал руки обезоружить. (Но и наган был в этот раз в саквояже, не соблазнять). Оказалось, что поезда через Могилёв не ходят, и не известно, когда пойдут.

Тогда что ж? Ехать на Киев кружно – через Москву, Воронеж.

Пошли на Николаевский вокзал. Уже и темнело. Отсюда на Москву поезда ходили, как будто никакой революции нет.

331

В половине третьего отправил Алексеев Государю во Псков сводку пожеланий главнокомандующих.

И началось томящее ожидание. Если б не отправляли, если б ничего этого не зачинали, то не было бы и напряженности этой. А теперь уже хотелось, чтобы скорей покатилося. Уже и выхода не осталось другого.

Так чувствовал Алексеев, что они уже не могли встретиться с Государем по-старому.

И уже не мог он быть оставлен при нём прежним начальником штаба.

Как будто лишь дали добрый совет: отречение – самый лёгкий и быстрый выход прийти ко всеобщему спокойствию и согласию. А – что-то перешли непоправимое. Чем дальше от посланной телеграммы, тем это глубже чувствовалось.

От Непенина пришла телеграмма не ответная, утренняя и косвенная, – но он ещё раз решительно подтверждал, что присоединяет Балтийский флот к думскому Комитету. Так что в его позиции сомнения не было.

К трём часам, наконец, вырвали телеграмму и от Сахарова. Как ни оговаривался, но согласился. Дослали во Псков.

Смолчал один Колчак. Но им одним уже ничто не решалось.

А зато Николай Николаевич всем авторитетом и решительностью ответил за двоих.

Так тревожное напряжение в Ставке всё осталось, а решение перекатилося во Псков.

Во Псков? И Государь решал? Нет! – с трёх же часов вдруг откуда-то возник слух, что литерные поезда из Пскова ушли!

Так и сжало сердце верностью известия: вот это был наш царь! вот это – он! Уклониться, скрыться, бежать от решения! Это – он.

И – куда же? Куда он помчал? Не сюда ли?

Срочно запросили штаб Северного: в данную минуту – где находятся литерные поезда? Во Пскове или ушли? И – по какому маршруту?

Там запросили коменданта вокзала, – стоят на месте.

Но слух не утихал.

Послал Алексеев Лукомского самого протелеграфировать: во Пскове литерные поезда или куда отправились?

На месте.

Тогда Клембовский распорядился в штаб Северного так: если бы получилось сведение, что литерные поезда ушли или даже только отдано такое распоряжение, – немедленно сообщить в Ставку!

Будет исполнено.

(А что, Алексеев решался задержать?? Нет, не так прямо... Но и...)

Успокоились, но не надолго. Пришло сведение, что эксплуатационный отдел Северо-Западных железных дорог уже распорядился об отправлении литерных поездов к Двинску!

То есть, к линии фронта. К штабу Пятой армии, к Драгомирову. Что это?

Снова кинулись запрашивать штасев. А там никого не добьёшься знающих, все куда-то разбрелись. Наконец добились: литерные поезда – на месте, ни о каком таком распоряжении не слышали. Знают другое: из Петрограда выехал экстренным поездом Гучков. Его ждут во Пскове после семи часов вечера.

Гучков? Новость!

И неплохая. Алексееву стало пободрей: Гучков со своим напором – добьётся.

И ещё объяснял штаб Северного, что дальше с посланными передовыми полками: Тарутинский остался лояльным, но будет возвращён кружным путём через Эстляндию, чтоб только не через мятежную Лугу, избежать конфликта. А Бородинскому лужане возвращают отобранное оружие, и уже поворачивает он назад.

Так позвольте, значит Бородинский не переходил на сторону мятежников, как извещалось?

Нет-нет, не переходил. Но подробности потом, по телефону стесняются.

С каким же трудом уточняются самые простые вещи. Весь день, по сотрясательному слуху, считала Ставка, что бородинцы взбунтовались, и эта ненадёжность войск особенно торопила шаги с отречением, – а они, оказывается, и не бунтовались.

И проклятая неопределённость оставалась с Ивановым. Хотя в полдень и пришла от него телеграмма, что он ночевал в Вырице, – но что же дальше? что он там делает? Он так близко к мятежным частям, что столкновение может возникнуть самопроизвольно! Надо удержать его от всяких активных действий.

И снова, и снова переговаривались со штасевом: почему не посылают офицера генерального штаба для личного объяснения Иванову всех событий? А штасев явно не хотел посылать, и отговаривались, что не понимают задание. И снова Лукомский слал прямой приказ генкварсеву Болдыреву.

Из Ставки беспокоились об Иванове, а у Петрограда – свои заботы. И из Главного морского штаба рисовали ужасную балтийскую ситуацию, и мятеж в Ораниенбауме, и морской министр распорядился действовать в согласии с думским Комитетом. А из Главного штаба генерал Занкевич по приказанию Родзянки запрашивал Лукомского со всею срочностью о положении на фронтах, – ждёт ответа у аппарата.

Очевидно и у них были слухи, и не иначе как о прорыве нашего фронта немцами.

Передали им от Лукомского, что на фронтах затишье.

В эти тягучие часы у всех уже напряглись нервы до последней струны, и у Алексеева тоже. Казалось уже всё меньше возможным ждать в незнании. Все жаждали решения скорей!

Если так не ведали в Ставке, то уж совсем ничего не понимали в штабах фронтов и в крупных прифронтовых городах. (Особенно нервничал, ждал Янушкевич с Кавказского). Оживил их Лукомский ориентировочной телеграммой, что ожидается опубликование высочайшего акта, который успокоит население и предотвратит ужасы революции. И – ориентировать об этом главных начальников округов.

Хотя военные округа как будто молчали и не спрашивали, но уже несколько часов очень нервничала Одесса. Начальник округа оттуда докладывал, что тревога населения растёт и будет расти. Сперва – отсутствие телеграмм из Петрограда, затем наплыв их делает положение с каждым часом опаснее, с трудом удерживается порядок. Когда же наконец последует обещанный высочайший акт?

Клембовский объяснил в Одессу, что речь идёт об отречении, и по-видимому оно неизбежно, хотя решение ещё не принято. А в Петрограде спокойствие восстанавливается. А в Москве и не нарушалось, только трамваи перестали ходить.

Ведущие генералы Ставки не находили себе места от волнения, как в большом бою. Тем временем действительный статский советник Базили со своими помощниками продолжал улучшать стиль манифеста об отречении, Лукомский нахаживал туда и торопил: не должно же дело застрять из-за неготовности манифеста!

Наконец, в 16.50 ожидаемое прорезалось, но пока в облике туманном: пришла телеграмма от Данилова, хотя и не об отречении, однако же! Уклончивый, упорчивый, нерешительный Государь выразился в длительной беседе с генералами, что нет такой жертвы, которой Его Величество не принёс бы для истинного блага родины. О чём Данилов и сообщал.

Конечно, под тем могло скрываться не так уж многое. Но ожидаются к вечеру Гучков с Шульгиным.

Намёк о жертве давал право Ставке теперь разлить успокоение шире. Почти тотчас разослали телеграммы прямо по военным округам, даже Иркутскому и Приамурскому, и казачеству войска Донского: ожидается опубликование высочайшего акта, долженствующего успокоить население. Наштаверх выражает уверенность, что войска округа останутся спокойны.

Впрочем, кроме Одесского округа, никто о беспокойстве не доложил.

Но сердечно сочувствуя Государю, как ему сейчас стеснено и тяжело, Алексеев перенёс мысль и к матери его: что должна думать она в ливне этих телеграмм и слухов? И распорядился Брусилову, чтобы Юго-Западный ориентировал вдовствующую императрицу в Киеве по обстановке, что будет знать сам.

А ещё раз спросить у Пскова: на месте ли литерные поезда?

На месте.

Да ведь все эти уговоры Государя, через его несомненную муку, только и предпринимались, чтобы спасти армию от анархии! И вот ещё несколько тревожных часов, последние часы, – и Россия будет спасена от развала, армия – спасена для весеннего наступления!

На пути к спасению России стояло одно лишь упрямое сердце монарха.

332

После того как позавчера уводили Игоря, обысков в квартире Кривошеина больше не было, – сумели установить в парадном какое-то подобие охраны.

Но такой общеизвестной и в эти дни совсем не одиозной фигурой выростал Кривошеин, что к нему приходили укрываться, спасаться или за советом и другие видные лица, члены Государственного Совета, – ведь уже весь Петроград знал, что бывших сановников арестовывают. А вчера к вечеру пришёл сильно напуганный Александр Трепов. И не избежать было оставить его ночевать, к их семейству у Кривошеина был долг чести.

Вся семья Треповых – и отец Фёдор, градоначальник Петербурга, которого убивала Засулич, потом генерал-полицеймейстер Царства Польского, и все четверо его сыновей играли видную роль в управлении Россией, можно сказать незаслуженно по способностям. Сын Дмитрий, генерал-губернатором Петербурга, предотвратил революцию и кровопролитие в столице в 1905 (его прочистили: «патронов не жалеть»), и он же покровительствовал Кривошеину и продвигал его записки ко вниманию царя; и он же пал

духом на следующий год, искал соглашения с кадетами и панически боялся разгона Первой Думы. Владимир был известный оппонент Столыпина в Государственном Совете, сенатор и шталмейстер, последние годы успокоенный выгодными концессиями в Сибири. Фёдор-сын – генерал-губернатор, начальник Юго-Западного края. Александр вошёл в правительство в те же дни, когда Кривошеин ушёл, год был министром путей сообщения, с большой энергией вёл, и особенно Мурманскую дорогу, в ноябре же взлетела его звезда в премьер-министры, и он внезапно пытался сменить консервативный курю на полулиберальный (проявляя, что ни тот ни другой не были сродны ему), искал популярности у Думы, не нашёл, потерял и доверие трона, к Новому году слетел. Был он жёсткий, властный, скрытный, но и опытный, и удачливый в государственном управлении, хотя может быть движим лишь карьерой. Отставили его зря. Как раз он – мог бы защитить трон в эти дни. Им пожертвовали из-за его несоединимости с Протопоповым и Распутиным.

Известно было в обществе, что Трепов не терпел Распутина и все два месяца своего премьерства тщетно пытался уволить Протопопова, итак вряд ли ему что серьёзное грозило сейчас в Таврическом дворце, но он был погружён в испуг, столь неожиданный при его сильной натуре, скрывался, просил защиты. Столько он высказывался прежде о крутых, решительных мерах, как же мгновенно может сотрясаться наше положение в обществе и наш характер!

Невысокий, плотный, редковолосый с прирыжью, с напряжённым взглядом и красноватым лицом, он как будто повторял брата Дмитрия, перед смертью оплетшего дом электросигнализацией от террористов.

А всё же – решился этот человек взять тот пост, которого Кривошеин никогда не решался.

Второй раз за эти дни посылался ему гость-ночёвщик, с которым сама судьба направляла вести правительственные разговоры – о тайнах совета министров, о судьбах российского теперь управления.

Совершенно не ясно. Потому что нарушился закономерный ход службы сразу у всех. Сдвинулись сразу все пласты, все сложности – невозвратно. А в обществе – нет государственных привычек.

Трепов и сегодня был уверен, что если б его в ноябре освободили от Протопопова – он спас бы и это правительство и трон.

Однако сейчас Трепов производил впечатление конченного деятеля, отыгравшего. Себя же Кривошеин видел иначе: рушилось мимо него, а он – стоял и только укреплялся. И в России не было сейчас более опытного и вместе с тем никак не запятнанного перед обществом государственного деятеля. Всякому незамутнённому взгляду должно быть ясно, что пригласить новым премьером разумно только Кривошеина, – и это всё спасёт.

И в этой безумной, закруженной, истрелявшейся столице Александр Васильевич в эти бессонные ночи – всё более решался на власть. На что не решался столько лет, упустил руль, когда он тыкался в руки сам. А сейчас – решался. И час за часом, про себя, затаённо, ждал гонца из Думы.

Но гонца не слали.

Хотя и правительство же всё никак не составлялось. Переночевал Трепов благополучно – но что же было ему делать дальше? У него была такая мысль: добраться до министерства путей сообщения. Там уцелела его бывшая казённая и не занятая Кригером квартира, и там распоряжается от думского Комитета свой путевый инженер Бубликов. Либо там же приютят, либо дадут какое-нибудь охранное свидетельство, во всяком случае от них там можно начать переговоры. Кривошеину и легче, Трепов его тяготил. Но – как ему туда добраться?

Теперь – только пешком, иного транспорта нет. И под охраной не сына же, офицера, – только старый Кривошеин и мог при случае защитить, сам собой.

– Ну что ж, пойдёмте, Александр Фёдорович. Путь не близок. И не знаешь как лучше – через центр или вдоль Фонтанки. Вот настало время: тяготили собственные шубы, покажутся

богатыми, а бедней ничего на плечи нет.

Решили идти по Садовой, в её обычно суетливой разнообразной торговой толкотне. И меньше будет солдатских грузовиков. Пожалуй и правильно.

Прошли, не попав под обстрел и не задержанные. Кривошеин озирался с удивлением. Как будто изменился воздух. Поражали красные лоскуты, распущенные курящие солдаты, кое-где разгромленные лавки, многие закрыты – и в Гостином, и в Апраксином. Однако многие и торговали. Жизнь была надломленная, но не сломленная.

Одно время пожалели, что не догадались сами нацепить красные банты, легче бы идти. Но обошлось.

На Фонтанке перед министерством стояла солдатская охрана. Послали записку комиссару Бубликову, – и через десять минут были приняты и проведены к нему наверх – в собственный же недавний треповский кабинет, с окнами в юсуповский сад. До сегодняшнего утра тут помещался задержанный Кригер, сейчас его увезли в Думу.

Бубликов не ходил, а бегал по кабинету очень возбуждённый, подёргливый, потеряв свой обычный ощипанно-опрятный вид, но и очень уверенный. Уже через несколько фраз посетители поняли из обмолвок, что он становится новым министром путей сообщения.

(Уже так конкретно намечались и отдельные министры?) А пока – радушно принимал, как равных. Узнал цель визита – обещал и охранное свидетельство, и конечно можно ночевать в министерской квартире.

А пока – велел подать чай с печеньем, и сидели пили вчетвером (при Бубликове – ещё другой член Думы, тоже комиссар) в просторном кабинете, где всё сохранялось по-прежнему. И Трепову странно было, и приятно было, что он в своём же кабинете. На небе просветлилось – и через сад слева направо полило предзакатное солнце, придавая и кабинету красноватое освещение.

Пили чай, обсуждали российские судьбы. Раз Бубликов предполагался в члены нового правительства – тем лучше, их визит приобретал характер разведки. Кривошеин знал за собой умение шармировать собеседников, и не хотел сдерживать его.

– Да неужели же Россия не заслужила наконец иметь сильное правительство из талантливых людей?

Все были согласны.

– Однако, чтобы стать правительством, вам надо сперва навести порядок хоть у себя в Таврическом. Потом – в городе.

Рассказал, как арестовывали и водили сына.

Да гораздо больше Кривошеин знал, чем успевал тут высказать. Он знал этот обширный и медленный ход статистических обследований, сводных результатов, из которых рождаются первые мнения, потом проектов, контрпроектов, аргументированных докладных отточенным языком, затем высочайших рассмотрений, работ назначенных комиссий, новых докладов на совете министров, прений, высочайших утверждений, – десятилетиями он жил в этой плавной деятельности, и нельзя было поверить, чтобы что-нибудь подобное родилось из сегодняшнего хаоса. (И без него).

– Да-а-а, – пошучивал он. – Вы нас изводили своими безумными резолюциями, а теперь мы поменяемся с вами местами. Вы теперь пойдёте в министры, а мы – будем работать в общественных организациях и вас отчаянно критиковать. Только у нас есть долгий опыт государственной работы, а у ваших министров – никакого.

И в это самое время зазвонил телефон. Бубликов схватил трубку – радостно вскричал:

– Состав правительства? -

и стал принимать и всем присутствующим повторять вслух: князь Львов... (И для Кривошеина всё было кончено). – Милюков – Гучков – Шингарёв... Он весело это повторял, но с трудом скрывая волнение; как близилось к путям сообщения, лицо его разгоралось.

Всего-то! – ловил Кривошеин. Только и могли они придумать – Львов, Милюков... безнадежные кадеты. Всего-то? И не понимают они, что ещё в начале зимы такой кабинет мог бы вытянуть, – но протряся через революцию? Государственного опыта – нет, это

главное. А без него – кто вы?

Hundert funfzig Professoren...

Vaterland, du bist verloren!

(Сто пятьдесят профессоров...

Отечество, ты погибло!)

Запнуться Бубликова и изумиться всех заставил Терещенко: что-о? кто-о? Этот юноша по балетной части, лакированный денди – министр финансов???

Но тут дошёл до еле скрываемого надрыва голос Бубликова:

– ...Путей сообщения... – Не-красов???

Ещё произнёс, по инерции, – и голос оборвался, лицо потемнело, и больше он вслух не передавал, опустил трубку. И в кресло вплюхнулся.

Царский министр Трепов, достигший безопасности, давал волю своему постороннему удивлению:

– Да Некрасов никогда на путях сообщения не работал. Лектор по статике сооружений без единого научного труда. Последнее, что у него может быть, это студенческие конспекты 15-летней давности. Да материалы к нескольким думским речам. Никакой практики.

– Да вообще ничтожество!

Но разве этим выразалось всё оскорбление? весь удар в сердце?! весь разлом мира?! Разве этим??

Свинцово вскипело и нуждалось выбрызнуть, – а Бубликов должен был ещё не давать лицу измениться, ещё делать вид – и не сразу вскочить и бежать в другую комнату, к другому телефону – звонить им туда! и выплеснуть!

Но – кому? Он даже не мог оплеснуть коварного Родзянку, раздутого, крупного, громкого, потому что тот за трое суток уже опал тряпичным мешком. Ах, так и случилось! Сам виноват, что здесь сидел, ушёл из Думы, захватывал им железные дороги – *на кого* работал?! Подталкивал хлебные эшелоны. Торопил уголь из Донбасса. Звал деповских усилить ремонт. Заместил убитого Валуева. А теперь?...

Бешено кричал в трубку, чтобы только освободиться, не задушило бы:

– С этими хамами я служить не буду!... Разве он эксплуатационник? Разве он может вести министерство?... Если мои заслуги ничего никому не значат... Проходимцы, хамы! Губят Россию!... Чистейшая демагогия, наглое издевательство!... Да они не продержатся и двух месяцев, их выгонят с позором!... Да такого позорного кумовства и при Распутине не было!...

Ломоносов, с перекатным котлом головы и метучим взглядом, – был в этой комнате. Всё слышал, всё понял, гневно кивал. Бубликов – прогорел. Но Ломоносов – ещё мог сманеврировать и получить хорошее место. Он согнуто охотился над железнодорожной картой:

– ...Та-ак... Поезд с депутатами прибыл в Лугу... Скоро во Пскове... Та-ак... Царь пойман – и начинается новая эра русской истории!...

333

Как ни хорошо знал Гиммер, что все эти многолюдные собрания никакой политики не решают, политика делается несколькими человеками, в задних комнатах, – но коварный манёвр Керенского поразил его, научил его и показал другие возможности.

Пока Нахамкис своим усыпительным неторопливым голосом и разливанной речью забивал время собрания и объяснял массе, что вчера ночью одержана большая победа над буржуазными элементами, а наши уступки незначительны и мы не дали буржуазии никаких серьёзных обязательств, – Керенский пришёл опять со своим оруженосцем Зензиновым в 13-ю комнату, нервно подёргивался там, вяло поспаривал с большевиком – и ни словом, ни взглядом не открыл, что готовится к прыжку. И был, в общем, в состоянии вполне нормальном. Но как только из раскрытых дверей 12-й комнаты аплодисменты отметили

окончание речи Нахамкиса – Керенский рванулся туда неудержимо – и уже через минуту начинал свою речь в состоянии экзальтации, падал на мистический шёпот и всем объявлял, что готов к смерти. Это были неизвестные нашей неподготовленной толпе приёмы французских ораторов с сильным «аффрапирующим» действием, – он рассчитанно спекулировал на неподготовленности и стадных инстинктах аудитории. И какую чушь он там ни нёс – что министерство решалось в 5 минут, что в ещё несформированном правительстве он отдал распоряжение освободить политических заключённых (а это в старом министерстве распорядились посланные комиссарами Маклаков и Аджемов), и в каком полуобморочном состоянии ни произносил полубесвязных фраз, – а очень демагогично и стройно. А одержавши триумф и вынесенный на руках, он тотчас же вернулся в нормальное состояние и стал оживлённо разговаривать с английскими офицерами.

Сам по себе манёвр Керенского был поучителен и ослепителен, но он противоречил междупартийной этике – и это возмутило членов ИК: Керенский просто игнорировал и весь Исполнительный Комитет и всё его постановление, он не пожелал ни руководствоваться им, ни добиваться его пересмотра, а как некий бонапартёнок всё перевернул своей выходкой – да даже и не дождался формального одобрения Совета, так и ушёл.

Большинство Исполкома во время речи, стоя тут же, за спинами, от дверей 13-й комнаты – негодовало, но бессильно было помешать: при таком успехе Керенского рискованно было начинать с ним публичный диспут.

А бундовцы Рафес и Эрлих, сторонники коалиции с буржуазией, внешне возмущаясь, внутренне, кажется, сожалели, что Керенский не ввёл их в свой план раньше – не сговорил, и не назвал ещё, может быть, кого-то с собою вместе кандидатами в правительство. Они всё ещё отстаивали право честной партийной дискуссии, и вчера остались в меньшинстве ИК, но никак не принимали, что решение не входит уже окончательное, они надеялись возобновить дискуссию сегодня, – и меньшевики тоже надеялись сегодня обсуждать свой вход в правительство, – и все были ошеломлены, что ночью Гиммер, Нахамкис и Соколов, никем не уполномоченные, уже ото всего ИК заявили буржуазии решение! А теперь: каково было спорить с этим решением на общем собрании, когда угрожали резкие выступления большевиков и межрайонцев.

И левые, действительно, полезли на столы с речами, – как ни длинна была речь Нахамкиса, но прений она не съела, прения ещё потянулись на три часа, и нашлось 15 ораторов. Никто, правда, больше не обещал немедленно умереть, но требовали большевики немедленного окончания войны, немедленно ввести 8-часовой рабочий день, немедленно раздавать помещичью землю, а для того – никакого контакта с думским Комитетом, не дать образоваться буржуазному правительству, а создать революционное. Шляпников, Кротовский, Шутко, Красиков лезли с этим один за другим, громко кричали против буржуазного правительства, слуг реакции, – и как всякому громкому крику толпа радостно и громко им отзывалась.

– Что же получилось? – кричали большевики. – Ходили на улицу, текла кровь, а что преподносят сегодня? Царскую контрреволюцию! Гучков, Родзянко, фабриканты, Коновалов посмеются над народом. Крестьянам вместо земли дадут камень!

В такой обстановке Рафес и Эрлих не посмели предложить вхождение в правительство. Однако Канторович, а за ним Заславский и Ерманский отважились: что коалиционное правительство необходимо для объединения всего народа; что неучастие Совета в правительстве изолирует его от народа. И отговаривали от отдельного революционного правительства, а дожидаться Учредительного Собрания.

Но разве это стадо понимало слово «коалиция»? Или – «Учредительное Собрание»? Или вообще понимало что-нибудь из того, что тут говорилось? Для массы только сочетание «Исполнительный Комитет» звучало властно.

Наконец, к 6 часам вечера, уже темнота за окнами, – сморенные, распаренные, сдавленные, с затеклыми ногами и даже руками, – члены Совета были готовы к голосованию.

И толпа Совета – как будто сама себя не помнила, не осознала, не заметила, что она

одобрила вхождение Керенского что она одобрила большевиков против всякого вхождения, – теперь всю мощью в 400-500 голосов, не считано, ещё и в коридоре поднимали, против полутора десятка большевиков, – взмахнула руками за решение таинственного Исполнительного Комитета: в буржуазное правительство ни в коем случае не входить! Но – поддерживать его.

И – поправки, охотно. Чтобы правительство не отсрочивало реформ, ссылаясь на военные затруднения, – проголосовали. И чтоб Родзянко тоже подпирался под обещательным манифестом – проголосовали. И чтоб действовал наблюдательный за правительством комитет Совета – проголосовали. И ещё, такую малость забыл вчера Нахамкис прочесть, – самоопределение всех наций. Проголосовали.

И если б ещё кто высунулся с какой поправкой, – создать второе революционное правительство, – тоже бы проголосовали. Солдаты – пусть, но как будто и рабочие, ведь ученые же, а ничего не понимали.

Но это историческое заседание-застояние Совета в комнате бюджетной комиссии должно было стать последним: уже неугоду было тут стаивать и сдушиваться, а ведь завтра ещё подвалит депутатов, уже небось до тысячи?

Надо захватывать большой Белый думский зал.

Сборище уже окончательно разлагалось, кто-то выкрикивал дополнительные сообщения, внеочередные заявления, – как влез на стол опять Ерманский и, потрясая бумажкой, объявил, что – да, подтверждается: в Берлине второй день идёт революция, и Вильгельм уже свергнут!!!

И все, ещё оставшиеся тут, Вильгельма-то знали все, – стали топтать, и хлопать, и гаркать «ура».

А Чхеидзе на председательском посту – что с ним сделалось? ведь совсем кунял, – стал подпрыгивать на столе, вращая глазами, круговращая руками, в небывалом кавказском танце, – и тоже рычать «ура» из последних старческих сил.

334

Всё наличествовало у Гиммера – огромный теоретический багаж, острый политический нюх, неутомимость в дискуссиях, и заслуживал он, кажется, самого большого места в революционном движении, – но препятствовал ему маленький рост, худоба и невнушительная физиономия, а от сознания этих пороков проявилась у него и ораторская робость. Всё что угодно он мог сказать нескольким человекам в комнате, но толпе? Нахамкис поднимался спокойно и беседовал с толпой как со своими знакомыми, кажется мог при этом в затылке почесать или сунуть руку в карман. Керенский взлетал как ракета, и кричал ли, шептал, рыдал или падал, – всё производило на толпу магнетическое впечатление.

Но сегодняшней нахальный концерт Керенского на Совете уже окончательно вывел Гиммера из себя. И он решил самопровериться и тоже выступить оратором. Только через это он мог стать полноценным социалистическим вождём.

Он не томился, конечно, всё время в зале Совета, а часто выходил и проверял события в правом крыле, в левом крыле, в Екатерининском зале. Жаль, он пропустил выступление Милюкова, – было бы очень уместно вот тут ему и оппонировать публично. Вообще это выступление было не согласовано с Советом, преждевременно и конфликтно.

Так шёл Гиммер в пиджаке, проталкивался по коридору – и тут ему сказали, что пришла какая-то новая делегация ко дворцу, надо выступить члену Исполнительного Комитета, а никого близко нет.

И – сердце забило: минута пришла! Гиммер знал, что уже решился! И он – пошёл к выходу.

Ему сказали: надо бы одеться. Но он подумал, что в шубке своей будет выглядеть совсем невзрачно, да кажется мороз небольшой. Так и вышел.

И сразу увидел **свою** толпу – и напугался. Головы и лица, головы и лица, занявшие

весь сквер и все обращённые уже сюда, уже терпеливо ожидающие оратора, – да кажется и за решёткой, на улице, стояли и смотрели сюда?

И острым углом сжался в Гиммере, вверху живота, испуг: кажется, такой толпы, такой толпы он не видел никогда в жизни!

А толпа как стояла, так и стояла, движения по ней не прошло, она не поняла, что это и вышел оратор.

А между тем морозец схватил голову, не всю покрытую нашлёпкой волос, холодно.

Кто-то рядом насадил на него большую папаху – налезла на уши, на брови, но стало голове тепло. Защитным движением Гиммер поднял борта и воротник пиджачка.

Но – как начать говорить? Но – как обратить на себя внимание? Сопровождающие – все были выше него, и, кажется, от кого-то из них ожидали речи.

Кто-то крикнул сильно:

– Товарищи! Сейчас с вами будет говорить член Исполнительного Комитета Совета рабочих и...

А у Гиммера – ни звука не шло из горла.

Но близких два солдата уже поняли, что он будет говорить, – и подбросили его к себе на плечи, легко взбросили, одно бедро одному на погон, другое другому.

– Товарищи!

Слабо. Сильней:

– Товарищи!

Что такое? Голос оказался совсем слабый. Он уже вот во всю силу говорил – но это был не его голос, что такое?!

Ещё сильней! Во всю силу!

Опять слабо.

Надо же было прожить целую жизнь и не знать, что у тебя совсем нет голоса! А вот тут, на чужих плечах, над толпой, в первый раз узнать.

Ну, сколько есть. Стал Гиммер говорить. Сами мысли, их последовательность не отказывали ему нисколько: о произошедшем освобождении народа, о революционных лозунгах, о необходимости формирования власти, о переговорах Совета и думского Комитета. Он нисколько не забыл и прослеживал свою мысль, по линии наибольшего сопротивления для масс: что не надо брать власти самим, но передать её цензовикам и даже обязать их минимальной программой. Доводы – не изменили ему, он кажется это всё говорил и не хуже обычного.

Но по выходу голоса он чувствовал, что толпа дальше шестого-восьмого ряда его не слышит. Ещё удивительно терпеливая толпа – никаких признаков раздражения. Так стояли и смотрели все серьёзно.

Но почему так тихо и молча? Как будто столпились рыбы в аквариуме, и звуки оттуда не доносились.

Или – это он был для них как рыба из аквариума?...

Первые ряды, хоть и слышали, – но что они слышали? Доходили до них доводы? убеждали? Только когда, перечисляя министров, он назвал Керенского, – толпа раскрыла рты, стала кричать и аплодировать.

И можно было подумать, что аплодируют Гиммеру.

А ещё покричали ему, будет ли монархия, будет ли династия?

А он и сам к этому не был готов. Он до последнего часа мало задумывался о судьбе династии, второстепенный вопрос.

Но и так ответить было неполитично – и он показал толпе на своё горло, пощупал кадык.

Кое-как слез с плеч и ушёл во дворец, удручённый.

С отвращением от толпы. Этой бессмысленной солдатской толпы. И всякой вообще.

Нет, выступать – не его дело.

Приехал!!

И – звал. Опять записка.

Со страхом брала (а вдруг что-нибудь не то?). Но – звал.

Как снова стало светло!

Как благодарить его, что он делает ей так хорошо! Если б не он, её душа так всегда и оставалась бы пустая.

Наизусть уже знала и эту вторую.

Он весь – большое сильное движение. Говорят, какие-то волжские пароходы, степные скакуны, и что-то в Сибири. И сам в сапогах, но не по-военному, а по-походному. Носится по всей России!

В петербургский притеатральный мирок вошёл как из лучших молодых героев Островского, до того действительный, как нельзя воспроизвести на сцене.

Куда входить поклонником ему совсем и не свойственно. А что он здесь предчувствует – это она, маленькая, могла б ему всё и дать.

Пушинкой бы прицепиться к его одежде – и носиться с ним по всем его ветрам! Невесомой, и под его защитой.

Она уже не надеялась – встретить.

Хочется объяснить ему, почему до сих пор у неё была не жизнь.

Тянет к нему раньше срока, ноги с силой отрывая от пола.

Через несколько часов... Нельзя представить себе этой встречи...

Итак, по разным властным причинам Председатель Государственной Думы не мог принять государева поручения сформировать и возглавить новое правительство. Да даже и войти в создаваемый кабинет хотя бы членом.

Но от этого Родзянко вовсе не остался без дел и обязанностей. Напротив, если подумать, то его особое положение ещё более возвысилось.

Ибо: кто же будет источником власти этого самого правительства? Кто же передаст ему полномочия народного представительства, если не возглавляемый Родзянко Временный Комитет Государственной Думы? А по сути – Верховный Комитет, так что его Председатель фактически действует как Глава Государства Российского.

Широким чувством своим обнявши все обстоятельства, Родзянко понял, что он и сам никак не мог бы пойти в правительство, как: бы его туда ни звали. Как же так: перейти бы ему в правительство – а кто же будет руководить Государственной Думой? Распушенной на перерыв, лишённой регулярности, с депутатами в рассеянии, как никогда особенно беззащитной и нуждающейся в руководстве, – кто же будет ею руководить? Как же мог бы Председатель в такую тяжёлую минуту – и покинуть свою Думу? Не этих интриганов, здесь нескольких, а тех остальных – доверчивых и беззащитных? Покинуть само дело свободы?...

И кто же будет наблюдать за новым правительством, для того и *ответственным*, чтоб ему отчитываться перед Думой?

Родзянко – сросся со своей Думой. И с каждым часом ему становилось ясней и ясней: это была вообще ошибочная мысль – переходить на правительство. Он – не мог бы принять правительстве!.

Он – ни о чём далее не жалел.

И в этот переходный период, пока правительство не создалось, к кому же обращались и все крупные военачальники, и все, у кого был важный вопрос? Великий князь Николай Николаевич давал телеграммы из Тифлиса – ему. Вице-адмирал Непенин просил послать в Ревель – кого же, как не депутатов Государственной Думы: успокоить население, чтобы

жители перестали возбуждать матросов. Бывший морской министр Григорович, не арестованный, прислал из Главного морского штаба контр-адмирала Капниста с советами, как удержать порядок во флоте и восстановить его в Кронштадте.

И к Председателю же прибегали за разъяснениями, как понимать изданный рабочим Советом «приказ № 1». И Родзянко всем объявлял: считать недействительным и незаконным.

И – к кому же, как не Председателю Думы, лились телеграммы поддержки, восторга и одобрения от различных уже и провинциальных, не всегда известных и даже неизвестных собраний, учреждений, обществ и ассоциаций? – весьма подбодрительное чтение. Великая страна не знала никакого правительства, никакого совета рабочих депутатов, – а только свою надежду Государственную Думу, у которой вся сила.

И кто должен был быстро найтись, когда по столице пронёсся страшный слух, что немцы крупными силами прорвали Западный фронт? (Поручил Занкевичу проверить у Ставки, к счастью ничего подобного).

Затем: кто же была та главная фигура, обязанная приветствовать приходящие к Думе воинские части, если не Председатель Думы. Сегодня ко дворцу подошли юнкера Павловского училища (где в прошлые дни были колебания и волнения, за что арестован генерал, а сегодня у них был обыск) и училища Военно-Топографического. Но никого не укоряя за замедление явки, Родзянко горячо призывал продолжать учебные занятия, набираться военных знаний для разгрома ненавистной Германии.

Так весь день провёл Председатель в заботах, делах и обременениях, – некогда былодохнуть. И уже меньше всего был занят составом нового правительства.

Приходили к нему, и несколько раз, полковники из Военной комиссии, докладывая, что хаос в гарнизоне растёт, а твёрдого военного управления нет, – нужна фигура во главе.

Что ж, назначить командующего Округом – для Председателя самая поплечная задача. Это предложение вдохновляющее: дать взбудораженной столице твёрдую военную власть! Кого? Они высказали, что нужен известный герой, а вот – Корнилов?!

Корнилов? Неплохо. Гучкова ждать не будем, время не терпит.

Генерал Корнилов находится на фронте и командует корпусом. Таким образом, он подчиняется Ставке. Но Верховный Главнокомандующий... стоит теперь перед отречением. А Родзянко в эти часы фактически – Глава Государства.

Итак: просто послать на Юго-Западный фронт приказ Председателя Государственной Думы: доблестному генерал-лейтенанту Корнилову как можно быстрее, в часах, передать 25-й корпус и выехать в столицу для занятия высокого поста.

Но так как телеграмма пойдёт всё равно через Ставку, то надо как-то вежливо сообщить и в Ставку. Тоже не обижать Алексеева зря. Даже можно придать форму как бы совета со Ставкой или просьбы.

А Государя – обойти фигурой почтительного умолчания.

На всё это потребовалось много ума и тонкости.

Зато уж по самой столице, спета порадовать жителей, мог Председатель первый объявить о назначении Корнилова и в форме собственного Приказа.

Тут – полковники из Военной комиссии даже не могли ему помочь. Это не были строки рядового сухого воинского приказа, но надо было столько пережить и перечувствовать, сколько помещалось в широкой груди Родзянко.

«Тяжёлое переходное время кончилось. Народ совершил свой гражданский подвиг и свергнул старую власть. Неизбежное замешательство приходит к концу. Граждане страны! А в первую очередь граждане взволнованной столицы!... Вернуться к спокойной трудовой жизни. Временный Комитет Государственной Думы назначает Главнокомандующим войсками Петрограда и его окрестностей...»

Всё так, всё очень хорошо. Но не хватало какого-то последнего торжественного аккорда. И, потолкавшись по тесным комнатам, Родзянко понял и приписал:

«4 марта назначить парад войскам Петроградского гарнизона...»

Несколько огорчало Председателя, что союзные послы искали сношений не с ним, но с

рождаемым правительством. Однако у Родзянко оставалась важнейшая связь – с великим князем Михаилом, которому с часу на час предстояло принять в свои руки Россию. С того вечера, как виделись, великий князь застрял в Петрограде и скрывался на тайной квартире. В решающие часы он нуждался в духовной поддержке!

Сколько мог в тесноте, Родзянко отъединился, чтоб не заглядывали ему в бумагу, и написал его императорскому высочеству для передачи с верным человеком.

...Теперь всё запоздало...

(Как и назначение самого Родзянко, которое ещё месяц назад могло спасти страну).

...Успокоит страну только отречение от престола в пользу наследника – при вашем регентстве. Прошу вас повлиять, чтоб это совершилось добровольно, и тогда сразу всё успокоится. Родзянко не очень полагался на Гучкова: Гучков вспыльчив, и враждебен Государю, и может только напортить. Это была плохая мысль – посылать во Псков Гучкова. А у великого князя, конечно, нет сейчас прямой связи с державным братом, но быть может сумеет телеграфировать ему как-то косвенно? или послать записку с оказией? А – утверждался Родзянко окончательно: никакого другого выхода для России, как отречение Государя, – нет. Расходились волны народные!... (Да если угрожали растерзать самого Председателя!...)

...Я лично сам вишу на волоске и могу быть каждую минуту арестован и повешен. Не делайте никаких шагов и не показывайтесь нигде!...

Упаси Боже, не растерзали б и великого князя.

...И знайте: вам – не избежать регентства. Эта тайная близость со вступающим монархом душевно укрепляла Родзянко.

337

Государь отдал своё отречение в чужие руки. Им первым, трём случайным генералам, он открыл и отдал своё намерение, не посоветовавшись ни с единой живой душой.

А душа требовала – поговорить с кем-то же своим. Подкрепиться.

А своего – никого, никого не было вокруг.

Да истинно-то своих у него было два-три человека, семья. Но он был от них отрезан.

Нет, тёплый и преданный был один человек – Фредерикс, о котором Аликс уже не один год сердилась, что он выжил из ума и опасно не соответствует своему месту. Но Николай не любил увольнять старых верных слуг и чувствовал к Фредериксу нежность.

Теперь он его позвал. Согбенный древний старик со слезящимся взглядом пришёл тотчас. Да ведь у Фредерикса было своё горе: пришло известие из Петрограда, что дом его сожжён, а о семье ничего не известно.

И первое, что Государь спросил: ничего ли нового о семье?

Фредерикс печально покачал преклонной головой.

Ему было разрешено в присутствии Государя сразу садиться – и он сел.

И Государь медленными фразами, с перерывами, ещё сам как о новом и может быть даже не свершившемся? – стал ему объяснять.

Что – вот так... Что – если армия тоже за это... Все – отступились. Другого выхода не было.

Жёлто-седой старик с усами, всё ещё расторченными, следил потухшим взглядом – и вдруг глаза присветились, голова затряслась сильнее, губы зашевелились, и вышел хрип:

– Я не верю, Ваше Величество. Николай растерялся:

– Но это так, граф, увы.

Голова Фредерикса тряслась в виде отказа, как бы он отрицал:

– Нет. Не ожидал. Что доживу до такого ужасного конца...

Николай почувствовал как обвал в груди: что он, правда, наделал?!

А голова Фредерикса тряслась теперь утвердительно:

– Зачем я ещё жив? Вот что значит пережить самого себя.

А ещё же теперь судьба наследника, совсем уже непонятная. Николай почувствовал слезы в глазах и не мог говорить.

Неужели Господь покинул...? Тогда нечего и сопротивляться. А отдаться воле Божьей.

Но тут доложили, что генерал Рузский снова просит его принять. И Государь привёл глаза в порядок.

Что такое?

Тот же нервно-механический генерал вошёл, со своим ровным четырёхугольным бобриком седо-белых волос и проволочными очками.

Вот такая новость: пришла телеграмма из Петрограда, что во Псков к Его Величеству выезжают делегатами члены Государственной Думы Гучков и Шульгин. (Гучков – не член был Думы, но сейчас никто не заметил этой разницы, естественно он был из той компании).

Так вот Рузский вернулся из своего вагона. Он ещё не успел отправить царские телеграммы – и отправлять ли теперь в Петроград, если оттуда едут?

Сердце Государя крупно забило радостью. Он снова поднимался из колодца: лишь сейчас почувствовал, сколько он уже успел отдать! Едут? Ехать могут – только на переговоры. Значит, какие-то изменения в Петрограде к лучшему. Ещё может быть и не придётся столько уступать!

(И даже то, что едет именно Гучков, не легло в эту минуту камнем. Гучков, разгласивший в газету интимные высказывания Государя, Гучков, которому Государь через Поливанова передавал, что он – подлец, которого не узнал на прощальном приёме 3-й Думы, – сейчас, едущий с доброй вестью, как-то смягчился и отчасти простался).

– Совершенно верно рассудили, Николай Владимирович, – обрадовано отвечал Государь. – Теперь зачем же посылать? Подождём. – И, хотя это было вполне естественно и законное право его, а сказал со стеснительностью: – Тогда пожалуйста... телеграммы мои верните...

Рузский полез в тот же боковой карман кителя, куда он положил телеграммы, вынул – и вернул.

Но! – это была одна только телеграмма. Государь развернул: в Ставку. А второй, к Родзянке, не было.

Но они же были вместе у него в одном кармане, и даже кажется, в одном сгибе, – а теперь второй не было?

– Вы... ошиблись, Николай Владимирович. Мне нужно и вторую, пожалуйста... – Но тут подумал, что это могло быть не случайностью, и голос его опал в застенчивость. Государь всегда терзался, когда бывало похоже, что собеседник может совершить бестактность. Неужели Рузский нарочно разложил по двум карманам, чтобы не ошибиться, вытягивая?

Но чтобы разговаривать с думцами, Государю нужно было именно родзянковскую назад.

Рузский вскинулся твердовато, выставил кругляшки очков:

– Ваше Величество, я чувствую – вы мне не доверяете!

Государь пришёл в ещё большее смущение.

Да главным образом – за Рузского:

– Нет, почему же... Что вы... Вполне доверяю... Но просто...

Начать перекоряться со своим генералом – была бы потеря достоинства.

– Вы можете быть спокойны, – твёрдо чеканил Рузский. – Я не отошлю её до приезда депутатов.

И – не шевелился. Не отдавал второй.

Они оба стояли, а беззвучный и быть может ничего не понимающий Фредерикс сидел на стуле.

Из-за страшной неловкости, которая создалась, настаивать было неудобно.

И даже когда Рузский сказал с монотонной несомненностью:

– Если вы разрешите, Ваше Величество, я приму депутатов первый и подготовлю их к

беседе? – Государь тоже не сообразил, не возразил.

Рузский откозырял и ушёл в свой вагон.

И уже в спину ему Государь думал: а зачем же ему принимать депутатов первому?

Царапало, что вторая телеграмма так и осталась у Рузского. Залогом.

Ну, впрочем: какая разница, у кого осталась. Важно, что не отправлена.

Назначили Гучкова нарочно? – чтоб оскорбить, напомнить?

А с другой стороны – с ним Шульгин, давний и лояльный монархист. Это хороший знак.

Значит, ждать.

Отпустил Фредерикса.

Потекло время.

Решиться на сдачу – принесло большое облегчение в тот первый момент.

Но теперь жить с этой сдачей – была тяжесть.

Впрочем, может быть, и не придётся отрекаться.

Тем временем от Фредерикса вся свита уже узнала – и пришёл, с белоснежными флигель-адъютантскими аксельбантами, очень взволнованный Воейков, выкатив глаза:

– Ваше Величество! Неужели верно то, что говорит граф??

И напористо, по-военному, стал доказывать – от своего имени и, как сказал, ото всей встревоженной свиты: что Государь не имеет права отказываться от престола только по желанию думского комитета да главнокомандующих фронтами. Просто вот так – в вагоне, на случайной станции, отречься – перед кем? почему?!

– Но что же мне оставалось делать? – упавшим, ослабленным голосом ответил Государь, всё более подозревая у себя тяжкий промах. – Когда все оказались заодно? Если так хотят все главнокомандующие – значит, армия... А иначе будет междуусобица.

С обычным жарким напором и сильным голосом Воейков доказывал, что как раз наоборот: именно отречение и вызовет междуусобицу, может погубить войну и Россию. Форма правления страны может меняться при законном всеобщем обсуждении, а не так!

Зацарапало сердце всё сильнее: ах, он прав! Упустил? Ошибся? Сделал не то?... Ай-ай-ай... Но во всяком случае:

– Вот, приедут представители Думы и обсудим...

– Но вы у него оставили какую-то телеграмму? документ? Как это можно?! – сердился Воейков, белки его глаз сверкали.

– Ну что ж такого, – слабо возражал Государь. – Ведь он не отправит.

Тёмный, гневный, едва не взрываясь, Воейков ушёл.

Очень тягостно было одиночество в вагоне, и решительно ничем не заняться. Уж скорей бы приезжали депутаты, что ж не едут?

Тут притащился Фредерикс и слабым больным голосом передал ото всей свиты, что все волнуются и просят Государя отобрать у Рузского телеграмму: это какая-то интрига, он её пошлёт и совершит отречение обманом.

Да нет, теперь неудобно просить. Да нет, не пошлёт. Да вот – и представители скоро приедут.

Но когда вышел Государь в столовую к пятичасовому чаю – и присутствовала вся свита сразу, и только она, никого чужого, и Государь ловил небывало тревожные взгляды, – никто из них не смел, однако, вслух задать вопрос или посоветовать. Прорвать традиционное молчание мог только Государь – и все сердца ждали этого. Но – так это было необычно, неприлично, – да и что они могли бы посоветовать? что они знали больше Государя?

Да ведь и лакеи ходили кругом, нося от буфетной чай.

И стараясь держаться как можно обычнее, Государь произносил всякие пустяки. И ему отвечали тем же. И потом тянулись долгие беспридумные паузы.

И чай кончился – а депутаты всё не ехали. Сообщилось, что они опаздывают.

Уже близко было к сумеркам – Государь решил ещё погулять по платформе. И позвал с собою врача, профессора Фёдорова.

Расхаживал Государь мерно, сдержанно, как если бы ничто не изменилось, иногда улыбался или кивал, кого ещё не видел сегодня.

Была оттепель, и с крыш станционных построек капало.

Так как теперь всё ложилось на плечи Алексея, то росла забота Государя: как же мальчик справится с этим? И он позвал профессора Фёдорова на беседу – как ни странно, первую откровенную между ними. Всегда почему-то не называлась полностью вся опасность и не задавался вопрос до конца: и – страшно узнать, и – зачем узнавать, когда было предсказание Григория, что в 14 лет мальчик перестанет страдать, а 14 лет исполнялось летом 1918, уже близко.

– В другое время, доктор, я не задал бы вам подобного вопроса, но наступил очень серьёзный момент, и я прошу вас ответить с полной откровенностью. Будет ли мой сын жить, как все живут? И сможет ли он царствовать?

И Фёдоров ответил напрямому:

– Ваше Императорское Величество! Я должен вам признаться: по науке, Его Императорское Высочество не должен дожить и до 16 лет.

Холодными клещами схватило государево сердце. Приговор был – без уклона и без пощады.

Как? Значит все эти долгие бережения, надежды, 13 лет вытягивания наследника к престолу, – и всё было в пустоту?

– Но медицина может ошибаться!

– Конечно может, Ваше Величество. И пошли Бог. Доживают и до более высокого возраста, но предостерегаясь от самых незначительных случайностей. Однако: излечение наследника было бы чудом. Продлить его жизнь можно только крайней предосторожностью.

Но если несчастному мальчику осталось жить так мало – то: зачем переносить ему эту горечь короны? И чтобы вот так же от него потом отступились?...

Слова Фёдорова во всяком случае подтверждали государево решение: хотя и наследуя корону, мальчик должен остаться при родителях. Тем более что их замысел может как раз и состоять в том, чтобы оторвать Алексея от матери. Но на это не согласятся ни мать, ни отец! И диагноз Фёдорова как раз и давал право не отпускать мальчика от себя.

Но когда он высказал Фёдорову это решение – тот изумился:

– Неужели, Ваше Величество, вы полагаете, что Алексея Николаевича оставят подле вас и после отречения?

– А отчего же нет? Он – ребёнок, и пока не станет взрослым... Пока регентом будет Михаил Александрович...

– Нет, Ваше Величество. Это никогда не будет возможно. И надеяться вам на это совершенно нельзя.

– Но именно при таком состоянии здоровья – как же я могу его отпустить? Раз так – вот я и буду иметь право оставить его при себе!

И врач должен был объяснять монарху!

– Монархические соображения как раз и не допустят этого. Чтобы на волю наследника не было влияний... Скорей согласятся поместить его в семье регента...

В незаконной семье? У авантюристки Брасовой? Аликс никогда этого не допустит!

– Но родителям нигде не воспрещают заботиться о детях!

– А как вы предполагаете, Ваше Величество, где вы сами будете жить?

– Ну, например в Крыму.

– Я – не уверен, что вам разрешат остаться жить в России.

– Как? Даже в качестве простого обывателя? Неужели я буду интриговать? Буду жить около Алексея – и его воспитывать!

Совсем удивительно! В этом-то Государь никак не сомневался!

– А если и в России не разрешат – то тем более, как же можно расстаться с сыном? Тем более: если он не может быть полезен для отечества – мы имеем право оставить его у себя! Расстаться с сыном – было ещё куда тяжелей, чем отказаться от власти. Расстаться с

Алексеем – это свыше сил! Этого – никто не может требовать от отца! И как же можно отдать его игрушкой в руки этих безнравственных политиков? Какими извращёнными понятиями они будут его напитывать! Как можно отдать не только его, но его душу!

Да ведь и в телеграмме как написано: с тем, чтобы остался при нас до совершеннолетия. А иначе – и не действительно!

Государь вернулся с прогулки обескураженный. Он никак не предвидел такого оборота. Он совсем теперь не понимал, что делать.

Ещё и так подумать: заберут Алексея – и его именем будут проводить свою гнусную всю политику?

Противно.

Совсем не отдавать им трона?

Тогда уж лучше не отдавать!

Снова пришёл Воейков от свиты, очень твёрд: все настаивают – забрать у Рузского телеграмму!

А что, и правда, она теперь потеряла смысл. Её нельзя осуществлять. Её надо забрать.

Согласился Государь: пойдите и заберите.

Но Воейкову – нельзя, уже ругались с Рузским и ещё поругаются.

Тогда пойдёт граф Нарышкин.

И что же теперь оставалось делать с троном?

Если не Алексею – тогда брату Михаилу?...

Конечно, Миша к нему совсем не готов. Но ведь если регентом – не то ли самое?

Да три дня назад по телеграфу брался же он давать государственные советы.

Нарышкин сходил – и вернулся ни с чем: Рузский – не отдал и свитскому генералу!

Ответил, что даст личные объяснения Государю.

Но вот – не шёл никак объяснять.

И вся власть Государя вдруг оказалась пресеченной: он и не мог заставить!

Ну, да всё равно, та телеграмма уже теперь не имела значения. При депутатах можно будет изменить.

А они всё не ехали.

Пришёл из Петрограда пассажирский поезд, но не их. Свитские говорили: ужасный вид. На шинелях даже офицеров и юнкеров нацеплены красные банты. И все без оружия. В Петрограде – офицеров избивают, оружие отнимают.

338

Много, много было расстройств за эту зиму. То – слух, что Швейцария на днях втянется в войну, жутковато, и быстрые расчёты: самим остаться в полосе немецкой оккупации, а Инесса пусть едет в Женеву, её там захватит Франция – и так мы улучшим связь с Россией. То отлегло: не будет войны. То Надя болела – бронхит, жар, бегал за врачом, и в библиотеку не попадёшь.

Однако не складывать же бездеятельно руки. А что если прямо самим, безо всяких швейцарцев, – да взбунтовать швейцарскую армию? И вырос такой замысел: написать листовку («разожжём революционную пропаганду в армии! превратим опостылевший гражданский мир в революционные классовые действия!»), – но в абсолютной скрытости (за это можно сильно пострадать, из Швейцарии выпрут), – а подписаться «швейцарская группа циммервальдских левых» (пусть думают на кого из них, хоть на Платтена) – и распространять стороной, как бы не от себя. Инесса быстро переведёт на французский. Только абсолютно секретно, сжигая черняки. (А почта писем не проверяют, убедились).

Стали делать. Но отсюда новый замысел: а не составить ли опять-таки нам самим, а подписать от других, такую листовку: поднять **весь европейский пролетариат** на всеобщую стачку 1 мая? Отчего бы нет? Неужели пролетариат не отзовется? А в разгар войны – какая это была бы сила! Какая демонстрация! А от стачки, смотришь, сами собой

начнутся и массовые революционные действия?! Одна хорошая листовка – и поднята вся Европа, а?! Только надо спешить, до 1 мая не так много времени, – скорей переводить на французский, скорей издавать, скорей рассылать. (И – совершенно конспиративно!)

Но не успела всеевропейская стачка хорошо обдуматься, только ещё готовили переводы листовки, – пришло внезапное письмо от Коллонтайши, вернувшейся из Америки в Скандинавию. И к пороху – новый огонь: оказывается – **раскол** на съезде шведской партии!

Какая внезапная удача! Да как же было забыть своих верных циммервальдских соратников? И какие же там у шведов в головах сейчас, наверно, разброд и путаница дьявольские!

Как же бы повлиять? Как помочь? Осветилось: так вот она где задача ожидаемая, самая важная и благородная: не в Швейцарии надо революцию делать, а в Швеции! **Оттуда** начинать!

Дальше писала Коллонтай: решили шведские молодые собрать 12 мая съезд для основания новой партии «на циммервальдских принципах». Ах, юнцы-птенцы, искренние и неопытные, да кто ж вам разъяснит: **преданы** принципы Циммервальда-Кинталя! **преданы**, в болоте потоплены почти всеми партиями Европы! **умер** Циммервальд, умер и обанкрутился! Но вы – искренни и чисты, и во что бы то ни стало ещё до съезда нужно вам помочь разобраться в пошлости каутскианства, в гнусности циммервальдского большинства. (Ах, что ж я не с вами там?!...) Пришла пора обрезать когти Брантингу! Надо немедленно послать вам на помощь мои тезисы! Морально и политически мы все ответственны за вас. Решительный момент в скандинавском рабочем движении!

И весь тот временный пессимизм и ту опущенность рук, какие овладели после неудач с дрянными бесхарактерными безнадёжными швейцарскими левыми, – перехлестнуло теперь радостным нетерпением **поджечь Европу с севера !!!** А сроки остались короткие, а дел – уйма, а переписка через Германию идёт с затруднениями. Но – энергичная, деятельная, осмысленная борьба! Возродилась жизнь! Новым смыслом осветились сумрачные своды цюрихских церковных, читальных залов, газетные кипы и шершавые брошюрки в Центральштелле: к 1 мая – листовку! к 12 мая – тезисы и спеться! Все силы – на европейскую стачку и на шведский раскол! Только над молодёжью и стоит работать! **Нам** уже никогда ничего не сделать и не увидеть. Но им ещё взойдёт багровое солнце революции!

2-го марта кончал дома обедать, вдруг стук. Бронский. Что-то не вовремя. (В этой неудаче с левыми так много было на Бронского ставлено, и эти выборы-невыборы, что видеть Бронского сейчас было мало приятно. А к новым проектам его ещё не приспособили). Вошёл – и не садясь, в своей вялой манере, как он всегда, меланхолически немножко:

– Вы ничего не знаете?

– А что?

– Да в России – революция... будто бы... Пишут...

Ещё манера у него – никогда голоса не повысит, растяжка эта, как от неуверенности, – поднял Ильич глаза от тарелки с варёной говядиной, суп уже доел, посмотрел на тихого Бронского – не больше было впечатления, чем сказал бы он, что килограмм мяса подешевел на 5 раппенов. В России? революция?

– Чутьё какая. Откуда это известно?

Ел дальше, резал кусок поперёк, чтоб и мясо и жир. Откуда, ни с того ни с сего? Такое ляпнут. Макал куски в горчицу на отвале тарелки. Ещё неприятно, когда сбивают еду, не дадут спокойно.

А Бронский стоял, не снимая пальто, и шляпу мокроватую фетровую, которую очень берёт, – мял. Это для него уже было большое волнение.

И Надя, по бокам своего серо-клетчатого платья провела руками, как вытирая:

– Что это? В каких газетах? Где вы читали?

– Телеграммы. Из немецких.

– Ну! Немецкие да про Россию! Врут.

Доедал спокойно.

О России в европейских газетах писали скудно и всегда переверано. Не имея своих верных сведений, с трудом надо было оттуда истину отделять. А письма из России почти не приходили. Вот промелькнуло двое свежих русских, бежавших из немецкого плена, – бегал на них посмотреть, поговорить, интересно. Приходилось Россию поминать в докладах, но не больше, чем Парижскую Коммуну, которой давно уже не было на свете.

– И как же именно там сказано?

Бронский пытался повторить. И по обычному свойству большинства людей – а профессиональному революционеру стыдно! – не мог повторить не только точных выражений, но и точного смысла.

– В Петербурге – народные волнения... толпы... полиция... Революция... победила...

– А в чём именно победа?

– ...Министры... в отставку ушли, не помню...

– Да вы ж сами читали? А – царь?

– Про царя – ничего...

– Про царя – ничего? А в чём же победа?

Чушь какая. Может, Бронский и не виноват, а само сообщение такое неопределённое.

Надя перебирала в рубчики на груди заношенное платье, ещё заношенной от малого света в комнате – на улице моросил дождь с утра:

– А всё-таки – что-то есть, Володя? Откуда?

Откуда! Обычная буржуазная газетная утка, раздувание малейшего неуспеха у противника, сколько раз за эту войну всё вот так раздувалось.

– Разве о революциях – так узнают? Вспомни Женеву, Луначарских.

Шли январским вечером с Надей по улице – навстречу Луначарские, радостные, сияющие: «Вчера, девятого, в Петербурге стреляли в толпу! Много убитых!!» Как забыть его, ликующий вечер русской эмиграции! – помчались в русский ресторан, все собирались туда, сидели возбуждённые, пели, сколько сил добавилось, как все сразу оживились... Длинный Троцкий, ещё вытянув руки, носился с тостами, всех поздравлял, говорил, что едет немедленно. (И поехал).

– Ладно, чаю давай.

Или – не пить?

Идти опять в читальню и продолжать регулярную работу – кажется, тоже не получится: что-то всё-таки зацепилось, мешает. Надо бы выяснить. Какая-то помеха всем планам.

Но газеты с сегодняшними телеграммами будут в читальнях только завтра.

А на Бель-Вю в окне «Neue Zürcher Zeitung» вывешиваются экстренные.

Ладно, сходим.

Надя ещё мало выходила после февральского недавнего бронхита и осталась дома. А Ильич натянул тяжёлое старое подчиненное пальто, насадил старый котелок как на болванку, – пошли.

«Здесь жил поэт Георг Бюхнер...» – на соседнем доме. Сырым узким переулком, где рыхлый намоклый снег ещё не вытаивал у стен, – быстро пошли под гору. Сокращая переулками и туда ближе к Бель-Вю.

По швейцарской манере все ходили с зонтиками, еле разминаясь в переулках, чуть не выкалывая друг другу глаза. Но Ленин не любил его таскать: когда пригодится, а когда нет. Да и старое всё на себе, не жалко. Шёл и Бронский так.

В витринах нашлось примерно, как говорил Бронский. Только министры будто бы арестованы. Арестованы?... И ещё: у власти – члены Думы. А – царь? Ни слова о царе. Так ясно тогда, что царь – на свободе, с войсками, и сейчас задаст им баню.

Если вообще это всё не брехня.

Да нет, такое невозможно в сегодняшней России.

И у витрины не толпились, кроме них двоих и не было никого.

Мелкий дождь моросил на площадь, на озеро. Равномерно было заволочено всё над

озером, и в молочно-сизой пелене Ютлиберг по ту сторону. Ехали извозчики с тёмными верхами, равномерно шли зонтики тёмные. Какая там революция!...

А всё-таки бы выяснить до конца.

Пошли на Хайм-плац в газетный киоск, может быть что-нибудь попадётся. Газет Ленин никогда не покупал, но для такого случая можно было, из партийной кассы.

Однако простодушный киоскёр признался, что ни в одной ничего такого нет, – и ни одной не купили.

Оборвать этот вздор, идти в читальню и работать. А Бронский расслабился, потерялся и готов был, кажется, теперь не отставать, таскаться по улицам или ждать под дождём у витрины следующих телеграмм, – размывчивость людей без направления. Отчитал его – и расстался. И опять, опять, тысячу раз пройденными переулками, не замечая ни домов, ни витрин, ни людей, – пошёл к кантональной читальне.

Но перед самыми стрельчатыми окнами – замялся.

Что-то не пускало. Как будто должен был в двери застрять. Как будто разбухло что-то внутри за эти полчаса – и не пускало.

Между тем дождь прекратился.

Постоял, сердясь. Конечно, мог себя заставить, и мог бы до вечера высидеть, а... Прямая ясная работа звала – для шведов, а... Отвлекало вот, некстати. И выписки – «марксизм о государстве»... А не шлось.

Напротив, вывернулась чужая, несвойственная, даже преступная мысль: пойти в русскую читальню. Гнездо эсеров, анархистов, меньшевиков и всякого просто русского сброда. Как гнездо змей, старался его миновать всегда, не ходить на Кульманштрассе, не дышать этим воздухом, никого не встречать, не видеть. А сейчас подумал: ведь там, наверно, собрались, собираются... Знают, не знают, а – говорят, поговорят. Что-то можно услышать. Своего не сказать, а – что-то выведать.

И – нарушая все свои правила, но потягиваемый в это отвратительное место – пошёл.

Кульманштрассе была совсем не рядом, надо было заметно взять вверх по горе. Пошёл.

Действительно, в небольшую натопленную комнату набилось уже человек двадцать с холодной сырости и в сырой одежде, кто сидел, кто и не думал присесть, – но никто не молчал, все сразу говорили, гудели, галдели, и общий рокот как волнами бил по комнате. Ну, ещё бы! – российская любовь излить душу.

Только в одном ошибся: думал – на него вскинутся, удивятся, встретят враждебно, – нет. Кто заметил его приход, кто не заметил, но все восприняли так естественно, будто он был здесь привычный гость.

Ленин ответил кому-то (так, что и не ответил). Прямо ни у кого ничего не спросил. Сел на край скамьи в углу комнаты, снял котелок. И сидел слушал, как он один умел: то подозреваемое выбирая, чего другие и не слышали.

Оказывается, никто не знал больше всё тех же телеграмм, только вот: «после трёх дней борьбы» победила, после трёх дней, – кто-то принёс. В этом был какой-то признак достоверности, да, – и ахали, и уж совсем не сомневались. Не счёл Ленин нужным вслух возразить: что ж тогда эти три дня ничего не сообщали? В общем, никто не знал больше телеграмм, но множеством слов заливали всё возможное пространство вокруг этих сведений.

Один (никогда его не видел), с оттянутым сбитым галстуком, подбегал к тому, к другому, хлопал руками как петух крыльями, и не договорив и не разборчиво – дальше. А одна, высокая, только знала-нюхала букетик снежных колокольчиков: кто что ей ни скажет – а она только качалась изумлённо и нюхала.

Презрение ощущал Ленин к этим разглагольствованиям будто бы революционеров, как они звонко рассуждали о *свободе и революции*, нисколько не охватывая всех шахматных возможностей, при каких эти события умеют идти, и какие враги и как ловко умеют их перехватывать на ходу и даже при начале. Рассуждали как о всеобщем празднике, будто уже всё произошло и случилось (а что случилось? а что надо, чтобы случилось? – кто из них понимал?). Но что делает царь? и какая контрреволюционная армия идёт на Петербург? и как

уже наверно трусит Дума и спешит сговориться с реакцией? и как ещё слабы и не организованы пролетарские силы? – об этом не думали, этих ответов и не искали. А вдруг все, как будто помирясь и забывши межпартийные разногласия, эти оживлённые дамы с лентами вокруг шляпок, несли друг другу какую-то радостную околесицу, и вот, за час-за два уже перестав ощущать себя вынужденными жителями Швейцарии, но – «едино русскими», строили едино российские и беспочвенно российские догадки, как теперь всем вместе добираться скорей в Россию.

Н-ну!...

С этими амикошонскими ухватками и маниловскими проектами совались и к Ленину, подсаживались, одни – зная, кто он, другие – не зная, тут была и не политическая публика. Смотрел он сощурясь на этих рукомахальщиков, пьяных без вина, на этих дам щебечущих, – никому не ответил резко, но и ничего не ответил.

Они вот что придумывали: всем эмигрантам теперь объединиться без различия партий (мелкобуржуазные головы, набитые трухой!) и создать общешвейцарский русский эмигрантский комитет для возвращения на родину. И... и... и как-то возвращаться, но **как** – никто не знал, а предлагали всякое. И даже сегодня на вечер уже созывали подготовительную комиссию!

Возвращаться, когда неизвестно, что там делается. Может быть, уже у всех стен расстреливают революционеров.

Снаружи добавлялось ещё людей, но – не идей. И все друг у друга опять проверяли новости – и опять же никто не знал больше ни слова. И от пустопорожней их болтовни Ленин вышел так же малозаметно, как и вошёл.

На улице не только не было дождя, но посветлело, облака сильно поредели. Подсыхало, а холодно – так же.

Пошли ноги быстро вниз, в сторону библиотеки и домой.

Правильно было – пойти бы домой.

Вообще теперь неизвестно, куда было идти.

Остановился.

Лишь два часа назад, к обеду, так было всё ясно: раскалывать шведскую партию и что для этого надо читать, писать и делать. Но вот пришло со стороны недостоверное, невероятное и ненужное событие и как будто даже не задело, не столкнуло, – а вот уже сталкивало. Уже отвлекало силы и ломало распорядок.

И вернуться в библиотеку – оказалось нельзя.

И домой не хотелось. Как-то стало с Надей за последний год скучно всё обговаривать: растяжно и важно она произносит в ответ уж такое ясное, что и произносить не надо. Никаким откликом свежим, оригинальным, не мог он себя на ней поправить.

А потягивали ноги на то, чтобы походить.

Но – и не по улицам, надоели, видеть невозможно. А не подняться ли на Цюрихберг, уж вот рядом?

Чуть ветер поддувал – холодный, но не сильный. Дождя не только не будет, но ещё светлело, вот-вот и разорвёт.

В пальто, почти просохшем в читальне, Ленин пошёл теперь круто вверх. В горах и ноги разряжаются и мысли устанавливаются, что-то можно понять.

Чем круче, короче переулочек – тем быстрее туда, наверх. Ноги были сильны, как молодые. Спешили мальчишки туда же, с заспинными ранцами, с послеобеденных занятий, – Ильич от них не отставал. И задышки не было, и сердце выстукивало здорово.

Всё бы так. Но – голова... Но голову носил Ленин как драгоценное и больное. Аппарат для мгновенного принятия безошибочных решений, для нахождения разительных аргументов, – аппарат этот низкой мстительностью природы был болезненно и как-то, как будто, разветвлённо поражён, всё в новых местах отзываясь. Вероятно, как прорастает плесень в массивном куске живого – хлеба, мяса, гриба, – налётом зеленоватой плёнки и ниточками, уходящими в глубину: как будто и всё ещё цело и всё уже затронуто,

невыскребяемо, и когда болит голова, то не всю ощущаешь её больную, но такими отдельными поверхностями и ниточками. Можно думать так: болит, как у всех, выпить порошок, боль пройдёт. Но если подумаешь иногда иначе – что болит особенным образом, невозвратно, что порошок – только обман на несколько часов, а там прорастает глубже ниточками, то стискивает ужас: вырваться невозможно! От этой головы отделаться – некуда. Всё в мире ждёт твоих оценок и решений! всё в мире можно направить твоею волей! – а сам ты уже стиснут, и вырваться – невозможно!

Здоровое сердце, лёгкие, печень, желудок, руки, ноги, зубы, глаза, уши, – перечисляй и гордись. Но перед природой, как перед неумолимым зорким экзаменатором, ты что-то пропустил в перечислении, да всего не перечислить, – а болезнь уже заметила пропуск и тайными лазейками разрушения поползла, поползла. А достаточно всего одной червоточки, чтобы развалить всю статую здоровья.

И этим ослаблялось сожаление об их размолвках, недоумениях – всё почему-то непоправимей, когда усиливаешься сблизить. За год – можно и отвыкнуть. Она – нужна была ему. Нужна. Но – так ли нужен ей он? Из такой близости не приехать за год!? Да, конечно. С кем-то... Но полумёртвым примирением окутывало. От кантонального госпиталя он поднимался нагорной частью, витыми подъёмами, где швейцарские бюргеры побойче, карабкаясь над городом, ближе к лесу и небу, с обзором на озёрные дали, выстраивали себе особняки, маленькие Дворцы буржуа. Каждый придумывал, как украсить, – кто фигурной кладкой, кто изразцовыми плитами, кто шпилем, кто воротами, верандой, каретной, фонтаном, или назвать «Горной розой», «Гордевией», «Нисеттой». И подымались дымки из труб – конечно каминные топили для уюта.

Это устройство своей красоты и удобств, отгороженное заборами, решётками, нотариальными актами и удобными швейцарскими законами, повыше, отделясь от массы, – отдавалось в груди взбурливающим раздражением. О, как бы лихо привалить сюда снизу толпой, да погромить эти калитки, окна, двери, цветники – камнями, палками, каблуками, прикладами винтовок, – что может быть веселей? Неужели настолько погрязла, опустилась масса обездоленных, что уже никогда не поднимется на бунт? не вспомнит плавающих слов Марата: *человек имеет право вырвать у другого не только излишек, но необходимое. Чтоб не погибать самому, он имеет право зарезать другого и пожрать его трепещущее тело!*

Вот это славное якобинское мироощущение никак не проснётся в пролетариате лакейской республики, потому что падают куски со стола господ, подкармливают. И паутиной опутывают его гриммовские оппортунисты.

А – в Швеции?

А – что теперь в России?...

В России многое могло бы быть, да некому направить. Уж наверно сегодня там и проиграно всё, и топят в крови – но из телеграмм узнается только послезавтра.

Не потому, что на гору выше, а потому что прояснилось – становилось всё светлей. Под ногами уже сухи были чистые, никогда не в пыли, не в грязи гладкие вбитые камешки тротуаров и мостовых. От колеса проехавшего экипажа если и брызнет из лужи, то – чистой водой. На улицах горного склона – много деревьев, а выше – гуще, а выше – лес.

Тут уже и просто гуляли, не по делу шли. Одна, другая прошла буржуазная чинная медленная пара, с собранными зонтиками и с собачками на ремешках. Потом – две старых дамы, самодовольно-громко разговаривая. Ещё кто-то. Наслаждались своими кварталами. Тут – разрежение было от прохожих и разрежение ото всей жизни.

Уже под самым лесом одна улица шла ровно по горе, не спускаясь, не подымаясь. Она выходила на смотровую площадку, огороженную решёткой, и отсюда положено было, впрочем через ветки деревьев изнизу, любоваться дальним видом озёрной губы и всем городом в сизой дымке низины ~ шпилями, трубами, синими двойными трамваями, когда они переходили мосты. И сюда же всплывал от однообразно серых церквей опять этот механический металлический холодный звон.

И – бульварчик тут был, под большими деревьями, гравийный, со скамейками, а всего-то в десять шагов, всего и ведущий к одной единственной могиле, для неё и устроенный. Когда бывали с Надей на большом овальном Цюрихберге, то поднимались с других улиц и в другие места, а сюда не забраживали. Подошёл теперь к этой могиле на высоком обзорном месте.

Высотой от земли по грудь стояло надгробье из неровного, корявого серого камня, а на вделанной в камень металлической гладкой плите было выбито: «Георг Бюхнер. Умер в Цюрихе с неоконченной поэмой *Смерть Дантона*. ...»

Даже не сразу понялось: откуда-то известное имя это, Георг Бюхнер?... Но все известные ему были – социал-демократы, политические деятели. А – поэт?...

Кольнуло: да – сосед. Жил – Шпигельгассе 12, рядом, стена к стене, три шага от двери до двери. Эмигрант. Жил – по соседству. И умер. С неоконченной «Смертью Дантона».

Чертовщина какая-то. Дантон – оппортунист, Дантон – не Марат, Дантона не жалко, но не в нём и дело, а вот – сосед лежит. Тоже, наверно, рвался вернуться из этой проклятой сжатой узкой страны. А умер – в Цюрихе. В кантон-шпитале, а может быть – и на Шпигельгассе. Не написано, отчего умер, может быть вот так же болела голова, болела...

Что, правда, делать с головой? Со сном? с нервами?

И что вообще будет дальше? Не может одного человека хватить на борьбу против всех, на исправление, на направление – всех.

Скребущая какая-то встреча.

Весь Цюрих, наверно четверть миллиона людей, здешних и изо всей Европы, там внизу густились, работали, заключали сделки, меняли валюту, продавали, покупали, ели в ресторанах, заседали на собраниях, шли и ехали по улицам, – и всё в разные стороны, у всех несобранные, ненаправленные мысли. А он – тут стоял на горе и знал, как умел бы он их всех направить, объединить их волю.

Но власти такой не было у него. Он мог тут стоять над Цюрихом или лежать тут в могиле, – изменить Цюриха он не мог. Второй год он тут жил, и все усилия зря, ничего не сделано.

Три недели назад ликовал этот город на своём дурацком карнавале: пёрли оркестры в шутовских одеждах, отряды усердных барабанщиков, пронзительных трубачей, то фигуры на ходулях, то с паклевыми волосами в метр, горбоносые ведьмы и бедуины на верблюдах, катили на колёсах карусели, магазины, мёртвых великанов, пушки, те стреляли гарью, трубы выплёвывали конфетти, – сколько засидевшихся бездельников к тому готовились, шили костюмы, репетировали, сколько сытых сил не пожалели, освобождённых от войны! – половину бы тех сил да двинуть на всеобщую забастовку!

А через месяц, уже после Пасхи, будет праздник прощания с зимой, тут праздников не пересчитать, – ещё одно шествие, уже без масок и грима, парад ремесленного Цюриха, как и в прошлом был году: преувеличенные мешки с преувеличенным зерном, преувеличенные верстаки, переплётные станки, точильные круги, утюги, на тележке кузня под черепичной крышей, и на ходу раздувают горн и куют; молотки, топоры, вилы, цепа (неприятное воспоминание, как когда-то в Алакаевке заставляла мама стать сельским хозяином, отвращение от этих вил и цепов); вёсла через плечо, рыбы на палках, сапоги на знамёнах, дети с печёными хлебами и кренделями, – да можно б и похвастаться этим всем трудом, если б это не выродилось в буржуазность и не заявляло б так настойчиво о своём консерватизме, если б это не было цепляние за прошлое, которое надо начисто разрушать. Если б за ремесленниками в кожаных фартуках не ехали бы всадники в красных, белых, голубых и серебряных камзолах, в лиловых фраках и всех цветов треуголках, не шагали бы какие-то колонны стариков – в старинных сюртуках и с красными зонтиками, учёные судьи с преувеличенными золотыми медалями, наконец и маркизы-графини в бархатных платьях да белых париках, – не хватило на них гильотины Великой Французской! И опять сотни трубачей и десятки оркестров, и духовые верхом, всадники в шлемах и кольчугах, алебардисты и пехота наполеоновского времени, их последней войны, – до чего ж резвы они

играть в войну, когда не надо шагать на убойную, а предатели социал-патриоты не зовут их обернуться и начать гражданскую!

Да и что за рабочий класс у них? Бернская квартирная хозяйка, гладильщица, пролетарка, узнала, что они мать в крематории сожгли, не хоронили, не христиане, – выгнала с квартиры. Другая только за то, что они днём электричество зажгли, Шкловским показать, как ярко горит, – тоже выгнала.

Нет, их не поднять.

Что ж может сделать пяток иностранцев с самыми верными мыслями?...

Обернулся с бульвара и пошёл круто вверх, в лес.

Облака редели даже до нежных светло-жёлтых, можно было угадать, где сейчас вечернее солнце.

Вот и в лесу. Неразделанный, а где и с аллеями. Вперемежку с елями – какие-то сизо-беловатые стволы, не берёз и не осин. Мокрая земля густо застелена старой листвой. Тут и грязно и поскользнёшься, но в альпийских ботинках, нелепых на городском тротуаре, здесь как раз хорошо.

Круто поднимался, с напряжением ног. Был один. В сырости и по грязи аккуратные пары не гуляли.

Останавливался отдышаться.

На голых деревьях черно мокрели ещё пустые скворечники.

Нет подъёма трудней, чем от нелегальности к легальности. Ведь не случайное слово *подполье* : себя не показывая, всё анонимно, и вдруг выйти на возвышение и сказать: да, это я! берите оружие, я вас поведу! Почему так и трудно дался Пятый год, а Троцкий с Парвусом захватили всю российскую революцию. Как это важно – прийти на революцию вовремя! Опоздаешь на неделю – и потеряешь всё.

Что сейчас Парвус будет делать? Ах, надо было подружественней ответить ему.

Так – ехать? Если всё подтвердится – ехать? Вот так сразу? Всё – бросить. И – по воздуху перелететь? За первым хребтом горы местность уваливалась в сырой тёмный ельник, и там на дороге совсем было грязно, размешано. А можно было без тропинки идти по самому хребту – он сух, в траве и под редкими соснами. Вот, ещё на пригорок.

Отсюда опять открывался вид, ещё обзорнее. Большим куском было видно безмятежное оловянное озеро, и весь Цюрих под котловиной воздуха, никогда не разорванного артиллерийскими разрывами, не прорезанного криками революционной толпы. А солнце – вот уже и заходило, но не внизу, и почти на уровне глаз – за пологую Ютлиберг.

Как будто после лечебного забытая вынырнуло опять, что загнало его в неурочное время, в рабочий день, в эту сырость на гору: неудобство, волнение, испытанное в русской читальне, этот единый бараний рёв о том, что началась революция. До чего ж легковёрны эти все профессиональные революционеры, какую баснею их ни помани.

Теперь-то и нужно проявить величайшее недоверие и осторожность.

Так и пошёл бездорожным сухим хребтом, по бурой траве, по сухим веткам. Тут, на горе, часто лазают белки, а иногда и молоденькие косули, величиной с собаку и больше, вдали перемелькивают, дорогу перебегают.

На высоте и в тишине, в чистом воздухе – откладывало от головы, снимало давящий обруч. Все раздражения, все раздражающие люди – отпадали, забывались, внизу остались.

Тяжёлая была последняя зима, сильно измотала. С таким напряжением жить нельзя, побережь бы себя.

А – для чего беречь? Если ничего не делать – к чему и беречься?

Но – и так долго не проживёшь. Неважно с головой. Плохо.

Хребтик, по которому он шёл, обрывался к поперечной гравийной дороге. А, знакомое место, обелиск. Тропинка спускала туда. Это был памятник о двух сражениях 1799 года за Цюрих между революционными французами и австро-русской реакцией.

Против обелиска Ленин присел на сырую скамью, устал.

Да, правда, стреляли и здесь. Страшно подумать: и здесь были русские войска! и сюда

дотянулась царская лапа!

Ровный цокот копыт по твёрдому донёлся сверху, из-за горба дороги. И тут же из тёмного леса, в послезакатной уже неполноте света, показалась женская шляпа, притянутая лентой, – затем сама женщина в красном – и светло-рыжая лошадь. Лошадь шла шагом, женщина сидела струнно, – и что-то в её манере держаться и голову держать... – Инесса?!

Вздрогнул, увидел, поверил! – хотя никак было не возможно.

Ближе – нет конечно, а – чем-то похожа. Как себя сознаёт и держит – сокровищем.

Из тёмной чащи выехала – красная, и ехала в сыром, чистом, беззвучном вечере.

Да тут главной красавицей сознавала себя лошадь – из светло-рыжей даже жёлтая, лощёная, уборно заузdana, переборчиво ставила стаканчики копыт.

А всадница сидела невозмутимо или печально, смотрела только перед собой под уклон дороги, не покосилась ни на обелиск, ни на дурно одетого, внизу к скамейке придавленного, в чёрном котелке гриба.

И он просидел, не шевельнувшись, разглядывал её лицо, чёрное крыло волос из-под шляпы.

Если вдруг освободить мысли от всех необходимых и правильных задач – ведь красиво! Красивая женщина!

Покачивалась плечами или в талии не сама она, а лишь сколько качала её лошадь и стремением приподнимала носки сапожков.

Она проехала вниз, там дорога завернула – и только ещё копытный перебор доносился немного.

Проехала, ещё что-то отобрала – и увезла.

339

Не наизумиться, как вчера и сегодня проскользнул, пробалансировал блистательный удачник Керенский – между двух скал, между двух берегов, между двух расходящихся льдин – одной ногой там, другой здесь, точно вовремя прыгал, точно вовремя спрыгивал, – и вот цел-невредим, и триумфатор, и вознесен надо всей Россией!

Всю прошлую бессонную накалённую ночь надо было не столько участвовать в событиях, сколько исчезать и отсутствовать: велись роковые переговоры между Советом и цензовыми, и в присутствии обеих сторон Керенский был наиболее уязвим: как революционный демократ он должен был поддерживать своих советских компаньонов и вместе с ними изображать неуступчивость к буржуазии и презрение к их правительству. А на самом деле его как пилами пилили в ключья наглые и бессмысленные требования Нахамкиса и Гиммера, и чтоб не поддерживать их – но и молчать всё время нельзя! – он вскакивал куда-нибудь по делам.

А дел – у его стремительности было выше головы, дело можно было найти в любом уголке кипящего Таврического, а главное – уже третьи сутки был в его подчинении павильон с арестованными сановниками. И гениальная догадка открылась ему, что этот павильон и есть его площадка для взлёта! В вихре исторических событий в нас и рождаются молниями гениальные комбинации! Ситуация, когда действуешь даже не расчётом, даже не разумом, а – почти инстинктом, почти каким-то магнитным влечением сквозь туман! И выходишь точно к своей лесенке, ведущей наверх!

Очень упорное и опасное было сопротивление в Исполнительном Комитете – но разве, по сравнению с Керенским, был у них масштаб государственных деятелей! – ошеломительным ударом он опрокинул их всех! Когда его несли на руках из Совета – видел в задних рядах их лица, дышащие мстостью, но они не посмели и рта раскрыть.

А на всякий случай, если б через Совет не вышло, Керенский устроил себе и партийную страховку: поручил Зензинову и ещё хорошему другу, эсеру Сомову, собрать сегодня сколько можно эсеров, человек 7-8, в Петрограде их и не набиралось, приличных, без Александровича конечно, – и назвать их петроградской городской конференцией эсеров,

и принять решение: о поддержке нового правительства, о вступлении в него Керенского как форме контроля за правительством со стороны трудящихся масс, как защитника интересов народа.

Но – не понадобился запасной вариант, все рифы и так пройдены одним крылатым порывом! – в три часа правительство уже объявлено Милюковым. От мига объявления ещё новые крылья выросли за спиной, Керенский почти реял над толпой, со всех сторон принимая восхищённые взгляды и слыша восхищённый говор.

Александр Керенский – министр!!! Ждала ли этого, могла ли думать истрадавшаяся Россия?... Пытками, истязаниями, невиданными преследованиями измученная, – вот, она вырывалась к свободе – в нём, первом народном министре юстиции!

О, какую свободу он сейчас разольёт по лику России! О, как распахнёт её горизонты! И – о, трепещите, враги!!

И какой же простор для его деятельности! Но и сколько же энергии он ощущал в себе! Он забывал, он забыл прошлогоднюю болезнь, операцию, – о, как он был молод, как быстр, как умён, как исключителен! Три прошлых дня его связывала неопределённость с правительством, эти закулисные манёвры, – но теперь его энергия раскована, и он покажет себя России!

Однако: все ли поняли, все ли слышали милюковское объявление? Могли не все, тут публика меняется. Надо повторить ещё раз. И могли не все знать Александра Фёдоровича в лицо – надо показаться толпе.

Прошло два часа, как слез с площадки Милюков, – и Керенский с помощью крыльев взлетел выше, выше, на балкончик хор – да в новом демократическом виде, в глухой чёрной куртке со стоячим воротником, как он оделся для этого великого дня, для единения с народом, – и только вдохновенное лицо его белело.

И некоторые заметили, поднимали головы со дна Екатерининского зала, а другие не видели, толкались там внизу и гудели, – и Керенский воскликнул на весь зал юношеским голосом:

– Товарищи! Солдаты! И граждане! Я – член Государственной Думы Александр Фёдорович Керенский – ваш новый министр юстиции!!!

О, какая взметнулась буря аплодисментов! О, как раскатывалось «ура» под лепным сводом старого зала! О, этим восторгам не было конца! – и пусть не будет, и пусть не будет...

Перестоял молодой стройный министр весь штурм восторга, и продолжал так же звонко, отчётливо до самых дальних углов:

– Объявляю вам, что новое Временное Правительство вступило в исполнение своих обязанностей – по соглашению с Советом Рабочих и Солдатских Депутатов!

То, что Милюков, сам добившись, упустил объявить. То, что выигрышно было и одновременно укрепляло Керенского против ИК:

– Соглашение, заключённое Комитетом Государственной Думы и Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, – (как великие клятвы звучали эти слова!) – одобрено Советом Рабочих и Солдатских Депутатов сотнями голосов против пятнадцати! – торжествовал Керенский свою победу над ИК.

Взмывом голоса, толчком голоса он выразил толпе, что здесь ожидаются бурные аплодисменты! – и они обрушились к стопам его тонкого чёрного монумента встречным девятым валом! А по белым их гребешкам ещё хлопали крыльями чайки: «браво! браво!»

И когда схлынуло – юношеский монумент стоял всё так же неповреждённый. О, что может быть выше этого удовлетворения! – метать слова о свободе освобождённому народу!

– Временным Правительством будет немедленно опубликован акт полной амнистии! Наши товарищи-депутаты Второй и Четвёртой Государственных Дум, незаконно сосланные в тундры Сибири, – он весь трепетал от наступившей справедливости, он словно сам освобождался сейчас из сибирских тундр, – будут немедленно освобождены и препровождены с особым почётом!!

Здесь он опять ждал бури аплодисментов, но недостаточно подтолкнул, она не возникла.

– Товарищи! – прорекнул он к другому, и опять выигрышному. – В моём распоряжении находятся **все** председатели советов министров прежнего режима! И **все** министры старого правительства! Они ответят, товарищи, за **все** преступления перед народом! Согласно закону.

(Пока ещё не созданному).

Аплодировали. Вместо чаек летели чёрные птицы возмездия: «Без пощады!»

Но прирождённый, оказывается, легко плавать в этой народной буре, отважный пловец не дал себя смыть, но красиво набирал своё направление:

– Товарищи! Свободная Россия не будет прибегать к тем позорным средствам борьбы, к которым прибегала старая власть. Без суда – никто не будет подвергнут наказанию. Всех будет судить гласный народный суд. За-ко-но-по-ло-же-ни-я, принятые новым правительством, будут опубликованы!

И вот – он магнетически владел толпой! Он мог вызвать бурю в ней, а мог – благородно успокоить. И, выходя за пределы юстиции, он мог помочь и другим своим коллегам по правительству, у кого не хватало смелости вот так обращаться:

– Солдаты! Прошу вас, окажите нам содействие! Не слушайте призывов, исходящих от агентов старой власти! – слушайте ваших офицеров! Свободная Россия родилась – и никому не удастся вырвать свободу из рук народа!

О, какое «ура»! Какая новая буря аплодисментов! И – раскланиваясь, раскланиваясь – на этот раз по её волнам Керенский уплыл в рабочие комнаты правительственного крыла.

Он – и представился. И увлёк. И направил.

Всё трепетало в нём, но не только восторгом от этого поклонения, но и жаждой дальнейших действий! Министр юстиции не мог ожидать и прозябать ещё целые часы, пока неуклюжее новое правительство соберётся функционировать.

Ревель? Он взял аппарат в мятежный Ревель и вмиг успокоил город.

Можно было тотчас рвануться в здание министерства юстиции – и бурно приняться за реформу министерства. Однако там сейчас сидели два комиссара Думы (просчёт Маклакова: надо было ему присутствовать здесь, а не там). Они уже там выработали острейшие популярные реформы – всеобщую амнистию и зачисление всех евреев-юристов в сословие присяжных поверенных. Так надо опередить! Надо сейчас же отсюда, из Таврического, телеграфом во все концы России – от имени нового кипучего министра!

Итак, первый шаг: немедленно освободить всех политических заключённых и подследственных из всех русских тюрем – и всем прокурорам судебных палат доложить о том министру телеграфно! А особо: немедленно освободить всех членов Государственной Думы, пятерых большевиков. И возложить на енисейского губернатора, под его личную ответственность: обеспечить самое почётное их возвращение в Петроград.

Второй шаг: приём в адвокатуру всех евреев, помощников присяжных поверенных. (О, какая возникнет сразу популярность и прочность!)

Затем: немедленно прекратить политический сыск и дознания по всей Российской империи!

Пока, для завтрашних газет, – довольно.

А ещё – у него оставались любимые узники в министерском павильоне. И самый, лично излюбленный из них, министр Макаров. Без Керенского его бы не схватили, он бы ушёл: во вторник его задержали, привели, но освободили: враг Распутина и не освобождал Сухомлинова. Но память людская забыла, что Макаров противостоял восходящей звезде Керенского в деле о Ленском расстреле, мог не дать ему взлететь в решающие месяцы перед выборами в 4-ю Думу. Но когда Макарова освободили – был поздний вечер, он побоялся возвращаться по революционным улицам и нашёл пристанище в частной квартире на антресолях дворца. А Керенскому – к счастью шепнули! И он прихватил двух вооружённых солдат, бегом по лестницам наверх, сам ворвался в квартиру и сам снова арестовал

Макарова!

Однако и много уже их, арестованных сановников, набралось в павильоне, битком. А самым опасным и зловредным здесь не место. Решил Керенский: сегодня же ночью, когда не будет публики, под строго надёжным конвоем перебросить их в Петропавловскую крепость.

Это будет – и народный эффект!

А что ожидало теперь самого Александра Фёдоровича – наполняло его ещё новым освобождением! В первые же сутки революции тут, на кушетке, сообразил он, что эти невиданные обстоятельства освобождают его от скучного домашнего плена: стало естественно теперь, что он никак не сможет ходить ночевать домой – ещё долго, долго! В понедельник утром ускочив из дому, он больше туда не ступил ногой.

А дальше... рисовалась упоительная вереница встреч... В миг успеха всегда находятся женщины, готовые радостно нас принять. Как будто, притаясь, они все ждали этого момента, – а тут все сразу объявляются, улыбаются, зовут облегчить историческое бремя.

А пока – эти ночи прокорчились тут на таврических диванах, столах и стульях, да и ночей не было. Но надо было устроить свой быт на холостую ногу в министерстве юстиции: взять себе кабинет министра, ещё пару комнат – а остальную казённую квартиру оставить жене арестованного Добровольского. На нужду исторической личности сразу появляются и нужные помощники: перед Керенским вырос граф Орлов-Давыдов (Керенский был шафером на его второй свадьбе, с актрисой Пуаре), и всем усердием готовый услужать и помогать: для кормления Александра Фёдоровича приставить своего графского повара, и всюду сопровождать, и вообще выполнить любое интимное поручение. Сам граф, правда, очень пострадал в общественной репутации после скандала разводного процесса с Пуаре (для неё разводился, а она дурачила его ложной беременностью, мнимыми родами, и только случайно граф догадался, и сколько позора). Но всё равно – граф! и какая старинная звонкая фамилия! и богат!

340

* * *

В Москве морозец – градуса три. Улицы переполнены ещё больше вчерашнего. Всеобщее торжество. Раздаются, теснятся, чтобы пропустить вооружённые автомобили. Кое-где военные оркестры. Во главе военных отрядов уже не только прапорщики, но – подполковники и полковники.

Около городской думы два английских офицера с восторгом говорят публике: «Мы знали, что Россия – великая страна, но не знали, что у вас такая прекрасная дисциплина. Наконец настоящая Россия нашла себя! Мы передадим в Англии, что мы видели».

Со ступенек думы объявляют: в Луге созданся отряд, который арестует царя.

В самой думе стало так тесно, что сегодня днём подполковник Грузинов реквизирует кинематограф «Художественный» на Арбатской площади и перевёл туда свой штаб восстания. Сам он объезжал город на автомобиле и везде держал речи.

* * *

Весь день в разных местах Петрограда – митинги, политические речи: какая будет власть? что будет с царём?

Какой-то в затёртом пальтишке:

– Товарищи! Да разве Родзянко и Милюков могут нам дать землю и волю?

Студент:

– Товарищи! Это говорит провокатор!

А тот:

– Вас хотят усыпить, чтобы вы подчинились и больше ничего не требовали!

Вылезает господин в чёрной мягкой шляпе и держит речь о честности Родзянки:

– Он много лет защищал народные интересы!

В толпе на лицах- страдание нерешённости: кому верить?

* * *

«Россия! Ты больше не раба!» – под красными флагами, с красными бантами по Невскому оживлённая, плотная смешанная демонстрация: рабочие в чёрных пальто, работницы, студенты – и с ними вместе, вперемешку, упитанные белокожие обыватели, хорошо одетые, в дорогих шубах, в котелках. Все вместе поют:

Долго в цепях нас держали!

Долго нас голод томил!...

* * *

14-летняя Леночка Таубе записала в дневник: «С Кронштадтом телефонная связь прервалась, а телеграфная сохранилась. И нам пришла телеграмма, неизвестно от кого: 'Барин жив и здоров арестован'. Мама то в слезах, то в обмороке».

* * *

В квартиру звонок. Два безусых солдата, на папах красные лохмотья:

– Дозвольте посмотреть.

В зубах папиросы. Уходя, на пол их, гасят и сплёвывают.

– ...Всё обыскивают, всё обшаривают... При старом режиме так не бывало.

* * *

Несколько сибирских скопцов, по торговым делам приехавших в Петроград, были взяты при обыске меблированных комнат на углу Невского и Пушкинской. От вида ли их, с женскими лицами, но вдруг заподозрили, что они – от охранки. И повели. А толпа на улице, глядя на их необычные старые физиономии, вдруг решила почему-то, что это ведут придворных лакеев, – и с ненавистью стала кричать, теснить конвоиров. Недалеко было, что скопцов тут же и разорвут.

Но всё-таки довели до нового участка милиции, там студент быстро разобрался, вышел, убедил толпу, – и перепуганных старичков отпустили.

* * *

Нападали на ломовиков, везущих продовольствие: «Куда везёте? Здесь раздавайте!» И растаскивали.

* * *

Два драматических артиста арестовали директора императорских театров Теляковского и с патрулём доставили в Думу. Там ответили: «Пока не подлежит аресту». Отпустили.

* * *

Армейский капитан, до 27 февраля сидевший в «Крестах», дважды судившийся за подлоги, при освобождении объявил себя комендантом тюрьмы. Побыл так. Потом пошёл на патронный завод, арестовал начальника завода и объявил начальником себя. Собрал рабочих, говорил им речь – и тут заподозрили, что он безумен. Отвезли его в Таврический дворец, а оттуда в госпиталь.

* * *

В штабе новой милиции, в городской думе, так обременены работой, в одной руке телефонная трубка, в другой – печать городской управы, что некогда поговорить друг с другом. Кто-то приходит, садится рядом, начинает работать, получает поручения, выполняет их – потом начальник опоминается: «А кто его назначил? Вы?» – «Нет». – «Так и я не назначал».

* * *

В Петропавловской крепости набралось много лишних офицеров – ни в какой не охране, не гарнизонные, а слоняются, обсуждают события, играют в бильярд. Прячутся.

* * *

Перед вечером с грузового автомобиля читают толпе свежие «Известия», состав нового правительства.

Удивляются: «А что ж Родзянко? Не вошёл?»

Толпа перекачивается по Невскому, радуется.

* * *

И другие ещё листовки, розовые, на стенах, не на Невском: «Не верьте Временному правительству! Рабочие должны взять власть в свои руки».

Люди читают с недоумением.

* * *

В цирке Чинизелли вечером – солдатское собрание, всё полно. Гудят, что Милюков обещал царя возворотить. Это что же значит? – нас наказывать будут?... Хотят обмануть??

В Доме Армии и Флота, в зале, где вчера собирались офицеры, сегодня вечером! – пленарное собрание ротных и батальонных комитетов. Среди докладчиков – депутат Государственной Думы Родичев, в пенсне и с сильным красивым голосом, – благодарит солдат за совершённые подвиги, восторгается их мужеством, но напоминает о родине и дисциплине.

* * *

А депутат Думы Шидловский поехал по вызову в Измайловский батальон. Солдаты рассказали, что незадолго перед тем были какие-то двое, назвали себя членами Совета рабочих депутатов, звали солдат к окончанию войны и убеждали не повиноваться офицерам. Солдаты сами усумнились, потребовали от агитаторов полномочий, их не оказалось. Вытолкали их вон. Теперь просили члена Думы разъяснить «приказ № 1»: нужно ли подчиняться офицерам? Шидловский стал уверять (он сам так слышал, Чхеидзе отрекался), что Совет рабочих депутатов относится к «приказу» отрицательно. Тогда спрашивали: «А что ж смотрит военный министр Гучков, почему не запретил?»

* * *

За дни революции во дворце великой княгини Марии Павловны разграбили и перебили винный погреб на полмиллиона рублей.

* * *

На ночь опять в домах огней не зажигают или укрывают. Беспокойно.

* * *

Вечером возник слух, что на Васильевском острове толпа громит университет.

Что какие-то чёрные автомобили разъезжают по городу и расстреливают мирных жителей.

У костров на улицах – военные и штатские патрули, новые милиционеры и добровольцы с винтовками, револьверами. Останавливают пронсящиеся иногда автомобили, требуют пропуска.

Кое-где в темноте чернеют застрявшие в снегу грузовые и легковые автомобили.

К ночи пошёл крупный редкий картинный снег.

341

По линии разнёсся слух, что едут важные члены Государственной Думы, сам Гучков, – и на станциях собирались кучки или толпишки – железнодорожники, рабочие, отдельные солдаты, случайные люди или пассажиры, и требовали речь, как в эти дни все приучились требовать, как очередную еду. Гучков с тамбурной площадки своего вагона или с какого-нибудь ящика на платформе, сняв пенсне и щурясь, держал к ним речь, уж он наизусть её сам знал: слушаться офицеров, поддерживать новую власть, да здравствует революция и победа над немцами.

В Гатчине была большая толпа, и он говорил дольше, но то же самое.

После Гатчины ему уже стало казаться, что проворачивается вхолостую мельница, опустошая его, а без пользы.

Задержались в Гатчине с полчаса лишних, ожидая подъезда генерала Иванова по соединительной ветке. Но не было его. А день – уже к концу, поездка затянулась, миссия не выполнялась, нельзя было ждать. Поехали. (Уже потом, в пути, нагнала телеграмма Иванова, что он в Вырице и рад повидаться. Другого Гучков и не ждал. Назначил ему опять в Гатчине,

но уже на обратном).

В Гатчине 20-тысячный гарнизон был спокоен. А о таком же лужском гарнизоне ещё с вечера знал Гучков, что там восстание и убивают офицеров. И сегодня с утра по его поручению поехали туда член Государственной Думы Лебедев и полковник генерального штаба Лебедев – уладить и успокоить: слишком важное место занимала Луга на линии Петроград-Псков. Хотя именно этим мятежом она и сослужила революции, обезоружив бородинцев. Но и – достаточно, дальше это уже начинало мешать.

Гучкову много раз приходилось выезжать на фронты, правда всегда по делам Красного Креста, но в этих выездах он чувствовал в себе хорошую военную подвижность, была у него и полувоенная одежда, куртка, сапоги, его часто так фотографировали и помещали в обозрениях. И сегодня поездка была вполне фронтовая, вот предстояло в Луге окунуться в это солдатское море, может быть возмущённое и опасное, а Гучков и любил опасность, и только не хватало ему сейчас для лёгкости той своей военной одежды. Но он всё же ехал к Государю – и на нём был хороший костюм, крахмальный воротничок, галстук, а сверху – городская, тяжеловатая шуба с дорогим меховым воротником и шапка меховая.

Вид лужского вокзала был необычен от множества солдат – но не в командах и не в строю, а бродящих, смотрящих, бездельных, – впрочем, петроградский глаз это уже не могло удивить. Среди этих бездельников сразу возникло движение к приехавшему поезду всего из одного вагона – и стали сталпливаться, кто безобидно, кто дерзко. Дерзость в солдатах особенно была в глаза.

Оба Лебедева тотчас вошли в вагон, хотели докладывать – но толпа густилась и надо было разрядить её речью. Гучков это понял, вышел и повторил всё то же от имени святой Государственной Думы и священной войны против германцев.

Помогло. Послушали, покричали «ура», – разредились, расходились. Лебедевы извинялись, что им не удалось устроить встречу с почётным караулом, оркестром и дефилированием под «марсельезу», как их самих встречал здешний ротмистр. Но за последние часы здесь сильно всё смешалось. Лебедевы застали тут военный комитет, составленный из одной автомобильной роты, без других частей, – и определённо уже снесшийся, да тут недалеко, с петроградским Советом рабочих депутатов: те же повадки и те же лозунги, и недоверие к Думе. А в городе тем временем идут грабежи и самосуды. Лебедев-полковник действовал решительным образом: составил новый, другой, военный комитет, который бы принял полноту власти в Луге и подчинился бы думскому Комитету. Но полдня прошло, чтобы собрать выборных делегатов ото всех частей, по одному офицеру и одному солдату от каждой роты и батареи. Зато дальше он сам на свой глаз назначил кандидатов из собравшихся – 6 офицеров и 6 солдат, – а кто вообще знал, как выбираются комитеты? это не известно никому, – затем предложил поднимать руки и, не считая их, объявил всех своих кандидатов выбранными. Таким образом нужный комитет был избран, но ещё не овладел гарнизоном Луги и не известно, будут ли его приказы исполнять. Пока там сейчас ездят по частям и говорят речи – а здесь, на вокзале, в царских комнатах, утвердился тот первый комитет, из революционных автомобилистов, он не признавал второго комитета, а час назад ему привезли кучу воззваний от петроградского Совета, – и вот с этим комитетом Гучкову не миновать было иметь дело сейчас.

Шульгин остался в вагоне писать проект отречения, Гучков пошёл в здание вокзала на переговоры с комитетом. Держа марку, комитет не прислал своих представителей приветствовать его приезд.

Конечно, никто из них не знал, что в эти самые часы Гучков становился военным министром. Но как прославленный деятель России мог бы он ожидать от рядовых сограждан более почтительного приёма. И когда в комнату вошёл – навстречу ему никто не поднялся, а указали, где ему сесть за одним столом с ними в дымах махорки. Все курили и сплёвывали на пол, курили и плевали. Перед его приходом тут кипели, что генерал артбригады Беляев приказал сжечь часть привезенных из Петрограда воззваний, – и теперь вызвали генерала на заседание своего комитета и готовились с ним рассчитаться.

Сразу Гучков погрузился в эту гущу. Меньше всего он мог сейчас тратить время и усилия на Лугу, а надо было. Изю всего нового правительства самый противный Совету рабочих депутатов, – здесь, признавая силу обстановки, он должен был лгать им, что в Петрограде между думским Комитетом и Советом депутатов противоречий нет. Всё нутро переворачивало от их хамства, но Гучков не должен был вскочить, скомандовать им или уйти сам, а должен был сидеть и убеждать навести порядок, – да более того, такой порядок, чтобы сегодня же ночью Лугу мог беспрепятственно пройти царский поезд, направляясь в Царское Село.

Гучков ехал выполнить миссию всей своей жизни, сделать исторический шаг за всю Россию, – а должен был преть здесь с этой неподчиняемой массой, высматривать её ускользающую душу. Он ехал на историческую встречу с Государем – а должен был потеть, измять и изгрязнить крахмальный воротник в этой духоте и махорке. Он ехал ставить ультиматум главе государства – но сам оказывался в унтер-офицерских клещах. Был момент такого подозрения: он не был уверен, что его самого-то отпустят ехать дальше.

Сколько же спорили об этом Народе! – обездоленные добродетельные труженики, кого урядники и жандармы не допускают к добру, а интеллигенция могла бы вывести к свету, – или счастливая религиозная масса, всегда готовая принести себя в жертву на алтарь Отечества. Но оказаться с этим Народом на равных, в продымленной заплёванной комнате, на одной скамье – пришлось очень неудобно. И – ни одно из лиц автомобильного комитета не напоминало благообразного народного Лица, – все до одного были неожиданные, неподступистые, неуговорные.

Гучкова не хватало за плечи, не наставляли на него штыков, – но с тоской и озлоблением ощутил он всю тёмную силу этой стихии, которой, увы, дали вырваться. Чего он и опасался всегда.

Тем временем приехал этот самый ротмистр Воронович, высокий ражий кавалерист, очень подобранный, отличная выправка. Смоляные приглаженные волосы, холёные пушистые усики – а лицо совсем закрытое. Оказался не рубака, а отличный дипломат. Присел к их общему разговору, и Гучков поражён был, как свободно среди мятежных солдат и тотчас после убийства своих однополчан-офицеров этот ротмистр себя чувствовал, с какой (осторожной, однако) свободой и (осторожной) уверенностью он рассуждал, находя ещё и тонкие способы дать понять Гучкову, что он его поддерживает, конечно.

Сколько видел Гучков армейских офицеров – а никогда не замечал, не выделял среди них этого типа, который так легко поскользится по волнам революции.

С приходом ротмистра обсуждение пошло всё благополучней, уже не было тени, что Гучкова задержат или имеют право задержать, или подозревают, зачем это он едет к царю (а запросто бы могли! и вот, Совет депутатов дотянулся бы, да с каким скандалом!). А про царский поезд Гучков не стал выяснять, было бы опасно. Он понимал, что царь только и рвётся к своей супруге, и за отречение он имеет право получить такую плату, – ну что ж, проедет вкруговую, опять через Дно.

Переговоры – неизвестно о чём, – об общем положении, о победе над старым режимом, о верности боевым знаменам и петроградским властям, – кончились, и Гучков пошёл к своему поезду.

Но не узнал его.

Паровоз по своей круглой чёрной груди был накрест перевит красными лентами, и красный флаг торчал на будке машиниста, ещё, где можно, воткнуты были еловые ветки. А ещё прицепили другой вагон, пассажирский пригородный, в котором своя топилась печка, искры из трубы, и туда село несколько солдат и несколько вооружённых штатских, все с красными бантами.

Гучков не имел власти и воли разрушать это революционное великолепие, или отцеплять второй вагон, уж он был рад, что самого-то отпускали беспрепятственно.

Напугали бы они царя и свиту на псковском вокзале, да уже и сейчас было темно.

Государыня придумала: послать не одного офицера, а двух, и каждому дать по письму, и притом на маленьких бумажках, так, чтоб их можно было сложить в вершок, спрятать в сапоге, а в случае чего и сжечь. Кто-нибудь из двоих офицеров доберётся!

И всё, что теснилось и бурлило в ней, – она в эти часы пыталась, в промежутке между делами, вписывать то в одно письмо, то в другое.

А часы были ужасные. Добралась из Петрограда молодая фрейлина, по возрасту подруга дочерей, – и что, она рассказывала, творится там – это не вмещалось в голове. Посланный к Родзянке генерал-адъютант Линеви́ч так и не вернулся, ни вчера, ни сегодня. Саблин из Петрограда прислал с верным человеком тайную записку, что рвётся сюда, но никак не может поехать, потому что все такие видные, как он, – но учёте. Генерала Гротена послали в царскосельскую ратушу на переговоры с мятежниками – и он что-то не возвращался.

Первоначальная утренняя радость, что Государь нашёлся во Пскове, постепенно затемнялась встающими чёрными клубами тревоги. Добровольно ли он поехал туда и остаётся там? Не пойман ли он в западню?

Величайшая низость и подлость, не слыханная в истории, – задерживать своего Государя! Как унижительно ощущать Государя в плену! Какой ужас для союзников! Какая радость врагам!

Ах, жалела она теперь, что не сказала дедушке Иванову – действовать самым решительным образом по освобождению Государя! А он, по доброте, может проявить мягкость.

И – зачем бы захватили царя? Ясно: не допустить его увидеться с царицей. И – для чего же? Заставить его подписать какое-нибудь невыносимое ответственное министерство. Но это было бы гибелью России. И как бы ни был Государь обманут и отделён от своих верных войск – не может он изменить своей коронационной клятве! Не может он разрешить короне стать придаточным украшением, а власть отдать самоответственному правительству из самозванных лиц!

Или – вынуждают его назначить каких-нибудь невыносимых министров?

А что, правда, делать? Нельзя залить столицу кровью, да ещё во время войны. И тем более во время войны нельзя оставить мятеж пылать. Если не удастся торжественный вход Иванова в Петроград – какие-то уступки, может быть, и неизбежны, только вопрос: кому? до каких пор? и в какой форме?

Там, во псковской немоте, происходил, быть может, великий духовный поединок: её супруг своею некрепкой душой отстаивал священный принцип – а она не могла в эти часы приложить ему свои силы и твёрдость! И – ни весточки получить от него! И – как дослать свою по воздуху?

О, мой святой страдалец! Какое невыразимое унижение я испытываю за тебя! Как разрывающе больно за тебя – и ничего не могу тебе посоветовать. Только не дай насиловать твою волю! Бог должен услышать наши мольбы и послать нам наконец какой-нибудь успех. Это – вершина несчастий, и мы пройдем её! Вера моя безгранична, и это поддерживает меня. Бог не покинет тебя и нашу любимую страну. Сейчас хотела вложить тебе и образок в письмо – но тогда нельзя скомкать бумажку. Вот ты стесняешься носить крест Григория – а насколько тебе было бы (спокойнее! А моё настроение – бодрое, боевое, знай! А если тебе, не имея за собой никакой армии, придётся поклониться обстоятельствам, то Бог потом поможет и освободиться от них. Если тебя принудят к уступкам, то ты потом ни в коем случае не обязан их выполнять, потому что они добыты недостойным образом. Если ты и подпишешь обещание – оно не будет иметь никакой силы, когда власть снова окажется в твоих руках. Но всемогущий Бог – выше всего, он – любит своего помазанника, и спасёт тебя, и восстановит в твоих правах. Бог поможет, поможет, и твоя слава вернётся!

Два течения, две змеи – Дума и революционеры, – может быть, они отгрызут друг

другу головы – и так спасут положение? Я чувствую, что Бог что-нибудь сделает!

А может быть ты покажешься войскам во Пскове и соберёшь их вокруг себя? Когда войска узнают, что тебя не выпускали, – войска придут в неистовство и восстанут против всех!!!

...Пришёл генерал Ресин и доложил: генерала Гротена революционеры в ратуше арестовали.

343

В Ростове-на-Дону уже третий день накаплился общественный взрыв. Ростовчане привыкли к полной свободе всякой речи, также и гневной, – на улице, в трамвае, в университетском коридоре и на базаре. А тут – от Ростова что-то скрывали! Третий день не приходило никаких агентских телеграмм из Петрограда – хотя провода были целы, потому что приходили частные телеграммы. И из этих частных улавливались намёки на какие-то важные события в столице. Кидались день и кидались другой к редакциям «Приазовского края» и «Ростовской речи» – но и там не знали больше, чем простые обыватели. Непроходимые тупицы правящей власти наступили где-то сапогом на поток известий и придушили его. Но слухами, слухами – прорывало запрет неудержимо!

Какие уж там учебные занятия! Вчера ещё только перебегающая тревога, а сегодня и в университете и на высших женских курсах лекции шли кое-как, многих не было на месте, и уж конечно Сони Архангородской. Вместе с несколькими подругами по юридическому факультету они бродили по городу, и к газетным редакциям, и просто вдоль Садовой, и звонили по телефонам – чтоб узнать, узнать скорее и раньше! – а сердце-то уже догадывалось: наступил несравненный миг жизни!

А ещё же дышала весна! Днями сильно таяло, по всем улицам, буровя снег, неслись коричневые ручьи, показывая наклоны всех улиц, такие резкие в Ростове. К вечеру подстывало – по оголённым тротуарам тонкой льдистой коркой, в месиве дорожного снега коричневыми лужками. Но сохранялся, как всегда бывает в Ростове в мартовские вечера, – уже весенний воздух, откуда-то прилетевший таинственно-радостный воздух весны.

Конечно, больше мог знать папа, Соня дважды забегала домой узнать что-нибудь – но и Зоя Львовна полдня не могла с ним соединиться, а потом узнала, что он вызван на срочное заседание военно-промышленного комитета. После университета вернулся Володя, он отсидел все лекции, – тут Соня увлекла его тоже идти к «Приазовскому краю».

И там толпились ещё два часа, потому что обещали из редакции, что какие-то новости вот-вот будут, вот-вот, да будет специальный бюллетень, – и наконец уже к самому вечеру выскочили газетчики с пачками бюллетеня – сперва с отчаянными криками, а потом и кричать перестали, – только успевали медяки принимать и кидать в карманы, а пачки на руках утончались и чуть не мгновенно исчезали.

И какие же новости!! – никто в толпе не жалел, что постоял. С весной природы соединилась буйная весна газетная! Чёрными типографскими буквами подтверждалось больше, чем даже слухи перед тем: не просто петроградские волнения – но вся власть в России перешла к народному представительству!!!

Какие ликующие минуты! Какой жгучий момент! Теперь неизбежным казалось, что и тиран падёт! Восстанет из смрадного гроба Россия! Долой монархию! Долой сословия!

Уже – вся Садовая праздновала, и ясно, что на несколько дней! Густо высыпали толпами – по обоим тротуарам не пробиться, только течь в медленном потоке. Все радовались, незнакомые (хотя мало таких в Ростове) обсуждали друг с другом, там и здесь начинали запевать революционные песни. А уж свыше меры были переполнены кофейни «Амбир» и «Чашка чая»: там читали вслух новости, произносили речи, потребовали от оркестра исполнить марсельезу, все встали, а офицеры взяли под козырёк. Кто-то кричал «да здравствует Франция!» – и высказывали, что надо пойти манифестацией к французскому консульству.

А полицейские?! – стояли на постах – но безучастно! – но как будто ничего-ничего не замечая! Так это значит: им велено так!?

Но если Новочеркасск бросит на Ростов казаков? Это будет мясорубка!

А самая главная манифестация, мешая и трамваям идти на вокзал, трамваям непоместительно стало в городе, – сгущалась как раз против квартиры Архангородских на углу Почтового: потому что *vis-a-vis*, по ту сторону Садовой высились ребристые колонны переехавшего теперь в Ростов Варшавского (в этих днях вот-вот ожидалось, что правительство учредит его Донским) университета. Толпа собралась тысячная, запивая всё вокруг университетского входа под навесом громадного балкона, и мостовую Садовой, и Почтовый переулок.

Очень ждали конца университетской сходки: что она решит? – хотя как будто не от неё зависел ход дел в России. Уже было темно, когда из двузеркальных дверей университета и студенты стали выливаться сюда, в толпу. Оказалось: избрали студенческий Революционный комитет, хотя была оппозиция студенческого «Прогрессивного блока» (и Володя в нём), а некоторые филологи беспринципно заявляли, что «считают себя вообще некомпетентными в таких вопросах».

Что за ужимки? Да курсистки завтра же изберут и своих депутатов к вам!

Хотя горели обычные уличные газовые фонари вразрядку и светились окна домов – молодёжь притащила с десятков факелов, оставшихся от какого-то карнавала, и их тревожные смоляные огни запылали в нескольких местах над толпой.

Два-три факела поднялись и на обширный балкон университета, куда вышли члены Революционного комитета и профессора со своего совета – они, кажется, не совсем охотно. Недовольными выглядели и ректор Вехов, и славяновед Яцимирский, а маленький густоусый математик Мордухай-Болтовской – так просто сердитым. Зато рядом с ним сиял профессор физики Колли.

И зазвенела с балкона смелая речь юношеским горлом к толпе, невозможная ещё сегодня утром:

– Бастилию берут не разумом, а порывом! Победоносный народ сбил цепи своей неволи! Злостное пренебрежение *старого режима* к священным интересам родины... Режим был весь пропитан прусскими идеалами... Но кучка негодяев, управлявшая Россией против России, – упала! Все живые силы страны присоединяются к революции! Начинается долгожданное обновление России!...

А власти – ничему не мешали! А полиции – как не было никакой, забились куда-то в тёмный угол.

Из толпы, оборачиваясь, видела Соня через сплетение голых ветвей, как на балкончике их углом, надев шубы, стояли папа с мамой и смотрели сюда.

А папа – что-то же ещё знает, что-то расскажет!

Сказочный вечер! Нехотя расходились.

Соня бегом по лестнице, влетела в столовую, – верхнего света нет, ужин не накрывается, а мама при настольной лампе горячо разговаривает по телефону. А есть как хочется! Пошли с Володей в папин кабинет. Илья Исакович за большим письменным столом, лампа в белом матовом абажуре.

– Папа! Папа! Ну скажи сперва в трёх словах! А потом подробно.

Илья Исакович смотрел как бы с виноватым видом, за очками его, кажется, можно было увидеть по слезе:

– Слова отстают от чувств.

– Ну, а подробно??

– А что мы говорили, папа, а что? – ликовала Соня. – Николашка мечется в поезде! Ясно, что дни его сочтены. Теперь ясно, что в Пятом году царизму был нанесен смертельный удар, и эти 12 лет – только агония!

– Да дай же папе, – останавливал Володя.

Со своей обычной умеренностью в движениях, не потерянной и в такой великий день,

ещё немного повернувшись к ним в своём поворотном кресле, держа пальцы в переплёте у брюшка, Илья Исакович вместо ликования сказал негромко:

– Теперь... теперь, дети... Надо напрячь всю волю, чтобы только не закружилась от радости голова. Теперь-то и начинается самое опасное.

– Что?? Почему? Да ты может быть не всё знаешь, папа? Ты бюллетень-то читал? Вот мы принесли... – Рванула бежать в коридор к пальто.

– Садись уж, садись, – усмехнулся Илья Исакович. – Я за четыре часа до вашего бюллетеня знал.

Сестра и брат сели на стулья, поближе.

Оказалось, что Илья Исакович уже с полудня заседал в военно-промышленном комитете. Председателя их, известного Парамонова, тучного, но подвижного промышленного туза, вызвали вместе с ростовским и нахичеванским городскими головами и с Зеелером от дона-кубанского Земгора – к градоначальнику генерал-майору Мейеру. Тем более военно-промышленный комитет продолжал заседать и обсуждать гадаемое. Часа через два вернулся к ним и громогласный Парамонов с новостями, кипучими решениями и таким видом, что приписывал себе чуть не всю ростовскую революцию и четвертую часть петроградской.

Градоначальник Мейер, и прежде очень сочувственный к общественности, теперь открылся ей более чем благожелательно. Объявил, что это он сейчас добился от атамана Граббе разрешения на публикацию агентских телеграмм безо всяких изъятий. Уже с решительностью уверенный в бесповоротности событий (он только что вернулся из Петрограда и застал там начало волнений), он заверял, что и ни атаман, и ни начальник ростовского гарнизона не посмеют поддержать старую власть оружием. И признался буквально так:

– Тем и был тяжёл прежний государственный строй, что всякий работник на ниве общественности не мог выступать и действовать открыто, не надевая маски так называемой лояльности перед правительством. Маска была условием работы. И я рад теперь её снять. Я и прежде делал всё что мог для облегчения участи борцов за народные интересы, вы помните.

Четверо деятелей в ответ попросили посоветоваться полчаса без Мейера. И затем выставили ему условия. Освободить заключённых по политическим и религиозным мотивам. (Тотчас же. Их оказалось трое). Свободные собрания без контроля властей. (Разрешил). Согласны принять на себя тяжёлую и ответственную задачу формирования Гражданского комитета в Ростове, но только если местная власть будет беспрекословно выполнять все постановления комитета. (Градоначальник принял). Таким образом почта, телеграф, телефон и железные дороги перейдут под контроль Гражданского комитета. (Согласен). А не помешает ли охранное отделение? (Нет, ротмистр Пожого – в тифу и в бреду). Немедленно закрыть или хотя бы взять под строгую цензуру черносотенный «Ростовский листок», чтоб не допустить агитацию за прежний строй. (Гражданской цензуры у нас не существует, но для этого случая – согласен). А как отнесутся власти к возможному уличному выступлению черносотенцев? поможет ли власть обезвредить их выступления против нового строя? Мейер обещал, что не допустит манифестаций с царскими портретами и прочих провокационных. И тут же при них распорядился полицеймейстеру: не препятствовать никаким манифестациям, кроме монархических, терпеливо относиться к выражению чувств народной радости, даже если они будут враждебны к чинам полиции. Объяснять, что полиция и раньше служила населению и сейчас не пойдёт против воли народа.

И ещё добился Парамонов: получить копии всех петроградских телеграмм, чтобы лично проверить, не утаит ли какую военную цензура.

И – разъехались все четверо по местам, готовить Гражданский комитет. А заседать он будет в особняке Мелконовых-Езековых на Пушкинской, куда и вернулся Парамонов к своему военно-промышленному комитету. Между прочим, среди самых последних телеграмм оказалось воззвание Совета съездов промышленности и торговли: эта головка промышленников и купцов призывала все биржевые комитеты, купеческие общества –

забыть о всякой социальной розни и сплотиться вокруг думского Комитета. И Илья Исакович, съездив потом в биржевой комитет, участвовал в составлении от него телеграммы Родзянке: восторженно приветствуя в вашем лице... положим все свои силы на устройство нашего отечества.

– Так всё великолепно, папа! Ты ж этого и хочешь! И – за один день сломались все барьеры тирании! – как они оказались непрочны!

Поднимались идти в столовую. Илья Исакович обнял обоих, он был уже чуть ниже Сони и заметно ниже Володи:

– Всё – так, мои родные. И может быть – это и есть великое начало. Но революции имеют коварное свойство раскатываться.

Сделали шага три в обнимку, остановился:

– Но что меня в этом всё покоробило – это градоначальник Мейер. Не так меня удивили петербургские события, как генерал-майор Мейер. Всё-таки если б это я был градоначальником, на таком высоком доверенном посту, – я бы стоял до последнего. А он так торопится. Некрасиво.

– Так вот это и показывает, папа, что их дело давно кончено. Они погибли!

344

Остатки думского Комитета или начатки нового правительства под напором публики отступили уже из вчерашней комнаты в следующую, внутреннюю: там, где вчера трое из Совета торговались с Милюковым, теперь сидели второстепенные лица, канцелярия, временно задержанные, вид охраны, – а думские лидеры стеснились в ещё меньшей комнатухе, и маячил у них тут ещё больший беспорядок, чем вчера: они разговаривали, ходили, хлопотали, совещались, и места не хватало никому.

А тут, в восьмом часу вечера, пришла опять делегация из Совета, уже не четверо, а только двое – Гиммер и Нахамкис.

Навстречу и думцы не пытались усаживать никакого подобия совещания, – а просто Милюков пошёл с ними двумя к небольшому столу в углу комнаты, там сели все рядом, лицом к стене, даже настольной лампы там не было, своими плечами они себе ж и загораживали верхний свет. Гиммер – посередине, а то б его и не видно было через плечи Нахамкиса.

Ещё двое Львовых – один благостный, другой мрачный верзила, пытались сделать вид, что они тоже участники совещания, присаживались где-то сзади за их спинами, но посидев без внимания, не предназначенные для разговора, – потом исчезли.

Так ведь и не кончили вчера, и целый день не собрались, вот жизнь. А – чего вчера не кончили, вспомним?

Условия деятельности нового правительства уже утвердили...

Не совсем. На пленуме Совета добавлены некоторые изменения.

Ах, вот как? (Пожалел Милюков, пожалел, что вчера не закончили, а всё из-за Гучкова). Но так же тоже, товарищи, нельзя работать... А осталось нам согласовать встречную Декларацию Совета?

А вот, на двух листах бумаги вчерашние их попытки: один лист, крупный, неровно оборванный, принёс Нахамкис, и там один абзац от Гиммера, а на перёд сверху вставлен стрелкой снизу абзац от Нахамкиса, который должен стать первым. А на другом листе, у Милюкова, – абзац, который Милюков сам написал от имени Совета, после того, как соколовскую декларацию отвергли.

Стали теперь эти абзацы с двух листов смотреть и сочетать. И чего вчера не могли добрать измученные ночные головы, теперь видели глаза: ничего, кажется пойдёт. Гиммер писал, что нельзя допускать анархии и надо пресекать грабежи и врывания в частные квартиры, – так вашими устами и мёд пить. А Милюков вместо разбойных соколовских разоблачений офицерства писал об офицерах, кому дороги интересы свободы, и как ради

успеха революционной борьбы надо забыть их несущественные проступки против демократии, и нельзя клеймить всю офицерскую корпорацию в целом. Что ж, достаточно оговорено насчёт революции и демократии, так что Совету приемлемо.

Пошутил Гиммер, что Павел Николаевич левее и скоро будет рабочим депутатом.

Но Нахамкис – не шутил (хотя вообще, в революционной среде, он очень любил анекдоты). И больше всего не шутил в его новом абзаце, написанном разборчиво, чуть внаклон, крупно, как бы с плечами у многих букв. Этого абзаца Милюков вчера не видел, читал теперь в первый раз.

Говорилось там о новом правительстве очень отстранённо – вот, дескать, новая власть – объявляет, обязуется, некоторые реформы должны демократическими кругами приветствоваться (те самые, продиктованные Советом), – и в той мере, в какой нарождающаяся власть будет действовать в направлении этих обязательств, – в той мере и демократия должна оказать ей свою поддержку.

Вот это «в той мере» очень не понравилось Павлу Николаевичу: вчера, при наших обязательствах, вы обещали нам поддержку безусловную. А ваша вот – и условная, и очень уж сдержанная.

Нахамкис и не волнуясь и не торопясь:

– То было вчера. С тех пор мы продумали. Выслушали мнение Совета...

Да, куй железо, пока горячо, надо было кончать вчера. Вчера они примирились больше. А теперь Нахамкис был непреклонен.

Но опасался Милюков слишком торговаться, как бы не разрушить так трудно доставшуюся власть. Без Совета справиться с массами невозможно.

А оба советских ещё упрекали его и даже нападали: как же он мог публично выступить до соглашения? Это уже нарушение честных переговоров. Зачем же вы вдруг о монархии, если мы решили не предрешать?

(Ах, Павел Николаевич и сам жалел).

Выступил потому, что полное соглашение у нас вчера фактически состоялось, – а ждать невозможно.

А вот, Совет выдвинул новые условия.

Да какие же?

– Вот, – читал Нахамкис с другой бумажки, тоже неровной и мятой, запись во время пленума: – Правительство обязуется не пользоваться предлогом военных обстоятельств для промедления в осуществлении обещанных реформ.

Покрутил Милюков головой, губами, носом под круглыми очками:

– Ну, просто вы нас во всём подозреваете, в любой нечестности.

– Классовый инстинкт! – хихикнул Гиммер.

А Нахамкис дальше водил крупным пальцем по большим строчкам, ещё условие: декларацию Временного правительства должен подписать также и Родзянко.

– А это зачем? – искренно удивился Милюков и совсем не по-торговому на них посмотрел: – Ну, зачем? Ну, что такое Родзянко?

Навязывали ему наследственность от Думы и неповоротливость её.

Советские товарищи поняли этот вопрос, и даже были согласны, но... так решил Совет.

Заметил Гиммер, что Милюков уже начал сердиться, слишком много изменений. Сейчас одна неосторожность, Милюков прекратит переговоры, соглашение лопнет – и лопнет великий замысел навязать буржуазии безвластную власть. А сам Совет никак не способен создать аппарат управления, всё пойдёт прахом, и революция погибла.

И он забрал со стола перед Нахамкисом те четыре условия Совета, ещё оставалось два неп прочитанных, какое имеет значение, что там накричат на бесформенном Совете, это не были настоящие условия. Нахамкис как докладчик держался за ту бумажку, а Гиммер нисколько.

А обязательства правительства? Да, вчера согласованы, не будем к ним возвращаться.

Обрывок, на котором Нахамкис делал записи во время советского митинга вчера, был

пока их наилучшей аутентичной записью. Ещё был листок, где Милюков для себя их вчера повторял, но сокращённо. Ещё был – отчётливый красивый список нового правительства, написанный Милюковым, – а перед ним красивая преамбула, что «Временный Комитет Государственной Думы при сочувствии населения и при содействии столичных войск достиг такой степени успеха над тёмными силами старого режима...» И Милюков очень опасался, что сейчас будут атаковать эту формулировку: а где тут Совет Рабочих Депутатов? а неужели вы сделали больше, чем столичный гарнизон? – и тогда опять спорить, и переписывать, и пропал весь эффект. Но к его радости – смолчали. А дальше стояло: «Общественный кабинет из лиц, заслуживших доверие страны своей прошлой деятельностью», – и тоже смолчали. Значит, список уцелел. И только:

– Так не забудем, Павел Николаевич, припишите сейчас своей рукой.

Очень не хотелось Милюкову, усами пошевелил:

– Совершенно излишнее недоверие.

И приписал, макая в тяжёлую чернильницу:

«Временное Правительство считает своим долгом присвокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для промедления в осуществлении реформ».

– И мероприятий, – добавил Нахамкис.

– А – литературно это будет? Можно так выразиться? – реформ и мероприятий?

– Можно, – уверенно клал лапу на документ Нахамкис.

– Можно, – сказал Гиммер. – Мы все трое – писатели, и с достаточным опытом.

Вот и всё. Теперь собрать подписи всех министров – для торжественности, как клятву, и Родзянки тоже. Вот и всё. (Они все уже не видели, забыли, что этот документ начинался как объявление думского Комитета – а теперь кончался от имени министров: неизвестно, что ж это и получалось).

Но тоном необязательным, полуделовым, всё-таки Гиммер повторно укорил Милюкова:

– Хоть образ правления мы вам сняли, а зря вы, Павел Николаич, с монархией выскочили? Осеклись.

– Нисколько, – конечно возражал, конечно на своём Милюков.

– Да я вам скажу из своего опыта, – важничал Гиммер. – Вот сейчас, недавно, я выступал перед большой толпой. Встречали меня прекрасно, всё время одобрительные крики. Тем не менее потом стали выкрикивать насчёт династии – и уже совсем другим тоном. Это – вы их перебудоражили, Павел Николаич.

Правда, откуда же взялось? Ни вчера, ни позавчера об этом, как будто, никто и не вспоминал, никто и не кричал. Получалось, правда, так, что всё – от выступления Павла Николаевича? Но и нельзя зажмуривать глаза на будущее: без продолжения монархии не получить и нормального конституционного развития.

– Ну конечно, – предположил Милюков, – солдатам может показаться опасным возврат всякого царя. Как бы ближе к наказанию за восстание. Надо разъяснить, что это не так.

А Гиммер во-первых знал, что сейчас уже пишется ядовитая статья в завтрашние «Известия» против милюковского выступления. Во-вторых, он и сам не сконцентрировался на этом вопросе раньше, не придавал такого важного значения: вопрос о реальной власти разрешался и независимо от судьбы Романовых. Да Совет был обеспечен от неожиданностей пунктом об Учредительном Собрании.

– Неужели вы надеетесь, – усмехнулся Гиммер и худые щёки его втянулись, – что Учредительное Собрание оставит в России монархию? Да все ваши старания пойдут прахом всё равно...

Показалось, что Милюков как будто чуть надувается: приподнялись его щёки, усы:

– Учредительное Собрание может решить что угодно. Если оно выскажется против монархии – тогда я могу уйти. Сейчас же – я не могу уйти. Сейчас же, если меня не будет – то и правительства вообще не будет.

Посмотрел на Гиммера, посмотрел на Нахамкиса. Достаточно предупреждая.

А про поездку Гучкова они, видимо, не знали и до сих пор! – неужели бы промолчали? Так выигрывалось время. А через несколько часов Михаил уже будет регентом, и Россия станет перед фактом. А не будет монарха – то, по сути, кто же претендует стать самодержавной властью? – да Совет: ведь он, вот, ставит условия существования правительства, он будет его контролировать.

Да, так что же со встречным заявлением ИК? На трёх разных бумажках начерно три разных абзаца – и теперь опять взаимно оспаривать и переписывать начисто? Уже надоело, и нетерпение было, особенно у Павла Николаевича: скорей оглашать, да начинать полноценную деятельность. А вот что. Так как в комнате имелся клей – то просто склеили эти три листа бумаги разной ширины и разными почерками. Первым пошёл абзац Нахамкиса, вторым – абзац Гиммера, а третьим – Милюкова. И всё это вместе будет называться «От Исполнительного Комитета СРСД».

Теперь оставалось: на милюковском чистом листе собрать подписи членов первого общественного кабинета и Родзянки (Милюков расписался первый), да перестукать на машинке, да отправлять в типографию, чтоб успело завтра... в газеты? но газет нет... Чтоб успело в «Известия» всё того же Совета депутатов. И – прокламацией для расклейки на улицах. Все трое встали – и Нахамкис неожиданно обнял Милюкова, даже как бы прислонился поцеловать. (Милюков с горечью сообразил, что, значит, он что-то пропустил, проиграл). Нахамкис ушёл. Милюков собирал подписи министров, Гиммер наблюдал. Очень значительно, вальяжно уселся и расписался Родзянко – как будто его подпись только и решала всё. Он доволен был очень, что договорились. Он хотел, чтоб это скорей.

Потом Гиммер унёс всё в печать.

А Милюков обдумывал. Да, очевидно, он принял слишком тяжёлые для правительства условия. И, да, может быть за министерскими расчётами он упустил, что ещё резко может всплыть монархический вопрос. Пожалуй, да, не следовало сегодня объявлять это вслух. Но всё шло регулярно и неизбежно. Через несколько часов Михаил будет регентом, и вопрос исчерпается.

Тут подскочили к нему английский и французский корреспонденты: ведь Европа, ведь союзники хотели и имели право знать, что происходит в туманном и огненном Петербурге.

И всем сердцем любя союзников, Милюков дал им первое правительственное интервью:

– Народный гнев был такой силы, что русская революция оказалась едва ли не самой короткой и бескровной в истории. Нынешние великие события увеличат народный энтузиазм, умножат народные силы, дадут им, наконец, возможность выиграть войну.

– А какова будет судьба монархии?

– Новое правительство считает необходимым, чтобы регентство было временно возложено на великого князя Михаила Александровича. Таково наше решение, и изменить его мы не считаем возможным.

(Пока напечатают в Европе, пока вернётся сюда, а дело уже делается).

345

Только в книгах можно было читать о таких моментах, никогда не мечтая попасть в их сладостно-ужасный водоворот. И редки те счастливыцы на целую жизнь, отмеченные богами, кому удаётся пальцы свои приложить к величайшим событиям истории. Шульгину досталось вот уже два, самых крупных: позавчера без выстрела овладеть русской Бастилией, сегодня – ехать к императору за отречением. Это не только станет достоянием твоих внуков, не только твои знакомые ещё много лет будут расспрашивать, но войдёт в учебники, хрестоматии, изобразится в рисунках, как во все великие революции.

Здесь, вблизи, видишь тысячерылую чернь, грязь и мразь, несёшься по этим жутким извилинам, – что делать, пусть и они! Ты должен быть растерзанным в любую минуту –

но и надо признать, как легчают ноги, как будто отчасти летаешь, надо признать.

Упоенный этой необычностью, для себя – Шульгин ничего не хотел. Он – и не вошёл в правительство, взяли кого-то другого, и неважно. Он и сейчас хотел не славы, а только соучастия в трагической и великой минуте.

Как падающая звезда прочерчивает небо сияющей чертою, так пронёсся и ком событий по русскому небу, и Шульгин упоён, что и ему доводится там быть сверкающей искринкой. Он не вошёл в правительство, но – да здравствует новое правительство, и будем все поддерживать его всеми силами, ибо враг у ворот России. Если мы мощно поддержим эту горсточку отважных людей из Таврического дворца – мы спасём страну.

Пусть это странно, оглушительно и ново – что будет с нами самими. Не время задумываться, не будем задумываться, будем верить!

Мысль отказывалась охватить! Ещё четыре дня назад, в воскресенье, когда так таинственно замер и так прекрасен был Петроград перед обвалом, – Шульгин оскорбился бы, если б ему сказали, что вот – когда? в четверг – он осмелится ехать предложить Его Величеству отречение!

Но переворот произошёл так неслыханно легко, беспропротивно, – что, вот, он ехал, и казалось ему уже однозначно: Государю и нельзя остаться царствовать.

Да уже этой всей зимой нет-нет да казалось Шульгину, увлечённому неистовыми речами Пуришкевича, всей волной негодования даже дворянских кругов: нельзя этому режиму дальше существовать! Так докатятся они и до цареубийства! Да как же Государю остаться царствовать, если месяц за месяцем из общества ему и его супруге бросались в лицо все резкие обвинения – а он никогда не ответил. Никто никогда ни на одно не ответил. Одним своим молчанием он почти утерял престол до всякой революции.

А сейчас, когда всё разверзлось и грохнуло...? Там, под сводами Таврического, рядом с Советом рабочих депутатов и видя эти прущие, орущие толпы, – уже почти и представить нельзя, что Государь по-прежнему существует, действует, правит Россией?

Очевидно, ударил час...

Или, может быть, это от неполноты сознания, от смутности в голове, от бессонницы, от усталости? – но как-то перестал видеться другой исход. Наоборот, все поиски выхода для России вытекают – к отречению. Для того, чтобы спасти сам трон и династию.

И разве мало знает история примеров, когда переход власти от монарха к монарху – к сыну, брату, племяннику, дяде, – спасали трон, спасали монархию?

Спасли монархию, пожертвовав монархом. Ну, и ещё многими бюрократами, конечно. Это – и самое разумное решение. Если отречение – то революции сразу как будто и не станет, власть мягко перейдёт к регенту, назначится новое правительство, всё законным путём.

В Девятьсот Пятом тоже могло быть сотрясение страшное, но тогда так не был подорван кредит власти, тогда на защите её неколебимо стояла вся гвардия, не бунтовала армия, младшие офицеры не усумнялись выполнять приказы, и так в разгар волнений и вопреки смертным угрозам мог продолжаться публиковаться правый «Киевлянин». И когда на балконе киевской думы стали ломать царскую корону, – толпа, слушавшая революционный митинг, ахнула от ужаса, и руки протягивались поднять обломки от унижения.

Но если бы в сегодняшнем Петрограде так – то уже не бросились бы поднимать...

Ах, как много потерял за эти годы Государь! И как много – трон.

Но трон – ещё можно, ещё надо спасти, спасти!

Шульгин едет – именно для того, – вот такая мысль созревала в нём: именно для того, чтоб облегчить Государю отречение. Ведь Государь хорошо помнит Шульгина, ласково с ним разговаривал на приёмах. Шульгин – природный монархист, хотя и член Прогрессивного блока, но самый правый. Он примет отречение тактичнее всякого левого, облегчит Государю этот горький момент. Его присутствие рядом с Гучковым, известным ненавистником трона, многое смягчит. В руки верного восторженного монархиста Государю легче будет передать акт.

Только этот акт – не выписывался никак. Не складывались мысли, не складывались фразы. Оттого ли, что такая усталость? что голова разболелась?

С Гучковым мало говорили в пути, оба перегружены впечатлениями. Шульгин набрасывал что-то, уже в тёмном вагоне, при свете свечи и в покачке, – но сам был очень недоволен.

Ну, «в тяжёлую годину», это конечно... «тяжких испытаний для...» Тавтология, а иначе не получается... «Вывести империю из тяжкой смуты перед лицом лютого...» «Мы за благо сочли, идя навстречу желаниям всего русского народа...» А разве – это желание всего русского народа?... А – как иначе мотивировать?...

«...сложить бремя вручённой от Бога власти... Во имя величия возлюбленного русского народа... Призываем благословение Божье на сына нашего... а регентом...» Нет, не получалось. Да и неряшливо выглядела бумага.

Может быть надо было больше волноваться? Но уже столько волновались эти дни, наступило отупение.

И он снова – отдавался мечтам. Или воспоминаниям. Воспоминаниям – о встречах с Государем. На приёме волынской делегации. На торжественном приёме в Зимнем дворце. На молебне в Таврическом. Вспоминал несравненно-милую улыбку Государя, его никогда не преодоленную застенчивость, нервное подёргивание одним плечом, его низкий, довольно густой голос, чёткую ясную речь с лёгким гвардейским акцентом, его поразительно спокойный взгляд. Христианин на троне.

Ехал – и любил его. Ехал – и радовался, что ещё раз увидит. Ехал – и надеялся смягчить, облегчить ему роковую неотвратимую минуту.

И вдруг – его прорезало воспоминание: второе марта. Избегнуто страшное первое марта, – но что случилось второго? Ах, 2-го марта – да ровно десять лет назад – обрушился думский потолок.

Так вот к чему было это пророчество!

346

Тревожное тягучее ожидание Ставкой отречения прервалось самым неожиданным образом: с аппарата Ставки принесли телеграмму, направленную не в Ставку, но мимо Ставки – на Юго-Западный фронт, и даже мимо Юго-Западного – командующему корпусом генералу Корнилову: о том, что он назначается Родзянкою командовать Петроградским военным округом!

Каково?! Как быстро расшатываются устойчивые понятия! Едва начали главнокомандующие неуставные сношения с Родзянкой, – и вот уже он, пренебрегая и Ставкой, назначает прямо Корнилова, снимая его с фронта?

Задержали телеграмму, разумеется.

Но следом подошла смягчительная телеграмма Родзянки в Ставку. Он ещё раз объяснял, почему Временный Комитет Государственной Думы вынужден был взять власть, а теперь передаёт её Временному Правительству. Что и войска, и всё население, и даже члены императорской фамилии признают только эту власть. Но уже для последнего полного порядка, а также для спасения столицы от анархии – необходимо командировать в Петроград доблестного боевого Корнилова – во имя спасения родины и победы над врагом, чтоб не пропали даром неисчислимые жертвы войны.

Интересно, что от ночных слов Родзянки об отречении здесь не было и намёка.

Не успел Алексеев хорошо разобрать этот ребус – пришла поддерживающая телеграмма от генерала Главного штаба: просилось и в ней безотлагательное командирование в Петроград доблестного генерала Корнилова – также для спасения столицы от анархии, но ещё и от террора...

Ещё и от террора?? Где ж «успокоение»?

...и для опоры думскому Комитету, спасающему монархический строй. Объяснение же

давалось другое, чем у Родзянки: что среди войск ведётся разрушительная работа и пропаганда Совета рабочих депутатов, не дающая поставить войска под команду офицеров, так что они переходят на сторону крайней левой рабочей партии.

О-го! Картина в столице представлялась весьма и весьма опасной.

Приходилось выполнить просьбу.

Но где предел обхода устава? Если никто не смел вызвать Корнилова, минуя Ставку, то и Алексеев не мог произвести такого важного назначения без Верховного Главнокомандующего.

Который, как ни устранил себя сам от реального руководства – но и не отказался ещё от него. И находился вполне доступно в штабе Северного фронта.

Оставалось посылать во Псков всеподданнейшую просьбу Верховному на основании телеграммы Родзянки: дать разрешение на отозвание генерал-адъютанта Иванова с этой должности (Родзянко, между прочим, забывал, что не может быть двух командующих в одном округе) – и откомандирование туда Корнилова.

Между тем Брусилову дать предварительную телеграмму: быть готовым к такому откомандированию, боевой генерал с популярным именем может повести к водворению порядка.

Брусилов вскоре отозвался, и неудовлетворительно: к этой должности Корнилов мало подходит, прямолинеен, чрезмерно пылок.

Ревновал, конечно. Да даже и прав: в нынешнюю петроградскую обстановку надо было посылать дипломата, подобного самому Брусилову.

Но назначение – верно задумано. И надо с ним спешить, спасти столицу. И даже не побрезговать Воейковым: передать ему просьбу наштаверха ускорить назначение Корнилова. Да – там ли ещё литерные поезда?

Да, да, подтверждал Псков, литерные поезда никуда не ушли, но во вторичной беседе главкосева с Государем обстановка видоизменилась, следует быть осторожным. По поводу Манифеста об отречении нет пока указаний. Но сам Данилов думает, что надо подготовиться к его скорейшему выпуску.

А текст уже и был готов!

Передали его во Псков.

Чем могла, Ставка помогала.

Штаб Северного не торопился с ответом.

Снова запрос ему: да передали ли Государю?

Всё передали. Но есть опасение: не оказался бы проект и этого манифеста запоздалым.

Как, и он опоздал?... Ну, наваливались события! Чего же тогда ещё?

Есть частные сведения, что такой манифест уже опубликован в Петрограде по распоряжению самого Временного Правительства.

Как это может быть? Тогда не отречение, а свержение??

Да, действительно надо торопиться, чтобы было благопристойное отречение.

Даже уравновешенный Алексеев потерял способность заниматься рядовыми делами, только нервно ждал.

Тем временем с Балтийского флота принеслась от Непенина самая свежая, но и отчаяннейшая телеграмма: что он с огромным трудом удерживает в повиновении флот и уж конечно присоединяется к ходатайствам об отречении. Если это решение не будет принято в ближайшие часы, то последует катастрофа с неисчислимыми бедствиями для родины.

На Алексеева эта телеграмма как хлестнула валом, ударила в лицо. Балтийский флот – на грани анархии!

Если немножко точило его какое-то сомнение весь день, то этим ударом вышибло. Всё верно! – только отречение! И как можно скорей!

А с Черноморского гордый Колчак так и не ответил ни слова.

Лишь в половине десятого вечера пришло согласие Государя на назначение Корнилова и отозвание Иванова.

А о манифесте – ни слова...

Когда же?...

Теперь-то, внутренне выполнив обязательный служебный цикл, мог разрешить себе Алексеев и вольность: в ответе Родзянке уже не упоминать процедуру с государевой подписью, может быть сомнительную и устаревшую, но: моим приказом командир 25-го армейского корпуса генерал-лейтенант Корнилов назначен командующим Петроградского округа.

Через Родзянку пытался Алексеев снести и с Ивановым: отозвать его окончательно в Могилёв.

И опять переговаривались с Северным фронтом: когда ж, наконец, они пошлют офицеров связи к Иванову? И где он находится?

Где находится – сами не знаем.

Закрадывалось к Алексееву подозрение, ведь он был прост, а Государь уклончив и скрытен: а не ведёт ли он двойной игры, и пока обещает манифест – не двигает ли Иванова куда-то дальше? А сам – вот улизнёт из Пскова, так и не даст отречения?

Как там с литерными? На месте ли?

Да, да. Приехали Гучков и Шульгин и приглашены в вагон к Государю.

Ну, наступили исторические минуты.

Добивались и с Кавказского фронта, для Николая Николаевича: отрёкся уже или ещё не отрёкся? Августейшему Главнокомандующему чрезвычайно важно знать.

Напряжённо ждала Ставка каждого нового сообщения с аппарата.

А ленты текли самые ничтожные, никак не в уровень с событиями. От Квецинского: что из Великих Лук на Полоцк едет какая-то депутация до 50 человек от нового правительства и обезоруживает на всех станциях железнодорожную охрану. Затем и Псков подтвердил, что от Бологого поехало три таких депутации по трём направлениям и обезоруживают жандармов. Говорят – уполномоченные нового правительства.

Просил теперь Эверт снести с Родзянкой и уговориться всё же о таком правиле, чтоб о всяких командировках на фронты сообщалось бы главнокомандующим предварительно. Не самозванцы ли едут?

Совсем не час был заниматься этой депутацией, и Алексееву не до того, и Родзянке, – но поезд продвигался и в зоне военного командования разоружал военную охрану!

Пришлось Алексееву телеграфировать Родзянке, что этак, правда, нарушается существующий в армиях порядок, должно же новое правительство с ним считаться. Просит наштаверх не отказать преподать указание: что ж это за депутация?...

347

Ну что ж, если новое правительство уже было составлено, и обнародовано, и согласовано с Советом депутатов – так отчего бы ему и не начинать осуществлять власть? Правда, день был – объявительный, торжественный, и уже опять к ночи, – но ведь обстоятельства не терпели. Да и удобно, что члены правительства в большинстве как раз все здесь, ещё не разошлись.

Правда, они не были в комнате одни: тут же, деля с ними клочки столов, хаотические стулья и места на диване, теснились и члены временного думского Комитета. Все эти дни физически люди не разъединялись, они были – единая головка Думы, секреты общие, разговоры общие. Но составилось правительство, и прошла новая изломистая грань между ними, пока ещё стеклянная, ещё видно насквозь и голоса слышны, – а уже решительная грань. Керенский перестал быть чужим, советским, перестал быть чужим Терещенко, а уж тем более князь Георгий Евгеньевич, – а вот члены думского Комитета, вчера, даже сегодня утром неразличимо свои, – уже ощущались явно как чуждые и мешающие. (Так точно, как три дня назад, незаметно, чуждыми и мешающими ощутились члены бюро Прогрессивного блока, не вошедшие в Комитет: кажется, с Блоком прошли такую полосу думских битв, с

Блоком вышли к победе, – а вот, уже и отдалённые).

И сейчас члены правительства, готовые начать заседание, но не имея для того отдельной комнаты, – владея всей Россией, но не имея комнаты для заседаний, – несколько смущались и переглядывались. Они сами ещё не знали, о чём будет их заседание, насколько конфиденциально потекут их разговоры, – но было бы профанацией их нового министерского звания вести беседу при посторонних.

Очевидно... очевидно надо было попросить остальных выйти, оставив им эту последнюю, тупиковую, комнату.

Но небесноглазый добрейший князь Георгий Евгеньевич не мог решиться вымолвить такую невежливость.

Доставалось проявить твёрдость Милюкову? Он мог, конечно, но печально, что по первому ничтожному поводу, с первого волоска, ему уже приходилось заменять собою премьер-министра.

Однако он не успел достаточно нахмуриться и шевельнуть сероватыми усами, как обер-прокурор Святейшего Синода, подкоротивший разбойную бороду, но с такой же безуминкой в прыгающих бровях и блистающих глазах, – глядя прямо в лоб помятого, но всё ещё величественного Родзянки, выпалил более несдержанно, чем даже требовалось:

– Господа члены Комитета! Мы, члены правительства, желали бы остаться наедине.

Грубо, но отметим, что этот второй Львов в иных случаях может очень пригодиться.

Родзянко, как дразнимый бык, посмотрел на задиру Львова. На других. Пошурился. Изумление выразилось на его крупном лице: в собственном здании Таврического теснила его революция, буйные толпы, – но чтобы свои думцы? Однако и... И возразить как будто было нечего. И он понёс свою печаль в другую комнату. А – только бы Родзянку вытолкнуть, остальные выталкивались уже легко.

И вот – новое правительство осталось само с собою и – рассаживалось. Кого не было? Гучкова. Шингарёва. Этот всё дорабатывает в продовольственной комиссии. Ну, пусть.

Как новенький серебряный рубль среди потускневших, изо всех выделялся новый министр финансов Терещенко – такой свежий, молодой, одетый взыскательно, несколько не сбившаяся бабочка на свежайшем крахмальном воротнике, такой белейший уголок платочка из нагрудного кармана, – при остальных помятых и неприличной чёрной куртке Керенского. Рассаживались. Пусть не за единым большим столом, а кто где, малоудобно, – но трудно было не почувствовать великую минуту России. Исполнилась вековая мечта народа! О чём грезили массы, за что отдавали жизнь борцы, – первый общественный кабинет России, одарённый народным доверием, и ответственный не перед царём, а перед парламентом, – вот, наконец, собрался, начинал работать!

Вся история России делилась этим моментом на две эры: эру неволи и эру свободы.

Так. Все друг друга более или менее видят и слышат. Так. А ведь – нет секретаря. Ни одно заседание, ни один шаг этого правительства не могут миновать журнала заседаний. Формируясь, как-то не подумали о секретаре. Надо будет подыскать, и – высокообразованного, талантливого, просто выдающегося человека. А пока сейчас...? Оглядывали друг друга и не могли найти секретаря. Министр просвещения? – не справится. Коновалов – тоже не успевает, медлителен. Владимир Львов? – слишком нервный. Терещенке неудобно предложить, а уж Керенскому – тем более: и самый левый и вечно деятельный, комок энергии, он может в любую минуту вскочить и убежать, никого этим не удивив. И получалось чуть ли не что – опять Милюкову?

А какая же повестка заседания? Это не было подготовлено.

Керенский – сидел здесь из чинности, из приятства, но он не нуждался в соображениях министров, что ему делать с юстицией: программа ясна – расширить свободу безгранично, и он уже начал.

Так же и Милюков, тончайший специалист в нюансах международных отношений, не нуждался в советах своих коллег, знал сам.

Тактичнейший председатель, князь Георгий Львов, руководил заседанием с

величайшим внутренним смущением. Как ужасно отличались условия взятия власти от того, как это представлялось всегда раньше! Уже сегодня днём кричали в Екатерининском зале, что князь Львов возглавляет общественность только цензовую. И как же теперь это общественное недовольство ввести в русло? Крайне сомнительные условия – и почему именно он должен нести ответственность?

Однако видя, что его коллеги не спешат высказываться, князь Львов в осторожной форме выразил сам ту мысль, что, приступая к деятельности, новое правительство нуждалось бы определить объём своей власти. Вдаль во времени эта власть ограничивается предстоящим Учредительным Собранием.

Да. Как ни замечательно, что они получили власть, но на Учредительном Собрании их власть должна неизбежно окончиться.

А – до этого? А до этого хотелось бы, чтобы власть была как можно более полной и суверенной. Это надо обосновать теоретически: к кому именно перейдёт полнота власти? Правильно было бы считать, что она переходит именно к правительству. Неправильно было бы считать – что к Государственной Думе. Представляется весьма сомнительным, чтобы Дума могла возобновить свои занятия в этой обстановке: правая часть депутатов утеряна, они не посмеют явиться; да и вся Дума, избранная по столыпинскому закону, окажется слишком правой для нынешнего течения событий. Да и – переизбираться ей этой осенью. Она будет сейчас только стеснять правительство.

Да ведь и есть некоторые деликатности – ну, хотя бы, как подобрались министры, как сложилось правительство, какие отношения с Советом, – не всё это можно огласить в Думе. Удобнее действовать без думских заседаний.

Родзянко этого, конечно, не вынесет. Ему открыто об этом даже и говорить нельзя.

Но если стеснительна была бы Государственная Дума – то тем более думский Комитет, зачем тогда он? Это некий дубляж правительства, это совсем недопустимо.

Но и этого, тем более, пока нельзя высказывать Родзянке.

В чём будет, господа, особая сложность деятельности нашего правительства? В том, что, как всем ясно, весь состав основных законов Российского государства перестаёт существовать в один миг. А новые законы выработаются ещё очень-очень нескоро. Итак, мы будем действовать как бы в безвоздушном пространстве. Вот почему нам особенно нужна полнота власти. Нам предстоит не только исполнительная деятельность, но и законодательная. Мы – сами должны выработать те нормы, которые будем признавать соответствующими в данный момент.

Продуктивно бы устроить как бы такую продлённую, перманентную 87-ю статью.

А если ещё учесть общую анархию? И что нам придётся считаться с мнением Совета рабочих депутатов?

Господа, такого вмешательства в наши действия мы не можем допустить, мы тогда перестанем быть правительством.

Но реальные обстоятельства заставляют нас считаться.

Ну, тогда надо как-то неофициально узнавать желания Совета депутатов – ещё до официальных заседаний совета министров. Да вот – через Александра Фёдоровича?

А вот, как раз, в частных контактах стало известно, что Совет рабочих депутатов высказывается за выдворение всех членов дома Романовых за пределы Российского государства.

Да-а-а-а?...

Наступила тяжёлая тишина. Страшная выдвигалась голова этого Совета рабочих депутатов: ведь на официальных переговорах согласились не ставить вопрос об образе правления, а вот в частных контактах наших доверенных коллег... Неизвестно кто, но тем страшнее, высказал мнение, что...

Но, простите, это выглядит как абсурд. Как же тогда может династия продолжать оставаться...?

(Тут ещё, час назад, прикатил по городу слух, что умер наследник. Звонили в

царскосельский дворец доктору Боткину, – нет, жив).

Может быть – для некоторых членов?... Может быть – ограничить пребывание известными пределами, но внутри России?...

А некому было дальше ответить: ведь это – контакт, он был, миновал, не видно никакого лица.

Сидел Некрасов, остроусый, замкнутый, с горбинкой на носу. Выставил Коновалов толстые губы без движения. Именинно сиял Терещенко.

Так как все знали, зачем и куда поехал Гучков, то, может быть, не сегодня следовало этот вопрос обсуждать? Можно пообождать.

Но соотношение с Советом депутатов останется самой щекотливой проблемой правительства...

Теперь: какие деловые вопросы необходимо совету министров обсудить тотчас же?

Министр финансов возбуждает вопрос о праве выпустить бумажные деньги на сумму 2 миллиарда рублей.

Ну что ж, если это необходимо... Действительно, после такого государственного сотрясения...

А любезный милый председатель совета министров затрудняется (как это и можно было ожидать) одновременно выполнять две роли, ещё и министра внутренних дел. И поэтому он думал бы оставить за собой лишь общее руководство, а непосредственное заведывание делами министерства внутренних дел, всю практическую работу – передать своему помощнику в головке земсоюза, бывшему старшему делопроизводителю канцелярии Государственной Думы, очень обещающему Дмитрию Митрофановичу Щепкину... (Он помог князю Львову и в декабре, огласить самую резкую из противоправительственных резолюций).

Первое пожелание премьера не могло же быть отвергнуто. Значит, этот делопроизводитель невольно станет теперь как бы членом нашего правительственного кабинета? Ну что ж... Ну, придётся...

348

А в десятом часу вечера Таврический дворец опустел: главные жители – бродячие солдаты, уже не боялись ворочаться к себе в казармы, уже знали, что их наказывать не будут, а скорей офицеров расстреляют. Хотя с дворцового входа стража ушла – но и во дворец уже никто не пёрся. Опустел и Екатерининский зал, где днём толпился постоянный митинг, опустело и крылечко хор, откуда постоянно кричал какой-нибудь оратор, опустели от брошюр столики агитаторов, уходили домой барышни, раздававшие брошюры, – и только на колоннах, приклеенные, оставались названия партий да лозунги, крупно коряво от руки: «В борьбе обретёшь ты...», «Пролетарии всех стран...», – по новым понятиям они были святы, и никакой пристав или служитель Думы не смел их снять. Да не осталось теперь ни приставов с цепью на груди, ни служителей, никто это здание, кажется, уже не убирал, и хорошо что кочегары не ушли, топили, – а уйди кочегары, и разбежалась бы цитадель революции. Много ободрали и попачкали красной шёлковой материи на скамейках, белые мраморные колонны стали рябые, в черно-пепельных точках от гасимых цыгарок, всюду на полах было наплёвано, насморкано, валялись окурки, разорванная бумага, и всё в грязи от сапог, – да вряд ли был смысл сегодня это всё убирать, завтра опять навалят. Выключили большие лампы, в полутёмном зале изгаженье меньше виделось.

В Купольном зале посвободнело: увезли из Таврического взрывчатые вещества, часть крупного оружия, мясные туши, что по делу, а что люди разобрали понемногу себе. А какие-то кули оставались, до сих пор стоял дизель, две швейных машины.

Смирно вёл себя 2-й этаж, с арестованными. Тесно набитые по комнатам, лёжа на полу, полицейские и жандармские офицеры и арестованные чиновники радовались, что они хоть и в тесноте да в безопасности.

Хотя и шныряли ещё люди кое-где по коридорам, через залы наискосок, по бывалому мирному времени это выглядело бы возбуждением, тревогой, – а сейчас казалось безлюдьем, дыхательной тишиной, первым таким вечером. Огромная буйная неместимая революция, четыре дня бушевавшая тут, опростала дворец, вывалила куда-то прочь.

И в этот первый тихий и полутёмный час вышел на обход дворца его главный хозяин.

Если и всем думцам был оскорбителен загаженный вид Екатерининского зала – то каково ж Председателю! И нельзя приказать сдёрнуть эти отвратительные тряпки с надписями. Вся слава общественной России, собранная в этой Думе, в этом зале, вот теперь как гадко, неприглядно обернулась. Революция гигантски ступала в светящееся будущее, но оставляла мерзкие следы на паркете.

Отошла Революция! – вот сейчас первый раз это ощущалось, уже ушла куда-то вперёд от думских помещений.

И от самого Родзянки.

Собрался наконец тот Общественный Кабинет, который так долго маячил перед Россией, которого ждали, задыхаясь, – а самый крупный, а самый главный, а самый первый в него и не вошёл.

Поймут ли?...

Поймут ли, что он, своими большими руками совершивший всю эту революцию, отстоявший её перед тронem и спасший от подавления, – вот, для себя самого ничего и не взял. Первый кандидат передо всею Россией – вот, не вошёл в правительство.

Должны оценить.

Хотя горько.

Он медленно ходил через зал. И старался думать о будущем. О том, как со славой вести теперь Думу, первый свободный русский парламент.

Вдруг послышался шум от входа из Купольного – громкие шаги и перебив голосов.

Это была группа офицеров – и направлялась прямо к нему, узнав конечно сразу.

Они так отмахивали руками на ходу, так нестройно громко говорили – даже непохоже было на офицеров. Один высокий драгун, двое егерей, трое измайловцев, старше капитана тут не было.

– Кого вы ищете, господа?

И – несдержанно, крайне взволнованно:

– Господин Родзянко!

– Ведь вы же опять...! Мы жить так не можем!

– Ведь вы же нас ставите в крайнее...!

Они говорили почти все сразу, и Родзянко, почти все сразу лица их видя, не успевал различить отдельных, а все они были на одно лицо – отчаянное.

Что ж оказалось? По казармам разнеслось, что сказал Милоков – остаётся династия Романовых, и началось буйство: не потерпим! будем убивать офицеров!

– Вчера ваши призывы, господин Родзянко, возвращаться в строй были поняты так же, нас грозились убивать, выгоняли из казарм... А теперь – опять. Господа! Подумайте же о нас! Что же вы делаете?...

Хотя и слова «династия», конечно, солдаты не знали, да и «Романовых» из пяти один, – но что-то происходило, не сошлись бы эти офицеры из разных полков сюда, в одно время...

А Родзянко тоже был человек и не мог обдумывать теперь хладнокровно. Ещё со вчера не утихла в нём собственная опасность, когда грозились убивать его самого, – и тем острее и сочувственней он перенял офицерскую тревогу, да со всем взлётом своего могучего сердца:

– Ка-ак? – почти заревел он. – Опять??

Не могли так жить несчастные офицеры! Не могла так стоять славная армия! Не могла дальше так развиваться Россия!

– Пойдёмте! – скомандовал офицерам старый кавалергард и отправился впереди их кучки, так же размахивая руками и клокоча.

Он гнал скорей, чтоб это клокотанье не разорвало ему грудь, а – выбросить его

Милюкову в лицо.

Там в комнате сидело их несколько, всё члены нового правительства, не принявшего в себя гиганта Родзянку, – и он как бы ворвавшись во главе этой кучки офицеров и сам коренной офицер, чего они, штафирки, почувствовать не могли, – за всех громко бросил Милюкову:

– Что же вы делаете?! Из-за вашего заявления офицеры не могут вернуться к своим частям! Вы губите армию! После вашего заявления...! Теперь надо спасти офицеров, это наш долг!

Ещё и горькое удовлетворение испытывал он, выговаривая этому осмотрительному, сдержанному, злему коту Милюкову, из-за которого столько...

Милюков поднялся. Никогда не красневший, он, кажется, даже едва покраснел. О каком *заявлении* его – он сразу понял, уже накорили.

– Но, – возразил он твердо, – мы же не можем в угоду частным ситуациям... Если таково наше общее принципиальное мнение... – и оглядывал за поддержкой сидящих за столом министров – настолько новоназначенных, что ещё и сами не привыкли к звучанию этого звания. – Мы все так думаем и не можем... – Это прозвучало у него уже менее твёрдо.

Этот увалень Родзянку последние часы как скатывался камнем с горы, всех опережая в падении: уж он и торопил соглашение с Советом, уж он и подписался под его условиями. Лишь два часа назад он с гордостью открыл министрам, что держит постоянную связь с Михаилом и уже подготовил его к регентству, и может немедленно великого князя привлечь к делу. И вдруг вот – уже стряхивал и монархию?

Князь Львов за столом на бархатном стуле ровно и спокойно сидел, хотя и лицом к возбуждённой ворвавшейся группе. Смотрел ласковыми глазами. Не совсем понимая. Не переняв волнения.

И сидел другой Львов, верзилистый, с голым черепом и разбойничьей чёрной бородой, того гляди бросится кусать или бить? Он ляпнуть мог в любую минуту самое вредное.

А Некрасов лицо своё носил как готовую фотографию: можно сколько угодно её рассматривать в неподвижности и непроницаемости: усы не шевельнутся и прикрывают замкнутые губы от всякого выражения, ни одной живой черты на гладком лице, и глаза таинственные уставлены как уставлены.

Да уже знал о нём Милюков, что он – за республику. Во время министерского торга он это на бумажке писал, показывал, другим не слышно, и сам же бережно изорвал. И про офицеров он уже выражался, что они – действительно старорежимные, и агитируют за старый режим, – и вот ставят министров в неловкое положение.

И понял Милюков, что не от них троих он получит поддержку.

Ещё профессор Мануйлов сидел, министр просвещения, и от этого не ждать.

И, наконец, вертелся на своём стуле Керенский, с узкой отутюженной головой, то оглядываясь на офицерскую группу с богатырём Родзянкой, то на дремлющих коллег по кабинету, на Милюкова, теряющего уверенность. Он был как бы гимназист, может быть и медалист, но сразу назначенный директором гимназии, и этим одним упивался, а образ правления? Ну просто смешно, ну всем известно, что он – за самую крайнюю республику.

И – кто же тогда в правительстве ещё поддерживал Милюкова с его несчастной идеей о продолжении династии? Гучков? Но пока он там во Пскове что-нибудь успеет – мы тут всё проиграем.

А самый верный монархист Родзянку, вот, стоял во главе гневных офицеров! Он так упрекал Милюкова, будто сам отрёкся от династии уже давным-давно.

И Милюков ощутил внезапную потерю всякой опоры – не то что пола, спинки стула, но даже – воздуха. Он мог бы читать им долгую лекцию о преемственности государственной власти, но безнадежно было привлечь их на поддержку. Конституционная монархия была для него догмат, необходимая ступень развития к республике, и не приходилось доказывать этого однопартийцам-кадетам никогда, все думали так всегда, и весь Прогрессивный блок так думал, – и вдруг в один миг в этом новом сотрясённом мире Милюков остался среди всех

один.

Да, все думали, что надо ему отказаться от своих слов!... Зачем же вызывать новое раздражение, теперь уже против нового правительства?

Но он – не хочет отречься, он – так думает, – отпирался, необычно растерянный. Тут ещё и голоса не стало, он совсем надорвал его в зале.

– Тогда заявите, что это – не мнение правительства, а ваше частное личное, – выдвинулся Некрасов.

Вот так-так, на первом же шагу предстояло отречься!...

И надо поспешить дать это заявление корреспондентам, чтобы появилось завтра в газетах.

349

С красными лентами через чугунную грудь и с красными флажками локомотив подкатил на псковский вокзал два вагона невдале до десяти вечера и невдали от той платформы, у которой стоял царский поезд литер А. Парные часовые у Собственного поезда, чины охраны и свиты остолбенели, увидя при станционных фонарях, как из пришедшего служебного вагона выскочило несколько солдат с красными бантами в петлицах, а винтовки таща как удобней по неумелости, – зримое видение революционного Петрограда. Подошедшие вагоны остановились у соседней платформы лишь немного наискосок от царского салон-вагона. С задней площадки второго вагона гражданский молодой человек, тоже с красным бантом, заметив станционных служащих да случайных прохожих, стал раздавать им листки. Брали, кто неуверенно, кто охотно. Расходились с ними. Приходили другие желающие взять.

Генерал Рузский непременно хотел перехватить депутатов, зазвать их к себе, минуя царя. Для этого он отдал распоряжения и сам не уезжал в город, сидел в своём вагоне на вокзале, а Данилов из города из штаба присылал сюда ему приходящие документы – ответные телеграммы Сахарова, Непенина, телеграмму о назначении Корнилова, затем разработанный в Ставке проект Манифеста об отречении. Рузский отсылал эти все документы Государю, сам избегая видеть его, желая сохранить при себе отречную царскую телеграмму, – и устоял при повторных требованиях, не отдал сокровища. Боялся он поворота государева настроения за эти лишние часы. Для того Рузский и должен был первый видеть депутатов, чтоб объяснить им, как далеко уже ослаб и подался царь, чтоб их давление оказалось не робче. Беспокоило его, что едет Шульгин, известный монархист, впрочем последние полтора года и верный член Прогрессивного блока. Петроградская обстановка загадочно колыхалась, переменялась, можно было ждать и поворота. Не успел Рузский погнать Родзянке заверительную телеграмму, что по его желанию Корнилов вот уже назначен в Петроград (не должный по службе этого слать, но благоприятно представиться перед могущественным Родзянкой), как пришло – скорее слухом, чем донесением, – что несколько броневых автомобилей, него грузовиков с вооружёнными солдатами движутся от Луги ко Пскову. И – как это надо было понять и что делать? Противодействовать войскам нового правительства Рузский никак бы не смел, однако и пускать возбуждённую банду в расположение штаба фронта – тоже?

Но как ни сидел он на нетерпеливых иголках в своём вагоне на другом конце вокзала, ничем больше не занимаясь, только ожидая, – упустил, доложили ему с опозданием.

И Гучков с Шульгиным тоже хотели сперва увидеть Рузского, чтоб узнать точно все обстоятельства и не сделать неверного шага. Но не успели они выйти из вагона и выслушать напряжённо-торжественный рапорт станционного коменданта (так приказал ему Рузский) – как вплотную к депутатам подошёл подстерегавший их флигель-адъютант и пригласил к Государю. И отказаться было невозможно: не только по представлениям вековым, но и – выглядело бы неуверенно, портило бы саму их миссию.

И грузноватый приземистый чуть прихрамывающий Гучков, в шубе богатого меха, и

легко одетый тонкий высоковатый Шульгин в котиковой шапочке – пошли к царскому вагону, будто так и думали начать, спустились на рельсы, вступили на другую платформу.

По пути флигель-адъютант Мордвинов спросил Шульгина, что же делается в Петрограде, и тот, по молодости, по впечатлительности, не сообразуя со своею миссией, откровенно ответил:

– Что-то невообразимое! Мы всецело в руках совета депутатов, уехали тайком, и нас, возможно, арестуют, когда мы вернёмся.

– Так на что же надеяться? – изумился Мордвинов.

– Вот надеемся, – искренно сказал Шульгин, – что Государь нам поможет.

Вошли в столовую часть вагона. Скороход помог депутатам снять пальто. Через двери они перешли в салон. Он был залит ярким светом при зашторенных окнах, светло-зелёной кожей обиты стены, и лощёно чист, от какой чистоты депутаты уже отвыкали за эти дни в Петрограде. Пианино. Небольшие художественные часы на стене.

Тут встретил их с расторченными седыми усами худой глубоколетний желтовато-седой генерал с аксельбантами – министр Двора граф Фредерикс. Он многие годы сберегал высокую ровную фигуру, но теперь согнутые спины уже и крючило его. Однако он был безупречно наряден, и портреты трёх императоров в бриллиантах на голубом банте напоминали дерзким депутатам, куда они явились. У него было своё неотступное спросить о Петрограде – о разгроме своего дома и что жену увезли неизвестно куда, – но он находился при исполнении обязанностей выше его самого и ни о чём не спросил.

А Гучков, здороваясь с ним, это самое и выговорил запросто, или даже рассеянно, почти как говорят дежурную любезность: что дом министра разгромлен, и он, Гучков, не знает, что случилось с семьёй.

Гучков переступал тяжёлыми ногами, как победивший полководец, приехавший диктовать мир. А Шульгин застеснялся: он ощутил себя совсем не к императорскому приёму, не вполне помыт, не хорошо побрит, в простом пиджаке, уже четыре дня в таврическом сумасшествии. Только сейчас он сообразил, насколько далеки они от церемониала, насколько внешне не подготовлены присутствовать при великой минуте России.

Государь был в соседнем вагоне и тут вошёл – не обычной своей молодой лёгкой походкой, однако стройный как всегда, ещё и в пластунской серой черкеске с газырями, в полковничьих погонах. Лицом он был отемнён и во многих глубоких морщинах, набежавших за последние дни. Он не стал церемонно, чтобы к нему подходили, но сам подошёл и очень просто здоровался, в пожатии у него была крепкая рука.

Дожил император! Своего семейного, личного врага он ожидал как избавителя и сердцем торопил встречу все эти ужасные семь часов от дневного отречения до приезда депутатов. За эти семь часов он выдержал со свитой чай, обед. И читал подбодряющую телеграмму Сахарова. И безнадежную Непенина: что если отречение не будет дано в несколько ближайших часов – наступит катастрофа России. И в телеграмме Алексеева уверенное заявление Родзянки о сформировании самозванного правительства, и как оно само себе выбрало генерала на Петроградский округ. И несколько раз перечитывал проворно подготовленный дипломатической частью Ставки Манифест об отречении, впрочем благородный.

Вероятно (он боялся) в этот раз глаза его не скрыли и растерянности и надежды: может быть, депутаты привезли ему смягчение? Он спешил угадать: что привезли? Он готов был на ответственное министерство и готов был своего ненавистника Гучкова сделать председателем совета министров (и потом работать с ним и сносить его доклады), – только бы окончилась эта мучительная тяжба с Петроградом, а сам император мог бы беспрепятственно следовать в Царское Село.

Так известны были здесь все лица, что встречавшим не пришёл даже вопрос – спросить у приехавших полномочий от Государственной Думы на этот приезд и переговоры. А депутаты даже ни минуты не подумали ни в Петрограде, ни по пути о таких полномочиях.

Они сошлись как лица несомненные и в обстоятельствах несомненных.

Несомненных – но достаточно ли известных Государю тут, во Пскове?...

Государь сел к небольшому квадратному столу у стены, с каждой стороны на двоих, слегка ослонясь о зеленоватую кожаную обивку стены. Гучков и Шульгин – по другую сторону, против него, Фредерикс – на отдельном стуле, посреди комнаты. В углу за другим маленьким столиком – свитский генерал Нарышкин, начальник военно-походной канцелярии, занёс карандаш над бумагой, записывать.

Понимая, что главный из двоих – Гучков, Государь именно ему кивнул говорить.

О, сколько мог Гучков высказать этому человеку! Сколько уже было между ними докладов – в Девятьсот Пятом и Шестом году принятых доверительно, так что возбуждалась большая надежда на действие; потом, председателем 3-й Думы, непонятых, отвергнутых. И ещё сверх того в разное время сколько готовил Гучков мысленных докладов царю, монологов к нему, разоблачительных писем! Не изгладился, не забылся ни один рубец минувшего десятилетия. Но – ускользнул уклончивый венценосец ото всех тех монологов, утекло время, – и выговаривать всё то сейчас упречно – было поздно, разве только наслаждением мести. И – улавливал Гучков сейчас в глазах царя и невраждебность, и – неуверенность.

Так надо было идти кратчайшим путём прямо и – доломить августейшего собеседника, не давшегося никогда до конца.

И Гучков стал говорить – просто, по очереди, как оно всё есть:

– Ваше Величество. Мы приехали доложить о том, что произошло за эти дни в Петрограде. И вместе с тем... посоветоваться, – (это он удачно выразился), – какие меры могли бы спасти положение.

К чему он не стремился – это к краткости. Путь до конца и желательный вывод был ему чрезвычайно ясен, но и сам он не мог его выговорить без подготовки, – и тем более в подготовке нуждался император. Именно долготой, обставленностью, убедительностью речи мог Гучков лучше протолкнуть царя через предстоящую хлябь колебаний и сомнений. И вот он подробно рассказывал теперь, как это всё началось, сперва с разгрома булочных, с рабочих забастовок, разные случаи с полицией, как перекинулось в войска, какие пожары учинились, всё и правда стояло перед глазами, – эти пожары, и костры на улицах, автомобили со штыками, депутации к Таврическому. Каков паралич прежней власти. Как шли под снегопадом пулемётные ораниенбаумские полки... А затем – как и Москва присоединилась вся дружно и без борьбы.

То, что в обеих столицах не было сопротивления, особенно важно было для его аргументации, да это и самое поразительное было: власть оказалась даже и не существующей!

– Вы видите, Ваше Величество, это возникло не от какого-нибудь заговора или заранее обдуманного переворота... – Он не задумывал так выразиться, но язык выразился сам, невольно влачась на место преступления, как тянет часто преступника. – Но это – народное движение, которое вырвалось из самой почвы и сразу получило анархический отпечаток. И именно этот анархический характер движения наиболее пугал нас, общественных деятелей. И чтобы мятеж не превратился в полную анархию – мы и образовали Временный Комитет Государственной Думы. И начали принимать меры, чтобы вернуть офицеров к командованию нижними чинами. Я сам лично объехал многие части и убеждал нижних чинов сохранять спокойствие. Однако кроме нас в том же здании Думы заседает и другой комитет – рабочих депутатов, и мы к сожалению находимся под его властью и даже под его цензурой. Их лозунг – социалистическая республика и землю – крестьянам, а это захватывает солдат. И есть опасность, что нас, умеренных, сметут. Их движение захлестывает нас. И тогда Петроград попадёт весь в их руки.

В таком раскрытии истинного состояния была, может быть, нерасчётливость, которой Гучков не учёл: ведь их Временный Комитет считали здесь всевластным правительством, только потому и переговоры вели, а иначе: кто они? зачем?

Но иногда встречая неприкрытые искренние глаза Государя, Гучков уловил, что в глазах его вот погасают какие-то слабые блески надежды, которые, кажется, были вначале. Такая полная правда имела, очевидно, влияние на Государя более верное: они, приехавшие, – умеренные, а не лютые враги престола, как рисовалось когда-то, и возникал наклон: не подчиниться им как реальной власти, но – помочь им как, оказывается, полусоюзникам.

Иногда Гучков взглядывал в лицо Государя, но большую часть речи даже и не смотрел, с приспущенной головой глаза в стол, – лучше ли сосредоточиться? или стесняясь слишком открыто торжествовать над давним врагом? Почему-то он избегал прямого взгляда.

Он волновался. Говорил глухим голосом, с остановками, не везде согласовав.

А Государь, полуспиной отслонясь к стенке вагона, тоже опустил голову и перестал смотреть на Гучкова.

Они разговаривали, как если бы были разъединены не этим столиком, но сотнями вёрст телеграфной проволоки.

А вот – безусловно убедительный и выигрышный поворот, который здесь должны почувствовать наилучше: что если мятежное движение перекинется на фронт? Ведь всё – горючий материал, и всякая воинская часть, попав в атмосферу движения, тотчас и заразится. Поэтому посылать против Петрограда войска – безнадёжно: соприкоснувшись с петроградским гарнизоном, они неминуемо перейдут на его сторону.

Такого случая ещё не было, с Бородинским полком произошло вовсе не то (впрочем, царь, наверно, и не знает того случая). Однако Гучков не только пугал, но и сам был уверен. Ещё и развязный лужский гарнизон виделся ему – ведь это уже не Петроград, отчего бы не пошло так и дальше?

– Всякая борьба для вас, Государь, бесполезна. Подавить это движение – не в ваших силах!

Так ли, не так ли, сгущалось ли, чтоб отбить надежду у царя и скрыть, что вызывало растерянность самих думцев? Государь – не возражал, не оспаривал. Склонённая голова его была неподвижна, и лицо непроницаемо. Он сидел, кажется, самым спокойным из всех.

Он и всегда – волновался только перед решительным моментом, а с началом его успокаивался. А сейчас – совсем успокоился, узнав, что никакого облегчения ему не привезли. Вместе с последней надеждой он утерял и последнее волнение. С безразличием слушал – как что-то новое? или только проверял в себе решённое?

Ещё он про себя удивлялся, как прилично, не дерзко ведёт себя Гучков. Он ожидал оскорбительного поведения.

За дверью едко кого-то добравив, почему не прислали депутации сперва к нему, вошёл Рузский. Не спросил ни дозволения присутствовать, разве кивком головы, ни – сесть четвёртым за их столик, – а сел, через угол от Шульгина, с третьей стороны стола, досадливо перебирая шнуры аксельбантов. В ровном голосе Гучкова стали выделяться молоточные нотки. Он как будто хотел, наконец, удостовериться, пронял ли он царя. Неумолимо рассказывал, как приходили приветствовать Думу и признать её власть – депутации Собственного Конвоя, Собственного железнодорожного полка, Сводного гвардейского полка и даже – царскосельской дворцовой полиции. Все, все доверенные, кто имел касательство к охране личности Государя.

И действительно, можно было заметить, что это Государя забирало: задвигались брови, дёрнулось плечо.

А Гучков истолковал невероятное спокойствие царя до сих пор – его пониженной сознательностью, пониженной чувствительностью, как думало о нём всё общество. Он и сам не забывал никогда поразительное спокойствие Государя на аудиенции в Петергофе летом 1906: рядом с восставшим Кронштадтом – такое невозмутимое спокойствие! Гучков тогда из этой царской безмятежности вывел, что – все погибнут, Россия погибнет. И сейчас он думал, что не может нормальный человек так спокойно выслушивать такие ужасные для себя вещи. А что Государь именно в мелкий момент выразил волнение, было доказательством того же: среди страшных дней России не это ли первое его поразило? Если б не измена конвоя –

понял ли бы он, над какою пропастью стоит?

И, ещё развивая этот мотив: всем этим частям приказано продолжать охрану лиц, которая им поручена. Однако другие царскосельские части – в мятеже, и вооружена простая толпа, и **опасность** (Гучков не вымолвил прямо: для вашей семьи) – конечно существует.

Он – сбивал императора со спокойствия.

Но тот – опять не выказывал ничего.

Всё-таки, несмотря на всю его простоту, что-то в нём не давало забыть, что он – царь.

Итак, думский Комитет – все сторонники конституционной монархии. А в народе – глубокое сознание ошибок власти и именно – Верховной власти. И поэтому нужен какой-нибудь акт, который воздействовал бы на народное сознание. Как удар хлыста, который сразу переменял бы всеобщее настроение. Напротив, для всех рабочих и солдат, принявших участие в беспорядках, возвращение старой власти грозит расправой над ними. У них тоже не стало выхода. Для всех – только один выход: смена власти. Единственный путь – это передать бремя Верховного правления в другие руки. Можно спасти и Россию, и монархический принцип, и династию, если, например, Его Величество объявит, что он передаёт свою власть маленькому сыну при регентстве великого князя Михаила.

Тут Государь первый раз перебил, довольно робко:

– Но достаточно ли вы подумали о впечатлении, которое произведёт на Россию...? В чём почерпнуть уверенность, что при моём уходе не будет пролито ещё больше крови?...

Гучков, тяжело коснеющий, и Шульгин, вдохновенно подвижный, в два голоса и в одну мысль ответили ему, что именно этого и хочет избежать думский Комитет. Что именно через отречение Россия уже безо всяких помех и при полном внутреннем единстве сможет кончить войну победоносно.

– Даже если судить по Киеву, – убеждённо выникал из молчания Шульгин, – общественное мнение теперь далеко отшатнулось от монархического. Если окажут сопротивление, то элементы малозначительные. Напротив, надо опасаться серьёзной междуусобицы, если отречение затянется.

Как, и – по Киеву? По древнему стольному монархическому Киеву?...

На этого известного, когда-то преданного и даже выдающегося монархиста, на малые острые франтовские усики Государь посмотрел, кажется, первый раз за разговор – и печально. И – не его, но снова Гучкова спросил:

– А не возникнут ли беспорядки в казачьих областях?

Гучков улыбнулся:

– О нет-нет, Ваше Величество! Казаки – все на стороне нового строя! Это ясно проявилось в Петрограде поведением донских полков.

Рузский занервничал: всё говорилось опять сначала, а Государь мог промолчать так и час, и отречения как будто не существовало? Гучков тратил усилия зря! В кармане у Рузского лежала дневная телеграмма августейшей рукой!

Но не имея возможности вслух перебить при Государе и сделать от себя заявление (однако и сломить же надо этот невыносимый этикет!), – Рузский заёрзал, наклонился к Шульгину и, теряя приличие, прошептал якобы ему, на самом же деле так, чтоб донеслось и до Гучкова:

– **Это** – дело решённое, даже подписанное. Я...

Это – **он** – сломил Государя! Это должно было стать известным!

А Гучков – не слышал, не понял! Перед встречей было бы довольно двух слов, чтобы теперь этого вовсе не говорить и не вводить бывшего императора в соблазн, что ещё можно уцепиться за уголок трона! Гучков – не понял, и с воспалёнными глазами за пенсне, со сбитым галстуком, вновь настаивал:

– События идут так быстро, что сейчас Родзянку, меня и других умеренных крайние элементы считают предателями. Они конечно против такого выхода, потому что видят здесь спасение монархического принципа.

Не сказал – «который дорог нам с вами», но только так и получалось. Обдуманная или

сама собою, сложилась позиция приехавших так, что они – не противниками приехали, не контрагентами, но – даже союзниками, вместе с Государем спасающими все дорогие святыни.

– Вот, Ваше Величество, только при этих условиях можно сделать попытку – (ещё попытку только!) – водворить порядок. Вот что было поручено мне и Шульгину передать вам... И у вас, Государь, тоже нет другого выхода: какую б воинскую часть вы ни послали сейчас на Петроград, повторяю...

Уже совсем не выдерживая, туже насаживая свои стекляшки, Рузский поправил:

– Хуже того. Даже нет такой воинской части, которую можно послать.

Это – сильно было заявлено. Кому лучше знать, чем Главнокомандующему, самому близкому к столице?

(Но никто не высказал, да кажется и не подумал: а есть ли у Петрограда такая воинская часть, которую можно послать на Ставку?)

И вдруг сейчас, совсем внезапно и ни к чему, Государь понял, какого именно зверка ему всегда напоминал Рузский – хорька! хорька в очках, от сильных скул сплюснутые наверх виски. Верней – хорёнка, но со старым выражением.

Фредерикс грузно-опущенно сидел, будто дремал, и ему грозило свалиться со стула.

Гучков пропустил намёк Рузского, но и сам, своими глазами видел, что борьбы не будет, что царь близок к капитуляции.

Не замечая, он всё более говорил с этим человеком, недавно правителем, повелителем, который прежде мог его самого легко изгнать или арестовать (но не сделал так), – всё более говорил сверху вниз, поучая, как не вполне развитого и не вполне взрослого. И когда он уже необратимо доказал ему, что единственным выход – передавать престол, и не услышал возражений, он захотел проявить и великодушие:

– Конечно, прежде чем на это решиться, вам следует хорошенько подумать. – Уступая его психике: – Помолиться. – Однако и твёрже: – Но решиться всё-таки – не позже завтрашнего дня. Потому что уже завтра мы не будем в состоянии дать вам добрый совет, если вы его у нас спросите. Потому что – толпа крайне возбуждена, агрессивна, и от неё можно ожидать всего.

И выдержав паузу, Гучков снисходительно повторил:

– Может быть, Государь, вы хотели бы теперь уединиться? Для обдуманья, для молитвы?

Государь диковато-изумлённо посмотрел на Гучкова.

Гучков положил перед Государем смятую бумагу проекта отречения, составленного ими в пути.

Да, да, верно чувствовал Шульгин: почему правильно, что поехал сюда. Его присутствие здесь отменяет всякий оттенок насилия, унижения. Два монархиста – потому что и Гучков монархист, два воспитанных человека, без оружия, должны были тихими шагами войти к Государю и усталыми охрипшими голосами доложить происходящее. В такой обстановке не унижительно отречься монарху, любящему свою страну.

А Государь всё молчал, иногда разглаживая усы большим и указательным пальцем. Обвесив плечи совсем не по-императорски, а как самый простой человек. Посмотрел большими голубыми больными глазами. И после долгого этого выслушивания наконец сказал:

– Я об этом думал... Думал...

Рузский изводился, что не мог развернуть перед депутатами уже готовое отречение. Хотя как будто царь уже не был царь, вся его бывшая власть лежала, вчетверо сложенная, вот тут, во внутреннем кармане кителя у Рузского, однако власть этикета, внедрённая с юных лет, не отпускала. Объявить сам – он не смел. Но этот тон неспорчивый, эти растянутые «ду-мал» – как будто уже и были высказанным согласием? и открывали Рузскому право (вот как он придумал):

право вынуть из кармана и, самому же Государю возвращая, передавая через стол,

сказать:

– Государь уже решил этот вопрос.

Очень удачный получился ход! – Государю отрезалось отступление!

Но Николай Второй, получив наконец в руки назад упущенное, чего целый день не умел от главнокомандующего взять, – не развернул, не объявил думским депутатам, а просто – спрятал в карман.

Он – украл своё отречение назад?? Какая ошибка генерала! Так глупо поддаться!

И Рузский приготовился сам теперь объявить, громко сказать, *что* в том документе, ещё не уничтоженном, ещё вот здесь, в кармане царя.

Нет, к облегчению Рузского царь не слукавил. Он искал слова? Да. Но – не волновался. Да умел ли он волноваться? Этим средним человеческим качеством обладал ли он? Он был – спокойней их всех тут, как будто этот эпизод касался его менее всех.

Но – печален был откровенно. И так смотрел на Гучкова, не искавшего встречи взглядов.

Не обращаясь никак, он сказал однако явно одному Гучкову, голос его звучал очень просто:

– Я – об-думывал. Всё утро. Целый день. А как вы думаете? – робким тоном просителя отступил. – Прияв корону, может ли наследник до совершеннолетия оставаться при мне и матери?

И смотрел беззащитно с надеждой.

Гучков уверенно покачал головой:

– Нет, конечно. Никто не решится доверить воспитание будущего Государя тем, кто... – Голос его отвердел, это не о присутствующих, – ...довёл страну до настоящего положения.

– Значит – мне что же?... – тихим-тихим упавшим голосом спросил царь.

– Вам, Ваше Величество, придётся уехать за границу.

Государь покивал печально.

– Так вот, господа. Сперва я уже был готов пойти на отречение в пользу моего сына. Именно это я подписал сегодня в три часа пополудни. Но теперь, ещё раз обдумав, я понял... Что расстаться с моим сыном я не способен.

Гучков резко поднял голову к царю.

Голос Государя был совсем не государственный. Но и не равнодушный, а дрогнул болью:

– Я понял, что... Надеюсь, вы это поймёте... У него некрепкое здоровье, и я не могу... Поэтому я решил: уступить престол, но не сыну. А великому князю Михаилу Александровичу.

И потупился. Ему трудно было говорить.

Депутаты удивлённо переглянулись, первый раз за всю беседу. Вступил Шульгин – поспешно, как боясь, что его обгонят:

– Ваше Величество! Это предложение застаёт нас врасплох. Мы предвидели только отречение в пользу цесаревича Алексея. Мы ехали сюда предложить только то, что мы передали вам.

Такое простое изменение, такая простая перестановка двух предметов, – а депутаты совсем оказались к ней не готовы, и пославшие их не готовы, и никто об этом не задумался прежде...

Искал возраженьё и Гучков:

– Учитывалось, что облик маленького наследника очень смягчал бы для... масс... факт передачи власти...

Все они там, в новом правительстве, в думской верхушке, рассчитывали на малолетие Алексея, несамостоятельность Михаила... А что ж получалось теперь?

– Тогда разрешите, – искал Шульгин, – нам с Александром Ивановичем посоветоваться?...

Государь не возразил. Но и не поднялся уйти.

Да и не ему ж уходить!

Очевидно – выйти депутатам?

Но и они были в растерянности, не выходили. Да, кажется, Гучков и не искал советов Шульгина, он предполагал бы решить сам.

А у Государя – было своё неохватимо трудное. Но ему – не с кем было выйти советоваться, а вот их же, враждебно приехавших, снова спросить о том же:

– Но я должен быть уверен... как это воспримет вся остальная Россия. – И голубым растерянным взглядом искал ответа у них, избегая Рузского: – Не отзовется ли это... – не нашёл, как выразиться скромно.

– Нет! нет, Ваше Величество, не отзовется! – это-то Гучков знал твёрдо. – Опасность – совсем не здесь. Опасность, что если раньше нас другие объявят республику – вот тогда... Вот тогда возникнет междуусобица. Мы должны спешить укрепить монархию раньше.

Также и Шульгину этот вопрос был ясней той неожиданной заминки с наследованием. И он давно порывался вступить с монологом, зачем и ехал:

– Ваше Величество! – горячо, убедительно заговорил он. – Позвольте мне дать некоторое пояснение, в каком положении приходится работать Государственной Думе.

Описал, как наглая толпа затопила весь Таврический дворец, у думского Комитета – две маленьких комнаты.

– Туда тащат всех арестованных, и ещё счастье для них, что тащат, так как это избавляет их от самосуда толпы... Дума – это ад! Это – сумасшедший дом!

Но, кажется, такая горячая характеристика не укрепляла позиции приехавших депутатов? Шульгин исправился:

– Но мы сохраним символ управления страной, и только благодаря этому некоторый порядок ещё может сохраняться. Вот – не прервалось движение на железных дорогах. Но нам неизбежно придётся вступить в решительный бой против левых элементов, для этого нам нужна прочная почва. Ваше Величество, помогите нам её создать!

Они просто умоляли, они ничего не вынуждали!

А Государь всё никак не мог увериться, не мог охватить:

– Но я хотел бы, господа, иметь гарантию, что вследствие моего ухода не будет пролито ещё новой крови...

О, как раз наоборот! Наоборот как раз! Только отречение и спасёт Россию от перспективы гражданской войны!

Действительно: зато – миролюбие. Зато – ни над кем никаких расправ.

А вот относительно изменённого Государем проекта – конечно, тут надо... Хотя бы посоветоваться четверть часа.

Но Гучков принял легче и быстрее. Да ведь он ехал сюда, зная несравненное упорство этого человека, ожидая самый изнурительный и быть может безуспешный поединок, так что пришлось бы вернуться лишь с ответственным правительством и с кусочком конституции, – а тут уже всё было сломлено, отречение – подавалось на блюде, цель долгой общественной борьбы – вырвана, надо брать, пока протягивают.

И – ему отказала ненависть к этому человеку, и он сказал великодушно:

– Ваше Величество! Конечно, я не считаю себя вправе вмешиваться в отцовские чувства. В этой области нет места политике и невозможно никакое давление. Против вашего предложения мы возразить...

Слабое удовлетворение проявилось на истерпевшемся лице Государя.

Отыскалась та точка, где он упёрся: в праве на единственного сына!

Депутаты не находились, и Государь не вынуждал их аргументов. Он тихо поднялся и ушёл в свой вагон, так и в руки не взяв привезенного депутатами проекта.

Не объяснив: давал ли он им перерыв подумать? Или уже принял решение сам?

В салоне разбрелись, закурили. Добавился неприглашённый коренастый генерал Данилов, до сих пор завистно переминавшийся на платформе.

Тут стали говорить, в голову пришло: что ведь должны бы существовать какие-то

специальные законы престолонаследия, и не худо бы с ними справиться. Граф Нарышкин, до сих пор ведший запись беседы, сходил и принёс из канцелярии нужный том законов Российской империи. Листали, искали, может ли отец-опекун отречься за сына. Не находили.

Не находили видов отречения, но и самого раздела об отречении вообще – тоже не находили.

Двадцать лет боролись, желая ограничить или убрать царя, – никто не задумался о законе, вот штука.

Гучков и Шульгин теперь совещались, верней беспорядочно думали каждый своё.

Если Михаил станет центральной фигурой, то он может повести и неожиданную самостоятельную политику. Монархия может и не принять желанного приличного образа: чтобы монарх королевствовал, но не правил. Такой исход противоречил решению и желаниям Временного правительства.

Просто не успели договорить, сразу не сообразишь. Шульгин сказал бы, немного с романтикой: Ваше Величество! Алексей – естественный наследник, всем понятное воплощение монархической идеи. На нём нет пятен и упрёков. Найдётся немало людей в России, готовых умереть за этого маленького царя...

А может быть тут есть и свои плюсы? Если на троне останется царевич – очень трудно будет изолировать его от влияния отца и, главное, так ненавидимой всеми матери. Сохранятся прежние влияния, отход родителей от власти покажется фиктивным. Если же мальчик останется при троне, но будет разлучён с родителями реально, уедут они за границу, – это отзовётся на его слабом здоровье, да и будет он всё время думать о родителях, и в его душе могут подняться недобрые чувства к разлучникам.

Критиковать – легче всего, и теперь Данилов предлагал Гучкову свою критику: не опасно ли принять порядок, не предусмотренный престолонаследием? не вызовет ли отречение в пользу Михаила крупных осложнений впоследствии?

Гучков перетолкнул надоедлого Данилова к Шульгину. А Шульгин, про себя лихорадочно прокручивая, вдохновенно нашёл, вздумал ещё и так: если не дай Бог придётся и следующему монарху отречься (в этой обстановке – нечему удивляться), то Михаил может мирно отречься, а несовершеннолетний Алексей и отречься не может, и тогда – что?...

Тем временем Рузский, обиженный, что смазана вся его роль в отречении, порицал депутатов: как же они могли ехать по такому важному государственному вопросу и не взять с собой ни тома основных законов, ни юриста?

Да не ожидали они такого решения! Да нужно представить себе нынешнюю петроградскую обстановку!

Но вот важный довод: если трон займёт мальчик, то правомочна ли будет его присяга на верность конституции? А именно такой присяги думский Комитет и хотел, чтобы новый царь не мог восстановить независимости трона. От Михаила же сразу можно будет такой присяги потребовать. Михаил как регент должен будет отстаивать все полные права наследника. Михаил как царь может быть ограничен уже при вступлении, и это поспособствует...

Гучкову не хотелось принимать государева варианта. Но утомлённый мозг не мог найти сильного аргумента против.

Да он так был поражён, до чего ж не сопротивлялся царь отречению! Десятилетия жившим под этой императорской машиной вообразить и ожидать такое – было невозможно! Такой успех шёл в руки сам – как было его не брать? Одним шагом Гучков совершал уникальный поступок в русской истории, обуздывал, быть может, революционную смуту – да ещё и спасал монархический принцип!

Да кажется – их решения никто и не ждал: Государь не возвращался. Он счёл дело уже решённым? или ушёл ещё сам обдумывать?

Да рассуждать от обратного: если сейчас не согласиться – значит, отречения не будет вовсе? Значит, они уедут с пустыми руками. А при их положении таврических пленников –

дело отречения просто передастся наглеющему петроградскому сброду, Совету рабочих депутатов? Худшая беда, которой надо избежать. Это будет – гильотина и республика...

Значит, надо брать такое отречение, какое дают. Тут и выбора нет.

Главное – скорей бы его получить, через час уже уехать, скорей бы объявить в Петрограде!

В салоне разговаривали. Умели они тут, при Дворе, держаться, но был раздавлен Фредерикс, голова его свешивалась. Гучков подбодрил его, что узнает, примет меры и выручит графиню.

За этот час на перроне между императорским и депутатским поездами собралось разных человек сто, читали раздаваемые революционные листки, покрикивали «ура!». Офицер охраны хотел приказать рассеять эту толпу, но флигель-адъютант остановил: Его Величество приказал никого не трогать и не разгонять.

К одиннадцати ночи крики на платформе всё усилились и подступали к императорскому поезду. Под эти крики в другом вагоне и составлялся текст отречения. А Гучков, пользуясь пустой паузой, вышел на заднюю площадку салон-вагона и объявил возбуждённой толпе:

– Господа, успокойтесь! Царь-батюшка с нами вполне согласен. И дал даже больше, чем мы ожидали.

– Ура-а! ура-а! – ещё усилилось.

В четверть двенадцатого Государь вернулся – не более потрясённый, чем уходил, всё в том же самообладании, и протянул два листика, отпечатанных на машинке:

– Вот акт. Прочтите.

Все поднялись ещё при входе Государя, стояли теперь, и Гучков, а сбоку Шульгин, склонясь над столом, читали перебегами вполголоса.

– В дни великой борьбы с внешним врагом... Начавшиеся народные волнения грозят отразиться на ведении упорной войны... В эти решительные дни почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение... и в согласии с Государственною Думою признали Мы за благо отречься от престола государства Российского... Не желая расстаться с любимым сыном Нашим... передаём наследие Наше брату Нашему... Призываем всех верных сынов Отечества... вывести на путь победы, благоденствия и славы...

И – как Германия жаждет поработить Россию. И – как для русской победы удаляется Государь.

Рузский видел, что это – далеко не тот Манифест, который прислали из Ставки. Неужели же царь сам так быстро и гладко пересоставил?

Гучков ничему не возразил. А Шульгин, точнее следуя конституционному духу, пославшему их, предложил, чтобы великому князю Михаилу Александровичу было указано принести всенародную присягу верности законодательным учреждениям.

Государь нахмурил лоб, подумал, приписал: «принеся в том ненарушимую присягу».

Шульгин пожал губами на стиль: всенародную не поставил, а какая ж присяга бывает другая как ненарушимая? Но спорить не стал.

Он предложил, чтобы было помечено тем временем – тремя часами дня, когда Государь и без них пришёл к решению отречься.

Чтоб и не упрекали потом, что отречение вырвано депутатами.

Для Гучкова, напротив, такой пометкой умалялась его миссия. Но он смолчал. Пометили тремя часами дня.

И Государь размашисто подписал отречение – простым карандашом.

Гучков сообразил, что подлинным Манифестом в такое смутное время не хочется рисковать, нельзя ли отпечатать ещё и второй подлинный и оставить у Рузского?

Понесли отпечатать ещё один.

Теперь предстояло им троим – бывшему Государю и двум делегатам нового правительства, лицом к лицу промолчать двадцать минут.

Впрочем: нельзя же всё бросить как чужое. Порядок не должен нарушаться. Трон – брату, хорошо. А кому же кабинет министров? А кому же Верховное Главнокомандование? Депутаты одобрили: неплохо и распорядиться. Усилить преемственность власти. И пометить часом раньше, чем отречение, чтобы было действительно.

Кому же – кабинет?

Государю не хотелось – Родзянке. Вот кого бы назначить: Кривошеина.

Депутаты посоветовали:

– Князю Львову.

Хорошо.

А Верховное Главнокомандование – конечно, Николаше, кому же.

Писались указы Сенату. Это укрепит обоих.

Отдали на перепечатку.

Вот – и молчание.

Потом, потом... Самое трудное – говорить о себе. Какое-то небывалое состояние – без короны. И куда же?...

Ещё не найден тон: кто кому здесь подчинён теперь или нет? Нехорошо поступать самовольно, но унизительно и спрашивать...

Государь подёрнул плечом.

– Не встретится препятствий, если я поеду теперь в Царское Село?

Гучков поднял лоб как преграду. Ещё днём он так и предполагал, но... За спиной царя он увидел властную злую осанку своей главной врагини.

(Соединиться ему – с волей? Нельзя, может и отречение взять назад).

Вслух он не запретил. Но весь напрягшийся вид его, краснота лба. Но само молчание. Затянувшееся.

Потом сказал, что в Луге мятеж. Нельзя гарантировать безопасного проезда.

Государь чуть заметно качнулся – и обмяк как от удара.

(Нельзя в Царское? А только этого он и хотел. Для того и торопился скорей выполнить вот эти все формальности. И – нельзя?...))

С точки зрения общего спокойствия? Ну, это правда, может быть. Для блага России.

Да ведь он в Царское хотел – только на время, пока выздоровеют дети. А потом вместе с ними – в Ливадию бы...

А теперь – куда же? В Ставку?...

В Ставку – надо. Там тоже надо передать дела.

И можно будет вызвать в Могилёв из Киева Мама. Попрощаться.

Если придётся теперь – покидать Россию?

«В Ставку» – прозвучало и повисло: вопросом? сообщением? Спрашивал разрешения? не спрашивал?... Какое-то непонятное состояние.

Гучков ещё раз посмотрел на царя в полное пенсне, почти не скрывая, каким его видел, запуганным.

(Ставка, центр войск? При Алексееве и без Алисы? Ни на что не решится. Ни к чему не способен).

Можно.

Генерал Рузский даже извился – в недоумении, в протесте: да как же можно отрекшегося Верховного и отпускать в Ставку?

Но возразить Гучкову вслух – не выговорилось.

Принесли второй акт.

Депутаты предложили Фредериксу контрассигновать обе подписи Государя. Государь кивнул. Фредерикс тяжело сел, достал автоматическую ручку. И долго-долго выводил, с мучительными усилиями, как никогда.

Что ж, попросил и Государь, чтобы депутаты дали расписку в получении акта.

С волками жить...

Часы на стене салона показывали без четверти полночь.

Попрощались.
Рузский попросил депутатов к себе в вагон.

А царский поезд мог отходить в Могилёв. Соверша трёхсуточный бессмысленный судорожный круг и оброня корону, возвращаться, откуда не надо было и уезжать.

Ещё более часа поезда стояли.

Со свитою пили ночной чай. Но и здесь не говорили об отречении.

В будничном тоне Государь заметил:

– Как долго они меня задержали!

350

В душных накуренных комнатах министерского павильона ничто не менялось: подходила ночь, кому первая, кому третья, и снова надо было продремать её сидя, при свете и не раздеваясь, какой-то мучительный неустроенный вокзал. За сегодня ещё столько добавилось узников, что и на диване лежать по двое, как Протопопов с Барком, могло не достаться, а – сидеть втроём.

И все арестованные были люди не молодые, больше старики, и даже к восьмидесяти, и не имели привычки по несколько дней не мыться, не менять белья, – всё это ощущалось ими мучительно.

Адмирал Карцев всё рычал: «Воздуха!»

Никогда в жизни их не отрывали насильственно от семей – и теперь тревога их была ещё и о семьях, и о доме, не разграблен ли: ведь революция это и есть прежде всего грабёж, а что же?

За все эти дни арестованным не пришлось поговорить между собою, кроме десяти минут, когда Караулов, будто став комендантом, разрешил разговоры, – но вскоре к несчастью вошёл Керенский, обнаружил – и драматическим голосом к охране снова запретил.

Кто ни сменялся тут в охране, кто ни сменялся в комендантах, – но надо всеми судьбами властнее всех почему-то стоял Керенский. И старики – уже боялись его, недавнего прыща.

И ещё сидели они в безвестии, что делается в Петрограде, в России. А, людям государственных привычек, да ещё посаженным в такое бездействие, им невозможно было не думать об этом неизвестном происходящем, не строить предположений, как же пошли события, и существует ли новое правительство, и как к нему относится Государь, и как теперь поступать Государю?

По осмотру лиц друг друга они видели, что старых властей в столице не осталось никаких. Все считали демоном зла – Протопопова, и не без удовольствия видели, что и он – здесь, его недавно такую авантажную, а тут сразу такую смятую, припуганную, постаревшую фигуру, как ошипанную птицу.

Просили у прапорщика газет. Он отказывал. Потом принесли два номера «Известий Совета рабочих депутатов» (что за дичь названия!) – и эту мерзость с жадностью брали бывшие сановники, читали невыразимый язык на плохой бумаге грязными отпечатками и истолковывали их себе, как это понимать и что за этим стоит.

Разумеется, понятно было, что их не будут бесконечно содержать в министерском павильоне, но что дальше? Отпустят ли домой? Будут ли допрашивать? Так мучительно было сидеть, что уж лучше б скорей что-нибудь менялось!

Так – думали, но когда близ одиннадцати часов вечера распахнулась дверь и вошёл прапорщик Знаменский, за ним – усиливающий наряд преображенцев с винтовками, ещё два прапорщика Михайловского училища, а затем – струнно-грозный Керенский с бумагою в руке, – сердца арестантов захолонули. Все в первой комнате сразу поняли, что сейчас – что-то непоправимое случится, и уже страшно стало им покинуть тёплый и не такой уж

неудобный павильон, да даже защитный уголок перед страшным будущим.

Вокруг тонкой фигуры Керенского уже веяла такая атмосфера, и сам он смотрел так требовательно, так уверенно, что к кому он эти дни обращался, старые сановники поднимались из кресел, из диванов – седота и рухлядь, и генеральские мундиры, стояли перед недавним ничтожным депутатом.

Теперь, понимая величие минуты ещё больше, чем все эти старики, Керенский, хотя сам лишь слегка промелькнув по тюрьме в Девятьсот Пятом, восстанавливая по дальней памяти и гениальным даром своей актёрской натуры, воспринял и голос, и значение – и объявил пронизывающе:

– Все, кого я сейчас назову! – он держал список, но тоже для театральности, он в нём и не нуждался, – будут немедленно отправлены!

И догадался же остановиться, не сказав – куда . Это было наиболее страшно! **Отправлены** могли быть и на тот свет!

И самый невыдержанный, самый раскисший старик Штюрмер, длиннородый, высокий, слабый, четыре месяца назад такой ненавидимый премьер-министр, – жалобным, сразу плачущим голосом спросил:

– Но кто поручится, что нас не обезглавят?

По испугу и неловкости он назвал вид казни, уже никем не применяемый, но это прозвучало не только не смешно, а ещё более пугающе: так и представился где-то за городом помост при фонаре в морозной ночи и секира палача.

Керенский с достоинством миновал вопрос, стал читать каждую фамилию полнозвучно, а затем через паузы, как будто давая каждой струне ещё дозвучать.

А некоторые были в других комнатах, и Керенский пошёл прочесть и там весь список – от вступления «все, кого назову».

Облезлый Протопопов ловил за шинели проходящих солдат, спрашивая громким шёпотом:

– А вы не знаете – куда ?

А маленький съёженный полукарликовый Беляев с пустыми глазами, не настигнув умелькнувшего Керенского, военный министр, вытянулся перед прапорщиком:

– Я – честнейший человек, и я являюсь ошельмованным. Я занимался только делом и ни во что не вмешивался. Я подлежу увольнению со службы с пенсией...

Знаменский ответил басом ему и остальным:

– Одевайтесь! Собирайтесь быстро!

Старый Горемыкин, надев на сюртук андреевскую цепь, не расставаться же с ней, вот уже в меховой шубе и шапке, оказался готов раньше всех. Уже столько государственных бурь он проходил благополучно и знал, что без Господа не упадёт ни один волос. Да давно уже он жил на этом свете как задержавшийся гость. Он смотрел – и не смотрел, шептал молитву. Его повели.

Голицын прошёл вежливой тенью.

Добровольский обмяк, угнетённый, сколько ж ему расплачиваться за двухмесячное министерство?

Протопопов всё собирался, всё собирался, никак не был готов, хоть и вещей для сбора у него не было.

Дошло и до разляпистого грузного Хабалова.

Казалось бы, всех неготовее мог объявиться Щегловитов: его ведь привели в Таврический без пальто, на нём и вовсе ничего сверху не было. Но он ничего и не просил. Круглоголовый, рослый, он держался так спокойно и понимающе, будто он тут и распоряжался всей церемонией. Или тем задался оскорбить высокий порыв Керенского.

Кто-то из офицеров забеспокоился, и послали для Щегловитова за солдатской шинелью. Принесли узкую, насадили.

По коридору до самого подъезда, заднего, выстроена была в разрядку вся караульная рота преображенцев – и это было грозно, как на казнь, для сановников, ведомых изредка по

одному, – и никого посторонних встречных в полутёмном всём коридоре.

Все молчали, никаких распорядительных криков, всё согласовано. Страшно было идти. Маклаков шёл с обинтованной головой.

Уже за выходом было несколько членов Думы или других каких-то важных по-новому лиц. И в каждый из пяти подъезжавших закрытых автомобилей вводили двух арестованных, сажали их рядом на заднем сидении, а навстречу им, лицом назад, колени к коленям, садились: общественный представитель и унтер с обнажённым револьвером, направленным на арестованных. А с шофёром рядом – по офицеру.

И всякую сажаемую пару Знаменский, смакуя, предупреждал: не шевелиться, по сторонам не смотреть, всякая попытка к бегству вызовет применение оружия.

Как будто кто-то из них был способен бежать.

Занавески автомобилей были задёрнуты, не видно, куда едут. Большой револьвер, не обещающий доброго, поочередно наставляли то на одного, то на другого.

Говорить и с единственным соседом – снова не доставалось.

А Протопопову так хотелось узнать, посоветоваться, предположить! Но судьба свела его с мрачным Беляевым, который и без конвоя теперь бы с ним из осторожности разговаривать не стал. Да, верно назвали его военные – «мёртвая голова». А ведь сам же Протопопов зачем-то и выдвинул его в военные министры! И тот – всё погубил.

А с Маклаковым попал рядом Макаров – после Столыпина министр внутренних дел, недавно – министр юстиции, Государем отрешённый за строптивость: отказ погасить дело по Сухомлинову, Манасевичу и недостаточное расследование убийства Распутина. Так что он сам скорей был бы Думе угоден, а в десятку самых опасных и первовиновных угодил по мести Керенского.

Так и ехали. В слабом свете минующих фонарей видно было, как унтер не спускает с их животов крупного нагана. А сопровождающий вертлявый штатский господин вдруг нарушил молчание и обратился к Макарову:

– А вот вы меня и не знаете, ваше превосходительство. Хотя семь лет назад вы меня отправили в якутскую ссылку.

Видно было, что вся процедура сопровождения доставляла ему удовольствие.

В административную ссылку? Возможно. А они тут же разбегались свободно.

– А как ваша фамилия?

– Зензинов.

Да, не помнил. И фамилия какая-то шутовская.

– Я – известный эсер. Я – член ЦК! – с гордостью всё рекомендовался тот.

Вот это – и были страшные революционеры? Представилось: как искажённо должно было видеться им снизу вверх всё государственное. И как всё перевёрнуто в их голове.

Но и с министерской высоты случалось искажение всякое. Страдая сердцем, отдыхал Макаров в Крыму. Вызванный телеграммой – приехал в Петербург, думская трибуна изнывала, и не успев разобраться вышел: это ленская толпа сама напала на войско, ротмистру ничего не оставалось как стрелять. Идут годы – стыдно и больно вспомнить.

В обычной жизни мы всегда виним причину внешнюю. А уж когда возьмёт нас беда – тогда разгребаем внутреннюю, исконную.

Да сам Макаров в 60 лет уже хоть и отжил. Но сын у него единственный – это всё, что в жизни. Что будет с ним под этими злодеями?

Автомобили шли не быстро. Иногда их, видимо, останавливали патрули, и передний шофёр кричал:

– Автомобили Временного правительства!

Наверно, странно выглядели эти пять тёмных автомобилей, вереницей, за занавесками, среди ночи, – и все правительственные.

Не было видно, куда едут, пока не взяли на мост – подъём дороги, равномерные тройные фонари с двух сторон, силуэты, – можно было догадаться, что Троицкий.

Некоторое время было в автомобиле светлее.

Перебинтованный Маклаков ехал как отлитой из камня, не давая этому эсеру заподозрить в себе волнение. Тот, кто умел властвовать и отправлять в тюрьмы, должен тем более уметь отправляться сам.

Превратности судеб он уже имел время обдумать за эти дни. Превратности России – всё ещё колыхались впереди, не разглядываемые.

Куда же, всё-таки?...

По Троицкому мосту уже стали и догадываться, хотя казалось это – чудовишно.

Но вот и явно проехали через глубину глухих ворот Петропавловской крепости.

Уже и забыли о ней, стояла как памятник. Уже несколько лет вообще пустовавшая, вот открывалась теперь её каменная твердыня для немощных и отставленных министров.

Автомобили все остановились. Стояли. Слышались переговаривания приехавших офицеров и здешних.

Ещё подъехали. И раздалась недоброжелательная резкая команда:

– Выходи!

Вышли общественные представители. Вышли унтеры с наганами. Стали по одному выбираться сановники и генералы, зябко оглядываясь на темнеющие башни.

Они оказались между обер-комендантским домом и Монетным двором.

Широким оцеплением стояло много вооружённых солдат, как если б ждали от сановников прорыва. Кроме крепостных солдат откуда-то ещё и отряд матросов.

Но разглядываться не дали им, а командовали одному за другим подходить к каменной рубчатой стене на аршин (снег был не довольно расчищен там, они увязали) и стоять лицом к стене, не оборачиваться.

В ботинки Горемыкина зашла мёрзлая влага, и это было ему всего непереносимей.

Во всех командах чувствовалась неотклонимая уверенность. Это были, конечно, постоянные офицеры крепостной кордегардии, уже служившие здесь 5, 10 или 15 лет при этих самых министрах, тогда мелкие и неведомые, – а теперь такие грозно исполнительные при новой власти, уже нельзя им ни о чём напомнить и попросить.

(А Зензинов узнал тюремного полковника, который и его когда-то принимал здесь же. Сейчас доложить Керенскому, посадим!)

Брали по два с краю, по фамилиям не называя, руку сзади на плечо – и уводили.

В затылок.

В обход Монетного двора.

Значит, в Грубецкой бастион.

Уводили сразу трёх премьер-министров. Трёх министров внутренних дел разного времени. Трёх министров юстиции.

То, что и составляет государственную власть.

Несколько в ряд императорских правительств заканчивали существование в один час, в одну минуту.

И тут мелодичные колокола часов Петропавловского собора стали вызванивать «Коль славен», тоскливо в ночном пустынном воздухе.

Ту самую печальную мелодию, которую слышали в камерах и декабристы, и народовольцы, и...

351

Хороший ужин после хороших удач и в моменты жизненных поворотов позволяет нам ярче ощутить их. И себя в них.

Именно такой ужин и предложил Рузский делегатам-депутатам Думы или нового правительства, как бы их ни считать. Правда, сервированный в вагоне военным поваром и по военному быту ужин не напоминал лучшие петербургские, так что даже не оказалось шампанского, столь нужного к моменту, но на столе разлегла сытая добротность русской провинции в копчёностях, солёностях и достаточный выбор, что выпить.

Только сейчас, переходя сюда и рассаживаясь, они все ощутили, что испытывают расвобождение: оказывается, как они все были напряжены.

Революция революцией, а прежняя уютность хорошего ужина – вот сохранялась.

И наконец тут, без придворных чучел, можно было поговорить откровенно.

Да, они ожидали от царя сопротивления, и даже отчаянного. А что так сразу – и сдастся?...

– Что уже днём сдался! – хотел и Данилов рассказывать, он тоже соучастник той переломной минуты дневного отречения, Широкочелюстный, плотный, он уже ел от лилового окорока.

– А как он телеграмму назад требовал, а я ему не отдавал! – даже сам себе удивлялся Рузский: – Он хотел увильнуть, взять отречение назад! И был бы таков. И уехал бы. Но я не допустил!

С каждой минутой всё больше ощущал Гучков облегчение и победу. Ведь совсем могло иначе сложиться – уехали бы и без отречения. Упёрся бы царь – и что? А теперь – такую задачу свалили! – теперь только стряхнуться от помех, как в Таврическом, в Луге, – и освежёнными силами сокрушить Германию!

И ещё хотел им успеть сказать Рузский до переговоров: что посланные против Петрограда войска – это фикция, Рузский-то следит, они откачала растянулись, застряли, а теперь и отзываются.

Ну да всё обошлось прекрасно. Однако, как ни освобождён и упоён, Гучков раньше о деле:

– Один экземпляр отречения повезём с собой, а один оставим, Николай Владимирович, в вашем штабе на хранение. А ещё бы правильной – надо бы сейчас отречение зашифровать – и телеграфно передать в Главный штаб, а они – нашим в Думу. Там-то ждут не дождутся.

Только двое они с Шульгиным видели ту таврическую безумелость, а кто не видел – не вообразит. И что значит для них там – скорей узнать.

Да, это было разумно. Уже с полученным отречением нельзя было терять часов даже и на ужин.

Но – кому же доверить шифровку, кроме Данилова? и как же, как же не хотелось ему отрываться от этого стола и разговора с высокими гостями!

А ещё, ещё быстрее – послать от имени двух депутатов короткую телеграмму на имя Родзянки: что Государь отрёкся.

Нечего делать, взял Данилов телеграмму, взял одно отречение, поехал в город.

Александру Иванычу здоровье давно уже не позволяло есть и пить без оглядки, и не этой живой плотняной радостью был для него дорог стол, да даже и не всякой застольной беседой, – например сейчас он не был к ней особенно и расположен. А каким-то – надскатертным, надрюмочным полётом.

Свершение! Выполнена задача – может быть целой жизни. И уже не надо измышляться строить заговор, искать сторонников.

И уже ничто не грозит, если заговор раскроется.

Освобождение!

И даже! – проступали явные черты прежнего замысла, даже несомненное прозрение было в нём: между Царским Селом и Ставкой, как задумано, почти по дороге, лишь немного сбились в сторону, во Псков. И где же состоялась встреча с царём? – да в вагоне! в том самом, который и надо было захватить! Ещё был в заговоре замысел, чтоб и Алексеев поддался, не мешал, так вот он и не мешал! Да не просто похожесть была – это и был **тот самый** замысел в точности: схватить растерявшегося царя, вырвать у него отречение, он не сумеет отказать, таков прогноз! – и после этого пусть уезжает в Англию.

– Господа! – сосредоточенно поднял бокал сивоусый главнокомандующий с четырёхугольным стоячим ёжиком на голове, и переходил очками, сидел тут ещё один свидетель события, начальник снабжения фронта Савич. – Мы – первые русские люди, которые можем выпить первый в России тост не за будущую Россию, но – уже

наступившую! Все узнают позже, а мы – первые! Наступившую целую эру свободы, не одно столетие, целую эпоху, из которой уже не будет пути назад, во мрак!

Однако в лице Рузского, даже когда он хотел выразить радость, всё равно оставалось что-то неизгладимо унылое.

А Шульгин вообще был создан для красивых высоких моментов, он чувствовал их внутренним трепетом, он вообще был никакой не политический деятель, всё это недоразумение, он был художник жеста и слова, и только потому так блистал в думских речах, он был драматический артист, писатель и даже фантазёр, – наплывы фантазий зыбили для него действительность, и тут рождались лучшие его находки. А сейчас, совершенно необъяснимо, в нём почему-то звучал романс:

Я помню вальса звук прелестный
Весенней ночью, в поздний час...

Но как назло, такой высокий момент, эту острую неповторимую минуту ему портила мигрень: начал сильно болеть уголок головы около правого виска.

А Рузский рассказывал, как царь эти сутки вёл себя. Но всё же был большой спор? О да, спор был, и какой, вчера, а сегодня соглашался уже легче.

– Господа, – не мог не удивиться Гучков, – подумайте: и стоило ему десятилетиями так цепляться за свои прерогативы – чтобы так легко их сложить в один день? И это был – наш противник?... Всего-то?...

Противник? Шульгина покорило. Нет, такого слова он и в мыслях не мог применить к Государю. Это был – любимый собеседник, которого надо было убедить поступиться во имя России. И теперь – будет хорошо и безопасно, и России, и самому Государю.

– Да не мог он править такой страной, господа! – размышлял откинувшись щупловатый Рузский. – Слишком у него неустойчивый характер.

Доложили, что отходит царский поезд, – не нужно ли чего? о чём распорядиться?

Распорядиться? Переглянулись. Нет. Не прощаться же. Рассчитались, пусть едет.

Одно, чем Александр Иванович не мог не поделиться, что уж слишком было въявь:

– Но какой деревянный человек, господа! Такой акт! такой шаг! – видели вы в нём серьёзное волнение? Мне кажется, он даже не сознавал. Какое-то роковое скольжение по поверхности всю жизнь. Отчего и все наши беды.

Настолько не сознавал, что, может быть, и поражения не почувствовал от многолетней борьбы с Гучковым? Но и тем не уменьшалась победа, нет! Вершинный час. И откуда же возникло в Гучкове такое пророческое предчувствие: так точно видеть заранее эти ночные вагонные обстоятельства, в которых он возьмёт отречение?

И не прольёт крови. Не Одиннадцатое марта, – Второе. Бескровное. Славное. Отречение, как простая бумага, лежало во внутреннем кармане пиджака, у сердца, в бумажнике, чтобы не помять.

Мигрень разыгрывалась:

– Ах, Николай Владимирович, нестерпимо досадно! Но нет ли у вас здесь таблетки пирамидона? Да если вы разрешите, я бы и прилёг на десять минут.

Так и распался ужин. Савич тоже вскоре уехал. За столом сидели Рузский и Гучков.

Совсем друг другу чужие, совсем друг друга не любившие. Случайные союзники в час торжества.

И торжество-то было для Рузского сильно испорчено многим. Смазана была его роль как вырвавшего отречение, – выходило, будто это и не он получил. И Алексеев перехватывал роль, запрашивал Главнокомандующих, слал проект Манифеста. И эти приехали на готовое, даже и законов государства не зная. И не приносило Рузскому радости, что Верховным Главнокомандующим уже сразу и назначен Николай Николаевич: опрометчивый росчерк царя, которого не остановили. Брали картинного, но пустого великого князя, не замечая, какую несправедливость делают. Рузский и по своему интеллекту, и по посту, и по симпатиям общественности и Родзянки, и по близости к Петрограду – вполне мог бы рассчитывать, что Верховным назначат его. (И может быть, это ещё случится, великий князь

не удержится). Однако, как уже пошло. Надо не считаться, а объединяться. Вот, перед ним сидел уже новый военный министр.

– Обо мне при троне, – криво усмеялся Рузский, – всегда было плохое мнение. И что я ненавижу императрицу. Наконец-то можно будет жить без интриг с новым правительством. И не будет этих бюрократических дебрей. И этой парадности, недоступности. И этой продажности. Со склада Фронта требовалось отпускать Двору в день 46 пудов мяса первого сорта – ясно, что для прислуги, лакеев, конюхов, – и это за счёт солдат!

Вообще наступала новая эра в сношениях Главнокомандования с правительством. Для сохранения духа армии очень важна будет, особенно в ближайшие дни, помощь правительства. Возможна ли присылка каких-нибудь политических представителей? Какое-то турне думских ораторов? Вон, что делается у Непенина. Чтоб не разыгралось такое на Северном фронте.

Но Гучков сидел наполненный, молчаливый, неотзывчивый. Даже облегчением победы как бы обременённый.

А Шульгин только тут сообразил и воскликнул из пирамидонного лежания:

– Господа! И ещё мы упустили на Алексея: ведь ему войска уже присягали раньше, как наследнику, теперь не надо было бы присяги повторять!

Да, да. Отречение взято, но какая работа теперь предстояла с Михаилом! Михаил – тоже не семи пядей во лбу, фигура не царственная. Михаила тоже надо вести, направлять, вдохновлять, – кто это будет делать?

– Господа! А ещё мы упустили! – накатывало в больную голову Шульгина, через боль он выговаривал томно: – Как же мы не подумали, а? Как же будет с супружеством Михаила? Разве госпожа Брасова, третий раз замужем, может стать императрицей?

Да, в самом деле!

Да, в самом деле. Как затмило, когда соглашались. А потому что непривычны к этим династическим тонкостям.

Но в конце концов это и важно только для династических зубров. В революционно-потрясённой России – ну кого это оскорбит?

– Об этом сам Николай должен был думать, а не мы.

А вдохновительница нового Государя госпожа Брасова известна своими либеральными симпатиями. У неё – либеральный салон, бывали левые депутаты Думы.

Не разъединяться надо теперь, а объединяться. Однако сидел Рузский против Гучкова и думал: а берёт Гучков на себя – слишком много. Ну, какой же он военный министр?

И сидел Гучков против Рузского, и если чётче замечал эту зверьковую наружность с обкуреными жёлтыми зубами, и эту тощую интеллигентность, – думал: нет, не настоящий военный, рохля.

А Шульгин давал действовать порошку, смягчал свой взгляд, нарочито смотрел неотчётливо. И рядом – почти не видел. А видел – лицо Михаила. Уж такого рядового кавалериста со вскрученными усами.

Боже, ну куда ж ему вести Россию?!

ДОКУМЕНТЫ – 11

**Ставка, генерал-адъютанту Алексееву
Вырица, 3 марта, 1ч. 30м.**

До сих пор не имею никаких сведений о движении частей, назначенных в мое распоряжение. Имею негласные сведения о приостановке движения моего поезда. Прошу принятия экстренных мер для восстановления порядка среди железнодорожной администрации...

Ген-адъютант Иванов

Без двадцати минут час ночи штаб Северного фронта донёс в Ставку, что Манифест о царском отречении наконец подписан.

Ну, наконец-то! Разрядилось великое напряжение.

Кончилось несчастное царствование, не стало императора Николая II. Но не возникло и Алексея II, а – Михаил II. Имена как бы подвигались вспять к самому корню династии.

Вот скоро, вот скоро Северный фронт передаст и текст.

Кончилось несчастное царствование – и теперь наступит успокоение. Но, как всегда в жизни, великие минуты смешиваются с ничтожными. Там пока манифест, пока успокоение, – а у Ставки роились свои неотложные заботы: полоцкий комендант доложил: прибыло полсотни нижних чинов, вооружённых револьверами и шашками. Выйдя из поезда, потребовали разоружения станционной охраны. На вопрос коменданта, по чьему приказанию они этого требуют, ответили: по приказанию офицера, который остался в вагоне. Послал комендант жандарма в вагон проверить – солдаты из «депутации» напали на него и разоружили. К счастью, тут показался на станции взвод драгун – и все приехавшие солдаты разбежались. А в вагоне никакого офицера не оказалось.

Теперь они могли снова сбежаться и ехать на Витебск, или могла появиться новая самозванная «депутация», или даже десять таких. Юзы передавали исторический царский манифест, а надо было снова телеграфировать безответственному Родзянке, да в выражениях терпеливо-почтительных, потому что он высился теперь как бы новым царём, и всё военное Главнокомандование, какое ни будь Верховное, под него теперь попадало. В скромных выражениях напоминал Алексеев, что в военное время и в районе Действующей армии никак невозможно допустить разоружение железнодорожной охраны. И против солдатских банд и самозванных депутатий придётся принимать самые суровые меры, чтобы – Алексеев был возмущён, и строка его окрасилась упрёком, – чтобы оградить Действующую армию от того глубокого нравственного разложения, которое переживают все части петроградского гарнизона.

Увы, для петроградской революции, как она дышала вовне, нельзя было найти выражения более точного.

Суматошный этот Родзянко. То три ночи подряд теребил всех главнокомандующих телеграммами, и к аппарату. Но вот посланы ему одна, вторая точные военные телеграммы о тревожном происшествии – а он держит себя так, будто и не получал.

Но что у Алексеева было – это высокая штабная тренировка. Способность одновременно соображать и неупустительно направлять многие дела, включая и самые мелкие, и о которых другие не успевали догадаться.

Едва был принят из Пскова бесповоротный царский манифест, Алексеев уже распорядился срочно передавать его по всем юзам одновременно на все фронты – и далее во все армии, и начальникам всех военных округов, и безотлагательно рассылать во все части войск. Везде его ждали!

И, стало быть, надо же думать о новой присяге войск. Об этом послал телеграмму Родзянке и Львову. Но одновременно тут же соображал Алексеев и такое, что упустили во псковской и петроградской суматохе: а как об отречении будут извещены союзники? Ведь это тоже не ждёт! Достойнее всего это сделать самому же отрекшемуся императору – и надо предложить новому петроградскому правительству заготовить такое обращение,

Об этом послал телеграмму Львову и Милюкову.

А пока не ушли литерные поезда из Пскова – порядочно было поспешить донести через Воейкова бывшему Государю полученные сведения из Царского Села, что генерал Гротен и другие дворцовые военачальники арестованы в ратуше. (Не поостережся ли ему туда ехать?)

А вот сообщал Псков о назначении Верховным Главнокомандующим великого князя Николая Николаевича. (Как и можно было ждать, как и хорошо!) И вот Алексеев обязан был теперь спешить доложиться: туда, за Кавказский хребет. А – как? «Всепоподданнейше»? – уже

нет. Искать новое слово. Всепреданнейше.

Всепреданнейше испросить указаний: когда можно ожидать прибытия его императорского высочества в Ставку? А временно, до его прибытия, благоугодно ли будет его императорскому высочеству предоставить генералу Алексееву права Верховного Главнокомандующего? Или угодно будет установить новый порядок?

Ну, пока кажется... пока кажется всё... – досматривал заботливый острый стариковский сощуренный глаз.

Всего лишь трое суток прошло от момента, когда вот так же в глуби ночи император уехал на вокзал, Алексеев – вот так же шёл ложиться спать.

За трое суток – какую ж отвалили глыбу, загородившую русский путь!

353

В окаменении, в многолетней привычке не выражать себя Николай перенёс неурочный чай со свитой, ещё потом обращались Воейков, Нилов. Последние минуты лицо совсем обезжизнело. Веки, щёки, губы потеряли способность двигаться.

Но вот, наконец, ушли из его вагона – и вступил он в своё спаленное отделение – и сразу так смягчительно пришлось: свет не горел и не надо было зажигать его: камердинер догадался зажечь лампаду. Обычно её зажигал сам Николай, когда хотел, – а сегодня камердинер, заранее, – чувствовал? понимал?

И так сразу вступил Николай в этот малый тёплый сумрак, и увидел только синеватые края лампы над маслом, чуть колыхнувшееся копыце огонька – и, в соединении строгости и милости, вечно неразгадываемое лицо Спасителя, одной рукой держащего нам открытый Завет, – открытый, но лишь малые буквы мы способны прочесть и охватить.

И последним движением пальцев заперев за собою дверь, уже окончательно отъединясь ото всех, ото всех людей, и оставшись с Ним одним, – Николай ощутил блаженное горе – расслабиться и плакать. Он как подрезанный опустился на жёсткую свою кровать, свалился на один локоть вперёд – и плакал.

И плакал.

Всё, чего он не мог выразить никому, всё, чего не успевал совершить, всё, чего не дотягивался исправить, – всё теперь выбивалось наружу ударами плача.

На земле одна Аликс могла его понять – хотя и требовательно, хотя порой и осуждая. Но ещё исчерпанной, но до пределов охватывая – только Спаситель мог.

Мы – не могли разгадать Спасителя, но он – понимал нас сразу, до разъяма, и во всём – сделанном, подуманном, упущенном. И от этого полного мгновенного понимания ощущаешь себя вдруг – ребёнком, слабым, но защищённым.

И под Его рукой – плакал, плакал отрекшийся император, и вся обида невысказанная, вся боль к себе неумелому, вся тоска безвыходная и даже весь ужас – выхлёстывали из него, облекая.

Уже куда облегчённее он стал на колени молиться.

Под коленями подрагивал пол. Он и не заметил, когда поезд тронулся.

Он плакал уже слабей, но вдруг закруживались – снаружи ли вагона? внутри груди? – как бы ознобные вихри, и ударяли по стенкам, – вихри Судного дня? конца света? – Николай вздрагивал от их жгущих холодных ударов. Потом проходили. Так несколько раз.

Нечистая ли сила рвалась? И отстала от молитвы.

Николай много молитв знал, он очень много их знал, и просительных, и благодарственных, наизусть. И прошептал теперь многие. И в этой работе, в мерном повторении, во вдумываньи в иные фразы (а другие проговаривались без внимания) – он всё более умирался, утешался, понимая, что – идёт как идёт, на всё Божья воля, Божий замысел, не надо надрываться.

И наступила та равновесная, а потом и перевесная минута, когда молитвой он уже насытился, а немолитвенные мысли стали всё более пробиваться. Это и был знак, что

молитву надо кончить.

Николай поднялся, сел на кровать. И отдался ровному поезвному стуку. Сколько он ездил по железным дорогам, сколько читал под этот благородный вагонный стук, сколько просыпался под него, сколько смотрел в окно, записывал в дневник, – а не предчувствовал, что именно в поезде, в его любимом поезде, свершится конец его царствования, но – не смертью. Странно: по порядку должна была кончиться сперва жизнь. А вот – царствование кончилось, а он остался.

Зачем?...

Сидел – не ложась, не раздеваясь, не ощущая глубокого ночного времени. Сидел, боком к лампадке, под покачивание, под пристукивание.

Беспорядочно теснилось в голову разное всякое.

Зазвучало, как сказал его ненавистник со злорадством:

– Всякая борьба для вас, Государь, бесполезна.

Да, почему-то так сложилось. Борьба, даже и не начатая, стала невозможной. Так всё туго завязано, что ничего не изменишь, не пересоставишь. И Николай в 49 лет, полный здоровья и, кажется, полный сил, – не ощущал никаких сил для борьбы за трон.

Не за всё, не везде, не всегда можно бороться. Гораздо дороже – дать установиться в России всеобщему внутреннему миру и благожелательству. Он – мешал, из-за него всё не было мира, – ну, он устраняется. Он пошёл на все отказы, только не внести бы рознь в страну.

Лишь спасена была бы Россия.

Посмотрим, как все эти. Как – у них... Да помощи им Бог. Хотя не видел Николай среди них, право же, ну право же, таких уж замечательных работников, сколько-то лучше его собственных неудачных министров.

А ведь изо всех перебивавших председателей Думы, ну, кроме ещё Хомякова, – Гучков ему был когда-то наиболее к сердцу: и любит Россию, это несомненно, и умён, и как-то ярок.

Первый раз, когда он представлялся, в японскую войну, он и Аликс понравился. Так тепло его принимали, так долго хорошо разговаривали. Не было никакого предчувствия, что он станет таким злым врагом.

А ведь – подлый человек. Сегодня – ждал признаков унижения царя и хотел ими насладиться.

И как дёрнул его наставнический снисходительный тон: помолитесь!

От человека, который сам забыл, как молиться. А ещё – старообрядец...

А император, все годы, сколько случаев имел ему отомстить – ведь не мстил же.

Но спасибо, что отпустил в Ставку. Так рвался Николай в Царское Село, так искал поддержки Аликс! – но пока ещё надо было что-то решать, пока нужны были силы и мужество. А как только отречение свершилось – сразу вдруг не осталось ни борьбы, ни задач (ещё плечи не привыкли к такой лёгкости, ещё не верят). И вдруг внутри – переменялись стрелки тяготений. Семье – обещали депутаты безопасность. И с семьёю Николай пребудет теперь до скончания своего века, с кем же и чем же ещё. А Ставку, – Ставку свою он уже никогда потом не увидит. Проститься со Ставкой, в этой мужественной расширенной семье пребыть ещё несколько последних дней – он только и мог сейчас, до приезда Николаши.

Вот рок: один только жребий измечтать и любить – не императора совсем, но полководца, вождя армии, отца всех военных, – и не поехать в японскую (а всё могло бы пойти иначе!), и не решиться, когда возгоралась германская, – и с таким чрезмерным усилием взять, наконец, главнокомандование от Николаши – чтобы вот опять Николаше и отдать. Рок.

Как Николай любил военных! Каким военным он чувствовал сам себя! Как – на месте среди этих мужественных, простых, понятных людей. Уж он ли не был отдан семье! Но если бы Бог положил перед ним два жребия жизни и один бы исключал другой: или жениться на Аликс, иметь сегодняшнюю семью, Алексея, – но никогда не надеть военного мундира; или – быть всю жизнь военным, генералом, да даже полковником, как есть, но никогда не

жениться, – он выбрал бы второе.

Мужская воля и свобода от страха смерти, победа над смертью, реюшая в духе армии, – был высший дух, которым восхищался Николай. Этот дух – ещё смертному придавал уже неземную лёгкость.

Да, он нуждался в Ставку сейчас – как дышать. Чтоб не умереть в минуту.

Сколько же этих мужественных, блистательных офицеров он за 22 года царствования знал, повидал, награждал, выслушивал, наблюдал на парадах, смотрах, манёврах, банкетах, – одни они в совокупности уже был тот народ, для которого стоило царствовать.

И – где они оказались сегодня все? Где их восторженные «ура»? где их выхваченные к небу шашки-клятвы? Почему их рать не явилась к нему на поддержку? почему не отстояла трона?

Много – убитых, многих не стало, прими их, Господи, но сколько ж есть ещё, – где они? Все – рассеялись, скрылись, сидят в землянках, смотрят в стереотрубы, лежат в лазаретах, – все скрылись, а вместо них высунулся пяток главнокомандующих – и ни один не протянул руки поддержки, но все пятеро толкнули – отрекайся!

Первый раз он сегодня подумал, что выбрал главнокомандующих как будто не из этих офицеров. И во всяком случае, выбрал – не лучших.

Уже давно не горько было Николаю, что его ненавидят кадеты, революционеры, земгор, высший свет, – не горько, потому что и он им встречно не придавал большой цены.

Но что самые близкие, высшие офицеры, те самые, кто и должны были защитить... – вот этот удар сразил его.

И – опять слезами сжало горло. И выступили на глаза.

Он вспомнил о своём дневнике. Что б ни случилось, даже в день Цусимы, – он не мог отклониться, не записать дня.

Сегодня днём он уже начинал запись, ещё император, ещё не зная своего вечернего будущего. А теперь – надо было кончить.

Кожаная тетрадка дневника лежала на своём месте, в выдвижном ящике столика. Он легко достал её наощупь. Надо было зажечь лампочку, хотя бы ночную, но даже этого удара не могли вынести сейчас глаза.

А была – как раз остановка. Зашторенный поезд недвижно стоял в глухой тишине и как будто во тьме.

Николай раскрыл, где шёлковая закладка, и стал с тетрадью так близко к лампаде, как мог. Он различал и конец записи и смысл последних дневных слов: что он – **согласился**. И что из Ставки прислали проект манифеста.

И так, стоя под лампадкой, держа раскрытую тетрадь на раскрытой левой ладони, он вписывал самопишущей ручкой, петли букв скорее на память, но ровно строчки видя глазами:

«Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с кот. я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого».

Вот было и всё. Нельзя доверять бумаге ни своих рыданий, ни своих молитв. Он закрывал.

Но поднеслась опять эта губка главнокомандующих с жёлчью – такая неожиданная, такая незаслуженная! – и он снова раскрыл тетрадь и добавил ещё одной строчкой:

«Кругом измена и трусость».

И опять – кончил. Но не кончил. Главное-то самое:

«...и обман!»

Всю ночь не пересидишь. Стал раздеваться. И только раздеваясь, вспомнил о Мише, – вот только когда, первый раз! Так непоместительно было вечером всё для головы, что Миша-то и не влез, все поместились, а Миша нет.

Он там, кажется, сейчас в Зимнем. И именно туда, перст Божий, понеслась по тёмному

воздуху корона российских государей, – и странно было бы ничего ему не объяснить, не выразить от себя.

Очевидно, надо с какой-то станции послать телеграмму.

Миша! Милый, славный, прежде такой послушный брат, и такой отчаянный воин, всё перевернул этой женитьбой, – и какая ж это теперь императрица?

Много было разногласий, но всё можно забыть. А вот – извиниться: передал корону, не предупредив, не спросив.

Завтра послать ему телеграмму.

Решил – изместилось и это из головы. И распустился внутри заветный поиск: родной матери. Кто ж ещё над нами, кто ж ещё при нас, когда мы в бессильной беде?

Быть может – последняя надежда встретиться, перед долгой разлукой. Дать завтра телеграмму и ей – «... приезжай к одинокому сыну, всеми оставленному...».

И опять почувствовал себя маленьким, слабым мальчиком, неокрепшим.

Лежал.

А может – Чудо какое-нибудь ещё произойдёт? Бог пошлёт вызволяющее всех Чудо??

Покачивалось, постукивало.

Постепенно отходили все жгучие мысли, пропущенные через себя, изживаемые думаньем и покорностью, и покорностью воле Божьей.

Отходили – и как-то всё в мире опять уравнивалось. В этом мире, где завтра начинать снова жить.

ЦАРЬ И НАРОД – ВСЁ В ЗЕМЛЮ ПОЙДЁТ

ТРЕТЬЕ МАРТА
ПЯТНИЦА

354

Нельзя было не зажечься, что участвуешь в великих минутах России! Пока во Пскове в царском вагоне на скрытой зыби переговоров подныривало и выныривало русское будущее, инженер Ломоносов когтисто-тигристыми шагами, с каждым отрывом ноги как бы забирая на ботинок частицы пола, расхаживал из кабинета в кабинет, от телефона к телефону, а больше – к переговорному аппарату, связь которого со Псковом не размыкалась. На том конце сидел железнодорожный инспектор, поехавший с Гучковым обеспечивать дорогу, и рассказывал всякие мелочи из своих наблюдений.

Эта минута, измечтанная, изжеланная столькими поколениями русской интеллигенции, столькими революционерами, уходившими в ссылку и в эмиграцию, сказочная недостижимая минута, – вот она, вязалась и происходила в глухой неизвестности в зашторенном вагоне на полутёмном псковском вокзале, – и когда бы мог представить себе бывший кадетик и бывший студент-путеец Юрий Ломоносов, что, может быть, это он будет тем первым человеком в российской столице, кто первый выловит, вырвет весть об отречении деспота и бросит её на волны свободной ликующей России! (И упомянут ли его заслугу?) Юрий Владимирович наслаждался сейчас каждым своим взглядом, каждым

движением, шуткой, каждым взятием телефонной трубки, каждым перебором текущей ленты.

Страшно волновались и ждали в Таврическом, но не имели прямой связи со Псковом. И Родзянко распорядился, чтобы акт отречения, как только он возникнет, был бы передан по телеграфу шифром в министерство путей сообщения, а отсюда по телефону – в Таврический.

А Бубликов, больно уязвлённый своим неназначением в министры и даже особенно поэтому, распорядился: первую же деловую ленту из Пскова подать ему первому в кабинет.

И так, после того как Псков сообщил, что депутаты вышли из царского поезда, – Бубликов стал к аппарату ожидать последующего.

Наступило новое получасовое томление. Лента не шла. Отказал?? Не отрёкся?? Там, во Пскове, уже знали, но ничего не сообщали. Или шифровали.

Наконец – пошла! И Бубликов принял её, и унёс расшифровывать тайну сам. Не открывая двери, не делясь – сам же первый передал кому-то в Таврический. И наконец поделился с Ломоносовым как наградой: что это была короткая телеграмма Гучкова Родзянке, – Николай отрёкся от трона. Но пока, не притечёт сам манифест – об этом ни гугу.

Так что – не бросить по российским волнам, разве шепнуть верным сотрудникам, Рулевскому или Сосновскому. Грянуть – не удавалось Ломоносову.

Sic transit...! Вот – был император великой страны, и – враз превратился в *бывшего*, и уже ни в ком не вызовет ни угодливости, ни уважения, ни сожаления.

Опять потекла лента, не шифрованная, но и нисколько не об отречении. А просил Псков по поручению Гучкова назначить императорскому поезду маршрут в Ставку.

Ломоносова взорвало: они там сошли с ума! Как же можно отречённого деспота – да отпускать в Ставку? отдавать ему в руки всю армию?! Это – новый переворот!

– Александр Александрович! Это выше моего понимания! Что делает Гучков? Пожалуйтесь в Думу!

Бубликова как кипятком обдали – и он схватил трубку.

Однако он установил отдаление: ни Ломоносов и никто не должен дальше присутствовать при его телефонных разговорах.

Только слышно было, что он возражает резко, что он почти кричит.

И вышел на порог кабинета разочарованный:

– Приказано отпустить в Ставку. И очень торопят манифест. Спросите, почему не передают.

– Там, во Пскове, его отдали шифровать военному коменданту. И отказываются передавать по нашим линиям, хотят – по военным, в Главный штаб.

Ещё одно разочарование: из главного нервного центра их отшвыривали в боковое министерство.

– Жалуйтесь Гучкову!

– Гучков сказал: всё равно. Отбросили их.

Бубликов понурился, ушёл в кабинет. Но едва ли, чтобы спать.

А Ломоносов, не теряя тигристого шага, – расхаживал, расхаживал – и вдруг изобрёл! И позвонил в Думу, в Военную комиссию:

– Вот вы получите манифест – а где вы его намерены печатать?

Ведь у Думы нет своей типографии. Государственная типография и все другие в разгоне и забастовках.

– А мы, в типографии министерства путей сообщения, – можем! у нас служащие – на местах.

Там – и сами не подумали, раззявы. Там – рады предложению. Хотя ещё важничают.

– Но, понимаете, это большая секретность. Надо так печатать, чтоб никуда не утекло прежде времени.

Ломоносов ликовал над трубкой, и с военными интонациями:

– У нас отличная организация! Никуда не вырвется! И своя охрана. Можем всех незанятых служащих отпустить и ввести в типографию караул.

Сговорились. Отлично! Обрадовал Бубликова, а то он приуныл. Новые возможности.

Но теперь тормозил Псков: военный комендант удивительно медленно шифровал. А потом ещё будет передавать по военной линии. А потом будет расшифровывать полковник Главного штаба. Дело долгое, ещё на четверть ночи.

Бубликов решил спать, поручая Ломоносову: как расшифровка кончится – послать к этому полковнику автомобиль с двумя солдатами, везти один экземпляр на чтение в Думу, второй – сюда на печатанье. Как раз и будет уже утро, соберутся служащие типографии.

Бубликов лёг в кабинете – но тем более Ломоносов не ляжет в эту ночь, не упустит своего жребия, такие ночи не повторяются! Он расхаживал, расхаживал, собирая ясность.

Тут явился ротмистр Сосновский, очень красный, громкий и чрезвычайно весёлый. Видно, хорошо хлебнул там, в министерской квартире.

Вина! – это идея. Чего сейчас хотелось – это хорошего вина!

– Ротмистр! Надо принести бутылочку хорошего мне на дежурство.

Немного сгримасничал ротмистр: час поздний, воспитание мешает, но – дружба и служба, всё вместе. Блудливо улыбнулся. Пошёл и принёс бутылку отличной мадеры.

Теперь стало дежурить гораздо веселей. Но рождались и нетерпеливые мысли: что-то слишком долго манифест замялся у полковника Шихеева: всё не готово, всё расшифровывается. Потом – одно место не поддаётся расшифровке, потребуется вторичная передача.

Очень странно. Очень подозрительно. А нет ли здесь монархического заговора: задержать манифест пока в штабах – а тем временем что-то случится, кто-то поможет?...

Да, конечно, тут заговор чёрных сил! Это – ясно. Хотят скрыть манифест и устроить контрпереворот.

– Так что же, полковник, можно посылать автомобиль за актом?

– Какой автомобиль?

– Везти его в Думу.

– Простите, профессор, не понимаю, при чём тут вы? Псковская телеграмма адресована Начальнику Главного штаба. Я сейчас кончаю расшифровку и буду докладывать её по начальству.

Ах, так? Ну, совершенно ясно! – контрреволюционный офицерский заговор!

Первая мысль: обрезать у полковника Шихеева все телефонные линии, чтоб он не мог сговариваться. Псковскую линию, это – в наших руках, через Северо-Западную дорогу. А городской телефон? – звоним на городскую телефонную станцию: именем комиссара Бубликова – выключить телефон полковника Шихеева.

Бубликов спал, и фантазия Ломоносова, подогретая вином, расходилась.

Хорошо. Теперь – просить у министра юстиции Керенского разрешения на арест полковника, желающего скрыть отречение.

Керенский – бодрствует 24 часа, известно. И согласие его тотчас получено.

Всё! Гнать грузовик с солдатами в Главный штаб, как-нибудь выхватить полковника вместе с копиями акта – и везти в Таврический!

355

Адмирал Колчак был человек решительный до последней крайности. Он не только был способен к смелым решениям, но не был способен ни к каким иным. Ни в какой месяц своей бурной жизни, ни на какой службе он не мог бы просто пребывать, закисать. Везде он искал открыта и выполнить высшую задачу, на верхнем пределе своих сил.

Всегда порывался он участвовать там, где трудней. Кадетиком морского корпуса уже работал на Обуховском заводе, изучая артиллерийское, минное дело и ведение заводского хозяйства. (Отец там служил.) В первых же плаваниях лейтенантом стал заниматься океанографией и гидрологией. И уже тогда так верил в свою звезду, что держал целью:

открыть Южный Полюс! Но в южнополярную экспедицию попасть не смог. А тут барон Толль вдруг позвал Колчака гидрологом и магнитологом в северополярную экспедицию Академии Наук. Отец и братья были военные моряки, все знакомые семьи – тоже, но 1899, время мирное, – Александр отпросился с военной службы в научную. Побывал и учился у Нансена, строившего им корабль. (Полярные моряки – все братья). Трёхлетняя экспедиция их, однако, не одолела льдов. От Новосибирских островов Толль отправил Колчака с коллекциями через Лену – готовить из Петербурга другой корабль, а сам настойчиво пошёл дальше на север – и исчез. В декабре 1902 в Петербурге решали, как спасти Толля: нельзя поплыть раньше весны. Колчак предложил и взялся выполнить отчаянный зимний план: сговорил четырёх архангельских поморов, опытных в плаванья между льдами, и тотчас, в разгар зимы, погнал через всю Сибирь в устье Яны, туда на собаках по снегу притащил из Тикси лучший вельбот с затёртого толлевского корабля – и так же, до вскрытия льдов, погнал на Новосибирские острова. И когда в июле океан ненадолго вскрывался – Колчак с поморами на вельботе между ледовых глыб пошёл к острову Беннета, – там нашёл и записку Толля и ещё последние коллекции. Из записки стало ясно, что он и его спутники погибли от голода. А Колчак на вельботе успел вернуться в устье Яны, не потеряв ни человека. Измученный тремя годами экспедиций, он достиг Якутска в январе 1904 – и тут узнал о начале японской войны. Ни минуты больше и Академии Наук! и ни отпуска, ни отдыха, – он должен вернуться в военный флот и на фронт. Разрешение вырвал с трудом, у самого великого князя Константина Константиновича. Адмирал Макаров знал о Колчаке, океанографических его трудах, – и ещё до гибели адмирала Колчак уже водил в Жёлтом море миноносец «Сердитый», а потом видел взрыв «Петропавловска», а потом и сам подорвал на минах японский крейсер «Такосадо». Золотое оружие. Но не рассчитал сил, Полярье отомстило: месяц в воспалении лёгких, потом жестокий суставный ревматизм. Тут замирал и флот, все действия переносились на сухопутье, – Колчак отпросился командиром морской батареи в Порт-Артур и, преодолевая ревматизм, стоял там до дня сдачи, при разорванной связи едва не открыл огонь и после сдачи. Полгода пробыл в японском плену, был признан инвалидом, среди них великодушно отпущен на родину, и ещё полгода сдавал академические отчёты полярной экспедиции. Но позорно проигранная война горела в нём: флот и строили и водили невежественно, и корабли не умели стрелять. И Колчак, сердцем потонувший с каждым цусимским кораблём, стянул группу молодых энергичных морских офицеров в кружок: разработать научные основания организации флота, возродить его в мощном виде. Добились создания морского генерального штаба – и Колчак вошёл в него заведывать балтийским театром. Кружок рвался в облака! – но морской министр Воеводский сорвал всю программу судостроения и задержал восстановление флота на 2 года, были и конфликты с Думой. И Колчак в нетерпении рванулся снова в Полярье, на стальном «Вайгаче», выдерживающем ледовое давление: из Владивостока через Берингов пролив обогнуть всю Сибирь с севера. Но прежде того министр позвал Колчака назад – и осенью 1910 он вернулся на свой прежний пост в морском генеральном штабе, а стремясь в строй – отпросился у адмирала Эссена командовать, эскадренным миноносцем. Не было у Колчака ни связей, ни знакомств в высоких сферах, но по его выдающимся способностям его вытаскивало вверх. С 1913 он стал при штабе балтийского флота флаг-капитаном по оперативной части, правой рукой Эссена. Теперь флот бурно строился, но уже не успевали к ожидаемой в Пятнадцатом году войне – а она разразилась в Четырнадцатом! Ни дредноуты, ни подводные лодки у нас не были готовы. (Колчак за день до начала войны самовольно стал расставлять минные поля в Финском заливе, оберечь слабый флот, – и тут достигло от министерства: расставлять.) Через год он был уже в адмиральской должности, командовал минной дивизией и сбил прибрежное наступление немцев на Ригу. В июле 1916 он неожиданно получил телеграмму, что назначается командовать Черноморским флотом, – в 43 года! Отец его, Василий Иванович, был морским артиллеристом в Севастополе в 1855 – и вот сын его ехал в тот же бессмертный Севастополь!

Он понял это как вопрос и требование к себе: что же он должен теперь совершить?

Первая задача была: держать Чёрное море спокойным от нападения, обеспечить морское снабжение Кавказского фронта, чтоб ему не завязаться в диких густых горах. В самую ночь смены командования флотом, зная и дразня? – из Босфора появился быстроходный «Бреслау», – и в те же первые часы Колчак кинулся загнать его назад. Затем, сам наблюдая, установил перед Босфором минные поля, непроходимые и надводно и подводно, и держал там миноносцы на дежурстве, не давая туркам снимать мины. (Впрочем, несколько немецких подводных лодок прежде того уже были в болгарской Варне). И так – держался хозяином Чёрного моря. Но тем неотвратимее и доступнее выдвигался к своей исторической задаче: взять Босфор и Дарданеллы! А ещё при попутном на юг проезде Ставки Колчак получил одобрение этого десанта и от Государя («по вашим свойствам вы лучше всего для этого пригодны»), да как будто и от генерала Алексева, – и принял себе в жаркую цель.

Эта задача осветилась ему в таком несомненном свете, что даже странно было встречать в русских умах возражения и несогласие. После вступления Турции в войну как же было не схватиться за неё? Война сама сложилась так, чтобы нам выполнить вековую задачу. Зачем иначе мы вообще эту войну вели? – других целей нам в ней и не виделось. Целое столетие говорили и думали о проливах – и отчего же не брали теперь? Только без надобности пугали Европу, декларируя крест на святой Софии, – а проливы ждали подарком от союзников, и простая, прямая, единственная задача ведомой войны расплывалась в дипломатическом переминовании и в ненужных сухопутных напряжениях Ставки на тысячу вёрст фронта. А совершенно ясно, что союзники никак не заинтересованы дарить нам проливы: и Англия всегда была главным препятствием, – и мы должны брать их собственными силами. Как раз сегодня Англия не может помешать, и к заключению мира мы можем владеть проливами реально. Это и Скобелев говорил: Константинополь взять *до* заключения мира, а иначе потом не дадут. Овладеть сейчас проливами – это значит и приблизить конец войны. И какой иной смысл могло для нас иметь вступление Румынии, если и через неё не наступать активно на Болгарию и на проливы? (Подсобный вариант, но он быстро отпал по румынским неудачам.)

Кажется, вопрос был совсем не для теоретических диспутов (да и министр иностранных дел Покровский согласен был с Колчаком), дело было – вполне практическое, требовало лишь верной подготовки и молчаливой быстроты, и они уже реяли в груди Колчака и в действиях его. Да ещё осенью 1915 для того десанта стягивали к Одессе 7-ю армию, но отменили потом. Теперь расчёт Колчака был таков: из 45 турецких дивизий – 35 на Кавказском фронте да в Месопотамии, Аравии, Сирии. И отослано две в Галицию, и ещё поставлены против Румынии. В Дарданеллах – две ослабленных дивизии, на Босфоре – всего две слабых, да ещё две в Македонии, но им их не подбросить быстро. И немцы не смогут прийти на помощь туркам раньше двух недель, а мощный немецкий крейсер «Гебея» в долгой починке. Установлено нашими агентами, что полевые укрепления Босфора пришли в запустение и не охраняются, артиллерия перенесена в Дарданеллы, наши миноносцы даже в лунные ночи без помех подходят к турецким берегам. Всё это даёт возможность высадиться у самого пролива: ночью протралить подступы, на рассвете высадить по дивизии с каждой стороны пролива, начать заграждаться минами, тем временем высадить третью дивизию с тяжёлой артиллерией, а ещё за двумя дивизиями отправить транспортную флотилию повторно. Трудный момент будет только до возврата каравана со вторым десантом и пока мы прикованы к узкой береговой полосе. Но утром взошедшее за нашими спинами солнце будет слепить турок в момент начала нашего наступления. А к вечеру должен войти в Босфор и наш флот, – и путь к Константинополю свободен!

На одну дивизию пароходы с приспособлениями держались у Колчака постоянно. Ещё на две дивизии он стал устраивать этой зимой, чтобы быть готовым к маю: операцию можно провести только в июне-июле, там дальше неустойчивая погода, а потом и штормы, прервётся снабжение десантных войск. С минувшего ноября Колчак уже формировал первую десантную дивизию. (Присвоил ей морские знамёна, якорь на погонах и рукаве, а полки назвал: Царьградский, Нахимовский, Корниловский, Истоминский!)

Но Ставка, но бескрылый, недоверчивый Алексеев стал противиться всеми силами. Алексеев возражал, что это авантюра – высаживаться прямо в проливе, надо много дальше, основательно, а значит и силами четырёх корпусов, а значит и невозможно, ибо неоткуда их снять, нигде нельзя уменьшить число войск. (Да хоть от Кавказской армии взять! – неужели они важнее в горных тупиках?) Наконец, вообще всякая высадка – сложна, мы видим позор дарданелльской операции союзников. Наконец, вообще такого предприятия не бывало в мировой истории – и как на него осмелиться!?... (Этой зимой, когда Алексеев лечился в Севастополе, Колчак виделся с ним, убеждая. Но и – бесполезно. Но и – насмотрелся и увидел, что Алексеев не способен на дерзость, не из тех он полководцев. Он мыслит в догме сосредоточения превосходящих сил и не может поверить смелой операции малыми силами. А кроме того он предан «континентальной идеологии», вся судьба этой войны – нанести удар немцам, а для того важнее Балтийский флот. И также был он затмен затверженной политической доктриной опущенных рук: что Босфор и «сам возьмётся» после падения Германии, что будто ключи к Босфору – в Берлине.)

Так – были готовы у Колчака и флот, и средства перевозки, и можно было обойтись одними кавказскими дивизиями, – но не было окончательного распоряжения Ставки. Повисала в Севастополе и 1-я десантная дивизия. По замыслу Колчака это должны были быть отборные, боевые, награждённые солдаты, унтеры и офицеры. Но по армейскому исполнению, когда каждая часть пользуется случаем отделаться от негодных, – присылали штрафных, а то даже ополченцев, а офицеров – отборных пьяниц, тут в севастопольской гостинице устраивавших шумные песни, битьё окон и стрельбу. Десантная дивизия оказывалась распущенной массой, без уважения к офицерам, с небрежением к оружию. С января подтянули их, но с февраля они расслабились от новых пополнений – морского полка и рот запасных преображенцев, семёновцев, измайловцев. – а эти под 40 лет, вялы, без всякого боевого задора и даже обманутые, что их посылают охранять крымское побережье.

А вне порыва на Босфор оставались Колчаку операции на малоазийском побережье, в согласии с Кавказским фронтом. На днях Колчак ходил на миноносце в Батум – встречаться с Николаем Николаевичем, об устройстве захваченного трапезундского и других портов, об армейских перевозках, – и от него тоже не получил поддержки по босфорскому десанту.

Почти в зубах держал Босфор! – а взять не мог.

Ещё не уйдя из Батума, 28-го, Колчак получил из Петрограда от министра Григоровича телеграмму – «расшифровать лично». И сообщалось в ней, что в Петрограде – крупные беспорядки, столица в руках мятежников и гарнизон перешёл на их сторону, впрочем: «в настоящее время волнения утихают». Показал великому князю – тот пожал плечами, ничего такого не знал, но отпустил скорее возвращаться.

Данник решений мгновенных и властных, Колчак ещё из Батума тотчас распорядился телеграфно секретно коменданту севастопольской крепости: прекратить всякое почтовое и телеграфное сообщение Крымского полуострова с остальной Россией, передавать только телеграммы для командующего флотом и его штаба. Но той же ночью его миноносец принял из Константинополя от мощной немецкой радиостанции на испорченном русско-болгарском наречии – что в Петрограде революция и страшные бои. И что ж тогда скрывать? – все радио перенимаются на всех судах дежурными телеграфистами...

Придя в Севастополь 1 марта, Колчак получил телеграмму уже от Родзянки: что Временный Комитет Государственной Думы нашёл себя вынужденным, ко благу родины, взять в руки восстановление государственного порядка и призывает население и армию к помощи, чтобы не возникало осложнений.

Восстановить государственный порядок – это всегда хорошо. И Дума – достаточно авторитетный орган. Колчак вообще сочувствовал думским деятелям (а они и вовсе считали его своей надеждой, как и Непенина). Россия – должна развиваться, а многое костенелое мешает ей. Развиваться, да, но светлыми умами, а не кровавыми взрывами.

Пока оставалось много неясного.

Снеслись с морским штабом в Ставке – узнали только, что Государь выехал в Царское Село, обстановка и им не ясна, и директив адмиралу Колчаку не последует.

Итак, самому и одному, Колчаку надо было решать: продолжать ли блокаду новостей? И – как стоять?

Затем продолжали приходить новые телеграммы, да не агентские, а от самого Родзянки: что уже вся правительственная власть перешла к думскому Комитету, а прежний совет министров устранён. Что думский Комитет приглашает армию и флот сохранять полное спокойствие, питать полную уверенность, что война не будет ни на минуту ослаблена, но каждый офицер, солдат и матрос да исполнят свой долг...

Так-то – хорошо бы. Как будто самозванно – а как будто и вполне лояльно. Но – осуществима ли такая тряска во время войны?

А Ставка всё так же не могла, ничего ни приказать, ни посоветовать, ни объяснить. И ничего не имела от Государя.

Колчак у себя на «Георгии Победоносце», штабе-линкоре на мёртвых якорях, уже отслужившем свои боевые походы, собрал совещание старших начальников. Сообщил им всё, что знал. Да уже были и новые радио из Константинополя: такая несусветица, будто в Балтийском флоте массовое избиение офицерства, а на фронте немцы повсюду быстро продвигаются. (А если правда?) Ещё при этом вздоре стало ясно, что на укрытии известий дальше долго не удержишься. И решил: отдать приказ по флоту, в нём изложить петроградские новости – и тут же призвать по радио весь свой флот и все порты к напряжённому патриотическому долгу. И – верить начальникам, которые будут сообщать все полученные верные сведения, и не верить посторонним агитаторам, желающим произвести смуту, чтобы не допустить Россию до победы.

То и было страшно, что это – не в какое иное другое время, а – в войну.

И обидно было – состоять в полноте сил, во главе целого флота, целого моря с его тортами, – и быть в неведении и не знать, что делать.

Так снялся запрет Колчака – и новости петроградского мятежа хлынули в Крым.

Но как будто ничего худого тут не случилось. Служба продолжалась нормальным порядком, нигде никаких нарушений. Здесь, на Чёрном море, ни к какому бунту не приготовились.

А вчера пришла наконец Колчаку телеграмма от Алексеева – и поразительная: что обстановка не допускает иного решения, как отречение Государя, – и если адмирал разделяет этот взгляд, то не благоволит ли телеграфировать верноподданную просьбу.

Но истинной обстановки Колчак не знал, – почему она не допускает другого решения? – и Алексеев её не сообщал. А что делать, если адмирал не разделяет этого взгляда? – ничего сказано не было. Иной взгляд даже не предполагался.

Хотя и столь образованный генерал, а закопавшийся канцелярист, без свежего воздуха, без движения. Сорвал Босфор, теперь тянул на отречение Государя.

Да, Россия должна развиваться. И вокруг власти не должно плестись паутины тёмных пристрастий, просмотры должны быть чисты. Но никогда не понимал и не разделял Колчак гнева русского общества за проигранную войну – на правительство и Государя: виноваты были мы все, наши адмиралы, штабы и офицеры, в нашем невежестве, нерадении, лени, парадности, отсутствии всякой научной организации. Государственный строй – никак не мешает пушкам хорошо стрелять. Политика не могла иметь влияния на качество морского образования. Форма правления может быть разная – была бы прочная Россия. А если начинать с того, что теперь, во время войны, валить Государя, – то в какую бездну это ползёт? Это будет внезапный и губительный развал.

И что за странный тёмный заочный совет главнокомандующих, которым ничего не объяснено?

Колчак, разумеется, не стал отзываться никак, выказывая презрение к такому образу поведения.

Но – понимал, что в эти часы что-то непоправимое развёртывается в Ставке, Пскове

или Петрограде. А Колчак и узнать не мог, и вмешаться не мог, – и это было всего нестерпимей, потому что только в действиях разряжалась его натура, его быстрый нервный ум. Он любил деловую работу, любил опасности, войну и терпеть не мог партийной политики. А посмраживало ею сейчас, наносило.

Небольшого роста, сухощавый, стройный, лёгкий, с движениями гибкими и точными, острым чётким профилем бритого лица, татароватый Колчак нервно ходил по флагманскому кораблю, взлетал на мостик, метуче оглядывал свои корабли и щурился в солнечное море, как если б оттуда могло придумать решение.

Он стал жалеть, что встреча в Батуме с Николаем Николаевичем не была назначена на три дня позже. Они могли как раз бы и обсудить: объединиться? – хотя трудно объединиться с великими князьями, слишком особо они себя чувствуют. В руках их двоих был весь Юг. Флот Колчака и фронт великого князя составляли отдельное загнущее обособленное крыло Действующей армии. Что бы ни произошло за 2000 вёрст в Петрограде – они здесь, объединясь, могли создать прочную укрепу и противостояние любым событиям.

Николай Николаевич – лучший из великих князей, единственный способный к Главнокомандованию, да и авторитет его признаётся повсюду в армии.

Но готов ли он к твёрдому стоянию? При всей его вызывающе воинственной внешности, непомерно высокой фигуре воина, при всей его аристократической наружности, породистом длинном лице, красивом вырезе глаз, почти театральном эффекте от многих наслоившихся главнокомандований, – увы, всё же не чувствовал в нём Колчак надёжности безупречного союзника.

А ещё на Румынском фронте – Сахаров. Попробовать сговориться и с ним?

И день до конца, и вечер до конца так и протянулись без событий.

А ночью передали телеграфом из Ставки – отречение Государя!

Отречение, как можно понять из вчерашнего опроса, – вырванное.

И – почему не законный наследник?

Петроград в руках у банды, это ясно.

У Колчака уже всё было обдуманно. При нём служил старший лейтенант, государев флигель-адъютант, герцог Лейхтенбергский, князь Романовский – пасынок Николая Николаевича. Титулов много, а – молодой человек, готовый к приказу, и даже конструктор противолодочной бомбы. Колчак немедленно ночью вызвал его, и тут же заказал готовить к походу миноносец «Строгий».

Разбуженный молодой человек явился с тревожным и готовым блеском.

Колчак не давал ему бумаги: такие шаги совершаются устно.

Лейтенант стоял вытянутый. Адмирал для себя почти и не знал другой позы.

– Вы поедете сейчас к великому князю, вашему отчиму, и передадите ему от меня, запоминайте! Государь отрётся от престола.

Лейтенант вздрогнул как от тока.

– Отречение носит характер вынужденного. Я предлагаю великому князю объявить себя военным диктатором России и предоставляю в его распоряжение Черноморский флот.

356

Как в лучших исторических легендах или сказках годами дожидаются принцы крови своего предсказанного воцарения, так и великий князь Николай Николаевич – вот дождался себе возврата регалий Верховного Главнокомандующего.

Вместе с супругой своей Станой черногорской и сестрой её Милицей, и её супругом, а своим братом Петром Николаевичем, и другими близкими сочувственными лицами давно уже с сокрушением наблюдали они образ правления Ники, всю цепь его неумений, ошибок, глупых назначений, повсюду властную руку истерической его супруги, недостойные извращения в правлении государством, и грязного проходимца Распутина, и поживу финансовых дельцов вокруг него. Одно было рыцарски-чисто и возвышенно во всём

правлении – Верховное Главнокомандование, ведомое Николаем Николаевичем. Но внушаемый своею завистливой женой и обманутый наивным воображением о своих поенных способностях, Ники принял роковое несчастное решение взять Верховное Главнокомандование на себя, а Николая Николаевича отправить на известное почётно-ссылное место кавказского наместника. Такова была неприкрытая интрига тёмных сил.

Однако Николай Николаевич переборол обиду и уныние, не опустил свою высокую голову, но перенёсся и сюда символом и любимым вождём, теперь уже не двенадцати армий, но всего лишь одной, с её командующим Юденичем. Юденич находился собственно с армией, в её переходах, в её порыве вглубь Турции и в Месопотамию, а Николай Николаевич пребывал во дворце наместника, в Тифлисе, в центре Кавказа, обожаемый всем населением наместничества. Так, хотя и в уменьшенных размерах, он остался самим собою.

Отсюда, из изгнания, он с болью наблюдал всё новые и новые ошибки царского правления, и разочарование и отчаяние общества, которое, напротив, продолжало любить его самого, это доплескивалось сюда через Хребет. И – молчал. И только в минувшем ноябре, в своё единственное посещение Ставки и в свою единственную после смещения встречу с Ники, – он с прямою высказал своему державному племяннику о его вероломстве, о его доверчивости к подозрениям и сплетням, будто дядя хочет занять трон, и о чёрной бездне падения государственной власти. А Ники что ж? – как всегда, принял всё равнодушно.

Но когда к Новому году возвратился из Петербурга тифлисский городской голова Хатисов и на личной аудиенции сокровенно передал великому князю тайное приглашение от князя Львова – дать своё имя для дворцового переворота, – Николай Николаевич: невиданно взволновался, он потрясён был, как же губительно зашли дела. Он взял время подумать. Это были сутки высокой мучительной мысли. Он понимал, что мог бы спасти страну. Он знал, насколько сам для России ценнее, нужнее и соответственней, чем его двоюродный племянник. Но путь великого князя или монарха должен быть рыцарски прямой и не может включать в себя звено измены. И в следующую встречу с Хатисовым, для надёжности призвав свидетелем Янушкевича, великий князь решительно отказался.

Отказался, – но уже через неделю понял, что всё равно теперь замешан в этом заговоре: поелику не довёл о нём Государю тотчас! И это сознание замешанности всё более заножалось в него – беспокойством, стеснением, смущением, – но каждый ещё протекший день или неделя всё глуше запирали возможность вырваться. Вот как великий князь – отказавшись, удержась в чести, – стал грозимым заговорщиком!

Но и та же честь не давала ему прорвать кольцо и выдать расположенных к нему людей, того же князя Львова. А Хатисова он всячески избегал с тех пор.

Вдруг на свидании в Батуме Колчак показал великому князю телеграмму о волнениях в Петрограде и даже – что столица в руках мятежников. Великий князь ринулся в Тифлис. Тут тоже от одного доверенного лица к другому передавали тайно, что одна грузинская газета получила из Петрограда условную телеграмму, означающую начало крупных событий! Ко 2 марта стали напирать и агентские известия о потрясающих революционных событиях. Разумеется, великий князь не позволял их публиковать, но предполагал собрать для осведомления дворян Тифлисской и Кутаисской губерний. И сам он трепетно запредчувствовал, что пришёл его час. Те силы, которые восстали в Петрограде, были его сочувственники и союзники.

Напор известий в плотину военной цензуры рос по часам. Ещё ничего не было напечатано открыто, но все уже по сути знали. Особенно волновались издатели и редакторы газет. 2 марта Николай Николаевич счёл уместным пригласить их в один из просторных залов наместнического дворца, выйти к ним при оружии и заявить, что он и всегда придавал большое значение печати и надеется, что печать своим правдивым словом будет содействовать спокойствию. Наместник верит, что нынешние события завершатся ко благу нашего отечества. Вот, с часу на час, придут указания Ставки, как быть с публикацией.

И действительно, во второй половине дня такое разрешение от Ставки пришло, – но

ещё ранее полудня от Алексеева получено было приглашение, совсем ознбившее, радостно олихорадившее великого князя: что *династический вопрос поставлен ребром*, – так считает и председатель Государственной Думы, и так же в Ставке, и обстановка очевидно не допускает иного решения, как отречение в пользу сына, и для спасения России Алексеев просит весьма спешно телеграфировать Его Величеству во Псков.

И по спирали этого *ребра* Николай Николаевич ощутил, что он как бы возносится в свой великий, если не величайший момент. Кто же другой из Главнокомандующих был так авторитетен и так высок положением, – и единственный августейший! – чтобы подать заблудшему Ники решающий энергичный совет. Да ведь Ники любит Россию! – так соединяясь с ним в любви к России – советовать? – просить? – нет, молить! – отречься!!!

Перезрел плод. Ему не держаться. Слишком много наделал Ники ошибок, а больше всего – *она*.

(А одновременно – вот уже великий князь – и ни пятнышком не заговорщик! Он – верноподданный, но разумный.)

И – неотвратимо это возвращало Николаю Николаевичу Верховное Главнокомандование! – никто другой назначен быть не мог.

Николай Николаевич не задержал ответа, хотя Ставка добивалась ещё нервней и быстрее, – он только выбирал самые высокие и святые выражения, чтобы заведомо потрясти душу Ники. И милый верный Янушкевич был тут же рядом, у телеграммы, и помогал.

Но и в эти же самые часы не мог взволнованный благодарный великий князь отказать себе в радости дать из тифлисского уединения союзный отзыв этим дружеским столичным силам: тут же рядом, на соседнем столе, с участием Станы, радостно-прыгающим карандашом составлялась и телеграмма, не обязательная по службе, но обязательная по влечению сердца, – телеграмма Родзянке: подтвердить, что – да, наместник уже обратился к царю с верноподданнической мольбой: ради спасения России – как бы это целомудренней выразиться в открытой телеграмме, нельзя же писать «отречение», когда его ещё нет? но: «принять решение, признаваемое вами, – то есть Михаилом Владимировичем Родзянко, – единственным выходом при создавшихся роковых условиях».

И вдруг, необычайно скоро! – пришла телеграмма от председателя Думы. Но, увы, это оказалась не ответная, а укорная. Кто-то, очевидно, пожаловался из Тифлиса на перехват сообщений, и председатель Думы величественно подтверждал, что власть *окончательно* перешла в руки Временного Комитета Государственной Думы, и председатель надеется, что Его Императорское Высочество окажет полное содействие – и немедленно облегчит условия цензуры.

Мог бы возникнуть мучительный конфликт долга и совести, но к счастью Ставка тоже уже разрешила.

Зато – совсем она замолчала, каков же ход отречения? Час за часом, сперва восхищённо, потом уже тревожно, пружинно-напряженно, Николай Николаевич в кругу близких ожидал, как разрешится там, во Пскове, когда уже придёт рассвобождающий ответ. Иногда, совсем уже теряя терпение, велел Янушкевичу посылать запрос Алексееву, узнавать.

Ставка обещала. И опять тянулось. И опять запрашивали от имени августейшего Главнокомандующего. И к полуночи снова обещала Ставка.

Что-то не ладилось во Пскове. Какой-то неблагоприятный изгиб.

Становилось мрачно. Просидели весь вечер в напряжении. Во втором часу ночи Стана ушла спать. Ушёл и Янушкевич. Казалось – всё отложено на завтра.

Но Николай Николаевич чувствовал, что – нет, не так, не так! – и у себя в кабинете недреманно сидел в мундире.

И в три часа ночи прибежал дежурный офицер из аппаратной – и подал бодрствующему наместнику всепреданнейшую телеграмму от генерала Алексеева, и в ней – гора новостей.

Что указом Его Величества – Его Императорское Высочество назначен Верховным Главнокомандующим!

Свершилось! Долгожданный час, в награду за верность и службу.

А князь Львов – глава правительства. Так.

А Государь изволил подписать акт отречения! – но с передачей престола великому князю Михаилу Александровичу.

А-нек-дот. Дурной анекдот.

Ну кто такой Михаил? Ничтожный, неспособный. А здесь, в кавказском изгнании, возвышается самый видный и славный из внуков Николая I.

Дёготь, добавленный в мёд. Всё испортили...

Однако, в этот раз его мнения не запрашивали... Лишь почтительно спрашивал Алексеев: когда можно ожидать прибытия Его Императорского Высочества в Ставку? Благоугодно ли будет Его Императорскому Высочеству предоставить Алексееву временно права Верховного? И будет ли кому передан Кавказский фронт или останется один Юденич?

Уже потеряв всякое желание сна, никого не будя и не зоя, расхаживая по парадному дворцовому кабинету в борении противоречивых чувств, Николай Николаевич осиливал жестокую рану последнего известия и возвращался к долгу и достоинству Верховного Главнокомандующего. (Хотя не представлял, как может состоять под Мишей.)

И отвечал Алексееву. До моего приезда – руководить военными операциями и штатно-хозяйственными распоряжениями.

... В чрезвычайных обстоятельствах повелеваю вам обращаться срочно ко мне за повелениями... Думал бы оставаться и наместником Кавказа, это абсолютно необходимо...

Но это не всё. Ясно, что от нового Верховного при вступлении требуется ободрительный приказ своим войскам.

Приказ № 1.

Это должен быть властный мощный голос богоизбранного воина, отзывный русскому сердцу и чуждый всякому революционному бреду.

Тотчас же, в ночном просторе, и писать его!

... По неисповедимым путям Господним я назначен Верховным Главнокомандующим. Осенив себя крестным знаменем, горячо молю Бога... Только при всемогущей помощи Божьей получу силы и разум вести вас к окончательной победе... Чудо-богатыри, сверхдоблестные витязи земли русской! – знаю, как много готовы вы отдать на благо России и престола...

* * *

Безумные тираны попирали честь и достоинство России... Дикие защитники самодержавного ига... Жестокие корыстные полулюди...

РСДРП

* * *

357

Поздно вечером удостоверилось новое правительство, что Гучков настиг царя во Пскове. Так! Попался! Теперь с часу на час можно было ждать и отречения.

То есть опять имело смысл не расходиться спать по домам, а подождать в Таврическом, – это уже четвёртую ночь?! И почему все главные события выпадают на ночь? Отказывали силы, а стоило подождать. И главных несколько – Милюков, Керенский, Некрасов, чёрный Львов, остались дремать в креслах и ждать.

И – Родзянко. Он-то, ожидая отречения, раззарился теперь едва не больше всех.

Все они ждали ещё этой последней законности, утверждающей новое правительство.

Ещё эта последняя завершится – и власть окончательно установлена.

Впрочем, Милюков не дремал, он не терял часов этого нового ночного ожидания. Он сидел за столом и под общий разговор терпеливо составлял обращение «Всем, всем, всем», всем людям, всем странам, которое следовало теперь послать по радиотелеграфу, чтоб объяснить положение в России. Кому же позаботиться, как не министру иностранных дел? Это будет не только первым действием ещё бездействующего правительства, но от такой телеграммы всецело зависит, в каком виде мир узнает о нашей революции. А от этого, – Милюков хорошо представлял западное общество, – зависит и прочность симпатий к новому правительству и все блага помощи.

Ждали. Прямой связи со Псковом Таврический дворец не имел, а имели: Главный штаб – со штабом Северного фронта, и министерство путей сообщения – по своим линиям. Бубликов всё время звонил Родзянке, набивался с помощью и советами. Он первый сообщил им о конце переговоров во Пскове, он же первый донёс жалобу, что Псков запрашивает разрешения царским литерным поездам следовать в Ставку, – и неужели можно их отпускать?

Но показалось правительственным людям, что это даже удобнее: тут, под самым Петроградом, бывший царь сейчас как-то мешал бы. И простая порядочность требовала не отказать в личной просьбе, когда царь отрёкся от короны.

После двух часов ночи Бубликов же передал им по телефону расшифрованную короткую телеграмму от Гучкова к Родзянке: что Государь отрёкся, но в пользу Михаила Александровича. А сам текст манифеста шифруется во Пскове и воспоследует.

Настолько это было *почти* то же, что не в секунду осознали: в пользу Михаила Александровича? То есть как? Не регентом, а Михаилу – сам трон?

А как поняли – то сразу и заволновались. Неожиданность была крутая! Как же так Гучков, ведь уговаривались! Одно дело трон – малолетнему Алексею, то есть как бы вообще без царя, а Михаила обставить регентским советом, – и только так может невозвратно укрепиться у нас конституционное правление. А Михаила – полновластным царём? Это совсем не то. Это неприемлемо! Это никак не приемлемо! Строевая армейщина, да, глупый-то глупый, – а ну как уцепится за власть, да начнёт жать? Всё же он не малолетний!

И даже Некрасов сломил свою настороженную замкнутость, раздражённо кричал «нет!».

И Родзянко суетливо-громко разбушевался с крупным помахиванием рук. Раскипелся, Самовар.

Позвольте, а где же князь Львов, главное лицо? Только сейчас поняли, что его нет. Послали искать по комнатам.

А что скажет Совет рабочих депутатов?! Одного царя сменили на другого, – где же поступь Революции? как это оправдать перед массами?!

Тем более, что Совет и вообще никакой монархии не хочет.

Керенский (всё более ощущая себя в правительстве концентрированным Советом) вскочил – и объявил с категоричностью и даже отважностью, как бы готовый биться с ними со всеми:

– Совет рабочих депутатов ни в коем случае этого не допустит!

Вот! И правительство не могло с первого шага идти на конфликт с Советом.

Такой поворот с отречением грозил смести их всех.

Но особенно обескураженным почувствовал себя Милюков. Потому что не повод для гнева он нашёл здесь, как его коллеги, но причину для большой озабоченности. Уж его поносили последние часы за самый монархический принцип. Уже его вынудили отречься – до «личного убеждения». Но такая передача трона ещё сильнее ухудшала картину? – она как бы и не выглядела уступкой царской власти? При такой комбинации защищать конституционную монархию станет ещё трудней.

Да ведь – вставили пункт об Учредительном Собрании? И он теперь начнёт давить на монархию?

Рок политического деятеля крупного масштаба. Как 17 октября Пятого года, когда все ликовали Манифесту, Милюков имел мужество непримиримо отклонить его, так теперь он должен иметь мужество против общего потока поддержать монархию в обломках.

А князя Львова нигде во дворце не нашли. Значит, уехал спать к Меллеру-Закомельскому. Вызвать его немедленно! Позвонили, там перебудили: нет, ночевать не приезжал. Да где же он?

Догадались: а не прячется ли на квартире своего Щепкина? Позвонили туда – нашли. Немедленно, немедленно в Таврический! Хитрец какой, поспать хотел!

Тем временем, уже после трёх часов ночи, из Главного штаба, где расшифровывали Манифест, Вырвали по телефону главную мотивировку: «Не желая расстаться с любимым сыном Нашим, Мы передаём наследие Наше брату Нашему.»

Хорош гусь! И всегда Милюков бесконечно презирал этого царя, но сейчас испытал горькую обиду на него: даже уходя, последним движением, он портил общественному кабинету! Не хочет рисковать своим сыном! – как всегда прежде всего думает о своей семье! Не хочет рисковать своим сыном! – а что ж он раньше думал? Зачем держал его наследником? Предпочитает рисковать неподготовленным братом. И новым правительством. Да самую Россию наконец!

И Милюкова же будут теперь больше всего и упрекать...

Хотя и ясно всем – «нет! нет! нет!», но прежде чем сформулировать какое-то решение – должны они прежде всего остановить Манифест, вот что! Чтоб он никуда не растёкся! Его, конечно, из Пскова или из Ставки начнут передавать теперь, не спрося правительство. Надо выиграть время для обдуманья! Надо в обоих местах – остановить!

Торопили, гнали отречение, а теперь – остановить!!!

Как бы дальше ни решить, но такое отречение сейчас – может взорвать всё правительство. И надо остановить распубликование Манифеста!

Что для этого? Срочно телеграфировать, нет – разговаривать со Псковом и со Ставкой.

Милюков: и даже выяснить возможность обратно изменить Манифест в пользу Алексея!

И – кому ж было всего внушительней, и приличней, и убедительней сделать это всё, если не Родзянке?

Вот, они совсем его отставили, – но наступила новая решительная минута, и снова требовался только он!

А он, великодушный, был готов! Он – простил им, что они его оттеснили!

Готов хоть сейчас.

Именно сейчас! Немедленно!

Но неприлично было бы послать его и никого не послать от правительства. Да вот же и князь Львов, ну вот он наконец!

Ласково жмурился. Не проявил смущения, что прятался.

Ехать переменить? Ну, можно ехать переменить.

– Там проверьте же сам Манифест, прежде чем к аппарату!

А оставшиеся теперь распаривались дальше, да всё острее.

Узкоголовый подобранный Керенский метался, бросался по маленькой комнате (но не бежал к своим в Совет!) и всё пламенной извергал, что теперь само собой диктуется здоровое решение: полный отказ от всякой монархии! Немедленное отречение и Михаила тоже! Не останавливать Манифест, нет! – но скорее вырвать отречение и у Михаила, – и сразу возгласить Учредительное Собрание!

И Некрасов невиданно разволновался, раскрылся, мрачно кидал взоры – и сел набрасывать проект отречения Михаила.

И значит – немедленное провозглашение республики!

И чёрный Львов – ходил по диагонали и клокотал со сжатыми кулаками.

И получалось, что только один Милюков оставался за монархию?

Но чем крайний метались его собеседники – тем более трезвел Милюков и тем более

упирался. Уже тяжелила его и неловкость от вчерашней уступки: зачем же он признал монархию своим личным частным мнением, когда это стоит в программе кадетской партии? Так быстро нельзя отступать, можно расстроить ряды.

И вот сейчас Милюков всё более устаивался: нет-таки! монархия – должна быть! Хоть на время. Должна быть видимость законной передачи власти, без которой мы не можем действовать дальше. Михаил – так Михаил, пусть будет Михаил. Пока.

Республика? Нет, мы не готовы. Мы не можем перепрыгнуть.

Говорили всё нервней. Ссорились.

А ночь текла...

А Родзянко и Львов не возвращались.

И в пятом часу стало проявляться им такое действие: теперь неизбежно им всем с утра ехать к Михаилу. И заявить ему – что же заявить?

Мнение большинства!

Нет, обе спорящих точки зрения! Если Павлу Николаевичу не дадут возможности изложить перед великим князем свою точку зрения – он вообще покидает правительство!

А уж спорить Милюков умел – не перед толпой простолудинов-солдат, конечно, – с упорством изумительным. Теперь он мог не спать, не есть, всех их тут уложить в лоск, – но доказать, что приемлема только монархия, а не республика.

Решили: отправляться к Михаилу коллективно и представить обе точки зрения.

Милюков же рассердился в споре, набрал напору и настаивал больше: какое б решение ни состоялось – *другая сторона* должна оставить правительство!

То есть он предлагал: при республике – сегодня же уйти из правительства, которое он вчера с такой гордостью и любовью объявил.

Но при монархии – он останется единственным пока министром?... (Он уверен был быстро найти других.)

До такой остроты дошло.

Керенский с Некрасовым перемигивались, уверенные в победе.

А вот что, придумал Керенский: уже шестой час, нечего Михаилу слишком долго спать, да ещё уедет куда? Сейчас же ему по телефону назначить наш приезд! (А Родзянко уже им рассказал, где Михаил прячется, на какой квартире.)

Но такой час назначить, чтобы нам же поспать.

Разумеется. Да и дожждаться Гучкова.

Керенский рванулся звонить – непременно он, только он сам!

– Алексан Фёдыч! Только не объясняйте ему, в чём дело. Не подготовьте!

Великого князя пока будили, пока подошёл. И услышав его совсем вялый сонный голос. Керенский, как ни устал, а весело задорно спросил, проверить:

– Ваше императорское высочество? Знаете ли вы, что произошло вчера вечером во Пскове? Нет?... Ну, мы к вам приедем расскажем, если позволите.

358

В Главном Штабе вышла ошибка, дежурный офицер не предупредил швейцара открыть. Пришлось барабанить в случайные окна первого этажа, разбудили дворника, а тот уже – швейцара, а тот уже открыл.

Затем поднимались, долгими коридорами шли к прямому проводу. Третью ночь подряд.

Затем что-то не ладилось соединение со Псковом, потом не отвечал штаб, Родзянко кричал:

– Скажите, что вызывает Председатель Государственной Думы! Я их всех под арест посажу!

Всё это время князь Львов больше молчал, да и Родзянко ушёл в кипение своих мыслей, большой охоты разговаривать у него и не было: главный человек – был он,

разговаривать и: решать – предстояло ему, а что Львов?

После этих страшных дней, всей головоломной запутанности, после двух атак с угрозами убить, конечно именно его первого, – наконец хотело сердце покоя и голова ясности. Нельзя жить под постоянной смертной угрозой, и нельзя жить в такой неразберихе. А сейчас Совет не признает Михаила царём – и что же вспыхнет? Гражданская война!

Всё более уверялся Родзянко, что положение может быть спасено, увы, только отречением Михаила.

А потом, значит, Учредительным Собранием.

До Учредительного Собрания во главе России остаётся Родзянко, это уже так и есть. Или его Комитет станет как бы регентским советом.

А Учредительное Собрание? Вот тут-то и заковыка. Вполне возможно, скорее всего: наш православный народ не захочет жить ни при какой республике. И значит, наступит избрание нового царя, новой династии – в Учредительном Собрании, или всенародно.

И чья же первая кандидатура придёт всем на ум? Да – конечно реального нынешнего главы государства, всеми любимого Председателя всеми любимой Государственной Думы!

Задыхательно это представлялось: открыть собою третью русскую династию? Да не было в России политического деятеля, более для того подходящего, более видного, более могучего.

Что ж теперь поделаться, если обстоятельства так сложились против Николая Второго?

И против Михаила.

Родзянко начал со Пскова – как-то уже по привычке, как и прошлую ночь. Да с Рузским вчера так хорошо получилось. Да рассчитывая, что Манифест ещё мог оттуда не утечь в Ставку.

Вот на том конце подошёл начальник штаба Данилов. Родзянко потребовал самого Рузского.

Наконец, не сразу, – Рузский. Было уже не долго до 6 утра.

Теперь Родзянко говорил (стоя), телеграфист печатал, и лента уходила:

– Здравствуйте, ваше высокопревосходительство. Чрезвычайно важно, чтобы Манифест об отречении и передаче власти великому князю Михаилу Александровичу не был бы опубликован до тех пор, пока я не сообщу вам об этом. Дело в том, что с великим трудом удалось удержать революционное движение в более или менее приличных рамках. Но положение ещё не пришло в себя, и весьма возможна гражданская война! С регентством великого князя и воцарением наследника может быть и помирились бы, – но воцарение его как императора – абсолютно неприемлемо! Прошу вас принять все зависящие от вас меры, чтобы достигнуть отсрочки.

Всё главное сказал. Телеграфист понял так, что теперь будет говорить другой высокий посетитель, и отстучал:

– Родзянко отошёл. У аппарата стоит князь Львов.

Но, во-первых, Родзянко не отошёл. Во-вторых, Львов, хотя и усилился лбом – но ничего не сказал, ибо не знал, что бы тут ещё сказать.

Наступила пауза. И за это время потекла лента от Рузского:

– Хорошо, распоряжение будет сделано. Но насколько удастся приостановить распространение – сказать не берусь, ввиду того что прошло слишком много времени. Очень сожалею, – представлялось, как морщилось его и всегда недовольное лицо, – что депутаты, присланные вчера, не были в достаточной степени освоены с той ролью и вообще – для чего они приехали. В данную минуту прошу вас вполне ясно осветить мне теперь же всё дело – что произошло и могущие быть последствия.

Что произошло – Рузский всё равно не поймёт, ведь он не был в здешнем бедламе. А **могущие быть последствия**, что нужно время для отречения Михаила, – об этом, Родзянко почувствовал, говорить на фронты не следует.

И он, отводя Львова, снова завладел аппаратом:

– Опять дело в том, что депутатов винить нельзя. Для всех нас неожиданно вспыхнул

такой солдатский бунт, которому подобных я не видел. И которые, конечно, не солдаты, а просто взятые от сохи мужики, которые все свои мужицкие требования нашли полезным теперь же заявить. Только и слышно было в толпе: земли и воли! долой династию! долой Романовых! долой офицеров!

Голова его гудела как растревоженный колокол, и в этом гуле смешивалось, что он слышал в Екатерининском зале, и какие там развешаны были партийные лозунги, не посмей снять, и неотступно перед глазами изодранный штыками портрет императора в думском зале, – и слышанное в жалобах от прибегающих частных лиц, и мнения членов правительства, а в глазах рябили, рябили всё подходящие новые солдатские строи и бесчисленные красные флаги и бесконечное выдувание оркестров.

– ... И началось во многих частях избиение офицеров. К этому присоединились рабочие, и анархия дошла до своего апогея. В результате долгих переговоров с депутатами от рабочих удалось только к ночи сегодня прийти к некоторому соглашению – чтобы через некоторое время было созвано Учредительное Собрание, чтобы народ мог высказать свой взгляд на форму правления, – и только тогда Петроград вздохнул свободно, и ночь прошла сравнительно спокойно. Войска мало-помалу в течении ночи приводятся в порядок.

Кажется так: эта ночь уже кончается, и без погромов. Но дальше – страшно подумать:

– Провозглашение императором великого князя Михаила Александровича подольёт масла в огонь – и начнётся беспощадное истребление всего, что можно истребить. Мы потеряем и упустим из рук всякую власть, и усмирить народное волнение будет некому. Желательно, чтобы примерно до окончания войны продолжал действовать Верховный Совет – и ныне действующее с нами Временное правительство. Я вполне уверен, что при этих условиях возможно быстрое успокоение, несомненно произойдёт подъём патриотического чувства, всё заработает в усиленном темпе, и решительная победа будет обеспечена.

С другого конца помедлили, и притекло:

– Распоряжения все сделал. Но крайне трудно ручаться, что удастся не допустить распространение. Имелось в виду именно этой мерой дать возможность армии перейти к спокойному состоянию. Императорский поезд ушёл в Ставку, центр дальнейших переговоров должен быть перенесен туда. Прошу установить аппараты Юза там, где заседает новое правительство, – и два раза в день сообщать мне о ходе дел,

Ну вот и хорошо. Но Родзянко предвидел и дальше:

– Аппарат Юза будет поставлен. Но прошу вас в случае прорыва сведений о Манифесте в публику и в армию, по крайней мере, не торопиться с приведением войск к присяге!

Но Рузский, оказывается, был ещё куда более предусмотрительным:

– О воздержании от приведения к присяге во Пскове я сделал распоряжение ещё вчера.

Вот это изумительно! Он и без Петрограда догадался, что надо подождать?

– ... немедленно сообщу о том же в армии моего фронта и в Ставку. У аппарата был, кажется, князь Львов? Желает ли он со мной говорить?

Да что же Львову говорить! Родзянко, всё место занимая, легонько его отстранил. Комитет Государственной Думы и выше правительства:

– Нет, всё сказано! Князь Львов ничего добавить не может. Оба мы твёрдо надеемся на Божью помощь, на величие и мощь России, на доблесть и стойкость армии и, невзирая ни на какие препятствия, на победоносный конец войны!

Родзянко много раз замечал – и в думских речах и в разговорах, – что от потока бодрых слов и сам становишься бодрей. Как-то повеселело. Хоть на Северном задержим!

Уж он хотел заказывать провод на Ставку – как аппарат опять застучал:

– Михаил Владимирович! Скажите для верности, так ли я вас понял. Значит, пока всё остаётся по-старому, как бы Манифеста не было. А равно и о поручении князю Львову сформировать министерство? Что касается назначения великого князя Николая Николаевича отдельным приказом Государя императора, то об этом желал бы также знать ваше мнение. Об этих указах сообщено было этой ночью очень широко – даже в Москву и конечно на Кавказ.

Быстропонятлив был Рузский, но даже и слишком. К такой отмене и сам Родзянко не

был готов, да и Львов сидел тут же вот рядом. А Николай Николаевич никому не мешал.

– Сегодня нами сформировано правительство с князем Львовым во главе. Всё остаётся в таком виде: Верховный Совет, ответственное министерство и законодательные палаты – до Учредительного Собрания. Против указа о назначении Николая Николаевича Верховным Главнокомандующим ничего не возражаем. До свиданья.

Но опять уцепился Рузский:

– Скажите, кто во главе Верховного Совета?

Собственные слова вернулись на ленте – и упало очарование:

– Я ошибся: не Верховный Совет, а Временный Комитет Государственной Думы под моим председательством.

Но всё равно ж он остаётся Верховным, кто же выше него?!

И стал ждать провода на Ставку.

К Алексееву не было такого хорошего расположения – разговаривать напрямую. Остался осадок от его недоверия позпрошлой ночи.

Между тем, с другого аппарата подали Родзянке телеграмму от Эверта.

Вверенному Западнему фронту он Манифест объявил – и вознес молитвы Всевышнему о здравии Государя императора Михаила Александровича... приветствуя в вашем лице Государственную Думу и новый государственный строй... в твёрдом уповании, что с Божьей помощью...

Эх, научи дурака Богу молиться – он и лоб расшибет. Ну, куда спешил?...

359

После данного вчера Государю императору совета отречься от престола генерал Эверт не находил себе места. Попала его большая голова в работу непривычную, сам он – в переделку невиданную, не военную, – за все 60 лет жизни, за 40 лет службы ничто подобное не выламывало его крупных костей.

Как же мог он такой совет Государю осмелиться выразить, откуда у него дерзость такая взялась? Сам себя не узнавал и ужасался: короткий момент, торопили, впопыхах, – да ведь все Главнокомандующие единомысленно выразились так!

Понадеялся на здравый смысл. Показалось, что доводы Ставки весят.

А надо было задержаться, дать времени потечь, спросить командующих армиями, хоть как-то разделить это непосильное бремя: решать судьбу российской короны! ведь это – не эпизод, не тактический приём на несколько месяцев, как лучше выиграть войну. Теперь, вослед, сообразил Эверт: за две династии и за 600 лет никто никогда на Руси от короны не отрекался, – и такой шаг ныне последствия мог иметь тоже вековые.

Эверт стал перечитывать свой совет-ответ глазами Государя – и теперь не мог прочесть его иначе, как измену присяге. Откажись Государь от подобных советов и воротись завтра в Ставку – он будет вполне прав, отчислив генерал-адъютанта Эверта ото всех должностей и сняв с него все звания!

Но совет его – невозвратно уже потёк по проводам, и с той минуты Ставка ничего больше не требовала, не спрашивала. Где-то в тайне и молчаливости совершалось действие, – отречение? не отречение?...

Закрылся Эверт в своей спальне – и крупно потягивался, до хруста, – хотелось ему своё большое тело как-то распрямить, к какому-то шагу, – но не мог придумать, и никто не предлагал. И не мог протянуть руки к Государю во Псков, и не мог выразить своё повиновение.

Изо Пскова ничего не доносилось, а вокруг Полоцка бушевала бандитская «депутация» распушенных солдат, обезоруживали железнодорожную охрану. Но такова была политичность момента, что нельзя было схватить их как простых бандитов – а надо было спрашивать разрешения Ставки. И были у Западного фронта подвижные резервы для охраны дорог, но Ставка запретила отправить их в дело, а лишь иметь наготове на случай

надобности.

И мучился, мучился Эверт в своём одиночестве, как заточении, пока во втором часу ночи не принёс ему Квецинский первую весть об отрешении.

Ну, так ли, хорошо ли, плохо, – отвалилась глыба!

А потом – и сам Манифест. Читал его с ленты – и какие же слова разымчивые! Крупная упала слеза на подклейку ленты.

И хотя служебно это было облегчение – ступив со всеми Главнокомандующими в лад, оставался он на своём посту, – а на сердце лёг камень: что сам он, своими доброподданными руками подтолкнул Государя с престола.

А в три часа ночи скомандовала Ставка: Манифест безотлагательно рассылать по армиям и частям.

Ну, всё. Свершилось.

Свершилось. Смирился. И спать лёг.

Но – не было сна. Отступило раскаяние – надвинулись заботы: как-то надо определяться при новом правительстве. Кто знает Михаила Александровича, понимает, что это будет Государь совсем слабый. И всю силу и ведение очевидно заберёт новое правительство. А Эверт перед этим правительством из всех Главнокомандующих будет очевидно непопулярен, потому что «реакционер». И Брусилов, и Рузский, и Алексеев – очень для общества хороши. А Эверт – *реакционер*. Вот как прилепят такую кличку какие-нибудь паршивые газетчики – так и не отмоешься до смерти. Будто бы в саже: «реакционер».

Ох, не клонила голова спать. Ох, подымалась голова – как-то о себе заявить положительно. Такой ценой удержанный пост уж теперь стоил малых усилий – сохранить его. Сочинить, послать какую-то примирительную телеграмму? Очевидно – Родзянке. Родзянко и был бушующий Петроград, другого имени не уважали фронты и страна.

И вот уже зажгёт свет, и вот уже сидел-сочинял. А перо его – совсем ничего не умело. А это надо было самому составить. Ну, значит, объявил Манифест. Ну, значит, вознёс молитвы о новом Государе. А теперь: вместе со всеми вверенными мне войсками приветствуя вашу Государственную Думу... нет, в вашем лице... И новый государственный строй... И в уповании, что в единении всего народа найдёт родина новые силы к победе, славе и процветанию...

Писал он своими огромными палочными буквами, несколько фраз на трёх полных листах...

Стыдно было с Квецинским советоваться, сам. И через Алексеева отправлять – тоже стыдно, но иного прямого провода нет. Сам отнёс в аппаратную, пусть ночью и проскочит, пока все спят.

Время было к шести утра. Ночь так и не началась – а кончалась.

Всё же прилёг. Но только-только в сон – постучал Квецинский: распорядились из Ставки – спешно задержать объявление переданного Манифеста!!!

Что такое? – вскочил Эверт во весь огромный рост.

Так отречение – не состоялось??

Ай-ай-ай, стыд какой! А что он Родзянке послал? Какой стыд!

Да нельзя ли вернуть?! Если целый Манифест останавливали – неужели какую-то маленькую телеграммку нельзя вернуть?...

360

Но и в эту ночь недолго поспал генерал Алексеев: в 6 часов утра дежурный офицер уже тронул его за плечо: срочно вызывает к аппарату Родзянко.

И нездоровье ещё не прошло, ломало поясницу, и досада на этого Родзянку, два дня его нельзя было дозваться, а ночью он тут. Не только не умывшись, но и довольно не проснувшись, ещё обалдело-вялый от короткого прерванного сна, Алексеев слипшимися

глазами начал читать ленту:

«События далеко не улеглись, всё положение тревожно и неясно.»

Что такое? Уже ведь наступало полное успокоение? С этим Родзянкой Алексеев был как с плохим разведчиком. А других разведчиков нет, глаза завязаны.

«Настойчиво прошу вас не пускать в обращение никакого Манифеста до получения от меня соображений, которые одни могут сразу прекратить революцию.»

Отшибло сон! – но и желание разговаривать тоже. Что за безумный, суматошный и самоуверенный человек! То – он один знал: дайте ответственное министерство и всё успокоится. Дали. Тогда: поздно! Но опять знал твёрдо и только он один: дайте отречение и всё успокоится. Сделали невозможное, переступили через гору, совершили отречение! – опять мало и поздно! – но опять он один знает соображения, которые одни только и прекратят революцию.

То есть как же так теперь? Вынудив у Государя отречение – Манифест держать? Да почему? И кто имеет право?

Ответил Алексеев, что Манифест уже сообщён и главнокомандующим и в округа, ибо полная неизвестность вызывала запросы, чего держаться. Армии нужна ясность. Если всё это не соответствует вашим видам – разъясните.

Скрывать Манифест! Теперь скрывать Манифест – ещё хуже будет сотрясение! И уже министру-председателю Львову послан запрос о новой присяге, – и чёрт их поймёт, кто у них там старший – Львов или Родзянко?

Отвечал Родзянко, что обнародование Манифеста может вызвать **гражданскую войну**! Потому что кандидатура Михаила как императора – ни для кого не приемлема!

Вот это так! Да не сутки ли назад этот Самовар и грозил гражданской войной, в случае если **не** будет регента Михаила?! Привык генерал Алексеев мыслить по-военному, а этих политических вихрей он не ухватывал, да ещё большой бессонной головой. Начинать сердиться.

Хорошо, он даст задерживающие телеграммы. Но опасается, что Манифест всё равно станет известным в армиях.

– Я предпочёл бы быть ориентированным вами ранее, чтобы знать, чего держаться.

Родзянко отвечал длинно и очень сумбурно. Что установлено какое-то с кем-то перемирие. И будет создано Учредительное Собрание, ещё новость! А до тех пор будет действовать кроме совета министров ещё какой-то Верховный Комитет – и кроме того ещё обе законодательных палаты. Вот поэтому-то он и просит не обнародовать Манифеста. (Какая тут связь?...) Комбинация наследника Алексея и регента Михаила уже внесла значительное успокоение.

Так что ж? – успевал только думать, а не спрашивать Алексеев, – они хотят вернуться к этой комбинации? Переделать Манифест? Убедить Государя? Как будто да. Не прерывалась родзянкинская лента.

... Возмущение и негодование против существовавшего режима ничем нельзя утолить. А решение Учредительного Собрания не исключает возможности возвращения династии к власти. При высказанной же комбинации напротив можно гарантировать колоссальный подъём патриотического чувства, небывалый подъём...

Всё меньше понимал Алексеев: какая «высказанная комбинация»? Комбинация Алексей-Михаил, или комбинация Верховный Комитет, кабинет министров, Дума и Государственный Совет? А куда теперь Временный Комитет Думы?

– ... подъём энергии, абсолютное спокойствие в стране и блестящую победу над врагом. Войска, состоящие из крестьян, только на этой комбинации и успокоились и решили вернуться к своим начальникам, подчиниться требованиям дисциплины и Временного правительства. Только сегодня Петроград, услыша такое решение, несколько начал успокаиваться.

Если чем и были соединены все эти фразы – то непрерывностью узкой длинной ленты. И только. Понять становилось всё трудней: когда же Петроград стал успокаиваться – ещё

позавчера или только сегодня? Стал ли Петроград успокаиваться или положение грозит гражданской войной? Откуда и какие крестьянские войска узнали об отречении в пользу Михаила, если оно ещё не было нигде объявлено? И зачем и кем собиралось Учредительное Собрание, которое могло вернуть к власти династию, а та и не собиралась уходить? И что это за намёкнутое, но скрываемое перемирие в каких-то ещё других неизвестных переговорах с кем-то? С кем? Очевидно, с крайними левыми партиями, больше не с кем.

Будь проклят день и час, позавчера и вчера, когда Алексеев ввязался в эту политику. Она поднималась как муть, как изжога.

А как он мог не ввязаться? Он торчал на своём месте как чурбан.

Брошенный царём.

А во всяком случае хоть теперь надо было игру с этими политиками кончать – и выражать твёрдую армейскую точку зрения.

Хорошо, приму меры задержать Манифест у главнокомандующих и в округах. Однако всё сообщённое мне вами далеко не радостно. Соккрытие о происходящем и Учредительное Собрание – две опасные игрушки в применении к Действующей армии. Петроградский гарнизон, вкусивший от плода измены, повторит её с лёгкостью ещё раз. Для родины он теперь вреден, для армии – бесполезен, для новой власти – опасен. Желая скорее получить от вас что-либо окончательно определённое – чтобы Действующая армия могла помнить об одной войне и не прикасаться к болезненному внутреннему состоянию части России.

– Я – солдат, и мои помыслы обращены на запад, к стороне врага.

Было чувство: как бы отодвинуться от этой грязи и очиститься от неё.

А Родзянко ещё лепил зачем-то: что страна не виновата, что её терзали неустройствами и постоянно оскорбляли народное самолюбие. Учредительное Собрание состоится не раньше как через полгода, а до тех пор можно будет довести войну до победного конца.

Заговорил – и забыл Алексеев спросить: так как насчёт банды в Полоцке? И кто такие банды посылает? Ставка сделала всё, что Петроград требовал, – почему же разбоя не прекращают?

Распоряжение останавливать строчный Манифест Алексеев отдал ещё во время переговоров, и к концу их – уже на три фронта офицеры распорядились. А теперь подписал и общую телеграмму всем главнокомандующим – и отдельно своему новому Верховному на Кавказ.

К семи часам утра уже со всем этим справились.

Но и спать ложиться уже как будто было упущено.

А жизнь между тем плелась, подавали ему телеграммы с других аппаратов. Вот – предупредительная телеграмма, проследовавшая от Эверта к Родзянке. Ну вот, а этот уже объявил!... От Эверта – не ожидал Алексеев такого восторга! такого ненужного угодничества к новой власти.

А вот была – раннеутренняя телеграмма от великого князя с Кавказа, разминувшаяся в пути. Так. Новый Верховный временно поручал Алексею военные операции и штатно-хозяйственные распоряжения, но – ничего более. И по всем чрезвычайным обстоятельствам повелевал обращаться срочно – к нему, великому князю.

Так. Сразу ограничивалась свобода Алексея. Да оно и лучше. По-настоящему, значит, мог и с Родзянкой не разговаривать, а пусть бы сносился с великим князем. Но ведь такая чрезвычайность у этих чрезвычайных обстоятельств – как же было не остановить Манифест, а сноситься с Кавказом?

Да вот мгновенно тэк и ответ от великого князя. Раздражённый:

«Мне и в голову не приходило сообщать кому-либо содержание Манифеста, так как он ещё не был опубликован в установленном законом порядке.»

И ведь – прав великий князь! Как же это Алексеев сплеховал, да и все умные политики: какое ж могло быть оглашение Манифеста, пока он не опубликован по закону Сенатом?

Ну, по крайней мере закономерно, значит, что задержали.

Не то что прилечь, не то что пять минут подумать над разговором, – стакан чаю

некогда выпить, все несли свежие телеграммы.

Ах вот она, пришла от Родзянки: никакой депутации на фронт не посылалось.

Так значит, в Полоцке – просто революционная шайка? Эх, зря их не схватили, боялись испортить отношения с Думой.

И тут же две вослед – с Балтийского флота от Непенина. В первой – что пытается задержать Манифест, где ещё можно, но в Ревеле уже расклеен и получил широкую огласку, – однако же и беспорядки прекратились. (Вопреки напугу Родзянки...) А через полчаса во второй – что и в Свеаборге частично объявлен, но не видит в том беды, какая разница в форме Манифеста, просит ориентировать, в чём затруднение?

А Алексеев и сам не понял от Родзянки: в чём же дело? в чём затруднение?

И чего стоила задержка Манифеста, если в Ревеле, Свеаборге и на Западном фронте уже прорвалось?

ДОКУМЕНТЫ – 12

Ставка, генерал-адъютанту Алексееву

Вырица, 3 марта, 9 ч. 25м.

От Родзянки получил телеграмму о возвращении в Могилёв. Прошу подтвердить, куда направить георгиевский батальон.

Ген.-адъютант Иванов

361

Вид с наблюдательного – привычной, освоенной, чем даже из собственного окна. Отличён уже глазом, врезан в память каждый безымянный бугор и каждая яма. Старые совсем белы, набиты снегом, а новые воронки от снарядов – с чёрным набрызгом, потом и их засыпает белым. Из какой-нибудь ямы торчит, глазом не различишь, – кочерга, сук кривой или рука бывшего человека, но в стереотрубу это уже всё известно точно. Впереди, недалеко, на столбиках, на кривых кольях, а где на козлах, тянутся наши ржавые проволочные заграждения. Ещё вокруг кольев оплёт, ежи, рогатки. Через сотню потом саженой – такие же немецкие. На чужой проволоке от кого-то бегшего оторвалась, зацепилась и теперь по каждому ветру мотается тряпка. А потом – полоса немецкой огневой линии, где от пристальности твоей зависит знать все бойницы и пулемётные гнёзда. И потом – голубоватые дымки из окопных печурок, по которым стрелять взаимно не принято.

Передвижений, изменений так нет давно – только ходом погоды затемняется или освещается весь этот болезненный пейзаж, да дневным круговоротом солнца. Да редко улепит снаряд, откроет новую воронку. Да редкая пуля врежется близко в снег, – снег зашипит, и пойдёт короткий парок.

Последние недели – совсем вялая стрельба, ни одной атаки, ни одной операции, а только обновление реперов, да по воздушным колбасам, да если где немцы слишком открыто зашевелились. И суточное дежурство на наблюдательном иногда проходит без единого выстрела.

Так и за минувшую ночь Костю Гулая ни разу не потревожили, в охолодавшем блиндаже на приподнятой лежанке он проспал на соломе в сапогах, в шинели, в папахе, туго перепопоясанный, и вставал только раз по надобности, да чтобы глаз не расслепить – и не заглянул в трубу, в темень ночную.

И утром ещё спал порядочно, но разбудил его Ванька Евграфов, дежурный телефонист. Он парень был беспокойный, забористый, и без офицера тоже угроживал поглазеть в стёкла, что там у немца. И теперь потрагивал подпоручика за ногу – и осторожно, и нетерпеливо:

– Ваш благородь... ваш благородь...

В голосе его не было тревоги, и Гулай недовольно дремуче проурчал:

– Ну?

– Ваш благородь, поглядите, чего немцы выставили, а?

– Чего выставили?

Выставить могли орудие или какую новую машину, может, стрелять надо.

Через смотровую щель уже довольно было света в блиндаже, увидел Гулай зубастую улыбку Евграфова, такая всегда была у него от любопытства, любил он зубы перемывать.

– Такое выставили – сказать нельзя. Идите сами смотрите!

Поднял Гулай тело, намятое от твердоватой лѐжки, выругался на никого, и пошёл к щели – вызорку, как называли солдаты.

Ясный начинался день. Полоса голубого неба, кусок облака, боковой солнечный рассеянный свет, – и от позавчерашнего обильного снега ещё белой пухлостью всё завалено – кресты католического кладбища, и роща с Ручкой.

Подпоручик приклонился к окулярам стереотрубы, а Евграфов рядом навалился к щели.

Прямо напротив, по линии 2-го ориентира, на выносе из немецких окопов, вплотную к их проволоке выставлен был фанерный щит, аршина два на полтора, на палке, воткнутой в снег, а на щите – бумага, а на бумаге выписано сажей, крупными буквами, по-русски, нерассчитанными строчками, то растянуто, то сжато:

Петербург – революшн!

Рус – капут.

Кончай воеват!

Ничего себе. Что это?

Гулай смотрел и смотрел, сколько надо было десять раз прочесть, солнце удобно светило из-за спины, – уже не на самые эти слова, но вокруг, направо, налево, какие у немцев ещё выдвигения, изменения. Никаких нигде, и никто не высовывается.

– Чего это? – искрилось любопытство Евграфова.

– Пошутили. О таком – мы узнали бы раньше их.

Революция? На ровном месте? Пошутили.

Однако велел Евграфову по пехотному телефону позвонить на командный пункт боевого участка. Тот проворно вызвал через зуммер, попросил офицера – и вот уже слышал Гулай в трубку густо-мохнатый голос штабс-капитана Офросимова. Да у Кости и у самого нахрип, вырос такой грубый фронтовой голос, что прежнего студентика не услышишь.

– Капитан, вы – видели?

– Видели, – лохмато.

Офросимов и сам был такой, звали его офицеры – «мохнатый мужик», у него вся грудь была в чёрных клубящихся волосах.

– А на других местах чего не видели? Это – одно такое?

– Одно. Сбей-ка его, Гулай, к ядреней матери!

– А... – замялся Гулай, – чего не слышали?

– Да ты что, обрундел?! Сбей сейчас же.

Офросимов был – одна решительность, и чем больше на фронте – тем больше Гулай таких уважал. Он и сам так понимал теперь жизнь.

Позвонил старшему офицеру батареи капитану Клементьеву. Тот – не сразу подошёл, или встал недавно или чай пил как раз.

Выслушал – и хладнокровно:

– У них – какое там число? Ещё не первое апреля?

По его покойному голосу во всяком случае – ничего такого случиться не могло.

– Пехота просит, я может собью? – сказал Гулай.

– Ну, сбейте. – Старший офицер любил артиллерийские задачи: – А попробуйте вот с одного снаряда, а?

– Попробую, – засмеялся Гулай.

Посчитал деленьями трубы от репера, потом на бумажке – доворот, поправку по дальности, интересно бы сбить с одного.

Евграфов вызвал батарею.

– Первое орудие к бою, – прогудел ему Гулай, а тот повторял.

Когда там приготовились, –

– Угломер... прицел... уровень... гранатой... один снаряд...

Доложили с батареи готовность.

– Огонь! – и к стереотрубе.

И любопытный Евграфов, откликнув «огонь», покинул телефон и подскочил к щели.

Вот он, на подсвисте. Засвистел: – завизжал, недалеко над головой – взмёл фонтан снего-земли саженой на несколько левой щита – крякнул!

Рассеялось – а щита нет, смело.

– Поблагодарить, – кивнул Гулай на телефон.

Евграфов с удовольствием зазубоскалил.

Тут вошёл из траншеи свой батареец, принёс им охолодавший завтрак в двух котелках.

Тот пока сел к телефонам – а Евграфов вскочил к печушке, разжечь, да разогреть чайник. Да в отростке траншеи, с неуютанным снегом, – подпоручику слить умыться, щёки и нос.

Стали завтракать, Евграфов на соломе, Гулай на чурбаке, котелок на низком столике. Иван что-то набалтывал – о том, о сём, окопные новости, Гулай его не слушал.

Он подумал: а что, если бы вот правда? Ведь попадают же чьи-то жизни и на такие события?

Сейчас, на фронте, Костя уже столько пережил и постарел, – а раньше бы, по-молодому: всякое необычное, даже опасное, даже неприятное событие манит, чтоб оно случилось! Даже хочется бесстрашным телом – коснуться опасности. (И в ней уцелеть, конечно.)

Революция! – это такое кружение, пламень, фантастика!? Впрочем, вряд ли переживания сильней, чем под хорошим обстрелом.

Пили чаёк, кусая сахар вприкуску.

Уж небось Евграфов про этот плакат ещё раньше поведал на батарею. А сейчас охотливо нёс про скопинских фабричных девок. (Он сам был – купецким приказчиком из Скопина.)

Гулай повозился немного с записями, с наблюдениями. Дел-то настоящих не было, целый день хоть спи, хоть книжку читай.

Прозуммерили – и Евграфов потянул ему трубку:

– Из штаба бригады.

Голос в трубке был тонкий, изнеженный, можно за женский принять. А-а, это звонил, это был в штабе такой князёк, капитан Волконский. Он спрашивал – и выдавал волнение – тот ли самый подпоручик с ним говорит, который видел немецкий плакат? И не про то, как лихо сбили одним снарядом, а: как дословно там было написано?

Этого князька – тонколицего, тонкогубого, с игральными пальцами, видел Гулай раза два-три, – и от этой самоуверенности дворянской породы передёргивало его. Всегда закипало в нём от голубой крови, от белой кости, бесило, что кто-то считает себя от природы рождённым выше и избранной. Даже если такой держался просто, а всё равно улавливал Гулай, как он себя строит, надменно знает о своём изродном превосходстве. А у капитана князя Волконского был распевчато-недоверчивый тон, скользкие пустоватые фразы – что не в этом обществе ему по-серьёзному разговаривать, есть у него свои понимающие в другом месте.

А вот теперь – заволновался!

И невольно отвечал ему Гулай грубей и весомей, чем сам понял утреннее происшествие. В общем-то он понял его как шутку – а князю Волконскому почему-то передал сейчас не как шутку.

И слышал, как голос у того – падает. Он может быть что-нибудь знал уже и с нашей стороны?

Но не унился Гулай у него расспрашивать.

Положил трубку, отошёл, – а почувствовал, что в самом подымается что-то.

И правда что-то?... Вроде революции?

А что ж, у нас подгнило. Сотрясётся – очистится, только лучше.

А-а-а, прожигатели жизни, схватились? А полтора-двадцать лет что вы думали? Как вы рабов имели беспечно – и не почесались? Всё – тонкие искусства развивали? Да хохотали в своих гостиных? Да на балы съезжались к сверкающим особнякам – карета такого-то! Красотки выпархивали, придерживая сборчатые шёлковые подолы, а чужих никого к себе во дворцы не допускали, да только слуги всё видели. Чем же вы так были избраны? Почему возвышены от общей страды – да на Лазурные берега? Все эти Волконские, Оболенские, Шуваловы, Долгорукие, драть вашу вперегрёб, – хорошо вы забавлялись, а что вы России дали? Какая от вас кому была польза? Никогда столько не дали, сколько брали да брали – и думали: не припечёт? Ну, не сегодня, так позже, а погодите: припечёт!

А ещё ж все эти фон-Траубенберги, Юнгербурги, Каульбарсы, Карлстеды, Вонзблейны, Зильберкранцы, – ещё этих сколько насело, обстало, населило все верхи? – и ещё учить выговаривать солдат на словесности? Как – от этих воротник освободить?

Разыгралось в груди веселоватое – и даже жалко становилось Гулаю, что всё это – только неуклюжая шутка немецкой пехоты.

362

Весь день, весь ход дневной определяется тем, как ты проснёшься: затекла голова или нет. И разные формы затечи: так и останется сжатием на весь день или ощущаешь, что разойдётся. Немошь, о которой не хочется никому рассказывать: она касается тебя одного, и только тебе совершить весь её ломкий ход.

С годами совсем преобразилось влияние сна: из крепкого радостного отсутствия, где беспмятно почти смыкаются начало с концом, сон вытянулся в длинную тяжёлую работу, со стонами в переворачиваниях, то сверленьем в суставах, снами, снами, полусумраком сознания, мучительными виденьями, – и замёрлое утро всегда ниже разогнанного вечера. Вечером кажешься себе деятельным человеком и даже доволен прошедшим днём, – к утру это всё опрокинуто, осунулось далеко вниз, и, распластанный, ты пробуждаешься в ничтожестве, почти не веря, что силы снова могут вот воротиться – и снова разгонится полезный день.

И по пятиминуткам чуть выше – чуть выше – чуть выше подсовываясь на подушках, наконец уже полусидя, Варсонофьев тревожно учувал, какой порядок сегодня устанавливается там, в голове: останется ли она заложённой, с необшаренными уголками мозга, которые к думанью привлечь нельзя, и мысли не будут дозревать, – или постепенно растянёт, расчистится, как расчищается небо (ещё помочь и кофею), – и снова он ощутит и погонит былую силу мысли и пера.

А иногда малодушно расслабленно казалось: совсем бессмысленно вставать. И чтоб имело смысл подняться – надо было искать что-нибудь поддерживающее приятное: вот, должно прийти сегодня хорошее письмо. Или – ванную колонку сегодня будем топить.

В этот трудный утренний час – малоразлично стекает по поверхности сознание о событиях внешних. В бездейственный, в беззащитный момент пробуждения, пытаюсь восстать из праха и всякий раз не зная, восстанет ли, – первой горечью и тяготой человек вынужден принять свою собственную небольшую жизнь, никому но известную, не интересную, которую и сам считаешь ничтожно-неважной по сравнению со своими научными занятиями. Возвращается в бессильную память и протаскивается, и протаскивается.

Лёка. Вот и она, разорившая ему годы, не отпускала и теперь. Всё снилась, снилась, и так выразительно: то в лёгкий ящик туалетного столика накладывала, втискивала несколько больших топоров, и пыталась ящик закрыть, а он перекашивался и ломался. То, стоя рядом с

детской коляской, шамкающая, старая, требовала, чтоб он подошёл, – а когда он подходил – оказывалось: сама лежала в этой коляске, как-то помещаясь, но и взрослая. И тайна сна охватывала ужасом сердце.

Теперь, если ей суждено умереть раньше, чем Павлу Ивановичу, то *оттуда* она станет приходить к нему ещё настойчивей.

А – дочь? Как упустил? зачем не направил? Сколько было удач со студентами – с чужими детьми, – а свою?... Как мог не уберечь её от этого безбожного сознания, от этой ничтожной среды?

Да разве и сам он через то не прошёл?...

Да вообще – кажется, так мало было внешних, фактических событий, – а давят пещеры памяти. Чем старше Павел Иванович заживал, тем отчётливей вспоминал свои ранние годы, – и открывались ему и начинали жечь совсем забытые, никогда не понятые вины, начиная с матери, с отца, – перед теми, кого давно нет в живых или рассеяны и не найти их, чтобы просить прощения и загладить.

Почему и вся жизнь человека, если рассмотреть, составляется почти из одних ошибок? Почему вовремя никак нам не дано принимать верные и светлые решения, – но лишь запетливать, запетливать свою жизнь, – и только стариковским ослабленным взглядом различать упущенное? Всякий новый раз мы уверены в правоте – и всякий раз ошибаемся.

Самое удивительное, что ничего этого он искренно не видел вовремя. Самые простые ходы упоительной молодости и слепоты средних лет, так отчётливые теперь, – почему он их не различал раньше?

Шестьдесят один год! Это – много. Это – очень длинная жизнь.

Он по-прежнему любил свои занятия, а как будто уже и не по-прежнему: уже не доставляли они сами по себе столько завлекательной радости, и, чтобы подкрепить себя, должен был Варсонофьев думать не только о сути их, а о том, какой ответ и отвод он даст противникам. На противниках – более укреплялась земная твёрдость. Успеть отвести их. Успеть исправить ложные движения. Успеть передать молодым свой духовный опыт. Всё накопленное, а не переданное – так ведь и погибнет с нами бесплодно.

Так мало сил и времени дано человеку, чтоб еле-еле управиться со своим собственным сердцем, со своим собственным обдуманьем, – а кому-то же и когда-то надо успевать подвигать и жизнь общественную?

Совсем недавно Павел Иванович узнал о смерти двух своих ровесников – безо всяких видимых причин. Значит – только возраст? Как это сильно влияет: твои ровесники уже расстанутся с этим миром. Дорога кончается. Дорога для всех неизбежна.

А от какого-то времени, оглянуться, уже и много близких, понятных тебе людей, многосвязанных с тобою, перешли в тот мир, И ты чувствуешь себя здесь всё более одиноким и как бы ни при чём: мало ты понимаешь новопришедших – и они тебя.

Шестьдесят лет – это уже и полная жизнь, вполне может на том и захлопнуться. Но зачем-то вот дан ему избыток сверх того, избыток по сравнению с умершими. Милостивый дар, в дополнение. Одуматься. И ещё исправиться, где можно. Старые ошибки свои исправить, если не потеряны их концы.

Но они обычно обронены и потеряны. А как хочется бы ещё обновиться и приблизиться к правильной линии!

И почти знаешь заранее, что это невозможно.

Даже не только утра, а целые дни можно вот так провести, – дни просторного раздумья, неизвестно о чём, ещё даже не найдено с утра, а просто хочется перебирать свою минуемую жизнь, и другое, в связи. Какое-то чувство, что это – плодотворно, и будет найдено нечто. Только не торопиться и даже не задаваться ничем.

Так он сидел, подпёртый высокими подушками, ноги вытянув под одеялом, – хотя внизу, в почтовом ящике, ждали его газеты с чехардой ещё каких-нибудь невероятных новостей.

Вот пришлось! Сотрясены Петербург и Москва. Что-то должно из этого вытрястись,

вряд ли теперь успокоится гладко. Родзянко телеграфировал в Москву Мрозовскому, что правительства больше не существует. Мрозовский спешил выгородиться: «Я – старый солдат, рисковавший головой в нескольких кампаниях», – и по телефону дважды уговаривал Челнокова приехать, принять его капитуляцию, а тот ещё и не ехал! Бежавший московский градоначальник был арестован на вокзале. Кишкин на общественном заседании даже расплакался, так горячо говорил против монархии. Где-то неведомо метался, куда-то загнался царь. Уже даже не молодым, всего пятнадцать лет назад, ещё как Варсонофьев ждал такого! Как бы он сейчас кипел, ноги бы не приседали, только носился бы по этому уличному месиву и искал бы, как нахрипеться и куда приложиться. Кажется, ведь только для той, общественной жизни он и вынашивал вершину своего сознания.

Но за десять предстарческих лет – что-то в нём отозрело.

В эти дни он переглядывал перебивчивые газеты, и отдельные листки, возглашающие необыкновенные события. И выслушивал Епифановну: как в трактирах стали еду хватать, не платя, растащили припасы из колониальной лавки на Большой Никитской, разграбили булочную на Тишинке, разгромили часовой магазин на углу Большой Грузинской и Тверской. И про обыски вооружённых солдат по квартирам. И сам от Малого Власьевского прошёл один раз к Пречистенским воротам, другой раз к Арбатской площади, – но и на улицах, в опьянённой толчее, не покинуло его ощущение, что это всё, происходящее внешне, – не главное.

Что главное Павел Иванович мог разглядеть, понять и в своей дряхлой хоромине, не выходя и даже газет не читая, – лишь освободив простор своей мысли и прочитывая резной потолок.

Нужна способность понимать жизнь в самых основных, простых чертах. Может быть, это и есть лучший дар старости.

В государствах, как и в жизни отдельного человека: всё приходит и уходит – хлыном. Было – несметно, и вдруг – ничего. Человек живёт и государство живёт – в видимом здоробы, и сами не знают, что они – уже при крае.

Да, когда-то он тоже думал, что если б только установить республику, рассвобождённый государственный строй – и – и – что? Что может политическая ежедневная лихорадка переменить к лучшему в истинной жизни людей? Какие такие принципы она может принести, чтобы выйти нам из душевных страданий? из душевного зла? Разве суть нашей жизни – политическая?

Так и его общественная деятельность прежняя – была сплошной ошибкой.

А ошибку нынешней он поймёт когда-нибудь потом?

И как же переделывать мир, если невозможно разобраться в собственной душе?

Тут услышал он: благовест?...

Не звон отдельной церкви. И не размеренный печальный великопостный зов к утренней службе, да уже и время было не то. И – не церковь Власия рядом, она молчала. Ни – Успения на Могильницах, ни – Николы в Плотниках, ни левшинского Покрова, – их всех Павел Иваныч и при закрытой форточке различал, по звуку и по направлению.

Но – сильный благовест шёл. Но бил – не меньше как Иван Великий.

Необычно. Совсем неурочно. Павел Иванович спустил ноги в мягкие туфли, надел халат со спинки стула. И подошёл, открыл первую форточку, и вторую.

Да, бил Кремль. Во многие колокола. И, как всегда, выделялся среди них Иван.

За шестьдесят лет жизни в Москве и в одной точке – уж Варсонофьев ли не наслушался и звонов, и благовестов? Но этот был – не только не урочный, не объяснимый церковным календарём, – утром в пятницу на третьей неделе Поста, – он был как охальник среди порядочных людей, как пьяный среди трезвых. Много, и бестолково, и шибко, и хлипко было ударов – да безо всякой стройности, без лепости, без умелости. Это удары были – не звонарей.

То захлёб. То через меру. То вяло совсем и перемолкая.

Это были удары – как если бы татары залезли на русские колокольни и ну бы дёргать.

Стоял Павел Иванович под форточкой – и слушал в изумлении. Как эти звонари прорвались на колокольни в согласное время и что хотели так несогласно выразить – можно было догадаться. Но – как это слышалось исконному москвичу?

Ближние малые церкви так и не вступили ни одна. Но из дальних – какие-то поддержали. А простоял Варсонофьев минут десять – и гунул главный колокол Христа Спасителя. А за ним посыпалась и дробь перезвончатых. И такая же бестолковая.

Стоял, стоял, стоял Павел Иванович. И не только напрохладел, а обняла его великая тоска.

Или даже – разорённость.

Как в насмешку надо всеми его раскаяниями, обдумываниями, взвешиваниями, – хохотал охальный революционный звон.

И ещё меньше теперь можно было понять в пути России. И в собственной жизни.

363

Ещё вчера солнце было – её.

А сегодня – нет, ушло.

Ушло всё прекрасное волнение, вся переполненность восторгом. А взамен – тоска, обида заложили всю её.

Нет, нет, Ликоне – не плохо! Ведь у неё были эти невозможнейшие шесть дней. И их никак нельзя отобрать.

И даже боль после него – прекрасна.

Но что произошло с ней самой? Кажется – это была не она.

Она совсем не помнит встречи.

Всё, что хотела объяснить, – она ничего не объяснила: всё её прошлое вдруг стало мелко и ненужно рядом с ним. Рядом с ним – она сама не вспомнила своих разочарований, своих страданий.

Растерялась.

Вместо этого – он был рядом и всё заполнял.

Она – ничтожная перед ним девчёнка, и он прав будет, не оценив её, пренебрежа.

Не поняв.

Бросив.

Один раз в жизни уже было так: она всё принесла, а оказалось ничто не нужно.

Нет, она сама виновата! Она – онемела, была не она.

И вышло – просто побаловался?...

А теперь: ещё раз они будут ли вместе, чтоб исправить?

А на улицах – этот толповорот, дикое красное и песни, чему-то все рады.

А тёмные театры – как погребальные залы.

Да – будут ли они ещё раз вместе!?!

Милый! Не уезжайте! Милый! Будьте со мной ещё раз один

Я обниму вас – как никогда-никогда!

364

Боже, какая ночь!... Двух таких ночей не бывает в человеческой жизни!

Вся ночь – без сна, но какая возвышающая памятная разбудоражная ночь счастливого завершения Великой Российской Революции!

Уже к вечеру было понятно, что во Пскове решается нечто, и Непенин послал через

Ставку свою телеграмму в поддержку отречения, даже преувеличил, по мнению своих штабных, что он с огромным трудом удерживает флот в повиновении, – бо льшая часть флота держалась спокойно и благородно, – и что вне отречения грозит катастрофа с неисчислимыми последствиями.

Послал телеграмму – и всё кануло в ночную тишину, и всё не верилось, что развяжется благополучно. В час ночи, перетолковав, перетолковав, расходились спать – и тут пришла телеграмма, что Манифест об отречении подписан царём!!!

И так, без ночи, открылся сразу опять день, уже следующий. Команды спали, на тёмных корпусах кораблей горели малые дежурные лампочки, не светились иллюминаторы дредноутов и линкоров, спала и команда «Кречета», кого не разбудили сами телеграфисты, – а князь Черкасский и Ренгартен пошли в каюту к Адриану – поздравлять! Позвали б и Щастного, вполне уже своего, но он вечером уехал в Петроград представителем флота.

У Непенина нашлась бутылка шампанского. Втроём, в каюте, и пили, – не шумя, с голосами переволнованными, но негромкими. За новую Россию! За новую эру! Какая ослепительная заря свободной просторной великой русской жизни!

И как сказочно быстро и легко всё решилось – ещё только искали, как приступить, кого-то раскачивать, давать внешние импульсы думцам, – но все повели себя так отлично, но всё прошло так гладко!

Адриан был тоже как никогда прост, никакой разделительной черты, хотя при весёлости их троих – его лицо было как будто не весёлое, в противоречие с настроением. А говорили – очень слитно.

О том, кого и кем заменять. Зубров – убрать, освежить состав. Как теперь всё будет выглядеть! Как звучать! О неисчислимых русских возможностях.

Но Боже мой, как легко всё получилось!

Тут принесли ленту с приказанием адмиралу от нового правительства: немедленно арестовать финляндского генерал-губернатора Зейна и ещё одного крупного царского чиновника.

Светловолосый Непенин повёл бровями. Полицейское распоряжение, никак ему не по должности, не по службе. Но – есть и такая обратная сторона, естественная черта революции.

Придётся их – взять. И изолировать от города. На корабль. А потом в Петроград.

Распорядился подать ему автомобиль, сопровождающих, и уехал в город на арест.

А Черкасский и Ренгартен ждали его возвращения в канцелярии штаба. Гадали, как пройдет операция. Ещё, ещё рассуждали обо всём. Просто – горели, не могли усидеть, Ренгартен вскакивал и всё ходил, в тесном просторе, два с половиной шага.

Придумали и камеру для Зейна – пустующую каюту флагманского механика, велели её приготовить, – и тут же вскоре послышались шаги в коридоре, Черкасский пошёл навстречу показать, – Зейн двигался надутым изумлённым чучелом, покорно зашёл, дал себя запереть, – а саблю отдал Непенину ещё у себя во дворце, не шевельнувшись ни к возражению, ни к сопротивлению.

Это – показатель и символ, что так гладко прошло. Так будет и дальше, так – всё!

Непенин сказал, что пригласил сегодня на день финских деятелей сюда на корабль. После ареста Зейна естественно установить с ними дружеский контакт, обещать широкие права финскому сейму.

Оставили Адриана отдыхать, сами пошли ещё выхаживаться по палубе. Ещё не рассвело. Лёгкий мороз, лёгкий вест, всё небо открыто звёздное, давление 764, будет ясное утро.

Да оно уже и скоро, уже бесполезно идти спать, а лучше встретить его бодрствуя.

Придумали с князем вот что: вдвоём привести в порядок, систематизировать все телеграммы и документы за эти дни, связанные с революцией, – за сколько дней? Да всего за четыре! А уже много набралось, потом всё это смешается, потеряется.

С интересом занялись, не переставая изумляться этому топоту истории по собственным

головам.

Утро разгоралось ярко-солнечное, праздничное, от белых ледовых пространств жмурились глаза.

За эти часы уже пришёл текст царского Манифеста. (Черкасский нашёл, что удивительно благородным языком написан, – кто это царю составил?) И неспавший Непенин собрал флагманов раньше семи утра, – не заседанием, но торжественно построил их в своём салоне – и прочёл им Манифест.

Дружно крикнули «ура» императору Михаилу Второму! Всё это было куда бодрей и светлей вчерашней грозной неопределённости. Кажется, на этот раз не было недовольных лиц. Новый император, Российская империя продолжается!

Но едва флагманы разошлись, чтоб объявить по кораблям, – телеграф «Кречета» принял из Ставки от Алексеева просьбу Родзянки – всеми мерами и способами задержать объявление Манифеста, сообщённого ночью! – ввиду особых условий, которые будут пояснены дополнительно.

Как громом! Что это значит?

Но он уже разослан! Уже в Ревеле, уже и тут... Наш принцип и есть – всё объявлять матросам как можно скорей и честней!

Что это опять начинается? Что это такое? Революция повернулась? Царь берёт отречение назад?... Измена?

Всё потемнело и при блистающем утре.

Невозможно было расстаться с достигнутым уже! С тем, что сердце уже так трепетно пережило и усвоило.

Невозможно было допустить Полковника снова на трон!

365

Ещё вчерашний предутренний удар от Родзянки генерал Рузский как-то выдержал: что его победа – не победа, а события шагают крупней. И снова собрал все силы интеллекта на новые уламывания царя – и снова же сломал! И к ночи был снова в душевном разгоне, ужиная с Гучковым и Шульгиным и провожая их потом на поезд, а сам на автомобиле в город, в штаб, – он упивался сыгранной ролью и ощущал себя вровень с грандиозным Происходящим.

Но когда сегодня в пять часов утра, едва втянутого в сон, его снова разбудили к аппарату, и опять Родзянко грубыми нерассчитанными движениями смахивал с доски все расставленные выигравшие фигуры, – Рузского как будто прокололо, стало из него выпускать набранный воздух и смарщивать. И такой сморщенный, съёженный, маленький, он свалился в постель, уже после шести, – и пытался заснуть, но уже не впрок, какой-то кислый сон, без освежения, и вздрагивающий, – даже и сон не шёл к нему, и вот лежал вялый, измолоченный – да сколькими же сутками сверхчеловеческого напряжения? Да неужели меньше чем двумя? Поверить нельзя, кажется – дольше недели.

Вытягивался за событиями – не отстать, даже вести их, – нет, видно уже стар он для таких растяжек, шестьдесят три года. Очень было гадкое, сляклое состояние, – не поверить, какой подъём царил всего несколько часов назад на ужине с депутатами.

И – каковы ж эти депутаты, чего они стоили, и знаменитый Гучков, – сами не знали, чего добивались. Ни к чему не были подготовлены.

Оставалось, правда, лестно, что телеграфировали первому Рузскому, а не Алексееву. Конечно, они рассчитывали найти у него большее понимание. При новом правительстве он мог бы стать и Верховным Главнокомандующим. Что Николай Николаевич? Фигура для парада и фотография. Да вряд ли его утвердят. А Алексей – виновник 1915 года, разработчик неуклюжей карпатской авантюры, потом предался психозу отступления, – разве он годен в Верховные? Но – само правительство держится как безумное.

Петроградские события как будто не имели связного течения, где последующее

событие вытекает из предыдущего, а выскакивали внезапно, как из балагана фокусника, и фокусником был Родзянко, он мог представить в следующий разговор или через пять минут: то – невиданный солдатский бунт, то – полное успокоение. Скорей всего, они сами не понимали настроения населения и что делается в Петрограде. Но почему же, когда Петроград был в ведении Рузского, – он всегда знал настроение города? И члены Думы, и общественные деятели эти все дни, значит, вели отчаянную рискованную игру, – а теперь по слабости выпустили всё из рук. Но при такой мгновенной переменчивости петроградской обстановки как же может рядом существовать и стоять Северный фронт?

И Рузский – выговорил Родзянке, сколько успел. Родзянко с той стороны давил даже через аппарат своей мощной фигурой, так и видно было, как он там устороняет кроткого Львова, не давая ему пикнуть. Этим своим вечным самовыдвижением Родзянко не давал узнать: что ж там думают и делают помимо него? Хотелось бы послушать главу нового правительства, но тот был нем, а вместо него рвался с монологами Родзянко, – да уже не просто председатель Думы, но председатель какого-то неслыханного Верховного Совета – вроде как при Анне Иоанновне, – роль которого рядом с правительством вовсе была не ясна, а после повторений и переспросов оказалось, что Верховного Совета никакого и нет, это просто оговорка. Ничего себе оговорка – три раза медленно пропечатанная на ленте!

Как это можно всё мешать? И что у них там творится в умах?! – Рузский не мог проникнуть в повороты думских политиков. Сперва он нехотя принял распоряжение задерживать Манифест, отсылал их разговаривать со Ставкой. Но если подумать, что дело идёт к Учредительному Собранию, тогда очевидно и к республике? – тогда конечно Манифест Николая надо задержать решительно. И главное – остановить, чтоб нигде не присягнули Михаилу.

В соседней комнате уже несколько раз покашливал Данилов – очевидно в расчёте, что Рузский проснётся, но не решаясь будить, вторую ночь подряд.

И состояние разбитое, и не уснуть уже. Не подымаясь из постели, Рузский позвал его.

Плотный здоровый Данилов был бодро дневной и озабоченный. Надо бы ещё раз категорически повторить от имени Главнокомандующего запрет распространения Манифеста, а главное – ни в коем случае не приводить к присяге. Вот и готово, вот и ручка.

Рузский, подмостясь подушками, подписал на картонной подкладке.

Ну, и какую-то надо ориентировку разослать для разъяснения. Почему задержан? – будет Учредительное Собрание. И подтвердить назначения Львова и Николая Николаевича.

А вот тут Рузский понимал, что – не может так быть! Положение великого князя теперь зашатается тоже.

– Ставка подтвердила, Николай Владимирович.

– Ну, рассылайте, что ж, – вяло уступил Рузский.

Не надо было за всем этим гоняться, не надо было соучаствовать. А вернуться к тому, чтоб обеспечить боеспособность своего фронта.

Такую телеграмму Данилов тоже принёс на согласовку. Всем командующим армиями, Двинским округом, запасо-ополчениями и начальникам военных сообщений. Что на всех железных дорогах надо установить контрольные пункты и дополнить службой разъездов и облав – чтоб изолировать войска от возможного проникновения агитаторов и не допустить образования в тылу шаек грабителей и бродяг.

– А из Ставки общего приказа нет?

Нет.

Хорош Алексеев! Как же можно так пасть? В угождении новым властям.

Не шевелясь ничем, кроме руки, взявшей бумагу, прочтя раз и два, Рузский, затылком на подушке, задумался. В этом естественном для армии и как будто домашнем приказе расщеплялась, однако, бездна. Сегодня за ужином ему казалось так легко ладить с новыми властями. Но эта телеграмма напоминала, что – нет. Вот приехала вчера депутация-банда в Полоцк, а прими она чуть правей и попала бы уже не на Западный фронт, а на Северный. Северный – со столицей рядом, и все пробы будут делаться на нём, и все банды посылаться –

раньше всего сюда.

Алексеев не делал этого шага – так приходилось делать Рузскому. Все убеждения и настроения Рузского прилепали к тому, чтобы дружить и ладить с новым правительством, это были всё интеллигентные люди, не тупое недомысленное самодержавие. Но уже видно, что неспособны они будут эти банды останавливать.

А при этих бандах – нет его как Главнокомандующего фронтом, и нет самого фронта, и нет воюющей России. И неизвестно тогда, зачем всё и начинали.

Оставаясь генералом, он не имел выбора.

И с горькой складкой сказал Данилову:

– Добавьте, Юрий Никифорович: что к таковым шайкам главкосев приказал применять самые беспощадные меры.

И отдав бумагу, продолжал лежать в бессилии.

366

Спали коротко, но мертво, не ощущая толчков вагона: сколько перед тем не выслано в Таврическом. Еле выдрались в явь уже на последних стрелках. И – трудно было подниматься, и – сразу разила память о петербургском хаосе, это после ночной псковской сказки.

Так и не умылись.

Так и с генералом Ивановым по дороге не встретились, да теперь это было не нужно.

Мрачный, с больным старым видом Гучков, сразу небритый, подумал, решил:

– А пожалуй, Манифест будет у вас безопасней. Я – на виду, я...

Достал из внутреннего кармана бумажник, из него – заветные сложенные листики, передал Шульгину.

Шульгин охотно – в свой бумажник и в такой же свой карман.

Головная боль его не совсем прошла, а притупилась.

Было раннее морозное утро. Восходящим солнцем розовило высокобокую кирпичную церковь у Скотопригонного Двора.

Этих самых Северо-Западных дорог начальника, Валуева, как раз близ Варшавского вокзала три дня назад и расстреляла, растерзала толпа, депутаты знали. Назначенный Бубликовым заместник Валуева сразу вошёл к ним теперь в вагон. Не желал он быть растерзанным, как Валуев, и отказать толпе не мог ни в чём. Но предупредил депутатов, что настроение очень возбуждённое, об их приезде знают, ждут, – и советовал им ни на какие митинги не ходить. А он за них – отказать не смел.

С возвратным тяжёлым «таврическим» чувством депутаты вышли в тамбур, сходили по ступенькам. Они ведь ускользнули тайно от Совета, – и как их теперь встретят? Уже к их вагону стянулась толпа, больше сотни, – солдаты, и молодые офицеры, и публика.

Гучков первый спускался грузно со ступенек, а Шульгин оставался ещё выше него на вагонной площадке. И лица публики увиделись ему угрюмыми – и молниеносно блеснуло в нём: чего ж таить? от кого теперь это секрет? вот сейчас он их обрадует и разрядит.

И не успев посоветоваться с Гучковым, оставаясь на площадке, со своей полувысоты, взмахнув лёгкой рукой, крикнул своим тонким, не слишком громким голосом:

– Государь отрёкся! По болезни наследника на престол вступает император Михаил Александрович!

По лицам замелькало – удивление? согласие? Раздалось и «ура», но тихое, жидкое, не единое.

И сразу – усилилась вокруг депутатов суэта полностью свободной толпы. И кто-то приглашал их, кто требовал и тянул – сразу в несколько мест и везде их ждут. И даже не успели они с Гучковым сговориться – их разделили.

Но Шульгину понравилось такое возбуждение. Во всяком случае, российская масса не оказывалась равнодушна к политике, как на неё клеветали. Так она – вот так всегда и

тянулась? Или раззадорили её в последние дни?

Шульгин бодро шагал за сопровождающими. Простой будничной ясности не было в голове, но была сказочная приподнятость – выше и сильнее себя, идущего по платформе, – к речи, к которой никогда не готовился. Свои ноги ощущал как не свои и свой язык как не свой, – лишь несовершенно данные ему, совершенно плывущему в воздухе. И листики императорского отречения в кармане были как особая награда, тайная ото всех.

Суждено ж было именно ему нести на груди эти два невесомых листика, перелистывающих всю русскую историю!

Вид на перроне молодых офицеров с фронтовыми погонами и свежий отрезвляющий воздух вместе открыли Шульгину, вот сейчас на ходу, ещё один важный довод, почему необходимо было брать отречение: таким образом снимется присяга со слишком верных офицеров, и будут спасены их жизни от расправы.

Его провели в билетный зал. Тут буквою «П» в четыре шеренги была построена какая-то пехотная часть – да очевидно, сообразил Шульгин, не для чего иного, как в ожидании его и чтобы слушать его.

А четвёртую, свободную, сторону замыкала вокзальная толпа.

Не миновать было держать речь.

Раздались команды, хлопки ладоней по ложам винтовок, стук прикладов о пол – и всё смолкло. Шульгин стоял на свободном пространстве пола – никак не выше их, потерянный среди них.

Увидел эти серые ряды – и его пронизала ответственность и сознание своей неготовности. Если они ждали его здесь 15 минут, то они больше были готовы к этой встрече, чем он всей своей политической жизнью и всеми своими речами. Он так ощутил: всё, что он может сказать им сейчас, – будет мельче этого часа.

Но у него же было само Отречение в кармане! – почему же надо было его таить?

На виду у всех он вынул его – из кармана, из бумажника, развернул – и сразу стал читать, ещё тёплое от ночной подписи, сразу – вслух, ждущему народу.

– В дни великой борьбы с внешним врагом... Господу Богу угодно ниспослать России новое тяжёлое испытание...

Его голос был и всегда слаб, а особенно для зала с несколькими тысячами людей. Но до такой степени молчали они и даже, кажется, не дышали, что слова неповреждённо вытягивались по размерам зала.

– ... почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему... И признали Мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя Верховную власть...

Второй год, от вступления в Прогрессивный блок и до вчерашних ночных переговоров, – значился и сидел Шульгин как будто в противостоянии царю. Но вот, добыв эти листочки, он как бы слился с царём, он произносил эти слова как собственные свои, весь исходя царскою болью:

– ... наследие Наше брату Нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского... Всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга... повиновением Царю в тяжёлую минуту всенародных испытаний...

Шульгин кончил, проглотнул, скорбно поднял глаза от листков – и увидел, что штыки как будто закачались, заклонились, заколыхались. И хорошо ему видимый молодой румяный солдат – плакал.

А там, глубже – и ещё кажется, по звуку.

А других звуков – не было в зале. Никто не крикнул ничего дерзкого или противоречащего.

Ни – одобрительного.

И от этого понимания между царём и народом – Шульгин продрогнул и заговорил легко от своего внутреннего, только не цельносвязно:

– Вы слышали последние слова императора Николая Второго? Он показал нам, всем

русским, как надо уметь забыть себя для России... Сумеет ли мы, разных званий и состояний, офицеры и солдаты, дворяне и крестьяне, богатые и бедные, – всё забыть для того, что у нас есть единое, – наша родина, Россия?... Неумолимый враг раздавит нас, если мы не будем все заодно. Всем – собраться вокруг нового Царя! Оказать ему повинение. Он поведёт нас!

И через силу голоса, ещё отрываясь, ещё отталкиваясь от потока своей же речи:

– Государю императору – Михаилу Второму! – провозглашаю – ура!!

И – «ура!» – громкое, горячее, никем не нарушенное – заполнило зал!

И в этот миг Шульгин ощутил, что монархия – спасена, всё было сделано верно! Извлекли одного несчастного монарха – но спасли монархию и Россию!

Без сил, с головой кружащейся, но счастливой, Шульгин шёл, нет, вели его куда-то по коридору, да неужели ещё на следующую речь?

Вели. И какой-то железнодорожный служащий твердил ему, что его требуют к телефону. Из Думы, Милюков.

И повели в комнату, где ожидала снятая трубка. Голос Милюкова был так хрипл и надорван, отличимо по телефону:

– Александр Иванович?... Нет? Василий Витальич? Вот что: ни в коем случае нигде не объявляйте, не показывайте Манифеста!

– Как?! А я уже объявил!

– Ко-му?

– Да всем здесь... Какому-то полку... вообще народу! И замечательно приняли. Кричали «ура» императору Михаилу!

– Ай, зря! Ай, зря! Этого ни в коем случае было нельзя! Вы не знаете, обстановка резко повернулась против монархии. Тут, у наших соседей, настроение сильно обострилось... Мы приняли по телеграфу текст, – этот текст совершенно их не удовлетворяет... От нас требуют, необходимо – упоминание Учредительного Собрания. Пожалуйста, не делайте с Манифестом никаких шагов, от этого могут быть большие несчастья...

Шульгин недоумевал: какое это всё имеет значение, если народ принимает на «ура» и со слезами?

– Жаль... Жаль... А принимают замечательно... Тогда я пойду предупрежу Гучкова, он тоже, очевидно, где-то объявляет...

– Идите остановите! А потом сразу приезжайте оба на Миллионную 12, в квартиру князя Путятина.

– Зачем?

– Там будет... продолжение. Мы все едем туда сейчас. Пожалуйста, поспешите.

Шульгин поспешил, но узнал, что Гучков – на митинге рабочих в железнодорожных мастерских, и там складывается не так благоприятно.

Тогда он забеспокоился о самом тексте на своей груди, замялся, не знал, как быть.

А уже его звали, тащили ещё к одному телефону. Это звонили – от знаменитого теперь Бубликова, инженер Ломоносов. И как раз в точку: если депутат хочет передать безопасно **акт** – к нему сейчас на вокзале подойдёт инженер Лебедев.

Вот так незнакомому – и отдать тайком?... Великий акт Отречения?...

367

Бубликов спал, и к телефону из Думы подошёл бодрствующий Ломоносов. А звонил сам Родзянко, несмотря на ранний час. Вопрос его был:

– Где Гучков?

Ломоносов такого касательства, кажется, не имел, но, действительно, знал, звонил ему свой инспектор с Варшавского вокзала:

– Уже полчаса как приехал.

– Так где же?

– А что, его нет? Не могу знать. Сейчас проверю.

– Проверьте, голубчик, мы очень волнуемся. Нам нужен подлинник акта, как бы у них там не отняли, время такое!

После неудавшегося ночью захвата Манифеста Ломоносов стремительно соображал выгоды:

– Понимаю... Хотите – спасём?... Начинаю операцию. Доложу по исполнению. А как с печатаньем? Мы готовы.

(Не совсем ещё готовы, даже не готовы, но через час служащие соберутся.)

– С печатаньем...? С печатаньем, – мнётся Родзянко, – задержка.

– Но мы готовы!

– Хорошо, будьте.

– Веду операцию!

Ломоносов становился, кажется, самый военный человек в Петрограде в эти дни. Почему задержка с печатаньем? Какое ещё колебание? Но некогда размышлять, надо захватывать подлинник Манифеста, это – сила!

А у телефонов дежурный – Лебедев, вызванный позавчера давний сослуживец по паровозным опытам. Боевой, наскокистый, таких Ломоносов любил подбирать.

Вот и боевая задача: быстро на Варшавский! Ищите там депутатов, скажите, что от Бубликова, имя уже известное, по поручению Родзянки, и пусть незаметно вам сунут Манифест. Вас никто не знает, вы – унесёте. И – сюда!

Сорвался Лебедев. А Ломоносов – сам дежурный по телефонам. Сна как не было, острый бой! Тигрино расхаживал, быстро соображая. В ночные да рассветные часы только и делается революция! Впрочем, уже светло, девятый час. Дума всё звонит, висит на душе: где Гучков? где акт? Какие они беспомощные, они бы всю революцию прохлопали без Бубликова и Ломоносова! Звонить на Варшавский, звонить на Варшавский. Один, другой, третий телефон – то не откликаются, то позвать не могут. Это говорят из министерства путей сообщения. По поручению комиссара Бубликова – немедленно найдите одного из двух депутатов, они у вас на вокзале, позовите к телефону. Это – срочно, это – именем революции, исполняйте немедленно!

Исполняют.

Что за дни и часы! – стоит для таких родиться. Бубликова не будя, расхаживая по кабинету, качками ног из пола выбирая, вытягивая новые замыслы. Величайший документ всей русской истории! – схватить! По неснятому телефону названивает Дума? – ах, надоели, операцию – ведём!

– Это кто?... Депутат Шульгин? Здравия желаю. Говорят от комиссара Бубликова, по поручению Родзянки. У вас там затруднения? Сейчас вас разыщет на вокзале наш инженер, его фамилия Лебедев, абсолютно верный. Вы – отдайте это ему, оно при вас? И у вас будут руки свободны... Не за что! Служим свободной России!

И снова расхаживать по комнате, в охотничьем азарте. То гонялись за царским поездом, то за Ивановым, то теперь за отречением, ну деньки!

Десятый час. Пробудился и Бубликов – весь помятый, лохматый, расстроенный. Но – одну искрою от Ломоносова, передалась ему задача, – и уже в движении и потирает горящими ладонями:

– А что же Лебедев не звонит? Да не попался ли и он там? А катайте-ка и вы, Юрий Владимирович, я у телефона – сам.

Что ж, и разумно. Руки – в чью-то путевую кожаную тужурку, на голову – путевую фуражку. Вниз по лестнице – и в дежурный автомобиль.

Однако мороз, за уши хватает! А солнце разгорается, погода для гуляний.

Да тут и ехать нечего: чуть по Фонтанке да мимо Измайловских рот. Как раз тут и начали свергать Петра III. Измайловский проспект весь увешан красным. А народу, а народу! и беспорядочных солдат, и гражданских, и все валят по мостовой! Тут пешком бы пройти быстреей.

Ближе к вокзалу – всё гуще. Автомобиль не стреляет, не догадался и положить солдат на крылья, не так легко пропускают. Еле-еле проманеврировали мостом через Обводный. И – к вокзалу.

И хорошо – увидел Лебедева в толпе. В своей щегольской шубе с поднятым воротником – идёт как важный барин. Не к месту оделся, могут попотрошить.

Крикнул ему, махнул, – Лебедев одной головой показал: дальше.

Задача теперь – ещё раз в этой массе развернуться. Ругается толпа, недовольна. Ломоносов бодро объясняет им путевские надобности.

И – опять через тот же мост (тут и кокнули Валуева).

Да кажется и Плеве тут шарахнули, хорошенькое местечко.

Подобрал Лебедева. Взлез на сиденье, обтягивая шубы полы. И – шёпотом:

– Вот. – Листики суя. – А Гучков арестован рабочими!

– Как? За что? – обомлел Ломоносов. Чего-чего, не ожидал!

Качка Революции, они все такие!

Как бы и нас не схватили по пути. Фонтанка. Министерство. Кабинет Бубликова.

– Выйдите, господа, на минутку. Сосновский, никого не пускать!

Остались вчетвером: Бубликов, ещё один комиссар Добровольский, Ломоносов и Лебедев.

Положили на стол, склонились, впились.

– Достукался Николашка! – припечатал Бубликов.

Читали жадно, молча.

И Бубликов же первый догадался:

– Какой же лукавый византиец! Почему не по форме, а депеша? При случае – кассационный повод?... А почему отрекается за наследника? Это по какому закону? Ага: на время беспорядков снять с сына одиум. А Михаил в морганатическом браке – кто же следующий наследник? Опять Алексей! Здорово!

368

В огромном депо с остеклённой железно-решётчатой крышей густилась большая чёрная толпа рабочих – но совсем не для работы, как и нигде её не было эти дни, и гораздо многочисленней, чем могло бы их здесь работать. Должен бы быть тут ремонтируемый паровоз – не было и паровоза, вывели. Осталась только высоко-взнесенная, узкая и с изломом площадка – очевидно для ремонта паровоза в его верхних частях, – и вот туда-то Гучкову пришлось вскарабкиваться. Лесенка была не со ступеньками, а с железными круглыми прутьями, неудобными для ботинок с галошами, да ещё больной ноге, а под руками – прутья, нечистые, мазутно-липкие. И вся просторная дорогая шуба Гучкова так стеснительна в лазании, и два раза попала себе же под ногу, наверно было смешно со стороны. И едва не разбилось пенсне, это была бы совсем катастрофа. Задержался, положил его в карман. А когда поднялся до конца – снова насадил на переносицу.

Очень тут было нешироко и боязновато свалиться, к счастью пригорожены перильца из железных прутьев. Но ещё неприятней от этой гудящей чёрной толпы внизу. Просто все разговаривали со всеми, но вместе это соединялось и возносил ось как угрожающий гул. И эта собранная толпа, этот её неуправляемый гул далеко внизу укрепляли ощущение прорвавшейся революции. Поздно взял отречение, поздно! Не предупредил. Та масса, которую всегда боялись разбудить, – вот, была разбужена.

С ним тут, на площадке, уже стояло несколько человек. Он не успел их рассмотреть и понять – кто, он даже лиц их не видел, потому что эти люди подступили вперёд к краю. Видел только плечи в простых пальто или рабочих куртках, два поднятых воротника, два опущенных, затылки в простой стрижке и фуражки, шапки сзади. Гучков естественно ожидал, что сейчас к нему повернутся, пригласят говорить, объявят, – но из четырёх никто не обернулся, даже тот, кто руку подал ему на последнем взлазе, – а один стал говорить:

– И кто ж у них в этом новом правительстве, товарищи? Теперь, когда всё яростней бьются волны народного гнева в стены дворцов, – вы думаете, пригласили кого-нибудь из трудового народа?

И Гучков понял, что все они здесь собрались не его слушать, что уже раньше начался их митинг, а только замолкали и смотрели на него, когда он шёл через депо и поднимался.

– ... Князь Львов! Небось – по десяти губерниям поместья его раскиданы. Кня-азь! Да другой же Львов, тоже небось кня-азь, как бы тому не браток двоюродный. Да текстильный фабрикант Коновалов! половина текстильной промышленности у него в кармане, а теперь и всей промышленности будет министр!

Лица не видел Гучков, а выговор был – не истого рабочего, но интеллигента, который подделывается. Однако внизу гудели возбуждённо, возмущались.

– А министром финансов – господин Терещенко! А кто такой Терещенко, кто знает? А на Украине все его знают, это – сахарозаводчик известнейший, у него сахарных заводов двадцать! да тысячи десятин земли! Да собственных миллионов сколько-то! А теперь и народные деньги ему отданы, две кучи будет перемешивать.

Угрозно гудело народное море снизу. Ах, как неудачно всё началось, перебили – и откуда теперь вести? Это глухое, непробиваемое, последнее! – разве на это возразишь в митинговой речи?

– Ихняя Дума – реакционная! антинародная! буржуазная! Все они в Думе – капиталисты и помещики! И таких же в головку выбрали, на новый народный обман! Вот и *господин* Гучков к нам пришёл!

От этого восклицания, как от прямого удара, даже обвалилось внутри, в живот. Оратор на миг обернулся – мелькнула несомненная агитаторская социал-демократическая физиономия.

– Да он вам объявит сейчас, что он с рабочим классом сотрудничал, что он ваш друг. Он объявит вам сейчас, что Рабочую группу при Военно-промышленном комитете сохранял и вёл. Верно! Соглашателей – это он собрал! Как нас лучше проворачивать на кровавое мясо! Как нас пускать в эту трубу бесконечную, из которой возврата нету нашему брату! Дума и хочет вести войну без конца!

А у Гучкова как раз мелькала мысль – как-то начать с Рабочей группы, использовать эту связь, и вот обрубили перед самым лицом. И с этим обрывом от внезапного удара, в живот, и в полушаге от обрыва, где свалишься – живым не встанешь, Гучков почувствовал, что теряется: вот сейчас ему дадут слово, а он не знает, что говорить. Да, он знал Рабочую группу, в общем вежливую и ручную, но никогда не знал вот этой рабочей массы, только теоретически. Ни одного лица не разглядеть, ни отдельного голоса выделить, – масса! И уже бросила ей расчётливая рука на расхват – князя! – помещики! – капиталисты! – миллионщики!... Как через это перелезть?

Этой ночью в шёлковый зелёный салон он уверенно-тяжело вступил представителем народа. И вот в мазутном депо он неловко взобрался наверх – представителем ненавидимых бар. А народ – глубоко внизу.

Он не терялся в Трансваале под снарядами англичан, в Манчжурии под пулями хунхузов, он добровольно оставался с ранеными в окружении под Лодзью, а здесь вот – испугался! Физически зинула перед грудью его эта пропасть – подкинутого вверх непонятого барина и разъярённой, понимать не желающей толпы.

И – как обратиться к ним? «Господа»? – это сразу под насмешку, всё потерять с первого слова. «Товарищи»? – подольщаться невозможно.

– И о чём они там сговорились с царём – вот сейчас он нам пусть расскажет!

Как бритвой всё перерезано. О войне, о народном подвиге – перерезано. О псковском совещании – перерезано. А уже – говорить, на него оглянулись, его даже чуть подтягивают или подталкивают к страшному переду – тут и столкнут шутя, – а как же обращаться:

– Сограждане! – тоже плохо, но уже сказал. И самому слышно, что это – дуто, из римской истории, не дошло, а надо дальше. И принудительно дальше, может голос не тот, и

не те слова, но что-нибудь же и значит тренировка десятков-десятков произнесенных речей: пробитые дорожки основных мыслей, и каждое слово привычно стягивает к себе десяток верных.

Лютый враг, наш общий враг, стоит на нашей русской земле и хочет поработить нас всех – и крестьян и помещиков, и рабочих и фабрикантов. Да, я работал с вашими лучшими активистами, они помогали нашей обороне – и это во всех странах так. Потому что они – русские люди, и так должно быть. Но война не могла быть выиграна, пока во главе стояло гнилое правительство и пока вокруг царя сновали тёмные люди. И вот мы заставили царя освободить место народному правительству! и он согласился уступить трон! – чтоб уже ничто не мешало нашей русской победе!

Текста – нет, да и не обстановка его читать, но повторяя его главные патриотические аргументы... И тогда, громче самого себя:

– Этой ночью во Пскове император Николай Второй отрёкся от российского престола! И передал его своему брату, ныне императору Михаилу Второму!

– Второго на шею? – закричал кто-то резко. – До-лой!

Ещё в несколько голосов, но очень настойчивых, все из одного места:

– До-лой!

– Не хотим!

– Никто вам не поручал!

– Помещики!

И прежний оратор, рядом, надрываясь:

– Сговорились за нашей спиной! Князья!

И несколькими этими криками вдруг продёрнуло чёрную поверхность толпы, и она загудела враждебно, как нахмурилась к буре.

И понял Гучков, что всё проиграно, ничего не вернуть, не удержать. Замолчал.

Такого поражения он не испытывал за всю свою ораторскую жизнь.

– А задержать его самого, голубчика!

– А пощупать!

И социал-демократ уже брал его за плечи, арестовывая.

А ещё проще было его отсюда столкнуть.

Но с другого места, не оттуда, где эти кричали группой, раздался сочный, сильный отпускающий голос:

– Поволь ему, поволь! Он к нам гостем пришёл, что ж мы – не люди?

И опять по толпе прошла волна, но уже облегчённого, дружелюбного говора.

369

(газетное)

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО Состав...

Национальное правительство наконец создано героическими усилиями всего народа! Радостная весть как умиротворяющий благовест, как «Ныне отпускаеши»... Окончена безумная скачка министерских смен...

ОБНОВЛЕНИЕ РОССИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНОВНИКОВ В ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК И ВСЕ ЧАСТНЫЕ БАНКИ будут открыты сегодня для производства всех операций в течение двух часов.

ПРИКАЗ

ВРЕМЕННОГО

КОМИТЕТА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДУМЫ...Главнокомандующим войсками Петрограда... командира 25 корпуса генерал-лейтенанта **Корнилова**, несравненная доблесть и героизм которого на полях сражений известны всей армии и России...

4 марта – парад войскам, который примет Временное правительство.
Председатель... Родзянко

ЗАЯВЛЕНИЕ КЕРЕНСКОГО И ЧХЕИДЗЕ. Министр юстиции Керенский и председатель Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Чхеидзе уполномочили нас сообщить, что всякого рода приказы, в которых солдаты призываются не повиноваться офицерам и не исполнять распоряжений нового Временного правительства, являются злостной провокацией.

РЕЧЬ Н.С. ЧХЕИДЗЕ. Депутат Чхеидзе, восторженно приветствуемый толпой, произносит слово о сияющем величии подвига революционного солдата, которому жмёт руку революционный герой рабочий. Чхеидзе рассказывает о последних усилиях провокации охраны, выпустившей гнусную прокламацию об убийстве солдатами офицеров...

**РАЗГРОМ МОСКОВСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
РАЗГРОМ СЫСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ...**

ПРИКАЗ ПО ГОР. ПЕТРОГРАДУ № 3

Все томившиеся в тюрьмах за свои политические убеждения узники – освобождены. К сожалению вместе с ними получили свободу и уголовные преступники. Эти убийцы, воры и грабители, переодевшись в форму нижних чинов, нагло врываются в частные квартиры, грабят, насилуют, наводят ужас. Приказываю всех таких лиц немедленно задерживать и поступать с ними круто, вплоть до расстрела...

М. Караулов

... Победу народа постараются вырвать из рук тайные друзья сверженного самодержавия... Предварительные аресты, в порядке целесообразности, как покусителей на новый строй...

ПРИКАЗ № 2 МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ... Быстро устранить печальные недоразумения, возникающие в городе между солдатами, населением и рабочими. Образовать временные суды для разрешения этих недоразумений. Суд состоит из мирового судьи, представителя армии и представителя рабочих.

РЕЧЬ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ К СОЛДАТАМ И ГРАЖДАНАМ...

Приветствие социалистов-революционеров А.Ф. Керенскому ... в вашем лице, Александр Фёдорович... стойкого неустанного борца за народовластие, вождя революционного народа...

ГЕНЕРАЛ БРУСИЛОВ ПРИЗНАЛ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

... Теперь не время для партийной борьбы...

Ликвидирована квартира Союза русского народа в Лиховом переулке в Москве. Конфискованы знамёна, прокламации, значки.

ВОЗЗВАНИЕ. ГРАЖДАНЕ! СВЕРШИЛОСЬ ВЕЛИКОЕ ДЕЛО: СТАРАЯ ВЛАСТЬ, ГУБИВШАЯ РОССИЮ... СПЕШИТЬ ЗАГОТОВЛЯТЬ... ПУСТЬ СОВЕСТЬ КАЖДОГО

ПОДСКАЖЕТ КАЖДОМУ... СКОРЕЙ ПРОДАВАЙТЕ ХЛЕБ!...

Родзянко

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. Неоднократные попытки старого правительства получить хлеб не имели успеха вследствие недоверия населения к старой власти... Теперь население пойдёт навстречу новой власти... Немедленно приступить к реквизиции хлеба у собственников... Продовольственная Комиссия, обращаясь к чести и достоинству каждого гражданина, просит ограничить себя в потреблении продуктов...

... Седой старик взял "Революционный бюллетень", перекрестился и сказал: «В икону положу».

ПРИКАЗ № 1 МИНИСТРА ЮСТИЦИИ : Поручается академику Нестору Котляревскому вывезти из департамента полиции все бумаги, какие он найдёт нужным.

По слухам по дороге в Петропавловскую крепость скончался бывший председатель совета министров **Штюмер** .

ПО КОМИССАРИАТУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ . Комиссар Государственной Думы Бубликов дал телеграфные указания по линиям... Благодаря этим указаниям удаление членов жандармской полиции не создаст никаких затруднений... Комиссар Бубликов получил со всех концов депеши, приветствующие... Всеобщая готовность удвоить усилия по ремонту подвижного состава.

...Генерал Иванов проявил большую растерянность и внёс некоторый хаос в железнодорожную жизнь.

НЕЛЕПЫЕ СЛУХИ. Последние дни циркулируют неизвестно кем пущенные слухи явно провокационного характера о крупных неудачах, постигших нашу армию на риги-двинском фронте. Все эти слухи лишены всякого основания.

ЧЬЯ РАБОТА? Сегодня упорно распространяют слухи о революции в Берлине, об убийстве Вильгельма и т.д. Слухи эти явно злонамеренны. В Германии всё совершенно спокойно. Наши враги, пользуясь временным замешательством в России, удваивают свои усилия в борьбе с нами.

ВОЗЗВАНИЕ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ... Граждане, доверьтесь этой власти все до единого, дайте новому правительству совершить великое дело освобождения России... Да воспрянет... да укрепится... да возгорится... Заря свободы загорелась... Проявить величайшее самообладание... Пусть каждый несёт жертву... Пусть каждый земледелец везёт хлеб... Пусть торговец откроет свои амбары... Пусть, рабочий класс с удвоенной энергией... Пусть в общем порыве забудутся старые обиды!...

К РЕЧИ П.Н. МИЛЮКОВА. В ответ на запрос представителей некоторых организаций П. Н. Милюков указал, что его слова о временном регентстве великого князя Михаила Александровича и о наследовании Алексея являются его личным мнением.

ГОЛОС ЧИНОВНИКОВ ВЕДОМСТВ. В настоящие исторические дни мы, служащие министерства... проникнутые глубоким сознанием важности... радостно приветствуем и выражаем... во имя свободного развития Отечества...

... В коридоре московской думы встретились освобождённые арестанты, некоторые ещё в тюремных халатах, и недоумевающие арестованные городовые...

... Заключённым в Государственной Думе полицейским офицерам разрешили получить из дому постельные принадлежности. Они открыто заявили, что такого внимательного отношения к себе не ожидали.

Служащие и прислуга **Зимнего дворца** командировали депутацию к министру юстиции Керенскому... выразить чувство солидарности с освобождённым народом...

Студенты **электротехнического института**, собравшись на сходку... Не будем разъединяться, когда враг, голод и старый режим стоят у ворот. Отвергаем все попытки партийных фанатиков и явных провокаторов... Рассыпемся по городу для борьбы с растущей провокацией...

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ГОРОДСКОЙ МИЛИЦИИ. Предлагается гражданам немедленно сдавать оружие в канцелярию...

Москва. Арестованы все жандармские чины всех московских железных дорог. На Александровской ж-д конторщик арестовал всех лиц, заведующих службой движения.

В доме арестованного Мрозовского, на углу Пречистенки и Всеволожского – часовые у всех дверей, никого не выпускают. Телефоны выключены и свалены на подоконнике, на диване – брошенное генеральское пальто, дамское манто, походный саквояж.

На Хитровом рынке. ... Узнав, где водка, хитровцы связали переодетых полицейских, привили их в Думу и заявили: «Вот наш дар новому правительству. Даже мы, хитровцы, понимаем высокаторжественный момент великой революции. Может быть, если б это случилось 20 лет назад, среди избранников народа были бы и мы». Хитрованцев приглашали зайти в Думу, но они отказались: «Пойдём охранять наши углы, как бы без нас не сбили слабых на алкоголь.»

Убит тверской губернатор Бюнтинг, оказавший сопротивление революционному движению... Был ярый реакционер.

АРЕСТ РЕННЕНКАМПФА, усмирителя революционного движения 1905 года...

Елабуга. После кошмарного управления старого правительства вызван общий вздох облегчения.

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ... в довольно большом количестве... От общественных организаций, земств... от гарнизона Царицына... от духовенства... от завода взрывчатых веществ... от совета присяжных поверенных...

АРЕСТ гр. КОКОВЦОВА. Сегодня утром бывший председатель совета министров граф Коковцов появился в одном из петроградских банков и предъявил чек на довольно крупную сумму денег... Задержанный протестовал против ареста, указывая, что ему выдан свободный пропуск по городу и квартира его освобождена от обысков. Несмотря на протесты, граф Коковцов под конвоем был доставлен в здание городской думы. Комиссар не счёл возможным выпустить графа и обратился за указаниями в Государственную Думу.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК. Отдан приказ о сохранении остатков политической тюрьмы, где содержались... Тюрьмы сохраняются как историческая ценность.

Действия англичан в Месопотамии...

ДАР ИНДИИ – 100 миллионов фунтов стерлингов на войну.

СВИДЕТЕЛЬСТВО. Среди населения Петрограда циркулирует слух, будто со Спасо-Преображенского собора были сняты пулемёты... Благодаря этому собор неоднократно подвергался обстрелу. По долгу священства свидетельствую, что никаких пулемётов на соборе никогда не было, это подтверждают и неоднократные обыски студентами и солдатами. Граждане, слухи могут повести вас по ложному для отечества пути. Духовенство далеко от мысли идти вразрез нынешнему народному движению. Да здравствует обновлённая Россия и да расточатся все внутренние и внешние враги её.

Протоиерей Адриановский

370

Кутепов не достал спального места и сидел в купе.

А соседи, переполненные петроградскими событиями, везли их с собою в Москву, – и по этому переполнению и по тесноте в вагоне не спя, весь вечер и всю ночь оживлённо разговаривали. И публика сидела из класса состоятельного, но, заметил Кутепов, никто не проявил сочувствия к положению Государя, опасались только, чтобы революция не перешла в разбойничество. Государь уже для всех казался обречённым, а обсуждали преимущество перед ним великого князя Михаила Александровича, и какой будет счастливый выход, если трон перейдёт к нему: разрушительная революция сразу будет и остановлена. А один господин оказался сторонник республики – и возник долгий спор о преимуществах республики и монархии. А старая дама, в трауре возражала: ведь при республике евреи могут стать чиновниками или офицерами? этого представить себе нельзя. А другая ахала, что тогда не будет Пажеского корпуса, и значит, сын её, паж, не закончит? Как же быть пажам?

Кутепову были тошны все они и все их разговоры, и он притворился сидя спящим.

А заснуть не мог всю ночь.

Он убедился, что ничего не мог сделать в Петрограде, – и только скорей хотелось ему перенестись к себе в полк.

Поезда тянулись, стояли, шли с большим опозданием.

Только на рассвете пришли в Тверь.

Кутепов вышел на пустую платформу и прогуливался, скрипя снежком.

Вдруг к нему быстро пошли двое.

Оба были – солдаты, а в руках у них – обнажённые револьверы.

Они всё поспешней подходили, и ближе один крикнул:

– Руки вверх!

Никак нельзя было этого ожидать, он прогуливался в мирно-дрёмном состоянии, Но залегала в нём фронтальная закалённость нервов, всегда готовая к падению снаряда, взрыву, физическая невозможность испугаться никакой неожиданности. Он только выпрямился. Рук, конечно, не поднял. И, как понимал событие, ответил спокойно и чуть с насмешкой:

– В чём дело? Вы, может, думаете, у меня есть оружие? Да уже столько было обысков, уже ни у одного офицера не осталось.

(Его собственный револьвер, к счастью, был не на поясе, а лежал в саквояже, просто не успел достать и надеть.)

Но солдат сказал:

– Здесь в поезде говорят, что вы расстреливали народ в Петрограде.

Револьверы были нацелены, увернуться – некуда. Но – «говорят», значит, не сами они с Литейного, а кто-то другой узнал.

Неторопливым спокойным баском ответил Кутепов:

– Не всякому слуху верить.

Тут резко ударили в станционный звонок – Кутепову по мнилось, что не было второго, а ударили сразу три! – капризы революции.

И паровоз загудел в ответ.

Если б они на Литейном сами его видели, то достаточно было полсекунды – тут же его прорешетить.

Но они заколебались, а их вагон далеко, выяснять некогда – и кинулись опрометью, опустив револьверы.

Уже передался по составу удар – и трогались.

Но вагон Кутепова оказался рядом, и тамбур пустой, даже без кондуктора.

Кутепов быстро вскочил, поспешно прошёл по коридору. Чего у него быть не могло – это сколько-нибудь разложенных вещей: фронтальная собранность, всё на себе, а саквояж застёгнут.

Переполашивая соседей, он схватил его и выскочил.

Уже гонко пошёл поезд – но ещё вполне успел соскочить на ходу, и даже ещё на перрон.

И даже не поскользнулся.

Поезд ушёл.

И на этом перроне, который едва не стал концом его жизни, – нет, конец ещё не виделся, не знался, никому не дано его провидеть! – Кутепов ещё погулял для успокоения (сейчас оказалось, что он вовсе не был спокоен), пошёл к начальнику станции, отметил на билете остановку.

Пошёл в ресторан, неторопливо позавтракал. (А в голове – прокручивается Литейный проспект, и всё петроградское.)

Пошёл в кассу, узнал, что ожидается скорый Петроград-Воронеж.

И компостировал билет на него.

А из Воронежа можно будет пересечь на Киев, и на фронт.

И – ещё посмотрим!

И – ещё гулял по тому же перрону.

ДОКУМЕНТЫ – 13

ОБРАЩЕНИЕ К СОЛДАТАМ

выборного командира Преображенского запасного батальона

3 марта 1917

Вчера на общем собрании выборных солдаты постановили избрать: командиром батальона – подпоручика Заринга, батальонным адъютантом – поручика Макшеева...

Поименованные офицеры уверены, что им солдатами будет оказано полное доверие, а сами обещают с ними работать дружно и заодно.

Желание офицеров и солдат едино -...начать новую светлую жизнь нашей любимой, ныне свободной России. Первым делом надо с честью и славою окончить войну... Но чтобы новое правительство могло плодотворно работать, нужен порядок в войсках... Нужно прежде всего восстановить его внутри батальона. С другой же стороны, вне исполнения служебных обязанностей, офицерам предлагаю помнить, что солдаты с ними равны...

Куда офицеры уже выбраны...

...

Предлагаю батальонному комитету обсудить, согласны ли призвать следующих офицеров:

– капитана Скрипицына

– подпоруч. Рауш-фон-Траубемберга

– прапорщика Гольтгоера

...

Предлагаю распустить по своим квартирам без привлечения к работе в батальоне:

– подпоручика Нелидова
– подпоручика Розена
– подпоручика Ильяшевича...

...

Предлагаю арестовать впредь до выяснения:

– полковника кн. Аргутинского-Долгорукова
– капитана Приклонского

...

Командир Преображенского батальона
подпоручик Заринг

371

На киевский перрон Воротынцев выходил, уже зная, что поезд его на Винницу будет лишь после обеда. Но – скорей узнать новости! спросить свежие газеты, ещё раньше чем билет отмечать.

И мимо рослых железнодорожных жандармов (в Москве они уже исчезли!, но и по пути были на местах, и тут) поспешил к газетному киоску. Свежих газет была кипа, расхватывали их жадно, – из разговоров понял, что до сегодняшней ночи Киев не знал ничего достоверного, все телеграммы о событиях задерживались. Но вчера вечером представители киевской печати были приглашены к командующему Военным округом, и тот объявил, что генерал Брусилов разрешил публиковать все телеграммы о перевороте. И теперь, состязаясь заголовками и шрифтами, газеты публиковали десятки, грозди новостей., петроградских и московских.

И прямо на ходу, как никогда не делал, как презирал, Воротынцев разворачивал одну и другую, и читал у окошка кассового, и дочитывал на случайном диване.

Кронштадт перешёл на сторону революции... Временное правительство... Половина имён – неизвестные, но вот Гучков, и Шингарёв. Ничего. Это неплохо. Но где же Государь? В каком соотношении он с этим самовозникшим правительством?... Союзные державы признали Временное правительство... Оч-чень поспешили... Приветствия, приказы... Но где же Государь? А, вот: царский поезд прибыл во Псков...

И всё. Никаких пояснений больше.

Но это – уже ничего. Верховный Главнокомандующий – в штабе Северного фронта, значит – при войсках.

Но слишком странная была неясность между ним и самовольным правительством. Надо же или разгонять или признавать? А если правительство с ним уже не считается – то что Государь?

И – киевское. Так выходило, что сегодня и наступил первый день киевской разрешённой революции, Воротынцев как вёз революцию за собой. Исполнительный комитет общественных организаций – и во главе его доктор, теперь пироги пойдут печь сапожники, может – и армиями будут командовать? И услужливый Брусилов, – Главколисом звали его знающие армейцы, – уже успел прислать этому доктору телеграмму с *горячей просьбой* поддержать в Киеве порядок. Уверял Брусилов, что *вся Действующая армия признала новое правительство* !? Что за идиотство, откуда он может это знать, что Армия – признала? **Когда** она могла признать, если здесь и телеграмм ни о чём ещё не было?... И: мы с вами составляем единый русский народ, Киев – наша главная база, и чтоб успешно защитить вас нашей грудью, нам нужна ваша помощь, зачем и убедительно просил Брусилов доктора смотреть на военные власти не как на врагов.

Далеко же зашло.

А что – Румынский фронт, а Сахаров? Ни слова нигде. Как и о других генералах. Козырял один Брусилов.

И что же будет теперь с фронтом? Куда это всё качнётся? Головоломно непонятно.

А вот, в согласии с военными властями, в Киеве уже были упразднены с сегодняшнего утра губернское жандармское управление и охранное, дела и архивы их переданы, конечно, совету присяжных поверенных, а офицерам гарнизона разрешено создавать городскую милицию и войти в Исполнительный комитет.

С газетами на коленях Воротынцев сидел обескураженный.

Ясно одно: скорей к себе в Девятую! Где Воротынцев сейчас мог и придумать бы находиться лучше, чем в штабе Девятой? – у генерала Лечицкого. Вот сейчас, когда так зашаталось, если кто и будет действовать разумно, правильно – то он.

Лечицкий из самых победных генералов русской армии, единственный, кто умел: побеждать и в японскую, умел наступать и в жуткое лето Пятнадцатого: за время отхода, частым]» контратаками, взял больше пленных и трофеев, чем потерял из строя, а в конце отступления наша единственная армия только и осталась на неприятельской земле. И в наступление Шестнадцатого наша Девятая взяла больше территории и пленных, чем какая из четырёх наступавших. Только Лечицкий никогда не делал себе рекламы, как Брусилов, и о нём не кричали газеты. А теперь загноили в Румынии.

Но он и кроме того: самый вдумчивый и самостоятельный генерал. Если кто сейчас разберётся и решится – то он.

Быть с ним рядом!

372

Ну и окунулся Саша в революцию! Дома не бывал, дня от ночи не знал, спал в комиссариате, и то всё время будили, ни одного дела не делал подряд, а всё отзывали, отвлекали, отсылали на другое, не умывался, ел когда попало, – только по молодости и энтузиазму можно вынести всё это с удовольствием.

То была ревность: какие-то другие два прапорщика, Пертик и Волошко, действовали на Петербургской стороне со своими отрядами, но независимо от комиссариата, – и даже друг от друга независимо, хотя оба были от одной и той же Военной комиссии и с удостоверениями от неё: водворять порядок, организовывать охрану учреждений и заводов по своему усмотрению. Да как же можно на одной Петербургской стороне трём силам – и действовать каждой по своему усмотрению?! Саша жаловался Пешехонову и ходил разыскивал этих прапорщиков, и ругался с ними, – они выставляли свои полномочия, были непреклонны, а потом чуть не в один час куда-то исчезли – оба, и с отрядами.

Но уменьшилась охрана – со всех сторон стали просить охраны. Своего отряда Саше уже никогда не хватало, и он стал примыкать к ним новоявленных милиционеров с белыми повязками – студентов, привычная своя весёлая публика, и странно было, что Саша вознёсся теперь над ними как некий высокий начальник.

Но и правда: он чувствовал, что у него и осанка появилась, и голос, и взгляд военные, всё за эти дни революции только, – охотно его слушались те же и студенты, и рабочие.

Затем же надо было патрулировать, а в подозрительных домах и квартирах производить обыски. Но быстро выяснилось, что с ними на Петербургской стороне опять соревнуются какие-то другие патрули, сплошь из солдат, и то и дело прибегали жители в комиссариат жаловаться, что их ограбили. Простяцкий Пешехонов был уверен, что это – грабители переоделись в солдатскую форму, но столько солдатской формы нигде не валяется, и Саша, ближе с делом соприкасаясь, уверился, что это – настоящие солдаты, так и приходят гурьбами из казарм, грабят и уходят. Охоту за ними пришлось производить и по ночам, а чтобы выдержать вооружённый отпор – пришлось ездить и на броневике, кто-то пригнал им и броневичок, точно такой, с каким Саша ездил брать Мариинский дворец. По донесениям жителей нашупали, в какую квартиру одна шайка сносила добычу, – нагрянули ночью туда, захватили двух дневальных, с десятков винтовок, револьверов, больше шестидесяти кошельков и бумажников, все уже от денег очищенные, и много часов – ручных, карманных, будильников, бронзовых статуэток, отрезков материи, серебряных ложек.

Всё это удавалось, и весело, – но на всё не хватало Саши Ленартовича, и за этими, в общем плосковатыми, занятиями он пропустил интереснейшее дело, тоже проходившее через их комиссариат, но кому-то другому доставшееся: сбор сохранившихся документов разгромленной и полусожжённой Охранки! Вот это было – масштабное революционное дело, как и взятие Мариинского, – а Саша оно миновало, очень досадно!

А Саше доставалось менять караулы у комиссариата и следить, чтобы туда не лезли без пропуска, – высоко революционное занятие! Но и тут: когда пришла толпа вламываться и требовать оружия – Саша опять оказался в отлучке, на ловле этих шаек.

А тут – по всему Петрограду разнёсся слух, что ночами стал носиться по городу какой-то *чёрный автомобиль*, не даёт себя остановить и бешено стреляет во все стороны, наводя ужас. И Саша загорелся – остановить этот чёрный автомобиль! – если он по всему городу гоняет, то не может он Каменноостровского проспекта миновать, попадётся!

И на своём пятерном перекрестке устроили сложную засаду – и всю ночь дежурили и останавливали все до одной машины, но Чёрного Автомобиля не было.

Вдруг в одном задержанном автомобиле рядом с шофёром в луче фонарика оказался Мотыка Рысс, в беличьей шапке и клетчатом красном толстом кашне, обёрнутом тщательно.

– Куда это ты, в два часа ночи?

– Задание, – значительно-загадочно сказал Матвей.

Пропуск-то у них был, от Совета, но он не говорил о цели рейса. Потянуло завистью, что вот в каких-то таинственных делах участвует Матвей – а Саша топчется в дурацком патруле.

– Ну, встретились, давай хоть пять минут поговорим, – пригласил он Матвея в комиссариат.

Свернули автомобиль, вошли.

Они ещё мало и знали друг друга, познакомились только этой зимой, и был между ними тон – не уступить первенства. Матвей очень поважнел, несколько удивления не высказал командному положению Саши, да он и всегда был занят больше собой (от чего Саше обидновато было за Веронику). Крупные влажные губы его пожимались теперь даже с надменностью. О цели поездки не признался, а спросил:

– Листовку читал?

– Какую?

– Против офицерья. Моя.

– Так это – твоя?

И вспыхнул спор. Может быть, ещё неделю назад Саша прочёл бы эту листовку со злорадством, – чесать их, золотопогонников! Но за эти несколько дней...

– Да как же ты это понимаешь – революция разве может вести бои без офицерства? Не доверять даже тем, кто перешёл? – так это и мне не доверять? – повысил на него голос Саша.

А тот – остался невозмутим, но надулся.

Чуть не поссорились.

Так и не открыл, куда, зачем, – уехал. Очень хвалил своих межрайонщиков, говорил, что только они да большевики – деловые.

А Саша остался как заножённый, и останавливал ночные автомобили уже не так пристально, всё доспаривал с Матвеем. Эта встреча пояснила ему, что невозможно так: дальше мотаться по всякой чуши. Он должен прорваться к чему-то крупному. Здесь – он терял время.

И тут у него соединилось то, что обрывками плавало. Эти дни он так мотался, почти бессонно, что и единственных двух газет не прочитывал. Но всё же во вчерашней газете не пропустил обращение их же, Матвеева, Психоневрологического института, трёх социалистических фракций – российской, польской и еврейской: что **революция не доведена до конца**! Замечательно сказано! – это представилось Саше многозначительно, грозно! Не доведена до конца! – о, сколько ещё в ней случится, и ещё многие другие лица появятся, а эти, нынешние, – закатятся. Что до осуществления *истинно-демократических*

идеалов, предстоит ещё упорная борьба. Эти студенты правильно соображали! – ещё всё впереди, ещё и мы скажем своё молодое побеждающее слово!

А другое было обращение в "Известиях" – к **офицерам-социалистам** , – прийти на помощь рабочему классу в организации и военном обучении его сил. Днём Саше так спать хотелось – он это вялым взглядом прочёл, а сейчас, после стычки с Матвеем, вдруг ему и прояснилось: **офицер-социалист** ! – да ведь это он и есть! И их совсем не много таких, может десятков во всём Петрограде. И – что-то именно по этой линии надо! Именно, листовке Рысса наперекор, – честным революционным офицерам устраивать военную организацию масс, вот сашин путь!

Чёрного автомобиля так и не было, сняли засаду, пошли спать.

А сегодня утром уже трясли Сашу к делу: на Карповке громили продовольственный склад.

А склад был вот какой: его заведующий позавчера добровольно принёс Пешехонову все бухгалтерские книги и предложил принять все запасы. И Ленартович назначил туда караул. И вот теперь его часовых сбили – и толпа громила склад среди бела дня, и продовольствие развозили.

Вскочил Саша – и, не протерев слипшиеся глаза, стал скликать свои вооружённые силы, броневик, – и помчались туда.

Но опоздали: на складе мало что уже осталось. Однако, оказывается, по другим улицам на грузовике и на конных подводах, реквизированных наверно от соседних ломовых, – восторженная толпа везла это всё опять же в комиссариат, радуясь, что нашла и отбила для народа ещё скрытые запасы.

А что ушло по бокам – того уже не спрашивай.

И куда ж теперь это всё? Назад? Но там двери с петель ссадили. А в комиссариате – места нет.

А вот что – везти в пустующий "Спортинг-палас", там есть помещения, не занятые ораниенбаумским пулемётным полком.

А пулемётчики – не разнесут?...

373

* * *

В Ревеле с утра был объявлен манифест об отречении Николая II, но беспорядки ничуть не прекращались. Толпа собралась у городской тюрьмы и требовала выпуска узников, будто бы замурованных в каземате (легенда ходила годы). Впустили делегацию, та ничего не нашла. Всё равно стали громить тюрьму.

Комендант ревельской крепости вице-адмирал Герасимов, старый портартурец, ездил по городу от митинга к митингу, заверял, что Балтийский флот идёт вместе с народным правительством. Увещал очень мягко и близ тюрьмы. Ему ответили камнем в голову. Увезли запертво.

* * *

В Кронштадте в Морскую следственную тюрьму ещё приходили новые банды матросов, искать среди арестованных каких-то офицеров на расстрел. И другие матросы приходили – искать своих для освобождения.

* * *

В Петрограде с утра – слух, что царь отрёкся от престола, – хотя в газетах нет.

На улицах всё ещё нет трамваев, барских экипажей, барских автомобилей (реквизированы, ездят с военными). Редки извозчики. Толпа на Невском утратила элегантный петербургский вид. Множество гуляющих праздных солдат. По манере революционных дней – люди валят не только по тротуарам, но и по мостовым, когда не надо потесниться для манифестации.

Манифестации, из кого собралось, идут без ясной цели и маршрута, просто радуются. Несут красные флаги и плакаты как хоругви, то с рисунками страшной чёрной гидры контрреволюции.

С тротуаров смотрят на них, вплотную друг к другу, – дамы в меховых воротниках и бабы в вязаных платках, котелки и простые ушанки. На лицах – радость, любопытство, недоумение.

Офицеров на улицах – больше, чем накануне. Без шашек.

На перекрестках, где раньше были постовые городовые, теперь студенты-милиционеры с белыми повязками на рукавах пальто. Иногда проверяют пропуска автомобилей. Если те не останавливаются – им вслед стреляют в воздух.

Грузовиков с вооружёнными солдатами уже меньше гораздо.

Дорогие магазины многие закрыты. Но цветами и кондитерским торгуют.

* * *

Какие-то студенты обходили мелочные лавки и объявляли владельцам, что по распоряжению Исполнительного Комитета они должны продавать яйца не дороже 40 копеек десяток, масло – 80 копеек: фунт. Боясь новых порядков и властей, торговцы подчинялись. Но потом узнали, что Исполнительный Комитет Совета не давал такого распоряжения – и вернулись к прежней цене. Тогда возмутилась публика – и было близко к погрому лавок.

В хвостах: "Слобода-слобода, а нам всё равно топтаться."

* * *

Красной материи уже стало не хватать. Дворники, чтоб сделать обязательный теперь красный флаг, отрывали от старого русского флага голубые и белые полосы.

Курсистка подарила во дворе свою красную блузку – её тут же всю разодрали на эмблемы свободы.

* * *

На шее памятника Александру III – огромный завязанный красный галстук.

* * *

С кофейной Филиппова на Невском стали снимать императорские гербы. А с балкона соседнего дома – иллюминационные императорские вензеля с электрическими лампочками. Ударяли ломом по скрепам – и огромный вензель оборвался с перил – и всю тяжестью, с дробящимися лампочками, упал на тротуар.

Публика разбежалась – и снова стянулась любоваться.

* * *

На больших углах – толпишки, по 20, 50, 100 человек, а кто-нибудь на бочке, на тумбе, на плотном сугробе – и митинг. Ораторы – то студент, то штатский в потёртом пальто, то солдат с расстёгнутой шинелью, а под ней – замызганная гимнастёрка.

И уж конечно на площадях – на углу Садовой и Невского, у Казанского собора, на Сенатской, под самыми копытами Петрова коня.

– Ура, товарищи! Нет возврата проклятому самодержавию!

А вот вылез, доказывает, что теперь должны царствовать Алексей и Михаил. В ответ ему интеллигентные голоса:

– Да как вы можете?!... Какие Романовы??... Должна быть республика! Вы провокатор!

А на другом углу грозит оратор:

– Товарищи! Вы только что успели завоевать великую свободу, а у вас уже хотят её отнять под тем соусом, что надо охранять свободу!

Кричат из толпы:

– Врё-ошь! Никто не отымет! Пусть попробует!

* * *

Артист Александрийского театра на таком уличном митинге взялся объяснять, что такое ответственное министерство. Закричали на него:

– Провокатор! Арестовать! В Таврический дворец!

* * *

Красный особняк Фредерикса, два дня назад подождённый гневной толпой, удручает мёртвым видом. Огонь выел всю внутренность дома, в чёрных глазницах груды мусора, обгорелые колонны. Над воротами – сталактитами сосульки от замёрзших пожарных струй. Во дворе в мусоре копаются женщины, выискивают: вот помятая шумовка, вот ручка от телефона. В подвале сидит на корточках парень в смушковой шапке и отвинчивает кран от медного кипятильного куба.

С улицы глазают на обгорелый дом. Стоит в котиковой облезлой шапочке: "Сколько добра здесь погибло, Боже. Зачем же жечь?" – "А ты кто? Не переодетый фараон?" Окружили: "Обыскать его! Штыком его!" Тот затрясся, вынимает паспорт. "Врёшь! Шпион! Сколько получил?" Отпустили. Отошёл неуверенными шагами, но на свою беду побежал. И толпа, и случайные солдаты, заряжая на ходу винтовки, с гиком и свистом кинулись за ним. Настигли его на узком горбатом мостике над каналом, припёрли к решётке: "Барона возжалел? Бей буржуя! В воду его!"

* * *

Слухи по городу: убиты и Вильгельм, и кронпринц, а германская армия уже складывает оружие. Говорят: сегодня в Кронштадте новые волнения. Говорят: на Васильевском острове убили двух полковников.

* * *

Где-то в полицейском участке, в подвале, нашли конфискованную *литературу*. Схватили, повезли сдать в Государственную Думу, но там сказали: некуда брать. Тогда отвезли в гимназию Гуревича на Бассейной, где много собирается разных собраний. Там и раздавали.

Какой-то старый генерал маленького роста пристаёт на улицах к проходящим солдатам и убеждает их, что отдание чести необходимо, ибо оно есть символ единения всей военной семьи. А неотдание чести разрушает армию.

Солдаты ухмыляются, не спорят: всё-таки генерал, хоть и чудаковатый.

Военный шофёр развязно объясняет генералу:

– Честь отдаётся погону, а погон установил царь. Нет царя – не надо ни погона, ни чести.

Генерал:

– А деньги с портретом царя признаёшь?

– Так то деньги.

– Так и с честью: пока не выйдет новый закон.

* * *

Студент потребовал у полковника (начальника штаба 39 пехотной дивизии) шашку. Тот отказался отдать. Под конвоем трёх вооружённых солдат повели полковника в Таврический. Там вышел штатский, тоже потребовал шашку сдать. Полковник: "Не отдам! Возьмёте силой – не поеду на фронт."

После совещания с кем-то штатский принёс ему письменное разрешение носить шашку.

* * *

Мать Леночки Таубе пошла в Государственную Думу узнать: третий день не может дозвониться в Кронштадт, а оттуда пришла телеграмма, что муж её арестован, – за что? А может – убит?...

Но к кому ни обращалась – все торопились, говорили, что не их обязанность, не знают, из Кронштадта не поступало списка убитых и арестованных офицеров.

* * *

Пришла в Таврический колонна гимназистов приветствовать Временное правительство. Их впустили в Екатерининский зал. Тут солдаты несли на руках распаренного Чхеидзе, а он вытирал пот платком. С высоты солдатских рук упрекнул гимназистов, что они приветствуют Временное правительство, а не Совет рабочих депутатов, который следит за правительством, чтоб оно не присвоило себе слишком много власти. Гимназисты поаплодировали ему.

Тем временем в зале продолжался митинг. На лестницу взобралась молодая интеллигентная женщина, произнесла речь против аннексий и контрибуций. Ей аплодировали.

Затем на площадку поднялся кавказец и, потрясая в руке кинжалом, обещал выгнать немцев из России. Ему аплодировали бурно.

Ещё в Таврическом. Мужик в потёртой овчине, со встрёпанной бородёнкой, и баба с ним.

– Что вам, товарищ?

– Ды, вишь, бают, полицию снистожили... А нам к себе в село ворочаться – так игде паспорта править-то?...

374

Так ещё и вчера целый день было невозможно вырваться в Гатчину, и с квартиры княгини Путятиной никуда не уйти.

А к вечеру вчера пришла записка от Родзянки. Не порадовал, ещё обременил: не миновать Михаилу быть регентом! А самого Родзянку могут в любой момент повесить.

И замолчал, больше ни звука, ни строчки.

Бедный толстяк!... Ну и положеньице в городе...

Но надеялся Михаил, что всё обойдётся, все угрозы преувеличены. Такое было свойство его характера: не слишком долго мучиться, быстро успокаиваться. Обсудил положение с секретарём Джонсоном – и заснул.

А в шестом часу утра в их коридоре зазвонил телефон. Княгиня Путятина пришла звать секретаря, тот разбудил Михаила Александровича: звонил настойчиво депутат Керенский – говорят, великая сила теперь, и вот члены династии должны были подходить к телефону.

В трубке раздался крикливый возбуждённый голос. Он спрашивал: знает ли великий князь, что произошло вчера во Пскове? Нет, ничего не знаю, а что произошло? (С вечера Михаил знал, что Государь во Пскове. Что-то с ним?)

Ничего Керенский не объяснил, но спрашивал разрешения приехать сюда на квартиру нескольким членам Временного правительства и нескольким членам Временного Комитета Думы.

Михаил спросил у княгини. Разрешил, хорошо.

И только положив трубку, понял, что Керенский не назвал ясно часа. Да очевидно вскоре, раз с такою срочностью звонил ещё в темноте. Время неприлично раннее, но и события слишком необыкновенны.

Уже – спать не ляжешь. Стали ещё потемну переходить к дневному времени, переодеваться, кофе пить.

Однако и в 7 часов их не было.

Приготовили гостиную. Михаил надел мундир с генерал-лейтенантскими погонями, вензелями императора и аксельбантами генерал-адъютанта. И сел посреди большого дивана, готовый к приёму.

Однако они не ехали.

Что же могло там случиться, во Пскове? Становилось грозно похоже, что трон передаётся Алексею, как и пророчил Бьюкенен. И дядя Павел.

Но какая такая крайность могла заставить Ники?...

А Михаилу будут навязывать регентство. Ах, лишат всякой человеческой жизни! Регент?! Всё пропало...

И по-прежнему не было телефона с Гатчиной – как несчастливо они с Наташей разъединились, именно в эти дни! Она всегда в курсе, что там печатается, пишется, произносится... Михаил мог только по догадке достроить её отношение к регентству, зная, что она всегда была очень за Думу. Поэтому если Дума будет просить его принять – очевидно надо принять?

Но и в 8 часов никого не было. И не звонил, не объяснял никто. Приходилось ждать.

9 часов – и всё никого. Стало спать хотеться, ведь не доспал.

Выпили ещё раз кофе.

От долгого ожидания как-то уже и ослабла важность события – соглашаться, не соглашаться. Надоело ждать.

Ходил по большому ковру гостиной, расставив себе проход меж кресел. Изнывал.

Играла же судьба! То он был, волею своего родного брата, исключён со службы, лишён звания полковника, установлена над ним имущественная опека. То – командовал бригадой, дивизией, наконец инспектор всей кавалерии. А вот – ему предлагали и всю Россию? Он не привык к такому простору, он привык жить потесней.

Вот уж чего не было – никакой радости.

Да ещё ж начнётся вражда и зависть великих князей.

Лишь перед десятью часами начались входные звонки. Михаил был так прост, что хотел и встречать по одному и начинать разговаривать, но княгиня настояла, чтоб он ушёл к себе в комнату, лишь потом вышел бы к собравшимся. (Простор для всего был, квартира Путьяниных имела комнат до десяти, не считая людского крыла поперёк во двор.)

По приглашению Джонсона Михаил, одёрнув мундир, вышел к гостям, стесняясь, что таких видных людей заставил ждать себя как владетельную особу.

С тем большей предупредительностью он обходил собравшихся и пожимал руки. Часть фамилий он слышал в первый раз, а в лицо просто не знал никого, кроме Родзянки. Очень милый представился князь Львов. А Милюков – с широкой крепкой шеей, и как-то особенно пожал руку Михаилу, задержал, твёрдо глядя через очки. А Керенский оказался похож на вёрткого пересидевшего юношу. И есаул, рубака-казак, неизвестно как среди думцев.

Великий князь пригласил всех садиться. Для него было поставлено вольтеровское кресло как бы в середине полуокружности, а в два крыла, на диванах и в креслах, вся мебель тут была французская, расселись приехавшие. Рядом с великим князем сел Родзянко, в такое же могучее кресло, и глава нового правительства князь Львов.

Через кружевные гардины на трёх высоких окнах радостно, по-весеннему лилось солнце.

Тут Родзянко и объявил великому князю, что дело зашло гораздо глубже, чем ждали: не регентом он назначен, но ему передаётся престол как императору!

Михаил чуть не подскочил в кресле. Что это? Не только Ники отрётся?! – но и...? И он же отлично знает, до чего Михаил отвращён от государственных дел!

А Родзянко предлагал – обсудить, что делать.

Михаил опешил. К такой новости – ему и приготовиться не дали. И тут сразу, на виду у всех, обсуждать? Все эти достойные, образованные известные люди пришли к нему – обсуждать? А он – даже ещё и подумать не смел о размерах своего нового положения.

Он смущённо просил их объяснить, что же? Высказать.

Первый по важности, по видности, по громкости и стал говорить Родзянко. Михаил слушал его с почтением и с доверием.

Родзянко начал с того, что решение будет зависеть от великого князя, он может дать совершенно свободный ответ, давления на него не будет, – но ответ надо дать теперь же.

Председатель Думы говорил хоть и хрипловато, но оттого не со сниженным значением. Он – не мнение своё высказывал, но указывал то одно несомненное, как надо быть. Он объяснял, что самая передача престола в руки великого князя незаконна: по закону царствующий император может отказаться лишь за себя, но не в чью-либо пользу, а передача может происходить только по престолонаследию, то есть в данном случае лишь Алексею. В акте отречения и не сказано, что сын отказывается от престола. Таким образом, вся передача трона Михаилу Александровичу – мнимая и только может вызвать жестокие юридические споры.

Так и великий князь так понимал. Зачем же брат издумал такое? с чего это он?

А эта сомнительность дала бы юридическую опору тем лицам, которые бы захотели свалить и всю монархию в России. И при такой шаткой основе и при возрастающем революционном настроении масс и их руководителей, в такое смутное тревожное время принимать трон было бы со стороны великого князя безумием.

Да, и Михаил так думал.

Он процарствовал бы всего лишь, может быть, несколько часов, объяснял Родзянко, – и в столице началось бы огромное кровопролитие, а затем разразилась бы гражданская война. А верных войск в распоряжении великого князя нет, и сам он будет убит, и все сторонники его. А уехать из Петрограда невозможно, не выпустят ни одного автомобиля, ни одного поезда.

Впрочем, Родзянко ж его и зазвал в Петроград, из Гатчины бы свободно можно было уехать.

Да кто посмеет и какое право имеет возбудить гражданскую войну, когда идёт война с лютым внешним врагом? Напротив, в этот ужасный момент все мы должны стремиться не к возбуждению страстей, а к умиротворению их. Привести в успокоение взволнованное море народной жизни.

Родзянко говорил авторитетно, долго, перелагая то же новыми словами и возвращаясь, но даже если б и меньше гораздо – Михаил был убеждён уже с первых слов и не ставил Родзянке в упрёк, что тот повернулся со вчерашнего дня, что сам же он ещё вчера уговаривал Михаила брать на себя всю ответственность, а сейчас – наоборот, не брать. Не надо брать трона – и слава Богу! Ещё не успев освоиться с этой страшной мыслью, Михаил с тем большей радостью узнавал, что она – придумана и ложна. Да о чём говорить! Да разве выдержит голова всю эту государственную перепутаницу! Прочь, прочь, не надо! – в строй!

Возникло движение. Принесли из передней, какой-то человек откуда-то привёз, – рукописную копию государева Манифеста, заверенную комиссаром путей сообщения. Дали великому князю посмотреть самому. Совсем чей-то чужой почерк, но разборчивый, а слова – Николая, и мерещится: зачем же он писал чужим почерком.

Михаил стал читать. Уже известно, о чём, – а всё ново. Не мог вникнуть внимательно, но что задело и поразило:

"Не желая расстаться с любимым сыном Нашим, передаём наследие брату Нашему..."

Что-то обидное здесь было. О сыне – подумал, а брата – не спросил. Сына берёт как зеницу ока – брата не пожалел, навязал престол. И -

"... заповедуем брату Нашему править делами государственными в полном единении с представителями народа..."

Хорошо заповедывать. А отчего же сам не делал так?

Михаил не обиделся, но – обидно как-то.

А между тем стал говорить князь Львов, по другую сторону от кресла Михаила. У Родзянки был голос хриплый, повреждённый, а у князя совсем нетронутый, светленький, промытый. И сам – такой благообразный, такой округлённо причёсанный и подстриженный, так благонамеренно смотрел и выражался, – чудесный, спокойный человек, не захотелось бы обидеть его возражением, несогласием. Но и очень трудно было в его округлённых фразах понять: а какого же мнения сам князь? Принимать трон или не принимать?

Его речь убаюкивала, и внимание вязло.

Михаил заметил, что некоторые депутаты, подавшись в мягком, едва не задрёмывали, боролись. А подёргливый Керенский быстро голову вертел на каждое чье слово. Да ещё один фатоватый молодой человек, фамилию Михаил не запомнил, всё вздрагивал при каждом открытии двери, при каждом шуме в передней, и на стуле сидел неглубоко.

Всё ж, сколько можно было уловить из гладкой речи Львова – он был того же мнения, что и Родзянко.

После Львова переглянулись: да может и говорить уже больше не надо? что они так долго убеждали?

Нет, теперь хотел говорить Миллюков. Он властно заявил это с дивана, кашлянул для закрепления. Ему не возразили, и Михаил тем более.

Лицо у Миллюкова было хмурое, а стало и напряжённое до морщин. Он ещё поднатужился весь, поднадулся, похож на рассерженного старого седого учителя, а голос такой сиплый, будто бы искричался в десяти непокорных классах. И стал говорить с первых

же слов сердито и требовательно:

– Ваше императорское высочество! Не может быть даже речи, чтобы вы не приняли трона! Об этом нельзя даже и мыслить! Ваша ответственность перед вашим рождением, перед трёхсотлетней династией, перед Россией!... Государь Николай Второй отрёкся за себя и за сына, но если отречётесь и вы – это будет отречение за всю династию. Однако Россия не может существовать без монархии. Монарх – это центр её! это – ось её! Это – единственный авторитет, который знают все. Единственное понятие о власти. И основа для присяги. Сохранить монархию – это единственная возможность сохранить в стране порядок. Без опоры на этот символ Временное правительство просто не доживёт до Учредительного Собрания.

Михаил слушал с удивлением. Это имя "Милюков" – он знал, это был главный критик трона. И теперь – говорил такое? Так за этим было что-то! Да и какое серьёзное он говорил: Россия – не может существовать без монархии! И – правда, конечно не может. Это Михаил понимал.

Но если Ники уже всё равно отрёкся – так кому же принимать? А если и Михаил отречётся – так кто же тогда?

А Милюков добавлял:

– Не тогда начнётся гражданская война, если вы примете трон, но начнётся, если не примете! – и это будет убийственно при внешней войне. Начнётся полный хаос и кровавое месиво... А вы – держите в руках простое спасение России: примите трон! Только так утвердится и наша новая власть. Мы все должны прикрепиться к традиции, к постоянству, к монархии, которую только одну знает и признаёт народ!

Это – Михаил понимал! Он хотел только, чтоб это всё без него укрепилось. Он – от брата не ожидал. А если уж никакого выхода нет – так как же не выручить? Если обстановка, оказывается, такая грозная и безвыходная!, так что ж – надо выручить? Это уже как бы – военный долг?

Между тем к собравшимся восьми вошли ещё двое новых: известный Гучков, и с ним какой-то легковатый ферт с острыми усиками.

Они не представились и ни с кем не здоровались, лишь поклонились великому князю, но, кажется, всем здесь были известны. Под тяжелозвучное выступление Милюкова они безмолвно заняли стулья в замыкание окружности, прямо против великого князя. А Милюков с их приходом ни на минуту и не умолк:

– Ваше императорское высочество! Если вы сейчас не примете трона – в России возникнет новое Смутное время и быть может ещё более разорительное и долгое. Вот того кровопролития надо бояться – больше, чем, может быть, временного и малого сейчас. Михаил Владимирович правильно здесь обрисовал столичную картину, да мы её видим все, но я решительно не согласен с его выводом. Да, сейчас здесь в столице затруднительно найти верную часть для опоры. Но они есть, я думаю, в Москве. Они есть повсюду в стране. Вся Действующая армия – верная сила! Вам надо немедленно ехать туда – и вы будете непобедимы.

Убеждённый напор старого опытного политика сильно подействовал на Михаила. В самом деле: вся Армия – в распоряжении императора, только надо к ней прийти.

Ах, зачем отречение брата застало Михаила не на фронте? Оставайся бы он в своей Туземной дивизии – да сразу бы он мог повести войска.

Но и сейчас ускользнуть из Петрограда, наверно, не так тяжело: не стоит же сплошной кордон вокруг города. Можно дождаться этой ночи, на худой конец переодеться, ночью – на двух автомобилях? или даже пешком? Само ускользание как задача кавалерийская было Михаилу понятно и не казалось трудным.

Впрочем, брат был при всех войсках, при всей власти – и отрёкся.

А ведь было ему когда-то предсказание, он не верил, даже не задумывался серьёзно: что он будет – Михаилом II и последним русским императором.

– Ваше императорское высочество! – хрипло, густо вговаривал Милюков, не

останавливался, всё по-новому выворачивая то же. – Мы первые не проживём без вас бурного времени. Мы – **просим** вас, как о помощи...

Солнце так сильно засвечивало в комнату – даже жмурились, на кого попадало.

375

Так хотелось генералу Алексееву окончательного и последнего порядка! Так хотелось, чтобы сегодняшний день не было уже никакой трёпки! Да ведь уже и становилось, кажется, на места: Верховный Главнокомандующий был назначен, и вполне законно, волей Государя императора, ещё не отрешившегося тогда. (И вероятно, уже есть указ Сената, лишь не дошедший в Могилёв.) И так же законно был назначен министр-председатель. А он выбрал себе нужный состав министров, который и оглашён был сегодня и в Петрограде и в московских газетах. И естественно было теперь генералу Алексееву составить циркулярную телеграмму-приказ с оповещением всех войск о происшедших назначениях.

Так же и против шаек он теперь имел свободу распоряжаться: оказались это вовсе не депутации Государственной Думы, теперь мог он послать Западному фронту категорический военный приказ открыть энергичные действия против той шайки в Полоцке, или где она, и против других таких чисто революционных разнузданных шаек, какие будут стараться захватывать власть на железных дорогах или проникать в саму армию. При появлении таких шаек желательно их не рассеивать, а стараться захватывать и по возможности тут же назначать полевой суд, а приговор его приводить в исполнение немедленно.

И в самом же Петрограде, оказывается, ничего страшного не происходило. Разговаривали утром с главным морским штабом, и оттуда дежурный капитан успокоил, что в столице всё налаживается, никакой резни офицеров и нет, и не было, всё вздор, все офицеры живы и здоровы. И Временное правительство – сильно, и авторитет его не поколеблен.

Вот и суди. Вот и верь Родзянке.

А увидеть самим, что делается в Петрограде, у Ставки не было глаз. Петроградская обстановка была загадочна, как на луне.

Да вон из Одессы слал командующий округом телеграмму: в видах успокоения умов выпустить всех политических? И будто в Херсон уже пришло такое распоряжение министра юстиции. Может быть. Но почему же всё это успокоение и упорядочение не оглавлено торжественным объявлением о новом Государе Михаиле II? Почему должно скрываться от народа его имя и не призываться к присяге армия?

Это было для Алексеева совершенно непонятно, а с каждым часом и тревожнее.

Об этой тревоге, вот, энергично телеграфировал и Эверт. Когда можно рассчитывать получить указания? Не надо ли объявить войскам, что Манифест есть, но задерживается? И – какие же причины задержки??

И Брусиллов просил – ориентировать.

И – что же на всё это мог ответить Алексей? Он сам всё более недоумевал. И даже начинал подозревать какую-то интригу. Как в чужом непрозорном лесу пробирался, царапался он, неумелый, в этих политических сплетениях, где непригодны ни топографическая карта, ни компас, ни военная команда. Оплетала политика ползучими плетями руки-ноги.

А если в Петрограде спокойно – так чего Родзянко так боится? Что вынуждает его к переговорам с левыми и почему он намерен идти им на уступки? Ведь которую ночь он повторял, что новая власть всеми признана, утверждена и единственна, потому и диктовал так властно на фронт. А то – какие-то солдатские бунты что ни ночь?

И вдруг – резкое неприятное подозрение проняло Алексева: **да не выдумывал ли** Самовар это всё для каких-то своих политических целей? Почему он сам себе противоречит столько раз, и противоречат ему другие?

И почему ж Алексей так ему доверился? Просто: никто другой из Петрограда эти дни

не был слышен. А Родзянко – так уверенно всё заявлял.

Тут прислали от Рузского (почему не раньше?) копию такого же его разговора с Родзянкой: оказывается, о задержке Манифеста Родзянко ещё на час раньше телеграфировал Рузскому. (Повадился. Что за манера появилась – миновать Ставку и обращаться к главнокомандующим?) И с Рузским разговаривал куда откровеннее: что воцарение Михаила как императора **абсолютно неприемлемо** ! Что переговоры с рабочими депутатами велись – и привели к Учредительному Собранию, которое – так можно было понять – и **определил форму правления России** ?

У-у-у-ух! – как штык вкололи между рёбрами. Вот оно где! вот оно в чём! А Алексеев-то, простак, и не понял, к чему это Родзянко упоминал Учредительное Собрание. Во-он заче-ем!

Так для этого Родзянко и задержал Манифест? Он – копал под императора Михаила? И даже, кажется, подо всю династию?...

Оттого-то и мешал им новый Государь: они хотели продлить неопределённое состояние? – а за это время прикончить династию? Ах мерзавцы! С левыми-то они сговаривались – о чём? династию свергнуть? Там фраза была – "не исключено возвращение династии". Как будто её уже убрали.

Так Родзянко – может и есть главный республиканец? Вождь революции??... Или во всяком случае – игрушка в руках левых?

А Алексеев его слушался – и собирал от главнокомандующих отречение???...

Вот попал, так попал генерал! Алексеев!... Ну, попа-ал! Родзянко его обманул, да использовал?!

Да как же можно было предполагать в нём такое коварство?

Так и придавило Алексеева в его жёстком кресле. Такого дурака, такого дурака – не помнил он, чтоб из него когда в жизни строили...

Позо-ор! Позо-ор!

Но – переживаниям никогда он не давал собой овладевать. Он всегда и считал и высказывал, что пробный камень для полководца – сохранять ясность ума и спокойствие духа при неудачах. Надо действовать. Если бы великий князь уже был бы сейчас в Ставке – Алексеев пошёл бы и честно признался ему во всём позоре.

А сейчас, пока он в Тифлисе? Сейчас Алексеев сам должен был решать меру против Петрограда.

Но – весь его военный опыт, все его стратегические знания не подсказывали ему: что же можно предпринять против этой болтливой компании? Войска уже посылали и уже отозвали. В телеграфных переговорах его обманывали. Необычная обстановка – и ничего не придумаешь. Только – докладывать в Тифлис Верховному.

Но и он ничего не будет решать, пока не приедет сюда. А на это уйдёт, может, больше недели.

А рядом только – Лукомский, Клембовский, всё не то.

И вдруг так подумал Алексеев: когда вчера была нужда склонить Государя к отречению – ведь обратился же он к своим всем главнокомандующим. И эту мысль он перенял у того же Родзянки, как тот закидывал главнокомандующих телеграммами. И сейчас все главнокомандующие, кроме Рузского, сидели во тьме, и запрашивали, и ждали: почему задержан Манифест? Им – всё равно что-то объяснять. Так составить честное изложение происшедшего, всё, как оно теперь понимается, ну конечно в сдержанных словах, не давая воли чувству. Составить и разослать. Это же будет – и доклад Верховному.

Не знал Алексеев такой боевой ситуации, которой нельзя было бы резюмировать, а затем и разрешить одним сжатым деловым документом. И само составление документа помогало привести мысли в ясность и успокоить собственный дух, самодисциплинировало.

И он тут же засел писать циркулярную телеграмму всем главнокомандующим № 1918. Что это – в пояснение к их запросам о задержке Манифеста. Как сегодня утром с этой просьбой обратился в Ставку председатель Государственной Думы, но причина его

настояния более ясно изложена в разговоре с главкосевом. Родзянко мечтает и старается убедить, что можно отложить воцарение императора и дожидаться Учредительного Собрания с временным думским Комитетом и ответственным министерством. Но Манифест уже получил местами известность, и немыслимо удержать в секрете высокой важности акт. Очевидно нет единодушия в Государственной Думе и её Временном Комитете, на них оказывают мощное давление левые партии. А в сообщениях Родзянки нет откровенности и искренности. Его основные мотивы могут оказаться неверными и направлены к тому, чтобы побудить военачальников присоединиться к решению крайних элементов как неизбежному факту. Войска петроградского гарнизона окончательно распропагандированы, и вредны, и опасны для всех. Создаётся грозная опасность для всей Действующей Армии.

Всё так. Изложено было не длинно, толково – и уже с некоторыми акцентами о Родзянке. Однако: для чего это всё он писал? И – что он предполагал предпринять против опасности?

Очевидно (дождавшись указаний великого князя): потребовать от председателя Думы выполнения Манифеста!

А если не выполнит? И скорей всего не выполнит...

Бродила, пробивалась мысль: так повторить родзянковский же манёвр: собрать мнения главнокомандующих. Вчера они оказались сильнее самого Государя.

Только Ставка может сделать это и внушительней: собрать самих главнокомандующих! Совещание.

Да! Это теперь стало ясно Алексею. И тогда они всё решат.

Но – без Николая Николаевича он не смел их собрать приказом, и не мог приказно назначить дату. За пределами его прав.

Всё, что мог он: это – *предложить* главнокомандующим, такое совещание. И если великого князя не будет – то и собраться, не позже 8-9 марта.

Этим и закончил:

"Коллективный голос высших чинов армии и их условия должны стать известны всем и оказать влияние на ход событий. Прошу высказать ваше мнение, признаёте ли соответственным такой съезд в Могилёве."

Вот так соберёмся и противопоставимся шаткому непоследовательному правительству.

И что ж? главнокомандующих тоже кучка, советоваться! так советоваться, мысль Эверта ожила в нём:

"Быть может, вы сочтёте нужным запросить и командующих армиями."

Кончил – и сам своими ногами отнёс телеграмму в аппаратную.

Пока писал её – был в действии. Но когда расстался с ней, то действие прекратилось.

И он обречён был – казниться.

Что же это такое наделалось?...

376

Задержать Манифест по Западному фронту – задержали, хотя где-то мог проникнуть и в войска, а это что же?

Задержали – но это не выход, так не может продолжаться.

Задержали – но больше так не попадаться. Не дёргаться больше, а вести себя с достоинством.

И – какая же причина? Что там неведомое меняется наверху?

А Ставка как задержала, так и замолкла. И велел Эверт послать им телеграмму: когда же можно объявить, задержка Манифеста крайне нежелательна! А иначе тогда: объявить войскам телеграмму наштаверха о задержке? И – какие же причины, сообщите!

Ставка в ответ: потерпите! Наштаверх составляет новую телеграмму.

Но – не слали.

А тем временем, в себе всё более удаиваясь, заявил теперь Эверт Ставке новым

тоном: что тот Манифест или какой иной, но должен быть объявлен войскам с полной торжественностью и совершением богослужения о здравии нововосшедшего монарха. И ждёт главкозап, что будут преподаны военному духовенству соответствующие указания.

Великий акт восшествия нового российского монарха нельзя сводить к трескучке юзов.

А между тем, хотя императора скрывали, – гражданские телеграфы в необычном порядке уже принесли состав нового правительства. Что ж это, правительство могло существовать без монарха? Да значит могло, раз передавали. А раз уже вчера дали прорваться петроградским новостям – то теперь оставалось и эти уже не задерживать. Примириться, пусть текут.

Да впрочем, почему боевой генерал должен так много заботиться, какое там правительство в Петрограде? Они и раньше менялись. Его дело – подчиняться Ставке. И соблюдать достоинство Главнокомандующего.

Однако поди соблюди! Кто б указал: где граница этого достоинства? По гражданским же телеграфам достигло эвертовского штаба распоряжение нового министра юстиции Керенского: о выпуске на свободу всех политических заключённых Минской губернии! И о том, что в Калугу (полоса Западного фронта) едет из Петрограда новый военный комендант с *особыми* полномочиями!

Вот так так! И что теперь делать? – сопротивляться? подчиняться? Ничего не остаётся.

Новая власть сразу трясла и брала за горло.

Смутно и гадко чувствовал себя Эверт. Он как будто утерял из рук всю мощь своего Западного фронта. Будто и стоял фронт весь на месте – и будто не стало его.

Вдруг – радостное известие. Телеграфировал сам Алексеев: что депутации – самозванцы, что это просто революционные разнузданные шайки, – и принять самые энергичные меры! – и захватывать их и судить полевым судом!

Вот это так! Вот это – по-нашему! Такой язык не вызывал сомнений! И давно бы так!

Вторые сутки из жара в лёд перепластывали Эверта – но этот возврат был радостен, силы возвращались! Бодрый Эверт приказал немедленно назначать на главные узловы станции, оставшиеся теперь без жандармов, – команды под началом твёрдых офицеров. Надо было спешить, навёрстывать двое утерянных суток.

Да всё ещё можно было наверстать! – и снова те полки обратить на Петроград, и вдвое, и втрое! – если бы повелел Его Величество Государь Михаил II!

Но почему-то он таился и разрешал таить о своём воцарении.

А тем временем лысый невозмутимый Квещинский с лохматыми бровями принёс новую длинную телеграмму Алексева № 1918.

Алексеев объяснял Главнокомандующим, что петроградские деятели и Родзянко – обманывали их всех! Не объяснял и тут, зачем же до сих пор держать Манифест, – но какой-то был тут петроградский заговор. Но Алексеев будет настаивать.

Ну, наконец-то! Не твёрдый тон, но хоть твёрдые нотки. Почему ж не вчера донеслась от Алексева такая трезвая речь? Не было бы этого всего генеральского обморока, и запаматованья – тогда, может, и обречения бы не было?!

Предлагал теперь Алексеев: для установления единства созвать в Могилёве совещание Главнокомандующих. И так оказать влияние на ход событий.

Да чёрт раздери и двадцать раз по матушке – ну конечно же так! Ответ Эверта был – да! да! – естественный ответ генерала Действующей армии, если его командование не расслабло.

Но разрешали ему, как он и просил, посоветоваться с командующими армиями. Уж теперь два-три часа не были потеряны, надо и посоветоваться.

Во всю обратную дорогу из Пскова как-то и в голову не пришло Гучкову самое простое: а вдруг Михаил откажется? Такого он почему-то не воображал. Только когда в депо

закричали и хотели его то ли стащить, то ли арестовать, то ли хуже, – пошатнулось в представлении: да уцелеть ли Михаилу царём?

Депо сотрясло Гучкова. Знал он холодную ненависть дуэлянтов против себя, – но массовая толпьяная ярость оказалась – куда! И – как ей сопротивиться? Бессилен. Оглушило. Как вышел из смерти.

А вступив в придавленный воздух совещания на Миллионной, Гучков и стал понимать: вот откажется сейчас Михаил – и что делать?

И только тут его прокололо, что это – он виноват: легкомысленно принял отречение у царя. Почему-то не ожидал этого шага Николая (а для Николая так естественно – сохранить для себя сына, да ничего другого и быть не могло). И растерялся, и по-русски потянуло на щедрый жест, – подарил ему сына.

А теперь – закачался весь трон.

И с тем большим сочувствием слушал Гучков сейчас неиссякаемую речь Милюкова. Знал он за ним исключительную способность упираться в занятой позиции, варьировать аргументы, а стоять всё там же, – но сегодня и он был удивлён неистощимостью милюковской аргументации в речи, казалось, бесконечной, во всяком случае часовой. Неистощимость была в том, что исчерпав доводы, как подвинуть к решимости Михаила, он разворачивал новую сеть доводов, как убедить своих неубедимых коллег, что другого выхода нет для них самих. А затем покрывал ещё новой крышей, что другого выхода нет и для всех, и для России самой.

Понятно, что с такой убедительностью он спорил не только для сохранения вообще монархии, но и, в общих интересах, за сохранение слабого невластолюбивого монарха, с которым легко будет править. А если они, остальные, этого не понимали, то он брал их на измор.

Сам Гучков, ещё под осязанием своего провала в депо, испытавши вживе народное море, сейчас открывал ещё отчётливей, как все их до сих пор Думы, речи, комитеты, группы – ничто: не останься в России твёрдой надо всеми власти – и сметёт, и смоев их в минуту.

И даже такое обещание он прозревал в уговорах Милюкова (только вслух не сказать): если собрана будет сила, достаточная для защиты Михаила, – так ведь и Учредительное Собрание тогда не понадобится? и вчерашнего унижительного соглашения с Советом можно не выполнять?

Да, по Гучкову, больше того: переарестовать этих всех прощелыг, Исполнительный этот комитет?

Высокий, худощавый Михаил, очень моложавый, да на десять лет и моложе отрешенного царя, и не обременённый государевыми заботами, но, несмотря на свою военную гибкую фигуру, как будто, однако, не крепкий, старался слушать, потом видимо рассеивался. Он чрезвычайно просто держался, легко менял свободные положения в кресле, иногда обходил, обходил глазами всех присутствующих – не самую выразительную физиономику, – ища сочувствия и решения. И удивление не покидало верхней части его лица. И даже женственное было в его повадках. Ах, куда ему!

Седой Милюков всё повторял, что монарх – это единственный объединяющий центр России, признанный во всю глубину народа, – и принимаемое теперь решение должно быть таким, чтобы не оставить Россию без монарха. Нельзя представить себе масштабов сотрясения народной психики, если русскому крестьянству вдруг остаться без царя. Временное правительство – утлая ладья, потонет в океане народных волнений. Окраины – начнут отпадать, Россия – развалится. Никто из присутствующих не может быть уверен, что уцелеет в том великом распаде.

Больше всего и поражался Гучков именно смыслу речи Милюкова. Уже скоро пятнадцать лет они противоборствовали на общественной арене – и никогда не встречал он в своём противнике такого внезапного проницания, никогда не слышал от него такой блистательной речи, не испытывал такого потяга присоединиться к нему. Удивительно, как мог вдруг Милюков так подняться над своими постоянными политическими симпатиями – и

незаграждённо увидеть Россию всю целиком, как она есть.

Но просматривал Гучков круг сидящих – чёрно-вылупленного Львова-другого, глуповатого денди Терещенко, мнимо-загадочного Некрасова, – своих недавних сподвижников, не говоря о невыносимом извивчивом Керенском, и видел, что они настроены были непробиваемо-радостно и ничего такого не боялись, чем пугал Милюков.

Лицо Милюкова сильно покраснело, и усы топорщились. Настаивал он, уже не столько для Михаила, как убеждал коллег: что должны быть соблюдены основы государственного устройства России. Что непременно должна быть сохранена преемственность аппарата власти. Что если старый аппарат вмиг перестанет существовать, то не утвердится и новый. Что прыжок от самодержавия сразу к республике – слишком велик, такие опыты в истории хорошо не кончались. Он убеждал, что в их руках сейчас – счастливый случай обеспечить конституционный характер монархии. Тем самым и их правительство станет не временным, а конституционным, И отпадёт опасная поспешность собирать Учредительное Собрание во время войны.

Но – кому он это всё предлагал, перед кем выкладывал историософические концепции, кто их тут мог понять и оценить? Гучков осматривал лица и проникался безнадежностью. Самоупоённый тучный обрюзгший Родзянко – октябрист, сомкнувшийся с левым Керенским, тоже самоупоённым, но поджигателем и с театральным вывертом. Благостный князь Львов. И опять же этот неуравновешенный идиот Владимир Львов, и ещё один глупец казачина Караулов. И ещё один неуравновешенный, романтик Шульгин, этот хоть мысли понимает.

Позиция Родзянки – против принятия трона, к отречению – особенно удивляла. Он действовал сейчас и против своих убеждений – ведь заядлый монархист, и даже против личных интересов, ибо был бы близок к Михаилу.

Тут некому было не только высказываться веско, но – слушать и понимать толкова. А Терещенко был явно и напуган, опасливо крутил головой. И неужели этого человека и двусмысленного Некрасова Гучков пестовал к себе в заговор на переворот? Да куда ж они годились?

Как ни удивительно, но Милюков всё-таки кончил. Выдвигались теперь на протесты, на дебаты, но решили сделать перерыв. Великий князь вышел, а все хотели слышать от приехавших об отречении Николая. А Милюков подошёл в упор и жёстко упрекал (и звучало горькое торжество над соперником): как же можно было так легкомысленно взять отречение на Михаила? И все со всех сторон упрекали, что такого не было в полномочиях, как же Гучков мог согласиться?

Но не мог он вслух признать, что грубо ошибся (тем досадней, что сам уже понял), а защититься не находился, сам не понимал, как это протекло между пальцами, и не признаешься, что пожалел отцовские чувства царя. В пылу это не замечается: брал в руки вырванный акт как победу целой жизни, – а вот промахнулся.

Потому и с Милюковым, несмотря на сочувствие к его позиции, было разговаривать невыносимо.

Зато заливался в рассказе охотливый живописать Шульгин. И, как будто события улицы и Таврического дворца оставляли для того место, – всем было любопытно: как именно? в каком помещении? как держал себя Николай? что возражал? с каким видом подписывал?

Но не меньшее действие происходило и сейчас, и нельзя было затягивать. Уже кулуарно задирали Милюкова, все против него, – а теперь заседать. Позвали великого князя, все уселись по-прежнему.

Лицо великого князя было чистое, беззаботное, едва ли не детское, если б не белокурые усы. И глаза невинно-голубые. Не вообразить, что он там сейчас, в другой комнате, обуреваемый государственным выбором.

Теперь выбился выступать Керенский, все дни в первый ряд. Его дергливая самоуверенная манера ещё усилилась резко. Он держался с тем апломбом, что только он

единственный представляет тут революционные массы и только он точно знает народные желания. Пришёл его момент, и в страстности его речи звучала победа.

– Ваше высочество! Господа! Явившись сюда, на это собрание, я поступился партийными принципами! Мои партийные товарищи могли бы меня **растерзать**, если бы узнали. Но поскольку, – всем огнём голоса, – я всегда неуклонно претворял волю *моей партии*, – то мне доверяют. Ещё вчера, ещё вчера! – восклицал, упиваясь и произносимым смыслом и произносящим голосом, – можно было согласиться на конституционную монархию. Но! – и голос его грознел, и глаза грознели, – после того как *пулемёты с церквей* расстреливали народ! – негодование слишком сильно!! – Он и сам изнемогал от этого негодования, но признавал его справедливость. – Ваше высочество! Принимая корону, вы станете под удар народного негодования и, – вытягивал узкую голову, снижал тон, – можете погибнуть сами! – И ещё ниже: – А с вами погибнем и мы все...

Ежились. Керенский убедил их больше, чем Милюков своей теоретической схемой.

А Михаил выглядел спокойно, как бы даже полуотсутствующим слушателем. У него было открытое лицо, чистосердечное выражение.

А Керенский заботился, конечно, и о себе: если монархия – как он отчитается перед Советом рабочих депутатов? И ему уходить из кабинета. Ловкий оратор только это и пропускал: что он-то первый, с Советом депутатов, и не допустит Михаила уехать к войскам. Он ловко перескочил с одной чувствительной струны на другую, дрожащую. И играл, как на думской трибуне, с задыхом и с перебором голоса:

– Ваше высочество! Вы знаете, все знают, это не секрет, я осмеливался говорить об этом всегда: мои убеждения – республиканские. Я – против монархии... – И паузу после этих, ещё недавно страшных слов. – Но я сейчас не хочу касаться своих убеждений, я даже пренебрегаю ими... Я явился сюда – для блага отечества!... И поэтому разрешите сказать вам иначе. Сказать – как русский русскому... Павел Николаевич Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спасёте Россию. Как раз наоборот! – вы её погубите! Успокоить Россию уже нельзя. Уж я-то знаю настроение масс, рабочих и солдат! Рабочие Петрограда не допустят вашего воцарения. Сейчас всюду резкое недовольство – именно против монархии, монархии вообще, монархии как таковой! Именно попытка сохранить монархию и стала бы поводом кровавой драмы! А России, перед лицом внешнего врага, вы сами знаете – необходимо полное единство. Начнётся кровавая гражданская война? Какой ужас! Неужели ваше высочество захочет такую цену занять трон?... Я уверен, что нет! И поэтому я обращаюсь к вашему высочеству... как русский к русскому... – Он задыхался и был на рубеже слез. – И умоляю вас, умоляю! Принесите для России эту жертву! Ради России, ради её покоя и целостности – откажитесь от трона!

У него больше не было душевных сил говорить. Да он – и всё сказал, выложил весь.

Ах, негодяй! – не избежать было теперь говорить Гучкову. (Как всё сменилось: глава оппозиции и главный заговорщик, Милюков и Гучков, стали главными столпами трона, кто поверил бы недавно?!) Депутаты без него сговаривались, что выступит один за, один против, и всё? Нет уж!

Гучков был не того вкуса, что Керенский, и не того возраста. Неприлично выламываться в роли, когда актёры за сценой остаются уже одни. Он говорил безо всяких украшений, как можно короче и ясней, и голосом действительно утомлённым и сорванным – ото всех речей, ото всех поездок, от смерти Вяземского, от сегодняшнего депо.

Зато с полной убеждённостью он говорил, с той уверенностью, которую даёт утомлённый взгляд пожилого человека: как всё плохо и как единственно может быть всё спасено. Конечно, только принятием короны. Именно из любви к России, именно как русский, великий князь должен принять её. Он должен взвалить на себя тяжёлую роль национального вождя в уже начавшееся Смутное время. Тут говорили, что это рискованно даже для собственной жизни, но этот аргумент, конечно, ничего не значит для такого отважного человека, как великий князь. Наконец, есть (Гучков за этот час здесь придумал) и такой выход: если великий князь не решается стать императором – пусть примет регентство

при вакантном троне, "регент империи на время". Пусть он выступит "покровителем нации". Он может даже ещё ограничить себя: пообещать торжественно, что по окончании войны передаст всю власть Учредительному Собранию. Но только бы – принять эту власть сейчас, но только бы создать мгновенную и устойчивую преемственность Верховной власти в государстве. Как можно не видеть, кто может не согласиться, что именно без этого погибла Россия?!

Гучков говорил – с надеждой непременно убедить. Рассеять, пересилить это петроградское опьянение, которому поддаются только в этом городе. Он говорил, всё время смотря на сорокалетнего великого князя, безусловно хорошего, чистого, скромного, деликатного человека, увы, со слабой волей, но с военной же храбростью, уж такое сочетание, – и надеялся, что он примет доводы и примет тон, и надеялся, что это будет хорошо. Ощущал Гучков только такой недостаток в своём выступлении: нужно было предложить какое-то решительное практическое действие на ближайшие часы, а он не мог придумать. Он понимал, что действие лежит где-то на поверхности, перебирал, искал – а не мог придумать.

Подразумевал он, конечно, тайный побег великого князя из Петрограда – в Москву или на фронт, – но неуместно было высказать вслух.

Да ещё проверить, так ли уж сплошь в руках Совета петроградский гарнизон? Может быть можно опереться и в Петрограде?

Сперва не предполагалось больших дебатов. Но после двух таких решительных выступлений "за" усилился гулок "против". И не выступая связно, а так, отдельные фразы выбрасывали один, другой, и не общероссийские принципиальные соображения, а по сути всё тот же страх, запугивали сами себя и великого князя: что принимать трон опасно, губительно. И во главе всех праздновал труса – Родзянко. (Так напуганный солдатами?) И даже изнеможенный Шульгин внезапно, из какого-то увлечения, присоединился к этому хору, – далеко ж он отшагал от монархизма! А кто-то даже высказал, что если великий князь примет трон – то он тут же и обагрит его династической кровью, ибо в Петрограде тотчас вырежут всех членов династии, кто тут есть.

Никто пространно не выступил, а стало ясно, что все тут – против принятия трона, кроме Гучкова и Милюкова.

Никто пространно не выступил, но выявился слитный фронт, – и Милюков возмутился и потребовал себе слова вторично, и добивался его со своей копытной настойчивостью.

Поднялся шум возражений: второй раз нельзя! Звонко и с большой свободой возражал Керенский. Но перед большинством думцев так высился годами авторитет Милюкова, – они не смели запретить ему говорить.

И уж конечно поддержал Гучков, надо было вытягивать трон вопреки всей безнадежности, по Чёртову мостику над бездной. Да для них обоих и двоилось теперь: или остаться в монархическом правительстве, или уйти из республиканского. Кто потерпит сейчас поражение – должен уйти из правительства, не мешать.

Милюков говорил теперь ещё более строгий, даже зловещий. Усы его были ещё с прочернуью, а приглаженная голова вся седа, все черты урезчились от своеволия молодёжи, не понимающей собственного добра. Все видят, что творится в Петрограде. Ничего нельзя сделать, не закрепив порядка, для этого нужна сильная власть. А сильная власть может опереться только на символ, привычный для масс. И если претендовать входить в правительство, то надо же иметь понятие о российском государстве и его традициях. Без них, без монарха Временное правительство не просуществует даже и до созыва Учредительного Собрания: раньше того разразится полная анархия и потеря всякого сознания государственности.

Никто не посмел прервать Милюкова, только сидевший с обалделым видом Родзянко, – но Милюков отсек его, как будто сам – Председатель. И – всё говорил. Говорил так долго, будто боялся кончить: пока ещё говорит – ещё существует монархия в России, кончит говорить – и она окончится.

Да! – настаивал, настаивал с отчаянием, – принятие власти грозит большим риском, также и для жизни великого князя, впрочем и для министров, – но на этот риск надо идти ради отечества. И даже если на успех – одна миллионная доля, надо рисковать! Это – наша общая ответственность, ответственность за будущее. Но, полагает Милюков, вне Петрограда дело обстоит ещё совсем не плохо, – и там великий князь сумеет собрать военную силу. Например, в Москве, он имеет свежие сведения, в гарнизоне – полный порядок, там найдётся организованная сила.

И дальше: три энергичных, популярных, на всё готовых человека – на троне, во главе армии и во главе правительства, – ещё могли бы всё спасти.

То есть?... Михаил? Николай Николаевич? И, тогда, сам Милюков?...

А Михаил – слушал, слушал, и как ни старался быть спокойным, но стало его поводить. Ещё взгромоздить на себя и такое: часть подданных подавлять силой оружия?

Насколько было б легче, если бы все они говорили в одну какую-нибудь сторону! А так- выбор стал совсем смутен.

Да подумал так: все они тут, кроме двоих, члены ли временного правительства или думского комитета, – все хотели от него отречения. Так – как же тогда вместе с ними править? на кого же опираться? Все эти люди столько воевали против правления брата, поносили трон. И – свергли. А теперь – станут его правительством?

Нет, политика – это что-то непереносимое! никогда бы не касаться её.

А говорить подходило – как раз великому князю. Отвечать, решать.

Но он не был готов!

– Господа... – потянул Михаил Александрович со слабостью. – Если между вами нет единства, то – как же мне? Мне – трудно...

Замаялся. И все замаялись.

И предложил великий князь: не может ли он теперь поговорить отдельно, с... с кем же, по порядку чинов, если не с председателем Думы и, очевидно, с председателем совета министров?

Князь Львов? Князь, при своём чистом полублаженном виде, не имел определённого мнения. Он мог и говорить, пожалуйста. Мог и не говорить.

А крупный, самодовлеющий и, кажется, всевластный Родзянко – смутился. (Почему это – именно с ним. Будет выглядеть как сговор с монархией за спиной общественности?...) Он ответил, что все здесь – одно целое, и частных разговоров никто не может вести.

И – покосился боязливо на Керенского.

О, как этот мерзавец вырос в силе! Да он и был уже главный среди них? Вот уж нестеснённый, вот уж самый свободный здесь человек, он разрешил галантно:

– Наш нравственный долг, господа, предоставить великому князю все возможности для правильного и свободного решения. Лишь бы не было посторонних влияний, телефонных разговоров.

Без телефона? – великий князь согласился.

Мог бы возразить Милюков: невыгодная комбинация? Но зато он сам выступил дважды.

А Гучков, – Гучков, если б сейчас его допустили тет-а-тет на две минуты, подал бы мысль: ваше императорское высочество, да не беритесь вы решать в полчаса, не давайте себя загнать в клин! Потребуйте день, два! Почему отречение не опубликовано? Дайте его узнать России, и будете думать вместе с Россией! Потребуйте два дня, – а за это время можно успеть даже в Ставку – и там истинное место ваше!...

Нет! Не мог Гучков при всех, при Керенском, передать ему своего ума. И – вообще не мог. Сам Михаил – не тот. Приход его к власти – благодетелен, но видимо невозможен. Да и Гучков – не тот, вдруг почувствовал исчерпание сил. Изъездился, изговорился вчера?

А между тем Керенский преградил путь великому князю в заднюю комнату:

– Пообещайте, ваше высочество, не советоваться с вашей супругой!

– Её нет здесь, – улыбнулся Михаил печально. – Она в Гатчине...

Великий князь с Родзянкой и Львовым ушли в другую комнату.

А тут – разбрелись, обсуждали, кто-то ещё спорил с Милюковым, так и не вставшим с дивана. Гучков сказал Некрасову и другому Львову, остолопу:

– Вы толкаете страну к гибели. И я с вами по этому пути не пойду.

Шульгину сказал:

– От вас не ожидал. Вы слишком быстро катитесь.

Но и с Милюковым не стали сговариваться.

Терещенко ходил, выглядывал в окна на Миллионную – как там гуляют с красными бантами и нет ли толпы сюда, в дом, линчевать их всех.

Прибывший с опозданием волосатый Ефремов показал Гучкову сегодняшней номер "Известий рабочих депутатов". Там была грозная статья против вчерашних слов Милюкова о регентстве.

Да той речи в Екатерининском зале, да ничего за минувший вечер Гучков и не знал из-за поездки.

Действительно, положение было столь упущено, что возвращаться можно было только гражданской войной. Очевидно, начав с ареста Исполнительного комитета.

Да Гучков бы – готов?

А если этим грозным статьям уступать, так будет только хуже.

Тут он вспомнил, что со вчерашнего дня Маша ничего о нём не знает. И пошёл спрашивать, где телефон.

В столовой две горничные в присутствии княгини накрывали завтрак на всех гостей. Телефон же оказался в коридоре.

Но едва только Александр Иванович снял трубку – рядом с ним вырос нервный изгибчатый Керенский. И – уставился.

– Вы – что? – спросил Гучков совсем уже невежливым голосом.

Керенский, несколько не смутясь, самоуверенно даже не сказал, а заявил:

– А я хочу знать, с кем вы будете говорить!

– Почему это вас может интересовать? – из-под нахмура еле спросил Гучков.

– А может быть, вы желаете вызвать воинскую часть и посадить Михаила силой?

Дурак-дурак. Как они все обучены урокам западных революций.

А впрочем – стоило бы.

– Нет, с женой. Оставьте меня.

Отошёл, но так, чтоб слышать издали, невежа.

Зачем он с этими двумя уединялся – Михаил и сам не знал. Просто – выиграть время, подумать?

Да на Львова он не надеялся, но на Родзянку всегда надеялся. Может быть тут, взакрыте, что-нибудь ясное подскажет?

А Родзянко, со своей высоты и самоварности:

– Надеяться не на что, ваше императорское высочество! Вооружённой силы нет ни у вас, ни у меня. Единственное, что я могу вам гарантировать, – это умереть вместе с вами.

– Благодарю вас, – улыбнулся Михаил.

Получалось так, что если принимать трон – то начать надо с того, что обмануть их всех? Тайком от них ото всех – бежать? И не успев посоветоваться с Наташей? Просить отсрочки до завтра, а ночью убежать? И даже придётся тайком от своего приставленного тут караула?

А Родзянко, как угадывая:

– И нельзя увезти вас из Петрограда, все автомобили проверяются.

Нет, не тот был момент, чтобы вскакивать на коня. Не армейская атака. Один.

– Благодарю вас, – тихо сказал Михаил. – Разрешите, я теперь побуду совсем один.

Великий князь вышел в гостиную застенчиво. Совсем не царственный.

А видно было, что все прения измучили его.

Он заговорил стоя – и так никто и не сел, выслушивали стоя. Голос его был комнатный и даже нежный:

– Господа. У меня не было бы колебаний, если бы я верно знал, что лучше для России. Но вот и в вашей среде нет единодушия. Вы – представители народа, – развёл он длинными тонкими пальцами, – и вам видней, какова воля народа. Без разрешения народа и я считаю невозможным... принять... Так что очевидно... лучше всего... отречься... Так что отложим до... Учредительного Соборания?

Вот и всё.

Молчали.

Но развязный Керенский тут же высунулся:

– Ваше высочество! Ваш поступок оценит история, ибо он дышит благородством. Я вижу – вы честный человек. Отныне я всегда буду это заявлять. А мы, ваше высочество, будем держать священную чашу власти так, что не прольётся ни одной капли этой драгоценной влаги до Учредительного Соборания!

Михаил Александрович улыбнулся.

Все молчали.

378

Как условились накануне, Пешехонов сегодня с утра заехал в Народный дом за квартирьерами 1-го пулемётного полка, ехать выбирать помещения. Опять не без труда проник он через строгую самоохрану – а внутри узнал, что пулемётчики уже не желают двигаться.

Да почему же?

Оказывается, комитет заказал к восьми утра прислать автомобиль, его не прислали, – в этом проявлено неуважение к полку и замысел против него, и они теперь никому не верят и с места никуда не сдвинутся.

Но – гнила канализация Народного дома, уже моча заливала в одном месте коридор, пропиталась стена. Пешехонов в комнате полкового комитета настойчиво уговаривал товарищей выборных солдат. Может быть, другому кому это бы не удалось, но у Пешехонова очень уж простой был вид – мещанина с круговой машинной стрижкой, упавшие в бороду усы, – и солдаты дали себя уговорить. Согласился ехать с ним в автомобиле сам председатель комитета, прапорщик военного времени, тоже из простых, и один развязный солдат.

Сели они на заднее сидение и, всё же не доверяя Пешехонову, как бы он их вокруг пальца не обвёл, сами указывали, направо ли ехать, налево, и около какого здания (каждого большого) останавливаться, – и чтобы объяснял им Пешехонов, почему в этом доме нельзя или неудобно.

С тоской подумал Пешехонов, что висят его комиссариатские дела, а он так и весь день проездит с ними. Иногда ему не верили, ходили сами проверять, а его заложником с собой брали, чтоб не уехал.

И – не мог он их направить! Да и сам толком не придумал, куда же их? В одно место не помещались, а в разные места не хотели.

Так само собой докатили они до Ботанического сада на Аптекарском острове.

– А это что за дом? – приглянулся им.

А это был – знаменитый Гербарий, гордость России, и не много таких во всём мире. А снаружи здание, правда, – как большая казарма.

Испугался Пешехонов, стал прапорщику объяснять, что здесь невозможно, – никакого впечатления, образование прапорщика оставляло желать...

Пришлось идти смотреть. Застали одного сторожа, научного персонала никого не оказалось, работ никаких, тем хуже, хоть бы белые халаты напугали. А внутри – чистота, всё

наблещено, светло, тепло. Квартирьерам сразу понравилось:

– Вот тут мы и поместимся!

Пешеходов аж руками всплеснул:

– Да нельзя же, господа! Редчайшие коллекции!

– Чего это?

Тогда он хитрей:

– Смотрите, комнаты маленькие. Для жилья никаких приспособлений, нары делать не из чего.

– А мы на полу! Полы тут чистой твоей кровати.

– Ну и сколько тут вас поместится? Две-три роты? А уборных опять же мало.

Еле утянул их, не хотели уходить. Пошли дальше по Ботаническому. Теплицы. Тут тоже им понравилось. Да уж лучше тут, чем в Гербарии, – думал Пешехонов, – растения-то можно и вынести.

– Да как же вы будете здесь спать? Везде – жирная земля, сырость, сейчас же начнёте болеть.

Замялись. Хотели в Гербарий возвращаться.

Тут один служащий сада сказал, что рядом стоят совсем пустые и вполне подходящие – министерские дачи.

– Какие?... Министров?

Очень это им зажадалось! Там жить, где прежде министры испомещались? – очень! Попробовать, как это!

– Туда ведите!

Какие ж там дачи? Соседний участок был – та самая дача министра внутренних дел, где в 1906 году жил Столыпин и был взорван.

– А там ещё – флигеля.

Тут в заборе был и пролом для краткого хода к набережной Невки, снег примят, так и пошли.

Флигеля были брошены, неухожены, нетоплены, везде беспорядок, сор, но мебель на месте. А одна комната оказалась увешанной и устланной коврами, а на столе стоял действующий телефон, как будто кто-то здесь только что жил. (Служащий объяснил, что на святках тут отдыхал Протопопов!)

Хотя помещения были для солдат совсем неподходящие, но после этой комнаты уверились квартирьеры, что – берут. Наверно, эту – для комитета наметили.

– Сами видите, – выгадывал теперь Пешехонов, – на всей Петербургской стороне подходящих помещений нет. Зря вы из Ораниенбаума ушли.

– Ну може, може... – шмыгали носами. – А поживём теперь у министров.

Выходили к набережной через двор. На месте когда-то взорванной дачи стоял теперь памятник Столыпину – не большой, не площадной, но всё же увеличенного роста, бронзовый и на пьедестале.

– Кто это, знаете? Зачем тут? – спросил Пешехонов.

Ничего не знали – ни фамилии Столыпин, ни – какой взрыв.

– Это был – большой помощник у царя! – объяснял комиссар. – Он жестоко расправлялся с революционерами. Он подавил первую революцию.

Подумал про себя со злорадством: первым делом, конечно, памятник повалят.

А солдат высморкался на снег, вытер нос:

– Нехай себе, он нам не помеха.

К каждому русскому городу, где побывал (а во многих), Воротынцев испытывал отдельное чувство, отличал этот город – и людьми, которых там успел узнать, и видом улиц, бульваров, обрывов над реками, церквами на юру, и ещё многими особенностями, как в

Тамбове – немощёными прогонами вдоль улиц для кавалерии, в Зарайске – непомерным по городу кремлём, в Костроме – близостью Ипатьевского монастыря и сусанинского края. И ещё везде – теми излюбленными местами, Венцами, Валами, где жители привычно собираются, узнают, говорят. Да кроме деревенской, что ж Россия и есть, как не два сорока таких городов? В разнообразии их ликов – соединённый лик России.

А тем более отдельное чувство – к Киеву. Как бы ни наспех проезжал его и как бы ни занят делами, ощущал тут всегда Воротынцев, да как каждый, наверно, из нас, что ступает на землю особую, древнюю, осенённую крестом огромного Владимира Святого над Днепром. Бессмертно высится этот кусок древней Руси, на самом деле не третья столица, а первая. Когда ни приедешь в Киев, когда ни пойдёшь по нему, – всегда ощущение праздника.

И ещё в Киеве – особенная мягкость, от юга ли, от малороссийского дыхания, ещё от чего? Мягче тех двух столиц.

Почти полдня предстояло Воротынцеву пробыть в Киеве – и что другое можно было придумать, как не оставить чемоданчик на вокзале и праздно отправиться по городу? Не приходило в голову адресов, куда бы пойти.

А воздух был совсем весенний, а снег подтаивал. Носились галки. На вокзальной площади извозчики ожидали вперемежку – и санные, и уже колёсные. На улицах вдоль панелей журчали ручейки, а поперёк тротуаров перетекал слив из водосточных труб. Скользковатые тротуары были где посыпаны угольным шлаком, где счищали дворники скребками. После всего мятельного натиска снег изнемогающе таял. Много снежных куч было нагребено, усиливая тесноту и без того наполненного города, – экипажи, телеги, трамваи, движение было обычное.

До университетского Ботанического сада улицы ещё были будничные, как бы ни о чём не ведали. За его решётками – снежный покой. Но с Владимирской начиналось возбуждение и гуляние. Здесь увидел Воротынцев уже знакомые ему красные банты в петлицах, красные ленточки, приколотые к пальто или шапке, – как эта мода понята и перенеслась так быстро? – не видели, а догадались? Но не так густо, как в Москве. А на лицах – такое же растерянно-радостное недоумение.

Ни на одном перекрестке не было городских. Но – и арестованных их не проводили. Просто – исчезла полиция или переделась?

Однако вот что: ни одного бродячего распущенного солдата с винтовкой, как в Москве. Идут безоружные одиночки скромно, как по увольнительным, все чётко козыряют. И офицеры отвечают им с лёгкостью, все при оружии, не как подозрительные пешеходы. Нет этого подлого, как в Москве, соучастия в какой-то гадости. Прошёл вооружённый строгий наряд, другое дело.

Ну, кажется, здесь ещё всё в порядке. Может быть, столичное безобразие в той форме сюда и не докатит. Да не должно бы!

А Киев – узел дорог не только для Юго-Западного, но и для Румынского. Если и Киев тронется, снабженье прервётся, – а немцы тут и ударят?

Около университета кипело большое сгущение, разлившееся на мостовую. Избежать его Воротынцев отклонился наискось через сквер.

А на богатом Бибииковском бульваре, на его огромных доходных домах, уже висело несколько обширных красных флагов. Будто этим богатым владельцам страстней всего и нужна была революция. Тут – ещё больше было гуляющей публики, да не простонародной, а городской образованной, и забивала весь бульвар, и на тротуарах не помещалась.

Ну что ж, «свобода» – всем дорогое слово. Повеселятся – успокоятся? Схлынет?

На перекрестке Бибииковского и Крещатика на опустевшем месте городского – с важностью стояли два студента, пытаясь направлять движение.

А трамваи шли своим чередом.

А с платформы грузовика кричали речь толпе.

Раньше, отметил Воротынцев, что шествий нет, – но на Крещатике увидел первое, из молодых людей, несли развёрнутое красное полотнище с надписью о демократической

республике. Пели и кричали.

И так запросто это несли, как нечто решённое, всем ясное. Кем же это уже решено, что «демократическая республика»? Разве это на улице решать?

И что за состояние, правда? Прежние власти – исчезли. Появились какие-то комитеты. А царь молчит.

Как будто шар его державы шатается на одной точке пика горы.

Ну, правительство новое – допустим, факт. Но в конце концов, что ж? – Гучков. Шингарёв. Дай Милюков. Государственные мужи, не из беззаветности.

На тротуарах Крещатика толпа была как тиски, иногда в ней нельзя было самовольно передвигаться, а только течь вместе с нею. На улицы вывалили – как будто все жители, и текли без цели, с восклицаниями, окликаниями, поздравлениями. Конечно, любопытства было больше всего. Но у чистой публики – и радость. А мещанки из-под платков смотрели настороженно.

Подумал, что ведь Киев последние годы – самая верноподданная из трёх столиц, отсюда и все депутаты были правые, перед войной здесь проявлялся и самый массовый монархизм. И неужели же все текущие сейчас по улицам – так довольны? Но не видно мрачных лиц. Сколько может быть тут сейчас врагов переворота – но быстро установилось, что недовольства выражать нельзя. Сила толпы! Всё окинулось в один день, и нельзя крикнуть против. Затаясь, притворяясь, – идут среди радостных восклицаний.

Но чего, к счастью, так и не видно было – позорных, разболтанных военных шествий с красными флагами.

С обалделыми воплями и размахиванием рук в извозчике пронеслись два студента, гимназист и две девчёнки, с красными повязками. На студентах были неуклюже и повидней подцеплены револьверы, на гимназисте шашка.

А другие молодые валили по мостовой в обнимку, как на гуляньи, и пели – но не любовные песни, а вот эти, восстанческие.

Да, в Киеве мягче, но как будто и продолжался всё тот же длинный мучительный московский день. Революция начинала чудиться уже привычно-бесконечной, всё это он видел, видел, видел.

В одном месте его затёрло и остановило на четверть минуты у ступенек газетной редакции, а на ступеньках стояло двое интеллигентов – один со сбоченной шляпой, кашне кое-как, другой выскочил наружу не одетый, а вид газетной крысы, очки на конце носа. И говорил тому негромко:

– У нас в редакции точные сведения, что вчера отрёкся! Но почему-то агентских сообщений нет.

А уже открылась возможность пройти, Воротынцев продвинулся – раньше, чем понял, что его обожгло, – но и не обернуться, не спросить, невежливо подслушанный разговор. Миновал.

А – ни о ком другом это не могло быть: **отрёкся** .

Отрёкся??!

Последняя загадка кончалась. Случайная фраза, ничем не доказана – а поразила верностью: да! И не может быть иначе! А что ж он застрял и молчит – во Пскове?

Ай-я-я-я-яй!

Отрёкся? Ну, доигрался.

Да разве он – мог бороться?...

При войсках! – и отрёкся?

Но – как же не подумал об Армии? О войне, которую сам же, сам же вёл так упорно, безоглядно? И вдруг...

А при Алексее – будет совсем шатко. У *кого* всё в руках? Где эти руки?

Утекали события – как эта толпа, – и не остановишь, и участвовать не дотянешься. Мерзкое, жалкое собственное бездействие. Бессмысленно и бессильно был Воротынцев затолкан и не знал, что делать.

Утекала толпа. И вдруг вспомнилась та причудливая кадетская дама в шингарёвской квартире, как она предсказывала завлекательное ощущение, когда мы будем лететь в пропасть. Хотя сегодня не было грома, бури, землетрясения, извержения – но в этом тёплом, пасмурном, скользком дне ощутил Воротынцев, что русская громада – поскользила, пошла вниз! И тем страшней, что – неслышно, и среди улыбок.

Вон, Брусилов, поспешил уже и расшаркаться. Но у Брусилова в 8-й армии Воротынцев воевал год – и успел понять, какая он шкура.

А – что Румынский фронт?... Молчит Сахаров, и то хорошо.

Отрёкся? – так теперь и не Верховный Главнокомандующий? И тем более нам становится на свои ноги.

По-шла! По-шла Россия!

Впереди, в расширении Крещатика, виделось и гудело ещё новое столпление. Посреди же был высокий предмет, и люди там наверху, и махали.

Далеко оторванный мыслями, Воротынцев не сразу взгляделся и различил, что это – памятник, люди залезли на постамент рядом с фигурой и держатся за неё. Но и, приближаясь в потоке, а оторванный мыслями, всё ещё не сообразил: что это за памятник.

И какой-то канат был перекинут через шею фигуре – и снизу его натягивали под гик, под свисты и смех. Многие руки добровольцев тащили этот канат, видимо желая свалить фигуру, – хотя и грохнуть она должна была прямо на них же, на толпу, не подставя рук, голову раньше, последне ногами, как падают во весь рост в крайнем горе или крайней безнадёжности.

Воротынцев дал понести себя мимо городской думы, с Михаилом Архангелом на тонко вытянутом шпиле. С обширного балкона читали телеграммы из Петрограда (но не было об отречении), кричали речи. И дальше в обход памятника. И только тут дояснил и вспомнил: да Столыпин же! Его поставили тут, вот, после убийства, перед войной.

Однако много крепче, чем думали, он стоял на своём параллелепипедном постаменте, по которому высечены были русский воин, плачущая боярыня и – «не запугаете!».

– Та к не возьмём! – кричали снизу.

А наверху, у ног фигуры, уцепились и бесстрашно суетились несколько расторопных юношей. Одному, без шапки, огненно рыжему, удалось другую, малую, верёвку перекинуть через шею Столыпина, он свёл оба конца впереди и теперь в рыжем восторге кричал вниз:

– За-вяжем столыпинский галстук!

Толпа загогокала.

И – что мог делать Воротынцев? Не шашкой же размахивать? Остановить этой скверны он не мог.

Зажатый беспомощной чуркой, ощутил, что эту революцию, ошеломившую его в Москве, вот он в Киеве уже ненавидит.

380

При своём бессловесном командире-прапорщике Станкевичу теперь надо было думать за весь сапёрный батальон. Начинать занятия он не мог бы – солдаты ещё не отошли от ожога восстания. Но надо было и усиленно искать пути понимания с ними, иначе батальон рассыпется.

Образовалось правительство! – очевидно, об этом надо было спешить говорить с солдатами, внушить им и разъяснить.

И Станкевич пошёл по ротам. Не выстраивал, но собирал, как на сидячих занятиях, в казарме, без шинелей и шапок, и произносил короткие речи. Он собирался говорить только об именах, кто какой пост занял, как он связан с народом, как давно боролся за его интересы. Но первые же две речи, а за ними и все остальные, пошли не так: Станкевич перед молчащими солдатами вдруг почувствовал необходимость как бы оправдываться, – оправдывать, что правительство вообще должно быть в стране, почему оно необходимо. И

оказалось, что и это не так просто доказать, во всяком случае он явно мало убедил слушателей. (Мелькнуло, что если б говорил в защиту царя – они б его поняли, наверно, привычней. Вот что, наверно, и было им не ясно: что это – «правительство»? А царь же как?)

И – никакого впечатления от фамилий министров. Уж казалось, как широка была по всей стране земгоровская слава князя Львова, – но во всех ротах солдаты как ни один о нём не слышали, никто не кивнул, никто не улыбнулся. Говорил ли Станкевич о заслугах перед армией нового военного министра Гучкова, о сокрушающих ударах, которые нанёс старой власти теперешний министр иностранных дел, – ни благодарности, ни узнавания он не читал на лицах. Остальных – и тем более не знали, а для Коновалова, Некрасова, Терещенко – Станкевич и сам не мог найти убедительных слов, чем они заслужили. И – обрывалось в нём. И с тем большей, последней надеждой он стал говорить о своём друге Керенском. Здесь – показалось удовлетворение на лицах, но не на всех, а – на здешних, кто петербургский, тёрся, читал, слышал. И то: одобрение не потому, что он – министр, а – несмотря на то, что министр.

Опустошённый вернулся Станкевич с обхода рот.

Он любил додумывать и формулировать всё до конца. И теперь додумывал. Внезапность и лёгкость переворота отняла у всех чувство правильной меры и критики. Кажется: если так легко пал строй, считавшийся несокрушимым, то дальше тем более всё пойдёт удачно и счастливо. А на самом деле: что может Временное правительство попытаться сделать? Только – восстановить организацию власти, вполне напоминающую старую. А наплыв революционной стихии оно воспринять не способно, самые головы министров для этого не способны раскрыться. Думский Комитет покорил революции фронт, отдал во власть её всё офицерство – но благодарности он себе не заслужит. Потому что в революции надо быстро **успевать**. Надо развиваться и двигаться быстрее самой революции, только тогда возьмёшь её в руки.

Станкевич казнил себя за свою растерянность утром 27 февраля. Он-то знал, соглашался с Густавом Ле Боном: народное большинство всегда нуждается в порядке, а не в революции. Поэтому революцию никогда не производит народ, а случайная толпа, в которой никто не знает ясно, зачем они кричат и восстают. Толпу ведут разрушительные элементы с уголовной ментальностью – и психологически заражают, присоединяют массу инертных. Революцию можно определить и так: это – момент, когда за преступление нет наказания.

И вот: находясь в центре вихря – **как** овладеть им? как направить его?

Думский Комитет, Временное правительство – и в самом Таврическом дворце еле заметны. Вождём революции – несомненно уже стал Исполнительный Комитет Совета. Он – уже владеет всей армией, хотя офицерство не на его стороне. Да потому-то именно и владеет, потому-то и тянутся к нему солдаты, что чувствуют в нём противоофицерскую силу.

Но на этом основанная власть – опасна, и Исполнительный Комитет сам может оборваться в анархию. Уже слышал Станкевич недовольные замечания и от Керенского, что вожди Исполкома не понимают значения власти, и готовы всё подорвать безответственно. Керенский, более всех успевающий нестись на переднем гребне, и душой уже несколько дней в новом правительстве, – из первых начал и ощущать эту опасную пустоту вокруг власти.

И эту тактику – быть на переднем гребне, Станкевич считал правильной. И вот что он придумал за час-другой: с опасностью анархии надо бороться в самом её гнезде! Надо – вступить в самый Исполнительный Комитет, для начала – просто в Совет, а там продвинуться. А в Совет? А в Совет надо пойти как делегат от офицеров своего батальона, очень просто. Совет – считается депутатов солдатских, но – раздвинуть, сломать это понятие: офицеры тоже должны там иметь своих представителей, и так наложится связка, и всё укрепитя.

В комнате собрания офицеры батальона сидели без дела, безвольной растерянной кучкой: они не смели призвать солдат к занятиям, и не смели воспользоваться своєю незанятостью, чтоб уйти домой. Просто удивительно, в какую последнюю неуверенность

повергло офицеров всё происходящее: сильная военная система, развитая несколькими столетиями, развалилась в несколько дней. И сам Станкевич наверно так же бы был опрокинут, если б не имел народно-социалистического воспитания и партийных связей.

А теперь он предложил себя делегатом в Совет – и офицеры безропотно и с надеждой согласились, даже голосовать не надо было.

Изготовили мандат по форме – и Станкевич, не теряя времени, отправился в Таврический.

Стоял красный солнечный денёк – ещё слабо-морозный, но и в свете и в воздухе уже была весна. На домах висели красные флаги. Много гуляющих. Станкевич прошёл проулком на Фурштадтскую и дальше по узкому её бульвару. Уже близ Потёмкинской встретил Колю, своего троюродного племянника, гимназиста выпускного класса.

Колино лицо среди всеобщего оживления выглядело откровенно-печально. Так странно это у гимназиста в такие дни. Он был – вдумчивый мальчик.

– Ну что, Коля? – спросил Станкевич.

А тот посмотрел почти со страхом:

– Ой, дядя Володя! Плохо.

381

Колин отец был немного писатель, и по фамилии путали его с известным автором морских рассказов Станюковичем, уже умершим, – радикальным интеллигентом, побывавшим и в ссылке за связь с народовольцами. Колин же отец никогда ни с какими партиями связан не был, но барин был либеральный, и как все сочувствовал всегда всякому движению свободы.

А с началом этой войны, тоже как все, принял её патриотически, а в прошлом году, как старый офицер запаса, добровольно пошёл командовать батальоном ополченцев. На фронте он был и по сегодня, а Коля жил на Фурштадтской с мачехой – энергичной, значительно моложе отца. Она в молодости была без пяти минут эсерка, чуть-чуть не вступила в партию, очень им сочувствовала. От замужества погрузилась в комфортабельную состоятельную жизнь, но старые симпатии, оказывается, не вовсе забыла – и в эти революционные дни они всплеснулись в ней, она захлёбываясь следила за событиями.

Да во всём взрослом обществе вокруг так было: очарование от революции, всеобщий энтузиазм, светлые лица друг ко другу и будто какое-то святое зерно проросло во всех. Кажется: юным бы сердцам – и тем более разорваться от восторга?

Но нет. Коля, как и другие некоторые мальчики в их классе, сразу воспринял революцию как грязный бунт – от первых же уличных сцен.

И между мачехой и сыном все эти дни шли споры. Она, прикладывая ладони к рыжеватым височным кудрям, отзывалась только восторженно, просто боялась верить, что такое счастливое освобождение наконец посетило Россию. А Коля упорно отвечал, что – разбой и воровство. (В их квартиру с обыском не пришли, так что доказательства остались за рамками.) Последние же дни их споры были вокруг царя: нужен ли России царь, может ли она без него? Мачеха просто взвивалась: откуда за нашими школьными партами появились такие консерваторы? Она считала монархию – средневековьем, а для народа, который прозрел, нужна парламентская республика, как во Франции. Она говорила: **мы**, наша революция, наша победа!

Отношения между мачехой и сыном были поставлены так, что она ему никогда ничего не приказывала, лишь предлагала, хочет ли он исполнить. Так и теперь она сказала:

– Не сходишь ли, Коля, к Сабуровым? У них организовали столовую для солдат. Я наготовила тоже туда для них, захвати в две руки, отнеси?

Коля дружил с молодёжью Сабуровых и отправился охотно.

В знакомом мраморном вестибюле их особняка он уже увидел на белом полу и на ковриках расшлёпы и комки грязи, которые, видно, не успевали убирать. Все вешалки

гардеробной были увешаны солдатскими шинелями. А в большом зале солдаты, человек более тридцати, сидели вокруг огромного стола, раздвинутого на самую большую торжественность и заставленного многими блюдами и тарелками, дорогой посуды, а в них наложено самое изысканное, икра, сёмга, лучшие колбасы, не говоря уже о кулебяках, пирожках и салате. Бритоголовые солдаты в гимнастёрках, было даже жарко в зале, сидели и много ели, больше молча, но с любопытством на всё озираясь. Шморгали носами и обтирались кулаками. А молодые Сабуровы и гимназистки, курсистки и студенты дружеских семей подносили, услуживали, накладывали, бежали на кухню за сменой – и были веселы, громки, в большом оживлении от своей деятельности.

Отнёс и Коля мачехины дары на кухню, вернулся. Кажется, надо было радоваться, что их непросвещённые обиженные младшие братья сидят по-человечески, почётно, в хорошей обстановке и едят вкусную пищу. Но ему показалось это всё очень фальшиво, – эта чрезмерная щедрость и даже изысканность стола, кормление в самом лучшем зале, украшенном бронзой, фарфором, лакированной мебелью, и подтайки грязи под сапогами, и нашлёпы на белую скатерть, и громкая отрыжка солдат, и совсем не добрые их взгляды вокруг – и щебечущая, переклончивая услужливость к ним милых барышень, и само оживление молодёжи какое-то замороченное. И даже когда солдаты, один, другой, захотели тут же и курить махорку – их пригласили не вставать и подносили мраморные пепельницы под их газетные самокрутки, с красными обломками раскалённой махорки, падающими на ковёр или на скатерть.

Коля почти бездействовал. Его оскорбила эта сцена и казалась ужасной, унижительной – да и бессмысленной, потому что таким манером невозможно накормить всех солдат и все дни. И почему именно этих – запасников, призванных к концу войны, многие и пороку не нюхали до сих пор, – когда его 55-летний отец пошёл воевать добровольно и старший кузен, тенишевец, не стал уклоняться от призыва для продолжения образования, но тоже пошёл добровольно.

Фальшивое было – мучительно.

Зато среди барышень он увидел одну незнакомую, старше его, возраста курсистки, а ростом меньше, темноволосую, с загадочными глазами, от которых оторваться было нельзя, – Коля в неё и вперился с безнадежностью младшего, не спускал глаз. Она тоже подавала, но не много, и медленно, с грацией нехоти, и почти без улыбки, как играла навязанную роль. Звали её Ликоня.

Потом стала к стене, заложив руки за спину, и так стояла вдали. Кажется, насмешка была на её губах, – а губы! а красавица!

Ото всего этого вместе Коля решил, подошёл к ней, стал рядом, не познакомленный, и тихо сказал:

– Позор какой. Как мы унижаемся. Ох, отольётся это нам.

Она подарила его чёрным взором, сделала лёгкое-лёгкое полубоковое изгибистое движение – головой ли, плечами, – и уже этим одним выразила больше, чем он мог собраться выразить. Но ещё и ответила:

– Да. Никогда нельзя терять себя.

Какая мысль! А голос! Просто удивительная девушка. И какие печальные втягивающие глаза. И сама – как из статуэток, расставленных в этом зале.

Потом вскоре она исчезла, Коля не заметил, когда. Исчезла – как и не была. И он забеспокоился, хотел ещё её видеть и слышать, поспешно ушёл, надеясь её нагнать.

Его не видя, за гардеробным шкафом стояли-курили двое солдат, и один сказал:

– О, паскуды, как живут! А напугались. Ну да нас икрой не купишь. Скоро мы этих чистых грёбаных... И этих скубентов...

... Это всё и рассказал он теперь дяде Володе, встретившись.

(по «Известиям СРСД»)

РЕГЕНТСТВО И УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ... Временное правительство не имеет права выработать никакой постоянной формы правления... Милюков испугался Гражданской войны? С какой стороны? Кто возьмётся за оружие в пользу «царской фамилии»? только «чёрная сотня»... Это чёрная сотня, переодевшись в солдатские шинели, симулирует наши революционные патрули, грабит обывателей... Именно оставление династии Романовых у власти грозит нам Гражданской войной. Назначение регентства было бы воспринято как покушение на завоевания...

ОФИЦЕРЫ И СОЛДАТЫ... разрушить единение, достигнутое ценою стольких жертв. Мы говорим о прокламации, подписанной двумя социалистическими партиями... Приказ №1 ставит офицеров на своё место... Солдат становится гражданином, перестав быть рабом... комитеты, под контролем которых всё оружие, не выдаваемое офицерам даже по их требованию, ибо оружие есть достояние всех солдат, всех граждан. Солдаты отныне – самоуправляющаяся артель, которая ведёт своё хозяйство совершенно самостоятельно... Не будем вносить разлада в ряды Славной Армии Русской Революции!

РОКОВАЯ ДАТА (1 марта 1881 – 1 марта 1917)... Казнь Александра II смелой группой революционеров... Царизм пускал в ход только нагайку, пулю и виселицу... То, что не удалось нашим одиноким товарищам в неравном бою, теперь осуществлено...

АМНИСТИЯ. Весь народ до сих пор был закован в цепи... Товарищи ссыльные, товарищи каторжане! От имени всей демократии мы приветствуем вас как освобождённых заложников...

ПРИЕМ ВСЕХ ЕВРЕЕВ В АДВОКАТУРУ. Решено принять в адвокатуру всех евреев, помощников присяжных поверенных.

ОБЪЯВЛЕНИЕ... Будто бы офицеры в полках... Будут приняты самые решительные меры к недопущению со стороны офицеров... вплоть до расстрела виновных.

Энгельгардт

ТЕЧЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛОВ БРУСИЛОВА И РУЗСКОГО.

ТЕЛЕГРАММА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА...

ПРИВЕТ АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ. Представитель английской армии передал новому министру юстиции Керенскому, что он уполномочен английским послом приветствовать Совет Рабочих Депутатов и Комитет Государственной Думы.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГОРОДОВ. К революционному движению целиком присоединились: Москва, Нижний Новгород, Харьков, Саратов, Вологда, Курск, Орёл.

ЛОЖНЫЙ СЛУХ О ПРОРЫВЕ У РИГИ. Вопреки циркулирующим слухам, на Рижском фронте прорыва нет.

ГДЕ ЦАРЬ И ЦАРИЦА. Вопреки слухам, Николай II не арестован. Императрица – в Царском Селе, в полной безопасности.

... горничная генерала Сухомлинова немедленно отправлена под конвоем в

Государственную Думу.

ОБ ОБЫСКАХ. В последние дни патрули производят обыски, выискивая остатки полиции, шпионов и хулиганов... При этом полезном деле, к сожалению, не редки случаи нарушения воинской дисциплины. Так, нам известно, что при этих обысках были случаи прямого грабежа. У одного из наших товарищей обыск закончился отнятием денег и часов. В других случаях пропадали ценные вещи и т. п. Мы полагаем, что все эти случаи не касаются солдат, а относятся к тем хулиганам, которые нередко присоединяются к патрулям. Патрули должны помнить, что великое дело, которое они делают... Поэтому, входя в чужое жилище, они должны сознавать святую обязанность... помня свою определённую цель найти скрывающихся реакционеров и насильников старого порядка...

ГРАЖДАНЕ! Свершилось великое дело: старая власть, губившая Россию, распалась... Нужно кормить армию и население. Скорей продавайте хлеб уполномоченным, отдайте всё, что сможете... Скорей доставляйте хлеб по назначению, родина ждёт...

Родзянко

Не плодите, товарищи, паники! Не поддавайтесь влиянию диких слухов, плодящихся во множестве. Мы ещё не победили, но каждая минута приближает нашу победу, и к ней нужно двигаться с полной верой в успех, не смущаясь слухами об изменах и предательстве... Мы имеем право на самообладание, потому что враг стоит перед нами жалким и опозоренным в последние минуты своей позорной жизни. Революции угрожает только неорганизованность самого народа. Каждый на веру принятый слух, каждое неосторожно брошенное слово о разладе... Все важные известия сообщаются в «Известиях СРСД». Если что будет угрожать нашему окончательному успеху – не будет от вас скрыто...

К ТОВАРИЩАМ РАБОЧИМ И ГРАЖДАНАМ ПЕТРОГРАДА. Совет рабочих депутатов призывает вас не препятствовать перевозке продовольственных грузов по городу, от чего зависит исход революции: необходимо развезти муку по хлебопекарням, чтоб у нас был хлеб... Уже сегодня должно быть вывезено с Николаевского вокзала 350-400 тысяч пудов. Необходимо поспешно разгружать, выгружать, перевозить, складывать, распределять...

Товарищи конторщики! Как члены единой пролетарской семьи, исполним свой долг перед революцией...

Товарищи деревообделочники! Настал момент принять участие в создании нового порядка...

383

А когда великий князь на всё согласился – оказалось, что само отречение никак не готово. Ещё с ночи взялся его составить ревностный республиканец Некрасов. И привёз с собой в кармане. Но когда теперь на его проект глянули – человек этот не имел ни малейшего представления о государственно-юридических понятиях и о взвешенности каждого слова в таких текстах.

Впрочем и другие не умели так сразу составить, чтобы не ошибиться.

А тут княгиня Путятина звала всех к завтраку.

Стали пока звонить по телефону, вызывать сюда юристов-государствоведов, Набокова и барона Нольде, да чтобы привозили свод законов.

Великий князь к столу не вышел.

Не снося поражения, Милюков отказался завтракать, уехал.

Гучков тоже.

Остальные за столом оживлённо обсуждали проект Некрасова, и что надо в нём изменить, и какая гора свалилась, и какие теперь долины стелятся перед ними.

Но приехали Набоков с Нольде и сразу их огорчили: законами престолонаследия никакое «отречение» не предвидится. Разве что, формально, приравнять отречение к смерти? Но тогда вообще, тем более, трон и должен переходить к нормальному наследнику. Император, отрекаясь, не мог лишиться престола ещё и другое лицо: престол – не частная собственность. Итак, сама передача трона Михаилу была незаконна, и теперь непонятно, на каких основаниях должен отречься Михаил. Тем более – как же писать ему отречение?

И дальше: кто есть Михаил со вчерашнего дня на сегодняшний? Император? Или регент?

Но не бывает регента без носителя Верховной власти.

Вот напутали так напутали.

Манифест от императора, которого не существует?

Но умница Набоков понимал, что дело в конце концов не в формальностях, а важно было теперь так составить манифест, чтобы не потрясти народной психики, но укрепить власть Временного правительства в глазах населения, особенно той части, для которой Михаил имеет нравственное значение, – торжественно подкрепить полноту власти Временного правительства и преемственную связь его с Думой. А через Учредительное Собрание предусмотреть преемственность и для конституционной монархии и для законного постоянного правительства. И при этом прикрыть, а не выпячивать, что князь Львов назначен бывшим царём: в сегодняшней обстановке это было бы ослаблением.

После завтрака пока все разъехались, а остались Набоков, Нольде и в помощь юристам набился Шульгин участвовать до конца в великом историческом событии.

Составители уединились в классную комнату детей Путятиных, сидели и работали там.

Передельывали, передельывали, постепенно стало выступать: «Тяжкое бремя возложено на Нас волею брата Нашего... Одушевлённые единою со всем народом мыслию, что выше всего благо родины Нашей, приняли Мы твёрдое решение в том лишь случае воспринять Верховную власть, если такова будет воля великого народа Нашего, которому и надлежит... через своих представителей в Учредительном Собрании установить образ правления и новые основные законы Государства Российского...»

Но если Михаил не принял Верховной власти, то какое он имеет право давать обязательные указания, вот и об Учредительном Собрании?

Каждое слово казалось бесконечно важным. Как будет реагировать Россия? Как – законотолковый Запад?

«Повелеваем всем гражданам подчиниться Временному правительству...» вызвало новый спор: как квалифицировать Временное правительство? Всем хотелось написать «возникшее по воле народа». Но ещё за завтраком Керенский резко протестовал: он не мог допустить, что правительство имущих классов возникло по воле народа. Родзянко же хотел: «возникшее по почину Государственной Думы», так настаивал и Шульгин. Да третьё серьёзное было придумать и вовсе трудно.

Набоков сел за парту девочки Путятиных и превосходным почерком переписал проект.

Затем – пригласили в классную комнату великого князя. От него возражений не ждали.

Он опёрся о парту, прочёл, не беря в руки.

И сконфуженно попросил: заменить императорское «Мы» на простое «я» с маленькой буквы. И слово «повелеваю» заменить на «прошу».

И потом... где же тут упоминание Бога?

Не тем были головы составителей заняты, не только спешили, но просто забыли: Бога? Да, надо же Бога.

И вставили: «призывая благословение Божие...».

Значит, ещё раз переписали, да два экземпляра. На школьной бумаге, в одну линейку.

Уже серело в комнате, скоро свет зажигать.

Тут снова приехали князь Львов, Родзянко и Керенский, желавший проследить до конца.

Снова позвали великого князя.

Он взял перо путятинского сына-гимназиста, сел за маленький столик, подписал:

Михаил.

Все были овеяны важностью момента.

Уж теперь-то наверняка он был не император – и Родзянко охватил его лапистыми руками, целуя.

А Керенский снова воскликнул:

– Ваше императорское высочество, вы – благородный человек!

384

Так восставать дальше? – или не восставать? Свергать буржуазное правительство или не свергать? И если свергать – то теперь же, пока оно ещё дохнуть не успело, ещё не расселись министры? или повременить, пока больше соберём оружия и сил?

Эту вчерашнюю листовку, так страстно составленную с выборгским райкомом – «вся власть Совету!», – не только Исполком не одобрил, но запретил её собственный же большевицкий Петербургский комитет. Ну, не ожидал!

На сегодня днём потребовал Шляпников решающего заседания ПК. Сам кинулся пока в Таврический: давайте же обсудим на ИК вчерашнее поведение Керенского! давайте припечатаем этого арлекина! Нет, меньшевики трусили включить в повестку. Вместо этого посадили Шляпникова отбывать дежурство по ИК – принимать делегации, посетителей. Теперь и не успеть к началу заседания ПК. Послал Молотова с Залуцким вперёд – делать доклад от БЦК. Договорились держаться так: если даже к немедленному восстанию не призываем (хотя неправильно!), то – никакого доверия правительству крупной буржуазии! агитировать за создание истинно-революционного правительства! надзора-контроля за правительством от Совета – мало!

Сам пока дежурил по ИК, дежурный имеет право отвечать, не советуясь с Исполкомом. Пришли от Озерков и 1-го Парголова: можно нам отдельную милицию создавать? Конечно, создавайте. А где оружие брать? Реквизируйте, где можете, от Совета не ждите. А начнутся работы – можно с работы уходить? Валяйте. А кто будет день оплачивать? Заставим капиталистов!

Тут явился большевик-путиловец: три дня был полной властью на Путиловском заводе и даже во всём Нарвском, районе – а вот районное рабочее собрание назвало его диктатором и свергло. Жаль. Теперь парень хотел сесть в Таврическом за какой-нибудь стол. Нет, походи поработай в городе, нам практические работники нужны. (Тут, в Таврическом, и Лашевич справляется, и особенное доверие у солдат вызывает его пропитой голос.)

Потом помчал на Биржу труда, на ПК. Надо было войти с переулка в неказистую магазинную дверь, насквозь через магазин, потом по пыльным лестницам подняться на самый верхний этаж, почти на чердак, ещё и здесь пройти несколько затхлых канцелярских комнат под низким скошенным потолком – и только тогда добраться до комнаты заседаний, захваченной Политикусом для ПК.

Само это загнанное жалкое пыльное помещение показывало, до чего же большевицкая партия оказалась робка, бессильна и отёрта. Это особенно ударило после кипения Таврического и просторной воли уличных толп.

И что ж тут были за вожди? Им как будто и место было вот тут, на чердаке. Сидели вокруг непокрытого длинного стола и на лавках под скошенными стенами. Было человек десятка полтора. Седовласый седоусый Стучка, порядочный однако хмырь. Орлов-Егоров с поддёрнутым носом, в кителе и в пенсне, несходно. Феодосии Кривобоков, он же Невский, – закатистый лоб, волосы как подвитые, а взгляд довольно бараний. И Ильин-Женевский, с матовым лицом, шерстovidными волосами, какой-то по-китайски безвозрастный.

Косоглазый самоуверенный Шмидт. Какой-то ещё новый моряк, ноздревато-мордоватый, но лихой. А обиходливый Политикус председательствовал, очень хорошо себя чувствовал и даже весело острил теперь.

Доклад Молотова уже кончился, теперь в прениях занудно городил безликий Авилов меньшевицкую чушь: что мы переживаем революцию буржуазную и потому задача пролетариата – полностью и честно поддерживать Временное правительство. Он всё время цитировал то Маркса-Энгельса, то свои собственные прежние статьи, – и только одно хотелось у него спросить: а где ты был, когда мы гоняли по Питеру от филёров и гремели всеобщей стачкой? А сейчас вы тут уселись благополучно рядком: поддерживать Временное правительство, «постольку-поскольку» его действия будут соответствовать интересам пролетариата. (Да конечно же не будут!) Мол, нецелесообразно убивать корову, не выдоив из неё молока.

Насчёт коровы – так, а не видите вы сути дела.

Только Шутко – самый молодой, хоть уже и с залысинами, весело требовал: вооружённо выступать, и немедленно! Сколько оружия мы забрали на Выборгской – и всё оно у рабочих! И Московский батальон с нами пойдёт! Да мы Временное правительство сейчас сметём быстрее, чем царя! Да в Новой Деревне уже рвут «Известия» Совета, кричат, что там соглашатели, а надо идти арестовать и убить Родзянку и Милюкова!

Худенький Калинин с Айваза, в очках, с лопаткой-бородкой, не поймёшь – сочувствен? Хитроват.

А вот что! Оказывается, тут Молотов не сделал боевого доклада, всё расквасил, а вот уже начинал тянуть в сторону ПК: у правительства и Совета больше войск, почти вся армия за них, соотношение сил не в нашу пользу.

А Шляпников – чувствовал правду немедленного восстания! – но не мог её убедительно выразить этому запылённому заседанию. Вот так, сами ж мы во всём и виноваты! – говорил он. Когда вчера на Совете дошло до голосования не поддерживать буржуазного правительства – так во всём зале только 15 твёрдых рук поднялось, и это вместе с межрайонцами, а там одних большевиков было больше, но – струсили, и дали себя одурачить. И это большевики – из такого теста? Да если наши собственные ряды расплзаются – кто ж нас будет уважать? Что ж Совет? – мы там в меньшинстве и через него взять власть не можем. Мы для них – «призываем к анархии». То есть, позвольте, что ж такое анархия? – значит, всякий, кто не согласен с новым порядком вещей? И вот на наших глазах вовлекают рабочих в обман «всенародного братства» или «единства всей ревдемократии», – а мы не берёмся разрушить: какое ж может быть братство с буржуазией или единство с оборонцами? Для того ли мы побеждали на улицах, чтобы теперь установить буржуазную законность и порядок? передать власть от одной клики к другой? А вы – запретили выборгскую листовку!

За эту горячую листовку так было обидно! – на пути революционного разлива становились свои же! Внутри своей партии побеждали оппортунисты!

Но какое-то покорное соглашательство овладело ими. И Залуцкий туда же. И особенно смущало, что и Митя Павлов, сидевший тут, тоже откачнулся, был за умеренных. Если Павлов так думал – значит и многие квалифицированные рабочие тоже уже хотели покоя.

И хоть Шляпников был председатель БЦК, и единственный тут член ЦК, и лично отвечал перед Лениным за всю линию партии, и мог бы приказать боевым выборжанам восставать и без этого робкого ПК, – но как же почти одному против них? Не было у него уверенности стукнуть кулаком и крикнуть: а вот так!

А утекали, он чувствовал, неповторимые дни, когда Временное правительство ещё ни за что не держится, и сшибить его – только локтем двинуть.

называемых «советских пленумов»: не только Исполкому работать нельзя, всё время кому-то отвлекаться на Совет, но даже нельзя из комнаты в комнату протиснуться по дворцу революции – столько набивается этих рабочих и солдатских депутатов, неразбериха, просто уже невыносимо. А толку с них – абсолютно же никакого, ни одного вопроса с ними обсудить нельзя, да и не там их решать: вся текущая и ответственная работа, все политические задачи ложатся только на Исполнительный Комитет. Нет, к чёрту этот перманентный митинг, найти надо способ покончить с ежедневным многолюдьем, – да ведь каждый день ещё и добавляется новых депутатов, так и прут, и прут. А походи попробуй теперь их распусти! – кто это сумеет и посмеет!

Уже столько набралось этих депутатов – сегодня, кажется, больше тысячи трёхсот, – что вот хлынули они в Белый думский зал. Но и в Белом зале заседали думцев никогда не больше пятисот, и кресла депутатские были с подлокотниками, из-за того вдвоём никак не втиснуться, – и все, кто места не захватил, теперь садились просто на ступеньки проходов, и густо забивали пол внизу, стоя, и хоры для публики, – да ещё ж некоторые солдаты до сих пор таскали при себе винтовки. А лестно им.

Истечь торжественной речью пошёл туда, разумеется, Чхеидзе, пока с утра ещё силы свежие. Взобрался на родзянкинскую председательскую вышку, куда и думать раньше не мог, и отсюда возгласил: пусть третьиюньская (и слова-то никто не понял) Дума заглянет сюда – и увидит, кто тут теперь заседает. И показывал – спускался – где раньше сидел Марков 2-й, а где сам Чхеидзе, – а скоро соберутся сюда и депутаты всенародного Учредительного Собрания. Потому что уже высоко поднято знамя всемирного пролетариата – и да здравствует этот момент!

А потом началась череда приветствий Совету – от Голутвина и Коломны, от Саратова, от каких-то полков, – и уже сам Чхеидзе не захотел там оставаться, спеша уйти на Исполком. Но и Нахамкис тоже не захотел идти председательствовать. Но – и нужно было всё-таки послать глотку, и энергичного. И сговорили туда – Богданова, меньшевика. Взаяся.

Исполнительный Комитет тоже сегодня перебрался на новое место – в комнату близ Белого зала, по пути в Полуциркульный. Отчасти потому, что все уже знали место в прежней комнате, даже и за занавеской, и мешали заседать, особенно по тайным вопросам. Отчасти потому, что в прежних комнатах теперь разворачивалась канцелярия Исполкома – из домохозяев и примкнувших добровольцев, и там же с сегодняшнего дня будут раздавать своим горячие обеды и ужины. Да и правильно было – распространяться по Таврическому, укореняться и уже не дать переселить Совет депутатов ни в какое другое здание.

Ещё была забота: куда девать этих десятерых солдат, которых Соколов так опрометчиво избрал и привёл в Исполнительный Комитет? Сидеть серьёзно обсуждать что-либо вместе с ними – было невозможно. Правда, их избрали только на три дня, значит завтра – последний их день, да ведь не уйдут по-доброму? На сегодня убедили их, что их место – там, в Белом зале, где все солдаты. И они пошли, у-у-уф.

В новой комнате заседаний Исполкома тоже теперь учреждалось приятное заведение: на отдельном столе у стены было наставлено и навалено в изобилии: масло, сыр, колбасы, консервы, буханки пышного белого хлеба, и двухфунтовые кульки сахарного песка, – в изобилии, от которого отвыкли, потому что сахар уже несколько месяцев был по карточкам, и на белый хлеб тоже не всегда деньги бывали. Давно пора было такое учредить, потому что члены Исполкома истощались, изнурялись, но 10-12 часов невылазно во дворце и ещё потом заботясь, где бы поесть.

Теперь изменился самый вид заседаний, как бы добавлена была влага к их прежней сухости. Ни минуты не было такой, чтобы все сидели вокруг стола заседаний, но двое-трое-четверо постоянно стояли у того питательного стола, чаще спиной к заседающим, и там чем-то шурша. Что тут отставало – сервировка: не было ни тарелок, ни ложек, ни вилок, а – кружки жестяные, и даже приржавленные. Но какой упоительно-сладкий чай можно было размешать карандашами или пишущими ручками! А всё остальное резали и брали, даже и консервы, перочинными ножами, помогая пальцами.

Один из вопросов сегодняшнего исполкомского обсуждения был – судьба Романовых. Но вопрос прошёл легче всего, почти и без прений: не нашлось у Романовых здесь защитника или сочувственника. Отречный манифест Николая вызвал в Исполнительном Комитете только смех: вот это-то и вся сила царизма, которая нас так давила? Инсценировка приличной формы добровольного отречения, когда он стихийно низложен! Особенно смешно, что Николай поторопился назначить Львова премьер-министром – как будто это могло что-то изменить! Революция катилась своим ходом, и уже ничто не зависело от образа действий романовской шайки.

Другое дело – подлость и двуличие цензовиков. Только сегодня члены Исполнительного Комитета разобрались во всём этом фокусе: ведя неискренние переговоры с Исполкомом, цензовики тем временем втайне снарядили экспедицию к царю с попыткой спасти династию и монархию! Каково? Можно им вообще верить?! (Некоторые члены были просто вне себя.) Буржуазное коварство и пролетарская доверчивость! (Да как же прохлопали их поездку?! Да именно в те часы в министерстве путей сообщения не оказалось на месте Рулевского, который всё доносил в Совет, что делается у Бубликова.) Ах, цензовые мерзавцы! Закулисные безответственные переговоры! Правда, ничего особенного они не выиграли. Но ещё эта вчерашняя милюковская наглая речь. И ещё сегодня возились с Михаилом. Да чем скорее изолировать династию – тем спокойней, никакой реставрации.

Это в принципе решено. Всех переарестовать. Сперва мужчин. Технику арестов должна бы разработать Военная комиссия.

Возмутительно и другое: поведение товарища Керенского! – вот что надо обсудить. (Его самого, конечно, не было здесь – он не считал нужным сидеть на Исполкоме.) Вращаясь там, в самом буржуазном гнезде, он не мог не знать о попытке плутократии спасти династию. И почему ж не протестовал? Почему не сообщил нам?

Да если говорить о Керенском, то возмущение им шире и глубже, – этот вчерашний бесстыжий фокус: выскочить перед несмысленной толпой и демагогически вырвать согласие.

Они все возмущались, но и понимали: Керенский вырвался на такой простор, где их осуждение уже его не задевало.

Он не явился на заседание, сам, но имел наглость прислать им – из комнаты в комнату! – требование: командировать кого-либо из членов Совета в Петропавловскую крепость, где происходит разгром оружейных складов под руководством большевиков, – а всё оружие теперь принадлежит исключительно Временному правительству.

А Шляпников – хороший плут, у него даже перед товарищами по Исполкому всегда такое непроницаемое лицо, будто он вот сейчас уходит от филёров: выбрит, щёки гладкие, глаза невыразительно спокойные, усы застыли на верхней губе, волосы гладко зачёсаны, руки чаще всего на груди впереплёт. Чудится полунасмешка, но и не поймашь прямо, чтоб смеялся. Все товарищи изо всех партий приходят в Совет как к себе домой – одни большевики искренно, у них всё время своя конспирация.

И хотя тут Шляпников сделал невинный вид, пошёл звонить-проверять, а ясно, что знал, и даже может быть этой грабилкой оружия и руководил тайно. С таким объяснением он и вернулся: ничего не может поделывать, никакого разграбления не происходит, рабочие в большой дружбе живут с солдатами Петропавловки, и те им от себя дарят часть своего оружия. И ничего плохого нет в вооружении рабочих: Совет же и будет более обеспечен защитой.

А из Белого зала тем временем доносились, при открываемых дверях, всё крики и приветствия, всё крики и приветствия.

Наконец вот теперь обязан был и мог Исполнительный Комитет упорядочить свою работу. До сих пор раздирали его противоречивые распоряжения членов, – что все заведывали всеми вопросами и, не зная или зная, отменяли один распоряжения другого. Сегодня, пока и солдат нет, разделились они на 11 комиссий и секретарём своим избрали аккуратного вежливого Капелинского, так что теперь появятся у них и протоколы.

Впрочем, не долгие часы они тут спокойно позаседали: уже провели их новое пребывание, и уже сюда стали пробиваться искатели с внеочередными и экстренными заявлениями.

А у них зависали свои вопросы. Цензовики подняли большой шум о «Приказе №1», и Военная комиссия требовала: как понимать и чего держаться? И действительно, сам чёрт не поймёт, чего там наприказали, не все в Исполкоме и знали об этом приказе (и хорошо хоть успели снять выборность офицерства). И – кому приказали? Одному петроградскому гарнизону? А покатило на всю Действующую армию, этого не учли.

Теперь большинство, кто и знал, стали отгораживаться, что они об этом Приказе не знали. Хорошо: поручить Еденной комиссии издать разъяснения к Приказу №1.

Но тем более тогда в упор вопрос: как же они все относятся к продолжению войны? Всё недосуг об этом поговорить.

А из большого зала гудели: в Павловском училище какого-то солдата из obsługi кто-то ударил или наказал – так Совет отряжал теперь туда комиссию в 50 человек, почти полуроту, – для принятия всяких мер, вплоть до ареста кого угодно, хоть и начальника училища.

Да товарищи! Да закройте же дверь, невозможно нам их слушать, у нас свои дела!

Своё главное дело было вот какое. Полная победа революции состояла бы в возобновлении нормальной жизни Петрограда. Пока там решится с заводами, – а самое видное и самое всем нужное дело – это пустить трамвай. Это было бы и облегчение для революционных жителей и символ восстановления порядка при революционном строе. Но одно дело, что за дни революции трамвайные пути изрядно занесло снегом, и втопталось, и вмёрзло в лёд, и чистить предстояло ломами, хоть даже в воскресенье – а людей на работу теперь и в будни не найдёшь, кого брать? Городская управа находилась в полной растерянности и просила помощи Исполнительного Комитета. (Никому и в голову бы не пришло ждать помощи от Временного правительства.)

Но расчистить пути – ещё как-нибудь расчистят, а самый острый вопрос: как быть с солдатами? Ведь теперь, пользуясь завоеваниями революции, они все попрут в трамваи, да не на задние площадки, а внутрь, наряду с обывателями, – но платить гривенник конечно не захотят, а полезут бесплатно, хоть одну-две остановки подъехать, – и так забьют трамваи, что уже ни старые, ни малые, ни женщины не сядут, и даже к трамваю не дотиснутся. И трамвай прогорит, и будет служить не жителям, а возить только солдат – а их в гарнизоне полтора-два тысяч, это саранча!

Вопрос из технического вырос в высоко-политический! Разумно было заставить солдат платить хотя бы половину проездной платы – пятак. Но Исполнительный Комитет не мог опубликовать такого заявления, не теряя революционного лица! Масса вырвалась из рабства, завоевала свободу – и хотела пользоваться ею! Обращаться с гарнизоном надо до крайности деликатно.

И решили оставить солдатский проезд бесплатным.

А ещё просила городская управа – призвать население вернуть трамвайные ручки и другие детали. В острый момент уличных волнений это была дерзкая находка, это был ключ Революции – отбирать у вагоновожатых трамвайные ручки.

А сейчас эти же ручки становились ключом к возврату в мирное положение.

ДОКУМЕНТЫ – 14

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

Из протокола 3 марта:

Постановлено:

- 1)... арестовать династию Романовых...
- 2) По отношению к Михаилу произвести фактический арест, но формально объявить его лишь подвергнутому фактическому надзору революционной армии.
- 3) По отношению к Николаю Николаевичу, ввиду опасности арестовать его на Кавказе, предварительно вызвать его в Петроград и установить в пути строгое над ним наблюдение.
- 4) Арест женщин из дома Романовых производить постепенно...

386

Герб государства Российского.

Оркестр играет воинский марш «Гренадер» – какой украшенный! сколько венков, сколько лавров!

Сколько острого и страшного во все стороны! Острые перья на сильных орлиных крылах, и даже вниз – как перевернутые пики петербургских решёток.

Приближаясь -

Верхние перья от силы и напряжения даже загнуты как когти. И две сращённых орлиных головы, с острой чешуёю грив.

Ещё крупней -

И языки, высунутые как жала.

И крючковатые клювы.

Это рисовалось в тёмной древности, напугать соседей насмерть. Это – царственные византийские орлы, и через свирепые глаза их, по одному на каждом, нам не проникнуть в их невиданные замыслы.

Две головы – две половины Великой Римской империи.

Марш «Гренадер»! Какой он праздничный, какой красовитый, гирляндный. Звуки любят сами собою.

А с тех пор – меняли, меняли этот герб, то опускали крылья, то поднимали и вытягивали, то собирали

хвост, то растопыривали. Сколько занимались этими орлами от Петра! – лепили их на знамёна всех частей, в наверхья знаменных: древков, на поясные бляхи, на патронные сумки. А вот таким страшным – зачем-то сделал герб Александр II после Крымской войны.

А бывают марши – ноги еле касаются земли. Вот – Парижский марш 1815 года, – марш всемирных и бескорыстных победителей: ах, ничего этого нам не надо, посмотрим и уйдём.

На черно-зелёное тело орла, на распластанные крылья набросаны, по светлей, восемь гербов царств, а спаянный центр покрыт большим щитом Георгия Победоносца, поражающего змея с белого коня.

А с двух венчаных орлиных голов – две малых короны несут – ничем, лёгкой лентой, – несут над собой одну большую корону, объединяющую.

Она реет над гербом – ни на чём, на ленте.

Полки, полки, полки проходят где-то там внизу, под этим гербом, висящим в небе.

Отдаляясь -

Опять – весь герб целиком. И теперь мы видим его внутренние скрепы. Через шеи и спаянное двойное тело усилия переданы на лапы, вся сила в этих лапах,

и держит одна лапа скипетр, другая лапа – державу, – для той, верхней, короны,

Не являет нам природа такого. Но это – крепко сочленено.

Однако, на чём? Всего лишь – на узорах петербургских решёток.

А в каждом марше есть и своя печаль.

Кому – как. Не залюбуешься – а страшно.

А крепко. Это может держаться, держаться...

Но – вошёл в кадр молот на ручке, от рук невидимых, навис сверху сбоку -

Удар!

Удар! – и -
и – нет короны! И – нет одной головы!
Римская ли, Византийская, Российская -
Удар!
под молоток!
под молоток!
И – нет державы, отбита!
Удар!
Удар! И – нет второй головы с крылом, отбиты по изломанной линии!
И осталось – спаянное тело, прикрытое Георгиевым
щитом, да в одинокой лапе одинокий скипетр,
протянутый теперь неизвестно кому.
Ещё это держится неизвестно на чём – но ещё одним ударом разбивается вбрызг!
= И мы смотрим, как летят осколки
мимо молотобойца, ставшего на лесенке, – мимо вывески «Аптека» -
вниз на тротуар,
где уже лежат и прежние деревянные ошечья.
= И кучка народа с красными лоскутами на грудях, на
шапках
стоит и смотрит,
с одобрительным гулком.
Громкий марш – «Радость победы»! Под этот марш мы побеждали, под этот марш мы
шагали, не зная пределов. Какие были веселья раньше! – ах, и вот оно опять!
= И – ещё орёл, выступающий из вывески,
и – ещё его молотком!
И вот – мы понимаем марш по-новому:
= Ещё орёл!
И – ещё молотком!
«Радость победы»! – над проклятым прошлым. Как поют и обещают трубы!
= Невский проспект, одна сторона.
Да сколько ж этих орлов, не замечали, как изувешан
ими проспект -
на вывесках присутственных мест,
дворцовых поставщиков,
других торговцев...
= Не ленятся люди высокие лестницы изыскивать, приставляют,
а то на грузовике въезжают на тротуар: удобно бить с
платформы.
И – молотком его, проклятого!
= Или – ружейным прикладом!
= Или – штыком поддеть! содрать!
= А где – и палкой добить!
= Или просто руками доламывать, деревянного.
«Радость победы»! Нельзя было веселей, чем раньше, а вот веселей! Нельзя было
подхватистой, а вот...
= Навалено осколков. И целых орлов.
Прикладами их добивают на снежном тротуаре.
Ногами ломают и топчут.
Хохот толпы, и возгласы – а ну, поддай!
= А дворники метлами подметают, подметают...
Живо подметают, может и не весело, но поворачивайся.
В перемеси под метлой – орлиные головы, короны,

державы, скипетры.

= Перед Аничковым дворцом,
перед двумя его каменными воротцами
на тротуаре, на убитом снегу
натащили, насобрали много этих гербов, орлов,
битых и целых, сложили в груды и -
= горит! Весело занялось! уж это весело!

Подхлопывают в ладоши, друг друга локтями под бок, другим показывают, сами смотрят.

Но и в этом марше местами удивительная певучесть, и она незаметно переходит в марш «Тоска по родине».

= Языки огня повторяют костровые взлёты орлиных
перьев,
никогда не разгаданную костровую их обречённость! -
это и прежде было уже готовое пламя,, только черно-зелёное!

Что за марш! Он – как будто не для ног! Это не столько шаг полка, – осветлённый,
поднятый, он тянет нас из самой груди, и так ведёт.

Палят, палят,
охватывает огнём
державы, скипетры,
короны,
Георгии Победоносцы...

«Тоска по родине»? – полки шагают где-то далеко? И – когда, когда ещё мы
вернёмся?...

= А вот этот что-то всё не горит, всё не горит, неймёт
его огонь! целый!

Не деревянный бросили...

= А вот – широкая кисть в руке замазывает, замазывает чёрным
на высокой вывеске рисованный герб, не отдельный.

= А солдат штыком подсовывает обломки гербов в костёр,
цепляет и подкидывает их туда, гуще в огонь.

Задорное лицо.

= А вот и злорадные.

= А вот – весёлые, беззаботные.

Подхлопывают

маршу, который слышат все, но не все понимают. Тоска тоской, но ведь это – марш, в
нём уверенное обещание и побед?

= И стоит раззява в шинели с пуговицами,

а на каждой – герб,

герб,

герб. Ещё и эти все пооторвать, не сразу спохватишься.

387

Сегодня утром на квартиру к прославленному адвокату Карабчевскому, председателю петроградского совета присяжных поверенных, позвонил телефон. И голос, даже в трубке молодой и вибрирующий, объявил:

– Николай! Платонович! С вами говорит министр юстиции Александр Фёдорович Керенский. – Представлял себя как кого-то третьего и выше себя. – Вы знаете, сформировалось Временное правительство, и я взял в нём портфель министра юстиции.

Если бы не член Государственной Думы, Керенский был адвокат-мелюзга, юрист пригготовительного класса, всего Уголовного Уложения даже и не знал. Но вот соотношение

резко менялось:

– Поздравляю вас, Александр Фёдорович!

– Спасибо большое. – И сразу к делу: – Николай Платонович! Я намерен поставить правосудие в России на недосягаемую высоту!

– Превосходная задача! – только и мог изумиться Карабчевский.

– Я хочу, – звонко продолжал мальчишеский голос с того конца, – совершенно обновить состав министерства юстиции. И состав Сената. И всё это, разумеется, из сословия присяжных поверенных. Не могли ли бы вы сегодня же – это дело не терпит отлагательств, – собрать ваших товарищей по совету? Чтобы я мог с вами посоветоваться и наметить всех кандидатов.

– Увы, – только мог погоревать Карабчевский. – Помещение нашего совета, как вы знаете, погребло при пожаре здания Судебных Установлений.

Керенский не упал духом:

– А вы не хотите принять меня и совет у себя дома?

Напор – как буря, не устоишь. Да наверно и надо соответствовать событиям и восхождению нового министра. Уговорились: после трёх часов дня. Уж там как ни относись к присяжному поверенному Керенскому – но всем интересно и нужно осмотреться в грандиозном повороте истории.

К трём часам в большом кабинете Карабчевского уже все собрались, расселись в креслах и на диванах. Как ни в какой другой среде здесь было много «определённо-левых», и они ликовали, у них был праздник все эти дни и вот в эту минуту. Сам дородный Карабчевский и другие солидные адвокаты смотрели на события с энтузиазмом сдержанным (у Карабчевского был и осадок возмутительного отнятия автомобиля, до сих пор и не найденного), – но тем более считали себя обязанными помочь правосудию удержаться на высоте и в этом революционном потрясении, быстрота которого поражала воображение.

И всем было необычно увидеть вот сейчас в министре – не важного императорского чиновника, а доступного коллегу по сословию.

И ровно в три часа распахнулась дверь в канцелярии Карабчевского, но вошёл не ожидаемый министр, а громоздкий, неуклюжий, с виноватым видом граф Орлов-Давыдов, – Карабчевский знал его хорошо, ибо вёл его дело когда-то. Граф объявил от имени Александра Фёдоровича, что Алексан Фёдч несколько запоздает, его задержали в Думе, а он, Орлов-Давыдов, просит разрешения здесь дожидаться. Карабчевский отвёл его в другую комнату.

Ждали министра, обсуждая происходящее, бывшее и небывшее. Вот – сгорели при пожаре Окружного суда все нотариальные акты Петербурга! Передавали слух, что члены Временного думского Комитета, объявляя власть, все имели при себе яд, – и если бы пришли правительственные силы, то все покончили бы с собой. (Карабчевский, зная многих из них, не верил. Да что уж так могло им угрожать?)

Вдруг послышалось движение в передней. Швейцар ретиво распахнул дверь кабинета – и быстро вошёл, полувбежал стройный худой молодой человек с коротким бобриком светлых волос и в чёрной какой-то рабочей куртке (однако в талию), которой стоячий воротник так высоко облегал его узкую шею, а борт застёгнут наглухо, а обшлага тесны в кистях, – что ни проблеска белой сорочки не было видно нигде, как будто куртка надета на голое тело. Так никто не одевался в обществе, что-то было военно-походное в этой одежде и что-то сразу необычное, выделявшее нового министра от смертных.

А за ним поспешал ещё молодой человек, в военной форме, но знали его – тоже присяжный поверенный.

Лёгким движением левой руки наотлёт Керенский бросил, что это за ним – офицер для поручений при министре.

А из другой двери нетактично высунулась крупная голова Орлова-Давыдова, наблюдая, но не решаясь сюда.

Все поднялись – и Керенский, закинув голову, замер, ожидая себе приветствия. Он был

очень гладко выбрит, но впечатление, как если б на лице ещё ничего не росло. Однако сияюще-вознесенный вид его выражал такую пламенную веру, что было даже и не смешно.

И Карабчевский, с пышной львиной головой, со значительностью старого адвоката, владеющего и величественными жестами и бархатным голосом, – произнёс министру-мальчику ожидаемую речь, хоть и краткую. Что петроградский совет присяжных поверенных желает новому министру юстиции стать стойким блюстителем законности, в которой так нуждается Россия, измученная беззаконием.

Всё в том же замершем запрокинутом положении Керенский выслушал – а затем раскинул обе лёгкие руки в стороны, как бы желая обнять тут сразу всех, – и с пулемётной скоростью и с подкупающей искренностью, весь исходя от искренности, высказал:

– Дорогие мои учителя! Дорогие товарищи! Я ещё не принял министерства – и вот я уже с вами! Если, всё-таки, есть в России что-нибудь действительно достойное и хорошее, и может быть единственно достойное и хорошее, – то это несомненно адвокатура. Кто же другой всегда стоял на страже права и свободы? И вот – я с вами в первые же часы моей деятельности! И я пришёл просить вас принять посильное участие в поднятии правосудия на высоту, которая соответствует важности исторического момента!

Он, конечно, мог бы сказать ещё многое-многое, но чувства не давали ему вымолвить больше. А кинулся он – обнимать и лобызать всех присутствующих адвокатов, начиная с Карабчевского.

И так быстро и порывисто это произошло, с такой отдачей чувств, что когда он всех перелобызал и его усадили в кресло – он был близок к обмороку. И узкое лицо его, побледневшее, слишком молоджавое, и слишком тонкая шея, и эти короткие волосы, обстриженные по-мальчишески, вдруг выявили хилость его и незащитность.

Руки его похолодели. Бледность была глубокая, голова откинута на спинку, глаза еле смотрели.

Карабчевский перепугался, что министр сейчас и умрёт у него в квартире. Он распорядился быстро подать крепкого вина.

Министр почти не выказывал движения. Все, столпясь, затаили дыхание между жизнью и смертью. Орлов-Давыдов, похожий на крупного печального пса, уже полностью втиснулся через дверь и успокаивал, что с Алексан Фёдоровичем это бывает – от слишком глубоких чувств, от переутомления, сейчас пройдёт. Надо бы навеять ему к носу нашатырного спирта.

Но уже Карабчевский подносил к безжизненным губам стакан с вином. Керенский сразу отозвался губами и несколько раз глотнул.

И продолжал лежать откинута, но уже и приходя в себя. Возвращались краски в его худое лицо. Черты уже не были такими обречёнными.

– Я устал... я у-жас-но устал, – слабо произнёс министр. – Четыре ночи совершенно без сна... – но возвращалась гордость в его взор: – Зато – свершилось! Свершилось, чего мы даже не смели ждать!

Все рассаживались, а волосатый Орлов-Давыдов утеснился в соседнюю комнату.

Живущий министр не упустил посочувствовать, что из-за пожара адвокаты лишились такого прекрасного устроенного помещения.

Встречно-вежливо Карабчевский возразил:

– Да, печально, что погиб старый уют, но и знаменательно, что так порвана наша связь со старым судом, мы больше не зависим от него, но призваны исправить содеянное им зло.

Раздались вопросы – узнать у министра о подробностях формирования нового правительства.

Всё легчая и жизневая – Керенский всё легче и быстрее стал говорить, и уже свободно задвигалась его узкая голова, и уже руки заплясали на подлокотниках.

– Господа! Я принял этот пост для спасения родины! Сознывая всю важность и всю ответственность...

Он перечислил главных министров, но довольно небрежно, ни одного с почтением. Он так прямо и говорил, что самым поразительным и самым радикальным министром является,

конечно, он сам, – к тому же в должности генерал-прокурора. И уж теперь в деле российского правосудия не будет места никаким компромиссам с реакцией, за это он ручается! Теперь, – грозил его вид, а всё же по-гимназически, – в юстиции начнётся самая основательная **чистка** !

Да, но, смущённо возражали ему, ведь судьи и сенаторы по закону несменяемы, и это важное приобретение александровских реформ...

Да, да! Керенский, разумеется, высоко ценит принцип несменяемости судей, даже особенно глубоко предан этому священному принципу, мы все отстаивали его против когтей самодержавия. Да! – но и невозможно же не сменять! Надо же расчиститься! Ну, надо будет найти способы вынудить некоторых уйти добровольно.

– Ах, да вот, – обратился он тут же к одному из присутствующих членов совета, – вы сумеете нам это устроить, не правда ли? Вот сейчас я назначаю вас директором департамента по личному составу. Надеюсь, вы соглашаетесь?... Господа, надеюсь, вы одобряете?

Никто не возразил ни слова, хотя и недоумевали. Назначенный был известен лишь левыми партийными пристрастиями, но также и ленью, и слабой деловитостью.

А министр спешил дальше в раздаче должностей, видно было, как он гордился, что это происходит так просто, по-дружески, среди равных и на частной квартире, как не могло бы быть при окостеневшем царском режиме. Назначал с домашней лёгкостью, ничего не записывая.

Нужен был прокурор петроградской судебной палаты. Кто-то предложил Переверзева, – защищал потёмкинцев, славно вёл себя при процессе Бейлиса, да и не в одном политическом процессе, а сейчас – на фронте, в питательном отряде. Карабчевский возразил:

– Но он носится там на коне. Пусть.

А Керенскому сразу понравилось.

– Так пусть носится на коне – здесь! Прокурор революции – и на коне! Великолепно! Назначаю!

Но задумался о Карабчевском:

– Николай Платонович! А вы? Хотите стать сенатором уголовно-кассационного департамента? Соглашайтесь! Моё твёрдое намерение назначить нескольких присяжных поверенных – сенаторами! Да, кстати, знаете, – вспомнил или даже всё время помнил: – Разбирали дела в уголовном отделении министерства юстиции и обнаружили рапорт Протопопова о возбуждении уголовного преследования против вашего покорного слуги – за одну из моих речей в Думе. Как вам понравится? – склонил он голову набок, пожалуй несколько кокетливо при такой строгой чёрной куртке. – Ещё бы немножко, ещё бы не произошёл революция – и я... увы... Мы бы не встретились с вами вот так...

Всё же Карабчевский не был убеждён щедрым предложением, какая-то несерьёзная игра, не может быть, чтоб эти лёгкие назначения так все и состоялись. Просил оставить его как он есть, адвокатом.

А что он был за адвокат, это знали все. Кто в русской адвокатуре мог забыть его громовую защиту Сазонова, убившего Плеве! Он превзошёл все адвокатские пределы, не Сазонова оправдывал, но обвинял убитого Плеве: повесил такого-то, заточил тысячи, глумился над интеллигенцией, душил Финляндию, теснил поляков, подстрекал к избиениям евреев!... Судья останавливал, а Карабчевский львино-величественно: «Я имею в виду – так понимал Сазонов: Плеве – это чудовище! Убить его – значит освободить русский народ, это благодеяние!» Ах, какие ж бессмертные речи произнесены в России, – нет, это никогда не умрёт, это даст стократный урожай свободы!

Так и сейчас:

– Я ещё пригожусь кому-нибудь в качестве защитника.

– При новой власти? Да кому же? – с блуждающей рассеянной улыбкой удивился Керенский: – Разве что Николаю Романову?

– А что ж? – гордо принял вызов Карабчевский: – Хоть и ему. Если вы затеете его судить.

Керенский задумчиво откинулся, ища глазами где-то выше собравшихся. Потом, при всеобщем молчании, протянул указательным пальцем поперёк своей шеи – и резко вздёрнул палец кверху.

И все поняли знак: повешение!!

Никак иначе нельзя было понять.

А Керенский обвёл всех загадочным взглядом, всё ещё куда-то прислушиваясь:

– Две-три жертвы пожалуй необходимы? – То ли советовался. То ли сообщал несомненное.

– Нет! – осмелился Карабчевский возразить при гробовом молчании. – Только не это. Забудьте вы о французской революции, лучше забудьте! Стыдно повторять её кровавые следы. Мы – в двадцатом веке.

Раздались и другие голоса, прося не применять смертной казни.

– О да! о да! – совсем легко, новым порывом согласился Керенский. – Бескровная революция и была всегда моя мечта! О, подождите! Своим великодушием мы ещё поразим мир не меньше, чем безболезненностью переворота!

И он горячо заговорил, как будет немедленно создано множество законодательных комиссий, как будут пересмотрены решительно все законы. Как подарены будут стране первыми же декретами – еврейское равноправие во всей полноте! и равноправие женщин!

– Но! – и грозно поднял палец, и юношеский голос ометаллился: – Из первых же наших действий будет – создать Чрезвычайную Следственную Комиссию для предания суду бывших министров! сановников! высоких должностных лиц! А председателем назначу, – захохотал, но и снова строго, – московского присяжного поверенного Муравьёва! А? За одну фамилию! Пусть вспоминают Муравьёва-вешателя, Муравьёва-министра – и трепещут! А?

Разносили чай.

388

Всё отравлено. Пылающая работа – а вываливалась из рук.

Час за часом, запершись в кабинете министра, Бубликов не отлипал от телефона: вёл переговоры с Родзянкой, с другими – остаться министром путей. Родзянко уже подавался, обещал, что Некрасов может быть перейдёт на министерство просвещения. Да может Бубликов сам приедет на переговоры?...

– Да не желаю я с ним говорить! Ноги моей не будет здесь при Некрасове ни минуты, он – в одну дверь, я из другой!

Положил к их ногам победу, Россию! – не могут оценить, скоты!

Такая мысль: каждый час, что Бубликов ещё здесь, – это его выигрыш. И надо бурно нараспоряжаться, наделать реформ, хоть оставить после себя незабвенную революционную память.

И составлял и рассылал по линиям директиву за директивой.

Отменить все распоряжения прежних комитетов по охране дорог.

Освободить всех арестованных или наказанных этими комитетами.

Объявить всем железнодорожникам: возрождение России к новому свободному бытию вселяет твёрдую надежду на беззаветное исполнение каждым своего долга, и больше не понадобится никаких наказаний.

Упразднить советы при начальниках дорог. (Если стать начальником дороги – единовластие. Но – к чёрту такую должность при Некрасове, и товарищем министра не стану!)

С Виндавской дороги сообщают: солдаты разносят станции, буфеты.

Ничего, лес рубят – щепки летят.

Стали обсуждать с Ломоносовым: ну что это, правда, за правительство? Стыдно. Кто там специалист? Надо было 50 лет завоёвывать свободу, чтоб составить какой-то сброд безруких. Практику-деятелю смотреть со стороны – просто невыносимо.

А Ломоносов уже собрал типографов (ротмистр Сосновский поставил при типографии караул), но весь день не мог начать печатать Манифеста: из Таврического не велели. При полной ясности положения – не велели! Идиоты, чего ждут? Кажется, ясно: чем скорей напечатать – тем скорей и развязаться с Николашкой.

Пока сделали самодельную копию отречения, сами же и заверили. Её (не гонять же по опасным улицам драгоценный подлинник) и послали по требованию правительства, почему-то на Миллионную 12.

Пока там тянулось, тут со своими обсуждали: чего хотеть? Парламентарной монархии? А гложет быть – низложения всей династии? Гораздо красивей, революционней, пороховой дым! Но во время войны?... Низложение может вызвать сопротивление армии. Ладно, чёрт с ним, пусть парламентарная монархия, а уж конституцию под шум событий можно приложить какую угодно.

Наконец свой же Лебедев позвонил с Миллионной, где остался разведчиком: ура! Ещё одно отречение – в пользу Учредительного Собрания! Набоков сел писать акт.

Потрясающе! Как золотой сон. Старые святые слова – Учредительное Собрание!

Но когда же привезут печатать? Что же, проклятье, не разрешают? Они всю революцию погубят! Династия обернётся – и всё заберёт назад.

А Совет депутатов – обогнали нас, подлецы! – не имея текстов, выпустил по улицам летучку с главным: «Николай отрёкся в пользу Михаила, Михаил – в пользу народа!»

Наконец, пришла из Думы команда: печатайте первый манифест.

А второй где?

А второй почему-то князь Львов увёз в Думу и пришлют после.

Ломоносов спустился в типографию и там, наслаждаясь голосом, вслух прочёл отречение Николая.

Два старых наборщика истово перекрестились, как на покойника.

389

Бывший и последний секретарь Льва Толстого Валентин Булгаков, ещё молодой человек, – в эти дни по командировке Земсоюза, в котором отбывал военные годы, попал в Петроград. Теперь видя всё, что здесь делается, окончательную победу нового строя, а значит предполагая скорую широкую амнистию, он почувствовал ответственность и заботу: как бы выручить из тюрем толстовцев, малеванцев и субботников, которые по своим убеждениям отказались нести военную службу и отбывали каторгу или арестантские роты. Беспокойство было в том, что их числили не как религиозных, а как уголовных преступников, – и амнистия, составленная в революционных попытках, могла их не учесть. А между тем, как понимал молодой толстовец, это были лучшие чистейшие люди, чьё нравственное сознание переросло сознание современного человечества на века вперёд, и вся вина их в том, что они выше оставшихся на свободе. Таких было по России несколько сот человек, и надо было спешить их освободить.

Однако, к кому обратиться? как? Очевидно – прямо к новому министру юстиции Керенскому. Известный своей справедливостью и бесстрашием, молодой министр, смелый друг свободы, не побоится упрёков в германфильстве, и решит вопрос кратко и благоприятно. И надо спешить, пока амнистию ещё не опубликовали.

Но Булгаков и каждый из предыдущих дней пытался проникнуть в Таврический, ему не удавалось. На всякий случай он сперва написал министру письмо, всё изложил, заклеил.

Сегодня до самого дворца и внутрь сквера добраться оказалось нетрудно, но на крыльце проверяли очень строго, требовали пропуск.

Пока Булгаков толкался, конвой привёз арестованных и громко кричал, чтоб расступились, – «товарищ министра!» и старый генерал. Оба были бледные, дрожали губы их, блуждали глаза. Нельзя было их не пожалеть, представить, что у них в душе.

Кто-то сказал Булгакову, что пропуска в Таврический дают в Доме Армии и Флота.

Пошёл он туда. Ничего подобного. Там выписывали офицерам удостоверения на право выезда в Действующую армию и на право ношения оружия – и масса офицеров толкалась там потерянно. Вернулся, опять тискался у крыльца Таврического.

Теперь придумал показывать всем стражам своё собственное письмо, что необходимо передать его лично в руки министру. Сразу к нему переменялись и сами стали советовать, как достать пропуск. Сначала пустили в первую дверь, в канцелярию коменданта. Там – не дали, послали в приставскую часть, где за пустым столом сидели совсем посторонние офицеры и любезно ответили, что ничего не знают. Теперь уже сам пошёл смиренный толстовец со своим письмом ко входу в Екатерининский зал и у студентов-контролёров просился пропустить его. Студенты не пустили, но послали за пропуском в Военную комиссию.

Опять коридоры, закоулки, закоулки. У некоторых дверей – часовые с ружьями (но курили на постах). Витая железная лесенка чуть не на чердак. Здесь – низкие потолки, накурено, много офицеров, есть и солдаты, все толкаются, протискиваются, разговаривают. На одной двери надпись, на клочке бумаги синим карандашом: «Военное министерство». Развитой матрос спрашивает входящих:

– Вам – зачем?

Булгаков показал конверт, повторил жалобы, что пропуска не достать, – матрос пропустил.

В маленькой комнатке с низким потолком, наполненной табачным дымом и людьми, заплёванной, загаженной, – развилел два-три стола с бумагами. За одним столом сидел солдат и барышня в белой тонкой кофточке, лицо красное, обмахивалась платочком. Булгаков стал повторять своё и доставать из карманов бумаги Земсоюза, чтоб удостоверить личность, – солдат и не взглянул, а быстро стал вписывать в бланк, напечатанный на ремингтоне: «Удостоверение. Выдано сие (имярек) на право свободного входа и выхода из Государственной Думы как работающ... в Военной комиссии. За начальника общей канцелярии...» Печать думского Комитета.

И даже за это время с Булгакова полил пот. И поспешил с бумагой вниз. Теперь ему было открыто всё.

И он попал в коридор, где было людей меньше и говорили тихо, курьеры давали справки, где кого искать, и в никакие двери не проходили без предварительного доклада. А вот и бумага прикреплена к двери кнопками, и снова синим карандашом: «Приёмная Временного Комитета. Без доклада не входить.»

Но курьер у двери ответил, что Керенского сейчас в Таврическом нет.

Вот-те раз, вот и добился. Замаялся. Догадался, будет не хуже:

– А Василий Алексеевич Маклаков?

– Сейчас посмотрю. – Но не в дверь пошёл, а к длинной вешалке, тут же в коридоре, и стал перебирать шубы и пальто.

– Нет, и Маклакова нету.

Так и кончилось задуманное ходатайство. Больше ничего придумать не мог Булгаков, а пошёл в Екатерининский зал, пока поболтаться в Думе.

Там шёл митинг. С возвышенной открытой лестницы, ведущей наверх, к хорам думского зала заседаний, какой-то офицер один раз и ещё раз читал отречение Николая. Потом загудели, раздались крики: «А Михаил?» Снова кричали: потребовать сюда члена нового правительства для доклада.

Толпа, не слишком густая, переминалась, гудела. Толкались разносчики папирос, продавцы конфет. Пока заговорили другие, маленькие, митинги. Ближе тут юноша еврейского типа с горящими глазами призывал идти не за Временным правительством, не за помещиком Родзянкой, а за Советом рабочих депутатов.

Минут через десять на площадку поднялся господин, объявил, что он – член Государственной Думы Лебедев, и ему поручено сообщить собравшимся, что отказ великого князя Михаила Александровича от престола действительно состоялся.

Заплодировали. Закричали «ура!».

Тем временем входили в зал со стуком сапог, слышным и через шум, и независимо от митинга тут же выстраивались по длине зала вдоль колонн в две шеренги – какие-то юнкера. Говорили, что они хотят представиться новому правительству. Всё было здесь, всё в этом зале!

Но не нашлось ни единого свободного или охочего члена правительства, а вышел к юнкерам седой почтенный член Думы Ключев, специалист по народному образованию, – и стал говорить старческим голосом – сперва спокойно, обо всех великих принципах от XVIII века, на чём стоит человечество, и о нашей матушке России, и о заветах великого Суворова, и как молодым офицерам предстоит стать воспитателями солдат, – и тут уже волнуясь, и голос старика задрожал, – как офицеры станут проводниками в народ, через солдат, просвещения и тех великих идей, которые выдвинуты нашей революцией.

Какая-то барышня, стоявшая близ Булгакова, громко стала протестовать:

– Неправда, неправда! Что за чушь он говорит! Неверно!...

– Да ведь он не для вас говорит, что вы волнуетесь? – не мог не заметить ей Булгаков.

За час он здесь разглядел множество вот таких чрезвычайно развязных барышень, и довольно растрёпанных, которые набились сюда, завладели почти всеми стульями, уселись полукругом против трибуны, больше всех шумели и решали, одобрять или не одобрять. Кто дал им эти полномочия? Чьи они были представители? Они держали себя каждая как голос самой революции.

Наблюдая их, по репликам и манерам, Булгаков отнёс их всех к революционной демократии. Вероятно, имели родственные связи, знакомства с деятелями, так достали входные билеты, – и теперь всей массой выражали нужное мнение, заглушая всякое другое.

Один ближайший юнкер тоже возразил той барышне. Она визгливо отстаивала своё, не стесняясь оратора.

Тем временем старый думец кончил, и на крылечке-трибуне солдат объявил члена Исполнительного Комитета Совета Депутатов Красикова.

Из среды *товарищей*, толпящихся на трибуне, выступил уже пожилой, под пятьдесят, мало выразительный на вид, а заговорил – с адвокатскими приёмами. Сперва очень лирически, что до слез его трогает представление юнкеров, которым приходится переживать революцию в столь юном поэтическом возрасте. Юнкера смотрели на него растроганными глазами. И вдруг он выпрямился и закончил твёрдым восклицанием-лозунгом:

– Подчиняйтесь, товарищи, только тем приказам, которые исходят от Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов!

– Ура-а-а! – закричали юнкера, потому что уже вся речь подвела их так.

Впрочем, соседний юнкер покачал головой:

– Всё это к разъединению. Нехорошо.

Тут вышли, на лестничную же площадку, и объявили, что митинг в этом зале надо прекратить, он мешает заседанию Совета Рабочих Депутатов в главном думском зале.

Юнкера чётко повернулись, вышли строем, остальные разбредались, и некоторые барышни покидали свои стулья. Стал бродить по залу и Булгаков – и только тут увидел в дальнем левом углу ещё отдельную группу людей, сбитую вплотную и отгороженную от публики цепью вооружённых солдат. Что такое? Оказалось, это арестованные полицейские и городовые, которых переводили из помещения в помещение, но митингом задержали и оттеснили в Екатерининском зале, – и так они тоже невольно участвовали в нём.

Большинство полицейских были в штатском, глядели отчуждённо, иные исподлобно, – а гуляющие подходили на них поглазеть, кто с любопытством, кто с ненавистью.

Сходил Булгаков, спросил ещё раз Керенского, – нету. Отчаялся – и хотел уже уходить. Как вдруг увидел на проходе в Купольном зале характерную глыбную со слоновьей головой фигуру князя Павла Долгорукова, председателя московского комитета кадетской партии. Вот удача! – такой видный человек, совесть кадетской партии, и знакомый: он бывал в Ясной

Поляне и на московских собраниях Толстовского общества. Вот выручка! Булгаков поспешил ему наперерез. Князь узнал.

– Батюшка! Каким образом вы здесь?

Булгаков рассказал, и с большим волнением, о своём деле. Он теперь рассчитывал, что сейчас Долгоруков всё и проведёт, хоть через Милюкова:

– Павел Дмитрия! За что же, в такое время, – самые чистые, самые нравственные люди будут оставаться в тюрьмах?!

– Да-а-а, – как-то ослабла и немного обвисла голова князя, – это – щекотливый вопрос...

– Но, Павел Дмитрич, но почему же? Разве месяц, разве неделю назад мы бы так рассуждали? Вопрос несомненный, это чистые узники совести! Что же изменилось? От революции может прийти только быстрее освобождение!

– Да-а-а, голубчик, – соображал и тянул князь. – Именно, что дело изменилось. При царе мы бы никто не сомневались... Но если в нынешней обстановке да объявить им всем освобождение? – ну подумайте сами... Опасно! Ведь это – сколько симулянтов за ними потянется. Кто же будет дальше воевать? Знаете, я бы очень советовал вам не поднимать пока этого вопроса... Он может очень осложнить положение нового правительства.

390

Измена подсекает нас хуже, чем любая внешняя беда: это – как истечение главных сил из нашего сердца, не вознаградимое никакими уже средствами.

Всю минувшую ночь паляще жгла сердце государыни измена экипажа, как-то отодвинутая чередой дневных событий, возвратилась – и жгла. И измена тех генералов или кто там был близ Государя сейчас – вместо поддержки продолжавших держать его в капкане. И – не знала она, чья ещё измена, но – многая, если отлила вся помощь повсюду, и как не стало близких, и как не стало верных, – а уж чужих и врагов хватало всегда. Да и Саблин – на каком уж таком учёте, что не мог приехать даже переодевшись, как Апраксин?

А – что с Ники? Зачем он вторую ночь во Пскове? Почему он не двинется сюда с войсками?

Людам большой энергии, какою была Александра Фёдоровна, невозможность действовать и даже знать события – источительна.

Еле заснула она часа на полтора, под утро. Утром посмотрела на себя в зеркало – как похудела и постарела в несколько дней! А сердце – ещё расширилось с болью, как бы сдвинулось. И ноги болели, еле ходила.

Но и с детьми стало хуже: воспалились и сильно болели уши, корь обещала развиваться с тяжёлыми осложнениями. Только наследник был лёгок, и Мари ещё держалась.

Неустойчивое состояние между дворцом и гарнизоном Царского Села продолжалось и после того, как депутаты Думы объехали гарнизон. Но, разумеется, защитники дворца не могли бы противостоять штурму, да нельзя было и допустить кровопролитие! Так и ходили патрулями у дворца с белыми повязками на рукавах, как нейтральная служба. А герой генерал Гротен сидел арестованный в ратуше. Такого защитника не стало!

А что будет с дворцами Павловским, Гатчинским, Петергофским, Ораниенбаумским? В любую минуту они могут быть разбиты, разграблены – и нет сил помешать.

Ничего нового не притекало, – события как остановились. Да опрокинутый Петроград уже не мог принести благой новости, разве ещё о новых и новых арестах. Телефоны молчали. Не приезжали дружественные вестники.

И день шёл, и день шёл – а из Пскова от Ники больше не было ни строчки. Офицеры уехали – достигли ли его? Ах, хоть фразу бы одну от него! Телеграмму!

Легче, что стала обо всём говорить детям открыто.

А погода стояла – солнечная, чистая, ни облачка, ни ветерка! Значит: верь и надейся.

Нашли хороший исход томительным этим часам: большую икону Божьей Матери

принесли в зелёную спальню, где лежат дети, пришёл священник от Знаменья, и отслужили чудный молебен с акафистом. Очень ободрило!

Бог – над всеми, и надо жить безграничной верой в Него. Мы не знаем путей Его, ни того, как Он поможет, но Он услышит все молитвы.

Потом икону пронесли с пением и каждением через все комнаты. Вынесли и во двор, обошли его с пением, ладан к небу, золото иконы под солнцем. Понесли в то крыло, к Ане.

Тут узнала государыня, что во Псков собирается офицерская жена, – и сговорились, что она возьмёт письмо для Государя.

Какой выход сердцу! – можно писать!

Но – и нельзя писать много и слишком ясно: не будут ли обыскивать её по дороге? – теперь все сошли с ума.

Любимый, душа души моей, мой крошка! Ах, как моё сердце обливается кровью за тебя! Схожу с ума, не зная ничего, кроме самых гнусных слухов, которые могут довести человека до безумия, раздрать сердце. Ах, мой ангел! Бог да смилуется и да ниспошлёт тебе силу и мудрость! Он вознаградит тебя за эти безумные страдания. Всё должно быть хорошо, я не колеблюсь в вере своей. Мы все держимся, каждый скрывает свою тревогу. Слишком много на душе и сердце, невозможно писать...

Я – держусь только верой в своего мученика и ни во что не вмешиваюсь сама. У меня страх повредить что-нибудь неправильным действием, ведь нет известий от тебя. Из *них*, из думских, я никого не видела и ни о чём не просила, так что не верь, если тебе скажут такое, теперь все лгут.

И тут – как в подтверждение, что все теперь невероятно лгут, пришёл потупленный смущённый Бенкендорф, и просил разрешение передать тёмный невероятный слух.

Что ещё? – взялась государыня за сердце.

Какими-то неизвестными путями и неизвестно от кого, пришёл такой вздорный слух: что Государь вообще отказался от престола, полностью.

Ну, это уже было настолько закраине дико, что государыня даже и не расстроилась.

Писала письмо дальше.

Но перед вечером, ещё не успела окончить и отправить, – доложили ей, что приехал великий князь Павел.

Обрадовалась: прорыв молчания, поговорить со свежим и, в общем, доброжелательным человеком.

И сразу – поразило его лицо. В прошлый визит он старался держаться с важной значительностью, отстаивая себя, – сейчас нёс бережное выражение, как при подходе к постели больного.

Долгим поцелуем он припал к руке государыни. Выпрямился – и всё молчал.

И вот только тут государыня испугалась.

– Что?? Что с Ники?? – спросила она отрывисто. (Она подумала, жив ли?)

– Ники здоров, – поспешил исправиться Павел. – Но в такую тяжёлую минуту я хотел быть с Вами рядом...

– Что-о-о??? – вскричала государыня.

– Вы не знаете? – удивился он.

И достал из кармана свёрнутый – и стал разворачивать – какой-то куцый типографский листок с крупными бледно-чёрными буквами на ужасной бумаге.

И это было – экстренное сообщение об отречении Государя от престола – и за себя, и за наследника. Только – эта фраза, ни текста, ни подробностей.

– Не может быть! Обман! Подделка! Сейчас всё подделывают! – вскричала она и топнула ногой.

Но – на кого? Но – откуда бы взялся этот листок, накатанный, накатанный, накатанный типографскими станками?

Да ни при каких обстоятельствах! Да Ники предпочёл бы умереть, чем подписать такое!

Но седой величественный Павел стоял скорбно.

Но сама грязнота, чёрная серость, отвратительность бумаги отнимала возможность спорить.

Является к нам правда в невозможных облачениях.

– Всё кончено, – говорил Павел. – Россия – в руках самых страшных революционеров.

Однако вид его был не совсем в тоне этих слов. Однако свой дурацкий манифест он послал в Думу, признавая новую власть.

А теперь ещё плёл: что написал сегодня Родзянке, умоляя его вернуть Государю конституционный престол.

О нет! О, не то!

Как душа вылетает из тела при смерти – так из государыни взлетело сознание вверх, ввысь, в небо, ища на самых вершинах бытия объяснения происшедшему.

И там, в поднебесной выси, она поняла своего возлюбленного мужа: он – остался верен себе. Он уступил по вынужденности – но не в главном. Он не подписал противного тому, в чём клялся на коронации. Он – не нанёс ущерба самой короне, не разделил её. Он не присягнул никакой мерзкой конституции. Он спас свою святую чистоту. Он клялся – передать сыну. Но не мог передать ему неполную власть, вот в чём дело! И Алексей малолетен и никакой конституции не может присягнуть.

Едва успела она вернуться из этого взлёта – уже ноги подкашивались. Она опустилась в кресло и плакала.

Павел торжественно-печально стоял перед нею.

Он, кажется, долго был готов утешать государыню. Но она не нуждалась в нём – и скоро отпустила.

Ей легче было всю эту грохнувшую тяжесть перемолоть, переварить одной.

Что-то он ей посоветовал напоследок – она не услышала и не усвоила. Только через час вспомнила его фразу: он предложил ей описать свои драгоценности и сдать Временному правительству на хранение. Чушь какая.

Но Павел – от лучших чувств. Оказывается, уезжая, с подъезда дворца он ещё обратился к невыстроенной толпе солдат:

– Братцы! Наш возлюбленный Государь отрёкся. Во дворце, который вы охраняете, уже нет императрицы с наследником, а сиделка с больными детьми... Обещайте мне, вашему старому начальнику, сохранить их здоровыми и невредимыми.

Обещали разноголосо.

Неужели – только сиделка?

Нет, ещё не могла себя государыня почувствовать такой.

Но и голова и грудь не успевали за узанным.

Иуда Рузский! – это, конечно, устроил всё он!

Пошла – поделиться. С Лили. Она не говорит по-английски, с ней – по-русски.

– Ваше Величество, я люблю вас больше всего на свете! – заплаканно восклицала Лили.

– Я знаю это. Я вижу, Лили.

Лили побежала за доктором Боткиным – и тот пришёл с лекарствами.

Мари, узнавшая первая из детей, горько рыдала, скорчившись в углу большого дивана.

А сказать больным – не было сил. И – незачем.

Ещё надо было утешить и старого Бенкендорфа.

Но в каком душевном тупике, в каком отчаянии и бессилии Ники мог подписать такое? Всё, что строилось 22 года, – а ещё раньше отцом – а ещё раньше дедом – и прадедом, всё обрушить одним движением пера?!

Нет, только не упрекать его теперь, ему тяжелее всех.

А что, если послать – по бездействующим проводам – в никуда – безнадёжную телеграмму?

О, никому не дам коснуться твоей сияющей праведной души!

Недолго радовался августейший Верховный Главнокомандующий новостям минувшей ночи. Уже под самое утро он отправил в Ставку свой торжественный Приказ №1 – и едва прилёт, в сапогах на диван, воображая, какое счастье ждёт Страну при пробуждении, – его самого через полчаса тронули за плечо: царского Манифеста не объявлять, задержать!

Что случилось? Ужасной тревогой объяло сердце! И... и...?

Нет, назначение Верховного не останавливалось.

Слава Богу. Россия во всяком случае спасена.

Но что там творилось во Пскове? Но что там мялся, упирался, цеплялся! Ники?...

А может быть, пусть и остаётся? Уж никак не хуже Миши. Но и – Аликс тогда?... И опять все дразги сначала?...

И так в раздирающей неизвестности потянулся сегодняшний день, и всё не было полной радости.

Почти никто не знал роковой тайны, качания исторических весов, – и внешне Тифлис ликовал. Со вчерашнего вечера извергали газеты потоки революционных новостей. Ошалело радостный городской голова Хатисов вкатывался на приём – и был принят ласково. Отсюда нёсся разослать по всем городам, что на Кавказе нет коллизий между властью и населением. И – на экстренное заседание городской думы, доложить о приёме у Наместника. Что Верховный Главнокомандующий заявил: всякий, кто, состоя на государственной службе, осмелится не признавать распоряжений нового правительства, – будет немедленно смещён. Населению предоставлена полная свобода собраний! И распорядился освободить из бакинской тюрьмы политических заключённых.

И восточные улицы Тифлиса, и особенно Эриванская площадь, и у Куры, весь котловинный город под широкой заслоняющей горой Давида с белой церковкой на склоне и стрелой фуникулёра на вершину, – был залит ликованием, и всюду красное. В железнодорожном посёлке «Нахаловка» происходил радостный митинг.

Они не знали, какая шла раздирающая борьба в сокровищах!

Августейший Верховный всей душой был заодно с этим народным ликованием и с новой властью. И выходил на обширный балкон дворца. И слал телеграмму князю Львову, так доброжелательному всегда раньше. Что просит его сиятельство с этой минуты держать великого князя в курсе положения дел в империи, ибо только так Верховный Главнокомандующий может исполнить свой долг по руководству армиями.

Но качался Манифест, качался трон – мог качнуться и Верховный. А здесь, в Тифлисе, пост верный и достойный.

И – помоги телеграф, обгоняющий наши желания! – послать князю Львову ещё одну телеграмму, шифрованную и весьма секретную:

... С удовольствием могу засвидетельствовать, что народности Кавказского края относятся ко мне с доверием. Назначение нового Наместника сейчас было бы крайне опасно. Я признавал бы крайне желательным для общего дела – сохранить за мной звание Наместника. А на время войны пока – мог бы оставить тут заместителя...

А между тем от Алексеева притекла среди дня запутанная и опасная телеграмма. Он как будто цель имел объяснить главнокомандующим задержку Манифеста, а на самом деле выдвигал план, как противостоять Государственной Думе и её Председателю, и быть может даже новому правительству? Таинственное совещание главнокомандующих наподобие заговора?

О нет! Видит Бог, отношения Николая Николаевича к новой власти ничем не омрачены, и он хочет сохранить их в чистоте. Никакого заговора он не допустит, это претит его рыцарской натуре!

И он ответил Алексееву с холоднейшей настойчивостью. Что выражать мнение Армии доверено единолично Верховному, – хотя конечно он и будет осведомляться о мнении главнокомандующих. А священный наш долг – выполнить долг в бою с врагом. Выехать в

Ставку великий князь сможет лишь через несколько дней, а пока будет давать отсюда соответственные указания.

Хотя Николай Николаевич готов был крыльями сорваться и тотчас же лететь через Кавказский хребет в Могилёв, – но и кавказское наместничество не иголка, не бросишь так легко, да ещё при безмерной любви населения к тебе. А кружной железнодорожный путь ещё более растягивал время переезда.

Но очень беспокоит передача трона Михаилу. Это неминуемо вызовет резню. А при этом не указан следующий наследник: кто же будет **после** Михаила? Об этом важно знать мнение председателя совета министров – он там у самого кипенья событий.

И снова слал генерал-адъютант Николай шифрованную и весьма секретную – князю Львову.

... Мне необходимо срочно знать ваше мнение по вопросу о Манифесте. Лично я опасаюсь, что отречение в пользу великого князя Михаила Александровича – усилит смуту в умах народа, ещё при неясной редакции: кто же наследник престола? Вместе с тем мною получены сведения о готовящемся соглашении с Советом рабочих депутатов, о созыве Учредительного Собрания. Как Верховный Главнокомандующий, отвечающий за успех наших армий, должен категорически высказать, что это было бы великой ошибкой, грозящей гибелью России. Ни минуты не сомневаюсь, что Временное правительство объединяет вокруг себя всех патриотически мыслящих русских людей. Для общего успокоения умов необходима будет торжественная присяга императора конституционному образу правления...

И с какой охотой, с какой свободой и сознательностью такую присягу тотчас бы дал Николай III!

* * *

Предатели народного счастья... Многолетние воры земли русской... Все эти совы черного монархического бора... Тугоухая старая власть...

* * *

392

И стали приходить в штаб Западного фронта ответы от командующих армиями.

Из Несвижа командующий Второй генерал Смирнов ответил: необходимо личное присутствие в Ставке великого князя Николая Николаевича! Если решено ознакомить армию с положением внутри страны, то говорить только голую правду. Будет совсем плохо, если подорвётся вера солдат в разъяснения ближайших начальников. И – не обнаруживать неустойчивости в решениях: отмены и перемены вызывают шатания мысли.

Всё это была – чистозвонная истина для военного человека, так что даже стыдно выслушивать от подчинённых: только твёрдость, однозначность и открытость, и никак иначе! И вряд ли Эверт нуждался запрашивать об этом своих подчинённых, как и Алексеев не нуждался запрашивать своих: ещё со вчерашнего дня вместо всей этой неделовой переписки он должен был принимать решения полководца. И не зря выражал Смирнов беспокойство об отсутствии Николая Николаевича: во главе Армии не мог стоять Алексеев, это ясно. Но где же великий князь, и сколько ему ехать?

Из Домбровиц командующий Третьей генерал Леш ответил: пока в армии спокойно. Но откладывать совещание до 8-9 марта – долго, проникнут слухи, может повести к волнениям. Раз Манифест объявлен в некоторых местностях, то лучше придержаться его и объявить к исполнению.

Из Молодечно командующий Десятой генерал Горбатовский ответил: передача престола великому князю Михаилу Александровичу не приведёт к успокоению страны. Наилучший выход – передать престол наследнику цесаревичу, коему и армия и народ уже присягали, а регентом установить великого князя Николая Николаевича как более популярного среди войск и народа.

Э-э-это уже начинался парламент, из трёх голосов уже разногласие, вот почему военная жизнь требует решения единоличного! Кому престол, кому регентство, – наверху решили, не нашего ума. Но дальше писал Горбатовский правильно: откладывать решение нельзя ни на один день!

Да так же и сам Эверт думал, но командующее ещё подкрепили его. Да как может солдат колебаться!

Вообразил себе тишайшего Алексеева, его ничтожное невыразительное лицо со щёлками глаз, – на что он способен решиться? Старательный штабной писарь, никакой не Главнокомандующий. Как же не повезло, что в эти решительные дни во главе российской армии стоит всего лишь – он!...

И донося в Ставку, сведя всех трёх командующих мнения, Эверт от себя выразился наконец:

«... Моё решительное мнение: недопустимо медлить ни дня, ни часа! Необходимо дать войскам совершенно определённое...»

А – что определённое? Если там в Петрограде уже всё равно решили, подписали, – не может же армия идти наперерез?

... определённое объяснение о новом правлении и строе...

В конце концов и мы все, Главнокомандующие, не на скалу опираемся, но на живое подвижное тело. И это может стать опасным прямо и для нас.

... Отсутствие официального объявления войска могут объяснить нежеланием начальников мириться с новым положением, их противодействием...

Вот в чём опасность. Да опасности со всех сторон.

... Создание Временного правительства, производство выборов в Учредительное Собрание ввергнут страну на продолжительное время в анархию. Войска тоже потребуют права голоса, и начнутся несомненные волнения.

Но решение всё-таки виделось, и Эверт предложил его Алексееву: повторить вчерашний приём – коллективное заявление Главнокомандующих, но только теперь по отношению уже к Государственной Думе: потребовать немедленного объявления высочайшего Манифеста, законно изданного Сенатом. И, во имя спасения родины, отказаться от Учредительного Собрания, которое поведёт к волнениям в стране и армии, разрухе и разгрому.

А если Дума не согласится?

... В противном случае просить о замене нас людьми, которые способны будут и в разрухе повести войска к победному концу.

Кале будто уступка? Но уступка злорадная, с хохотом. Хотел бы он видеть тех победоносных генералов Временного правительства!

... И заявление это должно быть сделано – не позже утра завтра. И съезд Главнокомандующих недопустимо откладывать до 8-го, так быстро развивается обстановка!

Подписал своим палкообразным почерком. Хотел бы видеть, как сощурятся щёлки алексеевских глаз.

Над этим ответом Эверт оживился, подкрепился. Что, правда, какая слепая морока замутила его и их всех вчера: почему они потеряли военный голос? почему потеряли твёрдое стояние ногами? Как: они смели так дерзко указывать Государю – а Думе не смеют. Зачем вообще вмешивались? А если уж вмешиваться...

Но если такими помянутыми ощущали себя Главнокомандующие, то каково же воем офицерам и солдатам Западного фронта, и с этим слухом о запрещённом Манифесте?

– Вот что, голубчик Михаил Фёдорович, – сказал он Квещинскому. – А садитесь-ка вы да

составляйте приказ по фронту.

Мысли Эверта зрели тяжело, каков и сам он был, но устойчиво, врыто.

– В таком духе напишите, как я люблю. Не приказ, а скорей отеческое наставление от меня. Мол, чтобы не смущались их сердца заниматься пустым политиканством. Не тратали бы они зря время и нервы на бесцельное обсуждение внутреннего управления. О порядке в тылу пусть заботятся те, на кого это возложено. А войска должны смотреть вперёд, в глаза врагу, а не оглядываться назад. Наше дело – дисциплина и беспрекословное выполнение приказов.

Приказ был неоспоримо ясный, и лысый Квецинский охотно пошёл составлять.

Но пока он составлял! – Ставка всё не отзывалась никак. Замерла – и что они там решали? А часы уходили.

Ставка не отзывалась, но генерал-квартирмейстер принёс здешнюю минскую новость: сегодня вечером в городской думе собирается самовольное экстренное совещание земства, городских гласных, кооператоров, – и хотят выбрать «комитет общественной безопасности».

Что делать?? Ай, что делать?!

А – что делать? Если в Петрограде мялись, если в Ставке мялись, – как мог Эверт всё принять на себя и разогнать городскую думу? и запретить сборище общественных представителей?

О-о-о, тут дело тонко. Уже далеко зашло!

Принёс Квецинский заказанный приказ, отеческое наставление, уже чистейше отпечатанное, – а Эверт не подписывал. Погрузился в сомнение.

393

Отправив запрос главнокомандующим, Алексеев нетерпеливо ждал ответов. Так же нетерпеливо, как и вчера.

И первый ответ не много замедлил: к трём часам пришла телеграмма – от кого же? – от Сахарова, от которого вчера дольше всех пришлось вымучивать ответ. Теперь он кратко ясно отвечал, что съезд главнокомандующих признаёт желательным, а со своими командующими входит в обсуждение номера 1918.

Эвертовская идея подхватилась. Но не слишком ли широкая получится консультация, если втянутся и все 14 командующих армиями? Что из этого веча выйдет?

И тут же пришла неожиданная от Колчака. Да ведь ему запрос и не посылался? А он просто прорвал молчание: во флоте, войсках и населении до сих пор настроение спокойное. Но чтоб это было и дальше так, необходимо объявить: кто же является в стране сейчас законным правительством и кто Верховный Главнокомандующий? Адмирал не имеет этих сведений и просит сообщить.

Во всём этом было только то одно замечательно, что Черноморский флот спокоен. А в остальном Колчак делал гордое непроницаемое лицо: он как будто не получал не только вчерашнего запроса об отречении, но и сегодня ночью его телеграфы не принесли ему никакого Манифеста, и Колчаку даже в голову не могло прийти, что в этой стране может смениться Государь, а только спрашивал он высокомерно, какое там сейчас копошится правительство и, чёрт возьми, в конце концов, есть ли у нас Верховный Главнокомандующий, с кем можно бы разговаривать, не с вами?

Так и виделось его горбоносое прямое лицо с зоркими глазами и властными губами. Давно между ними была глубокая размолвка из-за Босфора. Теперь – углубилась.

И пришла телеграмма от Николая Николаевича, но тоже не ожидаемый ответ, а нечто странное. Верховный Главнокомандующий, не всюду ещё и объявленный, со своего опального кавказского места как бы жаловался своему начальнику штаба: какой-то гражданский инженер распорядился снять охрану со всех закавказских железных дорог. На что отвечено, что это никак не возможно: в условиях Кавказа и войны борьба со шпионажем

требует преемственности, несмотря на революцию.

Тоже верно. Тоже надо остановить самовольство. Но кому ещё об этом телеграфировать? Никому, как председателю совета министров. Обращение агентов правительственной власти в обход Ставки и главнокомандующих может роковым образом отразиться на управлении...

Так-то так, но что ж с совещанием главнокомандующих? Как-то же нам разобраться в этой родзянковской каше.

Тут Алексеева позвал к прямому проводу Брусилов. От этого всегда струнно готовного отзывчивого главнокомандующего ждал Алексеев в первых же фразах получить согласие на совещание, как решительно соглашался Брусилов вчера на царское отречение. Но ничего подобного, разговор потёк как-то совсем иначе.

Доносил Брусилов, что дальше трудно ничего не объявлять войскам, проникают слухи, и чтоб ускорить появление Манифеста – он послал частную телеграмму Родзянке как своему старому однокашнику по корпусу и по-товарищески просил его воздействия на левые элементы.

Даже не мог Алексеев сразу понять. То есть, так понять: связь между главнокомандующим Юго-Западным фронтом и Родзянкой будет существовать помимо Ставки, без её ведома и разрешения. А что касается сказанных Алексеевым горьких слов разочарования, что Родзянко неоткровенен, неискренен и может быть тянет в сторону левых, – это было обойдено как несказанное – и даже недопустимое по отношению к однокашнику. Намёк, что – со мной и не сговоритесь? Быстрый-то Брусилов быстрый, но даже и чересчур, и не всегда в ту сторону, какая полезна службе. Так – как насчёт совещания главнокомандующих? – не успевал неуклюжий Алексеев вставить, у Брусилова бойко лилось.

Ответа от Родзянки не получено (это между прочим), а ждать сбора главнокомандующих – слишком долго (и это – **всё** о совещании), – а нельзя испытывать дальше терпение войск. Итак, предлагает Брусилов: объявить, что Государь отрёкся от престола, что в управление страной вступил Временный Комитет Государственной Думы, – а дальше воззвать охранять грудью матушку-Россию, а в политику не вмешиваться.

Вот как: сам он с Родзянкой будет поддерживать тайную переписку, а Алексеев пусть даст согласие сломать родзянковскую просьбу и объявить Манифест.

Вместо желаемого объединения главнокомандующих получалось расплытие во все стороны. Насколько вчера было ясно и дружно – уговаривать Государя отречься, настолько сегодня всё мутней и розно. Сгустились неразрешимые обстоятельства, Алексеев чувствовал себя потеряннным, обманутым, поставленным не у места. Он отдувался и пытался объяснить Брусилову.

... Но уже несколько раз он запрашивал Петроград – и Родзянку, и других, и никто не подходит к аппарату, как вымерли. Нет такого лица, некому доложить! – о невозможности играть и дальше в их руку и замалчивать Манифест. А великий князь велит во всех возможных случаях обращаться к нему, – а Манифест для него не существует, пока он не опубликован через Сенат...

Великий князь там у себя на Кавказе никакой опасности не испытывает, никуда не торопится, и готов спокойно ждать. И новые петроградские вожди тоже, как будто, не торопятся. А тут – загорается земля, и что ж Алексееву делать?... Вот тут сразу, над юзом, над лентой, утекающей к Брусилову, он в поту принимал и формулировал решение.

... Сейчас вторично доложу великому князю, что дальнейшее молчание грозит опасными последствиями. И если снова не получу указаний – что ж, возьму на себя общее объяснение дел всем фронтам. Сегодня к вечеру.

Положение – обязывало так поступить. Но обидно было всеобщее непонимание, пренебрежение, своя заброшенность, – и забывая увидеть на подрагивающем готовном лице Брусилова отчуждённую эгоистическую усмешку, Алексеев в простоте ещё пожаловался ему:

– Самое трудное – установить какое-либо согласие с влиятельным современным правительством. В составе которого крайние элементы берут верх. И разнузданность приобретает права гражданства.

Уж резче не мог он выразиться по официальному телеграфу!

А Брусилов – не принял откровенности, но тут же, на ребре, извернулся, остановился: слушается, будет ожидать к вечеру приказа, имеет честь кланяться... Да, и ещё докладывает: отдал распоряжение в Киев исполнять распоряжения новых министров – чтобы не возникли плачевные беспорядки, как в Петрограде и Москве.

Так и кончился разговор – и лишь потом Алексеев размыслил, что Брусилов начисто увильнул от вопроса, собираться ли главнокомандующим или нет.

А мысль его, что в крупных городах надо выполнять распоряжения новых министров, – опасная мысль. Алексеев и сам поддался и отдал час назад приказ в Одесский округ: выполнять распоряжения нового правительства, в том числе и освобождение политических осуждённых. Но это – опасный путь. Так – всё развалится ещё быстрее. Мы сами же и отдаём большие города в полное распоряжение новой власти.

А что можно предпринять в этом безмолвии и заброшенности? Только – уступать обстоятельствам?

Как эти все политики искали его в прошлые часы – а теперь все провалились. День утекал – и все молчали! Кого из них искать? Родзянку? – уже душа отворачивалась. Львова? – уже запрашивал его о присяге, и о снятии железнодорожной охраны, – молчит сиятельный невидимка. Гучкова? Наболел в сердце Гучков своими бесцеремонными открытыми письмами, но он хоть человек дела. Хорошо, составить телеграмму одновременно всем троим.

В Минске – на театре военных действий! – получено требование министра юстиции выпустить политических. Комендант Калуги, подчинённый Западному фронту, получил из Москвы сообщение, что едет новый комендант с особыми полномочиями. Все эти распоряжения нами выполнены, но такая двойственность власти ведёт к беспорядкам во фронтовом управлении. Для неизбежного сохранения основ военной службы прошу: все распоряжения правительства и отдельных министров сперва направлять главнокомандующим фронтами и мне.

Всё это Алексеев написал, отдал отправлять, – а сам испытал безнадёжность. В том, как он это написал, – была неуверенность, а как текли навстречу разрушительные струи – уверенность и натиск. И всё это перекошилось менее чем за сутки: ещё вчера в это время дня он твёрдо держал бразды, уж на театре военных действий всё везде ему подчинялось, кроме Полоцка, и для всеобщего окончательного успокоения не хватало только отречения Государя.

А вот и добились отречения – и куда-то всё хуже ползло.

Если бы на русскую армию наступали немцы, не могло быть и лёгкого сомнения и минутной задержки: надо ли отвечать оружием? Но оттого что нападение шло сзади, в виде каких-то анархических банд, но поощряемых кем-то из Петрограда, если не самим правительством, то неясно становилось: да можно ли действовать оружием? не будут ли этим испорчены отношения с правительством? не возникнет ли междуусобица, пуще всего избегаемая?

Однако же и чего стоит та армия, тыл которой можно разорять? И велел разослать на остальные фронты без Кавказского свою телеграмму Эверту о революционных шайках.

Но что же с совещанием главнокомандующих? Вот пришёл и ожидаемый ответ от Рузского. Однако по форме и тону – как методическая нотация, как будто Рузский был старше должностью. Да, объявить Манифест необходимо. А главнокомандующие на местах – это единственно авторитетная власть, и сбор их не может состояться во всяком случае до вступления великого князя.

То есть заявлял, что под Алексеевым собираться не даст. Ну, на такие злостности Алексеев никогда не обижался.

А Николай Николаевич – молчал, ни слова не ронил о совещании.

А Брусилов вдруг прислал ещё отдельный отказ от совещания – и совершенно словами Рузского (снеслись ли они?): надо быть на местах, на постах.

Да и правда надо. Но не давали слить главнокомандующих в единую силу.

А худшее, мол, решение – это бездействие с объявлением Манифеста войскам. И тоже правда.

А тут ещё донесли телеграфы копию непенинской телеграммы Родзянке, ещё 2 часа тому назад, – и, действительно, ждать оказывалось невозможно: в Ревеле, где утром объявили отречение, не успели порадоваться, что положение успокоилось, как войска вышли из повиновения, не слушали уже и приехавших членов Думы; и едва были прекращены беспорядки в Гельсингфорсе.

И решил Алексеев, это было уже около 6 часов вечера, в который раз обратиться в Петроград. Вызвать Родзянку, конечно, не удалось и в этот раз. Львова – и не пытался, не видя смысла. Зато Гучков оказался в довмине и подошёл к аппарату.

Всё ещё понимая Родзянку как самого там главного, Алексеев собственно не к Гучкову обращался, и не к совету министров, но – передать Родзянке. Что скрывать, как просил Родзянку, такой великой важности Манифест немислимо, слух уже просочился в войсковую среду, могут быть грозные последствия. Манифест должен быть безотлагательно обнаружен в установленном порядке.

Кажется, это так было ясно! – почему это нужно было петроградским доказывать? Как же можно устраивать игру из такого величайшего документа? И главное – по каким причинам? Всё равно не скажут, Алексеев уж и не добивался, однако предположил:

– Выход должен быть найден путём соглашения с лицом, долженствующим вступить на престол.

Сам ли Михаил не хочет почему-то объявлять? Или снова заколебались – вернуть престол Алексею? Или даже вернуть Николаю?

... Пусть детали государственного устройства будут выработаны потом, после успокоения страны. Или даже после окончания войны. Но сейчас – опубликовать Манифест! Скрывая от Действующей армии намерения правительства, мы расшатываем её и готовим себе печальную участь. Пять миллионов вооружённых ждут объяснения совершившегося!

Завладев, наконец, линией, дорвавшись до слушающего петроградского уха, Алексеев теперь уже и не давал ответить, он спешил выговорить, пока слушают.

Второе. Желательно, чтобы новое правительство обратилось к Действующей армии с горячим воззванием выполнять свой святой долг. И с таким же воззванием к народу, чтоб он напрягал силы к той же общей великой цели. И в-третьих, настоятельно прошу, чтобы все сношения правительства с армиями велись только через вверенный мне штаб, а по второстепенным вопросам – через главнокомандующих. Только так мы сохраним устои вооружённой силы.

Когда же наконец Алексеев всё наболевшее высказал и дал отвечать Гучкову, то в первых же фразах ответа и услышал непостижимое: Михаил Александрович тоже решил **отказаться от престола!** Оба Манифеста и будут обнаружены в предстоящую ночь.

Алексеев был – потрясён. Он – не мог этого охватить! Зачем же тогда всё делалось? В чём же был смысл вчерашнего отречения? И – кто же останется?... **Кто** же?...

У власти остаётся Временное правительство во главе с князем Львовым. До Учредительного Соборания, которое и решит государственное устройство. Срок его не определён.

То есть на троне – **никого** ?

Косой хваткой защемило Алексеева, до задыха, обидное унижительное сознание – обмана! Его обманули – как дурака, провели за нос!

А между тем лента бодро подавала ответы на другие важные вопросы. Воззвание к армии? Безотлагательно будет. Сношения с армией? – да, через Ставку и главнокомандующих. Не имеет ли генерал Алексеев ещё что-нибудь сказать?

О, ещё бы! О да! Несчастливая слабая голова раскалывалась, так много сразу нужно было сказать. Ничто ни с чем не вязалось, всё куда-то летело, крушилось, вообще не оставалось ничего твёрдого! Вместо небольшой перестановки на престоле – падал сам престол?

Но нашёлся Алексеев только жалко пожаловаться:

– ... Неужели нельзя было убедить великого князя принять власть хоть до Собрания?... А как теперь этот новый Манифест примет армия? А не признает она его *вынужденным со стороны*? ... Теперешнюю армию надо беречь и беречь от всяких страстей в вопросах внутренних. Надо же сохранить её от теперешнего петроградского гарнизона, разложившегося нравственно!... Да хоть бы на короткое время вступил великий князь! Это вызвало бы уважение к воле бывшего Государя. И произвело бы бодрящее впечатление на армию... Слишком тяжёлая задача лежит на армии и надо облегчать её, а не...

Но – зачем это всё он печатал? И – кому были теперь эти опоздавшие доводы? В нужный момент с ним не посоветовались, ему только затыкали рот: не объявлять!...

А Гучков – и соглашался, оказывается: он-то сам и с ним Милюков так и считали, что престол непременно должен быть кем-то замещён. Но эти доводы никого не убедили. А решение великого князя было свободно и бесповоротно. Приходится подчиниться и попытаться добросовестно упрочить новый строй – и не допустить ущерба для армии. С этим намерением Гучков и принял пост военного министра.

Алексеев шёл от аппарата к себе в кабинет как ослепши, неуверенно ногами.

Лукомский встревожился, приблизился:

– Что с вами, Михал Васильич, опять плохо?

Алексеев и рад; был остановиться. Смотрел на Лукомского, больше обычного сощуренный, нахмуренный. И всегда как будто недовольно-недоверчивое, его дремучее унтерское лицо ещё урезчилось. Он и сам как будто искал, что с ним?

– Никогда не прощу себе, – ответил медленно, глухо-скрипуче, – что поверил в искренность некоторых людей. Что вчера послал этот несчастный запрос главнокомандующим.

394

Тряпка безвольная! Шляпа! Как мог отречься?

И вот таковы законы демократии! Если твоя точка зрения расходится с точкой зрения большинства – надо подавать в отставку.

Чудовищно! Всей своей жизнью восходил Павел Николаевич к этому посту, все его способности вели сюда! Этот пост давно намечался для него и общественным мнением России, и мнением всех товарищей по партии, и даже мнением союзных стран. И кто же был готов к нему более, чем Милюков, с его исторической образованностью, с его даже личным знанием и Европы, и Америки, и особенно Балкан, самого запутанного места. По любому вопросу – финляндскому, польскому, сербскому, болгарскому, или о проливах, или о целях войны, – Милюков уже заранее имел проработанное мнение. Из всех нынешних членов Временного правительства Милюков единственный приходил на министерское место не как новичок, а как хозяин дела.

И это было настолько всем ясно, что ещё три дня назад, до всякого правительства, звонил в Таврический директор канцелярии министерства иностранных дел и звал не кого другого, а именно Милюкова к телефону: просил прислать караул для защиты секретных архивов. И Милюков послал, спасая преемственность государственной тайны.

А теперь, из-за того что не удалось убедить Михаила, – всё это рушилось? И надо подавать в отставку? Из-за ночного запальчивого условия между министрами (сам же и предложил): чьё мнение будет отвергнуто – тот должен уйти и не быть помехой?

Но разве Милюков – помеха действиям правительства? Он – основа его, он – дух его, он и собирал весь костяк. И он провёл труднейшие переговоры с Советом. Он сейчас, минуя невыразительного Львова, – фактический лидер. И – кому же теперь это место уступится?

Представил себе, как обрадуются Керенский, Некрасов. И уже предчувствовал: по выющейся жилке, по напору, по нахвату – на первое место в правительстве пойдёт Керенский, мальчишка!

Немыслимо это допустить!

А больше – кому ж? Такое составилось правительство.

Второй настоящий лидер – Гучков, но он тоже должен уйти теперь, по тому же закону.

Уезжая из квартиры Путятиной, Милюков ещё раз объявил остававшимся коллегам, что теперь по их уговору и по смыслу дела он – выходит из правительства.

Никто его за язык не дёргал, никто не напоминал, он просто честно действовал по правилам демократии.

Но едва севши в автомобиль – уже жалел: зачем этот-то раз ещё повторил?

И – зачем вчера поздно так упёрся с монархией?... Всё равно ведь уже записали Учредительное Собрание? Монархия, по всему видно, имеет слабый шанс.

И что же наделал Николай! Какой дрянной человек! Из-за своих личных привязанностей – сотряс всю монархию! В такой момент!

Да обидно! Горько! Кто же подготовил и всю революцию, если не Милюков с Прогрессивным блоком?! Если не его первоноябрьская речь?!

И теперь, в первый день победы, – уйти?...

Горько.

Сказал шофёру – Бассейная: от четырёх бессонных ночей, от пережитого крушения – лечь да спать. Всё потеряно.

Но подъехали к Летнему саду – сообразил: опять ошибся: был же рядом с Певческим мостом! Почему ж в эти последние часы, пока он ещё министр, – не войти единственный раз хозяином в здание министерства?... Сколько раз он мысленно входил так в это здание (осквернённое Штюмером) – и вот сейчас первый раз может войти реально.

И неужели – последний?... Так досадно, что и думать об этом не хочется.

Но с другой стороны – и хорошо, что не сразу поехал туда: это было бы замечено на Миллионной и неблагоприятно истолковано. А теперь можно поехать заново и с другой стороны.

Велел шофёру ждать около своего дома, всё равно ему теперь делать нечего, повезёт от Таврического какую-нибудь революционную шантрапу.

Пока завтракал – подумал: как же он, лидер кадетской партии, может уйти с поста без одобрения руководства партии? Пришла идея пригласить к консультациям Винавера. Взял телефон к нему.

Тут соотношение было сложное. Винавер сам претендовал быть первым лидером кадетской партии и не свободен от мысли, что Милюков занимает его место.

Ответил Максим Моисеевич, что должен подумать. Но во всяком случае ему кажется, что монархия – это не повод для отставки, вздор.

Полегчало.

Позвонил в министерство, тому самому директору канцелярии, и объявил, что сейчас приедет знакомиться с ведущими чинами министерства.

И поехал.

Всё пело в Павле Николаевиче, когда, встречаемый товарищем министра и директором канцелярии, он вступил с Дворцовой площади в это торжественное здание, где столько лет решались судьбы войны и мира, Российской империи, Балкан и Востока. И – шёл, шёл торжественными переходами и залами с грандиозными зеркальными окнами на площадь, на Александровский столп. И достиг своего великолепного кабинета.

Вот, наконец, он был на месте! И отсюда – уйти?!

Собрали директоров департаментов и начальников отделов. Милюков вышел к ним, стоящим, и произнёс краткую, спокойную ясную речь – о создавшемся в стране положении и что просит всех сотрудников исполнять свои обязанности и дальше.

Иностранные дела – тонкая ткань, здесь не надо революционных потрясений.

Спросили его: думает ли правительство совладать с бурным настроением масс?

Милюков ответил:

– Надеюсь, мы сумеем отклонить его в более спокойное русло.

Ещё побыл в кабинете. Ах, как хорошо! И этот вид на имперскую площадь! Отсюда направлять державный ход России!

И принимать тут послов.

Обидно!

Подумал, что, пожалуй, прилично подняться навестить Покровского, который сидел тут же, в казённой квартире. Министром иностранных дел он был меньше четырёх месяцев, и с большой склонностью к Прогрессивному блоку, никак себя не связывал с тронном и никакой специалист в дипломатии, Милюков ничего против него не имел.

Покровский с женой встретили радушно, – усаживали, ухаживали, поздравляли – и с революцией, и с личным занятием поста. А просьба Покровского была: нельзя ли ему остаться здесь пожить, пока он найдёт квартиру?

Милюков согласился. Тем более, что... (А вид отсюда – тоже расчудесный.)

Поехал на Бассейную.

Думал бы поспать, но раздирала досада, тревога.

Анна Сергеевна умоляла ни в коем случае не уходить!

Позвонил милый Набоков, ещё не кончивши составлять отречение Михаила. Горячо убеждал:

– Павел Николаевич! Ваш уход будет катастрофой! Кто же будет вести внешнюю политику? Только вас знает Европа! И создастся впечатление разлада в правительстве с первых шагов. Это будет удар по партии и по остающимся министрам-кадетам. Перед Россией и перед партией – вы должны остаться!

А ведь он – разумник, он выдающийся юрист, он понимает, что говорит.

Вскоре приехала делегация ЦК во главе с Винавером. Милейший Максим Моисеевич, хотя и моложе Милюкова, а облысевший, постаревший, с простоватой бородкой:

– Нет, нет, Павел Николаич! Что за мальчишество, стыдитесь! И из-за чего, – из-за монархии? Уйти сейчас с поста – значит изменить и революции, и свободе.

Винавер весомо аргументировал, что не имел места казус проявления недоверия к Милюкову со стороны какого-либо представительства. Что деловые разногласия внутри правительства есть постоянный неизбежный атрибут его деятельности. И поскольку Павел Николаевич удовлетворён принципами, положенными в основу текста отречения Михаила, – то он имеет все юридические права остаться на своём посту.

Гибкий, сильный ум, тонкий аналитик, нельзя не признать. Да, именно: текстом отречения Павел Николаевич вполне удовлетворён. И даже можно сохранить надежду, что Михаил этим отречением завоеует общую популярность и будущее Учредительное Собрание сможет избрать его своим монархом.

С симпатией смотрел на Винавера. Да ведь сколько же вместе, какой долгий славный путь! Вспомнилось крайнее иступление Винавера, когда они, 11 лет назад, стоя у пыльного рояля, вместе набрасывали карандашом первый черновик Выборгского воззвания, и Винавер отвергал, что в проекте Милюкова не хватает стихийной негодующей силы, а надо добавить ещё виды неподчинений, всеобщую политическую забастовку!

А сейчас – такая ясная голова.

И – согласился Павел Николаевич. Понял, что даже не имеет права отказываться и покидать великое начатое дело и линию своей партии в самом начале и в самый ответственный момент. Сейчас кажется: шатко, мрачно. Но может быть и республика, или пока какое-то неопределённое государственное устройство сможет укрепиться.

Поехал в Таврический – и там князь Львов встретил светлейшей улыбкой:

– Павел Николаевич! Надо остаться. Гучков – другое дело, его, говорят, в армии не любят. Но вы!...

Нет, Гучков – не другое дело. Теперь, убедясь, что должен остаться, Павел Николаевич

должен был убедить и Гучкова остаться. Гучков не был связан ночным спором, никаким уговором, но очевидно тот же неумолимый демократический принцип нависал и над ним.

Пошёл Милюков по Таврическому искать Гучкова. Наверно, он был у себя в военной комиссии, наверху.

Да, крепко и странно связала их судьба! Всегда противники, соперники, и вот впряжены заодно в единую колесницу. И вот сегодня только двое они, сотрясатели романовского трона, – только двое они и стояли за монархию!

И сейчас в новом правительстве кого понимал Милюков вровень с собою и по силе и по политическому опыту – только, конечно, Гучкова. И в этом возлелеянном общественном кабинете, куда Милюков привёл Россию через Блок, – в этом кабинете единственный соперник Гучков и был ему настоящий союзник.

Наверху, в душевной комнате с низким потолком, он и нашёл Гучкова над бумагами и в окружении военных.

Вызвал его, пошли ещё куда-то, в другую комнату.

Гучков был очень хмур, устал, ничего радостно министерского не было в нём.

Остались одни, сели через столик, Милюков сказал:

– Александр Иваныч. Наши юристы считают, что формальных поводов к нашей отставке нет.

– Каких формальных поводов? – искоса нахмурился Гучков.

– В смысле неокazanного нам доверия или невозможности сотрудничать при безмонархическом статуте.

– Да что же можно теперь сделать? – развёл Гучков руками. – Чем же и как теперь можно скрепить, удержать всё?... Россию? Не формальные поводы, а удержать нечем. Всё пропало.

Погасший он был, тёмный, старый, измученный.

Но с возвращённой уверенностью, твёрдым голосом уговаривал Милюков:

– Справимся, Александр Иваныч! Вместе – вытянем. Только не падайте духом, не уходите в отставку! Вы же только и поможете нам организовать сильную власть, сильную армию. Без вас – я не вижу...

Хотя – видел уже и без него, но действительно трудно.

Гучков сидел такой же погасший. Даже разбитый.

– Вообще не понимаю... Пока я ездил – вы поспешили объявить правительство, поспешили объявить договор с Советом. А ведь это – кандалы на ноги. Что вы им пообещали – вы подумали? – невывод войск из Петрограда. Как вы могли без меня? Я думал – вы дождётесь меня, дождётесь акта отречения. А теперь – что за комбинация получается? Не понимаю. Я – монархист, при чём теперь я?

– Но ведь и вы, Александр Иваныч, поспешили взять необдуманную форму отречения, мы так не уговаривались. А вы нас – разве не поставили в тупик?

Да что ж теперь травить попусту, – надо наоборот сплачиваться, сговариваться.

Гучкову – тоже из правительства уходить не хотелось. Тоже не представлял он, как Россию бросить без руководства.

395

На всех фотографических карточках выражение получалось у Вари – худенькой неудачницы, которое она скрывала гордым или даже победным видом.

И так весела иногда, больше чем есть, руками размахивая, так уверенна, больше чем есть, а под этим, в узине, в глубине – одна, одна...

Пятигорская сирота, сверх надежд своих прожила она вот четыре года в Петербурге, кончала Бестужевские курсы, а жизнь её так и не наполнилась: набитие головы никак не передавалось в грудь. Кончала Бестужевские курсы – и вот поедет учительницей куда-нибудь в глушь, и петербургское обманное сверкание окончится на этом.

Ещё в пятигорское время Варя чисто пела, любила петь, – и где же попеть как не в церкви? Неприятно быть орудием невежества, но где же попеть? И в Петербург-то она сперва поехала учиться именно пению, её обнадёживали, что при успешном развитии голоса можно попасть и на сцену. Но ничтожное мужское внимание, подружки и зеркало скоро открыли Варю, что на сцене ей не бывать: по извращённости также и этого вида человеческой деятельности, сцене мало было только пения, нужна была ещё так называемая красота. И этому всеобщему тупому заговору пришлось уступить и курсы пения покинуть.

Как будто кто-то мог доказать, определить точными словами, в чём состоит или не состоит красота. Плеханов убедительно показал, как это понятие радикально меняется с эпохами, и то, что считалось когда-то красивым, признаётся со временем некрасивым, и наоборот. Для мужчин разумных зыбкое понятие женской «красоты» совсем не должно было бы иметь реального значения. Да линию носа выправляют, говорят есть такие приборчики... А ножки у Вари – лёгкие, тонкие, хоть в балет.

Так Варя двигалась, училась, горячо спорила, среди подруг известная любовью к справедливости, отстаиванием каждого мелкого случая, – а внутри тоскливо вытягивалась, что вот скоро 23 года, а жизнь её не удалась.

И каким же вихрем ошеломительным налетела эта революция! Как же всё переменялось и засверкало! Во-первых – Справедливость! сразу для всех людей и во всём, гремящая! Во-вторых – круговорот, хоровод тысяч, и во всё это можно кинуться и руки приложить.

Первые дни, ещё до настоящей революции, стали прямо на курсы хлеб привозить для курсисток и преподавателей, чтоб им не выстаивать в хвостах, – и Варя деятельно заведовала этим. Затем был день главного вихря – понедельник, все кружились как обезумелые, а уже вечером того дня с проезжающих автомобилей разбрасывали воззвания к жителям кормить горячим бездомных замёрзших солдат!

И как этот сам листок подхватывался уличным сквозняком и взбрасывался легко, так подбросило и закружило Варю: вот это было для неё! Сколько тут надо энергии, организации, дотошности, делового расчёта! – но всё это было у неё как раз, да с какой радостью, с каким умением она это всё приложит!

И правда, замечательно получилось. Нашла ещё несколько женщин и девушек, добыли бесплатно помещение на Малой Посадской, и с хорошей плитой, – стали собирать с окрестных жителей утварь, столы, табуретки, посуду, продукты, деньги, – все и всё подавали охотно, потом просто столик поставили снаружи у входа, блюдо – и туда прохожие клали мелочь, а собиралось много. Назвали это «чайная», но потом и обеды готовили для солдатиков, а ещё была примыкающая большая тёмная комната, как складская, её чисто вымели, натопили, и там прямо на полу укладывалось их человек тридцать, бездомовых, с винтовками и без них. Вывески не было, сперва зазывали проходящих, а потом уж они сами валили, знали.

Это поддержка была какая! – много часов пробродившего, уставшего, голодного революционного солдата, рабочего, матросика, студента – усадить, согреть стаканом горячего сладкого чая с халвой или какао, которого он сроду не видел, да с бутербродами, хоть рано ещё до рассвета, хоть поздно уже в ночь, чайная почти не закрывалась и на ночь, как не спал и весь город. А днём кормили щами с солониной, лапшой, масляной кашей. А при выходе давали ещё каждому пачку хороших папирос. И самые буйные с улицы солдаты тут становились ласковые.

И носилась Варя между столиков, между всех них – счастливая, весёлая, потончавшая, полегчавшая, её все кликали, звали «сестрица Варя», её и обнимали в шутку и по плечам хлопали, – и она в ответ любила беспредельно их всех, грубых, неуклюжих и нечистых, как они, папахи на колени скинув, в голове чесали или по жаре не умели как аккуратней высморкаться на пол. Она любила их, как в эти великие дни все в городе любили друг друга, – то братство всеобщее, которое только грезилось, а достанется не нам, но ват наступило, сердечное! И это неожиданное множество мужской силы, столько сразу вместе, в чудесном

крутом запахе, махорочном, сапожном и ещё каком-то, и вся эта сила нуждалась в ней, звала, просила и благодарила. Варя не думала пережить такие счастливые дни. Все прежние мучения её как не бывали. (А вот кончатся эти дни, кончатся питательные пункты – и так будет жалко расстаться с ними.)

Больше всех она вложила сил, больше всех хлопотала, здесь и ночевала, – и естественно стала заведующей этой чайной. Тем временем на Петербургской стороне создан комиссариат – и объявил, что какие чайные (а их уже немало возникло по городу) будут сдавать отчёты – те будут получать из комиссариата и продукты по низкой цене. Хоть отчёты были добавкой забот, но так было проще и больше получить продуктов и накормить больше, Варя взялась, зарегистрировались. Каждый поздний вечер стала бегать туда, в кинотеатр «Элит» в продовольственный отдел с отчётами да и кассу сдавать, сборы.

И всё было бы замечательно, в эти светлые дни обновлённой России, – но люди ещё не могут выдержать такого высокого братства. Вчера к вечеру вдруг явился в чайную какой-то угреватый молодой человек, вольноопределяющийся, объявил, что он назначен комендантом Петербургской: стороны и велел сдать дневную выручку ему. Варя почувствовала недоброе, вложила прямые руки с кулачками в кармашки фартука и попросила его предъявить удостоверение. Но он предъявил, и там было написано, да, что вольноопределяющийся такой-то Временным Комитетом Государственной Думы и Советом Рабочих Депутатов назначается комендантом Петербургской стороны, и все граждане обязаны выполнять все его распоряжения.

Варя смутилась, но схитрила, что сборы никак невозможно сдать раньше чем через два часа, пусть он укажет, куда. Вольноопределяющийся отвечал, что он и сам здесь дождётся, охотно чайку попьёт.

Тем более подозрения её укрепились! Велела дать ему чаю, а сама побежала в комиссариат. Там ответили: ни в коем случае не сдавать, а пусть придёт сам в комиссариат. Варя – назад, и передала ему. Он ответил, что идти ему поздно, но она может снести в комиссариат его удостоверение. Варя положила удостоверение в кармашек и побежала в комиссариат, в лёгкой кофточке и платочке, вот ещё не было заботы. Там её принял сам старый Пешехонов с опущенными усами. Он покрутил удостоверение и сказал, что это липа: печать неразборчива, подписи неразборчивы, да и невозможный случай, чтобы думский Комитет и Совет Депутатов согласию дали кому-нибудь общее поручение. Велел сборы приносить сюда, а тому передать прийти, не сегодня, так завтра.

Варя возвращалась с волнением к столкновению, но знала, что не уступит, а ещё горяченько ему задаст, она пылкая в спорах была!

Однако самозванец за это время уже сбежал.

Тоже и тарелочки сбора больше наружу не выставляли, стали красть.

Сегодня же после обеда появился – подъехал на автомобиле – новый человек, высокий, бледный, и сразу же предъявил документ, что он – врач такой-то, назначен Комитетом Государственной Думы комендантом всех чайных на Петербургской стороне, а помощник его – вольноопределяющийся имя рек, вчерашняя фамилия, – и им поручается немедленно собрать все имеющиеся во всех чайных наличные деньги в общую для всех них кассу. Печать была теперь – одного Комитета и совершенно отчётливая, и подпись ясная, – но Варя изумилась: комендант **всей** Петербургской стороны – помощником у коменданта одних только чайных? Ясно, что их хотят ограбить, и она ни за что не даст. А больше всего жёлчью подступило это надругательство над братством.

Но она сдержалась, не стала браниться, а сказала, что придётся проехать к комиссару. Что ж, врач предложил ей место в своём автомобиле.

Теперь она прямо повела его не в продовольственный отдел, а к Пешехонову. Тот признал, что и подпись размашистую эту он знает – члена Думы Караулова. И ответил бледному высокому врачу, что вполне признаёт его полномочия, но вопрос о передаче чайных в его ведение осложняется некоторыми обстоятельствами, для выяснения которых он и просит доктора отправиться с ним вместе немедленно в Комитет Государственной Думы,

вот в автомобиле комиссариата.

Врач согласился ехать, но церемонно отказался пересесть в автомобиль Пешехонова, а поедет вослед в своём.

Спросил Пешехонов – а где помощник? Помощника он где-то в другом месте оставил.

Поехали, а Варя пошла к себе.

Как будто отбились, но так дурно стало у Вари на душе: наплевали в чистое, хорошее, и тут хотят грабить, уже новые руки, и уже не показалась ей вся их чайная таким светлым праздником.

Да и заметила она, что некоторые типы из солдат регулярно ели у них по 3-4 раза в день, и оставались ночевать тут вот уже на четвёртую ночь, без винтовок. Просто жили, дезертиры.

396

* * *

В Москве сегодня утром подожгли Охранное и Сыскное отделения в Гнездииковском переулке и канцелярию градоначальника. Загорелись и деревянные амбары с архивами. Из окон горящего главного здания полетели дела, реестры. Толпа рвала их, кричала, поощряла ещё кидать, разводила костры на улице и во дворе. Пожарных не допустили тушить.

Как раз в это же время добровольные звонари били на кремлёвских колокольнях и на Иване Великом – в честь революции.

Из Московского женского медицинского института разбежались подопытные собаки: их не кормили больше и не запирали. Отощавшие слонялись, некоторые возле аптек, где запах напоминал им прежний, привычный.

В Комитете общественных организаций комиссар Москвы Кишкин заявил: «Монарх – сила не наша. Царь нам нужен, только если мы не сумеем созвать Учредительного Собрания.»

В Марфо-Мариинскую обитель приехала молодёжь арестовывать великую княгиню Елизавету Фёдоровну, сестру императрицы. Она отказалась ехать: «Я – монахиня.» (Уже 12 лет она монашествовала тут, после убийства своего мужа.) Из обители пожаловались по телефону в Комитет общественных организаций, а там ответили: «Ни Челноков, ни Кишкин и не давали распоряжения об аресте.» Великая княгиня ещё заставила милиционеров отстоять молебен, лишь тогда отпустила.

Генерал Мрозовский из-под домашнего ареста написал городскому голове Челнокову: «Имею честь довести до вашего (сведения, что я присоединяюсь к народному движению и признаю новое правительство.»

К митрофорному протоиерею Восторгову, бывшему фавориту Государя, известному вершителю церковных дел, председателю Союза русского народа в Москве, явились милиционеры арестовывать. А он: «Вполне признаю новый строй, прошу оставить под домашним арестом.»

* * *

Днём возник слух, что на Москву наступает то ли сам Эверт, то ли от него – корпус какого-то неподчинившегося генерала. Обрывали телефоны всех редакций. Возбуждалась паника в Комитете общественных организаций, в городской думе, в Совете рабочих депутатов.

А вообще революция в Москве прошла быстро, легко. Катание на грузовых автомобилях уже кончалось, к вечеру и толпы меньше. Трамваев ещё нет, но появились

извозчики, открыты магазины. В автомобилях разъезжают милиционеры, призывая народ возвращаться к мирным занятиям.

Вечером открылись все театры.

Но к ночи – всеобщая боязнь тех разбежавшихся бутырских уголовников.

* * *

В Ревеле волнения застигли «Петра Великого» и «Баяна» у самого начала мола – и подле них кипели митинги, рабочие требовали присоединения матросов, идти с ними в город. Но контр-адмирал Вердеревский убедил матросов, что тогда толпа разграбит корабли. Подействовало, ни один матрос не пошёл.

* * *

В Петрограде многие столовые и кафе превратились в питательные пункты для солдат, иную публику туда и не пускают.

В ресторанах появились матросы – ещё новая мода: напудренные. Расплачиваться – у всех деньги есть.

Публичные дома не успевают обслуживать солдат. Платят все законно, добычей этих дней, кто украшениями, безделками, даже столовым серебром.

А петроградские театры все закрыты. На дверях объявления: «Спектакли отменены до особого распоряжения». «По повелению Временного Комитета вход в сие здание воспрещён. Какие-либо аресты, выемки, осмотры бумаг...»

Арестованных держат в манежах, в кинематографах, не хватает помещений. Здания не приспособлены, лежат на полу. В Крестах не стало ни отопления, ни освещения. Держат и так, ведь временно.

* * *

Прислуга бегаёт на митинги и, возвращаясь, рассказывает хозяевам:

– О каком-то *старом рыжем* говорят... И – перелетайте всех стран, собирайтесь.

Горничная дружит с распропагандированным писарем из штаба и считает себя образованной. Бегаёт к Думе, слушает речи, приносит хозяевам:

– Вильгельм – умный царь, не то что наш.

А Марина, горничная Карабчевских, бойка на язык. Она графа Орлова и раньше видела, когда хозяин его защищал. А теперь говорит:

– Объясняют так на улице, что теперь князь и графья вместо дворников будут улицы мести. То-то наш графчик к самому Керенскому шофёром подсыпался... Метлы в руки брать охоты нет...

* * *

Гуляющая по улицам публика стала всё больше семячки грызть, и на Невском. Теперь – никто не препятствует наземь плевать.

По снегу – шелуха, шелуха.

Под Аничковым мостом на льду лежат скинутые разбитые гербовые орлы – металлические, которые не сгорели.

* * *

Перед закатом по замёрзшей Неве, по тропинке, между Троицким и Дворцовым мостом идёт курсистка с повязкой Красного Креста и студент. Слева от них плывёт купол Исаакия, справа виден голубой купол мечети.

Студент, на Исаакия:

– Ещё стоит, синодальное учреждение.

Курсистка, на мечеть:

– И вон, торчит без дела.

* * *

К концу дня по Невскому медленно двигался грузовик, а с него что-то читали. Потом трогались дальше, но далеко ему ехать не давали, опять кричали:

– Прочтите ещё! Не все слышали!

Автомобиль снова останавливался, и толпа густо собиралась вокруг него. Молодой румяный бритый господин актёрского вида, в шапке чёрного меха и с чёрным меховым воротником пальто стоял в кузове во весь рост, окружённый несколькими любителями. Он вытирал ярко-белым платком губы и с видом счастливой уверенности снова читал – внятно, громко, прекрасно поставленным декламационным голосом:

– Отречение от престола! Депутат Караулов явился в Думу и сообщил, что Государь Николай Второй отрёкся от престола в пользу Михаила Александровича! Михаил Александрович в свою очередь отрёкся от престола в пользу народа! В Думе происходят грандиознейшие митинги и овации! Восторг не поддаётся описанию!!!

– Ура-а-а! Ура-а-а! – кричали и тут, слушатели.

Опьяняющее чувство: теперь все мы – заодно. И у власти, наконец, честные разумные люди – Милюков!...

– А царь в Ставке только мешал умным генералам. Теперь война лучше пойдёт!

– Вот вы увидите: через неделю в России не останется ни одного монархиста.

* * *

На Невском же, в витрине «Вечернего времени» выставили эти последние телеграммы об отречениях. Подошли два гвардейца-кавалериста, в шинелях до земли. И старший, с унтерскими нашивками, сказал младшему:

– Читай.

Тот внятно прочёл отречение Государя.

– А дальше? – нетерпеливо прикрикнул старший. – Есть что?

– И великий князь Михаил Александрович тоже от...

– Не может быть! Прочти ещё раз.

Младший прочёл.

Совсем тихо старший сказал:

– Всё кончено. Пойдём.

* * *

В лазарете Георгиевской общины раненые, узнав об отречении Государя, плакали. С двумя ампутированными ногами, всегда бодрый, терпеливый, теперь безутешно рыдал:

– За что ж я ноженьки отдал? Царя теперь нет – всё пропадет!

* * *

На ночь в петроградских домовых подъездах стала обывательская охрана, кто попало и всех возрастов, – и старики, и дамы, и гимназисты.

В ночь на 4 марта над Петроградом закрутила снежная буря.

* * *

В ночь на 4 марта в заключении министерского павильона начальник Морского кадетского корпуса вице-адмирал Карцев (по долгой бороде кадеты звали его «Лангобард»), зять нетронутого морского министра Григоровича, обезумев от тщетных попыток добиться свежего воздуха (и от всех приходивших зубоскалить журналистов, новых начальников, Керенского, и вспоминая осквернение своего корпуса?), – набросился на часового и с большой силой вырвал у него винтовку. Другой часового в комнате дважды выстрелил, пробил ему пулей плечо навывлет. Третий часового выстрелил, попал в шею сидящему тут же полковнику. И в соседней комнате выстрелил часового, никого не задев. Вбежал унтер Круглов с поднятым браунингом и свистком во рту: если б ещё кто из арестованных двинулся – он бы свистнул, команда всем часовым стрелять.

А Карцев хотел покончить самоубийством. Когда ему перевязывали рану – он обманул санитаров, бросился ещё на одного часового, и его штыком успел себя ранить в грудь. Кричал. Его увезли в больницу.

397

Приехал Пешехонов в Таврический – а самозванный врач-комендант не появился за ним, исчез. Жаль Пешехонов не взял себе его удостоверения с чёткой карауловской подписью! Но всё равно, надо было идти браниться с Карауловым.

Однако прежде чем он нашёл его или вообще кого-нибудь – ему вручили, раздавали тут желающим, большой полупустой лист, – в этой полупустоте торжественный, – экстренное приложение к «Известиям Совета», а в нём трёхвершковыми буквами было грязно напечатано:

«ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРЕСТОЛА

Депутат Караулов явился в Думу и сообщил...»

Как – и это тоже Караулов?

В Петрограде бурлила жизнь, в комиссариате – живая работа, а тут свои заботы: «отречение от престола»?! Пешехонов понимал, что это – очень крупное, и надо воспринять, но голова, закруженная комиссариатскими делами, отказывалась.

«... в пользу Михаила Александровича, а Михаил Александрович в пользу народа...»

Это, конечно, было колоссально, сразу не сообразить, – и что значит: в пользу народа? Республика?

И ещё дальше листок уверял, что «в Думе происходят грандиознейшие митинги и овации, восторг не поддаётся описанию». Но стоя как раз в середине Екатерининского зала, Пешехонов не видел ни митингов, ни оваций, ни восторга, довольно спокойно брали этот листок, а суетня была даже гораздо меньше, чем в их комиссариате, потому что тутошние помещения много просторней, и люди разминались свободнее.

Искать Караулова была бы задача, если б не был он особен своей казацкой формой да

ещё терской высокой чёрной папахой. Усы открутив на бока предельно, как только могли держаться, расхаживал он вполне как на параде, ощущая себя здесь, да и в Петрограде, да и во всей революции самым центральным человеком. И правда, чьи приказы больше всех по городу гремели, как не его (хоть друг друга и отменяя)? И правда, вот, кто принёс в Думу сообщение об отречении? – с двумя царями-братьями, третьим вошёл в историю только Караулов! Неподходящий момент ему и выговаривать. Оттянул его от других претендентов, стал внушать, – Караулов обиделся. Незлое лицо его приняло осанку. Не помнил он такого врача, но если подписал – значит, надо. Да тут их тысячу бумажек приходится подписывать, разве в каждую вникнешь?

В некотором отношении Караулов был того же корня, что и Пешехонов, – чужой тут. Как Пешехонов при всём своём журнальном редакторстве оставался простоватым мужичком, так и Караулов, несмотря на думское членство и когда-то филологический факультет, оставался казацким рубакой.

Уж теперь приехал Пешехонов в Таврический – решил и другие накопившиеся дела делать. Четыре дня назад он здесь начинал и отсюда ушёл добровольно к живой жизни в городской район, – и вот уже отпал от них до омертвления их, здешних: вся здешняя жизнь и суэта теперь казались ему почему-то – теньвыми, придуманными, ненастоящими.

Это впечатление ещё усилилось, когда узнал от знакомых, что Милюков и Гучков, главные члены правительства, только вчера объявленного, сегодня уже подают в отставку!

Ну, кругом голова! И правительство – тень.

Да верная-то власть была – Совет депутатов, конечно. Туда нужно было Пешехонову во-первых в автомобильный отдел, такой отдел был и в комиссариате, и что-то между двумя отделами показалась ему какая-то тёмная смычка, не воровали ли автомобили; он решил, своих не предупредив, нагрянуть тут с контрольными вопросами.

Потом надо было ему найти Керенского и как министру юстиции передать обнаруженный в бумагах охраны список провокаторов – не главных, но принесшие студенты отметили одного, кто, по их сведениям, устроился работать в Военную комиссию к Гучкову.

Однако Керенского нигде он найти не мог. Думал – не сидит ли на Исполнительном Комитете Совета, заседающем непрерывно. Как бы не так, сказали – он никогда тут не бывает, полностью перешёл в правительство.

А зато тут раздавали горячий ужин, кстати и поел. За столом сидели свои товарищи, все знакомые, и прели в прениях. Было у Пешехонова и тут дельце. Он сел к столу между ними и спросил у Цейтлина, что за чушь говорят: приходят в комиссариат и просят разрешения на открытие печатного органа, да разве такое требуется?

– А как же? – сказал Цейтлин. – Было такое постановление. Только с разрешения Исполкома.

Пешехонова заворошило. Но он сдержался и попросил разрешение – себе, на свой журнал «Русское богатство».

– Это сейчас, – сказал Цейтлин, – устроим.

Протянул руку – на столе уже лежали, оказывается, готовые такие бланки, вписал «Русское богатство», подписался за секретаря – и протянул Нахамкису подписать за председателя.

Тот подписал.

Пешехонов почувствовал, что его заливают горячим. Он взял ещё один такой пустой бланк, отсел, вписал другое, новое, название своего журнала, «Русские записки», дал по пути Капелинскому подписать за секретаря, и подошёл к председательствующему Чхеидзе, попросил тихо:

– Николай Семёныч, подпишите, пожалуйста.

Чхеидзе глянул, ни слова не говоря подписал.

И тогда в приливе Пешехонов закричал на всё заседание, прерывая его:

– Да вы что, товарищи!? Вы нас – и завоеваний Девятьсот Пятого года хотите лишиться?!

Даже при царской власти с тех пор не требовалось разрешение на периодические издания! Кто хочет – тот издавай. А теперь – у вас...?

Заседание молчало. Чей-то голос отговорился смущённо:

– Ничего не поделать, Алексей Васильич. Низы – требуют. Какая ж это будет революция – если всякая правая газета и выходит?

398

Сразу после освобождения крестьян Елпифидор Парамонов пришёл в Ростов-на-Дону из Великороссии, с севера, пешком, в лаптях. А через полвека сыновья его Пётр и Николай были среди богатейших людей Ростова, воротилы многих дел, и особенно мукомольных, на берегу Дона воздвиглась пятиэтажная мельница братьев Парамоновых, оборудованная по новейшему слову. А парамоновский особняк на Пушкинской, известный всему Ростову, был как дворец или даже как замок, за высоким каменным забором. Николай по внезапно пришедшей догадке мог встрепетнуться среди ночи и гнать на автомобиле заключать новую сделку. (Корила жена: «Неужели нам мало?») Но не в одно только миллионерство ушла энергия братьев: Пётр был председатель ростовского биржевого комитета, а когда в середине войны Гучков создавал повсюду военно-промышленные комитеты, то председателем ростовского стал Николай Елпифидорович. Он ещё более брата дорожил славой оппозиционного прогрессиста, но ещё и мецената, хотел стать южнорусским Третьяковым, гремел на весь Юг, даже издавал запрещённые книги, за что отсидел короткий срок, – и это ещё добавило ему славы среди интеллигенции. Имена братьев Парамоновых то и дело пестрели во всей южнорусской печати, а в прошлом году член ростовской управы Костричин, вождь местного Союза русского народа, в своём мерзком «Ростовском листке» назвал Петра Парамонова «мародёром тыла и грабителем», имея в виду задержку муки на складах для спекулятивного взвинчивания цены, – и братья Парамоновы подавали на Костричина в суд за клевету. В ходе суда ещё возникало и обвинение, что Парамоновы продают муку в Германию, но это повисло без доказательств, однако по клевете Парамоновы дело проиграли (и поклялись раздавить этого Костричина в лепёшку). Вся прогрессивная ростовская общественность и печать была за Парамоновых, было к ним сочувствие и кое-кого из властей, вот градоначальника Мейера, – и братья Парамоновы, с их могучей, также и телесной, ростом дюжим, вырастали в крупные фигуры против петербургской власти.

А тут-то – и грянь революция, как нельзя кстати!

После бешеного успеха её в Ростове – вечером 2 марта Парамонов с Зеелером в особняке Мелконовых-Езековых энергично составляли Ростово-Нахичеванский Гражданский комитет. Чтобы включить представителей всех главных общественных организаций и слоев населения, ему предстояло распухнуть за полусотню. Поздно вечером уже пришли и представители от студенческого революционного комитета и от рабочей группы. Но эти последние сразу потребовали себе в особняке отдельное помещение, отдельно совещались и объявили, что не желают объединяться с капиталистами – сюрприз! – а у них будет свой отдельный Совет рабочих депутатов.

Не поверил Парамонов в такую нелепицу, ну конечно завтра уговорим, что они без нас? А ещё ж катились к ночи новые сведения из Петрограда, уже никакой не думский комитет и не Родзянко, а создано стабильное Временное правительство, – и это по-новому освещало и задачу ростовского устройства. На утро 3 марта назначили градоначальнику Мейеру, что приедут к нему на новое совещание, чтобы собрал главных чинов.

Очень беспокоило состояние Новочеркасска. Но утром и донской официоз вышел с полным составом новостей, и окружной атаман Граббе тоже подчинился революции! И теперь это всё поплывёт по станицам, просвещая и тупые казачьи мозги. Ура, казаки обезврежены!!

Поспав полночи, Парамонов ступал теперь по градоначальству как Хозяин города,

ревниво посматривая, кого тут Мейер собрал. А с ним в свите были снова – Зеелер, двое городских голов и несколько левых думских гласных. (Ещё же стояла задача, как очистить или вовсе разогнать ростовскую городскую думу: на всю Россию только и было две правых думы – в Одессе и в Ростове, нигде больше такого безобразия.)

Итак: наша задача – безболезненное укрепление новой власти. Признаёт ли администрация обязательными все веления Временного правительства?

Мейер первый заявил, что – полностью признаёт. Но начальник гарнизона генерал-лейтенант Кванчхадзе уклонился от прямого ответа: он – только военный, не его дело рассуждать о правительстве, он будет выполнять приказы атамана, какие придут. Затем и прокурор окружного суда Юргенс высказался, что он не компетентен со строго юридической точки зрения. Это уже очень взволновало присутствующих, ибо походило на сговор. Тревоги добавил и нахичеванский голова Попов: что он не может дать никаких обязательств без общего решения своей думы.

Судьба Ростова заколебалась! Но градоначальник Мейер с большим тактом и настойчивостью убеждал каждого из них по очереди, что они уже отступили от своих принципов действиями вчерашнего вечера, и им ничего не остаётся, как идти дальше, тем более старой власти вовсе не осталось, она не функционирует.

Сломили. Тогда Зеелер предложил послать восторженную телеграмму Временному правительству. Но тут Кванчхадзе решительно упёрся – и пришлось ограничиться казённым невыразительным текстом.

Парамонов потребовал от градоначальника немедленно арестовать Костричина и всю верхушку Союза русского народа. Мейер обещал, что во всяком случае обезвредит их и поместит под домашний арест. Согласился немедленно опечатать Охранное отделение. Обещал дать и чёткое распоряжение полиции: нигде не проявить бестактности к манифестациям, какая могла бы быть истолкована как протест против нового строя жизни, а если демонстранты будут сгонять городского с поста – то ему и уходить беспрекословно. (Совершенно ясно всем, что полиция обречена, ей больше не существовать, население не может верить её искренности. И распоряжения Мейера эти – из последних. Для возникающей милиции нужен центр – и хорошо бы для этого очистить в городском саду ротонду от Союза русского народа. Хорошо.)

Казалось Парамонову – он всё предусмотрел. Но вернулся в Гражданский комитет – и член его присяжный поверенный Шик встревожил и убедил, что надо срочно слать комиссию – изъять из канцелярии градоначальства всю секретную переписку. Послали.

А весь Ростов тем временем разлился и разликовался! – нигде никто не служил, не работал, не торговал и не учился. Улицы все затопило народом – да ещё ж и весна! – и трамваи, вышедшие с утра, не могли ходить, утянулись в депо. По Садовой, по Таганрогскому, по Пушкинской, по Большому – валили манифестации, особенно из молодёжи и интеллигенции, кто с поднятыми руками, кто маша платками, кто и неся цветы, – месили калошами по тающему снегу, проваливались, зачерпывали воды, – но как были веселы! Появились и оркестры, ходили к французскому и английскому консульству. Шли митинги и в военных казармах, куда проникли гражданские. Городовые оставались на своих местах, нацепив к мундирам красные ленты. Потом кое-где рядом с ними становились добровольцы-милицейские, а кое-где и вовсе сгоняли городских с постов.

Но на самом деле положение было совсем не такое радостное: Гражданский комитет, уже в составе 45 человек, заседал всю вторую половину дня и весь вечер, но никак не могли окончательно сформироваться, потому что Совет рабочих депутатов, занявший комнаты тут же, всё отталкивал протянутую им руку, и не только не хотел соединиться с Гражданским комитетом, но заявил, что милицию сформирует – сам, и продовольственное дело забрать в руки кооперативов и рабочих, а продовольственную комиссию Гражданского комитета – не признавал. Несколько раз Парамонов шёл садиться с ними на переговоры, и всё безрезультатно. И обидно, что там в головке – совсем не рабочие, а интеллигенты же, один председатель Петренко у них напоказ, – а вот так непримиримо и глубоко обособляются,

разваливая всё гражданское дело в Ростове. И явившийся полицеймейстер Иванов пришёл не в Гражданский комитет, а прямо в Совет рабочих депутатов: убеждать, что без полиции будут уголовные преступления и не соберутся подати. Хуже того: у солдат стала возникать своя организация, и они тоже не признавали Гражданского комитета, но слали своих эмиссаров во все полицейские участки. И ездил Парамонов уговаривать солдатских главарей Литова и Нудельмана. – и тоже ни в чём не уговорил.

Так что ж это будет? – это будет не разумная свобода, а хаос? К этому ли были ваши лучшие устремления годами?

Тут настиг Николая Елпифидоровича ещё один удар: то ли пока он ездил – настроение Гражданского комитета тоже изменилось, и вдруг избрали председателем не его, а Зеелера.

Да это уже... Да что за чёрт?!

399

Вечером надо льдами, сугробами гельсингфорского рейда с чернеющими силуэтами кораблей закруживало мятежью. Порошило на палубы. Часовые с головой кутались в тулупы.

Вахтенный начальник флагманского линкора «Андрей Первозванный» лейтенант Бубнов не сразу заметил, что на соседнем линкоре «Павел I» на мачте висел красный боевой огонь, а одна орудийная башня – да! развернулась сюда! на «Андрея»!

Глянул вверх по своей мачте – и у себя на клотике увидел такой же красный фонарь.

Но он не приказывал поднимать! Что такое?

Пошёл на мостик, узнать. Сверху навстречу свалился дежурный кондуктор:

– Ваше высокоблагородие! На корабле бунт! Команда разбирает оружие!

Послал кондуктора к старшему офицеру, сам скомандовал с мостика вызвать караул вверх – и спустился на палубу.

Караул быстро выбежал с примкнутыми штыками.

Но уже, в мелькании снега и ветра, при палубных светах, валила сюда по палубе вооружённая толпа матросов.

Заорал им:

– Стой!

Толпа остановилась.

Караулу:

– Зарядить!

Ах, ещё заряжать! – и бегут, скользя, сюда.

А караул мнётся, не заряжает.

Бубнов вырвал одну винтовку – сам зарядить, – но со спардека сверкнул выстрел – и лейтенант упал.

А командир «Первозванного» каперанг Гадд, только что проводив в штаб флота командира бригады линкоров контр-адмирала Небольсина, спустился в свою каюту и сел пить чай при настольном зелёном абажуре.

Но услышал – горн? – да. Да.

Поставил стакан, ещё прислушался.

Да как будто ружейный выстрел? И не один?

Насадил фуражку, вышел в коридор.

По коридору бежали боцман и кондуктор с окровавленной головой:

– Команда стреляет!... Убили вахтенного начальника!

Наружу!

Не выйти, стреляют по выходу.

Вниз, в кают-компанию.

Тут – с десятков офицеров.

– Держимся вместе, господа!

С чем? С револьверами...
– Охраняйте вход!
И к телефону. И успел сообщить в штаб.
С револьверами офицеры столпились у входа.
А матросы стали стрелять в кают-компанию – сверху, через палубные иллюминаторы.
Ранило мичмана, убило вестового.
Жужжали и цокали пули. Весь пол был в осколках стекла.
Мичмана положили на диван, врач перевязывал его.
Сверху слышалась иступлённая матерная брань матросов.
Выключили в кают-компании электричество.
Капитан Гадд воскликнул:
– Только – образумить! Кто за мной?
И – в коридор! Но на палубу опять не пустил обстрел.
Оттуда кричали:
– Мичман Эр! – наверх! – (Его любила команда.)
Каперанг отпустил его:
– Может вам удастся успокоить.
Но осада кают-компания не утихла. В темноте грохали выстрелы – и пули пронизывали тонкие переборки. Ранило ещё одного офицера.
Тогда каперанг, уже один, ринулся наружу, под обстрел.
Его – не сразило. И он в светах редких ламп быстро, бесстрашно вошёл в толпу:
– Матросы! Я тут один. Вам ничего не стоит меня убить. Но – выслушайте!
– Кровопивец! Не желаем! – кричал один.
– Спросите его, пусть покажет, кто здесь на нашем корабле пил кровь и чью...
– Вы нас рыбой морили! Офицеры не допускали нас к вам жаловаться!
– Неправда! Каждый месяц я обходил всю команду. И всегда говорил: приходите ко мне, если что. Верно?
– Верно! Верно!
– Мы ничего против вас... Он врёт!
Охрипший каперанг шагнул на возвышение – говорить.
А по сходням избегала новая страшная толпа – это были матросы с «Павла», уже покончившие у себя. И теперь, с разгону, увидев каперанга на возвышении:
– В штыки его!
И перед ними – кто расступился, а другие сомкнулись в защиту капитана.
И павловские отступили.
Тогда мичман Эр вскричал:
– А ну, ребята! На «ура» нашего командира!
И его подхватили на руки.
Но отнесли – в каземат: «Тут целей будете.»
Капитан из каземата по телефону в кают-компанию велел офицерам отдать оружие и идти в каземат.
Один молодой мичман громко безумно хохотал. Его повели в лазарет, но матросы не выдержали хохота и застрелили мичмана по пути.
По кораблю там и здесь раздавались предсмертные вопли: это ловили сверхсрочных унтер-офицеров и кондукторов и убивали их.

400

После ранения в Ревеле вице-адмирала Герасимова Непенин телеграфировал в Думу, просил послать в Ревель самого Керенского для уговоров.

Но и здесь, на рейде в Гельсингфорсе, что-то начиналось. Днём произошла матросская манифестация в районе минной обороны. Непенин ездил туда, успокоил.

Отдал распоряжение по всем кораблям не увольнять матросов на берег.

День, начавшийся таким радостным всплеском, тѣк мучительно. Откуда-то возник слух, что на кораблях будут беспорядки. Да почему же бы? Не помогло прямодушие адмирала, ежедневное открытие матросам всех происшествий? Не помогло, а скорей повредило: теперь, всё зная, на баках выражались открыто и резко.

Рассказывали офицеры с разных кораблей, что ощущают исподлобное накопление матросского недоброжелательства.

Но почти ничего явного за день не произошло. Команды на кораблях занимались. Блистающе солнечный прошёл день. Но так затемнилось на душе, но такая тревога обняла, что в сумерках капитан Ренгартен, весь на вьющихся нервах, сказал князю Черкасскому:

– Миша, мне кажется, мы идѣм к гибели. Нас может спасти только чудо.

– Ну, не так уж! Ну, не преувеличивай! – отстаивал Черкасский.

Шестнадцать часов назад они встречали этот благословенный день с шампанским – и чего угодно ожидали, но не такого поворота во вне и в себе. Тогда, возбуждённой ночью, нельзя было представить, что впадут к вечеру в такую тоску. Сейчас нельзя было представить, почему они могли так радоваться минувшей ночью.

Преодолевая томленье, надумали составить новый приказ по всем командам: разъяснить сегодняшнее новое положение. Которого и сами не понимали.

Но не кончили. Смутные предчувствия оказались верны.

Едва стемнело – «Павел I» поднял красный огонь и развернул орудийную башню на стоящего рядом «Андрея Первозванного».

И после колебания «Андрей» тоже поднял боевой красный фонарь.

Крупные жесты кораблей, такие грозно-выразительные на морских расстояниях.

И капитан «Андрея» успел по телефону: мятеж!!

На обоих кораблях слышались ружейно-револьверные выстрелы.

С кем же могла быть перестрелка, если не с офицерами?

В воздух?

И кажется слышалось «ура».

И тогда в колонне 2-й бригады, линкоров, стоящая рядом с теми двумя «Слава» тоже подняла красный фонарь.

Как раз на линкорах команды ещё не знают хорошо своих офицеров, не свичены, не были в боях.

И отзываясь издали, из колонны 1-й бригады, дредноутов, подняли красные фонари «Севастополь» и «Полтава».

А «Петропавловск» и «Гангут» не подняли.

Одинокие зловещие красные глаза смотрели друг на друга через темноту. Что они значили?

Радиосообщений не было, и с «Кречета» можно было только гадать: что там происходит, неотвратимое?

Если бунтуют команды – что ж офицеры? Куда деваться офицерам на восставшем корабле?

Стрельба... «Ура»...

Когда Непенину доложили о бунте, он налился жаром. Поколебался, примерился:

– Какой из дредноутов может открыть огонь по «Павлу»?

Но и тотчас же сам себя осадил:

– Нет, крови проливать не буду.

Что же творилось? **Пришло** сюда...

Каменеющий Непенин велел построить на палубе, под мятелью, команду «Кречета».

И перед этим малым строем произнёс речь – тяжѣлым голосом, со всей своей открытостью. Что он хотел – во всѣм напрямую, откровенно, – но какие-то мерзавцы мутят команды. Что он любит Россию, и служит только ей, и вместе с народом присоединился к народному правительству – чего ещё? – а поднимать мятеж, стоя против немцев, могут

только негодяи.

– Да кто б там ни был! – сорвалось у него. – Пусть страной управляет хоть чёрт! Но мы должны стоять против немцев и защищать Россию! Я – всё сказал, я – весь тут, перед вами. Кто за меня – останься на месте, кто против – два шага из строя!

Кто-то крикнул:

– Ура адмиралу!

И другие:

– Ура-а-а адмиралу! -

и строй рассыпался, кинулись к Непенину, подхватили, стали качать.

Когда успокоились, Непенин обратился:

– А есть среди вас охотники, кто умеет говорить? Кто пойдёт по кораблям разъяснить?

Два шага вперёд.

В этот раз ступанули многие. Все были увлечены. Непенин сказал:

– Разделитесь по пятеро. Идите по кораблям. Повторите всё, что я сказал. И скажите, что после вас следом приду я сам!

А между тем с какого-то корабля доносился стук пулемёта.

Неужели – расстреливали? Свои – своих?...

Везде кипело, убивалось – в темноте, неведомо, под этими красными огнями с клотиков.

С разных судов несло толпяное «ура».

Стрельба прекратилась.

Перебили, кого хотели?...

Крики росли и перебрасывались с корабля на корабль.

Ещё только вышли на берег посланцы с «Кречета» – как с других кораблей валили толпы, и все сюда – к «Кречету».

Вот оно! Где-то во Пскове мог отречься царь, где-то в Петрограде могло властвовать Временное! правительство, – здесь, в мартовской ночи и выюге, на тёмном ледяном море, уже принявшем первые офицерские трупы, в пустынности рейда, при красных фонарях и тонких лучиках вдоль мачт, – был свой закон, свой суд, своя революция края и гибели.

Подходящие матросы собрались в большую толпу перед «Кречетом». На митинг.

Только стрельным огнём можно было задержать их на сходнях, и то недолго.

Но не только не хотел проливать крови Непенин, а было ему всего обиднее, что он первый из крупных военачальников был готов к этой революции ещё до её начала, опережал её ход своею поддержкой, – и теперь со своими офицерами должен был ожидать расправы от собственных матросов?

Освещая фонарями судна толпу на берегу в чёрных бушлатах и бескозырках, адмирал послал пригласить на «Кречет» по пять депутатов от каждого корабля.

Крики в толпе усилились: слать ли депутатов? и кого?

Тем временем линкоры сигналили дредноутам – арестовать офицеров!

Команда «Кречета» просила разрешения поднять и им красный огонь.

И адмирал – разрешил...

Пополз, пополз наверх красный фонарь. Адмиральское судно присоединилось к мятежу!

И от минной дивизии слышна была стрельба.

Всё начавший «Павел I» теперь дал радио: «Ораторы, в воздух не говорить, немец услышит!»

Пришли депутаты на «Кречет». Выстроились на командной палубе, и адмирал говорил с ними.

Его штабным декабристам жалко было на него смотреть – так он устал, так травился, с таким трудом сдерживался от гнева. Старался вести хладнокровные переговоры, узнать, чего ж они хотят? – и депутаты объясняли один за другим: чтоб говорили матросу «вы» и относились с уважением; чтоб на улице дозволяли матросу курить...

Только-то?...

И из-за этого сейчас на линкорах убивали офицеров и кондукторов и выбрасывали за борт?

Непенина разрывал гнев к чёрному тупому строю. И, сбитый, плотный, круглоголовый, он, воспалаясь, стал кричать:

– Офицеров убили – сволочи!!! И сволочи зажгли красные огни! И из трусости подняли стрельбу в воздух! А я – презираю трусость! И ничего не боюсь! И я вызываю мой флот стоять против немцев! – а революция в Петрограде сделалась и без нас!

Стояли депутаты смирно. Хорошо стояли. Слушали.

Тут как раз поднесли, и уместно было прочесть вслух, длинную социалистическую телеграмму Керенского, в конце призывавшую подчиняться Непенину, поскольку он признал Временное правительство.

Телеграмма очень успокоила депутатов.

Разрешил адмирал на завтра провести собрания команд на судах, а потом в столярной мастерской на берегу – собрание депутатов от команд.

Депутаты расходились. Один из них сказал:

– Да ничего не исполнит, что обещал.

Ренгартен схватил его за рукав, стал объяснять, давясь собственной горячностью.

О брат-народ, в каких ты предрассудках! Да как же прорваться к твоему сердцу? Да как же осветить твой разум? Как же ты не отличаешь друзей?!!

(Это можно понять: нижние чины Балтийского флота набирались из петербургских рабочих, более удобных для обучения механизмам. А во флоте они зарабатывают меньше, чем на заводах, – и что там внушается в машинных отделениях и кочегарских командах!...)

Вокруг них собралась кучка. Ренгартен говорил, говорил – и поражался их бестолковым, кажется бессвязным и даже бессмысленным ответам. И даже тупым лицам. Он не улавливал их логики, и внутренне дичился: неужели вот с этими матросами они – равноправные русские граждане?

Охрип. Помогал ему – писарь его, вернувшийся с увещания других команд.

В конце-то концов – может быть и можно уговорить, объясниться, понять друг друга. Но – сколько надо слов потратить! Но – какая пропасть!

После ухода депутатов Непенин сразу сдал, осел, потерял и гнев, и силы.

Посидели в полной потерянности, говорили вяло.

С каких кораблей удавалось – сообщали по радио, сколько офицеров убили, и кого. Кого вскинули на штыки. Кому разбили череп кувалдой. Только тут узнали, что контр-адмирал Небольсин застрелен на льду.

Слушали речь адмирала – и не сказали! Непенин разрывался перед ними, – а они уже убили Небольсина!... (Цусиму пережил – а вот...)

Вместе с кронштадтскими потеряли, скоро получится, – половину офицеров, погибших при Цусиме.

Здесь, на «Кречете», сами-то себя отстояли – на ночь? на полночи? на два часа?

Надо было просить поддержки. Присылки членов Думы.

Отправили телеграмму в Ставку и в Думу:

«Балтийский флот как военная сила не существует.»

401

В те самые минуты, когда генерал Алексеев кончал разговаривать с Гучковым, – с другого юза стекала телеграмма великого князя Николая Николаевича.

Это был ответ на алексеевскую №1918, через пять часов. Сегодня великий князь не торопился, как вчера, да ведь он теперь был Верховный Главнокомандующий. И тон телеграммы сразу ставил Алексеева на место:

«В сношениях с правительством выразителем объединённого мнения Армии и Флота,

но не коллегиального мнения главнокомандующих, должен быть я».

Вот был и ответ на алексеевскую затею.

Как же легко оказалось вчера столкнуться главнокомандующих – и как недоступно сегодня.

Верховный полагал властную руку – и Алексееву предстояло умерить инициативу. Да оно и легче. Устал Алексеев...

А что касается Манифеста, то ожидал Николай Николаевич передачи престола наследнику цесаревичу. А сообщённая утром передача престола Михаилу Александровичу – неминуемо вызовет резню.

Вот как? Это изумляло. Почему же имя Михаила вызовет резню? Вызвать резню может только неопределённость и суэта. Из чего же Николай Николаевич увидел с Кавказа такое? Что ж, теперь надо было радоваться отречению Михаила?

Или, правда, Алексеев чего-то не понимал. (И не надо ему понимать, голове легче.) Или промеж великих князей свой счёт и своё понимание. Пусть их.

Да тут и не раздумаешься: снова требовал к аппарату Петроград! Целый день нет их, как к вечеру – так оживляются.

Ещё что-то новое случилось? Тревожно шёл Алексеев, чуть пригребая по полу нефрантовскими сапогами без шпор.

Аппарат объявил ему: что Родзянко занят неотложными делами. (Ну и пусть, он больше не нужен.) А что Гучков – подал в отставку с военного министра!!! А военными делами занимается тот некто, кто сейчас стоит у аппарата. Не сочтёт ли генерал Алексеев возможным говорить с ним?

Алексеева – как ударили палкой по лбу. Он залупал глазами. Неужели такое могло совершиться за тридцать, ну сорок минут? Что за сумасшедший дом?! Позвольте:

– Я только что кончил разговор с Гучковым. Он мне ни единым словом не обмолвился об отставке. Напротив, указывал, что все усилия посвятит на пользу армии.

И тем не менее это так.

Значит, весь разговор с Гучковым уже летел к чёрту? Да если такая шаткость в правительстве – как же быть Действующей армии?

– Если вы можете довести до сведения председателя совета министров, то я прошу, чтоб я был ориентирован в ходе дел. Ибо отдавать распоряжения с завязанными глазами невозможно.

– Час тому назад член правительства Некрасов сообщил мне, что Гучков подал в отставку.

То есть он разговаривал с Алексеевым, уже подав в отставку, и ничего об этом не сказал?!

– Ну, возможно он взял отставку обратно. Если вы с ним разговаривали после шести часов?...

Именно после шести.

Возможно. Из Ставки трижды вызывали – или Родзянку, или Гучкова.

– ... А Гучкова в Думе не было, потому я позволил себе лично прибыть к аппарату, чтобы не задерживать вас.

Ах вот что, так это не они вызывали Алексеева, а продолжал действовать вызов самого Алексеева... Ну бедлам, они там мечутся, друг друга не видят и не слушают.

– Имеете ли ещё что сказать?

– Ничего не имею. Прошу вас на ленте отметить свою фамилию.

– Член Государственной Думы полковник Энгельгардт.

Никогда Алексеев не имел чести слышать этого имени. Что же делается в новом правительстве? И как же быть Ставке? С кем же он связался?...

Теперь, когда совещание главнокомандующих уже было заглохло, Лукомский как в насмешку подносил ответ Эверта с опросом командармов. Эверт – согласен и торопил собирать главнокомандующих как можно быстрее.

Да, кого-то и как-то можно было объединить. Но всё упущено.

В этих днях поразительное было – сколько событий уместается в малое время. То разговаривал с военным министром, то он уже не министр, не успеваешь дойти от аппарата до кабинета, сесть подумать, очнуться. А ведь через час встречаться с бывшим Государем – какое стеснение в сердце? как выдержать его доверчивый взгляд, какими словами сейчас с ним объясняться? А вот от моряков несли новую телеграмму. От Непенина.

Короткая, но продирающая. На нескольких крупных судах – бунт! Адмирал Небольсин – убит!...

«... Балтийский флот как военная сила не существует.»

Как – руку отрубили одним взмахом! Сам командующий признавал о своём флоте – ещё вчера могучем флоте – что он **не существует** !

Алексеев перекрестился.

Боже мой, Боже. Спаси Россию!

Вот это – уберегли Действующую армию... Целый грозный флот – и разом **не существует** !... Что же поделалось? Как??

Коротка была телеграмма, всего три строчки, а всё никак не мог Алексеев дочитать её до конца. А конец-то был – самый поразительный. Как будто потеряв разум и последнее мужество, адмирал Непенин спрашивал у Ставки:

«**Что могу сделать ?**»

Как невысказанно выразиться в военной телеграмме. Как не смеет произнести военный. А только в обезумлении.

Во всяком случае, не генерал Алексеев мог отсюда посоветовать. Алексееву – надо было ехать встречать Государя.

Очень противилась душа. Встала между ними – неясность, неловкость, какой никогда не бывало.

Зачем, зачем Государь уезжал?...

А теперь – зачем опять приезжал?...

Как тяжело было объяснить все шаги этих дней – и тем особенно, что они в награду окончились разочарованием. И даже обманом.

И даже разгромом.

И даже четверть часа назад до непенинской телеграммы – ещё насколько было легче!

Очень не хотелось встречаться.

Алексеев посоветовал: иностранным представителям – не ехать на вокзал. А чинам штаба – всем, кто хочет. И чем больше – тем лучше.

Надевал шинель – поднесли ещё телеграмму. От мешка Иванова: верно ли, что ему возвращаться в Могилёв?

Очень тут нужен. Кому теперь?...

И уже в автомобиль сел, отъезжать, – бегом поднесли ещё одно утешение от Непенина:

«Бунт почти на всех судах.»

402

Долгой дорогой, вагонным покачиванием отходил Николай от пережитого во Пскове.

Он оказался как обожжён. Только сегодня ощутил, насколько. И ото сна – не прошло. И от книги о Цезаре – не проходило.

За окнами двигался чудный солнечно-морозный день. Но не взбадривал душу.

С пути отправил телеграмму брату.

«Его Императорскому Величеству Михаилу.»

Необычно сочлось. Но от своей руки.

«События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным братом... Горячо молю Бога помочь тебе и нашей родине. Ника.»

Пошли ему Господь более удачного царствования!!

И Мама в Киев отправил. Позвал приехать в Ставку.

За день разговаривал понемногу с Фредериксом, Воейковым, Ниловым, – но всё не разряжалось. Они как-то не так понимали.

Воейков упрекнул: говорили Государю, что гвардию надо было держать в Петрограде, – надо было и держать. И ничего бы не произошло.

Но это было никак не возможно, неужели не понятно? Если гвардию бы держать в Петрограде в безопасности, то такая льгота какой бы обидой была для остальной армии! Это невозможно бы!

Как и невозможно, некрасиво было бы (советовали тоже) – отзывать из армии второсрочных солдат, создавать из них полицейские батальоны.

Текли часы. Прихмурился и день. Но не только не проходило обождение, а – выросло вчерашнее, выросло по значению.

Вчера – Николай легче принял решение, чем осознавал сегодня.

А может быть – он мог бы не отречься?... Вот просто сказать: нет! – и всё. Упереться. А что?... Что б они сделали?

Обидный остался осадок от тона, каким Рузский разговаривал с ним эти дни. И как теперь пожалел Николай: зачем поддался уговорам Григория, возвратил его командовать фронтом после неудовольствия и смещения. Так возвысил его, а он вот – поворачивает судьбы империи.

Может быть, может быть как-то можно было сделать вчера иначе. Но не первый день как тугой пеленой была обтянута голова, и даже если было простое доступное – а не видно. Вчера – не увидел.

Может быть, самый простой выход, – а не открылся.

И - кто теперь был Николай? Кроме уже отодвинутой юности – он. Помнил себя всегда императором, только. И вдруг – уже нет...

Но и не просто же частное лицо, никому не знакомое, – это было бы намного легче. А был он теперь – особое пустое холодное место, выставленное на позор и насмешку всем, кто знал его в прежней жизни.

Стыдней всего было предвидеть, как: он встретится завтра с иностранными представителями при Ставке. Вот перед ними было, пожалуй, всего позорней. Ведь для них он был – сама Россия. А – как теперь они должны смотреть?

Ощущение было как будто раздетости или измазанности. Чего-то очень унижительного.

А – со всеми штабными встречаться?... – если даже со свитой так тяжело. (Все – выражают глазами.)

Да зачем он и в Ставку поехал?... Уж лучше скорей бы в Царское!

Глаза скользили по Юлию Цезарю – а в самом протекало, всё протекало – своё царствование. Такое, кажется, долгое, – а вот короткое, незавершённое.

Двадцать два года он стремился делать только лучшее – и неужели делал не лучшее?

И будут судить потомки. И будут осуждать каждый шаг.

Ещё до вечера обещало длиться это вагонное раскачивание вне жизни, отодвигая всё неприятное.

Но тут обманулся: в Орше в поезд вошёл лощёный Базили, начальник дипломатической канцелярии при Ставке, составлявший первый проект отречения. Он выехал навстречу, чтобы в пути обсудить с Государем, как документально оповестить союзников о случившемся.

Разбередил на несколько часов раньше. И бестактно коснулся больного:

– Мы были в отчаянии, Ваше Величество, что вы не передали вашей короны цесаревичу.

Вздыхнул Николай:

– Я не мог расстаться со своим сыном.

Не понимают?...

И – кончался, прошёл свободный день, так и не принеся покоя, но даже хуже. Ощущение было – раздавленности.

Вот уже, в темноте, подъезжали и к Могилёву.

Николай заволновался перед новыми встречами, каждая ещё унизит его.

Впрочем, пока на вокзале он ожидал лишь нескольких человек, обычных встречающих – Сергея Михайловича, Бориса, может быть Сандро, если здесь, да несколько старших генералов. Но подъезжая и подглядывая через обледенелое окно, – увидел на платформе длинный замерший офицерский строй – так много, как никогда не было, ещё и с чиновниками, конец и не виден был.

И – прошли мурашки по темени. Стало страшно? Да, и страшно. И – как будто почтеть мертвецу, всему наперекор!

И – слезы проникли в глаза: гордо за армейскую честь!

И – жалко себя: ведь он теперь – и от армейской чести как-то отключался? Он – полковником оставался ли быть? какого полка?...

И – колебание охватило: как же выйти сразу перед всеми? Каким шагом? И ведь придётся как держаться, чтобы слезы...

Пока замешкался – а в вагон на выручку вошёл сам Алексеев. Вот спасибо!

Всё тот же простоватый, не слишком мудрый, чуть скашивая глазами – «мой косоглазый друг»... Что-то напутал в эти дни, вчера – огорчил он Николая. Но сейчас увидел его незамысловатое лицо служаки – и теплом обняло сердце, миновала досада на него. Верные армейские души! С чувством обнял его, прикоснувшись усами к усам, наискось.

Стояли в том самом светло-зелёном салоне, где вчера, близ этого времени, Николай принимал депутатов Думы. И случайно за тот же самый столик сели, Николай – на то же самое место, а Алексеев – на место Рузского.

Брови Алексеева почти закрывали глаза. Ему трудно было начать говорить.

– Ну ничего, – коснулся Николай его рукава.

Так помолчали минуту.

– Ничего, – успокоил его Николай.

И тогда Алексеев горько вздохнул и горько сказал:

– Ваше Величество. Только что я узнал от Гучкова... От Гучкова – не могло прийти хорошее, – ещё какое-нибудь горе? Неужели не все горя исчерпаны?...

– ... что великий князь Михаил Александрович, теперь уж не знаю, верно ли, нет ли...

– Да что же? – тревожно воскликнул Николай.

– ... Отрёкся от престола... Не принял.

Миша?! Не принял?! Боже! Как это может, быть?...

– И – кому же?...

Алексеев сам чуть не плакал, таким горьким не видывал его Государь:

– Никому. Временному правительству. Или там Учредительному Собранию. Ещё документа нет, этой ночью... – И пожаловался: – Ну неужели не мог хоть на полгода принять?...

Боже мой! Всё, что столько лет держал Николай! – Миша отдал под ноги свиньям?...

Вот когда дошёл удар до конца! Николай уронил голову в руки.

403

Свечин всегда, знал девиз «служить» и твёрд был в нём. Но вот наступили такие странные дни, когда «служить» стало значить устраниваться от деятельности. До сих пор текло вдохновляющее накопление снарядов. Обещало весеннее наступление идти с избытком нашей стрельбы. Однако служебная деятельность Ставки в эти дни из закономерных предрасписанных действий вдруг перешла в какое-то тайное снование нескольких ведущих лиц, Алексеева, Лукомского, Клембовского, не склонных много делиться даже с другими генералами Ставки, а бумаги, ими сочиняемые, отправляемые и получаемые, также

выключились из нормального делопроизводства, оставляя сотрудников Ставки в догадках и напряжённых наблюдениях.

Государь, побывши в Ставке всего пять дней, – внезапно уехал, и ночью, как никогда. И дальше необычен стал каждый полдень и каждая ночь, но сведения о них не объявлялись офицерам Ставки, не обсуждались ни на каких совещаниях, ни в штабной офицерской столовой, а теперь исчерпывались каждым отделом – оперативным, военных перевозок, дежурного генерала – либо тогда, когда события прикасались его ведению, либо когда их офицерам доставались дежурства при аппаратах. Да кому-то что-то в генерал-квартирмейстерской части проговорил и Лукомский. А при том, что ставочные офицеры привыкли обмениваться мнениями и дружно обсуждать всё интересное, – они, хоть и с опозданием, в общем успевали осмыслить ход событий.

И первым чувством Свечина эти дни была досада, стыд, каких он не испытывал даже от самых горших операций этой войны. Всё Верховное Главнокомандование русской армии – и царь, и тройка главных генералов, и кто ещё касался к управлению, – было какое-то сборище расслабленных. Вместо того, как приличествует военным людям, чтобы овладеть положением и проявить силу, они все наперерыв изыскивали, как оттесниться и уступить. Что такое с военной точки зрения был взбунтовавшийся Петроград? Хаотическая голодная невооружённая, неорганизованная масса, да ещё в самом невыгодном географически зажатом положении. Мятежные запасные батальоны были рыхлым сборищем необученных полусолдат, имеющих не более полувинтовки на четверых, и то не знающих, с какой стороны её заряжать. Действующая армия имела над Петроградом не то что превосходство, а – несравнимость. Глубоко покойное состояние фронта позволяло немедленно снять с него хоть полмиллиона солдат, но даже и тридцати тысяч было бы избыточно много.

И при всём этом Верховное Главнокомандование помышляло только об отступлении и сдаче. Это был паноптикум слабых и неспособных людей – что в Петрограде, что в Могилёве. Давно вереницею тянулась перед глазами выдающаяся бездарность и безликость всех назначений – и вот проступила враз параличом. Это не могло быть только промахами человекознания у Государя: даже действуя совсем вслепую, он по теории вероятностей иногда должен был ошибаться и назначать всё-таки достойных. Надо было невиданно изощриться, чтобы во главе правительства поставить развалину, военным министром – генерала в фуляре, внутренних дел – прохвоста, командующим Округом – чурбана, и послать диктатором – оглядчивого труса. Это было скорей ошибкой доктрины – учения и духа, в котором воспитывалось командование, какой-то Шлиффен наоборот: как дать себя окружить, расчленив и поскорее капитулировать. И несчастными орудиями этой противошлиффеновской доктрины были прежде всех – Государь и Алексеев. Хотя он и провёл мастерское отступление 1915 года, но одно его прихмуренное лицо полуграмотного унтера выдавало же, что нельзя этому унтеру единолично доверить судьбы России. За эти полтора года дерзкая мысль, как колчаковский десант в Босфоре, не могла проникать его дремучую грудь. Вся его деятельность была – постепенность арифметического накопления, но вот сейчас перед сердитым Петроградом он растерял и арифметическую храбрость. И что же за несчастье, что он так не вовремя воротился из болезни! – задержись бы тут Гурко – не так бы он разговаривал с Петроградом, и вся эта революция не покатила бы.

А Лукомский и Клембовский – ну разве это были руководители для Ставки?

И чувство унижения у Свечина с каждым днём не миновало, а углублялось. Зачем был весь его – и их – военный вид, военный язык, военная манера мыслить, шашка на боку, пистолет за поясом, если во власти одряхлевших генералов-баб они были обречены носить бумажки от стола к столу и ждать решения от каких-то болтунов из Петрограда, и не мочь защитить даже свои войска от дыхания разложения?

Офицер в составе действующих войск может быть могучим – по своим распоряжениям, и может быть ничтожным – по своей подчинённости. Эти погоны на плечах и дают много, и отбирают много.

Свечин от первого дня считал, что мятеж надо давить, что все эти оттяжки, уступки,

мнимое успокоение – только проигрыш армии и России. Но ещё вчера утром он никак не предвидел, до чего катастрофно покатится. Никак невозможно было предвидеть, что хмурый старик Алексеев измыслит блок Главнокомандующих для отречения и что этот блок так легко и быстро составится, даже включая Эверта. Что отречение от престола российского государства будет достигнуто всего в несколько часов, без единого выстрела, без вывода одного батальона, – этого не мог предвидеть никогда ни один нормальный человек.

Но не меньше удивлялся Свечин, какой в нём самом за эти два дня произошёл поворот к Государю. Во всю эту войну он не прощал ему ни его личного Верховного Главнокомандования, ни ещё больше – упущений от того. Свечин видел и помнил десяток крупных ошибок и десятки мелких, которые все мог царь остановить или исправить, если бы не состоял в каком-то убажённом отрешении. Именно робости, слабости, военной бесталанности Свечин не мог ему простить – и думал, что в этом не повернётся никогда и на 5 градусов.

И вдруг вчера под вечер он повернулся к нему едва ли не на 90. Произошло это в тот момент, когда подполковник Тихобразов принёс в оперативное отделение промежуточную псковскую телеграмму, ответ Данилова на понукания Ставки. Там сообщалось, что ждутся депутаты, а пока в длительной беседе со старшими генералами Северного фронта Его Величество выразил, что *нет той жертвы, которой бы он не принёс для истинного блага родины*.

Это было так не делово, не военно, не соответствовало императорской командной высоте, ни истинному соотношению сил, ни правильному направлению жертвы, это был – крик боли, когда бессердечно расплющили кисть, – но именно этот бесхитростный крик и прорезал. В этом внезапном крике выливалось само нутро, как оно есть, в этом крике нельзя было солгать, – и осветилось, всем, что их отдалённый, замкнутый, непонятный император – на самом деле только и имел в душе, что самого себя готов принести в жертву России.

Только не знал – как.

И сделал это наихудшим образом.

И не в силах оправдать его за ошибки, кончая этой, – Свечин вдруг потерял ожесточение обвинять его. Царь был виноват, виноват, виноват, – но он не видел, не знал, не понимал, а значит как будто и не виновен. На этой вершине власти, которую он занял не домоганием, а по несчастью, он проступался, ошибался – и вот ошибся за целую Россию, а не было жестокости казнить его.

Стало его жалко.

И это чувство сохранилось и даже усилилось, когда несколько ночных часов они, полдюжины офицеров и злоироничный великий князь Сергей Михайлович, сидели, сидели в комнате рядом с аппаратной, всё ожидая розового решения, а Псков отговаривался – «для Ставки на аппарате нет телеграмм», – и наконец потекла лента об отречении. И само отречение потом. И в несколько голосов вскричали: Михаил!

И само отречение было – такой же крик боли. Не государственно размысленное, но с отцовским охранительным движением – «не желая расстаться с любимым сыном нашим»...

Столько лет бережа сына для престола – теперь побережь сына от престола?

И к чему пришлось всё это отречение, если те, кто его требовали, – тут же потребовали, чтоб его не было, скрыть?

И – как это теперь всё зависало? во что?

День 3 марта густился, переполненный не доходящими в Ставку таинственными событиями. В Могилёве среди жителей – уже слухи. А вот и прорвались и были нарасхват первые газеты, сегодня и «Русское слово» из Москвы. Пьяный разнузданный «приказ №1», да не какого-нибудь хоть полковника, но какого-то «Совета рабочих депутатов», – любой штатский лапотъ напишет приказ, а военным его выполнять? И Приказ №1 Николая Николаевича, – в этот день они столкнулись в Ставке, – один «приказ» на уничтожение армии, другой – на восхваление витязей земли русской. А тем временем отрекшийся Государь ехал и ехал в Ставку назад, для цели уже непонятной: не было тут ни единого дела,

которое он должен был бы кому-то передавать, всё вращалось и без него. Как вырванный зуб, как оторванный палец, он тянулся вернуться на прежнее место, где уже не мог срastись.

Но именно по явной ненужности этого возврата, по быстроте растерянного падения бывшего императора, – хотя не было приказа ехать встречать, и никто не обязан был ехать встречать отрекшегося Государя, отставленного Верховного, и не в обычае было ездить его встречать, – но изо всех отделов многие пошли, и скромные чины. Кто бы мог проявить теперь такую низость – не встретить?

Пришло человек полтора.

Было 12 градусов, и резкий холодный ветер задувал мелким снегом, на перроне не устоять, а поезд опаздывал. До подхода ждали в павильоне. Когда вышел с последнего полустанка – переходили на «военную» платформу, освещённую фонарями, – и выстраивались длинной-длинной шеренгой по одному, по старшинству чинов. Едва уместились на платформе.

Отдельно стояла кучка штатских, с губернатором.

Вот показался в темноте вдали треугольник огней паровоза. Ближе, крупней, – с отдуванием, открытой работой штоков и медленными доворотами крупных красных колёс.

В качающемся свете, в покачке столбчатых фонарей – десять тёмно-синих вагонов с царскими вензелями, сметенные снегом, слепленные ледяными сосульками с крыш, с наледью на окнах.

Поезд погребально замедлялся. Остановился.

Все генералы и офицеры стояли «смирно».

С шумом вырвался тормозной пар, заklubился в междвагоньях.

Из одного вагона выскочили два рослых кубанца, выставили к двери сходни под красным ковриком и замерли по сторонам.

И замер перрон в тишине.

Ждали выхода Государя. Но он не выходил.

И тогда ссутуленный Алексеев пошёл в вагон.

И не было их минут пять. Дул резкий ветер. Стояли, но уже не «смирно», пригревая уши.

Какие-то главные слова там говорились в вагоне, сейчас.

Потом в двери вагона показался Государь – в форме кубанских пластунов, в бараньей папахе. Сошёл на платформу. Чуть улыбувшись, отдал общую честь всему строю и поклонился, всем сразу.

За ним выходили – Алексеев; высокий пригбенный среброусый Фредерикс; и Воейков, вздорно вздёрнутый.

Никак не подтягиваясь, не строя себя для момента, Государь перешёл своей обычной невыступающей походкой. Как ни в чём не бывало.

Всегда неловкому, ему, вероятно, было вдесятеро неловче сегодня: перед своими подчинёнными офицерами явиться никем, ничем.

Да ведь наверно и не ожидал, что так полно выйдут его встречать теперь.

Государь пожал руку первому генералу в строю. (Лукомский остался в штабе.)

Дальше в шеренге стали снимать перчатки.

Государь медленно переходил вдоль фронта офицеров, здороваясь.

Иногда говоря незначущую извинительную фразу, чтобы заполнить жуткую тишину.

Иногда просто задерживаясь на секунду, глаза в глаза.

Раза два как-то странно резко вскинул голову.

Близко был фонарь, и Свечин, стоя во втором десятке, разглядел, что Государь этим движением сбрасывает слезы, чтобы ветер сорвал их и не надо было бы вытирать рукой.

Свечин не раз видел Государя близко и при полном свете, и бывал, в очередь, на высочайших обедах, и там тоже был подобный обход шеренги, и Государь жал руку, и стоял лицо к лицу, – но то всё бывало холодно, формально незначительно.

А сейчас при слабом свете фонаря он увидел похudevшее, постаревшее, с подвешенными глазными мешками жёлто-серое, даже землистое лицо отречённого императора – и сочувственно-твёрдо вник ему навстречу глазами, и с силой и полнотой пожал руку, запоздало добавляя ему мужества.

404

Опять Родзянко! Требовал генерала Алексеева срочно!

– У аппарата генерал-лейтенант Лукомский. Если Председатель Государственной Думы может передать мне, то я могу принять.

Сразу нагрузил:

– Положение тяжкое.

О, что ещё случилось, ради Бога?!

Нет:

– Когда вернётся генерал Алексеев и подойдёт к аппарату?

– Генерал Алексеев встречает Его Величество. Я затрудняюсь сказать, когда вернётся. Но я в курсе всех вопросов и могу ответить.

Ну что ж, Родзянко и покладист, готов говорить. Да оказывается, и дела не только не тяжкие, но даже очень благоприятные – или что повернулось за последнюю минуту?

– Могу вам сообщить, что сегодняшний день проходит спокойнее. По-видимому, всё приходит более или менее в порядок.

... Вчера пришлось войти в соглашение с левыми партиями. Ценою нескольких, так сказать, общих положений заручиться их обещанием прекратить беспорядок. А то – уже начиналась форменная анархия, значительно более неудержимая, чем в 1905 году...

– Беспорядки были уже настолько велики, что грозили перейти в поголовную резню и общую потасовку населения и солдат.

(Волосы дыбом от такой картины – чтобы весь двухмиллионный Петроград тузовал друг друга! И как же? – штатские против военных или между собой тоже??)

... И вот, дабы избежать сплошного кровопролития, решили войти в соглашение с левыми. Главный их пункт был – необходимость Учредительного Собрания. Ну, там ещё некоторые требования всяких свобод. Да русский народ вполне заслужил их пролитием крови на полях битвы. И вот:

– Сегодня значительно тише. Солдатские бунты ликвидируются, нижние чины возвращаются в казармы, и город мало-помалу принимает приличный вид. Надеюсь, что скоро заработаем на оборону и на организацию необходимой победы.

Пока аппарат это всё лил – вошёл сумрачный Алексеев с больным лицом, уже подбирал и читал ленту.

Непонятно оставалось, в чём срочность вызова и чего Родзянко хочет.

... А иного выхода у правительства не было.

– Акт отречения Государя встречен спокойно, хотя, по моей просьбе, ещё не опубликован.

А, вот:

– Соблаговолите сделать распоряжение о немедленном его опубликовании, а вместе с ним одновременно акт отречения великого князя Михаила Александровича...

И вот его полный текст.

– Хотя эти акты не опубликованы, но слух о них повсюду прошёл и встречен населением со всеобщим ликованием. Произведен салют с крепости новому правительству в 101 выстрел!

Завтра Родзянко передаст и текст новой присяги, которую соблаговолите привести в исполнение. А теперь – какие известия с фронта?

Не перебил бы сам себя вопросом – можно бы так и читать, и читать его до полуночи.

– У аппарата генерал Алексеев. На фронте благополучно.

... Но слухи в течении всего дня проникали в ряды войск, порождали недоумение и могли кончиться худо. И...

– Безотрадно положение Балтийского флота. Бунт почти на всех судах. Боевая сила флота по-видимому исчезла.

Как это ему передан, в каменную голову? Алексеев не умел упрекать резко.

... Весной придётся воевать без Балтийского флота, и это может быть гибельно. А всё – результат промедлений: чинам флота не объяснили суть акта 2 марта.

Однако Алексеев уже вышел из обморочного повиновения этих двух дней, наоборот, разбередился от встречи с Государем и его ласковости. И теперь сумел сказать Родзянке даже пообиднее:

– Печально и безнадежно состояние войск петроградского гарнизона, окончательно развращённых пропагандою рабочих, против чего не принимается, по-видимому, никаких мер.

... Зараза понемногу касается и других запасных полков вокруг. Войсковым начальникам много понадобится усилий, чтобы спасти Действующую армию от позорной заразы военной измены...

«Военной измены», а не их «свободы», так ему и выговаривать.

... Все заражённые запасные полки утрачены для родины. Почти накануне начала боевых операций мы теряем немало укомплектований. Правительство должно положить предел пропаганде. Суровые меры должны образумить забывших дисциплину...

Он говорил это всё, но как-то мало надеясь, вдруг совсем не надеясь, что председатель Государственной Думы его поймёт. И толчком сердца вышел за деловые аргументы:

– Больше пока прибавить ничего не могу, кроме слов: **Боже, спаси Россию** !

Не видно было лица, не слышно голоса Родзянки – но с ленты срывались басистые рулады необразумленной насмешки:

– Искренно жалею, что ваше высокопревосходительство так грустно и уныло настроены. Это тоже не может служить благоприятным фактором для победы. А вот я и все мы здесь – настроены бодро и решительно! Вчера получили от командующего Балтийским флотом телеграмму, что в Балтийском флоте всё успокоилось, все бунты ликвидированы, и флот приветствует новое правительство.

И этого человека он слушал все эти дни как баран! Весёлый тон его проглядывал кощунственно.

Алексеев спросил у Лукомского, нет ли чего ещё от Непенина?

Родзянку в свой черёд хотел подсмеяться как-нибудь пообиднее:

– Желательно, чтобы под влиянием наших доблестных начальников фронтов и армий такое же настроение было бы прислано нам со всего фронта. Чтобы наконец объединение и дружно всем народом вместе с армией, без недомолвок и взаимных подозрений, взяться за расправу проклятого немца!

Да что-то он разговорился, что-то время у него появилось, а то всё не было.

– Мы здесь тоже восклицаем: Боже, спаси Россию!

Но – в бодром тоне.

– У нас мало-помалу всё успокаивается, и мы в скором времени с удвоенной энергией приступим к работе на оборону!

Наконец, он прервался. И Алексеев сорванным глухим тоном мог продиктовать телеграфисту:

– Благоволите, ваше высокопревосходительство, выслушать две телеграммы. Гельсингфорс. Семь тридцать вечера: на «Андрее», «Павле» и «Славе» бунт. Адмирал Небольсин убит. Балтийский флот как военная сила сейчас не существует. Вторая: бунт почти на всех судах. Подписал Непенин. Вы видите, как приходится быть осторожным в оценке событий.

Опять не нашёл резкости. Но наконец отдавая назад, чего натерпелся за эти ночи:

– Что касается моего настроения, то я никогда не позволю себе **вводить в заблуждение**

тех, на ком лежит ответственность перед родиной . Будьте здоровы.

Но не прошибло Родзянку и всем Балтийским флотом и прямым оскорблением.

– Ваше высокопревосходительство, не сердитесь на меня. Я все эти дни забываю справиться, как ваше здоровье, и принесло ли вам достаточную пользу ваше пребывание в Севастополе?

ЧУЖОЙ ДУРАК – ПОСМЕШИЩЕ,
СВОЙ ДУРАК – НЕСЧАСТЬЕ

405

Напечатали отречение Николая – и остановились: Михаилова отречения в Таврическом и сами не имели, князь Львов с ним куда-то пропал. А между тем совет министров нуждался и первое отречение иметь и видеть в подлиннике.

Надо было отвозить, дело ответственное, Бубликов ясно не поедет, не хочет их и видеть, – и Ломоносов охотно взялся погнать. Самому посмотреть на этих делателей русской нивы.

И повёз драгоценную грамоту.

Ошибся: надо было ротмистра Сосновского рядом посадить да двух солдат с винтовками положить на крылья, чтобы ехать пробивней. Разогнали автомобиль – люди только отскакивали. По Фонтанке хорошо проскочили, да свернули зря на Владимирскую. Узкая, несколько солдат штыками перегородили. А командует студент с красной повязкой:

– Вылезайте! Автомобиль нужен для экстренного дела!

Ломоносов сразу – собачье-решительным голосом:

– Я – по исключительно экстренному делу! Я – помощник комиссара путей сообщения! Я еду на заседание Совета министров!

– Какое именно дело?

О чёрт, не скажешь! И, чёрт, не решишься нести эту грамоту пешком, поворот русской истории у тебя в кармане. Ещё собачистей:

– Это не ваше дело, товарищ! Вы ответите за задержку! Может пострадать сообщение с Москвой!

Это подействовало.

– Ладно, проверьте у них пропуск на автомобиль.

Проверили. Пропустили.

Дёрнули по Литейному, по трамвайным рельсам.

Перед Таврическим – автомобили, толпа. А прошли, внутрь легко, стража отлучилась.

А там – залы загажены, заплёваны. Сотни людей ходят, стоят, сидят, лежат. Забрались сюда и разносчики – торгуют папиросами, семянками, маковками.

И где тут может заседать совет министров? Посылали туда, сюда, в третье место. Наконец в левом коридоре у одной двери юнкера на часах. Тут.

Не пустили. Депутат провёл.

В двух соединённых небольших комнатах – сидели, ходили – министры? нет? И какой-то у них застигнутый, испуганный вид. Ломоносов напрягся в своём достоинстве.

Провозгласилось, что привезли Манифест, – сразу подтянулись смотреть, любопытные или министры.

Надвинулся Некрасов; хотел забрать отречение себе, поскольку он над Ломоносовым

министр. Нет, мы не простаки: или председателю совета министров или генерал-прокурору.

Но всех строго отстранил Милюков – и стал разглядывать прямо, и зачем-то на свет, как будто он особый толк звал в исторических Манифестах, много их передержал в руках и ожидал тут водяных знаков.

А Ломоносов просверливал их своими метучими глазами: нет, исполины революции не такие должны быть! Недотёпы!

А Львова всё не было. И надо было ждать второго Манифеста на печать. Сидел и ждал. А тут разговор, что нужно завтра доставить Кокошкина из Москвы в Петроград, но он там сегодня не успевает к последнему поезду. И, растяпы, ахали, не знали, что делать.

Ломоносов рванулся – показать министрам настоящее управление. Взял трубку и скомандовал на Николаевский вокзал: назначить сегодня ночью экстренный поезд из Москвы из одного вагона первого класса.

Смотрели со священным почтением. Когда яйцо поставлено – так просто.

Наконец появился и князь Львов с блаженньим лицом и какую-то путаную историю рассказывал, почему задержался.

С тем же любопытством сгрудились министры рассматривать и второй Манифест. Подтолкнулся и Ломоносов туда, среди них.

Этот был написан чернилами, каллиграфическим почерком, на ученическом тетрадном листе в линейку.

И только тут все увидели, что – заголовка-то нет!

Как же его назвать при опубликовании?

И разгорелся – учёный спор! философский спор!

Николай придал форму телеграммы начальнику штаба, и это уже остаётся. Но к отречению Михаила ещё можно было что угодно приписать рукою Набокова.

... Милостью Божией Михаил II...?... объявляем всем нашим подданным...?

Однако вы забываете, что он не царствовал!

Нет, почему же, он почти сутки был императором!

Но раз не было реальной власти – не было и царствования...

Ломоносов из стриженного арбуза своей головы блестяще-насмешливо посверкивал на министров, не скрывая от них своего пронизательного ума. А в груди скрывая презрение и – досаду, досаду.

406

Такого дня, как минувший, не было у Алексеева, наверно, во всю жизнь. Были бессонных несколько суток свенцянского прорыва, но то была чисто боевая задача, в руках были и средства защиты – и закончилось победой. А тут падали кирпичи на беззащитную голову – и ничем не охраниться. Без него произошёл обман с Михаилом Александровичем. Без него погибал Балтийский флот. Но не только это, а ещё новое мучительное стеснение разбирало грудь – перед Государем, и особенно оттого, что он не упрекал Алексеева за промахи, но смотрел доверчиво-светло и даже успокаивал. От этого добавился внутри – неназываемый стыд. Алексеев-то понимал, что – крупно промахнулся.

И сейчас, этой ночью, он не мог избежать встреч с Государем. Сперва – понёс к нему, в губернаторский дом, отречение Михаила. И Государь – читал при нём. А Алексеев стоял и, руки по швам, ждал упрёка.

Четыре дня и три ночи они не виделись – а сколько утекло. И как Государь постарел.

Но – всё так же не было упрёка. Огорчался Государь до стога:

– Что же он наделал? Кто его надоумил? Какое Учредительное Собрание? Какая гадость!

А на Алексеева и тут не посмотрел плохо.

И Алексеев вполне разделял: во время войны – какое Учредительное Собрание? Словоблудие.

И второй раз, во втором часу ночи, ещё сходил к Государю – теперь без большой надобности, но утешить его только что пришедшей с Северного фронта телеграммой генерал-адъютанта Хана Нахичеванского, командира гвардейского кавалерийского корпуса.

«... Повергаю к стопам Его Величества безграничную преданность гвардейской кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого монарха.»

Государь прочёл с движением в лице и взял телеграмму себе.

Это ещё была – ночь. А как вести себя завтра днём? Попадал Алексей в положение деликатного шаткого неравновесия. Государь выразил желание завтра прийти, как обычно, на утренний доклад. И хотя теперь никак не могло быть никакого доклада, ибо он – не Верховный Главнокомандующий, и странно это будет выглядеть со стороны, и может быть донесено в Петроград, и великому князю в Тифлис, – но и сказать Государю «нет», прямо в его печальные крупные просительные глаза, – не было у Алексея душевной силы.

Неравновесие было до такой степени чуткое, отзывчивое, что и Родзянке, как ни сердит, Алексей в конце разговора послал сглаживающие слова – ведь осведомился же он о здоровье, это любезность, так: благодарен, поправился, но остались дефекты, мешающие работать.

Неравновесие такое деликатное, что даже вот сейчас с Манифестами – как правильно быть? Задерживать их ни на час невозможно, надо рассылать по фронтам, – но и не смеет он такого шага предпринять без одобрения Верховного Главнокомандующего, – а пока придёт согласие из Тифлиса, может протечь вся ночь?

И Алексей одновременно слал в Тифлис – текст Михайлова Манифеста и почтительный запрос, разрешает ли великий князь оба Манифеста объявить? А одновременно – писал фронтам сопроводительную к Манифестам: что сообщить их надо немедленно как армии, так и гражданским властям, и притом указывать войскам, что всё существование России зависит от результатов войны, и все воины должны проникнуться единой мыслью... И чтобы не могли возникнуть какие-либо междуусобные распри...

И в два часа ночи – рассылать. Но ещё всю ночь не успокоиться, не улечься, пока не придёт разрешительная телеграмма Николая Николаевича. И тогда – снова рассылать на фронты, что Верховный Главнокомандующий – одобрил.

А тут притягивается ещё и запоздалая телеграмма князя Львова – всё о том же, о двух Манифестах, а больше – с напоминанием, что ещё же вот какая есть власть над генералом Алексеевым.

Но не множество этих властей бередило его так, как – ужасная неловкость перед Государем. Ужасная натянутость – как теперь обращаться с ним? Не причинить ему лишней боли – но и удержать же в разумных границах, быть почтительным, но и не дать себя поставить в невыносимое положение. Что из прежнего – можно и теперь, а что – нельзя?

Столько месяцев дружно, покладисто работал Алексей с Государем. Но только сегодня почувствовал – как они интимно связаны.

И болезненно.

И роково.

407

Все эти дни в штаб Особой армии под Луцком, как и во все штабы армий, втекали и втекали длинными телеграфными лентами невмещаемые новости. Всегда бывало естественно, как русские буквы, выползая из аппарата, складываются в разумные армейские сообщения. Но эти дни они складывались сперва в полуобычные слова, а затем уже в невероятные фразы. Никто не мог предугадать ни этих фраз, ни тем более всего потока событий, обрушенных с чистого неба на ровном месте. Так покойно было фронтовое сидение этой зимы, так планомерно сгущалось вооружение, снаряжение, и война как будто выходила на перевал, с которого можно было видеть и конец её, – и вдруг обрушилась революция!

Генерал-майор, квартирмейстер, с накрученными на руку лентами, как неразорванными

макаронами, ходил докладывать, показывать их сперва начальнику штаба, а потом и самому генералу Гурко.

Василий Иосифович, всегда суровый, и за пятьдесят лет с быстрыми поворотами головы и взглядом, готовым к приёму неожиданностей, резко быстро прочитывал все ленты сам, протягивал их своими пальцами, и решительный рот его под молодыми тёмными усами сжимался больше и кривей.

Удивительное было положение! За спиною громадной Действующей армии завозилась какая-то неместная вздорная смута, какой-то червь погрызал нутро тыла – а генералы стояли во главе превосходных вооружённых сил, сторожили дремлющего внешнего врага – и не дано было им обернуться, не дано вмешаться, и даже не спрашивал никто их мнения, как лишних и чужих! Состояние паралитика: голова работает, сознание чётко, а пошевелиться нельзя ни пальцем.

А у Гурко было особенно досадливое состояние: что это меж **его** пальцами протекло, сквозь **его** энергичную хватку. Эх, не дожил он в Ставке всего нескольких деньков! – ну бы он эту шантрапу поворотисто пришлёпнул! И воли, и твёрдости, и быстроты ума, – всего этого в генерале Гурко избывало, и будь он сейчас начальником штаба Верховного – он минуты бы не дал делу колебаться и плыть, хоть в отлучку Государя, даже ещё свободнее. Как это вот? – распоряжением Государя вели на погрузку три гвардейских полка – и вдруг отменено? Кто мог отменить, если Государь в дороге?

Когда в начале ноября вызвали Гурко в Ставку заменять Алексеева на время болезни – он очень удивился, никак такого возвышения не ожидал. (Ему уже был обещан отпуск на спокойные три недели, и он собирался в любимый Кисловодск.) Он был младше всех Главнокомандующих фронтами и многих командующих армиями. Возвышения не ожидал, но и сразу заявил Государю: приложу все свои силы и в этих обязанностях, но буду говорить вам всё откровенно, при каждом серьёзном деле только правду, и буду вести себя так, будто я не на временном, а на постоянном посту. И – освоился так мгновенно. Не стеснялся высказывать Государю неприятное (о Распутине – просто не хотел говорить по непроверенным слухам), и не скрывал своих связей с Гучковым, а, разбивая сплетни, сам завёл разговор: наша группа хотела сделать Россию полностью независимой от западных государств при ведении любой войны, вот и всё. Государь только руки развёл: так это и моё постоянное желание. Гурко: так вот ваши министры этой задачи не понимают. Освоился – и вот уже к нему приезжали в Ставку министры, и он сговаривал Риттиха с Шаховским, Шуваевым и Кригером, чтобы шло снабжение, они находились в разладе. И это он первый – в России и раньше союзников – составил быстрый и резкий отказ на хитрые германские предложения мира, чтоб не надеялась Германия так произвольно окончить войну, как произвольно начала, – и поднёс Государю на подпись. И настаивал перед Государем, что полякам надо дать не автономию, а полную независимость. И Гурко же провёл декабрьское совещание Главнокомандующих, свою реформу дивизий из 16-ти-батальонных в 12-ти, обещалось к поздней весне лишних 70 дивизий, уже пальцами ощущал победную кампанию Семнадцатого года. И он же, от имени России, вёл февральскую петроградскую конференцию союзников, обнаружил полное невежество их в состоянии российских военных дел, и стыдил их, и настаивал, что надо равномерно делиться материальными ресурсами, а не только требовать от нас усилий выше своих собственных, нам отдавая только излишки своего снаряжения. А сразу за тем неожиданно пришла телеграмма из Крыма от Алексеева, что он настолько поправился, что вернётся раньше времени, 20 февраля. Ну так, так так, Гурко сам владел своей инерцией: как легко вступил в Ставку, так легко её покинул – уехал к себе в Особую армию 22 февраля. (Теперь – осмотреть позиции и, Государь разрешил, в отпуск с женой в Кисловодск, она все эти годы сестра милосердия на фронте.)

И – всё бы на месте. Но ещё доехать в Луцк не успел, как начались петроградские события. И это дёрганье гвардейских полков. (И вспомнилось, как Хабалов в феврале отказался от двух кавалерийских.) Да кто же **там** теперь?! О, карманный Беляев!

И вот, осаженный после крупного зимнего разгона, теперь нервничал в бездействии

Гурко хуже, чем в разгар большого боя. Он почему-то ждал, что события снова призовут его! И когда вчера вызывали корпусного командира Корнилова принимать Петроградский округ, Гурко, хоть ему ниже должности, позавидовал: сам бы готов сейчас туда прорваться и быстро всё упредить.

Но никуда никто не призывал генерала Гурко, ни его войск, Ставка затаилась, в телеграфе заминка, как вдруг минувшею ночью под самое утро пришла такая лента, что командующего разбудили, он схватил этот скрученный шелест – и при своих генералах открыто взялся за голову:

– Теперь всё кончено.

Так одномоментно ясно ему стало: всё кончено, война проиграна!

Государь – отрётся.

Передача Михаилу – не пройдёт гладко.

Тотчас распорядился собрать своих корпусных командиров, их восемь было в его крупной армии. Через два часа они собрались. И только Гурко начал с ними советоваться, как быть и как оповещать, – подали ему новую телеграмму: задержать первую!

Отлично! Надежда. Там, во Пскове, Петрограде как-то потекло иначе?

Корпусные разъехались.

Потекло иначе – но как вмешаться, как помочь? Никто не звал на помощь.

Ещё больше искрутился Гурко за этот бесплодный день.

А рано ночью – его разбудили опять.

Гурко вышел из спальни в пижаме верблюжьей жёлтой шерсти. Только что разбуженный, он не нёс никаких следов сна, сразу готовый к действию, – и кинул меткий взгляд на ленты, не ожидая от этих белых петель добра. И сел почему-то не на стул, а на стол.

Принял моток и разворачивал. Полковник квартирмейстерской части, миновавший с лентой и начальника штаба, не помогал командующему прочесть, не опережал словами, зиял, что он любит всё сам.

Один Манифест... Другой Манифест...

Гурко шёл глазами по ленте, и даже его напряжённое нервное лицо отдавалось изумлению.

Так надо было понять: кончилась династия?!

Кончилась и монархия в России!

Закинул голову, зажмурился.

Посмотрел на полковника, как: хотел бы разнести его за провинность. Отдал скрученную ленту и не велел никого пока будить.

Надо подумать.

А оставшись один – стукнул по столу несколько раз, больно для руки. Пробежал по комнате, ещё раз стукнул ладонью. Не садясь, подпёр голову руками о стол.

Что за беспомощное идиотское состояние! Ни в каком бою нельзя так попасть. Иметь полную силу, все гвардейские корпуса и ещё сверх негвардейские, – и ничего не мог сделать!

Проклинал себя, что эти дани чего-то ждал, что не попытался...

– А что???

Ну, Беляев – кукла. Но изумляться Алексееву: ведь у него в руках вся власть, все силы, – как же он мог допустить?

Теперь, отданная хаосу, отданная болтунам, – Россия потонет в крови.

Как-ж-же он не вмешался?!?

Но – и своей упущенной возможности Гурко не видел. Высматривал, даже боясь её найти (и себе не простить), – но честно не находил. Пока он был в Петрограде, пока он был в Ставке – ничто подобное не начиналось.

А сейчас все возможности его были – переговариваться через Брусилова. А это всё равно, что, закатив рукава для драки, начать по локоть месить говно.

Да как же можно было Алексеева с температурой допускать до службы!

Пошёл с силой плюхнулся на кровать, так что сетка взвизгнула.
Несколько раз перевернулся с подпрыгом, ища выход.

И не нашёл.

И своей ошибки, своей упущенности за эти дни – тоже не нашёл.

Ну, значит отрезано и не терзаться.

Впрочем, знал он свои нервы, что эту ночь ему уже не спать.

Главное – так недавно ощутимо было его всевластие.

Бурным потоком рвалась его речь и к министрам, и к Государю, и к союзникам. Он имел прямо ту звезду в лицо кому угодно, и вынуждены были выслушивать. Пока протопоповская тайная полиция следила за перемещениями по Петрограду начальника штаба Верховного, за частными встречами его, и конечно спешили доносить царю, – а Гурко и не скрывался, он охотно встречался с разумными и независимыми русскими людьми. Сколько он в эту зиму виделся с Государем – ни разу не склонился угодливо, но отстаивал свои мнения до громкого голоса, до крика даже, до угрозы отставки, – и Государь всегда уступал. Гурко мог сам отменить, если был занят, высочайшую назначенную ему аудиенцию. Не вынося императрицы – уклонился явиться к ней, лишь раз побеседовали на союзном обеде. Да целыми годами Гурко был из самых независимых генералов, не терпимых за свою независимость, и даже считали его вождём дотошных «младотурок», – а он просто не умел служить, лишь отбывая службу, а не пытаясь исправить дело. Да ещё предавали суду его брата, унизили фамилию Гурко, – мог бы он хоть на искорку порадоваться сегодняшней революции?

Но он знал, что это – конец России.

Да, этой зимой он почти кричал на Государя.

А сейчас – отгневался. А сейчас испытывал – прилив боли за этого слабого человека, погубившего всех нас.

Сейчас – с каждой минутой он всё больше его жалел. Представил, как от него станут отворачиваться все обласканные, приближенные, изменять, разбежаться по всем норам...

Нет – не уснуть. И не пытаться.

Полнел сел за письменный стол. Бумаги читать, поправлять к приказам? Также не идёт.

Опять вызывать корпусных? Пусть поспят, к утру может ещё подсыпят директив.

Такая завертелась мысль: сейчас вместе с рассылкой двух Манифестов по дивизиям разослать секретный запрос: пусть соберут сведения, как отнесутся нижние чины и население района к актам отречения?

На всякий случай полезно знать. (Если, может быть, – переиграть?)

А внутри что-то росло неосознанное, Гурко сам к нему ещё не прислушался.

Читал бумаги и подчёркивал.

И вдруг выступило: вот сейчас, когда Государь свержен, унижен, покинут, – вот сейчас и протянуть ему поддержку.

Написать письмо?

Сейчас, когда все будут отшатываться, что никогда монархистами не были, заверить даже с преувеличением: что – монархист и верноподданный.

Внезапность мысли не удивила: так и всегда схватывается нами мгновенно или потом уже никогда никак.

Судьбы писем теперь зыбки? могут Государю и не передать, возьмут его в блокаду?

Послать с верным офицером. Из своего гродненского гусарского. (Гурко начинал в нём службу.)

А если всё равно тот поедет в Могилёв – так и Алексею письмо? Не умел удержать государственных возжей – так хоть пусть заступится, чтобы в Петрограде не громили известных людей, не сажали престарелых под арест.

Так это выросло внутри, что ничего другого и делать сейчас не хотелось, не горело – а

вот писать письмо Государю.

Хотя Гурко сам ещё не понимал – что писать? Предложить путь спасения, путь действия? – он не мог. А это был бы единственный настоящий смысл.

А просто – выразить. Что эти тяжёлые дни России – никому, однако, не могут быть так прискорбны, как Его Величеству. Что пишущий – да не он, а и миллионы верных сынов России понимают: Государь был воодушевлён благом России и предпочёл великодушным деянием взять все последствия на себя, нежели ввергнуть страну в ужасы междоусобной борьбы или выдать её триумфу вражеского оружия. Благодарная память народа оценит это самопожертвование монарха, который был и слугой и благодетелем страны по примеру своих коронованных предков.

И генерал Гурко не находит слов выразить своё восхищение перед возвышенностью жертвы.

И отречение за наследника, быть может, вдохновлено Богом. Через четыре года он не мог бы взять бразды правления в свои, ещё слишком слабые, руки. Получив же правильное, неторопливое воспитание до более зрелых лет, обстоятельно изучив государственные науки, приобретя знание людей и жизни, – он когда-нибудь сможет быть призван благомыслящими людьми России к принятию законного наследия.

Можно предвидеть, что страна, после горьких уроков внутренних волнений, после опыта государственного правления, к которому русский народ исторически и общественно не подготовлен, вновь обратится к Богом помазанному Государю. История народов учит нас, что в этом нет ничего необычного. А условия, в которых произошёл государственный переворот в столице, столь неожиданный для армии, скованной близостью врага, дают основания надеяться на такой возврат.

Большим не мог генерал Гурко подбодрить своего Государя: ничего более близкого он, по совести, не видел.

А легче – увидеть цену Временному правительству. Оно выпускает из тюрем осуждённых за политическую деятельность – и одновременно сажает в тюрьму прежних верных слуг Государя, которые действовали в рамках существовавших законов: назвать ли такие аресты проявлением свободы, написанной на знамёнах захватчиков власти?

Но те, кто в будущем образуют ядро, вокруг которого люди сплотятся, те, кто преследует подлинное развитие и постоянный подъём русского народа, – не должны будут удручаться и этим воспоминанием.

О чём же это будет письмо? Без практического дела разваленное на дробные мысли? Никогда в жизни Гурко не писал таких неделовых писем. Но только кончая его, почувствовал, что выздоравливает.

Разрешите мне, Ваше Величество, обратить на всё это Ваше внимание, потому что среди огромной массы обрушившихся на Вас событий, Вы, возможно, не отдаёте себе вполне отчёта о всей важности того шага, который в будущем может иметь бесчисленные последствия как для Вашей династии, так и для судьбы России. Помня о Вашем благоволении ко мне во время немногих месяцев, которые я по Вашему желанию провёл как Ваш ближайший помощник, разрешаю себе надеяться, что Вы так же благосклонно примете излияния сердца, охваченного скорбью в эти дни, грозящие жизни России. И поверите, что мной руководило только чувство преданности русскому самодержцу, которое я унаследовал от своих предков, всегда обладавших мужеством и честностью высказывать своим царям одну только неподдельную правду.

ЧЕТВЕРТОЕ МАРТА
СУББОТА

Прошлую ночь морские декабристы пылали от счастья, эту – от страдания и страха.

Отказывался ум представить: что теперь флот? И как можно дальше управлять матросами-убийцами? И что с ними самими случится к утру?

Выручка от Государственной Думы, в виде оратора или двух, не могла прийти раньше дневных часов. Но вчера вечером – такие теперь свободы – на «Кречет» приходил для прямого разговора с правительством машинист-депутат Сакман. И, оказывается, Керенский с той стороны ответил ему, что просит матросов немедленно прекратить разгром русского флота и напоминает, что вице-адмирал Непенин открыто признал власть Временного правительства и безусловно ему подчинился, а потому матросы должны верить его приказам. Впрочем, одновременно заверил Керенский матроса-депутата, что Временное правительство гарантирует и матросам, как всем гражданам, – полную свободу агитации и пропаганды.

Предстояло пережить сегодняшний день. Балтийский флот на стоянке был – отдельный мир, и ничто происходящее в России не могло сюда перенестись через ледовые пространства.

Только – радио, что уже и Михаил отрёкся.

Но тем более это не добавляло устойчивости здесь.

Однако Адриан Иванович, казавшийся с вечера совсем обмякшим, вызвал их перед утром с блистающими глазами, с возвратившейся подвижностью впечатлительного лица. Плотно сбитый, он был налит, как бомба. И высевал из-под пушистых усов:

– Начавши путь – никогда не надо его бросать! Хуже нет шатаний и перемётов. Ошибкой было бы сейчас нам изменить своим убеждениям или изменить свой метод. Все эти кровавые формы, через которые идёт движение революции, – в какой-то мере, значит, неизбежны. Продолжаем наш метод – открытое обращение к морякам. Сейчас же, раньше чем они проснулись. Вот, доработаем текст.

Доработали – и ещё затемно, в 5 утра, Ренгартен принёс на радиотелеграф обращение адмирала Непенина ко всем командам.

Чтоб не возникало недоразумений, говорилось там, командующий флотом вновь объявляет офицерам и матросам о своём непреклонном решении твёрдо поддерживать власть нового правительства. Требуем от всех чинов флота дружной работы для поддержания порядка. Верит в полное единение офицеров и матросов, отвечающих своею честью перед родиной за её будущее.

Нельзя было быть прямой, честней, открытей!

Линкоры почти тёмные стояли, с редкими лампочками, но с теми же грозными застывшими одинокими багровыми фонарями на клотиках.

Уверенность адмирала передалась его приближённым. Пошли попить горячего крепкого чайку, перед началом трудного дня.

Но ещё не кончили пить – прибежал перепуганный радиотелеграфист – и принёс ответ с неизвестного корабля, от неизвестных неспящих людей, из предрассветной мглы.

«На радио Непенина. Товарищи матросы, не верьте тирану! Вспомните о приказе отдания чести! Нет! От вампиров старого строя мы не получим свободы! Смерть тирану – и никакой веры от объединённой флотской демократической организации.»

Прямая угроза ещё усилилась от неизвестности авторов. Как во всяком сигнале с корабля на корабль, была в том загадочность гигантов. Почти не поверить, что передают простые люди, какой-нибудь неспящий телеграфист, – а будто невидимое корявое чудовище, пошевелившее лапой.

Безумие! Полный развал! Так разумно задуманный государственный переворот, так великолепно начавшаяся революция – во что превращалась!

И рассчитывать можно было... – только на чудо?

Уже и не лечь. Уже и не успокоиться.

Влачить на себе день как рабское ярмо.

Что случится сегодня?!

Черкасский успокаивал: по теории колебательного движения повторения колебаний неизбежны, но они будут затухающими.

Тут прекрасная мысль пришла Ренгартену: пусть адмирал отдаст повсеместное распоряжение снять царские портреты. Это произведёт хорошее впечатление. Адриан согласился. Послали радиотелеграмму, всем.

409

Очередной сменщик, прапорщик, приболел – и просил Гулая капитан остаться ещё на одну ночь на наблюдательном.

Опять никакой стрельбы не было, и так же богатырски выспался Гулай, а когда проснулся – у телефониста уже кипяток поспел.

Хлебнул.

В блиндаже совсем было серо, день пасмурный.

Телефонист дежурил смурый, лишь у своих аппаратов, ни в какую трубу не смотрел. А сунулся Гулай к окулярам – и на том же самом месте, что вчера, и даже, кажется, на том же щите дразнил новый плакат:

Царь Николая капут!

Солдаты – по домой!

Эге-е-е...

Одной пулей два раза не стреляют. Два бы раза так не шутили.

И опять на высоких тонах, как трубачи играют, тревога не тревога, а молодое чувство радости от неведомого зазвучало в Косте.

И правда, хотелось какой-то интересной перемены.

Сразу он проснулся окончательно. И готов был хоть и второй скучный день отсидеть на наблюдательном, а только с кем-нибудь поговорить бы.

Но не стал докладывать на батарею: велят опять сшибать, а – за что? Новости нам передают, спасибо.

Пусть и до князя Волконского дойдёт.

Однако что ж это такое могло произойти – и почему у нас ничего не известно?

Войне конец? – это бы неплохо, надоела проклятая. Но что такое в Петербурге и что с царём?

А пойти в пехоту. Это была отлучка законная и докладывать не надо. Научил телефониста, как отвечать, и пошёл ходами сообщения.

Уже под ногами в траншеях везде было торено, смяли недавний снег. И сверху ничего не сеялось.

В лабиринтах ходов указателей нет, кто не знает каждого поворота – заблудится.

Тишина стояла вокруг – полная, ни выстрела, ни стука повозки, ни человеческого голоса. Не представить, какое множество людей тут закопалось в норах и дышат.

Если действительно революция – то какая ж война? Войну сворачивать. И то хорошо.

Революция! Всё-таки есть в этом звуке что-то влекущее, зовущее.

Интересно, что Санька. Да впрочем Санька всё больше манную кашу размазывает.

Дошёл до батальонного командного пункта. Дверь у них навешена не самодельная, а где-то в деревне снята, с фигурными филёнками.

И внутри обстроили два помещения: первое – телефонистов и связных, а за перегородкой, в том же блиндаже, ещё офицерская комнатёнка.

Солдаты лежали на соломе, сидел телефонист на чурбаке.

– Есть кто? – кивнул Гулай на второе помещение и постучал туда.

По утреннему времени думал найти только дежурного офицера, он и был, Офросимов опять, – но кроме него за столиком сидел и командир батальона – маленький остроусый подполковник Грохолоц.

– Разрешите, господин полковник? – пригнулся Гулай в дверце.

– Да, да, – озабоченно кивнул тот. Он сидел за столом без шапки, без шинели, маленькая голова его лысая, а с дерзким островным чубком посреди темени.

Натоплено у них тут было. Офросимов, тучемрачный, тоже сидел без шапки, но шинель перехвачена ремнями.

Грохолоц слегка кивнул, чтоб садился подпоручик. А стулья все – чурбаки с поперечными набоинами.

Гулай сел верхом, тоже шапку снята.

По виду их он понял, что – знают. И не спросил.

Грохолоц, известный своими острыми шуточками перед солдатскими строями и в офицерских компаниях, за то всеми любимый, шуточки его всегда были кнутики подстёгивающие, – и сейчас сидел такой же маленький и острый, но вся острота его вскрученных усов и прокальвающих глаз была бездейственна.

Гулай не спросил – но и они не удивились его приходу и молчанию. Это молчание так и стояло тут до него. И от этого стало ещё понятней.

Офросимов со своей земляною силой сидел, сам себя обхватив вокруг руками, как бы удерживая не вскочить.

И это их озабоченно выжидающее сидение осадило в Гулае его радостное постукивание – и он невольно перенял их мрачность.

– Но при чём тут Петербург? – трудно выговорил Офросимов. – Да армия не допустит!

– А что именно в Петербурге, господа? – уже в полном тоне озабоченности спросил Гулай.

– У образованных нервы сдали, – выдавил Офросимов.

Со всей остротой своей и Грохолоц не мог сообразить больше, чем узнал:

– Восстал петроградский гарнизон. Власть захватили 12 членов Думы. Все министры арестованы.

– А... Государь? – невольно сразу спрашивалось. (В прежней привычке Гулая было – говорить «царь», как все говорят в обществе, но среди офицеров это звучало грубо.)

– Ничего не известно.

– И неужели дело членов Думы арестовывать министров? – выдюживал, высиживал из себя Офросимов. – Да ни за что армия не допустит!

– А откуда известно? – добивался Гулай, уж про немецкий плакат что теперь.

– Слухи, – пожал узкими плечами Грохолоц. – Но уже по всем телефонам, через всех солдат.

– Но если так, – соображал Гулай, – тогда почему ж командование прямо не объявит?

Грохолоц медленно поводит головой в кивке, как бы узнавая невидимое, пришедшее:

– Начальник дивизии сейчас вызывает командиров полков – и... – и? – ещё удивлялся, – полковых священников.

И вот эти священники – как на панихиду – больше всего и убеждали.

Офросимов сидел крутой тучей.

И уже не на шутку передалось Гулаю – нет, тут не забавой пахнет. И он тоже сидел – хмурой глыбой.

А тонкий, подвижный командир батальона, при своей части и при оружии, готовый и к бою и к смерти, как всегда, – что мог?...

Вся острота его была упёрта во что-то тупое, неизвестное.

Со всеми их чувствами и мыслями ничего от них не зависело – а как решит начальство.

410

Именно в дни наибольшего напряжения – наименьшая возможность восстановить силы. Две ночи подряд полностью разрушили Рузскому, не отдохнёшь и днём. И эту третью ночь грозили развалить, – но после двух часов ночи пришёл, наконец, второй Манифест – и, кажется, государственный кризис кончился. И Рузский велел Данилову ни за что себя не будить, лёг со снотворным, расслабился, заснул.

Данилов бы тоже охотно всхрапнул, но – должность начальника штаба, да и сложением

он был куда крепче Рузского, да и моложе.

Оставалась, кажется, только техника: передать в три своих армии, и на Карельский перешеек, и в Балтийский флот все полученные свыше документы – ещё раз отречение Николая, отречение Михаила, приказ №1 Николая Николаевича, – и сдыхались, и спать ложись. Но не тут-то было.

Последовал телеграфный вызов с необычным соединением: от Западного фронта. Квевцинский вызвал Данилова. И передал, что главкозап – в большой тревоге и недоверии (не объяснил – кому не доверяет, но получалось так, что Ставке): Манифест Михаила ничьей подписью не скреплён – и, стало быть, недействителен. И Эверт не хочет его публиковать, пока не получит решения остальных Главнокомандующих.

Тут и Данилову просветило: действительно! Манифест Николая скреплён Фредериксом, а Михаила – никем. Неряшливость, неумелость – или тут какой-то смысл?... Очень стал осторожничать Эверт... Однако и будить Рузского не мог Данилов взять на себя. Пусть у Эверта Манифест и полежит.

Хотя, например, все волнения в Балтийском флоте и Ставка, и штаб Северного фронта объясняли именно задержкой первого Манифеста: если бы сразу его объявили – никаких бы волнений и не было.

И с Северного – Манифесты потекли. И Ставка предполагала, что всё течёт нормально. Досылала запрос: сообщить, как будет принято объявление актов войсками и населением.

Но тут Болдырев досмотрелся и принёс Данилову: в приказе №1 Николая Николаевича была фраза: «витязи земли русской! – знаю, как много готовы вы отдать на благо России и *престола* ...», – но какой же к чертям теперь престол, если мы передаём отречение Михаила?

Действительно, получалась несуразность. И Манифест Михаила и приказ Николая Николаевича просто помечены одним и тем же 3 марта, а часы не ставятся, – и вот поплывут недоумения по всем войскам.

Болдырев предлагал: сократить «и престола», оставить только «благо России». Но Данилов и вообще был служака, и к Николаю Николаевичу у него оставалось старое почтение совместной службы, – как это сократить Верховного Главнокомандующего? мы не имеем права. В тот момент, когда великий князь писал, – престол ещё был.

Будить Рузского? Опять же нельзя. Стал звонить Лукомскому: может быть, приказ великого князя пока задержать до выяснения? Верховный сам исправит? Лукомский тоже стал в тупик: задерживать не имеем права, а может быть так истолковать – что и отречение Михаила сошло к нам с высоты престола? – Нет! будут везде тяжёлые недоразумения, кто поймёт эти тонкости? Тогда, предложил Лукомский, пустить приказ Верховного заметно раньше Манифеста? – Но это уже упущено, мы спешили передать Манифесты. – И правильно.

Неразрешимо. И будить Рузского нельзя. И Алексеев – не согласен ничего сокращать и требовал приказ Верховного тоже рассылать.

Нет, на Северном решили подождать. Конец ночи и рассветные часы ничего не решают, приказ Верховного держали. Наконец вдвоём, Данилов с Болдыревым, решились будить главкосева.

В комнате была полутьма: уже снаружи дневной свет, но шторы. Рузский проснулся болезненно, даже со стоном. И с упреком. Выслушал.

– Чушь какая...

Ну конечно анахронизм. Ну конечно «и престола» уже оскорбительно драло ухо фальшью.

Пока они ему объясняли – Данилов сев у кровати, Болдырев стоя за ним, а счастливый сон непоправимо ускользнул. Но вытянув ноги под одеялом, уже тому был рад Рузский, что не надо ему подниматься, одеваться, не надо к телеграфу идти. В 63 года закачают... Бумагу он и посмотреть не взял у Данилова, он оценивал со слуха, присмежа глаза.

Анахронизм... Не только в этом «престоле», но в самом Николае Николаевиче, вздутом

в качестве Верховного. Позавчера вокруг отречения столько было борьбы, что Рузский не решился возразить сразу в этом. А на самом деле это было беспомощное, жалкое движение вспять. Делали великий исторический шаг – и тут же трусливо виляли.

Вот и каркала ворона – «и престола», – а сыр падал. Поразительно неисправимый старый дурак, как можно настолько не чувствовать времени? Конечно никакой «престол» в приказ идти не может. Можно было и самим догадаться, не будить.

Так ведь – и Алексеев!... О старательный писарь! И как же решился – собирать совещание Главнокомандующих?...

Нет, только единством с новым правительством и держимся мы теперь.

411

(газетное)

МАНИФЕСТ НИКОЛАЯ II

ОТРЕЧЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПОДРОБНОСТИ ОТРЕЧЕНИЯ

– Что же мне делать? – тихо спросил Царь.

– Отречься от престола, – ответил представитель Временного Правительства.

Царю тут же был дан для подписи заготовленный заранее акт отречения, и Царь подписал его.

РАДИОТЕЛЕГРАММА ЗА ГРАНИЦУ. Всем, всем, всем. – С целью предупреждения полной анархии... В короткий срок при единодушном настроении всей армии в пользу переворота... Удалось вступить в сношение с Советом Рабочих Депутатов. Рабочее население Петрограда проявило политическое благоразумие и в ночь на 2 марта сговорилось с Временным Комитетом Думы... Попытки послать против столицы воинские части кончились полнейшей неудачей, так как посылаемые войска немедленно переходили на сторону Государственной Думы... Послы английский, французский и итальянский признали народное правительство, спасшее страну...

Энтузиазм населения по поводу совершающегося даёт полную уверенность в громадном увеличении силы национального сопротивления... для достижения решительной победы над врагом.

... Министерство образовалось! – со вздохом облегчения узнала Россия. Имена этих людей известны всем. Прав Павел Николаевич Милюков, говоря... В новом правительстве с радостью видим А.Ф. Керенского. Это – подлинный генерал-прокурор от народа!...

Каждый из нас должен теперь забыть всё и отдаться всецело счастью родины.

Торгово-промышленная Москва с чувством живейшей радости... Имена вошедших в правительство общественных деятелей дают твёрдую уверенность... правильный ход жизни, нарушенный преступными действиями старой власти...

... Всякий, кто будет противодействовать декларации Временного правительства, должен понять, что действия его ведут к гибели России. Теперь только изменники и люди, не любящие России, борются с новой властью.

РОДИНА ВОСКРЕСАЕТ... О, великий народ! Пришёл миг – и ты восстал, великий, могучий и прекрасный. Восстал как гигант – и цепи оказались паутиной. Что бы теперь ни произошло – мы уже утешены, этот миг заплатил нам за всё.

... Семья Романовых – род деспотов и дегенератов. Мы должны смести этот мусор до основания...

... Наивные люди боятся, что с устранением монархии может поколебаться государственное единство России. Но именно свободные политические учреждения укрепят русское государственное единство. Новое правительство возникло не самозванно: на нём почитет воля народа.

ЗА ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИМИ КУЛИСАМИ ... Теперь можно приподнять завесу над этим углом русской жизни...

БОЛЕЗНЬ НАСЛЕДНИКА, как сообщают, приняла характер неблагоприятный.

За оскорбление революционного знамени арестован статский советник (имя рек).

СООБЩАЙТЕ О ПОГРОМАХ. Бюро Сообщений просит оповещать по телефону №...

ПУРИШКЕВИЧ объезжал сегодня полки и призывал офицеров и солдат подчиниться Временному правительству.

АУКЦИОНЫ РЕВОЛЮЦИИ. Несколько дней в Петрограде не было регулярных газет. Вчера, едва московский поезд подошёл к петроградскому перрону, – к багажному вагону бросилась толпа артельщиков. Началось сражение, которое затем перенеслось к киоскам. За несколько минут московских газет не стало. Затем в течении дня они котировались на Невском как биржевые бумаги – по 100 и 1000 рублей за номер. У кафе «Пекарь» экземпляр «Русского Слова» был продан за 10000 рублей директору товарищества «Жесть» Левенсону. Купившим газеты была устроена овация, потом их носили на руках.

Возникли и другие аукционы на революционные нужды. Сначала продавались стихи на смерть Распутина, затем – обгоревшие бумаги Охранного отделения.

Увеличение содержания железнодорожным служащим . – Комиссар по министерству путей сообщения А.А. Бубликов предложил принять срочные меры... озаботиться выдачей дополнительного вознаграждения...

БЕСЕДА С А.А. БУБЛИКОВЫМ. – «Чиновники министерства встретили моё прибытие весьма радостно.»

ИЗВОЗЧИКИ. Извозпромышленники возбудили перед городской думой ходатайство об отмене установленной таксы. Дума удовлетворила...

В СИНОДЕ, 4 марта. Митрополит Владимир от лица всех присутствующих выразил радость освобождению Православной Церкви.

Члены Г.Д.-священники обращаются с братским призывом к православному духовенству всей России: немедленно признать власть Временного Комитета Думы и своим горячим пастырским словом разъяснить народу, что смена власти произошла для его блага и только при этом условии можно вывести Родину на путь счастья, благоденствия и процветания.

ТОВАРИЩИ СОЛДАТЫ 4 роты Павловского полка!... Вы, лучшие сыны своей родины, вывели на свободу из мрачной темницы самодержавного рабства... Когда вас рассадили по казематам Трубецкого рavelина, вы и тут не пани духом. Наступила ночь, и

ангел смерти уже коснулся вас своими крыльями. Но вот – над рavelинами крепости прокатилось мощное «ура». Присяжный поверенный господин Богоявленский...

С подлинным верно,
секретарь батальонного комитета

ГРАФИНЯ КЛЕЙНМИХЕЛЬ. Выясняются интересные подробности... Когда пришли арестовывать, на дверях её оказался плакат с надписью: «Графиня Клейнмихель арестована и находится в Государственной Думе.» Пришедшие пожелали убедиться. Вошли в квартиру и... нашли её дома.

Поставщики Его Величества торопятся один за другим отказаться от почётного звания.

Лишние учреждения. Упразднена военно-цензурная комиссия...

ГРАЖДАНЕ ПЕДАГОГИ! Полное обновление родины ставит перед нами ответственную задачу: развить в наших питомцах тот священный огонь, который несомненно загорелся в них под влиянием переживаемых событий... Для этого нам самим необходимо первым делом организовать.

НАСТУПЛЕНИЕ НАШЕЙ КАВКАЗСКОЙ АРМИИ продолжает развиваться. Перевал, открывающий дорогу в Месопотамию, нами занят. На Багдадском направлении...

УСПЕХИ АНГЛИЧАН В МЕСОПОТАМИИ...

В Московском Комитете Общественных Организаций. ... Единогласно постановил дать телеграмму Временному Правительству: до созыва Учредительного Собрания недопустимо учреждение какой бы то ни было монархической власти...

... Гражданин Иосифов спрашивает: «Почему комиссаром Москвы состоит Кишкин, мы его не выбирали»... Большую речь произнёс П.П. Рябушинский, призывая Совет Рабочих Депутатов отказаться от своих естественных притязаний...

В Московском Совете Депутатов. ... Много аплодисментов вызвала речь французского офицера, что так же начиналась и революция во Франции... Необходимо ускорить изготовление снарядов...

... В Петрограде на Невском за 1500 рублей купил экземпляр «Утра России» деятель самарского военно-промышленного комитета Левенсон, который тут же пожертвовал ещё 100 тысяч рублей на нужды Совета Рабочих Депутатов!

Служащие московских сберегательных касс выражают безграничную радость по поводу совершившегося переворота.

... возбудить вопрос об уничтожении паспортов как документов, унижающих человеческое достоинство...

Московские парикмахеры приветствуют первого гражданина свободной России председателя Государственной Думы и выражают беспредельную радость...

К ПОБЕГУ КАТОРЖАН из Бутырской тюрьмы... Уже задержано 1700 человек. Большинство находилось на Хитровом рынке и в харчевнях, многие сдавались добровольно. Некоторые взяты во время грабежа. Однако никто из шаек «Сашки-семинариста» и «Васьки-француза» до сих пор не задержан.

Когда арестованных полицейских вели по московским улицам, толпа еле сдерживала себя: «Сорвите с них погоны!», «Убейте их!», «Разорвите их на куски!». Милиция еле удерживала толпу от самосуда. За весь недолгий путь городские были предметом самого злого и вполне понятного издевательства.

АРЕСТ ГАРРИ. Последние дни в штабе московского Округа обращал на себя внимание молодой офицер в форме одного из кавказских полков, разукрашенный георгиевскими крестами. Он отдавал распоряжения и подписывался «за начальника штаба революционных войск хорунжий Гарри». Узнали, что это – некий Фельдман, кинематографический режиссёр, сын сосланного фальшивомонетчика. В гостинице «Метрополь» устроили засаду и арестовали его. Заявил: «Меня всё равно отпустят.»

СЛОНЫ-ДЕМОНСТРАНТЫ. Вчера на Тверской – необыкновенное шествие: два слона и верблюд, на пополах – приветствия народному представительству, а за ними – на колеснице стоя, известный клоун и дрессировщик Дуров, так много пострадавший при прежнем режиме.

ЕВРЕЙСКИЙ МИТИНГ. Московские евреи на днях собирают митинг.

Новое управление Московской губернии. ... Прежний вице-губернатор отправлен в Бутырскую тюрьму.

412

Холодный ветер так не утихал, и за ночь и утром дул настойчивый, привязчивый, надувая что-то.

А когда совсем рассвело – открылся такой вид, будто Государя в Ставке не было: перед входом в губернаторский дом не было парных часовых. Перед дворцовым сквером не слонялись агенты в штатском. Только остались два жандарма у изгороди дворца.

А над зданием ратуши через площадь висел большой красный флаг.

С 8 часов утра подполковник Тихобразов вступил в суточное дежурство, занял комнату дежурного в нижнем этаже, рядом с телеграфным залом.

Проверил шифры. Обошёл первый и второй этажи.

Из окна второго этажа наблюдал сцену: перед оградой дворца собралась кучка штатских, скорее торговых, они сильно жестикулировали и кажется восклицали, и всё добивались идти внутрь, а жандармы их не пускали. Затем кто-то пошёл в губернаторский дом. Вернулся – и убеждал собравшихся. И наконец нехотя, неуверенно они разошлась.

За это время в штабе стало известно значение сцены: это приходили взволнованные поставщики, требуя денег, опасаясь, что Государь теперь обанкротился и не заплатит им.

Тихобразов покраснел, как если б это он сам приходил требовать.

Только бы, пока они стояли, Государь не увидел бы в окно и не узнал бы этого позора.

Но из окон его кабинета он мог наискось и видеть.

Тихобразов волновался: придёт ли Государь, как всегда, к половине одиннадцатого, выслушивать доклад Алексева? Это казалось невозможно! – но вместе с тем так привычно. И если придёт – то как его титуловать?

Тихобразов любил Государя. Он считал его поразительно простым и отзывчивым, как не бывают в царском положении. А пожав его руку вчера, был непомерно счастлив, как неловко при таком горьком поводе. За полтора года Государь всех их тут, в Ставке, знал, и Тихобразова называл «маленьким капитаном», даже и произведенного в подполковники.

В начале одиннадцатого он стал на втором этаже близ удобного окна и наблюдал – будет ли Государь идти.

Да! Появился – точно-точно как всегда, но шёл совершенно один, как никогда не

ходил, – без дворцового коменданта, и без дежурного конвойца, только флигель-адъютант сопровождал его.

Он был как и вчера в пластунской черкеске, без шинели.

С офицерским умением Тихобразов точно рассчитал свой выход – так, чтобы встретить Государя снаружи близ угла генерал-квартирмейстерской части.

Но! – он не смел держать глаз вскинутыми, как всегда, – чтобы не увидеть царского одиночества...

И в двух шагах перед Государем, когда остановился и тот, – Тихобразов не посмел поднять глаз выше царских уст: из страха нескромно заглянуть через глаза в душу несчастного монарха.

– Ваше Величество! – доложил он, а голос его дрожал. – За время дежурства по управлению генерал-квартирмейстерства никаких происшествий не случилось! Дежурный подполковник Тихобразов.

И повернулся во фронт, давая императору дорогу.

Государь опустил руку от козырька и пошёл в штаб.

Так лицо Государя и осталось неувиденным.

Тихобразов следовал в двух шагах за ним и оставил его в низу лестницы, ведущей наверх.

413

А спал – опять хорошо, и сон возвращал здоровье духа.

Потому спал хорошо, что, как ни раздавлена душа, – а ничто не совершено против совести. Ужасный, крушительный шаг – а не против совести.

Ещё и потому стало много спокойней, что вечером, преодолев свою нелюбовь к телефону, просил попытаться соединиться с царскосельским дворцом (это, очевидно, шло теперь не только через Петроград, но и через думский контроль). Долго соединяли – и вдруг удалось. И Николай услышал далёкий, слабый, еле внятный, непохожий – но голос своей Аликс. И – затрепетало сердце, как всегда волновался он при каждой новой встрече с ней. И – сжалось, это горько упреknёт...

Но Солнышко Аликс не упрекнула его ни намёком, только хотела успокоить и передать любовь.

А ещё сказала, что казаки вовсе не предали, были на местах при дворце, это какая-то сплетня.

И от этого очень возродилось сердце. Ничто так не убивает, как измена. Ничто так не поднимает, как верность.

Во Пскове – ему изменили. Рузский – изменил. Оплёл, оморочил. (А как он верил ему! – и неудачу под Лодзью и на левом берегу Вислы свалили на Ренненкампфа. А виноват был Рузский.)

Николаша – изменил. Брусилов. Эверт.

Не поворачивалась мысль упрекнуть и Алексева. Столько работали вместе и так хорошо. Такой добросовестный, немудрящий, честный. Что-то он засуетился просто, напутал.

Сегодня утром пришла и дорогая телеграмма от Аликс, ободрительная. Вчерашняя, когда уже узнала всё.

И очень подбодрила ночная телеграмма Хана Нахичеванского. Ах, любимая гвардейская кавалерия!... Ах, сколько верных и любимых оставлено!

Но почему подбодряющие голоса всегда опаздывают?... Почему они не достигают вовремя?... Как и в чёрный октябрь Пятого года...

И вопреки погоде, это редко: вчера, в ясный морозный день, стояло отчаяние колом, холодной горой. А сегодня, в унылый ветренный, смягчилось.

Даже – проходило. Хотя в груди сплелась такая сложность – не высказать. И ещё хуже

он понимал: что же произошло во Пскове?

Чего только не может вынести сердце! – даже проходило.

И дал телеграмму Аликс: что отчаяние – проходит. Чтоб и её укрепить.

А тут уже – подъезжала из Киева и Мама, разделить его горе и одиночество.

Чего совсем не ожидал: что отречение не откроет ему пути в Царское Село. Теперь он – частное лицо, отчего же могут не пустить к семье? А вот получалось, что не пускали.

И не известно, кто запретил, а ехать нельзя. И не известно, к кому обращаться.

Сперва – туда, и чтобы дети выздоровели. А потом, очевидно, пока всё уляжется, и до конца войны – надо будет уехать в Англию. Совсем недавно, в феврале, Николай написал хорошее письмо Джорджи. Он несомненно будет рад принять их всех в Виндзоре.

Что за судьба: их юная близость с Аликс началась в Виндзоре, – и вот старыми, усталыми, раскоренованными, с пятью детьми – они опять приедут туда.

Но после войны, конечно, надо вернуться в Ливадию. Ливадию-то оставят, не могут отобрать.

Чего самого простого Государь не догадался потребовать позавчера от депутатов – это безопасности, свободы передвижения – для семьи и для всей династии.

Как-то это само собой подразумевалось.

Да ведь он думал – Михаил будет царём. Кто ж мог подумать, что и Михаил отречётся?

Непонятно – в какое ж теперь состояние перешла Россия? Республика?

Продирал озноб от мишиного Учредительного Собрания. Какая пошлость – не стало в России трона!

Но уже то хорошо, что прекратились беспорядки в Петрограде. Лишь бы так продолжалось и дальше.

Значит – и не без пользы отречение. Значит – надо было.

И только обрывалось тяжело, когда вспоминал, что и любимый Балтийский флот заболел.

Но, даст Бог, оправится.

У себя на столе он нашёл несколько опоздавших писем и телеграмм. Одно из них было – от английского военного представителя при Ставке генерала Хенбри Вильямса, да почти государева друга. Три дня назад отсюда посланная вдогонку, нигде не нашла и сюда же вернулась.

Хенбри писал: он – старый солдат, и Государю известна его личная преданность, только поэтому он смеет обратиться с советом. А совет сам – не был уловим, ничто не договорено, но кажется так: не посылать с фронта войска против волнений, но разделить с народом тяжесть бремени власти.

Ответственное министерство?... Вот, даже и такой друг...

Всё. Теперь тяжесть не только разделена, а вся отдана.

С Вильямсом и другими сидеть за обедом – теперь Николаю не предстояло. Вчера вечером с Алексеевым в перескакивающем разговоре определяли, в чём же будет новый статут. И определили: никаких приглашённых лиц к царскому столу, в том числе и иностранных представителей.

Оно и легче. Оно и раньше, когда темно бывало на душе – сколько усилий требовал перед завтраком и перед обедом церемонийный обход всех выстроенных в зале гостей, человек около тридцати, – шестьдесят усилий ещё что-нибудь сказать кроме общего обеденного, шестьдесят личных взглядов, шестьдесят рукопожатий.

Дико было видеть из окна кабинета – на той стороне площади на ратуше – красный флаг. Флаг, который раньше казаки вырывали, выбивали у незаконных сходбищ, – теперь по ветру туго плескался на высоком шпиле над губернаторской площадью. И два красных же куска материи свисали до земли у входа в земскую управу.

Около городской думы расклеен был на стене какой-то крупный лист – и около него сменяющаяся толпа всё время читала. И отходила, и подходили новые. Обменивались фразами, беззвучными через ветреную площадь.

Отречение...

И Государь смотрел на своё отречение, как из засады.

А между тем – подошло время обычного доклада у Алексеева.

Пока не приехал Николаша – разве не естественно ему продолжать исполнять обязанности? И значит – пойти на утренний доклад?

Очень хотелось! По крайней мере ещё сегодня пойти, хоть в последний раз! Он так привык! Он не мог отказаться в один день.

И минута в минуту, как всегда, пошел в квартирмейстерскую часть, сопровождаемый одним Мордвиновым.

«Маленький капитан» samozабвенно отрапортовал ему перед входом.

Всё как прежде, очень подбодрил.

Внизу поздоровался Николай – с полевым жандармом, со швейцаром.

И Алексеев – тоже спустился навстречу, как всегда, на пол-лестницы, хотя замешкался.

При оперативной части доклада всегда присутствовал генерал-квартирмейстер, потом уходил, оставляя Государя с Алексеевым наедине. Но сейчас в докладной комнате кроме Лукомского был и Клембовский. Зачем же двое? Оба они состояли в Ставке недавно, Николай к ним не привык, они его стесняли. Сегодня – лучше бы наедине с Алексеевым.

Это была комната рядом с оперативным отделением. Она называлась «кабинет Государя», хотя он приходил сюда только на доклады. И – кресло, в котором Государь всегда сидел, принимая доклад, несколько венских стульев вокруг стола с зелёным сукном и пять больших стоек для карт пяти фронтов.

Как любил Николай и этот тихо-бумажный кабинет и это постоянное расположение, этот обязательный час в своём дне, даже в воскресенье, придававший смысл всем остальным двадцати трём часам. Тягуче-скриплым голосом, как будто недовольный, никогда не торопясь, со своей методичностью, Алексеев перечислял главные события, главные принятые решения, главные перемещения частей, назначения лиц, ход и потребности снабжения, – а Государь кивал, одобрял, иногда немного поправлял насчёт лиц и их наград, и – всё запоминал, по свойствам памяти своей, и вообще цепкой и особенно склонённой к военной жизни.

И сегодня он так же сел, и Алексеев так же, а те стояли двое по углам зачем-то. Похоже на прежнее, а ощущалось – что последний раз. Алексеев не сказал – «больше не приходите, Ваше Величество», но в краткости да и пустоте фраз, сильно расставленных паузами, – а при озабоченном лице особенно выдвигались острые брови Алексеева, – чувствовалось, что доклад этот досаден ему.

Да и что, правда, было говорить о фронте, когда там даже одиночные выстрелы не звучали, не то что военные действия. Немцы не воспользовались революцией, но замерли, давая ей совершиться.

Чередили недвижимые названия и закоснелые военные формулировки.

А Николаю было – всё равно хорошо. Вот это покойное сиденье и слушанье, и пока он сидел и слушал – ещё как будто ничто не совершилось, ничто не лопнуло, не треснуло, не упало. А когда он встанет и уйдёт отсюда – он опять попадёт в свою непонятную, позорную пустоту.

И он хотел бы, хотел бы, чтобы доклад тянулся. Но по скромности не мог для того предпринять никакого хода.

Он с любовью смотрел на бесхитростного, неблистательного, но честно преданного Алексева, самоотверженного в труде. На его вечно надвинутые брови, наморщенный лоб, голый до темян, да и на голове еле растёт, нос картошкой, фельдфебельские расставленные и вскинутые усы.

Он – любил его. Как своё избрание, своё творение, не всем понятное.

Кажется – кончилось, и надо было... Надо было...

Николай медленно-медленно встал из кресла и сказал, волнуясь:

– Тяжело мне расставаться с Вами, Михаил Васильич. Грустно быть на докладе

последний раз... Но воля Божья – сильнее моей воли. Верю, что Россия одержит победу.

Крепко пожал руку (едва удержась от поцелуя).

И уже стоя, стесняясь, изложил последнюю просьбу: к кому бы теперь обратиться, с кем бы это согласовать: о проезде в Царское Село? А по выздоровлении детей – на Мурман и в Англию? Но так, чтобы после войны вернуться в Ливадию?...

414

Известие об отречении Государя произвело неожиданное движение в Сводном гвардейском полку, в защитниках царскосельского дворца: раз император отрёкся – то они теперь не связаны присягою. А раз так – то они должны подчиниться Временному правительству. И офицеры не могли спорить – они и сами стали думать так. (У них уже замечали и прежде левый тон.)

После этого не могла спорить и государыня. И она дала согласие, что от Сводного полка и от Конвоя будет послано по одному офицеру и по 4 нижних чина – «делегатами» в Государственную Думу. С вечера они и уехали, ночью были приняты там, – но к счастью подтверждено им: продолжать охрану дворца, – а могли бы и отменить?... Впрочем после этой поездки вся ситуация уже и изменилась – невидимо и беззвучно: если они отметились в лояльности новому порядку (беспорядку) – то вот уже дворец и был взят.

Сегодня такие же делегации в Думу поспешили послать дворцовая полиция и дворцовая прислуга...

Но начальника дворцовой полиции и начальника дворцового управления – арестовали тем не менее. И не выпустили генерала Гротена. Всех их держали, кажется, в Лицее.

Доктора Боткина чуть не арестовали в Петрограде у пациента.

А среди царскосельских гвардейских стрелков творилось что-то ужасное: сами выбирали себе командиров, не отдавали чести, курили прямо в лицо офицерам, да даже и арестовывали их направо и налево.

И агитаторы от них уже забраживали в дворцовые части, присматривались.

Кто ж мог теперь разделить: где черта?...

И приехали моряки от гвардейского экипажа – и забрали своё оставленное знамя. И требовали своих офицеров.

И в таком окружении – уже начавшемся плену – предстояло теперь жить неизвестно как долго.

С прокалывающей болью распорядилась государыня сказать конвойцам: пусть отпарывают все царские вензеля.

– Да как же это, Ваше Величество?! Сердце холодает!

– Снимайте, снимайте. Не хочу кровопролития. Меня опять будут винить во всём.

А ещё – просил принять его граф Адам Замойский, так растрогавший государыню несколько дней назад своим появлением. Теперь – с тем же независимым гордым достоинством он заявил, что отречение – снимает с него звание флигель-адъютанта, снимает обязанность быть тут, – и просил отпустить в Ставку. И кроме того теперь он, как поляк, должен отдать себя служению Польше.

Принесли во дворец малые газетки, теперь эти гадкие «Известия» вместо всех прежних (тоже дрянных) – и в ней на всю страницу только и поместилось что – два отречения крупно, двух братьев, одно за другим.

Теперь, когда уже не было сомнения, что всё именно так произошло, ничего не остановить, можно было вчитываться в достойные благородные фразы никиного отречения.

Или удивляться странному решению Михаила: поклониться Учредительному Собранию. Неужели так может распорядиться монарх, получивший корону? Ах, Миша, Миша, слабый человек.

А во всём этом было и облегчение: бедный Алексей не получит корону, увы, но зато теперь он спасён ото всех мытарств, спасён для родителей. Теперь – он неразрывно будет с

ними.

В газетах не было, но все уверенно говорили, что революция – и в Германии! Вильгельм – убит, сын его – ранен!

Насколько государыня до вчерашнего дня не верила решительно никаким слухам – настолько теперь она не могла уже в них и сомневаться. Началась в мире – ужасная полоса бед, и вот грянула и над Вилли – не досталось ему порадоваться русской революции!

А – что в Дармштадте? А – с братом Эрни что?

Весь мир пошёл кругом, весь мир падает. И – почему так одновременно? Или это – масонский заговор? Безусловно так. Они и эту войну подожгли. Они и подрывались под монархии давно.

Но весь ураганный вихрь этих дней научил Александру – её бессилию. Последние годы – как рвалась она и напрягалась направлять государственный ход! Назначать лиц на должности и указывать им, что делать. Но вот открылось, что всё это было впустую, всё – тщета, и человек бессилён.

Есть ли ещё планы и бодрость у Ники? Но сама она – уже не сделает ни движения государственного. Не шевельнётся. Не существует. Научена.

А вчера поздно вечером вдруг позвали её к телефону – прямому из Ставки. О современное чудо, о облегчение – услышать прямой голос мужа, хотя ослабленный, как из-под земных пластов, наваленных на грудь.

Обещал, что скоро, скоро вернётся.

Голос, едва сильней дыхания, тени слов ещё различаются по каким-то контурам, а сам родной любимый голос можно только сердцем угадать, по интонациям.

Но уже – не чувства его. И – о чём говорить, когда теперь всё подслушивают?

Как дети? Трудно: у Анастасии температура растёт, пятна всё больше, у Ольги плеврит, у Ани плеврит. Одна радость – Алексею лучше, он весел.

Знают ли дети? Нет, ещё не говорила...

Успела предупредить, чтоб не верил в измену Конвоя, это всё – недоразумение!

И успела узнать, кто же именно были те два – скота! – приехавшие вырывать отречение.

Измысленное дьявольское унижение! – послать именно этого хама свинью Гучкова, личного мстительного врага. Ещё этой горечи не доставало в чаше страдальца!

Только растравилась разговором. Всё недосказано.

А утром сегодня – прорвалась телеграмма от Ники, из Ставки же. Он – получил её вчерашнюю телеграмму, о счастье, восстанавливалась связь! Но у самого была фраза: **отчаянье проходит**.

Проходит? – да, слава Богу. Но то, что он, изумительно сдержанный, решил слово это поместить в открытую телеграмму, – распахнуло Александре всю чёрную бездну, пережитую мужем. Та была ещё черней, чем можно вообразить.

Сегодня днём в зелёной комнате со спущенными занавесками, где лежали все дети, дописывала вчерашнее письмо. Вчера та офицерская жена не уехала, и можно было ещё дописать с ней. Она бралась теперь ехать и дальше – в Могилёв, и передать письмо.

Боюсь думать, что ты выносишь? Как ты там – совершенно один? – это сводит меня с ума. (О, догадается ли тем временем – прислать письмо вот так же, с кем-нибудь, с нарочным?)

О! придут лучшие времена, и ты, и твоя страна будут сторицею вознаграждены за все страдания. Нельзя падать духом, христианство учит нас верить до последнего вздоха. Впереди – ещё воссияет светло, и Бог ещё воздаст сторицею за страдания монарха.

Вон, погибла, растерзана Сербия – это кара за то, что они убили своего короля и королеву.

Не может быть, чтобы Господь судил и России такой жребий.

Когда не хватает человеческого соображения и человеческих сил – высокие души имеют свой выход, – выход в веру! И Александра – умела отдаваться этому возносящему

порыву в небо. Чем было вокруг темней и сдавленной – тем ярче сиял над ней небесный колодец. Это были минуты – и часы – мистического экстаза, когда дано было ей видеть другим, высоким зрением!

Он отрёкся – но может быть именно так он и спас царство сына! Незапачканная корона ещё вернётся на чистую голову сына!

Ещё наступят хорошие времена, поворот к свету. Ещё наступят великие и прекрасные времена для всей России! Чует сердце – это всё не кончится так просто и уныло. Бог с небес – пошлёт помощь.

Недаром наступает сегодня Крестопоклонная неделя!

Когда недостаёт человеческого соображения – открывается путь, доступный лишь избранному пониманию: **чудо** !

О мой герой! Мы снова увидим тебя на престоле, вознесенным обратно твоим народом. Ты будешь коронован – самим Богом, на этой земле, в своей стране!

Вот говорят: после отречения люди вне себя от отчаяния. И среди войск – начинается движение протеста. Они все – обожают своего Государя. Я чувствую: армия восстанет! – и вознесёт тебя снова на трон!

415

С «Петропавловска» потребовали от имени команды арестовать на «Кречете» старшего лейтенанта Будкевича, которому они почему-то не верят. Почему?... И – как этому противиться, если требует, волнуется целый дредноут?

Сухопутные команды потянулись с утра сегодня в порт, желая видеть адмирала, желая иметь у себя совет депутатов.

На обширной припортовой площади перемешались солдаты, матросы, слышались «ура».

Непенин до девяти часов принял матросских депутатов, выслушал. Приказал приготовить для их собрания в столярной мастерской чаю и хлеба.

После девяти принял офицеров, пришедших с сухопутными частями. Дал разрешение сухопутным полкам «сорганизоваться».

Понятно было, что надо протянуть немного времени, пока сюда дойдёт благотворное влияние новой власти, даже сегодня ещё могут успеть сюда депутаты Думы. Ведь в Ревеле посланием Керенского почти восстановлен порядок. (И комендант возвратил оружие полиции и жандармерии.) В Петрограде уже опубликованы оба манифеста об отречении.

Но в последнюю ночь не выдержал флот! Этих убийств (ещё все подробности их, ещё все имена не были известны на «Кречете») – нельзя было отодвинуть из памяти, но не момент был и упрекать матросских депутатов или даже задумывать кару. В этом и трагичность революционных убийств: они не судимы, не оспоримы, даже не требуют извинений: убили – и убили, всё, не повезло кому-то.

Надо было широким сердцем понять смущенье этих тёмных людей, всегда обделённых социальной справедливостью, и чью-то злую предрассветную телеграмму с угрозой убить самого адмирала, – надо было видеть всю широкую картину начавшегося освобождения России и в этой картине удержать Балтийский флот до просветления.

Больше всего изумлялся Непенин этой матросской вспышке при правоте своего поведения: ведь он не пытался обманывать, он всё объявлял матросам тотчас, как узнавал сам, он первый из крупных военачальников признал революционное правительство, – а всё пошло так, как если б он упирался за царя до последнего. Почему? За что погибли его офицеры?

На такие вопросы революция никогда не отвечает, уверенная в своей правоте.

Но и Непенин не пошатнулся в своей правоте. И в правоте своих горячих приближённых – Черкасского, Ренгартена, Довмонта. Если кто был неправ, то неправ был тот, кто столько лет затягивал своё сопротивление прогрессу, свободному развитию,

слиянию всех русских людей как равных граждан.

Но это всё ещё исправится, дали бы только срок. Сам Непенин же исправит у себя во флоте.

Похоронит своих мертвецов.

Однако с каким же лицом теперь смотреть на матросский строй – и в каждом подозревать убийцу?

Вдруг – в двенадцатом часу передался какой-то слух, не радиограмма, а слух, да как? через вестовых, со смущением, что будто... будто... на городской площади командующим флотом объявили – начальника минной обороны вице-адмирала Максимова!

Ренгартен, краснея, доложил Непенину как полный вздор.

Что за, правда, вздор? как это матросы в городе сами могут объявить нового командующего?

Но не успели ни удивиться, ни посмеяться, – через 10 минут по набережной подкатил автомобиль с красным флагом – и из него направились на «Кречет» – сам дюжий Максимов, с ним рядом – непенинский же штаб-офицер для поручений капитан 2-го ранга Лев Муравьёв (декабристская фамилия!) и несколько матросов, очень злобно глядящих.

Так все вместе они и ввалились к Непенину, матросы со сжатыми бровями и губами, руки на карабинах, Муравьёв с весьма бесстыдным независимым видом, а Максимов с блуждающей – или даже блудливой? – улыбкой на крупном лице. Адмиралов оставили одних, и Максимов руки разводил, объяснял с сильным чухонским акцентом:

– Вот, Адриан Иваныч! Только что я был арестован, сейчас возведён в командующие флотом, а завтра буду повешен.

Не рассказал, как же так: из-под ареста и сразу в командующие? Что-то им обещал?

– Отказаться – счёл невозможным, чтобы не подорвать боеспособность флота.

Матросы оставили их не вовсе одних, за дверью стояли, нависали.

Непенин сидел в полном изумлении. До позавчерашнего дня его мог сместить только Государь. Но вот Государь сместил себя сам. Не сразу можно было представить, кому теперь подчинялся командующий Балтийским флотом. Правительству и даже морскому министру подчинения не существовало. Да в новом правительстве морского министра вовсе нет, а по совместительству Гучков, но Гучков в эти самые часы по телеграфу вызвал к себе в Петроград контр-адмирала Кедрова, начальника дивизиона миноносцев Рижского залива, вызвал, не спрашивая мнения командующего и, очевидно, задумывая тоже какое-то назначение. Гучков вообще-то был единомышленник всех младотурок, но проверять и поддерживать единомыслие сейчас невозможно было по телеграфу.

Однако что-то надо было решать.

Однако что же решать, если «Павел I», откуда всё вчера началось, уже разослал по всем кораблям радиотелеграмму: не выполнять распоряжений Непенина, а только Максимова?

На «Павле» был такой «центральный комитет депутатов кораблей».

Нет, сдать власть Непенин не может – это компетенция правительства.

Но и помешать – как он может?

Как бы Непенин ни думал, но власти у него уже не осталось.

Однако она оставалась на его плечах и на сердце.

Во-первых, решил доложиться, – уже не в Ставку, но в Государственную Думу, обо всём происшедшем.

Написал – и сам хотел пронести в радиорубку.

Но матросы у дверей не пропустили его.

Он был как бы арестован.

Телеграмму – прочли и тогда допустили адъютанта отнести.

Как же было теперь – не передавать власти?...

Решили с Максимовым во избежание двоевластия подписывать все распоряжения вдвоём.

Решили, что Максимов, взяв на автомобиль кроме красного флага ещё флаг

командующего флотом, поедет к коменданту Свеаборгской крепости установить единство действий.

При нём уехала и вся сопровождавшая группа матросов.

Адмиралу возвращалось ходить по своему «Кречету», где бурлила возбуждённая толпа, синие голландки попеременно с серыми солдатскими шинелями.

Штабные предложили составить от имени Непенина приказ по флоту, что он приветствует новый строй.

Уже писано было и объявлено и вчера и сегодня на рассвете, но что ж? Ещё лишний раз в несомненную точку, обстоятельства таковы.

Вконец изнервленный Ренгартен пришёл рассказать, что печатается во флотской типографии, «депутатским решением»: тысячи листовок с записью ночного разговора «депутата» Сакмана – с Керенским. И заявление Керенского, что матросам обеспечивается полная свобода агитации.

Тем временем оказалось, что «комитет матросских депутатов» не только на «Павле», но их – три в разных местах, и они разных мнений.

Черкасский предложил: пока есть связь, пока Непенину доступна телеграфная рубка (команда «Кречета» вела себя покойно) – связаться с генеральным морским штабом в Петрограде и просить Керенского к аппарату на разговор.

Верно!

Черкасский пошёл вызывать.

Непенин старался не рассеять твёрдости. Всего несколько часов надо было перестоять!

Принесли вестовые новость, что на собрании команд в столярной мастерской избирали новый штаб флота! – и Непенина тоже выбрали в штаб.

И тут с набережной вступила группа вооружённых матросов, человек двадцать, а сорок осталось за сходнями, – и объявили, что арестуют всех офицеров «Кречета».

Им ответили, что адмиральское судно и штаб не могут остаться без офицеров.

Погудели, оставили нескольких – флагманского штурмана, инженера-механика, священника, трёх-четырёх в штабе – Черкасского, Ренгартена, Сполатбога, – а остальным скомандовали выходить, арестованы.

И Непенину.

Нечего делать. Адмирал пожал плечами, подчинился.

Верные декабристы смотрели на него с разрывающей тревогой.

И сразу же, тесной толпой человек в шестьдесят, повели их по набережной, в сторону крепости.

Привет тебе, заря освобожденья

От рабства подлого под игом палачей!

(«Русская воля»)

416

Вчера среди дня, неурочно, вдруг грянул над Москвою громовой колокольный звон, как пасхальный! Сперва – из Кремля, потом стали ему отзываться, отзываться из других разных мест. И покатилося, и погудело над Москвой – часа наверно два.

А Ксения со своей ещё гимназической подругой Бертой Ланд, тоже теперь московской курсисткой, как раз гуляли – занятий-то по-прежнему не было. И многие прохожие и Берта восхищались, как это замечательно придумано: отметить колокольным звоном праздник обновления России. Некоторые шли смеялись, а другие крестились по привычке. Правда, слышали, что этот звон – подменный какой-то: не только не все церкви, но и полезли на

колокольни ненастоящие, видимо, звонари: сбивались и перебивались нестройно.

Многие были в восторге, а Ксения постеснялась возразить, что это неуместно и даже обидно: как же так, на великий пост? Хотя и сама была не блюстительница постов.

Вообще, жизнь рано научила Ксенью, где что говорить и что иметь право любить, не любить. Ещё с детства нельзя было жить противоположнее, чем у своих в экономии – и у Харитоновых, но Ксения усвоила и не путала два разных поведения. А хорошо чувствовала себя – в обоих. Своей кубанской жизни она отчасти стыдилась – и большого богатства и, совокупно, невежества. А с другой стороны – и нисколько не стыдилась, ведь богатство пришло честными средствами, энергией и смёткой её незаурядного отца, который, будь он с образованием, не потерялся бы и среди московских крупных фигур. Да и в самом богатстве она не ощущала безнравственности – а зато какая независимость. Но высказать такое среди курсисток было невозможно, неинтеллигентно. А ещё с одной стороны – это невежество с малороссийским говором было родное, трогательное, и некрасиво-унизительно было бы говорить о нём с извинчивым видом.

Так и мимо Иверской часовни – Ксения при Берте шла, как будто не замечала, а на самом деле ощутимо раздвоилась, – и хотелось бы подойти, послушно постоять. Все эти дни революции, рядом с шумной придумском толпой, тут теснились богомольцы, больше женщины, простолюдинки, и проходили по очереди внутрь, а там полыхало обычное множество свечей.

И ещё этот пьяный звон. И как раз под него вывели из подвала городской думы едва не тысячу пленных городских, они покорно построились в колонну, и повели их куда-то вверх по Тверской. Стянулась смотреть на них толпа, но мирно, враждебного не кричали.

По городу разъезжали на автомобилях с призывами: всем возвращаться к мирным занятиям. И на стенах развешивали воззвание нового теперь командующего Грузинова: «Дело сделано! Переворот совершился! Теперь дело каждого – вернуться к своей работе. Скопища мешают, кто останется на улицах – тот сознательный враг родине!» Но все только смеялись: разгулялись, во вкус вошли, правда уже по тротуарам, мостовые стали прочищаться.

Вчера же открылись и театры, и кинематографы, ещё веселей. Вчера, в одной газете, разошлось и радостное: что убийца Сашка-Семинарист арестован со своею шайкою, и Москва вздохнула облегчённо.

Но сегодня в газетах оказалось: и та шайка, и шайка Васьки-Француза – все на свободе. В газетах же были и царские отречения, и газетчики бегали, вместе кричали: «Конец дома Романовых! Сашка-Семинарист на свободе!»

По всем улицам сбивали, снимали гербы с аптек, учреждений и замазывали их на торговых вывесках.

Сегодня же хоронили и трёх солдат – «жертв революции», убитых на Каменном мосте. Погребальное шествие пошло из центра, поднялось по Знаменке, Поварской – и на Братское кладбище. Воинские чины несли сотню венков, дамы – букеты из красных тюльпанов, шествие растянулось, останавливались для речей, говорили, что хоронит 100 тысяч человек. За погребальной колесницей шла рота автомобилистов с оркестром, школа мотоциклистов и ещё один оркестр юнкеров.

Но Ксения с Бертой пошли не туда, а на Красную площадь, где назначен был парад войск. Тут уже публика заняла лучшие места, а кто половчей, это не для барышень, взобрались на крышу Торговых рядов, угнездились, между башнями Исторического музея, на уступах Василия Блаженного и на деревьях вдоль кремлёвской стены. А уж Лобное место – это было сбितिще тел.

Стоял тихоморозный прелестный день. Через пелесоватые облака иногда проглядывало солнце, то больше, то меньше.

Многие из публики пришли не поодиночке, а рядами, с какими-то невиданными знамёнами – партий или организаций, так и стояли с ними. Народ всё больше густится. А войска стояли своими рядами и на штыках у многих висели красные обрывки. А середина

площади оставалась пуста, и на ней стояли автомобили с поднятыми треножниками фотографических и кинематографических аппаратов.

Торжество начиналось у Минина и Пожарского, уже какой день утыканных красными флагами, в руке Пожарского – с надписью «Утро Свободы». Из Спасских ворот туда вышло духовенство в золотых ризах (опять не по посту) крестным ходом, с хоругвями и большим хором. Ударили кремлёвские колокола, уже в опытных руках. Войска вскинули винтовки и замерли, в толпе многие мужчины сразу сняли шапки, другие потянулись-поколебались, третьи и не шевельнулись. Да и действительно было что-то совсем не церковное, хотя участвовали архиереи, и духовенство шло в клубах ладана. Неожиданно сильный оркестр – сразу из нескольких оркестров, заиграл марш, слышно и через колокола и перебивая церковный хор. И от Исторического музея появилась небольшая кавалькада офицеров – их-то и встречали маршем. Впереди отдельно ехал, очевидно, новый командующий Грузинов – не слишком молодцеватый, и лицо вялое, но темноокий, картинный. Они поехали туда, к Минину, спешили, начался молебен, а снова неладно: появился над площадью, отвлекая, один аэроплан, потом другой. И этот второй совсем низко летел, как бы за башни не зацепиться, отвлекая на себя всё внимание толпы. И он же сбросил на площадь что-то бело-красное – это оказался в белой обёртке большой букет красных тюльпанов – и его бегом понесли командующему. Только когда аэропланы улетели – вступил в силу, даже и на всю площадь, мощный бас знаменитого протодьякона Розова. Отслужили – духовенство пошло в Кремль назад, опять ударили колокола, оркестры заиграли «Коль славен», а Грузинов вновь оказался на лошади, левой рукой обнимая подаренный букет, и так поехал вдоль войсковых рядов и так произносил речь: возврата к прошлому быть не может, старой власти больше нет, пребывайте спокойно!

А затем началась уже совсем военная часть – перестроения, команды, оркестры, церемониальный марш, Грузинов со свитой занял ещё новое конное положение, возвышаясь над пешими отцами города, – и войска потянулись, зашагали, с красными лентами и пятнами на грудях, и это должно было быть очень долго, потому что они стояли от Воскресенской площади – и чуть не до Москворецкого моста.

Посмотрели юнкеров впереди, а потом надоело, Ксения потянула подругу в Александровский сад. Пробежали наудачу между строями, и протискались дальше вниз. Там вдоль садовой решётки стояли, ожидая своей очереди, ополченские дружины с зелёными знамёнами и «за веру, царя и отечество», только «царя» везде было зашито куском красной ленты.

А здесь, в этом долгом узком живописном садике под возвышенной древней зубчатой стеной – не взирая и не зная никакой революции, всё так же гуляло и на салазках каталось множество детей – с няньками, с мамками, с бабушками.

Боже, что на свете интересней и неисчерпаемей зрелища этих неопытных беззащитных малышей под разноцветными шапочками и чепчиками, каждые полгода жизни – своё поколение. С их неумелой или уже бодрой перебежкой. С их пробуждением в мире слов и понятий. С их играми, дружбой, первыми раздорами и легкоминучими слезами. И с каждой жалобой, и с каждой радостью – бегом к своей охранительнице.

И какая же радость – это всё выслушивать, успокаивать, помогать и направлять.

Как раз с Бертой ещё в гимназические годы в Ростове хаживали по городскому саду, присматривались к гуляющим детям и выбирали: «Какого б ты хотела иметь?» – такая у них была игра.

И сейчас с умилением и с завистью Ксения заглядывалась на одного, другого, пятого.

Вся жизнь её до сих пор, и всё ученье, и все развлечения могли иметь только один смысл и одну цель. Что несомненно и уверенно, единственное на земле, она хотела – сына!

Не может быть большего счастья!

И уже – очень была пора! Двадцать два года!

И уже непонятно: зачем ещё не теперь? А через год из Москвы уедет и канет в печенежскую зыбь.

И опять разбудили великого князя до света. И опять сенсационным сообщением, что Михаил – тоже отрёкся. Да пришёл и сам текст отречения его.

И Николай Николаевич мгновенно понял как весть благую и даже счастливую. Сознанием, быстро пришедшим в бодрствование, он оценил, что отречение это – благо для России (как и отречение Ники). Что Михаилу – непосильно было справиться с ответственностью короны, так лучше с самого начала и отречься.

И – полнота власти Верховного Главнокомандования освобождалась от подчинения этому ничем не отличенному мальчику.

Но – мерзостью было в отречении – передавать власть Учредительному Собранию. Какому? С чего вдруг Собрание? Зачем эти французские штучки для России?

Впрочем, это дело долгое, когда-нибудь после войны. А пока все высшие усилия народа возглавит Верховный Главнокомандующий. А существует глубокое верное монархическое народное чувство. И оно конечно обратится к избранию царя.

И – смутно, горячо постукивало сердце предчувствием.

В новой ситуации, однако, надо было дать срочные указания Алексееву. И Николай Николаевич тотчас же послал ему. Что и в новых обстоятельствах подтверждает прежние свои решения. И – ещё особо теперь повелевает всем войсковым начальникам разъяснить чинам армии и флота, что они должны спокойно ожидать изъявления воли русского народа, а пока повиноваться законным начальникам.

Это – замечательно тонко получилось, Николай Николаевич не вошёл в конфликт с правительством, не восстал прямо против этого богомерзкого Собрания – но и не поклонился ему. *Изъявление воли русского народа* – это да, оно конечно будет. А понимай – как хочешь.

Уж так возбудился великий князь, теперь нечего и прилегать заснуть, слишком отличное настроение! Пружинный, готовный, перебраживал морем ковров по залам дворца, – ведь его предстояло покинуть, а очень его полюбил Николай Николаевич. Всё здесь было по-восточному пышно – и какие пышные он устраивал здесь приёмы! Вот – зашёл в ботанический сад, прошёлся под пальмами. Вот – стал в зале у громадного зеркального окна – и благодарно смотрел на утренний Тифлис, прилегший к Куре под горой, такой покорный и приветливый к нему всегда.

Уже разворачивалась южная весна, невозможно поверить, что на севере – ещё в шубах.

Что на севере хотя революция и благодетельная,жданная всеми честными людьми, – но и какие-то эксцессы, волнения, на которые жаловался Алексеев. Волновал немного и Балтийский флот, что-то там расшаталось. Впрочем, новейшие сведения от Алексеева успокаивали: что благодаря юзограммам министра юстиции удалось прекратить кровопролитие и радиотелеграфирование, команды дали обещание.

Пришла от Алексеева и такая отдельная телеграмма: что отрекшийся Государь (Алексеев всё ещё называл «Его Величество») предполагает пробыть в Ставке ещё несколько дней.

Вот как? И для какого дела, зачем? Непонятно.

Но – важная ориентировка. Более всего не хотелось бы сейчас – встречаться с Ники. Никак.

Но если выехать из Тифлиса не торопясь, послезавтра, да ещё три дня в пути – так вот за это время Ники и уедет.

Уехать наскоро и нельзя: на Кавказе свой обширный церемониал прощания, и надо уметь выдержать его с любовью. Надо сохранить за собой сердца Кавказа – да и сам Кавказ, некому его передать. Вполне возможно, что, по грузинскому обычаю, город даст наместнику прощальный обед – великолепный, достойный, обильный, долгий, какой затягивается от середины дня – и в ночь.

А пока сейчас назначена была необычная аудиенция во дворце: по просьбе милого Хатисова великий князь принимал его вместе с двумя видными социал-демократами – Жордания и Рамишвили. Странная публика, конечно, член императорского дома принимал социалистов! – но таковы времена.

А очень оказались симпатичные, приличные, рассудительные люди, никакие не бомбометатели. И Хатисов же с ними какой приятный, блестят пронизательные чёрные глаза. Беседа сложилась сердечная. Великий князь ещё раз заверил их в своей полной лояльности новому режиму, – а Хатисов подчеркнул, что в Тифлисе не понадобилось, как в других российских городах, создавать никакого нового общественного органа с функциями правительственной власти: чистосердечное поведение великого князя устранило всякие подозрения и всякий конфликт.

О да, о да! И Николай Николаевич ещё раз заловил себя искренним приверженцем нового строя. И, как уже обещал, все должностные лица, вызывающие сомнения в их лояльном отношении к новому строю, будут уволены, А все политические – уже освобождены. А жандармские управления все упраздняются... (Он не имел в виду железнодорожных жандармов, которых снимали какие-то таинственные банды.)

А каково, осведомился великий князь у социалистов, отношение рабочего класса к войне?

Те заверили, что рабочий класс желает победы над врагом.

– Я так и полагал, – горячо одобрил великий князь. – Я знаю, что вы – за защиту родины. Уеду – и, надеюсь, вы тут...

А Хатисов ещё раз заверил, что широкие массы приветствуют назначение великого князя Верховным Главнокомандующим, хотя... Хотя вызывает много толкований то обстоятельство, что приказ о назначении произведен не Временным правительством, а бывшим царём, да ещё в самый момент отречения.

Увы, при изменившейся обстановке это обстоятельство действительно омрачало торжество самому великому князю тоже. Только и оставалось ответить, что назначение последовало всё же до отречения, а вслед за тем санкционировано Временным правительством, – так что и можно считать его как бы назначением Временного правительства. (Всё так, но для себя-то: разве совет министров во время войны выше Верховного Главнокомандующего?)

А едва социалисты ушли – уже нетерпеливо дожидалась мужа Стана: срочно приехал из Крыма сын её, пасынок великого князя, Сергей Лейхтенбергский, князь Романовский, – и всю эту беседу она дожидалась с ним и уже предваряла мужа о чрезвычайном и авантюрном предложении Колчака!

Вошёл сын, и мать осталась присутствовать.

Что же такое?? Молодой человек, промчавшийся на двух сменённых миноносцах («Строгого» закачал шторм, от Феодосии адмирал дал посланцу более крупного «Пылкого») и затем экстренным поездом из Батума, – не имел при себе никакой бумаги? Да поручение и было не для бумаги. Торжественно приняв положение «смирно», лейтенант отчеканил несколько доверенных ему фраз.

Адмирал Колчак считает положение в Петрограде – катастрофичным, в Ставке – сомнительным. Главнокомандующие всеми западными фронтами не принимают мер против мятежа. Россия в разгар войны остаётся без реальной власти. Адмирал предлагает Его Императорскому Высочеству для спасения страны – объявить себя диктатором. И ставит в его распоряжение Черноморский флот для сомкнутия с Кавказским фронтом. Это будет – цельная нетронутая сила, с которой посчитается Петроград. Всё.

Так неожиданно, таким ударом – как буря морская в лёгкие!

Диктатором? Какая дерзость!

Но и какой военный шаг!

Диктатором? – это даже больше Верховного Главнокомандующего?

Нет – меньше, меньше! – горячо уверяла Стана. – Это – не из рук правительства, и

потому меньше! Да как можно поддаваться? Он зовёт тебя к мятежу! Ты – уже Верховный, чего ещё? Зачем диктаторство? И – как ты можешь сейчас повернуть? И против гостеприимного Тифлиса?

Для неё – уже всё было решено бесповоротно.

Да, правда, – опоминался великий князь. Это – мятеж против правительства. И – как же обмануть доверие Тифлиса? И вот социалистов?... С каким лицом?...

Нет, в реальности уже не оставалось такого поворота. Упущено. Упущено. (А обожгло – как зимой предложение Хатисова...)

С глубокой печалью кивал великий князь:

– Увы, увы... Поедешь к Колчаку и скажешь...

– Да не поедет он в Севастополь! – вмешалась мать, уже всё обдумавшая. – Ты отказал, а всё равно будет носить характер сношений. Ты – Верховный Главнокомандующий, и ты перекомандуешь лейтенанту ехать с тобой в Ставку!

И – опять она была права.

И зачем уж, правда, Колчак – так дерзко, так неожиданно...?

Нет-нет, о нет! – немыслимо, неразумно бунтовать против правительства, против общества, против всей России! И – против, может быть, Ставки? Так и не хватит сил.

Стана была права.

Конечно, отказался великий князь.

Но – с внутренним сожалением, сокрушением, будто самое красивое – вдруг потеряно.

Нет, напротив! – надо всячески укреплять сношения с новым правительством. Странно, что три телеграммы послал вчера князю Львову – а ответа ни единого. Может быть, они чем-то недовольны? Вот и не держит в курсе событий, как просил его...

Послать ещё! Подразумеваемо заверить их, что и после Михаила всё остаётся, как вчера. Но и дать же понять, что положение наше – взаимно равное.

... Прошу ваше сиятельство быть уверенным, что я приложу все силы... Однако же уверен, что и вы, со своей стороны... восстановите полнейший повсеместно порядок...

418

Их так ведут: впереди – конвоиров нет (у матросов навыка тюремного нет).

Впереди – адмирал Непенин! Один.

Его кругловатое сообразительное живое лицо, только рот прикрыт усами-бородкой.

Но напряжён, такого обращения он не ждал!

А за ним, в шаге, адъютант, старший лейтенант.

Ещё в шаге по бокам – два матроса.

Ленточки полощутся над бушлатами, значит быстро идут.

Да и по плечам видно.

А дальше назад – ещё матросы, это как подкова сзади.

И в объёме её – ещё офицеры разных чинов, тут и капитаны первого ранга.

Кто непроницаем. Кто явно перепуган. Никто не ждал.

Никто не готов. Кто из нас когда готов к перевороту собственной жизни?

Позади края матросской подковы сходятся в одну густую матросскую толпу.

Вот так, толпой человек в шестьдесят, не строем, не конвоем, но сгущённо-злой толпой, с карабинами, стволы вперёд и вверх,

они ведут
кучку офицеров в середине,
безоружных, свободны бока от кортиков.
Идут матросы уверенно, жестоко зная, куда.
Неотмеренный слитный топот.
Такая ли форма матросская, такая ли жизнь
матросская или особый их подбор, – но почему они
кажутся так свирепо беспощадны?
Иные лица – уже за гранью человеческого выражения.
Откуда столько зла?
А лица офицеров – кость другая? другой обиход? -
при сходной же чёрной форме развитость и
тонкость.
И – смятение сейчас, и оглядка потерянная.
О, им вместе не жить! Как же вместе жить этим двум
породам?
вот, идущим в одном кадре.
Куда идущим?
Офицеры догадываются. Они же знают, как этой ночью
на других кораблях...
И матросы – знают.
И не колеблются нисколько.
Если бы матросы шли строем – то не так бы жутко. А
вот – толпой, плечо к плечу, почти челюсть к
челюсти, ствол к стволу, идут, уверенно прут вперёд!
Топот по снежной дороге.
Понизу
одни ноги, у земли.
Тут, в ногах, в чёрных брюках, больше похожи
ведущие и ведомые.
= И адмирал, с отзывчивым подвижным лицом, позади
себя ощущая этот напор и скорость, не обернувшись,
чувствует их, -
и так же уверенно и поспешно идёт.
Как будто их ведёт!
Да! Как будто это он ведёт их, по своему
адмиральскому замыслу.
Ведёт эту кучку, как он вёл весь флот.
Подрагивают его пушистые усы, сметливые глаза.
Как он объяснял им, расположенно и открыто! Как он
верил в их души! Как надеялся на них!
Наш святой народ!
Матросы. Челюсть к челюсти.
= Там, в заднем офицерском ряду – мелькание.
Мелькание, как падение.
Мы всё время видим спереди -
мы видим крупно и близко лицо адмирала,
ещё и сейчас не разочарованное,
как он верил и надеялся.
А там позади – отталкивают офицеров матросские
руки,
оттаскивают,

оттягивают в стороны, то вправо,
то влево,
куда-то за себя выбрасывают через чёрный и ленточный
матросский охват, -
там дальше – конвоируют их или выбросили, мы не видим,
мы видим только, как офицеры один за другим
исчезают из охвата,
а сам охват всё ближе сюда, к адмиралу, всё челюстней.
На бескозырках, кто успеет, заметит: «Слава», «Андрей»...
И что за форма у матросов ужасная? – что это за ленточки,
с их нежным трепетанием, так неестественные
при мужских головах,
при звериных головах
такие ленточки жестокие?
= Вид Свеаборгской крепости.
= Заснеженные берега.
= Утоптаный снег на улице, по которой ведут
= адмирала с таким живым открытым: лицом, так
верившего в этих чёрных героев,
как он ведёт их сейчас, не оглядываясь.
= А сзади отбрасывают последних уже офицеров,
и не вскрикнет ни один, это молчание ужасное, только топот
матросов,
и адмирал шагает, уверенный, что ведёт за собой всех
офицеров «Кречета», штаб флота,
а остался за ним один адъютантик.
= А за спиной адмирала – передний в охвате матрос,
революционный матрос с плакатов, из кадров, которые
мы будем видеть, видеть, видеть.
= Две фигуры, невысокого роста плотный адмирал, – а
позади надвинувшийся верзильный матрос.
Сейчас! Сейчас это будет!
= Ноги. Кто-то сзади бьёт под коленку второго, тонкого,
значит адъютанта.
Потеряв равновесие – споткнулся, наклонился адъютант.
Спереди
= Адмирал! всё тот же, уверенный в правоте. И плакатный
матрос
вскинул карабин!
= Спина адмирала во весь экран и кончик дула. -
с огнём!

Выстрел!

= И опять – лицо адмирала!
ещё попростевшее, невинное, -
только теперь понявшего,
только теперь узнавшего всю истину, которую искал!
= Но уже – опускается из кадра.
Упал.
И охват матросов остановился.
Смотрят вниз. С любопытством.

И – достреливают, туда, вниз.

Выстрел, выстрел.

419

Пребывание отрекшегося царя в Ставке от часа к часу всё заметней стесняло генерала Алексеева. Вот зачем-то обставлять традиционный доклад, когда события со всех сторон набухают, напрягаются – и требуют всего внимания. Свято место – не бывает пусто. Государь сам же отдал и Верховную власть в государстве и отдал Верховное Главнокомандование – и со вчерашнего дня все дела естественно обтекали бывшего царя, и Алексеев должен был участвовать в этом обтекании: не докладывать ему своих действий, рассылать фронтам нужные сообщения, – всё это теперь текло телеграфом на Кавказ, откуда и должно было прийти одобрение или неодобрение решениям наштаверха. (И надо сказать, что Николай Николаевич и в большой дали с большой подвижностью менял свои приказы: вот уже опустил «престол» и вставил «изъявление воли русского народа», читай – Учредительное Собрание. Такая подвижность была назидательна и для самого Алексеева.)

А бывший царь и Верховный – чем мог помочь сегодня? Для него – остановилось время. А Алексееву этот последний доклад и самому сердце щемил – да и что скажут? как истолкуют? – на всякий случай он позвал и Лукомского и Клембовского как свидетелей. И на самом докладе вымучивал, что сказать, – нечего было говорить! Пока сообщал бывшему Верховному, что за неделю не произошло никаких военных действий, – в Балтийском флоте каждый час убивали офицеров. Пока они тут закрылись в такой комнатке – а на аппаратах и в соседних комнатах накапливались грозные сведения, требования и бумаги.

И только одно было у бывшего Государя настоящее дело, которое он по своей застенчивой манере высказал лишь в самом конце и между прочим: ходатайство о проезде, отъезде. Хотя Алексеева, как будто, это уже никак не касалось, но, правда, и Государю не оставалось иного выхода, как просить по команде. Стеснительно было оказываться в роли государева адвоката, но не было иного пути, да Алексеев и хотел, чтоб Государь уехал поскорей. (Вот ещё надвигался приезд вдовствующей императрицы после полудня – и по старому этикету надо было тратить время идти её встречать. И не хотелось старуху обижать, но можно ли теперь ему ехать? Да и времени жалко.)

Итак, очевидно, надо было составлять телеграмму князю Львову... Отрекшийся император просит моего содействия...? Нехорошо «содействия», как соучастник... Просит моего сношения с вами... Беспрепятственный проезд в Царское Село к больной семье... безопасное пребывание там до выздоровления детей... Беспрепятственный проезд на Мурман с сопровождающими лицами...

Ну и пожалуй довольно. О возврате потом в Россию, в Ливадию, сейчас говорить неуместно. И не Алексееву.

... Настоятельно ходатайствую о скорейшем решении... так как продление пребывания здесь отрекшегося от престола императора нежелательно вследствие...

Львову он посылал уже не первую телеграмму. Как, очевидно, главному человеку в государстве пересылал ему и основные повеления Верховного. Но Львов – ничего не отвечал. И от этого становилось наштаверху как-то зябко.

А вот – приходилось телеграфировать ему же, – а кому же? То жаловался Западный фронт, а теперь Северный, – новые банды: в Режицу прибыли вооружённые делегаты рабочей партии, освободили везде всех арестованных, сожгли арестантские дела, обезоруживают караулы, полицию, офицеров, угрожают всем огнестрельным оружием...

И – кому же теперь? военному министру? Да ведь это – дело всех властей, этак всё развалится. Так уместно телеграфировать опять-таки главе правительства. Просить его

сиятельство о прекращении подобных явлений. Но тут же и твёрдо:

... вместе с сим сообщаю главнокомандующим фронтами, чтобы подобные шайки немедленно захватывались и предавались на месте военно-полевому суду...

Тут пришёл Лукомский: ещё вечером или ночью ожидали проезда генерала Корнилова, а он сошёл в Могилёве и здесь сейчас, не примет ли его наштаверх?

По сути, назначен был Корнилов помимо выбора Алексеева, и ехал мимо, и дела к нему прямого не было, – а получалось так, что надо принять.

Генерал Алексеев генерала Корнилова знал лишь по отдалённости: из штаба Юго-Западного фронта в своё время – как начальника дивизии, потом видел в Ставке, когда тот представлялся Государю после побега из плена, – но мельком.

Сухой, жилистый, калмыковатый Корнилов был роста небольшого, с Алексеева. Сразу так и дышало от него, что он – не из армейских красавцев, не из дворцовых угодников, ни даже из образованных, – а из тёмной скотинки, как и Алексеев, что их и роднило. (Невдохват было Алексееву, что сам он мог показаться Корнилову слишком канцелярским.)

По тёмному лицу Корнилова не заметно, чтоб он был горд новым назначением, но быстрыми узкими глазами строго высматривал своё: как ему выполнять следующую боевую задачу. А притом – неохотословен.

И Корнилов был на проезде, в минутах до поезда, и Алексеев – в бумажном вращении, голова задёргана, и по новой должности никак к нему Корнилов не относился, мог и не заезжать, – а вдруг в этой минуте встрече и при взаимной простоте – припахнулось: да может с ним-то бы и поговорить? да может быть, едуци в Петроград, – он и есть сейчас главный и решающий человек?

И Алексеев с возникшей надеждой стал ему: не забывать, что всю эту революцию Ставка допустила лишь для того, чтобы сохранить армию неприкосновенной, для войны. А попытаться бы ему – удержать Петроград в таком виде, чтобы столица если хоть не помогала бы войне, но не мешала бы? Ведь вся зараза растекается из Петрограда, все эти банды по всем железным дорогам, везде угрожают оружием, прямо в людей наводят, врываются в учреждения, жгут бумаги, грабят квартиры...

И даже, движением доверия, открыл Корнилову бесхитростно, и может быть опрометчиво: чтоб не слишком он там доверял гражданским вождям, они бывают очень неискренни и непрямы.

И глаза Корнилова – темно блеснули. (Что он так и знал?) Ничего в словах не выразил, а – в крепком пожатии. Что постарается.

И – разнесла их карусель.

А пожалуй и неплохо, что его назначили.

Не знаешь, откуда теперь ждать дурных вестей. Докладывали Алексееву, что и в самом Могилёве там и сям сегодня вспыхивают какие-то *митинги* – то есть сходки, о свободе и равноправии, и что солдаты ставочных частей самовольно ходят туда. Надо ли им запретить? Правильно ли – всем запретить?...

И такое донесли: что среди нижних чинов Ставки – большое недовольство Воейковым и Фредериксом как немцем. И что солдаты, якобы, требуют удалить их из Могилёва, а то возможна вспышка.

Новое огорчение. Пребывание Государя в Ставке со всем своим избыточным штатом действительно становитесь обременительным, и действительно могло дразнить солдатское внимание. В самом-то Могилёве, как нигде, особенно надо предотвратить лишние поводы для волнений. Да, пожалуй, всем будет спокойней, если Воейков и Фредерикс из Могилёва быстро уедут.

А тут – новый толчок: доложили по телефону с вокзала, что и у них появилась такая команда-банда, с оружием и претензиями, якобы от московского совета депутатов, – но охрана вокзала не растерялась, троих арестовала, остальные упрыгнули на проходящий поезд.

У нас, в Могилёве?... Ну, руки опускаются: если уже до Могилёва дорвались, это

перестаёт быть призраком, – и что же поделаться? Так и в саму Ставку ворвутся?

Так несомненно! – он вызвал Воейкова и убедил его: в такое революционное время солдатам нужны жертвы, и лучше эту жертву принести добровольно, чем быть растерзанным.

Затем сходил к Государю и получил согласие распорядиться, чтоб эти двое немедленно покинули Ставку.

Бессилие, как в болезни, – от банды в Режице, от банды в Могилёве, от полного молчания правительства. Отрёкся царь, но он-то, начальник штаба Верховного, не отрекался! – а вот люди и события перестали ему подчиняться, – непривычное состояние для военного человека! Ничего нет в мире надёжней и сильней армейского подчинения – но пока армия подчиняется! А если перестает – то в кого же превращаются армейские командиры?

Но к облегчению – вызывал его к аппарату Гучков.

Вызвал, только что получив тревожную телеграмму о беспорядках в Режице. А между тем волноваться нет оснований: в Петрограде довольно быстро идёт вперёд общее успокоение умов. Гучков рассчитывает, что это влияние через некоторое время скажется и на фронте.

Представить себе их Петроград – никак не возможно! День ото дня – успокоение, всё налаживается, всё входит в русло! И день же ото дня всё сильнее расхлёстывается растлевающее влияние!

... Но в Полоцке захвачено 17 человек, проехавших от Петрограда, обезоруживали жандармов... Но сейчас на могилёвском вокзале... Но вчера в Смоленске гастролёры из Петрограда и Москвы арестовали командующего войсками Округа и начальника штаба... Из них разошлись по деревням и представляют опасность для тылового пространства фронта, где войсковых частей нет... Пусть это – отголоски того, что в Петрограде уже пережито, но у нас не остаётся иных возможностей, как... И вот – поехал Корнилов, надо установить порядок в частях петроградского гарнизона, установить, сколько у них самовольно отлучилось...

Но Гучков – торопится в совет министров и должен кончить беседу. Но убедительно просит Ставку, убедительно: не принимать суровых мер против участников этих беспорядков – только подольётся масла в огонь и помешает успокоению в Петрограде!

Вот как. А Алексеев-то думал в простоте: хватать эти шайки и расстреливать...

420

Как мы устроены несовершенно! всю жизнь можно готовиться к какому-то ожидаемому моменту, а когда он наступит – непростительно недомыслить и проиграть. Как будет брать царское отречение – уж к этому ли Гучков не примерялся сколько раз! А вот на поездке во Псков, которая должна была стать торжеством его жизни, – как подорвался весь нутром, как заболел, и потерял веру в свои силы. Произвелось непоправимое – и его собственными руками монархиста: вместо того чтобы выровнить и усилить ход державного корабля, он толкнул завалить его набок, до зачерпа.

И трезво видел Гучков, не отшибло ему: это правительство, в которое он принят, ни откуда не вытекает, кроме двух десятков горячих думских речей. И вчера он подавал в отставку не формально, что мнение его осталось в меньшинстве, а потому что всё это правительство и состояние в нём сразу увиделось ему безнадёжным. Убедил его остаться Милюков. Уверял, что будет самая широкая поддержка интеллигентского класса и союзных стран. Только Милюков будет иметь дело с дипломатами, с их радужными надеждами на взлёт русского патриотизма и воинственности. А Гучков – со взбунтованными солдатами, пошатнувшимися офицерами – и невыводимым из города гарнизоном, как навязанным жерновом.

Пока он мотался за отречением – он здесь, в Петрограде, пропустил «приказ №1» Совета депутатов и всё его развитие. Появился «приказ», оказывается, ещё раньше, чем

Гучков сел в поезд, но его не читал, не знал, не то чтоб остановить. Только вчера к вечеру, уже после Миллионной, прочёл его тяжёлой головой – и ещё не дооценил опасности, отнёс к неизбежным побочным эксцессам революции, которые забудутся всеми завтра, – лишь бы удалось не допустить вражды солдат к офицерам.

Только сегодня утром, когда «приказу» уже было полных двое суток и он в миллионах экземпляров разнёсся далеко и за Петроград, – Гучков полными глазами прочёл его, ужаснулся – и понял, что вот с этого он должен начинать своё министерское управление. С первого шага он был обвешен Советом рабочих депутатов и его «приказом» как впившимися собаками.

И с того, как показала вчерашняя телеграмма Алексеева, что фронтовой полосой лезет распоряжаться всякий, кому не лень. И штатский Грузинов, самозванно захвативший командование Московским округом, назначал коменданта в Калугу, подчинённую Эверту. И тому же Эверту посылал министр юстиции приказание освободить всех политических. (Этот поскакунчик наворочит!)

И с того, что арестован возбуждённой толпой командующий Казанским военным округом (десять губерний) – и казанские бюргеры требовали теперь его смещения.

И с того, долг чести, что Ольга Борисовна Столыпина просила защиты: замучили обысками и оскорблениями. И послал к её квартире охрану на несколько дней.

И вот – приехал Гучков на Мойку, в «довмин», принимать наследство сбежавшего Беляева. (Верные служащие обступили его с доносом, что Беляев в последний день сжигал важные бумаги. Кто-то услужливо подавал сохранённые черновики. Гучков распорядился разобраться.)

Здесь, в довмине, стоял аппарат прямой связи со Ставкой. При нём ждала свежая телеграмма Алексеева о том, что в разных местах Северного фронта появились и бесчинствуют революционные банды. Говорили и по аппарату. Но ни по какому аппарату не мог Гучков Алексееву объяснить всю сложность происходящего в Петрограде, и в военном министерстве, и в груди самого Гучкова. Да укрепить надо было самочувствие честного генерала, а не подрывать его. Отвечал ему бодро. И – вот положение! – просил генерала: не принимать против этих банд суровых мер, они только подольют масла в огонь. В Петрограде тогда, в Петрограде такое начнётся... А сейчас, как будто, в центре наступает – успокоение. Важно успокоить центр.

Он оборвал, говоря, что спешит в совет министров. И правда, заседание уже шло, надо бы идти, – а так ли надо? Представил он круг своих коллег: кто из них был мужчина? Или кто из них мог понять всю тяжесть обстановки?

Не поехал.

И погода была мрачная – петербургская, тёмные тяжёлые облака, медленные хлопья снега.

Ещё была очередная восторженная телеграмма от Николая Николаевича с Кавказа. Тоже вздорный старик, этого назначения опасался Гучков.

Тут – позвонил Бубликов, не потерявший своей взрывной инициативы. Названивал такую тревогу: как бы отпущенный в Ставку царь не организовал там военного сопротивления. Отмахнулся Гучков, что Николай – совершенно безвреден.

Вот уж, боялись телёнка.

Велел не соединять себя больше ни с кем.

Время упускалось. Надо было принимать министерство, решать и действовать.

Но прежде того уже везде был «приказ №1» – раньше, чем военный министр начал свой счёт с первого. А собственный его «№1» – получался скучнейший, до зевотной судороги. Что он – вступил в управление министерством; что всем чинам оставаться при исполнении своих должностей; что сохраняется весь существующий распорядок делопроизводства и направления бумаг; и как обходиться теперь без высочайшего утверждения...

Обратиться же к армии своим полным голосом – он не сумел: ещё 1 марта к вечеру составленное им воззвание к армии (вовремя составленное, в обгонку «приказа №1», как

чувствовал!) о войне до победы, – как было тогда задержано Советом рабочих депутатов, так с тех пор и не напечатано за всю его поездку, и неизвестно даже, где находится текст.

А пока он что-то делал или не делал, решал или не решал, – а в батальонах петроградских происходили самочинные выборы командиров, а иных офицеров увольняли солдатским голосованием, а каких-то даже арестовывали.

И вот, Гучков должен был теперь начать с какого-то другого приказа – уступочного, капитуляционного, в чём-то подаваясь под напором «приказа №1», потому что нельзя было притвориться, что его нет. Что-то из «приказа № 1» неизбежно было принять – и уже выдать от министерского имени, чтоб не ломался военный строй.

Итак, начало министерской деятельности Гучкова было – сидеть над приказом Совета рабочих депутатов... и усваивать его...

Комитеты? Этого он уже не мог касаться. (Не мог отменить.)

Политическое подчинение войск Совету депутатов? Не мог отменить. (Мог не упоминать.)

Невыполнение приказов Военной комиссии?... (Невыполнение его собственных теперь приказов... Боялся, что так и будет.)

Ирония... Когда-то, порываясь к широким армейским реформам, сам же Гучков и предлагал ввести в армии коллективное обсуждение. (Да не такое, конечно...) А Столыпин ему отвечал: как только армия перестанет подчиняться единой воле – она сейчас же придёт в расстройство.

Оружие под контролем комитетов, а офицерам не выдавать? Этого нельзя было даже вообразить! (Но и нельзя открыто возразить.) Это следовало обойти как дичь.

Пункт шестой – вне строя солдаты не должны быть умалены в гражданских правах? Пункт седьмой – отменяется обращение на «ты» и титулование офицеров?

Вот только это и можно было принять. Признать. Переформулировать и издать собственным приказом – не своим №2 министра, стыдно, но очередным №114 по военному ведомству, продолжая беляевскую нумерацию.

Отменить наименование «нижний чин», заменив «солдатом». Отменить «ваше высокопревосходительство» и «ваше высокоблагородие», а: «господин генерал», «господин полковник», «господин ротмистр». Всем солдатам на службе и вне её говорить «вы». Отменить запрет солдатам курить на улицах, ездить внутри трамваев, сидеть в театре, посещать клубы и участвовать в политических союзах.

Этого – уже нельзя было не принять. Это – уже захватывалось властно. Да и было разумно. Да и соответствовало общественным идеалам.

А как с неотданием чести? Этого невозможно принять! Без чести – уже будет не армия! Но: и отвергнуть – обстановка не разрешает, вокруг этого слишком накалено.

Да отдача чести, становясь во фронт, конечно лишняя.

По петроградским условиям отчасти солдаты и правы: кто только не нацепил погонов, ещё и мундиры земгора, и солдату на улице с ума сойти, разглядывать этот блеск и всё козырять.

Какая-то логика есть, как во всякой реформе.

Дисциплина должна поддерживаться не механической честью, но профессиональным превосходством офицеров.

Несостоявшийся главный реформатор армии, Гучков теперь должен был душить слишком нетерпеливую реформу?

Досадно, как Совет депутатов обогнал его.

Как обогнала их всех – вся революция: из рук интеллигенции вырвана чернью, и уже не взять всей власти назад.

Честь пока решил обойти. О чести – надо будет срочно запросить мнение Ставки.

Но оттого что военный министр повторил хвостик приказа Совета депутатов, а на всё остальное не стукнул кулаком, не приказал комитеты разогнать, а оружие подчинить командирам частей, а не последним солдатам, – от этого получалось... что военный министр

молчаливо одобрял и весь «приказ №1»?

Да, тут был парадокс, не разрешимый в рамках сегодняшнего дня. Но конечно с течением времени, исцеляющего разумного времени, и под влиянием жестокой боевой обстановки на фронте, этот утопический военный приказ петроградских гражданских интеллигентов и сам отпадёт, отсохнет как нелепый.

О, разумеется, с трибуны ещё 3-й Государственной Думы грома военные и морские порядки империи и произносятся под аплодисменты жаркие слова о нужных усовершенствованиях (которые введут передовые разумные люди, придя к власти), – не такие усовершенствования имел в виду Гучков. Более всего он указывал уже тогда, что не видеть нам побед, пока не сменится командный состав, подобранный по принципу протекционизма и угодничества. И пока он – не омолодится.

Разве так это мечталось? Мечталась целая цепь разумных благоплодных реформ, которые очистят воинскую атмосферу, оздоровят весь воинский организм. Прежде всего – убрать с высоких постов всех дураков или стариков, непригодных, губительных, а поставить повсюду начальниками самых талантливых, отличных и соответственных, какие только есть в русской армии. Всё вредное – устранить, всё тормозящее – пересоздать. Последовательно произвести реформы условий назначения на должности, условий прохождения службы, системы пенсий, системы военного обучения, пополнения, мобилизации.

И вот сегодня он стал министром – но мог ли приступить к необъятному этому кругу? Шла война. Напирал Совет депутатов. Смел ли он? должен ли был теперь приступить к этой генеральной чистке командного состава и грандиозным преобразованиям армии?

А может быть – и да! Отчего же? Для чего и нужны эти реформы, если не для победоносности нашей армии? Когда же нам нужнее победоносность, если не во время войны?

Нас разрушают снизу – а мы будем быстро лечить сверху!

Но – с кем начинать реформы? Где его буйные младотурки, рассеянные по дальним линиям фронта? Когда сможет приехать Крымов? Хагондоков? Как отнесётся Гурко? Удастся ли сварить кашу с Алексеевым? (Впрочем, много легче, чем с Николаем Николаевичем.) На кого можно положиться близко, сильно, – на Непенина: абсолютно свой, передовой адмирал. Уже хорошо, Балтийский флот в кармане.

А в самом Петрограде, в двухстах саженьях, в Главном штабе, сидел и ещё более передовой, ещё более последовательно либеральный генерал Поливанов, умница, помощник, с кем уже много обсуждено и думано по этой реформе, объяснять не надо.

Позвонил ему. Застал. И – сразу, горячо: откладывать невозможно, события не терпят, завтра воскресенье, так не положить ли начало великим реформам – просто сегодня? Вот, через несколько часов и собрать в довмине – нескольких генералов, нескольких полковников генштаба?...

Созвать – Поливанов согласен был. Но сомневался: что можно провести быстро и скоро, без серьёзной подготовки.

– Да вот хотя бы... снять национальные и вероисповедные ограничения при производстве в офицеры. Запрет держится, по сути, против евреев. Это сразу даст нам большую поддержку общественности. Эффектный, очень заметный акт.

Ещё несколько месяцев назад он сам был против этого. Но сейчас это будет укрепляющий шаг. Крепче станем против натиска, что офицеры – реакционеры.

Сговорились. Подобрали кандидатуры в комиссию.

Позвонил Гучков в Военную комиссию – и напал на Ободовского.

Новая мысль! Вот кто нужен! Вот удача!

– Пётр Акимович! Дорогой! Послужите России, не упрямитесь! Я назначаю вас в комиссию по общей армейской реформе.

– Да что вы, Александр Иванович, я же – не офицер, и вообще не военный человек.

– Вот вы-то, вы-то больше всего нам и нужны, с вашей головой!

Уж молчал Гучков, но про себя-то знал достаточно: а сам он, военный министр, со всем

его давним волонтерским опытом в Трансваале, Манчжурии или на Балканах, – разве он был военный человек?

Мысль о реформе подгорячила, обрадовала, стал Гучков набрасывать главные мысли вступительной речи на первом заседании комиссии.

Но тут поднесли ему телеграмму из Гельсингфорса: что адмирал Непенин – убит и растерзан толпой матросов!!!

Гучкова – как дубиной ударило, чёрные мурашки поплыли перед глазами.

421

Забавные бывают вещи в революцию: карьеры могут взметаться и ломаться почти фантастически. Вчера после обеда (стал обедать дома, эта неразбериха дискомфортабельная никогда не кончится, порядка уже теперь не дождёшься) Половцов пошёл с шифрованными телеграммами в Главное Управление Генерального штаба, отправить. У подъезда Главного Штаба увидел автомобиль Энгельгардта. Вот хорошо, до Таврического не пешком. Спросил швейцара, где полковник, узнал, что на прямом проводе со Ставкой. Вот как? Энгельгардт уже разговаривает прямо со Ставкой? С чего б это? Свои телеграммы сдал – и подждал Энгельгардта. Тот вскоре вышел, очень раскраснелый и довольный. Сели в автомобиль. И вопросов подводить не надо. Энгельгардт так переполнен, что сам открыл: во-первых, что Михаил не принял престола (э-э-э, лучшее покровительство Половцова сводилось к нолю!). Во-вторых, что Гучков не будет военным министром, подаёт в отставку, а военным министром становится Энгельгардт, вот сейчас по этому поводу уже говорил с Алексеевым. И вот что – потому ли, что эти дни работали рядом, или в автомобиле оказались рядом, или понял, что за офицер Половцов:

– Плюньте вы на Военную комиссию, что это за учреждение, и ему теперь недолго существовать, – переходите ко мне, в военное министерство, будете непосредственно при мне.

Мгновенный на взвешивание, Половцов разумеется согласился. И потеряв интерес к Военной комиссии, вскоре ушёл домой – хорошенько выспаться и в наилучший порядок подтянуться перед завтрашним днём. Прошлой ночью была мятель, улицы косо замело, но как-то и освежило от революционного сброда, с утра гуляющих не было, шли только по делам. Было весело, зная свою загадку, которая через час обнаружится и для всех.

А пришёл в Таврический – жестокое разочарование: Гучков остался министром, и уже обосновывается вместо Беляева в довшине на Мойке. А Энгельгардт, застенчиво улыбнувшись Половцову, продолжает сидеть в Военной комиссии, потерявшей дух и смысл, и пишет приказ по гарнизону о «порядке на обновлённых началах» – чтобы все части командировали в Комиссию по одному офицеру и одному солдату – со сведениями о составе оружия и сколько не хватает или излишнего, как обстоит хозяйственная часть и что надо для нормальной жизни.

Ску-чища и бездарь! Стоило для этого Половцову покидать Дикую дивизию, решиться на самовольную отлучку – и что ж теперь тут закисать?... Вдруг потерял Половцов всякое настроение крутиться тут, в закоулках второго этажа, с низкими потолками и с ничтожными делами при толпах рвущихся посетителей. Истинное главное дело ушло в другую часть Таврического, а может быть и из дворца уже ускользало.

И Половцов в задумчивости избрал рассеянный образ действий. В своём бешмете в талию прошёлся по дворцу раз, прошёлся два, узнавал новости. С согнутой спиной и озабоченно-наклонно носился знаменитый Бурцев, как бы и на ходу продолжая слежку: в какую-то комнату сгрузили ему документы Охранного отделения – и он вёл своё любимое следствие. Встретил Половцов комичного Перетца, полковника от журнализма, с большою важностью и с упоением перенявшего комендантство во дворце, и охотно прислушался к его болтовне.

Вчера ночью пытался кончить с собой адмирал Карцев, отправили в больницу

умалишённых. Ещё сошёл с ума какой-то юный морской офицер, совсем и не арестованный, звал папу и маму и просил скорей его убить. Но от группы арестованных чинов Перетц получил подписанное заявление, что они чрезвычайно хорошо содержатся, а ведь сами они раньше как издевались над арестантами!...

Стали привозить арестованных и из провинциальных городов – «для зависящих распоряжений», – а что с ними делать? Часть комнат при хорах пришлось очистить от арестованных, чтобы мог Совет заседать в Большом зале. Часть арестованных перетолкали в гимназию.

Каких только контрастов не было: то привели арестованными трёх курсисток и двух студентов, чьи фамилии как осведомителей нашли в списках Охранки. То звонил милиционер из города: что офицер не подчинился его задержанию, вошёл в дом и заперся в своей квартире. То в Екатерининском какой-то простой солдат требовал ограничения прав евреев.

– Я попросил его прекратить такие безобразные речи во Дворце Равноправия!

Перетц без шутки говорил «священная Цитадель Революции» и преклонялся перед собственной службой здесь. Восхищался самоотверженными тружениками, которые повсюду помогали. Никто никого не спрашивает, кто и откуда пришёл, пришли – значит хотят помогать. (С одной из помогавших курсисток, кажется, он стал в отношениях и более близких.) Но некоторые энтузиасты жестоко разочаровали полковника Перетца. Ещё до него развернул столы «на помощь политзаключённым» какой-то Чаадаев, собрал тысячи рублей, потом исчез. А другой помогал полковнику по интендантству, получил ордер на 2 400 пар сапог с интендантского склада и с ними скрылся. Потом стало известно, что он – уголовный преступник, освобождённый из Крестов.

А Перетцу всё было некогда сосредоточиться: он вчера и позавчера непрерывно подписывал удостоверения офицерам на право проживания в Петрограде и на право ношения оружия, только с сегодняшнего дня окончательно это сбыл в градоначальство и в Дом Армии, – и мог сам заняться разоблачением недобросовестных помощников.

Горше всех разочаровал Перетца ближайший его помощник доктор Оверок. Окончил заграничный университет. Явился в Думу в первый же день, носился при аресте сановников, наблюдал за строгостью их содержания, – и вдруг был опознан каким-то подпрапорщиком, а затем всё далее уличён – как беглый ротный фельдшер Аверкиев, сын петербургского швейцара, разыскиваемый многими следователями, грабил в Петербурге, на Кавказе, Одессе («граф д'Оверк»), судился в Харбине за мародёрство, арестован во Владивостоке, привезен в столицу на следствие – а тут освобождён революционным народом! И в самые дни революции в квартирных обысках успел награть на 35 тысяч.

Всё – забавные вещи, Половцов очень потешился рассказами, вот как революция играет с людьми!

Однако – как же устраиваться самому?

Тем временем дворец понемногу разгружался: увозили куда-то оружие и продовольствие, излишнее по сравнению с тем, что нужно для пропитания дворцовых обитателей, кожи и ящики. Снова стали работать почта и телеграф. Для посетителей завели справочное бюро.

Опять вернулся Половцов в низкие душные комнаты Военной комиссии. Там обсуждали, что делать с «приказом №1» Совета депутатов – как его выворачивать, истолковывать, применять? Совет поручил Военной комиссии разработать и применить. А для того, каламбурили, по-настоящему его надо сперва – отменить.

Но что-то не видно было Ободовского, а Половцов искал именно его, через рассеянье думая напряжённо о своём и понимая, что уходят часы неповторимые. Где-то его видели во дворце. Опять пошёл по всему дворцу, искать. Постоял-послушал через открытую дверь Большого зала солдатский митинг. В клубах махорки плавал знаменитый думский зал, а солдаты, с кресел, с хор, из проходов подвывали оратору, кричавшему, что приказа №1 – мало! что выбирать комитеты – это мало, а всех командиров надоть выбирать, вплоть до

командующего народной армией! И такой шум поднялся, что советский председатель перекричать не мог и кулаком махнул на перерыв.

Но именно в том зале в перерыве и нашёлся Ободовский. Там было надыхано, накурено, смотреть невозможно на рожи – но Половцов смотрел строго-невозмутимо и не обращал внимания, что солдаты не отдают ему чести. Ободовский медленно ходил со строительным инженером, и они оценивали осадку полов. Зал заседаний вместе с хорами был рассчитан не больше как на тысячу человек, а сейчас набивалось и две с половиной. Наибольшая опасность была для хор, но и полы расшатывались. В Екатерининском зале в некоторые дни толклось по 15 тысяч сразу.

Но и – кто мог эту массу не пустить? кто посмел бы её ограничить?

Половцов улучил Ободовского и сказал:

– Пётр Акимович! Гучков вас очень слушает. Подайте ему идею, что ему нужен рядом настоящий боевой офицер и умная военная голова. Пусть он меня возьмёт к себе, не раскается.

422

Хотя освобождение из тюрьмы выпало Гвоздеву небывалое, шумное, – бежали, кричали по коридорам ворванцы, а надзиратели, трясясь, открывали все камеры кряду, а снаружи уже ревела толпа, – но не само освобождение укачало Козьму Антоныча, он себе со товарищи долгого срока и не ждал, – укачала его революция, как она есть.

Тут и очнуться было некогда: из Крестов повлекли их всех в Таврический дворец, через несколько часов он уже состоял в Совете рабочих депутатов, на другое утро и в Исполнительном Комитете, а там надо было заседать и заседать, спасибо, что сна в тюрьме в запас набрался. (Оставил усишки, отпущенные в тюрьме.)

Но хотя и понимал Козьма, что революция перетряхнёт всю Россию, и многое и многие послетают с мест, начиная с царя, – однако же первые часы думалось: вот сейчас вернёмся в Рабочую группу, и уж теперь без назойливых помех, и никто не будет толкать бороться с самодержавием, а вместе с военно-промышленным комитетом, да с военно-техническим комитетом... Теперь-то и должно было начаться не мутное, а ясное дело, без раздоров, теперь-то и кинутся все спасать Россию и армию, – война-то тянет хребет, войну-то с хребта не сбыли?

А – нет. Куда там! Весь Петроград, и все рабочие, и все образованные как перепились какого бешеного зелья, – никто и не мнил ворочаться к работам. Праздновали, и праздновали, и праздновали день за днём, какое-то шалопутство всеединое. Тут ещё и на питательных пунктах кормили бесплатно всех кряду. А как растянется праздник – не похочется к будням, народ в себя не вернёшь, звереет, и пойдёт по разбойной части. И если б Козьме трезвей подумать раньше, так этого и надо было ждать. А он-то сам думал о работе, как пособить захламодалым нашим солдатам, мол и все так будут заботиться. А – нет. И даже сам Александр Иванович Гучков уже не собирал боле своего важного комитета – а носился по Питеру, и за царским отречением, и теперь в том же Таврическом. И уж на что Пётр Акимыч Ободовский, – запустил и он свой комитет и кружился тут же, в Таврическом. И – никак нельзя было собрать Рабочую группу, это и в голову теперь никому не лезло. Никто ни Рабочей группы не отменял, ни Думы не отменял, ни войны не отменял, – а стало нельзя, и всё. Как нет их.

И что Козьму выбрали в Исполнительный Комитет – по-перву он думал, что это помеха, и одурело, и одиноко он тут вместился среди говорливцев. А теперь оказывалось: другого и места ему нет. Всё стало новое – и все стали на новых местах. И нельзя было возобновить работу на заводах никаким собственным уговором и объездом: ещё меньше, чем раньше, он мог открыто дело иметь со своим братом рабочим. А только здесь добиваться, через Таврический, через Совет.

Итак, готов он был снести здешнюю новую заседательщину, надеясь через неё

прорваться ко всеобщей работе. Но оказался он тут – как какое чучело. И для чего он тут с утра до вечера парился – с каждым днём понимал всё меньше. На Исполнительном Комитете сидело их (и вскакивало, и перебегало) человек двадцать, не считая солдат, – из них меньше половины выбрали на шумном стоячем Совете – как Гвоздева, кого весь рабочий Питер знал. А больше половины – назначили сами себя, промеж себя. Но – очень бойки, крикливы, и держались так, будто лучшей жизни им и не надо. Где, казалось бы, совсем не об чем говорить – тут-то они и разливались: о капитализме, о социализме, империализме, интернационализме, – точно мусорным мешком Козьме об уши хлестало. А где б надо крепко решить – тут прошмыгивали. Такое дело было ясное: пора работы начинать, неделю гуляем, это и в мирное время так себя распускать нельзя, этак ни обуться, ни одеться, ни есть никому не станет, – а в военное пуще? Защемило Козьму середь них. Несколько раз подымался и он говорить, о заводской работе, да как-то неумело выходило, и забивали его. А когда голосовали, то ещё ни разу Козьма в большинство не попал, но всегда его сторона была покрыта. Так что коли б он тут и не сидел, и руки не подымал, – никак бы это не проказалось.

Заходил Гвоздев постоять и в толкучке общего Совета. Там говорили слова самые простые и все от сердца, – да только сердце у всех распускалось на болтовню и безделье: вылезали наверх, а несли как пьяные, кто во что горазд. И так эта буйность раскидывалась по плечам, по головам, – сейчас ежели встать над ними да позвать к станкам, – ведь загогочут, не пойдут.

Наконец, только вчера дошёл Исполнительный Комитет вроде бы до дела: разделить на рабочие комиссии, по разделам работы. Но и тут состроились такие комиссии – чисто языком болтать, и туда вобрались главные говоруны. А где надо работать, то Гвоздева выбрали сразу в три комиссии: автомобильную, финансовую и им же настоящую комиссию возобновления работ. С этого мига и ожил Козьма, хотя уж теперь сидеть на заседаниях – никакого дня и вечера не хватало.

Но и в комиссию по возобновлению работ вместе с Гвоздевым и Панковым, тоже рабочим, попал Залуцкий, большевик, и сразу загородил: приступать к работам – не время! ещё революция не кончена! ещё наш главный враг буржуазия на ногах, ещё мы не добились 8-часового рабочего дня, ни земли крестьянам, ни демократической республики. Не возвращаться к станкам, ни в коем.

Большевиков в Исполнительном Комитете, спасибо, кучка малая, но им – хоть всё вдребезги, так ещё лучше, разума у них нет. И работы не надо, и войны не надо, и правительства не надо, всех гнать! Обкладывали Гвоздева раньше – обкладывают и сейчас. Раньше нельзя было работать: на царя, мол, работаете. А теперь – опять забороняют, нельзя.

Тогда и предложил Козьма так: пусть приступят к работе хотя бы те заводы, которые прямо на оборону работают. Но и тут большевики не согласны: мы – против разделения революционной армии пролетариата! мы – за максимум сохранения и развития революционной пролетарской энергии!

Хоть опять с ними табуретками дерись, как на Эриконе. Для чего же тогда и комиссия возобновления?

Да тут и решение прими – так сразу не заработаешь. А – все котлы заново растапливать? А где полопались трубы? А – снег и мятели за эти дни занесли заводские дворы, железнодорожные ветки, – надо разгрести, расчищать, топливо подвозить, согреть печи, да и сами цеха нахолодали, – тут от решения до работы ещё трое суток пройдёт.

Встретил в коридоре Ободовского – Пётр Акимович больше всего тужил о трамвае: пути забило льдом за эти дни, когда подтаивало, а провода порваны в 16-ти местах, вагоны кой-где набок свалены, трамвайные ручки разокрадены. А разживлять заводы – даже и надо с трамвая.

Между тем и полки некоторые очнулись, стали приходиться в Таврический с плакатами: «Солдаты – в окопы, рабочие – к станкам!» Хорошо, это нам поддержка.

Да знают Гвоздева на всех заводах, везде свои люди и отзовутся. На каждом заводе есть

серьёзные рабочие, кто давно б уже стали по местам, да напуганы забияками.

Решил Гвоздев так: если работ возобновить ему не дадут – уходит из Совета, уходит из Исполнительного Комитета, нечего ему тут преть. Обрыдло ему это столосидение и за полтора года в Рабочей группе, лучше фартук надеть, к станку да погнать стружку. Сейчас в два дня добиться решения – или уходит напрочь.

И сегодня на Исполнительном Комитете Гвоздев встал потвёрже и выговорил всё товарищам революционерам. Ведь посчитать – девятый-десятый день рабочий Питер гуляет. Куда ж нам разгуливаться, если война идёт? Что ж от России останется? Ни снарядов, ни патронов никто не выделяет – дивоваться надо, что немцы ещё смотрят на наше гулянье, а ударят – и в неделю до Питера пройдут. Или теперь же начинать работу – или лопнет вся наша тут говорильня.

– А на каких условиях начинать? – кричали большевики, пятеро их сидело. – Опять на старых? После такой революционной победы?!

А другие возражать не нашлись. Другие жались. Рисковое дело: всегда звали к забастовкам, а теперь к работе? Боялись даже на Совет с таким делом выйти, – кто выйдет? кто скажет? а ну, на крик возьмут?

– Да я выйду, – сказал Козьма.

– Не-е-е, – загомонили. – Тут надо товарища политически авторитетного.

Решили: завтра утром ещё раз собраться, и ещё раз обговаривать.

К концу заседания поднесли вчерашние московские газеты, со всеми полными страницами – на два часа чтения. Петербург кипел событиями, а Москва описывала.

И Козьма взял газетку. Поскользил:

«Смерть Зубатова».

... 2 марта у себя на квартире на Пятницкой улице застрелился знаменитый Зубатов: прострелил с виска на висок, умер мгновенно. Оставил записку – прощание с сыном, никого не винить, не мог пережить разрушения монархического строя...

И – жаль его стало Козьме. Хоть и полицейский чин – а хотел рабочим добра. Верно ведь вёл: не революция вам нужна, а заработок.

Вишь как монархию любил.

423

Хоть и «добился» Пешехонов разрешения на свои «Русские записки», хоть не забывал о них (в отсутствие Короленко вёл их он), но даже заехать на пять минут в редакцию не мог, а только позвонил туда и особенно просил сотрудниц требовать в следующий номер очерка от Фёдора Дмитрича. Хотелось сохранить поярче картину этих неповторимых дней, которой не почувствуют, кто не участвовал, – а Ковынёв умеет описать.

Всё – пришло в движение, и самое прихотливое. Это был – социальный хаос, из которого ещё предстояло создать новое достойное гражданское общество. История редко производит такие социальные опыты. Лицом к лицу с этим хаосом, в самой гуще его, Алексей Васильич переживал редкостный момент, безусловно – самый интересный период своей жизни. При малом сне и беспорядочных днях это сознание очень придавало ему сил. Вот – он кипел в своём любимом народе, в размахе его непритворства – и чего ж ещё желать?

Даже за эти четыре дня уже многие сотрудники его по комиссариату сбились, ушли, вместо них другие, Пешехонов не успевал запоминать всех фамилий и даже в лицо не всегда узнавал, что говорит со своим сотрудником.

Тем более, что и посетители – через все кордоны добивались до него, и самые неожиданные.

То через толпу, выделяясь в ней, пробивался священник.

– В чём дело, батюшка?

Приехал из Финляндии:

– Вот, не знаю, как быть: поминать ли царя и фамилию на ектеньях, аль не надо?... По теперешним обстоятельствам вроде как не следует – но и пропускать боязно. А от начальства – нет распоряжения. Приехал в Питер – никого не найду. А вы – как скажете?

То пришли жаловаться, что в их доме после революции перестали топить. Вызывали домовладельца для объяснений.

То какая-то мещанка никого не хотела слушать, а только – самого главного комиссара. А зачем? Вот: нужно ей дрова перевезти на другую квартиру – так дайте разрешение.

– Так перевозите, пожалуйста, кто же вам препятствует?

– Нет уж, батюшка, захватят! Ты мне письменно подтверди.

– Да кто ж захватит?

– Да вы ж и переймёте! Теперь на чужое много охотников – и каждый власть.

Пешехонов написал, но усумнился, уж свои ли дрова она перевозит, послал одного товарища пойти на место и поглядеть. Нет, всё в порядке.

Люди так выражали: «Оно, конечно, свобода, а всё как-то сомнительно.»

Стала и почта деньги выдавать только если комиссариат удостоверит подпись.

А того «коменданта всех чайных», который так грозно заявился вчера, а потом скрылся по дороге в Таврический, – сегодня утром нашли в одной из чайных – лежал совсем расслабленный, оказался морфинист, хотя и действительно врач.

А ещё предстояло комиссариату на своей же Петербургской стороне всячески свою власть отстаивать – от самозванцев и от других властей.

Во-первых, узналось, что действует другой комиссариат – в городской управе на Кронверкском, и даже возник чуть ли не раньше пешехоновского. Проверили, какой-то самочинный кружок интеллигентов, которые, наблюдая безначалие, решили организовать власть, главным образом – продовольственную. Этот претендент оказался не опасным, Пешехонов предложил им перейти и вступить к нему. Поспорили – уступили.

Но ещё объявился отдельный комиссариат – на Крестовском острове. Пешехонов не против был бы, чтобы Крестовский и отделился, и без того район у него обширный, – но дошли слухи, что Крестовский комиссариат своевольничает, производит реквизиции, притесняет местных торговцев. Поехали проверять – оказалось, что избраны на собрании местных граждан, так что образовались демократичнее, чем сам и Пешехонов. Но, сам демократ, не мог Пешехонов допустить такое раздвоение действий и неправильную политику, и, хоть сам назначенный, заставил их подчиниться и проводить политику правильную.

А само собой появлялись на Петербургской стороне и власти, назначаемые сверху, и узнавал о них Пешехонов только случайно. Поступил к нему донос, что в одном доме на Каменноостровском управляющий роздал жильцам листки – заполнить, кто имеет какое оружие и сколько. В доносе подозревалось, что это делается, конечно, с контрреволюционной целью: дом – с барскими квартирами, населён состоятельными людьми. Вызвал Пешехонов управляющего – тот подтвердил, что листки такие раздавал, но не по собственной инициативе, а по распоряжению коменданта Петербургской стороны, который в их же доме и квартирует.

Какой ещё такой комендант? Захотел Пешехонов тут же его и видеть. Предстал. Оказалось – подлинный комендант, назначенный Военной комиссией, офицер Гренадерского полка, князь, и комендантствует уже три или четыре дня, но кроме этих листков сделать ничего не успел. Пешехонов, собирая грозность, заявил ему, что двоевластия не допустит и готов признать его комендантом только, если он подчинится Комиссариату.

Вежливый грацирующий князь согласился даже с радостью, он и представления не имел, какие обязанности ему выполнять дальше. Он охотно взялся теперь составлять постовые ведомости, наряды, дело, которое знал. (Решили за ним всё-таки последить, но ничего дурного не заметили.)

Так Пешехонов энергично устанавливал единовластие – но чьё же? Кто послал его самого – Совета Рабочих Депутатов.

А как же правительство – есть у нас? или нет?

424

Петроградцы могли как угодно уверять, что у них успокаивается, – но зараза анархии распозалась, и прежде всего на ближайший Северный фронт.

Генералы выполнили свой долг перед революцией, помогли безболезненно сместить царя, – но революция не выполнила своего долга перед генералами: она начинала сотрясать саму Действующую армию.

И никакие радостные сообщения от Временного правительства не могли утишить тревогу генерала Рузского: эти банды, уже даже проскочившие Псков, уже в ближних тылах Северного фронта, загораживали от него всё остальное. В самом Пскове какие-то солдаты автомобильной роты из Петрограда отстраняли городских и развешивали красные ленты на лавках, поверх гербов. По Пскову и местные солдаты начинали бродить беспорядочными группами. В Режице – под самым уже Двинском! – между штабом фронта и штабом 5 армии! – вооружённая банда неизвестного происхождения делала, что хотела, – бушевала в управлениях начальника гарнизона, коменданта, в полицейских участках, на всех наставляла оружие, сжигала деловые и полицейские бумаги, обезоруживала офицеров, военных: чиновников... Такое – в армейских тылах?? Как же воевать? За всю свою военную карьеру генерал Рузский не встречал ничего подобного: микробы, которые проникают через военные перегородки и вмиг разрушают ткань. Как против них действовать? Если их не уничтожить в самом начале – они развалят всю армию, всё то условное подчинение старшим в чине и уставам, на котором держится армейская структура: если его разрушить, то не останется ничего.

Однако и действовать самостоятельно, хватать и казнить этих бандитов, Рузский тоже не мог, по сложности революционной обстановки. Какими ни оказались петроградские деятели неблагодарными и безответственными, но генерал Рузский не мог противостоять им в одиночку, он не мог один выступить в роли военного карателя, – этого бы ему не простило общество. Поэтому надо было добиться единства действий всех Главнокомандующих, – и после события в Режице Рузский уже начал сожалеть, не зря ли он отказался от съезда Главнокомандующих. А теперь оставался только – рапорт Алексееву? И послали его.

Но Алексеев лишён таланта и смелости подлинного полководца, он никогда не возьмёт на себя смелое распоряжение, он конечно будет только докладывать в Петроград, и на это уйдут и часы, и дни, и неизвестно, выйдет ли что путёвое. Так что посланная Алексееву телеграмма о бандах зависнет надолго. Конечно, до Могилёва ещё когда эта зараза докатится, – а здесь она разрушала само тело Северного фронта – и сам Главнокомандующий со штабом не защищены от них, никакой караул не защищает от этой чумы. Да красные лоскуты на солдатах уже стали появляться и при самом штабе, даже в комендантской роте. И нельзя было запретить, потому что и депутаты Думы приезжали во Псков в таком же окружении агитаторов с бантами.

И оставалось Рузскому – вступить в прямое сношение с одним из своих соседей. Не с Эвертом конечно – тупым служакой и монархистом, но – с Непениным, с которым объединяли Рузского общественные симпатии и передовые взгляды. И положение их сейчас было сходно: у Непенина забурлило ещё раньше и больше. Вдвоём с Непениным они могли бы сейчас выработать и общую тактичную линию поведения.

Подумывал Рузский, как же ему снестись с Непениным короче всего. Очевидно, через Ревель. И он начал набрасывать телеграмму, которая могла бы безопасно пройти и руки шифровальщиков – а вместе с тем, от развитого человека к развитому, передать Непенину всю деликатность соображений.

Тут Данилов, тяжёлой походкой, принёс ему раздобытый экземпляр – типографскую листовку, грязно отпечатанную, того самого странного «приказа №1», о котором они уже слышали, но не придали значения. А он каким-то образом распространяется среди нижних

чинов уже в прифронтовых частях! – хотя не прислан никаким законным путём.

Вот он. Положил Данилов на стол измятый лист, в сгибе прибил тяжёлой ладонью. Читали.

Это был как бы приказ по Петроградскому округу, но отданный в игнорирование командующего и всех чинов, не к их командному строю, но прямо и только к нижним чинам. В таком ли предположении, что теперь воинские части должны подчиняться не своим командирам, а Совету рабочих депутатов?

Рузский даже не верил своим глазам. Это могли писать сумасшедшие, это не могло быть допущено во время войны! Или уж тогда прислано из Германии?

Совершенно неслыханно! Эти бациллы могли убить армию в неделю.

Всё здание штаба закачалось.

Данилов выругался матерно. Рузский не употреблял таких выражений никогда.

Надо было?... – срочно телеграфировать в Ставку, что ж ещё? И передать им текст этого приказа, они его ещё наверно не знают? Да опасность в том, что сходный пункт есть и в объявленной телеграмме нового правительства: что для солдат устраняются все ограничения в пользовании общественными правами. И если это **так** открыто декларируется и вот так, как здесь, будет разрабатываться?... Может вспыхнуть только полный хаос, внутренняя рознь, и армия погибла!

Значит, нужно внутри самой армии незамедлительно издать – противодействующий приказ, обеззараживающий! Для спасения дисциплины – восстановить и регламентировать в новых условиях взаимоотношения офицеров и нижних чинов.

Но разве неповоротливая голова Алексеева может найти тут решение? И все полтора года было несчастье, что он взят в начальники штаба Верховного, но в эти роковые дни – троекратно.

А как бы умело с этим справился Рузский, будь он в Ставке!... Нельзя простить Николаю его выбор.

А, вот что! – надо копию телеграммы послать Гучкову. Военный министр – единственный умный теперь человек, с которым можно сговориться, можно работать.

Отослали Алексееву. Отослали Гучкову.

Нет-нет, ещё не то! Тонко начуивал Рузский, чего не понимал и сутки назад: в Петрограде главная реальная сила сейчас – не Родзянко, и не Временное правительство, а Совет рабочих депутатов. И надо, с высоким тактом, установить отношения – непосредственно с ним, применительно к революционному моменту. Это – не каждому доступно и не прямо, у Совета рабочих депутатов сейчас, конечно, большое самолюбие и большая предубеждённость против прежних властей. Но такая возможность уже рисовалась Рузскому. Не только умел он быть тактичен, как никто из генералов, но должно было помочь ему одно счастливое обстоятельство: в близости к нему служил ещё с 1914 года генерал Михаил Бонч-Бруевич. В первый период Рузского Бонч был тут у него и начальником штаба Северного фронта, вслед за Рузским был выжит отсюда, сильно увлёкся контрразведкой (это он в своё время раскрыл и Мясоедова), но затем и у контрразведки возникли неприятности с обществом, особенно из-за дела Рубинштейна, – и Бонч вернулся к Рузскому, и ныне состоял в распоряжении Главнокомандующего Северным фронтом. Бонч-Бруевич под аксельбантами генштабиста был весьма свободолобивых симпатий. Одна беда: эти дни его не было во Пскове, он в поездке, в глуши, на недостроенной рокадной дороге, – но надо вызвать его поскорей. А потому что, говорят, родной брат его, Владимир Бонч-Бруевич, давно почти революционер-подпольщик, – теперь вынырнул в Совете и был какой-то видный деятель. А связи – всегда связи, особенно родственные. И могут оказаться наилучшими в революционную бурю.

Вызвать Бонча немедленно – и дать ему какой-нибудь высокий пост, придумаем.

Так, так. А пока подбирал Рузский слова для телеграммы Непенину. Вот бы сейчас встретиться с ним, да найти общую тактику. Только с ним заодно и можно умно действовать.

Представлял себе его выразительное вдохновлённое лицо, быструю манеру понимания.

Офицер прибежал из аппаратной и подал Рузскому телеграмму сам, как делалось в случаях чрезвычайных.

Буквы складывались:

«В воротах Свеаборгского порта вице-адмирал Непенин убит выстрелом из толпы.»

425

Дневная встреча с Мама вместо ожидаемой тихой радости успокоения сразила Николая. Едва он вошёл к ней в вагон с холодной ветреной платформы и потянулся обнять её, ища материнского сострадания в несчастье, уже он был поражён её строгим и даже безжалостным видом. Он не помнил её такой безжалостной, разве когда хотел отставить Столыпина, а она не допустила.

И с первых же слов Мама уверенно впечатала ему, что он совершил страшнейшую ошибку. Она абсолютно была убеждена, что всё понимала ясно. От большого волнения перейдя на немецкий язык, внушала ему, что он и вообще не смел отречься, к этому не было никакой почвы, и уж вовсе не имел права отречься за Алексея и не смел перегружать Михаила внезапной ответственностью, от которой сам давно его отучил. И вот – обрушилась вся династия! Он обрушил и погубил дело своего великого отца. И своего деда. И своего непреклонного прадеда.

Боже мой! – всё вновь опустилось и оборвалось в Николае. Только-только стал он возвратно обретать жизненную силу, Только-только в ноги его стала возвращаться способность стояния, – и снова одним ударом смято, повалено всё. Он надеялся укрепиться от Мама, что она поможет ему затянуть душевную рану (а он потом поможет Аликс), – и вот новая рана.

Погубил династию? Он не думал так. Династия – ещё может вернуться, тот же и Алексей, Божьи чудеса неисповедимы. Николай охватывал другую сторону: через своё отречение он искал всеобщего примирения в России, как избежать кровопролития...

А вдовствующая императрица, оком своим и покойного Отца, видела только: он обрушил трон Отца! он обрушил династию!! И с ней – Россию!

Но не Россию! но не Россию! – умолял Николай. Боже мой! только-только создалась первая живительная плёнка вокруг измученного сердца! – и всё опять раздиралось. Едва-едва он стал выбираться из отчаяния – и снова был ввергнут туда же.

Но даже поговорить, но даже сесть, выслушать, очнуться – были они лишены. На платформе у поезда стояли встречающие – и было бы странно слишком долго к ним не выйти. А дальше – уже был назначен завтрак в губернаторском доме, и нельзя было менять распорядка, надо всем ехать туда. Теперь часа на полтора были закованы их лица, чувства и речь, всё уходило вглубь.

И сухонькая семидесятилетняя старушка, сохранившая и стройность узкой маленькой фигуры и обворожительную улыбку, обходила строй встречающих, и сын следовал за нею невозмутимо, со светлыми глазами, так что никто не мог проникнуть в трагическое их состояние.

И потом в автомобилях. И потом за завтраком. И при посторонних говорить и улыбаться так, как надо. А в голове – смятенная буря: так что же? так что же теперь?!...

Страшны для нас даже не столько происшедшие события, а – на сколько мы в них виноваты: самые мучительные терзания – от своей вины, а не от беды. Теперь Мама открыла Николаю его вину.

Так – что же теперь?? Боже! Снова разверзлась перед Николаем своя растерзанная, и всё ещё не находимая, но очевидно содеянная ошибка: он – мог бы? он – мог бы остаться русским царём? Он – сам неосторожным поспешным движением сбросил с себя корону?...

Но – как?... Но что же он должен был делать во Пскове?...

Это – разрывало.

Только после завтрака остались с матерью наедине – и снова в эту боль. И хуже – в

долженствование!

Со своей постоянной напряжённой силой убеждения настаивала теперь Мама, что терзаться – это мало, но он – *должен*, он – *должен* предпринять в исправление! Он – должен вернуть корону себе или Алексею!

О, разможающий безжалостный долг!... Но – как это возможно?... Но ведь это теперь никак не возможно!...

Невозможно себе – значит Алексею. Ведь он даже не пробовал этот шаг. Отчего бы и не удалось? Ведь трон пустует.

Перебирали пути. Хотя не находили. Мама считала, что с самого начала, если уезжать из Ставки, – он должен был ехать в центр своей гвардии, в Луцк, а не в Царское Село. (Упрёк.) И даже сейчас не поздно, гвардия ему верна!!

Но – как теперь выехать? Но это совсем неудобно!

Долго сидели. Путь – не находился. Но и верно же: поскольку никто трона не занял, и никто на него не претендовал – эта задача была не невероятная: возратить трон Алексею. Алексей-то – не отрекался! Он – законный наследник, которому уже давно присягнула вся армия – и он не отрекался! Да вся армия будет в восторге! – она обожает наследника! И даже, после отказа Михаила, это был вполне естественный шаг – снова к Алексею.

Расстались с Мама до вечера. Николай остался, обещав ей начать предпринимать. Такой резкий ветер, не поехал на обычную автомобильную прогулку, только ходил по садику, обдумывая.

О, как давила необходимость действия, когда он так надеялся отдохнуть душой! Даже сегодня утром он, кажется, был счастлив – по сравнению с нынешним несчастьем действовать!

И – как действовать? Как даже – приступить? К кому обратиться?

Единственная связь с миром у Николая осталась – только генерал Алексеев. Только через Алексеева он мог.

А вот как: он и отрётся через телеграмму и через телеграмму же можно это исправить! Вот и всё: послать телеграмму главе нового правительства Львову, Государем же и назначенному: о том, что он переменяет своё первоначальное решение и передаёт престол не Михаилу, а Алексею!

Простое и законное перерешение! Раз Михаил не взял – он передаёт Алексею!

Обдумывал ещё, возвращаясь в дом. Несомненно так. Даже это очень просто.

Из пачки чистых телеграфных бланков на столике взял один и написал от руки, князю Львову: что во изменение ранее выраженной воли он передаёт престол всероссийский сыну своему Алексею. И подписал, как всегда прежде: Николай. Николай такой – один, даже и после отречения.

И чем скорей действовать – тем лучше. Послать эту телеграмму – и сразу сознание, что сделал всё возможное.

Без сопровождения, как уже усвоил, и не надевая шинели, а в кубанской черкеске с башлыком, Николай пошёл в здание квартирмейстерской части.

Его никто не ожидал и не заметил, никто не встречал теперь перед зданием, он сам открыл дверь, сам вошёл, – только вздрогнул внутри дежурный жандарм, вскинул честь, – а Николай уже поднимался по лестнице.

Не застать Алексеева он не мог, Алексеев постоянно сидел на своём месте в кабинете и что-нибудь писал. Так и оказалось: сцепив очки с левого уха и наклонясь совсем близко левым глазом к бумаге, быстро писал.

Николай вошёл. Алексеев встал, поправляя очки.

До сих пор даже и нетрудно – а вот сейчас вдруг трудно: этому генералу, им же на это место поднятому, такому привычному, такому милому ворчливому, и в комнате, где они были вдвоём, с глазу на глаз, – просто протянуть уже написанную телеграмму почему-то оказалось очень неловко.

Николай замялся. Алексеев тем временем обошёл вокруг стола ближе. Недоуменно.

Чувствуя, что улыбается – и совсем не к месту, улыбкой, может быть, жалкой, Николай вынул сложенный вдвое синеватый бланк и протянул Алексееву застенчиво:

– Михаил Васильевич... Я – вот так решил... Я – перерешил... Пошлите это, пожалуйста, в Петроград...

Алексеев взял бланк, развернул, ещё подсадил очки, стал читать. И вдруг, по острому нахмуру его бровей и строгому взгляду – а у него, оказывается, очень строгий был взгляд, – Николаю показалось, что Алексеев гневается.

Такого между ними никогда не было и быть не могло, но сейчас – так показалось. И у Николая сжалось сердце. И он, чтобы смягчить генерала, поспешил первый сказать:

– Я думаю, Михаил Васильич, это будет хорошо. Мы так всё исправим, всё станет на место. Утвердится.

Алексеев смотрел придирчиво-строго из-под несветлого своего лба, постоянно омрачённого думами. И чуть покосил глазами. И очень-очень тихо сказал, так что и скрипучесть голоса не прозвучала:

– Это – никак невозможно, Ваше Величество.

– Но – почему ж невозможно, Михаил Васильич? – обратился Николай просительно. – Ведь это – моё право, кому передавать престол?

Без обычной предупредительности Алексеев упёрто смотрел из-под нахмура, в глаза Николаю. Сказал ещё тише:

– Но оно – упущено, Ваше Величество. Это сделает нас обоих – смешными.

Так он выглядел непреклонно, наброво, так неугovorимо, что Николай не словами, а только глазами решился выразить ему, – пока они близко и прямо смотрели. Глазами выразить тот полуупрёк, который невозможно было полнозвучными словами: «Но ведь и вы же немного во всём виноваты, Михаил Васильич. Давайте же вместе и исправим.»

Они стояли молча – и смотрелись. Но Алексеев не моргнул, не смягчился, не отвёл глаз – так и смотрел неуступно, прямо.

А так как словами ничего названо не было, то он мог и не отвечать.

А Николай тоже уже не мог найтись, как ещё. Всё, что он придумал, – вот, он сделал. И теперь искал, куда ему руки деть пустые – опустить, приподнять, взяться за ремень.

Они стояли друг против друга в потерянной паузе, и неизвестно было, как из неё выходить.

Алексеев сказал твёрдо:

– Ваше Величество. Все ваши пожелания относительно Царского Села, и Мурмана, и Англии – я уже телеграфировал главе правительства.

– Спасибо.

– И только одного пожелания, простите, я не счёл возможным сейчас упоминать, по обстоятельствам момента: о возврате в Россию после войны. Сейчас это звучало бы неуместно. А когда подойдёт время, то это само собой...

– Да? – возразил или только хотел выразить возражение Николай. Само собой?... А всё-таки обидно, почему нельзя сказать о возвращении в Россию.

А с другой стороны – почему они заговорили сейчас об этом, хотя и важном? Произошло затемняющее переключение, и всё неудобнее становилось вернуться к предмету.

Всё неудобнее. А всё – стояли друг против друга. И всё было как будто исчерпано, хоть и уходи, неудобно присесть для разговора. А телеграмма осталась у Алексеева. И хорошо, что осталась.

– Вот так... – сказал Николай, потому что нельзя было совсем ничего не сказать.

– Да... – согласился Алексеев.

С неудовлетворённым чувством, но уже не в силах ничего сделать, Николай шагнул к выходу.

И Алексеев почтительно сопровождал его.

Ниже, на площадке лестницы, ожидал дежурный «маленький капитан» Тихобразов: он пропустил вход Государя и теперь дожидался, чтобы отдать обязательный рапорт.

Государь жестом руки отклонил рапорт и стоял, подглаживая снизу вверх усы двумя пальцами.

И Алексеев стоял, как всегда послушный, руки по швам, в одной телеграмма.

Ласково-смущённо Государь всё же промолвил:

– Михаил Васильич, так пошлите всё-таки телеграмму.

– Это – невозможно, Ваше Величество, – остро хмурился Алексеев. – Это – скомпрометирует и вас, и меня.

Государь слабо улыбнулся:

– А вы всё-таки пошлите, ну что вам стоит?...

Ещё разгладил усы, большим и средним пальцем. Не дождавшись ответа, протянул генералу руку. Пожал и подполковнику.

И медленно стал сходить с лестницы.

Необычайно медленно, как будто хотел ещё вернуться сказать. Или услышать.

Но ничего не услышав, от середины лестницы пошёл уже без колебаний.

И подполковник Тихобразов – за ним.

ЗА ЦАРСКОЕ СОГРЕШЕНИЕ БОГ ВСЮ ЗЕМЛЮ КАЗНИТ

426

(по «Известиям СРСД»)

КОНЕЦ РОМАНОВЫХ-ГОЛШТИНСКИХ ...Свою историю Романовы начали с закрепощения русского крестьянства. Мы жили в крепостническом режиме до последних дней. «Благородным» власть давала все права, на «подлых» возлагала все обязанности. С народа государственная власть брала последнюю копейку – и тратила на угнетение народа. Теперь эпоха угнетения осталась позади нас! Долой монархию, долой сословия!

В ТЮРЬМУ величайшего преступника, атамана разбойничьей шайки! – вот голос народа. Ещё позволяют ему издавать манифесты, и он передаёт нас своему брату как наследие!

ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ОФИЦЕРАМИ И СОЛДАТАМИ

... Можем ли мы принять в наследство от старой России такую армию? Это значило бы вырыть могилу завоёванным свободам. Российская демократия будет стремиться, чтобы место постоянной армии заняла народная милиция, всеобщее вооружение народа. А в ожидании того – немедленно освободить армию от позорных порядков. Все шаги в этом направлении должны быть сделаны немедленно. Эти первые шаги и есть Приказ №1.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С-Р... Так как опасность контрреволюции не устранена... поддержку Временному правительству, поскольку оно будет выполнять объявленную программу... Оставляя за собой право изменить к нему отношение... Контроль трудящихся масс за деятельностью правительства... Приветствует вступление А.Ф. Керенского, полное сочувствие его линии поведения... Энергичную пропаганду республиканского образа правления...

Конференция резко осудила прокламацию к солдатам как крайне неудачно

составленную, вселяющую в народные массы взаимное недоверие, рознь, и к тому же изданную без всякого ведома правомочных партийных учреждений...

ОТ СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ. Граждане! Принимая во внимание, что остановка трамвайного движения сопряжена со значительным неудобством для населения... постановил возобновить трамвайное движение. Население Петрограда приглашается: не препятствовать правильному движению трамвайных вагонов... аккуратно вносить проездную плату... немедленно возвратит ручки на управление вагонов, захваченные в дни восстания...

ТЮРЬМЫ СОХРАНЯЮТСЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ... Отдан приказ о сохранении остатков политической тюрьмы...

Совет редакторов – к читателям... возникновение чудовищных слухов. В такой обстановке трудная задача восстановления государственного и общественного порядка может быть успешно разрешена ко благу родины, если мы все вместе и каждый в отдельности... Без этого усилия разобьются о волны анархии, которые будут вздыматься всё выше...

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ. Слушательницы Высших Женских Курсов подали заявление... с напоминанием... Женщина-гражданка, шедшая в освободительном движении рука об руку... имеет право быть членом Учредительного Собраниа... Пусть наше заявление не прозвучит для вас мелочью...

Резолюция польских рабочих г. Петрограда. В борьбе с нашим общим врагом – царским правительством, оплотом мировой реакции... для окончательной борьбы возрождённого Интернационала...

... Петроградский комитет Еврейской Социал-Демократической Рабочей Партии (Поалей-Цион)... в помещении гимназии Гуревича общее собрание.

Петроградский комитет Еврейской рабочей партии социалистов-территориалистов приглашает тов. на общее собрание...

Собрание деревообделочников в цирке Чинизелли... доверяет только СРСД. Предлагает ему зорко следить за деятельностью Временного правительства и при первом же отступлении от обещаний – немедленно сообщить рабочим, солдатам и населению и призвать к борьбе. А для того СРСД должен иметь милицию и штат пропагандистов.

Москва. 3 марта по Садовой прошла манифестация портных. На знамёнах «Долой самодержавие!», «Конфискация помещичьих земель». Настроение антиоборонческое. Несколько раз провозглашено «ура» в честь возрождения Интернационала.

... Мы, инвалиды, уведомляем вас, товарищи, что нам необходимо соединиться.

Ко всем служащим аптек. Текущие события требуют нашего незамедлительного участия... Кому дороги интересы народной свободы... в воскресенье – общее собрание фармацевтов...

К рабочим печного ремесла . Товарищи печники! Настал момент, когда мы должны принять участие в создании нового порядка... Сплочённым выступлением заявим... 5 марта, в театре миниатюр «Теремок»...

Товарищи чертежники! Старая власть оставила народному правительству тяжёлое наследство... Хищническая политика бюрократов создала в стране хаос... Поэтому всякий чертёжник, если для него слово «гражданин» не пустой звук, должен записаться в союз...

Товарищи гладильщицы! Все организуются и посылают представителей в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов принять участие в создании Свободной России. Неужели и теперь мы останемся позади? Соберёмся в женском Медицинском Институте и обсудим наше крайне тяжёлое положение.

Товарищи шофера! Вас просят собраться в театре «Комедия и драма» для организации и выбора...

ОТСРОЧКА ПАРАДА. Предположенный на 5 марта парад войскам, который должен был явиться торжеством решительной победы... – отлагается.

427

Чем ближе к фронту, тем остойчивей и уверенней чувствует себя фронтовой офицер: тут – вся наша мощь, и весь наш дом, подальше от вашей запутанной тыловой жизни. Но в этот возврат Воротынцев не встречал такого успокоения: всё в нём теперь разломилось и никак не соединялось.

А в Унгенах, уже четвёртой своей пересадке, на малом перроне трудно было и в спину не узнать дюжью фигуру Крымова – кажется, не для армии, так тяжёл! Но добирал широтою плеч, а всякая сабля на его боку казалась что-то коротковата.

Сильно обрадовался Воротынцев. Нагнал, взял за руку выше локтя:

– Алексан Михалыч!

Тот обернулся, гулко замычал:

– У-у-у... О-о-о...

Потрясли в рукопожатии.

Бороду – свёл на нет, а усы – большие, набухлые, чёрные.

Хотя оба в одной Девятой армии, но не виделись с осени. Фронт забрал 3-й кавалерийский корпус во фронтовой резерв, в тыл, чтобы тут кормить легче, а дела им сейчас не было.

Лишь на пять лет старше Воротынцева, Крымов, однако, после всех потрёпов выглядел старовато. За эти годы ему досталось. Да как всем нам.

Тогда осенью передавал Воротынцев Крымову приглашение от Гучкова и, кажется, тот ездил в Петроград. И теперь, когда всё так рухнуло со внезапной стороны, сотрясение неуложимое...

– Та-а-ак вот...

Однако Крымов, туша дремучая, не так уж был сотрясён.

– Ну, что-о ж, – причмокивал. – Ну, что-о ж...

Откуда – куда?

О Петрограде смолчал. Был в Москве. И Киев повидал. К себе в Девятую.

А Крымов – в Яссы, в штаб фронта.

Так вместе поедет? Через два часа поезд.

Но из Крымова так просто слова не вытащишь, это надо посидеть, в курить.

– Ну, пошли, – буркнул Крымов.

Сохранялось между ними ещё от Пруссии «ты».

А в зальце, занявши удобный угол, у отдельного столика сидел всё тот же рослый Евстафий, и тут же стоял походный не чемодан, но сундучок. Любил Крымов с удобством ездить. В таком сундучке сподручно и провизию уложить, и бутылку поставить, не разольётся.

Евстафий поднялся, отчеканил полковнику честь, осклабился. Узнал.

Буфетец в Унгенах был так себе, но чего-нибудь горяченького послал Крымов принести, а остальное из сундучка.

Кроме тяжести дремала в Крымове – медленность, как будто так он чувствовал, что ничего быстрее матушки-земли делать не надо. Сел попрочней на железнодорожный дубовый диван, достал из кармана большой портсигар с листовым уссурийским табаком и стал сворачивать свою кривую цыгарку.

И Воротынцев вместо своей папиросы тоже попросился свернуть медвежью. Но – прямую. Для цыгарки у него был и фронтовой мундштучок: в столичной поездке он его закладывал в чемодан, а подъезжая к Пруту опять достал в карман кителя.

В табаке этом оказалась замечательная сладкая крепость.

Офицеры всегда говорили «Государь», только интеллигенты «царь». Да вот и Крымов, но не как интеллигент, а на правах Ильи Муромца, что ли. Он – как и не на службе императорской, своя отдельная стихия. Судил сожалительно, как о слабом, как и не о старшем:

– А что ж царю было делать, если не отречься? За гриву не удержался – на хвосте не удержишься.

– Ну, не на хвосте! Вся реальная военная сила у него была.

Неподвижным сощуром смотрел Крымов куда-то мимо. Ещё затынулся. Выпустил. Присудил:

– Ежели колесо соскочило – значит плохо было насажено.

– А Михаил?! Как Михаил мог?!

– Вот Михаил, скажи, да... – почмокивал Крымов. И рассердился: – Да что ж они наследника между пальцев упустили? Ведь наши казаки просто плачут. Теперь что ж, всю дорогу развалили, как мост взорвали.

– Ах, был бы Гурка в Ставке в эти дни!

Крымове повёл густыми бровями:

– Вот почему-то ж не Гурку назначили. А выбирать – свобода у них была.

Потянул, подымил:

– И чего во Псков закатился?

На путаную поездку царя не было разумного ответа. Даже и не попробовал обратиться за поддержкой к армии.

Неспешлив Крымов на речь, не щедр. И только теперь дошло до его новости:

– А граф наш Келлер, Фёдор Артёмыч, сегодня саблю сломал.

– Как?

И о своём корпусном командире говорил Крымов тоже чуть не снисходительно, как будто всему был хозяин сам. Но – и одобрительно:

– Провёл один полк под «Боже, царя храни» и объявил: «Никому, кроме Государя императора, служить не могу!» И – сломал.

Даже вздрогнул Воротынцев. Позавидуешь!

Граф Келлер – такого второго генерала в русской кавалерии нет! Что он выделял с 3-м корпусом. И как всё умел красиво! Уж если выезжал – то со стягом Нерукотворного Спаса. И с сорока казаками. И у каждого – по четыре георгиевских креста. (А у самого – обе ноги раздробленные.)

– И кому ж теперь корпус?

Ещё подремал насупленно Крымов, дотянул свою козью ножку, погасил:

– Да мне хотят.

И только сейчас! Не выказывая ни гордости, ни смущения, корпус так корпус.

– Вот и вызывают в штаб.

Во-от в какой момент ехал Крымов!

– А кому ж Уссурийскую? – Воротынцев хорошо знал этот большой отрыв офицера от своей природнённой части.

– Кому ж. Врангелю, Петру.

Врангелю? Учились в Академии вместе. Стремительный ум, высоченный рост. Не остался служить по генштабу, – сразу в строй.

Евстафий с буфетной девкой накинули скатерть, доставили честный малороссийский навороченный овощами и заправленный салом борщ. Крымов с Воротынцевым сняли фуражки, пересели есть. Выпили по рюмке, сундучного.

У Крымова – поредели волосы. Всё та же крутая голова, крутое лицо, выражение грозное. А выдаётся чем-то, что покачнулась прежняя сила.

У Воротынцева болело теперь не только сегодняшнее, но отзывалось в прошлогоднем осеннем. И не удержался спросить: а как же тогда с Гучковым? чем у них кончилось?

Да, зимой в Петрограде разговаривал Крымов и с Гучковым отдельно, и с ними со всеми, у Родзянки на квартире. Так уже и выговаривали вслух – «переворот», но Родзянко запретил: я присягал, не в моём доме! А думцы вкруговую все решали: губит царь Россию, щадить его нечего.

И по открытой речи Крымова – теперь явно увидел Воротынцев, до чего ж он сам повернулся с той осени.

– И я, Алексан Михалыч, почти ведь так думал... А потом увидел...

Крымов-то и был фигура для такого дела, да! Какой же генерал решится дивизию самовольно снять с фронта и хоть судите меня, а были бы кони кормлены! Как дивизию вывел из войны, так мог бы и...

Но...

– Что Гучков тогда предлагал – *не наше* это дело. Он по разгону борьбы смешал свой план уже с кадетским, больше для Англии.

Но уж Крымов если двинулся – его тоже легко не переостановишь:

– Обещал я ему. В конце февраля. И отпуск так приготовил. Но пока прособирался, а у них там что – уже?... Вот те на. Так теперь Гучков сам в правительстве – чего к нему и ехать? Там уже сами справились.

Спра-вились? О, если бы.

– Алексан Михалыч! Но ведь самый разгар войны. А немец дремать не будет и времени на устройство не даст.

– А что? – урчал Крымов. – Чем их правительство хуже другого? Вот Гучков сейчас за дело возьмётся, поразгонит разную бездарь из армии... Я думаю – как раз сейчас можно многое направить...

– Если бы! Алексан Михалыч, если бы! Но как бы – трикрат не упущено! Там, в Петрограде, говорят, офицеров всех разоружают, а то убивают.

– Ну! Ну! – не верил. – Сам-то не был, откуда знаешь?

– В Москве офицеры рассказывали, прямо с поезда!

– Вздо-о-ор. Офицеры тут при чём? Манифестации? Два дня попоцелуются, разойдутся, начнётся работа. Ерунда-а.

Да, тут можно крепко сидеть, на железнодорожном диване. И действительно, кто ни глазом **этого** ещё не видел – как можно поверить?

Да Воротынцев и сам главного не видел. Но вспоминая свой кривой шат, брод по Москве, по Киеву:

– Там – ни на что не похожее, имей в виду. И все воинские команды перестают действовать, как если б у тебя руки отмякли. Сейчас вся сила наша осталась – только действующая армия, здесь. Конечно, если армия повернётся и только дунет – беспорядка этого как нет. Но отречение, и Михаил – лишают нас... Мы тоже стали как будто никто. Не законней этого правительства.

– Ерунда-а, – побуркивал Крымов. – Осво-оится и это правительство. Не в один день.

– Ты бы видел! Ты бы видел, как идут целые воинские части с красной простынёй на поклон в их бедлам!

– Два дня побегают – уложится.

Налупился Крымов борща и пока что опять закуривал кривую.

Но чем больше разогнана крупная масса – тем трудней её остановить. Как когда-то с Карпат катились.

– Пойми! – отговаривал Воротынцев. – Если всё вот так загремит – то это хуже, чем войну бы проиграть. Вот, дай я тебе всё расскажу.

Ладно, слушала глыба дремучая.

Но ни в чём не убедился. Что Мрозовский и штаб Округа растерялся – так шляпы, г...ки, кто там и есть? А в Киеве? – так вроде и вообще ничего не произошло.

Спокойно причмокивал новый командир 3-го кавалерийского корпуса. И такая сила была в этой тяжёлой несдвигной фигуре, что передавалось: да уж армии-то ничего не грозит! С какого пугливого глаза?...

428

Положение Гиммера в революции было настолько особое, что не позволяло ему связаться ни с какой партийной фракцией и заняться там заурядной узкой партийной работой. И положение его в Исполнительном Комитете тоже было настолько особое, что тяготила его конкретная работа в комиссиях. От редакционно-издательской он отказался, зато закатали его в иногороднюю комиссию вместе с Рафесом и Александровичем. И – в комиссию законодательных предположений.

Иногородняя – была важная комиссия, она должна была держать руку на пульсе всей России и распространить теперь локальную петроградскую революцию – на всю Россию. Нельзя было ограничиться властью в одном Петрограде и его окрестностях, приходилось брать на Исполнительный Комитет роль всероссийского центра и направлять ход дел в других городах. За сутки поступили тревожные сведения, что в некоторых городах ведут антисемитскую агитацию, – это надо было в корне сломить, посылая от петроградского Совета комиссаров.

Но при всей ясной важности такой задачи, интеллект Гиммера больше влёл его к комиссии законодательных предположений, которую он сам же и предложил. Только общим смыслом событий он должен был заниматься, только общий путь революции прокладывать. (Он это и делал – а товарищи пользовались результатами, не понимая.) Каждое отдельное занятие в каждой отдельной комиссии, каким бы срочным-важным ни казалось, – была второстепенная мелочь: задачи, которые уже однажды сформулированы, названы, – не задачи, это уже техника. Истинные же задачи революции, самые крупные черты хода её – проглядываются сквозь тьму наступающего, прощупываются в пространстве будущего, – и вот предвидеть их, взять их в формулу раньше, чем они появятся на свет, – вот это и есть задача теоретика!

Остальные члены Исполкома, заключив соглашение с буржуазным правительством, успокоились, что теперь это соглашение будет действовать как бы само. Но не таков был Гиммер! Глядя на вежливое, а упрямое лицо Милюкова, выступающее твердинами то на лбу, то в подбородке, и при зорком неусыпном взгляде его, – Гиммер от самой первой подписи ему не доверял, ожидая буржуазного бессовестного подвоха. (Не доверил ему даже передачу в печать их соглашения.) И верно! Советские депутаты, сморенные, пошли спать – а цензовые предатели в тот же час нарушили соглашение: бесчестно, тайком послали Гучкова к царю – сохранить зловонное рубище презираемого деспотизма. Правильный и ловкий ход монархистов! К счастью, у них сорвалось. А ведь демократия, при внешней громкости, распылена, слаба – и вот сейчас не могла бы вступить в гражданскую войну против сплоченного монархическо-военного центра.

Но тем более осторожным, недоверчивым надо быть на каждом шагу

Гиммер решил было для себя: продолжать систематически ходить в министерское крыло Таврического и каждым своим приходом давить на них, в каждый приход осведомляться: а как идёт выполнение обещанной программы правительства? Никем не

делегируемый, он сам, лично, устроит им контроль без всякой передышки!

Увы, это не состоялось: на следующий же день министры сняли свою штаб-квартиру из Таврического и уехали к Чернышёву мосту. И кто ж теперь должен был их проверять? Керенский? Но Керенский вёл себя безответственно и даже нечестно, он просто ни разу не доложил Исполкому, как он действует внутри правительства.

И вот теперь надо было суметь, находясь в Таврическом, – отсюда вытянуть щупальцы в их другое здание, постепенно проникнуть в самую органическую работу правительства и заложить ячейки в его недрах – чтоб они там развивались. Делать это надо двояко: во-первых, систематическим придирчивым контролем, прямо посылая своих представителей. Во-вторых – смотреть вперёд правительства и вырабатывать декретопроекты, – а потом давлением Совета понуждать к ним министров. (Для этого и придумал Гиммер комиссию законодательных предположений.)

А иначе опасность, что цензовые станут абсолютным кабинетом, ещё хуже царского правительства! Природа их – ультраимпериалистическая, их надо держать в узде. Надо заставить их проводить и внешнюю и внутреннюю политику не свою – но Совета! Так повести дело, чтобы наступать на имущие классы без передышки и вырывать у них всё, что можно. Революция не только не закончилась – она лишь начинается!

Так верно всё распланировал Гиммер – а всё-таки Милюков оказался и быстрее и хитрей! Не успело правительство ещё ничего нигде шагнуть – а уже послал Милюков свою радиотелеграмму «всем, всем, всем!». В субботу 4-го к исходу дня, к концу заседания Исполкома, припорхал Соколов – и принёс телеграмму, сам не понимая её значения, – и на Исполкоме никто как следует значения не придал – или устали?... А между тем – это была возмутительнейшая фальсификация хода революции! Так изложено для Европы, будто всё загорелось из-за роспуска Думы, которую полки защищали от царской клики. Какой бессовестный оборот! – Дума носилась по волнам как обломок крушения – а теперь они приписывали себе ведущую роль! Волнения в войсках, родившие революцию, Милюков называл «тревожными», «угрожающих размеров», а действия левых партий «серьёзным осложнением», каково!

От одного этого душило Гиммера бешенство. Но это были – только цветики. А ягодки – в том, что Милюков, ни с кем не согласовав (подло использовав тактичное умолчание Совета), – телеграфировал обещание дальнейшей войны («национальное сопротивление» это называлось) и сделать всё для «решительной победы». Вот как! Наша революция, понятая не как удар всякой войне (как она была на самом деле) – а как усиление её! Вместо развязки беспощадной классово-борьбы по всей Европе залить её кровью армий – любезный либерально-национальный переворот в пользу дарданелльской идеологии!

И ведь это передано по радио «всем, всем!» как единственный голос из России – и его услышит западный пролетариат, и как воспримет? С недоумением и отчаянием, крушение надежд на русский пролетариат!

А русский пролетариат, а Гиммер не имели своей радиостанции для опровержения!

Он мог написать (и написал сейчас же, порывом) опровергательную статью в «Известия», – дал её Нахамкису. (А тот – не напечатал!)

Завился, забился Гиммер как штопор на месте – что делать?

Исполнительный Комитет устало, равнодушно разошёлся.

Кинулся – к Чхеидзе:

– Николай Семёнович! Но ведь этого нельзя оставить!

Необходимо теперь издать обращение к европейскому пролетариату – от имени Совета! От имени русской революции! Мы обязаны обрисовать свою позицию, а то молчанием извращается и позиция Совета.

Устал и Чхеидзе, смотрел приопухшими больными глазами, счастливыми от событий:

– Ну что ж, напишите проект.

Уж знал он Гиммера: хоть и не разреши, всё равно будет писать.

А что ж на Дону? Второй год Петушок учится в реальном в Усть-Медведицкой, и сестра Маша разрывается: и жить с ним, она крепче всякой матери для него, – и углядеть же за хозяйством в Глазуновской, а между ними 35 вёрст, в два конца 70, да лошадей гонять с работником, – и нигде не успеешь. И Петька учится плохо, даже и с репетитором по всем предметам, не добиться в нём старания, во всём его заставлять, даже и умываться утром, – какой казак? И дома никак же нельзя опустить отцовское хозяйство, тёплый угол двух братьев и двух сестёр, но укрепить его и расширить, вот садов прикупили, построек добавили, а на все работы – пахарями, косарями, грабельщиками, пильщиками, возчиками, плотниками, и по садам, по огородам, за скотиной – всё наёмные, а вот старший из них Ергаков разбаловался, недоглядывает и недорабатывает, и врёт, надо приговаривать другого? спасибо дала станица пленного русина в хозяйство. Зимой работы несравнимо меньше, и всё ж: матка и три молодых лошади, вот старая кобыла должна жеребиться – надо кому-то при ней ночевать; пять коров с пятью телятами, у одной телёнок задом пошёл, еле вытащили, подорвалась корова на задние ноги – разотрём ли её скипидаром или резать, покуда не поздно? А ещё свиньи (и одна – курей жрёт), овцы, полтора десятка гусей, три десятка уток – эти на сестре Дуне, придурливой, детоумной, она ж и работников кормит. Зимой же и льду навозить из Медведицы; и лонешнее сено возить из лугов; и что нарублено на делянке в войсковом лесу; вот скоро налаживать топку и укрыв парников; там зайцы набегают на сады и на акацию, гложут; а уже и вперёд: сколько подкупим в этом году луговых паев из юрта к своим надельным? да со станичным атаманом сговариваться, когда кобылу вести на зимовник к кровному англичанину. Говорят, у казачек – характер американок: независимы и самонадеянны. Маша – молоток, за двух баб и за мужика, несильно, даже изучает садоводство по Шредеру (она гимназию кончила), беззамужне предана Феде, почитает его ясней солнца, ещё успеваешь ему и чужие солдатские письма присылать для фельетонов, и каждый пятый день гонит ему письмо: будешь на меня сердиться за многие расходы, переплатила? а я не плачу за воз, а смотря какой воз навалит; а верно ли я распорядилась с тем, с тем, с тем, укажи? а вот опешила духом от болезни Петушка, и продолжать ли ему лекарство? и привези из Питера новый термометр, этот как бы не врал. И – что с кем в самих Глазунах, как *потребилка*, рвенно учреждённая Федей, но сам-то уехал, буйными сходками начиналась – «в чём её суть состоит?», а вот за товаром некому ездить, и заставляют брать в невыгодном скудном месте, нет в потребилке ни керосина, ни сахара, ни железа, а частник откуда-то достаёт. Но не так за потребилку – бранят станичники Фёдора, что и сам он стал *полномоченный* (по сбору пожертвований для семей фронтовых казаков, но не разобрали, крынули – что по реквизиции скота): «Тысячи получает, а скотина дохнет? *Пишет* о других – отчего о себе не напишет, что скот морит? 5 дней скота не покормил – 5 тысяч в карман?» И обидно Фёдору – до горького дыму, а пока сам не поедешь, не вразумишь – ведь не поверят!

А тут – петроградское катило так, что ноги тянули на улицу, глаза нуждались смотреть и вбирать, пальцы – записывать. Хорошо – никому в эти дни не нужна была институтская библиотека: студенты Горного валили теперь то в милицию, то в патрули с Финляндским батальоном, открыли столовую для солдат, никому до занятий. Так что и Ковынёв запирает библиотеку и на целые дни уходил в город.

Не его одного неудержимо тянуло на улицы – всех! Повсюду – ярмарочная весёлость, тем ярче, чем неназначенной. Вот это и есть революционный психоз (записал): человек не может существовать отдельно, физическое стремление слиться с массой. И от одного только переталкивания, переглядывания, восклицаний и общего куда-то течения кажется: уже этим и обеспечивается совершение чего-то большего. И все мы теперь заедино, и между нами нет никаких раздоров (и никаких партий больше не нужно!). Всеотечественное, даже вселенское объединение! – ну и захват!

А как сияют гимназисты на перекрестках с белыми повязками! – для них какая забава

управлять движением взрослых. (И тем более в школу никого не соберёшь.) Вот мы какие – теперь и без полиции будем обходиться, новый век! «Теперь исчезнет и полицейская взятка», – услышал Фёдор Дмитриевич, и записал. Однако, как человек жизнеопытный, покрутил носом.

Ноги носили, носили по всему городу. Тяга была – везде попридусь присутствовать, всё увидеть и услышать. А когда слишком переполнялась память и не могла удержать всех услышанных слов – Ковынёв стыдливо заходил в какое-нибудь парадное или подворотню, или хоть просто отворачивался, стягивал перчатку из домашнего пуха и спешил записать в книжечку:

«При погроме квартиры находят сахарные карточки и радуются, как настоящему сахару: – Разбирай, товарищи!»

«Кучка женщин на улице спорила. Дама в пенсне и в нарядной ротонде убеждала просто одетых баб, что убивать людей на улицах не следует. Разговор был бестолков, раскидист. – Глупые головы выпустили разбойников из тюрем. – Баба рассердилась: – Глупые головы вот такое мелют. Уходи по-хорошему, пока народ твою охлому не растрепал.»

«В другом месте. Оратор: – Пусть будет демократическая республика с ответственным монархом!»

Везде кучками спорили – городские пальто, и зипуны, шинели, и курсистки. Безусые юноши кричали: отправить Родзянко и Милюкова в Петропавловскую крепость как врагов народа!

Сколько за эти дни наседающей дерзости, хваткости, со стрельбой в воздух и обысками, сколько избыточного натиска, когда сопротивления никакого. Какие-то молодые штатские разъезжали на захваченных офицерских лошадях, сидели на них как собака на заборе, видно, что никогда не сиживали раньше, но какой вид победоносный! А лошади? Голодные, грустные, измученные глаза, как будто понимают всё-всё, не только смену в седле дельного воина на озорника. Да что лошадей! – даже автомобилей жаль, сколько изгадили, испортили, бросили среди улиц.

Вспомнил, Зинуша когда-то писала: да явись вам полная свобода – вы б и не знали, как жизнь устроить.

Всё думали раньше: да когда ж массы сдвинутся?! А вот, пожалуй, и слишком сдвинулись. Не в таких красках рисовался прежде восход свободы.

Феде вспомнились станичные кулачные бои в его далёком отрочестве. Там, около подлинных бойцов, тяжеловесных и скромных, всегда вертелся такой разряд героев – мелкота, коротконогие дворняжки, при поражении они разбегались непостижимо быстро, а при победе неслись впереди всех, наглым торжеством превосходя бойцов, пинали лежачих, гоготали, издевались и присваивали победу себе. И вот именно этой породы с каждым часом тут наползало всё больше – и рушили, и портили всё, что надо беречь и щадить.

И никто не находился этой наглоте противостоять. **Другой** стороны – вообще не было все эти дни петроградской революции, никого не нашлось ни в спорах, ни даже в робких беседах, никто не пытался высказать вслух даже сожаления о минувшем. А их много, конечно, было, ошеломлённых, но на улицах молчали, а то прятались по домам.

Нет, услышал: в 3-м кадетском корпусе сегодня утром читали перед строем царское отречение – и кадетики плакали крупными слезами. Приказал начальник: из рекреационного зала унести государев портрет – а кадеты не дали, стали у портрета с заряженными винтовками на часы. Потом начальник уговорил их мирно: под оркестр и «Боже, царя храни» отнести портрет в корпусной музей.

А в Морском корпусе, на Васильевском, была и потасовка: вошла внутрь толпа и с крупной модели парусного военного корабля стали срывать андреевские флажки, вешать красные. Гардемарины не стерпели – и с японскими винтовками выгнали толпу из здания и со двора.

Но даже детская защита вносила какое-то равновесие. Ковынёв уж несколько не был поклонник старого строя. Однако: если старого никак не защищать, так и нового не будет.

Теперь все ждали вестей из провинции: как она? Не вздыбится на защиту царя?

К вечеру Ковынёв возвращался на квартиру измотанный и обещал себе завтра никуда не идти. Но утром невырванная растрava тянула его на улицы опять. Бродил и записывал:

«- В соседней квартире всё серебро унесли. Какие-то с повязками.»

«- Обступят дом и стреляют. А ведь детишки у нас.»

«- Ефлетор? Ефлетор – он лучше генерала управится. Скомандовать и всяк сумеет – вперёд, мол! А вот ты стань на моё место, да сделай.»

«- У нас нынче лестницу барыня в шляпке мела. И самое лучшее! Попили из нас крови! А теперь пускай солдатские жёны шикалоту поедят.»

И который же день вываливала на улицу праздная, дармоедная толпа, семечки лускать да зубоскалить, как будто ничего другого воюющей России не предстояло при свободном строе. Одно дело осталось: стояли прежние хлебные хвосты.

А Феде в этом переталкивании одно неизменное утешение: милovidные молодые женские лица. Как бы ни был занят наблюдением революционных нравов – глаз всегда выхватывал эти лица. А некоторые отпечатывались на сердце как бы навечно. Такое свойство было у Феде.

И каждая встремлялась ласковой занозой и занывала на миг. И тем дороже была ему каждая такая заноза, что ведь вот подкатывала ему пора как бы не стреножить своё сорокасемилетнее холостячество.

А видно, пора жениться, когда же? Вот приедет Зинуша на Дон.

То подошёл к спорящей кучке. Рослый солдат-пехотинец отдал честь морскому офицеру, а тот ему возьми и не ответь. Солдат остановил офицера и предъявил претензию. Сразу стянулась куча народа.

– Да, не принял! – подтверждал офицер. – Теперь солдат не обязан отдавать чести, так и я не обязан её принимать.

Ковынёву понравилось, и он пробился, вмешался в спор: ведь прав офицер! Солдат – грубоватый, но совестливый, смешался, покраснел:

– Как же так... А я не знал... Извините.

Ковынёв разводил примирительно:

– Итак, будем считать, товарищи, что мы просто поговорили по интересному вопросу. Теперь предлагаю вам отдать друг другу честь и мирно разойтись.

Офицер первый поднёс руку к козырьку, солдат ответил. И штатские в толпе стали друг другу козырять и смеяться. Но что Ковынёв заметил и что ему горько не понравилось: морской офицер был не один, с ним шёл второй, но этот не вздумал вступить и помочь сослуживцу, а отошёл в сторонку, будто его не касалось, и так простоял до конца. Вот был – признак!... А потом, плечо в плечо, отправился с приятелем рядом.

Сегодня, в субботу, на улицы, переметенные ночной мятежью, впервые выехали извозчики – и от этого стала возвращаться городу первая обычность. Крупные газеты всё ещё не выходили, но газетчики бегали с бюллетенями и, тряся ими, кричали:

– Как царь Никола

Свалился с престола!

И работа по уничтожению гербов теперь разлилась по всему городу. Где можно было сбить – сбивали, а на вывесках – замазывали белой краской, или заклеивали бумагой. И «поставщик Двора Его Величества» везде замазывали. Местами жгли целые вывески. На Виндавском вокзале замотали тряпками и бюст Николая I.

На Невский вытаскивали продавать заплесневелое в подвалах. Выкрикивали:

– Запрещённые книги! Луи Блан! Энгельс! Лафарг! Программы революционных партий!

Заходил в редакцию «Русских записок». Там передали: Пешехонов настаивал, чтобы Фёдор Дмитрич написал об этих днях яркий революционный очерк.

Да он и сам собирался. Но как сложится: тут надо осторожно писать, косвенно, всего прямо не скажешь.

Чего сам не видел – записывал со слов. Встретил знакомого казака – тот пожаловался: рядом с их казармой – автомобильная рота. Каждое утро слушали те через забор молитву казачьей сотни – никак не отзывались. А сегодня опосля молитвы стали в ладоши хлопать казакам и благодарить за прослушанный концерт. Насупились казаки, никто не ответил.

Шёл Ковынёв дальше – и о казачьей доле размышлял. Ведь что-то теперь и на Дону изменится, а – что? К лучшему, а – как разыграется? Ах, скорей до Пасхи дожить – да на Дон!

К вечеру натягивало мороз, ясность. Зазвонили колокола ко всеобщей.

Заныло чем-то от детских лет.

Но не любил Фёдор Дмитриевич попов.

430

Это тихое внутреннее отодвигало Веру от её окружения.

Да она-то ходила в церковь нечасто, может быть в месяц раз. Как бы настойчиво ни собиралась на молитве одна – она не поднималась в то устремлённое плавание, создаваемое хором или даже только слитным стоянием сотен. Во время церковной службы как будто достраивалась защитная оболочка вокруг тебя – и хранила потом на всех путях, пока не рассеивалась.

А сегодня была как раз из любимых годовых служб – вынос креста. Вера-то хаживала в разные церкви, а няня только в Симеоновскую, их приходскую, не любила она церкви менять, а тут и идти-то кварталчик по Караванной, мостом через Фонтанку – и уже сразу налево синий куполок и шпиль. Няня шла всегда прежде службы, занять своё постоянное место у левого столпа, у иконы «Сошествие во ад», – и страдала, если оно оказывалось занятым. Она любила предслужебный простор в церкви, поздороваться со знакомыми и самой обойти все любимые иконы, приложиться и поставить свечки, не через плечи передавая. Так и сегодня она ушла раньше, Вера после библиотеки уже внагон ей.

Вошла – уже тесно: служба к выносу креста никогда не малолюдна. Но проход нашёлся, поставила две свечи в двух подсвечниках и пробралась ближе к няне, не вплотную. Есть своя добрая магия в постановке свечи: переим огонька от другого воскового тела, от другой неизвестной руки и души и потом нежное оплавление свечью ножки, тоже от помощи дружественного огня, и утверждение свечи в её отдельной чашечке – начало её короткой жизни, столько раз поэтически сравненной с человеческой жизнью, и сравнение это глубоко. Ты поставила свечу, отошла, но бестелесные нити между тобою и ею остались: она в убыстрённом и пламенном виде отдаёт Небу свою (и твою) жизнь, свою и твою молитву, – и в чём-то провидит и предсказывает твою, пусть ещё не короткую, судьбу. И Вера любила, если оставалась близко, ещё послеживать глазами за своею свечой, не потерять её в десятке похожих тесных – и вздыхала, когда, отгоревшую, её гасили с тонко-жалобным сизым дымком.

Вера вошла после начального каждения, когда благоухало и ладанными клубами ещё воспарялось всё храмовое пространство. В подвоскресную службу меняются чёрные ризы Поста на цветные – и вот они были красные сегодня тут. Конечно, не те алые, дерзкие цвета, испестрившие городскую суету, благородно бордовые, а всё же красные... Как будто вторглось и сюда.

Но и плыло – «Благослови, душе моя, Господа» в кадильных струях, и внешний мир отодвигался и мельчал. То, что пелось тут, было только малым отрывком величественного псалма, сотрясшего Державина, – только о велелепоте, в какую облекся Господь, и о водах, как пройдут они посреди гор, и это уже была панорама от вершин к ущельям, а сколько ещё сверх оставалось во псалме: и как шествует Господь на крыльях ветра, коснётся гор – и они дымятся, и как не поколеблется Земля во веки и веки, и как поит Господь полевых зверей, произращает траву для скота и пищу для человека, и сотворил Луну для указания времени и Солнце, знающее свой закат, и как мятётся всё живое, когда Он сокроет лицо своё, и как

умирает живое, когда Он отнимет дух.

Слава Ти, Господи, сотворившему вся.

Между тем, предводимый дьяконом с толстой свечою, священник обошёл храм вдоль стен, в отступ молящихся окадивши все главные иконы, и ещё с амвона веерообразно кадиллом, – закрыл врата в светящийся рай, отрезав нас на этой земле, с чем есть мы сами.

Но однако какая твёрдость нам сообщена: Земля – не поколеблется во век, молитесь отдатно и уверенно. И воспламеняются революции, и гаснут революции, – а мир Творца стоит.

Густым дьяконским басом, как бы и не дающим себе всей силы, потекла мирная ектеня с привычными возгласами, ритмично отзываясь утешительными «Господи, помилуй», – о свышнем мире, и мире всего мира, и о Синоде, а дальше, как тысячи-тысячи привычных раз, никого бы не удивляя, должно было потечь «О благочестивейшем, Самодержавнейшем, Великом Государе нашем» и о супруге, о матери его, наследнике и всём царствующем доме, – отданные богослужению не ожидали тут какой спотычки, но кто-то успел подумать за этот день, оборотливый Святейший Синод дал поспешную команду (ну да не более же поспешную, чем отрекался сам царь)? – и вот уже гудел дьяконский бас:

– О велицей богохранимой державе Российской и благочестивом и благоверном Временном правительстве ея.

Вера как увидела сразу усмешки своих друзей и знакомых, и ей стало стыдно, ибо не нашлась бы возразить. Конечно, раз царя больше нет, его должны были прекратить омаливать – но может быть не с такой поспешностью? В этой «благочестивости», так нескладно приложенной к Временному правительству, где все и креститься забыли, была комическая услужливость. Отодвинутый, умельченный внешний мир протянул руку и сюда.

Но Вера не столько сама испытала толчок, сколько отдалось ей за няню: а няня?? Покосилась на неё через несколько плечей – а та тоже повернула голову к Вере, как никогда не крутилась с тех пор, что Вера выросла из ребёнка, – и гневное изумление было на нянином сухом лице.

И по всей церковной толпе прошло движение, огляды, перешёпты.

...Няня шла в церковь – исцелиться от гнева этих дней. Перед самым домом их, через площадь, в Михайловском манеже, согнаты были как скот наарестованные люди, говорили – уже с тысячу там заперто. И к церкви-то шла – мимо цирка, а туда вотеснялась толпа на сходку, и на всех наляпано красное лоскутьё, а сходка там каждый день по два-три раза, вот и во время всенощной, небось в церковь не пойдут. А в церковь вошла – стоят солдатиков несколько, а гляди с красными лоскутами. Подошла к ним и сразу: «Да вы что, лешебойники, в уме? куда пришли? а ну, посымайте!» Двое – сняли, а другие двое потоптались – ушли. Пошла прикладываться к иконам – под иконой Преображения ещё какая-то неряха подколола большой красный шёлковый бант. Тут же няня неколебно его сняла, понесла в мусорницу, потом подумала – отдала к свечному ящику. Укрепились на своём месте, народ собрался, звонить кончили, раскрыли царские врата, закадил батюшка вокруг престола, служба началась – и чаяла няня теперь просветлеть после этих дней окаянных. И тут – пристигло её на ектенье. Она – как ахнула, только немо. Она – верить такому не могла. Там в городе пусть чертобучатся как хотят – но как же это тут подменили? что ж, нас и в храме хотят облиховать? да куда ж душе деться, не из храма же вон? Что это, и церковь отпала? Теперь и церковь будет ненастоящая?... Да царь же – живой, как могут за него не молиться?... Может дальше передвинули? Нет, дьякон читал: «О пособити и покорити под нозе их всякого врага и супостата». Так под кого ж покорить – под этих же супостатов?...

Уж так сбило, смешало всё! – но служба текла своим чередом, вот пели «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых» – это стояло! к нечестивым не пойдём, и аллилуйя раскатывалось. А там – «Да исправится молитва моя», – няня успокаивалась.

«Ибо утверди вселенную, яже не подвижится...» Не подвижется и от ваших бунтов.

Но дыханье затаила на сугубой ектенье: да хоть теперь-то! Нет, пропустили Государя опять, вместо него опять – благоверное правительство.

Ну, знать не нашему уму... А вся служба – та же, неизменная. Куды нам деться? Сами втихую молиться будем.

А – Егорию какво? за него помолиться.

... А Вера думала: да по-настоящему нет противоречия между тем, что в городе и что в храме: ищут братства и там и здесь, только разная форма выражения, разный уровень понимания и разный успех. Здесь – уже достигнуто, а там – ещё долгий путаный путь.

Умягчала, умягчала несравненная вечерняя молитва: «Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранится нам...»

Слышала «Господи, помилуй» – чуть подпевала свозь губы – два самых ёмких молитвенных слова, что только не помещается в них. Вступало: «о всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленной», – молилась тут за брата Георгия, да не только тут, а во всякой молитве, и утром и вечером, – и за угрожаемую жизнь его и за смятенную его душу.

Но и, с отчаянием же, – о себе. И – о нём . Чтобы решилось это мучительство как-то же, чтобы решилось, как укажет Господь, и если можно, то откроет путь, а если нельзя, то завалит зримо.

«Господи! пред Тобою все желанья мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.»

И если нельзя – то отринь до конца, что нельзя, а если можно, то вразуми – что можно.

Между тем померкли лампы, вечерняя переходила в утреню.

Она не смела ничего просить прямо, ибо путь и был загорожен явно. Но душа не хотела перестать надеяться.

А священник в чёрной рясе перед закрытыми воротами, с головой и плечами сокрушёнными, читал свои тайные молитвы за всех.

И снова потекла мирная ектеня – и нанесла тот же немирный удар по ошеломлённой няне и, наверно, по многим тут.

Но задумчиво-повторительно успокаивал хор: «Благословен грядый во имя Господне!» – как отбирая всех здешних от разочарований этого мира.

Зажглись ярко лампы – и грянул тропарь сегодняшнего праздника «Спаси, Господи, люди Твоя». Оказался и хор уже переучен, и теперь, не без сбива от непривычки, замаявшись, вывел – не «победы благоверному императору нашему», а – «победы богохранимой державе Российской и христоролюбивому воинству ея на сопротивныя даруя».

Для няни это должно быть всё же примчивей: и держава Российская, и христоролюбивое воинство. И никакого временного правительства.

Торжественно выносили огромное Евангелие в драгоценном окладе, с посверкиванием камней. И мощным голосом дьякона:

«... Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых...»

Ещё не знали...

Но мир храма торжествовал над внешним. Ничто не могло протянуть лапы остановить этот воспаряющий праздник в накалившемся запахе горячего воска, где вперёд искупалось и всё дурное, что могло случиться во внешнем мире.

А в распахнувшихся царских воротах священник неповторимым древним жестом, приветствуя первый утренний луч, косо раскинул вздетые руки:

– Слава Тебе, показавшему нам Свет.

Подходил высший момент сегодняшней службы: протяжное «Святой Боже, Святой крепкий», и все уже знали, хотя и не всем было видно через раскрытые ворота, что священник вознимает с престола большой крест, увитый цветами, и, больший чем голова его, возлагает к себе на голову.

А вот и вышел с ним на амвон, предшествуемый двумя отроками с большими толстыми свечами и дьяконским каждением. Вот бережно спускался по ступенькам и под хор «Спаси, Господи, люди Твоя» двинулся к центру храма и там уложил крест в цветах на аналое. Окадил его, обходя. Земным поклоном пал перед ним на ковёр. За ним второй священник. За ним дьякон.

И вдруг, за хором, чутко, все в храме уже уверенно знающие и каким-то дивом не вырываясь, не отставая, не украшая тех лучших голосов, но подпирая их мощью, взняли полнозвучное, взмывающей земной силой не похожее на всё тонкое и прекрасное, что пелось до сих пор:

– Кресту-у-у Твоему-у-у по-кло-ня-ем-ся, Влады-ыко-о!

Это была – как волна, покрывающая всех тут и до того цельная, что как будто она и перенесла Крест по воздуху, не роняя, – на аналой посреди храма.

Нет, не волна, а соединяющая сила, которую действительно ничто на Земле не может сломить.

– Кресту-у-у Твоему-у-у по-кло-ня-ем-ся, Влады-ыко-о!

И падал весь храм в едином земном поклоне – и снова вставал. И снова победно -

– Кресту-у-у-...

Потом хор пел один – «Животворящему древу поклонимся» – а в толпе возникла толчея, но братственная, взаимоуступчивая, толчея до тех пор, пока она выливалась в струйку к аналою, где покинут был простор для падения ниц и затем целовать большое серебряное распятие в круге неколющих цветов.

Твоим Крестом разрушится смерти держава.

431

Если во всей Государственной Думе был Родичеву соперник по красноречию, то только один Василий Маклаков. Но Маклаков брал тоном как бы доверительной беседы, со множеством аргументов (не пренебрегая и противоположными), мягкостью (деланной или истинной), даже красотой глаз и внезапной улыбкой серьёзности, – все приёмы, рассчитанные на аудиторию избранную и не слишком большую. Речи Родичева были – скор рьяного иронического интеллекта, который в начале и сам не знал, куда его донесёт (как нанесло на дуэль со Столыпиным), лишь по пути незадуманно находил в себе силу и пищу. К речам он никогда не готовился, и даже лучшие его были – которых он не успевал обдумать, но движим был силой чувства, а если тема не увлекала его страстно, то речь и не получалась. В его речах никогда не терялась насмешливость ума и нередко рождались летучие афоризмы, сохранявшие потом свою отдельную жизнь. Всё это тоже имело особый успех в аудитории возвышенной, но напор, убеждённость, яркость, громкость были так сильны, что не только в Думе и не только перед интеллигентами, перед земцами, – но в любой аудитории Родичев не мог не иметь успеха, и кадеты считали его своим единственным массовым оратором. Пока он говорил – он держал всех слушателей под властью своего слова.

Правда, главный день революции – 27 февраля, застал Родичева в Москве, где назначена была у нотариуса продажа его лесного участка, приносившего ему больше беспокойств, чем дохода, – как, впрочем, и другое его имущество. (Какая-то судьба отвлекала его от роковых моментов: во время Выборгского воззвания он тоже оказался в парламентской делегации в Лондоне и только поэтому сохранился для всех четырёх Дум.) Пока он возвратился в Петроград – уже протопали через Таврический главные солдатские колонны, и так не досталось Родичеву произносить речей ни с крыльца, ни в Екатерининском зале. А между тем он рвался их произносить. И когда вчера услышалось о тревожном положении в Гельсингфорсе, тут сразу его коллеги решили, что на успокоение надо ехать Фёдору Измаиловичу: и потому, что там придётся речи произносить перед большими толпами, и потому особенно, что Родичев был известен своею приверженностью финляндской независимости, знал суть финляндского вопроса и имел там много друзей. (Как, впрочем, он ещё тесней был связан с независимостью польской; говорили, что он любит и защищает Польшу больше, чем сами поляки.) Итак, 3-го вечером его быстро, даже без особого заседания правительства, назначили министром Финляндии – и он поспешил на Финляндский вокзал, откуда ночью должен был пойти первый после революции поезд.

Но поскольку существовал ещё и Совет рабочих депутатов, то не доверено было

Родичеву одному представлять Петроград, а ехал с ним вместе пошловатый Скобелев из богатой бакинской молоканской семьи, а со Скобелевым – и ещё матрос с георгиевским крестом, и ещё, в солдатской шинели, фельдшер из Весеьгонска. (В долгие годы ожидания будущей революции – вот не думал бы Родичев оказаться в такой компании, представляющей всю Россию. Но спасительная ирония никогда не давала Фёдору Измаиловичу слишком унывать.)

Родичеву было уже 62 года, а Скобелев – вдвое моложе, но старался держаться важно (скрывая свою неодарённость) и важно задавал вопросы:

– Господин министр! А каковы ваши полномочия? Мы требовали от правительства, чтобы ваши полномочия были – арестовывать офицеров, если это понадобится.

Такие полномочия мог себе Родичев предоставить, но брезгливо. Он ехал – успокаивать и убеждать.

Поезд оказался готов не сразу, ещё готовили его среди ночи, ещё пришлось полежать на голых диванах у начальника вокзала, не очень уже по костям и возрасту Родичева.

А в вагоне досталось ещё хуже: никак не натапливалось, всю дорогу. И в купе уже даже не лежать, а сидеть пришлось, в шубе. Не лучшим образом готовился Родичев к завтрашней роли.

Само по себе взволнованное море людей его не пугало – он жаждал увидеть эти тысячи голов и громко, и звучно, и ярко переубедить их! Что первые неустоявшиеся дни революции колебнулись к анархии – он считал естественным. А теперь задача честного оратора – помочь этим людям отрезветь от хмеля, помочь утвердиться их исконному тяготению к труду и порядку. Адмирал Непенин как человек военный, хотя и развитой (не тайна была, что он сочувствует Освободительному движению), – какой-то общественно-революционной широты охватить не мог, но вот и поможет ему Родичев со своим безотказным умением убеждать. Ни в коем случае не становиться на потворство низким инстинктам толпы – и для показа, для демагогии никого не дать арестовывать!

Родичев был слишком давним и слишком заслуженным деятелем русского Освободительного движения, чтобы разрешить принизить его в великие дни революции. Это он был автором той петиции тверского земства о конституции в 1894 году, на которой споткнулся тогда царь-новичок. Ещё в конце прошлого века Родичеву за то перегородили быть председателем губернской земской управы. В первый год этого века его выслали из Петербурга за протест против разгона студенческой демонстрации. Годом позже едва не стал он редактором «Освобождения». И он же был в числе тех четырнадцати земцев, принесших царю в Девятьсот Пятом году знаменитый думский адрес – снова о конституции. И потом – четыре Государственных Думы и сколько речей, – можно сказать, ни один важный вопрос русской жизни за 20 лет не обошёлся без суждения Родичева и выступления его (а ярче всего, незабываемей всего он говорил речи против смертной казни). И справедливо, что и сейчас он призван разъяснить разбуженному народному сфинксу истинный светлый смысл происходящего движения.

Да и перед военными он мог распрямиться ещё молодцом, вспоминая, как и сам, после университета, 40 лет назад, воевал в Сербии волонтёром против турок.

А нанести визит в гельсингфорсский магистрат, а произнести историческую речь перед финским сеймом – и никто не мог лучше него. И всё это надо успеть за короткую поездку.

Уже рассвело, когда, в шубе и шапке, углубясь в угол купе, стал Родичев дремать.

А уже – знали по линии о поезде депутатов. И с какой-то утренней станции на всех остановках их стали встречать, иногда с музыкой, – и приветствовали как вестников свободы. Выходили с ответами, а спутники Скобелева раздавали толпе возбуждающие петроградские листовки, которых изрядные кипы, оказывается, с собою везли. Получалось – как бы от лица министра. А не было власти запретить.

Так – долго тащились, и уже было изрядно за полдень, когда, за одну остановку до Гельсингфорса, вошла в вагон делегация из финской столицы – ни одного офицера, а несколько звероватых матросов и солдат. И верзила-матрос на беспокойство Скобелева о

контрреволюционности части офицерства сказал:

– А которых надо арестовать – так мы уже арестовали.

– Да как же вы могли решиться? – изумился Родичев.

Матрос посмотрел отъявленно-разбойно:

– Успокойтесь, господин депутат. Вам ещё сегодня много придётся волноваться.

Ничего не объяснил, но предсказание его быстро сбылось.

На перроне Гельсингфорса встречали их офицеры – сухопутные (без шашек), морские (без кортиков), и гражданские власти, но во главе военных оказался не вице-адмирал Непенин, а вице-адмирал Максимов со скрытым, затемнённым лицом, который представился Родичеву и пригласил его сразу на вокзальную площадь, где выстроены многие части гарнизона, они ждут объяснения, что происходит в Петрограде, – а потом придётся ехать по кораблям и казармам.

– А где же адмирал Непенин?

Малоинтеллигентное лицо Максимова ещё плотней закрылось, глаза отвелись:

– Адмирал Непенин – убит, час назад. Я вступил в командование вместо него. По желанию матросов.

Таким странным голосом сказал, будто сам убивал Непенина.

– Как??? – потерял Родичев пенсне, оно слетело на шнурке.

Да тысячу «как» он мог теперь спросить – никто и не брался ему отвечать, и времени уже не было. (Он так и не понял, что митинг не начинался сейчас только, а уже шёл и без них, и кричали об офицерах-буржуях, офицерах-царских приспешниках на дармовых хлебах, попили нашей кровушки, наступил наш черёд, а адмирал Максимов клялся толпе служить верой и правдой.) Уже выводили депутатов на обширную привокзальную площадь, излюбленную ещё в революцию Пятого года, где вот левая часть карре серела солдатами, правая – чернела матросами. (И кто-то из этого же карре час назад убил командующего флотом?!...) Перед одними рядами стоял красный флаг, перед другими андреевский. Уже взвели приехавших на сколоченную трибуну и уже объявили, что речь произносит депутат Государственной...

А у него в голове – как раскололось, и один глаз всё время видел чёрную пасть, а другой – серую пасть. А ещё его – как дубинкой ударили по ногам, сшибли, но не упал он, а остался висеть, словно на шнурке своего пенсне, и теперь как раскачивался над толпой, всё плыло, – а надо было провозглашать речь. Провозглашать – потому что разброс толпы был, как ещё не приходилось Родичеву раскидывать голос. Из высокой раскачки он должен был говорить им – о чём же? Ничего не зная о здешнем, он не мог на него отзывать. Он мог рассказывать только о петроградском. (А ещё – нужно ли это было им?)

Однако, вытянула привычка – и Родичев полил речь звонко, даже и не отдавая себя порядку слов, они складывались сами гладко. С чего в Петрограде началось. Как разбежалось старое изгнившее царское правительство. Как думский Комитет был вынужден... А потом – об отречении царя. А потом – о царском брате, который – только от Учредительного... А ныне у власти – Временное правительство и будет развивать свободы народа... Вы же, солдаты и матросы, соблюдайте воинский строй, дисциплину, чтобы мочь нам победить злейшего врага России. Русскому войску и русскому флоту – ура-а-а!

Нет, так банально, так бледно он не помнил когда произносил речь (да ведь он и не ораторствовал никогда на весу), – но и чёрная, и серая половины кричали со всех сторон тысячегласное «ура».

А потом стал к речи Скобелев, этот полный неумелец, и вязал что-то унылое, неразличимое в рельефе, – но и ему кричали «ура» ничуть не меньше. И – матросу сопровождающему. И сопровождающему фельдшеру. И настолько ненужна оказалась элоквенция, что зачем и Родичев приезжал – неизвестно.

Он – пока остаивался в молчании рядом, он хотел бы расспросить Максимова, кого-нибудь, но не место. Хотел бы разглядеть матросские лица, но так далеко не видел. А если бы видел? Народные лица бывают так расположно обманчивы. И усумнишься: правда

ли час назад здесь совершилось злодейство?

Все речи произнеслись – и к трибуне со всех сторон бросились, но не для того чтоб их растерзать, а – почётно снести на матросских руках к автомобилям с красными флагами. И автомобили тронулись в гавань.

Теперь Максимов сидел рядом с Родичевым. Так и не объяснил о Непенине, но сообщил, что на рассвете в городе разграбили арсенал, а днём убивали на улицах и на миноносцах офицеров. Говорил он как-то нечисто.

Надлежало же им объезжать сегодня броненосцы, а завтра миноносцы. На броненосцах давно работы нет – и сутками идёт политическое обсуждение.

А в сухопутных полках?

Максимов уклонился ответить.

Довольно изрядный был морозец, автомобиль открытый. На палубах выстраивали матросов вкруг. И всякий раз первый оратор был Родичев. Но он стал уже в себя приходить. Адмирала Непенина не было, однако флот – был, Россия – была, и надо спасать и его и её перед лицом Германии. И снова возвращалась к Родичеву его ораторская свобода, горячая уверенность: не могли благородные чистые слова не подействовать на тёмно-взволнованную массу, не освободить её от злых чувств, не помочь растерянному младшему брату вытянуть ноги из анархической блажи.

И Родичев разошёлся, от корабля к кораблю говорил всё лучше, всё подъёмистей.

На всех палубах выстраивались команды, при малом числе офицеров или вовсе без них, и когда стояли офицеры – Родичев следил за их более понятливыми лицами и внятнее видел воздействие своей речи. Да он – о них первых и стал говорить теперь на каждом броненосце: что убивать офицеров – значит действовать на радость германцам, что флот не может воевать без офицеров, а без флота не может воевать Россия – и тогда её растопчет безжалостный враг. Итак, любя Россию и спасая её... Даже если есть отдельные офицеры – сторонники царской власти, то они же не сторонники немцев! А бывали и противники царя раньше в армии – но воевали со всеми заодно, как русские. А здесь кругом – финны, все смотрят на вас – и по вас будут судить обо всём русском народе! Да союзники отвернутся от России, если... Какой позор!

«Ура» кричали замечательно, и восхищены были лица немногочисленных офицеров – и бодрость, уверенность оратора-победителя возвращались к Родичеву.

И так всё непрерывно, с броненосца под красным флагом на берег и с берега снова на броненосец, весь занятый своими речами, Родичев никак не успевал ни поговорить с офицерами кораблей (а те не подступали к депутатам сами), ни даже со спутниками. Уже и света убавлялось, а что же произошло за этот самый день – он только по случайно донесшимся фразам, по обмолвкам, по проговорам что-то узнавал. (Максимов был всё время рядом, но не помогал понять.)

Что пока они ездят здесь – а в пехотных полках стреляют и режут офицеров.

Что убили командира миноносца «Меткий».

Лишь на флагманском малом «Кречете» депутаты зашли в кают-компанию, и здесь офицеры непенинского штаба взбудораженно рассказывали им, что убито офицеров пятьдесят-шестьдесят. Что сегодня утром и их всех тут арестовали и повели во главе с Непениным через Свеаборг, но всех офицеров матросы постепенно отщёрли, освободили (не всех), а Непенина...

Максимов мешал выслушать до конца, говорил, что ещё куда-то ехать.

И тут же на трапе столкнулись, как матросы уводили с «Кречета» арестованного старшего лейтенанта Будкевича. Родичев как встряхнулся от максимовской опеки, силы его воспрями воинственно и он потребовал: за что арестовали? Отвечали ему, что на «Кречете» сами никто не знают, но с «Петропавловска» второй день сигналият приказание арестовать его, иначе будут бомбардировать «Кречет».

А шли теперь депутаты – в Морское собрание, на сходку делегатов всех кораблей и полков. Родичев отчётливо закричал, что берёт всё на себя, – и велел вести Будкевича вместе

с ними в Морское собрание.

Там сразу нашли депутатов «Петропавловска», спросили их, – никто не знал Будкевича, никто его не требовал.

Так спасли Будкевича.

А тем временем открылся Совет матросских и солдатских депутатов.

Максимов объявил, что, избранный экипажами, он уже получил телеграфное утверждение от военного министра Гучкова. Что он будет считать Исполнительный Комитет Совета прикомандированным к своему штабу, не будет принимать без него важных решений и передаст ему часть действий внутреннего распорядка.

Через «ура» и голосование приветствовали своего избранного адмирала.

Снова речь говорил Родичев – о победе над Германией, но уже и в отчаянии. Сразу же после него штатский социал-демократ говорил против империализма.

После прений решено было всем кораблям – опустить боевые знаки. (Родичев и не разбирался, что они подняты. Это значило: флот считал себя с Петроградом в войне?) И – освободить задержанных офицеров. (Однако: сколько было их? Никто не говорил.)

Тут подошли и доложили Максиму рядом, что с «Дианы» свели на берег капитана Рыбкина и лейтенанта Любимова – и убили обоих.

Родичев – зарычал на Максимова (энергии в нём откуда-то всё прибавлялось) и повлѣк командующего флотом сейчас же на «Диану».

Поехали. Возшли по трапу.

Всю целиком команду построили, уже при электрических лампочках. Родичев нервно осматривал их, даже пошёл вдоль рядов – и тут с ужасом близко увидел глаза выпученные, тусклые, непроницаемые.

Неужели – таким он и произносил все речи сегодня?...

Все стояли здесь свои, и убили свои, не чужие, – но никто не признавался. И даже клялись – что не убивали. А это всё – Исполнительный Комитет Свеаборга.

Оказалось: «Андрей Первозванный» не спустил боевого красного огня и, значит, не освобождал офицеров.

432

У каждого было своё министерство, и он там побывал, и уже переехал или переезжал в устроенную казѣнную квартиру или решил, когда будет туда переезжать (Шингарѣв – так и вовсе не будет), – но где же было им собираться на совместные совещания? А как-то все вопросы требовали совещания. В Таврическом уже было немыслимо. И принявши предложение Львова временно заседать в зале совета министерства внутренних дел у Чернышёва моста – они навсегда покинули кров той Думы, которая выдвинула их почти всех, оставили её загрязнѣнные залы думским же непристроенным остаткам и набирающему численность Совету рабочих депутатов.

И куда ж это они теперь, выходит, перебрались? Да всё к тому же Протопопову? злосчастная связь! Ещё не остыли те стулья, как он заседал тут со своими приспешниками.

Началось заседание министров в полдень – а протянулось почти до полуночи, с одним часовым перерывом в сумерки. Кое-кто из министров, Гучков, Милюков, Керенский, или не с начала приехали, или уезжали по делам, возвращались, а остальные сидели, как вкованные в эти кресла, многие совсем не представляя, с чего им начинать в своём министерстве: какую-то здесь бы получить ясность. Но, странно, привыкшие к заседаниям и знающие порядок, – они теперь кружились в неостановимой и путаной карусели, так за весь день и не поняв: есть ли у них повестка дня и чего же они хотят?

Известный кадет Набоков, друг Милюкова, взялся быть управляющим делами совета министров, наладить им канцелярию и так создать твёрдые рамки правительственной деятельности. Но и канцеляристы появлялись сегодня только впервые, и первый вѣлся протокол, ещё приблизительный, даже не решили, как его вести: вносить ли разномнения,

соотношение голосования или только итог?

Они все понимали, что надо начинать с вопросов принципиальных, крупных, и тогда разъяснится всё остальное. Но ни в одной голове, запорошенной суетою, клочностью, раздёрганностью этих дней, не прояснился ни один вопрос – даже как его сформулировать. Да они сегодня только первую ночь как выспались, а усталость ещё и не ушла.

А ведь – было что-то наверно? Ох, было.

Сидели вокруг большого стола, натягивая значительность на лица.

Да вот, кажется, был большой вопрос, куда же больше? – Учредительное Собрание!

А именно: в каком помещении будем его созывать?

Хоть и не мало всяких помещений в столице, но на мысль сразу приходил Зимний дворец.

Зимний дворец и сам по себе был большая проблема – что теперь с ним делать? Объявить национальной собственностью – это конечно. Да что там вообще есть? Его изнутри никто не знал и не видел, были как-то раз депутаты ещё Первой Думы в тронном зале на встрече с царём.

– Я, я! – гимназически-радостно выскочил Керенский. – Я осмотрю дворец и вам доложу.

Ну что ж, хорошо. Так сразу решился один крупный вопрос.

А второй крупный вопрос прояснялся: надо же как-то обратиться ко всей стране? До сих пор выступали в Екатерининском зале, с крыльца Таврического, послали на Запад радиотелеграмму «всем, всем, всем», – но надо же и России представиться: какие же события произошли в Петрограде, как возникло новое правительство и какова его программа? (Кроме тех восьми пунктов, какие вынудил Совет.) Да уже доступали к премьер-министру и к министрам делегации офицеров, что необходимо широкое осведомление масс; что и солдаты, и народ уже начинают прислушиваться на улицах к обвинениям от ораторов, что Временное правительство – изменники, желают предать народ старой власти, противодействуют республиканскому строю! – Временное правительство должно срочно и в миллионах экземпляров рассеять эти обвинения, иначе офицерам становится невозможно ему служить.

Однако писать большое обращение – не так легко. За столом вдесятером его не напишешь. Надо кому-то одному поручить.

Милюков – уже написал радиотелеграмму. Обременённому Гучкову – даже и предложить неудобно. Тем более – министру-председателю. А Керенский – слишком в движении, он входит-выходит нетерпеливо, ему надо успеть во много мест, да и чего он совсем не умеет – это писать, уже заметили, только – говорить. Очень бы пристало поручить писать воззвание министру просвещения, всеми уважаемому Александру Аполлоновичу, несомненному светиле. Когда свирепым реакционером Кассо был Мануйлов отрешён от ректорства в Московском университете – за ним повалила в отставку вся либеральная профессура, считая невозможным работать не при нём, а сам Мануйлов был тотчас приглашён в «Русские ведомости». Но с годами заметили между своими с огорчением, что как-то не просиял он в «Ведомостях», и даже оказался натурой не боевой, и это особенно сказалось в нынешние боевые дни. Кому ж ещё писать, кто ж ещё лучшее перо? А вот сидел тускло, сжато, и почему-то отказывался, – да кажется, он занят был теперь увольнением всех тех профессоров, пришедших при Кассо.

И вот по принципу исключения оставалось... Очаровательно улыбался добрейший министр-председатель: не поручим ли писать воззвание Николаю Виссарионовичу?

Лишь бы было имя названо (и не моё), всем понравилось. Некрасов ещё подхмурился, но и важно. Писать, сочинять – тоже и не его труд, но сразу решил: возглавить, а посадить за это дело кого-нибудь другого.

Принято.

Гучков сидел мрачный, подперев голову локтями о стол. Надо было бы говорить о «приказе №1». О наглости Совета депутатов. Что так не может работать ни военный

министр, ни всё правительство. Но Гучков ещё и сам не разобрался во всех обстоятельствах и фигурах, ещё не испробовал и всех своих возможных сил. Что нагружать на этих беспомощных штатских? Сделать они всё равно ничего не могут, а только очень неприятно будет им всё это слышать.

Из всех его размышлений и проектов этих суток только один можно было выразить ясно, зато в духе революции и всем приятное: при производстве нижних чинов в офицеры – отменить национальные, вероисповедные и политические ограничения. То есть: открыть дорогу в юнкерские училища и в офицерство – евреям.

– Да, да! – оживился, приободрился и министр просвещения. – Так же немедленно отменить и процентную норму для евреев в учебные заведения! И восстановить право на продолжение образования уволенным по политической неблагонадёжности.

Одобрели единодушно.

А других крупных вопросов – никто сразу не усматривал.

Вот у Керенского (он торопится) несколько вопросов по юстиции. Во-первых (он предлагает устно, нет времени разработать документ, это потом): надо учредить Высший Суд для высших должностных лиц.

Хорошо, учредить. Поручить разработать.

И – кого именно назначить ему в товарищи. (Ускакал.)

И вниманьем заседания поспешил завладеть Терещенко. (Он уже сообразил свой выход: всё, чего он не понимал, надо было спрашивать у соединённого совета министров. И если что окажется не так – так они и отвечают, не он.) Сперва он подбодрил своих коллег: создание правительства народного доверия уже отозвалось самым благоприятным образом на кредитоспособности России! Не только Англия и Америка, так неохотно дававшие деньги царю и так обрадованные теперь нашим демократическим строем, но и японский денежный рынок теперь открывается нашим государственным займам!

Великолепно.

Для этого надо подтвердить, что наше Временное правительство ненарушимо отвечает по всем денежным обязательствам прежнего? Да, придётся.

А пока... Надо бы увеличить Государственному банку право выпуска кредитных билетов, ну... на 2 миллиарда рублей? По тексту отречения Михаила Временное правительство имеет такую полноту власти, что даже не нуждается в прежней 87-й статье. Ну что ж. Записали. Одновременно – экономия: прекратить отпуск кредитов на какие-либо секретные расходы. О, никаких секретных расходов, конечно! отныне всё будет открыто. Потом: нельзя ли сократить расходы из военного фонда? по снабжению фронтов? Гм, гм... (Гучков ушёл.) Это – совместно рассмотреть министру финансов и военному. Субсидии жертвам войны? Пока, неделю, продолжить, как идут, а там обсудим. А все назначенные при старом режиме государственные пенсии? Господа, пока придётся сохранить, мы не можем так круто... Они всю жизнь тянули бюрократическую лямку, обременены семьями. А ведь многих придётся сместить с должностей, – но, значит, надо платить им пенсии? Не оставить же их как раков на мели.

А что делать с Государственным Советом? Ему теперь делать нечего. Но там есть достойные члены – и почему ж от революции они должны лишиться содержания или пенсии?

И хотелось бы, очевидно, – выплачивать добавочное вознаграждение всем служащим правительственных учреждений. Ведь такое сложное время... Принято.

Но тогда приобретает значение и нормальное поступление налогов, пошлин, податей. В такое бурное время могут перестать платить. Не составить ли обращение к населению об уплате налогов?

Нет-нет, подождём... Это – неприятное обращение, может подорвать авторитет нашего правительства на самом первом шагу.

А вот: передать в министерство финансов собственность Кабинета Его Величества...

Да, господа! А кому ж передадим всё имущество министерства Двора? И заведывание

дворцами? И управление Уделов?

Назначить специального комиссара Временного правительства.

Господа, господа! Комиссаров нам ещё очень много нужно назначить, и в самые разные места: а – в Управление государственного коннозаводства? А – по ведомству Человеколюбивого общества и учреждений императрицы Марии?

И надо же утвердить всех прежних комиссаров, назначенных ещё думским Комитетом, если ещё находятся на тех постах.

А сидит среди министров, как равный им, но рядом с князем Львовым, серый бесцветный Щепкин, управляющий министерством внутренних дел, поскольку сам князь Георгий Евгеньич, при его загруженности и ответственности... Так вот, подсовывает он ведомость князю, и князь (он же председатель Земского союза) ласково объявляет, что надо утвердить текущие расходы Земсоюза, ну, тут 175 миллионов рублей...

Возражений нет.

А что делать с Главным Управлением по печати? Упразднить! Никакой цензуры никогда больше не может быть в России! Оставить, может быть, только регистрацию изданий да бюро иностранных вырезок.

А что делать с Главным Комитетом по охране железных дорог? Ну, разумеется, упразднить.

И – кто что вспоминает. Надо уволить военно-санитарного инспектора. Хорошо, да состоится такое постановление. Надо отменить, просил Родичев уезжая, общеимператорское законодательство по Финляндии. Отменили. (Ещё ни у кого ни одного письменного наброска, все проекты сперва принимаются, а потом поручается разработать их и составить.)

Спешит с предложениями и Некрасов, догадываясь, что нельзя упустить случая: он подготовит увеличение содержания всем работникам железнодорожного транспорта. Да, они заслужили. А как посмотрит совет министров, если по министерству путей сообщения будут созданы особые органы для разбора недоразумений между рабочими и начальственными лицами? Благоприятно посмотрит.

Шингарёв почти не участвует, обременённый своими мыслями, и смотрит свои бумаги. И вот что он видит и что предлагает: хотя министр земледелия в узком смысле не должен заниматься продовольствованием Империи, – но сейчас, пока нет отдельного министерства продовольствия, некому больше этого поручить, как ему же. И он – берёт. Что ж, все согласны.

А ещё он предлагает: прекратить разорение немецкого землевладения, хиреют лучшие хозяйства, производители зерна.

А не будет это выглядеть непатриотическим актом?...

Это – только выводы пересказать просто, но сколько же здесь сомнений, размышлений и побочных соображений! Ушло пять, ушло семь, ушло девять часов заседания первого свободного общественного кабинета.

А нет ли ещё проблем и по министерству внутренних дел? Милейший уступчивый ясноглазый князь Георгий Евгеньич понимает, что некоторые – есть и, пожалуй, надо будет их тоже коснуться. Вот (пригласил и Щепкина думать, высказываться). Охранное отделение? Ну, это само собою упразднилось в первые дни. Отдельный корпус жандармов? Безусловно, упраздняем это пятно, постановляем сейчас же. Железнодорожную полицию? Ну, поскольку они все входят формально в жандармерию – упраздняем и её. (Отлично можно будет послать их всех в армию.)

Ещё оставалась такая деталь: а – в провинции? О, очевидно, мы единым решением упраздняем полицию по всей стране. Как и всегда требовала Дума, их можно всех послать в армию.

Но тогда – и градоначальников упразднить повсюду?

Да, разумеется, и их.

И губернаторов. И вице-губернаторов.

Да, да! Всех сразу, по всей России, отрезать циркулярно единой телеграммой.

Кто-то пискнул: а имеем ли мы такое право, полномочны ли мы?

А нашим полномочиям – нет границ, до Учредительного Собрания.

А есть ли у министерства внутренних дел подготовленные кандидаты для управления каждой губернией?

Нет, таких кандидатов нет. Но и недемократично было бы назначать их сверху или готовить заранее. Для простоты: пока назначить всех председателей земских управ – по восьмидесяти земским губерниям, по восьмистам уездам – комиссарами Временного правительства, вот и весь выход!

Итак, решено: губернаторов, градоначальников и всю полицию – отстраняем. И это вполне согласуется с нашей демократической программой. Прежняя полиция совершенно невыносима! А кому очень нужно – ну, пусть на месте создаёт народную милицию.

– Да господа! – лучезарно улыбался князь Львов. – Зачем вообще нам какая-нибудь полиция? Зачем вообще в свободном государстве – полиция? Неужели сознательный народ нуждается в ней?

Как учил Лев Толстой: вся беда – от власти. Не надо никакой власти.

Никто не возразил.

Ну, а оставшийся административный механизм – можно, в пределах терпимого, и сохранить. Для поддержания, всё-таки, нормального хода жизни в стране.

Князь Львов если и испытывал некоторую неловкость на новом месте, то утешал себя, что всякая деятельность в конце концов всегда удавалась ему. Постепенно удастся и эта. Постепенно одержит верх и благоразумие политических деятелей и глубокая мудрость русского народа, божественное начало, живущее в его душе.

АКУЛЯ, ЧТО ШЬЕШЬ НЕ ОТГУЛЯ?

– А Я, МАЧКА, ЕЩЁ ПОРОТЬ БУДУ.

ПЯТОЕ МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

433

(изложение революционных событий по газетам)

... Рабочие ясно сознавали, что так дальше продолжаться не может, они видели Россию на краю гибели.

... Когда политика, названная диктатурой безумия, поставила страну на край пропасти, – инстинкт народного самосохранения проложил себе дорогу.

... Никогда ещё роспуск Думы не обрушивался таким тяжёлым ударом на страну.

... Старый строй, окружённый ненавистью и презрением, трусливо прятался в своих подземельях.

... Незримый молекулярный процесс закончился взрывом, который был предвиден и неизбежен, но которого самые прозорливые не намечали на февраль.

... Объявление Хабалова о достаточности муки в Петрограде было провокаторское: идите, мол, громите лавки, это вам торговцы не дают. Но народ понял, куда его заманивают, с презрением отнёсся к выходке Хабалова и погрома не устроил.

... Уже на второй день, 24 февраля, полиция успешно расстреливала народ, было много убитых и раненых.

... Полиция три дня не стреляла из провокации: полиции нужны были эксцессы народа – и тогда бы загрохотали приготовленные в Адмиралтействе орудия, затрещали бы пулемёты с крыш, и столица утонула бы в крови. Гнусная провокация Протопопова: попытка искусственно вызвать революцию, чтоб затопить её в море крови. Однако народ и войска отлично разгадали программу царского министра и никаких не только эксцессов, но даже отдельных шероховатостей не наблюдалось.

... Первую стрельбу нарочно спровоцировало правительство – об этом был ещё прошлым летом уговор Протопопова с германским посланником фон-Люциусом в Стокгольме: чтобы, ссылаясь на угрозу революции, потребовать от союзников согласия на сепаратный мир.

... Безумец Протопопов усеял крыши домов пулемётами... Ещё к 14 февраля крыши домов, пожарные каланчи были вооружены пулемётами... Протопопова заботило не продовольствие, он разместил на крышах и чердаках до тысячи пятисот пулемётов, которые должны были расстреливать народ.

... Вдруг войска начали стрелять – и это оказались переодетые солдатами полицейские.

... Стрельба первых дней была, очевидно намеренно, безрезультатной.

... Полицейские загоняли рабочих во дворы и там расстреливали.

... Полицейских переодели в солдат и послали их с винтовками на улицу – то-то городовые с 25-го вымерли, как ни одного.

... Подошли стрелявшие в народ солдаты Преображенского полка, их схватили – и под шинелями Преображенской формы оказались полицейские казакины.

... Конные городовые, переодетые солдатами, несколько раз бросались на толпу, но толпа была такая густая, что поделаться ничего не могли – отскакивали и уезжали прочь.

... Как установлено, в первые дни революции полицейские стреляли в народ разрывными пулями... И получали 100 рублей в сутки на человека.

... Казаки налетели как соколы ясные, приставу отрубили голову, а полицейский отряд обратили в бегство.

... 26-го стреляли в народ не волынцы и литовцы, а полицейские агенты, переодетые в форму этих полков. Возмутились волынцы, что полиция не идёт защищать родину, а позорит солдатскую шинель.

... Кирпичников – студент и сын профессора.

... Солдаты-московцы рвались со двора и хотели скорей увидеть обожаемую толпу.

... Самокатчиков не хотели оставить в живых, но по просьбе публики они были только арестованы.

... В 2 часа ночи городовые из-за ограды Александровского сада из пулемётов расстреливали народ вдоль Невского. А чтоб их не было видно – надели белые балахоны, потом при обыске и балахоны эти нашли.

... Уж как они полицию ласкали, какие щедрые подарки сулили ей за расстрел народа! – по 800 рублей за всю работу, а потом сказал пристав: по 200 рублей в час.

... Они вызывали народ на восстание в надежде подавить его кровью. Сотни пулемётов вручали полиции для беспощадного расстрела народа.

... Теперь разясняется то упорство, какое чины полиции проявили в революцию. Оказывается, Протопопов обещал каждому чину полиции по 1000 рублей пособия и ещё 100 руб. прибавки к жалованью. На эту цель он получил несколько миллионов.

... Когда арестовали министра Протопопова, то он указал все места, куда спрятал в засаду городовых с пулемётами. И засады эти были сняты солдатами.

... С точностью выяснилось после победы, что каждую главную улицу обстреливало несколько пулемётов. А ведь против народа достаточно и конной стражи.

... Втащили пулемёты на крыши, страшно сказать – даже на церкви.

... Всюду стояли скрытые пулемёты. На колокольне Андреевского собора привязали пулемёт к языку церковного колокола, чтобы легче было стрелять. Оскверняли святыни, глумились над православной верой.

... На крыше особняка Кшесинской оказались пулемёты.

... 800 пулемётов были отняты у фронта для обстрела народа! Протопопов задержал их и установил на вышках. Там же – и запасы продовольственных продуктов. Все удобные места на крышах церквей и зданий были использованы для засады. Но благодаря ли неумению обращаться с пулемётами или невозможности стрельбы сверху вниз, жертв было очень мало.

... Готовились расстрелять Петроград, разбросав по его крышам 1300 пулемётов.

... Хотя войска не стреляли – убитых и раненых в толпе было много. Стрельбу производили какие-то неизвестные люди из таких мест, которые нельзя было обнаружить. Стрельба неведомо откуда оставалась для толпы неразрешимой загадкой. Только впоследствии все узнали, что переодетые полицейские чины, скрываясь на крышах домов, стреляли из револьверов, ружей и главным образом из пулемётов и что такая предательская мера была заранее обдумана и полностью приведена в исполнение.

... Организация фараоновских засад, как теперь передают, была разработана до совершенства особыми стараниями Протопопова и его ближайших помощников. Гнёзда злодеев были так хорошо укрыты, что могли быть обнаружены только после того, как дислокация расположений была выдана арестованными создателями. «Фараоны» в течение

нескольких дней производили стрельбу главным образом в те моменты, когда мимо них проходили части войск, присоединившихся к народу. История этого неслыханного предательства будет, конечно, выяснена во всех подробностях.

(«Биржевые ведомости»)

... Больше всего жертв было около гимназии Гуревича.

... Весь день 28-го шла осада революционными войсками Адмиралтейства. Засевшие непрерывно отстреливались ружейным и пулемётным огнём.

... Петропавловская крепость стала главной базой революционного народа.

... Крейсер «Аврора» присоединился к революции.

... Министры, прятавшиеся в Адмиралтействе, скрылись.

... С генералом Штакельбергом расправа была короткая: он вздумал отстреливаться из револьвера, его расстреляли на набережной и выбросили в Неву.

... Больше всего безобразий производили бывшие городовые и околоточные. Увидели, что пришёл их царству конец, – хотели отомстить. Полицейские вели банды хулиганов на поджоги и грабежи.

... Приводим одну из версий об обстоятельствах, давших толчок народному движению. Офицеры одного из петроградских гвардейских полков получили документальные доказательства, будто через лиц, окружающих императрицу Александру Фёдоровну, ведутся переговоры с германским штабом об отступлении наших войск от Риги. Эти данные были сообщены Гучкову, он передал Родзянко, а тот, не решась огласить с трибуны, сообщил телеграммой в Ставку. В ответ на это и последовал указ о роспуске Государственной Думы и государь выехал из армии.

... У императрицы нашли проект сепаратного мира с Германией.

... У Протопопова найдена переписка с Александрой Фёдоровной, подтверждающая слухи о попытках заключить сепаратный мир.

... Целых два дня горел Литовский замок. Народ требовал, чтобы огнём очистили всю мерзость русских тюрем.

... Военные и штатские ораторы в пламенных речах разъясняли важность перемен.

... Только почему-то в эти дни в Таврический дворец не приходило духовенство, не благословило народ на борьбу со старым режимом. Этим поступком оно подорвало доверие народа, как бы само себя упразднило.

... Бывшие сановники, владыки, встретились в том самом павильоне, откуда с хохотом смотрели на муки исходившей кровью родины.

... Во главе караула 4-й роты преображенцев пришёл и стал посторонний офицер, проникнутый жаждой работы на благо народа, – Сергей Филимонович Знаменский, бывший преподаватель. Он так поставил себя с бывшими сановниками, что они при одном его появлении трепетали и подобострастно смотрели ему в глаза. Он их прямо загипнотизировал

своей чистой прекрасной душой.

... Волнения в Балтийском флоте. Флот, по-видимому, ещё не отдавал себе отчёта в сущности великих событий. Команда неясно понимала, что весь офицерский состав восторженно становится на сторону народа.

А.Ф. Керенский просил матросов немедленно прекратить разгром русского флота, нужного русской демократии. Стоявший у телеграфного провода матрос-депутат объяснил, что волнения произошли по недоразумению. Число убитых и раненых чинов выясняется.

... Наша великая Февральская революция прошла тихо и бескровно, к великому нашему счастью.

(«Петроградский листок»)

434

Ничем не тревожима шла батарейная жизнь: не стреляли немцы, не стреляли мы, совсем тихо на передовой.

Позавчера из бригады просочился странный слух: что в Петрограде было кровопролитие, и убитых и раненых – 20 тысяч. Ни с чем не сообразно, совсем не поверили.

А вчера из пехоты пришло: что в Петрограде перемены в правительстве. Ну, значит, что-то, наверно, есть, узнаем. Потом Чернега принёс такой слух: что Родзянко хотел царицу заключить в монастырь, но она укрылась в английском посольстве, а теперь уехала в Англию.

Что-то, наверно, всё-таки, произошло. Саму царицу офицеры сплошь не любили: хоть бы она и не путалась с этой скотиной Распутиным, но уже то, что допустила слухам идти и разъедать русскую судьбу, – нисколько бы не жалко, если б она в Англию уехала. Но как это может быть? но где же тогда Государь? Какой-то вздор козьячий.

И заснули офицеры, настолько не придав значения, что когда рано-прерано поутру сегодня подпоручика Лаженицына вызвали к командиру батареи – он и не вспомнил этого ничего, а так как на фронте стояло тихо – то и подумал, что на разнос, в чём провинился, или куда-нибудь ехать срочно.

Землянка подполковника Бойе была саженой полтораста назад от орудий, по пути к штабу бригады, в маленькой куще деревьев. Денщик постучал, доложил и исчез. Лаженицын вошёл по дощатому полу, откозырял. Землянка была откопана глубокая, по росту подполковника, и оконце порядочное, на восток. Перед самым оконцем приделан стол, на нём бумаги, и за ним же сидел подполковник в кителе, в пенсне.

Очень неживо он голову повернул к Сане, был более чем угрюм. Показал ему сесть на стул сбоку. Саня понял, что дело плохо, вид разнобный. Сел.

Показал сесть, а ничего не говорил. Неопределённо смотрел, и не на Саню. Ну да ледок и всегда был с ним.

Тут Саня заметил, что бумага на столе сверху была – не обычная деловая, рукописная или машинописная, но – отпечатанный типографский листок. Однако неприлично было ему скашиваться и читать заголовки.

Подполковник тоже не начинал. Вот обернулся. Близко было совсем, без фуражки, и свет достаточный, – и вдруг увидел Саня по ту сторону пенсне не те леденоватые, полунедовольные глаза, а больно захваченные. По этим неожиданным небывалым глазам первый раз он видел подполковника растерянным – и испытал жалость к нему, ещё не понимая ничего. Ясно, что этот вечно твёрдый человек попал в беду и, может быть, метаться бы готов, если б не привычка к сдержанности.

Но подполковник не нашёл слов. А взял листок. И переложил его к подпоручику. Сказал даже не шёпотом, почти без звука:

– Прочтите.
И Саня прочёл крупное:

ОТРЕЧЕНИЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II

Что-о-о-о?

С чего это вдруг? Ни грома, ни грохота, – отречение?!...

Читал быстро про себя. Да, народные волнения... значит, верно говорили... Сочли мы долгом совести облегчить народу... Он читал, не каждую фразу схватывая... Не желая расстаться с любимым сыном нашим... заповедуем брату нашему... И – всех верных сынов отечества к повиновению царю...

Значит – Михаил.

– Переверните, – сказал Бойе.

Саня перевернул листок, а там тоже было отпечатано и такой же крупностью стояло:

ОТКАЗ ОТ ВЛАСТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Вот это да!

И почти не читая – сразу к концу: так что же? кому?

И оказывалось: Учредительному Собранию, оно и решит образ правления.

«Учредительное Собрание» – эти слова приходилось Сане слышать не раз – как название небесного явления, спускающегося на землю. Не по саниному направлению ума, но так и осталось в сознании – священное облако.

Неохватываемое, неожиданное – кажется, происшедшее было слишком крупно, чтобы сразу его понять. Что же, конец вообще монархии? Республика?

А Бойе – недвижно высился перед Саней, – высокий жёсткий воротник, в нём – отдельная узкая голова под скромным бобриком, на лице – старо-застывшие вскрученные усы, несколько не помягчевшие, не опустившиеся и сегодня, – а глаза потерянные. Овлажнённые.

Сколько же он над этим уже просидел? Не так же рано утром получил? Значит, с вечера?

Саня – сам должен был первый что-то ему сказать?

Бойе – голосом неозвученным, а доверительно, как никогда с подпоручиком не снижался:

– Я боюсь, манифест дан не добровольно.

Брови ровные, как следы, натёртые от козырька:

– Есть странности в слоге.

Чуть перекошились:

– И почему – во Пскове?

И большими глазами искал найти подтверждение догадки:

– Может быть – заставили подписать? Может быть – Государь несвободен?

Да, правда, почему так? Что изменилось? и почему во Пскове?

И Бойе доверился:

– Если б я мог этого не оглашать – я выждал бы сутки. Может быть, всё исправится, разъяснится?

В самом деле. Так он – и держал? Может быть – и не с ночи, может быть со вчерашнего дня, выждал, что разъяснится?

И – не он один ожидал? Может быть и в корпусе, в армии?...

Но – всё равно растечётся, неизбежно. Телефонисты – всегда всё будут знать раньше.

Бойе был переполнен.

– Вам это трудно понять, подпоручик. Наша бригада без императора не была ни одного

дня. Никогда.

Саня не ухватил: почему – бригада? Ведь и Россия не была?

Но – Гренадерская артиллерийская бригада генерал-фельдмаршала графа Брюса!

– В Девятьсот Пятом вы были мальчик. А мы – уже это пережили, в Москве.

Даже смотреть полными глазами Бойе было больно.

– Подпоручик. Я, своим горлом, прочесть не могу. Выйти с этим к батарее – я не могу. Пожалуйста, голубчик: постройте батарею и... Постарайтесь прочесть.

– Слушаю. Прочту.

Саня ждал – ещё распоряжений?

Да, вот ещё – приказ великого князя, возвращается в Главнокомандование.

Подпоручик встал, все бумаги в руке. И – не отрубисто, а с сочувствием, как над больным:

– Разрешите идти, господин полковник?

Бойе молча медленно кивнул. Дважды. Или трижды. Кивнул будто не головой одной, а невидимо весь пошатываясь.

Или прощаясь с подпоручиком навсегда. У Сани мелькнула мысль... Но он не смел её выказать полковнику.

Ни, даже, встретив командирова денщика снаружи – посоветовать ему приглядывать.

Подполковник остался с собою, и помочь ему было нельзя. Иногда люди среди людей остаются неизбежно одни.

По протоптанной снежной тропке подпоручик поспешил к батарее – но ещё не выйдя на прогалину, под последней берёзой кущицы остановился.

Он спешил, как будто всё знал. А остановился, как будто знал не всё.

Поднял голову – и сквозь бледно-сиреневые голые ветви берёзы увидел то ли растягиваемую, то ли нерастяжимую облачную пелену, – ещё солнце не взошло и не прояснилось, как пойдёт день.

Саня так легко принял поручение прочесть – но только сейчас, остановясь под утренним неразборным небом, задумался: чему же доводится пройти через его горло. Как он это понимает? И как читать?

Прежде чем строить батарею – хотел ли он с кем-нибудь поделиться?

С Устимовичем? – нет.

С Чернегой? – почему-то не хотелось, несмотря на бойкий ум его: какой-то неожиданный угол от него мог врезаться.

И даже: самому – перечесть ли? Или сразу строю?

От Бойе он вынес трагическое чувство – и это было бы одно чтение. Но вообразил в первой шеренге строя ироничного Бару с тонкой усмешкой на губах – и смутился. Для него – диктовалось другое выражение и чувство, не то, как читал бы Саня при самом Бойе. Да и – для Чернеги.

Так и не перечтя, сложенные бумаги держа в опущенной руке, Саня стеснённо пошёл к батарее. Внутри себя – он не нашёл никакого ответа.

Первого встречного солдата послал за фельдфебелем.

А фельдфебелю Заковородному, ко всякой службе всегда готовому, приказал немедленно построить всю батарею.

435

Стоял Арсений в первой шеренге, на правом фланге своего третьего взвода, – а подпоручик, читая, – от него наискосок шагов семь, против среднего второго взвода. Близко. И Арсению виделось и слышалось хорошо, что подпоручик и сам читает неутвержно как-то.

Построил фельдфебель батарею к ветерку спиной, а у подпоручика подворачивало бумагу из рук.

С первых слов проказилось про какие-то волнения внутри народа – батюшки, что это,

где? Да не в нашем ли Тамбовском уезде? Да как там, наших ли не потеснят?

Но дальше об том никаких разъяснений, а: войну надобно доводить до победы. То и так ясно.

И сразу после того бултыхом: почёл за благо отречься от престола государства российского – и из того понятно стало, что это всё пишет – царь, поначалу не оголосил поручик – от кого это имени?

Ба-атюшки! Голова не успевала управляться: да чего ж это он на нас рассерчал?

А не желая расстаться с любимым сыном нашим – заповедуем брату.

Так ежели волнение внутри народа и войну до победы – что ж всё на брата? А – сам? А – нас?

Но и тут не было дальших пояснений – а да поможет Господь Бог России, и – Николай.

Быстро катушку умотал. Царь сменился, как шапку переменяют – не ту надел на выбеге.

Сколько Арсений себя помнил – всегда один и тот же царь был. Как это – другой? А ежели бы помер царь – так наследник, а куда ж наследник подевался? Всякое хозяйство сыну передать – это порядок, а брату – чудно что-то, это когда в семье все мужики повымирают, только.

Но из бумаги не выказывалось, чтобы царь умирал.

Хотя – бумага ещё не кончилась. Подпоручик вскользь по рядам глянул – то ли спрашивал, поняли, то ли об чём своём думал, – оно б тут как раз хорошо бы второй раз прочесть да пояснить, от чего и к чему дело деется. Но – не стал второй раз читать и от себя ничего не сказал, а набрал воздуха – и дальше.

Тяжкое бремя возложено на меня братом. (Значит – от брата.) Опять – про войну, про волнения народа, – знать, где-то-сь заклинило, затолмошилось. Но чего брат решил – как-то путано было, а – призывал благословение Божие и всех подчиниться правительству, пока не будет ещё кое-то **тайное и равное**. И под конец – Михаил, накоротке, всё.

Чего-то угрозное пробежало: тайное. Равное – так, это по справедливости, но почему ж тайное, от кого тайное? Доброе дело тайно не бывает, только худое.

Подпоручик и сам остановился, как в недоумёке, у него на лице всё. Опустил бумагу и вроде от себя сказать хотел. Ну, скажи, скажи, аи как надо!

Нет, не сказал.

И – тихо, тихо батарея стояла, никто голосу не подал. Да ведь из строю не положено.

А подпоручик ещё прошёл глазами по первой шеренге, думая (и на Арсении тоже-ть задержался, прямо в глаза), – и тогда сказал уже не читким голосом, а помягше:

– Так вы поняли, ребята? Государь отрёкся от трона в пользу брата Михаила. А Михаил – в пользу Учредительного Собрания, какое оно установит правление, – царь ли, не царь.

Пождал.

Понятно не стало, но Арсений промолчал: несуразно вылезать, само прояснится.

А близ его – Шутяков, фейерверкер второго орудия:

– Так кто же царь теперь, вашбродь? Непонятно.

Вот это и непонятно. Слушали.

– Царь теперь, – мягонько наш подпоручик, как он всегда, и губами сулыбился, как сам в том виноват, – царя теперь, значит, нет никого.

Ну-у-у-у? – Арсений как мехом выпустил. Совсем никого? Да как же это может быть – никого?

– Да – царь-то кто? – вслух у него вышло.

И – к нему подпоручик, тоже вроде дивясь:

– Никого.

Стояли.

Молчали.

Хотелось, чтоб он ещё пообъяснял.

Непонятно. Как это – без царя. Одну голову отъяли – другу приставьте, помилуйте.

Да! – вспомнил подпоручик. И ещё одну бумагу стал читать: Верховный Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич приказывает всем начальникам внушить нижним чинам стойко держаться против врага и спокойно выждать народного решения о выборе царя.

Ах, ну так выберут! Это – так. Пождать, стойко держаться – это дело. Откуда-то-сь опять Николай Николаич взник, но его знали. Николай Николаич – порядок, он солдата не выдаст.

А всё ж – и от подпоручика ждали.

Он посмотрел ещё по шеренгам, сказал:

– Так вот, братцы. Такая воля царя.

И махнул фельдфебелю листиками – распускай мол.

А сам – пошёл тропкой туда, в командирову землянку.

Ждали, может, от фельдфебеля чего – он иного не придумал, а: «Р-разойдись.»

И – кто ступил медленно, нехотя. Кто ещё стоял.

А Бейнарович сразу заголдонил, не об царе, а там – покурить или как с завтраком.

Молчали. Расходились, всяк себе. Расходились – не объявил фельдфебель, какое теперь занятие. Как бы – праздничный день, никакое. А впрочем рано ведь – ещё завтрак не прикатил.

Ещё ступили – и сошлись Арсений с Шутяковым.

Шутяков – постарше Арсения, борода уширенная, хотя короткая, и сам коренаст. Основательный в службе Шутяков и хозяин дома, верно, – ах. Стал против Арсения – меж фейерверкерами свои разговоры, не теснились к ним, – и тихо:

– Ну? Как понимаешь?

– Да-ть, вот, – причмокнул Арсений, – поди пойми.

– Во время войны – как же отречься? Как ж эт' он? Ну?

Вот только и нукнешь.

А Шутяков:

– Много главных должностей немцы занимают. Вот они и скинули.

И тише:

– А можа – приказ подложный? Быть такого не можа, а?

Разминались, расступались, перехаживали, все в растере. И друг ко дружке, и так вобща:

– Как же так государь император корону сымает – так и от армии отказалси?

А ведь помнили его, самого царя, в Гренадерской бригаде: не в эту зиму, а в ту – приезжал на Узмошье, и даж по землянкам ходил, на нашей батарее, правда, не был. Не то что в думке одной – где-то царь возвышенный, а вот – тут у нас, своими ногами.

– Покинул?

– Одначе, гляди как обернулось.

– Вот, ядрён колпак, без царя остались.

– Нельзя без царя! – качал головой молчаливый сухонький Занигатдинов.

– Как ж эт' он так сразу сплеховал? – спросил и Сидоркин со шрамом под левым глазом.

– Подскользнулся на ровном месте.

Прави льный арсеньева орудия Завихляев – в бороду:

– Место-то ровное, да видать наскользили его.

А Шутяков своё, вкруговую:

– Не, братцы, верно сказывали: вкруг царя – измена. Вот она и объявилась.

И ещё переминались бы, гадали, да зашумели – кухню увидели. От передков сюда катила таратайка, из трубы додымливая.

Заспешили, засновали за котелками.

Повар Исаков, маленький, поспешный, завязал возжи, соскочил и с обычного места, позади орудий, застучал уполовником об свою железную стенку. Да хоть и не стучи, уже

подходили.

Получали по полкотелка гречневой каши, крутой, хорошо удобренной, – и расходились по землянкам, кто где привык, татарове – к себе. Кому на наблюдательные идти – садились тут, на пеньки, штанами ватными, поперву свой котелок выесть – потом на тех получить и нести. Арсений, когда сверху не мокрило, – всегда садился на сошник своего орудия, тут ел.

Шапки сняли, перекрестились – не сплошь – и зачерпали. Забирали ложками гречневую крутизну со смальцем – и в роты. Завтрак ли, обед, – дело святое, тут не до гуторки.

Носили, черпали, кто деревянной ложкой, кто железной.

Однако и за кашей думать не перестанешь.

А что ни думай, одно было Арсению ясно: царя-то нового надо поскорей, нельзя во время войны замедлить.

Носили, черпали, а Сарафанов и спроси:

– А чо ж теперь с наследником буде, братцы?

С юнцом-то – что?

– Да-а, – отозвался Арсений, – почему-то его не хотят.

– Так сам отец не схотел, – густо подал из бороды Завихляев.

– Рази сам отец? Другой кто?

Вот это – странно Арсению: чтоб сам отец родному сыну наследства не хотел передать – как это может быть?

– Другой кто?

А присел невдали и старший фейерверкер Дубровин, начальник разведчиков, с безусым ещё лицом, ранний да умный:

– Наследник, мужички, уже царствовать не будет, всё.

Так – а кто же тогда?

– А другого – так надо скорей выбирать. При войне – да как же без царя? Скорей бы.

А Бейнарович, вроде Сидоркину по соседству, а и ко всем закидывая, бодро:

– Мы его помазали – мы его и размазали.

Шутяков на него взволчился:

– Молчи, злодыга. Не ты помазал.

Вовсе неохватно: откуда навалилось? что оно такое?

Без головы в дому.

НЕДОЛГО ТОЙ ЗЕМЛЕ СТОЯТЬ,
ГДЕ УЧНУТ УСТАВЫ ЛОМАТЬ

Толпе холопов прирожденных
Страшно отсутствие господ -
Кто ж будет восседать на тронах.
Давить страну? душить народ?

436

Начиналась Крестопоклонная неделя. Крест голгофских страданий, вынесенный в центр храма, становится в центр мира. Выносился крест вчера при всенощной – а Николай, за своими муками, даже просто забыл. Вчера вечером, когда разыгрывалась мятель, он обедал вдвоём с Мама в поезде – и снова, снова надрывно говорили о том же, и никак он не

видел выхода вернуть трон Алексею. Открыть военные действия? Этого он не мог переступить и от начала. А теперь – что можно было делать, когда вся армия в руках революционеров? (Это – отговоркой от Мама .)

А сегодня – утишенным, безветренным, снежно-убелённым утром проснулся – и сразу вспомнил о Крестопоклонной. И подумал: Боже мой, как мелки все наши заботы по сравнению с Голгофой! Что решит или откажет какое-то временное правительство, пустят туда или сюда, что напишут в революционных листках, – всё это прейдёт. И его отречение от престола, даже если это была ошибка, затемнение ума, – тоже прейдёт. А Голгофа – останется вечно, как главная жертва и главная тайна.

Среди людей – правосудия не бывало и нет. В апатии, в унынии – надо предавать себя только на волю Божью. Молитвы – никто у нас не может отнять. А в ней – вся чистота и всё облегчение.

И с радостным светом в душе Николай поднимался, чтобы ехать в церковь к обедне. Ничего не взял в рот.

За окнами площадь была убелена, чиста от ночного снега. Снег свежо прикрыл верхи сугробов, лёг пышным наслоем на решётки, на заборы. Градусник показывал мороз, и не было у решётки вчерашней досадной кучки глазающих мальчишек, прямо против губернаторского дома, – теперь, когда никто не мог отогнать их. Но согнал мороз.

А городской стоял на месте. Однако – неуставно одетый в простой полушубок.

И два красных флага у входа в ратушу.

И, может быть из-за мороза, отречные манифесты, расклеенные на стене городской думы, тоже мало кто читал. Или уже знали все.

Вчера, когда с матушкой ехали в автомобиле по городу, – её колот каждый красный флаг над зданием и каждый красный бант на чьей-нибудь груди. А Николай уговаривал её не обращать внимания. Зато ведь некоторые становились во фронт, отдавали честь, иные штатские снимали шляпы, а один старик на улице на колени стал. Но никто не кричал «ура», как прежде. У матушки остались резкие впечатления от первых дней революции в Киеве: проходя мимо её дворца, манифестации так громко кричали «ура» – казалось вот-вот ворвутся в ворота. А гарнизонную охрану отменили, и всего оставалась во дворце полусотня конвойцев.

Ах, такое ли произошло в Кронштадте! такое ли в Гельсингфорсе! – прямые убийства, и многих.

Уже подходило время ехать в церковь – вдруг раздались на площади звуки военного оркестра. И приближались.

И это не был марш, уместный военному оркестру, но была – марсельеза?

Вражеская музыка звучала у самого здания Ставки!

А впрочем, с марсельезой – он был в военном союзе...

Из окон спальни (где никогда уже не появится сын) было хорошо видно. На площадь втекала армейская колонна – и её георгиевское знамя впереди и единственные оранжевые погоны с чёрными полосками открывали, кто это. В полном составе и в строю, с оркестром и всеми офицерами, со всеми георгиевскими крестами на солдатских шинелях, – маршировал Георгиевский батальон! – эти храбрецы, отобранные из всей армии, для охраны Ставки и для парадов.

Да когда ж они вернулись? – ведь Государь посылал их в Петроград.

Теперь ведь ему ни о чём больше не докладывали.

Они выходили на площадь с Днепровского проспекта без большой надобности – только показать своё плечо – и тут же поворачивали на Большую Садовую, уходить.

Но почему ж и они – с революционной музыкой? Боже, до чего дошло...

Скребущее чувство от этой музыки.

Правда, красных лоскутов не было на них. Ничто не заслоняло георгиевских крестов.

Они маршировали – выразить радость? Радость – от устранения своего любимого Государя? Радость – от внедрения республики?...

Лица их были – боевые, бодрые, даже весёлые, – и руками они сильно отмахивали.

На отмахе как бы стряхивая, стряхивая всё прошлое...

И толпа радостных мальчишек сопровождала строй.

У Николая навернулись слёзы. Если уж – эти?... если уж – цвет армии?...

Тогда он верно сделал, что отрёкся.

Но как же, царствуя, – он этого не замечал? Было ли это и раньше?

И этот батальон он посылал первой силой против революции!...

И – на этой же площади, неужели на этой же площади? – прошлой весной, под проливным дождём, служился длиннейший молебен перед привезенной Владимирской Божьей Матерью, и стояла многотысячная богомольная солдатская толпа, и весь этот Георгиевский батальон, – и все терпеливо молились, крестились, и Государь с наследником, и потом прикладывались долго, под потоками дождя?

Всё – на одной площади...

Дал им всем пройти, уйти – лишь потом поехал в церковь, в штабную.

Как всегда незаметно вошёл с левого бокового входа и стал на своё обычное одинокое место на левом клиросе.

Неделю назад, тоже на воскресной литургии, он стоял здесь, ещё коронованный. И вот – опять, как ни в чём не бывало...

Стройными рядами стояли конвойные казаки, от пилонов до пилонов, против царских врат, оставляя проход посередине.

Немало штабных офицеров и городские молящиеся, тесно. Служило трое священников с дьяконом.

Сперва Николай чувствовал спиной внимание множества молящихся. Потом – всё меньше, и ушёл в молитву. И становился на колени с той простотой, как это делает одинокий, никому не видимый богомолец.

Он молился, чтобы Господь простил ему ошибки, какие были, – и прежних лет, и последние. В них не было злого умысла никогда.

Молился, чтобы Бог принёс России заслуженную победу в этой войне – и расцвет после войны.

Чтобы Бог простил и всех тех, кто приносит России беду неумышленно.

И горячо – о своей семье.

И обо всех верных, знаемых и незнаемых.

Служба шла как всегда, веледостойно. Хор малый, но превосходный. (Николай и не любил в церкви концертного пения, при нём всегда пели самое обыкновенное.) Вдруг какую-то фразу произнёс запнувшийся бас дьякона, – фразу со сбитыми словами, не уложились в уши. И было там «благочестивейшего» – а «Великого Государя» не было.

И – проступила избыточная пауза. На весь храм.

Замер храм.

Молчала вся церковь и хор. Как не бывает.

И у Николая – дыхание остановилось: молчали – из-за него! Божья служба препнулась – из-за него...

Но вот – вознёсся обычный возглас «о пособити и покорити»...

И дьяконов бас рокотал дальше уверенно: о граде сем и стране, о плавающих, путешествующих, недугующих, плененных. И – о избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды.

Так не от трона только он устранился... Он устранил себя и из Божьей службы. Из народных молитв.

Вот она, Крестопоклонная...

И после Евангелия молитвы за Государя – вовсе не было.

А когда в конце Николай, по обычаю, подошёл первый к целованию креста – протопресвитер молча выставил ему крест. Не сказал ни слова напутствия.

После убийства адмирала Непенина, после «приказа №1» – генерал Рузский одеревенел. Ощутил себя буквально деревяшкой, кидаемой волнами. Хлынуло – и не удержать, мы смяты валами сзади – и всё. И – всё...

Ещё добывают из Выборга: бурлит и Выборг, арестован комендант крепости генерал Петров. И эти сообщения достигают не одного же штаба фронта, они распространяются всеобщее, о них узнают все. Стрела мятежа вылетела из Финляндии – и в спину тому же Пскову.

В городе становилось всё тревожнее. Зараза шла от железной дороги. На том самом псковском вокзале, где двое суток назад стояли императорские поезда в пустынности перрона, и ещё при полном порядке, и только первые красные банты из Петрограда раздавали дерзкие листовки, – вчера вечером уже кипела тысячная толпа, не подвластная никакому надзору – ни гражданских властей, ни военной комендатуры. Не осталось местечка ни на путях, ни на вокзальной площади, ни комнаты внутри вокзала, куда бы желающие из толпы и неизвестные приезжие не имели доступа и не могли бы распоряжаться. Но более всего – разоруживали офицеров, – всех на станции, и подъезжающих к вокзалу, и в мимоидущих поездах, втекая для того в вагоны. Одни офицеры отдавали добровольно (но и после сдачи оружия должны были быстро скрыться), а кто сопротивлялся – с тех силою срывали шашки и револьверы, избивали, а то и сшибали с ног. Начальник распределительного пункта полковник Самсонов сопротивлялся – и был убит.

Также и один из запасных пехотных батальонов, прослушав манифесты об отречении царей, двинулся к тому, что всё дозволено, и пошёл громить пищевые склады на товарной станции.

Даже крупный решительный генерал-квартирмейстер Болдырев почувствовал себя неуютно. А уж на жёлтом худощавом маленьком Рузском и лица не было. Действовать против революционной толпы оружием? – Рузский бы считал самой большой ошибкой. И это Болдыреву нравилось: для такого необычайного момента и поведение должно было быть необычайное! – только какое?...

Но если бы штаб Северного фронта и вздумал бы беспорядки во Пскове давить – то неизвестно какими силами: не виделось такой надёжной части. То, что кипело на вокзале, могло в любую минуту ворваться и в сам штаб фронта, а охрана штаба была незначительная, да и на неё нельзя было положиться, что она не примкнёт к разбою: даже штабные писари собрали вчера вечером собрание и обсуждали, отдавать ли офицерам честь и носить ли красные банты. Вся работа штаба, бумаги штаба и весь персонал его командования – подлегли под угрозу внезапного врыва толпы, разоружения и разгрома.

А из жалкой Ставки никаких директив. Алексеев молчал.

Болдырев понимал, что ниоткуда со стороны помощь не придёт. Но как вывернуться самим?

В тревоге, если не в дрожи, штаб провёл ночь. Но обошлось, не ворвались.

А утром узнали, что за ночь пропаганда против офицеров уже покатила по боевым частям, по всему фронту. Заколебалась земля подо всем Северным фронтом. Стали сочинять циркулярную телеграмму в штабы армий, мёртвому припарка.

Пока сочиняли – в штаб прибежали сказать, что в городе мятежные солдаты арестовали генерала Ушакова, начальника псковского гарнизона, и с ним сколько-то офицеров! И будто – генерала Ушакова потащили топить в реке Великой.

И – так же могли ворваться сейчас к ним и арестовать их всех!

Данилов – мешком. И Рузский – мёртвый, руки совсем обвисли. И – надо было спасти начальника гарнизона, и – не мог он приказывать действовать против революционной толпы! И – некому приказывать.

Но даже – и много минут размышления не было им дано. Новое известие принесли: воинские части самочинно выходят на парад на городскую площадь! И туда же валит толпа

гражданских.

Закачался и весь древний Псков! Что же делать? Такого – и вовсе нельзя допустить, но что делать?

А Болдырев – ощутил задор, и решимость, и догадку. Даже – и не спросил своих генералов, и не объяснил, только рукой успел махнуть и кинулся вон. И в открытом автомобиле покатил на назначенную площадь.

У Болдырева был могучий голос, природный дар. Голос – это не меньше, чем мускулы. Бывают положения, когда голос больше всего и выручает человека. В революцию.

Гудела и кишела площадь. В солнце и в лёгком морозце, по двум сторонам бездействующего трамвайного пути самовольно строились части гарнизона. Из них только кадеты, юнкера школы прапорщиков и полевые жандармы имели обычный воинский вид, всё остальное было – бесформенное, не в строгих шеренгах и рядах, сборище в шинелях, а ещё с краю к этой каше пристроились гимназисты и реалисты.

И – пестрели тысячи красных пятен от ленточек, от лоскутов. И там и сям торчали в воздух красные флаги. И даже ополченцы бородатые на простых палках подняли красные тряпки. (Где ж этого красного все награбили и нарвали!)

И – все головы обратились к автомобилю, так он кстати появился, будто принимать парад! – неизвестно, кто и принимал бы его. А генерал Болдырев в идущем открытом автомобиле поднялся в рост – и стал громко здороваться.

Войска отвечали довольно стройно, от этого ещё не отвыкли. Болдырев, на ходу сочиняя, стал колокольно-густо поздравлять войска со свержением самодержавия, наступлением свободы, установлением нового государственного строя. Слышал в ответ – «ура» и «ура». Выкрикивал несомненные лозунги, вроде «да здравствует Россия!» и «да здравствует русская армия!», – и слышал в ответ ревущее и единое. Крикни он дальше в наступленье на немцев или на грабёж тылов – толпа была, кажется, готова. Голос его – до звука все слышали округ. Тогда он выкрикнул надежду, довольно бессмысленную, что охрану порядка во время парада примет на себя население, – и услышал совсем уже бешеное «ура».

И тогда он остановился в центре и рискнул удивиться: почему пришли кто с оружием, кто без? Как же их показывать Главнокомандующему?

Войска охотно стали расходиться по казармам, потом с оружием стягиваться и строиться вновь. За это время и в этом движении, перемешивании, переталкивании – энергия благодетельно разряжалась.

А Болдырев успел съездить к Рузскому – предупредить, убедить и позвать.

Затем стал форменно командовать упорядоченным парадом – а хлипкий Рузский шатко принимал его.

И в наступившей потом тишине голосом вялым, слабым, не доходящим в глубину, стал произносить о счастливом, свободном новом строе, о необходимости дружной спокойной работы и даже о вреде питья денатурата.

*Восторгом святого восстанья
Опять зажигается мир.
Обещан за пламя страданья
Народу торжественный пир!
(Ф. Сологуб)*

иерархия всего мира составлена так: ты звено между старшим и младшим, и только тогда ты можешь вести, если ты ведом. И чем в человеке сильнее воля, тем радостней он отдаётся мировой иерархии сил. А мякоти нуждаются в иллюзии независимости.

И чем крупнее кусок бытия, тем больше он нуждается в иерархии и единстве власти. Вся Вселенная – прежде всего. (Хорошо ощущаешь законы вселенной – в Ледовитом океане, в гребной шлюпке с поморами, при свежем ветре между льдинами, посеверней Новосибирских островов, откуда устье Лены – недостижимый плацдарм цивилизации.) И такой кусок, как Россия, – из первых.

И потому адмирал Колчак так уверенно предложил Николаю Николаевичу – всероссийскую диктатуру. Россия не может болтаться во сто и в двести направлений. Если трон опрокинулся и поплыл – должны другие твёрдые руки взять страну.

Задержало морское волнение, по пути меняли миноносцы, по расчётам – только утром вчера мог достичь великого князя посланец Колчака. И не раньше вчерашнего полудня можно было получить телеграмму согласия.

Но раньше того пришло отречение Михаила. Оно достигло Севастополя с таким казусом. На ленте пропечатал ось: «А сейчас передадим вам манифест Михаила Александровича», – и тут же прервалась линия. И основательно прервалась: ни через полчаса, ни через час не починили её.

И – напряглось сомнение, надежда. Может быть, это – не перерыв линии, но изменилось в Ставке? или с самим Михаилом? Что можно было предположить о непереданном манифесте? Что-то очень важное новое!

Но – никак не повтор отречения, которое притекло, когда линию исправили.

И вот – Россия осталась совсем без царя, вообще без Верховной власти! Власть передавалась – никому...

Так прав был Колчак, угадал положение, и нетвёрдость, неготовность Михаила, когда погнал гонца.

Но тем более всё ещё можно спасти, объявив диктатуру великого Князя! Республика? – может быть и не плохой строй, мы его не испытали, никто не знаем. Но республика, введенная на полном разгоне войны, – это крах.

Однако ответ из Тифлиса не шёл, не шёл.

А по исправленной линии, косвенным путём, через Ставку, рассылались приказы того же великого князя – и уже как Верховного Главнокомандующего.

... Неисповедимо назначенный, он осеняет себя крестным знаменем и призывает чудо-богатырей... Повелевает всем начальникам и чинам армии и флота спокойно ожидать изъявления воли русского народа...

То есть Учредительного Собрания.

То есть это уже и был ответ Колчаку.

Только к вечеру вчера пришла прямая телеграмма из Тифлиса, но не от великого князя, куда там, – от герцога Лейхтенбергского. Лейтенант докладывал своему адмиралу, что не может возвратиться в Севастополь, так как Верховный Главнокомандующий повелел ему следовать с ним в Ставку.

Это и был уже последний выразительный ответ.

Да так и предчувствовал Колчак в великом князе: под латами рыцаря – слабую душу.

Упущенный шаг. Пожалеет...

Великие князья... И сколько же их.

Но не жалел, что посылал. Всякий путь надежды должен быть испытан. Всякий тупик должен быть доказан.

Оставалось – подчиниться новому правительству? Оба манифеста клонили к подчинению.

Но – что это будет за правительство? И куда оно поведёт? Пришла телеграмма от какого-то князя Львова. Да, по-видимому, династия кончила своё существование, начинается эпоха новая. И каково бы ни было правительство – мы обязаны перед родиной.

Итак – в самый разгар войны царь отрёкся. Но война – не отрёклась, её никто не отменил. И мы должны выполнять боевую работу как раньше.

Всего несколько дней назад такая была, в общем, простая чёткая задача: быть умнее, сильнее и доблестней немца и турка и это превосходство овеществить на море и его берегах. И если молодой адмирал талантлив (а он талантлив), – то искать такие пути, и найти.

Но откуда ни возьмись – свалилась революция, как валун на спину ползущему солдату. И по-прежнему под огнём, и по-прежнему головы не смея поднять, воин теперь не мог ни вперёд переползть, ни убраться назад, ни двигать свободно конечностями.

Так почувствовал Колчак себя со своим флотом.

А сразу видимо было только – издать приказ: что теперь особенно возможен неожиданный удар врага, противник захочет воспользоваться событиями в Петрограде, надеется на волнения у нас, – и требуется бдительность и спокойствие в выполнении долга.

Но сперва – ничего не происходило. Волнений не было. Спокойно шла служба на кораблях, спокойно в береговых командах, как будто ничего особенно нового они не узнали.

Но теперь уже нельзя было остановить лавины агентских телеграмм и привозимых пачек столичных газет. А в газетах – взмутительных обращений.

И вот – на суше и на кораблях стали стягиваться кучками. Пока ещё малыши. И толковали, замолкая при офицерах. Пока ещё негромко.

А ведь именно Черноморский-то флот и знал бунты – в 1905 и даже в 1912. И если *начнётся* тут – то будет страшный раскат.

И вдруг на лучшем линейном корабле «Императрица Екатерина II» матросы предъявили командиру – требование! – убрать с корабля офицеров с немецкими фамилиями!

Так начинается.

Сегодня ночью мичман Фок, прекрасный молодой офицер, дежурил по нижним помещениям корабля. Когда он проверял дневальных у артиллерийских погребов, матросы обвинили его, что он собирается взорвать корабль.

В бессилии оправдаться, в отчаянии – мичман пошёл в свою каюту и застрелился.

Утром адмирал Колчак тигром кинулся на «Екатерину», построил команду – и с пылкостью и гневом разносил её за глупость. У нас в России – масса людей с немецкими фамилиями, и они часто служат лучше нас. Вот умер недавно славный адмирал Эссен...

Команда прочувствовалась, просила прощения.

Но первая жертва – легла.

В характере Колчака было: не только не ждать, чтоб опасность миновала, но всегда бросаться навстречу ей, искать её, чтобы с ней столкнуться, имея собственное движение.

И пока он слал вынужденную телеграмму новому правительству, что Черноморский флот и севастопольская крепость – всецело в распоряжении народного правительства и приложат все силы для доведения войны до победного конца; и Гучкову как морскому министру отдельно (он, по крайней мере, всегда хотел флоту добра, а может быть сейчас согласится на босфорскую операцию?..); пока это всё,- распорядился адмирал немедленно собрать на берегу в казармах полуэкипажа на корабельной стороне по два представителя от каждой роты – с кораблей, береговых команд и от гарнизона.

Телеграфили, сигналили – и представители рот собрались меньше чем за два часа, недоумевая: такой не было во флоте формы встречи и формы обращения адмирала.

Собралось – человек триста, чернели и серели на скамьях. Адмирал вышел перед ними на помост и заговорил звонко и как бы радостно. (Встреча с бедой всегда вызывала в нём ощущение как бы и радости.)

Он объяснял им, как понял, к тому и не готовясь, слишком прост был рисунок: царя больше нет, но война продолжается. В Петрограде – новое правительство, которое и будет думать о нужных изменениях. Они и притекут, когда это понадобится. Но пока что – война продолжается, и нам остаётся: строгая служба, бдительность к врагу и полная дисциплина. Сохраним же силу против немцев!

Так неизбалованы были матросы речами, да ещё адмиральскими, – появление Колчака

прошло очень хорошо. Хлопали в ладоши. И вид, и лица – обещали всё исполнить!

Раздался вопрос: вот есть «приказ №1», исполнять ли его? Уже слышал Колчак об этой белиберде, переданной по радио из Царского Села, и ответил:

– Пока он не утверждён правительством – он для нас не закон. Почему приказ петроградского совета депутатов может быть обязателен в Севастополе или в Одессе?

По окончании – Колчак не придумал их строить снаружи, а выходил в автомобиль мимо чёрной гурьбы.

Доброжелательны, в осмелевших улыбках двигались лица, и глаза пялились рассмотреть совсем вблизи адмиральскую невидаль. И один высокий губошлёпистый матрос вдруг прогудел:

– Вот, ваше превосходительство, в кой век проняли вы нас своим вниманием! А что вы нас раньше так не приглашали? А заведёте, чтоб мы всегда вот так собирались!

На него свои же крикнули, чтоб не смел, что он, очумел? А другие подгудели, что – да. И – глаза, глаза испытательно горели на адмирала, – в соотношении, какого он не помнил с мичманской службы.

– На военной службе – не положено, – улыбнулся, только и нашёлся Колчак.

На улицах Севастополя зеленела татарская жимолость, уже благоухало, вот-вот зацветёт миндаль. Стоял ярко-голубой солнечный день. Высокие берега бухты в молодой траве. Моторная шлюпка, вспенивая синюю воду с солнечными бликами, несла адмирала к «Георгию». А он ещё всё испытывал это простое народное движение, доверчивое, но и настойчивое прикосновение.

На военной службе так не положено, но вот же он провёл. В этом была и смелость находки, открытие общения! Но в этом была и угроза: за этим эпизодом провиживались сотни таких.

Даже весёлый вскарабкался он по трапу.

А едва вступив на палубу – увидел флаг-капитана оперативной части, без лица.

Что ещё?

Шифрованная телеграмма.

В Гельсингфорсе убит матросами вице-адмирал Непенин!

Как влилось чугунное во всё тело и отняло движения.

Догрёб ногами до каюты, погрузился в стул.

Адриан!

Брат-адмирал!...

Как спасти – командный состав?

Как спасти Черноморский?...

439

В Ростове весна всегда прорывается рано, каким-то тревожным духом – ещё в феврале. А сейчас, опустясь с широты Минска, Ярослав был тем более поражён ударом тепла и весны, смешанным запахом тающего снега, конского навоза и первых почек. При внутренней тревоге, с которой он приехал, этот мягкий удар пришёлся ему и самым желанным, его он и искал! – и самым больным.

Он приехал в отпуск как будто к маме, сестре и брату, – на самом деле ни к маме, ни к сестре, ни к брату – а даже к самому Ростову больше, чем к ним. Потому что при камнях его, в нишах его и проходных парадных, на бульварах и в провале между Садовой и Пушкинской (и в каждом переулке по-своему) задержалась, осела, как неразогнанный дневным солнцем туманец, – какая-то несытая тайна его юности. И эту тайну он приехал дознать, собрать ладонями, перешептать снова. Где он сам за это время ни воевал, ни прошёл, а тайна – странно – осталась именно только в этом городе. Нигде в другом месте одинокое шатание не могло так душу уводить и щемить, как здесь.

А если – неодинокое?...

Только отсюда, оказывается, он мог исследить и найти. Только здесь, где это розовело на восходе, – могло разгореться и жаром. Так он был устроен.

У него не было ни невесты, ни ждущей любимой. Но сразу несколько нежных и острых воспоминаний он вёз в груди, и они распухали в ворох надежд. Ни одно из них не было подкреплено свежей перепиской, но мнилось – все эти девицы на прежних местах, и каждая готова продолжать с ним оттуда, где они остановились.

И так поехал он трамваем за Крепостной переулком в Нахичевань к Ларе – а она, оказалось, уехала со всею семьёй. И с большой надеждой он искал на Тургеневской Тому – и застал её помолвленной. И ещё одно застарелое нежное знакомство – Нюша Кочармина – повлекло его ранним утренним местным поездом в соседний Новочеркасск. Но Нюша и вовсе оказалась замужем, и Ярик, конечно, не пошёл по новому адресу. А познакомился с братом её Виталием, кончающим гимназию, а на будущий год хочет в Ростов в университет. Такой светлый умный юноша, звал его заходить к Харитоновым, когда будет в Ростове.

Никого не нашёл! Но все уличные углы, впадины, тупички, скамьи под акациями, сейчас голыми, мреяли Ярославу, что помнят, остались верны, благодарят за возврат.

А на улицах уже продавали для кого-то букетики фиалок и подснежников. И такие свежие, цветущие, уже в весеннем опоминаньи мелькали лица девушек, прелестные как нигде.

Необъяснимо, но почему-то он должен был искать только на следах своей юности.

А свою родную гимназию? Пошёл туда.

Какое волнение! – лестница будто стала уже и короче, чем была в детстве. И тот же самый сивый цербер Лука Семёнович с шишкою на лбу, старый унтер, в восемьдесят лет как из железа, хватку его руки помнил и Ярик, и всякий, кому досталось. Около учительской дождался перемены – и любимого словесника Юлия Константиновича, – с годами ярче всех он задержался в памяти: как разбирал и открывал им в русской литературе, что не видно по поверхности, как ярко говорил о человеческой свободе. Теперь он узнал Ярика не сразу, а лишь после того как назвал фамилию. Изменился же и он! – поседел и лицо нездоровое. Постояли минут пять у окна в коридоре. Узнав, что Ярик в отпуску с фронта, спросил, как там настроение. Ярик ответил, что бодрое, готовимся к весеннему наступлению, прекрасно снабжены, уверены в победе. Юлий Константинович только усмехнулся: «При нынешнем положении на верхах трудно рассчитывать на победу.» И с такой неприятной усмешкой, и так оскорбительно Ярику пришлось: ну откуда он знает? и как он может судить о фронте? Звонок – и попрощались. Не такой встречи ждал, обидный осадок.

И ещё один случай днём на Садовой поразил Ярика. Солдат при костыле с двумя георгиевскими крестами и с медалями на шинели, народ перед ним расступался. Вдруг он подошёл к вышедшей из магазина даме и, козыряя, что-то сказал. И дама быстро достала из ридикюля и дала ему ассигнацию. Ярик остановился, поражённый: раненый георгиевский кавалер просит милостыню? Невиданно! Но тут же к солдату подступил штатский и, взяв его под руку, стал тянуть прочь, что-то говоря. Солдат упирался. Стали останавливаться прохожие, раздались голоса: «Куда ты его тянешь?... Герой! Он кровь за нас проливал!» Закричала другая дама, что от фараонов житья не стало. Штатский, видимо полицейский агент, кричал, что это вовсе не солдат, а мазурик переодетый, «мы его знаем! он и не хромой!». Полнолицый бритый господин в богатой шубе и шапке: «Кто это мы?», – и требовал, чтобы агент показал удостоверение. Тот просил не вмешиваться, а пусть покажет свою увольнительную этот самозванец. У края тротуара стояла баба с деревянной лопатой, сказала Ярику: «Моего сыночка убили, а эта сволота понаехала, зарабатывает, жалобит людей.» Но толпа густела, кричали в несколько голосов, и все на агента. Ярик шагнул вступить, но тут агент достал турчок и резко засвистел. И с угла сюда заспешил рослый городской. Агент сорвал колодку с крестами с шинели жулика. Хорошо одетая толпа стала расходиться и слышалось: «Опричники!»

Мало того, что спекуляция жулика, но эта нескрываемая ненависть к полиции поразила

Ярика.

Он мало прожил в Ростове – а уже впечатлений! Не поверил бы на фронте, что тут так густо, быстро наберётся.

А между тем мама, не признавая, не ощущая, что он командир роты, – целиком хотела захватить в дом своего неразумного упрямого мальчика, со страхом щупала рубцы его ранений у плеча и в ноге, властно хотела иметь его подле себя и даже лучше бы после десяти вечера уже дома, чтоб не волноваться. С уважением слушали домашние, и Дмитрий Иванович, рассказы о фронте, притихла и Лялька пятилетняя, а Ярик не полно им открывал, чтоб не пугать маму. Да разве вмещался тот его мир, те два с половиной года – в эту неизменённую квартиру?

Но и мама же сшила ему в подарок, заказала по старой мерке, френч и светло-синие офицерские диагоналевые рейтузы по форме мирного времени. Оказалось, Ярик похудел, на боках ему широкогато, но уж и не время для ушивки. А хотелось пощеголять по Ростову в новом френче со вшитыми галунными погонами, а то и на шинели и на гимнастёрке у него были фронтовые матерчатые. Отнёсшить галунные и на шинель. Так ведь к этим рейтузам не подходили и сапоги его, подбитые мехом и смазанные жиром, – пошёл (с Юриком) покупать и щегольские сапоги с твёрдыми голенищами.

Четырнадцатилетний Юрик жадно не отходил от брата и всё расспрашивал, расспрашивал. Он рос не изнеженным, но зовким на всё военное, уже сейчас верный оруженосец. Воинственно вёл себя и на донских лодках и зимой на катках, – и угадывал Ярик, как он приёмчиво вступит в военное училище, уже сейчас бы ему быть в кадетском корпусе, а не в реальном, – да не хватит на него этой войны. И Ярослав рассказывал ему безо всяких привлекательностей, не заманивать.

Но и все разговоры их с братом, и весь семейный обычай вдруг сотряслись: грохнула петроградская революция и посыпалась, посыпалась на Ростов стаями новостей. И что в ком оставалось своё, затаённое, собственное, – всё отлило, ушло в землю, съёжилось, а груди разрывало вдыхать и выкрикивать, и горла кричали, лица сияли, руки размахивали, – и хотя известна была ростовская публика крайним выражением и радости и брани, – но сейчас даже привычный Ярик изумился.

Застигни его эти известия в своём полку – он принял бы их сурово-недоуменно, наверно сейчас там так. Да чему ж тут радоваться: разве можно такое во время войны? Нельзя вообразить, чтобы в их ротных землянках офицеры их батальона, да даже и солдаты, вдруг испытали бы кружащий обезумелый восторг и надрывно бы орали, что у них больше нет ни царя, ни Верховного Главнокомандующего, а неизвестно что. Даже когда командир полка уезжал в отпуск, вполне замещённый по всему порядку, – и то в полку ощущалась постоянная недостача. А тут – перед самым весенним разгаром боёв...?

Но родной Ростов кипел от радости, большей радости просто не могло свалиться на этот город, да ещё совпавши с весной, – и надо ж было Ярику пережить это всё здесь, и оказывается этот город ни на миг не переставал быть ему родным – и его веселье не могло не отозваться и в Ярославле, он не думал, что так сохраняет в себе ростовское. Как с милого лица радость невольно переходит к нам, так она начинала закруживать и Ярослава.

Да ещё если б не своя семья вокруг! Но вся родная семья – мама, Женя, Дмитрий Иванович и Юрик, – ликовали вокруг него в этих же комнатах.

И Ярик заглатывал своё недоумение.

Мама стала такая торжественная, блеклые глаза её как будто вернули часть прежней голубизны, и выпрямилась приплечная сутулость. Положила руку Ярику на плечо, снизу вверх:

– Как жаль, что папа не с нами и не может порадоваться. Это – самые счастливые дни моей жизни. Не думала дожить! И – ты здесь в эти дни! особенное счастье!

Гимназия Харитоновых два дня не занималась. Изменяя своему чопорному обычаю, Аглаида Федосеевна выходила праздновать на улицу – не на свой балкон, а переходила Соборную площадь до Московской, а то и шла до Садовой, и стояла на краю тротуара,

вплотную к идущим шествиям, и чуть кивала, и чуть улыбалась, – а её седую фигуру кто же не видел и не узнавал! И со всех сторон к ней подходили, кланялись и поздравляли её бывшие гимназистки.

И хотя праздник всё не осваивался Яриком как свой, а гордо было за маму – сколько же она воспитала, сколько ей благодарны. И это тоже натягивало на примирение с её взглядом, да и с памятью отца, не отделимого от неё и с ней всегда согласного.

И Юрика, вместе с его реалистами, как понесло в этом ликовании, и закутило, и закутило! Он бегал на гимназические возбуждённые сходки и подпевал хорам на улицах, и был упоён. Раза два хмуровато намекнул ему Ярослав, что радоваться бы не слишком, – но летящую Душу брата это не задело.

Скорей усумнишься в своём собственном представлении, поражаешься: с каким же малым усилием, почти без крови и как мгновенно свалился государственный строй, ещё неделю назад казавшийся вечным, – вот ещё неделю назад тащил агент этого жулика, поди сейчас попробуй, отбери кого у толпы! Чего ж этот строй тогда, правда, стоил? Так и действительно права была мама всегда, а Ярослав питался романтикой?

Только когда несли уж мусор: «ах, все наши военные несчастья были от Царского Села, а теперь пойдёт лучше», – Ярик осаживал, не стеснялся.

Да что Ярик! – в 200-тысячном городе не выставился вообще ни один недовольный, ни один противник переворота! То существовали какие-то «правые» и казались сильными – и вдруг они исчезли все в один день, как сдуло! – и их газета, заняли их типографию, а «Русский клуб» поспешил признать новое правительство. Вообще не оказалось в Ростове ни единого человека среди начальства, кто верен был бы царю! – такого и никто бы раньше не предположил. Вся полиция признала руководство Революционного комитета, а тем временем из тюрьмы успели сбежать и рассыпались по городу двести уголовников. И вот уже, приветствуя революцию, шагал строем гарнизон, части – во главе с офицерами, оркестры играли марсельезу, – а поручик Харитонов стоял среди публики вдоль края тротуара и растерян был, как понимать. Солдаты целовались со студентами. Начали сдирать гербы и двуглавых орлов. И от той же марсельезы не стало спасения и в театрах: играли её перед всеми спектаклями.

Нахичеванские армяне – вели себя куда приличней и сдержанней ростовчан: такого всеобщего обниманья и целованья на улицах не было у них, а ведь пылкие люди. Была у них осмотрительность, совсем утерянная ростовчанами.

Но даже и в Новочеркасске, уж на что царском городе, противники переворота даже не высунулись, а ликовали такие же как в Ростове студенты, интеллигенты.

Нет, что-то не то. Надо ехать скорей в свой полк.

Сказал маме, что надо в полк, время быть на месте. Властна была мама, но не из хлопотливых матушек. Может и обиделась, не показала. Не уговаривала. Но денька два ещё с нами?

В полк-то в полк, но ещё ж и оставались дни.

В полк-то в полк, но весь приезд Ярика в Ростов, ещё сбитый этой перемутной революцией, оказался так неудачен в своём собственном. Обманули родные камни, затосковал. Надо было как-то иначе ехать.

А задумал теперь: на обратной дороге – да заехать в Москву. Московские места – тоже свои, три года военного училища. И тоже – воспоминаний.

Потому ли что смерть всегда впереди – старое родное всё хочется и хочется видеть.

Да ведь и Ксана там, печенежка.

Вдруг представил себе белозубую эту печенежку с мягкими плечами – и сердце забилося.

Забилось по-новому. Но не выдал никому.

Довольно было Саше только раз появиться в Таврическом дворце, спросить, кто тут вызывал «офицеров-социалистов», – и всё разъяснилось. Его отвели к лейтенанту Филипповскому, моряку, который сразу и узнал его:

– Да где же вы были? Куда ж вы пропали?

И Саша с удивлением узнал, что он – совсем не песчинка, затерянная в Петрограде, но вполне замеченный важными людьми человек. Прежде всего он – «офицер революции 27 февраля», их таких перечесть на пальцах, и Филипповский не забыл, что он брал Мариинский дворец. Затем он, как сам себя теперь заявлял, «офицер-социалист», что тоже было большой редкостью, всего малая кучка была и таких. И так он здесь был нужен почти позарез – и промахом его было, что он ушёл из Таврического и несколько дней тут не показывался.

Ошибкой было, что он влип в этот комиссариат Петербургской стороны и погрузился там в смену караулов, спасение складов, разнятие драк, ловлю грабителей, самовольно обыскивающих, – а теперь бы предстояло убирать опрокинутые столбы, фонари, помогать трамваю. Дело его было, конечно, не там (вчера же сходил и уволился) – а вот здесь.

Много, много тысяч офицеров красовалось в России – заносчивых, надменных, грубых, глупых, грозных, но много ли среди них социалистов? Сейчас эта гордая масса (в которой Саша задыхался несколько лет) сотрясена, сбилась как стадо, угодничает, притворяется перед восставшим народом, подписывает униженные документы – но естественно, что солдатская масса не верит ей – и права! Разве это старое офицерье может существовать без царя? Им нужна палка, и непременно из Успенского собора, чтоб удары крепче и царская ласка теплей.

Однако армия не может обходиться без офицеров – и с кого же первых натягивать это революционное офицерство, если не с социалистов? Подобно тому как юристы-социалисты призваны в новые мировые суды – так офицеры-социалисты должны сплотить искреннее революционное офицерство. Кадровое будет сейчас тесниться и даже сметаться с пути – а вверх взлетать будут даже из рядовых, как во всякую революцию, как в Великую Французскую простые конюхи становились генералами.

Всё это объяснил ему Филипповский, – и Саша радостно впитал, принял – и к действию. Ни «офицеров революции 27 февраля», ни офицеров-социалистов (каким оказался тут и прапорщик Знаменский, начальник караула бывших министров) не оказалось достаточно для заметных действий. Но вот была цель: расколоть офицерство, и ото всей его тёмной, монархической, затаённо-враждебной массы – отделить хотя бы тех, кто сознательно стоит за республику, и готов заявить об этом вслух. Заявивши вслух – они уже и отколоты от остальных, а те, оставшиеся, почувствуют себя за обречённой чертой.

Итак, что ж? – «Союз офицеров-республиканцев», гласный. Но если просто так объявить запись – сейчас пойдёт и всякая скрытая монархическая сволочь, приспособиться к новым обстоятельствам.

А сделать вот как: члены-учредители – только офицеры революции 27 февраля, и никто больше. Для всех остальных вступающих – мало признавать республиканскую программу, но надо представить рекомендацию двух уже состоящих членов Союза. А желательно – и референцию нижних чинов той части, где он служит.

И – завертелось дело! Во многом упало на Сашу: составлять обращение, отдавать его в газеты, сходить раза два в Дом Армии и Флота, наконец – собрать, это уже сегодня, общее собрание членов и принять общие положения Союза.

Увы, собралось в Таврическом всего человек двадцать. Ну что ж, для начала. Трудны и условия приёма. Так даже и лучше.

Председательствовал подвижный Филипповский. И он же будет представителем Союза в Исполнительном Комитете Совета. И он же заверяет офицеров-республиканцев в доброжелательности к ним Совета рабочих депутатов, откуда и будет делегировано в Союз несколько солдат и рабочих.

Солдат и рабочих? К нам сюда? Были – поморщились, а Саша понимал вполне: именно

так! в этом – время. Сплачиваться с народом – так сплываться!

Итак, цель Союза?

Саша предложил: продолжение и углубление революции!

Некоторые испугались.

– Но победа над царизмом разве закреплена? – искал он понимающих.

Хладнокровный Филипповский отверг.

Решили: установление демократической республики. А ближайшие задачи: охрана свободы от покушений, с какой бы стороны они ни исходили. Пропаганда в армии республиканских взглядов.

Взгляды – мало. Саша предложил:

– Организация армии на демократических началах. Содействие в этом.

К этому – шло. Кому и не нравится – всё равно этого процесса предотвратить нельзя.

Да, на одних взглядах не удержишься. Революция требует дела – и быстрого.

А что даёт последовательная демократизация армии? Армия превратится из царской классовой – в подлинно народную. Вот это и будет опора для трудовых масс. (В конце концов, в других словах, но сашина идея и прошла: продолжение революции.)

Решили выпускать и свою газету. Назвать её – «Народная армия». И главным редактором – Масловский. (Он сидел тут, в президиуме, как самый старший, самый умудрённый, но почему-то кислый, насупленный.)

Но тогда – и свои журналисты нужны?

Что ж, владея теперь оружием, Саша отроду владел и пером, да наверно не хуже Мотьки Рысса.

Что б ни шептали, а мы докажем: что единение армии с трудовыми массами никак не может ослабить её боевую мощь.

У Саши-то своей роты, своих подчинённых не было – и он честно не представлял, что там в казармах творится.

441

А чудовище всё росло! – оно было уже явно за полторы тысячи человек! (И двое из трёх – солдаты, так что рабочее чёрное терялось в серых шинелях.) Когда они начинали вваливаться – не дрожал ли весь Таврический дворец? – а Белый зал распирало, вот развалится! А ведь он уже рухался однажды, как бы не второй раз. С таким Советом Исполнительный Комитет всё меньше мог работать и начинал сильно побаиваться его, совсем неуправляемый орган. Неосмотрительную норму первых дней – один депутат от роты, надо было теперь отменить, чтоб не было этого солдатского превосходства, – но как отменить? как об этом решиться сказать? – могут просто смести объявляющего вместе с Исполнительным Комитетом.

Они заседали вчера с полудня и до позднего вечера, сперва солдаты отдельно, потом вместе с рабочими, и за весь день почти ничего не успели обсудить, кроме отношений с офицерами, что одно и задевало солдат, – да и этих отношений они ни к чему не привели, а только тесен становился им уже и «Приказ №1», всё не могли решить: выбирать себе новых офицеров голосованием или уж пусть какие есть. А всю свою остальную уродливую повестку дня, если её так можно назвать, они перетащили на сегодня.

А тут само собой назрел другой опасный, почти как и армейский, вопрос: о возобновлении работ на заводах. Об этом заседал сегодня в полдень Исполком, слушали настояния Гвоздева, слушали конечно возражения большевиков, – очень боязно было выйти с этим вопросом перед рабочей массой, но и откладывать нельзя. И – решились. Председателем на Совет сегодня послать лихого Соколова, ему всякое море по колено, а докладчиком вытолкнуть туда уважаемого Чхеидзе – его имя всё-таки знают, и каждый день его слышат с крыльца, у него подход есть, пусть он своей старой головой всё и примет.

А что осталась вчерашняя повестка дня, так ещё лучше: пусть весь пыл выпыхнут на

чём-нибудь другом, а возобновление работ протолкнуть к усталому концу.

Уже из Белого зала слышался топот, крики, вопли и аплодисменты чудища.

Этот зал! – видевший все десять лет думских сражений, разоблачений, запросов, и страстных, и тонко язвительных, и грубо проломных, и занудно холодных речей, и ругательных перекриков, и обструкций, и изгнаний на 15 заседаний, и пухло-лебяжьё фигуру Муромцева, и отлитое изваянье Столыпина, и слабоголосого Горемыкина, расслабленного, угодливого Штюмера, топорного Трепова, озадаченного Голицына (только ни разу – самого Государя, лишь портрет его неподвижный до последних дней, теперь – лишь обвислые обрывки по краям да корона над пустою рамой), – этот зал, где десять лет восклицали интеллигенты и баре, что не слышит, что слышит, что услышит их Россия, этот зал, где так слаба, ничтожна была социал-демократическая группка, – и вот теперь избыточно наполненный неподдельной смурой народной толпой, а на родзянковской скальной кафедре из резного дуба – одни социал-демократы, и тот трагикомический Чхеидзе, соединяющий оба зала, прежний и нынешний, звавший открыть русло улице – а теперь в неуходящем счастливом изнеможении, что дожил до этих дней.

Какой напор улицы! Все депутатские кресла амфитеатром, все ступенчатые проходы между ними, все колончатые хоры для публики, все барьерные ложи – совета министров, Государственного Совета, журналистов, и все проходы к трибуне, и последний простор у восьми распахнутых дверей, и в дверях, и за дверьми – солдаты, солдаты, солдаты (уже с винтовками редко), рабочие сидя и стоя, все в шапках, косматых папахах, треухах, шинелях, бушлатах, тужурках, и облако махорочного дыма во всём объёме зала, к стеклянному потолку (и окурки, набросанные под депутатскими пюпитрами). И самый неграмотный тут понимает, что этот барский белокаменный зал с недоглядным освещением потолка деланным светом – не для него же, чухломы, строился, – а вот теперь он заседает тут, махорку покуривает важно и слушает, чего там с вышки.

А туда так и лезут, как на приступ, – и этот с приветствием Совету депутатов, и этот с приветствием Совету депутатов, а тот – от Москвы, рассказать, как дела у них, а тот – от дальнего полка, как у них. Слушаешь – не наслушаешься, антиресно! А потом – машиниста и его помощника, какие вели поезд генерала на Питер, и до места не дошли, и хотят довести товарищам, как это было, – ура-а-а-а!

Но помнят и лезут с другою заботою, поважней: **похороны жертв** ! Ведь пули дурные летали по Питеру и скольких зацепило, а кого и наповал. И где ж теперь мы их положим, наших лучших героев?

Лезут, доказуют: а на самой той площади у царского дворца, чтобы память была вечная, как мы царя осилили. И видней того места в Питере нет. – А мостовая ж там? а столп? – А мостовую – вскрыть, а столп – обойти, и площадь усеять дорогими святыми могилами.

– ... Как символ крушения гидры Романовых!

Ура-а, ура-а! – и чернороденький с вышки руками правит, доволен.

Но лезут другие: не! А лучше разроем Марсово поле.

– ... На Марсовом поле, товарищи, при самых могилах жертв мы воздвигнем по всем правилам огромное здание для российского парламента. И там будут столбы светиться, и телеграф, и это будет центр управления Россией!

Не-е, не-е! Желаем подле дворца!

А похороны обрядить – на сей же неделе (а то морозы спадут – трупов не додержим). И чтобы фабрики, заводы до тех пор стояли, не работали, – для почтения.

А тут – какую-то тётку, уже сильно в годах, через толпу ведут, протискивают – и туда же, на вышку. А она – нисколько не стесняется, глаз не тупит, посматривает по всем сторонам. И объявляет чернороденький, что вот ещё великая минута: перед рабочими и солдатскими депутатами выходит

– ... наша святая революционерка! женщина, борец, страдальца и мученица! Приехала из изгнания! Каждый из вас с юных лет хорошо знает и чтит её имя! – Вера! Ивановна!!

Засулич!!!

И уж так от души поддал – как не отозваться? – из зала рывкнули в глотки, в ладоши, и ногами подтопывая.

– ... её нетерпеливо ждал к себе назад наш пролетарий!

Пролетарий – это который в трубу пролетел, нет ни шиша своего.

Так постепенно спускала, спускала пар напёртая масса. Ещё выпустил на неё Соколов члена Государственной Думы Дзюбинского – доложить, как его комиссия в 50 членов расследовала в Павловском училище, как ударили одного нижнего чина. Затем, лоя уже опадание силы в зале и усталость, – с почётом не меньше засуличского подвывел вместо себя на кафедру – любимого всем пролетариатом председателя Совета рабочих депутатов – Николая Семёновича Чхеидзе.

А Николай-то Семёнович может сотую речь за эти дни произносит, а каждую – всё с новым волнением. И не потому, что натолкали ему товарищи по Исполкому, что самый жгучий вопрос, что надо дипломатично, что надо не вызвать ярости масс, а потому что: сколько ни входи в этот зал – а колотится сердце, сверкают глаза, как тут поносил социал-демократов Марков 2-й; сколько ни подымайся на эту трибуну – а рябит перед глазами визитками, галстуками, бабочками, крахмальными воротничками, и только по часу позволялось резать рабочую правду им в глаза, – а вот теперь наступило наше счастливое безграничное время! И всё это перебуровливается, перекипает в груди, а через горло уж в каком там звуке проскочит, но все понимают...

Товарищи! Товарищи? Товарищи... И вот теперь что же? (В этом зале, где...) Мы победили врага! Мы победили врага? Мы повергли его окончательно и теперь можем работать спокойно, не боясь нападения? О нет, не можем. И ещё долго не сможем! Потому что в настоящее время мы ведём **гражданскую войну**! – и о спокойной работе не может быть и речи. Но, товарищи, вот мы уже решили день назад, что надо возобновить изготовление противогазов. Ведь наши товарищи сидят в окопах и могут погибнуть от газов, несмотря на славную революцию. И вот теперь Исполнительный Комитет пришёл к заключению возобновить и другие работы. Но – как возобновить? Но, разумеется, так возобновить, что, стоя у станков, каждый момент быть начеку и каждый данный момент быть готовым выйти на улицу и показать свою силу. Но тем не менее мы можем и сказать, что мы – достаточно подавили нашего злейшего врага. Это – мы совершили! И исходя из позиции, которую мы занимаем вне заводов, – мы можем теперь пойти и снова на заводы – но, повторяю, с решимостью по первому сигналу выйти опять с заводов на улицу! Вот что нам подсказывает политический момент, товарищи. Ещё вчера нельзя было этого сделать. Но теперь враг настолько обезоружен, настолько обессилен, что нам пойти на работы и стать у станка нет никакой опасности. Это подсказывает положение в военном отношении. Но самое важное для нас – это, конечно, организация. Последнее время, надо признаться, мы работали на заводах и фабриках без достаточной организованности. Это, товарищи, оправдывалось нашим порывом к свободе при невыносимом царском режиме. Но, товарищи, в настоящее время это никак не допустимо. Поэтому вы не только занимайтесь вашей специальной работой у станков, а – сильно организуйтесь!... И на каких же условиях, товарищи, мы можем опять работать? Да было бы смешно, если бы мы пошли продолжать работу на прежних условиях! И пусть об этом знает буржуазия, которая находила такую поддержку у старого правительства! Едва мы станем на работу, да, мы тут же станем и вырабатывать те условия, на которых работать! Но стать, товарищи, – нам надо, потому что есть и тот мотив, что прежняя власть, которая вершила судьбы России, она довела и хозяйство до полной дезорганизации.

Так своим хриплым, но сердечным пением Чхеидзе оправдал надежды ИК – и собрание не взбесилось, не восстало, не грохнуло возражениями.

А тут подставили выступать наборщика, трёх солдат, одного рабочего, которые все «за», от Исполкома Ерманский, Пумпянский, – и все они толковали, что товарищам рабочим надо к работам приступить.

Правда, полезли и большевики с межрайонцами: потерпев поражение на ИК, они пытались теперь повернуть всё собрание, и не Соколов был тот председатель, кто хотел бы и мог остановить их.

Доводы их были сильные: что Николай II по-прежнему гуляет на свободе. А революция – слишком подозрительно бескровная. А Временное правительство слишком мягко к врагам. А раздача земли до сих пор не решена. А рабочий вопрос – совсем обойден, вот никто не говорит о 8-часовом дне. И что есть заводы, не согласные приступить!

Но правилен был расчёт Исполкома, что собрание ещё с начала разрядило свою главную энергию – на похороны жертв и на Веру Засулич. Да уже все голодные, обедать пора. И противогазы – показались понятны. Да решал дело и солдатский в зале перевес: к станкам-то становиться было не им.

И большевицкие ораторы не повернули зала. И когда с трибуны высунули уже готовую резолюцию от ИК, прочли её один раз, и оговорено там было, что кто из рабочих занят в непосредственно организационной работе (все депутаты, кто тут сидят, и кто в милиции, и кто на какую новую должность пристроился), те к работе не приступают, – так это нам по нраву! Проголосовали, и сколько насчитали, за тысячу, – те все «за», а только три десятка против.

А потом, уже расходясь, друг у друга спрашивали: так это что решили? когда приступить? Да прям не завтра ли, с понедельника? Да как это мы своим выложим? Ведь за десять дён отвыкли, не соберёшь. Так если рабочим приступить – тогда и солдатам на ученье??

Ишь ты, шустрые какие! – уж и с завтрава им! Ежели б ещё поманешечку...

ПРИНЯЛИСЬ ГУЛЯТЬ – ТАК НЕ ДНИ СЧИТАТЬ

442

Вчера к вечеру ехал Пешехонов в автомобиле по Большому проспекту – и навстречу увидел громадную толпу, которая двигалась с гамом и визгом от Каменноостровского. Алексей Васильич остановил автомобиль, выскочил навстречу – что такое?

Толпа была в основном женская и страшно ликовала, размахивала руками, но не угрожала никому. Оказалось: это – домашняя прислуга, кухарки, горничные, прачки, высыпали после общего митинга и катили по улице, невиданно ощущая себя в силе и хозяевами!

Пробуждению таких чувств можно было только порадоваться? (К толпе присоединялись и мужчины, прохожие, – и в хвосте заметил Пешехонов того гордого всадника первых дней, увешанного лентами, – а теперь плёлся за прислугой в жалком виде, пьяненький.)

Но приехал Пешехонов в комиссариат – ещё новость: по всей стороне расходятся чьи-то прокламации, приглашающие весь народ в воскресенье на Невский для демонстрации.

Это ещё зачем теперь? Большие толпы с неразгаданным устремлением вызывали у него тревогу: они могли громить.

Связались с Советом рабочих депутатов, оттуда ответили – провокация, приглашайте граждан воздерживаться от демонстрации, очевидно контрреволюционной.

Так и слухи ползли: что это – контрреволюционеры нарочно заывают народ, а завтра начнут в него жарить из спрятанных пулемётов.

Но уже поздно было печатать и клеить по улицам свои отговаривающие объявления, да и не поверил Пешехонов никакой контрреволюции, не придавал значения слухам и надеялся, что демонстрация не состоится.

А сегодня (воскресенье не воскресенье, комиссариат бурлил как всегда) часов в 11 утра донесли, что от Новой Деревни по Каменноостровскому движется громаднейшая толпа, больше десяти тысяч, и всё увеличивается по пути – и, очевидно, валит на Невский.

Вот так так! Никаких мер предупреждения не принял – а вот теперь валила – и что же делать? и остановить нечем! Не пускать же в ход оружие! Да и нет такого отряда, загородить.

А толпа – всё ближе, и вот сейчас – поравняется, смотри – и комиссариат разнесёт.

Сидели и ждали в опасениях.

Но что-то не шла. Да куда ж подевалась? Послали разведать – оказывается, завернула в «Спортинг-палас».

Что делать? Надо спешить туда, а то и «Спортинг-палас» разнесут.

Пешехонов пошёл с двумя-тремя, за себя он как-то ни разу не боялся, он только боялся провалить комиссариатское дело.

Десять не десять тысяч, но очень много. И – митинг. Это уже хорошо: если митинг идёт, то разносить дворца не будут.

Одним аплодируют, другим свищут.

Ораторы – со стола. Дотолкались туда, посадили Алексея Васильевича, взлез и он.

С разных мест узнали его, встретили аплодисментами.

Пешехонов повеличал их «народным собранием», приветствовал от имени комиссариата, поздравил с завоёванной свободой, вот – со свободой собраний и слова, которую они теперь осуществляют. Заявил, что революционная власть стоит на страже этой свободы и никому не даст её нарушить, что комиссариат счастлив охранять такое многолюдное собрание. Просил он и граждан со своей стороны – не нарушать ничьей свободы, терпеливо выслушивать ораторов, в каждую речь вдуматься, потому что обстановка передо всеми – самая сложная.

Всё сошло хорошо, ещё поаплодировали, и Пешехонов слез со стола.

Но не успели они выбраться наружу, как у слышались в толпе возбуждённые крики. Что такое? Кто-то заподозрил в своём соседе полицейского шпика – и вот уже вцепились несколько в этого человека и хотели его рвать, вся публика туда тискалась.

Сотрудник шепнул Пешехонову: «арестуйте». Счастливая идея! Стали кричать, раздвигать толпу, продираться в центр свалки.

Пешехонов грозно арестовал заподозренного, а самых сильных крикунов назначил тут же конвоирами – вести «шпику» в комиссариат. И того, кто опознал шпику, – тоже чтобы шёл с ними.

Собрание успокоилось и продолжало митинг.

В комиссариате опросили всех свидетелей, и оказалось, что никто этого человека не знает и ничего доказать не может.

Отпустили свидетелей, а через полчаса и «шпику».

А митинг продолжался весь день до позднего вечера, но уже без мордобоя.

443

Как приятно пользоваться доверительными услугами – графа! И всегда вкусно, аристократически поесть (кухня графа, передвижная, в подсобной комнате министерства юстиции, и винный погреб графа). И вообще – раздвинуть рамки жизни, узнать до сих пор не известные, лишь измечтанные её слои.

Очень покладистый, славный граф! И к тому же очень богатый. И Александр Фёдорович убедил его дать щедрый куш Совету рабочих депутатов. (Надо их чем-то ублажить, так и лязгают зубами на Керенского.)

И много было в Петербурге мест, прежде никак бы не доступных Керенскому, – а

теперь они распахивались! Одно такое место – Сенат! Второе – Зимний дворец!

И то и другое решил Александр Фёдорыч пролететь сегодня, в воскресенье. (Ещё успел с утра распорядиться арестовать Вырубову.) Но – не раздевался для этого, а так и поехал в чёрной куртке австрийского образца, как бы френчике, несколько поношенном, и со стоячим глухо застёгнутым воротом (достал ему тот же граф). Никто так не носит, ни на кого не похоже, уникальная одежда – и демократическая, и революционно выразительная. И не надо три раза в день менять крахмальных воротничков, заломал его – и не видно.

Прежде – каким надо было быть уважаемым и пожилым адвокатом, чтобы подняться до права входа в заседание какого-либо сенатского департамента или отделения, – а вот он, молодой адвокат, – только назначил по телефону, и, несмотря на воскресенье, все старцы Сената собрались в большом зале, и при порывисто-трепетном входе Керенского – встали! (Озабоченный граф спрашивал утром: «А если они вас не признают?» – «Тогда мы – не признаем их!»)

Одно из назначений Сената – регистрировать и распубликовать все издаваемые кем-либо законы, только с этого распубликования они становятся законами. Так и вчера утром опубликованные манифесты царей об отречении – ещё ничего на самом деле не значили и никакими законами не были, пока не пройдут через Сенат. (И сенаторы даже могли вчера целый день удивляться.)

Но и наверно никогда, от самого петровского сотворения Сената, законы не доставлялись в него лично министром? Привозил курьер в конверте, тут секретарь записывал название закона в журнал, будто бы «слушали – постановили распубликовать», и отсылал дальше конверт в типографию. Нет, никогда Сенат не видывал министра, привозящего закон!

Но и никогда же не бывало такого ослепительного, обаятельного и легендарного министра!

Но и никогда же не бывало такого судьбоносного события в Российской империи, как отречение от престола – да сразу и царя и всех его возможных наследников!

Событие – стоило приезда!

А приезд – стоил того, чтобы весь 1-й департамент собрался в большом зале вокруг стола подковою. А перед столом – два трона, старое кресло, ещё Павла Первого, и маленькое кресло для наследника. В 1-м департаменте первоприсутствующим считался сам Государь, и в знак того всякое заседание открывалось стоя.

Но Керенский того не знал, никто ему не объяснил. Он вошёл своей стремительно-пружинной походкой (за ним – два прапорщика, вооружённые до зубов) – и увидел два десятка сенаторов в шитье, позументах, орденах, почтительно подковообразно встречающих его. Керенский нашёл вполне естественным, что старцы стоят. Но так как они продолжали стоять и когда он поравнялся с тронами, и оглядел их, то он, наконец, кашлянул:

– Э-э-э, господа... Может быть вам угодно будет сесть?

Старцы сели, как бы неохотно. А Керенский обнаружил близ трона высокий попитр, зашёл за него и обратился с краткой, но весьма значительной речью. (Речи стали даваться ему просто как блинчики.) Сказал о значении Манифестов, о значении Сената – и предложил их ему на хранение на вечные времена, и теперь ответственность за их сохранность будет вечно лежать на Сенате.

Он протянул лёгкую руку к одному из прапорщиков – пакет влетел ему в руку. И уже другой рукою министр поманил, позвал, кто бы из сенаторов...

И один старец взял пакет, вынул драгоценные Манифесты, развернул их – и все снова встали, так что и министру в чёрном френчике не пришлось сесть. И надтреснутым голосом стали читаться исторические тексты. И с одобрением склонив набок умную бобриковую голову, министр дал себе труд терпеливо прослушать тоже – он, кажется, и наизусть начинал эти тексты знать.

Затем было спрошено старшим старичком: кто против распубликования?

И вдруг Керенский молниеносно догадался:

– Минуточку, господа, минуточку! Я – выйду, чтобы вас не стеснять.

И – с удовольствием, скользя по паркету, сильно размахивая руками, вышел за дверь, прапорщики за ним.

Но и пяти минут не прошло, скорее четыре, – его пригласили вновь. И, так же стоя подковою, представили ему, что 1-й департамент не имеет возражений.

И Керенский ещё благосклонней расположился к старцам. И не желая теперь покинуть их в робком состоянии и претендуя понравиться им ещё больше, – да он был в расположении и состоянии нравиться вообще всем на земле, – сказал:

– Благодарю вас, господа сенаторы! Я только за этим и приезжал. А ещё я хочу сказать вам, что я не какой-то там Марат судебного ведомства, как обо мне уже ходят городские слухи, но я хочу, чтобы Сенат был настоящим Сенатом. Работайте и при мне, пожалуйста. Работайте по совести, свободно, как думаете, не оглядываясь и не прислушиваясь, чего хотят на стороне.

Подумал. Так славно говорилось. Почему-то очень понравилось ему здесь. О чём бы ещё сказать?

– Да! – вспомнил. – Ещё вы получите скоро указ... Я учреждаю Чрезвычайную Следственную Комиссию для расследования противозаконных действий высших должностных лиц – бывших министров, высших сановников, а может быть, – зачем-то соскользнул он, сам себя не проверяя, с ним бывало так, – сенаторов?... И вот тут, господа, – голос его позвончел и ещё поюнел, – тут я должен предупредить, что я буду беспощаден! То есть, – исправился, – что над виновными будет справедливый суд.

И какая кошмарная картина развернётся перед следствием!

Может быть – дрогнули, но всё так же хорошо стояли и слушали (всё не было повода сесть), и даже смотрели слёзно-восхищённо (когда они видели такого молодого, деятельного, кипящего министра?!), – даже полюбил Керенский этих старичков, и хотелось сказать им ещё что-нибудь. Оглянулся, не висит ли ещё где портрет отрешившегося императора? – портрет как раз не висел, очевидно заменяли троны.

– Троны эти, да... – определил Керенский, и сам уловил в своём голосе почему-то сожаление, – троны надо будет вынести.

У себя-то в министерстве он уже вчера распорядился отнести на чердак все прямые и косвенные портреты, а чинам ведомства запретил носить какие-либо ордена или ленты, заслуженные при старом режиме. Однако старичков-сенаторов жалко было лишать их игрушек, очень уж импозантно выглядело на них. Об орденах – не добавил.

Ещё мог он им, конечно, объявить, что готовит политическую амнистию, и как успешно идут по его плану аресты сановников, начиная со Щегловитова, и что прекратил дело об убийстве Распутина и велел дать знать князю Юсупову и Дмитрию Павловичу, что нет препятствий к их возврату...

Но за ту минуту, что министр задумался, старцы предприняли своё действие, уже подготовленное ими. Выступил важный высокий сенатор Врацкий с апоплексически красным лицом и стал ещё новым дребезгом читать – как бы резолюцию Сената: Сенат выносит глубочайшую признательность Временному правительству за почти бескровное установление внутреннего мира, за быстрое восстановление законности и порядка в нашем дорогом отечестве.

Так они тоже радовались перевороту вместе со всем народом? Превосходно!

Хорошо, хорошо, мелко, часто покивал им на разные стороны Керенский, хорошо, принимал он ото всего Временного правительства – за эти дни он уже почувствовал, что значит собою больше, чем отдельный министр, и даже чем часть правительства, и даже в отдельных случаях являет собою как бы целокупное правительство. (Отчего и терялась ему надобность ездить на все их заседания.) И воскликнул:

– Господа! Я почту своим долгом передать ваше заявление Временному правительству. Я счастлив, что на мою долю выпало внести документы первостепенной государственной важности – в это учреждение, созданное гением великого Петра!

Взлёт! полёт! перелёт! – вот что ощущал все эти дни и каждый час Александр Фёдорович. И вот он уже был на переезде-перелёте в Зимний дворец, прихватив с собою и знакомого либерального сенатора Завадского, которого решил включить в Чрезвычайную Комиссию.

Зимний дворец! – почему-то всегда безумно хотелось тут побывать! Как нервы дразнит – стоит в самом центре города, сколько раз проезжаешь мимо, – а что там внутри?

На заднем сидении автомобиля разговорился с сенатором – и с большим удивлением впервые узнал от него, что Зимний дворец не является личной собственностью императора, как например Аничков и царскосельский, а лишь предоставляется в пользование царствующему Государю. Так это только облегчает теперь формальное взятие дворца в ведение Временного правительства! (Сенатор отмечал, что из отречения Государя не вытекает его отказ от частновладельческих прав, так что например Аничков...)

Тут автомобиль остановился внезапно, и солдат, сидевший рядом с шофёром, куда-то пошёл.

– Что такое? – изумился Александр Фёдорович.

Шофёр ответил, что солдат велел подождать, пока он купит газету.

Александр Фёдорович почувствовал, как вспыхнуло жаром его лицо перед сенатором.

– Что за безобразие! – вскричал он тонко. – Поезжайте немедленно дальше, пусть идёт пешком!

Шофёр неуверенно тронул. А Керенский уже и раскаялся: а вдруг этот солдат – из Совета депутатов или имеет там связи? Он может злословить, и это отразится на репутации министра.

– Ну хорошо, подождём минуту, – остановил он шофёра.

И действительно, солдат вернулся с газетой и на переднем сидении стал её читать. Поехали.

Зимний дворец! Какое особенное чувство – полновластно войти в него, через главный конечно вход, с набережной! Что за невиданная мраморная лестница в два разомкнутых марша, сходящихся наверху, и с мраморными вазами на балюстраде.

Навстречу поспешали предупреждённые дворцовые лакеи (или, может быть, мажордомы?), поспешали с такою важностью, как если бы были и сами младшими министрами, зная цену себе и представляемому дворцу, однако и приехавшему молодому человеку:

– Ваше высокопревосходительство...

– О нет, о нет! – протестовал Керенский, – просто: господин министр.

А какой был взлёт простора до потолка – как небо! Пятнадцать? двадцать человеческих ростов?! Декоративные окна, стрельчатые своды, под самым потолком обнявшиеся скульптуры, а ниже их, венчая лестницу, манили высокого гостя полированные темногранитные колонны.

Вот что: министр распорядился собрать всю дворцовую службу – в тронном зале! (Известно было, что такой есть.) А пока – вверх! и вглубь! и дальше! Осмотр! На крыльях!

О, какое наслаждение проходить властью по этим пустынным роскошным залам при сверкающих полах, а на стенах – старые картины в тяжелых рамах, а на стенах галерей – исторические генералы, а у стен в углах – резная мебель, а над головой – узорные люстры.

Положительно странно было бы вводить сюда 600-700 дурно воспитанных членов Учредительного Собрания. Нет!

– Скажите, а где у вас тут Малахитовый зал?

Важные разодетые лакеи вели, вели, сзади попевал сенатор, тоже как услужник министра.

Керенский нёсся вперёд, как завоёвывая эти лакированные просторы. Вот для чего этот дворец – жить в нём, обитать! Как это удобно! И как это исторически и величественно!

– А где была спальня Александра Третьего?

Александр Фёдорович задумал: в дальнейшем непременно так устроить, чтобы здесь

пожить. Царской семье уже тут не бывать.

Вспомнил предсказание Гиммера ему вчера: «Через два месяца у нас будет правительство Керенского.»

Только через два месяца?

Пронеслись – и заскочили в другую анфиладу, всю занятую лазаретом. Ну, это дело известное, лекарственные запахи, бинты, больные, постели, плевательницы. Но уже попал – и велел собрать близкую кучку медицинского персонала, держал к ним речь: пусть никто ничего не боится!

Подозвал какой-то лежачий раненый. Керенский демократично подошёл. Тот шёпотом пожаловался, что за эту неделю стал суп невкусный.

Потом, потом! Кругом, назад!

– В тронный зал!... А где у вас хранится корона, скипетр?

В величественном сумрачном зале была уже собрана многочисленная дворцовая челядь – стояли густо, но в отдалении от трона.

Керенский взошёл на две ступеньки трона (не выше) и оттуда объявил:

– Господа! Отныне этот дворец становится национальной собственностью, а вы – государственными служащими. Мне сказали, что вы опасаетесь издёвок, угроз от народа, – ничего не бойтесь! Великая Бескровная Революция произошла ко всеобщему нашему благу!...

444

Начался сумасшедший дом с Петрограда, но вот уже сумасшедшим домом становилась и вся воюющая Россия. Не стало Балтийского флота! Начал разваливаться и Северный фронт: в самом Пскове Рузский уже не был хозяином, а на всё у него находились только телеграммы к Алексею. А вот уже и до Брусилова стало докатываться, уже и он телеграфировал: остановить печатанье откровенных телеграмм Петроградского агентства о том, как убивают адмиралов, генералов, офицеров. Уже и у Брусилова, как у Эверта, хозяйничали в тылу самозванные вооружённые «делегации», арестовывающие военных начальников и бунтующие солдат к избранию новых. В самом Могилёве отставили губернатора, меняли администрацию, назначили губернского и уездного комиссаров, в городской думе снимали старинные портреты Павла I, Екатерины II, Александра I, по городу там и сям возникали возбуждённые сборища, особенно еврейского населения. В Могилёв воротился с Ивановым георгиевский батальон, – но от его прибытия не спокойней стало в городе, а будоражней. Сегодня с утра он прошёлся с музыкой по Днепровскому проспекту, губернаторской площади – и пошагал дальше по городу. За ним – электротехническая команда с красным флагом, за ней и штабная – уже с красными лоскутами! Собиралась и толпа, пошла к городской тюрьме «освобождать политических» – но оказалось, что их содержалось всего трое и они были освобождены ещё позавчера. Стягивались на Сенную площадь – «там будет объявлена революция». И приходилось что-то объявлять?

Генерал Алексеев с утра колебался, съездить ли на обедню в штабную церковь, затем оставил это намерение – и не видел другого выхода, как назначить от себя через два часа общее построение могилёвского гарнизона с разъяснением событий. Разослали распоряжение. Назначил – на Сенной же площади, чтоб не оскорблять Государя видом под его окнами, и так маршруты шествий назначить, чтобы не шли через губернаторскую площадь. Решение было правильное: так Алексеев сорвал самочинную сходку, упорядочил её. Поехал туда на автомобиле со штабными чинами. Военный строй стоял прилично. Густилась и толпа вокруг. И конвойцы и все солдаты Собственного железнодорожного полка были в императорских вензелях – и только командир полка генерал Цабель и адъютант барон Нольде уже сняли их к митингу... (Все заметили, и рядовые.) Дежурный генерал огласил оба Манифеста и приказ Николая Николаевича по армии. Солдаты кричали «ура». Алексеев с балкона общественного здания, напрягая горло, наставил:

– Солдаты! Вот какой переворот совершился по воле Божьей. Призываю вас честно и верно служить новому правительству. Не забывайте, что перед нами стоит страшный враг. Всякая армия сильна единением. Мы должны довести войну до победоносного конца!

Затем и от городской думы выступили – о значении момента и необходимости сохранять спокойствие. Так всё и обошлось прилично. Нет, Ставка ещё пока была спокойным местом. Тут ещё никого не обезоруживали, не было нападений и посягательств.

Но после парада начальник конвоя Его Величества граф Граббе явился к Алексееву с разумной просьбой: конвою – снять императорские вензеля и переименоваться в «конвой Ставки Верховного».

Это верно. Вензеля – что ж теперь удерживать.

И такие ж предстояло Алексееву соскрести и со своих генерал-адъютантских погонов...

Отрекшийся Государь совсем-совсем не представлял, как изменилась обстановка за эти дни. Как она менялась каждый час. Он – ничего не понимал, если мог вчера лепетать о возврате отречения!...

И большие грустные упречные глаза так доверчиво смотрели, надрывая душу. Пока был императором – не так виделось, что глаза его беззащитны. Это – теперь открылось.

И уж тем более не понимает Государь, как он стесняет Ставку своим пребыванием здесь. Вот он вчера приходил два раза в квартирмейстерскую часть, а все видят, революционные элементы в самом штабе, особенно нижние чины. Чтобы предупредить ещё возможный его приход? и чтоб не обижать, – Алексей сегодня послал Государю письменные копии сводок о военном положении. А чтобы сдвинуть его отъезд – повторно телеграфировал Львову и Родзянке, прося ускорить рассмотрение просьб отрекшегося императора и командировать представителей правительства для сопровождения поездов его до места назначения.

Как понимал Алексей, бывший император уже не может ехать сам по себе, без наглядку.

Генерал Алексей, никогда не служивший без прямого начальника над собою, вот оказался в эти грозные дни – одинокий и самый старший. Государь – беззвучно отвалился. Правительство новое хотя и образовалось, но какое-то уклончиво-переменчивое, не известно, как от него добиться дела. А новый Верховный сидел за три тысячи вёрст, за Кавказским хребтом, и ни почувствовать не мог здешней обстановки, ни влиять на неё верно. А главнокомандующие – только вот слали грозные рапорты и требовали остановить гангрену, ползущую на армию.

А – что оставалось Алексееву? Его держали за руки – не расправляться с гангреной. Ему оставалось тоже – лишь жаловаться кому-нибудь по телеграфу.

И он – жаловался. Сегодня днём дал Гучкову очень серьёзную телеграмму: правительство должно же наконец заговорить и указать всем воинским чинам, населению и местным гражданским властям на преступность таких деяний, как аресты воинских начальников и избрания солдатами новых начальников! Военное министерство и в собственной опубликованной программе допустило самый неопределённый опасный пункт о полноте общественных прав у воюющих солдат, – этот пункт должен быть либо немедленно уничтожен, либо разъяснён разграничением солдатских прав и обязанностей. Алексей – просто вопил к военному министру, что надо энергично спасать военную дисциплину в самый кратчайший срок и до конца войны оставить привычный строй службы и отношений.

Ушла телеграмма – и как завязла в болоте: час за часом, ответа не было.

Правительство как будто желало продолжать войну? Но ничего не делало, чтоб сохранить армию.

Отклик пришёл из Тифлиса, но помощи в нём не содержалось: повелевал великий князь генералу Алексееву объявить в самых категорических выражениях Львову и Родзянке, что и он, великий князь, требует от них категорического обращения к войскам, иначе и он, великий князь, безусловно не ручается за поддержание дисциплины, следствием чего явится

неминуемый проигрыш войны.

А ещё велел Верховный Главнокомандующий его высоким именем объявить войскам, что никакие такие «делегации» не посланы правительством, а все подсланы врагами России.

Там, далеко, ему не чувствовалось, как это здесь никого не убедит.

И вот прошло шесть беззвучных безотзывных часов – и Алексеев погнал Львову-Гучкову-Родзянке новую телеграмму. Что какие-то неуловимые элементы создают солдатские организации на Северном фронте, наблюдается их попытка стать хозяевами во Пскове. Дабы не допустить позора России, новому правительству необходимо наконец проявить власть и авторитет: срочно, определённо и твёрдо сказать, что никто не смеет касаться армии. А военный министр должен воззвать, что основной долг армии – сражаться с врагом внешним, а никакие делегации не имеют права вводить перемены в нормы войсковой жизни. Нужно спасти войска от развала всеми силами и способами!

Они там все были на местах и на отъезде, пока шла речь, как получить министерские посты. А получив – заглохли, онемели. От того, что делалось на фронте, от Свеаборга и уже до Киева, правительство воюющей страны должно было сотрястись, отвечать на телеграммы каждые десять минут, приходить к аппарату через полчаса! Но в заколоченном отупевшем Петрограде не хотели ни понять, ни откликнуться.

И спустя ещё три часа, уже вечером, Алексеев послал новую телеграмму всё тем же троим и всё о том же: что армия катится к полной небоеспособности, грозит проигрыш войны. И приведёт к роковой катастрофе всякое промедление в присылке текста новой присяги. Брожение в армии можно объяснить исключительно тем, что для массы простонародия остаётся непонятно истинное отношение правительства к воинским начальникам.

И – как об стенку горох. Правительство – молчало.

А действовать смело сам военными средствами – генерал Алексеев не решался, после отговоров Гучкова.

445

Где же та множественность путей, которая открывается в обширной талантливой стране перед талантливым человеком, наконец пришедшим к власти? Такого обременённого унижительного положения, какое застигло Гучкова в первые же сутки на посту военно-морского министра, он никогда не мог бы представить, это не почерпнуть было ни из какого опыта. В Кронштадте и Гельсингфорсе убивали, говорят, по каким-то заготовленным спискам, – и лучших боевых офицеров, совсем не в хаосе обезглавили флот! Но ни тех убийц, ни даже убийц Непенина Гучков не мог арестовать, расстрелять, ни даже наказать, ни даже побранить, но писать по морскому министерству приказ такой, какой согласится выполнить революционный сброд: «...порядок в России повсеместно восстанавливается. Повинуйтесь своим начальникам, так же как и вы признавшим произведенный народом переворот...»

Сегодня было воскресенье, – но какое кому теперь воскресенье? Все министры ехали по своим министерствам, а после трёх часов должно было заседать и всё правительство. (Да как оставаться дома? – в трёхсотый раз опять какая-то нависшая необъяснённая, тяжёлые взгляды жены, – ещё на это тратить нервы в такой момент! Придумал: переедет один в министерскую квартиру при довшине. Выглядит естественным шагом: надо находиться при прямом проводе.) И Гучков с утра поехал в довшин.

Тут ждали его телеграммы. От Эверта и Брусилова – об арестах военачальников и самовольных выборах. Из Моздока: смещён атаман Терского войска. Из Читы: смещён атаман Забайкальского войска, да не казаками, а каким-то общегражданским комитетом. А в 171 пехотной дивизии солдаты арестовали весь штаб. Да вот рядом, в Сестрорецке: солдаты арестовали всех офицеров!

Что же делать?

Да Гучков охотно бы сейчас порвал с Советом депутатов! начал бы с ними открытый конфликт, – это было в его натуре – грохоту побольше! Ему даже легче так.

Но ведь всё правительство отшатнётся, он так и видел этих трусов, а есть и министры-заискиватели перед Советом. И потом: раз петроградские воинские части уже захвачены Советом – к чему такой конфликт может повести, если не к гражданской войне? А как отважиться поднять её, когда идёт война внешняя?

Не хватало опоры во всём армейском пространстве. Надумал Гучков послать запросы в Ставку и на все фронты: как воспринят ими разосланный вчера приказ №114, какие есть соображения? (Учсть их при дальнейших шагах.)

Тут доложили, что генерал-лейтенант Корнилов прямо с вокзала явился к своему министру.

Отлично! Звать.

Невысокий, чёткий, с фронтовой свежестью – обдал свежей надеждой и Гучкова. Сух, ничего лишнего в фигуре, только – для войны и разведки. Знаменитый на всю Россию генерал, год пробыл в австрийском плену, бежал в шинели австрийского солдата, портрет его обошёл всю Россию. Лицо настолько простоватое, ещё и под короткой незамысловатой стрижкой, – может сойти за простого унтера, не принять его никак за генерала, ничего общего с той аристократической белой костью, одинаково ненавистной простым солдатам, Совету или Гучкову. Да калмыцкое или бурятское в лице, светло-оливковая кожа, узкие глаза, проверяющее недоверие с огоньком, – о, да отлично он будет разговаривать сейчас с распушенными массами!

Когда вопрос не поддаётся решению теоретическому – его можно решить личностью?

Конечно, общего развития, общего охвата событий от него не жди. Ни даже стратегического кругозора. Но таких операций ему и не предстоит. А личная храбрость – вне сомнений. Верный исполнитель. Замечательный выбор!

Как хозяин Военной комиссии Гучков с большим правом мог сказать сейчас (хотя не он придумал):

– Лавр Георгиевич! Это – я выдвинул вашу кандидатуру. Я очень надеюсь...

Один георгиевский крест на груди, один – под шеей, никаких больше орденов не носит. Унтерские и усы, с извивом, никак не фиксатуаренные. Хмуро-серьёзный и как будто несколько не польщённый принятием Округа, слушал как задание на местную разведку.

И эта правдивая его военность, без интеллигентских мудростей, окончательно подкрепила Гучкова: вот такой военной косточки и не хватало сейчас в столице.

Объяснил ему положение: настроение частей, агитация, приказ №1, положение офицеров, Совет депутатов, обязательство не выводить гарнизон, – да он сам всё увидит лучше. И вот, надо найти путь вернуть дисциплину. Без всяких внешних средств и с кипящим этим материалом – создать опору для Временного правительства. Что касается личных назначений и смещений – неограниченные полномочия, устранять непригодных, а приглашать хоть с фронта.

Уговорились встретиться завтра-послезавтра. И на том Корнилов, так и не улыбнувшись ни разу, не расслабься, поехал в Главный штаб.

А не успел уехать, – принесли Гучкову только что наклеенную на бумагу ленту новой телеграммы Алексеева – не в ответ на запрос о приказе №114, а самотёком. И просил Алексеев: никакими реформами не заниматься, оставить в покое привычный строй службы и отношений. Он был встревожен так, что это ломало тон служебной военной телеграммы, он настаивал на энергичных правительственных мерах для искоренения заразы разложения войск – прежде чем она полностью перекинется из тыла на Действующую армию. А сама правительственная программа, обещание общественных прав солдатам во время войны, – грозит гибельными трениями. Алексеев просто писал, что надо **спасти** военную дисциплину.

Сидел Гучков над этой телеграммой – а ответить было нечего.

Не следовало подписывать приказа №114? Борься с первой минуты? Ещё вчера бы – начисто **отменить** «приказ №1»?...

Но ничего б это не дало, не подействовало б. Алексеев не может представить, как тут, в Петрограде, запуталось. Алексеев не может же хотеть гражданской войны для спасения дисциплины.

Так что ж? На третий день – да с грохотом уйти из министров?

Но как тогда все его реформы, все его мечты? Если будут уходить такие, как он, кто ж останется Россию направлять?

И ещё поднесли телеграммку: казанский совет солдатских депутатов (и такой уже был) отказывался выполнить распоряжение военного министра об освобождении командующего военным округом, ибо это угрожало бы спокойствию войск и населения. Но выслали к министру объяснительную делегацию.

Вот и управляй...

Тем временем ехать надо было на дневное заседание правительства, и так уже опаздывал. Сегодня, когда меньше дел, так и поехать, в иной день не соберёшься.

Так за несколько часов в довмине ничего решительного не совершив, Гучков в расстроенном состоянии поехал к Чернышёву мосту.

Тут уже начали.

Сел к овалу большого лакированного стола, где место было, – не почувствовал, что сел в кругу своих. Как будто и в одном штурме власти шли, а – все порознь.

Обсуждали что-то нудное, для Некрасова: создать при министерстве путей сообщения комиссию в 15 человек, конечно оплачиваемую казной, и комиссия будет готовить законодательные акты по условиям работы и материального обеспечения служащих железных дорог, – сами железнодорожники или Некрасов для авторитета среди них спешили урвать плоды революции. И – создать при министерстве путей сообщения объединённый транспортный отдел, тоже оплачиваемый, чтобы лучше вывозить и лучше распределять грузы.

А – как до сих пор распределяли годами?...

Чёрт его знает что, сидела дюжина любимых избранников народа и ковырялись как дети в песочке, когда трясло всю страну и армию и каждая минута была дорога, чтоб не развалиться государству на части.

Милюкова, конечно, не было, не дурак он тут сидеть.

Князь Львов со своей идиотской елейной улыбкой вёл заседание как приятнейшее. Перекинул Гучкову по столу две телеграммы.

От Николая Николаевича, Львову. Сидя за Кавказским хребтом, обещал установить дисциплину во всей армии. И надеялся, что правительство вернёт заводы на работу.

Тон каков и какое понимание обстановки! Ну, сидишь пока за хребтом – и сиди.

Вторая, сегодняшняя. Только он, Верховный Главнокомандующий, может правильно организовать командный состав. И чтобы все правительственные пожелания шли через Ставку, а сам он отдал категорическое распоряжение, дабы...

Нет, такой индюк Верховным Главнокомандующим Гучкова совсем не устраивает.

Тем временем докладывал Некрасов, что от него требуют прекратить курсирование литерных поездов. (Переполох шёл, от приезда императрицы-матери в Ставку.)

Затем обсуждение коснулось и Гучкова: великий князь Михаил Александрович (как состоящий теперь у правительства в фаворе) просит принять меры к охране членов императорского дома. Надо принять. Охрана? это – дело военного министра.

Получалось, что так. Ещё нагрузка.

Но императорский дом – рассыпан, рассыпан, кто только где не живёт. А – Царское Село?

Ещё забота.

Тут появился Керенский, как торопливый именованный, без которого всё задерживалось. И сразу оказалось необходимым ему предоставить слово. И – упивчивым голосом он стал

сообщать о своих сегодняшних похождениях: как он устроил торжественное заседание Сената да как посетил Зимний дворец, и какие у него впечатления.

Князь Львов благоглупо-одобрительно улыбался.

Подосадовал Гучков, что приехал на заседание. А кончил Керенский – устроили перерыв.

И только в перерыве, только потому, что остался на перерыв, услышал из кулуарных разговоров такую мелкую новость, которая на заседании даже не обсуждалась почему-то: что от имени Совета депутатов Чхеидзе представил Львову постановление, чтобы царь и царская семья были немедленно арестованы!

Львов колебался. Даже и Керенский. Министры шептались по двое, по трое, и не было ничего решено.

Но, шут подери! Гучков, бравший отречение, имел перед бывшим царём и моральную ответственность! За что его арестовывать? – он легко сдался, добровольно отрёкся. Не пытался мешать революции. И никаких законов не переступил. Вот прислал просительные пункты – ехать в Царское Село и в Англию. И отчего ж не отпустить, он будет безвреден?

Озабоченно и решительно Гучков возражал князю Львову.

Да Львов и не настаивал, разве он хотел ареста царя? Но ведь вот как уверенно требуют! И за ними заводы, и гарнизон.

Чёрт бы их всех побрал! – гарнизон – не за военным министром?!

О, какой же скалой давил Совет!

А если арестовать – то на кого же падает арест, как не опять на военного министра?

И в мрачности Гучков уходил, – тут принесли князю Львову ещё телеграмму, он глянул – и передал:

– Это бы вам естественно, Александр Иванович. Воззвание бы, наверно, надо...

Телеграмма была с тройным адресом – Львову, Родзянке и Гучкову, значит такая ждала и в довмине.

И опять от Алексеева! Старик места не находил от тревоги и настояния. Самоуправные солдатские группы на Северном фронте. В Выборге. Во Пскове еле держится власть Рузского, а убит полковник. Наконец, должно же правительство проявить власть и высказаться определённо. Спасти войска! Продолжение развала – конец войны! И дать общие разъяснения о новом государственном строе.

Князь Львов тоже так считал: если сейчас всем хорошо объяснить – то всё прояснится, и все подобреют.

– Напишите хорошее воззваньице, Александр Иванович.

– Да кому-то уже поручили? Некрасову?

– А вы бы ещё одно, по своей линии, – улыбнулся князь.

Да ведь и действительно уходили драгоценные часы!

Ехал опять в довмин, меся и разбрызгивая автомобильными колёсами побуревший снег. Ехал – с решимостью, с напряжённой волей.

Но – что именно делать?

И теперь ещё – этот арест царя? А – с Царским Селом? А если – на них там нападут?

446

(провинция как о ней писали в газетах)

* * *

Вся губернская и уездная Россия узнала о перевороте сперва по железнодорожному телеграфу за подписью неведомого Бубликова. Потом – обычным телеграфом, за подписью Родзянки. Телеграммам этим везде поверили сразу, потому что за много лет были

подготовлены газетами, что в России всё идёт прахом и только ответственное министерство спасёт. Имя Родзянки внушало уверенность.

Прежде этих телеграмм ни в одном городе никаких событий не произошло.

* * *

Нигде не встретили революцию послушнейшей, чем в **Екатеринославе**. Губернатор издал постановление: «Всякие выступления против нового правительства будут всемерно преследоваться и караться по всей строгости. Всем чинам не допускать выступлений против нового правительства, докладывая мне об этом, в первую очередь для привлечения к ответственности.» Городская дума постановила: поставить в думском зале мраморную фигуру нашего земляка Родзянки. В городе поставить памятник Освобождения с фигурой Родзянки в центре. Городскую площадь назвать именем Родзянко. В думе расширить представительство евреев и рабочих.

* * *

В **Харькове** военная цензура ещё и 2 марта запрещала печатать известия из Петрограда, объявляя их подложными, но они передавались по телефонам через частных лиц. Толпы народа окружали редакцию, телеграммы читались сотрудниками с балкона. За телеграмму об образовании Временного правительства «Южный край» был оштрафован на 3000 рублей. Губернатор сначала не разрешал собрания гласных, но оно началось – и собирались митинги перед зданием городской думы. Манифест об отречении был получен поздно вечером 3-го и в конце спектакля драматического театра объявлен со сцены редактором газеты. Несмотря на ночь, новость быстро разнеслась по городу. 4 марта общественный комитет вступил в управление городом, и губернатор был арестован. Чины харьковской полиции приветствовали избрание Временного правительства и выразили твёрдую веру, что только народные избранники обеспечат стране верный путь к победе. Решено полицию оставить. Заведывать полицейскими участками посланы адвокаты. Все жандармские чины также перешли на сторону нового правительства, но жандармское управление арестовано. Конфискован архив Охранного отделения. Студенческая боевая дружина арестовала начальника гарнизона и нескольких офицеров. Студенты-медики прекратили занятия впредь до удаления профессоров, назначенных старым правительством. Большая студенческая сходка под открытым небом. Энергично работает комитет присяжной адвокатуры и постановил координировать свои действия с рабочими.

* * *

Ревель. Из местной тюрьмы освободили свыше 800 заключённых (из них оказалось: политических двое, остальные уголовные). Немедленно по освобождении они бросились громить окружной суд и увлекли за собой толпу, другие – разоружать полицию. Здание суда сожгли дотла, в огне погибли все уголовные и гражданские дела, бумаги нотариуса и архив. По всему городу полились погромы, грабежи и убийства. Тогда снова выдали оружие полиции и жандармерии – и в несколько часов в городе наступило спокойствие.

* * *

В **Твери** губернатор Бюнтинг, известный как ярый реакционер, видя угрожающую

толпу, идущую на его дом, соединился по телефону с епископом и исповедался. Толпа ворвалась, арестовала его. Заколот солдатами по пути на гауптвахту. Разгромлен старинный дворец и винные склады. Весь день на улицах беспорядочная стрельба, были убитые.

* * *

Ярославль. 2 марта создан комитет общественной безопасности. Губернатор, жандармерия и полицейские чины арестованы. Полиция снята с постов. Прекращена продажа денатурированного спирта, чтоб удерживать пьянство. Когда было получено царское отречение, Совет рабочих депутатов сперва запретил печатать его, опасаясь, что оно подложное.

* * *

Кострома. На родине бояр Романовых революция победила без единого выстрела. Вице-губернатор бежал, губернатора вели по улицам под обнажёнными шашками. Вся администрация арестована, полиция обезоружена, сожжён архив жандармерии. Епископ отслужил молебен, костромское духовенство решило не поминать семью Романовых.

* * *

Нижний Новгород. К утру 1 марта услышали о перевороте. Тысячные толпы у нижегородского кремля. Городской голова вышел к манифестантам и объявил, что город присоединяется к новому правительству. Начальник гарнизона первым из администрации отрёкся от старого правительства. Губернатор заявил, что подчиняется, но был арестован, а за ним добровольно последовала жена. Командир пехотного полка выстроил полк и сказал: «Я католик, но осеменяю себя православным знаменем.» И провозгласил присоединение полка к новому правительству. Караул тюрьмы поднял красный флаг и освободил политических заключённых. Толпа добилась также освобождения уголовных (1300 чел.). Полиции не стало. Разбито, несколько лавок. Жители спокойно переживают события. Трамваи движутся с большим трудом, так как народные массы идут сплошной стеной. Толпа срывает царские вензеля со всех зданий. Арестовано всё полицейское управление, весь прокурорский надзор, начались аресты полиции по уездам. Граждане просят убрать нехристианского пастыря архиепископа Иоакима, давшего укрытие чинам жандармского управления. Группа дворян – за присоединение к новому правительству.

В память революции городская дума решила построить здание народного университета и сразу собрала от купцов 700 тысяч рублей.

Совет солдатских депутатов отказался принять к руководству присланную из Петрограда прокламацию о неповиновении командному составу.

* * *

Казань. Университетская студенческая сходка постановила, что уличные выступления недопустимы. Губернатор и командующий Военным округом генерал Сандецкий телеграфировали Временному правительству о подчинении. Но Сандецкий арестован. Порядок не был нарушен.

* * *

Елабуга. После кошмарного управления старого правительства измученной родиной – смена правительства вызвала общий вздох облегчения.

* * *

В **Сызрань** из Петрограда привезли поездом гроб с убитым 27 февраля шальной пулей студентом Хлебцевичем. Революционная демократия потребовала, чтоб он был похоронен не на кладбище, а в городском общественном саду. И несмотря на возражения обывателей – выкопали могилу в центральной клумбе сада.

* * *

В **Саратове** ещё 1 марта восторженно встречены редакционные летучки о событиях в Петрограде. В редакциях днём и ночью – тысячи народа, требуют новых известий. Губернатор прибыл на совещание городской думы и просил не выносить на улицу обуревающих чувств; он назначен Государем и до его указа должен признавать старую власть. К думе подошли манифестации, подхватили на руки городского голову и гласных и так, с рук, они говорили речи. Оркестры непрерывно играли «народную марсельезу» – и под марсельезу толпа несла на руках освобождённых политических. Исполнительный комитет заседает беспрерывно. Переворот принят с неописуемым восторгом. Восторженные овации солдатам. Офицеры выработали воззвание: они признают Временное правительство и окажут содействие в замене администрации. Начальник гарнизона генерал Заяц присоединился. И присоединились все казённые учреждения. Арестована вся старая власть от губернатора до городского, 250 чинов полиции, а также предводитель дворянства. Арестованы лидеры чёрной сотни. Во всех учреждениях сняты портреты Николая II, в думе – и портрет Столыпина. Три епископа примкнули к новому правительству, группа духовенства обратилась с горячим возванием к пастырям разъяснить значение Учредительного Собрания. Желая послужить родине, чины полиции просят отправить их на фронт. Общий лозунг жизни – работа. Пекари признали наличие у них запасов и отказываются от новой муки. Мукомолы понижают цену. Продовольственная комиссия разрешила выпечку сдобы, чтобы занять безработных. Один принёс народному правительству два обручальных кольца. В городе будет построен Дворец Свободы. Исполнительный комитет издал распоряжение, карающее за продажу денатурата и спирта.

* * *

Николаевский городок. Нижние чины полиции и приставы возбуждают толпу против нового строя.

В **Аткарске** толпа терзала исправника, еле уцелел.

* * *

Царицын. Ошеломляющее впечатление и необычайное оживление после агентских телеграмм. Весть об аресте старого правительства прозвучала благовестом. Экстренные выпуски газет расхватывались. 141-й полк оставил казармы, выпустил арестованных, сжёг гауптвахту и с музыкой направился в город. Чины сыскного отделения и начальник тюрьмы

оказали сопротивление при аресте, отстреливаясь из-за баррикады. Комитет общественной безопасности послал телеграмму Временному правительству: «Держитесь стойко. Просим инструкций.» Священник Горохов в церкви произнёс зажигательную речь с призывом стать на защиту старого порядка и восстать против нового строя. Арестован по распоряжению Исполнительного комитета. Из всех полицейских участков дела выброшены на улицу и сожжены. Охрана города поручена студенческому батальону. Неумолчно играет оркестр военной музыки.

* * *

Козлов. С утра 3 марта некие лица, выдавшие себя за уполномоченных Петрограда, производили разоружение полиции. Их окружила толпа простонародья, среди которой была масса подростков. Появились розвальни под революционными флагами, в них разъезжали по городу и складывали отобранные у полиции шашки и револьверы. Большая часть отобранного оружия попала к примазавшейся толпе. Передают, что вечером на окраинах хулиганы стреляли из этого оружия.

В **Моршанске** гимназисты весело повалили за солдатами на манифестацию со своим гимназическим знаменем из тёмно-синего бархата с золотом, где вырезали дыру на месте двуглавого орла, и с красным знаменем «Да здравствует свободная школа».

* * *

Орел. Циркулярная телеграмма Родзянки была оглашена на заседании думы, но приглашённый губернатор не явился для выработки воззвания. Возникла перестрелка на вокзале, когда жандармы пытались арестовать офицера, привезшего первые сведения из Петрограда. Забыто всё обычное, жизнь в городе забурлила, главная улица переполнена народом. Снарядный завод выработал снарядов в полтора раза больше обычного. Приходили полки и команда выздоравливающих с музыкой и с криками «ура! свобода!». При освобождении тюрьмы получили свободу и все уголовные. Среди них был и генерал Григорьев, предатель крепости Ковно, он уже сел на извозчика, но его заметили и не дали уехать.

* * *

Тула. Солдаты спали, толпа подняла их ночью. Арестованы все власти и начальник гарнизона (но дал клятву верности новому строю и освобождён). Разгромлены все полицейские участки, арестована вся полиция, жандармы сложили оружие, освобождены все политические. По улице дефилируют войска, приветствуемые народом. Все чины Оружейного завода предоставили себя в распоряжение нового правительства, полковник Шампиони – в распоряжение Исполнительного комитета и назначен начальником гарнизона. Направлен воинский отряд для подавления сопротивления в Богородицке. Все вокзалы от Тулы до Москвы в красных флагах.

В **Алексине** во время арестов властей солдаты потребовали, чтобы воинский начальник был проведен сквозь солдатский строй.

* * *

Воронеж ещё и 3 марта был в руках старой власти. Но вечером прибыл поезд с

воинской частью из Петрограда, и они водворили новый порядок: обезоружили стационарных жандармов и энергично снимали городскую полицию. Охота петроградцев за полицией продолжалась весь следующий день. После этого состоялись митинги.

* * *

В Курске настроение восторженное. Губернатор бежал в Крым. Вице-губернатор беспрекословно подчиняется комитету. Полиции оставлено холодное оружие. Толпа пыталась разгромить гнездо марковщины, но более рассудительные элементы остановили погром. Сподвижники Маркова-Второго скрылись. «Курская быль» закрыта за вредное влияние. Архиепископ Тихон заявил, что вполне сочувствует совершившемуся перевороту и благословляет действия нового правительства.

* * *

В Рязани губернатор взял подписку с редактора газеты ничего не печатать о событиях. Но это не спасло его и вице-губернатора, и жандармских чинов, и начальника гарнизона от ареста через несколько дней. Арестован и командир полка, препятствовавший нижним чинам участвовать в освободительном движении. Распущены многие уголовные преступники.

Во Владимире арестован губернатор, его жена и некоторые чиновники с немецкими фамилиями.

* * *

Вятка. Петроградские события явились полной неожиданностью. Администрация отнеслась лояльно. Офицеры местного полка потребовали выдачи им полицейского оружия. На улицах толпы ликующего народа, полиции не видно. Епископ Никандр обратился к пастве с воззванием довериться Государственной Думе. Газета «Епархиальное Братство» вышла с аншлагом: «Привет тебе, народ освобождённый!»

* * *

В Витебске, Калуге, Екатеринодаре, Владикавказе местным властям и заведующим почтово-телеграфных контор ещё и 4 марта удавалось задерживать все сообщения, и сохранялся старый порядок.

Суздаль. Председатель уездной земской управы стал во главе полиции и отказался признать новое правительство.

Арзамас. Исправник вооружил всю уездную полицию и не желает признать власть Временного правительства.

* * *

Рогачев. Уездный предводитель дворянства собрал в земской управе чиновников старого режима, назначил себя председателем временного исполнительного комитета, а их – членами. На другой день молодёжь устроила шествие протеста.

* * *

В Новоржеве учреждения и жилища громят представители петроградских рабочих. Местная общественная милиция не справляется с ними.

В Подольске рабочие сместили уездные власти. Народ занял казначейство.

Кашин. Толпа штатских и солдат вошла в полицейское управление, уничтожила часть дел. Обезоружены станционные жандармы. Временный комитет возглавил присяжный поверенный.

Вязники. Полиция разоружена. Магазины закрыты. В городе образцовый порядок.

* * *

В Уфе епископ Андрей (Ухтомский) издал послание пастве о подчинении Временному правительству.

В Екатеринбурге епископ Серафим в соборе назвал думский Комитет – шайкой бунтарей.

* * *

Тюмень. Комитет устранил от должности начальника почтово-телеграфной конторы, занявшего двусмысленную позицию. Во всех церквях отслужены панихиды по павшим борцам и молебствия о даровании новому правительству сил и преуспеяния, также и над внутренним врагом. Освобождены и поднадзорные, высланные в силу чрезвычайной охраны (по подозрению в шпионстве). В городе воодушевление неопишемое.

* * *

Ташкент. О перевороте объявлено с особой торжественностью. Генерал-губернатор Куропаткин, получив телеграмму князя Львова, собрал войсковые части, учебные заведения, представителей правительственных учреждений, русское и туркменское население – и лично объявил о происшедшем, и затем был отслужен молебен и принят парад. Ассигнован 1 миллион рублей на новое высшее учебное заведение. Ещё до отречения царя Куропаткин призвал подчиняться думскому Комитету.

* * *

Астрахань. Казачий Круг объявил, что Астраханское казачье войско отдаёт себя в полное распоряжение Временного правительства. Избран новый наказной атаман, и состоялся торжественный вынос войсковых регалий из дома бывшего наказного атамана, казачий хор исполнял марсельезу. Общественный комитет поздравил казаков с переходом на сторону народа.

В Баку арестованы главы Союза русского народа и их архив.

* * *

В Ростове-на-Дону новосозданный Гражданский комитет постановил: заявить

местным торговцам, что цены не должны подниматься выше тех, что были 28 февраля. Предлагается обывателям сообщать Гражданскому комитету, где таятся умышленно скрытые товары: они будут конфискованы без уплаты стоимости и обращены к нуждам населения.

Перед особняком Мелконовых-Езеховых, где обычно заседает парамоновский военно-промышленный комитет, у палисадника стояла толпа любопытных. Вдруг из неё выступил прилично одетый мещанин, вышел на середину улицы и закричал толпе: «Господа! Каюсь перед вами: я спекулировал кожей! А теперь – довольно, новая жизнь! Приходите ко мне, я живу на Пушкинской улице, проверьте, сколько у меня кожи – я её всю сейчас отошлю на фронт! Да здравствует революция! Да здравствует дорогая армия!» Раздались долгие аплодисменты.

Гражданский комитет признал также необходимым во избежание появления воззваний провокационного характера уведомить все типографии, что печатать разрешается только такой материал, который скреплён подписями бюро Гражданского комитета и Совета рабочих депутатов. Бюро Гражданского комитета получило сведение, что в типографии Полубатко хранится оружие, которое черносотенцы готовят для контрреволюции. Произвели обыск, но ничего не нашли. «Необходимо создать особый трибунал, по постановлениям которого в будущем будут производиться обыски, аресты и устранение от должностей.»

Из ростовской тюрьмы бежали и рассеялись по городу около 200 мелких уголовных преступников. На ростовских базарах ведётся погромная агитация. Необходимо принять решительные меры.

* * *

Херсон. В каторжной тюрьме 1700 каторжан обезоружили стражу, овладели тюрьмой, освободили ещё 200 каторжан из другого отделения. В это время у ворот тюрьмы собралась волновавшаяся толпа, взломала ворота и освободила ещё 300 арестантов уголовников. Более 2000 освобождённых рассеялись по городу. При отсутствии достаточных сил администрации поимка бежавших затруднена.

* * *

В **Одессу** раскаты очистительной грозы проникли 3 марта, но военная цензура ещё сохранялась. На улицах тысячи людей с летучками в руках обменивались впечатлениями. Генерал-губернатор просил общественных деятелей приложить старания к порядку и по настоянию общественности устранил полицеймейстера, заподозренного в неблагонадёжных приготовлениях. Собрание чинов полиции в присутствии рабочих обсуждало возможность искреннего служения полиции новому строю. Из тюремного замка освободили политических заключённых, оказалось 7 человек. Опасались черносотенных эксцессов. Запрещены собрания Союза Русского народа и Союза Михаила Архангела. Реакционная «Русская Речь» превращена в прогрессивную «Свободную Россию». Газеты полны статей о заре новой жизни. По базарам поползли слухи, что теперь в России будет восстановлено крепостное право. Парад войск на Соборной площади принимал начальник штаба Округа генерал Маркс, пользующийся симпатиями общества и печати. Он преподнёс красную розу «одесской прессе от свободной армии». Красными бантами были перевиты офицерские портупей, и городовые тоже шли с красным флагом. В кресле везли старого политического ссыльного Геккера.

* * *

Киев. Освобожденных из Лукьяновской тюрьмы забрасывали цветами. Среди освобождённых – знаменитая анархистка Таратута, приговорённая к 20 годам каторги и уже бежавшая однажды из одесской тюрьмы. Приостановлена назначенная казнь двух уголовных. Архивы Охранного отделения переданы в распоряжение совета присяжных поверенных. Производятся предварительные аресты в порядке целесообразности. Толпа требует ареста инакомыслящих. По городу произведен ряд обысков в поисках Маркова и Замысловского, которые, по слухам, приехали в Киев. Городская дума постановила включить в свой состав 5 представителей еврейского населения. Организуется объединённый совет еврейских общественных организаций Киева. Перед городской думой произведен парад войск и затем второй парад для неучаствовавших в первом. Обращало внимание малиновое знамя с белым одноглавым орлом – польское знамя 1863 года. Студенты коммерческого института сняли со своих погон медные императорские короны и сдали их на снарядный завод. На городских базарах всего в изобилии, но распускаются тёмные слухи. Чёрные силы не спят.

447

Ещё новое огорчение: вчера от каких-то неназванных офицеров штаба попросили флигель-адъютанта Мордвинова передать Воейкову, что против него и Фредерикса в Ставке царит сильное возбуждение, и среди солдат тоже, почему-то их двоих считают виновниками всего прошлого, – и уже предпринимается их арест. И оттого им советуют обоим как можно скорей уехать из Могилёва.

А – кто эти офицеры штаба, Мордвинов и сам не знал, ему передали через третьи уста.

Вдруг вот так – взять и уехать? В такое время – куда? И какое заблуждение: при чём тут Воейков? при чём Фредерикс?

Затем Воейкова пригласил к себе Алексеев, и тоже подтвердил об этом возбуждении, и так обидно выразился, что в революционное время народу нужны жертвы, и чтоб не стать этими жертвами – зятю и тестю надо побыстрее уехать. Если уедут – вероятно, ничего и не будет, а иначе может восстать гарнизон.

Затем Алексеев явился и к Государю – с докладом о том же: что задержка обоих в Могилёве может вызвать опасность и для самого Государя. Затем пришёл и сам несчастный Воейков, угнетённый: как быть? и куда ехать?

Жаль было его, ещё больше жаль преклонного беспомощного старика Фредерикса, с его многолетней верностью, а теперь разгромленным домом, больной женой в госпитале, – куда же им ещё ехать?

Но раз и разумный Алексеев говорил, что они всех раздражают, то, конечно, безопаснее им уехать. Хуже будет, если их арестуют.

Ехать, разумеется, не в Петроград. Можно – в Пензенскую губернию, в имение Воейкова, пробираться кружным путём, чтоб и в дороге не задержали.

И советовал Алексеев для их же безопасности, незаметности – ехать порознь. Решено было, что Фредерикс поедет на юг – через Гомель, а Воейков – на север, через Оршу. Но как незаметно, если у Воейкова – большой багаж, он как раз оборудовал тут хорошую квартиру?

Свита – начинала таять...

Даже час от часу – заметно пустело пространство вокруг Государя. Вот – не стало приглашённых к завтракам и обедам, а ведь там всегда были люди из Ставки попеременно, или генералы и полковники, приезжающие с фронта. Ставка оставалась рядом – но чем она занималась? – теперь проваливалось в пустоту. Агентских телеграмм тоже не стали Государю доставлять – чтобы не расстраивать его? Сказал Алексеев: там совершенно возмутительные выражения. Может быть и верно. Но – пустело очень.

Раньше были ежедневные подробные письма от Аликс – теперь прервалась и всякая почта с ней. Опустынело. Что там с ними? Что она чувствует и думает? Оставались одни телеграммы – и то с большими задержками, кружным путём, наверно через Думу, через

враждебные руки – как огрязнённые. И даже простые поцелуи и заботы о здоровье неприятно было посылать. Одну такую телеграмму Николай даже зашифровал их семейным шифром.

И только как яркая вспышка прорвалась с Юго-Западного телеграмма от графа Келлера, командира 3-го кавалерийского корпуса: что он не признаёт революцию и ломает свою саблю.

Дал ответную: «Глубоко тронут. Благодарю.»

Едва отрёкся – как быстро уходило и всё могущество, и всё окружение. Лишь одинокие благородные голоса.

И как же дорого было, что матушка – здесь. С кем бы сейчас беседовал эти бесконечные часы, кто бы другой согрел сердце! (Звал из Киева и сестёр, Ольгу и Ксенью, но они не смогли приехать.) Мама решила не уезжать в Киев, а оставаться здесь до конца, пока сын будет в Ставке.

День выдался сегодня ясный, но сильно холодный. После обедни к завтраку приехала Мама. После завтрака долго тихо сидели с ней, неторопливо разговаривали. Хенбри Вильямс уже послал своему правительству телеграмму о плане Николая поехать в Англию. (Удивляет, что ни слова от Георга.) Как только семья уедет в Англию, так и Мама разумеется сразу уедет в Данию, а уж там они будут видеться. Мама уговаривала и их ехать не в Англию, а в Данию.

Сейчас приехала женщина из киевской прислуги и рассказывает, что после отъезда Марии Фёдоровны во дворец явилась комиссия от революционного комитета – искать беспроволочный телеграф, по которому она, якобы, сносилась с немцами. Искали долго и один особенно рьяный член свалился с балки чердака и расшибся. Теперь Мама даже боязно туда возвращаться.

Боже, какое бессилие! Три дня назад он был император всея России, царь польский, великий князь финляндский, – а вот не мог защитить от бесчинства собственную семью!

Пожалуй, разумнее Мама уехать дальше, в Крым.

Отпали государственные заботы – и росло значение забот семейных. Уговорились, что каждый день она будет приезжать в губернаторский дом к завтраку, а сын к ней – каждый вечер в поезд, обедать.

После отъезда Мама гулял в садике. Хотелось поехать за город, но не решался дразнить лишний раз своим видом, своей поездкой. Увидеть, как отворачиваются знакомые?

А вот кого ждал Николай, раз возвратился в Могилёв георгиевский батальон: милого старика Иванова! Днём поступил от него доклад, что ждёт приёма. И теперь, после дневного чая, уже смеркалось, – Николай принял генерала.

Вошёл, выправленный несмотря на старость, на выкаченной груди – все 15 орденов, устойчивость в седой бороде, жизненный корень, отважный честный преданный взгляд. Теперь, когда все отворачивались, вот эти преданные слуги стали сердцу втрое и всемеро дороже. Николай быстро пошёл к нему навстречу, обнял его и даже замер на миг в его бороде.

Он мог бы и ничего не рассказывать! – Николай всё понял.

Но честный старик непременно хотел объяснить шаг за шагом свой трагический неудачный поход.

Прежде всего – о настроении георгиевского батальона. Государь изволил слышать сегодня, как они прошли? И даже видеть? Так вот, опираясь на этих разбойников и предстояло устанавливать порядок, каково? И такой же их генерал Пожарский.

Но самое главное – не прибывали назначенные полки. Кто-то где-то в штабах умышленно их тормозил, замедлял перевозки. Генерал Иванов не хочет никого лично обвинять, но тут был умысел. И потом этот несчастный случай в Луге с лейб-Бородинским полком! – из самых лучших, из самых надёжных! но кто ж ожидал такого коварства мерзавцев, кто ожидал таких приёмов! А разошёлся подлый слух, будто Бородинский полк присоединился к мятежу!

И вот когда генерал Иванов пробился в Царское Село и тут бы как раз начинать действовать – у него не оказалось сил! А мятежниками – набит весь город, и они озоруют, для них ничего святого.

Конечно, если бы грозила опасность царскому дворцу – Иванов рассыпал бы там в снегу и уложил бы весь георгиевский батальон. Но к счастью, как раз дворцу не угрожала никакая опасность – и Конвой и Сводный полк оставались на месте, и мятежники уважали и боялись их.

Бедный старик волновался, ожидая суждения Государя, не совершил ли он где-нибудь промаха, не оступился ли где, – но Николай успокоил его, благодарил, ни от кого нельзя ожидать сверхчеловеческого.

Да, но главное же! Главное, что он дошёл до дворца – и мог лично передать несчастной государыне поддержку и помощь от её царственного супруга!

И на чёрных глазах старика были растроганные благородные слёзы.

Боже мой, так с этого надо было и начинать! Николай Иудович видел государыню своими глазами? Разговаривал с ней?

Да, конечно! Целых два часа! Государыня-то и велела ему уезжать назад.

Боже мой! За всю эту страшную неделю единственный человек, кто сам её видел и вот мог теперь рассказать! Так рассказывайте же, рассказывайте, дорогой! А больных детей – тоже видели?

Нет, была глубокая ночь, и как ни хотела Ея Величество показать детей, – не стоило их будить. Но как мужественна государыня! В каком самообладании она и ясном суждении обо всём. В такие грозные минуты оставшись одна и при больных детях – как она владеет многочисленным населением дворца, всюю службой, прислугой и охраной.

Ничего радостней и облегчительней для Николая не мог произнести генерал! Подумать, он собственными глазами видел её! А – как она выглядит? Похудела, нездорова? Очень беспокоится о нём? Говорила ли – получает письма? А не возникла мысль – переслать письмо с генералом?

Ваше Императорское Величество, кто же мог предположить, когда ваш верный слуга сможет достичь вас? Не ляжет ли он раньше на какой-нибудь станции распластанным трупом от шашки солдата-бандита? Да вот буквально сразу после того как вернулся из дворца – узнал, что готовится крупное нападение на станцию, и с артиллерией, уже окружают эшелон. И начальник станции – в заговоре с мятежниками, чтоб эшелон не ушёл. Только предусмотрительностью и крутыми мерами удалось вывести батальон из-под удара.

Но всё равно, и без письма, через рассказ старика-генерала, дохнуло на Николая родным, ободряющим, – он с гордостью ощутил неуклонную свою подругу.

Старый опытный генерал цеплялся за каждый железнодорожный перегон – чтоб не уйти далеко, чтобы ближе к Царскому Селу и Петрограду собирать силы. Но ведь именно тогда Его Императорское Величество изволили сменить распоряжения, не действовать до собственного приезда, – и покорясь августейшей воле, генерал Иванов был понуждён к выжиданию. Укрепясь в Вырице, предполагал держать этот рубеж или даже двигаться в направлении Гатчины. Но сутки не было никаких более указаний, все идущие войска были остановлены без ведома генерала. А затем 3-го числа пришло распоряжение Ставки, но почему-то через Родзянку, – уходить в Могилёв. Не верил, ещё запрашивал Ставку.

Глаза генерала, переполненные преданностью, выражали этот мучительный поиск решения. Бедный, честный старик, сколько же он натерпелся и какие усилия предпринимал, не по возрасту.

А на обратном пути передали, что на станции Оредеж его ждёт шумный *бенефис* от солдат и рабочих, будут требовать, чтобы батальон присоединился к революции. Приготовился дать серьёзный бой. Но на перроне стояла кучка рабочих лишь человек во сто – и не предприняли действий.

И так он ехал к вечеру 3-го, ещё ничего не зная об отречении. И только в ночь на 4-е, на станции Дно – сказал ему комендант, и то через пассажирские слухи.

Генерал зарыдал. Эти слухи пришлись ему тяжче собственной смерти. Неужели ничего нельзя было спасти? Зачем же Ставка, зачем же великий князь Михаил Александрович поддались злодеям из Государственной Думы?

Николай успокаивал его теперь, волнуясь и гордясь его преданностью.

Батальону – генерал и не объявил тогда, ещё надеялся! Но в Орше получил витебскую газету уже с обоими отречениями.

Он и сегодня был этим болен. Воротясь в Могилёв, он простился со своим батальоном, пожелал ему хорошей службы при новом правительстве – но сам куда теперь?... Что ж ему делать здесь, при Ставке, когда его Государя больше нет, и старый генерал-адъютант осиротел?... (И на могилёвском вокзале – беспорядки, переселился из вагона в городскую гостиницу. И тут его какая-то толпа требовала.) Очевидно, поедет в Киев, где его помнят, где его ценят по прежней службе.

Да, но и в Киеве не безопасно.

Беспомощен был Государь помочь своим верным слугам...

В крепком объятии и поцелуе простился с Николаем Иудовичем, ещё раз благодаря, благодаря.

Дал вторую за сегодняшний день нежную телеграмму Аликс, всё время думая о ней и чувствуя её.

Тут доложили, что просит приёма по важному делу неизвестный офицер лейб-улан. Он вручил Государю письмо генерала Гурко.

Когда Гурко служил начальником штаба, Государь поёживался от его крутости, от прорывов на громкость, – гораздо приятнее было с тихим покладистым Алексеевым. И сейчас письмо он взял в руки с предубеждением. А оказалось – хорошее письмо, тоже хороший генерал, готовый верно служить. Как жаль, что в дни отречения все такие генералы куда-то исчезли.

Некоторые места в письме – тронули, даже слёзы навернулись. Но особенно поразила мысль Гурко, что отречение за наследника, быть может, вдохновлено Богом. Что сейчас наследник не мог бы удержать бразды, а в более поздние годы быть может и вернётся к трону, призванный благомыслящими людьми.

Эта мысль оказалась мила сердцу Государя (надо поделиться с матушкой): не так-то он и ошибся, может быть! Промыслительны пути Господни.

Уже было время ехать на обед к Мама, на вокзал.

Тут пришли прощаться удручённый старик с зятем, верные Фредерикс и Воейков. Фредерикс был совсем согнутый, совсем потерянный, – плакал, что должен на старости лет покинуть своего любимого Государя в беде, и дом сожжён, и семья разорена, – и брести куда-то в неизвестность.

Сердце сжималось, так было его жаль. Но – для него же лучше, надо покориться, не стоит спорить.

Обнял их со слезами.

448

Путь в министерство оказался преграждён ещё и парадными излишествами. Когда вчера Шингарёв приехал на Мариинскую площадь вступать в управление – солдаты охраны пожелали встретить его особенно почётным образом: по своему почину выстроились перед зданием, взяли на караул и рявкнули: «здравия желаем, господин министр!» Шингарёв смутился, никак не ожидал, улыбался мягко: «Благодарю вас», – а они тогда опять кричали: «Рады стараться!» – «На благо Родины», – уговаривал их Шингарёв, как будто это им предстояло теперь окунуться в министерскую гущу.

А поднявшись в здание, обнаружил всех сотрудников, собранных на общий приём. Что делать? Поблагодарил их – и сейчас же:

– Господа! Каждая минута дорога. На благо родины! Расходитесь по местам,

пожалуйста!

Эта встреча могла быть и искренней, а могла быть и старым чиновничеством, – коробило.

Ужаснулся: как велик его кабинет, с окнами на Мариинскую площадь.

А министров стол тоже не оказался разверст к работе, но загромождён красиво разложенными приветственными телеграммами – ему лично как вступающему министру земледелия. И правда трогательно, но и правда же невозможно!

– Это всё – убирайте, убирайте скорей! – распоряжался Андрей Иванович секретарю, хотя не мог преминуть строчку там, здесь, ещё в третьей, – а особенно дорогое приветствие от петроградской городской думы, где состоял гласным: «наш гласный, первый министр земледелия свободной России... почерпая силы в воодушевлении свободного народа... опираясь на поддержку...»

Расчистил – и в бумаги! В сводки поступлений! В подшивки распоряжений! Да даже и в сметы, ибо всё движется финансово.

Действительно, он чувствовал себя подготовленным: и прежними спорами с Риттихом и последними днями в Продовольственной комиссии. Да он и всегда умел быстро разбираться даже и в самом незнакомом деле.

Сейчас он всё больше видел, что дело – не в Петрограде, где возникли все споры, тревога и революция: затягивающей хлебной петли тут не было отнюдь, хватало теперь хлеба и на месяц вперёд. Но та же самая хлебная петля грозила затянуться вокруг фронтов, где тревога ещё и не открылась. У фронтов не было запасов продовольствия, на Юго-Западном особенно, из-за трёхнедельных заносов. Положение было тяжёлое, но в гораздо более расширительном, глубоком и длительном смысле, чем Шингарёв себе представлял. Полтора миллиарда пудов зерна – избытка над потреблением России – томились в амбарах и клетушках в глубине страны, – но как их было взять? Расстроился сам механизм закупок-перевозок и психология производителя. А ко всем препятствиям надвигалась ещё и долгая распутица после многоснежной зимы.

Да затруднения министра начинались не только на российских пространствах, в непроницаемости деревенского мира, – многие затруднения заплетались ещё и тут, в самом Петрограде, у начала всех движений: в самой столице продовольственная организация была путаная, многосложная, самопомешная. И теперь – эта Продовольственная комиссия, направляемая Советом рабочих депутатов? Министр – не мог допустить, чтоб им крутили из Совета депутатов. Всё подсказывало – опередить и выдвинуть какую-то ещё новую, свою организацию, подвластную лишь министру. Вполне мог быть ею, скажем, Общегосударственный Продовольственный комитет (куда войдёт и Продовольственная комиссия), который будет заниматься делами продовольствия всей страны, – а всюду на местах, в губерниях и уездах, придётся создать местные продовольственные комитеты да и посты продовольственных комиссаров, тем более необходимых теперь, что князь Львов отстранил от должностей всех губернаторов, и значит обезглавил губернские продовольственные совещания. Система – была нужна, потому что у министерства земледелия не было своей для сбора продовольствия – оно не было к этому предназначено, оно искони не занималось продовольственным делом (у него и здание было тесно для того), в том не бывало нужды: от производителей к потребителям продовольствие само перетекало через сеть торговых агентов. Если недавняя система рассылки многовластных уполномоченных была исключительно неуклюжа и вредна и теперь подлежала отмене, – то тем настоятельней, в догадках и импульсах суматошных революционных дней, напрашивалась система продовольственных комитетов сверху донизу.

Пока телеграфировал всем городским головам: экономить сахар, масло, яйца, пшеничную муку.

А – так называемая «ликвидация немецкого землевладения в России»? Среди кадетов принято было, что это – любимый конёк правых, – однако и кадеты как патриоты и союзники

англичан не могли же выступать защитниками германских латифундий. А сейчас Шингарёв ясно увидел, что это – безумное разорение крупного культурного землевладения и только дальше подрывает хлебную производительность. Как бы это ни выглядело для патриотизма – а надо было остановить разорение и выселение немцев.

А ещё обнаружил в столе Шингарёв ужасное обязательство прежнего правительства: используя встречный пустой тоннаж союзников, отправить в Англию в 1917 году – 50 миллионов пудов пшеницы и сколько-то много спирта. Испытывая хлебный кризис – ещё отправлять хлеб в Англию??! И – что же мог решить, да решить он не мог, но – выставить правительству что мог Шингарёв? Конечно: не отправлять ни зерна! Но на это ни за что не согласятся его коллеги. Да и сам он – как будет выглядеть перед английскими парламентариями? (Эта яркая прошлогодняя поездка в Англию и Францию ещё картинно стояла в памяти, в душе. Тогда – такая любовь распахивалась к союзникам.)

Да разработаться, углубиться в дело – было некогда: как не налажено было министерство, так не налажено было и всё Временное правительство, – и чуть не половину бодрственного времени требовалось проводить на его заседаниях. А распорядительную работу в министерстве перекладывать на своих заместителей.

Стеснённый всеми предположениями и проектами, поехал Шингарёв к Чернышёву мосту на вечернее заседание правительства. Предстояло ему теперь в два приёма часов шесть, до поздней ночи, присидеть тут.

И час за часом там текли вопросы, которые решились бы и без него.

При всей своей доброжелательности не мог, однако, Шингарёв смотреть на юного миллионера Терещенко, лощёного франта, глупого баловня, почему-то – какими-то тайными влияниями, так и не объяснёнными? – занявшего финансы вместо него. Всё-таки было обидно, – именно здесь вот, рядом заседая. И ни одним замечанием не выказал Терещенко какого-либо опыта или соображения во взятом деле.

Наконец дали слово Шингарёву. Вероятно, и другие устали, скучали, и другим не так уж требовалось слушать дела земледелия и продовольствия – но Шингарёв порадовался разделить тяжесть с коллегами.

По поставкам зерна в Англию он сочувствия не встретил: все считали, что выполнить такое обязательство – долг чести нового правительства.

Просил Шингарёв утвердить проект своего Общегосударственного Продовольственного комитета – и дать указание, как быть, если возникнут разногласия с Советом рабочих депутатов.

Поспешил вмешаться Мануйлов, что такие разногласия – маловероятны, и нет необходимости обсуждать их преждевременно.

Пожаловался Шингарёв, что транспорт не обеспечивает снабжение фронтов, – темнолицый Некрасов ревниво и даже самолюбиво выставился, что транспорт – налаживается. Некрасова Шингарёв и никогда не считал умным человеком, и не видел обогащения правительства в том, что ему, молодому и неопытному, поручили в такие дни транспорт России.

В заседаниях Шингарёв почему-то говорил хуже, чем в общественных речах, где вдохновляет аудитория, и уж конечно хуже, чем работал. Он и замечал, что говорит слишком длинно, надо короче, нельзя все мелочи тут обсудить, заседание всех тяготит, но и так неизведанно, так безопытно было его положение в земледелии, что хотелось знать меру сочувствия коллег и получить, может быть, советы от них. Вот – тоже немаловажный вопрос: с осени прошлого года, от волнений в Семиречьи, осталось много разрушенных общественных зданий и пострадали русские семьи, – так можно ли на восстановление и для бесплатной помощи им сейчас ассигновать миллион? И если да, то откуда его лучше взять?

Но – скука и нетерпение выражались на всех лицах. Семиречье было такое отдалённое, отвлечённое – а тут рядом сипела, не устоялась петроградская революция. Да таких вопросов – куда нужно потратить деньги, у всех полно.

Вот и Коновалов, поправляя пенсне на дородном носу, спешил советоваться и получить согласие. Для престижа нового правительства весьма важно теперь оплатить всем рабочим казённых заводов все дни их участия в народном движении. Это – много миллионов, но иначе мы поступить не можем.

Терещенко-то готов был платить. Но другие министры осунулись: если платить заработную плату за революцию, за демонстрацию, – то во что это может обойтись дальше?

А ещё Коновалову необходимо создать отдел труда (оплата штатов). А ещё он нуждается в третьем заместителе (оплата должности).

Миллюков (эти дни почему-то похолодавший к Шингарёву, то ли не стало общих дел по фракции), ни разу не вынесший на обсуждение ничего крупного из иностранных дел, сидел с выражением плавающего всезнания. Но теперь тоже оживился: правительства Великобритании и Соединённых Штатов просят разрешения на вывоз из России лёгких кож.

Тут встрепенулся и Керенский, до того тоже погружённый в мысли: вот что, необходимо бесплатно предоставить Совету рабочих депутатов казённую типографию для их изданий.

Уже хотели согласиться автоматически, но всё ж раздались возражающие голоса: ведь требованиям Совета конца не будет?

Тут самого Керенского князь Львов стал нежно-уговорно вовлекать в проект: ехать в Москву, там большой размах общественного движения, а не всё правильно понимается, надо авторитетно объяснить.

Так показалось, что между ними уже был сговор, потому что Керенский, не успев удивиться и ни о чём более не спросив, с порывной готовностью и сразу согласился ехать.

А ещё большой, если не важнейший оставался вопрос: обращение нового правительства к народу, его первое программное обращение. Некрасов представил проект, который вызвался прошлый раз написать (впрочем, писал не он, а Набоков), – но Мануйлов, тогда отказавшийся, теперь стал профессорски-язвительно возражать, придирается и к важному, и к мелочам.

И тогда поручили ему и дорабатывать – с помощью Кокошкина и просить Винавера. Трём профессорам. И это должно быть не рядовое воззвание, но великое и продрагивающее!

Поздно уже было, которая бессонная ночь, головы не работали.

449

Во многих прежних революциях и революционных попытках многое изучил Ленин (для революции только и родился и жил он, что ж другое знать ему лучше?) и имел своих излюбленных лиц, моменты, приёмы и мысли. А видел своими глазами единственную одну – не с начала, не всю, не в главных местах, – и в ней-то не принял никакого участия, поневоле только наблюдал, делал выводы и послевыводы.

А была другая – в другой стране и ещё при его младенчестве, с которой он ощущал сердечную роковую связь, как бьётся сердце при имени возлюбленной, род неборимого пристрастия, боли и любви: её ошибки – больше всех других; её семьдесят один день, как высокие решающие дни собственной жизни, – перешупаны по одному; её имя всегда на устах: Парижская Коммуна!

На Западе если ждали объяснений, если признавали его мнение важным, то – по русской революции Пятого года, и он регулярно докладывал о ней, чаще всего – 9 января, в дату, самую приметную для западного понимания (так и в этом году, в цюрихском Народном доме, предупреждая слушателей: «Европа чревата революцией!», главным образом швейцарскую имея в виду). Но о той, из-под рук уведённой у него революции, говорить было скучно (а что ревниво вывел в оспаривание Парвуса и Троцкого, то лучше было пока вслух не говорить). О Парижской же Коммуне никто его не спрашивал, многие могли рассказать достовернее, но его самого тянуло к ней прильнуть – истерзанное место к истерзанному, рана к ране, как будто друг от друга они могли зажить. И когда всем – участникам и

неучастникам, пришлось по одному, укрытно, тайно бежать из проигранной России, – женевской гнилой зимой 908 года, павший духом, рассоренный со всеми единомышленниками, раздражённый выше всякой нервной возможности, он одиноко прильнул писать об уроках *Парижской Коммуны* .

Так и в нынешнюю нервную зиму, затасканный по кружковым шушуканьям Кегель-клуба, ощущая в себе физическую робость выйти перед большим наполненным залом, перед множеством людей, – вдруг получив устроенное Абрамовичем приглашение в Шо-де-Фон прочесть реферат о Парижской Коммуне в годовщину её восстания, 5 марта (вокруг Шо-де-Фона ещё с гугенотских времён жило много бежавших французов, и коммунары бежали к ним туда же, и были все их потомки теперь), – Ленин согласился с высшей охотой.

А тут налегла эта весть о русской революции и с каждым днём всё больше раскручивалась.

Трёх суток не прошло от первого непроверенного известия из России (трёх суток – сплошных, потому что не было сна все три ночи, но ушла головная боль, вот удивительно! ушло всякое болезненное состояние, так резко прибавилось сил!), а сколько же за эти 70 часов пробежало, прогорело, прогудело через грудь и голову, как через дымоход большой печи! Так мало зная, выкраивал из обрезков, составлял картину за картиной – **как там ?** и на каждый вариант давал решения. Его решения, при его теперь опыте, все были безупречно верны, но всякий раз обманчива картина, и последующие телеграммы опровергали и изменяли предыдущие. А своей надёжной информации из России не было и не могло быть никакой.

С годами узнаёшь самого себя. Даже без интеллигентского самокопания нельзя не заметить некоторых своих свойств. Например инерцию. В 47 лет не легко даются кидания. Даже увидев, угадав правильные политические шаги – не сразу разгонишься. А когда разгонишься – остановиться так же трудно.

Громовая новость из России не сбила вмиг с прежнего движения, не забрала в одну минуту, – но забирала, забирала всё сильнее. И уже первая ночь прошла в муках своей ошибки: почему, почему не переехал в Швецию полтора года назад, как звал Шляпников, как предлагал и Парвус? зачем остался в этой безнадежно-тупоумной буржуазной Швейцарии? Так казалось ясно все годы войны: ни за что из Швейцарии! пересидеть здесь до конца. А сейчас так стало ясно: ах, надо было уехать вовремя! Для раскола ли шведской партии, для близости ли к русским событиям – но в Стокгольм! Туда можно и вызвать кого-нибудь из России, из наших, например думских депутатов, если вернутся из Сибири.

И раньше это можно было сделать совсем незаметно – через Германию конечно, единственным разумным путём. А сейчас, когда все зашевелились, забурили, обсуждают, – незаметно вышмыгнуть уже нельзя, ах чёрт!

Однако и бездействовать нельзя ни минуты: что там удастся, не удастся, а действовать надо начинать! И утром 3-го, едва проснувшись, захопотал отсылать испытанным путём фотографию для проездного паспорта – Ганецкому. (Бедняга Куба тоже натерпелся: в январе был арестован за нелегальную торговлю, выслан из Дании.) И следом же дал телеграмму, объясняя открыто (как будто б сами не догадались, зря, сорвался, от нетерпения): фотографию **дяди** (значит Ленина) немедленно переслать в Берлин Скларцу, Тиргартенштрассе 9.

Надо было мириться со всей компанией Парвуса незамедлительно, больше никто не мог помочь и вывезти его.

Утро 3-го принесло и новые телеграммы: будто бы царь отрёкся!!! (Да возможно ли так стремительно? совсем без боя?? да что ж могло его заставить???) Э-э, тут какая-то западня. А кто – вместо него? Нет Николая, так будет другой, поумней.) И будто создано Временное правительство (а надёжно ли арестованы царские министры?) с Гучковым, Милюковым и даже Керенским (луиблановщина презренная, до чего ж эти лжесоциалисты любят всунуть задницу в буржуазное кресло).

И – что за восторг у эмигрантских болтунов? – уж тут ни один рот не закроется до вечера и до утра, розовое бляенье. А вдуматься: полную неделю заливали Петербург рабочей кровью и – как во всей европейской истории, 1830-й, 1848-й, вечная доверчивость масс! – отдали чистенькую власть этой буржуазной сволочи, этим Шингарёвым-Милюковым. Какой старый шаблон!

В эмигрантской библиотеке пусть вываливают языки, но истинный революционер – насторожись! напрягись! следи! Там сейчас такого напугают, всё отдадут в поповском умилении, ведь настоящих тактических голов нет ни у кого. Жгло, что сам – не там, невозможно вмешаться, невозможно направить.

Всю зиму не вспоминал Коллонтайшу, но вот за несколько дней стала она – из главных корреспондентов, переместились события к ней туда. И едва отослав фотографию Ганецкому, сел за письмо Александре Михайловне: разъяснить, как мы будем теперь. Наши лозунги – всё те же, конечно: превращать империалистическую в гражданскую! А что кадеты у власти – так это даже-даже-даже хорошо! Пусть, пусть милейшая компания обеспечит народу обещанную свободу, хлеб и мир! А мы – посмотрим. А мы – вооружённое ожидание! Вооружённая подготовка к более высокому этапу революции. И социалистам-центристам, Чхеидзе – никакого доверия! никакого слияния с ними! мы – отдельно ото всех! мы – только **отдельно** ! Мы – не дадим себя запутать в объединительные попытки, И вообще: будет величайшим несчастьем, если кадетское правительство разрешит легальную рабочую партию, – это очень ослабит нас. Надо надеяться, что мы останемся нелегальными! А если уж навяжут нам легальность, то мы обязательно сохраним подпольную часть: в подпольи – наша сила, подполье совсем покинуть дам нельзя! Мы должны будем вырвать у кадетских жуликов **всю** власть. И только тогда будет «великая славная» революция!... Я – вне, вне себя, что не могу тотчас же ехать в Скандинавию!

А 4-го с утра все сведения опять обернулись: кадетское правительство совсем ещё не победило, царь – нисколько не отрёкся, но – бежал, но – неизвестно где находится, а по шаблону всех европейских революций совершенно понятно: собирает контрреволюционную тучу, он собирает свой Кобленц. А даже если это ему не удастся, он может выкинуть вот что, да, вот что: он, например, убежит за границу и издаст манифест о **сепаратном мире** с Германией! Да, очень просто! И они же очень коварные, Романовы. (И на его месте так и надо делать, блестящий шаг: мужицкий царь-миротворец!) И сразу – народное сочувствие к нему в России, кадетское правительство шатается и бежит, а Германия – Германия перестаёт быть союзником нашей революционной партии, мы им уже больше не нужны... (О-о-о, ехать в Россию надо ещё сильно подождать, ещё там делать нечего. И зачем послал Ганецкому телеграмму? – глупость какая, дал след.)

Александра Михална, боимся, что выехать из этой проклятой Швейцарии нам не так скоро удастся, это очень сложное дело. Мы лучше всего поможем, если будем вам из Швейцарии посылать советы.

Итак, товарищам, уезжающим из Стокгольма в Россию, надо дать чёткую тактическую программу. Это можно представить тезисами... Рука уже пишет тезисы... Главное для пролетариата – **вооружиться** , это поможет при всех обстоятельствах: сперва раздавить монархию, а потом – кадетских империалистических грабителей... А, Григорий! Помогайте, садитесь. Значит, новое правительство не сможет дать народу хлеба, а без хлеба их свобода никому не нужна. А хлеб можно только **силой отнять** у помещиков и капиталистов. А это может сделать только рабочее правительство (только мы)... Да! дописать Коллонтайше: познакомьте с этими тезисами Пятакова и Евгению Бош. (Пришла пора – нельзя пренебрегать и поросятами. Сейчас никем нельзя пренебрегать. Сейчас вот кто бы пригодился – Малиновский! ах! замарали человека, не реабилитируешь. А он в лагерях военнопленных очень положительную работу ведёт. В январе ещё раз заявили, в его защиту. Надо – спасти, надо – вернуть.) Дальше... Вот важная мысль: надо не упустить пробуждать отсталую прислугу против нанимателей – это очень поможет установить власть Советов. Что значит подлинная свобода сегодня? Это, во-первых, перевыборы офицеров солдатами. И

вообще – всеобщие собрания и выборы, выборы во все места. И отменить всякий надзор чиновников над жизнью, над школой, над... А нынешняя свобода в России – крайне относительная. Но надо уметь её использовать для перехода на высший этап революции. И ни Керенский, ни Гвоздев не могут дать выхода рабочему классу... Ладно, почта скоро закрывается, надо нести отправлять.

Но смотрите, Григорий, обещают амнистию? Амнистия – всем, значит и свобода всем левым партиям? Неужели решились? Плохо. Это плохо. Теперь легальный Чхеидзе со своими меньшевиками развернётся – и займёт все позиции, все позиции раньше нас. И опять нас обгонят?...

Нет, нет! Нельзя сидеть сложа руки, надо что-то готовить. И быстро! Поедем не поедем, революция ещё и назад может покатить, сколько раз так бывало, ничему доверять нельзя, – а мы должны на всякий случай готовить путь. И вот что... Сегодня – суббота? Плохо. А всё равно: катите-ка в Берн назад, да, поезжайте немедленно назад, а больше некому: постарайтесь застать дома Цивина, сегодня поздно вечером бы самое лучшее, а то он на воскресенье куда-нибудь уедет. И пусть – прямо идёт в немецкое посольство. В понедельник! Надо же это кольцо заклёпанное прорывать. Почему Ромберг сам молчит, никого не посылает? Удивляться надо. Они должны быть заинтересованы больше нас: мы можем хоть обдумывать путь через Англию, а у них же никакого другого выхода нет. И научите Цивина так: ни в коем случае конкретно обо мне и вас, что вот именно нам двоим нужно ехать, но что многие бы хотели, между ними и мы. Так позондируем – какие возможности?... Что надо просить? Допустим, чтобы Германия сделала публичное заявление, что она готова пропустить в Россию всех, кто... кого влечёт туда свободолюбие. Вот так. Для нас такое заявление было бы вполне приемлемой основой.

А вот ещё! Все эти дипломаты – они же дубины, они в революционном движении ничего, никого не различают. Пусть Цивин придаст нам весу. Пусть скажет загадочно, так: революционное движение в России **полностью** руководится из Швейцарии. Каждая важная акция должна быть прежде всего решена в Швейцарии. Буквально: в России не делают ни одного важного шага, не получив указаний от нас. И поэтому в нынешней обстановке... Поняли? Ну, поезжайте. Мне завтра тоже на поезд рано утром, в Шо-де-Фон, на реферат.

Такое настроение было к Коммуне три дня назад – а вот, растеребилось.

Сегодня утром, по спешке и рассеянности, Ленин надел шапку совсем затрёпанную, не ту, – и в Шо-де-Фоне председатель профсоюза принял его за бродягу, не хотел верить, что это и есть ожидаемый лектор.

Днём (воскресенье) в клубе часовщиков читая по-немецки – не по писанному, по коротким тезисам развивая свободно – реферат «Пойдёт ли русская революция по пути Парижской Коммуны?» перед двумястами собравшимися, Ленин плохо ощущал своих слушателей, что им интересно и чего они ждут, он как будто потерял чувствительность – не видел зала, не ощущал бумаги в руке и обронил чувство времени. Да больше: он потерял нежность к своей исконно-любимой Коммуне и, затягиваемый, незаметно сам всё более затягиваемый, уже сливал два опыта двух революций, не столько в формулировках, сколько в забегавших мыслях и чувствах, два опыта – Коммуны и **этот**, внезапно расцветший, – обманной? или единственный, всю жизнь готовленный: не повторить нам ошибок Коммуны, её двух основных ошибок: она не захватила банков в свои руки и была слишком великодушна: вместо повальных расстрелов враждебных классов – всем сохраняла жизнь и думала их перевоспитывать. Так вот, самое губительное, что грозит пролетариату, – это великодушные в революции. Надо научить его не бояться безжалостных массовых средств!

Что там вывели часовщики Шо-де-Фона, а сам Ленин всё больше захватывался тревогой: ведь время утекает! Пока читается тут реферат, а там, в Петербурге, что-то утекает неповторимо, кто-то жалкий и недостойный всё более вцепляется во власть.

Тут на трибуну заступил французский лектор, а Абрамович собрал всех здешних русских, и, пока было время до поезда, минут 25, Ленин стал и им читать что-то вроде реферата – да всё о том же, только теперь уже без сравнений, прямо – что забирало и их и

его, и прямыми же словами кончил:

– Если понадобится, то мы не испугаемся повесить на столбах восемьсот буржуев и помещиков!

Поезд покачивал, а он – всё думал и думал. В Петербурге нет настоящей силы. Сила – это царь с его аппаратом, но их вытолкнули. Сила – это армия, но она прикована к фронту. А кадеты – никакая не сила. А Совет депутатов – много ли весит? как он там? И большая опасность, да почти наверняка, его захватывают сейчас чхеидзевые меньшевики. В Петербурге – пустота, в Совете – пустота, и засасывающе ждёт, зовёт – его силу. И если бы успеть взять Петербург – можно было бы потягаться и с армией, и с царём.

Так – ехать? Решиться – ехать???

Побалтываемый быстрым бегом поезда, во втором классе, Ленин сидел у окошка, отражаясь в его темноте вместе со светлой внутренностью вагона, смотрел, смотрел, не замечал, как давал билет на проверку раз и другой, не слышал, как проходили, объявляли станции, – думал.

Ехать?...

То состояние, когда не видишь, не слышишь – сидят ли тут ещё в вагоне другие. При окне – один, в поезде – один, и потому Инесса – не в Кларане, Инесса едет с ним рядом. Как хорошо, давно так не говорили.

Понимаешь, ехать – никак нельзя. И не ехать – никак нельзя... А вот что: а не поехать ли вперёд пока тебе? Ты и ничем не рискуешь. И тебя везде пропустят. (Это – вполне невинно, это – не противоречие: кого любишь – того и посылаешь вперёд, естественно, о ком больше всего заботишься – вместе с тем человеком и о деле заботишься. Так – всегда, а как же иначе? И если не отказала прямо – значит согласна.)

Скоро год как не виделись. И уже как-то оно распадалось... Но в день знаменательный, коммунный, счастливый, болтаемый в поезде бок о бок с Инессой, – он тепло и радостно почувствовал прежнюю близость её и неизбежную надобность её, так почувствовал, что два слова сказать ей всамделишных – вот сейчас загорелось, до завтра нельзя отложить!

И на одной станции выскочил, купил открытку. На другой – бросил в почтовый ящик.

... Дорогой друг!... Прочёл об амнистии... Мечтаем все о поездке...

Определённо – да: мечтаем. Вот сейчас отчётливо: мечта!

... Если поедете – заезжайте. Поговорим...

Ну правда же, ну надо же повидаться... Миг-то какой! Приезжай!...

... Я бы дал вам поручение узнать тихонечко в Англии, мог ли бы я проехать...

Англия, конечно, не захочет пропустить: враг войны, враг Антанты. Но как бы её обмануть, Англию?

Впрочем, через Францию-Англию-Норвегию ехать – это может уйти и месяц. А новая власть за это время отвердеет, найдёт свою колею, покатится, – и уже не расшатаешь её, не свернёшь. Надо спешить, пока не затвердела.

Так же и война: привыкнут люди, что война и при революции продолжается, и тоже не свернёшь?

Потом: немецкие подводные лодки. Уж такого момента дождавшись – и теперь рисковать? Могут только дураки.

Ночью, уже у себя на Шпигельгассе, перерывисто спал. И через сон и через явь всё настойчивей начинала нажигать эта мысль: ехать? Поехать?...

450

В неметенной аудитории женского медицинского института, на полу окурки, а из пяти лампочек трёх нет, выкручены, – заседает впервые собранный выборгский районный совет рабочих и солдатских депутатов. В рабочих куртках, в шинелях, повтиснулись на скамьи перед пюпитрами как зажатые, хоть отдери насадку. Человек шестьдесят, – ещё не все знают, ещё не все делегатов прислали.

Выборгский совет – очень для нас важный, его надо захватить. Да так, по знакомым лицам, Каюров и Шутко смекают, что наверно за большевиками будет большинство. Но лидер меньшевиков по кличке Макс, важный интеллигент, всё же устроился за кафедрой делать первый доклад.

Но не сказал и нескольких фраз – дверь распахнуло скаженно как ветром – стук об стену ручкой! – и вошли в чёрных бушлатах два матроса, а на боках у них, не по форме, большие маузерные кобуры. Первый – долговязый, звереватый, сильно небритый, второй – по плечо ему, голова как тыква.

И от двери, в четыре руки сильно размахивая, быстро туда – на возвышение, где председатель и докладчик. А оттуда, повернись, звереватый грозно:

– Товарищи! Мы сейчас – из Кронштадта прямо!

Им захлопали.

Председатель успел вставить:

– Предоставляю вам слово.

А долговязый уже хрипел-гудел:

– Товарищи! Четыре дня назад революция освободила меня из Шлиссельбургского замка. Оставил там сдачу, семь лет каторги. И поехал сразу свой Кронштадт смотреть. И – что увидел?

Света не хватает, не так хорошо его лицо видно, но запрокинул голову, как задыхаясь:

– В Кронштадте царствует и управляет – контрреволюция! Совет депутатов обпутали, прислали Пепеляева, комиссара от Думы. Руки в карманах матросам не держать, революция окончена, анархию прекратить, война до победного конца. В Морском соборе служат молебен по завоёванной свободе. Пепеляев заседает в офицерском собрании, кадки с цветами, приглашённым матросским депутатам подают на круглых столиках в чашечках чай с печеньем. От Гучкова телеграмма: свобода завоёвана, спустить боевые флаги, враг у ворот, а агенты разрывают единство нации. Товарищи! Буржуазия у власти, а мы на задворках? Кронштадтская газета – всё врёт! У нас должна быть своя газета.

Для того и послали туда большевики мозговитого Семёна Рошала, ещё не справился?

Из зала кричат:

– А что, офицеров повыпускали?

Тыква, внушительно:

– Не, сотни две ещё под арестом. Выводят их улицы подметать, грузчиками работать.

А долговязый:

– Товарищи! Кто же возьмётся за Кронштадт, если не Выборгский район? Вы должны немедленно слать в Кронштадт стойких и надёжных! Надо перетряхнуть там всех и вырвать заразу с корнем! Иначе мы останемся с револьверами против фортов и кораблей.

А его-то кобура, окажись, и расстёгнута была – и он выхватил над головищей огромный маузер:

– Надо немедленно разогнать гидру – и захватить крепость!

Тут Макс решил вежливо возразить:

– Но это всё не нас касается, товарищ. Вы – идите в Петроградский Совет.

Звереватый обернулся на Макса, потряс револьвером – вот сейчас пришьёт его на месте:

– Я знаю, кого касается! Я – знаю, куда пришёл! К херам ваш меньшевицкий холуйский Петроградский Совет! Ещё проверим и этот Совет, кто там заседает! Мы – не верим Чхеидзе, не верим Скобелеву, пошли вы все к трёпаной матери! Форты и корабли – наши кровные! Не спускать боевых флагов! Революция – только начинается! На кого направим орудия – на того и направим. Мы! Сами!

И тыква – кричит собранию, глаза кругом напрокате:

– Са-а-а-ами!

И – захлопали им, захлопали.

Долговязый спрятал маузер.

И – к чертям пошла повестка дня, доклад Макса, – стали выбирать надёжных товарищей для Кронштадта.

Каюров и Шутко уже допёрли, что это и есть тот Ульяновцев, которого судил в октябре военный суд, Шляпников их защищал забастовкой, а три дня назад послал Ульянцева в Кронштадт.

Хотя там – Рошаль, и тоже не один, ну пусть и эти охотников набирают, сильнее наша сила будет!

451

Начальник псковского гарнизона генерал Ушаков был спасён в последнюю минуту – но отнюдь не силой и волей Главнокомандующего фронтом. Уже его волокли – стрелять, рубить или топить в Великой – как подскочили два молодых солдата и неистово кричали, останавливая. До штаба фронта теперь в пересказах это дело дошло так. Ушакова тащили за то, что он был строг и жёстко держал гарнизон, рассыпая наказания. А молодые солдаты задержали толпу свидетельством, что они сами лично получили от генерала Ушакова помилование невиновному солдату. И толпа сразу смиловалась и отпустила генерала, даже прося у него прощения.

Тот случай с помилованием помнили и в штабе. На перроне станции Псков постоянно дежурил младший офицер, проверяющий увольнительные записки и документы солдат. Однажды дежурил прапорщик Кук, эстонец, он задержал подвыпившего солдата, а тот, не подавая документа, оттолкнул офицера и побежал со всех ног, прапорщик за ним. Прогнался саженой двести, по путям в сторону товарной, не догнал – выстрелил из револьвера и ранил. Солдат и раненный ещё с версту бежал, упал. Его отвезли в больницу, а после выздоровления предали военно-полевому суду за оскорбление офицера в районе военных действий. Военно-полевой суд приговорил к расстрелу. Тут же быстро приговор был утверждён и генералом де-Бонзи. А солдат рыдал в камере, он был неграмотный и не мог написать прошения о помиловании: что он на фронт пошёл добровольцем и награждён георгиевской медалью, и за это отпущен в отпуск к себе во Псков, и только выпил с родными «ханжи» и пошёл прогуляться на станцию. Офицер, дежурный по гауптвахте, сжалился и позвал двух образованных солдат, – вот это как раз и были нынешние свидетели, переменявшие в минуту настроение толпы: они рассказали, как написали прошение и, торопясь в последние часы, решились пойти к генералу Ушакову – и тот похвалил их, а на кого-то кричал по телефону, что нельзя своих солдат расстреливать. И заставил тот же самый суд собраться ночью. И они послали просьбу о смягчении.

Так теперь – спасли Ушакова. А других арестованных офицеров толпа хотела сдать под охрану милиции, начальник милиции отказался взять, тогда – арестовать и его самого! «Отправим всех к Гучкову!», депешу в Петроград.

Ушакова успели спасти – а вот Непенина никто не спас.

И спасут ли Николая Владимировича Рузского, если потащат и его?...

От самого парада его ломила жестокая мигрень. И – не мог успокоиться, ни в каком занятии.

Такой необеспеченности и неуверенности, как сейчас, он просто за всю жизнь не испытывал.

Рузский и по себе всего более склонен был впадать в настроение мрачное и даже в отчаяние. Но принуждал себя не проявлять.

Мнилось – что-то успокоили сегодняшним парадом. Ничего подобного: к вечеру опять вспыхнули беспорядки и насилия. На улице схватили адмирала Коломийцева, георгиевского кавалера, – разъярённые солдаты неизвестной части оскорбляли его и поволокли под арест. Прибежали доложить Главнокомандующему – но что мог сделать Рузский, кого послать? На комендантскую роту при штабе и на ту не было надежды. И если не постыдились тащить георгиевского кавалера – то что мог бы поделаться с ними и сам Рузский, со своими тремя

георгиевскими крестами? (Его грудь усыпана была крестами, как ни у кого из генералов: Георгий 4-й степени за бои на подступах ко Львову, 3-й – за взятие Львова, 2-й – за отражение противника от Варшавы.)

Да вся обстановка – в отношении Петрограда и революции – была слишком деликатна, чтобы позволить себе опрометчиво, грубо действовать. Ни от Ставки, ни от нового правительства Рузский не имел приказа действовать определённо подавительно. Да если б и имел – он не посмел бы противопоставить себя моральному авторитету революции.

В нынешней катастрофической обстановке самой правильной и самой тактичной была находка Рузского: ему, Главнокомандующему, прибегнуть прямо к петроградскому Совету рабочих депутатов, найти понимание – у него, и просить поддержки – у него. Вот только дожидаться возвращения Михаила Бонча.

Так думал он, но вдруг неприятнейшим диссонансом – подали ему привезенное из Петрограда, чуть ли не солдатом, письмо – от Бонча! – только от того, второго, революционного, Владимира. И тот (неизвестно по какому праву так прямо обращаясь) весьма развязно и с тоном превосходства спрашивал: насколько искренно воинские чины Северного фронта приняли новый государственный строй?

Вопрос – в упор, и вопрос, конечно, прежде всего о самом Рузском, – и генерал даже вспыхнул от обиды. Такое спрашивалось – о нём, который, можно сказать, и создал этот новый государственный строй, потрудясь для этого больше, чем сам Петроград! (Впрочем, надо понять и революционера: почему он должен доверять царскому генералу?) Вопрос подвергал сомнению революционную лояльность Рузского – и его нельзя было оставить без ответа!

Но как досадно оборачивалась родственная связь – не помощью, а помехой!

А Михаил Бонч – всё никак не ехал и не ехал из командировки!

В плохо защищённом штабе, когда революционная стихия мела по улицам Пскова, особенно ощущалась реальность власти петроградского Совета и неизбежность оправдываться.

Обвинение было так серьёзно, весь момент такой острый и переклончивый, – Рузский решил ответить Бончу открытой телеграммой. В расчёте всё же на родственную связь – не Председателю Совета, а именно Бончу.

Что он сам, генерал Рузский, и подчинённые ему армии и воинские чины вполне приняли новое существующее правительство – впредь до решения Учредительного Собрания. Однако и просит он содействия, чтобы... как помягче их назвать?... *уполномоченные* и другие лица Совета, прибывающие в пределы Северного фронта, прежде чем обращаться к рабочим или войскам, обращались бы предварительно к Главнокомандующему, дабы установить полную связь. Что Псков как ближайший пункт к Петрограду имеет огромное значение, и всякие волнения в нём совершенно недопустимы. Между тем приезжают... гм... *делегаты* и обращаются непосредственно к населению и войскам...

Нельзя было выразиться мягче, но и вместе с тем отстоять же положение штаба фронта.

А на улицах Пскова продолжали хватать и хватать офицеров – что делалось?!?

А перекатя Псков, волна насилий и необузданности катила к Риге! к Двинску! В 1-м Сумском гусарском полку – командир полка исчез, видимо был убит тайно? А другой полковник того же полка – убит открыто. В Режице вспыхнул бунт гусаров. Из разных мест фронтового расположения телеграфировали об арестах или убийствах военных комендантов, начальников гарнизонов или командиров отдельных частей!

Уже завтра это могло доброситься и на передовую, до самых действующих частей на Западной Двине.

Да Двинск – разве не был почти передовой? Загорелось и там: солдаты арестовали генерала Безладнова – и командующий 5-й армией Драгомиров не мог воспрепятствовать. Да и Выборг, который также относился к Северному фронту, ждал от Рузского вызволения своим арестованным офицерам.

В самый штаб фронта солдатская толпа не ворвалась ни разу (они с этим местом не привыкли иметь дела, ничто отсюда не коснулось их прямо), – зато втекали офицерские испуг, отчаяние: возможно ли дальше служить и командовать? Просто оставаться на своём служебном месте стало требовать от офицера больше нервов, чем в открытой атаке: здесь грозила не смерть только, но позор, унижение, – хуже смерти! И что же можно делать против толпы собственных солдат?

А если наступит массовый паралич офицерства – какая тогда армия?

Рузский впал в самое мрачное состояние. Искать непосильный выход – предстояло именно ему, потому что фронт его был ближе всех к Петрограду, первый испытал налёт – и первый должен был найти защиту. А ждать решительное и спасительное от нынешней Ставки, – кто теперь Ставка? Да к ним, до Могилёва, докатится не сразу, они и будут киснуть в ожидании.

Но во Пскове нельзя больше ждать, а – либо устоять под Ударом событий, либо рухнуть. Ещё таких дня три – и никакого Главного Командования в руках Рузского вообще не останется. Да сама нервная организация Рузского не давала ему бездейственно ждать.

Ответ от Бонча из Совета, однако, не приходил. Да нельзя было и надеяться твёрдо. А между тем главное спасение – несомненно не в правительстве, а в Совете.

И подумал Рузский так: не надо ждать ответа от Бонча. Надо энергично и прямо обратиться в сам Совет. Но – солдатскими устами, вот находка! Послать в петроградский Совет прямую солдатско-офицерскую делегацию и объяснить Совету всё устно, чего нельзя описать.

Сейчас же составить. И безотлагательно отправить. Они съездят за один день – и всё спасут. Объяснить Совету неформально: как губителен для Действующей армии «приказ №1». Не могут же депутаты Совета хотеть развала русской армии! Они просто, в понятном порыве к свободе, сами не понимали, что делали, когда издавали. А сейчас Совет поймёт, призовет успокоиться, – и всё успокоится.

Так ненормально потекли события: то петроградские власти неуставно обращались прямо к Главнокомандующим, то теперь Главнокомандующий – прямо к петроградским властям.

А засим, засим – не мешает Рузскому обратиться само собой и к Временному правительству, и к дремлющему Алексееву. Никто из них не может помочь отдельно, но, может быть, помогут все вместе? Послать одинаковую телеграмму всем сильным людям правительства – князю Львову, Гучкову, Керенскому, копию Алексееву, так будет соблюдено и чинообращение, и голос призыва достигнет по самому короткому пути. Напомнить, что весь начальственный состав полностью признал новый государственный строй. (Обидней всего, что факт этого признания, особенно штабом Рузского, как бы пропал впустую.) И вот – возникает опасность развала армии перед самым весенним наступлением. И этот развал неизбежен, если не последует немедленное авторитетное разъяснение центральной власти.

Впрочем, и одной разъяснительной бумагой тут не отделаться, нужны живые речи – речами только и можно сейчас уговорить толпу, в чём бессильны законопоставленные генералы. Да вот как посылает сейчас правительство в министерства и в губернии *комиссаров* – это будет подходящее слово, так бы прислать и на фронт. И комиссары бы успокоили население, и нижних чинов, что никакой опасности новому строю от офицеров не угрожает, а все должны дружно действовать для победы.

Посоветоваться с Даниловым? Но Данилов не мог оценить тонкости применённого метода. Он – не Бонч, у него нет определённых и передовых убеждений. И вообще – напроломный, грубый, давящий человек.

Но служи с кем приводится.

Приготовил на завтра делегацию. Велел рассылать телеграммы.

Умно это всё Рузский рассчитал.

И вдруг – появился генерал Бонч! – приехал! наконец-то! В полном самообладании, и

всё одобряет.

И тотчас назначил его Рузский – начальником псковского гарнизона вместо Ушакова. Уж если этот не уладит!...

452

Развивались мысли Гучкова так: если придётся устраивать охрану Царского Села, то и откладывать этого нельзя, нужно теперь же. Просто сегодня же, пока ничего не случилось. И, очевидно, не через кого это устроить лучше, как через нового командующего Округом. А ему всё равно надо съездить посмотреть на царкосельский гарнизон. А неплохо вместе с Корниловым поехать и самому Гучкову. Не то чтоб это было так нужно для дела, но томился он от застылости всех остальных дел, от бессилия своего, и пустой воскресный вечер, и домой не хотелось.

Позвонил Корнилову и пригласил его приехать вечером для поездки в Царское Село.

Ещё один вспомнил долг: семья Вяземских. Позвонил Лидии, сестре убитого. Можно было проведать их сегодня, но завтра, узнал, отпевание в Лавре. Туда и обещал приехать.

Как быстро разобщает смерть. Как быстро увлекает нас жизнь от долга мёртвым. Четыре дня назад? – неужели только четыре? – не угоди пуля в Дмитрия, он был бы сейчас адъютант военного министра, всё время рядом, всё время необходим. Но она угодила – и вот только по обязанности завтра нужно оторвать время поехать в Лавру.

С удовольствием ждал опять повидаться с Корниловым. Очень обнадеживал этот генерал, особенно непохожестью на тех чванных возвышенных царских генералов, которых всех теперь надо было рассеять. Действительно, замечательно найден, демократичен, прост. (Кто это, Половцов первый предложил? И самого Половцова, умницу, верно будет пристроить на личную переписку министра, требующую знания военной среды.)

Ну, наладится как-нибудь.

Поехали с Корниловым в автомобиле, по шоссе, светя фарами. В городе снег был – месиво, ехали тяжело, а за городом хорошо укатано санями, твёрдо, легко.

В автомобильной езде в ночную пору – от причудливости ли света фонарей, тоже есть что-то успокаивающее. Покачивается свет, и предметы в свету. Начинает казаться: дело не так плохо, как было минувшим днём. Наладится, пересилим.

У Корнилова в обращении присутствовала невозмутимость. Нисколько не горячился, о чём бы ни говорил. Или нужно было ещё привыкнуть к оттенкам его выражения.

Но пожалуй, был мрачнее, чем днём. За день он успел не так мало: узнал свой штаб, отменил назначенный до него парад войск в честь революции, принял новоизбранного солдатами командира Измайловского батальона и подготовил свой вступительный приказ.

Так называемый командир Измайловского батальона – а как его теперь не принять, отставить? – один напугал генерала Корнилова живыми сведениями. Батальон – ещё благополучный, убили только двоих офицеров да два десятка сместили. Всем заправляет второразрядник из петербургских образованных, заседания офицеров не происходят без представителей комитета. В первом приказе по батальону что же пришлось говорить? Благодарность за избрание, счастье от переворота, выпущен на свободу могучий русский дух, от которого должно задохнуться всё немецкое...

– А что, Лавр Георгиевич, в этом есть правда? – с надеждой поддержал Гучков.

Ведь действительно немецкое, остзейское нас давило двести лет. На этом можно будет искать общий язык с солдатами. И от немцев – сильно почистить армию, хоть, допустим, все они верны.

И ещё так придумали Измайловские выборные офицеры: немедленно приступить к созданию «железной просвещённой дисциплины». Но, мол, казарма – наша святыня, и пусть рабочие не учат нас военному поведению.

Ещё больше понравилось Гучкову:

– Замечательно сказано! Это надо будет перенять. Железная просвещённая!

Нужда скачет, нужда пляшет. По нужде придумали перепуганные офицеры, как приспособиться к новым обстоятельствам, – и неплохо! И в приспособлении теперь только и может быть выход, когда всё упущено и так уже разляпано. Но под воздействием идущей войны должно ж это как-то соединиться.

Гучков повеселел. Может быть, как-то всё и спаяется на русском духе, на патриотизме.

Не слишком отзывчив был Корнилов, не погорячился согласиться.

– А почему парад отменить? Это хорошая форма объединения.

– Плохая форма, – отозвался Корнилов. – Кто принимать будет? Вы? Я? А рядом – Совет депутатов? Без Совета – невозможно. Так лучше никакого парада совсем. Объеду по батальонам.

Быстро он разобрался, верно. Ай да генерал. А на вид – темноватый.

Сидели на заднем сидении рядом, и при свете ручного фонарика прочёл Гучков проект завтрашнего приказа по Округу. Это было коротко, и язык – куда сдержанней измайловского, не обещал Корнилов слишком многого. Великий русский народ дал родине свободу – русская армия должна дать ей победу. Народ вам много дал – но и много ожидает от вас. Явитесь радостным оплотом новому правительству. Да поможет нам Бог!

Он – и прав. Наклоняться пред солдатам нельзя. Он и прав.

Да, постепенно выработается манера, обращение. Даже, может быть, в своём 114-м приказе Гучков и переторопился. Корнилов попал в плен потому, что оставался с арьергардом, прикрывал отступление. Попал тяжело раненный. В австрийском плену изучал их армию, их пособия для солдат – искал слабых мест. Затем как-то изобразил болячку, с которою перевели в госпиталь, а оттуда бежал вместе с одним чехом, австрийским солдатом. Шли горами, лесами – в Румынию. Питались ягодами. Измучились, изодрались. Спутник попался – и расстрелян. Корнилов успел перейти к румынам в ночь под объявление войны – иначе б не перешёл.

Всё в нём было добротное, настоящее, военное.

А родом? Родился – на Иртыше, в детстве – бедность, отец – казак, мать – бурятка. С 13 лет – в Сибирском военном корпусе, потом Михайловское артиллерийское училище. Долго служил в Туркестане, на Кавказе, вёл разведку в Афганистане, все тамошние языки изучил. Был военным агентом в Китае.

Какой самородок. А лет ему? 46, моложе Гучкова. Но начни по спискам выбирать новых начальников – ведь пропустишь, не заметишь.

Знакомиться с царскосельским гарнизоном? Можно было – объездом их казарм, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го гвардейских стрелковых полков, а можно – в ратушу, где, как известно, заседает сборище всех тутошних агитаторов. (Поехали в ратушу.) В Царском Селе – большой гарнизон, потому что множество казарм было тут настроено за годы.

Но уж быть в Царском Селе – зачем и ехал?... Зачем ехал? – всё прояснялось Гучкову, зачем ехал сам: повидать царицу!

Они, такие всевластные неделю назад и так его ненавидевшие, – разъединены, не могут увидеться. А Гучков – поехал к **нему**, взял отречение, теперь – к **ней**.

Явить себя? Посмотреть на неё?

Он сам не понимал точно, зачем, но была страсть, болезненное наслаждение, как провести по больному, но выздоравливающему месту.

Связь ненависти в чём-то похожа на связь любви: она избирательно соединяет двух людей, с острым любопытством друг ко другу.

С императрицей они виделись единственный раз, в 905 году, когда он вернулся из Манчжурии – и понравился. Подозрения и ненависть разгорались потом, всё заочно. Гучков знал – и никогда не дрогнул, не уклонился.

А она? Что она чувствует сейчас? Что почувствует, когда он войдёт? Он нуждался её увидеть – как испытать боль!

Но приехали в ратушу совсем не рано, а тут было в разгаре заседание депутатов – это новоявленное заседание нынешних дней, когда жаждали только говорить и слушать, всё

равно кого, о чём. И вдруг – такой подарок: военный министр и командующий Округом! Собрание – в восторге, собрание – приготовилось слушать. Корнилов, за несколько часов с поезда, совсем ещё к этому не привык: почему он должен выступать – не перед строем? И что он должен объяснять своим подчинённым, когда всё будет в приказе?

Но природная простота подсказала ему, как говорить, а держался он совсем не превосходительно – и в нём почувствовали своего и ревели овациями.

А уж Гучков-то говорить умел! За последние дни повывступал он в казармах и помнил несчастный опыт в депо. Уже умел он и избегать, умел и нравиться. И о чём бы ни говорил – всё хорошо, всё шло: о великой победе народа, о заре счастья, о составе нового правительства, об ожидающих демократических преобразованиях, часть которых уже и начата, о новой железной просвещённой дисциплине и о победе над лютым внешним врагом. Всё шло с равным успехом и прерывали радостными приветствиями. (Только сам для себя Гучков не знал: зачем он на это силы тратит, зачем он здесь стоит и говорит, как во сне.)

Потом разбирались в дислокации частей, кто где какие караулы несёт, кто близ дворца, – Корнилов читал караульные предписания и поправлял. На всё это изрядно времени ушло, и когда подъехали к Александровскому дворцу, миновав пикеты, – было уже за полночь. Во дворце светилось не так много окон, а может быть задёрнуты были многие.

Новый стиль отношений: не спрашивая ни министра, ни командующего, с ними увязались на трёх автомобилях члены революционного Совета, они тоже желали проверить дворец. Как быстро это хамство пробуждается в народе – и вот дали ему пробудиться. Как с военным парадом: проще совсем отменить посещение, чем делить его с Советом.

Но уже неотклонно вело Гучкова на эту встречу.

Хотя по телефону за полчаса они предупредили о визите – тут часовые отказывали пропустить их во дворец. Вызвали начальника караула. Двойственное положение: части, охраняющие дворец, хотя и признали новый строй, но подчинялись только своему коменданту, генералу Ресину.

Вызвали его. Не пропустить военного министра и командующего Округом было невозможно, – но заодно попёрся и революционный Совет, полторы дюжины со своими красными бантами. (Кому не хотелось побывать во дворце, повидать, потом рассказывать!)

В вестибюль к ним уже спускался по лестнице, сохраняя осанку, но явно перепуганный, старый сухой граф Бенкендорф, с моноклем. Назвал себя, обер-гофмейстер, и спросил, что угодно.

Ещё заранее Гучков предупредил, что все разговоры должен начинать Корнилов: слишком явно было бы и неприлично, если бы вёл он сам.

Но и Корнилов говорил неохотно, более обычного нахмурясь.

Он сказал, что им нужно видеть... бывшую царицу.

– Но очень поздний час, господа, – жалостливо возражал Бенкендорф. – Ея Величество, вероятно, почивает. Или при детях. Вы знаете, все дети больны тяжело.

Да, этот поздний час получился неудачно, в планы он не входил. Но уже придя сюда, нельзя было уехать без свидания.

Гучков твёрдо держал посадистую голову и брови, ничем не подавшись. Корнилов покосился, понял, сказал:

– Но нам необходимо её видеть.

– Хорошо, извольте, попытаюсь, – нехотя, смутясь отвечал Бенкендорф. И пригласил их за собой.

Корнилов, страдая от революционной депутации, видимо, куда больше притерпевшегося Гучкова и ещё не пригладясь под петроградскую демократию, хмуро командно отчеканил им без «господ» и без «товарищей» – чтобы больше не шли за ними.

И так это уверенно прозвучало, что «делегаты» послушались, не пошли.

Но и по вестибюлю расхаживали уже так, что первый этаж вряд ли был от них оборонён.

Промелькнули слуги в галунных кафтанах, чулках и башмаках.

В промежуточном полузале ожидали не садясь. Бенкендорф по рассеянности упустил спросить, какова цель их визита, и Гучков сейчас подумал, как императрица должна быть встревожена, напугана и позднотой и неожиданностью, и тем, что это **он**. Дрожащими руками одевается.

Но столько гнева накопилось в нём за эти годы, что он не только не пожалел её, а нащупав в кармане тёмно-зелёные очки, надеваемые днём, когда приходилось ездить в автомобиле при слепящем снеге, – вдруг почему-то снял пенсне, а их надел.

Не почему-то – внутри так повернулось, что это будет ей необъяснимо и страшновато. Вот, он был хозяин её – если не жизни и свободы, то настроения и быта. И даже больше хозяин, чем она когда-нибудь с трона имела власть над ним, независимым русским деятелем.

С Корниловым эти минуты не сказали ни слова: могли их тут и слышать, да из непривычного круга был этот генерал, с ним не разговоришься. Стоял хмуро-монгольский, сухой, прямой как в строю, не имея потребности перенести тяжесть на одну ногу.

Вошёл Бенкендорф, совсем жалостный, и объявил, что они будут приняты в липовой гостиной, это через несколько комнат. Повёл их.

Когда Гучкова как председателя Думы принимал Государь – он бывал и в этом дворце, но как-то иначе его водили. И сейчас не без интереса он посматривал на проходимую обстановку, даже и ему, как солдатам из революционной депутации, было любопытно: над всем существующим вознесенная жизнь – какая она?

А было – не царское, а как в большом деревянном помещичьем доме, не больше.

Вошли в липовую. Здесь было мало мягкого, но нежная липовая панель по стенам, и желтели липовые ручки кресел.

Не сели и здесь.

Бенкендорф ушёл в другую дверь, напротив.

И вскоре же её открыл, пропуская императрицу, – но одетую, как нельзя было ожидать, в простое серое платье сиделки, а на голове косынка с красным крестом.

А за ней шёл кто-то ещё – пожилой, седоватый, высокий, красивый мужчина в торжественном чёрном костюме. По романовскому типу лица Гучков понял, что это кто-то из великих князей, но не вмиг сообразил, кто и откуда он взялся, потом понял – Павел, он живёт тут рядом.

Бенкендорф закрыл дверь, уйдя туда.

Четверо, такие разные, они стояли в произвольных местах гостиной, не составляя ни квадрата, ни ромба. Стояли, встретясь как бы случайно и для всем непонятной цели.

Даже рядом с Павлом императрица казалась высокой – и выше обоих пришедших.

Всё та же неизменяемая, столько виденная с фотографий, жёсткая холодная величественность, а когда-то красота? Но для истинной красоты тут никогда не хватало игры жизни.

Величественность – но и сильно усталая. Но не давала себе эту усталость выразить, вообще – ничего выразить, кроме своего несравнимого устояния, хотя б её августейший супруг и отрёкся. От скорбного вида, от сжатых тонких губ создавалось выражение безгливой презрительности, недоброжелательства.

Была совсем бледна – с пятнами нервного румянца на щеках.

Павел выступил больше, а она сделала от двери всего лишь дня шага, до посетителей оставалось десять. И не только не возникло протянуть руку, но даже и к мебели не относясь никак, и вообще никакого обряда не предлагая, спросила отчуждённо, с блистающими глазами:

– Что вам угодно, господа?

Павел принял сколь можно важный вид. Он стоял в стороне и вполоборота к царице как высокого класса дворецкий, как строгий наблюдатель за церемониалом.

Вдруг Гучков ощутил, что этот красный крест на её сестринской косынке смущает его. Его собственная жизнь была часто переплетена именно с красным крестом. С этим знаком на рукаве он расхаживал и по манчжурским долинам на той войне, и по галицийским местечкам

на этой. Этот же самый красный крест, обращённый теперь к нему со лба императрицы, посылал ему какой-то смущающий привет. Он пришёл к этой заносчивой женщине как к своему вечному и самому крайнему врагу. А красный крест излучал ему странный сигнал, что они – из одного братства.

Отчасти этим смущённый, отчасти он не мог же открыть, что цель визита – никакая.

Но Корнилов вытянулся и в крайне почтительном тоне сказал:

– Ваше Императорское Величество! Мы с военным министром проверяли надёжность охраны дворца и вашу безопасность со стороны Царского Села.

И сразу – какая-то струна отпустила в ней! Уменьшился рост. И голова уже не держалась так закинута твёрдо.

– Да, – уронила она металлизированно-устало. – Эти дни творился большой беспорядок в Царском. Много стреляли, грабили, кричали. Я очень прошу вас, генерал, как сделать для больных детей покой. И чтоб не нападали на охрану дворца.

Одному генералу, Гучкова как не замечая. Гучков оказался вообще в стороне.

Но так терялся весь смысл его прихода. И он вступил тоже в разговор, замечая, что вздрогнула императрица от его голоса. Он не назвал её «Ваше Величество», не назвал никак. Он не умягчал своего голоса – а может быть и умягчил? – сам не овладел моментом. Смысл слов его оказался мягок, и это невольно выразилось в голосе:

– Временное правительство поручило мне узнать, есть ли у вас всё необходимое? Какая нужна вам помощь? Может быть – детям лекарств?

Столько лет без единого доброго оттенка он думал о ней, то закипал, то клялся, что низвергнет её. И приехал, тоже не имея в виду сказать мягкое, но лишь проверить – она-то ли смягчилась от падения? А выговорилось так, будто он приехал проявить великодушие или даже помириться.

И она – с удивлением обернула к нему удлинённую голову с возвышенной причёской, угадываемой под косынкою. Её брови расступились из застылой надменности: этот ужасный человек в эти ужасные дни приехал не позлорадствовать, но предложить детям лекарств?

Детям – лекарств? В этом не могло быть ни насмешки, ни лицемерия. Детям – лекарств? – бальзам для матери.

– Благодарю вас, – ответила она уже совсем иначе, но не называя Гучкова никак. – Лекарств у нас вполне достаточно. И докторов. А вот только – покоя.

И с новым соображением добавила (голос у неё был низкий, красивый):

– Тут, в Царском Селе, есть мой госпиталь, куда я сейчас лишена доступа. Если можно – позаботьтесь, чтоб он ни в чём не нуждался.

И полминуты они посмотрели друг другу в глаза, как не приходилось двенадцать лет, и с удивлением не нашли прежней силы ненависти в себе. У неё – глаза потеряли надменный сверк, были простые человеческие, усталые. У него – закрыты дымчато-зелёными очками, неизвестно какие. Но кого же ненавидеть – этого ли мешковатого, совсем не военного министра, не грозно предложившего лекарств? Эту ли примученную приниженную сорокапятилетнюю женщину с пятью больными детьми?

Вдруг почему-то вспомнилось и укололо раскаянием, что ведь он приписывал ей и распространял по обществу письма, которых она, оказалось, не писала.

Неугаданным видением пронеслось между ними, что все прошлое могло быть и ошибкой – и по дворцу не бродили бы сейчас с красными лоскутами дикари.

О госпитале – Гучков обещал.

И во власти этого ощущения – принадлежности к какому-то общему слою с установленными правилами, он неожиданно для себя, но сохраняя голос от предупредительности, спросил, нет ли ещё каких-нибудь желаний.

И императрица тотчас использовала:

– Да! Верните свободу невинно арестованным – генералу Гротену, Путятину, Татищеву, Герарди.

Ого! Чуть покажи мягкость – и уже она требовала?

Гучков на это не ответил.

Разговор вдруг оборвался, не имея дальнейшей темы и смысла.

И так, не присев, и не обратясь друг к другу никак, и не поздоровавшись в начале, и лишь чуть поклонясь в конце, – они исчерпали всё.

Простоявший с неподвижной важностью великий князь Павел двинулся их провожать. И в следующих комнатах, следуя рядом, сказал:

– Ея Величество ещё не довольно объяснила вам, как её крайне беспокоят войска, окружающие дворец. Они кричат, поют, теперь и открывают двери, позволяют себе заглядывать внутрь. Просто чёрт знает что себе позволяют. Не угодно ли вам будет призвать солдат к благопристойности?

Гучков ответил, что пришлёт своего офицера.

Павел чуть склонил голову и отстал, так и не подав им руки. Кажется, было движение подать, но он боялся остаться с протянутой.

И Гучков уходил совершенно недовольный: ничего он с этого не взял, только обещал, вся затея посещения стала казаться ему дурацкой.

Если смотреть на события вперёд – надо готовить обстановку для возможного ареста.

И он поручил Корнилову: найти и назначить нового надёжного начальника царскосельского гарнизона.

453

Красный крест.

Всем известный, прямой, квадратный,
предельно простой геометрически, не с прогибами
сужения, как георгиевский, ни с одним
удлинённым концом.

Крест всемирного милосердия.

= Только расположен не привычно ровно, а чуть перекошено,
будто сдвинут, свёрнут по оси.

Заметней.

Ещё заметней.

= Да он медленно кружится вокруг своего центра.

Вот уже по диагонали стали его стороны,
уже и прошли диагонали.

Вот снова выровнялся -

и тут же ушёл.

= Уже сильно заметно его вращение,
всё на глазах.

Он просто кружится, приколотый точкою в центре.

= Заведенный не своею силой – он
кружится – и всё быстрее.

= Уже так быстро, что не успеваем за его положениями -
уже не крест, и не милосердия,
восемь ли концов у него?

двенадцать?

шестнадцать?

Рябит – и сливается! -

в красное колесо.

ШЕСТОЕ МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК

(по свободным газетам, 5-7 марта)

НОВЫЕ МИНИСТРЫ. Прежде всего это честные люди. И кроме того это – умные, сильные, стойкие люди. Россия не могла сделать лучшего выбора. Наш долг – отнестись с полным доверием... Не жалкие фигуранты ничтожного, прогнившего насквозь опереточного режима, а выдающиеся представители русской общественности, опирающейся на бесспорное уважение и доверие страны.

... Теперь нам нечего волноваться. Новое правительство, облечённое народным доверием, примет все меры. Как непохожа честная декларация Временного Правительства на лицемерные обещания старой власти! Нам удался головокружительный скачок от абсолютизма к полной демократии...

... Контрреволюция в любой момент может поднять голову, будь то в тылу или на фронте. Зоркие взоры власти должны быть направлены в обе стороны.

... И даже не страшно слушать о разногласиях между двумя основными силами переворота: какая-то твёрдая уверенность, что будет найдена средняя линия поведения, и в Берлине не придётся радоваться нашим раздорам...

... Надо, чтобы моральный подъём нации не истратился на внутренние трения. Всякий раскол – измена долгу перед родиной.

... Имеются ли какие-нибудь основания к тревоге, беспокойству? Трижды нет! Все течения русской демократии относительно конечных Целей войны сойдутся в страстном утверждении наших ближайших военных задач. Возродилась вера в победу России!... Если когда-нибудь лозунг «всё для войны» имел смысл, то именно теперь.

Гельсингфорс , 4 марта... Некоторые офицеры, не пожелавшие признать новую власть, были ночью, говорят, убиты. Приехавшим делегатам удалось быстро ликвидировать напряжённость... Часть офицеров немедленно присоединилась к ликующей массе. Исполнительный Комитет энергично приступил к ликвидации приспешников старого строя, о которых во время общей суматохи совершенно позабыли.

... Заранее можно было быть уверенным, что армия фронта, единая по составу с армией, совершившей революцию, – воспримет переворот восторженно...

... Опасаться, что новые взаимоотношения в армии в чём-либо вредно отразятся на боевом фронте, – не приходится: там розни между солдатами и офицерами нет и в помине, немецкие пули там их сцементировали в единый монолит... Нельзя не приветствовать мысль Совета Рабочих Депутатов – образование выборных комитетов.

(«Биржевые ведомости»)

... Открыли петербургскую пересыльную каторжную тюрьму, выпустили всех – и политических и уголовных. Разбирать было некогда, да и кто был в состоянии делать этот «разбор»? Выходи все! – праздник общий!

... Органы старой полицейской расправы сожжены революционным народом, а между тем правонарушения за неделю революции умножились.

... Последние российские помпадуры предполагали, что в жилах народа течёт рабья кровь. Так, орловский губернатор после отречения Николая II призывал «сохранять спокойствие».

БЛАГОДАРНОСТЬ АРЕСТОВАННЫХ САНОВНИКОВ. Арестованные в министерском павильоне... благодарили правительство за корректное обращение.

Сумасшествие Горемыкина. В каземате Петропавловской крепости бывший председатель совета министров под влиянием происходящих событий сошёл с ума.

... В бывшей своей Ставке Николаю II делать нечего. Между ним и армией всё кончено, это разрыв навсегда, тут нет места ни прощению, ни прощанию.

... Низложенная царица покинута почти всеми. Остались лишь самые близкие люди. Сообщение между Ставкой и Царским Селом прервано.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЖАНДАРМЫ, охраняющие станции, мосты и движение, что с ними делать? Министерство путей сообщения предполагает отдать их для привлечения в войска.

... По поводу вызывающих тревогу слухов... Из помещения Государственной Думы все взрывчатые вещества удалены.

Граждане! Не распространяйте ложных слухов! Русская печать свободна, она **всё** скажет народу.

... Таксы на продукты первой необходимости... Немедленно ввести карточки на мясо, масло, жировые продукты, яйца, молоко...

НОВЫЙ ОБЕР-ПРОКУРОР СИНОДА. «Это вы отпевали Григория Распутина?» – спросил он епископа. – «Но ведь он был конституционалистом-демократом», – ответил епископ.

... Духовенство Москвы нервно ждёт первых указаний Синода относительно церковного управления.

У **ЕВРЕЕВ.** В субботу при громадном стечении молящихся было совершено богослужение в московской синагоге. Раввин Мазе вместо прежде совершавшейся молитвы за царя произнёс новую молитву за новое правительство. Затем произнёс речь, что сбылись лучшие чаяния русских евреев, потому что эти чаяния всегда полно совпадали с лучшими чаяниями лучших русских людей. И то, что совершилось, наполняет радостью неизрекаемой еврейские сердца.

... Совет профессоров Психо-Неврологического института, восторженно приветствуя установление в стране свободы, правды и справедливости, единогласно постановил отдать себя в полное распоряжение правительства.

Арест инженера Черная за пропуск царского поезда.

Арестован на своей квартире, доставлен в городскую думу... Отказался задержать поезд... Министр путей сообщения поставлен в известность о его прошлом. В прошлом он довольно откровенно покровительствовал ревизору дороги, известному черносотенному

деятелю.

Приказ по Московско-Виндавско-Рыбинской. ... Поклонимся и мы от лица железнодорожников гражданину Александру Бубликову, в этот исторический момент смело занявшему министерство...

САМОУБИЙСТВО С.В. ЗУБАТОВА. Застрелился один из ревностнейших... Не вынесла мрачная душа холопа реакции яркого света свободы. В последние дни покойный страшно тосковал, видя разрушение монархического строя... Недавно обещал Бурцеву свои мемуары...

ПАУКИ НА СОЛНЫШКЕ. По всей Москве происходит деятельная ловля тараканов, ядовитых пауков и смрадных тарантулов. Их выводят на улицы, под свист и крики толпы ведут в думу. «В солдаты их, негодяев!» «В какие солдаты? Армию поганить? В арестантские роты! Пусть дороги строят да мостовые мостят!» «Пра-авильно!» «Всех на фронт! Поглядите, городских нет и какой порядок».

Целая сотня донцов окружает автомобиль с жандармскими офицерами. Идут вереницы тёмных насильников, и с некоторыми их жёны.

МОСКОВСКОЕ ДВОРЯНСТВО. Экстренное собрание. Дворяне должны всячески содействовать новым властям, подчиняться распоряжениям комиссаров...

... Телеграмма на имя Родзянко: «Вологодское дворянство верит, что новое правительство, выведет Россию на новый светлый путь.»

... на имя Председателя Государственной Думы: «...От души желаем закопать покрепче старый строй!»

... Нельзя молчать! В декларации Временного Правительства не упомянута отмена ограничений пола! Женщины волнуются, объединяются в группы... Мы разочарованы в наших ожиданиях равноправия...

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧХЕИДЗЕ ... Считаю долгом заявить, что мои слова о провокационных листовках, направленных солдат на офицеров, относились не к листку петроградского межрайонного комитета РСДРП...

ЯПОНИЯ ПРИЗНАЛА ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

... Внутренний враг сражён, но не уничтожен! Медведь ещё не убит, он только оглушён...

Верить ли обещаниям агентов прежнего правительства? Это вредное мечтательное прекраснодушие. Чинам полиции предлагают расписаться о подчинении новой власти и их освобождают. Зачем арестовывать их вторично, когда достаточно не освободить?

Бегство Кшесинской... На крыше её дворца оказались пулемёты...

... А.И. Коновалов обратился с приветствием к сторожам и курьерам министерства, напомнив им, что пал старый режим, позоривший имя Великой России...

... «Наш главный враг – это невежество», – заявил новый министр просвещения Мануйлов, вступая в исполнение своих обязанностей.

... Разногласия и споры будут потом. А теперь – не надо омрачать светлые дни нашего

преображения. Россия вернула себе былое народоправие!

... Есть пессимисты, которых всё пугает, особенно Совет Рабочих Депутатов.

... Некоторым приходят странные мысли, что отныне меняется весь строй наших экономических отношений... Пусть умолкнут классовые споры до Учредительного Собрания! Мы должны остаться единой Россией.

Работать, товарищ! Работать вставай!

Работы усиленной требует край.

ЛОЗУНГ «ДОЛОЙ ВОЙНУ»? Заседание московского городского и земского союзов... об отношении к лозунгу «долой войну!», нашедшему себе место даже в «Известиях совета рабочих депутатов». Общий вывод речей ораторов – энергичный и решительный протест против проповеди несвоевременного мира. Прекратить войну – значит изменить нашим доблестным союзникам... Победа над германизмом необходима для спокойствия родины.

Гельсингфорс, 5 марта... Конфликты между офицерами и солдатами предотвращались тем, что офицеров, которыми были недовольны их команды, задерживали и передавали в военно-следственные комиссии.

... Паровозы Финляндской железной дороги украшены красными флагами. Чувствуется недостаток в топливе.

Почему не арестован бывший министр иностранных дел Покровский? ... Как человек честных политических убеждений, не ярый сторонник прежнего режима. И нельзя было ни на минуту прекращать сношения с иностранными державами...

Графиня Клейнмихель была задержана по ложному сообщению, будто из её дома стрелял пулемёт.

... Теперь, когда Россия предвкушает «зарю пленительного счастья», – неужели у нас не будет своего гимна?

НИКОЛАЙ В ЛИВАДИИ?...По слухам, отрекшийся от престола Николай Романов проехал в Ливадию.

ПРИЕЗД АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ? По сведениям, в Киев ожидается приезд государыни Александры Фёдоровны, как только здоровье её детей улучшится.

В Синоде. Выступление нового обер-прокурора... Отныне Церковь должна быть свободна от всяких посторонних влияний... Царское кресло было вынесено из зала заседаний.

... Группа московских дьяконов и псаломщиков, собравшись в эти исторические дни торжества евангельских истин, приветствует зарю народившейся правдивой жизни...

ОБРАЩЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ. «Братие, граждане! Нижние чины полиции постоянно находились всей душой вместе с народом. Если кому и не угодили, то исполняя волю высшего начальства, оставаясь безвольными рабами. По первому зову мы бы явились для исполнения общегражданского долга. Обращаемся к вам не озлоблять против нас ближних, так как мы много претерпели физически и нравственно.»

Арестованные городские собрали между собою по подписке на нужды революции 215

рублей.

... Сахаром Петроград оказался обеспечен на весь март. Обнаружены огромные запасы мороженой рыбы и птицы.

... Установленная 4 марта такса несовершенна... Некоторые продукты, особенно мясо и масло, приходится продавать в убыток... Но продовольственное совещание высказалось в том смысле, что гражданский долг обязывает торговцев перенести некоторые тяготы, тем более, что это – явление временное.

ПОЖАР МОСКОВСКОЙ ОХРАНКИ... Особенно старательно разыскиваются теперь списки тех, кто из интеллигенции служил в охранке.

... На параде не было полиции, и поэтому порядок не был нарушен никем.

Судьба «Московских ведомостей». В редакции – полная растерянность. Все сотрудники, за исключением сравнительно немногих, заявляют себя сторонниками нового режима и намерены выпускать газету со статьями, соответствующими духу времени. Отправили телеграмму Львову и Керенскому, приветствуя новое правительство.

... Служащие низшего оклада тюремного ведомства отправили приветственные телеграммы министру юстиции Керенскому и Временному Правительству.

КИТАЙ. РАЗРЫВ С ГЕРМАНИЕЙ. Германскому посланнику для отъезда 48 часов.

... Регулировать пульс стихии – историческая ответственность Временного Правительства... Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, историческая роль которого ждёт своего летописца, завоевал своё право, значит имеет и обязанность. Ни на мгновение нельзя этого забывать, а не забывать, значит и признавать... К организации! – призывать непрерывным звоном вечного колокола, разносящего благовест свободы по всему лицу земли Российской...

(«Биржевые ведомости»)

... Не надо праздновать! Пусть радость рвётся из сердца, а приступить к работе...

... Общее собрание служащих по делам печати. Член Комитета в своей речи сказал: «Когда старый строй рухнул и обновлённая Россия созидает формы нового строя, – нет места для робких половинчатых душ, и поэтому служащие по ведомству должны проявить своё политическое лицо и убеждённо сказать, что видят в новом правительстве спасителя России.»

Служащие цензуры приняли резолюцию, приветствующую свободную печать.

... Все граждане, любящие Россию, стоят за новый строй. А те, кто не с ними, – должны считаться изменниками и предателями.

(«Русская воля»)

... Председатель собрания закончил: «Мы уповаем, что России не суждено испытать ужасы Великой Французской революции, ибо не даром прожили мы 100 лет после того. Не даром проходят уроки истории. Обратимся с благодарным взором к Государственной Думе.»

... Дело об убийстве Распутина по распоряжению министра юстиции окончательно прекращено.

... Как известно, комиссия народного здоровья Государственной Думы, рассмотрев законопроект об учреждении министерства здравоохранения, подавляющим большинством высказалась за отклонение его. Казалось, с министерством здравоохранения покончено. Таково и требование закона. Но несостоявшийся министр Рейн пытался...

... Какие б важные задачи ни стояли перед нашей стратегией, – перед ней теперь исключительная всеобъемлющая первейшая задача: охрана Великого Петрограда, цитадели Великой Российской Революции.

(«Биржевые ведомости»)

... В запасных частях сохраняется полное спокойствие и ведутся занятия.

ПРИКАЗ по войскам г. Москвы, 6 марта... Производится продажа нижними чинами обмундирования, сапог, белья, выданных для военной службы... Заготовка их стоит родине больших денег. Священный долг каждого воина...

... Массовое получение штабом анонимных доносов... Отдано распоряжение – уничтожать, не читая.

*Командующий Военным Округом
подполковник Грузинов*

... Церковь, бившаяся в тенетах синодского иезуитства и лицемерия...

Грабители в Александро-Невской Лавре. Из закрытого автомобиля вышло несколько молодых людей в военной форме, собрали всю братию и заявили, что надо нести всё золото и серебро на алтарь отечества, все ценности Лавры предоставить Временному Правительству. Перепуганные монахи сняли с себя золотые и серебряные кресты, принесли блюда, ложки и другие предметы. Тем временем эконо Лавры сообщил по телефону – и вскоре в Лавру прибыл отряд милиционеров. Грабители арестованы.

БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ. Для предотвращения возможного усиления пьянства петроградская городская управа постановила ограничить получение спирта по рецептам врачей... Только по запискам районных комиссаров.

... В провинции переворот произошёл ещё более организованно. Не революция, а парад. При самом розовом воображении трудно было представить более сознательное отношение.

(«Речь»)

... Петроград и Москва выполнили за Россию великое всенародное дело – и России сёл, деревень и провинциальных городов ничего более не остаётся, как стать под знамёна новой власти. Главное сделано, всё пойдёт хорошо. Выковывается новый порядок.

... Центральный Продовольственный Комитет обращается к чести и достоинству каждого гражданина, просит ограничить себя в потреблении продуктов первой необходимости и делать закупки только по действительной надобности, а не в запас... Ваше экономное потребление будет лучшим содействием правительству в его работе.

... В петроградской городской думе готовится переименование улиц, мостов: все Александровские, Николаевские и т.д. будут «Свободы», «27 февраля» и т.п. Создана особая комиссия.

АРЕСТ САШКИ-СЕМИНАРИСТА. Этот человек-зверь, не знающий ничего святого...

После выпуска из Бутырской тюрьмы... Все преступники, желая вызвать к себе доверие, нацепили красные бантики...

Миллионное пожертвование . Инженер Денисов из Царского Села... в память освобождения России от старого режима...

НИКОЛАЙ II ПЕРЕЕЗЖАЕТ В АНГЛИЮ. В ближайшие дни должен выехать из Могилёва в Царское Село, откуда вместе с семьёй переедет в Англию.

... Вышла разгромленная старым режимом социал-демократическая «**Правда**». Привет голосу пролетариата, отныне свободному!

(«*Биржевые ведомости*»)

Спешно продаётся особняк фешенебельный, аристократическая улица.

Сибирский кот чистокровный продаётся.

КРАСНОМУ УТРУ НЕ ВЕРЬ

455

Всё меняя поезда, удаляясь от Петрограда и приближаясь к своему верному полку, Кутепов готов был бы счесть и собственный бой на Литейном, и арест Преображенских офицеров, ту зеркальную комнату и тот разброд в Таврическом – каким-то бредом, ещё бы раз проснуться – и не было ничего? – и в полку даже не поверят, когда он будет рассказывать? А не бредом – так уже их там усмиряют или уже идут туда твёрдые войска, дело еще двух дней?

Как вдруг на одной из станций – поражён был известием, что Государь отрёкся от престола!?

Выдумали?... Нет, Манифест. И государев брат – тоже отрёкся.

Всё. Как воздух выпустили из груди.

И от огромного Фронта – никто не пришёл разогнать неопытную, необученную, разнузданную гарнизонную толпу, а – конец Династии?

Конец России?...

И мы, бессмертный Преображенский полк, – чья же мы теперь гвардия?...

Твёрд ещё наш штык трёхгранный,

Голос чести не умолк.

Так вперёд, вперёд, наш славный

Первый русский полк...?

Когда после японской войны Кутепова переводили в гвардию – у него была напряжённость и стеснение: высшие дворяне, белая кость, чуждый ему мир высших классов. Сам худоватый потомственный новгородский дворянин, настаивался он среди них быть потерянным, приниженным, и сердцем не принимал их запоздалые претензии на затопляющее превосходство. Казалось ему: уже нигде он не будет чувствовать себя так хорошо и родно, как в своём 85-м Выборгском полку.

Но были строгие законы военной службы, и струнно придерживаясь их, Кутепов

достойно вошёл и был достойно принят в Преображенском. Вскоре его поставили начальником учебной команды – и за годы между войнами он воспитал и подготовил более половины нынешних унтеров-преображенцев, а унтеры – опорная сетка всего полка. Мобилизационное расписание оставляло его в Петербурге – Кутепов выпросился на войну, как в своё время на японскую. Уже давно он не отличал себя от Преображенского полка ни в чём, а теперь, бой за боем, сроднялся с ним кровью. В первом же бою, в августе Четырнадцатого, ему раздробило ногу. Полк отходил, Кутепов не мог подняться и вынул револьвер отстреливаться насмерть. Но солдаты-преображенцы, сами раненные, вытащили его. После ранения едва воротясь в полк, он был ранен осколком гранаты в другую ногу. Летом Пятнадцатого кинулся с ротой в контратаку из батальонного резерва, увидя, что полк обходят, получил рваную рану в пах, но и лёжа на носилках не велел выносить себя из боя, а продолжал командовать ротой. После третьего выздоровления ему дали командовать ротой Его Величества.

Перед ним убитый капитан Баранов считал, что, командуя государевой ротой и нося царские вензеля, он не имеет права ложиться при перебежках. Это и был дух Преображенского! Штабс-капитан Чернявский в предсмертном бреду напевал слова полкового марша. Гвардия не залегает, гвардия идёт открыто! (И сколько же за то нас налегло, налегло!) Не потому чтобы приняв разумность этой гордости – никогда в бою не прилечь, а складывались так бои прошлого года: на деревню Райместо никак иначе и не мог наступать его 2-й батальон, как болотом, открытыми подступами, по колено в воде. И в знаменитом бою под Свинюхой-Корытницами опять из резерва, на этот раз корпусного, и опять без команды, своим соображением, Кутепов стремительно повёл свои полтора батальона сквозь заградительный немецкий огонь, лишь лавируя меж ним по возможности, для быстроты не залегая и не стреляя – было не до залёга, а – пробежать скорей эту огненную версту и встречно сойтись с наступающими немцами. (И золотые офицерские погоны все открыто сверкали под солнцем.) И немцы – отхлынули, оставляя пулемёты и пленных. В Свинюхинском лесу Кутепову подчинили несколько рот измайловцев и егерей – и он продолжал наступать к Бугу, а немцы рвали мосты через Буг, оставляя по этот берег свои орудия и штабеля снарядов.

И – куда же пошли теперь все эти бои и вся эта кровь?

Под растопт и плевки взбесившейся столице?

Свиньям в корыто?...

Стоял Кутепов у вагонного окна на последних перегонах к Луцку – и задыхался от горечи. Вся жизнь его, вся его служба, всё прожитое было сотрясено, – да какая вся жизнь, ведь только 35 лет, с чем же – дальше?

Только и была надежда, что достигнув своего полка – найдёт он здесь крепость.

А стояла гвардия в тех же гиблых местах, как поставил её Брусиллов в июле Шестнадцатого на реку Стоход, заросшую осокой среди болот и малых лесков, лишь немного сдвинулись от тех Свинюхи и Корытниц, где столько гвардии было перемолото в сентябре. Стояли в такой же мокреди, особенно наблюдатели в некоторых местах – по колено в жидкой грязи, отдыхающие в блиндажах не спали, а вычерпывали воду, и даже в штабе полка натекло столько воды, что нарубили ещё брёвен на пол, и так ходили по ним. Правда, сегодня, ко дню возврата Кутепова, немного подморозило и подмятило, все тут радовались.

А дело в том, что, как их отозвали с пути в Петроград, преображенцы 3 марта вернулись на свои 30 вёрст от Луцка – но недолго понаслаждались резервом: почему-то их снова поставили на передовые, на новые три недели.

И на первый взгляд Кутепов как будто встретил, что и ожидал: в полку ничто не изменилось, солдаты прекрасно несли службу, был полный порядок и чинопочитание. Уж конечно, ни единого красного лоскута.

Но – не узнать было настроения офицеров. Все подавлены, мрачны, – нет, убиты, убиты страхом за будущее – России, и Государя, и государевой семьи – хотя государыню тут не

любили, и за будущее гвардии, и своё, и только и заняты раздирающими разговорами, попытками понять, постройкой фантастических планов и опровержением их тут же. События – обрушились, развалили всё, что построено в головах, – и теперь только начинало-начинало еле складываться.

Да как же ловко подгадали с переворотом! – старых офицеров стало мало, почти нет, молодые – из разночинцев. Временное правительство – английские ставленники, враги России. Английскими деньгами свергли законного Государя.

Да, Государь – патриотичен, самоотвержен, пожертвовал собой... Но, но... И пусть он отрёкся за себя – почему за Алексея? Как он мог оставить нас без монарха?

Кутепов приехал – первый живой вестник в полк из Петрограда, его вобрали с жадностью, каждое слово и эпизод, чтобы представить эту непостижимую обезумевшую столицу. До него в полк приходили слухи совсем нелепые – и ничему нельзя было верить, и ничего опровергнуть. А когда рассказал, – то горше всего обидело тут всех, оскорбило – поведение своих преображенцев, офицеров, там, в запасном батальоне: они-то – как же могли? Нас – не вызвали, не допустили, но они-то – были там! Как же было не попытаться! Какая же они гвардия?

Командир полка, генерал-майор Дрентельн, подробно расспрашивал своего помощника о каждом из офицеров, о каждом. И отозвался так:

– В отношении молодых меня, во всяком случае, утешает, господа, что они ещё не присягали полковому знамени и ещё не имели чести нести службу в боевых рядах преображенцев. Ясно только одно: все они нарушили присягу, и я запрещаю их приезд сюда из запасного батальона.

Кутепов-то видел их всех вживе – и отчасти допускал понять, как им в петроградской обстановке можно было и растеряться. Хотя – и прощения нет.

– Да петроградский гарнизон, господа, вообще весь – зараза и должен быть отрезан от армии!

– Да, но тогда и весь Петроград! и мы ничего не узнаем о наших близких...

Раздирающая безвыходность гвардии, чем мучились не только офицеры, но и унтеры, но и солдаты-старослужащие, проклинали: отчего же в ту ночь их не погрузили и не повезли? Воля Государя – да, не смей судить, но всё же: какой в этом смысл, что мы протоптались безнадобно здесь, а не оказались в Петрограде? Неужели там бы – мы не вернее послужили России, чем здесь сидеть в залитых водой окопах?!

Позавчера, когда пришли сразу два отречных манифеста – офицеры как сошли с ума, старики же рыдали навзрыд.

А ротные должны были разьяснять нижним чинам. Что?

Даже не первый, государев, Манифест – но манифест Михаила Александровича подкашивал всякую веру в грядущее.

И что же – наши все схороненные?...

Учредительное Собрание? Армия – дворянство и крестьянство – от голосования будет устранена. Зато будут голосовать все освобождённые от войны – можно представить, что они наголосуют.

И – когда это всё случилось? Когда наконец превосходно вооружение, изобилие снарядов – да разве и на продовольствие можно жаловаться: разве армию плохо кормят? Да что и где в России рационировано? Разве это сравнимо с Германией или с Англией?

Да пока и сейчас ещё не поздно, пока эта анархия не перекинулась в армию – это был бы ужасный зверь, перед которым не устоит ничто! – может быть ещё успеть разогнать эту чернь? Пойти походом на Петроград, уничтожить всю эту сволочь?

Упущен, упущен момент.

Но хорошо бы до конца понять: что же всё-таки думают наши нижние чины? Разделяют ли они действительно наше отчаяние? Понимают ли значение всего? Не заразятся ли и сами петроградским примером?

Конная гвардия – та нахмурилась, насупилась против переворота – не то что до

последнего кавалериста, но даже до последнего коня.

И всё же: невозможно жить – и не подчиняться никакому государственному порядку. Но: возможно ли подчиниться Временному комитету Думы или Временному правительству – звуку пустому?

Все эти дни лучом света и одной надеждой было – назначение великого князя Николая Николаевича. Всё же – есть на кого опереться! Великий-то князь устоит на страже исконных устоев Российской Державы! И великому князю – должен сказать своё слово и Преображенский полк! Ото всех офицеров послали ему телеграмму в Тифлис.

Тем временем получили приказ Верховного Главнокомандующего, что он подчиняется и призывает всех подчиниться Временному правительству.

Ну – так, так так. Повелено, так нечего и рассуждать.

Стало как будто легче, хотя – от чего?

Дрентельн, сильно прихрамывающий, с ногой хуже, сказал Кутепову:

– А я – так посылал письмо и Государю. С поручиком Травиным. А он не возвращался – и я беспокоился очень: ведь кому попадёт в руки? ведь как истолкуют? И Травина, действительно, задержали. Но к счастью не обыскали. И он в отчаянии привёз назад.

– А может быть в Ставку кого-то послать? Что полк по-прежнему предан, скорбит об отречении, готов выполнить *всё, что прикажут* ?

Прищурился Дрентельн:

– Алексею? Послать – можно. Если б знать, что ему пригодится.

– А к тому времени в Ставке будет великий князь.

– Верно. Полковника Ознобишина пошлю.

456

И что можно было увидеть из Ставки, минуя главный морской штаб? Оттуда, из центра столицы, какой-то флаг-капитан Альтфатер систематически доносил, что в Петрограде полный порядок, и в Ревеле тоже, и это спокойствие из Петрограда всё более распространяется на Балтийский флот. Убили Непенина, много офицеров, – а морской штаб доносил, что офицеры возвращаются на свои корабли, с принесением им извинения и сожаления, судовые команды клянутся сохранять порядок. Но казалось бы, если судовые команды раскаялись, то надо выдать убийц Непенина и судить их, без этого не может восстановиться прочная дисциплина? Однако чувствовал Алексеев, что даже заикнуться об этом теперь уже невозможно, а надо как-то восстанавливать, игнорируя всех убитых и всё разгромленное.

А политики? Известный Родичев что там в Гельсингфорсе ухватить успел – но смело предлагал немедленно восстановить самостоятельные финские войсковые части, которые де заменят в Финляндии расстроенные русские части и привяжут финнов к России, каким-то неизвестным образом. Был это опасный вздор, забывался горький опыт минувшего, как раз наоборот, тогда-то финны и выступят вместе с немцами против России. Однако же вот, Родичев нисколько не стеснялся предлагать такую чушь, и надо было спешить донести этот проект Николаю Николаевичу, пока он ещё последние часы в Тифлисе, а потом связь прервётся.

Что и видел, что мог бы решить, – то не смел, но должен был пересылать и пересылать запросами на Кавказ, даже с Чёрного моря полученное от Колчака. А ответы Николая Николаевича были всё ожидательные. Ну, наконец сегодня выезжал, дня через три будет в Ставке.

Препятствием к возврату великого князя оставалась только задержка в Ставке отрекшегося Государя. Торопил и князь Львов, что пребывание Николая II в Ставке вызывает тревогу общественных кругов, желательно ускорить отъезд его из Могилёва. Да самого Алексеева как тяготило! Вдруг Государь отправил в Царское Село какую-то зашифрованную телеграмму, и в Таврическом переполох. Да постоянная неловкость от

двусмыслия, что у начальника штаба с бывшим Верховным могут быть какие-то скрытые сношения. (И были они. Вдруг Государь передал Алексееву конфиденциальную просьбу: нельзя ли дать ему почитать «приказ №1»? Просьба была пустяковая, но деликатность в самом сношении – и кого же попросить напечатать копию на царской бумаге? Догадался попросить скромного Тихобразова и приватно отослал Государю.)

Неловкость была даже только от незримого ока, от воображённого (теперь уже не виделись) мягкого взгляда Государя, где и упрёка не было, а только благодарность.

Тот взгляд, совсем растерянный, без всякого упрёка за отказ, с каким принёс он позавчера свою невозможную телеграмму об отмене отречения. (Телеграмму ту Алексей спрятал подальше, чтоб не смутить никогда ничей ум.)

Пока Государь был здесь – неловко было и снимать его портреты в штабе. А вместе с тем и держать их далее уже становилось неблагоприятно.

Но и Государь, ожегшись на своей последней поездке, не хотел теперь ехать, не получив гарантий.

И вот сегодня утром, к счастью, они пришли. Князь Львов утвердительно отвечал на все три просьбы Государя, переданные Алексеевым: правительство согласно на проезд отрекшегося царя в Царское Село, пребывание там по болезни детей, а затем и проезд в порт на Мурмане.

И сразу Алексееву полегчало. И он немедленно сообщил великому князю на Кавказ.

457

Можно было бы удивиться (и поучиться) тому такту, разумности и великодушию, с которыми Николай Николаевич управил революционными событиями на Кавказе. Везде бы так провели революцию, как он, – никаких не было бы беспорядков и колебаний.

Полтора года своего наместничества и Главнокомандования на Кавказе Николай Николаевич провёл примирение со своим новым местом, вполне нашёл здесь себя и не порывался в Россию, не сумевшую его отстоять. Но буквально за последние два-три дня он почувствовал себя здесь всё возрастающим, всё возрастающим и уже не у места, – ощутил потребность разделить свои чувства с Россией ещё прежде, чем вернётся к ней сам.

Такой цели лучше всего служат газетные корреспонденты. И вчера он с удовольствием принял у себя во дворце для беседы корреспондента прогрессивного «Утра России». И обласкал его, очень милостиво с ним говорил. Заявил ему свою надежду, что тот отметит: есть в России такой край, где события протекли совершенно спокойно. Новое правительство сразу признано, и Верховный Главнокомандующий, во всём объёме своей власти, не допустит нигде никакой реакции ни в каких видах.

– Я думаю, – улыбнулся великий князь, – этим сообщением вы доставите многим радость.

– Ваше императорское высочество, – ещё искал польщённый журналист. – Русским читателям хотелось бы слышать ваше авторитетное слово, насколько произошедшие революционные события приблизили нас к победе.

Не мог великий князь отказать и в таком авторитетном слове! Он ответил, освещаясь сознанием своего жребия:

– Доверие русского общества всегда поддерживало мою работу. С Божьей помощью я доведу Россию до победы. Но для этого необходимо, чтоб и все осознали свой патриотический долг. Если новое правительство окажется без поддержки и не в силах предупредить анархию – это будет чудовищно!

Некоторые грозные признаки всё же проявились в некоторых географических пунктах России – и это беспокоило великого князя.

Это уже, собственно, не корреспонденту надо было говорить, тут надо было предупредить само правительство, князя Львова. А князь Львов странно не отзывался на несколько уже телеграмм. Но нечего делать, вчера Николай Николаевич отправил ему ещё

телеграмму. От Алексеева всё время приходили жалобы на какие-то приказы, идущие помимо Ставки. И вот напоминал великий князь, что для победы безусловно необходимо единство командования. И так как правительству не может быть не дорого благоденствие России и окончательная победа, то надеется Верховный Главнокомандующий, что все распоряжения или верней пожелания правительства относительно армии будут направляться только в Ставку. А уже сам Верховный Главнокомандующий...

Ехать в Ставку – да, но почему же так неприлично молчало правительство? Не только не было ответов, но заметил великий князь, что до сих пор не было опубликовано утверждение Верховного Главнокомандующего Временным правительством. Это, конечно, простой промах, они не привыкли и закружились, но Сенат-то знал своё дело, почему он не публиковал назначение, подписанное Государем? И так, все в России знали, все считали великого князя Верховным, но никак это не было официально подтверждено. Странное положение.

И от этого великий князь испытывал потребность как-то добавочно укрепиться. Ему пришлось в голову разослать через Алексеева ещё такой приказ:

«Для пользы нашей родины я, Верховный Главнокомандующий, признал власть нового правительства, показав сим пример нашего воинского долга. Повелеваю и всем чинам неуклонно повиноваться установленному правительству.»

И чтоб Алексеев отправил копии правительству. Это был выразительный шаг, как бы косвенное, но публичное письмо всё тому же Львову, показывающее всю лояльность великого князя, но и – назначьте же официально, что ж вы медлите!

Знали б они да оценили, с какой лояльностью великий князь отверг мятежное предложение Колчака. А ведь он мог бы, о, он мог бы совсем иначе!...

Алексеев – одна была инстанция, беспрекословно подчинённая великому князю: всё рассылал, обо всём докладывал. Но Алексеев – тоже закрытая фигура, при Ники он привык к самостоятельности, был фактически Верховным, а теперь предстояло ему попасть под сильную ломающую волю великого князя, – может ли он хотеть того? Не метит ли в Верховные сам?

Немного поскрёбывало великого князя, но по обязанности он должен был держаться гордо и весело передо всеми. И минувшей ночью дал ещё одну телеграмму князю Львову: что сегодня выезжает в Ставку, предполагает быть там 10 марта – неизвестно, насколько свободен путь, нельзя составить точного расписания, ещё будет телеграфировать с дороги. Очень будет рад приезду министра-председателя к нему туда для личной встречи чрезвычайной важности.

Ехать – да, уже пора, но и Кавказа не мог он оставить осиротелым. Вчера, в воскресенье, надо было почтить присутствием большой воинский митинг на площади – тысяч шестьдесят офицеров, солдат и населения, все восторженны, порядок образцовый, выступил начальник штаба Кавказской армии, призывая к доверию и порядку, затем другие офицеры. Митинг и парад – вот были проявления великодушной революции.

А ещё надо было – обратиться к населению Кавказа с прощальным отеческим словом. Помощники, владеющие пером, два дня составляли такое воззвание, и наконец, довольный им, великий князь подписал. Здесь выразилось то чувство, кое испытывал он и желал сообщить народу. Государственная Дума, представляющая собою весь русский народ, назначила Временное Правительство. Между тем Германия зорко следит, когда наши чудные, но смущённые армии не смогли бы оказать ей противодействия. Между тем растут беспорядки, и это грозит армии, но конечно не на Кавказе. Народности Кавказа с достоинством патриотов и мудрым спокойствием отнеслись к политическим событиям. Так и следует им состоять после отъезда Наместника: не слушать тех, кто призывает к беспорядкам, но внимать лишь распоряжениям правительства – и тогда с Божьей помощью наши сверхдобрестные армии довершат своё святое дело, а народ русский, благословляемый Богом, выскажет, какой государственный строй он считает наилучшим. Обращаясь к вам, народности Кавказа, я хочу, чтоб вы знали, что мною повелено всем должностным лицам

повиноваться новому правительству, а всякие попытки противодействия будут преследоваться со всей строгостью законов.

С гордым и тёплым чувством великий князь покидал Кавказ. Какая-то часть сердца оставалась тут.

Сегодня утром прошёл и в свою наместническую канцелярию и объявил служащим, что, увы, не успеет устроить их судьбы, но надеется это сделать по возвращении на Кавказ после войны, когда он, может быть, поселится здесь как простой помещик, так как имеет на Кавказе свой клочок земли.

В эту минуту и сам поверил: а что ж, может быть, и поселится? Хотя не худший клочок земли с дворцом он имел в Крыму, и огромное любимое имение Беззаботное под Тулой со знаменитой псарней.

Ехать – да! уже властно звал его воинский долг! – но разве с этими женщинами уедешь вовремя? Сборы Станы и Милицы растягивались бесконечно, и уже с утра стало ясно, что сегодня они никак не успеют, может быть к ночи.

И так образовался лишний день. Ещё один лишний день повеётся штандарт императорской фамилии над дворцом. Но программа прощаний уже была выполнена, нечем заняться, ещё раз принял услужливого Хатисова, с которым так сроднили прошедшие месяцы, и благодарил, благодарил за всё.

Но лишний день приносил и лишние, и мрачные известия. Из Беззаботного пришло сообщение, что имение разгромлено мятежной толпой, главным образом винный погреб.

Ого-го! Ка-кая же смута! Да что же смотрят власти?! (Правда, после этого они там сконфузились и теперь поставили на охрану 12 юнкеров.)

Кто знает, как пойдёт в разных частях России, а может быть и неплохо иметь запас на Кавказе, где его так любят.

А тут – и в самом Тифлисе сегодня солдаты стали разоружать постовых городовых.

Ну что за безобразия!

И образовался в Тифлисе Совет рабочих депутатов. Это хорошо.

И офицеры одного полка, арестовав своих начальников, предложили Совету свои услуги.

А это что такое??

В Нахаловке образовался и Совет солдатских депутатов.

А Стана и Милица всё не были готовы, и не успеют и к завтра!

Решили с братом Петей: всё равно жёнам ехать не в Ставку, а в Киев, пусть остаются, и Петя их сопроводит. А Верховный примет дела – и тогда вызовет их всех.

В Ставку! Возбуждала, звала, манила деловая и военная привычная обстановка Ставки – истинного места, где Николай Николаевич и должен был находиться всю войну без разрыва – если бы не зависть наказанного теперь Ники, поджигаемая вечной ненавистью Алисы к Стане.

458

(как в провинции было)

* * *

По всем железным дорогам, по всей провинции после первых бубликовских и родзянковских телеграмм одно оставалось непонятно: если Государь создал новое ответственное министерство – почему призыв к спокойствию? В ранних провинциальных газетах появились портреты Родзянки, Милюкова – без всяких объяснений, но с призывом к спокойствию.

* * *

От Петрограда по всем железным дорогам быстро разливался новый станционный вид: на перронах – солдаты с красными лоскутами, потом и без поясов, потом и с отстёгнутыми хлястиками, подчёркнуто распущенные, с вызывающими выкриками.

А в поездах солдаты без билетов стали густо заполнять вагоны всех классов. И только «спальные вагоны международного общества» некоторое время почему-то ещё внушали к себе уважение.

* * *

В **Твери** в толпе, штурмовавшей дом губернатора, было много пехотинцев из запасного полка. Как только губернатора свели с квартиры – солдаты ворвались грабить, пили коньяк, вино, хватали сахар. Кроме губернатора, на улицах убили нескольких городских. А солдат Ишин заколол штыком полковника Иванова, командира 6-й запасной батареи, тут же стащил с убитого лаковые сапоги (ради них и убил) и на снегу переобулся. Никто его не тронул.

Была сожжена губернская тюрьма, а арестанты разбрелись по городу, свободно грабя в отсутствие полиции.

* * *

В пассажирском зале узловой станции – шёпот, шёпот, от одного к другому. Какой-то полувоенный встал и громко объявил: – Государь император отрёкся от престола!

Молодой офицер – не поверил, кинулся к телеграфисту проверять.

* * *

На берегу замёрзшей Волги маленький **Ровненск**, Самарской губернии, изобилующий неотправленным зерном и просмоленными конопаченными баржами. В два часа ночи самарский дежурный предупреждает всех на телеграфном проводе быть готовым к приёму особо-важной государственной телеграммы. Ровненский молоденький телеграфист Иван Белоус, полный сожалений, что не был вечером в клубе, не танцевал падеспань и падекатр с милыми девушками, – принимает ленту – и лезут глаза на лоб: отречение царя!!! Он даже не может всего понять, не понимает как следует – и вдруг такое тяжёлое чувство! Спешит разбудить в этом же здании начальника конторы. Тот читает написанный бланк и дрожащими руками сверяет его с лентой. Потом обегает дома начальства – и через полчаса маленькая телеграфная контора едва вмещает их всех, поднятых с постелей, ошеломлённых, бледных. В тревоге они перечитывают, обмениваются, спрашивают – но ответить им некому. Вот ещё спит, ничего не знает их городок, они узнали на несколько часов раньше – а что толку? что они могут сделать? Государь отказался от них...

На следующий день появляется на улице толпишка с никогда не виданным в Ровненске красным полотнищем. Директор училища, толстый холёный барин с красным бантом и красной повязкой на рукаве, читает вслух Манифест, громит «старый режим» и восхваляет наступающую свободу.

Тех, кто ночью был на телеграфе, не видно ни одного. Город остался без власти.

* * *

В **Одессе** в Сергиевском артиллерийском училище после утреннего чая построили юнкеров, появился со свитой начальник училища генерал Нилус и сделал сообщение о событиях в Петрограде (ещё отречения не было), о которых до сих пор шли только смутные разговоры. Вдруг выступил из строя портупей-юнкер 2-й батареи:

– Ваше превосходительство! От группы юнкеров прошу вашего распоряжения о снятии со стен училища портретов императора и его семьи.

Генерал ответил:

– Юнкер, выйдя из строя, вы нарушили дисциплину и понесёте наказание. Что же до портретов, то так ли уж нужно торопиться?

И хотя большинство юнкеров были в восторге от событий, но поступок портупей-юнкера им тоже показался бестактным.

* * *

В знаменитое **одесское** кафе «Фанконе», по шику не уступающее парижским, ходила самая элегантная публика. Вдруг с улицы послышался шум, пение «вы жертвою пали» и показалась процессия с красными флагами, человек двести молодёжи довольно неряшливого и необузданного вида. Публика в кафе встала от столиков, подошла к зеркальным окнам, среди неё тоже и молодые люди и барышни. Стояли, смотрели. Процессия прошла, не очень сюда и глядя.

Повеяло чуждым и страшным. Вернулись к кофе, шоколаду, пирожным, но совсем без прежнего настроения. И скоро разошлись.

* * *

В **Саратове** революция началась с убийства городских. Мертвецкие были заполнены их трупами. На всех углах митинги. Площадь против тюрьмы загрохотала толпа и несла на плечах деятеля, а тот показывал над головой добытые ключи от тюрьмы.

В университетском госпитале плакал раненый солдат. «Что плачешь?» – спросила его сестра. – «Царя жалко.» Она была из помещичьей семьи и просвещённая, ответила: «Ничего, обойдётся.»

* * *

В **Брянске** в загородных казармах солдаты долго ничего не знали о событиях в Петрограде, газеты не достигали их. Но стали повышенно вежливы офицеры – и дисциплина сразу упала. Когда же повели парадным маршем в город, то улицы были пустоваты, и никаких восторженных приветствий солдатам не было.

* * *

В **Рязани** все мужские и женские гимназии общей процессией пошли под музыку оркестра, с красными бантиками. Весеннее солнце, подтаивает снег – все ласковые, добрые, хорошие.

* * *

В **Витебске** губернаторский швейцар Михаил плакал по отрекшемуся Государю, как по покойнику. А в столовой самого губернатора не раздалось сожаления, но толковали, что скорей бы пришёл к власти Николай Николаевич. И уже тогда не будет больше повода для сплетен о царице. Передавали уличные события – избили одного городского, свалили с ног священника, – витебский городской голова Литевский оправдывал: «Надо понять народ, ведь столько лет давили его!» Когда с шапки земского начальника хотели сорвать царскую кокарду, а он в ответ «дал в морду», – Литевский выразил: «Разве может так поступать дворянин? Его надо судить.»

Полиция оставалась на местах и ждала распоряжений губернатора, а он всю надежду возложил на великого князя, – приберёт их к рукам! сам же пока старался быть как можно демократичней. Чиновники озирались: серьёзно это всё или пойдёт по-старому? – но на всякий случай отодвигались и отворачивались от одиозных фигур прежней власти. Витебские либералы ходили с поднятой головой: мы победили! По улицам толпами ликовала еврейская молодёжь и в агитации не имела успеха только среди крестьянского привоза на базаре.

* * *

Генерал-лейтенант Сандецкий, командующий **Казанским** округом, вообще был очень требователен и щедр на наказания, до жестокости. И ещё не простили ему такого заведения: отъезжающие на фронт должны пройти крытую траншею, полную газом. Когда пришли его арестовывать (и офицеры тоже) – он спал, одевался при них. Когда вели его по Казани из солдатской толпы неслись насмешки, камни, яблоки и плевки в него.

* * *

А с **царицынским** священником, о. Гороховым, было всего вот что. Не призывал он ни к какому восстанию, а по окончании литургии, разоблачившись, обратился к молящимся со словом о происходящих правительственных переменах и что по чувству совести духовного лица он не решается изменить присяге, данной престолу, – оттого не находит теперь возможным продолжать служение алтарю. Тогда выступил местный юрист, что с передачей престола отпадает и данная под присягой клятва. Отец Горохов тем временем удалился из храма. Вскоре к нему на квартиру пришёл военный патруль и арестовал.

* * *

В **Пензе** старые власти арестованы, а новозаменяющие (вместо вице-губернатора – помощник присяжного поверенного Феоктистов, революционер) стояли с красными бантами на дощатой трибуне, обтянутой кумачом, а внизу под ней – начальник гарнизона генерал-майор Бем. С трибуны, оттесняя цензовых, кричали какие-то революционные – о свободе, которая теперь полетит через проволочные заграждения фронтов. Мимо шёл парад войск, «примкнувших к народу». В его строй врывались возбуждённые интеллигенты, жали руки офицерам и солдатам. Три полка прошли – ничего, вдруг из четвёртого выбежало несколько солдат и с криками: «Вот тебе увольнительная записка!» – стали избивать генерала. (Его строгий порядок был – не допускать хождения солдат по городу без увольнительных записок.) Изорвали в клочья всё, что на генерале было, и оставили под трибуной голый труп. Подбегали другие солдаты и били труп ногами.

Тут же редактор газеты держал речь к войскам – и избрали нового начальника гарнизона.

Тем временем толпа освободила тюрьму – больше 500 арестантов, много каторжных. Извозчики бесплатно повезли их по городу, в их халатах и войлочных шапочках, они трясли разбитыми кандалами и кричали народу.

По вечерам Пенза стала рано гасить свет и запираяться от грабежей. Город затопили пьяные солдаты без поясов.

* * *

В Екатеринбурге неизвестные штатские и солдаты стали самовольно стягиваться в городскую думу на митинг, оттесняя гласных: «Если вы с нами не согласны – то на поддержку демократии придёт 126-й полк!»

Следующий митинг – в театре. Мало штатских, почти нет женщин, а зал переполнен солдатней так грозно, что вот произойдёт катастрофа. Актёр, стоя на барьере бенуара, называет громко: «Губернатора... архиерея... полковых командиров... жандармов...», – а пьяный прапорщик со сцены взмахивает шашкой после каждого: «Арестовать!... Арестовать!...» – и зал ликует. Актёр кричит: «Занять телеграф! телефон! вокзал!»

Тем временем в маленькой комнате театрального буфета железнодорожник Толстоух открывает тайное заседание революционно-демократической головки: «Каждый, кто сейчас не согласится, будет убит на месте. Немедленно рассылаем наряды арестовывать власть имущих и полковых командиров.»

Присутствуют и несколько радикальных членов городской думы. Вырвавшись с того заседания, обсуждают между собой: предупредить ли полковых командиров? Пожалуй нет: это будет истолковано как донос.

* * *

В Ишиме начальник гарнизона Карпов объявил солдатам: «Кто произнесёт имя Родзянко – расстреляю!» Потом – застрелился сам. Жандармский ротмистр сначала называл Временное правительство самозванцами, но ему запретили так говорить.

* * *

Иркутск . При первых известиях о перевороте в Петербурге иркутская администрация замерла, не подавала признаков жизни. Взоры населения обратились к политическим ссыльным как своим теперь вожакам: все увидели в них власть, и состоятельные круги, известные промышленники и адвокаты не пытались её перехватить, но на их лицах было к революционерам почтительное выражение. Гарнизон в 40 тыс. человек не сопротивлялся подчиниться возникшим революционным органам. От имени ссыльных Ираклий Церетели и Абрам Гоц сами отправились во главе отряда для ареста, чтобы смягчить его. Генерал-губернатор Пильц, сгорбленный старик, встретил их испуганными поклонами. Ему объявили, что он, арестованный, будет содержаться в этом же доме, и он рассыпался в благодарностях, что всегда был уверен в «благородстве идейных людей».

* * *

В Ачинске три дня чествовали Брешко-Брешковскую, освобождённую из

минусинской ссылки. По пути её на вокзал войска потоком брали на караул, а перед коляской валил народ с хоругвями.

* * *

В городке **Зея**, за Амуром, вскоре после царского отречения местные интеллигенты созвали большое собрание жителей, всё больше простой народ, золотоискатели. Предложили выбрать комитет, назвали Абрамова, коренного сибиряка, удачного золотоискателя, одного из пионеров края. Он поднялся в богатырский рост:

– Я могу служить царю, но как его нет – отказываюсь от всякой общественной работы.

Слова его покрыли «ура» и аплодисменты.

Царские портреты остались висеть почти во всех домах.

* * *

Кадеты **Хабаровского** корпуса встретили революцию с негодованием. Вынужденные убрать портреты Государя из ротных зал, перенесли их в классы. Изображения Государя стали клеить на внутренние крышки парт, а на портупей – двуглавых орлов и императорские короны. Когда комиссар Временного правительства назначил парад гарнизона – на площадь, разукрашенную красным, кадетский корпус вышел под трёхцветным флагом и без единого красного банта.

* * *

В Алексеевском кадетском корпусе в **Ташкенте** кадеты открыто плакали, когда были прочтены отречения и портрет Государя убрали из рекреационного зала.

* * *

В **Самарканде** ликование гимназистов было так обязательным, что даже сын прокурора просил дома сделать ему красный бант. Сын местного адвоката всю войну продержался тыловым офицером и тогда льстил прокурору – теперь кастит его при публике, а прокурор виновато улыбается под сотнями глаз. Среди демонстрации едет колесница, убранная кумачом, и стоящие в ней раскланиваются. Ходить с красными бантами заставили всех бывших правителей, они жмутся и угодливо улыбаются каждому встречному солдату. Уже весна в разгаре, но их сады лишили полива, и те сохнут.

* * *

Во **Владикавказе** К. Мамулов собрал самозванный исполнительный комитет, арестовал генерала, начальника Терской области (хотя и признавшего Временное правительство), объявил себя вместо него. Этому помог воинский начальник полковник Михайлов: надел красный бант и объявил себя областным комиссаром.

Во Владикавказе промышленных рабочих не было, только трамвайщики и железнодорожники. Но образовался Совет рабочих депутатов, во главе его Скрынников, никогда он рабочим не был, а вместо солдат налезли писаря и фельдшера.

* * *

В **Екатеринодаре** у войскового собора маршировали и пели: «Отречёмся от старого мира». Местный художник спешил рисовать картину: девица с рогом изобилия несётся, чуть касаясь ногами травы, а из рога сыпятся цветы.

Гимназический учитель сказал ученикам: «Открывается завеса в новую жизнь!»

* * *

За 37 лет службы по полицейской линии П.П. Мейер был более десяти лет обер-полицеймейстером Варшавы (а Балк – всего лишь его помощником, потом возвысился в Петроград) – и там научился хорошо ладить с обществом, И приехав осенью 1916 в **Ростов**, он быстро понял, к каким элементам надо примкнуть, чтобы не потерять связи с населением, стал очень хорош с Пармоновым и Зеелером и, сколько мог, парализовал деятельность неприятной нечистоплотной правой публики.

Но уже 3 марта, отдав Гражданскому комитету всю секретную переписку, генерал-майор Мейер почувствовал себя обречённым: он – никто, и всем мешает. Только 6-го пришла правительственная телеграмма, что по всей стране упраздняются губернаторы, их обязанности передаются председателям земских управ. Странно, там не были упомянуты градоначальники, хотя они по классу равны губернаторам. Теперь, очевидно, Мейер должен был сдать должность городскому голове, но по совести не мог этого сделать из-за крайней реакционности ростовской думы. Тут приехал и сам Зеелер, спеша перехватить градоначальство в Гражданский комитет раньше чем спохватился совет рабочих депутатов. И Мейер сдал печать, шифр и покинул свой служебный кабинет, чтобы больше никогда не войти в него.

Однако оставались важные вопросы о его будущем. Во-первых, казённая квартира его находилась в здании градоначальства же – и хотелось бы не переезжать сразу. Во-вторых, будет ли выплачиваться ему дальше содержание градоначальника? Должно бы выплачиваться в полном объёме, поскольку устранение считается формально временным – а новое правительство должно же, кроме самого государственного устройства, соблюдать все законы и установления старого, в том числе и его денежные обязательства? Если сразу лишиться содержания – то на что жить? И ещё в Ростове, при благожелательстве местного общества можно рассчитывать на какой-то заработок, а для другого города будешь только бывший полицейский генерал. А нынешние трудности железнодорожного переезда? И мебель везде дорогая.

* * *

В **Новочеркасске** днём 1 марта в войсковом соборе шла с обычной торжественностью традиционная панихида по Александру II. Но уже передавали по городу телеграмму Бубликова, в городе возникла тревога. 2-го марта прорывались ещё слухи, возникло большое возбуждение в интеллигенции и в рабочем районе Хотунке, где стояли и два запасных полка. В ночь на 3-е в революционно-явочном порядке возник Исполнительный комитет в 40 человек из членов думы, военно-промышленного комитета, земгора, студентов, присяжных поверенных и больничных рабочих касс. Ночью он послал к наказному атаману Граббе делегацию, требуя передать почту и телеграф. Граббе отказался, но и не решился применять военных мер. Исполнительный комитет с добавлением революционных офицеров, как есаул Голубов и поручик Арнаутов, сам взял в свои руки телеграф, телефон, почту, «Донские ведомости», конфисковал архивы жандармского управления, атаманской канцелярии – затем

и арестовал атамана за его «неискреннее и двусмысленное отношение к государственному перевороту», заставив передать донское атаманство – воспитателю донского пригостительного пансиона войсковому старшине Волошинову. Вскоре вслед комитет объявил себя областным, по всему Войску Донскому, обещая включить потом и представителей станиц, когда их изберут.

Манифестации шли мимо архиерейского дома – и старый архиерей крестил в окно народ. А люди потемней собирались в войсковой собор молиться. Плакали.

В шести верстах, в **Персиановке**, директор сельско-хозяйственного Училища Зубрилов, действительный статский советник и донской дворянин, собрал учащихся в рекреационном зале и, сильно возбуждённый, объявил, что монархия пала, произнёс восторженную речь: что монархия только задерживала развитие страны, а теперь Россия пойдёт вперёд семимильными шагами.

В окружной станице **Каменской** после отречения шли по Донецкому проспекту с красными знамёнами тысячи людей: все учащиеся, местная команда казаков, запасной пехотный полк, жители, расцвеченные красными лоскутами на груди. Пели марсельезу и другие революционные песни. Впереди процессии шёл с красным бантом атаман Донецкого округа генерал-майор Макеев.

В станице **Глазуновской** ударили в набат. Люди стали сбегаться с вёдрами и вилами – на пожар. И тогда два урядника и два бывших стражника (у троих – в прошлом судимость, смещение с должности за вымогательство и взятки, а то и тюрьма), подбитые находим интендантским солдатом и хорошо накачавшись самогону, – объявили себя исполнительным комитетом, а станичного атамана и заседателя – долой. Потом в станичном правлении стали разбивать шкафы с бумагами, звали народ делать обыск у попов и учителей и разделить их съестные припасы.

* * *

На заводах под **Лисичанском** всё население восприняло вести о петроградском перевороте с интересом, но сперва и в голову никому не пришло, что теперь можно нарушить непрерывность работы и фабричного порядка. Через несколько дней на митинге инженеры и заводские служащие восторженно произносили речи о братстве, равенстве и свободе – и рабочие хлопали им сочувственно. Инженеры – те же пролетарии, что и рабочие, и поведут своих младших товарищей к прекрасной жизни.

* * *

В середине дня надзиратель полтавского реального училища – хиленький, рыжеватый, с петличками коллежского секретаря, вошёл в два старших седьмых класса и пригласил их выйти тихо в актовое зал. (Уж они слышали кой-что и без того.) В зале постоянно висело три портрета – Петра I, Александра III и Николая II, – сейчас все они были завешены белыми простынями. Но и красного – нигде ни лоскута. В углу кучкой стояли учителя и инспектор Розов, преподаватель русского. Ввели ещё, так же тихо, группу старших семинаристов, старших учеников коммерческого училища, стайку гимназисток из соседней гимназии. Еле слышны были переговоры.

Инспектор Розов ледяно объявил об отречении Государя.

Кто желает сказать?

Его известный любимец семиклассник Сурин, красивый, стройный, с румянцем на щеках, вышел на подиум и с экзальтированными движениями заявил:

– Мы – больше не учащиеся реального училища, и никакого другого! Мы – свободны от контроля такой сволочишки, как инспектор Розов! Мы понесём революцию по городу! по

губернии! по всей стране!

Реалисты перепугались, как снега им насыпали за воротник.

Инспектор плакал в углу.

Выступил журналист местной газеты и наставлял учащихся не снимать фуражек при встрече с учителями на улице: это символ рабства, а они – свободны теперь.

* * *

В **Кременчуге** по требованию манифестантов освободили из тюрьмы всех уголовников. Они рассыпались грабить окрестные деревни. Военский начальник на свой страх и риск послал батальон ополченцев, чтобы переловить их. Новая власть обвинила его в контрреволюции.

* * *

В **Киеве** в ночь на 4 марта, первую после отречения, образовались банды: срывали вывески с двуглавыми орлами, уничтожали национальные флаги. Толпа смотрела угрюмо. Из неё раздавались угрожающие выкрики – на толпу двинулись грузовики и разогнали.

Манифестация, проходя по Фундуклеевской, видела на фронтоне офицерского лазарета вывеску с именем великого князя, а сквозь окна – царские портреты на стенах, и кричала угрожающе. В лазарете портреты сняли.

Киевская полиция раньше других учреждений на общем собрании выразила готовность служить новому строю.

* * *

Молодой офицер Тулинцев после госпиталя и до поправки жил у матери в Святошино, **под Киевом**. Ничего не знал, утром 4 марта приходит «Киевлянин» – с отречением Государя и его брата. Как обухом по голове. А ему как раз ехать в город в комендантское управление за медицинским свидетельством. В канцелярии на Печерской улице – ни одного писаря, все столы пусты, а на всех – бумаги стопами, горами. Обнаружил, где медицинские свидетельства, час перебирал – нашёл своё. Уже уходя, встретил на пороге одного писаря: «Все ушли на манифестацию на Крещатик.»

Пошёл и сам на Крещатик. Там – ликующая, кричащая толпа, очень много красных флагов и плакатов. («Война дворцам».) Жуткая громадная толпа однородного характера, духа радости и злобы. Выделялись солдаты в расстёгнутых шинелях, днепровские матросы. Рабочий услышал, как два старика, выбираясь из толпы, жалуются друг другу, что страшно, – стал их ругать и бить кулаками.

С балкона городской думы и в других местах трёхцветные флаги.

* * *

Во время уличного митинга в **Киеве** молодая дама заметила мужу рядом, какая вздорная манера у оратора. Милиционер-студент услышал, тут же арестовал и жену и мужа, и отвёл их в городскую думу.

Другие два студента, при шашках, револьверах и винтовках, привели туда же арестованную ими простую бабу за то, что сказала: «То булы городови, а тепер студенты».

На киевской улице на тротуарную тумбу взлез офицер, расстегнул китель, колотит себя

в грудь и кричит, что он счастлив сбросить с себя шкуру царской собаки.

Жена богатого киевского ювелира Маршака (купец 1-й гильдии, все права, все сыновья с высшим образованием), узнав о революции, вышла на балкон без пальто и шляпы, привешивала красную материю как флаг: освободились от рабства!

На Крещатике в магазине Идзиковского стали продавать новую песенку, спешно составленную на ноты бравурного марша:

«Пусть нас давил кошмар минувшей ночи,
Но час пробил! Терпеть не стало мочи.
Заря зажглась! Да будет яркий день!»

* * *

Херсон . 4 марта тут стало известно, что в Петрограде большие волнения. С завода Гуревича, расположенного за городом, пошли в город, сперва веселы, но всё напряжённей. Навстречу колонна солдат. Рабочие распались, растеснились её пропустить, – но солдаты, невооружённые, прошли, не обращая внимания. Рабочие пошли дальше, из окон своих на них тарасили глаза обыватели. Вдруг на Говордовской улице навстречу пара хороших лошадей, кучер осадил, из экипажа выскочил низкорослый толстый человек и поднял руку остановиться. Это был сам губернатор. Рабочие окружили его. Он вынул лист бумаги и стал читать отречение царя. И один из рабочих вожakov Козедеров закричал: «На колени!» И все передние ряды повалились на колени, а дальше мялись. Когда губернатор кончил два Манифеста, Козедеров закричал: «Да здравствует Михаил Александрович!» А другой вожак Сорокин крикнул сзади с холмика: «Да здравствует Учредительное Собрание!» Повставали с колен кто раньше, кто позже. Передние стали просить губернатора освободить политических – тут подъехал городской голова, что прокурор уже распорядился. И хоть сзади звали идти к тюрьме – рабочие не пошли, разбрелись, суббота.

А в воскресенье на Соборной площади собралось тысяч 6 жителей – Сорокин держал речь, что надо создать Совет рабочих депутатов. Ему и крикнули: «Собирай!» Он тут же назвал Дорфмана, Романова, Смолянского и Чайку – все с завода Гуревича. И пошли они в городскую управу захватывать помещение. По дороге подошёл какой-то щуплый в поношенном пальто с повязанной щекой – и объяснял на ходу, что он – Шендерович, с-д, в партии уже несколько лет. Дорфман подтвердил: «Я его знаю.» Взяли. Тогда Шендерович стал подтягивать ещё одного – Каждана, бундовца. На ходу взяли и его. Пришли к городскому голове – тот подумал и предложил Совету свой кабинет. И стала в этот кабинет напирать публика – много учащихся, и освобождённые политические. Сорокин открыл заседание, стоя, и в дверях не пробить. Поручили Каждану написать воззвание, Каждан тут же и составил. Он стал заместителем Сорокина, Подгойн и Дорфман – членами президиума, и кооптировали Шендеровича секретарём.

В следующие дни все вооружались из складов полиции, а Совет занял губернаторский дворец. Управители города растерялись, не знали, что делать. Тут из Николаева подъехал большевик Вениамин Липшиц, служащий ремесленной школы. При выборе делегатов в Петроград Липшиц давал отвод Каждану как интеллигенту, а на него кричали в ответ, что он занимается махаевщиной. Шендерович требовал, чтобы большевик Сорокин снял свою кандидатуру, но не вышло.

(из „Пролетарской революции»№49)

* * *

В **Темрюке** , в устье Кубани, было реальное училище, выпускники которого потом учились в крупных городах и на каникулы привозили революционный дух и песни – местной

гимназии, прогимназии, собиравшим много молодёжи из станиц. Так что и здесь, в далёкой глуши, гимназистки понимали, что самодержавие отжило свой век, пели «Вихри враждебные» и «Дубинушку».

В один из первомайских дней ученицы 7 класса что-то заждались своего учителя математики, всё не шёл. Всегда он был хмурый (не любил преподавать математику, а любил музыку, хороший скрипач), – тут вошёл радостный и, размахнув руки, поздравил учениц с революцией! Это было громоподобно. Полагалось ждать её впереди, но никто не ждал дожить до неё так быстро. Учитель стал вспоминать перед ученицами свои студенческие годы в Москве – и засиделись на перемену.

Но какой может быть следующий урок! – теперь сплошная перемена. Растеклись по всему зданию. Учительницы сами не могли ничего объяснить, да они уже не отличались от учениц во всеобщем ликовании.

А тем временем пришёл школьный сторож и принёс новость, что в городе собирают всех на Александро-Невскую площадь. Многие девицы загорелись, поджигали других идти. Так заразительно было: пойти на необычное сборище, услышать необычные слова. Никто из начальства не смел и удерживать, как бы не назвали реакционером или черносотенцем, хуже этого быть не могло.

Пошла и Вера, но на первом же углу услышала оратора, рассказывающего гадости об императрице, – и в ней сжалось тревогой и отвращением. И она не пошла на митинг, а свернула, побрела задумчиво, и вышла к их маленькой станции, где пустынно было на перроне. Взяла Веру пустота, как когда у неё умер папа, несколько лет назад.

А вскоре к ней подошла одноклассница Люба, с которой она даже и не дружила. И та спросила:

– Ты – тоже ?

Не сказала, что – «тоже», но вдруг объединило их это. И они взялись тесно под руку, как перед бедой грозящей, и, почти не обсуждая, побрели по Упорному переулку, тоже пустынному, и смотрели издали на белые колонны своей гимназии и на белый Свято-Михайловский собор – и всё не могли расстаться друг с другом, как будто что-то особенное открылось в каждой – и соединило их.

А вся масса *посунула* на митинг.

459

Деревенское зимнее время всегда богато свадьбами. Но в эту зиму в Каменке не справили ни единой.

И масляна прошла без гулянья и без гона рысаков. Выехали два-три любителя – и осеклись, увернули.

После осеннего взятия мужиков – заметно обезлюдело село. И тянулась, тянулась проклятая – глотала, и не было ей конца. Забрали и ещё молодых, призывной год.

Декабрь-январь простояли морозы ровные, а с февраля закрутили мятели, какие редко так свиваются, – и вились две недели сподряд. Так заметало, что по три-четыре дни никакого пути не было никуда. Потом мятели сгунули, но и в начале марта никак не чуялась весна. При морозах посыпал снег – то через день, то каждую ночь. Скот и лошади по сараям стояли смирно, не выказывая обычного предвесеннего беспокойства. Мужики доправляли сбрую, ещё не выходя к плугам, ходам и сеялкам. А бабы дотекали начатое, кончая ворох зимней своей работы, а кто частил-постукивал швейными зингеровскими машинами (с дюжину было их на село, купленных за сто рублей на сто месяцев в рассрочку). Только дети не сбивались со счёта, что вот в этот четверг необминно будут жаворонки печь, усдобняя скучную постную еду. Да колотили скворечники из тёсу или из дупел, – кто постарше, тот сам, а кто приставая к деду.

Упала жизнь – упала и торговля. Там и здесь по округе не составлялись непременно ежегодные ярмарки по известным дням, и уже видно было, что и в Каменке мартовская не

состоится. Некому было покупать, некому продавать, – и на ляд эти деньги? И на воскресных сельских базарах опустевал один ряд за другим, и даже берёзовых веников, шедших раньше по три на копейку, теперь не укупишь и одного за пятак.

И Евпатий Брюякин не закупал новых партий никакого товару, и месяц от месяца пустела его лавка, хотя всё ещё избывала многим – и необозримо было, как можно кончить торговлю и куда деть всю эту пропасть товара. Да не промахивается ли он в своём предчуяньи? Замерло дело, да, но пока война, а потом закипит опять? Никакая угроза всё ж ниоткуда не выпирала. Обмануло ли сердце?

Хватает забот и других, хоть и с детьми, особенно со старшей дочерью Анфией. Две меньших уже вышли, а она нет. Вот исполнилось ей 24 года, пересидела в девках. С детства она имела большую страсть к учению, и отдавал отец её в тамбовскую гимназию. Гимназии кончить ей не пришлось, а всего-то получилось от Тамбова – запутал Аню студент Яков, сын тамбовского купца, и втравил её читать бунтарские книжечки, а сам сел в тюрьму. И эти книжечки Евпатий сжигал у дочери не раз, а она снова доставала их, уже и без Якова. Она была заглядная невеста, и собой видна, и приданое большое, но сколько ни сватались к ней – всем отказывала, а хотела только за Якова. А его и след простыл. И она – пересиживала, и стала сохнуть, болеть и ныть, – и что теперь с ней делать?

Правда, в лавке работала исправно, она-то больше всех и торговала. Старший сын – на земле, теперь женился, и готовились его отделить, призыву он не подлежал как кормилец. Но младший, Колька, и учиться не хотел, а тянуло его не по возрасту на беспутство. Так и над ним болело отцовское: вырастил не в дело, как лучше б и не растил. Дети наши – горе наше.

А Кольке – да, уж так не сиделось в этой школе! Уж так он тут был покрупнее всех, даже когда играли в войну, наши против немцев, снежками или палками (и школьный сторож Фадеич составлял им военные планы, чтоб завсегда выигрывали русские), – тоже было ему не в охотку, даже стыдно играть. Он ведь уже состоял в компании Мишки Руля (хотя вот самого Мишку забрали недавно в армию). А главное – каким кавалером вырос! Это уже все девки почуяли, и стал он у них в большой моде: расшумаркали, небось, какой он теперь. И все, все они ему нравились, как из одного яйца вылупленные, и каждую из них он готов был равно любить. Страсть с Марусей-солдаткой оборвалась: воротился из плена её муж калечным. Маруся плакала, и хотела продолжать встречи с Колькой, тем боле что мужа определили на годичные курсы садоводов. Но Колька Сатич – не схотел: зачем ему пугаться с замужней, когда ему девочки открывались? Трое таких на эти святки взялись сторожить избу стариков, уехавших в гости, – и «чтобы не было страшно» позвали трёх парней, те два старше Кольки. И была там Алёнка с белыми косами ниже пояса, и так это завлекало после чёрной Маруси. Полночи гадали на картах, на бобах, и отливали в воде желток, и в зеркало глядели, и кидали за ворота башмачок. И как это кончится – нельзя было угадать. А за полночь старшая девка объявила: «Вам, ребята, пора домой, а нам пора спать.» Одной девке показала спать в запечьи, себе забрала кровать, Алёнке кинула на пол войлок и тулуп – и со смехом потушила лампу. И разобрались на трое. И когда Алёнка потом шептала на войлоке: «что ты сделал??», – Колька уже новым голосом развязности и победы: «эт не я сделал, это мы вместе, не робей!»

С той ночи новая радость обогрела ему душу – и он понимал о себе только с выражением героя, и все его планы зарождались только в любви к девушкам. А вот – отец ругал и гнал в школу, и в школу, – хотя и Анфия отговаривала его, что учителя не учат, а стараются скрыть истину: что весь мир – это борьба за существование и подбор приспособленных.

И сегодня в понедельник сидели в классе, десятка полтора, разных возрастов, мальчики и девочки. С морозного дня светило солнце весело внутрь – а Юлия Анিকেевна, тонкая как осочка, расхаживала попереди парт и вела диктовку:

– И на цветах и на траве душистой блеснёт роса, посланница небес.

Юлия Анিকেевна уже второй год у них учила, сама из Тамбова. А был и второй учитель, щуплый, с лицом в угрях, подёргивался, и злой, – его все дружно не любили и звали

Судроглаз. Они делили классы так и этак, переменялись.

Тихо. Скрипели перья.

Посланиться? послониться к траве росистой?... Колин сосед по парте не очень-то кумекал тоже, но Коля подсматривал слова наискосок у передней девочки, она писала крупно, ясно и всегда знала, как. По-слан-ни-ца, вон как.

Такая тишь – ни одного шороха, ни голоса, ни стука, ни грюка – нигде по школе, ни снаружи. Такая тишь, какая висела над Каменкой всей этой зимой, и особо после этих мятелей, когда не успевали набить дорог.

И Юлия Аникеевна, впечатывая ноги в эту тишину, в валенках совсем бесшумно по нескрипучему крепкому полу, и с чувством, как она всегда диктовала, входя в эти слова, даже слишком отчётливо:

– И тканью тумана серебристой оденется темно кудрявый лес.

Вдруг – открылась и стукнула тяжёлая входная дверь. И по коридору раздались шаги громкие, уверенные, пугающие, как не должны бы в школе.

Юлия Аникеевна вздрогнула и остановилась на полуслове. Глядя на неё и все ученики обеспокоились.

Шаги – сюда.

И дверь – рванули. И не спрося дозволения, чего Юлия Аникеевна никогда не попускала, – вошёл молча, совсем молча, как в пустую ригу за вязанкой соломы, а не в полный учениками класс, – чернобородый Плужников в овечьей мохнатой шапке, в чёрном перехваченном полушубке и бутылочных сапогах.

А сзади него поспевал Судроглаз в трёпаном пальтишке, без шапки. Но не для того, чтоб остановить его не врываться. И тоже на Юлию Аникеевну не обращая внимания.

Учительница стояла изумлённая, не успевая спросить. Но с чем-то страшным только они так могли войти – и ученики затаились. Стало ещё тише, чем было.

И Плужников подошёл к передней стене, поднял две руки, взялся за чёрную лакированную раму царского портрета – и сдёрнул его!

На пол звякнул гвоздик.

Учительница прижала книжку к груди и побледнела.

А Судроглаз пошёл к такому же рядом портрету царицы, но не доставал. И обернулся, без спроса взял стул Юлии Аникеевны, неуверенно встал на него – и сдёрнул второй портрет.

И не возвращая стула, и ничего не объяснив, – взяли портреты и выносили, оставив замерший класс.

– А Владимир Мефодьевич?! – воскликнула учительница, – вам разрешил??

Владимир Мефодьевич был попечитель земской школы и рядом земской больницы, обе построив на свои деньги.

– Мы теперь и без Владимира Мефодьевича! – резким насмешливым голосом, как он умел, отзывался Судроглаз.

И ушли в коридор.

Плужников не хотел обижать учительницу, не нарочно он так сделал, а порывом. На него самого эта новость свалилась, на первого в Каменке, всего полчаса назад. Ещё не знало ни волостное правление, ни урядник.

Свалилось – ничем не предупреждённое, как с ясного бы неба валун. Но за полчаса он в себе уже переработал – и узнал, что всю жизнь к этому был готов.

Потому что: не Царь был – а царёнок.

Узнал первый, – и сам же первый должен был что-то и сделать. И первое, что придумал, – снимать портреты.

Что-то рядом тарантил ему зүёк-учитель – Плужников его и не слышал. Он стоял, расставив ноги, перед школой на холме над селом – и окидывал его всё, в ярком солнце, занесенное снегом, незыблемо-покойное, ничего не ведающее, – и думал, как сейчас прогрохочет через него царское отречение? Что будет с урядником? Что заговорят мужики?

Он стоял над своим селом, где и всегда был первым, а сейчас ещё раз ему надо было первенство взять.

Плужников так понимал: спадают косные оковы – и наша сила, почитай, теперь развернётся пуще. Теперь-то – мужикам и надо самим захватывать свою жизнь.

Вот когда и придёт мужицкая правда!

Мимо него пробежали, и по тропкам вниз, отпущенные ученики.

460

Ещё два дня бесполезно проискал Керенского по Петрограду ходатай за арестованных религиозных. Снова пошёл в Таврический, – в Екатерининском зале лежали солдаты, задравши кверху ноги, ещё больше сорной бумаги на полу и окурков, склад валенок, – а Керенского не было, и кто-то сказал, что он теперь в Мариинском дворце. Добросовестный толстовец отправился в Мариинский, но там швейцар заверил его, что Керенского не только нет, но и не было ни разу.

Несомненно он был в Петрограде, и во многих местах, где-то носился в кипучей разнообразной деятельности, его рвали на части, но Булгаков достичь его не мог. Тогда он решил уезжать в Москву, а перед тем ещё раз посетить Гиппиус и Мережковского, где его знали. Там пригласили выпить чашку чая, и не расспрашивали, а объясняли ему: Гиппиус – что свобода уже становится захватанным словом, а как бы не было резни, потому что Совет рабочих депутатов не даёт вздохнуть Временному правительству; а Мережковский – что раньше того немцы придут и они-то и будут резать. Булгаков улучил момент, вставил о своих неудачах с Керенским. И Философов, который сидел там же, предложил: жена Керенского, Ольга Львовна, милая, интеллигентная, всегда была помощницей мужа во всей его общественной деятельности. Можно отправиться к ней домой, рассказать всё дело и просить поговорить с мужем.

– Верно! – воскликнула Гиппиус. И сразу подошла к телефону, соединилась с квартирой Керенских. Но прислуга ответила, что барыни нет дома, а мальчики в школе.

Тогда литераторы написали письма – и Керенскому, и Керенской, с просьбой принять и выслушать секретаря Льва Толстого. И подбодрённый Булгаков отменил свой отъезд. А сегодня утром отправился сразу на квартиру Керенских.

Он доехал на извозчике до тихой Тверской улицы за Таврическим садом, в улице этой не было ни экипажей, ни пешеходов, никаких следов и революции. Означенный дом оказался старым трёхэтажным зданием, на котором во многих местах облупилась грязная серая краска. И подъезд – грязноватый, непритязательный. И швейцара нет.

Но вышла какая-то девочка и показала дверь на первом этаже. Булгаков был глубоко тронут этой непритязательностью знаменитого человека, которым сейчас жила и восхищалась вся революция.

На двери – медная дощечка: «Александр Фёдорович Керенский». Но такие безлюдные были и дом, и лестница – казалось Булгакову, когда нажимал на пуговку звонка, что никто не отзовется. Однако дверь открылась, и мешковатая сонная прислуга в тёплой кофте и тёплом платке на голове, как будто за спиной её в комнатах был мороз, подтвердила, что Ольга Львовна дома. Булгаков передал ей письма, визитную карточку и просьбу принять его ненадолго.

Прислуга ушла, возвратилась и впустила в маленькую гостиную:

– Барыня просит обождать вот здесь.

Нет, это не гостиная была, но приёмная очень скромного адвоката. Две японских вышивных картинки на стенах. Простенькая мебель. Впрочем, через дверь виднелась другая комната – больше и обставленная комфортабельней. А откуда-то ещё из глубины слышался молодой женский голос, видимо от телефона.

Вскоре Ольга Львовна вошла и сюда, торопливо. У неё были волосы в пробор на стороны, высоко, но и косо открывавшие лоб. И эта косость, передаваясь в крупные глаза, а

затем косоватый и рот, создавала выражение какого-то постоянного удивления на её лице.

– Простите! – заявила она сразу же. – Но принять вас теперь я не могу. Сейчас звонили, моему мужу сделалось внезапно дурно, он в обмороке, и я должна ехать к нему в министерство юстиции!

Булгаков понял, что его разговор состояться не может. Но:

– Госпожа Керенская, может быть я как раз могу быть вам чем-либо полезен в данный момент?

Она оживилась поддержке:

– Нет ли у вас знакомого доктора? По телефону сказали, что нужен доктор.

Булгаков изумился: герою революции, министру юстиции – дурно, и в министерстве близ него не могут схлопотать доктора иначе как через жену?

Увы, он не постоянный житель Петрограда, но в министерстве не может быть без доктора, да наверно уже и нашли!

– А у вас нет извозчика?

– Ах, я только что отпустил его!

– Не знаю, как я доберусь, – тревожилась Керенская, и лицо её выглядело ещё более удивлённым, растерянным.

Ольга Львовна накинула лёгкую дешёвую шубку с белым мехом на воротнике и обшлагах, вышли на улицу. Та по-прежнему была пустыня. Зашагали к Таврическому.

Чтобы к молодому излюбленному герою России доставить его жену – Булгаков ощущал на себе полномочия остановить любой автомобиль, высадить седоков из любых саней, – но не было ни тех ни других, никого!

Быстро шли по снежным утоптаным тротуарам, не слишком широко и расчищенным тут, только что на двоих, с Таврической стало пошире.

– Алексан Фёдорыч, наверно, очень переутомился за эти безумные дни? Сколько ж он спит? Может ли спать?

Сильная тревога промелькнула по лицу Ольги Львовны, очень бледному, как видно на свету, она сама измучилась:

– Ах, ещё бы! За последнюю неделю он не спал ни одной полной ночи. Да просто не ложился в постель. – (Не могла же она сказать чужому, что он вовсе дома не бывал! Что она сама караулит его в Думе, изнемогая от бессонницы...) – Можете себе представить его состояние? И сколько пережито!

– Да вы и сами измучены! Совсем измучены! – теперь доглядел он.

– Да, – пыталась улыбаться Ольга Львовна, – должна разрываться во все стороны. А сколько звонят по телефону! Поверите, утром просто одеться не могу – звонок! звонок! Надеваю один чулок и бегу. Надеваю другой – опять звонок, опять бегу!

Наконец, настигли ваньку. Стоял, запаренная лошадь пыхала боками.

– Знаешь, где министерство юстиции? На Екатерининской. Езжай, пожалуйста, да поскорей.

– Не могу, барин, лошадь занудилась.

– Ну, хоть довези до другого извозчика! Мы к больному торопимся!

Сели. Затрусил ванька помаленьку. Ещё быстрее ли, чем пешком. Как в насмешку!

Достигли другого извозчика – пересели. Но и у того замороженная лошадь, не лучше.

Автомобиль, автомобиль! – хотел Булгаков увидеть и остановить.

Наконец за спиной услышали автомобильные гудки. Шёл, с красным флагом на носу. Булгаков соскочил, кинулся наперерез автомобилю, там рядом с шофёром – студент.

Загородив дорогу и руки протянув – остановил.

– Товарищи! Товарищи! Вот – супруга министра юстиции Керенского. Её нужно немедленно доставить на Екатерининскую улицу, министру дурно!

У седоков автомобиля тоже переполох: министру дурно? Студент спрыгнул, вежливо подсадил Ольгу Львовну.

И умчались.

Булгаков расплатился с извозчиком и уже не торопясь побрёл по тротуару, размышляя: какой фатум всё мешает ему в его деле?

С Керенским теперь возможен даже трагический исход, но если он и выздоровеет, то, очевидно, нескоро и нелегко. Так что не приходится ждать приёма ни у него, ни даже у супруги.

А больше обратиться не к кому, он не знал. И значит, надо уезжать из Петрограда.

Оставались часы, теперь уже совсем для себя, и Булгаков пошёл в Академию Наук, пешком, экономя на извозчике. Там, в рукописном отделении, обещали ему показать подлинную рукопись лермонтовского «Демона».

461

С какого-то момента стало Председателю Думы немного-немного полегче.

Он сам так привык нести на себе всю скалу России, что даже не сразу заметил это облегчение в плечах, оставался напряжён и продолжал свою гигантскую работу. И самый момент этого полегчания заметил вослед, когда уже направил плавный поток событий. (Слышал себе похвалу, что он был «старый Кутузов нашего переворота»: когда всё зависело от его единого слова по телефону, он ни разу не ошибся в тоне, музыке и расчёте.)

В тот день Родзянко представлял так, что два акта отречения впервые будут торжественно оглашены на публичном заседании Государственной Думы. Таким образом Дума проявила бы себя как носительница Верховной власти, перед которой ответственно Временное правительство. Но кадеты и их юристы резко возражали, что это только рассердит левые элементы, возбудит их против Думы, и они станут требовать демократического Национального Собрания.

И как же собирать Думу, если левое крыло противится? Все увидят раскол. Очень обидно, а пришлось отказаться.

Итак, что ж? Россия стала ещё не республикой, но чем-то аморфным, переходным, в ожидании Учредительного Собрания. Когда оно соберётся – нет сомнения, что его председателем будет избран Родзянко, и от него во многом будет зависеть определение будущей судьбы России и формы правления её. А в случае республики не миновать ему быть первым президентом России.

А пока – начиналась уже не революционная, а более обычная жизнь с нормальными и ночами. Временное правительство, назначенное Михаилом Владимировичем, начало работать и уехало из Таврического. А тут остались: Государственная Дума, Временный Комитет её, ну и, малоприятное соседство, – Совет рабочих депутатов. Тем более малоприятное, что он занял все залы и многие помещения, так что у Думы остались только три-четыре комнаты да библиотека, которую ещё удалось отстоять.

В библиотеке и собирали позавчера – нельзя сказать заседание Думы, но – частное совещание членов её. С вопросом: что надо делать членам Думы? Остаться ли в Петрограде и принять все меры для поддержки Временного правительства? Или разъехаться по местам своего избрания и там разъяснять населению смысл совершившихся событий, которого не понять живущим вне Петрограда? Заодно и помочь подвозу хлеба? Склонялись, что лучше побыть здесь. Но и образовали бюро, для записи желающих ехать (кто-то и сам разъезжался, без разрешения). А крайне правые члены Думы вообще скрылись и не появлялись в Таврическом от самого 27 февраля. Уследить и управить было невозможно.

Сам Родзянко эти дни был непомерно занят. То надо было ответить Ставке на её наивные протесты против «Приказа №1»: разъяснить, что не надо волноваться, приказы Совета не имеют никакого значения, потому что он не входит в состав правительства. То надо было принять крестьянского ходока, раненого унтера из Тверской губернии. То надо было читать бесконечные поздравления, пожелания, целый дождь телеграмм со всей России, вся Россия верила только в Государственную Думу, и как же иногда удержаться и не ответить?

А тем временем, хотя и меньше, чем раньше, в Таврический валили и валили всякие приветственные делегации штатских или военные строи – и как было лишить их животворящего ответного слова от Думы? Но не стало и думцев, желающих отвечать, – и доставалось всё Родзянке и Родзянке. А бывали моменты и опасные. Пришёл один из флотских экипажей, держался агрессивно, а юные мичманы произносили зажигательные речи, и один из них тут же, в присутствии Председателя, безо всяких обвиняков заявил, что Родзянку как заведомого «буржуя» надо расстрелять. (А матросам – только кинь клич, пожалуй...)

Не только личная опасность – к ней Председатель уже привык, но больно ранила его эта бессмысленная кличка «буржуй», вся эта травля, пускаемая левыми против свободолобивой Государственной Думы, что она «буржуазная, реакционная, цензовая, третьионьская» и хочет вернуть падший строй.

И какие ж требовались Председателю такт, выдержка, самообладание, чтобы при таких разбушевавшихся страстях столицы сохранять равновесие и не допустить возникновения кровопролитной борьбы! Да не к одной столице! – он ко всей России обязан был обращаться, Россия ждала могучих воззваний – и, может быть, это было главное назначение Председателя. Чей голос авторитетней его! За эти дни он много подписал воззваний. Что свершилось великое дело... Что могучим порывом народа... Но враг, встревоженный падением старой власти, питает коварную надежду... Братья офицеры и солдаты, не допустите несогласия между вами!...

А то пришлось писать специальное воззвание и к судостроительным докам в Николаеве:... Множество тайных кроющихся врагов среди вас. Не прекращайте постройки новых судов, ибо Германия хочет восстановить у нас старый режим... В опасную минуту командир корабля призывает всех стоять по местам!...

Во всех воззваниях призывал Родзянку русских людей терпеливо ждать близкого Учредительного Собрания, которое и решит все-все вопросы. Но если задуматься: Учредительное Собрание придёт как бы на смену Думе? Что ж тогда Дума и как же ей существовать дальше?

А Временное правительство поспешными назначениями членов Думы во все затычки – ещё более ослабляло Думу.

Нет! Нельзя допустить ей ослабнуть или уменьшиться во значении! Надо было снова потряхнуть её парламентским величием!

И на 6 марта, днём, назначил Родзянку общий сбор всех ещё не разъехавшихся думцев. И уговорил Шингарёва и очень просил Керенского – приехать выступить. Выступлениями министров частное совещание Думы в библиотеке возвышалось до значения общего официального заседания всей Думы.

Встреченный общими дружными аплодисментами, Председатель обратился к депутатам с краткой речью, в которой указал, что аплодисменты эти должны быть направлены по адресу всей Государственной Думы,

– ... а я являюсь лишь выразителем настроений и желаний Государственной Думы, которые я сумел угадать и почувствовать.

Далее Председатель сообщил думцам, что общее положение в стране внушает спокойствие:

– Во всей России нет и признака волнений или событий, которые возбуждали бы опасения. Правда, было получено сообщение о брожении в Гельсингфорсе, но я послал туда телеграмму с призывом к спокойствию – и в ответ получил просто восторженную телеграмму, от адмирала Максимова, в которой Балтийский флот под новым командованием заявляет о своей полной готовности.

Уже сидел тут и усталый Шингарёв с неподстриженной бородой, с поношенным туго набитым портфелем (по пути ли из министерства в совет министров или наоборот), поднялся к маленькому столику у книжной полки – такой привычный оратор для всех них, с его разговорной манерой выступать, глуховато-приятным убедительным голосом при улыбке, –

и сделал сообщение о положении продовольственного дела в стране. Что в городах кризис даже менее остр, а вот в деревнях нет самодеятельных организаций и не хватает сил на всю работу. Сообщил, как привлекает кооперативное движение, как создаются местные продовольственные комитеты, какие уже сделаны воззвания, – и предложил, чтобы Государственная Дума также обратилась бы с воззванием к сельскому населению с призывом прийти на помощь родине.

Совещанию понравилась эта мысль, а текст воззвания поручили выработать... да кому ж, если не Председателю?

Шингарёв, увы, не мог остаться, тут же уехал, а совещание перешло к другим важным вопросам.

Что Государственная Дума поддерживает правительство во всех его начинаниях.

А как быть с Временным Комитетом Государственной Думы? Из 13 его членов пятеро вошли в правительство – и уже практически, физически и юридически не могли быть членами Комитета. А один член, Чхеидзе, не держался не только членом Комитета, но даже и Думы. И что ж теперь с Комитетом, потерявшим половину членов? Раздавались голоса: не настаивать на его сохранении. Но Родзянко отверг такое решение, ибо как помыслить Россию оставшейся без Верховной власти? Да и распределение всех поступающих пожертвований на революцию целиком лежало на Комитете. Председатель настаивал укрепить деятельность Комитета и произвести довыборы. И одержал победу: избрали недостающих, и так, чтобы число не стало снова 13.

Очень ждали на совещание Бубликова, желая послушать его отчёт о бурных действиях в революционные дни. Но Бубликов всё прощался с железнодорожниками, не мог быть здесь.

И уже не сохраняли надежды увидеть сегодня Керенского – как прибежали, сказали: снаружи какая-то депутация кричит «смерть арестованным!», и такие же держит плакаты, и ломится во дворец, – но там появился Керенский!

Не успели испугаться – и вот появился Керенский! Успокоил там – а вот появился и здесь! явился! – и был встречен самыми сердечными аплодисментами. И хозяйски радушной улыбкой Председателя.

Явился, сохраняя энергию действия, весёлую мимолётную улыбку, и сам мимолётный, полётный, едва вступив в библиотеку одной ногой – кажется, уже выступал из неё другою, и успели услышать от него только кажется одну, но самую важную фразу:

– Государственная Дума – единственный законный представитель народа, и ваши желания я считаю для себя священными.

Так – очень удалось сегодняшнее заседание.

А после него, не покладая рук, уже работал Родзянко с литературными помощниками над порученным воззванием.

Граждане России, жители деревни! Нет больше старой власти, расточавшей народное достояние! Могучим порывом... Вам, землепашцам, надлежит немедленно помочь – зерном, мукой, крупую и прочими продуктами. Братья! Не дайте России погибнуть! Везите немедленно хлеб на станции и склады! Не выдайте родины! Везите и продавайте хлеб добровольно, не ожидая распоряжений. Везите хлеб сейчас же! С Божьей помощью – за дело!

Подписывая, Михаил Владимирович смутно вспомнил, что среди кипенья дел этих дней он почти такое же воззвание, точно о хлебе и почти в таких словах, кажется уже подписывал? – Шингарёв подносил.

Но то – он подписал, наверно, как председатель думского Комитета или от себя самого, – а это подписывал от хозяина земли русской, Государственной Думы.

усилился. Уж кого-кого, но военных-то в России роилось множество – неужели и их не хватало?! А вот, у революции – во всяком случае не хватало. И, штатский геолог, Ободовский подписывал даже приказы на овладение столицей. И он же успокаивал кровожадную солдатскую делегацию, желавшую убийства офицеров: вот ты, у себя в деревне, если с женой решил не жить – ну кинь, но почему ж её убивать непременно? Только на третий день Пётр Акимыч сумел поехать домой, поспать два часа.

Через два дня Гучков, ставши военным министром, потянул Ободовского ещё и в комиссию по реформе военных уставов. И в субботу он ездил на Мойку, в довмин, на заседание этой комиссии под председательством генерала Поливанова, – и там за длинным столом сидел среди одних военных, на полковничьем конце, – но даже и с генеральского конца никто над его присутствием не трунил. Рыхловатый Гучков, задумчивый и даже угнетённый, прокламировал, что намерен привлечь к руководству армией и флотом самые передовые элементы, оздоровить и преобразовать армию, не нарушая воинского духа и дисциплины. Многие реформы, отвечающие насущным нуждам армии, провести в самом спешном порядке, но и не вызвав замешательства в армейских рядах. Состав таких реформ и приёмы их проведения Гучков и доверяет разработать собравшимся.

Да сразу и ушёл.

Идея была, конечно, верная и даже замечательная. Сколько негодного да и корыстного коснеет в армии, забывая собою все каналы продвижения для тех, кто понимает современную динамику и может соответствовать ей. И действительно: кто же и может осуществить мгновенную очистку от этого застойного мусора, если не Революция?

Хотя и десятижды эти дни озабоченный, Ободовский оставался всем существом счастлив от этой прекрасной единой революции! Когда она начиналась – он ещё не верил, он боялся анархии, массовой резни. Но дни проходили – кровь реками не полилась. (Когда Пётр Александрович Кропоткин предсказывал возможность в России бескровного переворота – никто ему не верил. А вот так и вышло.) И, кажется, стало улаживаться с офицерами. Вот теперь и найти новые формы отношений в армии, закрепить истинное братство воинов?

Два крыла комиссии – осторожное генеральское и революционное полковничье, стали встречно нащупывать, о каких же реформах им надлежит вести речь. Кое-какие Гучков уже объявил в приказе 114, обойдя лишь один неберомый вопрос об отдании чести. И Ободовский, сторонний штатский, тоже не мог вообразить, что бы за армия без отдания чести. Энгельгардт, внесенный минувшими днями, требовал, что надо начать со смены некоторых Главнокомандующих. Генералы ядовито возражали, что приглашённые полковники не уполномочены быть высшей аттестационной комиссией. Все без труда согласились, что надо поскорей отменить так называемые национальные и вероисповедные ограничения при приёме в офицеры. На том и покинули общий план реформ, открыли устав внутренней службы и стали просматривать его статьи.

Были поразительно затхлые. Солдату запрещалось курить на улицах, бульварах и скверах. Не разрешалось посещать клубы, публичные танцевальные вечера, ни даже трактиры и буфеты, где подаётся распивочно хотя бы пиво, – непонятно, где солдат мог выпить пива? Запрещалось посещать публичные лекции, участвовать в публичных торжествах, а в театры ходить – только с разрешения командира роты. Внутри трамваев разрешалось ездить только унтер-офицерам, а солдатам – только раненым, остальным на площадках. В поездах – только в третьем классе, на пароходах – только в низшем. И даже книги и газеты могли иметь – только с подписью командира роты, если не из церковной библиотеки.

Теперь-то, когда революция уже сама всё взяла, только и оставалось писать против этих пунктов: отменить, отменить, отменить. Но – до сих пор? Но если считать защитников отечества своими гражданами, даже только своими подданными, – как можно было до сих пор обуздывать их на этом полускотском уровне? Всегда кипел против такого Ободовский, – и даже сейчас, вослед, кипел.

По своему свойству ничего не делать поверхностно, а уж взявшись раз, то горячо, – Ободовский теперь вникал во все эти пункты, и возмущался, и голосовал с другими. А заговорили о гвардии, – охотно голосовал за отмену всяких преимуществ гвардии – этого совсем уже не боевого, но кастового, омертвелообразованного. И – со всеми вместе заминался: в какие же умеренные каналы развести не отменимый уже «приказ №1»? И уже душой войдя в заботы военного министра – с тревогой осматривал состав присутствующих: среди этих красноречивых полковников и снабженчески нестроевых генералов – кто же будут энергичные помощники министра в его тяжёлые дни? Таких-то и не оказывалось.

Но и себя Пётр Акимович не мог сюда слишком отдавать. Он честно просидел и проучаствовал тут длинный субботний вечер, а у самого колотилось: заводы! Хотя и притянули его сюда, но и там нельзя покинуть. Революционное торжество затянулось, а трамвай стоял (сегодня пустить не удалось: в воскресенье не хотели чистить пути), а военные заводы стояли, а война тем временем давила. И главный вопрос революции сейчас, конечно, не куренье на улицах, не обращение к солдатам на ты, но: как и когда приступят к работе заводы?

Это решалось в воскресенье в Таврическом, и Ободовский несколько раз подходил к дверям думского зала, пока шла там стоголосая переключка и переголосовка, – а когда наконец прошла успешно, – они с Гвоздевым потрясли друг другу руки.

Странно и здесь: расперевернулась целая революция, сменился весь государственный строй России, но организацию оборонных работ как тянули они с Гвоздевым, так и продолжали, хотя Кузьма за это время даже и в тюрьме побывал, по безумию Протопопова. Теперь Ободовский, разрываемый военными обязанностями, нет-нет да и влетал в комнату, где устроился штаб Гвоздева.

Итак, преграда Совета рабочих депутатов больше не мешала работе! Кажется, с понедельника можно было двинуть заводы в дело? Как бы не так. Разыгравшаяся вольница революционной недели не улеглась теперь и по указке Совета. Рабочий класс, разгулявшийся по улицам с винтовками, что-то не хотел скучно возвращаться к станку. К удивлению, как раз Выборгская и Нарвская сторона подчинились сразу, и сегодня, в понедельник, вышли на работу. Сразу же приступил и разумный Обуховский завод (с утра звонил Дмитриев). На Механическом и Невском Судостроительном потребовали немедленно 8-часового дня – но дирекция сумела убедить их, что это невозможно и неразумно, однако обещала сверх восьми часов оплачивать как сверхурочные. (В годы войны вообще повсюду сползло с аккордной платы на ленивую подённую, при наборе неопытных, случайных иначе быть не могло, но это растягивало рабочий день, а теперь требование революции было – и день сократить!) Русско-Балтийский завод требовал 8-часового, и ничего знать не хотим, не приступим! Франко-Русский, Адмиралтейский – только 8-часовой и только (почему-то) – после похорон жертв революции. С Семянниковского большевики – провести 8-часовой явочным порядком. Повсюду шныряли подбьяки, что фабрики – это костоломки, очаги заразы, что там – дух полицейского участка, и свободный рабочий-победитель не может мириться с прежними условиями. И Московский район – весь, полностью, отказался приступать к работам: пока не будут разработаны новые условия труда и -? – почему на свободе дом Романовых?

Десять дней назад промышленность на разогнанном ходу бесперебойно подавала обильное вооружение. Но тряхнула революция – и всё остановилось.

Не успевая распрямить плечи, с сенной копёнкой, свешенной на лоб, перехаживал Гвоздев по своим двум малым комнаткам в Таврическом, от телефона – к представителям, присланным с завода, и к своим посылаемым туда, и к столам, где сочинялись проекты заводских соглашений. И – всё менее успевал за разрывом событий. И людей почему-то и здесь, как и в Военной комиссии, никак не хватало. И едва входил Ободовский – находилось сразу для него, что посоветовать, и как будто именно тут и было ему сейчас самое настоящее место?

Главный-то бой революции – вот он, начинался: каково теперь победителям снова влезть в чумазую шкуру? И правы же во многом – но и совсем не правы, если помнить о германской армии на русской земле.

Как – убедить, умерить рабочих? Но – и заводчиков тоже!

Время для Ободовского – всё сжималось и сжималось.

463

И что ж наприказали в этом Приказе №1? Все поняли по-разному, в каждом полку поступали по-своему, отовсюду текли запросы – как именно понимать? И застонала, жаловалась Военная комиссия, которая всё считалась подчинённой и правительству, и Совету. И, говорят, просто выли цензовые круги. И только военный министр Гучков не снисходил что-либо спросить или возразить, будто его этот Приказ меньше всего касался.

Всё же члены Исполнительного Комитета чувствовали стеснение, что с Приказом перемахнули. Да многие и роптали теперь, что они и не слышали, это без них. А Соколов пустозвонный – нисколько не раскаивался, на него не навалишь, – да у него всё свои какие-то дела, на Исполкоме редко просиживал больше часа кряду, подкалывало его бежать дальше. А сегодня на заседании обсуждали, какое бы дать к Приказу такое пояснение, чтоб не уронить своего прежнего распоряжения, но и немного попятиться. Можно назвать тоже Приказом, уже №2.

Из дебрей возникших кривотолков, отменил ли Совет депутатов армию или армия остаётся, теперь надо было выйти с достоинством, как будто лишь разъясняя дальше. И так, это будет Приказ опять – войскам Петроградского округа, но и – для сведения рабочим Петрограда. Разъяснить, что солдатские комитеты, да, должны избираться во всех воинских частях, но этим комитетам отнюдь не поручено избирать офицеров (хорошо, что вычеркнули тогда). А комитеты эти – для организации солдат, для общественных нужд и для участия в общеполитической жизни. Вопрос же о выборности военных начальников передан на рассмотрение специальной комиссии. (На самом деле никакой такой комиссии не было, но что иное сказать? А – как быть с выборами офицеров, уже произошедшими во многих полках?) Все же выборы офицеров, до сих пор произведенные? – должны остаться в силе... К тому же Совет и признаёт за солдатскими комитетам право возражения против того или иного офицера. А в общественной и политической жизни солдаты обязаны подчиняться своему выборному органу – ИК Совета рабочих депутатов, как это и указано в Приказе №1. (Так что особенно и извиняться не приходится.) Военным же властям солдаты обязаны подчиняться лишь по военной службе. А чтоб устранить опасность вооружённой контрреволюции – петроградский гарнизон не будет выводиться из города (этим не успели поласкать в Приказе №1), и оружие у петроградских солдат не должно быть отобрано.

Большевики, конечно, зашумели: что это – капитуляция перед Временным правительством, что это – низведение комитетов. Но – далеко они не набирали себе большинства.

Кто же подпишет? Исполнительный Комитет, вообще. Можно заставить подписать и из Военной комиссии. А подпись военного министра? – очень, конечно, была бы желательна, да вот – не складывались с ним отношения.

Но даже и сильней – игнорировать его. Сейчас вот готовый Приказ №2 отправить с курьером в Царское Село на искровую станцию, да скорей по радиотелеграфу и разослать всем-всем-всем, – всем воинским частям, всей Действующей армии, кто уловит.

Погнали гонца.

Непомерный Совет с сегодняшнего дня разделили: солдат отделили от рабочих, и помещаться в зале легче, и вздора меньше, и пусть собираются только через день те и другие. Через коридор, в Белом думском зале, сегодня и собралась солдатская секция – и свои, навязанные в Исполком, солдаты, ни к чему для дела (после трёх дней никуда они, конечно, выключаться не захотели), – теперь ушли туда.

В Исполнительном Комитете стало попросторней, а то ведь дошло уже до тридцати членов, еле хватало стульев. Правда, несколько человек постоянно не сидели за столом заседаний, но толпились у закуского стола, спиной к заседанию, и подкреплялись, разумеется бесплатно: члены ИК покинули свои обычные занятия, чтобы здесь заседать ежедневно, и имели право более чем на такое содержание. Сегодня обещали принести и горячий обед.

Но председателя Чхеидзе эта возня у закуского стола раздражала, она сбивала преданность революционному делу. И Чхеидзе несколько раз протестовал и призывал к порядку.

Всё же не отпадал вопрос: как повлиять на Гучкова? Его позиция очень загадочна: он ведь и не участвовал в переговорах о власти, и держится как будто выше всяких обязательств. Он открыто и надменно нарушает доброжелательный стиль отношений между правительством и Советом, какой поддерживают другие министры. Например, Некрасов сам просил командировать к нему в министерство представителя Совета для участия в принципиальных решениях. А Гучков уклонялся от всяких прямых сношений. Так заставить его?!

Нарушить свою гордость, послать к нему делегацию? Да! И сегодня же, не медлить! Вот, с Приказом №2. И послать делегацию самую крепкую, которая сумеет потребовать. Прежде всего, конечно, – Стеклова. (Его теперь выдвигали всюду, где нужен советский таран, уже ощутили в нём силу.) Затем Скобелева. (Становился и он постоянным представителем Совета всюду и везде.) А вот и Соколов! – как раз вкатился в заседание – в комиссию его, он же Приказ №1 писал, пусть и выражает министру убеждения. Ты же специалист, так и доводи до конца!

Соколов – охотно! Побежал звонить в канцелярию военного министра.

Но кого-то же послать и для смягчения, дипломатически? Гвоздева, они с Гучковым работали вместе, тот его знает хорошо. (Сам Гвоздев – в другой комнате, в комиссии по труду.) Да кого-нибудь из офицеров. Филипповского – он и наш, и в Военной комиссии, и в курсе всего. Ну, и одного солдата.

Нести Гучкову Приказ №2 – и требовать? Подписи под ним! Мало! пусть вот он от себя, а не от Совета устанавливает всеобщую выборность офицеров! А что ж, товарищи, мы должны быть последовательны в своих демократических принципах: как можно признать офицерами всех назначенных старорежимных?... А Гучков даже отдание чести уклоняется отменить.

Решили.

Теперь Чхеидзе имел важное сообщение. Ему было поручено провести переговоры с правительством об арестовании всего дома Романовых. Приходят тревожные слухи: сейчас Николай почему-то в Ставке и свободен там, а по слухам собирается в Киев и как бы не в Крым. Чхеидзе заявил правительству о решении Совета и настаивал: немедленно к исполнению! Правительство – и возражать не возражает, а вялое, ни к чему не способно. Один из благоприятствующих министров (кто? Некрасов...) заявил, что правительство готово облегчить Исполнительному Комитету, если он захочет арестовать сам.

А – сами они?! Не хотят ручки пачкать?

Нет, заставить их самих! Это, товарищи, очередной буржуазный манёвр: перетолкнуть арест на нас. Мы – конечно можем, мы – всегда успеем, но они правительство, и они первые обязаны. Николай Семёнович, настаивайте, чтоб они сами!

Последние сведения: Николай Романов желает прибыть в Царское Село.

Это хорошо, тут его взять ничего не стоит. А в Ставке могут быть трудности, там генералитет, контрреволюционное гнездо.

А другие Романовы?

С другими Романовыми слегка подождать, а то спугнём. Не всех сразу.

Но что делать с Николай Николаичем? Ведь они под сурдинку отдали ему Верховное Главнокомандование!

Совету депутатов не присылаются обязательные экземпляры военных приказов, а надо бы. Уже три дня, как по всей армии гуляет приказ Николай Николаича, и вот он только теперь тут. И что ж он строчит? Что он назначен волею государя императора! И председатель Львов – тоже волею императора! И перечисляет министров, получается – и они волею императора. Вот как они свои чёрные кольца плетут. А мы – всё пропускаем.

Так заставить правительство этот приказ немедленно отменить! Гучкову, поручить делегации: отменить!

Николай Николаича самого надо отменить. Как можно доверять ему армию? Он же в два счёта и вернёт нас к старому режиму!

Это подкоп цензовиков: вверить армию недобитой династии!

Не допустить Николай Николаича до Ставки, перехватить!

Но не раньше чем самого Николая.

Так вот почему и надо спешить с арестом царя.

Нахамкис, и без того крупный, ещё стоял в рост позади сидящих – и громил тем более внушительно:

– Да такие ли приказы они пишут? А приказ Алексеева вы читали? – «чисто революционные разнузданные шайки!» – это он о делегациях из Петрограда, которые разоружают жандармов! «..Иметь на всех станциях гарнизоны из надёжных частей под начальством твёрдых офицеров!» Вы понимаете, что значит «надёжных» и «твёрдых»? Да ещё: захватывать живьём, тут же назначать военно-полевой суд и приводить в исполнение немедленно! А? Содержательный документ! Бравый генерал! – Нахамкис не трунил, его умные глаза высмотрели. – Такого – свернуть в бараний рог самого немедленно!

Нельзя, возражали ему, никак нельзя сразу всех. Если Николай Николаича убирать – нельзя тут же снимать и Алексеева. Это мы такой развал вызовем, что и на свою голову.

– Нет, привести его к покорности революции! – пылал Нахамкис. – Хорошо, я приведу его сам!

И он сделает! Все товарищи удивлялись, куда стёрлась его обиходливость и скромность последних лет, – так и выпирала динамичная революционность. Да ведь он и солдатом служил, почти тут единственный.

Да разве в одном Алексееве дело? Надо всю генеральскую корпорацию перевоспитать и переродить. Конечно возмутительно, что Временное правительство даже не приступило разоружать реакционных генералов!

Пусть делегация требует с Гучкова!

Тем временем отлучился и Чхеидзе пожевать. Теперь, вытер усы, возвращался к председательскому концу, вопрос о допуске прессы.

За дверью давно дожидались три журналиста буржуазных газет. Впустили их. Сесть не предложили. (И такие ж, как мы, и совсем не такие.)

Общество журналистов и редакторов возбуждает вопрос, чтобы Совет разрешил выходить в свет абсолютно всем изданиям, без ограничений. Общество считает принципиально недопустимой какую-либо цензуру после революции.

А вопрос касался, собственно, не всех изданий, за черносотенные ни у кого б и язык не повернулся хлопотать, – но касался «Копейки», у которой «Известия» отобрали типографию, и ей негде стало выходить. И касался «Нового времени»: ей как газете правой тоже запретили выходить, но она вчера самовольно вышла. А на сегодня и впредь – запретили ей. Так вот...

Нити опять сходились к Нахамкису. Над «Известиями» шефствовал он. Ладно, он посмотрит, может быть можно и «Копейке» предоставлять станки. А «Новое время» и все правее – да, запретил он, как председатель издательской комиссии Совета.

Но «Новое время» и первым же номером своим показало, что оно вполне повернулось к революции лицом, и одобряет её, – и за что ж его запрещать?

Ну, если повернулось, так пусть выходит.

Однако редакторы заговорили и вообще против цензуры. И нашлись сочувственные им

голоса из правого крыла Исполкома – Цейтлин, Богданов, Брамсон: можно! вот отменим, и всё. Да если разобраться, то свобода слова – даже самая здравая политика: правые издания при нынешних обстоятельствах не будут иметь ни материальной, ни моральной почвы, они бесславно зачахнут в несколько дней. Наоборот, если мы загоним чёрную сотню в подполье, мы только устраним врагов из собственного зрения.

Но центр ИК склонялся к большевикам: запретить безусловно.

Однако не Нахамкису пришлось ответить. Чхеидзе выглядел растерянным и мрачным. Действительно, в Думе он всегда защищал полную свободу слова – но допустимо ли для искреннего революционера дать свободу слова и черносотенцам? А теперь вдруг он взорвался (и ручка вылетела у него из руки на пол, описала дугу и воткнулась там). И вскочил, выкатил глаза, жестикулировал и кричал:

– Нэ-эт, мы нэ позволим! Когда идёт война – нэ дадим оружие врагу! Когда у меня есть ружьё – я его нэ дам врагу! Я ему нэ скажу: вот тебе ружьё, на, иды, стреляй в меня! На вот тебе ружьё, на вот тебе, стреляй! А ему скажу: а нэ хочешь...?

Смеялись.

464

Это изумляло генерала Рузского! Гибла армия во время войны – без всякой войны! – и как будто не касалось никого. За ночь какие сведения притекли в штаб Северного фронта – то опять о насилиях над офицерами, арестах, – и возникновении солдатских комитетов. Эти солдатские комитеты так и схватывались, куда листовки приходили. И пусть бы уже комитеты, но если б они были смешанные, с офицерами вместе, то могли бы помочь управиться с обстоятельствами, вразумить солдатскую массу. Однако они, по этому идиотскому «приказу №1», были чисто солдатские – и углубляли пропасть враждебно.

Вот когда пожалел генерал Рузский, что отграничение от Петроградского округа он сам не дал провести резко, – осталась смесь в интендантстве, в путях сообщения, в привычках, в памяти, – а теперь петроградский «приказ», вот, разливался свободно по его фронту, как законный.

А Ставка – молчала.

И правительство молчало. На его красноречивейшую телеграмму – ответа не было.

Самоуверенность ли такая? растерянность? Слепота, глухота?

А тут принесли в штаб копию чудовищной бумаги: писари интендантского управления написали коллективное письмо военному министру и послали с ним делегацию в Петроград. Просили они ни много ни мало: снять с поста начальника снабжения генерала Савича и ещё нескольких офицеров штабных управлений, – «для спасения нашей дорогой родины устранить их немедленно с соблюдением изолирования», – и даже указывали министру, кого следует назначить начальником санитарной части фронта.

Всё это был дурной анекдот (впрочем, пришлось гнать телеграмму министру в обгон и в опровержение), но Рузского ранила тёмная неблагодарность: Савича (кажется, только за то, что он прекратил штабным нижним чином отпуска и командировки в Петроград) называли «яростным черносотенцем», понятия не имея, что именно Савич был в числе трёх советчиков императора 2 марта, которые и убедили его отречься.

Таков рок народной темноты. Не исключено, что и Рузскому придётся испытать на себе эту неблагодарность.

Делегация в петроградский Совет уехала. Во главе поставил умных офицеров, умеющих говорить убеждённо, и с ними послал нескольких благоразумных солдат.

Отправил – и был доволен каких-нибудь два часа. Во Пскове самом как будто потишело.

Но тем временем пришёл обыкновенный почтовый поезд из Петрограда и привёз ответ Рузскому от Совета депутатов в самой неожиданной форме: в грязноватой печати «Известий совета рабочих депутатов».

Генерал Рузский и в руки бы не взял и не стал бы об эту газетку мараться, но заметили штабные, поднесли Болдыреву, а тот принёс Главнокомандующему.

Фамилия его была почтена в небольшом заголовке, и приводился полностью его вчерашний ответ на запрос Бонча-революционера. Но тут же следовал и ответ редакции, – и ответ был как палкой по голове.

Язык, на котором невозможно объясниться, возразить, отстоять свою точку зрения, – язык, который сносит всё как половодье, всё переворачивает. С первых же слов неожиданный грубый тон свысока:

«Очевидно, Рузским ещё не усвоена для него новая тактика пролетариата».

Переворот понятий: существовала извечная первичная тактика пролетариата, а Главнокомандующий – мошкой на периферии.

«Будучи твёрдо-организованными и железно-дисциплинированными, мы – (кто эти «мы»? и довольно страшноватые) – не только не боимся свободы действий, слова и организации в любом месте России, в том числе и на фронте – (они-то не боятся!), – но наоборот думаем, что именно это быстро даст громадную спайку между нашими товарищами солдатами и рабочими».

Так они – «наоборот думали». Между вами спайку – возможно, но Армию тем временем распаяют.

«Мы стоим за полную демократизацию армии, а потому нам не свойственно бояться свободы граждан-солдат.»

Приехали бы посмотрели на эту свободу.

«Необходимо, чтобы генералы – и в том числе Рузский, желающие действительно присоединиться к восставшему народу и армии, твёрдо помнили бы, что Великая Русская Революция наших братьев солдат сделала свободными гражданами и всякие следы рабства у солдат должны быть навеки покинуты.»

Болезненная точка Рузского была всегда – не попасть в унижительное положение. Он весь напрягался, предугадывая такой момент и предотвращая – какой-нибудь невольной даже непочтительностью – даже на приёме у Государя или великого князя, чтобы только отстоять и подчеркнуть свою независимость.

И вот сейчас он пылал – от унижения, от позора и своего бессилия. Он написал человеческое дружелюбное письмо – ему отвечали газетной статьёй! Он всегда боялся унижения от надменных аристократов, – а оно прикатилось лохматое, растрёпанное, в грязи размазанных букв – от Охлоса!

«Генералу Рузскому, очевидно, не приходит в голову, что его собственные полномочия, исходящие от власти старого порядка, ещё должны быть подтверждены новой властью.»

Так и опустили руки. Надо было так понять, что Совет депутатов намерен его сместить?

Что ж, у кого-кого, но у Совета, кажется, власти на это хватало.

Неделю назад Рузский был полновластный Главнокомандующий, увешанный орденами, из немногих доверенных генерал-адъютантов, – а вот какой-то неизвестный солдатский сброд готовился голосовать, не убрать ли его.

Два пальца полезли в нагрудный карман, вытянули жёлтый стеклянный мундштучок, другие пальцы, дрожа, стали вставлять сигарету, – но и зажечь он не собрался, нельзя было оторваться, не дочитать этой совсем маленькой, слившейся-грязной громовой колонки.

«На более правильной точке зрения стоит его ближайший помощник генерал М.Д. Бонч-Бруевич, который в своей телеграмме по тому же адресу сообщает, что он готов служить родине, но всякая его новая работа должна быть утверждена представителем власти нового правительства...»

Вот это был дуэт! Надёжный близкий (и по жёнам дружны) Бонч-генерал, кого Рузский ждал как избавителя, назначил начальником гарнизона (впрочем, он хочет быть снова начальником штаба фронта), успел снести с Советом помимо Рузского? И теперь,

хваля, противопоставлял его Рузскому – Совет? или свой же брат, революционер-Бонч?

Подписано было: «Прим. ред.»

Понимай, что – Бонч, но – не докажешь.

И какое нелепое, неграмотное противопоставление, в чём обвинение? Что Бонч-генерал признаёт новое правительство? Так разве Рузский не признаёт? Да Рузский в тысячу раз больше, добыл отречение!

Даже не так сепаратная взаимопомощь братьев обидела (хочет ли Бонч при новом режиме стать Главнокомандующим?) – как вот эта нелепая неграмотность, неквалифицированность обвинения, невозможная в газете респектабельной, куда доступно послать опровержение, а тут – что можно было? Грязные буквы в строчках почти сливались – и были непробиваемы.

А между тем тысячи солдат его же фронта сейчас это читают, и будут читать – и заподозрят в чём-то тёмном, с той темнотой, которая только и доступна толпе.

Глупейшее состояние бессилия и обиды.

И на что теперь можно было надеяться с его посланной депутацией? как её примут в Совете?

Из устойчивого стояния в твёрдо-костяной военной иерархии вдруг почувствовал себя Рузский беспомощным комочком, затянутым в генеральский мундир. В любую минуту мог отказаться повиноваться ему – его Фронт, его комендантская рота, его штаб, – и что он мог тогда приказать, делать? Что вообще он **может**? Все его возможности – принятая условность армейского подчинения.

Которая вдруг рухнула.

Но и в этом состоянии не оставил его Совет рабочих депутатов отойти от удара. Рузский вышел в штаб, – а там была новая телеграмма, от Совета, с развязностью последних дней, что к Главнокомандующему может обращаться кто угодно. Телеграмма сообщала, что Совет депутатов теперь высылает «приказ №2» в дополнение к «приказу №1».

Почему же всё-таки приказ? Кому и от кого – приказ?

И в заголовке же стояло, что это приказ – по петроградскому гарнизону. А высылался Северному фронту.

«Приказ» был такой бестолковый, что трудно вчитаться и понять. Как будто останавливалось самовольное избрание офицеров? Но и тут же подтверждались все результаты уже произведенных выборов. Л подтверждалось право солдатских комитетов возражать против избрания любого офицера!

Так это было – лучше предыдущего «приказа» – или хуже? Из огня да в полымя.

Армия! – самая прочная из организаций общества, почти достигающая состояния полной твёрдости, – теперь плавилась и растекалась. Оседали и ползли – все командующие, штабы, все начальники и офицеры.

И единственно, что ещё оставалось штабам, это: пока цела была телеграфная проволока – слать друг другу последние телеграммы.

И Рузский – послал опять Алексееву. Прося, наконец, и уведомить: что же стало с чередой предыдущих телеграмм?

Странно, что никак не поддерживал Гучков: кажется, только что вместе дружно получали отречение, – а уехал и не отзывался.

465

Казалось верным одно: Совета депутатов – как бы не признавать. Не заявляя о том открыто, но – как бы. Не лебезить перед ними, как Некрасов, Львов, даже Милюков. А вызывают (уже вызывали) – не идти.

Но кроме Петрограда была ж ещё вся Россия. И оттуда лился поток телеграмм, не вбираемый и на большой стол военного министра. Телеграммы приветственные, расприветственные, верноподданные (все они затягивали в бездействие, отнимали время), –

но и телеграммы о смещении старых властей – начальников гарнизонов, комендантов, воинских начальников. И ходатайства всяких новорожденных комитетов – утвердить их новых ставленников, взамен смещённых. А проходил день – и тот же комитет, разочаровавшись в первом своём кандидате, сообщал, что снял его, и просил утвердить следующего. А ещё – много писем анонимных и кляузы на начальников, об их контрреволюционности, и на сами же комитеты. И разве можно из Петрограда пытаться во всём разобраться – да в один день? да в час один? Да даже разобравшись, неведомым образом, – всё равно ничего нельзя ни исправить, ни изменить. А пытаюсь изменить, можно и самого себя выставить как контрреволюционера. Всё это – заочно, всё – не видно, всё – быстро, и самое простое было для Гучкова: подряд все местные решения подтверждать. И изменённые – снова же подтверждать.

Так, захлёстнутый, Гучков невольно становился сотрудником и союзником всех, ему не известных, комитетов, рассеянных по России.

А тогда что ж он так упирался против первого и главного, в Петрограде?...

Жил и спал в довмине. Посмотрел, что на сегодняшний день записано, – не вырвешься, обещал, а зачем? – ехать в Академию генштаба и поприсутствовать на Особом Совещании по обороне. И – раннее время назначено, уже и ехать.

Встретил министра начальник Академии усач генерал Каменев, и выстроен был полужэкадрон, команда преображенцев и конечно команда обязательных писарей. (А самый революционный из них библиотечарь ещё сидел, не вышибленный, в Военной комиссии.) К ним и пришлось держать первую речь по обычаям нового времени: благодарить за службу, только при их содействии и можно довести войну до победы. («Ура!», «постараемся, господин министр!» – «рады стараться» отменено.) Затем – в штаб-офицерскую комнату, перебрался с преподавателями – встревоженными, непонимающими, да нет времени много говорить, да нельзя всё называть своими именами – везде есть неверные люди, ненужные уши, к вечеру будет знать Совет. (Да и смотрят штаб-офицеры недоверчиво: что за штафирка пришёл их направлять?) Затем – в драгомировский зал, где собрались и профессора и слушатели. Снова речь. Уже вырабатывалась автоматика речей, и если надоедало о светлом будущем – всегда и безошибочно можно о мрачном прошлом, как мало снарядов было при Сухомлинове, на орудие два в день, приветствовать восход и заход солнца. Обрисовал положение России сейчас – совсем не плохое. Просил приложить все усилия для родины – офицеры кричали «ура» и вынесли на руках к автомобилю.

Вернулся в довмин. Назначил на Главное управление Генерального штаба своего генерала вместо Занкевича, того – понизил в генерал-квартирмейстеры. (Уже поступил донос от писарей Главного штаба, что Занкевич – «неискренен к революции», был правой рукой Хабалова и с ним давил народное движение. Занкевич нигде ничего не давил, кажется речь одну произнёс у Зимнего дворца, – но донос был, и конечно не последний, а ветер доносов такой, что к нему нельзя не прислушаться.)

Да, ещё же ждалось от правительства обращение к Действующей армии. Министерские литераторы уже составили проект, надо было подписать Гучкову и Львову... Несокрушимый оплот, геройская русская армия... Светлое будущее России на началах свободы, равенства и права... Повиновение солдат офицерам – основа безопасности страны... Иначе – пучина гибели... счастье ваше и ваших детей...

Правильные были мысли, умелые перья, но пересилит ли этот клочок – всю лавину?

Подписал и отправил Львову.

Подали новую телеграмму от Алексеева. Как о значительном: дал совет Фредериксу и Воейкову уехать из Могилёва, и уже уехали вчера.

А в общем пока никого лучше на Ставку не было, чем Алексеев. Он – и раньше там был удобен.

Тут подошло время ехать выступать в ОСо.

Эти Особые Совещания совсем недавно казались такими важными – без них не выиграть войны. Однако совершилась революция – и из правительственных кабинетов сразу

увиделась ненужность этих громоздких совещаний, на которые царские министры справедливо неохотно ездили.

Новое собрание – новая требуется форма речи. Здесь – общественно, не по-армейски. Но это ещё привычнее. Встретили – громом аплодисментов, встали. Наконец-то – народный военный министр, и дело обороны в верных руках! От такой встречи и Гучков почувствовал воодушевление и произнёс, кажется, яркую речь. Вот он имеет сведения со всех концов России – везде народ уверенно берёт власть. Повсюду совершенно спокойно. Как силён народ, когда он сам распоряжается своею судьбою, стряхнув с себя дряхлые признаки прошлого! Ныне – отпали всякие сомнения в прочности нового режима. И армия так же с восторгом приветствует новое правительство. Теперь победа в наших руках, теперь никто наверху нас не предаст.

Новый шум аплодисментов, все растроганы, а Гучков, садясь, понял, что речи мог и не говорить, всё лишнее. И заскучал, заскучал. Ещё надо было для приличия сколько-то посидеть здесь. Тянулся день пустой и, по сути, тяжёлый.

Тут его вызвали к телефону, нашли. Сообщал адъютант Капнист, что Исполнительный Комитет Совета рабочих депутатов имеет к военному министру серьёзный разговор, приглашает министра посетить Таврический, либо готов прислать делегацию к нему в довмин.

Сам? Конечно не пойдёт. Ни шагу к этой сволочи навстречу. Но отказать в приёме нет оснований. Назначил в конце дня.

Сейчас, по плану, начиналось второе заседание поливановской комиссии по реформам, куда Гучков намеревался заглянуть. Но сейчас – надо было ехать на отпевание Дмитрия Вяземского.

Автомобиль оставил у входа в Лавру. Пока прошёл, спрашивал, в каком храме, – уже начали.

Отпевали в правом приделе. Десятка два склонённых голов он увидел со спин. Свечи в руках. И некрасивую овдовевшую Асю, с замерло вскинутыми бровями, у изголовья длинного гроба в цветах. (Цветы и от Гучкова принесли раньше.)

Пылали четыре подсвечника по углам гроба.

Взял свечу. Прошёл серединою несколько вперёд. (Не без мысли, чтоб видели, что он здесь.)

Так труден был этот переход – от забот министерства, сотен телеграмм изо всех городов, от кипящих гарнизонов и от совещания с аплодисментами, – а тут, в малолюдьи, полумраке, свечном озареньи – одинокий расчёт человеческой жизни, у которой свой масштаб, свой путь, свой конец, сквозь революции или без них.

В юности потеряв старообрядчество, не пристал Гучков и к правящей вере, да вообще он не верил в Бога, но считал полезным, нужным, соблюдал некоторые правила, Пасху и Рождество, как все в России. А год назад, умирая, – и причащался, да.

Сперва он вошёл со втолпленными мыслями – об армии, что Николая Николаевича нельзя пускать на Верховное, что Совету нельзя уступать, и как умелее провести с ними встречу. Так он стоял со свечой, по виду молебно, а внутри – отобранный прочь.

Но постепенно чтение псаломщика, возгласы священника и небесный распев «Покой, Господи...» – входили в него, умиряюще. И неловко опускаясь на колени, как не собственной волей, ощутил на всех плечах, и долею на своих, косновение той властной всепростёртой руки, под которой мы все можем вознестись или расплющиться, как расплющивался он сам год назад. И смотрел близко перед собой на свечу жизни, длины которой до конца никто не знает: носился Дмитрий рядом с ним весёлый, ловкий, отважный, не зная, что уже огарочек.

И все эти дни отгонял Гучков, а теперь распахнулось в нём несомненно: ведь этим юношей он вертел, втянул его в заговор, брал в революцию – а вот и подвёл под смерть.

А – другое затоптанное воспоминание: Мясоедов?... Обвиняя его когда-то в шпионаже, – Гучков искренне верил. Не доказав, смысл дуэлью. Но какая находка была, когда обвиненье

всплыло снова само собой, без Гучкова, – и радовался свалить на этом Сухомлинова. В борьбе владеет нами такая несомненность. Но когда умирал в прошлом январе – вдруг соткался и воплотился перед ним повешенный – невидимо, где-то там, – Мясоедов.

А всё-таки если – не виноват?...

Перекрещивался, когда все.

Панихида кончилась, прощались с умершим. Гучков пристал к рядку, дошёл – и близко увидел сохранившееся, немного изумлённое выражение этого длинного лица. Спортсмена. Молодца. Поцеловал в гладкий лоб, у венчика.

Ася осталась у головы покойного. А семья стояла в стороне, Гучков подошёл к ним. Рыданий не было. Статная величественная мать убитого стояла прямая, неподвижно и невидяще. Усадили её.

Маленькие ещё не понимали, что произошло.

Все эти дни и часы ждали и сейчас ещё чаяли дожидаться из имения их Лотарёва, из Усманского уезда, старшего брата – Бориса Вяземского с женою Лили. По его телеграмме и оттягивали отпевание, но поезд его всё опаздывал.

Гроб был цинковый, под запайку. Уже решено было: не хоронить Дмитрия здесь, в Лавре, но, по его предсмертному желанию, этой весной отвезти в отцовское Лотарёво и там положить рядом с отцом в склепе.

С сестрой Лидией Гучков вышел на паперть, посмотреть, не подъедет ли Борис.

Тут, при полном свете, возвращалась в сознание революция. И Лидия, с грубовато-решительным лицом, низким голосом, не съёживалась от неё, но находила какую-то горькую сладость:

– Меня с детства почему-то очень всегда задевала французская революция, как прямо относящаяся ко мне. Мне казалось, что в каком-то другом воплощении я в ту эпоху жила во Франции. Может быть, мне и голову отрубили там... Казалось, что если меня загипнотизировать, то я в Версале покажу двери и переходы, не известные проводникам...

Нет, не ехал Борис. Звала Гучкова на заупокойную литургию в девятый день.

Да и сегодня был уже не третий, а пятый.

Ещё сказала Лидия, что сегодня к ним на Фонтанку бестактно приезжал граф Орлов-Давыдов, добровольный прислужник Керенского, – и добивался у Мама, не отдаст ли она Осиновую Рощу (бабушкино имение, по финляндскую сторону от Петербурга) для содержания арестованной царской семьи. Мама возмутилась – она не тюремщица, и решительно отказала. Но разве решено – арестовать?...

Гучкова взбесило: что за дерзкий шут Керенский, так это он всё готовил?! Гучков и сам уже стал понимать, что задержание и охрана царской семьи неизбежна, он и сам вчера дал Корнилову инструкцию, – но почему это делает Керенский?!

Чёрт знает, что у нас за правительство: всё идёт по шушуканьям и частным встречам, по двое, по трое.

466

Гучков, которого она лишь накануне называла скотом за то, что он ездил вынуждать отречение Государя, грязный человек, который мог пускать в обществе сплетни или фальшивые письма, – этот Гучков, придя к власти, зачем бы явился во дворец в половине первого ночи, попирая все следы этикета не то что к императрице, но к женщине?

Государыня так и поняла: приехал арестовать!

В этот момент она нуждалась в защитнике, в свидетеле, кого-то поставить рядом, хотя и не мог он ничем защитить, – и быстрая счастливая мысль была: вызвать Павла (а больше и некого)! Велела камердинеру Волкову тотчас телефонировать великому князю и просить приехать немедленно!

Павел уже лёг, но понял, поднялся, собрался быстро – и вместе с пасынком приехал ко дворцу за три минуты до приезда Гучкова. Государыня почувствовала себя уверенней.

При всём отвращении и негодовании – как могла она не принять приехавших? У себя в спальне перед образом она прочла молитву к Богородице, быть может свою последнюю в свободном состоянии, и вышла с Павлом, оставив в задней комнате на диване замерших от страха Лили Ден и Мари.

И – первая фраза генерала Корнилова сняла её страх и разъяснила положение. Она с симпатией поглядывала на калмыцкий сухой тип боевого генерала, знаменитого своим побегом. У него был – смущённый вид.

Государыня даже нашла, что и у Гучкова, несмотря на его отвратительные тёмные очки – зачем среди ночи нацепленные? – был тоже смущённый вид.

И фразы его тоже показались мягкими. Хотя потом она вспоминала, не могла вспомнить, как он выразился, вроде того: «мы приехали посмотреть, как вы переносите своё положение?» Не так, но кажется, смысл фразы был хуже, чем она восприняла в тот момент.

А он приехал, значит, не из злобного любопытства, а из желания ей облегчить?...

Жалела потом: забыла пожаловаться ему на стеснения телефонной связи с Петроградом.

Воротясь, успокоила своих, отправила их спать (Лили спала теперь в розовом будуаре, рядом со спальней государыни, не допуская оставить её одну на первом этаже), – а сама ещё долго, всю ночь не могла успокоиться от этого посещения.

В спальне её было много икон, на всех стенах, – и горело несколько лампад.

Искала между ними успокоение.

Ещё прибежала камеристка рассказывать, что по дворцу во время визита расхаживали революционные депутаты с красными лохмотьями на грудях и дразнили слуг «рабами», и высмеивали их придворные ливреи.

Настолько не спалось, что вышла в кабинет – и, при верхнем свете, в глубокой ночной тишине, остановилась перед портретом Марии Антуанетты над своим столом. Откинув голову на заплетенные ладони – соединилась взглядами с ней и стояла недвижно.

С этим портретом, подаренным ей во Франции 7 лет назад, когда они с Государем посетили апартаменты Антуанетты и Людовика XVI, – государыня с первого мига почувствовала какую-то магическую связь. Ещё с детства судьба этой королевы выступала для неё из судеб других королев. Вся французская революция, с детства ученная как концентрация бесчеловечного зверства, ещё не имела никакого отношения к России, – а Александра воспринимала Антуанетту как свою затаённую сестру. В чём не обоганная? даже в распутстве и краже, – вся ложь, вся ненависть, вся месть так густо пришили на эту гордую женскую голову, – какое благородное сердце не забьётся в бессилии, что уже нельзя облегчить её участь?

С тех пор постоянно висел здесь этот портрет. Но только в самые последние дни, Александра прозрела, что связь их – более роковая: что положение их – сходно.

И теперь, закинув голову, она уже для себя искала из этих крупных глаз с загадочным выражением – ещё тогда не перестрадавших, а как будто и предчувствующих. Удлиненное, но и полное, покойное лицо, безо всякого мелкого женского кокетства. Строгость и ум.

Как и у Александры Фёдоровны.

«Не понятая своим народом...»

Любимый Богородицын образ она положила на ночь под подушку.

Забылась уже на рассвете.

Поздним утром вышла к Лили – та уже знала утренний обход Боткина и сказала, что у Ольги есть симптомы, угрожающие воспалением мозга.

О Боже!

А второе – милая преданная Лили не скрывала своего живого беспокойства. Она тоже дурно спала эту ночь – и задумалась, что при таких визитах и в таком положении нельзя беспечно продолжать хранить дневники. А у государыни – не только свой, но и – завещанный ей дневник её покойной фрейлины княгини Орбелиани, – и в обоих дневниках много интимных подробностей о разных людях, которые соприкасались со дворцом.

– Я мучаюсь, – говорила Лили, – я советую вам страшный вандализм, – но решаюсь из чувства преданности. Эти дневники, Ваше Величество, вам остаётся теперь только сжечь.

Государыня очень взволновалась. Её мысли к этому не шли, она не привыкла ни к чему контролю над собою, – но сейчас совет Лили толкнул её как морской вал.

Что-то сразу ударило её и убедило: нельзя было представить себе эти дневники в руках революционеров! Или – Гучкова?...

Боже, жечь дневники – это жечь саму себя. Двадцать лет ежедневных минут откровенности, главные чувства каждого дня, непрерывная реальная нить своей жизни, – и в огонь? Своими руками!

И ничего не оставалось другого.

Пошли с Лили в красную гостиную (там тоже Мария Антуанетта с детьми – гобелен, подарок французского президента), сели у ярко пылающего камина и – начали жечь с дневника Орбелиани, отодвигая государынин.

А тот был в девяти томах, и все в кожаных переплётках, тяжёлая была задача – отрывать.

И ещё тяжелей – перед покойной, как измена.

Даже – свой будет простительнее жечь.

У государыни и всё было в кожаных переплётках, все до единой книги (английские – бледно-фиолетовые, французские – зелёные, русские – красные, немецкие – голубые), так и все тетради, и дочерей тоже. Теперь эту кожу надо было подрезать ножом – и рвать перед собой, как древние раздирали одежду на груди. Как разрываешь собственную душу.

Огонь брал, брал своё уничтожительно, безвозвратно, за ним не поспевали руки. А мысль обгоняла: а переписка?

А переписка? Письма – ещё наследника престола и жениха, письма первой любви, первой весны?... И письма мужа к жене – двадцать два года?

Уже начинало пугать не то, что придётся сжигать, а то: успеют ли сжечь всё вовремя, до нового прихода их?

Ещё же были письма к Ане – шесть ящиков у Ани.

И письма от Ани.

Успеют ли сообразить обо всём, что нужно жечь?

Распорядилась камердинеру Волкову перенести и поставить на стол дубовый сундучок с письмами Государя.

Открыла их, разворачивала, читала, – не было сил метать в огонь.

Изнемогало сердце.

467

Раньше: сам не сделаешь – никто не сделает. А с революции вдруг все повалили в знатели и делатели. И каждый оратор на любом крыльце. Вот она и есть свобода, так наверно и надо: как из мешка рассыпалось, и все свободны во все стороны, кто раньше и разжаться не смел. И весело было от этого Шляпникову, но и растерянно. Оказалось, что только в глубинах, как рыба невидимая, он плавал хорошо. А на поверхности – воздух заглатывал, а не брал. Вся общая жизнь пришла в такое текучее передвижное состояние – голова Саньки Шляпникова не успевала. А тут-то – партии и нужно единое мнение, ой-ой, ещё даже как! Без единого мнения – что это и за партия, это будут не большевики!

И до революции вопросы не поворачивались так остро и быстро. А сейчас дюжина их, один другого сложней, и по каждому надо определить правильную тактику. Вот, всё изъедало его: свергать или не свергать Временное правительство? Три дня назад ПК постановил не свергать. Но в измученном нутре всё говорило, что это – ошибка. Как же так – не свергать? Да на чём же и выросли большевики, что помещиков и капиталистов надо свергать, – и вдруг нет? Да нельзя этой цензовой банде дать укрепиться – надо их постоянно выжигать и выгонять, иначе сядут новыми царями на нашу голову.

И снова собрал своих, Залуцкого и Молотова, и уламывал их час, на Ленина ссылаясь, наконец вытряс из них новую резолюцию БЦК: наша задача – демократическое правительство, то есть диктатура пролетариата и крестьянства.

И с этой резолюцией заставил ПК вчера ещё раз преть и голосовать. И снова провалили. Не подчинялась больше партия Шляпникову!...

Ну, не идёте на восстание – всё равно будем создавать большевицкую вооружённую силу. Тут как раз городские цензовые власти копошились создать вместо разогнанной полиции – единую милицию, подчинённую городской думе. А вот выкуси́те – единую! А мы создаём свою отдельную – рабочую гвардию. С первого дня революции уже набирали оружия побольше. (Шляпников и сам один раз отобрал винтовку у жандарма.) Звали солдат не сдавать оружия в свои части, а отдавать нам, – и многие солдаты отдавали охотно. И при разграбе Арсенала поднабрали. Пригодятся эти винтовочки! А как Исполком назначил Шляпникова уполномоченным по вооружению рабочих (перехитрил соглашателей, они не поняли, чем это пахнет), то теперь и пошёл он, как бы от Совета, спорить против городской думы. Он хорошо знал, чего хотел: объединяться нам с городской милицией, надевать на рукав их дурацкую белую повязку? – это предательство рабочей гвардии. Регулированием уличного движения мы заниматься не будем. Наше дело – вооружённый оплот революции. (Ещё пойдём рядами железными!)

А в городскую милицию уже записалось добровольно 7 тысяч человек, больше студенты, юнкера, но и рабочие, кто не разбирается. Много таких чистеньких мальчиков из буржуазных семей было на совещании, в Шляпникове сразу почувствовали врага и закидывали его вопросами: зачем же раздавать столько оружия милиции, если его недостаёт на борьбу против немцев? мол, вообще милиции не нужно оружия, достаточно белых повязок. (Смех один, зачем тогда и вся милиция?) И зачем вооружать милицию, когда рядом есть солдаты?

Солдаты, отвечал Шляпников, сейчас есть, а потом пойдут на фронт или по домам. А в случае необходимости революционного момента – кто будет защищать? И он, и свои, кто присутствовал, – не уступили и баста. И сила – за рабочими. И постановили, что студентики с белыми повязками в заводские районы к нам ни шагу, у нас своя вооружённая сила.

Одна сила пролетариата – винтовка, вторая – печать. Изю всех забот не терял он эти дни – восстановить большевицкую «Правду». И вчера – выпустили первый номер, бесплатный, 100 тысяч экземпляров, – попорхал по воскресной столице!

Газета – это даже сильнее, чем сама партия: раскрываешь газету вразворот – не угадаешь, стоит ли за ней какая сила, – а строчками рубит правильно! Буржуазная печать порхает с цветка на цветок: идите, солдаты, умирайте, а мы, как прежде, будем барыши получать. Но – чувствуется неуверенность во всех их голосах. И только «Правда» одна с первого номера задышала хрипло, по-рабочему. Всё у неё сразу просто и честно: и что – долой, и что – давай. Это станет теперь единственное место в России, где можно будет открыто выражаться о Временном правительстве тоже. Чего ещё нельзя пока осуществить в жизни, чего даже в собственной партии не удаётся провести, – то всё будем печатать в «Правде», доберём всё невзятое, как понимают неуклонные большевики и горячие ребята-выборжане. О чём ни напишет «Правда» – это будет решающая суть дела. И Демьян Бедный вложил душу, правильные стихи! И будем печатать побольше резолюций (хоть где их и не было): когда это идёт не как статья журналиста, а как солдатская резолюция, – это грозно звучит для всех буржуазных поджилок!

Печать – это грозная сила.

И ещё как усилить наши большевицкие ряды: партийный устав накладывает некоторые требования к поступающим – отменить. Сейчас надо любой ценой завлекать в партию всякого, кто только захочет пойти. Отменить даже членский взнос.

А ещё надо бы не дать оппортунистам из Совета прекратить заводскую забастовку. Совет складывает оружие перед капиталистами! После такой удачной революции как же можно просто возвращаться на заводы – и не получить твёрдых выгод? Возмущалось в

Шляпникове рабочее сердце: вся эта головка Исполкома никогда ни часу у станка не стояла и не понимают, что значит для рабочего вместо одиннадцати часов – восемь. Но всё ж не решился дать на этом бой: сейчас всякая разрозненность рабочего класса учтётся врагами революции как признак его слабости. Ладно, прекратим пока забастовку, чтоб не истощаться. Возвратиться на заводы – но временно, зорко следя за правительством, чтобы в любую минуту по первому сигналу снова покинуть станки, и – революция продолжается!

За всеми этими головоломками Шляпников не стремился отсиживать ежедневные заседания Исполкома, да ещё в середине дня, – только и могли сидеть, кому делать нечего, болтают впустую.

А придёшь – так какую-нибудь неприятность прицепят:

– Алексан Гаврилыч! Вот тут балерина Кшесинская ждёт, по поводу возврата особняка, – это к вам, объяснитесь с ней сами.

Ах, попался! Мерзавцы-соглашатели, сами приказать большевикам не смеют, так теперь натравили женщину на Шляпникова.

Смущённый он вышел к ней. Готов был создавать железную Красную гвардию – а вот поди объяснись с постаревшей балериной.

В Питере с революцией возникло много новых нужд и организаций, а зданий не увеличилось, и была большая нужда в зданиях. Большевики узнали, что Кшесинская из своего особняка сбежала, с бриллиантами, сыном и гувернёром, – её гаражи и подсобные помещения занял бронедивизион, а дом стоял пустой, ещё и мало разграбленный, – и решили быстро туда перекинуть ПК, по соседству, с их чердака на бирже труда. Конечно, не для партийной работы строился дом, а для любви и отдыха, – так роскошно никогда не мечтали большевики устроиться. Правда, в стенах как будто шорохи какие – нет ли потайных ходов?

Но и вот что значит – торжествовала уже буржуазная власть и пошлость: Кшесинская осмелилась из своего бегства воротиться и даже вот явилась в Таврический дворец требовать своих прав! Не попала она 27 февраля!...

Впрочем, отчасти и с любопытством вышел Шляпников обшарить глазами бывшую любовницу царя, – не всякий день увидишь.

В коридоре стояла женщина маленького роста, вся в чёрном, но с особенным умением, привлекательно одета. Хотя немолодая, но и невольно стараясь нравиться (совсем неуместно, но без этого не могут бабы во всех классах), выдавала она ещё не стёртыми чертами и движениями, что сильно была хороша в молодости, кто в этом толк понимает.

С ней был адвокат, барски одетый, только представил: «Матильда Феликсовна», а говорила она сама. Обращалась без признака странности или неловкости, что две недели назад она проехала бы в автомобиле мимо этого прохожего мещанина, взгляда бы не бросила на его заурядную физиономию с примитивными усами, – а теперь говорила с уважением и убеждённо, что это – из первых вельмож нового государства, от которого всё зависит.

Она смела только просить и просить. Прежде всего просила – не верить всему дурному, что о ней пишут и говорят. Она – живёт своим трудом; это неправда, что вела спекуляцию, в банке у неё всего 900 тысяч рублей, и это можно проверить. И бумага при ней, вот, подписанная Керенским: что она совершенно свободна и никакому аресту не подлежит.

А теперь просила она: помочь ей водвориться в собственный дом. Там – несметная толпа, и он разграбляется.

Шляпников умел довольно непроницаемо выглядеть, как и сидел в Исполкоме против соглашателей. Но отвечать этой женщине было трудно. Даже хотелось сказать ей что-нибудь утешительное, – а что же он мог? Не могли же большевики теперь отдать дом, – а куда самим? Да где такой хороший дом найдёшь?

А она готова была расплакаться, еле удерживалась.

Он вежливо ей отвечал, что конечно постарается помочь. Но дело это трудное, не от него зависит. Дело в том (тут, на месте, придумал план): дело в том, что там стоит ещё команда броневиков, а ей перейти некуда.

Но Кшесинская это предусмотрела и обошла его! Оказывается, она уже побывала в

штабе Военного округа и в Военной комиссии, и всё уладила, там нисколько не возражают против ухода броневиков. Везде отвечали ей, что дом захватили большевики, а не военная власть.

Шляпников вдруг почувствовал, что краснеет: ведь так оно и есть, и что скажешь?

Нет-нет, настаивал он, – броневики, а не большевики.

Но тогда! но по крайней мере! умоляла женщина дать ей разрешение хоть посмотреть свой особняк! хоть понять, всё ли там на месте! А в крайнем случае – собрать её имущество в часть комнат и выделить ей помещение для жилья. А броневики во дворе – пусть будут.

Тьфу! ещё трудней выворачиваться.

– Так кто же вам мешает, пожалуйста, там всё открыто, – врал Шляпников, краснея гуще.

Она изогнулась, старо-грациозно:

– Я вам сознаюсь, что я боюсь так просто пойти туда. Я прошу вашей защиты и содействия!

Вот попал. Промычал Шляпников, что да, посодействует.

А едва отцепясь – пошёл к телефону, скорей звонить в особняк, предупредили бы броневую команду: чтоб они всё брали на себя и не соглашались бы уходить ни за что, с них спросу нет.

468

Но что-то мешало Булгакову так сдаться и согласиться. Ведь люди страдали в тюрьме ни за что, единомышленники! Да что всё Керенского? – опять решил искать Маклакова, – он и бывал у Льва Николаевича, и сам же талантливо защищал в «процессе толстовцев», вот и знакомы. А в газетах писали – он назначен комиссаром по министерству юстиции. Очень может быть, что сейчас и заменяет больного Керенского. Зайти наудачу в министерство юстиции, может он там ещё?

Правда, в рукописном отделе Академии сказали Булгакову: слышали, будто Маклаков вчера вечером уехал в Севастополь. Но он не поверил. Отправился попытаться.

Нашёл министерство на Екатерининской, вошёл – и хотел у швейцара спросить о Маклакове, но почему-то, из какой-то формальности, спросил сперва:

– Что, братец, министр сейчас не здесь?

– Так точно, здесь.

– Кто? Алексан Фёдорыч Керенский?!

– А кому же быть-то? Так точно, они.

– Но ведь утром с ним был обморок?

– Был обморок, миновал, теперь принимает.

– Принимает?!

– Так точно, пожалуйста наверх! – бакенбардистый швейцар уже брал с него пальто.

Поражённый Булгаков поспешил наверх.

Приёмная была велика и там толпились многие, всё какие-то в сюртуках и пиджаках, не видно было ни одной министерской униформы с орденами, – куда делись?

Только курьер у закрытых дверей в следующую комнату стоял строго в мундире. Булгаков приступил к нему, показывал письма от знаменитых литераторов и просил доложить. Курьер скрылся за дверью.

Прошло небольшое время. Вдруг дверь от министра с силою распахнулась настежь. Это – курьер её распахнул, и он же выкатился оттуда как вышвырнутый – и тут же вытянулся во фронт, боком ко двери.

Волнение перебросилось во всю приёмную, все шарахнулись по бокам, сдунутые, – и образовался проход.

Послышался странный частый стук, как бы дерева о дерево, это стучала о пол палка идущего, – нет, палка бешено летящего человека, кого-то догоняющего, хотя и держал в

левой руке палку, а правую руку – в чёрной перевязи.

Молодецкие офицеры-адъютанты, придерживая шашки, спешили за министром с двух сторон.

Исчез, пронёсся министр с палкой, исчезли адъютанты, – а ожидающие так и стояли проходом, почтительно замерев.

Шептали:

– К телефону... Пошёл говорить по телефону...

И так – стояли, не нарушая прохода. Пока не повеяло какое-то встречное дуновение – и встречным вихрем открыло выходную дверь – и революционный министр с лицом, бледным до синевы, при чёрной перевязи и отстукивая палкой, пронёсся к себе в кабинет, так исступлённо спеша, что настигал узкой головою – вперёд, скорее!

И адъютантки, придерживая шашки, увивались за ним.

Но у самой двери вдруг – стоп! – министр остановился. Его остановила несдержанная дама в чёрном бархатном мантио, даже секунду прохода улучивая обратить на себя министра.

Она говорила поспешно – а министр стоял к Булгакову как раз затылком, коротко стриженным, не выше его и ростом. Он пожал плечами, что-то ответил даме и уже наклонился кинуться в кабинет, как Булгаков, почти для себя неожиданно, вскрикнул:

– Господин министр!

Керенский как захваченный, как изумлённый, круто повернулся к Булгакову своим узким вдохновенным бледно-синим лицом – и впился в него, как бы спрашивая одну секунду: этот ли дерзкий?

– Алексан Фёдорыч! – спешил теперь Булгаков, волнуясь и не сглатывая: – Я – бывший секретарь Льва Николаевича Толстого. Я имею к вам письма от Зинаиды Николаевны Гиппиус, от Дмитрия Сергеевича Мережковского. Они очень просят вас принять меня и уделить одну-две минуты для беседы по неотложнейшему делу!

От перечня блестящих имён улыбка гордости не укрылась на безусом безбородом лице Керенского. Он едва задумался, обернулся на первопопавшегося из адъютантов и, двумя вскинутыми пальцами руки из перевязи описав в воздухе неподражаемо свободные, как всю жизнь употребляемые две петли, в сторону дамы и в сторону Булгакова, выстрелил на выдохе, почти уже без гласных букв:

– Этих двух.

И – скрылись. И – дверь закрылась. И – снова, преградою, вытянулся курьер.

Проход смешался. Возбуждённо заговорили, завидуя счастливицам.

И тут же – дверь открылась. И узкий офицерик-адъютант, весь сияя от порученной ему обязанности, но и с выражением отчаянного превосходства, объявил:

– Господа! Министр имеет в своём распоряжении только полчаса. – И только даме и Булгакову, отменно вежливо: – Пожалуйста.

Вошли. Но это не оказался кабинет, а лишь предваряющая комната с секретарями, в простых же пиджаках, без каких-либо служебно-мундирных намёков.

В кабинет пропустили даму. Булгаков ждал своей очереди – но тут из приёмной вошёл чрезвычайно самоуверенный эффектно-элегантный старый господин с бритым лицом, а пышно-львиной головой, тоже в штатском. Он положил свой портфель на проходном столе и всем видом показывал, что он здесь – свой, и пойдёт сейчас он. И действительно, выскочивший адъютант, увидев его, тотчас пригласил к министру на смену даме, а Булгакову объяснил:

– Министр примет сначала господина Карабчевского.

Ах, Карабчевский! знаменитый адвокат и даже, кажется, глава коллегии?

Величественная дама вышла в слезах. Секретари подсунули ей стул, один из них стал что-то внушать ей подбодрительно, а она рыдала, рыдала.

Булгаков подумал: а наверно это жена какого-нибудь арестованного крупного сановника, просила облегчения участи, министр отказал. И наверно аргументировал ей, что тысячи «лучших людей» России переиспытали то же, – и отчасти он прав. И по самому

Булгакову, когда он кратко сидел в тульской тюрьме, плакала сестра. Вот как всё в жизни умеет оборачиваться поучительно.

Прошли и те полчаса и больше, наконец Карабчевский важно вышел со своим портфелем – и Булгакова пригласили вступить.

Он вступил – и увидел Керенского, сидящего соединив пальцы здоровой и больной кисти, опершись о подлокотники министерского высокого и глубокого кресла, но не за письменным столом, а на середине кабинета. И кажется приглашал Булгакова в такое же кресло, стоящее в полуоборот.

Но тут ему доложили, что его зовут к телефону – и опять к другому – из Таврического дворца. Внезапным, как бы отчаянным движением Керенский ударил по подлокотникам, выскочил, узкий, из широкого кресла – и бросился к выходу, без палки, успев однако крикнуть:

– А вы подождите здесь!

Фатум – всё мешал, всё препятствовал, но, кажется, надежда была.

Булгаков оглядывался и изучал кабинет. Было комфортабельно, но и просто. Кресла старинные, но даже с весёлым оттенком. Пересидели здесь многие, и Щегловитов, – а вот теперь Керенский. На стенах довольно явно выделялись более светлые прямоугольные пятна – в тех местах, где были, наверно царские, портреты, и вот сняты теперь.

Министр вернулся, шлёпнулся в кресло с удовольствием и принял письма литераторов. Он вынимал их из конвертов порывисто-лёгкими движениями, хрустя разворачивал, то ли читал, то ли только на знаменитые подписи, а Булгаков смотрел на подвижную высокую его шею, властную складку губ, маленькие глаза, равномерный ёжик по голове как шерсть.

Но когда Керенский стал читать письмо, совсем и не длинное, – то, от всей бешености своего темпа жизни, он казался не в состоянии вникнуть в его простой смысл, и, как если бы оно было на незнакомом языке или неразборчиво написано, стал нервно быстро спрашивать:

– О чём оно? О чём оно?

Булгаков стал излагать своё задушевное: отказавшиеся от воинской службы, самые чистые люди, – неужели могут остаться в тюрьмах? Амнистия не должна же их обойти! Но они причислены даже не к религиозным преступникам, а к уголовным и...

Керенский быстро и сильно хлопнул себя по лбу, как бы бья комара:

– Как же мне это в голову не приходило! – И сразу вскочил, как если бы сидение кресла поддало его сильной пружиной, и побежал к двери и тотчас вызвал одного, который оказался не просто секретарём, но – товарищем министра.

Познакомились.

Товарищ стал уверять, что войдут, войдут в амнистию и эти, уже вошли, акт уже составлен.

– Как? Он уже готов? – вскричал Керенский. – Так дайте мне его скорее на подпись! Я желаю подписать!

Булгаков взволновался, ожидая, что станет сейчас свидетелем великого момента в российской истории.

Но нет, акт оказался ещё не настолько готов.

– Так поспешите, поспешите! – нервно торопил Керенский, как бы кусаемый или сам изнемогая в тюрьме. – Поспешите закончить и пришлите мне его во всякое время дня и ночи, и где бы я ни оказался – в совете министров или в совете депутатов, или уже на вокзале, или...

Только не назвал – дома.

ДОКУМЕНТЫ – 15

Телеграмма из Цюриха в Стокгольм

6 марта 1917

Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки временному правительству. Керенского особенно подозреваем. Вооружение пролетариата – единственная гарантия...

Никакого сближения с другими партиями.

Ульянов

469

Заседание Исполнительного Комитета тянулось много часов, на изнурение, только и обореваемое сладким чаем, бутербродами и потом горячей пшённой кашей с маслом. Члены Исполкома уже, кажется, и не надеялись, чтоб заседание можно было провести как-нибудь быстрее, кажется, к тому уже и не стремились, вяло сидели, вяло говорили, а вопросы текли и текли, их было двадцать, наверно, в повестке. Отвлекались, переговаривались, входили-выходили. При голосованиях не просчитывали, сохранился ли кворум. Новая комната оказалась мало удачной: прямо напротив гуденье и рёв Белого зала, и нет предохранительной передней, а уже находят и тут, и врываются какие-то делегации, ходоки с жалобами.

Добивалась и делегация с Северного фронта от генерала Рузского. Но велели ей подождать, не разорваться же Исполнительному Комитету на одни военные вопросы.

Долго и довольно радостно делал доклад Скобелев о своей поездке в Свеаборг и Гельсингфорс. (Говорил всё о себе, с трудом можно было догадаться, что там ещё и Родичев что-то значил.)

В экстренном порядке заседание два раза прерывалось – по поводу трамвайного движения, которое должно было открыться завтра. Один раз: как избежать давки, ведь кинутся все, как бы установить при посадке очередь? Другой раз: звонили из городской думы, что остаются недочищенные рельсы, сегодня не успевают, нельзя ли завтра рано утром? Но можно ли приказать рабочим выйти на работу рано утром? А если не послушаются? Никто не может отдать такого распоряжения, кроме Исполнительного Комитета.

То обсуждалось назначение Корнилова на Военный округ, и что надо с самого начала взять его под контроль, назначить к нему нашего постоянного представителя – и пусть попробует возразить. Да заодно потребовать увольнения его помощника-генерала: ведёт себя неуважительно к Совету.

А ещё сместить – начальника телефонной сети Петрограда. Не доверенная личность.

Хотя все эти вопросы и могли считаться политическими, но не затрагивали ничьих партийных интересов, не вызывали споров между фракциями, решались мирно.

Делегация от генерала Рузского настаивает, чтоб её приняли.

Ну ладно, уже проучили генерала. Пусть идут.

Вошли: капитан, поручик, один унтер и два солдата. Вошли не в ногу, но чётко стуча сапогами. И не искали, где б им сесть, а стали тесной группкой. По старшинству заговорил капитан – громко, убеждённо, складно. Иногда и поручик вступал со своими примерами. А нижние чины только малым гулком да краткими восклицаниями, но давали полную поддержку своим офицерам. А ещё – стояли они так тесно, дружно, по-военному, как будто это первая разведочная группа была, а дальше мог повалить сюда весь Северный фронт.

И что ж они рассказывали! Что творилось от Приказа №1 на их фронте, в дальнем и ближнем тылу. Офицеров обезоруживают солдаты. Отстраняют от командования. Арестовывают. Разносят военные канцелярии. Растерзали полковника. Топили в реке генерала.

Как охваченная гангреной больная нога – то уже не армия становилась, она отпадала.

От этого вступают делегатов, от этих крутых военных речей – ошеломлённые сидели члены Исполкома, где кого прихватило, и не успевая оспорить события, настолько точно они назывались.

Да такая анархия – не приведёт ли к реставрации старого порядка? И всё это обрушится на Совет? Только одно выручало:

– Мы Приказ №1 сегодня разъяснили. Мы издали Приказ №2.

– А – какой, разрешите узнать? – уже требовал капитан.
Чхеидзе кивнул, и Капелинский невоенным голосом прочёл вслух.
И офицеры попятелились в изумлении.
– Что, опять не так? – исполкомовцы почувствовали неладное. И засуетились:
– Товарищи! Так задержать и изучить Приказ №2!
– Как его задержать, когда он уже передан с искровой?
– А – зачем же он передан? Он же только к Петрограду относится!
Вот, пропустили... Не сообразили...
– Так товарищи, надо сейчас же передать новую телеграмму, разъясняющую те оба приказа!
– Но это надо ещё составить...
– Но вот идёт наша делегация к Гучкову, пусть там...
Да, что-то не то... Да, надо как-то согласовать с военным министром...
И – задержать пока Приказ №2!
И – одного человека послать во Псков с разъяснениями!
Да разве только во Псков?...
Надолго сбилось обсуждение. Объявляли перерыв, отпускали делегацию. А собрались опять – нет, так просто от военных вопросов не отделаться.
А в Кронштадте? Там продолжается как бы непрерывный мятеж. Не только подрывают комиссара Временного правительства, но и авторитет Совета.
Кто это там баламутит? (На большевиков.)
Командировать и туда!
Да во все воинские части, ко всем воинским властям надо постепенно посылать своих комиссаров, так чтобы везде было око и зуб Исполнительного Комитета.
Да как мы можем работать, когда у нас Военная комиссия – не своя, не доверенная? Надо менять её состав: выводить оттуда офицеров-реакционеров, а вводить офицеров-республиканцев, вот образовавшихся. Да и просто солдат.
Но подпирал вопрос о представительстве в Исполнительном Комитете некоторых социалистических групп. Это вопрос был конфликтный, чреватый обидами, его надо было деликатно разобрать. Каждая малейшая группировка, возникающая или пробуждённая, хотела иметь своих представителей в Исполнительном Комитете. Но и Комитет не может дальше раздуваться, всем подряд дать согласие невозможно. Но в некоторых случаях неполитично отказать. Выслушивали претензии, повели прения. Большевики напирали дать по одному месту латышской и польско-литовской социал-демократии. (А от них Стучка и Козловский, оба большевики.) Разгадали манёвр, держались: в Петрограде, при чём тут польско-литовская? Вот добавили ещё одно место народным социалистам. И дали по одному совещательному голосу сионистам-социалистам, и социалистам-территориалистам Поалей-Цион. Еврейским же социалистам-серповцам, после долгих прений, отказали даже и в совещательном голосе. Не нашлось защитников у анархистов, и анархистов-коммунистов, – и этим группам тоже отказали.
Нервный Гиммер, подрагивая кадычком, требовал обсудить предварительный проект обращения к международному пролетариату. Но это обещало затянуться, и сложно, уже охотников не было, зевали. На завтра.
А ещё вопросы финансовые, и докладывал о них заунывный Брамсон. Но слушали его с оживлением.
Во-первых, известно, что комитет Веры Фигнер очень успешно собирает деньги на помощь вернувшимся политическим заключённым, жертвуют многие богачи, собралось уже полмиллиона рублей. И странно было бы, чтобы такая колоссальная сумма находилась бы в руках частного комитета, а не под руководством Исполнительного Комитета.
Надо предпринять шаги. Поручили.
Во-вторых: надо подумать, товарищи, и о членах Исполнительного Комитета. Ведь многие из нас покинули всякие занятия, свою основную работу, и целыми днями сидят здесь.

Стало быть они – мы все – должны состоять в штате и получать содержание, это естественно и законно. А кроме того у Исполнительного Комитета уже немалый подсобный штат-секретарей, машинисток, экспедиторов, и по комиссиям, – и что-то же надо всем кушать?

Возникло некоторое разномыслие. Одни считали, что Временное правительство должно принять Совет депутатов в постоянный государственный штат. Другие возражали, что, по диким буржуазным представлениям, Совет рабочих депутатов является учреждением частным и не может содержаться государством.

– Но в таком случае затребовать от него ассигнования в качестве ссуды?

– Ссуды? – пискливо хохотал маленький ртутный Кротовский. – Неужели мы должны им отдавать? Мы их держим в руках, мы им диктуем условия – и мы у них берём ссуду? Что за чепуха? Только безвозвратно!

Его поддержали: ссуда – это нехорошо, это внесло бы подчинённый элемент в наши отношения с правительством.

Постановили: затребовать от Временного правительства безвозмездно на содержание Совета рабочих депутатов – сколько?

Кто-то предложил 200 тысяч – над ним только рассмеялись.

Тогда 500 тысяч?

Капелинский вкрадчиво предложил: не меньше миллиона.

Что миллион? На сколько может хватить миллиона?

Шехтер предложил: два миллиона.

Подумали, переглянулись – вроде как ещё мало?

Сформировалось: пять миллионов!

Но Нахамкис, вовсе не садясь, у него привычка появилась такая – при его здоровом росте ещё стоять за чьей-нибудь спиной, как гора, отвесил спокойно, густо:

– Десять миллионов.

Все даже ошеломили от такой цифры, даже и непонятно, зачем столько.

– Вы не представляете размаха нашей будущей работы, – одной рукой крупно развернул Нахамкис.

А... что... может быть? Зачем – это прояснится со временем. А Временное правительство пока держится очень любезно.

Хорошо: десять миллионов!

Записали.

А вот ещё благоприятное обстоятельство: сообщают, что в Ораниенбауме нашими людьми взято под охрану много золота, серебра и прочих драгоценностей. Так вот и отлично. Довести до сведения Временного правительства: можем передать им это золото, но только по получении требуемых ассигнований.

470

Теперь на ужин приходили как с боёв – ещё распалённые, не отговорившись. А после боя мужчины бывают всегда особенно голодны. Да ещё сколько их каждый день привалит! Уже по опыту предыдущих дней Сусанна велела кухарке готовить втрое, и горничная в кружевной накрахмаленной наkolке еле справлялась носить к столу.

И сама Сусанна эти дни бывала в городе, и был же у неё под рукой неизменный телефон, – но уж самое напоследок узнать и порадоваться можно было только от вечерней компании мужа. И сын Марк так уже втравлялся в эту яркость и остроту, что не исчезал допоздна в своих студенческих компаниях, а тоже тянулся сюда послушать, очень восприимчивый.

Приходили обычно гурьбой, пешком (в эти беспокойные дни Давид не выводил автомобиля из гаража), – шумно разговаривая уже на лестнице, и в дверях, и в прихожей, кроме мужа – то Мандельштам, то ещё два-три адвоката, ещё два-три журналиста:

журналисты ходили на такие ужины оттачивать в разговорах свои сегодняшние ночные статьи. И Ардов, украшение «Утра России», известный остроумец и парадоксалисту на высокой ноте договаривал:

– Да, господа, мы теперь **обречены** победить в этой войне! Проиграть эту войну мы теперь никак не смеем – это значило бы опять подпасть под реакцию. Ни пораженчество, ни пассивное оборончество уже стали немыслимы. Совершив революцию, мы подписали свою судьбу!

– Мы подписали свою судьбу, – возразил Давид, – ещё в Четырнадцатом году, когда приняли войну и, значит, обязаны были вести её как честные люди. А – **что** ? что правительство дало нам взамен?

Дёрнув свисающую с потолка длинную ленту звонка на кухню, сразу усаживая гостей за стол, Сусанна решительно требовала рассказа последовательного, а не конца спора, так не годится. То непокидающее ощущение Чуда, как в три дня внезапно совершилось всё, ожидаемое годами, – его не комкать, но перебрать по перышку, не пропустить.

Прикрыв белоснежными салфетками золотые цепочки при карманах жилетов, некоторые громкие занялись холодцом, а в рыбе костей много, – другие же постепенно рассказывали.

Обживаем Английский клуб! Старинный особняк услышал иные речи и увидел новых людей. Только что кончилось пленарное заседание Комитета общественных организаций. Появился там и много фигурил, конечно, Грузинов, – «я думаю», «я сделал», «я горжусь», «я бесконечно счастлив», уже становится уморительно, как он лезет в московские бонапарты. После парада в субботу, который он принимал с букетом тюльпанов, уже просто по-клоунски, совсем голову потеряв, написал в приказе: «мои войска».

Хохот от тарелок.

Но между прочим, смешно-смешно, а он довольно ловко укрепляется. Подстроил делегацию от своего штаба, которые умоляют теперь правительство назначить Грузинова постоянным командующим, иначе войска Московского округа не одолеют Вильгельма. Такая подвижная революционная обстановка, как сейчас, очень способствует внезапным ловким выдвиганиям.

Впрочем, всё это зубоскальство в газеты завтра не попадёт: общий лозунг – единение, благорасположение, а всю брань – на старый режим.

Да, но что же по-серьёзному, господа?

А по-серьёзному, был очень крепкий спор: что делать с царской фамилией? Ведь Николай отправился в Ставку, и его мамаша тоже, и кажется туда едет и Александра, а Николай Николаевич назначен Верховным Главнокомандующим, – и тоже туда? Так вся контрреволюция собирается в Ставке? Это надо пресечь!

И это сразу всем передаётся: уж слишком легко дался переворот! уж таких чудес не бывает! конечно, какие-то козни плетутся. Но это так ясно, о чём же спорить? Обезопаситься от Николая, конечно!

Ну, российская традиция благодушия! Уже готовы простить, забыть, снизить. Нашлись возражатели, резолюцию готовили в отдельной комнате. Но нашей стороны было подавляюще и приняли так: довести до правительства, что необходимо подвергнуть царя и членов его семьи личному задержанию и ни на какие ответственные посты не назначать лиц из царской фамилии!

Разумно. Само напрашивается.

Но не так легко об этом в собственной квартире разговаривать: несколько раз, когда входила с подносом горничная Саша, Сусанна делала предупреждающий знак гостям, и разговор прерывался. Саша – тупо обожала царскую чету, её комнатка была вся обвешана иконами и царскими портретами, всегда смеялись у Корзнеров, что в случае погрома прямо Сашу саму и выставлять к окну или против дверей. После отречения она рыдала вот уже третьи сутки, кухарка – та ничуть, и видела же Саша, что хозяйева ликуют, и это создавало в доме грозную тяжесть, а не время было ссориться с прислугой, да и что ж обижать её.

Постепенно смирится.

– Господа, господа! – искал тоста, электризованно перебирая пальцами, Эрик Печерский из «Раннего утра», и при горничной иносказательно: – мы не должны повторять буквально всего, что было во Французской революции, не всю целиком историю, но повторим из неё всё то, что было в ней прекрасно!

Выпили так. Саша вышла.

– Господа! – искал Держановский, тоже из «Утра России», – а спросим так: среди великих князей и великих княгинь – есть ли вообще невинные? Со всей их наигранной фрондой Распутину – разве они своим молчанием не обманывали страну? Их всех должно постичь наказание!

– Да даже и Юсупов – и тот как открылся теперь в своей телеграмме!

– Какой? какой, господа?

– «Утро России» запросило его по месту ссылки высказаться о перевороте. Что ж он ответил? – Ардов просто кипел: – «Будучи нижним чином, не считаю себя вправе высказывать свои политические взгляды для печати.» Какова наглость? И это – убийца Распутина?

– Плевков в лицо печати!

– А я нахожу, господа, что это мило! И остроумно, – не согласилась Сусанна.

А каковы придворные? Ну, это паноптикум. Начали перебирать. Нилов – убеждённый черносотенец. Бенкендорф – упорный черносотенец. Фредерикс – закоренелый черносотенец. Воейков – вдохновитель всех черносотенных начинаний. Апраксин – открытый член союза русского народа, ядро черносотенной придворной партии.

О, сколько надо чистить!

Да только ли в придворном кругу? А сколько сейчас перекрасившихся в революционной толпе? С красными бантиками в петлицах – сколько недавних друзей полицейского участка? Эти все ядовитые корни надо обнаружить и вырвать!

Да вот и сегодня в заседании выяснилось: бывший градоначальник как будто арестован, сидит в Кремле, но в роскошных палатах, и там он имеет сообщение с дворцовым управителем и ни в чём не нуждается.

А телефонами? Теперь дано распоряжение снять некоторые подозрительные аппараты. А переговоры с местностями, лежащими вне Москвы, подвергнуть цензуре. Потому что деятели старой власти...

Давид напомнил телеграмму Челнокову от московского мещанства: молят Всевышнего, чтобы завоёванная народом свобода не была утрачена. Живучий мещанский страх! Робкие мысли вчерашнего сумеречного дня.

– Осторожней, господа! А – что в провинции? Вы её знаете, провинцию? А как она себя поведёт? Будет ли она наша?

– Господа-а! – настаивал молодой белокурый Фиалковский, протеже Давида, – и провинция будет наша, и всё будет наше, только не задохнитесь от головокружительного скачка, совершённого нами. Ведь мы сделали скачок от абсолютизма и сразу к полнейшей демократии! – кто это выдержит? Молниеносен был переворот – но ещё молниеносней перестройка внутренней жизни! Новый министр юстиции (кстати, он завтра будет в Москве, хорошая новость!) решительно изгоняет «неправду чёрную» из русского суда. От бездарных клеветов старой власти администрация переходит к людям общественного навыка.

Еще и более их всех умел горячиться Мандельштам, но на кадетских съездах, когда он подрывался под Милюкова. А здесь, среди своих, где был он старший и уважаемый во всех отношениях, он говорил с убедительной сдержанностью:

– Нам, привыкшим всю жизнь быть в оппозиции и в революции, – нам, господа, трудно ещё осознать, что мы стали материальной силой, стали правительством. И – таким сильным правительством, каким прежний режим только мечтал стать. Налицо – та сила власти, поставленной народом, для которой нет никаких преград. Все партии одинаково понимают основания свободы – и поэтому в народном кабинете не будет разногласий, а только

напряжённая созидательная работа. Весь государственный механизм теперь в наших руках! И уж теперь из наших твёрдых рук не вырвать свободы никому!

– Если только, если только... не помешает народная темнота. Ведь народ ненавидит всех, кто носит немецкое платье, воротнички и галстуки.

А не будет ли противоречий с Советом депутатов? – спросил озабоченно Марк.

Никаких. Всё, что конфликтовало эпизодически, – разъяснилось как недоразумение.

– Больше действовать через прессу! – кричал Эрик Печерский, он немного перебрал в рюмках, и вообще сбивался быстро. – Её голос громок, и она вся теперь заодно. К ней не могут не прислушаться, и она поведёт общество! Русская печать! – на какой недостижимой высоте она всегда стояла! Мы все говорили с горлом, сдавленным железной рукой. У всех у нас на памяти – циркуляры, штрафы, запрещения. Мы все воспитаны на подвиге. Нашу эпоху надо воспевать в гекзаметрах!

Но Держановский, неспособный к гекзаметрам, шутливо жаловался:

– Всю жизнь я писал о чёрной сотне. А с кем теперь бороться, господа, дайте тему! Не осталось, с кем бороться!

Хорошо продвигались в еде, приобретая с тем и основательность, – Сусанна удовлетворённо озирала стол, более всех довольная. Её радовало пребывать в объёме силы, среди сильных и победителей, больней всего она мучилась прежде, если наблюдала трусливую слабость окружения.

Кажется, и новости уже подходили к концу. Ещё рассказывали о герое журналисте Лисковиче, как говорят (вопреки другой, официальной версии), он с кучкой солдат взял Бутырскую тюрьму (пуля начальника тюрьмы пролетела мимо его головы) – а затем и Пречистенский участок.

А мысли неслись вперёд, развивал опять Мандельштам: что ставши властью, мы больше не нуждаемся в тех забастовках и беспорядках, которыми разлагали прежнюю правительственную силу. Теперь это всё надо прекратить, и все силы народа бросить на работу. Укрепить добытую свободу на твёрдом порядке.

И снова Ардов, жалея так зря упустить свою блестяще найденную и так хорошо принятую фразу, накатом через стол.

– Мы теперь – **обречены победить** ! Напоминаю вам, господа: идёт война! И если недавно мы могли думать хоть об «условном мире», то теперь мы вынуждены воевать, обеспечивая свою свободу! Забыта усталость, мучительное раздвоение русской души – и снова загорелись наши сердца! Да только теперь и сможет Россия воевать – без раскола, без предательства, без уныния. Настоящая война – только теперь и начинается, вместе с революцией! Друзья! Высшего счастья мы уже никогда не испытаем в жизни: наша вера исполнилась, Россия – действительно великая страна, и это видит весь мир! Этот воздух – нас пьянит. Наши головы кружатся, как кружилась голова у Камиля Демулена, когда он приколот к своей шляпе каштановый листок и крикнул – в Бастилию! Господа, мы слишком видим похожесть наших двух революций...

И Сусанна видела! Она – видела и чувствовала и даже выразить могла бы дальше, глубже и острее, чем подхмелевшие мужчины здесь, за столом, – но она не нуждалась выступать вперёд со своим. С неё довольно было, что она эту красоту ощущала, и даже ярче, чем видение Камиля Демулена, – она ощущала всю совокупную красоту Происходящего, в котором, действительно, можно было умереть от счастья, как в любви.

Стоило жить, чтобы дожидаться такого времени!

Тут отозвали её к телефону.

Хотя говорящая назвала себя ещё раньше и можно было голос угадать, но Сусанна с большим трудом оторвала душу, переносилась, всё не могла понять, кто это.

Алина Владимировна возвратилась из Борисоглебска и теперь жалостным, пугливым голосом спрашивала: как с её мужем?

Сусанна всё никак не могла до конца перенестись и сосредоточиться. Она конечно не забыла, что несмотря ни на какие революции – главные радости людей или главные

страдания их всё равно остаются от сердца. И вот уже – чувствовала она жалость к Алине, особенно при малой возможности помочь. Да, он звонил однажды. Но – не застал. И потом не пришёл.

Уговорились встретиться с нею завтра, всё расскажет подробно.

Но: самой ей, после этого красного вихря, уже странно было вспомнить: зачем она ездилась с этими патриотическими концертами? Какую вину и перед кем она отработывала?

471

По тихим долгим зимним вечерам, без стрельбы, без ракет, в землянках певали песни, зубоскалили, подсмехались над кем.

Но в эти дни такое настигло, что ни песен не стало, ни смеха. А лежали батарейцы по землянкам – и разомлевали. В размышлении.

У них как бы нара была земляная, не скрытая земля, длиннотою – с сапогами самому долгому, Благодарёву, а по ширине – на семерых. И так лежали они рядом на сололке, от жердяной стенки до жердяной, – головами все в глубину, ногами – сюда, к слазу. Когда потеплей – разувались, когда похолодней – сапог не стягивая, а то валенок. А всего простору было у них – вокруг печки валенки уложить да дрова. И под оконцем – столик манёхонький, кому когда письмо написать или хлеб разложить, да чайник лужёный стоял, – а обедали на коленях.

Дух стоял жилой, как в избе. А кто смолил цыгарку, то, по уговору, – к печурке ссунувшись и принагнувшись, чтоб утягивало.

Любимое солдатское дело – чай кирпичный потягивать, но и с тем отхлебались засветло. Гасника попусту не жгли, чтобы воздуха не портить, да и керосин бережа, а лежали себе на нарах, хоть и не дремля, да в печурку подкидывали, от неё огонь перебежливый. Сейчас-то – малый совсем, дотухало. Тепло.

Ещё вчера они день целый перетапывались, domeкивали: как же это царь так сразу и сплеховал.

И как без него устроится?

– А ведь невредный был у нас царь, робята.

И как с мальчонкой-наследником, неужто вовсе обойдут? И так доводили:

– Кто-ндь да будет вместо, как это без царя?

– А вот каков новый бу-удет!...

Вечерами, вчера да и сегодня, – как легли в землянке навзничь – так будто их возом сена опрокинуло и накрыло. Опрокинуло, а не придавило: ворох-то весь живой, разбережливый, разборный, если руки приложить, приложить.

Разбирали.

Больше – про себя каждый: у всякого, ить, своя избушка, своя семьюшка, и как это всё у нас – другому не передашь.

Почему и похоже на сенный воз: оглушило да не раздавило. И потянуло – запахом родным, луговым.

Жаль-то жаль без царя, но и раздумались батарейцы: а ведь это, братья, так просто не обойдётся, не. Ежели царя не стало никакого – то кто ж будет войну теперича направлять? Выходит – никто? А она сама идти не может.

Так не иначе – будет замирение?

Уже вчера к вечеру они стали это смекать, а сегодня всё боле их разобрало. Вот и сейчас, лежали в тёплой тьме, привычными боками на бугроватом ложе, да на спину опять, да – перед собой во тьму, свои картины угадывая. А от времени к времени кто и выскажи:

– Не, братья, так не пройде. Знать, замиренье будет.

Правда, толковали днём офицеры ещё новый опять приказ Николай Николаича – мол, всё для пользы войны.

Да так оно так – а Николай Николаич не царь, великий князь всего лишь. И как ему

скажут – так будет, не он располагает.

И Накапкин нетерпёжный, от молодой жены оторватый, сам-то ещё мальчик розовый, как просит у старших:

– Мужички, а ведь будет замиренье?

И не сразу, через молк, Завихляев ему отпустит как из бочки бородажной:

– Бу-у-дя. Теперь – будя.

И чем боле Сенька думает – тем душистей ему запах луговой, тем живей и возвратней – родная Каменка. И так это во теми перед глазами раскрытыми разыграет – как будто уже и дома. Ведь – заложил он Катёне с осени третьего, стыдливо в письме помянула: середь лета ждёт, месяцок за Петров День – значит к Пантелеймону.

В самую страду – и рожать, ну!

Однако и не мыслил и не бредил Арсений прежде того времени её повидать, ещё когда, когда! А теперя – если замирение, да по домам распустият? Ещё брюхатенькую её застать, сладость-то какая – на живот ей руки класть и слушать, как ножкой в стенку постукивает.

Те двое – без него родились. Этого бы – при нём!

Разживилось, ах, разживилось, распёрлось чувство домашнее, – да как же близко вдруг руками объять – и Катёну, и Савоську с Проськой, и работу отцову.

Соображал Сенька: а какой порядок дел у бати сейчас в хозяйстве? чего сейчас ему первой всего делать надо?

Воротиться бы – да зажить на своей земле. Да ещё добрать бы землицы – от Вышеславцевых, али от Давыдова. Простору бы!

Чу! Идёт кто-то. Так закружился Арсений, что не сразу опять в землянке себя узнал. А – идут по земляным ступенькам вниз.

Дверь торкнул – а голос скрежеватый, Сидоркина:

– Во, братцы, чего я слышал.

– Ну, чего?

Сидоркин меж их ног уже сел.

– Дверь-то придавил?

– Вот чего я, братцы, слышал. С перевязочного Васятка пришёл – так там сестра милосердия рассказывала. Слышьте, из царского дворца из царицыной комнаты – нашли секретный прямой кабель в Берлин. И по нему она Вильгельму все наши тайны выговаривала.

Ай-а-ай! Ай-ай-ай!

И про Гренадерску нашу? А мы тут лежим, ничо не знаем.

Ну, дела-а-а.

– Да ведь немка она, сердце к своим и лежит.

– Да-а-а, – потянул Арсений. – Да-а, братцы. Теперь-то – не иначе замирение будет.

Некуда деваться.

472

Итак, явились.

Как ни желал бы Гучков совсем их не признавать, отменить, вымести из реальности прочь, – они существовали и явились. И расселись в его кабинете.

Гвоздев – один тут был исконный рабочий, имел право прийти от Совета рабочих депутатов. Ну ещё вот глупейший солдат с залихватскими усами и непонятным бубонным выговором, ну ещё он – от солдат. Но кого других тут подсунули вместо народа?

Морской лейтенант, сидевший в его же Военной комиссии, – вот, пришёл от той стороны. (Выгнать его из комиссии.)

У Гучкова повторилось в груди то стеснение, когда на лужском вокзале он должен был заседать с какими-то развязными полуучками автомобилистами, игравшими собою в Народ.

Ещё Скобелева тут – он знать не знал, но и не не знал, так, отдалённым очерком, всё же

член Государственной Думы, невыразительный болтунишка с крайней левой скамьи. Но вот этот присяжный поверенный Соколов, с чёрной щёткой упругой бородки, перекатчивый как шар и что-то очень весёлый, слишком не к месту, – к чему и почему здесь он, пришёл обсуждать военное дело? И ещё более почему – вот этот дюжий Стеклов-Нахамкис, по фигуре главный в делегации, да и в кресле вразвалку как главный, и европейский покрой костюма. Значит, пересидел войну благообразным корректным господином, и вдруг – подброшен революцией. И вот расселся властно разговаривать с военным министром о судьбе армии, да с апломбом военных суждений, как будто он старый кадровик, а министра принимая как бы за дурачка, да ещё же в агитационном духе: что армия царизма была вооружена и организована только для подавления рабоче-крестьянского движения, солдаты стонали под игом бесчеловечной и противонародной дисциплины, а «приказ №1» восприняли как освобождение от гнусных сторон милитаристского ига.

Такой *facon de parler* настолько, кажется, уже был у них принят, что не казался смешон и не мог быть оборван как неприличный. И через колючки этого мурлыжного агитаторства надо было вести деловой разговор, – да может быть самый важный разговор всей этой революции.

А рядом с собой Гучков не мог посадить такого прямого отрубистого генерала, как Корнилов, ибо всё испортит, но кого-нибудь левого направления. И он призвал сюда из Военной комиссии генерал-майора Потапова, хотя перед войной и отстранявшегося от службы из-за нервного расстройства или помешательства, но в дни революции он уже много распорядился, а главное – имел социалистические знакомства и симпатии, и Гучков надеялся через него лучше установить понимание с делегатами. Но что-то Потапов плохо включался в разговор.

Но Скобелев? – ведь всё-таки же член Думы и сиживал в одном зале с людьми? К тому же только что вернулся из Гельсингфорса, видел тамошние убийства, видел, но тела убитых не зазеркалились в его пустых зрачках. Болтал, что матросы и солдаты потом проявили сознательность. И подкручивал веретенные усики.

На Скобелеве значилась глупость как бы прибитого, а из Соколова пёрла глупость пустозвона, он всё время старался говорить, всех перебивая, даже и Нахамкиса. У него бумажка была в руках, и он с неё читал. Сперва отрывки из какого-то ещё нового «приказа №2», которым они в Совете очень гордились и сегодня уже разослали по всей армии.

То есть как по всей армии?? – подкололо Гучкова. – Каким образом?

А с военной радиостанции в Царском Селе.

И радиостанция не удосужилась спросить разрешения министра, а Совету сразу подчинилась!?

Сбитый неожиданностью, Гучков со слуха плохо воспринял суть этого нового приказа, кажется, в чём-то они, слава Богу, отступали от «приказа №1»? Но Соколов не давал ему ни усвоить, ни отдышаться, а с той же бумажки читал требования Совета к военному министру: собственным приказом министра подтвердить... А не только малую часть, как это он сделал в приказе №114... И особо отменить – всякое отдание чести. И...

Что, что? Так Гучков ещё мало сделал?! Он выдал из себя столько в поддержку этого разбойного проклятого «№1» – и всё мало?? Они не давали ему проигнорировать их штатское идиотское в форме «приказа», – нет, он должен был теперь от себя подписать и издать их идиотство! Они не допускали даже ничьей, нейтралитета, – но должен военный министр первым же приказом уничтожить всю армию – а затем вести войну.

Впрочем, и о войне у Нахамкиса был припасён лозунг:

– Самая гнусная из всех войн, известных в истории.

И – нагло улыбочато, лицо подплывшее, шурился на военного министра как на прихваченного прищепкой, рассматривал его с любопытством, любовно припоглаживая бороду. Он – один из всех них был, не скрывающий ощущения торжества от власти. Он и в кресле полубархатном сидел не просто, а – попирал его объёмистой спиной и задницей.

– ... и, – продолжал Соколов с бумажки, – создать третейские суды для разбирания

споров между солдатами и офицерами...

Спор между солдатами и офицерами?

– ... и установить для офицеров по всей армии – выборное начало!

Вот с чем они пришли!

Метнул Гучков на Гвоздева. Но тот – вслух не говорил, такие всегда молчат. Забит он был среди них, и союзником тут не сослужит.

И генерал Потапов сидел – беспомощная мямля, куда подевалась его гражданская смелость?

Союзников – не было. Совет рабочих депутатов припирал Гучкова к стенке.

Но полыхнула в нём его бешеная неукротимость, из лучших движений жизни, он их любил в себе, тот гнев, который выносил его в высших речах, бросал в дуэли, с председательской кафедры Думы – да в Монголию! Он встал – и с силой хлопнул приотворённой дверцей письменного стола. Дверца ударила – и связка ключей звякнула на пол. А сам Гучков схмурился на Нахамкиса и повелительно крикнул:

– Садитесь вот на моё место! Командуйте! – На Соколова: – Или вы? И сами с собой ведите переговоры!

И вторую дверцу прихлопнул ногой.

Пошёл к задней двери, а ею хлопнул уже наотмашь.

Никто не успел ничего ответить, смолкли.

В кабинете был адъютант, он подобрал ключи и пришёл вослед Гучкову в заднюю комнату.

– Нет, вы закройте тумбочки и средний ящик прямо при них, это компания такая, не стесняйтесь!

Нет, надо было самому ключи поднять и в морду им кинуть. Потому что вызвать на дуэль из них никого нельзя.

От этого хлопанья сразу как будто спали все тяжести. Что его так держало, что он так вяз среди них? Да пошли вы к чёрту! Одно действительно достойное движение – швырнуть всё и... Выгнать их всех из парадного на Мойку, и...

И что?

В гневе ходил по небольшой комнате.

По гордости, по непростимости старого дуэлянта ни за что бы больше слова с ними не сказал!

Но. Он вспоминал, какая слякоть всё их Временное правительство. Ведь не было сильных смелых людей, и если сейчас он разорвёт – то все отшатнутся.

И поддержки всей большой Армии Гучков тоже не чувствовал. Ещё не научился ощущать Армию как часть себя. На это нужно время. Нужна поездка на фронт.

Вот прихватили революцией, так прихватили...

Вот опоздали с переворотом, так опоздали...

Ни сил, ни союзников. Вся поддержка – поток восхищённой либеральной и бульварной прессы двух столиц. И всё.

Устоять – не на чем, и он во власти **их**.

Из кабинета в дверь постучали.

– Да, войдите!

Вошёл Гвоздев. С очень виноватым видом, как будто он главный и нахамил.

– Да что ж, Алексан Иваныч, – пробурчал глуховато. – Не сердитесь, они подберутся. Обстановка, знаете, новая, все не у места, все ерепенятся...

Ах, этому хозяйственному Кузьме – да командную бы волю! Но и в Рабочей группе вертели им социал-демократы, и здесь. Почему у хороших людей настоящей силы нет?

Смотрел прямо в его виноватые, соломенные глаза.

– Как же так, Кузьма Антонович, но вы понимаете, что армия так не может существовать?

– Ничего, Алексан Иваныч, не мутясь и море не становится. Погодите, всё уставится.

Воля буйная, всех тянет... На заводах то же... Уставится.

И тёплые глаза его это обещали. Да может и правда? Воля буйная, раззудись плечо. А потом уставится. Опомнятся. Не сумасшедший же наш народ.

Уговорил Кузьма Гучкова вернуться в кабинет. Да ничего ему и не оставалось. Но возвращался он туда в более сильной позиции, чем вышел? или в ослабленной?

Соколов – уже без весёлости, дулся. И Нахамкис не так развалился, ровней сидел.

Смотрел на этих делегатов и удивлялся: неужели эти все годы они велись на одной с ним родине? Прожил Гучков 55 лет, имел соперников и врагов, но всё среди имён названных, которые вместе с ним и составляли как будто Россию. А вот, достигнув высоты министерского кресла, должен был считаться не с теми со всеми, а с этими новоявленными мурлами. Вот это и есть революция: иметь дело с неравными, низкими для себя.

Нет, нельзя давать пути своему презрению. Гучков не мог их сломить, не мог своею властью отменить уже растекшийся «приказ №1», это ничего бы не дало, а только сделал бы себя смешным. Оставалось – убеждать и просить, чтоб это они отменили.

Стал убеждать. Аргументы его были простые и верные, но на какую почву падали? Что он ручается: офицерство не может стать орудием реакционного переворота. Офицерство – служит родине. Но оно не может служить, если из-под него выбита почва. Если на каждое офицерское распоряжение требуется санкция выборного солдатского комитета, а то и Совета рабочих депутатов.

Нахамкис перебил: то есть – единственной власти, вышедшей из недр революционного народа!

Из недр, не из недр, – но перестаёт существовать армия, если офицеры не распоряжаются оружием своей части. Армия становится опасна не для врага, а для собственного населения. «Приказ №1» должен быть немедленно отменён как бессмысленный. Или, альтернативно, объявить, что армия распускается по домам, – это во всяком случае будет безопаснее для страны. «Приказ №2»? – ещё раз давайте посмотрим, я плохо уловил.

Ещё раз читали и смотрели Соколовскую бумажку. Офицеров не избирать? – но кого избрали, пусть так будет? А чья это комиссия решает выборность офицеров? – наша поливановская? Нет, ничего подобного, мы ещё с ума не сошли. Комитеты могут возражать против назначенных офицеров? Нет, это балаган, а не армия. Такие исправления – хуже того первого «приказа», там о выборности офицеров ничего не говорилось, а тут – и о ней. Нет!

Глупый усатый солдат Кудрявцев сидел, раззявя губы.

Неглупый лейтенант Филипповский – молчал. Ну скажи же, ты понимаешь! Что за порода людей.

И в холоде почувствовал Гучков, что эту обрушенную кучу хлама – сдвинуть не может.

Потому что: распустить армию – это не была угроза для них. Они охотно могли войны и не вести.

Уйти в отставку? – не решение: развал и пойдёт гулять по армии. Но это был приём, который их озадачивал: они не представляли, чтобы «буржуазный» министр не держался за пост. И не знали, не умели, кого бы сюда поставить.

Так, угрозой отставки, немного их отодвинул. И настаивал с новой энергией: отменить приказы и №1 и №2.

А – какие реальные реформы взамен того произведёт военный министр? Пусть проведёт своим приказом все солдатские права.

Многого хотите! Вот, создана комиссия генерала Поливанова, заседает и сию минуту, хоть пойдёте туда. Будет произведена чистка реакционных генералов. Комиссия постепенно всё изучит и всё устроит, что можно.

– То есть так, чтоб устроить всё по-новому, а оставить всё по-старому? – опять зубоскалил Соколов.

Гвоздев стал высказываться в пользу армейского порядка.

А Нахамкис, для того ли чтоб инициативы не терять, приплёл сюда распоряжение

Алексеева разоружать банды на станциях и судить военно-полевым судом. А это – не банды, а революционные ячейки, и дело их – передовое дело революции. Так – уже ли отменён приказ Алексеева? И: будет ли отменён приказ Николая Николаевича?

(Ка-кой? Этот безудержный великий князь за три дня намахал несколько приказов, какой же там из них? Сам Николай Николаевич был уже отвергнут и обречён, но унизительно говорить здесь, этим.)

Дай им волю, они отменят и все армейские приказы, и всех нас.

А пойти с ними сейчас на компромисс – значит уже навсегда открыть право Совету вмешиваться в дела военного министерства.

И, в новом варианте своего ухода, Гучков поднялся с лицом отречённым, по возможности безразличным, и объявил, что он – уже сказал всё, что мог, и оставляет их без него рассмотреть его... предложения. (Однако не выговорил язык назвать их требованиями или условиями.)

И оставив делегатов с генералом Потаповым, вышел в ту же заднюю комнату, но уже без хлопанья.

Гучков понимал, что – не пересилил их, не хватило его напора, завяз. Истратился в споре, обезнадёжел.

Слабость своей стороны поражала его. Никогда прежде ему не рисовалось, что с первых же дней он окажется в таком беспомощном переклоне.

Где же в России те люди, которыми стоит великая страна? Великая, великая, а на любое дело начни скликивать – и нет никого. Загадка русского характера!

Пришёл Потапов, звать Гучкова. Сказал: уже все были согласны отменить и «приказ №1» и тем более «№2», лишь бы неконфузно для Совета, – но Нахамкис остался непреклонен и преградил.

Всё же. Всё же надо было ещё торговаться – и что-то взять.

Ну, пусть ваши «приказы» остаются, но только для петроградского гарнизона. (Уж тут погибло, не удержать.) Опровергните: они не относятся к фронту!

(Как будто между тылом и фронтом можно провести чёткую границу...)

Согласимся, если военный министр как можно скорей проведёт новые отношения офицеров и солдат.

Отступать было неизбежно. Вопрос – докуда. Реформировать армию – Гучков же и сам собирался. Распустить комитеты – уже нет сил ни у кого в стране. Теперь задача: нельзя ли их обуздать?

Да. Такой приказ будет составлен. Да, будет представлен Исполнительному Комитету на утверждение. Но – ограничьте же и вы «приказы» №1 и №2.

Наступал малый дух примирения. Выразил и Нахамкис, что они, собственно, и приехали – установить нормальные отношения, а не ссориться. Стало обсуждаться: а нельзя ли распутать это всё единым общим воззванием, чтобы подписано было обеими сторонами?

Смотря что написать.

Совету надо: декларировать о победе над старым режимом. Что к старому режиму возврата не будет.

Это – так и есть. Это – можно, хорошо.

Дальше пусть: рознь между офицерами и солдатами может помешать укреплению свободы.

Это – очень хорошо.

Офицеры, признавшие новый строй России (а других и помыслить нельзя и терпеть нельзя!), пусть проявят уважение к личности солдата-гражданина. А уж если офицеры этот призыв услышат, то *приглашаем* и солдат: в строю и на службе выполнять воинские обязанности. Вместе с тем Исполнительный Комитет сообщает, что приказы №1 и №2 не относятся к армиям фронта, – для них военный министр обещает быстро разработать правила отношений между солдатами и офицерами.

Разработать, разумеется, в согласии с Исполнительным Комитетом.

Не уволился. Не выгнал. И вот, незаметно, – соглашался с ними.

А может быть – не так уж и плохо? Что-то всё-таки отвоёвано.

Только вот *подписывать вместе* с Советом – Гучков не мог! Слишком омерзительно.

Подпишут – Потапов от Военной комиссии, Скобелев – от Совета. И можно указать: воззвание составлено по соглашению с военным министром.

«Приказ №3»?...

Испытывал Гучков истощение. Изнеможение. Уныние.

ЗАРУБИ ДЕРЕВОМ НА ЖЕЛЕЗЕ!

473

Ничто, наверное, не может сравниться с состоянием человека, который всю жизнь томился по своей прирождённой деятельности, а деятельность изнывала без него от обсевших её бездарностей, – и вот наконец они соединились!

Так чувствовал себя Милюков на посту министра иностранных дел – не случайно его заняв. Революция обязана своей победой отнюдь не стихии, но Государственной Думе и Прогрессивному блоку, которые подготовили атмосферу переворота и дали ему свою санкцию. Гневное народное движение долго вели и вывели – Дума и Блок, а их вёл Милюков, – и вот законно вышел на своё новое положение.

Как-то молодеешь сразу на десять лет. Насколько бодрей и уверенней всё видится!

Наконец-то, после стольких лет, да может быть вообще впервые в своей истории, Россия перед просвещённой Европой могла не стыдиться своего высшего дипломатического представителя: он был европейского уровня. Наконец-то было кому достойно и равно объяснить Европе всё происходящее в России и перспективы её. С сердцем, открытым для союзников, преданным и искренним, но и с пониманием глубоким объяснить им этот как бы загадочный, как бы неожиданный взрыв: страна измучилась от неумелого, дурного ведения войны и воспряла против него. Высшее чувство народа и армии – продолжать эту войну до полной победы совместно с верными союзниками!

Приходили первые европейские газеты с откликами на революцию – и Павел Николаевич с большим удовольствием прочитывал долгие колонки восторгов: наконец-то в России у власти стали передовые умы!

Наслаждение вызывала у Павла Николаевича вся плавная respectable внутренняя процедура министерства иностранных дел – и не намеревался новый министр менять этот отличный порядок. Менять лиц? Но большинство тут к месту. Есть, конечно, и штюрмеровские ставленники, с этими постепенно разобраться и очистить. (Только не мог Павел Николаевич отказать себе в удовольствии немедленно отчислить нашего посланника в Швейцарии Бибикова, который прошлым летом невежливо обошёлся с лидером Прогрессивного блока, когда тот гостевал в Швейцарии.)

И большое наслаждение испытывал Милюков от общения с послами, особенно с английским и французским, своими давними искренними друзьями. Сэр Джордж Бьюкенен по убеждениям и симпатиям так просто был как член Прогрессивного блока, разделял негодование, как ведутся в России дела, и пожелания реформ. Милюков и другие думские лидеры минувший год частенько посещали английское посольство и чувствовали себя тут вполне по-свойски.

И в эти дни, хотя официальное признание новой России державами несколько задерживалось, тут неизбежна дипломатическая инерция, – встречи с послами приятнейше происходили. Французский посол Палеолог даже приходил в Таврический – требовать декларации верности союзникам. Отдельной декларации? В этом пункте союзники проявили понятное беспокойство, но и может быть маленькую нервную бестактность, с несколько избыточной энергией опережая и настаивая, что мало будет выразить надежду на продолжение военных усилий, надо их гарантировать, и публично повторить о прусском милитаризме, об общности союзных целей, как это делалось при старом правительстве.

– Но вы не представляете, – пытался возражать ему Милюков, – как нам трудно с нашими социалистами. Ведь мы не можем идти с ними на разрыв, иначе будет гражданская война. Француз не представлял и не понимал: их-то социалисты все поддерживали войну.

А сэр Бьюкенен в эти дни не выходил из дому, по простуде, и при устоявшихся личных дружеских отношениях Милюков счёл вполне допустимым вчера самому посетить посла. Бьюкенен откровенно говорил, что есть соображения, замедляющие шаг признания Временного правительства союзниками. Прежде чем сделать этот шаг, британское правительство должно получить уверенность, что новое русское правительство готово продолжать войну до конца и восстановить дисциплину в армии.

Ах, кое-чего не видно и с европейских высот. Дисциплина в армии не могла же не расшататься, если этим путём только и совершён переворот. Это – эпифеномен революции. Но это расстройство – временное, и аффрапирующее поведение солдатской массы уже сглаживается. Что же касается целей продолжения войны, – вот, министр иностранных дел твёрдо и ответственно заверяет английского посла, что война будет продолжаться *in optima forma*. Однако он просит сэра Джорджа иметь в виду, что в публичных заявлениях о войне правительство должно соблюдать исключительную осторожность – ввиду крайних левых. Например, Милюков дал радио «всем, всем, всем» почти без субъективных оценок – а уже острые нарекания слева.

Да сэр Джордж и сам глубоко уверен в благоприятном результате русской революции для общего союзного дела: поскольку революция пошла сверху – анархии не должно возникнуть. Окрылённый гражданской свободой, русский солдат сумеет постоять за демократические начала всего мира. Самодержавный реакционный режим никогда не внушал английскому правительству симпатий. И всё же дипломатическая осторожность требует подождать от нового правительства совершенно недвусмысленных заявлений о продолжении войны.

Неофициально беседовали и о будущем государственном строе России. Милюков полагал, что монархия ещё не совсем потеряна. – А отчего же такие крайности, вот уничтожают императорские эмблемы? – Ну, потому что надо дать удовлетворение народному сознанию, поэтому арестовывают и министров. Но монархия типа английской – это лучшее, что можно предложить для России. Милюков надеется, что Михаил своим благородным отказом приобрёл большие шансы снова быть избранным в государи.

Ещё менее официально – об ушедшем царе. Дело в том... что с ним делать? Он теперь повисает на Временном правительстве обузой. Он очевидно будет просить убежища у английского короля. Это усматривается из его просительных пунктов, которые генерал Алексеев передал из Ставки: пока пребывать в Царском Селе, до выздоровления семьи, а затем право выезда через Мурман. И, сказать откровенно, для Временного правительства это был бы самый лучший выход: не охранять, не защищать от левых. Никому абсолютно не нужный и абсолютно безвредный, уезжал бы он, право, в Англию и снялись бы сразу многие проблемы, Временное правительство могло бы двигаться свободней. А в Англии, под сенью мощной демократии, он стал бы беззвучным частным лицом. Мы были бы крайне благодарны, если б английское правительство... Что думает сэр Джордж?

Сэр Джордж, худой, седоватый, с красным лицом, очень английским и очень энергичным, уже думал об этом, разумеется. Да, он полагает, что король Георг пригласит своего двоюродного брата. Сэр Бьюкенен судит отчасти потому, что, вот, у него в руках –

телеграмма от короля Георга к сверженному Николаю. У посла есть физическая возможность переслать её в Ставку через английского военного представителя там. Но сэр Джордж... стал испытывать сомнения: удобно ли передавать такую телеграмму сверженному монарху в обход нового правительства?

И он считает, вот, наиболее правильным – предложить её передачу министру иностранных дел.

Может быть и наиболее правильным, но не слишком радостным для Павла Николаевича. Обстоятельство 3-3-затруднительное.

А что в ней?

«...События минувшей недели очень расстроили меня. Мои мысли неизменно с тобой. Остаюсь навеки твоим верным и преданным другом, каким, ты знаешь, я всегда был...»

Всё так, и это замечательно. К счастью, она политически неопределённа. И подаёт надежды на приглашение – однако, заметим, самого приглашения нет...

Всё так, и замечательно, но предпочёл бы Павел Николаевич этой телеграммы не видеть. Не знать. Не взять. Элиминировать, как бы вообще не существовавшую. Потому что: если о передаче такой телеграммы станет известно, а станет известно, Совету рабочих депутатов... Слова сочувствия короля Георга могут быть в революционной России ложно истолкованы...

Между двумя дипломатами и старыми приятелями, впрочем, всё понятно.

Что в телеграмме нет приглашения, сэр Джордж, разумеется, отлично видит. По реальности английской обстановки это... это предприятие весьма рискованное. Настроение левых членов парламента... И не последний вопрос: кто же будет его в Англии содержать?

Ну, это – не проблема, бывший император имеет достаточные личные средства. Во всяком случае, официальная просьба: чтобы сэр Джордж позондировал в Лондоне относительно британского убежища бывшему царю.

Хорошо, немедленно будет послан зашифрованный запрос.

На самом деле, обстоятельства складывались ещё более вынужденными и спешными, чем Милюков мог выразить послу, опасаясь создать у него неблагоприятное впечатление о своём правительстве. Отъезд бывшего императора в Англию если производить, то надо было не то что в неделях, но в часах. Уже знал Милюков, что происходит негласное давление Совета через Чхеидзе на Львова: всю династию Романовых арестовать, не то Совет депутатов произведёт арест сам!

Труднейший вопрос. Давно ли с Советом депутатов заключили полюбовное соглашение, и там не предвиделись подобные ультиматумы. Но вот Совет клал свою тяжёлую руку вне всяких соглашений – и не было такой устойчивости у правительства, чтобы остаться нечувствительным.

Труднейший вопрос. Он не выносился пока ни на открытое заседание правительства, ни даже на закрытое, когда ночью оставались одни, – но обсуждался конфиденциальным образом, и в первую очередь, конечно, между князем Львовым и Милюковым: как и рассчитывал Павел Николаевич, он негласно уверенно руководил Львовым.

Но сегодня перед вечерним заседанием правительства князь в своём кабинете наедине скорбно пожаловался, что давление Совета продолжается, они непримиримы, и князь не видит, как можно было бы устоять. Даже заикнуться невозможно им о какой-то отправке в Англию, он и вымолвить так не решился им. А разговор идёт: почему император не арестован до сих пор? И даже отпущен в Ставку, где он может злоупотребить своей свободой.

Ай-ай... А ещё ж задержали зашифрованную телеграмму от Царя к царице, хотя он может быть только нежности зашифровал. Так тем более теперь бестактно и опасно пересылать царю телеграмму Георга. Да, держать бы царя тут под боком, в Царском Селе со своим семейством, – и отсюда, как только придёт согласие английского правительства, их можно было бы быстро посадить на корабль либо переслать через Швецию.

Но Совет настаивает на ответе, и нельзя дальше его не давать, князь уже не может

дальше оттягивать.

Нисколько не был Павел Николаевич кровожаден и не желал он такого оборота революции, уже багрово потягивающего на свой французский аналог, – однако и... однако и... что же было делать? Не становиться же в конфликт с Советом в этом самом невыгодном, невыигрышном вопросе, на котором не соберёшь ничьих сочувствий.

– Что ж, Георгий Евгеньич... Что ж... Придётся... как бы арестовать. Да и препроводить в Царское Село. А там посмотрим. Что ж, распорядитесь.

– А вот, Павел Николаевич, Керенский поедет сейчас в Москву – я думаю, он прозондирует и настроение Белокаменной, куда склоняется чаша весов?

Да этот попрыгун примитивен, разве он прозондирует?

На заседаниях правительства старался присутствовать Павел Николаевич ежедневно – не потому, что были у него какие-то вопросы, могущие только тут быть решёнными, – его-то вопросы все решались в пределах его министерства, – но для самого правительства, для авторитета его, чтобы придать ему вес, ибо Милюков здесь самая значительная фигура, – а без него тут и пустынно бы выглядело. Да и в чём-нибудь могут сильно ошибиться.

Однако присутствуя, он почти все часы молчал – как бы даже не в кресле, а паря над этим столом заседаний, весь переполненный, как хорошо идут дела в его собственном министерстве, как достойно и умно он представляет Россию, и как прекрасно будущее России в победоносной теперь войне, и даже в забыты рисовал себе картины будущей мирной конференции.

А вопросы на заседаниях бывали удивительно мелкие, особенно мелкие у Некрасова, который ни распоряжения не решался дать без санкции правительства. И ещё сутяжнически изворачивался, как бы вырвать больше в пользу своего министерства и своих. Вот и сегодня кланчил назначить к нему, кроме уже имеющихся двух товарищей министра на ставках, ещё и двух комиссаров Думы на правах товарищей министра, а так как ставок больше не было – то с суточными по 15 рублей. (А едва разрешили ему – встал вопрос: почему же нельзя другим министрам, стали просить и другие.) И каждое назначение в своём министерстве Некрасов просил совет министров одобрить. Три дня назад он первый торжественно объявил, что упраздняет всякую охрану железнодорожных сооружений, – а теперь обнаружил, что объекты сами собою не охраняются, – и просил правительство предоставить некоторым служащим права по охране. Но вводить в нынешний момент новые правила охраны выглядело бы реакционно – и всё правительство должно было морщить лбы, как подвести такую охрану под уже существующие старые правила.

С сожалением давно уже видел Милюков, что этот его кадетский левый лидер – даже просто глуп (не говоря, что интриган и неискренен). Но уже выдвинутого в партии на видное место, и вот теперь в правительстве, – обречён был Павел Николаевич не осаживать, но поддерживать. Интересы кадетской партии не могли забываться: это оставалась в России единственная несоциалистическая партия (всё, что правее кадетов, было снесено февральским потоком и исчезло), единственная партия просто свободных разумных людей. И от неё – пятеро членов были в правительстве, но порадоваться сотрудничеству с ними Милюкову не предстояло.

Добродетельный скучнейший Коновалов так же добросовестно выкатывал на заседание правительства всю программу, как широко и последовательно он думает уступать рабочим – в длительности дня (хотя в войну можно бы и поработать), в охране труда, в страховании, в примирительных камерах, в легализации стачек, – а ещё раньше того объявить обо всех уступках публично, чтоб успокоить массу.

Шингарёв – никак (и никогда) не мог преодолеть в себе ограниченности провинциального интеллигента, подняться до обзора общеполитического, но вот теперь вяз в дебрях продовольствия, как раньше в финансах, и предлагал совершенно невозможную, оскорбительную для союзников меру – отказаться от обещанных Англии поставок пшеницы. Так что Милюкову пришлось вмешаться и указать на полную недопустимость.

Мануйлов? Но что говорить о Мануйлове? Самим кадетам было стыдно его робости.

Его посадили на просвещение всего за то, что когда-то он пострадал. И вот теперь только и мог он просить назначить ему сильного товарища – да субсидий.

Ещё только один кадет-умница был в комнате – это Набоков. Уже не удалось вставить его в министры, но удалось сделать его управляющим делами правительства, на самом деле весьма важная должность: он руководил штатом секретарей, вёл и сам главный протокол, всегда присутствовал на всех заседаниях (и оставался на секретные). Он был действительно единомышленник, европеец, постигающий все проблемы, – и Милюков, никем среди министров не понимаемый, с удовольствием оглядывался в его сторону, на узкое с усиками всегда настороженное лицо, острые умные глаза или след язвительной улыбки.

Вот – и улыбки по поводу воззвания, написанного Винавером, а Мануйлов с гордостью читал перед министрами:

«Свершилось великое! Могучим порывом... Моральный распад власти, погрязшей в позоре порока... Временное Правительство считает своим священным долгом осуществить народные чаяния... И верит, что дух высокого патриотизма окрылит наших доблестных солдат... Правительство будет свято хранить союзы с другими державами... (Это – главное новое, что ещё не сказано было ни разу. Были бы довольны послы, да не сказано о прусском милитаризме.) Только в дружном всенародном содействии...»

Милюков и Набоков иронически переглядывались. Набоковский вариант был суше, деловой и короче. Винавер и многословен и отстаёт от событий, живёт прежним, опять что-то много и некстати о 1905 годе, и конечно о Первой Думе, в которой состоял он сам. Ну, пусть, не из-за этого же спорить, и не раскалывать фронт кадетов.

Приняли.

Протеже князя Львова, нудноватый бесцветный Щепкин, стал переталкивать на Набокова: пусть именно Набоков подготовит руководящие указания для местной администрации по поводу этой декларации в отношении гражданских свобод.

Набоков снисходительно улыбался. Поручили.

А сам Щепкин пока прекратил всякую почтовую и телеграфную цензуру.

И очень просил кредитов, кредитов для комитетов и комиссаров на местах.

Решили дать – каждому комитету, каждому губернскому комиссару, но не более чем по 25 тысяч рублей.

Ещё одна невыразительная бледность – государственный контролёр Годнев, докладывая, что Совет рабочих депутатов настаивает прислать в государственный контроль и держать там своих представителей – следить за расходом государственных средств.

Министры не только одобрили, но даже обрадовались: великолепно! Это может разрядить тягостную обстановку с Советом. А финансовых сокрытий у правительства не предвиделось никаких.

Изящный Терещенко просил Совет депутатов освободить из заключения бывшего царского министра финансов Барка: нужны основательные консультации с ним, но невежливо производить их в тюремных условиях.

Что-то и Милюков должен был от себя дать. А – что же? Ну вот: новая форма дипломатического паспорта.

Послушали и без споров утвердили Акт о правах и преимуществах по финляндской конституции – отменить все ограничения, когда-либо введенные, допустить отдельное таможенное обложение, расширить права сейма. Считать противозаконным применение военного положения к Финляндии.

А ещё же были и церковные дела, в этой стране попавшие в сферу правительственную, ну, тут надо терпение. Мрачно-горящий Владимир Львов с отчаянной решимостью (и очень похожий на лающего полкана) стал докладывать о мероприятиях, необходимых к оздоровлению церкви, и просил поручить ему же представить (ещё их не было у него!) соображения: о преобразовании прихода, о переустройстве епархиального управления на общественных началах, о восстановлении деятельности Предсоборного присутствия...

Да, какую-то кость надо было кинуть и православию. Но извевался Милюков над одним

перечислением.

Тут уже не первый раз коснулись, что надо тактично использовать народные верования для укрепления воинской службы. То есть иными словами, составить новый текст воинской присяги или, если хотите, клятвенного обещания вместо старого императорского. Да поручить Гучкову... Да нет его до сих пор.

Уже они два часа просидели, а Гучкова всё не было! Довольно невежливое неглижирование коллегами, хотя можно представить, что и погряз в делах.

Сложные отношения оставались у Павла Николаевича с Гучковым. Рационально понимал, что Гучков ему здесь – единственный реальный и стоящий союзник. Но столько прежних обид между ними стояло, недоброжелательств, что тяжёл был поворот к нему сердца.

А вместо него влетел тоже сильно опоздавший Керенский. Уже про него полагали, что он совсем не придёт: вчера вечером единогласно постановило правительство, что не кому, как Керенскому, по его экспедитивности, надо ехать в Москву – разрядить некоторое тревожное там и соревновательное к Петрограду настроение. Через несколько часов ночным поездом он уже должен был и уехать. А вот – ворвался!

Ворвался – почти безумным порывом, как если б все на иголках тут сидели до него, только и ждали, ворвался – успокоить, обрадовать, бегом от двери к креслу. И, мало смераясь, что может быть какой-то другой вопрос тут обсуждали, может кто-то имеет слово, полузадыхаясь и освобождение сказал:

– Привёз, господа!

И свалился в стул, отдохнуть минуточку.

Даже и загадочно было: что ж такое он мог привезти? Ещё одно отречение? но уже все отреклись, кто мог.

Уж здесь, в правительстве, мог бы он оставить свои актёрско-истерические повадки и вести себя по-деловому. При клоунском поведении ещё эта нескрываемая заносчивость и самовлюблённость стали Милюкова сильно раздражать. Даже особенно по темпу, по этой дергливости раздражал его Керенский: раньше, борясь за власть, Павел Николаевич и сам бывал нервен. Но теперь, достигнув кормила, прилично было вести себя солидно, соответственно высокому положению в огромной России.

А Керенский получил-таки внеочередное слово и, захлебываясь, всё так же радуя и радуя коллег своим присутствием, самим собой и своими свершениями, быстро доложил – и перед собою тряс листами: проект указа об амнистии! (Той самой светлой желанной Амнистии, которой требовали они во всех четырёх Думах как главного народного блага, – а вот в какой фиглярский момент и с какими ужимками пришла она.) Больше – для политических, но с приманчивой добавкой для уголовных: тем уголовным, которых стихийно освободил из мест заключения сам народ, – если они теперь добровольно явятся, будет сброшена половина оставшегося срока. А также сократится срок и тем уголовным, которые сами не освободились, – чтобы в тюрьмах не возникло недовольства и взрыва.

И когда оставалось министрам всего только кивнуть согласием препроводить указ об амнистии в правительствующий Сенат для опубликования, а Керенскому оставалось жаворонком взвиться – и на поезд, – в этот самый момент дверь открылась – и медленно, тяжёлыми ногами, вошёл хмурый Гучков.

Вошёл – так занятый мыслями или так больной, что даже вида извинения перед присутствующими не придал себе. Втащился – всё напротив Керенскому – так медленно, так трудно, что мог бы, кажется, и до стула не дойти.

Дошёл, сел. И печально подпёр рукой свою отяжелённую голову.

Недоумевали, поглядывали.

Но воздух занят был трелями Керенского, он звеняще говорил о своей поездке, как он всё хорошо сделает. Потом зачем-то огласил приветствие Временному правительству от чинов своего министерства. И вдруг, не спрося разрешения, или так быстры и понятательны стали его взгляды на князя Львова, – с тем же рыжим новым портфелем, облегчённым от

листов амнистии, – выпорхнул – и был таков. На поезд!

Но присутствовал теперь Гучков – и пользовались этим. Вот, Александр Иваныч, относительно проведения новой присяги. Вот, Александр Иваныч, необходимо отдельное обращение к солдатам и офицерам русской армии. Вот, Александр Иваныч...

А Гучков сидел всё с тем же мрачным неприятием или непониманием, или ещё неприсутствием? (Это была, по сравнению с Керенским, другая крайность неприличия, которую Павел Николаевич также осуждал.)

– А что? – спросил он глухо. – Керенский – скоро вернётся?

Саму фамилию произнёс с пренебрежением.

– Александр Фёдорович в Москву уехал, – ласково-зазывательно, особенно к Керенскому ласково, объявил князь Львов. – Вернётся – послезавтра утром.

– Только? Как это? – очумело смотрел Гучков. – А вопросы не ждут.

– Так вы сами опоздали, Александр Иваныч, – сиятельно сожалел добрый князь.

– Да... Я – с Советом заседал, – мрачно сказал Гучков.

– С Советом? – удивились, оживились все. – И что же?

– Хорошего – мало, – глухо, почти равнодушно ответил Гучков. – Но я считаю, что по министерству юстиции у нас положение ещё тревожней, чем по военному. Я не понимаю, как так: в Москву? на два дня? Неужели министр юстиции решил все дела? Так я должен докладывать за него? Извольте.

Он заложил ногу за ногу, уселся прочней, обвёл через пенсне нескольких министров, но задержался на Милюкове и так стал говорить, как будто ему одному, даже не министру-председателю:

– Совершена революция во имя свободы личности, но действительная свобода личности отнюдь не наступила. Печать не имеет свободной деятельности, ряд органов запрещён. Нет никаких гарантий неприкосновенности граждан. Если мы не имеем физической силы это осуществить, то мы должны по крайней мере обратиться с воззванием к населению – не допускать самих себя до произвольных арестов, выемок и обысков. Я получаю жалобы из многих мест, – да наверно и вы тоже? Мы должны всё же разослать местным властям циркуляр, что аресты не могут производиться без судебных полномочий, и законность задержания должна каждый раз проверяться прокурорским надзором. Господа, это всё функционировало при императорской власти – и как же это стало таким трудным после победы свободы?

Сняв подозрения с Милюкова, который, конечно, менее всех за это отвечал, – Гучков стал смотреть – ... но на кого же тут смотреть?

Многие и глаза отвели.

– Я даже думаю, – сказал Гучков хрипло, – не воссоздать ли нам какой-то орган, заведующий общей безопасностью населения?

Ну, он не мог же иметь в виду – *новую Охранку* ?! Но может быть... новую полицию?

– Губернаторов мы всех отменили, полицию мы всю распустили, охрану железных дорог сняли... А между тем, господа, – он всё-таки искал, чьи глаза его встретят, но уже ничьи не встречали, и никак не попадались лучезарные глаза князя Львова, – а между тем... ведь идёт война?

Он – спрашивал. Он – как будто не совсем уверен был, выстрелы сюда не доносились.

474

А утро понедельника принесло телеграммы все едино, без противоречий: **отрёкся царь!** отрёкся – несомненно! И он, и Михаил, вся династия, вся шайка – **отреклась !!!**

Реставрации – не будет!!!

И вопрос зажёг теперь только: **как ?** Путём – каким? Каким способом? Да побыстрее! Теперь и часа нельзя промедлить – скорей туда! Не опоздать! Захватить руль! Исправить, направить, скорей!

Сегодня Цивин у Ромберга. Хорошо. Но это ещё пока... зондировка, запросы, ответы... «Глухонемой швед» было кинута три дня назад, тоже Ганецкому, несерьёзно. Серьёзней – фотография для паспорта (хорошо, что послал): может ли она сегодня быть уже у Скларца? Нет конечно. Послезавтра. А потом – рассматриваться в министерстве, в генштабе. Они должны бы и не ждать, должны бы сами догадаться и поторопиться – послать, предложить. Молчат. Дубины. Лестница бюрократическая.

Или – дорожатся, чтобы больше взять? Тогда – ничтожные политики. Вперёд, на большом участке пути – реальный союз, сепаратный мир. А там, а там... Прусские юнкерские мозги конечно не уследят за спиралью диалектики. Разве они видят дальше сегодняшних своих окопов? Что они знают о мировой пролетарской революции? Дальше, конечно, мы их переиграем, на то мы и умней. Но пока что им бы только сепаратный, да оттянуть прибалтийские губернии, Польшу, Украину, Кавказ, – так это мы и сами отдаём, давно говорим.

И Зифельд не идёт. И Моор не отзывается.

Но – Парвус? испытанный умница Парвус! – что же он? Израиль Лазаревич! Я сижу в этой Швейцарии, как в заткнутой бутылке! Вы же понимаете, вы-то знаете, как надо успевать на революцию! Почему не получаю предложений ехать? Делается ли что-нибудь?...

В комнате на Шпигельгассе – как в норе, солнца – никогда в окне не бывает.

Та-ак... Та-ак, одуматься некогда, что-то обязательно упускаешь. Что там делает в Петербурге Шляпников? Он неумелый. *Тезисы* к ним потекли, но это когда ещё... А вот что: надо сжато повторить телеграммой. Телеграмму в Стокгольм, партийная касса не разорится. Надя, кто пойдёт телеграмму сдаст: наша тактика – никакого доверия новому правительству! никакого сближения ни с какой партией! только – вооружение! вооружение!... Платком укутайся, бронхит!...

А вообще-то на всякий случай, если немцев не дождёмся, надо готовить путь и через Англию. Пусть, например, Карпинский готовит: берёт проездные бумаги на своё имя, а фотографию приложим мою. Мою, но в парике, а то по лысине узнают. Срочно ему писать! Срочно в Женеву! Кто отнесёт на почту? Ладно, сбегая сам.

Сильный холодающий ветер дул по узким переулкам, и когда порыв усилился да навстречу – прямо останавливал. А хорошо идти – поперёк, против! Так привык всю жизнь, так шёл всегда – и не раскаиваюсь. И другой жизни не хотел бы!

Тот же ветер взнёс по переулку навверх, домой, – и как раз вовремя: зовут к телефону на другой этаж. Кто б это мог? Почти никто того телефона не знает, для исключительнейших случаев.

По тёмной лестнице.

Инесса!! Прямо из Кларана! Голосок – как переливы рояля под её пальцами...

– Инесса, как давно я тебя не слышал!... Любимая!... А я вчера с дороги послал тебе откры... Надо немедленно ехать, нам надо всем ехать! Я готовлю тут разные варианты, какой-то сработает обязательно! Но вообще надо разведать и английский путь. И, может, удобнее всего было бы тебе... Что?... Неудобно?... Ну, я не настаиваю никогда, ты знаешь... Не уверена, что вообще поедешь? Вообще?.. Колеблешься?... (Какой-то сбой, мысли не сходятся. Когда долго не видишься – и всегда сбой, настроения не прилегают, а тут ещё и по телефону)... Почему же нет? Да как же можно вытерпеть!... А я был – совершенно уверен! Мне в голову не... Да, нервы, конечно... Да, нервы... (По телефону о нервах не разговоришься, франк минута.) Ну, ладно... Ну попробую как-нибудь, да...

Ах, лучше б и не звонила, только настроение опустилось... Оборвала и настроение, и план...

Как же испортились отношения, не узнать. И – отчего? Уж портиться бы – отчего? Уж как он ей выстилает, как уступает, – кому, когда?...

Удивлялся, что втроём – и держится. Вот и не удержалось...

Занозилось, заныло от этого разговора, ничем заняться себя не заставишь. Сел к окну, где посветлей, на коленях писать программу действий для петербургских, они ведь сами

никогда ничего... За окном ветер просто ревел, и в щели дуло, каких раньше не замечал. Март, а печку бы истопить? Скажут хозяева – уголь перетрачиваем. Пальто накинул.

Начать надо с анализа обстановки. Точной обстановки он не знал и не мог восстановить по скудным газетным обрывкам, но хорошо понимал по общей теории, и ничего другого в Петербурге происходить не могло... Произошло в России чудо? Но чудес не бывает ни в природе, ни в истории, только обывательскому разуму кажется... Разврат царской шайки, всё зверство семьи Романовых, этих погромщиков, заливших Россию кровью евреев, рабочих... Восьмидневная революция... Но имела репетицию в 1905 году... Опрокинулась телега романовской монархии, залитая кровью и грязью... По сути это и есть начало всеобщей гражданской войны, к которой мы призывали...

Недоговоренное с Инессой – мешало работать. От звонка поднялось – и не улеглось. Как-то взаимонепонятно, ершисто... Колет...

Естественно, что революция разразилась раньше всего в России. Этого и надо было ожидать. Этого мы и ждали. Наш пролетариат – самый революционный... Кроме того, весь ход событий ясно показывает, что английское и французское посольства с их агентами непосредственно организовали заговор вместе с октябристами и кадетами...

Что ж, мы уедем – а она останется? Совсем – останется? Ведь события могут так раскидать, разделить...

В новом правительстве Милюков – только для сладеньких профессорских речей, а решают пособники Столыпина-вешателя... Совету рабочих депутатов надо искать союза – не столько с крестьянами, но в первую голову – с сельскохозяйственными рабочими и с беднейшими крестьянами, отдельно от зажиточных. Важно уже сейчас раскалывать крестьянство и противопоставить беднейших – зажиточным. В этом гвоздь.

Ну, просто ураган! И как будто снег срывает. Уже и от окна света нет, опять лампу...

Нет, не успокоиться, пока снова не написать Инессе. Вот прямо сейчас и написать.

... Не могу скрыть от вас, что я разочарован сильно. Теперь надо – скакать, а люди чего-то «ждут»... Через Англию под своим именем – меня просто арестуют... А я был уверен – вы поскачете!... Ну, может быть, здоровье не позволяет?... Но нам бы важно хоть попробовать, узнать, как дают визы, какой порядок?

И вот уже нытьё облегчилось, отлегло, а зацепилась и потянула новая идея, использовать это письмо:

... Да тут только задуматься: около вас там живёт столько социал-патриотов и разных беспартийных русских патриотов, и богатых! – почему же *им* не придёт в голову простая мысль ехать через Германию? – вот *им* бы и попросить вагон до Копенгагена. Я не могу этого сделать, я – «пораженец». А они – могут. О, если б я мог научить эту сволочь, этих дурней быть поумнее!... Вы – не подскажите им?... Думаете, немцы вагона не дадут? Держу пари, что дадут! Я – уверен просто! Конечно, если дело будет исходить от меня или от вас – всё сразу испорчено... А – в Женеве нет дураков для этой цели?...

Вот к этому и свелась теперь вся проблема: не Францию-Англию разведывать, нет, ехать только через Германию, конечно! Но: как, чтоб не от себя, чтоб это возникло от кого-нибудь другого?...

Если кто сомневается, можно хорошо убедить так: ваши опасения – курам на смех! Да неужели же русские рабочие поверят, что старые испытанные революционеры действуют в угоду германскому империализму? Скажут – мы «продались немцам»? Так ведь про нас, интернационалистов, и без того уже давно говорят, раз мы не поддерживаем войну. Но мы делами своими докажем, что мы *не* немецкие агенты. А пока надо – ехать, ехать, хоть через самого дьявола.

Но – кому внушить инициативу? А без этого и возможность будет – а ехать нельзя. Нам одним, первым нам, от себя, – нельзя, в России окажется трудно.

Так и прокатился день, не дав решения и выхода...

А за один этот день – что там в России наворочено!

Туда, в ревущую тьму, прислониться к тёмному стеклу – мелькало, мелькало, неслись

косые пули! Вот **такое** и в Петербурге сейчас. Бешено выло в трубе, стучало где-то на крыше, никогда не стучало, что-то оторвало. Ну, закручивало!

Как будто вот последние часы упускаем, последние часы. Писать им, писать дальше:

... Милюков и Гучков – марионетки в руках Антанты... Не рабочие должны поддерживать новое правительство, а пусть это правительство «поддержит» рабочих... Помогите вооружению рабочих – и свобода в России будет непобедима! Учить народ **не верить словам!**... Народ не пожелает терпеть голода и скоро узнает, что хлеб в России есть и можно его отнять... И так мы завоюем демократическую республику, а затем и социализм...

Раскрутилось внутри, вытягивало жилы рук и ног от бездействия. А – пойти в эту бурю, выходиться! Иначе ведь всё равно не заснуть. Пусть ветер потолкает, продует.

Внизу лестницы – запахнулся, старую шапку нахлобучил крепче. (Спросил председатель шо-де-фонского профсоюза: «Это что за пилот?»)

Сразу – как толкнуло, как понесло, ну настоящий ураган! А – по сухому, снега мало. Фонари все видны, а небо тёмное. Брянь-нь! – выбило стекло из уличного фонаря. Черепицей стучит, тут и на голову свалится.

Узкие, узкие, узкие улочки старого города, в какую сторону ни иди – лабиринт. Заблудишься тут какмыш, не вырвешься на просторы петербургских площадей.

Управляли Россией 40 тысяч помещиков – неужели ж мы столько не наберём и не управим получше?...

На Нидерхофштрассе, улице ночных гуляний, прохожих почти никого, все забились за светлые окна. И барахтается в ветрище беспомощный – нагнутый, вялая, рыхлая, знакомая фигура... Григорий!

С вокзала? Приехал опять?

– Владимир Ильич, много важного, решил приехать.

– Ну, что Цивин? Был у Ромберга?

– Был сегодня. Сейчас расскажу. Тот обрадовался!

Один туда качнётся, один сюда, руками от ветра отбиваясь, шапку хватая. Побрели назад. Говорить трудно, но и не терпится.

В Берне весь день заседал эмигрантский комитет по возвращению на родину, и Зиновьев там от нас. Ну и что, как?

Говорильня, говорильня, перебирали все варианты – и через союзников и через Скандинавию. А Мартов предложил – через Германию!

– Мартов??

– Через Германию!!

– Мартов??? Воздуха нет кричать.

– Да! В обмен на немецких военнопленных в России!

– Ма-артов???

– Получить согласие Временного правительства... Через Гримма – в переговоры со швейцарскими властями...

Что за удача! Какая удача! Предложил – Юлик, не мы! Так и назовём – **план Мартова!** А мы – только присоединяемся.

Первое слово – сказано!!

475

И ещё снова он не позвал.

Но и хорошо: душе и голове нужно время, чтобы всё уложилось, нашло свои места. И было бы готово расти дальше.

Потому Ликоня так и смялась, что всё шагнуло слишком быстро.

Теперь – не потеряться у него. Зачем ему нужна потерянная?

Постеснялась говорить своё. А – надо. Сколько б движения и воздуха ни было в его

мире, но и то особенное, узкое, в чём Ликоня, – ему не лишнее.

Иначе бы – в театры он не ходил.

Ликоня не стала артисткой, но право же, лучший аромат – она собрала.

Пейте меня! Выпейте меня! Во мне есть.

Однако прошёл день. И ещё один. И ещё один. А он не звал.

Да как он занят! За те часы, что Ликоня была у него, – два раза ходил к телефону. И потом эти все дрызги – на улицах, с правительством – они же его касаются. Даже её саму потащили на какое-то нелепое кормление солдат.

Но он – не уехал из города! (Она проверяла в гостинице.)

Забыл?...

Но был так нежен – это не могло так сразу пропасть!

Днём утоляет и лечит рассудок.

Вечером – нет.

Что же тогда? Может быть – что-то с ним? От этих событий? О, только б ему не было плохо! только бы с ним – ничего!

Пойти самой? Телефонировать? Простите мне мою смелость?

Второй раз! Невозможно!

Скорей бы всё выяснилось.

Усы и борода у него – с чем-то солнечным, не только даже с цветом. Он сам – как обломок солнца. По России катается. (А хочется – опять на колени к нему! Утратить под ногами землю. Замереть, ничего не говорить. Когда у него на коленях – он весь совершенно её.)

А вдруг – больше ни дня не будет с ним вместе?

Но и жизнь нельзя оценить, минуя боли жизни.

... Чтобы рвал меня на части

Ураган!

476

Гучков просидел заседание правительства до конца, не назвавши вслух ничего о сюжете с Синовой Рощей, – и никто не назвал! А скользкий Керенский исчез.

Вот, заседание окончилось, делопроизводители уходили – должно было начаться секретное? Но тоже нет. Как будто исключительно благоприятно и покойно всё разрешалось, – спокойнейший князь Львов с милой доброй улыбкой встал, кому-то кивнул, кому-то руку пожал – и направлялся в свой министерский кабинет, да тут нагнал его Миллюков, пошли вместе.

Нет, обернулся, с видом что-то забывшего:

– Александр Иванович! Вы зайдёте ко мне?

Да ничего другого Гучкову тут и делать не оставалось. Пошёл за ними.

И вот были втроём, и князь приглашал обоих садиться и распоряжался подать им чаю.

О чём Миллюков хотел говорить – не говорил. Сел молча, окаменил шею и держал свою самоуверенную голову с каменоватым взглядом через очки (он менял то очки, то пенсне, в очках был проще).

Но зато князь был мил и предупредителен, улыбкой приглашая к разговору, отчасти как будто робел.

А Гучков не любил помягчать своей крутости:

– Георгий Евгеньич! Что у нас творится? Довольно странно. Сегодня днём совершенно случайно и от частных лиц узнаю, что посланцы Керенского рыщут по столице, ищут удобного места для заключения царской семьи. Разве такое решение принято? Когда? кем? Мы вчера с вами об этом говорили – и ещё не было. И заседания об этом не было? Или я пропустил?

С готовностью, пониманием, ласково улыбался князь:

– Александр Иванович. Поверьте, я и сам ещё сегодня утром этого не представлял. Но среди дня Александр Фёдорович должен был принять некоторые предупредительные меры... Подумайте сами, как будет выглядеть, если Совет депутатов арестует царя без нас? Что мы тогда будем за правительство? А Совет очень настойчив в этом вопросе. И московский Комитет общественных организаций тоже требует ареста царя.

Дверь раскрылась тотчас за лёгким стуком, и не дожидаясь отзыва, в кабинет вошёл смуглый Некрасов с удивляющей лёгкостью: если премьер-министр беседовал с министром иностранных дел и военных, – министр путей сообщения мог бы и повременить.

Но он – или привыкнув к своему заместительству у Родзянки? – шёл как вполне свой здесь и, не спрашивая, тоже сел.

А князь, кажется, и доволен был ковременностью этого входа:

– Вот Николай Виссарионович вам засвидетельствует, что сегодня в Совете вторично постановлено арестовать Государя, и даже поручено Военной комиссии. Так что нам... Что же нам остаётся, Александр Иванович?

Про Военную комиссию мог бы Гучков услышать и раньше, тоже не слышал.

– Но всё же, Георгий Евгеньич, я в правительстве – не слишком побочный человек, и можно было бы изыскать как-то обсудить со мной... и вот, с Павлом Николаевичем? – вопросительно в его сторону, похоже, что и тот не знал? но сейчас весьма недвижим, слишком мало затронут оставался, –... прежде нежели министр юстиции начнёт распоряжаться? Я не могу попадать в такое глупое положение.

А князь разве спорил? Он только искал глазами, как бы ему уступить, – голубыми безгрешными глазами и при ласковом голосе:

– Александр Иванович, любезнейший мой, но ведь это даже для самого Государя лучше. Это охранит его от возможных эксцессов, от нападения каких-нибудь диких масс. Это даже – лучший способ его защиты, чем мы могли бы придумать другой! – Почмокал. – А кроме того... кроме того... – князю самому было больно выговорить, – кроме того, вы знаете... начинается расследование... И если что-нибудь будет обнаружено... так оно даже естественно... А как вы понимаете?

И в самом деле – как же Гучков понимал? Он прав был в своём возмущении, что его обошли, но неправ по сути: а что же придумать другое? Ведь он и сам с собою уже не видел другого выхода, он и в заговоре предусматривал арест царя.

А Милюков – чурбанно-равнодушно сидел, будто для министра иностранных дел слишком мелок был вопрос ареста бывшего Государя.

– Так надо принимать решение правительства? – пробурчал Гучков. – Почему ж на заседании обошли?

– Этого требует предосторожность, – глухим голосом, но живо вмешался Некрасов. – Чтобы не разгласилось. А тут нужна подготовка.

Да, да, князь был согласен с деловитым министром путей сообщения. Он именно так и думал. Да он и выглядел как нянь баюкающий: не надо тревожить.

Тоже верно.

А ведь это была собственная ошибка Гучкова: сам же он зачем-то отпустил царя в Ставку, просто растерялся. А эта поездка в Ставку и вызвала наибольшее общественное раздражение. И может быть – никакого бы ареста и не потребовали. (И – за что? И как некрасиво для Гучкова...)

А теперь, может быть, и выхода нет, да...

Переглядывались министры. Переглядывались молча.

И, может быть, прав Милюков: по сравнению с общими вопросами совершённой революции – неужели так важен этот отдельный частный вопрос?

Да ещё саднил в Гучкове изнеможительный спор с делегацией Совета, ещё он не успел тут рассказать министрам, – да и нужно ли? Когда он представил себе всю огромную неразбериху и растерянность в вооружённых силах – спорить ли было об аресте царя, да не

принципиально, а больше из самолюбия, почему этот мальчишка, наглец Керенский, так дерзко действовал, не спросясь?

Но вот что... – всем им теперь было ясно видно -... какой же к чертям Николай Николаевич может стать теперь Верховным Главнокомандующим? И Совет не допустит, и общественное мнение не допустит, да и для самих уже нелепо – и к чему он нужен? Зачем за него держаться?

По своим военным владениям – Гучков нисколько в Николае Николаевиче не нуждался. Пусть пока и командует Алексеев. (Если не будет противиться чистке армии.)

Ну, тем более – остальное правительство не нуждалось в великом князе.

А он – уже выехал из Тифлиса, наверно.

Так задержать его в дороге! – до Ставки нечего и допускать.

Но вот об этом как раз – Алексеева предупредить надо. И проще всего сейчас же, ночью, по аппарату.

Князь Львов захотел поехать вместе с Гучковым и сам объявить Алексееву, что тот будет пока в обязанностях Верховного.

Ну что ж.

Глаза князя светились светом ангельским:

– Но о Государе – говорить Алексееву не будем. Даже наоборот, всё по-прежнему.

477

Вечером Алексеева вызвали к аппаратному разговору с Петроградом.

Это был – неуловимый до сих пор князь Львов. Он начал с того, что в столицах стало спокойно, порядок повсюду водворился, утешительные вести поступают и из других городов – всё благодаря своевременно принятым мерам. (Как бы благодарность Алексееву за помощь в дни отречения?) Насчёт проникновения в армию революционного течения – меры тоже приняты: вчера напечатано объявление к населению, сегодня печатается обращение к войскам. И в ответ на тревожные телеграммы Алексеева выезжают сегодня ночью на все фронты депутаты Думы с официальными полномочиями.

Но кажется уже не объявления нужны, а пулемёты...

Печатная строка тянулась ровно, а как будто дёрнуло её и пошло что-то другое, от другого человека:

– Прошу принять во внимание, что догнать бурное развитие невозможно, события несут нас, а не мы ими управляем.

Даже вечно-насупленные брови Алексеева – и то как будто ползли вверх. Вот этих петроградских перескоков он всю неделю понять не мог. Как будто люди с ним разговаривали – ненормальные.

А дальше опять всё гладко: сегодня же будут командированы представители для сопровождения императорского поезда. Проезд будет полностью безопасен, но уже сейчас желательно знать, как Государь будет следовать с Мурмана. Сегодня князь Львов получил телеграмму от Верховного Главнокомандующего, что он предполагает прибыть в Ставку 10-го. И ответно телеграфировал ему – об общем положении вещей и о личной встрече в Ставке.

Что глава правительства и Верховный Главнокомандующий так сразу поладили – очень радовало Алексеева, будет легко работать.

И вдруг – опять как передёрнуло ленту, и на ровной полоске потекло вкось и вкривь. Князь Львов уже больше недели употребляет все усилия, чтобы склонить какое-то течение в пользу великого князя. Но его наместничество совершенно отпадает, а...

– Вопрос Главнокомандования становится столь же рискованным, как и бывшее положение Михаила Александровича. Остановились на общем желании, чтобы Николай Николаевич, ввиду грозного положения, учёл создавшееся отношение к дому Романовых и сам бы отказался от Верховного Главнокомандования. Подозрительность по этому вопросу к

новому правительству столь велика, что никакие заверения не принимаются.

Вот это да!! Алексеев уселся прочней, кидало.

– Я считаю такой исход неизбежным, но великому князю не сообщал, не переговоривши с вами. До сегодняшнего дня я вёл с ним сношения как с Верховным.

А почему? – недоумевал Алексеев. – Почему ж не великому князю первому и сказать? Пока он ещё был в Тифлисе, не в один же час они решили, можно было бы посоветоваться с ним, ему было бы удобней остаться в Тифлисе.

– Общее желание, – кончал Львов, – чтобы Верховное Главнокомандование приняли **вы** – и тем бы отрезали возможность новых волнений.

Тряхнуло Алексеева ещё раз. Но не обрадовался старик ничуть, и если застучало сердце, то не от честолюбия. Отвечал:

– Характер великого князя таков, что если он раз сказал – признаю, становлюсь на сторону нового порядка, то уже ни на шаг не отступит в сторону и исполнит принятое. И армия уже знает о его назначении, получает его приказы и обращения, к нему большое доверие в средних и низших слоях армии, в него верили. И для нового правительства он будет желанным помощником, надёжным исполнителем. Вы можете с полным доверием относиться...

Почему вдруг так спешили? Почему не хотели дожидаться приезда великого князя в Ставку?

Изменение не следовало. И Алексеев опять:

– Отстранение же его вызовет обиду. А если уж такая перемена почему-либо признаётся среди правительства необходимой – то лучше выждать приезда великого князя сюда и здесь поговорить вам лично с ним. Только тогда, если установится решение, – можно будет обсудить вопрос о заместителе... Так, чтоб не было трений с главнокомандующими, вопрос тоже деликатный...

Львов не спешил говорить. Что-то они думали не с того конца, какие-то мысли кривые. Алексеев собрал все силы убеждения:

– Бог приведёт, с каждым днём положение правительства будет становиться более прочным, авторитетным. Тогда, если явится надобность, замена в будущем будет безболезненна. Благовидные предлоги всегда найдутся. А в данную минуту армии нужно спокойное течение жизни. За несколько дней она уже привыкла к назначению, знает человека, встретит его с доверием. Мы все с полной готовностью сделаем всё, чтобы помочь правительству стать прочно в сознании армии. Но – и вы помогите нам пережить совершающийся некоторый болезненный процесс в организме армии: сохраните Главнокомандование за великим князем. Поддержите нас нравственно, дайте воззвание, что для России нужна армия дисциплинированная, поддержите авторитет начальников, что они поставлены Временным правительством.

Если в Петрограде уже всё упрочилось – то зачем торопиться менять? Если, напротив, у них всё шатко – то как же можно рисковать такую сменой сейчас?! Очевидно, надо объясниться устно.

– Командировать к вам моего генерала? Или же будет можно развить весь наш разговор при личном свидании?

Наконец потекло и от Львова:

– Дорогой Михаил Васильевич, вы должны ответить по существу – сейчас. Все ваши соображения вполне разделяются всеми членами правительства. Дело здесь не в личном доверии или недоверии нашем к Николаю Николаевичу, а совсем в другом. Если бы месяц назад! – а теперь дело другое... Участь нашей великой задачи стала решаться больше тылом, чем армией. А после величайшего совершённого переворота, размеров которого никто не ожидал, – тыл решает всё! События рождаются психологией масс, а не желанием правительства. И мы считаем, что устранение великого князя ещё не даст крушения всего дела, а назначение его – может дать такие явления в тылу, которые... Ведь вот благородное решение великого князя Михаила Александровича спасло его и нас от новой бури. Мы не

смейтесь рискнуть! Лучшим исходом был бы такой же великодушный акт со стороны Николая Николаевича. Если б он своим высокоавторитетным голосом призвал армию подчиниться новому Главнокомандующему – это ещё больше подняло бы его популярность. А соображение о личной обиде? – в благородном сердце Николая Николаевича? Я уверен, что не может возникнуть... Сейчас с вами будет говорить Александр Иванович Гучков.

И он тут! – роковой человек Алексеева. То никого не дозваться, то все тут.

Потекло от Гучкова, но не в ответ на все отчаянные запросы Ставки:

– Комбинацию с Главнокомандованием великого князя я раньше находил желательной и возможной. Но события идут с такой быстротой, что теперь это назначение укрепило бы опасное подозрение в контрреволюционных попытках и опасно заставило бы народные массы сохранять боевую позицию. Лично я убеждён в безусловной лояльности великого князя в отношении нового порядка, но невозможно это внушить народным массам.

Вот этого Алексеев и не понимал! Кто ж были ещё народные массы, если не солдаты, которые любили великого князя и ждали его?

– ... Поэтому высказываю твёрдое убеждение в совершенной необходимости отказа великого князя – в пользу вашу. Его благородный патриотизм пусть продиктует ему это решение – и оно поможет нам водворить успокоение в умах здесь, в центре.

Ну, если они так тверды – не отбиваться же без конца? Не предлагали же звать ещё кого-нибудь нового, и самому Алексееву не предстоял какой-то прыжок, он оставался на том же месте.

– Если так, то к 10 марта приезжайте в Могилёв сами, чтобы в словесной беседе с великим князем всю деликатную сторону... А при выборе заместителя надо обсудить вопрос...

Алексеев не гнался за таким постом, но занять его конечно мог. Однако представил себе открытое негодование Рузского и затаённую за улыбкой кусающую злобу Брусилова.

– ... не остановиться ли на лице одного из главнокомандующих? к которому народные массы могут отнестись с большим доверием, чем к человеку, работавшему начальником штаба у Государя? Новое назначение должно быть принято и всеми главнокомандующими без неудовольствия.

И будет осложнение с румынским королём – как ему подчиниться очередному генералу?

Гучков отвечал с решительностью:

– Положение столь серьёзно, что все вопросы о деликатности должны быть навсегда устранены. Великий князь поймёт всю необходимость шага. Никого другого, кроме вас, мы не видим. Если мы теперь упустим время, то через несколько дней обстановка может ещё измениться. Вы можете удесятерить доверие к вам правительства и свою популярность в народе, если примете ряд решений. Например: если б вам удалось немедленно устранить генерала Эверта, полная неспособность которого... И если в дальнейшем примете широкие меры устранения заведомо неспособных генералов, то ваше положение упрочится быстро и твёрдо. Но их надо принять безотлагательно. Никогда я не был так уверен в своей правоте, как давая вам эти советы.

Быстро усвоил гражданский Гучков пост военного министра! Разгонять генералов? Растерялся Алексеев от такого напора:

– Все такие меры в данную минуту... Как начальник штаба не имею права принять, ибо мне это не предоставлено законом... Уже объявлено великим князем, что 4 марта он вступил в должность... Сперва надо изменить положение служебное, а засим только... те или другие решения... И примите во внимание нашу бедность выдающимися силами генералов. Широкие меры встретятся с недостатком подходящих людей. Заменять одного слабого таким же слабым – пользы мало...

Но Гучкова не поколебало: он так же рвался вперёд:

– Вполне понимаю, что вы не можете провести эти меры тотчас, но нам нужно ваше внутреннее решение. Можем ли мы рассчитывать, что вы поддержите совет великому князю

об отказе от Главногокомандования? Совершенно не могу согласиться относительно затруднительности найти даровитых генералов для замены ряда бездарностей. Такие новые назначения, произведенные с одного маха, вызовут величайший энтузиазм и завоюют громадное доверие!

Широко-о шагал! Широко-о!...

– Но приезд князя Львова и мой в ближайшие дни в Ставку совершенно исключён. Мы будем в состоянии переговорить с великим князем только по телеграфу. Понимаю всю затруднительность вашего личного положения, но прошу вас дать согласие. Если мы с вами не примем этих решений свободно и добровольно, то они будут нам навязаны со стороны.

Вот как они поворачивали! Не только с ними согласиться, но ещё и собственными руками всё сделать. Но ещё на себя и взять всю тяжесть объяснения с великим князем? – да ещё в дурацком положении заместника...

– С глубоким огорчением я должен буду говорить с великим князем... Я полагаю – вы пришлёте ему письмо, а уже затем дополните разговором по аппарату... Лично я очень хотел бы остаться в моём нынешнем положении. И готов честно сотрудничать с каждым, кого избрало бы правительство на должность Верховного... Конечно, долг прежде всего, и придётся принять неминуемое... Хотя в моём здоровьи после болезни остались некоторые...

– От имени князя Львова и своего повторяю, что кроме вас никого у нас не имеется в виду. Письмо великому князю будет послано. Покажите ему эту ленту...

Уже и кончался разговор? А к ним обоим было столько много, Алексеев добивался их несколько дней... Но через весь навал неожиданности вспомнилось только одно:

– Потревожу вас неподходящим посторонним вопросом. Граф Фредерикс приказал отцепить свой вагон в Гомеле и просит разрешения ехать в Петроград. Если возможно, разрешите старику: он совсем уже утратил память и способность распоряжаться даже собой.

Гучков:

– Советуем графу Фредериксу пока не возвращаться в Петроград – никаких гарантий его безопасности. Передайте графу, что с его семьёй всё благополучно, подробности позднее.

И без того было хлопот, но втесался ещё этот граф Фредерикс: вослед пришло сообщение из Гомеля, что граф, бедняга, арестован там.

Обезумевшего старика было жаль, да перед собою не мог отвести Алексеев и собственную вину, что его туда отправил: вероятно, перезаботился, никто бы Фредерикса в Ставке не тронул, ничего б не было.

И пришлось ещё этой ночью давать князю Львову новую телеграмму: чтоб не держали несчастного Фредерикса под арестом.